

Юрий
НАГИБИН



ИЗБРАННОЕ

Юрий
НАГИБИН



Ю. Нагин

ИЗБРАННОЕ



Юрий
НАГИБИН

ИЗБРАННОЕ



МОСКВА «ТЕРРА» — «TERRA» 1994

Юрий
НАГИБИН

ИЗБРАННОЕ

Тени минувшего

Маленькие женщины

Мещерские были

Простое и вечное

Всполошный Звон

Из книги о Москве

Последняя петрадь



ББК 84Р7
Н16

Иллюстрации художника
С. СОКОЛОВА

Оформление художника
И. САЙКО

עיריית חיפה
מערכת תרבות הסנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספריה
מס. מלאי.....

2017 / 85859/2

Нагибин Ю.

Н16 Избранное. — М.: ТЕРРА, 1994. — 624 с. — (Литература).
ISBN 5-85255-504-5

Пятьдесят три года Юрий Маркович Нагибин профессионально работает в литературе. С тех пор он написал очень много рассказов, повестей, очерков, статей, сценариев, литературных портретов, издал в Италии две искусствоведческие монографии.

В произведениях автора, помещенных в настоящем сборнике, нашло отражение то, чем он жил сам: детство, Отечественная война, рыбалка и охота, вернее сказать, — поведение человека в природе, любовь, дружба, поиск жизненного пути.

Н 4702010201-112 Без объявл.
А30(03)-94

ББК 84Р7

ISBN 5-85255-504-5

© Издательский центр «ТЕРРА», 1994

Тени минувшего



ШУТЫ ИМПЕРАТРИЦЫ

ПОВЕСТЬ

БЕГЛЕЦ

1

Священник астраханской соборной Троицкой церкви Кирилла Тредиаковский женил старшего сына, певчего Василия, против его воли. Шел молодцу уже двадцать первый год, от избытка зрелых сил кожа на лице лоснилась, из носа ни с того ни с сего кровиха хлестала, а сочетаться совокуплением брачным с достойной девицей нипочем, дурень, не хотел. В духовенстве рано жения, ведь, коли не вступил в брак до положения в иерейский сан, быть тебе до конца дней бобылем. Разумеется, отец Кирилла видел своего старшего священником, которому по обычаю отойдет его небедный приход. Отец Кирилла полагал, что ждать того недолго, не потому вовсе, что ощущал тленное веяние близкой кончины, просто устал смертельно и плотью и духом, мечтал о постриге и тихом изживании остатных дней в блаженном покое монастырской обители. Отнюдь не скуден был его приход, а большая, многодетная семья о. Кириллы если не бедствовала, то сроду достатка не ведала. Другой бы поп благоденствовал на его месте — среди прихожан, помимо рыбаков и работной мелюзги, были люди весьма зажиточные: лавочники, владельцы стругов и неводов, средней руки купцы, подьячие, губернские канцеляристы. В попе у всех нужда: то венчание, то крестины, то освящение корабля, лавки или нового дома, то панихида — о. Кирилла не мог на боге наживаться, оттого и заслужил презрительную кличку: «дешевый поп». Хотелось верить, что, унаследовав отцу, молчаливый, затаенный, непонятный нравом первенец Василий будет не столь тороват и выдавит сок из прижимистой паствы. Тогда и вспомнят они «дешевого попа», щепетильного о. Кириллу, которому сейчас, дабы прокормиться с семейством, приходилось огород держать, а также яблоневый и виноградный сад.

Огород начинался сразу за домом и полого сползал к реке Кутуму, и, хотя мужчины семьи Тредиаковских вламывали там, не щадя живота своего, зареченскую землю пришлось отдать за долг в сорок восемь рублей Осипу Плохому, государева рыбного приказа ловцу. Бог шельму метит, не зря носил ловец осетров и стерляди поносную фамилию — ободрал, как липку, бедных людей за не больно важный и вполне терпимый при его недостатках долг. Тому уже три года, а семейство о. Кириллы так и не опра-

вилось, тем паче что оставшийся им огород кормил плохо. Засухи донимали. Из года в год, каждое лето пересыхала, трескалась и порошилась земля, и как ни бились о. Кирилла с сыновьями, не могли ее досыта напоить.

Но все же жили, не помирали, ели хлеб, а по праздникам — пироги с рыбой. И если свадьбу старшего сына сыграли на удивление скромно, то не от бедности — вполне по силам было самолюбивому о. Кирилле побогаче учинить праздник, да не лежала душа к щедрости, когда чуть не силком загнал сына под венец. Не хотел жениться, обалдуй, учиться хотел! Мало ему, что десять лет протирал штаны в школе католических монахов-капуцинов, а попал туда, уже грамоте зная, он в Киево-Могилянскую академию наладился и даже, тихоня скрытный, паспорт в губернаторской канцелярии получил. И словечка никому не сказал. Случайно канцелярист Волковойнов, что документ выправлял, на крестинах у судовладельца Фроликова о. Кирилле проговорился. Не то что проговорился, а поздравил с башковитым сыном, столь сильное к наукам тяготение имеющим, — думал, канцелярская душа, что с родительского соизволения тот в Киев отбывает! А разве можно, не спросясь родителей, паспорт выдавать? Сын зело еще юн, не может своим разумом жить. Знать, капуцины, продувные бестии, имели и при вице-губернаторе Кикине сильную руку. Сам-то Василий был до того прост и неловок, что никогда б такого не учинил...

Кирилла Третьяковский вовсе не был врагом образования, в юные годы он и сам почитывал отцов церкви, прикасался к Данилову велеречию, даже красноглаголивого Квинтилиана открывал, благо владел начатками латыни, но тяжкие семейные заботы рано оторвали его от книг и заставили жить ради хлеба насущного. Не видел он иной судьбы и для своего первенца. Ученость хороша, когда человек знатен и богат, как князь Дмитрий Кантемир, проезжавший с царем Петром через Астрахань в Персиду да и занедуживший здесь, а простому человеку она без пользы, даже во вред, ибо отвлекает от серьезной внешней жизни, набивает голову лишними, отягощающими мыслями, а то и вовсе губит. Слишком много узнавший бедняк беспрерывно или с круга спивается, или в ересь впадает или в крамолу, или из ума выходит. Попадались не раз о. Кирилле такие людишки, что, обожравшись непереваримой пищей книжной мудрости, превращались в блажененьких или чумовых. Бывали, конечно, счастливы, хотя бы знаменитый Никон, что из забытой богом Мордовии взлетел на патриарший престол. Так ведь у Никона, помимо великой учености, был еще особый талант к власти, к подавлению слабых человек и уловлению сильных, чего в собственном сыне о. Кирилла никак не просматривал. Но и Никон, до чего уж кряжист и могучен, а и тот плохо кончил. Перемудрил, сердешный, хотел от великого ума и познаний выше головы скакнуть и в заточение угодил. Конечно, при царе Петре простой человек мог на высшую точку взойти не

книжной ученостью — для того голландцы и немцы водятся, — а ратной доблестью, или особым дарованием в гражданских делах по части заводов и мануфактур, торговли и ремесел, или счастливым умением влезать без мыла в любую щель, втираться в доверие к власти имущим, что дает человеку самый быстрый и верный успех. Ни к чему перечисленному его бесхитростный и неуклюжий сын расположения не выказывал, был он начетчик, грамотей, книжный червь, и ничего больше. Не светила ему и блистательная судьба попа-пиита — хитролиса Феофана Прокоповича, ставшего столь близко к особе государя императора. Куда там! Стало быть, надлежит ему идти проторенным путем поповского сына и дурость ученую из головы выкинуть.

Прослышав о паспорте, о Кирилла твердой, привычной к лопате и мотыге рукой вразумил сына. Тот по обыкновению и не пытался оправдаться, молча снес наказание, отсморкал кровь, лишь в тускло-голубых глазах прибавилось сонной мути. Никогда не мог понять умевший читать в человеческих глазах о Кирилла — на исповедях обучился вылавливать истину в темени ускользящих зрачков, — о чем думает его первенец. Гонишь его на огород — книгу в сторону и послушно трусит к грядам; гонишь на виноградник или по иной надобности — та же безропотная покорность, но мнилось о Кирилле, что внутренним согласием сроду не отвечал ему сын. Не было в нем ни любви к родителям, ни жалости к братьям и сестрам; даже тихой, запуганной, безответной матери не уделил он хоть крохи душевного участия. В великую досаду о Кирилле был вечный заячий страх его жены, переходивший в болезненный ужас, стоило ей чем-то «не угодить» мужу. А ведь суровый, резкий, скорый на расправу о Кирилла не только сроду ее пальцем не тронул (сынов бивал, дочерям костяшками перстов в лоб тыкал, служкам рассыпал затрещины), но и голоса на нее не повысил. Как почуял в своей невесте, светленькой, беленькой, голубоглазой, до слез умильной, эту необъяснимую душевную робость, так и обьял ее, как мехом пушистым, своей добротой. Но знала тихая его жена, что есть в нем и другая душа: крутая, нетерпячая, ожесточенная худой жизнью, и, будто не веря надежности окутавшего ее тепла, вечно тряслась, не согреваясь. Видать, унаследовал Василий что-то от материнского кроткого, невольного и необоримого упрямства. Безмолвно подчинялся он отцовой воле, но правоты его не признавал. Отец Кирилла догадывался, что жена в тайниках души держит сторону сына; будь ее воля, она оставила бы Василия при его пустых и неустанных занятиях. Но тут ее воли не было, и о Кирилла беспощадно гнал сына то на церковные хоры, то в огород, то в сад, то на пасеку. И всю судьбу Василия решил он единолично, даже сам ему невесту подыскал — дочь сторожа Астраханской губернской канцелярии Фадея Кузьмина — Феодосию.

При невидном своем положении был Фадей Кузьмин человеком довольно зажиточным. Видать, умел он то, чего вовсе не

умел о. Кирилла, недаром же говорит народная мудрость, что не место красит человека, а человек — место. Кажись, чего стоит канцелярский сторож перед священником городской соборной церкви? Ан стоит! Фадей отвалил за дочерью такое приданое, что Тредиаковским и не снилось. Он хотел и на свадьбу денег дать, но о. Кирилла наотрез отказался: «Свадьбу в нашем доме играем, по нашим богаткам. А тебе ведомо, что не за княжича дочь отдаешь».

И странно, все вроде бы по воле о. Кириллы вышло: сын остался дома — при церкви и огороде, учению предел положен, уже и свадьбу назначили, а там само покатится, как по гладкому льду, но тревога и смута терзают душу. Не видел он мысленным взором сына священником и места своего преемником, никак не вырисовывалась приятственная эта картина. Порой ему казалось, что сын и вовсе в бога не верует, а если и верует, то на какой-то свой особый лад. Даже когда он пел в церковном хоре, мутно-голубой взгляд не оживлялся теплой верой, душа его отсутствовала в храме. Это причиняло немалые страдания о. Кирилле, но еще сильнее угнетало его в сыне другое: тихоня, послушный, безответный увалень с круглым невыразительным лицом, помеченным двумя бородавками, и плотным — где только нагулял жирок-то! — телом не был просто затаенным упрямым, а человеком одержимым. Вот что страшило о. Кириллу и заставляло сомневаться в прочности всех своих побед. Потому и свадебное торжество обставил он не по-русски скудно. Да будет ли толк из этого брака, верно ли, что охомутил он Василия, навсегда привязал к клочку нещедрой астраханской земли, где жить и жить Тредиаковским до скончания века, передавая от отца к сыну приход соборной церкви?

Но ведь редко владеет человеком какое-то одно безраздельное чувство, обычно рядом теплится другое, порой прямо противоположное. И в о. Кирилле, вопреки убежденности, коренящейся в большом и горьком душевном опыте, знании людей и смирении перед своей несчастливой звездой, таилась надежда, что все еще образуется и найдется управа на одержимого демоном бесцельного познания поповича.

Такой управой, хотелось верить, станет молодая жена Василия. Отец Кирилла знал Феодосию еще девчонкой — жили по соседству — голенастой, конопатой, сопливой; мелькала она ему и подростком, когда о существе женского пола вовсе судить невозможно: и в ангела, и в черта равно может вылиться зыбкий комок плоти. После Кузьмины переменили местожительство, Феодосия о. Кирилле более не встречалась, но краем уха он слышал от людей, не вникая в толки, что дочка канцелярского сторожа, войдя в девичий возраст, расцвела редкой, тонкой красотой. Однажды на улице о. Кирилле низко поклонилась девушка в пуховом астраханском платке, который она придерживала узкой белой рукой у горла. Отягощенный вечными заботами, о. Кирилла рас-

сеянно кивнул в ответ, но вдруг, повинувшись внутреннему толчку, обернулся и уставился ей вслед, что и для мирянина не больно пристойно, а для духовной особы вовсе дико.

Стройна до хрупкости, гибка станом, легка поступью, не то-ропливо семенящей, а плавной, летучей, и о. Кирилла пожалел, что не углядел ее черт. Но что-то помнилось — жаром на скулах, будто пронесли мимо самого лица горящую восковую свечечку, — взгляд мимолетно-пристальный ее ярких медовых глаз. «Не дочка ли это сторожа Кузьмина?» — осенило вдруг о. Кириллу, и странная печаль сдавила сердце.

Она самая и оказалась. Отец Кирилла сразу признал ее, когда года через два явился в дом Кузьминых. Конечно, она изменилась: сохранив деликатность сложения, уже не казалась хрупкой, непрочной, была в ней какая-то тонкая и ловкая сила. «Такую не задует, как свечечку, — с удовольствием подумал о. Кирилла. — Крепенькая!..» Чувствовалось, что узкая белая рука ее с длинными перстами ухватиста к любому предмету, будет ли то игла, печной рогач или мужний ворот. А личико на образ просится, такая чистота и строгость нежных черт, вот только взгляд медовых, золотистых глаз совсем земной: веселый, горячий, ласковый.

И поугрюмел о. Кирилла: с какой стати пойдет краса писаная Феодосия за его обалдуя, что ни наружностью, ни обхождением не взял, о богатстве же и говорить не приходится. Фадей Кузьмин заранее предупредил через разговорную женщину, засланную к нему на предмет прощупывания почвы, что породниться с семейством о. Кириллы почтет за честь, но дочь неволить не станет. Это объяснило о. Кирилле, почему Феодосия, завидная невеста, подзадержалась в девках. Конечно, к ней сватались, иначе быть не могло, но, зная, не по сердцу были ей женихи. Девушки, известно, разборчивы и, коли родительская воля не понуждает, готовы весь век выбирать и кобениться. Но чем может привлечь Феодосию вечный школяр, заучившийся до одури бедный попovich? Правда, был его Василий своего рода местной достопримечательностью — его отметил сам царь Петр, когда останавливался в Астрахани. Любящий собственноручно вникать в каждую малость, потребную, как ему мнилось, для русской пользы, Петр Алексеевич не только облазил все верфи, коптильни, солеварни, складские помещения, но и пожелал увидеть юных латынщиков. Изюм всех них царь удостоил вниманием одного лишь Василия. Заломив ему на лоб русский чуб, Петр долго вглядывался в мутно-голубые серьезные терпеливые глаза юноши и, толкнув его в лоб широкой дланью, произнес то ли в похвалу, то ли сожалеюще: «Вечный труженик!»

Никто не понял, что имел в виду царь-человекознаец, и о. Кирилла тоже не понимал: добро или беду сулит сыну цареву предсказание. Труженик — вроде бы хорошо, худо, коли бездельник, а «вечный» звучит приговором, значит, не будет ему отдохновения от трудов праведных, не вкусит он заслуженного покоя.

на склоне лет. Но это уже о другом, как-никак, а царева отметина легла на его сына. Правда, мало вероятия, чтобы двусмысленный знак царского внимания мог расположить к Василию незанятое сердце Феодосии. А впрочем, кто знает! Вон князь Кантемир, отставший от царского обоза по причине болезни, заинтересовался трудолюбивым юношей и велел привести к своему одру. Между свергнутым господарем молдавским и бурсаком состоялся долгая беседа, и, хотя князь никакого места Василию при своей особе не дал, тот сдружился с его домашним секретарем Иваном Ильинским, человеком в годах, большой учености и немалого веса. Может, и впрямь что-то было в нелепом Васье?..

Похоже, что было, — к великому удивлению и радости о. Кириллы, красавица Феодосия сразу ответила согласием на брак с его первенцем. «Я Васю еще мальчиком помню. Тихий, задумчивый. Сроду с ребяташками не дрался и не играл. Ни на кого не был похож и вроде таким остался». То была сущая правда.

Маленький, он от мамки ни на шаг, а как грамоте успел, так книжками от всего мира отгородился. Нехристианской злостью распался о. Кирилла, видя, каким рохлей, тьюфяком, бабой растет его первенец. В нем не было ничего мальчишеского. И постоять за себя он вовсе не умел. В школе католических монахов дети были как дети, зубрежка не мешала им возиться, драться, гонять голубей, купаться, рыбалить, а позже баловаться вином и табаком. Ни в чем таком сроду не принял участия Василий. Если его задевали, отходил в сторону, обиженно сопя, на тумак ежился, а получив по сопатке, задирали лицо кверху и терпеливо ждал, пока уймется кровь. А ведь не заморыш: широк в груди и крестце, с большими руками, окрепшими в огородной работе. «Чего ты сдачи не дашь? — вопреки евангельскому поучению о правой и левой щеке, донимал сына о. Кирилла. — Ты же пареш». — «Я не такой пареш», — тихо звучало в ответ. «А какой?..»

Сын приоткрылся много позже, уже юношей. Однажды в присутствии о. Кириллы он заспорил с одноклассником о смысле какого-то стиха Феофана Прокоповича. Предмет спора не интересовал о. Кириллу, но поразило упорство, с каким сын отстаивал свое мнение. Под его сокрушительным напором противник, добродушный лохмач, быстро растерял все позиции и мечтал лишь о почетном отступлении. Но, не щадя самолюбия друга, Василий топтал его ногами, требуя полной капитуляции. В нем не ощущалось ни торжества, ни злорадства, но то, что он отстаивал, было для него важнее и дороже всех дружб на свете. Без колебаний мог он пожертвовать единственно близким человеком ради нескольких рифмованных строчек, пропади они пропадом! Вот тогда-то нашлось у о. Кириллы еще одно слово для сына кроме «одержимости» — «избранность». Люди живут по случаю и обстоятельствам, по обычаям и правилам, по указке старших или по выгоде и еще по чувству, а Василий, похоже, находится в ином подчинении, и житейские уставы не властны над его душой.

К чести душевной трезвости о. Кириллы, он недолго задержал сына на горней высоте, куда того вознесло тайное родительское честолюбие, тлеющее под душным навалом нужды и разочарований. Избежав соблазна даже мимолетной надежды, он сразу вернул сыну обычные прозвища: «обалдуй», «недотепа», «балбес», «книжный червь». Но вот на него пахнуло не привычным — густым, едко воньким от рыбы, соли, кож астраханским воздухом, а благоуханным веем ангельских крыл. Освежающий этот ток родился в нечаемом и необъяснимом согласии Феодосии. Знать, был некий свет за широкими плечами сына, если чудесная девушка готова связать с ним свою судьбу.

Все было проще, нежели мнилось о. Кирилле. Наделенная ясным разумом и прямой душой, Феодосия знала, что пришла ее пора, ей надо замуж, если она хочет прожить добрую женскую жизнь. Нет ничего жалостней и ничтожней застарелых дев, а угроза одинокого векования уже нависла над ней. Ей нужны любовь и ласка и самой нужно изливать на кого-то свою нежность. Быть только нежной тятенькиной дочкой она уже не может. Но сватавшись к ней молодые люди отвращали ее или ранней порчей, написанной на притворно постных рожах, или алчным юношеским вожделием. Нечистота помыслов хорошо уживалась с косноязычием, томительной мозговой ленью, запахом табака и сивухи. Случались среди искателей ее руки и ражие, смекалистые молодцы с хорошо подвешенным языком, но пугала их ранняя самостоятельность и уверенность в себе. Феодосии хотелось подчиниться мужу, все делать для него, ноги мыть и воду пить, но лишь по собственному усмотрению. Лаской и добротой из нее можно веревки вить (так поступал и собственный батюшка), но против малейшего понуждения, нажима ее кроткая и сильная душа мгновенно восставала.

Она с детских лет расположилась к тихому, безответному поповичу. Встречался он ей и в более поздние годы, ничем не испортив впечатлений о себе. Нравилось и его пристрастие к книгам, хотя сама она, зная грамоте, читать не любила. Да и внешность Василия не была ей противна. Конечно, без бородавок лучше, но куда их денешь, коли бог наслад, а так он кожей чист, скроен ладно и крепко, и покоем веет от крутого просторного лба. Она знала, что сможет легко привыкнуть к нему и даже полюбить чистого и задумчивого человека.

Прими сын хоть с каплей благодарности известие о своей женитьбе, и о. Кирилла завернул бы такую свадьбу, какой еще не видывали в астраханском духовенстве. Ничего бы не пожалел, дом с участком пустил бы в заклад, а семью — по миру. Но Василий всем своим паскудно-смирненным видом как бы говорил: воля ваша, батюшка, коль прикажете, женюсь хоть на чумичке, хоть на метле. Ишь, гусь! Старик отец высмотрел ему такое диво дивное, чудо чудное, а он рыло воротит. Ну, раз так, то нечего фейерверки жечь. Справим по-бедному. Конечно, всякого брашна

наготовили вдосталь, не бывает иначе в русском православном доме, и напитков хватало: Яков, младший брат Василия, столько зелия в себя принял, плясая на новобрачную, что под стол скатился. Его уволокли, и свадьба продолжалась тихим, степенным манером. И все же навсегда запомнился о. Кирилле этот скромный праздник как божий подарок, как самое красивое, что было на его веку. И причиной тому — молодая. До того хороша, ангелоподобна была она в белых своих одеяниях, — жаль, что реющую облачком над нежной главой фату сняли после венца, — пленительна каждым небыстрым движением, и так блестяли ее золотисто-медовые очи, так доверчиво и нежно приоткрывались в полуулыбке розовые уста, что молодое сердце старого попа плакало от неизъяснимого и печального восторга.

Он все время, еще с церкви, ревниво и недобро наблюдал Василия. И уловил мгновение, когда этот истукан дрогнул, прижмурил свои мутные глаза, будто их ослепило. Невеста коснулась его руки, надевая кольцо, и он в грозной близости увидел ее источающее свет лицо. Но тут же снова впал в сонную одурь, послушно и вяло делал все положенное, а за свадебным столом вел себя так, будто по обязанности замещал кого-то запозднившегося. И когда кричали «горько», он всякий раз оглядывался, ожидая, что явится тот, чье место он занимал за столом, и получит следующее по праву. Но никто не являлся, и Василий, подавив вздох, деревянно поворачивался к молодой. Она уже ждала, доверчиво и грациозно протягивала сложенные ковшиком ладони, брала в них его лицо и, вытянув губы трубочкой, целовала в краешек рта. Отец Кирилла остро завидовал сыну и клял его на чем свет стоит за холодность.

А Василий не то чтобы оставался холоден к прелестной девушке, возникшей словно из воздуха и нареченной его женой, он просто не верил в свою причастность свершающемуся. Батюшка затеял очередное дело, кажущееся ему выгодным, сколько уже таких дел было: то землицы под сад и бахчу подкупит, чтоб вскорости за полцены спустить, то пай на невод приобретет, подгадав под сезон, когда осетры перестают ловиться, то стащит муки скопленные гроши какому-нибудь оборотистому коммерсанту, прогоревшему в пух и прах, о чем ведомо всем астраханцам, кроме умного, истинно умного, но безнадежно попутанного горячим, заносчивым нравом о. Кириллы. И это его предприятие: женить сына, намертво привязать к Троицкой церкви, огороду и саду, ко всей здешней темной и грустной жизни — тоже прогорит, как все другие прожекты. Ведь должен Василий учиться, должен все узнать и понять про слова. Зачем ему это нужно, Василий никогда не задумывался: зачем дышать, есть, воду пить. Просто без этого человек не мог бы жить. А ему еще одно условие невесть кем наказано: знать все про слова. Это не такая уж редкость: обязанные чему-то люди по всему свету водятся. Они не могут жить просто так: кому надо кистью по холсту или дереву

водить, кому над природой вещей думать, кому травы на лекарства собирать, а есть такие, что всю жизнь философский камень ищут, или вечный двигатель ладят, или тщатся человеку крылья приделать, или сохранить для будущего шум своего времени. А лиши их этого, захиреют до полного изничтожения.

К тому же не мог Василий допустить, чтобы Феодосия ему принадлежала, что слова «Муж и жена есть плоть едина» относятся к ним. Неужто пойдет он с ней в спальную комнату, разделется, явив все непотребство своей наготы, ляжет в одну постель и совершит то стыдное и тайное, что нередко являлось ему в бессоннице томительными весенними ночами? Об этом и подумать страшно. Не смеет он к ней прикоснуться. Господь не допустит. Верно, и батюшка предусмотрел в житейских своих расчетах, чтобы не вышло поругания чистой голубице. Потому и не пытался он быть нежным, даже просто внимательным к молодой, хоть и выполнял все по обряду требуемое и даже касался ответно сухими губами горячей глади щеки и живого влажного краешка губ. На протяжении всего застолья держал он душу на леднике.

Лишь раз оттаял Василий, когда приведенный секретарем Ильинским пожилой седовласый господин из свиты князя Кантемира, собирающий по окраинам русской державы обрядовые песни, народные сказания и легенды, попросил разрешения спеть свадебную песню, которую он записал у поморов. Надо думать, что и сюда этот господин забрел в надежде услышать новую песню, но тихо было на свадьбе певчего.

Известно, заметил гость, что все свадебные песни поются хором. Я же исполню эту величальную единственно для ознакомления с обычаями северных народов. И завел приятным, в меру высоким голосом:

Уж как кто у нас в пиру хорош,
Уж как кто у нас в пиру пригож.
Как хорош новобрачный князь,
Новобрачный князь Васильюшко,
Что Васильюшко Кириллович.
Его личико — белый снег,
Его щечки вроде алый цвет,
Его брови-то черна соболя.

Истинно, персона моего сына, злобился о Кирилла. Что личико, что щечки, что бровки — с него писано. Он понимал, что это общие, от века заложенные в величальную приметы образцового жениха, а не данного человека, но не мог унять раздражения. Тут к певцу пристали, чтобы спел величальную и новобрачной. Он не заставил долго себя упрашивать:

У сизого голубя
Золотая голова,
Что ль у сизой у голубки
Позолоченная,
Разным шелком, разным шелком

Перестроченная.
Кабы это же, братцы,
Жена была моя,
Я бы в лете, я бы в лете —
В золотой катал карете...

«О, да!.. Лишь золотая карета по чину ее красоте. Золотая и бриллиантовая!» — стонало в груди о. Кириллы.

— Отец Кириллы, — услышал он испуганно-укоризненный шепот жены, — очнись, родной! Не ты же, кормилец, женишься!

Впервые за их долгую жизнь жена осмелилась подать голос, да еще с укоризною. Одернула, голуба душа, своего грозного повелителя. Хорош он, нечего сказать, если такое бесхитростное существо проникло в его тайные думы. Чем же он себя выдал?.. А может, вовсе не так уж бесхитростна кроткая его спутница и много чего углядывает из своей мышинной норки? А ну, благочинный, возьми себя в руки, а главное — прочь глаза от новобрачной. Спокой и прости мя, господи! Ты же знаешь, не гнусное вожделение, а восторг и печаль владеют моей усохшей, но все еще живой душой. Господь все поймет, а людям, даже близким, разве чего объяснишь? И медленно, с усилием он увел взгляд от новобрачной.

А Василий впервые за все свадебное застолье оживился, даже алые розы расцвели на белом снегу личика. Он о чем-то говорил, похоже, спорил с господином Ильинским и собирателем народных песен. Надо же, чего себе позволяет с важными учеными господами вчерашний школяр, а те не осаживают наглеца, с вниманием, даже интересом слушают. Не больно складно излагает свои мыслишки сын, запинаясь, мычит, подыскивает слова. Уж если полез в серьезную беседу с людьми старше тебя и годами, и положением, то хоть знай, баранья голова, что ты сказать хочешь, и не мямли, не мычи, не вякай, а сыпь горохом. Но снисходительных собеседников Василия, видать, и косноязычие его не сердит, слушают, поигрывая бровями от внимания, важно кивают. Ну-ка, о чем они там гуторят?

— ...который раз подмечаю, — говорил Василий, — в подлом стихотворении куда больше распевности, нежели в виршах самого Феофана Прокоповича.

— Народное стихотворение и есть песенное. В ином роде и не существует, — улыбнулся господин Ильинский.

— А не есть ли всякое стихотворение — песнь? — с удивленным и поглупевшим видом изрек Василий. — Не то что есть, а быть должно?

— Неужто высокая поэзия в нравоучительном или одическом роде нуждается в пении? — чуть высокомерно заметил господин Ильинский.

— Конечно нет! — смешался Василий. — Я о другом... Вот чувствую, но выразить не умею...

«А не умеешь, так не суйся. Сиди и помалкивай!» — гневно прокатилось в о. Кирилле.

— Родимец, — услышал он тихий, как шелест травы, голос жены, — ты бы поласковой на Василия глядел. Волчье у тебя в очах, нехорошо!

Отец Кирилла чуть не плюнул с досады. Что это накатило на нее — мужа одергивать? Откуда такая отвага? Может, в сыне женатом и невестке опору себе зрит, бедная? Да бог с ней. А вот с ним самим что дется, что за бури сотрясают его нутро? Он приложил руку ко лбу, загородился широкой кистью.

— ...думается, тут дело в разности методы, — рассуждал Василий. — Силлабическая поэзия лишь равные количества слогов в строке требует, а в народной иное благозвучие заложено.

— Сия, с позволения сказать, поэзия нища рифмами, — строго сказал господин Ильинский.

— Ой ли? — вмешался собиратель песен. — И в народной поэзии рифмы наихитрейшие встречаются. Чаше рифмуются концы стихов, но бывают рифмы и в зачине, и в середине, когда делят стих на полстишья.

— Не о том речь! — дерзко встрял Василий. — Что, если благородному силлабическому стихотворению напевность народной поэзии сообщить?

— Вот и попробуй, — добродушно посоветовал гость. — Может, новую методику откроешь.

— Горько! — неожиданно для самого себя грохнул о. Кирилла...

2

...Они долго лежали без сна по краям широкой и до смертного ужаса узкой брачной кровати, случайное движение — и враз скатишься в жар чужого страшного тела, в прохладных поначалу, а сейчас горячих влажных простынях, головы тонули в раскаленных подушках. Из приоткрытого оконца тянуло солоноватой свежестью, но остуды не приносило.

Василию хотелось пить, он не привык даже к малым дозам зелия, и пересохший рот саднило; кадушка с квасом и плавающим поверху ковшиком была заботливо поставлена матерью к изголовью с его стороны, но он не решался рукой шевельнуть. Шершавым языком он облизывал губы и небо, это не приносило облегчения. А голова ясная, хмель улетучился сразу, как только встали из-за стола, и он вдруг понял, что все свершается всерьез и сейчас их отведут в спальню и оставят одних, глаз на глаз в темноте, просквоженной желтым огоньком лампадки и слабым светом звезд с черного, еще не родившего месяца апрельского неба.

— Ну, что же ты? — Шепот разорвал тишину набатным боем.

Василий слышал частое, легкое дыхание Феодосии, слышал комаринный гуд и скрежет жука-древоточца, какие-то далекие голоса за окном, мерный скрип плохо закрепленной ставни, таинст-

венный переговор половиц старого дома, где, казалось, ночь напролет кто-то бродит по всем покоям.

— Так и будем лежать? — с мягкой укоризной прошептала Феодосия. — Ведь я жена тебе, Вася. Нас господь бог соединил.

— Чего тебе? — сипло, сквозь пересохшие губы выдавил Василий.

— Вот те раз! — Она засмеялась. — Еще спрашиваешь! Неужто ты такой глупый, не знаешь, зачем люди женятся?

— Я не умею, — пробормотал Василий.

— Милый ты мой! — сказала она певуче. — А разве Адам с Евой умели? Да ведь не зря же господь бог их из рая выгнал. Сумели, значит. Ляжь поближе.

Но Василий не пошевелился, зная наперед, что все это пустое, он не осмелится ее тронуть, а и тронет, так без толку, и от жалкой, подлой слабости своей заплакал. Сперва тихо, зажимая рот рукой, кусая пальцы, чтобы болью телесной прогнать другую боль, а потом громко. Он уткнулся лицом в подушку, спина его тряслась, и он не сразу почувствовал, что Феодосия сама прилегла к нему. Она обнимала его, успокаивала; с неожиданной в ней силой разжала его руки и подолом рубашки утерла ему слезы и даже нос, как мальчишке, высморкала, а потом сняла с себя эту мокрую рубаху и бросила на пол. Она положила его голову к себе на грудь, вдавилась в него, заполнив собой каждую впадину его скрюченного тела, и он ответно стал проникать в нее, дрожа крупной дрожью и вместе успокаиваясь. Вновь вспомнилось: жена и муж есть плоть едина. Теперь он понимал эти слова, ибо уже сам не различал, где он, где она, где его рука, где ее рука, где его нога, где ее нога. И она сумела скрыть, что ей больно, он только утром, увидев окровавленную простыню, понял, как сильно повредил у нее внутри, а она и виду не показала, стона не издавала, зубами не скрипнула, только трудилась ему навстречу, помогая его грубым и неумелым усилиям. И еще он понял утром, что ей уже не больно, а сладко и счастливо, как и ему, она ищет соединения, и они воистину плоть едина.

В эту первую брачную ночь, в боли, крови, с зажатым в груди криком Феодосия во всю свою большую душу полюбила Василия, полюбила той огромной, святой, преданной, самоотверженной и безоглядной любовью, на какую только способна русская женщина.

Она получила, что хотела: чистого, не облюбленного другими, не знавшего чужих прикосновений, чужих губ, свежего и сильного в сохранности своей, целиком и неделимо принадлежащего ей человека. Под утро распелись птицы. Розовым светом облило оконце. Они были смертельно усталы и счастливы.

Их никто не будил до самого вечера. Отец Кирилла запретил тревожить молодых. Он ликовал, разом простив сыну все его дурацкое поведение во время сватовства, венчания и свадьбы, тупую утрюмость, неблагодарность родителю. Ведь тут не было душевно-

го изъяна, никакой порчи, просто еще не проснулась в нем плоть, в оболочке взрослого человека пребывал младенец. Но одна ночь превратила младенца в мужа. Недаром о. Кирилл так верил в хрупкую Феodosию, sprыснула она его сына живой водой любви. Теперь небось наладится на серьезную жизнь, навькнет отвечать за жену и будущих детишек. И при мысли о внуках, которые не заставят себя ждать, коль молодая так рьяно взялась за дело, о. Кирилл чувствовал, как плавится в груди застарелый твердый ком, давивший на сердце. «Скоро и тебя женю, — пообещал он младшему сыну Якову, — а тебя замуж выдам», — старшей дочери Марье. У него легкая рука на устройство брачных дел, он хорошо и надежно пристроит всех своих детей, и большой дружной семьей они подымутся из нужды. Ну, а кто захочет своим домком жить, милости просим, неволить не станем, и в умалении семейства есть своя прибыль. На радостях о. Кирилл, хоть стояла самая горячая пора и в огороде работы невпроворот, решил не трогать Василия, пусть насладится молодой женой до полного опустошения. Ну, а ему и Якову придется приналечь. Что и было сделано по одолению малого бунта Якова, пришедшего в ярость, что ему придется вламывать и за старшего брата, пока тот нежится в постели.

Только на четвертый день сподобились молодые посетить согласно обычаю отца молодой, но самолюбивый Фадей не выказал обиды, обрадованный счастливым видом дочери. Феodosия светила радостью, у нее расцвел рот, расцвели глаза, округлились груди, окреп стан и все тело налилось, хотя питались они с мужем, подобно старцам-пустынникам, водой и акридами, не притрагиваясь к вкусным кушаньям, которые готовила попадьа. Иной насыщали они голод, ибо поистине: не хлебом единым...

А вернувшись домой, снова уединились, но ненадолго, через день-другой свежий голос молодой зазвенел в горницах. Толково и понятно расспрашивала она женщин дома о хозяйственных делах, отыскивая себе в них место. А Василий свет Кириллович почти не показывался, не мог, видать, расстаться с брачной комнатой. Слушал весенних птиц, мечтал да потягивался, пил холодный сухарный квас с изюмом и нетерпеливо поджидал возвращения жены. Так, во всяком случае, представлялось обитателям попова дома. Да так оно до поры и было. Феodosия проникла в него, расширилась, заполнила собой всю емкость его существа. Ни с кем и никогда не будет ему так счастливо, и чего еще желать бедному человеку? Прост и прям расстилающийся перед ним путь: он станет священником, по примеру отца будет славить господа бога, пестовать людские души, возделывать сад и огород, растить детей. Он обучит их всему, чему сам не успел обучиться, и в назначенный срок покинет этот мир, совершив положенное человеку. Все ли совершив?.. Да, если не ставить себе иных, посторонних целей. Но ведь он-то ставил. Он хотел знать, все знать о низании слов в стихотворные строки, ему мерцало что-то

новое, русской поэзии неведомое. Неизвестное нынче, а завтра, глядишь, и станет ведомым. То ли станет, то ли нет, а уж коли и станет, так не его трудом, а усилием ума и души другого бескорыстного человека. Но ему не хотелось, чтоб этот другой человек сделал его работу, как не хотелось, чтобы другой человек обнимал Феодосию.

Но все это были лишь слова, которые он проборматывал, слоняясь по маленькой спальне под пение птиц и гуд майских жуков, пока Феодосия вникала в хозяйственную жизнь дома, и горечь их истаявала без следа при одной мысли, что жена скоро вернется и прильнет к его груди. А если уж слишком невольно становилось, он бросался на кровать, зарывался лицом в подушку и вдыхал тонкий запах ее волос с такой жадностью, что заходило сердце.

Однажды, уронив руку с кровати, он нащупал на полу, у стенки, маленькую затрепанную книжку. То ли сам занес ее сюда в далекие отроческие дни, когда искал уединения в большом, набитом людьми и заботами доме, то ли сестры запрятали по баловству. От старой книжки пахло пылью и тленом, сохшиеся листы пожелтели. Овидий. «Превращения». Когда-то он не расставался с этой книжкой, видя в ней образец мудрости и словесной красоты. Но из книг вырастаешь, как из одежды. Зачем ему дремучее переложение на русский римских стихов, когда он, лучший латинист католической школы, мог наслаждаться музой Овидия в подлиннике, а равно Катуллом, Горацием, Теренцием... Монах Марк-Антоний, обнаружив в нем редкую память и прилежание, порядком натаскал его в греческом, которому в школе не обучали. Он владел не только древними языками, свободно читал по-итальянски и неплохо по-немецки и по-французски, без последнего вообще невозможно причаститься сегодняшней поэзии. Ныне ее средоточие во Франции, как некогда в Древнем Риме, а в средние века во Флоренции. И, уносясь горячей юношеской мыслью в горные выси, он мечтал пересадить благоуханные цветы французской поэзии на русскую почву. Он и вообще легко воспламенялся от чужого огня. Быстро схватывал чужую мысль и мог не просто передать ее словами родного языка, но и развить, расширить, украсить чем-то своим, что без толчка извне дремлет на дне души. Но сейчас все эти горделивые мысли истаяли дымом. Надо раз и навсегда выкинуть из головы тревожащие имена поэтов и философов, они ни к чему будут попишке-огороднику, примерному мужу и отцу многочисленных чад. Заутрени, обедни, вечерни, престольные праздники, крестины, свадьбы, отпевания, поминания да исповеди — вот предстоящая ему до исхода жизнь, а Священное писание — единственно потребная книга. Не надо обманываться на этот счет, об ученых занятиях себе в усладу и думать забудь, не по плечу они недоучке, умственному недорослю, ему бы еще учиться, напиваться чужой мудростью. Вот какова плата за жаркие сладкие ночи!

Милая, нежная, ласковая Феодосия одним движением белого плеча повергла в прах Гомера и Овидия, Данте и Тассо, Ронсара и Фенелона. Но тленный запах старой книжки пробудил в нем смертную тоску по свергнутым кумирам, прежнюю саднящую жажду все узнать, а узнав, выговорить свое, пока еще смутное, но чаемое как будущее свершение. Надо бежать, сейчас же бежать, ибо с каждым днем это станет труднее. Кроткая власть Феодосии над ним крепнет с каждым днем, и настанет время, когда он не сможет бежать, и тогда ему конец. Он не создан для тихого счастья медленно и неприметно текущей жизни. Можно долго обманываться, но когда-нибудь он поймет, что променял душу на мягкую постель и остывающее с годами женское тело, и тогда он или руки на себя наложит, или сопется с круга и станет самым несчастным и ужасным человеком на свете, и людям будет страшно на него глядеть. Он не отказывается от Феодосии, вернее, отказывается лишь на время, когда станет тем, кем стать должен, тогда он вернется за ней. Но странно, этому последнему почему-то не верилось. Он знал, Феодосия будет его ждать, сохранит верность, знал, что не полюбит другую женщину, и столь же твердо знал, что уход его навсегда. Но все это в будущем, за дымкой лет, а сейчас перед ним одно: суметь уйти. Надавав сыну оплеух, о. Кирилла не удосуужился отобрать у него паспорт, документ — что вольная, беглеца нельзя схватить по родительскому требованию и силком вернуть домой. Он уйдет в Москву, поступит в Славяно-греко-латинскую академию, по старинке называемую Законоспасским училищем. Прежде он метил в Киево-Могилянскую академию, но господин Ильинский считал московское заведение, которое и сам кончил, более подходящим для русского юноши. В Киеве силен ляшский, католический дух, а Москва — оплот православия, сердце России. Да и разыскивать его начнут конечно же в Киеве, куда он раньше собирался, а, не найдя, глядишь, и поостынут.

Вертя в руках полуистлевшую книжицу, Василий обнаружил, что по-деловому прикидывает возможности своего бегства, и понял: решение его бесповоротно. Он лег на кровать, прижался лицом к подушке, хранящей запах волос Феодосии, и тихо, из глубины нутра заплакал.

А потом встал, оделся, ополоснул лицо и ушел в город. Здесь его поступки отличались такой точностью, будто он всю жизнь провел в бегах. Он сразу направился на пристань, узнал, что в начале июня в Москву отправляется артиллерийская команда в семь-десять человек, до Саратова — водным путем, дальше по сухопутью. На лучшее и рассчитывать нечего — с военными людьми он был в безопасности от гулявших по волжским берегам разбойников. Он быстро сговорился с хмельным, добродушным артиллерийским капитаном, обожавшим просвещение, показал ему свой паспорт, пусть не думает, что с беглым связался, подмазал тоже хмельного, но грозного каптенармуса, дабы кормил его от солдатского котла, и уже не сомневался, что благополучно до-

стигнет первопрестольной, не сгнув ни от голода, ни от ножа лихого человека...

...Ушел он из дома на рассвете. В мешок сунул лишь две рубашки, чулки, бритву и связку любимых книг. Праздничное платье, шубу и часы позолоченные — свадебный подарок — оставил Феодосии, невелико подспорье, да ведь в семье не пропадет. Пропасть куда проще ему, но он за себя не боялся. Когда он писал ей прощальную записку, Феодосия почувствовала сквозь сон непривычную пустоту кровати, застонала, потянулась к мужнину месту, но сморилась, не завершив движения, — весь день на огороде наравне с мужиками ломалась, и вновь задышала глубиной сна.

Замерший в испуге, Василий понял, что она не проснется, дописал записку, наклонился к жене и почувствовал, вместо прежнего тонкого аромата, запах пота и земли. Вот так бы выветрился и аромат их юного чувства, замесившись спертым духом обыденности. Спасительная мысль, а легче не стало. Он не ждал, что ему будет так больно. Слово спицу воткнули в грудь — дышать трудно. Как же сильно связал их медовый, истинно медовый месяц! С этой болью он выбрался в сад, твердя про себя: может, остаться, остаться, пока не поздно!.. Ему почудилось, что скрипнула оконная рама. Сейчас его окликнет, удивленно и доверчиво, родной голос не ждущей от него подлости Феодосии, и тут Василий совершил такой скачок, которому позавидовал бы горный козел. Какая там спица в груди — он перемахнул через ограду, промчался пустынными улицами, скатился под гору и лишь у пристани очухался, поняв, что ему померещилось. Артеллеристы уже грузились на струг, вяло и ненужно перематюкиваясь в тишине зарождающегося божьего дня.

Последние минуты расставания с городом не были горьки Василию. Он спокойно смотрел на струги и рыбацьи баркасы, грудящиеся у пристани, на пакгаузы и склады, на развешанные для просушки сети, поблескивающие рыбьей чешуей в ячеях, на жирных чаек, кружащихся над нечистой, вонькой водой; не откликнулась душа его крестам и куполам городских церквей, слепяще вспыхнувшим под солнцем, взмывшим в бледное высокое небо голубиным стаям. Думать о Феодосии после умопомрачительного козлиного прыжка было как-то неловко. Порой наплывало грустное лицо матери, он смахивал видение, как слезинку. Не хотелось власти над собой тех, кого он оставлял. Он уже принадлежал Заиконоспасскому училищу, Гомеру, Данту, Фенелону...

Диковатый по жестокой отваге поступок Василия Третьяковского, путившегося в бега прямо из брачной постели, был далеко не редким явлением в тогдашней России. В пору петровских преобразований в бегах находились многие российские юноши. Бежали от двойного гнета непривычной дисциплины и непосильной учебы дворянские сынки из навигацонных училищ, куда их загоняли силком, с кровью вырвав из теплого родительского гнезда; бежали чада церковнослужителей и подьячих из духовных школ и академий, не желая в деятельное, практическое время связывать жизнь с религией; бежали от морской и военной службы, от всякого рода научения недоросли разных сословий; бежали от барского произвола и соединялись в лихие шайки, памятуя о славных днях Стеньки Разина, казненного близ Лобного места в Москве, но воспетого в песнях, крестьянские сыновья. Но было наряду с этим и другое. Бежал, повторив судьбу Третьяковского, своего будущего коллеги по академии и заклятого врага, с далекого Севера в то же Заиконоспасское училище упрямый помор, слава и гордость русской науки и всех искусств Михайло Ломоносов. Бежали из теплых семей на муку образования, полуголода, изнуряющих запретов и муштры будущие ученые, первооткрыватели новых земель, поэты, художники, военачальники, флотоводцы, великие сыны России, созидатели ее мощи и славы.

Само собой разумеется, что брошенная жена и родные астраханского беглеца не могли воспринять постигшее их несчастье в широкой исторической перспективе. Феодосия, опаматовавшись от своего провального сна, нашла оставленную мужем записку, поняла, что Василия больше не будет при ней, пронзительно закричала и лишилась чувств. Ей долго терли виски уксусом, но лишь впущенная сквозь стиснутые зубы капля смолистого вещества, добытого свекровью из кованого сундучка, вернула бедную женщину к разуму. Казалось, в беспомощности в ней произошла какая-то работа, помогшая осознанию случившегося: очнувшись она другой — тихой, сосредоточенной, спокойной, будто просветленной. Она и сама не постигла, что с ней произошло. Утратив окружающее и самое себя, она вроде бы продолжала читать и перечитывать записку мужа, пока не запомнила ее наизусть и не проникла в ускользнувший поначалу смысл. «Не от тебя бегу, а от себя такого, каким стал под отцовою рукой. Пока не обрету всех нужных знаний, назад не вернусь. Прости, коли можешь. А искать меня не надо. Будет воля божья, свидимся в свой час. Али сам приду, али вызову тебя к себе. Твой муж Василий».

Твой муж... Он не бросил ее, не оставил, по-прежнему он ее муж перед богом и людьми, только уехал учиться, как другие мужья уходят в море или на войну, на покорение дальних земель или по государеву повелению в чужие страны служить службу России. Василию Кирилловичу никто такого повеления не давал,

кроме его собственной души, а это веление не слабше государева. И раз ему это надо, — значит, так должно быть. И нечего убиваться и слезы лить, она должна ждать, держать для мужа его место свято, все устроить так, чтобы по возвращении странника его ждал обжитой дом, уют и достаток. Конечно, ей будет одиноко, особенно по ночам, она так привыкла к его теплу, ласкам, чуть прерывистому дыханию. Но она с этим справится, ведь сильная.

Феодосия так быстро обрела себя, даже повеселела, что домашние диву дались, а Марья, старшая из сестер сбежавшего, укор бросила: «У, бесчувственная». — «Дура ты, — вздохнув, сказала мать. — Она сберечь себя для мужа хочет. — И, перекрестив сноху, добавила: — Так и держи себя, дитятко». — «А вы, маманя, вроде бы ждали, что Васька удерет», — заметил Яков, отличавшийся странной остротой при всей своей недалекости. «Ждать не ждала, но допускала», — тихо отозвалась старушка. «То есть это как ты могла допускать?» — загремел о. Кирилла. Оглушенный побегом сына, он впервые отверз уста. Жена почему-то не испугалась, ответила чуть ли не свысока: «А вот так! Чужой у него глаз был, не тутошний». — «Что ты мелешь, глупая?» — «Ничего не мелю, милостивец, я ж его в себе носила, нутром всего чувствую». — «А молчала зачем?» — выверился о. Кирилла. «Да нешто кто бы поверил? И так в дурах хожу, тут бы и вовсе засрамили. А ты жди, доченька, жди...»

И Феодосия принялась ждать. Ох, нелегкая работа — ждать! Феодосия сразу почуяла это своим прозорливым сердцем. Надо сказать, что прозорлива Феодосия была лишь к себе самой и к людям с чистой и светлой глубиной, там же, где начиналась чело-вечья муть, копоть и мгла, она теряла зоркость. Но про себя самое она все доподлинно знала. Так, она знала, что должна нагру-зиться заботами по маковку, чтобы не оставалось сил на тоску и одинокие думы и сон был бы без сновидений. Пусть к возвраще-нию Василия Кирилловича его ждет собственный дом с чистыми, красиво убранными горницами, с полными закромами и набитыми кладовыми. Он увидит, какая она умелая и хозяйственная, не растерялась, не растеклась мутной жижей, как сугроб в марте, а соблюла себя для любимого и место его соблюла. Нельзя ей быть худой, бледной, с маленькими заплаканными глазами, он разбу-дил в ней цветенье женщины, и да продолжится оно лишь силой ее любящей памяти. Она будет следить за собой, умываться рос-ной влагой, сохраняющей гладкость кожи, есть сытно и сдобно, хоть кусок не лезет в горло, нарядно одеваться по праздникам, это тоже сохраняет молодость женщине. Те три-четыре года, что продлится его учение, должны пойти ей впрок, а не в убыток. Небось Василий Кириллович в Киеве, Москве али Питербурге — куда занесет сердешного? — насмотрится на писаных красавиц, и нельзя, чтобы собственная жена показалась ему чумичкой.

И Феодосия вновь заулыбалась людям, как в пору своего не-

долгого счастья, вновь стала со всеми приветлива и обходительна. И, пытаясь ободрить приунывших домашних, все твердила: «Да вернется он. Непременно вернется!» На что о. Кирилла только хмыкал и отводил черные зло-печальные глаза, Яков пренебрежительно усмехался, сестры брезгливо рожки корчили, и только старая попадья чуть слышно шептала: «Верь, доченька, верь!..»

Феодосию огорчало изменившееся отношение о. Кириллы. Прежде она чувствовала, что любя своего грозному свекру, и это радовало. Она любила, когда ее любили. Но сейчас между ними будто стена выросла. Она не знала за собой вины, уж если искать виновных, то скорее ТрEDIAKОВские заслуживали упрека. Им бы заглянуть поглубже в душу своего Васи, прежде чем сватовство затевать. Недозрел он до семейной жизни, куда ему в мужья — школяру недоучившемуся, незачем было его и неволить. Ему бы изучить сперва все науки, утишить зуд познаний, тогда стоило бы и о женитьбе подумать. Но с ним никто не считался, у о. Кириллы были свои расчеты, весьма справедливые и дальновидные, да уж больно далече обратил он взгляд, а что под носом, того не углядел. Матушка углядела, да она голоса в семейных делах лишена. Нет, лучше уж не искать виновных, а сомкнуться душами в общей беде, перетерпеть лихо, и стыд, и молчаливые упреки соседей, и все иные тяготы, но не чувствовала она поддержки ни в ком из домашних, кроме бессловесной матушки, лишь отчуждение и недоброехотство.

Отец Кирилла куда как твердо определил для себя виновного в позоре, обрушившемся на семью. Этим виновным была Феодосия, в чью силу прелести он слепо поверил и просчитался, как последний дурак. Отец Кирилла отлично понял сказанное женой, он просто комедию ломал, изображая из себя кругом обманутого человека. Он и сам все время нутром чувствовал ненадежность покорной манеры Василия, но не принял никаких мер. А увидев Феодосию, вовсе распустил губы, сразу уверившись: эта охомукает Василия, сделает из него мужа, отца, добытчика. И все, что последовало за свадьбой, укрепляло его веру. Он гордился своей прозорливостью, житейским опытом, знанием людей, и в какую же грязную лужу усадил его негодник сын! Отец Кирилла был слишком самолюбив, чтобы признаться в собственном поражении, виновник был сразу найден — Феодосия. Зачем ей медовые глаза, шелк волос, гибкость стана, обволакивающая ласковость голоса и движений, если не сумела присушить к себе Василия, намертво пришить к юбке очумевшего от постельного рая переростка? Значит, ее зримое совершенство — обман, есть в ней какая-то порча, скрытая червоточина, как в ином с виду лакомом, а внутри гнилом плоде. Отец Кирилла презирал Феодосию, как если б знал за ней тайный порок или дурную болезнь. Это брезгливое презрение избавляло его от ненависти. И когда она попросила уступить ей огородной землицы, чтобы поставить там дом и от той же земли кормиться, о. Кирилла не отказал, но потребовал за уча-

сток наличными. Феодосия заговорила о рассрочке: будет расплачиваться каждую осень с урожаем. «Этак я помру раньше, чем деньги увижу», — невесело усмехнулся о. Кирилла. Феодосия резонно возразила, что раньше вернется Василий Кириллович и произведет полный расчет с отцом или отдаст землю и будет по-старому хозяйствовать сообча. «Никакого Василия Кирилловича мы больше не знаем и знать не хотим. Вернется не вернется — нам дела нет. За землю я с тебя крайнюю цену взял по худобости твоей, мне гончар Прокопий на полста больше дает». Опечалилась Феодосия рассуждением своего свекра, но от земли не отказалась. Она продала из своего приданого все, без чего могла обходиться: платье венчалное, борок земчужный, ленту низану земчугом, монисту серебряную с двумя крестами, четыре аршина бархата, юбку луданную, ширинку иконовязную и после малого душевного борения — две старинных книги на латинском языке в переплетах из свиной кожи. Книги и то, что они несут в жизнь, испакостили ее судьбу, и Феодосия относилась к ним с суевренным трепетом. Василий Кириллович не успел сведать об этих книгах, лежащих на дне ее девичьего сундука, а господин Ильинский дал за них такую плату, будто они на китайском шелке напечатаны и в золото одеты. Да и не хотелось ей, чтобы в доме были книги, бог с ними, до хорошего не доводят. И пока Василий Кириллович отсутствует, ей без них спокойнее.

Рассчитав с артельными плотниками, во что обойдутся строения, Феодосия обнаружила, что денег все равно не хватит, и обратилась к отцу. Нужно ей было — по оплате земли — еще сто один рубль с полтиною, а у батюшки деньги водились. Фадей без звука выложил нужную сумму, но потребовал от дочери долговую расписку по всей форме. «Батюшка, родной, зачем вам расписка? — удивилась Феодосия. — Нешто смогу я вам такие деньги отдать? А вернется Василий Кириллович, будем вам долг по возможности выплачивать. Неужто вы мне не верите?» — «Верю, доча. Тебе верю. Да вот к семейству твоему у меня ни в чем доверия нет. Коли муженек твой такую штуку удрал, чего же от них ждать? Кабы они люди были, нешто стали бы с тебя деньги за землю тягать? Ну, построишься, земля-то по закону все им принадлежит. Но он, вишь, с тобой, как с посторонней, рядиться вздумал. Ему бы за сына краснеть, ему бы перед тобой глаз не подымать, а он, аспид, оглоед!» — «Не надо, батюшка, — устало попросила Феодосия. — Зачем браниться, грех на душу брать? Поняла я вас. Нужно вам свой интерес соблюсти, коли я раньше вашего преставлюсь». — «Замолчи! Что несуразное несешь? — прикрикнул Фадей, и уголки его запавших глаз налились слезами. — Нешто могут дети раньше родителей уходить? Не приведи господь родное чадо пережить. Другого я опасаясь и тут, верно, хочу свой интерес... да нет, какой там интерес? — прервал он себя зазвеневшим голосом. — Вот это... это... — он постучал кулаком по левой стороне груди, — хочу оградить. Ко-

ли ты не выдержишь и за беглым своим кинешься, родня твоя враз все себе заберет. И участок, и строения. Неужто я по копейке, по грошику медному всю жизнь копил, чтобы сквалыге-попу досталось?»

На это Феодосии нечего было сказать. Лишь душа ее тихо вздохнула. Она едва начала жить, а сколько уже жестокого, низкого, дурного, темного на нее навалилось. Нет, люди вовсе не спешили раскрыться той прелестью, какую она прозревала в них в розовые дни своего девчества.

Заемное письмо было составлено по всей форме, канцелярист Волковойнов подсобил, земля приобретена, и Феодосия начала строиться. С завидной быстротой на ее участке стали изба с сенями, конюшня, погреб с напогребельной плетневой, чигирь с положенными постройками. Участок Феодосия обнесла высокой городьбой, обработала и посадила яблони урожайных сортов и сливовые деревья. Пораженный ее деловой хваткой, о Кирилла ощутил невольное уважение к брошенке и раз сказал добродушно: «От своих отгораживаться вроде бы лишнее?» — «И вовсе не лишнее, батюшка», — спокойно ответила Феодосия. За хлопотами она и оглянуться не успела, как минул год со дня бегства ее мужа.

4

...Столь же незаметно промелькнуло это время и для Василия Кирилловича. Он потерял ощущение быстротекущего еще на струге, когда, пристроившись на корме за канатами, вновь, после долгой разлуки, раскрыл томик Лукреция Кара. Мимо скользили волжские берега, справа плоские, как тарелки, вылизанные речными волнами и обдутые ветром до полной голизны, потом зеленые, плавно всхолмленные; небо обливалося аlostью утренних и вечерних зорь, кучерявилось белыми, как кипень, облаками, порой хмурилось тучами и опорожнялось грозowymi ливнями или мелкими, просквоженными солнцем грибными дождями, — тогда Василий Кириллович прикрывался рогожкой и продолжал читать, а уж если совсем заливало, спускался в смрадный трюм. Дождь утихал, небо перепоясывалось радугой, но, равнодушный к красе внешнего мира, Василий Кириллович все трудил глаза над книгой, пока не потухал последний луч заката и ночь опрокидывала в темную реку звезды и полный месяц. Тогда он ложился на теплые доски палубы, мешочек под голову, сворачивался калачиком и сразу засыпал. О Феодосии он старался не думать, что ему удавалось: днем перед глазами была книга, ночью его быстро смаривало. Но стоило не уберечься, и острая спица враз прокалывала грудь, в глазах закипали слезы.

Ни с солдатами, ни с младшими офицерами он не сошелся, хотя они относились к нему ласково, как к богом обиженному. Капитану же было не до него. Он пил водку и ласкал непонятно как случившуюся на струге смуглую, раскосую девицу, а на сто-

янках гулял с нею по берегу. Все это ничуть не занимало Василия Кирилловича, как и прочая человечья суета, перегорающая в себе самой и не становящаяся достоянием вечности, какую дарит и жизненному явлению, и мысли, чувству печатный станок, а в старину — каллиграфический почерк прилежных переписчиков.

В Саратове команда оставила струг и двинулась к первопрестольной пехтурой, нестроевым шагом, с частыми бивуаками и кострами. Василий Кириллович приспособился читать на ходу и вовсе не тяготился переходами, уделяя степной, а после лесной России столь же мало внимания, как и величайшей русской реке. К концу пути, когда впереди вызолотились главы московских сорока сороков, Василий Кириллович обнаружил, что спутница артиллерийского капитана разительно изменилась: из раскосой худой смуглянки превратилась в дебелую девицу с голубыми озерами на круглом сдобном лице и гладкими, цвета просяной соломы волосами. Поразмыслив над этим чудом, он понял смущенным разумом, что ветреник-капитан обзавелся другой зазновой, надо же, до чего просто это делается!

Москва ошеломила молодого провинциала многолюдством, шумом, движением, оглушительным колокольным буйством. Здесь глаз не теряй и ухо держи востро, чуть зазеваешься — и тебя потопчет бесшабашный всадник, или под карету угодишь, или двинет оглоблей возка ошалелый деревенщина, привезший в город соленые огурцы, квашеную капусту, моченые яблоки.

Смятенный вид старой столицы усугублялся тем, что здесь все время где-то горело. Да это неудивительно: город был почти сплошь деревянный, строения стояли скученно и как попало, на улицах что-то пекли, жарили, прохожие мужики палили трубки, рассыпая жар, — полное раздолье огню. Василий Кириллович панически боялся пожаров, хотя сроду большого пожара вблизи не наблюдал. Но в книгах ему не раз попадались картинные описания опустошительных и московских, и всяких иных пожаров, а печатное слово имело над ним неограниченную власть. И астраханский вольнодумец стал тихонько молиться, чтобы Москва не сгорела, пока он не завершит курса наук в Славяно-греко-латинской академии.

Путь туда Василий Кириллович отыскал без труда. Об академии, правда, прохожие люди не слыживали, но Заиконоспасскую церковь знали все, ибо находилась она в самом бойком месте Китай-города, возле Красной площади.

Василий Кириллович добрался быстро, но у ворот вдруг оробел, разом лишившись уверенности, что его знаний достаточно для поступления в столь высокое учебное заведение. И чтобы успокоиться и вернуть веру в себя, решил маленько побродить по Китай-городу.

Ноги будто сами понесли его сквозь густую толпу на крепкий запах торговых рядов. Его толкали в спину и с боков, чуть не сбивали с ног — народ в Москве был нетерпеливый, быстрый и

бесцеремонный. Вскоре он понял, что увернуться от толчков и тычков нельзя, спасение в одном — стать таким же неудобным для окружающих пешеходом. Он подпернул повыше мешочек, напружинился, растопырился, чуть наклонился вперед, дабы не опрокинуться от слишком резкого столкновения, и пошел колотиться о всех встречных и поперечных. Ругань, вопли, угрозы, удивленно-обиженные и уважительные взгляды, и дивное дело: ему стало куда легче продвигаться в толпе. И ведь не могли же подшибленные им люди передать другим: остерегайтесь этого астраханского — спуска не дает, а меж тем вокруг него образовалась некая почтительная пустота. Неужто толпа умеет общаться без помощи слов, как насекомые гудом, жужжанием, и этим насекомым языком разносить сведения?

Довольный маленькой победой, Василий Кириллович бодро продолжал свой путь, и с каждым шагом, приближавшим его к торговым рядам, сладко смердящим жареным маслом, печеным тестом, рубцами и рыбой, все сильнее сосало под ложечкой. Он уже поел утром весьма плотно, про запас, из солдатского котла и обязан был продержаться на этой пище до следующего дня, деньжонок у него — кот наплакал. Во избежание соблазнов Василий Кириллович повернул от торговых рядов в какой-то проулок, где у распахнутых дверей маленькой церковки толпились страхолюдные нищие. Лишь на соборных фресках, изображавших преисподнюю, виделись Василию Кирилловичу такие смазливые, гадкие хари, как у этих церковных побирушек, калик, юродов. Испуганный, он далеко стороной обошел нищую братию и за невысокой оградой увидел бревенчатое здание в облаках пара. Он понял, что это баня, когда из парилки выскочила голая женщина, мясно-красная, будто с нее живьем содрали кожу, схватила бадейку с водой и опорожнила на себя. Эти действия сопровождались улюлюканьем и веселыми выкриками облепивших изгородь молодых парней. Женщина разобрала мокрые волосы на два крыла, отбросила с лица, показала парням язык, непристойно растопырилась и, покачивая ягодицами, ушла в баню.

Василий Кириллович оторопел. Он знал, что в зимнюю пору ошалевшие любители парилки кидаются для остуди в снег, но ведь сейчас лето: кадушку с холодной водой можно и в мыльне держать — и женщинам нет нужды показывать свою стыдобию обложившим баню насмешникам. Значит, все делалось нарочно, непотребства ради, и вовсе не какими-нибудь пропавшими девками, а почтенными горожанками, пришедшими чистоту навести. Много небывальщин ходило в Астрахани о старой и новой столицах, но такого Василий Кириллович и вообразить себе не мог. Стыдливость его была уязвлена. Сам красный, как из парилки, кинулся он прочь от бани, и тут кто-то сильно дернул его сзади за мешок.

Василий Кириллович обернулся. Рослый малый с перебитым носом, в шапке как воронье гнездо, тянул из горла мешка застрявшую руку.

— Ты чего? — вытаращился на него Третьяковский.

— А ты чего? — дерзко спросил малый. — Выпучил буркалы, деревенщина! Тут тебе не Свинячьи выселки.

— Какие еще Свинячьи выселки? Я из Астрахани.

Парень освободил руку.

— У вас в Астрахани все дураки? Или каждый первый?

— Иди себе, — пробурчал Василий Кириллович, удивляясь нахальству малого, который пытался его обокрасть среди бела дня и еще издевается.

— А что там у тебя в мешке-то? — любопытствовал малый.

— Книжки.

— Дорогие?

— Для меня дорогие, я по ним учусь...

— Так ты бурсак! — догадался малый, в голосе звучало презрение. — А я-то думал! Рожа у тебя надутая, будто чего стоишь. Ладно, катись отседова, бурсак — холодные уши, не вводи людей понапрасну в грех.

Василий Кириллович уже смекнул, что с этим говоруном лучше не связываться, и был рад унести ноги. Прогулка по Москве не дала ожидаемого удовольствия. Наверное, позже, когда он устроится, обживется, заведет знакомства среди старожилов, город откроется ему с иной стороны. Москва на диво богата храмами, дворцами знати, купеческими палатами, есть и сады для гуляний, и всякие увеселения, и книжные лавки, но к Москве надо подходить знать, а ему такого знания не дано. И он зашагал назад к Славяно-греко-латинской академии.

Учебное заведение, столь пышно названное, помещалось в старом флигеле Заиконоспасского монастыря, стоявшего за иконным рядом на Никольской улице, в Китай-городе. Стоило шагнуть за старые, осыпающиеся, поросшие травой и березками монастырские стены, как разом отсекался докучный московский шум, словно монастырь стоял не на самом бойком месте города, а в чистом поле или в лесу. Сонная тишина, запах тлена, близкий запах старых книг, наполнили душу Третьяковского блаженным покоем, он поверил этому месту, поверил, что ему тут будет хорошо. И не вовсе заблуждался.

Его без труда приняли в училище, сочтя хорошо подготовленным, зачислили в средний класс словесных наук. Была лишь одна загвоздка, впрочем, серьезная: его не взяли на казенное иждивение, он должен был сам себя содержать. Но и с этим устроилось. Ему подсobili найти уроки за харчи и малую плату, а также угол для проживания у чистой старушки. Чего еще надо? Он достал свои книги, очинил гусиные перья, купил на копейку салных свечек. На первом же занятии в классе он услышал: «Великий слепец Гомер был самым зрячим среди людей» — и в удивлении всхлипнул...

...Первый год ожидания дался Феодосии довольно легко. Не худо начался и следующий, когда приобреталось рухлишко, обставлялся дом, обретая жилой, уютный вид. Но исподволь зрела тоска. Правда, невиданно щедрый урожай яблок и особенно слив (у старого садовода о. Кириллы отродясь такого изобилия не бывало) обрадовал — не корыстью, а чувством своих сил. Но когда загудели осенние ветры, неся сперва пыль и песок, а потом сухую снежную крупу, тошнехонько стало в нарядном пустом доме. И золовки, которых она заманивала к себе индийским чаем, сливянкой и вареньем из китайских яблочек, не могли скрасить ее одиночества. С остальными Тредиаковскими связи не было. Отец Кирилла так и не простил ей своего разочарования, а матушка, явив несвойственную строптивость в день пропажи сына, искупала свой жалкий бунт раболепием перед мужем. Что же касается Якова, то после неудачного ночного посещения, когда, выдавив оконную раму, он проник в ее спальню, но был с позором изгнан, даже тени его не мелькало поблизости. Подруг Феодосия растеряла, с отцом виделась редко, что-то отгородило их друг от друга, и образ сбежавшего мужа, украшенный и вознесенный ее тоской, все настойчивей являлся и в дневные часы: вдруг замрет тяпка в руках, зависнет подъятый колун и взгляд проваливается в пустоту, и особенно страшно — ночью, тогда она втискивала подушку в груди, забирала меж ног одеяло и выла от тоски и тянувшей муки в сухом, горячем теле.

Третий год стал и вовсе невыносимым. Тоска и грусть все чаще сменялись ожесточением против беглого мужа. Сколько же можно учиться? Иные вон дома по псалтырю обучались, едва читать-писать умеют, счет по пальцам ведут, а в большие люди вышли, громадными делами ворочают, и караваны их судов бороздят Волгу и Каспий; другие, натасканные в захудалых семинариях, ныне протоиереями в собственных домах с чадами и домочадцами в великом довольстве обретаются. На кого же Василий Кириллович замыслил обучиться? На главного царева советника, на канцлера, может, на самого царя? — недобро взблескивала она глазами сквозь слезный наплыв. Это все дурь одна, нельзя так сразу на самого главного обучиться. Надо хоть кем-то стать, а после добирать знания, и не только из книжек, а от самой жизни, от людей, от своего действия среди них. А что, если он ни на кого не учится, а просто так, для самого себя, чтобы больше всех знать? Тогда ему целой жизни не хватит. Слава богу, что ни в какой академии не станут всю жизнь ученика держать. Любому научению срок положен, каков только этот срок и станет ли у нее сил выдержать?..

Она заметила с некоторых пор какую-то перемену вокруг себя, другой стал воздух. Будто кончился некий искус, и астраханские обыватели дружно вспомнили о соломенной вдове. Раньше к ней

никто не заходил, кроме золовок, дурак Яков не в счет, а сейчас что ни день заскакивала то одна, то другая бойкая бабенка и начинала расписывать великие достоинства либо купца второй гильдии, ядреного супруга хворой жены, многие годы не встающей с постели, либо подьячего-вдовца с самыми серьезными намерениями: хушь под венец, коли можно старый брак похерить, хушь по сердечному согласию с письменными гарантиями. Другие астраханские кавалеры, не прибегая к помощи разговорных женщин, появлялись сами то в огороде, то в палисаде, один и вовсе ночным часом в спальное оконце стучался, да так терпеливо, что у Феодосии в голове помутилось.

В поведении сограждан был свой смысл и своя глубина. Безотчетно, не сговариваясь, они изменили отношение к замужней вдове. Раньше ее горю кланялись, ее верность сгнувшему мужу уважали, но прошли годы, беглец не подавал признаков жизни, и негласный суд почел Феодосию, молодую, сильную, самостоятельную женщину, свободной от всяких обязательств. Ее словно приглашали вернуться назад в жизнь.

Она и сама все чаще задумывалась над двусмысленностью своего положения. Муж гуляет невесть где, может, давно уже другую завел, а не завел, так минутного утешения на городских улицах предостаточно. А вернее всего, что давно уж покинул он белый свет, долго ли окочуриться в чужом месте бедному и незащищенному человеку? И нету никакого толка в ее жертве. Ради кого вести ей монашеский образ жизни, губить молодость, которой не вернуть?

В жаркой, потной работе в саду и на огороде, в бесконечном крутеже неженских дел она вся подсушилась, потемнела, будто прудубилась, и стала не похожа на себя прежнюю ни лицом, ни статью, ни повадкой. Эта новая ее, сухая, темная и яркая, не русская, а какая-то цыганская красота поражала сильнее прежней — светлой, лазоревой. Ее не солнцем обожгло, загар зимой сходит, она по-змеинному сменила кожу. Ровно и гладко залитое ореховой смуглотой цыганское ведьминское лицо дышало жаром, ощутимым на расстоянии. Но душа в ней осталась прежняя: верная, нежная, любящая, и повернуть ее на измену Феодосия не могла. Мягкая сердцевина Феодосьиной природы была скрыта от окружающих: редко-редко отчужденная строгость уже не медовых, а почти черных глаз теплела в скрытой, не трогающей лиловатых губ улыбке.

Новая странная красота Феодосии кружила головы и стару и младу. А неприступность ее одобряли лишь немногие праведные люди старого пошиба, большинство обывателей злобилось. Никому не нужная стойкость раздражала как вызов общечеловечьей слабости. Но людские пересуды, осуждающие взгляды, брошенные вдогон ядовитые словечки ничуть не задевали Феодосию. Она не обижалась на плохих людей, считая их пребывание в божьем мире случайностью, и твердо верила, что в назначенный час вме-

сто них придут прекрасные, добрые, нежные люди и останутся навсегда.

Но от домогающихся ее внимания, число которых грозно росло, надо было защититься. Феодосия завела огромного угольно-черного пса. Пес никогда не лаял, но рычал страшным, начинающимся в глубине его громадного тела рыком, который, нарастая, заполнял слюнным клекотом горло и с яростным подвывом вырывался из пасти. Нередко за этим следовал прыжок и дикий вопль насмерть перепуганного человека. Феодосия почему-то думала, что испугом все и кончается. Но однажды, выглянув наружу, она увидела, как пес пережевывал кусок свежей убоины, окровавивший ему морду, и яростно выковыривал лапой из пасти ошметки синей ткани. А вскоре до нее дошел слух, что старший прокуроров сын в схватке со свирепым туром лишился части бедра. Путем несложных сопоставлений Феодосия поняла, какое животное нанесло столь тяжкое увечье отважному молодцу.

Видать, это поняли и другие жители города, астраханцы — народ смекалистый, и черного стража отравили. Но это случилось уже перед самым отъездом Феодосии.

Она узнала, что Василий Кириллович жив, здоров и учится в Москве, в Славяно-греко-латинской академии, и решила ехать к нему вопреки запрету, ведь и всякий запрет с годами утрачивает силу. К тому же ей сказали, что Василий Кириллович люто бедствует, и она отбросила последние сомнения. Эти вести привез бывший соученик Василия Кирилловича по училищу капуцинов, сопровождавший в Москву астраханского архиерея. Он столкнулся с Василием Кирилловичем на улице и не признал поначалу, до того тот обхудал и оборвался. А признав, повел отощавшего земляка в австрию, где Василий Кириллович умял пять порций рубцов. «И как в него вошло? — недоумевал однокашник. — Худ, как шкелет, живот к позвоночнику присох...»

У Феодосии сердце разорвалось на части, когда она представила себе голодного, тощего оборванца, уминающего вонючие трактирные рубцы. Сгоряча она решила продать дом и все деньги пустить на откорм Василия Кирилловича, но вовремя одумалась. Может, измученный московским бедованием, Василий Кириллович захочет отогреться в домашнем тепле, близ родных людей? Она спустила остатки своего приданого, зашила деньги в нижнюю юбку и, сговорившись с купцами, шедшими в Москву с товарами, вскоре отбыла...

6

...Тредиаковский узнал о предстоящем приезде жены, сидя в австрии с одним из своих учеников, шляхетским сыном Новичковым, которого с недавних пор готовил к поступлению в Навигационное училище, что помещалось в знаменитой башне «мага и чаро-

дея» Брюса, сиречь Сухаревой. Рослый, ражий детина, чье представление о водной стихии исчерпывалось Патриаршими, Чистыми и Останкинскими прудами да грязноватыми московскими речками, грезил морем, пенными волнами, парусами, мачтами, реями и пуще того — крепким ромом, который моряки поглощают в недоступных сухопутному смертным количествах. Обо всем этом он прочел по складам в единственной книге, имеющейся в отцовской библиотеке, за тисненными золотом корешками остальных хранились бутылки с отечественными и заморскими винами. Приученный с детства к горячительным напиткам, он рано открыл для себя отцово книгохранилище. Но однажды, сняв с полки тяжелый том, обещающий знакомство с неведомым нектаром, он, к удивлению своему, вместо доброй бутылки обнаружил печатные страницы и множество гравюр с кораблями. Он и читать приспособился самоукой по этой книге и навсегда пленился морем. Но, лишенный способностей к арифметике — даже простого счета не знал, уже дважды проваливался в морском училище при всей снисходительности за добренных его родителем профессоров. Нанятый за харчи, старое платье и несколько медяков, Василий Кириллович должен был вдолбить в живой, но ленивый, не способный к малейшему усилию ум юного шляхтича начатки точных наук.

Василий Кириллович, некогда обучавшийся у превосходного математика Тимофеева, был исполнен знаний, но не умел эти знания вложить в рассеянную память ученика. Он был лишен учительской жилки и без нужды усложнял любой вопрос. Будущий моряк не уважал своего учителя, но жалел за худобу и голодный блеск глаз и, случалось, водил Василия Кирилловича в австерию, где тот наслаждался рубцами под кружку пенистого пива, а щедрый хозяин — ромом, дарившим его ощущением морской качки, а иногда и морской болезни. Очумевший от голодухи и двух глотков хмельного пива, обычно молчаливый, Василий Кириллович становился говорлив и напропалую хвастался своими академическими успехами. Недавно ему разрешили присутствовать на диспутах, где старшие ученики блистали искусством диалектики, и он гордился этим до чрезвычайности. Новичкова удивляло и смешило, что его наставник придает столь большое значение пустейшим богословским спорам, в которых не рождается никакой истины, каждый утверждает свое, даже не помышляя в чем-либо убедить противника. Но Третьяковский упивался оказанной ему честью, и неглупый Новичков обнаружил, что скромный, не от мира сего латинист, таскавший кафтан с продранными локтями и настолько истлевшие в шагу панталоны, что оторопь брала, не разбиравшийся в титулах, чинах и рангах, обладает изрядным тщеславием.

Сам себя Василий Кириллович трактовал выше, признавая за собой немалую толику литературного честолюбия. Он писал стихи и пьесы, мечтал, чтобы его творения были ведомы россиянам, и твердо верил, что рано или поздно так оно и будет.

Вечно голодный, но умеющий не думать о еде, согревающийся только летом, лишенный каких-либо радостей, кроме духовных, Василий Кириллович был счастлив каждый день, каждый час, каждую минуту своей подвижнической жизни, ибо занимался любимым делом. И вдруг в эту нищую, обобранную во всем, чем прекрасна молодость, в эту замечательную, наполненную, устремленную к великим целям жизнь вторглось страшное, едет Феодосия.

Об этом сообщил случившийся в австении дальний родственник вице-губернатора Кикина, ездивший в Астрахань в надежде на теплое местечко при дядюшке, но не приглянувшийся суровому старику. Едва увидев красный нос племяша, Кикин распорядился выписать ему подорожную на обратный путь. Племянник потопил неудачу в вине, которым его щедро потчевали младые астраханские дворяне, узнал все ненужные ему местные новости и покинул обманувший его надежды город с двухпудовой кадущкой свежепосоленной зернистой икры. В Москве он продолжал завивать горе веревочкой, забрел в австерию возле Китайской стены, встретил дружка Новичкова, подсел к его столу, был представлен тощему латинисту, услышал фамилию «Тредиаковский» и тут же выложил из праздной и цепкой памяти новость о брошенной астраханской красавице, пустившейся на розыски мужа.

Тредиаковский поперхнулся рубцами и неверным голосом спросил, когда и с кем отправилась Феодосия в путь. Почувствовав, что новость не только не обрадовала мужа красавицы, напротив, повергла в смятение, племянник Кикина по обычаю чело-вечьей подлости изобразил дело так, будто Феодосия вот-вот прибудет в Москву с купеческим обозом, если уже не поджидает мужа у ворот Заиконоспасского монастыря. Отравив в незнакомом человеке всю кровь и найдя в том некоторое утешение — как-никак астраханцу вмазал, — племянник Кикина отвалил из австении.

Новичков искренне не понимал отчаяния своего наставника. «Вам бы радоваться. Гляньте на себя, на кого вы похожи. Жена приведет вас в божеский вид. Она, видать, женщина решительная». — «В том-то и беда, — уныло сказал Тредиаковский. — Поручит она мое здание. А мне еще столько узнать надо!» — «А для чего?» — «Ясно, не для чинов, — угрюмо прозвучало в ответ. — Надо, и basta!» — «Вот и у меня так, — задумчиво проговорил Новичков. — Все пристают: зачем тебе море, ты же его сроду не видал. А я почему знаю зачем? Надо. Иначе жизни нет». — «А поступить в мореходное — кишка тонка! — съязвил Тредиаковский. — Здоровенный парень — четыре правила не осилишь». — «Я о море говорю, — без обиды отвел упрек Новичков. — А у вас красивая жена? — спросил он странно. «Красивая!.. — И Тредиаковский вдруг вспомнил Феодосию, всю как есть. — В том-то и беда... Красивая и добрая. Я от нее спящей убежал, иначе не сумел бы. А другой раз мне подавно не уйти.

Человек не чурка. Охолодал я, оголодал. Нет, не сладить мне с ней. Она вся на любовь наострена, на любовь ко мне... не скаль зубы-то! (Новичков и не думал улыбаться, лицо его было серьезно и задумчиво.) Да не во мне дело, а в самой любви. Она любовь любит, а думает, что меня. Но пойдй объясни ей!..» Третьяковский и сам не знал, почему он так разоткровенничался с этим грубым и мечтательным недорослем. «Море, море!..» — пробормотал Новичков. «Заладил!..» — не понял и немного обиделся Третьяковский. «У каждого свое море, — тихо сказал Новичков. — И страшно его потерять, страшнее ничего нет». — «Правда твоя... А ты умнее, чем я думал, — удивился Третьяковский. — Ты вообще умный. Попомни мое слово — быть тебе адмиралом».

Василий Кириллович оказался провидцем. Новичков, так и не попав в Навигационное училище, удерет в Петербург, поступит на корабль простым матросом, скрыв свое дворянское происхождение, пройдет весь ад матросской службы с линьками и зуботычинами, издевательствами и тухлой водой, дослужится до офицерского чина, избородит моря и океаны и кончит жизнь контр-адмиралом.

«Похоже, я могу вам помочь, — сказал Новичков, морщась, как от кислого. — Подлость это, конечно, гнуснейшая подлость перед женщиной, но я ее не знаю. А узнаю, так, может, на ваш след наведу или сам вас за шиворот к ней приволоку. Но я ее не знаю. А вас знаю. И слышу ваше море. На неделе сродственники наши Бурнашевы отправляют меньшого сына в Голландию корабельному мастерству обучаться». — «Неужто по смерти царя Петра дворяне еще слушаются его указов?» — удивился Третьяковский. «Нет, — презрительно дернул плечом Новичков. — Рады-радехоньки к старому свинячеству вернуться. Правда, не все, хотя отнюдь не из послушания «державной тени», — вспомнил он поэтическое выражение Третьяковского. — У Бурнашевых старший сын тоже там обучался и в тузы вышел. Сейчас в Англии фрегаты строит. Богач. Они надеются, что и младшему фортуна улыбнется. Он сопляк, плакса, при маменькином подоле вырос, но гаденыш безвредный. С ним едет дядька. Я уговорю их, что одного дядьки неграмотного мало. Не потянет в науках Митяйка Бурнашев. Вы язык-то голландский знаете?» — «Выучу — невелика хитрость. Он с немецким схож». — «Отменно! Будете тянуть корабельщика. Он тупец вроде меня, но без моря. — Новичков скупо улыбнулся. — Бурнашевы зело бережливы, но угол и стол получите». — «Если за этим дело стало... да я воздухом одним сыт буду...» — Лицо Третьяковского смялось от подступивших к горлу слез...

Через два дня Третьяковский катил в карете вместе с заплаканным отпрыском Бурнашевых и его сизоликим, благоухающим романеей дядькой. На московских улицах и даже по миновании заставы, когда вокруг развернулись подмосковные поля, березняки и ельники, Василий Кириллович ежился от страха, ему все ме-

решилась посланная Феодосией погоня. Вот-вот наскочут вооруженные всадники, схватят под уздцы бурнашевских лошадей, распахнут дверцы кареты и сунут ему в нос бумагу с кровавыми сургучными печатями — повеление от Священного синода или генерального прокурора вернуться к законной жене. Но никто их не остановил, кроме караульных, охраняющих западный край русской державы. Путники предъявили свои паспорта и беспрепятственно двинулись в чужие пределы.

Весь долгий путь через Великия и Белья России, ляшскую землю и немецкие княжества юный Бурнашев проливал безутешные слезы. Поразительно, что жадная до всяких впечатлений юность могла оставаться столь безразличной к мелькающей за окнами кареты чужой пестрой жизни, к дворцам, замкам, крепостям, церквям, костелам, кирхам, мостам, садам, к красивым городам с нарядными людьми, наполняющими тишину мироздания звуками незнакомой — то певучей, то шипящей, то лающей речи. До чего уж непрестален к окружающему был самоуглубленный ТрEDIAKОВСКИЙ, но и тот забывал о своих заботах, откладывал прочь любимые книги и часами неотрывно смотрел в окошко. А Бурнашев знай себе хныкал, не в силах вырваться из домашнего закута с мамкиным баловством, ласковой девичьей, с пуховой периной после жирного обеда, с отцовым кнастером, тайно раскуриваемым в людской. Он оживлялся лишь во время трапез, когда дядька с заговорщицким видом открывал очередную квадратную бутылку. Удивляло, что безбородый юноша столь привержен к вину, которое быстро заплетало ему язык в косу, затуманивало глаза и погружало в долгий, беспокойный, с бормотом и горестными вскриками сон. Василий Кириллович, хоть и раздражался, благоразумно помалкивал. С него и собственных забот было достаточно.

7

...А мог он вовсе не тревожиться и не бежать из Москвы — Феодосия попала в руки атамана Кирьяка, промышлявшего разбюем на Нижней Волге.

Случилось это так. Из Астрахани купеческий караван отплыл погожим утром, под сулящий удачу и радость благовест колоколов. Шли ровно и ходко, держа в парусах тугой юго-западный ветер. Феодосия сроду не плавала по реке, даже в лодке, она наслаждалась путешествием, открывающимся окрест видами бескрайних, плоских земель, песчаных, поросших колючим кустарником и нежными блеклыми цветами островов, всеми малыми подробностями речной жизни. Ей нравились ее хозяева, степенные, пожилые купцы, относившиеся к спутнице сочувственно, но без обидной жалости, приглашавшие к обеду со стерляжкой ухой, свежей икрой, рыбными пирогами и солониной. Нравилась корабельная команда: веселые, по-кошачьи ловкие, дочерна загорелые

парни. Все было любо Феодосии до умиления, и верилось, что отыщет она мужа и навсегда воссоединится с ним.

Но уже в Саратове путников подстерегала беда. Здесь они должны были пересечь на подводы и в сопровождении небольшого конвоя наезженным трактом двинуться в Москву, но им не дали сойти на берег. В Астрахани началась чума, известие о которой успело их опередить. Тщетно пытались купцы сговориться с пристанским начальством, сулили щедрую мзду, те и слышать ни о чем не хотели. Добиться встречи с городскими властями, авось окажутся посговорчивей, тоже не удалось, видать, отменно строги были распоряжения насчет приезжих из пораженного страшной заразой города, если не сработал самый верный ключ, отмыкающий на Руси все двери: взятка.

Делать было нечего: отвалили от Саратова и пошли дальше вверх по реке. В Вольске, от которого шла проезжая дорога к Московскому тракту, пристали. Никто не препятствовал высадке. До Саратова страшная новость стрелой домчалась, а до этого заштатного городишки еще не доползла. Единственно, что удивило местных людей, на кой ляд понадобилось купцам так удлинять и затруднять себе путь — из Саратова ближе, да и дорога лучше. Но самый почтенный из купцов, седобородый и черноглазый Емельян Исаев, похожий повадкой на боярина, а не на торгового гостя, важно пояснил, что на саратовском тракте «балуют», что звучало вполне правдоподобно по тем тревожным временам, наступившим после смерти царя Петра. Правда, случившийся при разговоре, вольский перевозчик заметил, что балуют, и весьма шибко, как раз в их местах, на него накинудись с бранью и угрозами и прогнали прочь. Местным деловым людям появление богатых астраханских купцов было что богов гостинец. Купцам требовались подводы, лошади и мужики для охраны, на оплату не скупилась, ибо проволочка была им куда накладнее.

А что бы им послушать пьяненького перевозчика! Небось многим вспомнились его слова в глухом Труновском лесу, когда первые звезды проклюнули по-дневному голубое легкое небо над кронами старых рослых деревьев и острый свист распорол тишину, грянул выстрел, пыхнув оранжевым пламенем, и дымная селитряная вонь заглушила горьковатый запах леса. Мгновенно, будто того и ждала, рассеялась, стинула охрана. Темноликие борodatые мужики выскочили из-за деревьев и стали валить наземь не помышлявших о сопротивлении возчиков и сбрасывать с возов товары.

Феодосия сидела в задней телеге и наблюдала происходящее, словно представление в ярмарочном балагане. Страшное представление. Она видела, как взвел курок пистоли отважный Емельян Исаев, но выстрелить не успел, порубленный поперек головы саблей огромного лохматого детины в кумачовой рубахе; как порубил тот же детина павшего на колени дряхлого, с голым скопческим лицом купца Чурикова, как был застрелен из мушкета бо-

гобоязненный рыбник Муханов, первый в Астрахани жертвователь на святые храмы. А потом лохматый разбойник заметил ее, сдернул с воза, обдав острым, лисьим запахом. Совсем близко она увидела его взболтанные, тухлые глаза и потеряла сознание. Много позже, очнувшись в темной горенке, на деревянной лавке, приткнутой в угол, под слабо мерцающей лампадкой, узнала Феодосия от хозяйки избы, сухонькой быстроглазой старушки, что выволил ее из лап лохматого разбойника атаман Кирьяк. «Счастье твое, девонька, что успел Кирьяк в лицо тебе глянуть, — говорила старуха певучим голосом сказительницы, — и пленился тобой. Нельзя к Семушке подступать, когда он распалившись. Не то что старшего, родную мать прикончит. Ужасной лютой человек. Другие мужики убивают по крайней надобности, Кирьяк, хоть дюжее всех, только в схватке, а Семушка наслаждается, кровь спуская. Кирьяк, как тур, здоровый и, как ласка, верткий, а крепко ему от Семушки досталось, покамест его скрутил. Сейчас весь перевязанный в соседней избе лежит». — «А Семушка?» — зачем-то спросила Феодосия. «Успокоился, водку глушит на радостях, что богатую добычу взяли». — «И ему ничего не будет?» — «А что ему может быть? Он в своем праве. Мог тебя себе взять, мог срубить — вольному воля. Это Кирьяк, девушка, против обычая пошел». — «Я не девушка, а мужняя жена», — поправила Феодосия. «Была, — холодно сказала старуха. — Муженек твой в лесу остался». — «Да что ты, бабушка, там старцы полегли, а у меня муж молодой, в Москве живет». — «Вон что! — удивилась старуха. — Значит, ты не купечья жена? Наши купцов не больно жалуют». — «Я сторожева дочь, а муж — семинарист, — сообщила о себе Феодосия. — Бабушка, а куда меня привезли?» — «В избу, нешто не видишь? А изба посередь деревеньки стоит. А деревенька — посередь России. Махонькая такая деревенька, пять домов. Мором весь народ извело, сюда ни баре, ни власти носа не кажут, вот наши и отдыхают от трудов своих». Феодосию удивило, что старуха говорит о разбойниках-душегубах как о самых обычных мужиках, можно подумать, что они с косовицы вернулись, а не с лютого дела. «Бабушка, скажи, милая, коли я не купеческая, а самого простого роду, отпустят меня отсюда?» — «Это, милка, не мне знать», — поджала губы старуха...

8

...Василий Кириллович поздно вечером шел по «веселому» кварталу, как любовно называли моряки, а вслед за ними, но презрительно, и городские обыватели припортовую часть города. Здесь чуть не в каждом доме располагалась австерия, здесь обитали доступные — только не для пустого кошелька Василия Кирилловича — нестерпимой красоты девицы, сдавались комнаты и углы на ночь, на час, гремела допоздна музыка, и гирляндами ви-

сели разноцветные фонарики, отражаясь в темной мусорной воде каналов, обсаженных толстоствольными кургузыми ивами. Василий Кириллович редко захаживал сюда, как по отсутствию вкуса к подобного рода увеселениям, так и по отсутствию денег, зато не вылезал его питомец, совсем отбившийся от рук. Василий Кириллович уже не пытался вытаскивать будущего кораблестроителя из питейных заведений и от девок, да это и не входило в его обязанности. А дядька, сам приверженный к вину сверх меры, считал, что барчук ведет себя как и подобает русской дворянской юности. «Успеет еще головку перетрудить, пусть дитя тешится, покуда кровь играет и волос кольцами вьется. Наши шляхтичи от роду к тому приучены, а вон какую державу собрали. У нас в любой губернии десять Голландий поместится, хушь эти буи голландские примерного поведения и всю арифметику наскрозь знают». Против этого нечего было возразить, да и что ему до молодого жеребчика? Но была в характере Василия Кирилловича назойливая любовь к порядку, отдающая педантизмом, да и жаль ему было времени, без толка и смысла утекающего меж пальцев молодого человека. В Голландии можно было купить любую книгу — хоть французскую, хоть английскую, хоть немецкую, все, что сочинители не могли или опасались издать в собственной стране, беспрепятственно издавалось в Голландии, иногда под вымышленным именем. Нигде в Европе не было такой свободы, как в этой стране, свергшей испанское владычество и ненавидящей всякое насилие над человеческой личностью, угнетение мысли и духа.

И все же Василий Кириллович не испытывал полного удовлетворения от здешней жизни, и отнюдь не по причине юного Бурнашева. Здесь по-настоящему хорошо было практикам: кораблестроителям, механикам, плотникам, мореходам, негодьям, всякого рода предпринимателям и ученым точного знания. Духовным средоточием Европы оставался Париж. Оттуда шло все, чем вознесен человеческий дух: философские мысли, торжественные, строгие, игривые и пленительные поэтические образы, новые стройные литературные системы.

Василий Кириллович тихо брел вдоль канала, глядя, как ложатся на расцвеченную фонариками воду узкие листья ив и, подгоняемые ветром, лодочками плывут к морю; из дверей австерий ударяла музыка, слышался женский смех, хрипая ругань, хмельные песни, и грустно делалось от безнадежной чуждости этой жизни. Он и сам не знал, что его сюда привело, во всяком случае, не беспокойство за юного Бурнашева. Василий Кириллович плохо знал город, не доверял ему, а в поздние часы так и побаивался: слишком много грубой матросни, возбужденной разноязычной речи, пьяных бородатых рож, татуированной кожи, бесстыдных, назойливых нищих и страшноватых в своем бесцеремонном напоре слепцов, казалось, лишь они одни точно знают свою цель.

Но сейчас тут было непривычно пустынно: порок и веселие не

любят осени и с первым дуновением холодного ветра прячутся под крыши, к огню очага, над которым подогревается ячменное пиво.

Рассеянный взгляд Василия Кирилловича обнаружил, что у него две тени. Одна, постоянная, сильно вытянутая, бежала справа, простираясь через каменную мостовую, заворачивалась на стены домов; слабая и нечеткая, она была рождена полной луной. Другая, более плотная, темная и короткая, скользила слева, она возникала за его спиной, равнялась с ним, выбегала вперед, и тут ее как слизывало, затем она вновь оказывалась сзади. Эту тень создавали фонари. Вдруг он увидел еще одну тень — тоже слева, в стороне канала, но эта тень не обгоняла его, а держалась чуть позади, узенькая, маленькая, будто и не его вовсе. Но вот он ее потерял, верно, то была тень другого человека, который отстал или свернул к решетке канала, но деликатная тень возникла снова, и он с ужасом понял, что это тень женщины. Феодосия выследила его, да это и нетрудно, ведь он раззвонил по всей академии, что отправляется с Бурнашевым в Голландию. Почему-то он был уверен, дурак несчастный, что Феодосия не отважится ехать за ним в чужие края. Как будто существуют препятствия для ее цепкой любви. И вот она его настигла. Боже, какой прекрасной показалась ему здешняя жизнь, и он еще смел жаловаться! Теперь этой жизни конец, им тут не прокормиться вдвоем. Значит, назад, в Москву, или того хуже — в Астрахань... И, уже желая приблизить мгновение, страшное, как смерть, Третьяковский резко обернулся, и взгляд его рухнул в пустоту. Маленькая тень, будто свернувшись в клубочек, лежала у его ног, то была его собственная — третья тень, от освещенных окон верхних этажей. Спасибо, господи, ты опять помиловал меня! И все же это следует считать предостережением, Феодосия может нагрянуть в любой день, спасение только в бегстве. И на другой день он бежал с краюхой хлеба и десятком книг в заплечном мешочке...

Если бы Василий Кириллович лучше представлял, какое ему предстоит путешествие, он, возможно, остался бы в Голландии, несмотря на весь риск быть настигнутым женой. Пускаясь в свой многодневный путь без гроша медного в кармане, он утешал себя мыслью, что мир не без добрых людей, авось просуществует Христа ради. Но, едва покинув пределы Голландии, он оказался в опустошенной бесконечными войнами стране. Нищета горестной Фландрии едва ли не превосходила разор незаможных российских деревень в пору неурожаев, но русская нищета добра и милосердна, для путника даже в самой бедной крестьянской семье всегда найдется кусок хлеба, миска тюри, крапивных щей или мятой картошки с луком, ну, хоть кваском дадут нутро ополоснуть, от здешних людей этого не дождешься: угрюмые, ожесточившиеся, они или молча отворачивались, или злобно гнали прочь. Не то что в дом, в сарай на ночь не пускали. Возможно, они были снисходительнее к собственным нищим, но побирушка-иноземец

приводил их в ярость. Они так натерпелись от испанских, французских солдат, немецких и швейцарских наемников, что каждый чужестранец представлялся им лютым врагом.

Василий Кириллович жрал траву, кислые ягоды, гниловатые лесные орехи, какие-то грибы, вытрушивал зерно из оставшихся на полях колосьев; он продал камзол, кафтан, потом шляпу, заменив ее пиратским платком, расстался с обручальным кольцом и нательным крестиком, сменил туфли с пряжками на деревянные сабо, но вырученные деньги лишь частично расходовал на еду, большей частью расплачивался за проезд на попутных телегах, бричках, фурах. Лучше перетерпеть голод, да скорее добраться. Он не заметил, как въехали во Францию. Внешне ничего не изменилось: тот же разор, погорелье, те же угрюмые лица и нищета. Ближе к Парижу картина изменилась: меньше стало военных, целее города и села, приветливей народ. Но Василий Кириллович, утративший доверие к братьям в человечестве, обходился своей немочью.

Однажды утром слуги русского посла князя Куракина обнаружили у порога посольского дома живые мощи: чудовищно исхудалый, черный от солнца и грязи, обросший бородой человек спал, положив голову на каменный порог. Когда его растолкали, он зашевелился, задергался, хотел встать, но не смог, из пересохшего рта вырывались жалобные звуки, в которых с трудом угадывалась русская речь. Его подняли, отнесли в дом, отмыли в чане, накормили, заставили выпить большую рюмку водки с солью и перцем. Сам князь Куракин пожелал его видеть. Оборванца под руки отвели к послу. Он упал кучей тряпья к ногам вельможи, назвал себя и попросил не гнать прочь.

Князь Куракин был настолько знатен, богат и силен при дворе, что признавал себе равными лишь немногих избранных, ведущих род от варяжских князей, к тому же сохранивших состояние. Остальные, без различия титулов, званий, чинов, занимаемого положения, зачислялись во «всякую сволочь», в чем сказывался своеобразный демократизм князя: разорившийся представитель древнего рода Оболенских, петровская «знать», богач-купчина, мастеровой или цирюльник были равны перед его презрением. Но среди «всякой сволочи» князь выделял людей одаренных, знающих и чудаковатых. Зашелец — проницательный дипломат понял сразу — совмещал в себе все эти качества: несмотря на молодость, то был zelo образованный, думающий человек с божьей искрой, то тому же чудака из чудаков. Судьба Тредиаковского была решена. Ему не только оказали приют, дали одежду и установили содержание, князь снизошел до обсуждения с ним его ученых занятий, посоветовал, какие лекции стоит послушать в Сорбонне и у каких профессоров, кого из «мэтров» надо избегать — схоласты, педанты, ослиные уши, какие посмотреть спектакли в «Комеди Франсез» и у итальянцев, с какими достопримечательностями познакомиться. Князь разрешил Тредиаковскому неограниченно

пользоваться своей уникальной библиотекой. Василий Кириллович не выдержал, заплакал и хотел поцеловать князю руку, но тот не позволил...

...Остаток лета, всю осень и зиму Феодосия недужила. То металась в жару, не узнавая своей хозяйки, не помня, где она и что с ней, то, оплывая от слабости, сидела у окошка, глядевшего на скучную околицу с огромной лужей, задернувшейся после первых заморозков сахарным ледком, потом промерзшей до земли и тускло исчерна позеленевшей и наконец скрывшейся, как и все в просторе, под толстым снегом. Бабушка Акулина говорила, что такой снежной зимы сроду не бывало в здешних краях. Болезнь замечательно скрадывает время. Феодосия, переходившая от забытья к призрачной полуяви, не замечала, как летят дни, недели, месяцы. Придя окончательно в память, она стала привыкать к своей новой слабости, училась ходить, держать ложку, глотать какую-то жидкую пищу, пить горькие травяные отвары и удерживать их в себе. Когда же повеяло весной, она стала крепнуть ото дня ко дню, даже Акулина удивлялась, до чего быстро наливалось силой совсем было отошедшее в иные пределы существо.

Теперь Феодосии казалось, что болезнь она сама себе надумала, чтобы не умереть от горя и разочарования. В душу запали слова Акулины: «Кирьяк в лицо тебе заглянул». Она хорошо понимала, что это значит: прельстившись ею, Кирьяк пошел против устава шайки, отнял добычу у товарища и поплатился за это кровью. Тем он как бы обрел права на нее. Кирьяк тоже долго отлеживался, гноилась, не заживала рана. С перевязанной рукой заходил к ним в избу, молча смотрел на нее. Его угрюмое заросшее лицо с небольшими светло-серыми пытливыми глазами почему-то не пугало. Он что-то говорил Акулине вполголоса и уходил. Больше никто в избе не появлялся, видать, Кирьяк запретил. Только дюжая баба, не переступавшая порога горницы, приносила время от времени дрова, муку в мешках, свиное сало да свежую убоинку.

А разбойников Феодосия наблюдала в окошко. И странно ей было, что она, под стать бабке Акулине, уже не могла относиться к ним как к душегубам-кровохлеbam, несмотря на все виденное в лесу. Она знала, кровь лакома одному Семушке, другие никакой себе радости в убийстве не находят. Это были обычные деревенские мужики, придавленные вечной заботой, непосильным трудом, страхом перед завтрашним днем. Разбойничья жизнь мало походила на ту, что изображалась в песнях. Там — отважные схватки, золото, жемчуг, драгоценные камни да соболя, прекрасные девы, влюбляющиеся без памяти в забубенных молодцов. А здесь — тащись что ни день, в дождь, ветер, пронизывающий холод, когда зуб на зуб не попадает и не удержать ружья в окочен-

невших, с распухшими суставами руках, в засаду, заранее зная, что ничего там не выйдешь, кроме боли в груди и пояснице. Удача с купеческим обозом была единственной за все лето. Осенью маленько поправили дела за счет бегущих от чумы богатых астраханцев, но большинство шло водным путем на Самару и выше. Кирьяк похвалялся, что весной он захватит суда и пойдет озоровать по Волге, как приснопамятный Степан Тимофеевич. Конечно, то было пустое бахвальство, сил у Кирьяка не хватало, потому и действовали в захоlustье, а не на добычливом московско-саратовском тракте, где преуспевали другие шайки. В начале зимы на свежей санной дороге захватили крестьянский обоз, везший оброк барину в Борисоглебск, да невелика разжива: битая птица, мороженая телячья туша, с десятков поросят, бочки с соленьями и моченьями, тощий кошелек денег.

В то смятенное время разбой на Руси достиг степеней чрезвычайных. Насылаемые изредка слабые правительственные отряды особого рвения не проявляли. Тем более что и разбойники не лезли на рожон, сразу скрывались в лесах, позволяя командиру карателей послать начальству победную реляцию: шайка рассеяна, порядок восстановлен. Отряд с барабанным боем тащился обратно, пыля пересохшей землей, а разбойники, покинув укрытия, опять подвигались к проезжим дорогам.

Хотя злата и соболей в отряде Кирьяка не видывали, но концы с концами сводили, и семейные разбойники — почти вся шайка была из местных — отсылали либо сами отвозили домой кое-какое вспомоществование. Разбой был чем-то вроде отхожего промысла: как в иных деревнях мужики, взамен хлебопашества, занимаются извозом, плотничают или катают валенки, прислуживают в трактирах или банях, торгуют на городских рынках сбитнем или пирогами с собачиной, так здешние крестьяне уходили со своих неродящих, сухих, обдутых горячим ветром полей на разбойный промысел. Было тут немало и людей обиженных. У Кирьяка барин молодую жену насильничал, она руки на себя наложила. Кирьяк того барина задушил, а сам в лес подался. У Богуна, правой руки атамана, с барыней счет вышел. По ее приказу его подвешивали голого на конюшне и секли вожжами, а барыня смотрела, кивая головой, будто отсчитывала удары, после начинала стонать и корчиться, только не от жалости, а от какой-то внутренней сласти. Богун в свой черед подвесил нагую барыню к той же стрехе и отодрал вожжами так, что кожа с нее, как со змеи, лоскутьями сползала. Другие мужики ударились в бегство от меньших обид, от разора, голода, были и погорельцы, и, конечно, сбившиеся с пути, Макары, не помнящие родства, вроде Семушки. Иные мужики на пахоту, сенокос уходили в свои деревни подсобить родителям или женам, но большая часть держалась прочно стаей.

Отболев, Феодосия почти вернула себе тот бодрый покой, какой ею владел некогда в Астрахани. Да, ей не удалось достигнуть

мужа с первой попытки, человек предполагает, а господь бог располагает. Положен ей новый искуc, но она выдержит, сдюжит и отыщет своего ненаглядного. Она потеряла много времени, лишилась скромных гостинцев, которые везла мужу, денег, — видать, Акулина нащупала в юбке и выпоролла оттуда, но стала немного ближе к цели. Теперь у нее одна задача: вырваться от разбойников. Кто знает, какие ей еще предстоят испытания, какие выпадут беды, страхи, искушения, тягости, она должна все одолеть, где терпением взять, где отвагой, где хитростью — птицей пролететь, зверем порскнуть, рыбой скользнуть, змеей проползти, а до Москвы добраться.

Значит, надо держать себя в руках, приглядываться, прислушиваться и побольше пытаться словоохотливую Акулину, чтобы вызнать все нужное для побега.

Вскоре Феодосия с досадой обнаружила, что речистая бабушка ровным счетом ни в чем не проговаривается. Она прямо-таки засыпала Феодосию всякими сведениями о разбойниках, об их характерах, повадках, жизненных обстоятельствах, об удачных и неудачных набегах на барские усадьбы, о стычках с солдатами, о разных лихих и лютых делах, но все это происходило в какой-то смутной дали и смутном времени, будто за краем земли при царе Горохе. Как ни подъезжала к старухе 'Феодосия,' она так и не смогла из нее вытянуть, где находится их деревенька, какие сюда и отсюда дороги ведут, в какой стороне осталась Волга, есть ли поблизости городишко или крупный поселок. Старуха, не отводя незабудковых, чистых, как у младенца, глаз, начинала плести несусветную чушь, и Феодосия запирала в себе слух. Добрая бабушка Акулина была настоящая разбойничья ведьма: умная, хитрящая и неумолимая, ее жги — не проговорится.

Феодосии казалось, что бабушка Акулина исподтишка присматривает за каждым ее шагом. Она решила ее испытать. Разбойники были на деле, немногие обитавшие в деревне женщины возились в огородах, бабушка Акулина перебирала картошку в подполе, когда Феодосия, откинув щеколду, впервые вышла на улицу. Никого, только куры бродят. Феодосия миновала околицу и двинулась по большаку, обходя огромные, кишмя кишевшие головастиками весенние лужи. Ее отвыкшие от ходьбы ноги крепили с каждым шагом, чистый полевой воздух распахивал грудь. Феодосия оглянулась, никто за ней не следил. Даже настырная Акулина не всполошилась. Едва ли она доверяла пленнице, скорее рассчитывала на ее слабость. Феодосия не стала злоупотреблять терпением своей стражницы и вернулась домой.

— Как хорошо в поле-то! — сказала она Акулине.

— Одевайся потепше, — заботливо посоветовала та. — Не ровен час опять свалишься, Кирьяк мне голову скусит.

Бабушка частенько подчеркивала и свою особую ответственность за Феодосию, и попечение атамана Кирьяка. Феодосия холодела, догадываясь о смысле этих намеков, но сейчас в ней про-

снулась злость. «И хорошо бы скусил!» — «Так-то ты меня благодарить? — слезливо завела старуха. — Я ли тебя не выхаживала, ночей не спала!» — «Тоже мне благодетельница!.. И не лезь ты со своим Кирьяком». — «Это почему же? Он мужик правильный, справедливый...» — «Лыцарь с большой дороги», — перебила Феодосия. «Не шути так, деушка, Кирьяк добрый, добрый, а осерчает — беда». — «Вот то-то и оно! И хватит меня девушкой звать, сколько раз говорила. Я мужняя жена». Акулина отвернулась, проворчав что-то скверное, Феодосии послышалось: «Кирьяк тебя живо от брачных уз ослобонит».

Теперь она каждый день совершала все более дальние прогулки, приучая себя к долгой, быстрой ходьбе. И когда бабушка Акулина как-то отлучилась со двора, Феодосия сунула под кофту шматок сала, ржаную лепешку и припустила по знакомой дороге.

Версты через две или чуть поболее дорога свернула в лес, что было на руку Феодосии, теперь ее не углядеть из деревни. Дорога не была ни наезженной, ни нахоженной, и все же сквозь гривку весенней травы отчетливо проступали тележные колени, значит, дорога куда-то вела, ею пользовались. Феодосия вспомнила про разбойников: что, если она столкнется с возвращающейся шайкой? Но как ни бесшумно передвигаются лесные люди, у них подводы, лошади, всякое снаряжение, она услышат их загодя и юркнет в чащу. Лес был тих и спокоен, и бдительные его стражисойки не жили под солнцем свое яркое оперение. Перепархивали с сухим стрекозным шорохом мелкие птички, дятел ожесточенно долбил березу, взбалтывая свой бедный мозг в маленькой красной голове, грустно и редко, будто не доверяя самой себе, куковала кукушка. Феодосия не отважилась спросить кукушку, сколько лет ей осталось жить, голос птицы был затухающе слаб, а ей надо было жить долго-долго, чтобы наверстать все потерянные для любви годы со своим единственным.

Чем дальше углублялась она в густеющий лес, тем становилось жарче и душнее. Но из-под старых деревьев, приютивших густую тень, наддавало сыроватой прохладой. Кисленько пахли ландыши. Обок с дорогой желтели одуванчики и синели стройные живучки. Феодосии захотелось сплести венок, даже кончики пальцев защекотало, так не терпелось им коснуться тонких тел цветов. Она едва одолела искушение: надо засветло добраться до какой-нибудь деревни, ночевать в лесу страшно и холодно, опять лихоманка скрутит. Дорога уверенно тянула через лес, порой огибая какую-то мокрую балку или овражек, курящийся белым черемуховым дымом, и вышла к неглубокому, довольно широкому ручью в низких, поросших лезвистой травой берегах. Феодосия поглядела за ручей на толстые бурые мхи, сквозь которые пробивались хвощи, и не увидела дороги. Поразмыслив и погадав, она пошла влево вдоль воды и вскоре обнаружила дорогу, петляющую по берегу и постепенно отклоняющуюся от ручья. Феодосия озадачилась — дорога вроде бы поворачивалась вспять. Да нет, тут

нарочно понапутано, чтобы сбить с толку чужака, по злему умыслу, а хоть бы и ненароком забредшего в заповедный край лесной вольницы.

Она пошла по четко обозначившимся колеям и уже в сумерках, натерпевшись страха, оказалась на краю поляны, прямо против деревни, странно тихой и безлюдной, вроде бы брошенной. А хоть бы и так! Она переночует в первом попавшемся доме, а утром пойдет дальше. Тут она увидела у крыльца крайней избы старушечью фигуру. Феодосия поспешила туда, и противная слабость в коленях чуть не повергла ее наземь.

— Набегалась? — ворчливо сказала бабушка Акулина. — Иди вчерять-то, второй раз самовар грею.

Теперь Феодосия поняла, почему ее не стерегут и позволяют ходить где заблагорассудится. И все-таки дорога, настоящая дорога, которая выводит из этой западни, где-то должна быть. Ведь не по воздуху уходила и возвращалась шайка, да и прежние насельники деревни как-то сообщались с миром. Может, надо было пойти по ручью в другую сторону или перейти его вброд и там, на толстом мшанике, отыскать вмятины от тележных колес. Все дороги куда-то ведут, значит, и эта дорога, как бы ни запутывали ее ленту боящиеся преследования люди, имеет настоящее направление, надо только суметь распутать узлы. Сразу ничего не дается, но сегодня она стала чуть ближе к избавлению. А главное, ей нечего таиться, Акулина настолько уверена, что отсюда не уйти, что предоставляет ей полную свободу.

И на другой день Феодосия на глазах Акулины снова пустилась в путь. Все было по-вчерашнему: сойки, дятел, мелкие пичужки, кукушки, только одуванчики успели превратиться в пушистые шары. Достигнув ручья, она пошла в другом направлении, продираясь сквозь таволгу и цветущую крапиву. Шла она долго, острекалась, устала и хотела уже повернуть назад и тут увидела на другом берегу ручья, на песчаном зализе полнящиеся водой колесные следы. Разувшись, она перебралась на тот берег по обжигающе студеной воде, растерла замлевшие ноги, натянула сапожки, но сажень через пятьдесят пришлось опять разуваться — перед ней снова оказалась вода. Был ли это тот же ручей, петляющий заячьей цепочкой, или другой — понять нельзя. Дальше дорога пошла сухой, прямой, как стрела, просекой, по которой во всю длину простерся солнечный луч. В его перехвате тусклое оперение сновавших над просекой дроздов загоралось фазаньими красками, и как будто лопались серебристые шарики, это вспыхивала в луче светлая роговица летучих жучков. И Феодосию объят этот луч, она поплыла по его клубящемуся лесной пылью сиянию и приплыла прямо на зады деревни. У плетня поджидала бабушка Акулина.

— Набегалась? — добродушно спросила старушка. — А я тебе кулеш молочный сварила.

Не кричать, не плакать, не валиться наземь, внушала себе Фе-

одосия. Я стала еще ближе к Василию, ближе на эту проклятую обманную дорогу, которой мне все равно было не миновать. И может, их тут много, таких дорог, но одна все-таки окажется настоящей и выведет меня на волю. Завтра я опять пойду... Но завтра у нее не оказалось, ночью явился человек от Кирьяка и велел всем уходить в лес. Приближался карательный отряд.

Как ни ослабила смерть Петра государственный аппарат, пущенные им колеса все-таки вертелись, и власть себя охраняла. Бессильная во всем другом, она не вовсе разучилась преследовать и карать. Уходящие лесом разбойничьи женки, а равно и Феодосия с Акулиной видели в разрывах чащи черный недвижимый дым, шапкой накрывший спаленную карателями деревеньку.

10

Началась лесная жизнь, в шалашах и землянках. Разбойники прибавлялись легким, неопасным делом: обирали астраханских мародеров. Чума продолжала свирепствовать, уничтожая целые семьи, и опустевшие дома подвергались разграблению как местными, так и пришлыми людьми, которые в надежде на поживу отважно проникали в зараженный город и уходили с немалой добычей. Им никто не препятствовал, власти давно покинули Астрахань.

«Небось и мой дом разграбили, — без всякого сожаления думала Феодосия. — Да что там осталось: ложки, поварешки, постели, кое-какая одежда». Странно, ей на ум не приходило, что чума могла лишить ее не только имущества, но и близких людей, родного батюшки. Нет, в ее сознании все они оставались целы и невредимы. Ей не хотелось обременять душу никакой лишней заботой, никакой тревогой и болью, отвлекающей от мыслей о муже, с которым она должна соединиться. В роковой недостижимости Василия Кирилловича ее любовь к нему не то чтобы усилилась, сильнее нельзя любить, но обрела черты восторженного поклонения. Даже бегство его вызывало восхищение. Он бежал не из корысти и выгоды, а себе во вред и тягость, единственно ради знания. Кто еще на это способен? Все лишь о хлебе насущном думают, о богатстве и всякой земной сладости. Он необыкновенный, великий человек, недаром же остановил на нем взгляд царь Петр.

Она думала о занятиях Василия Кирилловича и жалела, что не вникла в них глубже. Почему он был пристрастен к рифмованным строчкам, которые складывались в песню, но песней не были? Он называл их стихами. А зачем говорить в рифму да еще нараспев, коли ты не собираешься ни петь, ни причитать, ни словословить царя небесного или земного человека? Простой речью, какой в разговоре пользуются, можно все проще и ясней выразить. Она не понимала этого и мучилась. Однажды, тоскуя свыше

мочи о Василии Кирилловиче, утирая набегающие на глаза слезы и томя себя невыносимыми мыслями о худобе, скудости одинокой жизни мужа близ московской науки, Феодосия проговорила вслух такое, чего и внутри у нее не было, словно вычитала начертанное в воздухе:

Уж я встречусь с тобой, милый, родненький,
Накормлю тебя сладко, сдобненько.
Напитаю твою плоть нищую
Самой вкусной и сытной пищею.

Ей стало чудно, радостно и чего-то стыдно, и она вычитала в дрожащей пустоте лесного воздуха другие, лишь ей зримые письма:

Сердце бедное плачет, надеется,
Что любовью снова согреется,
Что забудется мука мученическая,
И ты счастьем обучишь еще меня.

Феодосия несомненно была поэтом, и поэтом лучше Тредиаковского, но она так и не узнала, что ее устами говорит вечность. Оказывается, рифмующимся строчками можно нежнее, задумшевнее сказать о своем чувстве, нежели простой разговорной речью, и это облегчает душу лучше слез. Когда Акулина вошла в шалаш, она проговорила:

Тяжело холодать,
Тяжело голодать,
Но тяжелее того
Друга милого ждать,
Ждать не дожидаться.

— Свят, свят! — перекрестилась испуганная Акулина, решив, что Феодосия произнесла какую-то ворожбу.

Уловив испуг бабушки, не боявшейся ни людского, ни божьего суда, ни государевых застенок, Феодосия поняла, что Акулина верит лишь в силы преисподней, и принялась травить старуху. Стихи слагались играючи, они плескались возле сердца, и надо было только сморгнуть с глаз окружающую мельтешню и вычитать в небесной книге звонкие строки о чем хочешь: о любви, тоске, облаках, ветре, поползне, снующем по ракете вниз головой, даже о противной Акулине. Как-то раз, уставившись ей в лицо неподвижным взглядом, Феодосия проговорила загробным голосом:

Наточу я ножик повострей
И добуду Акулининых кровей,
Требуху старой ведьме нарушу,
В ад кромешный засуну душу.

С громким всхлипом Акулина выбежала из шалаша и вернулась с Кирьяком.

— Зачем бабушку пугаешь? — спросил он хмуро.

— Вольно пугаться старой дуре! — свободно отозвалась Фео-

досия, она ненавидела старуху и не желала этого скрывать. — Я стихи говорю.

— Какие еще стихи?

— Ну, песни вроде... Только их не поют, а говорят.

— А ну скажи.

И Феодосия сказала, только не про Акулину, а про свое сердце.

— За что же ты его так любишь? — глухо спросил Кирьак.

— А как же не любить? Он мой родненький, единственный. Другого не было и не будет.

— Это уж как бог решит.

— Бог уже решил. Небось нас в церкви венчали.

— Как же бог разрешил ему бежать? — зло усмехнулся Кирьак.

— Батька его, священник, мечтал приход ему передать. А он не хотел в попы, учиться хотел.

— Что в попы не пошел — одобряю. А зачем женатому мужику учиться?

— Дурачок ты, Кирьак, — почти ласково сказала Феодосия. — Учатся, чтобы все знать. Как мир божий устроен, какое в нем каждой твари назначение. А когда узнаешь, все умные книги прочтешь, доберешься до высшего смысла.

— И твой доберется? — недоверчиво и все с той же угрюмой насмешкой проговорил Кирьак.

— Мой-то как раз доберется! — с торжеством сказала Феодосия. — Он упрямый.

— Черта лысого он доберется! — грохнул Кирьак. — Вот кто есть самый распоследний дурандай, так это твой мужик. Высший смысл рядом был, а ему — звонки бубны за горами.

— Болтаешь пустое, — вздохнула Феодосия, уже понявшая, что разговор склоняется к тому, чего ей так хотелось избежать, и ведь казалось, дура жалкой, пронесет грозу стороной, ан не пронесло.

— В тебе этот смысл, Феодосия, только в тебе! — горячим, искренним голосом заговорил Кирьак. — Кабы ты моей была, неужто мог бы я тебя кинуть? Да за все сокровища...

— Пошел ты со своими сокровищами! — нарочито грубо оборвала его Феодосия, надеясь погасить разгорающийся костер. — Только и знаете — о сокровищах. Василий Кириллович на нищую жизнь пошел, а не за сокровищами. Для него все ваши сокровища — тьфу! — Она плюнула и растерла ногой.

— А ты можешь быть злой, — удивился Кирьак.

— Могу. Для себя не могу, для него могу. Убить могу, глаза выцарапать, искалечить, все могу, так и знай, Кирьак. И себя убить могу, — добавила спокойно.

— А зачем умней умного быть? — помолчав, сказал Кирьак. — Был у нас мужик в деревне, все божественные книжки читал. Умнел ото дня ко дню, покуда не обернулся в круглого дурака.

— Чего с тобой говорить. Все равно не поймешь. Ты хоть читать-то умеешь?

— Умею... маленько, по псалтырю. И счет знаю.

— Вон ты какой ученый! — улыбнулась Феодосия.

— Скажи-ка... это еще раз. Про сердце.

И Феодосия сказала:

Сердце бедное плачет, надеется,
Что любовьию снова согреется,
Что забудется мука мученическая,
И ты счастьем обучишь еще меня.

— Да... — вздохнул Кирьяк. — Кабы ты меня полюбила... — Он примолк, будто испугавшись своей мысли, потом тихо, задушевно договорил: — Я бы учиться пошел...

Феодосия не отозвалась, наивность Кирьяка ничуть не умилила ее. Женский инстинкт подсказывал ей, что Кирьяк, смелый на лесных дорогах и в обращении с сообщниками, не любящий, но и не боящийся крови, нерешителен с женщинами. Он обожал свою покойную опозоренную жену, был верен ее памяти, а хмельная близость с гулящими девками ничего для него не значила. К ней у него было настоящее чувство, потому и робел, но сегодня он переступил трудный для себя и опасный для нее рубеж. Теперь дело пойдет в открытую. Из леса бежать еще труднее, чем из деревни, там была хоть какая-то надежда отыскать дорогу; тайные разбойничьи тропы вовсе не проглядывались, а идти наугад — или заплутаешься в чаще, или зверь растерзает.

Она стала наблюдать за разбойниками, за их уходами и приходами, но ничего не могла высмотреть, густой плотный мшаник не хранил следов. Теперь она при каждой встрече просила Кирьяка отпустить ее с миром.

— Об этом и думать забудь, — мрачно отвечал Кирьяк.

— Зачем я тебе? Я же знаю, чего тебе нужно, да ведь не могу я тебя полюбить, не могу. И не будь я мужней женой, все равно бы не смогла. От тебя кровью пахнет, Кирьяк, а меня с нее мутит.

— Степан Тимофеевич поболее моего душ загубил, а его шемаханская царевна любила, — мечтательно говорил Кирьяк.

— Да какой из тебя Разин! Тоже сравнил.

— А вот брошу в Волгу — поймешь какой, — так же мечтательно звучал хриплый голос.

— В Козье болото, — усмехнулась Феодосия. — Где тут Волга-то? — А сама надеялась, что он сгоряча проговорится и откроет их местоположение.

— Я уйду на Волгу, — грезил наяву Кирьяк. — Посажу людей на струги, тебе под ноги ковер персидский кину. Ох и погуляем мы!..

— Тешь себя сказочками, Кирьяк, а меня уволь. Не люб ты мне. И чем дольше меня продержишь, тем ненавистнее станешь.

— Ну, это мы еще посмотрим, — бледнел Кирьяк смуглым лицом.

— Ты же не захочешь, как тот барин...

— Молчи! — орал Кирьяк, и в мучительном этом крике Феодосия черпала уверенность в своей безопасности.

Феодосии только казалось, что она понимает людей. Она и в самом деле могла долго проследить душевный путь человека, но угадка давалась ей лишь в случае возобладания добрых начал. Она и в дурных, нечистых играх, столь чуждых ее натуре, могла многое ухватить, проявляя порой редкую пронизательность, какое-то непостижимое чутье к тому, что отсутствовало в ее опыте, но все это до известного предела; там, где человеческая злоба, порочность или просто разнузданность начинали гулять без помех, Феодосия становилась наивной, как малый ребенок. Ей казалось, что своей искренностью она обезоруживает Кирьяка. Если бы он просто хотел ее взять, то мог давно совершить это бесчеловечное дело. Она долго была все равно что без разума, любой мог надругаться над ее бессильным, не способным к сопротивлению телом, и она даже не знала бы об этом. Но Кирьяку, видеть, иное нужно. А может, его останавливает память о своей обещанной жене? Нет, он хотел ответного чувства, хотел, чтобы все по согласию и, дико сказать, по закону у них было. Однажды сильно хмельной он бормотал о «лесном попе», который может разрешить ее от брачных уз и опутать с ним, Кирьяком. И она не боялась говорить ему о своем отвращении, допуская, что Кирьяк может в бешенстве ударить, даже ножом пырнуть, но хотя бы из гордости удержится от насилия. Скорее, устав от этой борьбы, унижений, неудовлетворенной страсти, прогонит ее прочь.

Кирьяк приходил разный: добрый, на что-то надеющийся, чаще злой, ожесточенный, бывал и задумчивым, пришибленным странной загадкой жизни, что брошенная мужем молодая, красивая, к тому же беззащитная женщина может так упорно противиться власти, способной раздавить ее, как козявку. Он ненавидел и уважал в ней эту странную силу. Его ничуть не задевали насмешки товарищей за спиной. Наверное, Кирьяк потому и был атаманом, что плевал на мнение окружающих. Их бабы пересуды были так ничтожны перед его болью, что он не пытался заткнуть им грязные рты. Перетянутая струна рвется. Порвалась и атаманова струна.

Крепко напившись, Кирьяк пришел в шалаш к спящей Феодосии. Он откинул одеяло, задрал рубашку на женщине и рухнул на нее своим тяжелым телом. Он делал все молча, с грубой простотой, словно у них так всегда заведено было.

Феодосия проснулась от придавившей ее тяжести и духоты. В первое мгновение ничего не поняла, и тут будто расплавленный свинец влился ей меж бедер, и, чтобы не умереть, она прозрела в какой-то иной вселенной и узнала своего единственного. Он услышал ее тоску, ее зов через тысячи верст, вернулся, разыскал в глухом лесу и сразу одарил своей любовью, по которой так избо-

лелось ее тело. Неизъяснимое наслаждение охватило Феодосию, никогда еще не открывалась она так любимому!

— Милый, родной! — выжимала она со стоном сквозь стиснутые, скрежещущие зубы. — Счастье-то какое!..

Кирьяк, знавший, как сильна разъяренная, защищающая свою честь женщина, даже в пьяной решительности не забыл сунуть нож за голенище. Он ждал ярости, проклятий, слез, борьбы, но то, что произошло, было выше его понимания. И к нежданному, ошеломляющему счастью прикипела слеза. Опустошенный, без чувств, без желаний, без мыслей скатился он с женщины, издававшей тихие стоны, выполз из шалаша и забылся мертвым сном.

А утром, опамятававшись, умылся ключевой водой, расчесал волосы и бороду, надел синюю сатиновую рубашку, взял золотую цепочку, нитку жемчуга и явился в шалаш к уже проснувшейся, но не встававшей, бледной, большеглазой и странно далекой, дальше самых далеких звезд, возлюбленной.

— Бери! — сказал он, уронив цепочку и жемчуг ей на грудь. — Знаю, ты не того стоишь. Но дай срок. Как царица будешь у меня ходить, краса моя ненаглядная.

— Что с тобой, Кирьяк? — слабым, надтреснутым голосом спросила Феодосия и брезгливо отбросила драгоценности. — Зачем ты мне даришь?

— А кому же дарить? Одна ты у меня. Не отвергай. Нет такого золота, чтоб заплатить за твою любовь. У самого царя сокровищ не хватит. Прими как дань сердца.

— О чем ты, Кирьяк? — Она мучительно напрягла свой гладкий лоб, собирая его в складки. — Ты напился с утра?

— Нет, голуба моя. Каюсь, был я вчера выпимши. Для куража хватил. Веришь ли, к такой махонькой подступиться трусил. Знал бы, что ты сжалишься надо мной...

— Не сжалюсь, не мечтай...

— Да ты что? — Низкий голос атамана грубо осип. — Заспала, что ли? Был же я с тобой.

Она внимательно, будто что-то соображая, смотрела на него.

— Наговариваешь на себя, Кирьяк, — произнесла спокойно и вроде бы сожалеюще. — Кругом ты в грязи и крови, а в этом грехе неповинен. Это барин твою жену насильничал, а ты на себя чужое берешь. С водки умом повредился.

Кровь втиснулась в глаза Кирьяку с такой силой, что он прижал их пальцами, боясь, что лопнут.

— Жену не трожь, — сказал глухо. — К чему ее приплетать? Барин похоть свою тешил, а я за тебя все царства отдам.

— Какие царства? — брезгливо усмехнулась Феодосия. — Нет у тебя ничего, кроме цепки ворованной. Ты голь перекатная. Из тебя и разбойника настоящего не вышло. Ты воришка и робкий убивец. Нету у тебя талана. Ни в чем. Ну, что ты меня держишь, скажи на милость? — Голос смягчился, звучал почти сострадательно. — Все равно мы тебя обманули. Нашел меня лю-

бимый, мы с ним всю ночь миловались, пока ты пьяный дрых. И будет у нас ребенок, весь в отца, крепенький, беленький, с бородавочками вот тут и вот тут. — Феодосия притронулась мизинцем к щеке и верхней губе.

— Что ты несешь? — с болью сказал Кирыяк. — Какой муж, какие бородавки? Мне ты открылась, мне!

Феодосия высокомерно рассмеялась.

— Видишь? — В руке у нее блеснул нож, зная, выпавший у него из-за голенища. — Только подступись, по зенкам полосну. А коли подмогу кликнешь, зарежусь.

«Она рехнулась! — ожгло Кирыяка. — Эх, несчастная!.. И пошто бабенку сгубил?.. А что было делать? Ей спасение — мне гибель. Так сошлось. Не человеческим, да и не божьим промыслом. Жалко ее до смерти, и себя жалко. Нешто мог я подумать? Ну, поревет, не без того, ну, рожу мне расцарапает, волосья оборвет, ну, схватится за гужи и остынет помалу. Ведь не девка. Неужто из-за такого дела жизни решаться? А эта не такая. Эта как моя... До чего же, однако, она своего уroda бородавчатого любит! — с какой-то восторженной завистью подумал Кирыяк. — А он, гнида поповская, на книжки ее променял. Не вышло тебе счастья, Кирыяк, только душеньку чистую погубил. Вот уж кто истинно несчастный, так это ты...»

Кирыяк крикнул Акулину и велел собирать Феодосию. Он хотел дать ей денег, она взяла ровно столько, сколько у нее пропало. Казалось, Феодосию подменили, она ослепла к окружающим, к атаману, замечала одну лишь Акулину, обращаясь с ней высокомерно, будто та была ее служанкой. Наставленная атаманом, старуха не огрызалась, покорно приговаривая: «Да, матушка-барыня», «Слушаю, сударыня-барыня». Акулина сменила тон, когда они покинули становище. Теперь она покрикивала на Феодосию, понукала идти быстрее или ругалась, если та слишком убыстряла шаг: «Чего несешься как оглашенная? Я небось не молодка. Успеешь к своему чучелу!» Феодосия не отзывалась, вроде и не слышала, и шла, как ей шлось. Когда же добрались до пристани, Акулина опять съежилась и заюлила. Феодосия оставалась такой же отрешенной и не откликнулась известию, добытому Акулиной, что чума в Астрахани, почитай, кончилась и оставившие город жители потянулись назад. Но, похоже, слова эти достигли ее, и она сделала какие-то выводы. Вечером, когда сбившая ноги в кровь Акулина вернулась на постоялый двор, где они остановились, и сообщила, что в Москву никто не едет ни водой, ни сушей и надо плыть до Саратова, Феодосия сказала тяжелым, низким голосом: «Какая Москва? Какой Саратов? Домой поеду». Это оказалось куда как просто: на другое утро Акулина пристроила ее на струг с астраханскими беженцами. На прощание Акулина вдруг расчувствовалась: «Прости, девонька, если что не так вышло!» — «Бог простит», — пробормотала Феодосия и, пошатываясь, двинулась по сходням на струг.

Феодосия не помнила, как добралась до Астрахани, как очутилась дома. Странная болезнь, начавшаяся в ней после ночи, когда явился Василий Кириллович, опрокинула ее без памяти на голые доски кровати. Она вспомнила себя лишь на другое утро. Ужасное жжение палило ее внутри; оно начиналось в животе, поднималось вверх, заполняло грудь, сердце будто плавилось, обожженная гортань судорожно сжималась, хотела вытолкнуть что-то мешающее, мерзкое, во рту лопался ком едучей горечи. И воды никто не подаст, думала Феодосия, но пить ей не хотелось. И вообще ничего не хотелось, даже чтобы жжение прошло.

Появилась золовка Марья с ребятенком. Феодосия ей не обрадовалась. Тихонько плача, Марья рассказала, что все родные умерли от чумы один за другим, кроме о. Кириллы, который ушел в монастырь и принял постриг под именем Климента. Феодосия промолчала. Равнодушно выслушала она, что ее батюшка тоже спасся. Она спросила лишь: «От Василия ничего не было?» — «Откуда же быть? — плаксиво молвила Марья. — Мы же тут как отрезанные. Может, сейчас чего будет». — «Нет, — сказала Феодосия, — не будет. — Помолчала, сжав сухие, потрескавшиеся губы. — Знаешь, Марья, уходи лучше, вдруг у меня чума». — «Чума саму себя пожрала, — сказала Марья, разучившаяся бояться. — Кончилась ее власть». — «Вот меня еще сожрет и кончится», — с провидческой уверенностью произнесла Феодосия. После Марья говорила: накликала. Чума, и впрямь иссякшая, набралась силы, чтобы унести бедную жизнь Феодосии.

Господь облегчил ей кончину. Когда тьма отступала, Феодосия опять наполнялась своей любовью и совсем не мучилась страхом смерти. Она и знала и не знала, что умирает. Одно в ней было твердо: не может она умереть, не свидевшись с любимым. Хоть в последний ее час, к последнему дыханию явится он из своей дали. А коли так, она не умрет, не может умереть, когда он рядом. Она возьмет его за руку, и нету у смерти силы порвать такой сцеп. Она не знала, когда умерла. Да и умерла ли она, вся излившись в любовь и веру, что остались на земле питать всеобщее человеческое сердце.

Отец Кирилла, он же иеромонах Климент, прослышал о возвращении снохи и собрался идти к ней, но известие о смерти Феодосии, присланное в монастырь дочерью Марьей, удержало его на месте. Из всей его большой семьи продолжала жить лишь эта всегда далекая ему дочь да внучек, которого он не успел полюбить. Почему бог не прибрал его вместе с теми, кто был ему дорог на земле? Он стар, изношен, ни на что не годен. Быть может,

он должен искупить какое-то зло, какую-то несправедливость, свершенную им по неведению, ибо сознательно дурных поступков о. Кирилла за собой не помнил. Он не был праведником, но всегда старался жить по чести и правде, никого не обманул, не обобрал, не осиротил, не оговорил. Напрягался для семьи и людям служил по мере сил, не корыствуя и не лукавя. Но бог лучше знает, виновен или невиновен слабый земной человек, и в нужный час призывает к ответу.

В неожиданном возвращении Феодосии, которую он в мыслях давно не числил в живых, увидел о. Кирилла божий знак. Вот его грех перед господом. Ему и его семейству доверилась юная чистая душа, и как же дурно, небрежно, жестоко они с нею обошлись! Ему вменяется искупить семейную вину перед Феодосией. Он почувствовал желание жить, странную силу в старом, изжитом теле, затосковал по тяжелой, потной работе и заботах о другом человеке. Но господь бог прибрал Феодосию, лишив его благодати искупления и загадав новую мучительную загадку, которую о. Кирилла и не пытался разгадать. Ему не для чего стало жить. Он лег на жесткое свое ложе и поручил душу богу. Умирая, он думал о том, что с его уходом навсегда исчезнет на Руси и вскоре сотрется в памяти людей фамилия Тредиаковский. Марья носит мужнее имя, о других же Тредиаковских он сроду не слышивал. Хорошая, звучная фамилия, ее носили служители церкви, городские и сельские священники, сопровождавшие человекот до рождения до смерти, а были попы Тредиаковские, что и ратное поле ведали, благословляя воинство на сечу с татарвой, степняками и ляхами. Отныне русские люди будут управляться во всех своих делах без Тредиаковских. О блудном сыне старик не вспомнил, давно похоронив самую память о нем. И с этими горестными мыслями отошел...

12

Меж тем, далекий от кромешных российских скорбей, Василий Кириллович окрепшей, раздавшейся грудью дышал и не мог надыхаться бодрящим парижским воздухом. Во всей долгой и тяжелой, наполненной непосильными трудами и неравной борьбой жизни этого первого русского интеллигента, безмерно щедрой на все дурное: недоброхотство и непризнание, насмешки и злобные издевательства, унижения и даже побои — в жизни, скупой лишь на удачу, тепло и отдохновение, в этой мученической жизни был один широкий голубой просвет: парижские дни под надежной рукой русского посла. И после внезапной смерти князя Куракина его покровительство продолжало осенять Тредиаковского.

Василий Кириллович изменился внешне почти до неузнаваемости: исчез костлявый оборванец, появился вальяжный молодой щеголь с гладким, румяным лицом, которое не портили две запечатанные мушками бородавки, с живым и приметливым к окру-

жающему взглядом. Да, теперь Василий Кириллович не был постоянно погружен в самого себя, он научился видеть мир и находить себе место в его круговерти. Да и как можно было остаться слепым и равнодушным к Парижу, Елисейским полям, сенским берегам, где цвели каштаны и продавались божественного тленного запаха старинные книги, к собору Парижской богоматери с печальными химерами, к Лувру и Пале-Роялю, благоухающим садам, где гуляли прелестные женщины с нарядными детьми, к старым, источающим волнующий холод камням Сорбонны, средоточию разума. Василий Кириллович, вечный пленник аскетической державы духа, познал радость материальных благ: изысканной еды на севрском фарфоре, тонких вин в хрустальных бокалах, он был допущен к барскому столу, хотя и помещался на нижнем его конце.

Князь Куракин был одним из первых щеголей своего времени, Василий Кириллович донашивал его кафтаны, камзолы, жилеты, которые князь и надевал-то считанное число раз, а какая-нибудь капля бургонского или дырка от трубчатого табака, тщательная заштопанная, в счет не шли, равно доставались ему княжеские панталоны, плащи, чулки, туфли с серебряными пряжками и шляпы, которым могли позавидовать франты с Елисейских полей. Словом, он был сыт, пит, разодет, ухожен, голубоглазая Мари стирала и гладила ему рубашки, ах, как она гладила!..

В карманах у Василия Кирилловича позванивала мелочь, но он не мотовал и тратился лишь на театральные билеты на галерку и книжки, что так упоительно дешево у сенских книготорговцев. Сам сиятельный князь, а позже его преемник искали беседы с редкостно начитанным, памятливым — ходячая энциклопедия, — интересно и хоть коряво порой, да по-своему мыслящим студиозусом, обогнавшим иных профессоров Сорбонны, которую он все еще старательно посещал, дабы совершенствоваться во французском и древних языках.

Он упоенно работал. Перевел книгу Поля Тальмана «Езда в остров Любви», более шести десятков лет чаровавшую взыскательных французских читателей, писал собственные стихи как на русском, так и на французском, ставшем для него родным языком. Он упивался строгой системой Буало, восхищался блестящим стилем, обаятельным цинизмом и смелым безбожием Вольтера, окончательно расшатавшим его и без того слабую религиозность. Французское вольномыслие и нравственная свобода благодетельно повлияли на дремучую душу астраханского виршеплета. Он презирал церковнославянское велеречие, выпростал плечи из-под вериг тяжелой дидактики и всей душой поверил, что поэт волен петь иные, светлые начала бытия. Его смутные юношеские прозрения, что простой народ в своих песнях ближе к истинной поэзии, нежели признанные служители тяжеловесной отечественной музыки во главе с самим Феофаном Прокоповичем, стали той убежденностью, которая приводит к открытиям. Конечно, понадо-

бились Россия и время, чтобы угадки, наития, озарения, кропотливый умственный поиск вылились в стройную систему, но начало было положено.

В эту счастливую, полезную и чуть-чуть пошловатую пору своей жизни Василий Кириллович окончательно забыл Феодосию, забыл ее любовь и свою боль о ней. Не просто забыл, а отринул, как и все прошлое. Он жил лишь настоящим, наивно полагая, что вся последующая жизнь будет освещена тем же солнцем, ему неведомек было, что это всего лишь краткая передышка перед бесконечной российской Голгофой. Счастливым своей обрезавшейся памятью и безмятежной верой в будущее, он растворялся в сиюминутности, озаренной победительным образом блистательной арцухины Бурбонской.

Да, Василий Кириллович переживал страстное увлечение. Первая красавица двора пленила его сердце. Он долго не догадывался об этом, но галантная французская поэзия открыла ему глаза. Когда рухнули убогие бурсацкие представления о возвышенных нравоучительных целях поэзии, служащей якобы к прославлению великих мира сего и к назиданию малых сих, когда открылось, что истинная поэзия — это разговор о любви и не поэт тот, кто не влюблен, он с восторгом обнаружил, что не обделен этим первым наиважнейшим признаком поэта. Да, втайне даже от собственного сердца он без памяти влюблен в юную львицу парижского высшего общества, живую легенду, черноглазую арцухиню Бурбонскую. Да, между ними пролегла бездна, но любовь крылата, пусть его избранница знатна, богата, избалована вниманием первых галантов Франции и всей Европы, ничто не может помешать любви поэта. Дерзкий, неутомимый, он не уставал ласкать предмет своей страсти блеклым взором славянских глаз, покрывать ее ангельский лик тысячами воображаемых поцелуев.

У них были общие вкусы. Оба поклонялись Мельпомене, и каждый вечер в положенный час Василий Кириллович встречал портшез своей избранницы у ступеней лестницы «Комеди Франсез». Поскольку красавица не догадывалась о пожаре, который зажгла в душе чужестранца, да и вообще не подозревала о его существовании, Василий Кириллович мог не особенно скрываться и в толпе зевак, нищих и мазуриков, постоянно осаждавших возле театра знатных господ, пробираться к самым носилкам, вдыхать пьянящий аромат духов, внимать серебристому смеху и чуть хрипловатому детскому голосу. Ему вспомнилась крылатая фраза мушкетера — поэт Сирано де Бержерака: для влюбленного всякая рана смертельна, ибо он состоит из сплошного сердца.

Но, к счастью, это оказалось поэтическим преувеличением, иначе Василий Кириллович окончил бы дни на мостовой перед знаменитым театром и не одарил бы русскую литературу силлабо-тоническим способом слагать стихи, многими учеными трудами, собственными творениями и переводами. Как часто мы недооцениваем людскую наблюдательность, как мало знаем о том инте-

ресе, какой вызывает у совсем посторонних людей наша скромная личность. Но когда, прокладывая дорогу портшезу арцухини, молодой смуглолицый носильщик нашел кулаком физиономию отнюдь не лезшего вперед Василия Кирилловича, бедный поэт мог бы поклясться, что тот сделал это нарочно. Он высмотрел фигуру Василия Кирилловича в многоликой человеческой протери, ежевечерне осаждавшей носилки арцухини, и что-то смекнул про себя, уж не возреждал ли дерзкий раб свою госпожу к молодому иностранцу? А что, если и вельможная дама его заметила?.. Но думать об этом не хотелось, мысль, куда бы ни повернула, сразу упиралась в тупик. Довольно того, чтобы манящий образ водил его рукой, сжимающей перо, когда он предает бумаге свои поэтические грезы.

У Василия Кирилловича был слабый нос, кровь продолжала сочиться, когда он занял свое место на галерке; отсюда, если перегнуться, можно увидеть далеко внизу обнаженный локоть и нежные холмы персей сидящей в ложе арцухини Бурбонской. Он дал себе слово — не покончить с безумствами, это было выше его сил, — обуздать себя настолько, чтоб не попадаться под быструю мускулистую руку злого носильщика. Это слово Василий Кириллович сдержал. Теперь он топтался на почтительном расстоянии от портшеза и бдительно следил за всеми перемещениями своего врага. Больше он впросак не попадался и спокойно изнемогал от любви, сообщавшей все новые краски его поэтическим опытам в галантном галльском роде...

Тредиаковский уступал в поэтическом даровании и просто в умении слагать стихи и Ломоносову и Сумарокову, но в нем одним из всех его современников звучала щемящая лирическая нота. И эта нота прорывалась сквозь всю несладкую тяжеловесных виршей, чистая, грудная, задушевная, — то в стихах о Париже, то в песенке о кораблике, уходящем в плавание, то в стоне о далекой родине, то, вовсе неожиданно, в какой-либо заумно-безобразной рифмованной чуши. Этот нелепый поэт не был весь съеден дидактикой, хотя и удивительно быстро излечился на родине от французского легкомыслия и поэтической безответственности, в нем под всеми слоями назидательности, педантизма, ханжества, верноподданнической лести сохранялся живой родничок. И отсюда мог бы забить Кастальский ключ. Он подносил к губам флейту, душа его искала выход в элегии, но заглашал сам себя барабанным одическим боем. Он не узнал своей музыки и слепо прошел мимо. А ведь она была возле его сердца, сама поэзия, сама любовь. Ах, бросить бы ему арцухиню Бурбонскую, заодно и прачку Мари, так хорошо умевшую гладить, и весь галантный, литературный, театральный, ученый Париж, уже давший ему все, что мог дать, да и вернуться в Астрахань, припасть к измученной груди Феодосии, хоть последней слезой ее омывать, и русская поэзия получила бы первого лирика. Знать, не судьба была. А своего лирического поэта Россия получила в должный час...

В истории этой нет ни правых, ни виноватых. Каждый остался верен своей правде, своему назначению: Феодосия, обреченная любить и только любить, и ТрEDIAKовский, предназначенный дать отечественному стихосложению новую систему и проложить дорогу русскому классицизму. Он принес в жертву невесту кем поставленной перед ним цели и любовь Феодосии, и собственное самолюбие, достоинство, честь; его топтали вельможи и дворцовые холоуи, язвительный монарший смех выдавал головой на поругание злейшим врагам, но он, подобно Феодосии, не отступил. Велико было мужество этого слабого и незащищенного человека. На его раны сыпали соль, и ни одна рука не протянулась утереть черный пот вечного труженика.

Поистине, литература — это храм на крови.

ОСТРОВ ЛЮБВИ

1

— Тросты! — стараясь придать голосу внушительность, потребовал ТрEDIAKовский.

— Не ходи, родимый, не ходи, кормилец! — завела жена, скидывая пальцем мелкие слезки, то и дело выбегавшие с уголков бледно-голубых глаз.

С того памятного люто-студеного февральского дня, когда принесли его домой на шинельке, ободранного, хуже сидоровой козы, ее слезный мешок принимался источать влагу от любого беспокойства, от самой пустой малости. Она плакала почти беспрерывно, сама того не замечая.

— Должен пойти!.. — сказал он строго.

Но какая твердость не размякнет в столь влажном климате? Василий Кириллович был непреклонен и грозен лишь за письменным столом, сжимая в перстах гусиное перо, в прочей жизни из него разве что ленивый веревоч не вил. Вот и сейчас он сразу свел на нет силу своего убежденного решения.

— Ну как же я не пойду?.. Все пойдут, а я не пойду. Ну-ко заметят?..

— Да хоть бы!.. Тебе-то что?..

— Как же так?.. А коли нароку в том узрят? К бунтовщику сочувствие?..

— Василий Кириллыч, отец!.. — Она даже оборвала свой нескончаемый беззвучный плач. — Очунись! Ну кому же такая дурость может впасть? Сколько ты от него мук принял, чуть жизни не лишился!..

— Что мне муки? Тело зарастет, а вот иное уязвление...

— Гниет спинка-то... — И опять тонкий палец забегал возле разляпного переносья.

— Заживет! — бодро сказал Тредиаковский. — Бурсацкая шкура крепкая. А пойти я должен! И не страху ради пред ушаковскими шишами, — вопреки горделивым словам голос его понизился до шепота, хотя чужих в доме не было, — а только себя самого ради.

Вовсе того не желая, жена разбередила его раны. Не те, что упорно не хотели заживляться на спине, а иные, незримые, в самом сердце.

— Василий Кириллыч, государь, неужто в тебе отомщевательное засвербило?

— Не мщениа, а справедливости я жаждал! — торжественно сказал Тредиаковский. — И сбылось по-моему. Он меня лютой казнью казнил, смертью убить хотел, а я жив есмь, в силе ума своего и всех чувств, и богом отпущенных мне дарований. А он повержен и сокрушен и ныне всенародно и позорно от жизни отвержен будет.

— Эх же ты со своей бедой носишься! — сказала она осудительно.

Ей-то самой его обида куда сильнее болела, да не хотелось, чтобы он на казнь Волынского шел, боязно чего-то было, и она силилась отвести мужа от мстительных помыслов, но только сильнее разжигала костер.

Он вовсе не был горяч, задирчив или просто неосмотрителен, какой там! Разве что в молодости, когда полземли шагами измерил, ищущи долю себе по душе. А ей он достался уже поломанный, научившийся гнуть спину. Да и как не гнуться сыну астраханского попишки, допущенному ко двору, в академию? Кто он есть и кто округ? Князья, графья, бароны, да шляхта, да иноземцы заносчивые, коим и титулы звучные ни к чему, и без того сильны. Но было у Василия Кирилловича одно, сводившее на нет его скромность, смирение и всяческое самоуничижение. Коли он чего за столом своим надумал и бумаге доверил, того держался нерушимо и, защищая плод духа своего, забывал о собственном худородстве и мнил себя ровней с кем угодно. Мог и самому Шумахеру, первому лицу в академии, неудовольствие причинить, мог и архиереев, и вельмож в ярость вогнать. Марья Филипповна догадывалась, что и сейчас столкнулась с чем-то, уходящим в недоступную ей глубину его покладистой в домашнем бытстве природы. Прежде, когда меньше знала его, думала: мягок, да вздорен, брыклив. Нет, тут другое. Недавно подлеты прохожего на Мойке грабили. Он им все без звука отдал: платье дорогое, деньги, перстни с алмазами, а образка грошового, медного, позлащенного отдать не захотел. Стражники отбили его чуть живого, полунагого, окровавленного, а в кулаке образок зажат. У Василия Кирилловича таким образом словеса были, особливо те, что в виршевое согласие приведены. Это можно было бы счесть дуростью, порчей, безумством, да ведь от словес тех все семейство кормится. И нет другого занятия у Василия Кирилловича, не размахива-

ет он кадиллом, как его родитель, не хрипнет от крика на военном плацу, не назидает юношество, не строит дворцов и храмов, не ведет торговлишки, не знается с ремеслами. Ни железа, ни глины, ни камня не касались его мягкие, слабые, полные руки. Одно только гусиное перышко сжимать ловки. Строчит, строчит, сердешный, и с тех листков перепачканных исходят его семье и пропитание, и одежда, и тепло очага, и даже всякое баловство деткам. Может, и нужны его упрямство и заносчивость, когда дело тех словес касается, не Марье Филипповне, едва грамоте обученной, о том судить да рядить. И уж подавно не могла она сыскать разумного объяснения нынешнему заскоку.

Укор жены задел ТрEDIAKовского. Он напыжился крупным, мясистым лицом своим, набухли и полиловели толстые жилы на висках, но не от гнева или обиды — от бессилия растолковать ей, что те побои жестокие, то поношение великое нанесено не безродному попову сыну, мелкочинному секретаришке при академии, а первому пииту молодой русской поэзии. В нем музы и сам Фебус-Аполлин уязвлены и оплеваны были. Да ведь не объяснишь такое доброй и недалекой Марье Филипповне. Сколько раз пытался он растолковать ей про Фебуса-Аполлина, а она светлого бога искусств языческому Яриле уподобляет и сердится, что православного священника отпрыск идолищу кадит. И выходит, что Марья Филипповна в ту же дуду дует, что и кидавшиеся на него церковники.

ТрEDIAKовский сказал значительно:

— В суровые вины Волынскому вчинили, что зверовал надомною в приемной герцога Курляндского.

— Господи! — охнула Марья Филипповна. — Неужто мало, что он государыню скovyрнуть хотел?..

— Мало не мало, а вчинили... — пробормотал ТрEDIAKовский, и лицо его налилось кровью.

В другое время проницательная — при всей своей недалекости — Марья Филипповна сразу вранье разгадала бы. Но сейчас отнесла пламень румянца за счет развороченной в душе мужа скверны. ТрEDIAKовскому же было стыдно. Как и все люди его времени, причастные дворцовой жизни, он не только умел хладнокровно врать, но лишь тем и занимался, переступая высокий порог, и почитал это не грехом вовсе, а «политикой». Но дома, перед женой врать не умел, не хотел, да и толку не было, раз она его сразу на чистую воду выводила. Кажись, впервой солгал удачно, но испытывал не радость, а стыд и огорчение: коли такую чистую и проницательную душу обманывать можно, значит, правда сама себя сроду не оборонит.

Наврали же он всего-то вот столечко! Волынскому и впрямь был в вину указан, в ряд с иными, тягчайшими преступлениями, скандал, учиненный в приемной всесильного Бирона, но имя ТрEDIAKовского при сем не упоминалось. Не важно, кого он наземь поверг и ногами топтал с громкими криками и поношениями,

важно лишь, что оказал тем самым неуважение фавориту Анны Иоанновны. А писалось это в одну строку с государственной изменой. Свой решпект герцог Курляндский ставил вровень с потрясением монаршего трона.

— Держи палку-то!.. Василий Кириллыч, где ты, родной?.. Вернись!.. — услышал он будто издали.

В руку ему тыкалось что-то твердое. Он почувствовал гладкое теплое дерево, затем прохладно-шершавый металл — палисандровая трость с серебряным набалдашником, привезенная им из Франции. Василий Кириллович взял трость и с шутливой напыщенностью изрек на библейский лад:

— И даде в руку ему посох!..

Вслед за тем провалился в то февральское утро, когда не виданный в Петербурге мороз гнал дымы столбом в высокое синее небо, камешками падали замерзающие на лету воробьи в сухо искрящийся снег и расписанная диковинными пейзажами, призолоченная наледь окон не давала проглянуть улицу и двор. В ту пору важным переживанием была охвачена его душа...

2

В академию пришло письмо из Фрейберга от обучающегося там горному делу академию ученика Михайлы Ломоносова. Был о нем Василий Кириллович и допрежь того много наслышан, ибо жадничал ко всем слухам о сем молодом человеке, повторяющем его собственную судьбу. Когда-то астраханский попович, не удовлетворенный обучением у католических священников, невесть почему оказавшихся в устье Волги, — лишь разожгли, но не утолили жажду к словесным наукам святые отцы, — бросил отчий дом, старых родителей, молодую жену и бежал тайком в Москву, в Славяно-греко-латинскую академию, а проще — в Заиконоспасское училище. А через восемь лет после него с другого края русской земли, из-под Архангельска, славного морской торговлей, прибред в белокаменную помор, рыбацкий сын Ломоносов и в то же училище определился. И дальше сходно у них пошло. Томимый тягой к знанию, ТрEDIAковский через два года покинул бурсу и подался сперва в землю Голландскую, а оттуда в Париж, куда прибред пешком со сбитыми в кровь ногами и животом, прилипшим к хребту. И если б не князь Куракин, русский посол во Франции, пожалевший жадного к знаниям юношу и приютивший в своем богатом доме, был бы тут конец странствиям Василия Кирилловича. Ломоносов оказался терпеливее, да и времена изменились. По окончании Заиконоспасского училища он был определен в университет при Санкт-Петербургской академии наук и оттуда, явив недюжинные способности, отправлен в немецкий город Марбург для усовершенствования в науках. Здесь он обнаружил приверженность, опять-таки роднившую его с ТрEDIAковским, к

стихотворчеству и размышлению над способами сложения российских стихов. Занятия сии он продолжил и во Фрейберге.

Люди, бывавшие за границей, много рассказывали о его сильной и гордой упряжке, удивительной в человеке столь низкого происхождения, — ни от кого не стерпит насмешки или слова грубого, — о многих его талантах и глубоких познаниях в самых разных науках. Все это приятно было Василию Кирилловичу, но жгучий и недобрый интерес к помору возник у него недавно, когда в адрес академии пришло послание от Ломоносова, содержащее «Оду на взятие Хотина» с присовокуплением к сему рассуждения о способе слагать стихи. И тут весьма неожиданно обнаружился дерзкий, даже грубый вызов ему, Тредиаковскому, первому стихотворцу российскому и отцу нового тонического стихосложения. Вызов был и в самом поэтическом произведении, созданном будто вопреки прославленной оде Василия Кирилловича «О сдаче города Гданска», но куда искуснее. Сие неудивительно, свою торжественную оду Василий Кириллович сочинял по старому силлабическому канону, ибо не пришел еще к тому, что всего три года спустя открылось его окрепшему и широко раскинувшемуся разуму.

Тогда-то и осенило Василия Кирилловича, что башня русского силлабического стихосложения, чей фундамент — Симеон Полоцкий, верхушка — Феофан Прокопович, а островершек — Тредиаковский, обречена на слом. Силлабический способ полагает в стихе некоторое известное число слогов и согласие слогов последних, но это еще не есть стихи, а зарифмованная проза. Прямой же стих имеет меру стоп с падением, приятным слуху, от чего стих поется и тем от спотыкливой прозы разнится. Сию распевность выслушал он в народном русском стихосложении и потрясенной душой прозрел высшую истину.

Надо сказать, что у иных поэтов, включая самого Василия Кирилловича, в коротком стихе иногда появлялось тоническое начало — ритм, но не по расчету, а как бы невольно. Впрочем, короткие стишки Василий Кириллович серьезной поэзией не почитал, его заботил героический стих: тринадцатисложный «российский эксаметр» и одиннадцатисложный — «российский пентаметр», кои единственно годны для изображения предметов возвышенных.

Мир не без добрых людей. Нашлись злопыхатели, обвинившие Василия Кирилловича в том, что он просто пересади на русскую почву французское стихосложение. Спокойно, без запальчивости, ибо знал всю правду, отвечал сим малоумным хулителям Тредиаковский, указав на первоисточник своего открытия: «...поистине всю я силу взял сего нового стихотворения из самых внутренностей свойства нашему стиху приличного; и буде желается знать, но мне надлежит объявить, то поэзия нашего простого народа к сему меня довела. Даром, что слог ее весьма не красивый, от неискусства слагающих; но сладчайшее, приятнейшее и

правильнейшее разнообразных ее стоп, нежели иногда греческих и латинских, падение подало мне непогрешимое руководство к введению в новый мой эксаметр и пентаметр оных выше объявленных двухсложных тонических стоп. Подлинно, почти все знания, при стихе употребляемые, занял я у французской версификации; но самое дело у самой нашей природной, наидревнейшей оной простых людей поэзии... Я французской версификации должен мешком, а старинной российской поэзии всеми тысячью рублями...»

Видимо, хорошо проштудировал Ломоносов в свободные от горнорудного дела часы работу Василия Кирилловича, но в рассуждении, коим снабдил звонкую свою оду, и словом не обмолвился о создателе нового русского стихосложения. И все, что касает тонического способа, от себя подал, будто собственное открытие. Но это от пренебрежения, а не из желания присвоить чужое. Его саркастические замечания, насмешки и уязвления откровенно метили в академии секретаря. Расхохотился же он с Василием Кирилловичем во многом. Прежде всего, Ломоносов распространял новый способ на все размеры, а не только на эксаметр и пентаметр, коим вообще отказывал в главенствующем значении. Но что особенно задело, даже ранило Василия Кирилловича, он решительно превозносил иамбический размер над хореем. Можно подумать, будто он вообще открыл иамб для русской поэзии, а между тем Василий Кириллович в своем «Способе» тоже о иамбе говорил, хотя примеры выбирал только с хореем.

Ломоносов швырнул ему перчатку из далекого Фрейберга и угодил метко — прямо в лицо не ждущему нападения противнику. Тредиаковский ведасть не ведал, чем навлек на себя гнев даровитого помора. Пути их не пересекались, они никогда не виделись и счетов между собой не имели. Но дерзкий вызов Василий Кириллович принял сразу и с той яростью, какую от века русские сочинители в свои споры и несогласия вкладывали. На русском Парнасе приличий сроду не ведали, как и тихого, вразумительного разговора. Здесь уста сразу кровавой пеной вскипают; здесь бьют наотмашь и только под дых. А благодушествовать Василию Кирилловичу не с чего было. Страшнее рассуждений смелых, спесивых и для него уязвительных была сама ода, написанная ненавистным, тайно влекущим и недающимся ямбом. Поверх всех своих пристрастий, самолюбия и гордости Тредиаковский не мог не чувствовать красоты, силы и звучности этой оды. Перед собой можно признаться, что такого звонкого и распевного стиха не знала русская поэзия. И пусть хоть архангеловы трубы возвестят о твоей правде, сию сладкозвучность им не заглушить. Никому и дела не станёт, что ты первый указал способ к стихосложению, коль не смог в живом слове своего превосходства доказать. И посему, да останется под спудом ломоносовская ода, покамест он сам из Фрейберга не явится и собственноручно о судьбе ее озаботится. Академии секретарь в том ему не помощник, непро-

тив, сделает все, дабы ода сия в типографию академическую не попала.

Но это еще не главная забота. Надо послать горных дел ученику сильный и хлесткий ответ, пусть на всю жизнь запомнит, кто первый, а кто второй. Но отповедь отповедью, а стоит крепко подумать — нет ли и чего разумного в ломоносовских уязвлениях. Трехсложный размер — дактило-хореический стих? ...Похоже, тут Ломоносов его поймал. Но за ямб мы еще поборемся. И неумно утверждать, будто стопа, называемая ямб, сама собой имеет благородство и потому ею высокая материя поется, а хорей нежен и сладок и лишь для элегического стихотворения годен. Никакая стопа сама по себе не имеет ни нежности, ни благородства, все зависит только от изображения, которое стихотворец в сочинении своем употребляет. И хореем способно восславлять и бранный труд, и побед упоение. Тут мы прижмем хвост ретивому помору.

Внезапная мысль обожгла Трелиаковского. А что, если переписать оду «О сдаче города Гданска», родившуюся в глубинах силлабического стихосложения, по тоническому способу, хореической стопой?

Кое трезвое мое пианство
Слово дает к славы причине?
Чистое Парнаса убранство,
Музы! Не вас ли увижу ныне?

А ежели так —

Кое странное пианство
К пению мой глас бодрит!
Вы парнасское убранство,
Музы! Ум не вас ли зрит?

Эким же бодрим, звонким, цокотливым становится стих! Ну, берегись, помор, еще поглядим, кто кого. Ты быстр, дерзок и заносчив, я вязок и упрям... Снова горы работы выросли перед Василием Кирилловичем, но чего-чего, а работы он не боялся. Недаром же царь Петр, при посещении астраханского Латинского училища, выделил среди представлявшихся ему учеников скромного обликом попovichа и сказал о нем: «Вечный труженик!»

Как в воду глядел великий государь! Вся жизнь Василия Кирилловича — непрерывный, сплошной, без усталости труд. В парижских стихах своих — писанных по-русски и по-французски — любил он изображать себя жуиром, мотыльком, порхающим с цветка на цветок, а цветы те — нежные али галантные утехы. На деле же и в блистательной Лютеции позволял он себе отвлечений немного больше, чем в душно-вонючей Астрахани под присмотром родителей и католических наставников. Здесь за ним присматривали Буало-Депрео, Корнель, Вольтер, Фенелон, над коими он денно и нощно корпел, славная поэзия французская, коей он упивался, собственный усидчивый и плодовитый дар. Соблазнами галантной столицы были для трудолюбивого русского мужичка не

прелести доступных Цирцей, а библиотеки и лотки уличных книгопродавцев на Сенской набережной, прокопченная галерея «Комеди Франсез», где давали Расина и Мольера.

...В то далекое утро, охваченный зудом нового труда, азартом и нетерпением битвы, Василий Кириллович засучивал рукава, разминал пальцы, чтобы вклеваться в гусиное перо и не выпускать его до глубокой полночи. И тут появился кадет...

Кадет как кадет, среднего роста, сухопарый, округлое надраенное морозом лицо в юношеских угрях, а голос уже табашный, водочный — сиплый, с хрипотцой и отхарком. И этим несвежим голосом кадет изрек, что Академии наук секретаря Третьяковского немедленно требуют в Кабинет ее императорского величества. Если бы ядро чугунное, каленое, в окно, взвев, влетело, не был бы Василий Кириллович столь ошеломлен, испуган и огорошен. Ноги его подкосились, и он кулем рухнул в кресло. Вызов в Кабинет означал что-то грозное, ужасное, хуже немилости и опалы. Отсюда мог быть только один путь — в Тайную канцелярию к страшному Ушакову, а там дыба, крючья и казнь лютая. За что?.. За что?.. В чем он виноват? Живет в неустанных трудах, в угождении сильным, ни помыслом, ни жестом не посягая на их власть. Ратоборствует лишь со словесами. Никому никакого ущерба не чинит. Да разве можно с ними что наперед знать? Разве угадаешь, что им померещится, — до того подозрительны, до того к славе своей ревнивы, что ровно из ничего обиду себе добывают. Как в той арабской сказке, которую он по-французски в Париже читывал. Ел персики некий купец и косточки прочь отбрасывал. Вдруг перед ним джинн, зело громаден и зело разъярен. «Сей час я тебя жизни лишу!» — «За какую провинность, великий джинн?» — пал на колени купец. «А ты сына моего убил». — «Да тут, кроме моего осла, никого не было». — «Глупец, сын мой незрим для очес людских, он округ тебя витал, а ты его персиковой косточкой пришиб...»

3

Прогневал джинна в свое время и Василий Кириллович. И хоть оправданий у него поболее купцовых оказалось: не ел он вовсе персиков, стало быть, и косточек не кидал, а вышел из пердрыги со сломанной хребтиной, пусть его и пальцем не тронули. Был тогда Василий Кириллович прям, в себе уверен, в мыслях независим и смел. Привык он в заграничные свои дни под доброй рукой князя Куракина зело свободно себя чувствовать и, в Россию вернувшись, не менее сильного покровителя обрел в лице главы православной церкви Феофана Прокоповича, сподвижника Петра, пиита изрядного, просвещенного ума человека. И когда архимандрит Платон Малиновский возлютовал на него за пересказ Тальмановой «Езды в остров Любви» и развратителем рус-

ской молодежи обозвал, то Василий Кириллович из-за крепкого плеча Феофана масляный кукиш ему сунул. Не менее яростно накидывались российские тартюфы и на его любовные песни. Малиновский прямо угрожал «пролить еретическую кровь» того, кто «атеистский дух из Франции вывез». Да не пролил, а сам стараниями Феофана Прокоповича в Сибирь заслан был.

Зело угодивший придворным «Островом любви», Василий Кириллович был введен в узкий круг сестры императрицы великой княгини Екатерины, а уж ею поручен вниманию самой монархини. При торжественном въезде Анны Иоанновны в Петербург, куда она через два года после воцарения из любой ее сердцу Москвы перебралась, не кто иной, как Тредиаковский, встречал государыню речью похвальной и приличествующими случаю стихами, за что сподобился великой милости — допущению к ручке императрицы. А уж место в Академии наук и должность секретаря сами собой с того целования возникли.

Громадное невозделанное поле простерлось перед Василием Кирилловичем, и он, поплевав на ладони, принялся то поле вспахивать. Немало было им сделано и для усовершенствования русского языка, его грамматики и синтаксиса, великое множество стихов, песен, торжественных од, хвалебных гимнов сочинено и несметь поэтических упражнений академических немцев на русский язык перетолмачено, уж и «Новый краткий способ к сложению российских стихов» свет увидел, когда нежданно-негаданно с ясного неба ударил гром. Вызвали Василия Кирилловича в Тайную канцелярию. А уж лучше к наизлобнейшему джинну в лапы, чем в пыточный застенок Андрюшки Ушакова. И хоть не ведал он за собой никакой вины: ни большой, ни малой, а чувствовал дурноту и очес помутнение, перешагивая порог страшного дома.

А перед лицом ушаковского помощника его и вовсе чуть не стошнило. Была у того какая-то кожная болезнь, поразившая уши и горбину хищного изогнутого носа. Переносье лоснилось каленой краснотой, а большие вялые уши лохматились неприятными серыми шелушинами. И видать, чесалась эта лохматура, потому что без устали скреб он уши пальцами, тер ладонями, соря на столешницу кожными обдирками. И так ушел в свое занятие, что внимания не обратил на студенисто колыхающуюся от страха фигуру Тредиаковского. Когда сора накопилось достаточно, помощник сгреб его в кучку, ссыпал в правую ладонь, как делают иные с хлебными крошками, и опорожнил горстку за плечо.

Все дело выеденного яйца не стоило. Его песнь на коронацию Анны, написанную еще в Гамбурге и начинающуюся словами: «Да здравствует днесь императрикс Анна», нашли в списках у нерехтинского дьячка Савелия и костромского попа Васильева. Кому-то померещилась хула на государыню в обращении «императрикс». Обоих любителей словесности доставили в Петербург, где им учинили допрос с пристрастием, но так и не доискались до поносного смысла непривычного титула. Дрожа и заикаясь, Тре-

диаковский объяснил, что назвал императрицу на латинский лад не в умаление, а ради возвышения ее священного сана. «Нешто российскую императрицу возвышает чужеземное величанье?» — с неожиданной остротой спросил шелудяк, сдирая бахрому с ушей. «Сей титул носили победоносный Юлий и божественный Август», — пролепетал ТрEDIAковский и вдруг лишился голоса. Откуда-то снизу, будто из-под самых ног, донесся задушенный стон, оскольз железа о железо, затем мягкий, глухой удар. «Там пыточная!» — стукнуло в голову, и Василия Кирилловича неудержимо потянуло пасть на колени и во всем покаяться. Он не сделал этого лишь потому, что не осенило его смятенный ум, в чем бы принести покаяние.

— Все соришь, гнида? — послышался сочный, с раскатцем, мужской голос.

Шелудяк поспешно стряхнул со стола ушные очистки и вытянулся. Был он низенек, худ, но чреват, будто беременная баба.

Рослый, с потными волосами, налипшими на высокий смуглый лоб, в расстегнутом кафтане, Андрей Ушаков размашисто оседлал скамью. «Да он сам пытается!» — догадался, омертвев, ТрEDIAковский. Но случается так на последнем пределе, за которым гибель, без смерти смерть, что очумевший от ужаса человек вдруг находит единственно нужные, спасительные слова. И ТрEDIAковский, то и дело лишаясь дыхания, но вполне вразумительно объяснил правителю Тайной канцелярии, что стихи его, переданные князем Куракиным господину Бирону, удостоились лестной похвалы все-милостивейшей императрицы.

— Императрицы, вишь, а не императрикса, — поймал его Ушаков, но ссылка на Бирона сделала свое дело, голос прозвучал почти милостиво. — А пишешь ты бойчее, нежели говоришь. А потому ступай и отпиши все в подробности до сего случая касаемое. — И, пожалев бедного стихотворца, добавил: — А посля катись нах хаузе, как говорят в вашей Российской академии.

И, довольный своей шуткой, хохотнуть изволил. И ТрEDIAковский издал какой-то мышинный писк, означавший почтительный смешок, кстати, вполне искренний, — уж он-то довольно натерпелся от иноземного засилия в академии. Срамотно сказать, но в Российской академии на всех корфов и шумахеров не было до сих пор ни одного русского профессора!

Этим счастливым писком и завершилось жуткое приключение Василия Кирилловича, но вышел он из Тайной канцелярии совсем иным человеком, чем вошел под ее мрачные своды. Исчез парижский петиметр из российских бурсаков, вольнодумец Феофанова круга, беспечный певец любви, самоуверенный ученый, научивший россов слагать стихи, остался верноподданный, сиречь раб.

Конечно, отдышавшись дома, он постарался собрать себя нацельно и даже перед самим собой делал вид, будто ничего не произошло. Вернее, так: случилось некое малое недоразумение,

подтвердившее его совершенную перед троном чистоту. Раз уж ты переступил порог ведомства Андрея Ушакова, то хорошо, коли тебя оттуда живым вынесут, распрекрасно, коли сам на карачках выползешь, а чтобы своими ногами выйти, очищенным от всех подозрений, как сподобился Василий Кириллович, такого, почитай, и не бывало. Там ведь не одно, так другое найдут, не найдут — пришьют. Раз уж попал к ним в руки, добром не отпустят. А его отпустили, и сие означает, что прошел он великую проверку и являет собой наичистейшего, наинадежнейшего, наипрозрачнейшего, наibelейшего подданного русского престола.

Но почему-то эти спасительные мысли плохо помогали самочувствию Василия Кирилловича. Наружно он пыжился, выкатывал грудь, но внутри съежился, согнулся. И вот что странно: неужели окружающие наделены такой зоркостью, чтобы заглядывать под шкурку? Или они нюхом чуют, что с тобой неладно, что стал ты робче, слабей, пугливей, хоть и тщательно скрываешь происшедшую перемену? Василию Кирилловичу стало казаться, что к нему переменялись. Он подмечал косые взгляды, усмешки, его слуха достигали глумливые и глупые замечания насчет его внешности, бородавки на щеке, стихов, манеры выражаться. Не только надменный Бирон, который с людьми обращался, как с лошадьми, и лишь с лошадьми по-человечески, или властный, грубый Волинский, но и мелкая придворная сошка, обшлага его кафтана не стоящая, и глупые шалуны камер-юнкеры стали небрежничать, даже нагличать с ним. Может, все это и прежде бывало — смешки, грубости, небрежение, — нешто в привычку чванной, надутой и невежественной знати, будто сошедшей на дворцовый паркет из Кантемировых сатир, общество поэта, чье значение и достоинство не в предках или вотчинах, не в титлах и чинах, а в чистой сфере духа? Они даже не понимали толком, кто он есть и почему на равное со всеми обращение претендует. Придворный — не придворный, лекарь — не лекарь, шут — не шут, но государыня балует, к ручке своей допускает, табакерки с алмазами дарит, значит, приходится терпеть. Ведь терпишь и худшее — пристаивания и гнусные выходки бесчисленных, вконец обнаглевших дураков и карлов императрицы. Конечно, иной раз не удержишься и смажешь по гнусной харе или горбу, да тут же и откупишься, чтоб государыне не пожаловались. Со стихослагателем такого, конечно, не требуется, он себя смирно ведет, покамест вслух читать не заставят. Тут он весь растопырится, как кречет на заре, напыжится да как пойдет завывать во всю мочь без малейшего стеснения, словно не во дворце, а в хлеву. Но государыне то любо, значит, помалкивай. Сейчас при всех безызытно европейских дворах виршеплеты заведены. Ничего не попишешь — мода. Но поставить лишний раз на место тучного, рассеянного и самоуверенного питу тоже не помешает. Может, и даже наверное, так оно и раньше случалось, но, безразличный к пене придворной жизни, Василий Кириллович просто внимания не обращал на титулован-

ное хамство. Он был выше этого. Насмешки и дерзости отскакивали от него, как горох от стены. А сейчас он стал до болезненности чуток и раним. Он оробел, съезжился, ощутил опасность внешнего мира, которым раньше пренебрегал, веря в свою защищенность, и люди каким-то образом проведали о его ущербе и мгновенно разнуздались.

Ему казалось порой, что он подмечает на лицах придворных ту особую, брезгливую гримасу, какой отзывались они на разные доуки шутейного сброда Анны Иоанновны, и это пугало его до сжатия сердца и холодного пота. Русская знать, известно, привержена дуракам, но придворных шутов и шутих все ненавидели дружно за их развязность, наглость, склонность к доносительству, а более всего за то, что их слишком любила монархиня...

4

Высокая, тучная, мужеподобная дочь слабоумного царя Ивана Алексеевича таила в грубых чертах своих странное сходство с великим дядей, корень коего видать в царе Алексее Михайловиче. Эта схожесть мало кем подмечалась в силу глубочайшего внутреннего различия между дядей и племянницей. Пустая, ленивая, незначительная, угрюмая и при этом помешанная на развлечениях, Анна меньше всего заботилась о сохранении Петрова наследства. Ей было наплевать на Россию, которую она оставила в ранней юности, выданная замуж за герцога Курляндии, не зная своей родины, да и знать не желала. У нее была одна страсть — конюший Бирон, с которым она сошлась после смерти мужа. Склонная к единобрачию и верности, но бессильная сделать Бирона хотя бы тайным мужем — он был женат, Анна осыпала его бесчисленными милостями. Он стал обер-камергером ее двора, в 1737 году получил Курляндское герцогство, а заодно и всю Россию, которой бывший конюший распоряжался куда бесцеремоннее собственной вотчины.

Намаявшись скукой, бедностью, интригами ничтожного Курляндского двора, Анна Иоанновна, выйдя на широкий российский простор, превратила свою жизнь в сплошное увеселение, в нескончаемый праздник. Бирон, не занимавший никаких государственных постов, показывался на этих балах в атласном кафтане небесного цвета, так идущем к его серо-голубым холодным глазам, при орденах и ленте, весь в сверкании драгоценных камней, окруженный угодливостью и лестью, рослый, красивый, надменный, он купался в лучах своего величия, и Анна Иоанновна была счастлива. Но каждый бал, даже «нескончаемый», рано или поздно все-таки кончается. Бирона уводили прочь дела и заботы будней: семья — ревнивая Анна со странным смирением признавала права этой ненужной, мешающей семье и даже подружилась с Биронихой; конюшни — шталмейстер Бирон был по нутру про-

сто конюх, обожавший лошадей, запах стойла и навоза. То была единственная бескорыстная страсть временщика, и тучная, неуклюжая Анна, сделав над собой великое усилие, научилась превосходно ездить верхом. И герцог уже не мог помешать ей заглядывать в конюшни и сопровождать его в дальних верховых прогулках. От государыни после этого крепко пахло конским потом, и, прискучивший ее липкой привязанностью, Бирон испытывал прилив нежности. Но была у него еще и такая жизнь, куда русская императрица не могла вступить, даже если б и пожелала. И когда Бирон делал собственную политику: строил козни, плел сети, учинял заговоры противу русских людей, их достатка, земли, прав — Анна оставалась одна, и свинцовая тяжесть одиночества наваливалась ей на грудь. Мучительное это чувство, ведомое всем Романовым, начиная с первого, Михаила, возросло у Анны до размеров душевного недуга в загоне тухлого Курляндского двора. Неспособная в дикой мозговой ленисти ни к государственным делам, ни к чтению, ни к серьезной беседе, она находила спасение лишь в шутах. В их возне, ссорах, драках, визготне, сплетническом тараторе рассеивалась ее угрюмость, она отвлекалась от тяжелых мыслей о близящейся старости и вечном нездоровье.

Причудлив, жутковат, даже грозен был шутейный штат императрицы. И хоть русские баре известные до шутов охотники, — рядом с богом обиженным, хуже черепахи изуродованным каждый зело умным и пригожим себя зрит, — но царицыных дураков все боялись и ненавидели. Среди обычных шутов в пестрых костюмах — одна штанина красная, другая синяя, полосатая, колпак с бубенчиками или шапка с ослиными ушами, в руке погрешка с горохом, всевозможных уродцев — горбунов, гномов, колченогих, косоглазых, ласторуких, самовароподобных, блеющих, мычащих, кукарекающих, пузыри пускающих, слова путного молвить не умеющих, — попадались ражие молодцы чужеземного происхождения, скрывающие под шутовским нарядом острый ум, ядовитую злость, отвагу и литые мускулы наемных убийц. Препредержкие художества, кои они творили, пользуясь своей безнаказанностью, озадачивали даже выдавших виды придворных, из них выделялись португалец Лакоста и смуглый итальянец, чье благозвучное имя Пьетро Мира не случайно переделали в Педриллу. Темные пронзительные глаза этих авантюристов, прикрывавшихся скоморошным колпаком, повергали придворных в смятение. Рядом с ними иной вельможа не только не полагал себя умнее и выше, а дрожал от страха, как бы с этими шутами местом не поменяться. А что?.. Были среди богом обиженных и людьми униженных выходцы из самой родовитой знати. Так, под кличкой Кваснина ходил в шутах князь из стариннейшего, знатнейшего рода Голицыных. Опала, плаха, изгнание были в привычку этой беспокойной фамилии, но в шутах и квасниках никто еще не состоял. Некогда юный князь Голицын, посланный с поручением к папе римскому, в угождение наместнику бога на земле принял католицискую

веру, за что и был в шуты определен. Конечно, не блистал умом князь Голицын, но и не умнее его люди исполняли и придворную, и посольскую, и военную, и какую хошь службу, он же гостей квасом обносил. Его ущерб состоял в одном: он всегда хотел угождать окружающим, делать людям приятное, и уж вовсе не способен был кому-либо противустоять. Он угадал желание святого отца и вернулся домой католиком. Нельзя сказать, что Голицын-Кваснин особо страдал в своей новой службе, ибо доставлять людям всевозможные удовольствия, радостно подчиняться, потворствовать чужой воле было всегдашним стремлением его натуры. Таким уж создал его господь. А все-таки жутковато иной раз становилось при виде того, как другие шуты князя-боярина волтузят. Да, был у Анны старый счет с домом Голицыных, пытавшихся урезать ее власть.

А младой Волконский, тоже принявший католицкую веру и угодивший в шуты? В нем и вовсе никаких вывихов не наблюдалось, и в свою позорную должность угодил отнюдь не за измену православию, а по мстительности Анны Иоанновны, возревновавшей к его красавице жене. Лишь раз пресыщенный, равнодушный к женщинам Бирон смягчил льдистый блеск своих глаз, узрев юный, статный облик княгини Волконской, и недалекий добряк ее муж был, аки гусь, посажен в плетеную корзину у покоев императрицы.

Если люди родовитые не чувствовали себя защищенными от колпака с бубенчиками и гусиной плетушки, то что же должен был испытывать придворный пиит, коего тоже для развлечений употребляли, словно горбатенького и ушастенького швейцарца по кличке Магистр, искусно пиликавшего на скрипочке с одной струной?

У шутов была премерзкая манера замешивать, «заигрывать» в свою возню разных почтенных особ, так что иной раз не отличишь, кто шут, а кто не шут. Исключение составлял один Бирон. Но даже сам грозный кабинет-министр Волынский нередко подвергался их наскокам. Крепкий, как кленовый свиль, сановник — происходил из мелкой астраханской шляхты и начинал рядовым солдатом — сразу пускал в ход кулаки, и шуты с воплями разбегались. Но такую самозащиту не каждый позволить себе мог — шуты были первыми доносчиками при императрице и фаворите и могли замарать так, что не отмоешься.

Бирон, любивший лошадей как богово совершенство, натурально не мог испытывать к шутам ничего, кроме брезгливости. Он и вообще-то людей ни во что не ставил, а тут какие-то людские ошметки. Но ему угодно было их наушничество и то, что в его отсутствие императрица ими утешалась. Это было куда лучше, чем если б иной утешитель выискался, ну хоть бы наглый, ловкий и ядреный Волынский.

С шутами приходилось считаться, но, боже упаси, чтоб они это почуяли! И бедный Василий Кириллович, потерявший всякий

кураж после визита в Тайную канцелярию, изо всех сил напрягался, чтобы оборонить свое скромное достоинство от вельмож и наипаче от шутов. У него вроде болезни стало — страх в шуту превратиться. И всякий раз, возвращаясь из дворца в свой бедный дом, он с трепетом спрашивал себя: не случилось ли чего такого, что его ниже допустимого уронило, не сломилась ли его фортуна от академии к шутейной команде? И хотя чуткие, как собаки, к чужому страху шуты что-то про него смекнули и обнахальничали против прежнего, шапки с ослиными ушами все же не решались натянуть на крупную голову первого российского стихотворца. Может, тянулось за ним покровительство князя Куракина, числившегося в близких людях герцогу Курляндскому? Это его спасало, это и едва не погубило...

5

Пока Третьяковский бестолково и растерянно собирался, тегля то очки, то кошелек, то пуговицу с кафтана, кадет сосредоточенно и угрюмо ковырял в носу длинным бледным пальцем, не стесняясь присутствием ни самого академика секретаря, ни его жены. Кадет явно не штудировал «Юности честного зеркала», где прямо указано: «чистить перстом нос возбраняется». Третьяковский, пережив первый испуг, несколько овладел собой и решил, что Кабинет ее величества еще не Тайная канцелярия, там не пытаются, не вздергивают на дыбу, а повод для вызова может оказаться самый ничтожный: навет академического коллеги или жалоба церковников, что куда хуже, но в последнее время он их не задевал, а старое быльем поросло. Конечно, ничего нельзя знать наперед, коли имеешь дело с властью, но и отчаиваться рано. Вышел же он невредим от самого Андрея Ушакова. И, приободрившись, хотел сделать внушение кадету, дабы не сорил из носу на чистый пол в присутствии почтенных особ, но тут ему под дых ударило сходство нарочитого свинства кадета с тошными действиями ушаковского шелудяки. Что это — случайное совпадение, или людям гнусных занятий вообще свойственно манкировать приличиями, или подготовка жертвы к лишению прав человека? Худо, худо, ох худо!.. И Третьяковский оставил выговор при себе.

— Скоро там? — сипло спросил кадет и отхаркнул через плечо, доказав тем самым некоторое знакомство с наставлением шляхетскому юношеству.

— Скоро!.. Уже иду!.. — жалким голосом отозвался Василий Кириллович, беспомощно топчась перед женой, пришивавшей ему пуговицу...

Когда они вышли на улицу, синее небо, крепкий, кусачий мороз, каленый, бодрящий, заставили Василия Кирилловича особенно горько ощутить обрушившуюся на него беду. Хрустело под ногами, колкий воздух хорошо студил грудь, искрились опушенные

деревья и крыши под толстым снегом, плотные прямые дымы казались столбами, поддерживающими небесный свод, столько радости было в мироздании, в сияющем божьем дне, что невольно стало измученному сердцу Василия Кирилловича, и он потянулся за сочувствием к другой душе, к угрюмому паршивцу кадету, есть же и на нем хоть слабый свет человека. Задыхаясь от быстрого шага и пресекающего дыхание мороза, ТрEDIAKовский пожаловался на немилостивую судьбу. Живешь и мухи не обидев, токмо о славе государыни печешься, никаких сил ради пользы российской не жалеешь, а вместо благодарности в Кабинет ее величества волокут.

— В какой еще Кабинет? — прохрипел кадет, не глядя на ТрEDIAKовского. — Тебя к кабинет-министру Вольтскому доставить велено.

ТрEDIAKовский аж вспотел на лютom морозе. Мгновенно колючий иней naroc на бровях, над верхней губой, затянул волосатые ноздри. Он остановился, достал фуляр, высморкался, утер лицо. ЭК же он ослышался! Конечно, и вызов к кабинет-министру ничего доброго не сулит, гордый и грубый Вольтский не больно его жалует, а все же — какое сравнение с тем, что ему от страха померещилось! Вольтский в большой силе, да ведь он человек, и есть другие человеки — защитят. Сама матушка-государыня не даст в обиду своего певца, коли он супротив нее не виноват. Но хорош этот кадетишка — прогугнил что-то себе под нос, заместо того чтобы толком сказать, и в такой испуг вогнал.

Заметив, что ТрEDIAKовский остановился, кадет остановился тоже. Он, видать, сильно продрог в шинелишке, подбитой ветром, и торопился в тепло. Но Василий Кириллович не собирался потакать бесцеремонному мальчишке. Он был человек тучный, с одышкой, придворный поэт, секретарь Российской академии, муж ученый и трудами своими славу снискавший, нечего ему воробышком лететь по прихоти капризного вельможи. Он не спеша приблизился к кадету и сделал тому строгое внушение.

— Негоже, сударь мой, так с почтенными людьми обходиться. Ты горло от кнастера не прочистил, хрипишь невесть что, а мне вон какие ужасы померещились. Таким объявлением человека можно вскоре жизни лишить или, по крайней мере, в беспамятство привести.

Кадет пробормотал какую-то грубость, вроде посоветовал уши прочистить. Василий Кириллович, преисполняясь все большего достоинства по мере того, как росло и ширилось ликующее чувство освобождения, сурово заметил кадету, что уши у него в полном порядке, он слышит не токмо все земные голоса и звуки, но и музыку сфер, а вот иным недорослям не мешало бы помнить правила приличий, предписывающие освобождать нюхало от табака и соплей с помощью фуляра, а не указательного перста. Кадет по-волчьи зыркнул глазами, уткнул подбородок в воротник и быстро зашагал вперед.

По мере их продвижения к дворцу в природе происходили какие-то перемены. Небо утратило чистоту, замутилось, по забелевшей голубизне проносились быстрые тощие облака, солнце за ними стало круглой золотой монетой, на которую можно взирать без рези в глазах. Чуть приметно потянуло ветерком с залива. Мороз не умерился, но похоже, что в ближайшее время он пойдет на убыль.

Вблизи дворца от Невы ударило по глазам ледяным пламенем. Аж слезы вышиб пронзительно-ледяной сверк. Василий Кириллович защитился рукавицей от блистающих лезвий. Это стал меж недостроенным Зимним дворцом и Адмиралтейством ледяной дом, измышленный усердием Волынского для развлечения недужащей императрицы. С тех пор как Анна занемогла — лекари не умели назвать болезни, обглодавшей ее, как собака кость, — Волынский изощрялся в устройстве все новых и новых увеселений, машкератов, шутейных потех, одна причудливей другой. Государыня хоть и опала телом, почернела с лица, ставшего вовсе мужским, с притемью под носом и на подбородке, а порядка жизни не меняла, даже еще жаднее цеплялась за удовольствия. Но сейчас гораздый на выдумки Волынский превзошел самого себя. Поговаривали, правда, что задумка принадлежала Бирону. Раздраженный успехами Волынского, он надоумил государыню потребовать невозможного: статочное ли дело дворец изо льда возвесть! Но Волынский доказал, что нет для него невозможного в угождении государыне.

В краткий срок, отпущенный завистливой злобой фаворита, отыскали и доставили в Петербург с разных концов страны редких искусников. Лед брали с Невы, нарезали кирпичами и складывали стены по всем законам строительного дела, используя для крепежа невшкую воду. Так, шаг за шагом, возвели по чертежам даровитого зодчего, задушевного друга кабинет-министра Еропкина дворец — восемь сажений длины, две с половиной ширины, три высоты. И вот оно, хрустальное чудо с колоннами и шпицом, с крыльцом и окнами, с ледяными светильниками перед парадным входом, где в чашах будет гореть нефть, — чудесный, хрупкий, недолговечный памятник мимолетного монаршего каприза, жутковатый символ пустой растраты народных сил, мастерства, выдумки, таланта, пышный, сверкающий и бессмысленный, как и все это царствование. И как это в духе Волынского! От него, младшего птенца гнезда Петрова, ждали свершений великих, дел громких, к вящей славе России служащих. Но, кроме подписания выгодного Исфаганского торгового договора с Персией, что еще во дни Петра было, прославил он себя лишь крутым губернаторством в Астрахани и Казани, участием в астро-русско-турецком конгрессе в Немирове, приведшем к заключению Белградского мира с Турцией, по которому Россия за здорово живешь лишилась всех своих завоеваний, русской кровью окупленных. А до-

прежь того Волынский приложил руку к другому громкому делу — возглавил суд над Дмитрием Михайловичем Голицыным, вознамерившимся поставить над волей монаршей Верховный совет из старых бояр с подмешкой новой знати. Престарелый князь отправился умирать в Шлиссельбургскую крепость, а Волынский стал бы первым человеком при государыне, кабы не Бирон.

Дойдя в своих мыслях до князя Голицына, Василий Кириллович ощутил внутри себя какое-то неудобство вроде щемления. Он постарался выкинуть это из головы, вернуться к широкому размышлению о судьбе даровитого выкорымыша эпохи преобразований, который в нынешнее ничтожное время строил и украшал лишь собственное гнездо, но щемливое беспокойство не проходило и наконец навело на след. К роду Голицыных принадлежал жалчайший из шутов — Кваснин, которого в апофеозе празднеств, посвященных ледяному дому, должны обвенчать с распутной и злой шутихой Бужениновой, прозванной так в честь любимого блюда Анны Иоанновны. Случайно ли вновь повязалось имя Волынского с одним из Голицыных или то был выбор самого кабинет-министра, не изоблешего ненависть к славному и несчастному роду, пред коим он, Волынский, куда б ни забрался, все равно хам и выскочка; то ли ему казалось, что нынешним малым злодейством, он как бы подтверждал справедливость большого прежнего, когда подвел под топор старого «верховника», — сподобился тот каземата, взамен плахи, лишь милосердием государыни. Поди разберись в чащобе такой дремучей души, как у Артемия Волынского!

Для него, Василия Кирилловича, тут заключалась своя каверза: несколько дней назад бросил ему Волынский вскользь, через плечо: сочини вирши на сию свадьбу. «Я виршей не пишу!» — гордо ответствовал (про себя) ТрEDIAKовский, отсвив поклон. Но потом крепко озадачился — всерьез или в насмешку сие распоряжение? Не было ничего страшнее и ненавистнее для Василия Кирилловича быть запутанным в шутовские дела. Волынский не любил его, даром что земляки, ибо числил ошибочно — по князю Куракину — за Бироновым подворьем. Невдомек министру было, сколь натерпелся академии секретарь от наглости чужеземцев, опирающихся на Бирона. Да и сам фаворит не пропускал случая унижить, высмеять, поставить в глупое положение Василия Кирилловича. Он боялся, но и презирал от всей души невежественного, чванного, брезгливого ко всему русскому курляндца. Но не о том сейчас забота. Ломоносовский выпад напрочь вышиб из памяти ТрEDIAKовского поручение Волынского. И хорошо, что вышиб. Иначе по слабости душевной и привычке подчиняться сильным мира сего — чем не Голицын-Кваснин? — накатали бы он свадебную песнь шутам и осрамился бы в собственных глазах и перед потомством. Ему ли, императрикс и Россию поощему, шутов величать.. А если б Ломоносову сие предложили?.. Вспомнились слова младого Салтыкова, встречавшегося с Ломоносовым в Фрейберге: «Меня подмывало обломать трость об этого наглеца,

но не решался, такой и убить может!» Он, Третьяковский, никого не может убить, но постоять за честь русской поэзии может, и, если Волинский впрямь ради шутовского величания его вызвал, он скажет ему — смиренно, но твердо — о своих заслугах перед российской словесностью. «Не буду писать, и все тут!» — решил Василий Кириллович, приосаниваясь...

7

— Где вирши? — спросил Волинский, едва Третьяковский переступил порог кабинета.

— Нету, — упавшим голосом сказал поэт.

— Как это «нету»? Завтра свадьба.

— Негоже пииту скоморошествовать, — довольно твердо произнес Третьяковский, и крепкая, упрямая скула молодого помора проплыла перед ним.

Волинский медленно поднял тяжелую голову. Его немолодое, но еще красивое лицо было помято, желтые взболтанные глаза глядели сумрачно и нездорово. Он всегда много пил, но прежде сон смывал с него следы попойки, и после разгульной ночи с девушками и тройками он выглядел свежим, нетерпеливо бодрым, а ныне, постарев, погрузнев и озаботившись, тащил собой в день дурноту и тяжесть похмелья.

Волинский поднялся, вышел из-за стола, в движениях его не было прежней сухой легкости.

— Ты астраханский? — спросил он скучным голосом.

Третьяковский чуть отсунул лицо от его сивушного дыхания.

— Как же, — сказал он с насильственной улыбкой. — Ваш земляк.

— Земляк, значит... — Волинский прикрыл глаза, будто что-то соображая, его тонкие веки чуть трепетали, сверкнул очистившимся, светлой ярости взглядом и что было силы ударил Третьяковского в зубы.

Голова Третьяковского дернулась, хрустнул шейный позвонок. Он попятился, и новый страшный удар расквасил ему нос. Хлынула кровь — и залила перед кафтана. Почему-то первая мысль Василия Кирилловича была об этом кафтане: как будет браниться и сокрушаться Марья Филипповна, корпя над засохшими, несмывающимися пятнами, а уж потом безобразие и подлость случившегося заломили ему душу.

— За что?.. — проговорил он гнусаво сквозь кровь, забившую нос, и слезы налили ему уголки глаз. — Да как вы можете так?..

— Земляк, говоришь? — повторил Волинский, словно было что-то усугубляющее вину Третьяковского в этом обстоятельстве, и огрел его по уху.

Третьяковский трясущимися руками извлек из кармана фуляр и приложил к лицу.

— Он ругался на вас, зачем вызвали, — прохрипел кадет.

— Нешто посмел бы я... — ТрEDIAковский отнял от лица пропитанный кровью платок. — Совести у тебя нету.

— Ругался! — мстительно подтвердил кадет. — Чего, мол, такую важную персону по пустякам тревожат. Кабы еще государыне зандобился, а тут всякое пыжало от дел отрывает.

— Побойся бога! — только и молвил ТрEDIAковский.

Волынский остро глянул на кадета.

— Дай-кось ему по соплям. Неохота руки марать. А ну!.. — И кабинет-министр крепко ткнул кадета кулаком меж лопаток, видать, за «пыжало», придуманное, как он сразу догадался, злобой фантазией кадета.

Тому не нужно было говорить дважды. Как ни закрывался и ни увертывался Василий Кириллович, твердые кулаки находили незащищенное место. Видать, в отцовской деревне этот недоросль зело преуспевал в кулачной потехе. Заплыли глаза, уши стали как олады, кровь текла из носа, изо рта слабого плотью кабинетного мужа. Отступая, Василий Кириллович споткнулся на ковре и упал. Кадет ударил его сапогом в живот.

— Хватит! — сказал Волынский прежним скучным голосом. — Ковер запачкает... А ты, сволочь, чтоб к завтраму были вирши. Не то раздавлю. Пошел вон!..

И ТрEDIAковский пошел. Он пошел, как был, в порванном, испачканном платье, с разбитым, окровавленным лицом во дворец Бирона принести жалобу на кабинет-министра. Он не ждал серьезной кары для Волынского, слишком высоко тот стоял, но и нескольких суровых слов императрицы, сказанных публично сichtlichому живорезу, было бы достаточно. Придворные увидят, что никому не дозволено подымать руку на поэта-ученого. Ждал Василий Кириллович и для себя сочувственной ласки: хоть перстень какой должны ему в утешение пожаловать.

В приемной у фаворита было по обыкновению людно, и, хотя появление избитого и окровавленного поэта произвело впечатление, пустить его вперед никому на ум не вспало. ТрEDIAковский занял очередь и стал рассказывать случившемуся тут знакомому гвардейскому капитану о претерпленном надругательстве. Он так увлекся живописанием своих страстей, что не заметил, как в приемную вошел кабинет-министр Волынский в сопровождении давешнего кадета и жердилы-приказного. Нехорошую тишину, воцарившуюся в прихожей, он принял за повышенное внимание к своему рассказу.

— Ты здесь, гнида? — Хмурый голос Волынского оборвал ему сердце. — Витийствуешь?.. Жаловаться пришел?..

Волынский наотмашь ударил его в грудь. Василий Кириллович повалился на гвардейского капитана, тот посторонился, и поэт рухнул на пол. По знаку Волынского кадет и приказный подхватили его под микитки, вытащили на улицу, кинули в возок и куда-то помчали...

Потом уже Василий Кириллович сведал, что на шум из кабинета выглянул Бирон и, увидев разъяренного Волынского, сказал гнусаво, что было у него признаком подавленного гнева:

— Что тут происходит? Опять вы?.. Здесь вам не конюшня.

— Конюшня — это по твоей части, — дерзко ответил Волынский. — А коли я наглого слугу проучаю, то сие никого не касается.

— Слуг вы у себя дома наказывайте, — побледнел Бирон. — Я слышал голос академии секретаря Тредиаковского. Он к холопам вашим не принадлежит.

— А это мы сейчас увидим!.. — в бешенстве вскричал Волынский, выбежал из приемной, вскочил на лошадь и прибыл в караулку в одно время с возком.

И началось такое безобразие, какого нигде, кроме святой Руси, не увидишь. Когда-то в Париже Тредиаковский слышал, что оскорбленные Вольтером вельможи подсылали к нему наемных головорезов, чтобы избить палками, а некий французский маршал, высмеянный Мольером, при встрече обнял драматурга, прижал к груди и поцарапал ему лицо орденами. Но эти поступки, о которых говорилось с отвращением и гневом, казались невинными шалостями по сравнению с тем, что учинил над русским поэтом русский вельможа. Он велел содрать с Тредиаковского кафтан и рубашку и лупцевал его палкой по голой спине, пока тот сознания не лишился. Ушат холодной воды привел его в чувство. Волынский снова принялся за дело и свирепствовал до плеча онемения. После этого Тредиаковского передали в руки солдат, и экзекуция возобновилась по строгому воинскому уставу. Поэта распластали на холодном захарканном полу караулки, один воин сел ему на голову, другой на ноги, а третий отмерил пятьдесят палок. Тредиаковский снова обмер и снова был возвращен в сознание ледяным окатом. Полуживой от боли, унижения, обрыва всех внутренних сцепов, собирающих человека в личность, Тредиаковский каким-то образом запомнил палочные порции и впоследствии точно назвал их в своей жалобе Академии наук.

Он долго не постигал лютости Волынского, необъяснимой цепкости, с какой первый сановник государства, обремененный многими делами и заботами, впился в слабого, беззащитного человека, отважившегося на свой жалкий бунт. Лишь когда стало известно о «заговоре Волынского», кое-что приоткрылось Василию Кирилловичу.

Предвидя скорую кончину Анны и регентство Бирона, Волынский разработал проект «О направлении государственных дел». Еще творя суд над князем Голицыным, он серьезно задумался над попыткой верховников ограничить царскую власть советом го-

сударственных мужей. Крепко запали ему в душу слова, коими старый князь отпел свое дело: «Пир был готов, но званые оказались недостойными его; я знаю, что паду жертвой неудачи этого дела; так и быть, пострадаю за отечество, мне уж и без того остается немного жить, но те, кто заставляет меня плакать, будут плакать дольше моего».

Не тех, кого следовало, позвал на пир Голицын, за то и поплатился. Шляхетство боялось власти верховников, полагая, что с ними вернется засилие старинных боярских родов, уничтоженное Петром. Анна Иоанновна не своей решимостью разорвала подписанные ею голицынские кондиции, а по настоянию гвардейских офицеров и дворян. Молодое русское дворянство, добровольно надевшее на себя ярмо, получило в благодарность бироновщину и слезами горючими поплатилось — прав был старый князь! — за свою преданность престолу. Волынский полагал, что ныне шляхетство вполне созрело, дабы создать из себя сильный представительный орган для обуздания самодержавия и свержения Бирона.

И Волынский начал плести свою сеть: искать и вербовать сторонников, прощупывать гвардию, одновременно всячески улаживая большую, капризную и ненасытную к развлечениям государыню. Его вкус к помпезным зрелищам, коих он довольно нагляделся в Персии, размах и богатое воображение помогали заворачивать такую карусель, какой не видывал пресыщенный двор. Бирон вздумал подставить ему ножку затеей с ледяным домом, но все шло к тому, чтобы еще более возвысить Волынского во мнении императрицы. Сейчас Волынский страшился не зависти, злобы или ревности Бирона, а лишь пронизательности, которой этот спесивый и вроде бы туповатый курляндец обладал с избытком. Все мелкие и даже крупные каверзы герцога не были опасны Волынскому, он знал, как прогнать нахмурь с потемневшего чела государыни, вызвать улыбку на запавших устах. Другое дело, если герцог пронюхает о «Проекте» и прочих расчетах Волынского, тогда ему несдобровать. И участь князя Голицына завидной покажется оступившемуся честолюбцу. Жестокость временщика могла сравниться лишь с его алчностью.

Волынский следил за каждым своим шагом, словом, жестом, следил, чтобы его поведение ничем не отличалось от всегдашнего. Упаси боже, чтобы Бирон и его клеветы заметили, что он осторожничает, затаился, стал рассчитывать свои поступки, он, знаменитый своей необузданностью и удалой ширью истинно русской природы. И он заставлял себя пить, кутить, якшаться с непотребными женщинами, хотя ему было совсем не до того, совершать продуманно опрометчивые поступки.

Ледяное празднество было задумано с невиданным размахом. Триумфальные шествия победоносного Петра равно и ошеломляющие выходы всепитейшего собора должны были поблекнуть перед великолепием карнавала Волынского. Он хотел надолго ослепить и оглушить государыню, чтобы на спокойе двинуть вперед

свое дело. Бедного российского поэта, как былинку, как палый листик, засосало в вихрь государственных страстей, не на жизнь, а на смерть борющихся властолюбий. Он думал, что скромно отстаивает собственное достоинство, а может, и достоинство тех, кто придет вслед за ним на ниву отечественной словесности, а сам, того не желая, сунулся под колесо разогнавшейся во весь дух телеги кабинет-министра.

Волынский просыпался по утрам с тревожной мыслью: не ударила ли оттепель. Тогда все пропало — потекут, оплывут сложенные с таким искусством ледяные стены, в мутную лужу превратится хрустальное диво. Но окна сверкали морозной росписью, красноречиво свидетельствуя, что зима прочно сковала столицу. Волынский вздыхал облегченно и тут же начинал беспокоиться о другом: вдруг посреди шествия понесет непривычная к городскому обиходу оленья упряжка плосколицых насельников северных окраин государства Российского, или, вспугнутые огнями, фейерверковыми вспышками, ринутся на толпу индийские слоны, или какая другая непредвиденная поруха испортит плавное течение праздника. А тут не олень с тяжело колышущейся гривой, не слон с могучими бивнями, а гнида, мелочь, землячок астраханский, словоблуд, шут без колпака поперек сунулся. Нужны Волынскому его паршивые вирши — это государыня пожелала, чтобы было прочитано стихотворное приветствие брачующимся шутам, — питала она странное пристрастие к стихоплетству. И уж если такая тля осмеливается прекословить, заместо того чтобы с благодарностью руки лизать, то сколь же трудно будет поднять людей на большое дело, подчинить их себе, привести к победе и, возглавив новый, силу и власть имеющий Сенат, набив шляхетству рот разными привилегиями, стать при наследнике Анны подлинным властелином России. К той же великой цели стремился некогда и Александр Данилович Меншиков, да проворонил юного Петра II и в березовскую ссылку, в курную избу угодил вместе с красавицами дочерьми. Волынский так не обмишулится. Но известно, что большие предприятия нередко гибнут из-за мелочей. Потому и расправился он беспощадно с ничтожным Тредиаковским. К тому же в мозгу мелькнуло: уж не Бирон ли подбил стихотворца к неповиновению? Что, если ушлый курляндец прошупать его хотел? Человек, замысливший большое тайное дело, не станет по-пустому шум подымать. И Волынский нарочно разнюздался в Бироновом доме. Ко всему еще он окончательно уверился, что Тредиаковский — с подворья ненавистного временщика. Кабы Волынскому не было что таить, он, верно, не стал бы учинять скандал в покоях щекотливого фаворита, но в данном случае такое вот откровенное, простодушное, неосмотрительное хамство хорошо маскировало серьезные намерения. В караулке же он от души дал себе волю. Этот противник самодержавной власти, устроитель российского парламента, не терпел и малейшего противодействия своей воле...

Избитого, мокрого, окровавленного ТрEDIAKовского заперли на ночь в караулке, чтобы он сочинял веселую свадебную песнь. Лязгнул засов, ТрEDIAKовский остался один. Под потолком ютилось маленькое окошечко, за которым мерцала белесая от снега ночь. Но ТрEDIAKовскому казалось, что прошла целая жизнь между светлым утром, когда он почувствовал в себе благородную ломоносовскую упрямку, и ночным опаматованием в мерзкой луже посреди караулки. Он постарел на целую жизнь за этот день. О каком достоинстве, какой чести можно думать, когда живешь под властью рукосуев, палочников, душегубов? Что для них заслуги, ученость, слава — награда терпеливому труду, это же заплечных дел мастера под личиной вельмож!

Но не стоит трудить этим душу. Его искус не кончился, чаша не испита до дна. Как еще распорядится им завтра Волинский, какую роль отведет на ледово-шутовской свадьбе? Может, вовсе в шуты зачислит? Неужто допустит матушка-государыня?.. ТрEDIAKовский тяжело вздохнул. Разве можно положиться на кого из этих великих, всяк своему нраву служит, а маленький человек для них что муха, прихлопнут и не заметят. Но он должен завтра прочесть стихи, иначе не видать ему ни дома, ни жены, ни детушек. А ему ничего не надо, только бы увидеть их. Пусть шутом, пусть кем угодно, ползком или на карачках, только бы добраться до их родного тепла. Вспомнив о семье, ТрEDIAKовский заплакал. Он плакал, выползая из мерзкой лужи, подымаясь на ватные ноги, устраиваясь на лавке, приткнутой к стене. Лечь он не мог, так болела ободранная спина. Он скорчился в уголке, найдя наименее мучительное положение для разбитого тела, руками упираясь в лавку, виском прижавшись к холодной стене. Ну же, стихоплет, сочиняй веселые стихи во славу Голицына-Квасни-на и красавицы Бужениновой! До чего ж вдохновительный для твоего таланта предмет! Брак, узы Гименея... А твоя Марья Филипповна нешто лучше себе долю выбрала, пойдя за сочинителя, чем шутиха Буженинова? Что она думает сейчас, сидя оди-нешенька в бедной их берложке, без вести от него, не зная, вернет-ся домой кормилец или навсегда сгинет, как случалось со многи-ми людьми всякого звания в это душегубное время. Не Кваснин с Бужениновой дураки, истинные дураки они с Марьей Филиппов-ной, что задумали пожениться, детей завести, жить как положено людям. И он сказал вслух своим разбитым ртом, обращаясь не к царским дуракам, а к себе самому и своей половине: «Здравствуй-те, женившись, дурак и дурка!» И будто прорвало — потекли злые, непристойные, издевательские строчки. Шутейного, ядрено-го, похабного, забористого захотели — получайте песнь свадеб-ную с солью, с перцем, с собачьим сердцем, с матюшками, с под-лостью всяческой, пусть и государыня послушает, и весь ее бле-стящий, гнилой с исподу двор. ТрEDIAKовский не жалких дураков.

срамил, он бил по всем, и в первую голову по себе самому, по своему унижению безмерному, по сытым мордам придворной черни, тешащейся гадкими забавами, по вельможам — скифам и самой скифской царице. Стихи были оскорбительны для слуха, безобразны, разнузданны...

И он угодил Волынскому. Выслушав утром свадебную песнь, министр расхохотался и повторил вслух особо понравившиеся строчки:

Не жить они станут, но зоблить сахар,
А коли устанет, то будет другой пахарь...

— Можешь ведь, коли захочешь! — сказал он милостиво. — Только голос у тебя гнусный и вид непотребный, будто ты всю ночь с солдатами бражничал, дрался и блевал.

Разговор происходил в покоях Волынского, куда доставили Василия Кирилловича. Министр хлопнул в ладоши и велел принести Третьяковскому горячего молока с медом для прочистки горла, большую чару водки для общей бодрости и машкерадный костюм.

Последним Василий Кириллович не слишком огорчился, заметив на диване другой машкерадный костюм, пышный, яркий, отделанный жемчугами и драгоценными камнями, видать, предназначенный самому Волынскому. Следовательно, тут нет намерения выставить его шутом. Более огорчительным оказалось, что читать песню придется в маске, к тому же носатой. Лицо Василия Кирилловича было так обработано, что все усилия искусного цирюльника, пустившего в ход примочки, мази, пшеничную муку мельчайшего помола, не могли скрыть следов побоев. Опечалился Василий Кириллович, когда напялили на него глухую черную бархатную маску с толстым изогнутым клювом, как у заморской птицы-попугая, оставлявшую для обозрения лишь бледные губы и мясистый запудренный подбородок.

Может, от огорчения, что все-таки привели его в шутовской вид, может, от слабости и дурноты, — он ничего не ел целые сутки, только ожег нутро крепкой водкой, — прочитал он на празднике свою песнь без обычного воодушевления, тихо, тускло, жалостно. Белый подбородок дрожал, кривились разбитые губы, он горбился от боли в спине и ежил плечи и со своим попугайским носом был впрямь похож на старую больную птицу. Слух о расправе над ним успел распространиться во дворце, и любому из расфранченных придворных очень легко было представить себя на его месте, и это тоже не способствовало шумному успеху. К тому же государыня, вопреки обыкновению, не выразила удовольствия, даже не улыбнулась, а сидевший справа от нее Бирон сердито хмурился. Он уже нажаловался императрице на грубость Волынского, и Анна Иоанновна наказывала кабинет-министра своей холодностью.

Обернулось же все это против Третьяковского. Разозленный

Волынский велел отправить его назад в караулку и повторить наказание. Но несчастному поэту было уже все равно. Он решил про себя, что не выйдет живым из переделки, и поручил душу господу. После первой дюжины палок он потерял сознание, и подвыпившие в честь карнавала, благодушно настроенные солдаты оставили его в покое.

Очнулся он от холода и колтыханий, его куда-то несли по морозцу на шинельке. Был он в том же маскарадном костюме, только накрыт шубейкой, с маской на лице. Картонный нос отвалился, как у больного дурной болезнью.

— Куда вы меня несете? — спросил он солдат-носильщиков. — На кладбище?

— Домой, куды же еще! — ответили ему...

За минувшие часы произошел крутой поворот в настроении императрицы. Сколько ни напрягалась она гневом в угоду фавориту, но не могла устоять перед чудесами, порожденными щедрой фантазией кабинет-министра. Поистине ошеломляющим было шествие насельников бескрайнего государства Российского — полтораста разноплеменных пар в ярких народных костюмах поочередно радовали взор. Они мчались на оленьих, собачьих и козьих упряжках, скакали на конях, трусили на ослах, колыхались на верблюжьих горбах, медленно влеклись на упрямых волах и даже на откормленных свиньях. Поистине такое увидишь только в России, разве хоть одно другое государство собрало под своей крышей столько разных народностей? Тут были и самоеды, и остяки, и зыряне, и финны, и татары, и башкиры, и калмыки, и киргизы, и малороссияне, и белорусы. Ну а сами россы нешто на одно лицо! Щеголеватые, ражие ярославцы, стройные, гордые новгородцы, быстрые, жильные москвиты, кряжистые, задумчивые рязанцы, да всех не перечести! И уж на что равнодушна была к своей родине государыня Анна Иоанновна, но и в ней шевельнулось чувство удивленной гордости за обильную и могучую страну, коей призвана она управлять. Невообразимо уморителен — животики надорвешь — был обряд венчания, соединивший дурака Кваснина с дурой Бужениновой, а сами молодые имели вид до того пакостный и ничтожный, что давно недужившая Анна приободрилась, взыграла, осушила кубок сладкого, густого греческого вина с пряностями и совсем развеселилась, не обращая внимания на кислую физиономию фаворита. Волынский был допущен к ручке, удостоен весьма лестных слов и понял, что выиграл кампанию. Под уклон праздника он вспомнил о Третьяковском и велел его отпустить, а коли идти не сможет, отнести домой.

Вот и отправился Василий Кириллович в обратный путь, как знатный французский барин, на носилках, правда, носилки те были из солдатской шинелишки, а несли не вышколенные слуги, а полупьяные солдаты, то и дело пребольно ронявшие его на мерзлую землю.

Когда вышли к Неве, Василий Кириллович увидел в мятущем-

ся, но уже замученном пламени нефтяных светильников и смоляных факелов что-то огромное, бесформенное, безобразное — то был оплавливающийся в потеплевшем воздухе ледяной дворец. В непрочном, тающем чертоге, насмешливом даре императрицы Голицыну-Кваснину, оставались лишь брошенные всеми пьяненькие новобрачные. Теплый ток воздуха с залива не дал несчастным шутам замерзнуть до смерти.

10

Дома, едва придя в себя, Василий Кириллович попросил письменные принадлежности. Поминутно мутясь сознанием, он принялся писать завещание. За годы изнурительного неустанного труда поэт-ученый не нажил ни палат каменных, ни угодий, никакой соби. А берложка их и рухлишко и так семье останутся, кто посягнет на жалкое имущество бедняка? Дадут и нищенское вспомоществование, он в этом не сомневался, а Марья Филипповна, женщина хотя и младая годами, но умная, оборотистая и во всем умелая, не даст погибнуть их детям, вытянет и в обучение определит. Не пропадут! В России люди как трава растут, без заботы, без солнца и тепла, а все равно вытягиваются из тощей почвы одним лишь упорством — жить, жить, жить вопреки всему. Так отчего ж не стать на ноги и ихним детям при такой разумной, твердой сердцем матери?

Но было у Василия Кирилловича одно сокровище, о нем-то и болела душа в эти последние, как он полагал, часы, — его библиотека. Он начал собирать книги — печатные и рукописные — еще отроком в Астрахани. И сундучок с бумажным сокровищем таскал за собой повсюду: в Москву, в Амстердам, в Париж. Из столицы Франции он уже не мог сам перевезти книги, столько скопилось, их отправил ему вослед в Петербург князь Куракин, благодетель.

Редкие рукописи — собственноручные послания отцов православной церкви и раскольниковы грамоты, среди них самим протопопом Аввакумом и союзниками его писанные, соседствовали с французскими романами, поэмами и сборниками гривуазных стихов, частично приобретенными на Сенской набережной, частично полученными в дар от того же Куракина и от парижских друзей, среди коих было немало сочинителей. У него были полный Корнель, Расин, Мольер, Вольтер, Буало, сочинения Малерба, Фенелона, Барклая, шестнадцатитомная «Римская история» Роллена, его же «Древняя история», Кревиеровы «Истории об императорах»; были у него книги английских, итальянских, немецких, голландских, испанских, португальских прозаиков и поэтов, греческие и латинские грамматики, жизнеописания великих воинов, государственных мужей, служителей духа, оды Горация и любовные песни Катулла, множество сочинений по философии, географии, меди-

цине, языкознанию, теологии, астрологии и, конечно, вся русская поэзия от виршей князя Хворостинина и творений Сильвестра Медведева, Федора Поликарпова, Кариона Истомина в русле церковно-дидактической традиции до острых сатир князя Антиоха Кантемира, а равно записи народных песен, комедий, сказок, рассказов, жития святых мучеников и редкие издания Евангелия... Неумная жадность к познанию, расприравшая Василия Кирилловича, выразилась в этой богатейшей книжнице. Он тратил на книги каждую лишнюю копейку, не стеснялся и выпрашивать их, и вымогать, а при случае, не видя в том греха, и присваивать, где плохо лежит. Ежели умеючи действовать, то библиотека — золотое дно. Но откуда у Марьи Филипповны такому умению взяться? Разбазарит она даром, за бесценок, все эти сокровища. Тут Василий Кириллович малость себя обманывал, оглупляя смекалостую Марью Филипповну. Но при слезной жалости к семье, оставаемой без всяких средств, он еще горше печаловался сердцем о деле своей жизни, немалой частью коего была и эта любовно, самоотверженно собранная библиотека. Сохранности ради бесценных рукописей и книг, завещал он самое дорогое Академии наук. Он любил семью, ненавидел шумахеров и корфов, но над всеми его чувствами возвышалась пламенная страсть к науке, просвещению, словесности, стихотворчеству.

Коснеющим языком наказал он Марье Филипповне вручить завещание сразу после его кончины профессору Шумахеру. Марья Филипповна всплакнула, заверила: «Все сделаю, болезный мой!» — и сунула сложенную вчетверо бумагу за пазуху. После в светелке, малость владея грамотой, она свела последнюю волю умирающего, снова всплакнула, обозвала его «иродом» и спрятала завещание за образа, решив вовсе уничтожить, коли муж не раздумает помирать. Сама она твердо верила в его выздоровление. Она отпаивала страдальца целебным отваром, а на спину ему клала примочки из травяного настоя. Во дни девичества Марью Филипповну называли колдуньей: от ее трав, высушенных, растертых в порошок, запаренных, перемешанных с разными специями, любую хворость как рукой снимало. Правда, нелегко было собирать нужные травы в болотистых скудных окрестностях Петербурга, все же и здесь ее составы знатно помогали страждущим.

И Василий Кириллович вскоре опамятовался настолько, что стал писать зело крепкий ответ Ломоносову, это дело он почитал наиважнейшим, и, лишь отправив его, составил обстоятельную жалобу на Вольтерского, которую, как и письмо к Ломоносову, адресовал Академии наук для дальнейшего употребления. Он не верил, что академия даст ход его жалобе, — хоть и сильны были немцы при Бироне, а против кабинет-министра, в фаворе пребывающего, пойти не посмеют. Конечно, избиение, коему он подвергся, уязвляет честь академии, но вместе с тем спесивые чужеземцы не допускали мысли, чтобы и с ними могли поступить сходным образом. А на русскую школу им наплевать. Но Василию

Кирилловичу важно было послать жалобу — пусть знают все и сам гордый Волынский — слух-то все равно пойдет, — что не смирился он с насилием и не задушил в себе протестующего голоса. Он бессилён защитить свою плоть от здоровенных рукоусев и солдатни, но душу его не убили. Какие-то новые, странные силы пробудились в кротком человеке, он знал теперь, что бы с ним ни делали, как бы ни изгалялись, в шута все равно не превратят. Он стал даже тверже, чем во все годы, последовавшие за вызовом в Тайную канцелярию. И Марья Филипповна, ознакомившись с новыми посланиями мужа, не стала подвергать их участи завешания, а передала по назначению. Она удивлялась и не сочувствовала дерзости Василия Кирилловича, который, дыша паром изо рта, осмеливается спорить и жаловаться, но уважала эту непонятную силу в нем и не хотела ей перечить.

Однако академия рассудила по-своему и оба послания оставила без движения. В отношении жалобы на Волынского никаких объяснений не требовалось, а на послании к Ломоносову было наложено такое заключение: «Сего учеными спорами наполненного письма для пресечения долгих, бесполезных и напрасных споров к Ломоносову не отправлять и на платеж за почту денег напрасно не терять...»

11

Тредиаковский стал жить дальше. Он долго болел и отсиживался дома. Много читал, работал. Спина упорно не хотела заживать. Только подсохнет, станешь рубашку сдёргивать, опять замочил ранки. И все же с каждым месяцем гнойнички уменьшались, затягивались, целебный бальзам хоть и медленно, но оказывал заживляющее действие. Василий Кириллович стал выходить, вернулся к исполнению своих обязанностей в академии и при дворе. Но внутри у него не заживало. Врожденная отходчивость, поэтическая безмятежность, доверчивость, не вовсе оставившие его после ушаковского застенка, исчезли без следа. Характер его изменился, он стал колюч, скрытен, зол, и хотя по-прежнему гнулся перед высокостоящими, но и они смутно чуяли, что этот смиренник может выпустить яд, и не спешили задевать его. Даже шуты, народ весьма понятливый, не посягали на Тредиаковского. А в темных, глубоких и умных глазах Педриллы он подмечал что-то похожее на сочувствие с примесью чуть ли не уважения.

Не радовала Василия Кирилловича происшедшая в нем перемена. Он не был ни злым, ни твердым, ни кусачим; по природе своей добрый и мягкий, он хотел любить людей. Если не любишь людей, то зачем и писать для них? Нынешняя ожесточенность лишала его даже той малой внутренней свободы, какой он обладал раньше. Эта его свобода покоилась на убеждении, что, как бы плохо ни обращались с ним порой, он все же приятен людям

со своей неленивой музой. Что там ни говори, а поэзия протачивала ходы к душам людей даже при азиатском дворе Анны Иоанновны. Люди привыкали к стихам и начинали чувствовать потребность в них. Пусть не все, пусть немногие, но что-то сдвинулось. Василий Кириллович тяжело переживал нынешнюю свою отчужденность. Но вскоре все померкло перед ошеломляющим известием, что всеильный кабинет-министр избобичен в государственной измене, взят под стражу и отдан в руки Ушакова.

В народе об этом говорили всякое и, как обычно, наибольшую веру давали дичайшим слухам: Бирон застал его с государыней — и та в угоду первому любовнику пожертвовала вторым; Волынский намеревался русский трон опрокинуть и себя над Россией поставить. Эти слухи, подобно древним легендам, в искаженных образах отражали некую подлинность, ведь и Змей Горыныч скрывал исторического половецкого хана. Так в народных толках преображались намерения Волынского ограничить царскую власть Сенатом, свернуть шею Бирону и стать первым мужем в государстве.

При дворе же царило мертвенное молчание. Испуг сковал все уста. На пострадавшего от злодея-изменника Тредиаковского поглядывали с почтением...

Но в потоке людей, спешащих к месту казни, Василия Кирилловича не узнавали и потому толкали пребольно. Впрочем, он почти не замечал этих уязвлений плоти, погруженный в мысли о причудливой судьбе своего супостата.

Он слишком хорошо знал бывшего кабинет-министра, чтобы верить в его вольнолюбие. Но коль Бирону светило регентство, у Волынского не оставалось выбора. Рассчитал он все широко и смело, да только Россия не Англия и не Швеция, и российский шляхетство не готово соответствовать замыслам Волынского. А Бирона час когда-нибудь пробьет, вдруг понял Василий Кириллович, только случится это на русский лад, по-домашнему, кулаками полупьяных гвардейцев. Дворянство же вовсе не так уж глупо и косно, просто никому не хочется ставить над собой Волынского вместо Бирона. Хрен редьки не слаще. Он вспомнил, как, исторгая водочный перегар, российский Кромвель месил ему лицо кулаками, и ноги сами прибавили шагу.

До чего же охоч простой люд до кровавых зрелищ! Пожалуй, и на ледяную потеху так не валили, как на законное смертоубийство. Конечно, сие представление позабористее. Там морозили, да недоморозили в апофеозе географического праздника двух шутов, а здесь обезглавят одну из первых фигур в государстве. Петербург не избалован подобными зрелищами, не то что старая столица, матушка-Москва, одной казнь стрельцов навек насытившаяся. Да и нет у людей сочувствия тому, кто вознесся над всеми аки солнце, перед кем шапки ломали, пресмыкались, на колени падали, кто сшибал и давил их своими пьяными тройками, кто волен был над их достоинством, свободой и животом. Справедливо,

наверное, и все же ТрEDIAKовскому стало как-то не по себе, что он замешан в эту потную, душную, гадко-радостную шушваль, исторгающую тяжкий смрад под палящим июльским солнцем. Вернуться?.. Нет, он должен глянуть в лицо своему истязателю, должен стать близ лобного места живой, здоровый, годный к труду и радости, а тот, кто терзал, топтал, смертью убить его хотел, а в нем то большее, что божим даром называется и дается одному за многих и ради многих, примет позорный конец. Это перст божий. Каждому воздастся по делам его. Василий Кириллович почувствовал, что своя обида, своя месть истаявают в его душе, очищающейся от злого, себялюбивого, мелкого. На черном торжестве возмездия он будет служить не своей обиде, а всем униженным, затравленным, битым, замученным словотворцам.

Он оттолкнул какого-то малого в кожаном фартуке, остро воняющем рыбой, отстранил тощего мастерового, растопырил локти, покрепче сжал трость и напористо устремился через запруженную народом площадь к плахе.

Удивляло обилие женщин. Попадались среди них и совсем юные, с кожей нежной, как персик, с влажными телячьими глазами, светившимися испугом и радостным ожиданием. Иные небось тайком от старших сюда продрали. Бедна новизной и развлеченными русская жизнь, даже в столице. А если б эту жадность, этот интерес, горящий в молодых глупых глазах, на доброе и разумное обратить?

— Ведут!.. — стоном прокатилось над площадью.

Деревянная подвысь заполнилась людьми: гвардейцы, солдаты, палач в красной рубахе, его подручные, приказные. И все это множество роилось вокруг старого человека со связанными за спиной руками. ТрEDIAKовский протер глаза, несколько раз моргнул, как от пыли. Нельзя было поверить, что этот худой, согбенный старик в грязном, расстегнутом на впалой груди кафтане и есть Волынский. Ему было чуть за пятьдесят, но сейчас, без парика, седой, с маленькой, острой головой, с небритым всосом щек и заваленным ртом — зубы ему выбили, — он выглядел на все семьдесят. Да, крепко поработали над ним пыточных дел умельцы! Поразило ТрEDIAKовского, что в темных и по-прежнему пытливых глазах Волынского не было одури от испытанных мук, ни ожесточения, ни злобы, а какое-то странное, мягкое любопытство. И, притянутый этим светом, Василий Кириллович рванулся вперед, разъяв сцепив плотно сбитых тел, и оказался у самого эшафота...

Волынский прошел через сущий ад, и, если б его даже помиловали, это лишь ненадолго оттянуло бы мучительный конец. Он был весь размолот внутри и не мог жить. Он с самого начала знал, что обречен, и ни признание истинной или придуманной ви-

ны, ни чистосердечное или куда более убедительное фальшивое раскаяние, ни самое низкое предательство, ни даже заступничество государыни не могли спасти его от смерти. Бирону нужна была такая вот, устрашающая публичная казнь, чтобы парализовать всех недовольных перед объявлением его регентом. Вольтинский сразу смирился со своей участью и лишь молил в душе, чтобы скорее пришел конец. Когда же услышал приговор, то испытал не ужас, а великое облегчение. И с этим пошел на казнь. В его искалеченном теле оставалось достаточно жизни, чтобы обрадоваться свежему воздуху и свету после смрада и темени подземелья. Оказывается, дышать полной грудью и видеть солнце — уже счастье. Поздно же ему это открылось!.. Мешала лишь толпа, и Вольтинский пожалел, что его не прикончили тихо, в каком-нибудь укромном месте, где не было бы никого, кроме исполнителей приговора. Но сетовать на это бессмысленно, и он спокойно, даже благожелательно рассматривал человечью несметь, удивляясь, что ни на одном лице, мужском или женском, молодом или старом, не было и тени сострадания. А ведь он не сделал ничего плохого этим людям, не соприкасался с ними, за что же им его ненавидеть? Впрочем, ненависти, может, и нету, а лишь равнодушие с примесью злорадства: хвалился, мол, хвалился — да под стол и завалился! А разве мог он чего другого ждать? Конечно, нет! Между ним и этими слетевшимися на казнь, как воронье на падаль, петербургскими людишками зияла пропасть.

Если же глянуть поверх голов дальше, за цепь солдат, где грудилась в шелку, атласе и бархате вся курляндская шайка с прихлебателями — сам-то, поди, в карете схоронился! — то даже оторопь берет, что твой исход кому-то столь радостен. Странно подумать, что был ты ребенком, и матушка на коленях тебя качала, называла «золотцем» и «теленочком», и не было для нее ничего дороже на свете. Сейчас, матушка, вашего теленочка палач заживо разделает.

Остальные придворные держались сзади. Неохота им было с осужденным глазами встречаться. Еще пожалеет шляхетство, что отдало его на растерзание. Впрочем, нет у него теперь ни в чем уверенности. Не уловишь разумом кривых и темных путей истории. Лучше не смотреть туда, ну их всех к богу!..

Обегай взглядом толпу, Вольтинский вдруг оступился о знакомые черты: высокий лоб, мясистые щеки, бородавка, вытаращенные голубые глаза. Надо же, и этот притащился! Ну что ж, распотешь свою душеньку, битый стихоплет, надутая пустышка. Вольтинский отвернулся, но что-то заставило его еще раз оглянуться на Тредиаковского. Господи!.. Из мертвячьей коловерти, бездушной несметы на него смотрело человеческое лицо, исполненное жалости и сострадания. Бедный дурачок, даже ненавидеть по-настоящему не умеет. И он улыбнулся Тредиаковскому.

Казалось, тот начал что-то быстро, быстро жевать, его челюсти, рот, заушины, даже скулы и брови ходуном заходили. Да он

плачет... Добрый человек! — осенило Волынского, и сердце его засочилось. Он был близок к тому, чтобы понять на своем исходе что-то очень большое и важное, к чему никогда не подступала его жестокая и целенаправленная душа. Но ему не дали. По знаку палача подручные накинулись на него сзади и стали сдирать кафтан, причиняя мучительную, лишнюю боль. Он не увидел, как рванулся к плахе Тредиаковский, что-то крича перекошенным ртом, как испуганно раздалась толпа и кто-то схватил поэта, заломил ему руки и потащил прочь...

13

Эти страшные минуты остались смутными в памяти Тредиаковского. Он хорошо помнил появление Волынского на плахе, согбенного, старого, с маленькой острой головой, и как мгновенно обесценилась в его душе вера в право возмездия. Был несчастный, истерзанный, страдающий человек, остальное не стоило и полушки. Он всем нутром понимал Волынского. Если уж он, черная кость, многожды колоченный бурсак, так переживал свое унижение, то каково этому гордому, властному, привыкшему повелевать человеку? Страшнее побоев и пыток было для Волынского злобное торжество врагов, презрение тех, кто еще вчера перед ним пресмыкался. Но, сострадая ему, истерзанному, ему, униженному, ему, поверженному, Василий Кириллович думал о Волынском как о живом. Лишь когда палачи опрокинули Волынского, в сердце и в мозг ударило: да ведь его убьют!..

И вот тут память изменила Тредиаковскому. Кажется, он закричал, но что? — он не помнил, кажется, рванулся вперед — зачем? — он не знал. В его поступке не было ни разума, ни смысла, а поплатиться он мог свободой, даже жизнью, но ни о чем этом не думал смешной поэт, никем не признанный, не угаданный Предтеча, в чьем безотчетном порыве родился жест великой русской литературы — к страждущему...

14

Тредиаковский обрел память вместе со страхом, что его схватили и тащат в Тайную канцелярию. Впрочем, страх почти тут же сменился равнодушием — будь что будет, а равнодушие — раздражением, что опять над ним куражится чужая воля. Он уперся, забарахтался и вырвался из цепких рук.

Перед ним был молодой человек лет двадцати пяти с тонким и мужественным лицом. Резкий, прямой нос, загорелые скулы, темный пушок над красивым, чуть улыбающимся ртом. Даже при великом испуге его нельзя было счесть за ушаковского приспешника, а Василий Кириллович устал бояться.

— Кто вы такой? — сказал он сердито. — Я вас не знаю.

— Но я знаю того, кто подарил России «Остров любви», — с улыбкой сказал молодой человек.

— Что вам от меня надо? — все так же сердито спросил Третьяковский.

— Ничего. Просто мне не хотелось, чтобы вас забрали. «Слово и дело», любезный Василий Кириллович, говорится и по меньшему поводу, чем сочувствие государственному преступнику.

— Да вам-то какая забота?

— «Начну на флейте стихи печальны, зря на Россию чрез страны дальны!» — тихим, музыкальным голосом прочел молодой человек. — Я много лет был в обучении на чужбине и все твердил ваши прекрасные строки.

— Ломоносов! — вскричал Третьяковский, пораженный внезапной догадкой.

Молодой человек рассмеялся.

— Я никому носов не ломал. Даже в трактире. Не любитель.

— Прости, юноша, — смущенно сказал Василий Кириллович. — Я принял тебя за одного студюоза, проходящего обучение горному делу в Фрейберге и зело поэзии приверженного.

— Я обучался мореходству в Амстердаме, — сказал молодой человек. — Стихов же слагать не умею, хотя помню множество, и не только русских. Но, долго от родины отлученный, я в русских стихах слаще всего в тоске моей утешался. «Россия мати, свет мой безмерный!..» Как же скучаешь там по родине, как молишься на нее, а вернешься — и об одном только думаешь: скорее бы ноги унесть.

— Не навестишь ли ты меня, благородный юноша? — спросил растроганный Третьяковский.

Тот покачал головой.

— Благодарствую. Мне надо еще родителей проведать, а завтра уже в плавание. «Канат рвется, якорь бьется, знать, корабль понесется!»

— Милый юноша, — чуть не со слезами сказал Третьяковский, — дай бог тебе во всем удачи. Кабы ты только знал, сколь утешна моему сердцу встреча с тобой. Вижу, не зря все муки и бдения, отзывается в чьих-то душах мое слово. Если случится быть в Париже, поклонись от меня сему граду:

Красное место! Драгой берег Сенски
Тебя не лучше поля Элисейски...

И молодой человек подхватил:

Всех радостей дом и сладка покоя,
Где ни зимня нет, ни летнего зноя...

и, низко поклонившись Третьяковскому, скрылся в проулке.

Василию Кирилловичу стало одиноко и грустно. В памяти

всплыла улыбка Волынского, которому не с кем было обменяться прощальным взглядом перед смертью. Как же пустынно человеку в мире! Лишь поэзия разрывает тень одиночества. Стихи подарили ему дружбу этого юноши-морехода. Ах, пока есть на свете нежный хорей и притягательный, неуловимый ямб, стоит жить! И Третьяковский бодро зашагал к своему дому.

КВАСНИК И БУЖЕНИНОВА

Известно, что мелкие причины могут привести к грозным последствиям: птичка чиркнула крылом по снегу — и лавина устремилась с горы, круша все на своем пути. А бывает, когда маленькая жизнь скромного бытового человека направляется и ломается великими историческими событиями, к коим он ни сном, ни духом не причастен.

Внук знаменитого временщика и полюбовника царевны Софьи, князя Василия Голицына, Миша увидел свет в затерянной посреди архангельского безлюдья деревне Кологоры, куда его опальный дед со всем семейством был сослан царем Петром. Поначалу Голицына сослали в городок Каргополь, но едва он туда прибыл, власти одумались и отправили его дальше — в Яренск, забытую богом зырянскую деревушку, но и здесь князь не задержался: извет Шакловитого о тайных сношениях его с Софьей, заключенной в монастырь, еще более отягчил судьбу изгнанника и привел на край света — в Волоко-Пинежскую волость.

Отец Миши Алексей Васильевич быстро извелся в нужде, пустоте и мраке полунощного края и отдал душу богу; мальчика воспитал дед, явивший неожиданную в баловне счастья стойкость духа и телесную выносливость. Человек для своего времени весьма сведущий в науках, передовой по мировоззрению, он отменил местничество и одним из первых взгляделся в Европу, но не угадал в юном Петре государя, за которым следовало пойти, как и Петр не разглядел сподвижника в Софьином фаворите. Василий Васильевич дал любимому внуку образование, какого тот не получил бы и в Славяно-греко-латинской академии, куда, впрочем, княжичей и не отдавали. Он обучил смышленного мальчика не только грамоте, счету, истории, географии, закону божьему, но и древним языкам, коими владел свободно, а также начаткам немецкого и французского, уловленных на слух в Кукуе, где охотно бывал.

Потеряв сына, князь Василий всей любовью и надеждой сосредоточился на внуке Мише. Но сильное чувство не мешало прозорливости. Мальчик нравился ему смышленостью, ровным характером, легкостью, с какой переносил лишения — впрочем, нельзя чувствовать себя лишенным того, чем не владел, — и доверчивой привязанностью. Нравилось деду и то родовитое, что проглядыва-

ло сквозь бедную, крестьянскую одежку в фигуре внука и в осанке, коли приложимо к подростку такое слово. Внук не унаследовал ни тонкой красоты деда, ни скромной пригожести отца; широкое, щекастое, крутолобое лицо с карими теплыми глазами могло бы показаться простоватым, не выпирай так отчетливо порода: голова прочно и прямо сидела на широких плечах, крутая грудь, чуть тяжеловатый стан, стройные крепкие ноги — все обещало вылиться в презентабельную наружность настоящего русского барина. Но чувствовал князь Василий, что внуку не хватает характера, и это его горестно тревожило. Его сын был слабым человеком, потому и сломался так быстро, сам князь лишь в ссылке явил мужество смирения. А так — у старика хватало внутренней честности признаться себе в этом — недоставало ему воли и упорства, необходимых для государственного человека. Он почитался некоронованным царем России, но обязан был этому лишь Софьиной любви. Он мог не уничтожить местничества, не подписывать долгожданного вечного мира с Польшей, не вынашивать великих государственных реформ; Софье достаточно было его взгляда из-под длинных пушистых ресниц, прикосновения легких и крепких рук, забытья в его объятиях. Но и здесь потерпел князь чувствительный урон. Поддавшись честолюбию Софьи, дал вовлечь себя в злосчастные крымские походы, хотя знал, что нет у него ратного дарования и беспощадности, необходимых для войны, а тем временем наглый и ловкий Федька Шакловитый занял его место, пусть не в сердце сладострастной царевны, а лишь в постели. Подавленный двойным бесчестьем в ратном и любовном делах (за первое его увенчали незаконными лаврами, за второе — рогами), он согласился против воли в отчаянную минуту на устранение Петра, чем и подписал себе приговор. И ведь знал же, знал, несчастный, что служит неправому делу. Возьми верх Софья — и Россия осталась бы в своем душном беспробудном сне. И тогда все попытки сбросить вонючий вшивый тулуп, укрывший с головой русское тело, ни к чему бы не привели.

А будь он сильным человеком, как и положено государственному мужу, то бросил бы заведомо проигранную игру и перешел бы на сторону Петра, да не хватило духу.

Когда князь Василий понял, что не может переступить через себя не из-за любви, давно погасшей, а из благодарности Софье, то пошел до конца за неверной возлюбленной, незаконной претенденткой на шапку Мономаха, преступной сестрой и возмутительницей государственного порядка. А место ему было при Петре. Он не мог быть ни правой, ни левой рукой царя, да и было у того рук, что у индийского бога Шивы, но князь мог быть при царевом уме. Это неправда, будто Петр сам все решает и никаких советов не слушает. Царь с детских лет ко всему прислушивался, и приглядывался, и мотал на пробивающийся ус. Как некогда Голицын, он повадился на Кукуй, чтобы набраться сведений и знаний у бывалых иноземцев. Петр сделал адмиралом пройдоху и

пьяницу Лефорта — тот не мог устоять на палубе даже в штить, — потому что ценил его умную голову. Но не хватило князю Василию характера, и похоронил он свои бескорыстные — ради общего русского дела, и честолюбивые — во славу собственного рода мечты. Наверное, в сознании неотвратимости всего содеянного и коренилось спокойствие князя, которое окружающие принимали за мужество.

А может, то, что не удалось деду, выпадет внуку? Не станут же ни в чем не повинного юношу век тут держать. Небось простят и семейство, как только уйдет из этого мира осужденный глава, и вернут в Москву. Но была и подспудная мысль: авось Мишку раньше вызовут в столицу для участия в государевой заботе. Царю нужны молодые шляхтичи для службы в армии и на флоте, на верфях, рудниках, при прокладке каналов и дорог, в приказах. Людей не хватало, их зазывали из-за границы. Русь очунулась, струнулась с места, но двигаться могла лишь усилиями своих сынов. Если б старый князь не надеялся на скорую перемену в Мишиной судьбе, он поторопил бы свой уход, дабы не мешать внуку. Это грех, но страха божьего князь не ведал, он знал — все зло от людей. Уж больно хотелось поверить, что не засохнет их ветвь, вон другие Голицыны в большом фаворе при царе состоят и все вверх тянут.

Мишенька умный, а что не зубаст, так восполнит прилежанием, радением о государевой пользе, и притом он, потомок Голицыных, может позволить себе не толкаться, не работать локтями и не кусать исподтишка соперников. Про себя Василий Васильевич знал, что на любом поприще для успеха одного лишь прилежания недостаточно, надо уметь пускать в ход зубы, а иной раз нарочь рвать другим горло, если фортуна сама не выберет тебя в любимчики, да уж больно хотелось ему славы и успеха для Мишеньки, в этом видел он оправдание своей незадавшейся жизни.

Миша в самом деле прославится, но совсем на иной манер, нежели мечталось опальному временщику. Слава его прогремит по свету, о нем будут слагать стихи еще при жизни, писать пьесы, он станет героем оперы и того нового призрачного искусства, появление которого не мог предвидеть его дед. В энциклопедических словарях будет он стоять отдельно от всех Голицыных: остальные и сам Василий Васильевич, тягавшийся с царем, и славный Голица, давший имя роду, и все воители, все государственные деятели пойдут в одной рубрике: ГОЛИЦЫНЫ, один Мишенька — наособь. Эту честь он заслужит, явив в своем лице величайшее унижение человека, до которого доводило когда-либо самодержавие «нижайших рабов своих», — так подписывался в посланиях к Елизавете Петровне знаменитый немецкий философ Иммануил Кант, став на короткое время подданным императрицы.

Но все это ждало Мишу в далеком будущем. А покамест и самому причудливо-злому не могло представиться, что под хмурым

пинезским небом добродушный, румяный не по климату, неглупый и смиренный юноша зреет для столь удивительной и редкой участи. Рядом с ним тихо угасал выдающийся, с несостоявшейся судьбой деятель России — первый среди тех, кто, играя в большие, грозные игры, где ставка — человеческая голова, определил ужасную судьбу своего внука.

Надежда изгнанника оправдалась: когда Миша достиг юношеского возраста, его затребовали в столицу. Как ни больно было старому князю расставаться с последней своей привязанностью — к остальной семье относился он с прохладной ласковостью, — он был счастлив. А внук, похоже, не разделял этого чувства. Миша испытывал грусть не только от разлуки с дедом, было жаль оставлять суровую и милую землю, ведь иной он не ведал.

В самом нежном возрасте он просто не понимал, что семья его живет совсем не так, как ей следовало бы по знатности и заслугам предков. Подобно всем местным мальчишкам, Миша радовался каждодневному бытию: летом — солнцу и птицам, осенью — морозке и клюкве, зимой — снегу, санкам и небесному сиянию, весной — близости короткого северного лета. Он рос на деревенской улице, а в непогожие дни сидел в теплой избе, что-то мастерил, слушал сказки. И до чего ж вкусна была сырая семга и прихваченная морозцем клюква.

Позже он узнал, что его семье надлежало жить не в глухой деревушке на краю света, под надзором, а в палатах каменных или богатой усадьбе, в окружении многочисленной челяди. Потерянный далекий и прекрасный мир представлялся довольно смутно, но тревожил воображение, впрочем, не настолько, чтобы в мальчике зародилась навязчивая, болезненная мечта об утраченном великолепии, о Москве белокаменной, — не мог говорить о ней без слез старый князь.

В тревоге юношеского созревания Миша стал чаще и томительнее думать о том, что скрывается за краем видимого пространства. Но вяловатая душа мальчика оставалась чужда честолюбию и мятежным порывам. Да, дед велик был в дни фавора, державу русскую под себя подмял, а чем все кончилось? С большой высоты падать больнее, хотя дед никогда не жалуется на судьбу. «Мог бы я стать царю первым помощником в его великих делах, — говаривал князь Василий, — ибо теми же глазами глядел на будущее Руси, те же вынашивал замыслы, да господь иначе рассудил. Послал мне наказание за мои грехи. — «А в чем твои грехи, дедушка?» — отваживался раз спросить Миша. «Много их... А худший — злоумышлял я против царя», — сказал старик, и замолчал, и никогда больше к этому разговору не возвращался.

Юность склонна к самообольщению. Но тут обольщалась пустой мечтой старость. А Миша не связывал особых надежд с той жизнью, которую знал только по рассказам, которая издали влекла его, но пуще страшила. Он, не видевший больших людных селений и путных домов, робел перед городом с его величественными

соборами, высоченными колокольнями, каменными палатами, многолюдством, толчеей, шумом и ежился при мысли о важных, нарядных, самоуверенных господах, среди которых придется жить, пусть он и знатнее многих из них. Миша не представлял себе ни этой будущей жизни, ни службы и даже не знал, чем бы ему хотелось заняться. В рассказах деда его больше всего грели довольно скупые и пренебрежительные упоминания о подмосковной вотчине с огромным садом, прудами, с библиотекой и картинами на стенах. К этому примечывалась молодая хозяйка и всякая прелесть, думать о которой зазорно и раздражительно. Но вотчина давно отошла к другой ветви Голицыных, что были в чести у государя и вовсе не собирались уступать нагретого места внуку изменника. Как обычно бывает, жизнь сама распорядилась, а о намерениях юноши никто и не спрашивал.

Не успел Миша ни оглядеться в Москве, ни оробеть больше той робости, что уже жила в нем, как его доставили перед лицо царя. И тут Миша не испытал ни страха, ни какого-либо враждебного чувства к повелителю, сломавшему жизнь его семье. Дед сам говорил, что несет кару за свою вину перед царем, а он, Миша, ни в чем не виноват, ему бояться нечего. Впрочем, логический расчет ни при чем, просто он не боялся — и все!

Было время, когда самодержец пытался прощупать направляемых для обучения в чужие земли юношей по части грамоты, счета, географии и славных деяний предков, но вскоре от такой проверки отказался, убедившись, что ни один кандидат дальше псалтыря в науках не двинулся. Теперь Петр рассчитывал лишь на пронизывающую силу своего взгляда. Он заламывал юноше чуб и вперялся в глубь зрачков, пытаясь вычитать там ценность подданного. К чести юных шляхтичей, они стойко выдерживали темный, мерцающий взор царя, открывая ему небесную прозрачную голубизну младенческого идиотизма. Но пить они начинали уже в каретах или возках задолго до пересечения русской границы и не оставляли сего занятия во все дни обучения в Сорбонне, старых университетах маленьких немецких городков, амстердамской или лондонской навигационных школах. И все-таки многие из них научились в чужеземных странах не только танцам, поклонам и всякому светскому обхождению, но и полезным предметам: иностранным языкам, математике, словесным наукам, международным тонкостям для посольских дел и практическим занятиям по судостроению, вождению кораблей, строительному и рудному делу.

Как всегда, хотя и с большим, нежели обычно, интересом Петр впился в глаза юноше. Затем, желая поглубже погрузить взгляд в зрячие колодцы испытуемого, схватил Мишу за чуб и запрокинул ему голову. Голицыну было неловко и стыдно за царя, ни с того ни с сего причиняющего ему боль. Он улыбнулся Петру: дескать, ничего, вытерплю.

— Счету обучен? — отрывисто спросил Петр.

Голицын ответил подробно.

— И латынь знаешь? — недоверчиво спросил Петр.

— Знаю, государь. Могу читать, писать и разговаривать.

— С кем? — хохотнул Петр, но лицо оставалось жестким, а взгляд темно и грозно пронизывающим. — Ты что, пустозерскую академию кончил?

— Дед был моей академией, государь.

— Изменник? — И Петр так сжал в кулаке голицынский вихор, что у того заслезились глаза.

Голицын не ответил.

— Овечкой небось прикидывался? Меня во всем виноватил?

— Нет, государь, всю вину на себе считал.

Петр сказал задумчиво:

— Он умный, твой дед... Кабы за Софьин подол не цеплялся... Ладно, поедешь в Париж, в Сорбонну.

И перед недавним обитателем волоко-пинежской пустоты развернулись парижские виды. Жизнь Миши в ту пору мало чем отличалась от жизни любого парижского студента, но значительно различалась от жизни тех соотечественников, которые вместе с ним проходили курс наук в одном из старейших европейских университетов. То были юноши из состоятельных семей, получавшие от родителей щедрое содержание. Они жуировали вовсю, манкировали лекциями, чередуя светские и полусветские удовольствия с вульгарными попойками, единственно для увлажнения горла, дабы оно вовсе не ссохлось в стране сухих и полусухих вин.

Князь Голицын, не будучи приучен к вину в самые восприимчивые лета, выпивки чурался, он много читал, усердно посещал лекции, ходил в оперу и французскую комедию, конечно, не в ложи и не в партер, прогуливался по аккуратным французским садам и паркам, наслаждаясь не столько их расчисленной красотой, сколько дивными мраморными скульптурами в аллеях, изображавшими античных богов и героев, имел — за весь курс — две-три скромные связи, обнаружив серьезность и верность, весьма непривычные для легкомысленных француженок.

Почти так же — трудолюбиво и скромно — будет жить в Париже другой русский юноша, о котором Петр произнесет прозорливые слова: «Вечный труженик». Он будет с тем же старанием учиться, корпеть в библиотеках, насадно вызывать примадонн с галерки парижской оперы, восхищаться скульптурами в парках, дворцами, всем красивым и утонченным, чем в избытке обладал Париж, но распорядится накопленным богатством удачнее Миши, что при этом не принесет ему счастья. Этот усердный и одаренный юноша, став зрелым мужем, приложит руку, хотя и без охоты, из-под палки — в прямом смысле слова — к великому издевательству над Михаилом Голицыным, обессмертив его в похабных стихах, хотя ему удавались и звонкие, чистые песни. Так переплелась жизнь двух русского происхождения парижских студюзусов разных лет: Михаила Голицына и Василия Третьяковского.

По родине юный Голицын не скучал, ибо старая родина — Кологоры — при всей нежной памяти о ней уж слишком проигрывала в сравнении с блистательной Лютецией, а к новой, недавно дарованной — Москве, — он не успел привыкнуть, привязаться сердцем. По деду скучал, но приучил себя не думать о нем, зная, что больше с ним не встретится.

Если он раньше жил в пространственной пустоте, но в душевном угреве, то сейчас в густоте одушевленного и вещественного мира пребывал с незаполненной душой; веселые подружки, так любившие недорогие перстеньки, брошки и просто золотые монетки, могли дать лишь короткое тепло своего юного, ловкого, умелого тела — не больше. Но юный князь верил, что по окончании курса получит служебное назначение скорее всего при одной из наших иностранных резиденций и тогда устроит всерьез и свой дух, и свою плоть.

Вопреки ожиданию по выходе из стен университета он был отозван домой и зачислен малым чином в военную службу, в захудалый армейский полк. Похоже, кому-то сильно не хотелось, чтобы внук опального временщика оказался близок ко двору и, глядишь, пошел бы в гору. Даже полуобразованные люди были нарасхват в петровской Руси, а тут пренебрегли выучеником лучшего европейского университета.

Многие дворяне считали, что военная служба — кратчайший путь к успеху.

Вот и роду Голицыных строго разграничивались дарования: были Голицыны — воины и Голицыны — государственные мужи, между ними находились Голицыны — баре, склонные к роскошной жизни, изящным искусствам и проживанию больших состояний. Мой скромный герой принадлежал, несомненно, к третьему типу Голицыных. Баре — байбаки — эстеты Голицыны порой достигали временного успеха в дворцовой или государственной службе, но Михаил Голицын этой возможности не имел. Отдаться же своей прямой склонности — сибаритству — тоже не выходило: надо служить, да и пуст карман. А к воинской трубе он был положительно глух.

В армейской службе оказались вовсе не нужны все приобретенные им знания, глубоко изученные языки, мудрость прочитанных книг, воспитанный на изящном вкусе, безукоризненные манеры. Требовались качества прямо противоположные, которых Голицын был напрочь лишен: решительность, жестокость, грубость, умение беспрекословно подчиняться высшим и беспощадно давить низших. Все это было чуждо его натуре, он не снискал благоволения командиров, симпатий товарищей и благодарности низших чинов, державших его за придурка. Солдатам было ни тепло ни холодно от его бессильной доброты; пусть он сам держал руки на привязи, за него зверовали другие офицеры. Выходило так на так.

Неизвестно, в каких он участвовал кампаниях и как проявил

себя в деле, лавров, во всяком случае, Голицын не стяжал. Его чело украсит в свой час иной венок: из капустных листьев, пучков редиски, петрушки и огородных сорняков. Но это позже, когда житейский путь будет пройден почти наполовину.

Голицын жил чужой жизнью, пустота внутри него все ширилась, и, чтобы хоть как-нибудь ее заполнить, он женился. Впрочем, тут отсутствовал волевой жест, он позволил себя женить на помещицкой дочери, засидевшейся в девках. За женой взял он приданое — справное именье, но армейская служба помешала свить гнездо. Походная жизнь уводила его прочь от дома, где ж тут было привязаться к жене и детям!

Голицыну было около сорока, но дослужился он только до майора, в то время как его сверстники ходили в полковниках и генералах. Знатные люди быстро поднимались в чинах, ибо начинали не с нуля, их зачисляли в военную службу, когда они еще размахивали игрушечной сабелькой. У Михаила Алексеевича подобного преимущества не было. Он покорно тянул армейскую лямку, поняв, что внуку волоко-пинежского изгнанника хода не дадут, покорно принял смерть жены, покорно уступил детей опекунству ее родителей, а в смутные дни, наступившие за кончиной Петра, вышел в отставку. И это не было волевым жестом, он просто выпал из армии, как лишний гриб из кузовка. И тут Голицын наконец очнулся от сонной одури и чего-то захотел. Трудно сказать, чего именно — характер у него был смятый, что объяснялось условиями, в каких он родился и вырос, он не смел чего-либо желать и уж подавно заявлять вслух о своем желании. Добрые люди научили его отпроситься в Италию для поправки застуженного в бивачной жизни здоровья. Разрешение было получено, и он сразу укатил во Флоренцию, снова одинокий, свободный и не знающий, что с этой свободной делать.

На берегах Арно Голицын довольно скоро понял, как распорядиться своей свободой, — надо поскорее от нее избавиться. Отдав дань несравненной архитектуре — соборам, дворцам купцов и герцогов и старому баптистерию, дивному куполу Брунеллески, венчающему собор Санта-Мария дель Фиоре, галерею Уффици, — равно и нынешней прелести живого, кипучего торгового города с золотыми рядами на мосту через тенистую, пахучую и живописную реку, потолкавшись в густой веселой ночной толпе, он снял чистый — по итальянским меркам — флигелек на окраине города у виноградаря, содержавшего небольшую трактирню тут же рядом, и поспешил влюбиться без памяти в его младшую дочь Люцию. В деревенском пригороде Флоренции ее отец считался богачом и был исполнен к себе немало уважения. К русскому князю он относился в меру любезно, но без малейшей угодливости и даже почтительности. Голицына скорее забавляло, нежели сердило самомнение винодела-трактирщика, которого он шутивно называл про себя будущим тестем.

Михаил Голицын мог по праву считаться мужчиной в самом

соку, но все-таки разница лет между ним и любимой угнетала, сковывала и без того нерешительного князя. Лючия, смуглая, темноглазая, белозубая девушка, ничем не отличалась от других смазливых итальянок, способных вызвать мгновенное желание, исчезающее без следа, стоило отвести взгляд. Но, видимо, чем-то все-таки отличалась, если впервые в жизни Голицына охватила страсть. Он и не подозревал, что способен так воспламениться.

Подобным взрывом страсти некогда пленил царевну Софью князь Василий Голицын, причем оба так никогда и не догадались, что то была страсть честолюбца и реформатора, вдруг узревшего кратчайший путь к осуществлению грандиозных замыслов. В то мгновение, когда князь Василий осознал, что это мясистое лицо с тяжелыми серыми глазами, эта бесформенная плоть и неожиданно маленькие красивые руки, эти увядшие волосы и густые шелковистые брови вольны дать ему все, чего захочет ненасытная жажда свершения, его пробила дрожь, сообщившаяся Софье и кинувшая их друг к другу навсегда. Никому не разъединить было нашедших одна другую в сумятице мироздания половинок единой сути. Князь все понимал про нее. Софья могла ему изменять с топорным и сильным Шакловитым, когда Голицына не было рядом, — князь Василий сам разбудил в ней чувственность, не подвластную воле; но мечталось ей в медвежьих объятиях стрелецкого вожа о худом узком теле Голицына, его пронзающем до сердца жаром, и когда он возвращался из походов, большого, размашистого Шакловитого будто шапкой-невидимкою накрывало — Софья его не замечала. Жгучая память об их первом соединении была так сильна в ней, что она не заметила, не почувствовала его остуды. Про себя самого князь Василий понимал куда меньше, чем про Софью; недостающей ему половинкой была вовсе не царевна, а его собственная жена.

Внук князя не подменял одного чувства другим, и его страсть была неподдельна и, как всякое сильное, искреннее, излучающееся из сердца чувство, не могла не затронуть молоденькой итальяночки. Голицын слова ей не сказал, лишний раз взглянуть боялся, а девушка знала, что важный русский барин без памяти влюблен.

Охваченный испепеляющей страстью, Михаил Алексеевич мечтал о тайных уладах любви, но никак не о радостях законного брака. Подобный мезальянс просто не приходил на ум. Гедиминович, внук негласного правителя России, аристократ с головы до пят не мог взять в жены дочку крестьянина-корчмаря, как бы ни цвел ее юный рот, какие бы волны ни исходили от смуглого гибкого тела. Этого бы просто никто не понял. И потом разница в годах: через десять лет он будет стариком, а она только вступит в самый опасный женский возраст. Ночью Голицын ворочался без сна, прикидывая, какую бы сумму предложить отцу и какие подарки преподнести ей, чтобы избавиться от неутраченного жжения в груди и всех других беспокойств. Он попробовал пода-

ритель Люции брошку с гранатами, которую приобрел за сходную цену в золотых рядах над Арно. Она засмеялась, приколотла брошку к полупрозрачной ткани, прикрывающей легко дышащую грудь, чмокнула его дочерним поцелуем в крутой вспотевший лоб и вернула драгоценность. «Я не могу принять такого дорогого подарка». Никакие уговоры не помогли. «Отец убьет меня». Это было явным преувеличением, и Голицыну подумалось, что путь к корсажу дочери ведет через карман папаши, глубокий карман в холщовых штанах, где покоилось множество вещей: часы, ключи от винных подвалов, штопор, кисет с табаком, трубка и кресало, молитвенник, шприц для вытягивания винных проб, какие-то маленькие инструменты, складной нож и серебряные монетки. Усев с торговцем три оплетенных бутылки «кьянти», Голицын осторожно дал понять, что мог бы прекрасно обеспечить Люцию. Старик поинтересовался, что он имеет в виду. Виллу на ее имя в любом привлекательном месте Италии, коляску, лошадей, кучера и служанку. Трактирщик слушал благожелательно, попыхивая трубочкой и отмечая кивком каждый из посулов, потом спокойно сказал, что все хорошо, недостает лишь малости: божьего благословения. Если князь способен выдержать маленький церковный обряд, то пусть забирает Люцию, хотя и негоже ей опережать старших сестер.

Человек более решительный и предприимчивый, чем Михаил Алексеевич, наверное, не придал бы большого значения болтовне зазнавшегося корчмаря и постарался бы объяснить ему, какая пропасть разделяет знатнейшего русского вельможу (не беда, что он от сохлой ветви могучего голицынского дерева), богача (для итальянцев все русские — баснословные богачи) от миловидной флорентийской простолоудинки; мог бы подействовать на корыстолюбие старого крестьянина, посулив ему хороший куш на расширение дела, или попытался бы соблазнить Люцию, не оставшуюся безразличной к его влюбленности, — дородный, породистый и простодушный князь нравился женщинам; он мог, наконец, что было не редкостью в Италии, похитить Люцию с помощью наемных удалцов, но все эти отважные и дерзкие замыслы были не по Михаилу Алексеевичу: даже охваченный страстью, он оставался человеком с деликатной душой.

И Голицын согласился на женитьбу, сделал по всей форме предложение, которое было милостиво принято, правда, с одним непременным условием, чтобы он перешел в католичество: за человека другой веры Люция не пойдет. Все его уверения, что у русских это не положено и может привести к тяжелым последствиям, оказались напрасны. Равно было отвергнуто предложение о принятии невестой православной веры. Старый трактирщик слыл фанатичным католиком, а Люция — послушнейшая из дочерей.

Тяжело менять веру, хотя Михаил Алексеевич не отличался религиозностью, как и его вольнодумный дед. Тот, правда, учил внука закону божьему, но в святой вере не настаивал. Дряхлый

кологорский попик, что-то брусивший в тихом безумии, и вечно пьяный дьячок не могли привить ему уважения к церкви. Да и после Голицын ходил в храм по обязанности, проборматывал положенные молитвы, не вдумываясь в их смысл и ничуть не упоывая на помощь небесную. И коли такая отвлеченность вторглась между ним и любимой, то можно сменить религию, хотя всякая измена была ему не по душе. Он настаивал на одном: чтобы все произошло без лишнего шума. И обращение, и свадьба. Капризный кабатчик и тут было заартачился, поняв уже, что из князя можно веревки вить, но Голицын испугал его, сказав, что это грозит лишением состояния, если во дворе сведуют о его вероотступничестве. Будущий тесть согласился, потому что звонкую монету ставил выше своего католического усердия и крестьянского тщеславия. Все было сделано тихо и чинно.

Положа руку на сердце, Голицын не без тайного удовольствия решился на дерзкий и крайне опасный по тем временам шаг. Ему захотелось хоть раз в жизни совершить свой поступок. До этого им безраздельно распоряжалась чужая воля, решавшая, где ему жить, чем заниматься, даже женитьба, выход в отставку и поездка в Италию были также ему подсказаны. Конечно, и к перемене веры его принудили, но этим оплачивалось счастье, а главное, тут был вызов, пусть тайный, тому порядку, который угнетал его всю жизнь. Он впервые почувствовал себя человеком, способным на самостоятельный жест.

Потекли дни безоблачного счастья, увенчавшиеся рождением очаровательной смуглой кареглазой дочки. И Михаил Голицын, безвинный узник, игрушка в руках царя, нищий сорбоннский студент, армейский тусклый офицерик, полубарин в не успевшем образоваться семейном доме, лишенный отцовства вдовец, узнал, что такое счастье. Он вложил кое-какие деньги в дело тестя и целиком отдался своей запозднившейся первой любви.

Он купил славный домик, увитый диким виноградом, с небольшим благоуханным садом, по которому пробегал звонкий ручеек, приобрел музыкальные инструменты — у него был хороший слух, он легко научился играть на клавесине, лютне и флейте, а Лючия мило пела низким, трогательно не идущим к ее летучей стати голосом. Страсть Голицына не только не утихла, но разгоралась все ярче, он похудел, загорел, красиво и гордо сидела крупная голова на широких русских плечах. Счастлива была и Лючия.

Он совсем забыл о России, но Россия помнила о нем. О, этот памятный разум государства, способный не забывать и о ничтожнейшем муравье из своей муравьиной горы, если тот помечен знаком неблагонадежности! Но далекая родина до поры молчала, занятая совсем другими, большими и тревожными делами. Такими серьезными делами, что, не оборонись старина руками молодого поколения, и Россия получила бы новую институцию, огра-

ничающую самодержавие. Многие видели в затее олигархов-верховников прообраз русского парламента. И снова это сотрясение империи, едва не приведшее к катаклизму, роковым образом отразилось на судьбе скромного, тихого человека, не державшего в душе иной заботы, кроме своей любви. Настывший в архангельской студии и армейском палаточном прозябании, Голицын самозабвенно грелся и никак не мог отогреться под жарким солнцем Италии.

После дворцовой чехарды — на трон сначала взошла волей и дерзостью Меншикова поднятая Петром из лифляндской грязи Марта Скавронская, нареченная Екатериной, затем, после внезапной ее смерти, — законный наследник, царев внук Петр II, тоже не задержавшийся надолго и умерший в одночасье, что помешало придворным пронырам Долгоруковым возвести на престол обрученную с ним девицу из своего дома. За дело взялись «верховники», члены Верховного тайного совета во главе с решительным, умным, но политически близоруким князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, и пригласили на престол герцогиню Курляндскую Анну, ограничив ее права «кондициями» — условиями. Она была дочерью старшего брата и соправителя Петра, слабоумного Ивана Алексеевича. Вернее сказать, считалась дочерью, ибо недееспособный Иван не мог вздыбиться на любовь, он даже свет божий зрил, лишь приподымая пальцами застятые взор веки. Анна, как и две ее сестры, была нагульным ребенком царицы Прасковьи — блудливой святоши. У Анны не было преимущественных прав на престол, но Дмитрия Михайловича Голицына устраивало, что она вдова, к тому же самая бедная, несчастная и бессильная из всех возможных претендентов на престол, стало быть, окажется игрушкой в руках верховников.

Анна Иоанновна, не любимая матерью, потерявшая мужа вскоре после свадьбы, третируемая царственным дядей, не признаваемая курляндским дворянством, влачила существование жалкое, почти нищее. Петр приказал отпускать ей на жизнь ровно столько, чтобы не дать помереть. К тому же к ней был отряжен в Митаву для пристального догляда гофмейстер Петр Бестужев. Догляд она чуть ослабила, сойдясь с честолюбивым интриганом. Когда Бестужева на время отозвали, у нее оказалось утешение более душевное: мелкий дворянин, искатель фортуны Бирен, недоучившийся студент — курс наук завершился для него побоями, которые нанесли ему корпоранты за дрянной, низкий характер и нечестность, — неудачливый карьерист — попытки пристроиться при русском дворе завершились опять-таки избиением. Дважды битый Бирен держался надменно, был он высок ростом, превосходно сложен и красив, несмотря на длинный острый нос. Он пристроился конюшим при герцогине Курляндской, взяв на себя заботу о жалких одрах, на которых она передвигалась. Давно пережившая свою весну, Анна влюбилась до умопомрачения в красавца лошаdnика. Войдя в фавор, Бирен первым делом присвоил

себе старинную княжескую фамилию Бирон, которую в ту пору с блеском носил знаменитый французский маршал, прославившийся на полях сражений и еще больше на ристалищах любви.

Анна Иоанновна, счастливая на любых условиях избавиться от гиблого курляндского заточения, без звука подмахнула кондиции, составленные князем Дмитрием Голицыным при вялом участии титулованных сподвижников, которые не шли за ним, а влачились на аркане сухонкою, но и властной рукой прирожденного диктатора. Среди условий было одно страшное для Анны Иоанновны: не брать с собой в Россию Бирона — ее единственную отраду, Кукленка, пропахшего конюшней, — для Анны Иоанновны эти дурманы были пленительнее всех дразнящих парижских благовоний. Чудовищное насилие над ее душой и плотью придало ей необходимую смелость в решительную минуту жизни.

Анна Иоанновна отправилась в Москву, куда при Петре II перетасили столицу, а Бирон тайно пробрался в Петербург и прятался в дворцовых конюшнях, где почувствовал себя как дома. Харчишками он запася, воду лошадям приносили, а спать под боком у кобылы — что может быть лучше!

Пока Бирон находился в «стойловом содержании», произошла трагикомическая история рождения и тотчас же последовавшей смерти российского «парламента». Но вождь этого обреченного на провал движения не был смешон. Заурядный военачальник и крупный администратор Петровской эпохи, ушедший в тень в дни засилья Долгоруковых, Дмитрий Голицын выступил на авансцену истории, когда Россия вновь осталась без царя в голове. Неурядицы, интриги, произвол временщиков, полное небрежение делами, забвение петровского государственного наследия, алчный цинизм и распад тех, кто когда-то «делал историю», привели страну в полное расстройство. Если б не страх, внушенный Петром исконным врагам России, могла бы повториться страшная заваруха Смутного времени.

В этих обстоятельствах, когда надо было действовать быстро, отважно и решительно, Дмитрий Голицын явил волю настоящего вождя. Но одно дело — растормозить вялых, тянущих каждый в свою сторону сподвижников, составить сильный документ, даже принудить будущую государыню к согласию на ограничение власти, и совсем другое — повернуть колесо истории. Для этого у Голицына не оказалось прежде всего понимания тех глубинных движений и перемен, которые неотвратимо творились под пеной внешней российской жизни. Не обойденная верховниками знать, не вмешательство гвардии сорвали планы Голицына, а впервые выступившее как единая сила дворянство, не учитываемая до сих пор в государственных расчетах часть привилегированного российского населения. Это они, шляхтичи, служилые люди царя, испугавшись, что вместо одного фаворита получают на шею десяток крутохватов, и вовсе не желая идти опять под боярскую руку, ударили челом Анне, чтобы она разорвала кондиции. Государыня

не могла устоять перед единодушным гласом своих подданных и публично разорвала в клочья бумагу Голицына.

После этого она поспешила в Петербург, в конюшню к милому, которого нашла в кислом настроении, перепачканным с ног до головы навозом и сеной трухой. Она ничего не сказала, только издала тихое нутряное ржание, похожее на глубокий, со дна желудка хохоток. Он мгновенно все понял и ответил ей мощным всхрапом, заставившим всех кобыл в стойлах тревожно забить копытами. Так началось правление и счастье Анны Иоанновны, а верноподданное дворянство, подарившее ей самодержавную власть, вместе со всей Россией получило бироновщину.

Дмитрий Михайлович Голицын не ошибся, отведав свое дело такими словами: «Пир был готов, но гости были недостойны его! Я знаю, что я буду его жертвой. Пусть так — я пострадаю за отечество! Я близок к концу моего жизненного поприща. Но те, которые заставляют меня плакать, будут проливать слезы долее меня». Провидческие слова, но едва ли он думал, что самые горючие слезы, хотя они никогда не выкатятся из глаз, омывая внутреннее лицо, будет проливать его вичатый племянник, ни сном ни духом не причастный к делам «верховников» и узнавший о них с большим запозданием. Анна Иоанновна не посмела тронуть влиятельнейшего среди старой знати князя Дмитрия и даже назначила его членом восстановленного в своих правах Сената, никакой роли в государственном управлении не игравшего. Но князь в Сенат почти не являлся, проводя все время среди книг, картин и статуй в своей подмосковной вотчине — селе Архангельском.

Анна затаила против него лютую злобу и только ждала случая, чтобы свести счеты с человеком, едва не вырвавшим из ее рук абсолютную власть и, что еще хуже, пытавшимся разлучить ее с любимым. Случай такой представился в 1736 году: Голицына примазали к некрасивой тяжбе его зятя Константина Кантемира со своей мачехой, вдовой молдавского господаря, угодливо отыскали вину и присудили к смертной казни. Но и тогда императрица не решилась пролить кровь Дмитрия Голицына и все милостивейше заменила казнь заточением в Шлиссельбургскую крепость. Имущество князя было конфисковано и, как обычно в подобных случаях, ушло к Бирону, уже получившему стараниями Анны титул герцога Курляндского.

Примерно в это же время вспомнили о подзадержавшемся на лечении в Италии Михаиле Алексеевиче. Случайно ли это случилось или захотелось императрице иметь под рукой всех членов ненавистной голицынской фамилии, сказать трудно. Голицынское древо так разрослось, что не счесть ветвей, но все же род переживал упадок: крупных людей поизвели, а дети их еще не вошли в возраст, другие сами померли, третьи были вроде Михаила Алексеевича — оробевшие. На виду оставался лишь один Голицын, столь далекого ответвления, что мог считаться скорее однофамильцем, нежели родней опальных Голицыных.

Послушный Михаил Алексеевич вернулся со всей возможной поспешностью, привезя с собой жену и ребенка, хотя внутренний голос подсказывал ему, что делать этого не следует. Да уж больно отогрелась его душа возле них и непосильным казался холод нового одиночества.

Князь приказывал, что человек он маленький, отставной, никому не мешает, состоянице у него незавидное, дай бог с семьей прокормиться, ни в каких интригах и заговорах сроду замешан не был, а в тревожную для государства пору дегустировал вино в подвалах тестя и с верховником Голицыным не был даже знаком.

Доложившись о приезде, Михаил Алексеевич избрал местожительством Москву, подальше от двора, а жену с дочкой поселил в Немецкой слободе. В долгом путешествии от берегов Арно до Москвы-реки и Яузы он достаточно наслушался о всех событиях, сопровождавших вступление Анны на престол, и о том, что беспокойный род его снова покрыл себя ненужной славой и что страной правит курляндец Бирон, не занимающий никакого поста, но владеющий сердцем императрицы. Много чего еще услышал Михаил Алексеевич и сильно опечалился.

Михаил Алексеевич обладал малым опытом российской жизни, знал ее больше по рассказам деда да по скудным наблюдениям во время гарнизонного стояния своего полка в провинциальных городках. Не было у него и друзей закадычных, которые могли бы просветить его насчет отечественных порядков, а главное — насчет опасностей. И когда появился молодой Алексей Апраксин, муж его дочери от первого брака, отпрыск старинного боярского рода, особенно возвысившегося при Петре, Голицын обрадовался ему, человеку своего круга, которому можно открыть душу. Они сблизились, Голицын признался зятю, что переменял веру, и объяснил причину.

Апраксин был человек странный. Собой благообразен, ловок, несколько вертляв, как-то въедливо сердечен и легок мыслью. Казалось, он забывает слышанное тут же: в одно ухо влетает, в другое вылетает. И Голицын открылся ему, не столько доверяя его надежности и скромности, сколько полагаясь на изумительное беспамятство графа и безразличие к чужой жизни. Апраксин был с тобою, пока видел тебя, и тут он мог произвести впечатление заинтересованности, душевности и благожелательности, но стоило расстаться, тотчас забывал о тебе: с глаз долой — из сердца вон. В какой-то мере такие люди удобны для общения, особенно в огнепальное время.

Апраксин нигде не служил, имел порядочное состояние и много свободного времени. Он обрадовался возникшему, словно из небытия, тестю, как радовался любому развлечению. Голицын, конечно, был поставлен в известность о сватовстве Апраксина и послал дочери свое отеческое благословение с берегов Арно, но встретились они с дочерью равнодушно. Их ничто не связывало, кроме тусклых воспоминаний. И поскольку в этих воспоминаниях

не было чего-либо значительного и теплого, они скорее отчуждали, нежели способствовали сближению. А вот Апраксин его заинтересовал. Михаил Алексеевич впервые видел человека своего круга, столь приверженного вульгарным увеселениям. Тот мог целыми днями толкаться в Китай-городе, глазеть на бродячих лицедеев, плясунов, фокусников — особенно любил крикливого кукольного Петрушку, — на юродивых у папертей церковных, на вечно пьяных, задиристых бесприходных попишек возле храма Василия Блаженного и фальшивых белоглазых слепцов, гнусавым распевам выпрашивающих подаяние, на ползунов, горбунов и прочих нищих калек; обожал уличные потасовки, травлю мелких воришек, избиение — вусмерть — крупных, ссоры лоточников, балаганные чудеса вроде волосатой женщины или пожирателя огня. А вот к домашнему театру императрицыной сестры, где давались назидательные спектакли с пением и музыкой, Апраксин оставался равнодушен. Казалось, он не может заполнить пустоту внутри себя. Впечатления вытекали из Апраксина, как вода из худого ведра; наклонявшись по кривым улицам, отбив бока на запруженных площадях, проведая знакомых, посидев в трактире, не поленившись сгонять в Кукуй, наслушавшись низких, в чреве закипающих басов кремлевских дьяконов на всенощной, посетив какую-нибудь ассамблею или театральное представление и, казалось, налитый впечатлениями всклень, он утром вставал пуст и сух и нуждался в новом наполнении.

Голицын не принадлежал к тем, кому всякая несхожесть кажется уродством, болезненным вывертом. Причудливый нрав и странные привычки зятя скорее располагали к нему Голицына, редко встречавшего оригинальных, самобытных людей. К тому же Апраксин был прекрасный слушатель — жадный, отзывчивый, а сам рассказывать не любил: уже известное, пережитое и как бы отработанное было ему скучно. Требовались новые впечатления, новые дрова, чтобы гореть. Откровенность Михаила Алексеевича с близким по родственным узам, но малознакомым человеком объяснялась и стремлением переложить часть собственной ноши на чужие плечи — отсюда идут все ненужно доверительные разговоры, — и желанием произвести впечатление, задержать на себе рассеянный голубой взгляд зятя, стать чем-то, человеком с судьбой, загадкой, тайной, а не облаченной в кафтан и панталоны пустотой. Порой Голицын сам начинал сомневаться в своем существовании. Он обретал вес плоти и жар духа, лишь когда перешагивал порог чистенького домика швейцарского часовщика в Немецкой слободе, приютившего за скромную плату его жену и дочь, и оказывался в объятиях заплаканной, осунувшейся Лючии. Да, не на такую жизнь соединяла она свою судьбу с богатым русским герцогом, владельцем роскошных палацов, загородных вилл и толпы рабов. К чести Михаила Алексеевича, он никогда не хвастал своим несуществующим богатством, все это великолепие явилось распаленному воображению алчного тестя-виноторговца.

Лючия же не заносилась высоко, вполне довольная той обеспеченной жизнью, какую они вели в Италии. Но она не понимала, почему на родине мужа должна ютиться у чужих людей, выходить на прогулку только вечером, не отлучаясь далеко от дома, видаться с законным супругом изредка и украдкой, прятаться в задней комнате, когда приходят клиенты или соседи старого часовщика. Тот попытался растолковать ей, что у русских браки людей разной веры не положены. Но ведь они с мужем единоверцы, возражала Лючия, князь принял католичество. Тем хуже, по здешним законам ей следовало бы перейти в православие. Измученная женщина была готова на все, но тогда и Голицыну надо перекрещиваться, а попробуй он сделать это тайно!

Сам Михаил Алексеевич пребывал в странной печальной беспечности, сродни обреченности. Похоже, что в некоем тайном провидении, не допускаемом до ума, он угадывал, чем все кончится, и где было ему восстать против судьбы? Да и что он мог? Подкупить попа? А ну-ка тот заботится и донесет. Бесприходные попы, правда, что хошь за деньги сделают, а потом проболтаются спьяна. В глубине души Голицыну не хотелось отказываться от единственного поступка, тем более что в успех он не верил. Оставалось ждать. Нет, не ждать, ибо впереди не светит, а делать вид, будто ничего особенного не произошло. Ну, жили они с Лючией вместе, сейчас живут врозь — бывает и так у людей. Он, когда в армии служил, вовсе редко видел свою жену. И ведь Лючия, как и ее папаша, сама хотела, чтобы он стал католиком, вот и терпи, нельзя менять веру, как исподнее.

Все эти мысли, конечно, не утешали. Вид несчастной, испуганной Лючии и жалкой мышки-дочери сутулил беспомощностью, виной и стыдом. Когда же он поверялся Апраксину, то как бы вставал над маемой: да, его удел таиться и страдать, но он посмел и ведет свой счет с богом.

Апраксину не надоедало слушать историю любви и вероотступничества Голицына. Он приходил в страшное возбуждение. Парик сползал с головы, и без того вытаращенные от неумного любопытства глаза чуть не вываливались из орбит, пот тек со лба на веки, щеки, губы, подбородок, за шелковый шейный платок, который, намокая, из лилового становился черным.

Вначале Апраксин просто слушал, но однажды, видать, прочно закрепив в уме, вопреки обыкновению, главное событие, стал спрашивать о католических храмах, церковных обрядах, одежде священников и причта, о всех отличиях от православной службы. Польщенный его интересом, Голицын с увлечением, какого на самом деле не испытывал, принялся живописать великолепие и головокружительную высь католических церквей и соборов, украшенных дивными фресками и картинами, скульптурами и витражами, красоту и торжественность богослужения, органную музыку, уносящую душу в горние выси, всю пышность католической церкви, поставившей себя выше владык земных. Ему было немно-

го стыдно, когда он так разливался: его деревенскому воспитанию, заложенному в детстве, остались чужды подавляющая мощь, бесстыдная красота, вызывающее богатство католических храмов и помпезно-холодноватых служб. Не будучи истово верующим, он, случалось, испытывал в бедной деревянной поповке сладкое до слез волнение, а в католических храмах его рассеянный взгляд вбирал лишь внешние впечатления, а душа молчала.

Через некоторое время Михаил Алексеевич узнал, что его зять Апраксин тоже принял католичество. И сразу тревожно мелькнуло: это даром не пройдет. Конечно, он и вообразить не мог, чем обернется поступок слишком впечатлительного и беспечного графа.

Когда же Голицына затребовали в Петербург, он уже не сомневался, что едет на правож. С какой стати двору помнить о его мышином существовании? Апраксин проболтался, он, может, и не выдал его, только хвастался своим переходом в другую, зело роскошную веру, но смекалистые люди небось сразу учуяли, откуда ветер дует. Михаил Алексеевич спешил и не смог перед отъездом повидаться с легкомысленным зятем. Он не научился думать о людях так плохо, как они того заслуживают. Апраксин и не скрывал, кто «отверз» ему «вежды», и, впервые сохранив все подробности бесед с «духовным отцом» в своей худой голове, поведал любопытным о тайном браке Голицына с итальянкой, которую тот прячет в Немецкой слободе.

И пока князь Голицын, успокоив, как мог, жену, тащился на перекладных в Петербург, оттуда же поспешал гонец к московскому губернатору с приказом немедленно выслать из пределов России итальянскую девку Лючию с байстрючкой — брак по католическому обряду монаршей волей был признан недействительным. Вез он и другое повеление, составленное в не менее энергичных выражениях: отрядить в Тверь Сергея Бутурлина и Герасима Ларионова с помытчиками, тайниками и силками для поимки объявившейся там белой галки. Это второе поручение немало озадачило губернатора, не считавшего себя в ответе за тверские редкости.

Да, сама императрица заинтересовалась скромной персоной Михаила Алексеевича. Когда московский донос достиг Петербурга, в злом сердце Анны вспыхнула мстительная радость. Наконец-то она хоть на одном из Голицыных отыграется до конца за их зверование над коленом Иоанновым. Дважды посягали, окаянные, на законную от бога власть! Сперва князь Василий хотел возвести на престол Софью и самому сесть рядом, лишив короны ее отца Ивана и соцарствующего с ним младшего брата Петра. Этот-то, хитрый, сбежал в Троице-Сергиеву лавру, а простодушный, доверчивый Иван остался у них заложником. Хоть и смутен был ему окружающий мир, но страх, душный, неотступный страх преследовал Ивана, сорвались на вечной опаске слабые силы, помер страдалец в тридцать четыре года, оставив вдову и трех до-

чек на произвол младшего брата. Петр вволю поиздевался над сиротами. Средняя сестра, окрутившись тайком с Мамоновым, выпала из царевых расчетов, а им с Катериной досталось по «сокровищу», по грязному борову: Катьке — мекленбургской, а ей курляндской породы. Катька от своего сбежала, а ее красавец, слава те господи, быстро от пьянства окочурился, но успел наплевать в душу молодой жене. Не появивсь Кукленок, жеребец статный и горячий, хоть руки на себя накладывай. А тут вдруг засветило нежданное счастье, открылся путь к трону. И снова поперек Голицын высунулся, близкий родич того, Софьиного усладника. Бог милостив, отвалился и этот, сейчас в Шлиссельбурге кашку просяную пустыми деснами перетирает. И ведь глазом не повел, старый коршун, ни когда ему смертный приговор зачитали, ни когда по высочайшей милости жизнь даровали. Он уже раз чуть не сыграл в ящик при Петре по делу лисы и казнокрада Шафировова. Отмолила его невесть с чего Екатерина Алексеевна, которую он иначе как Мартой Скавронской и драгунской подстилкой не величал. Что за слабость такая владела обеими императрицами, когда миловали они подлеца? Уважение к древнему роду? Да ведь Долгоруковы, поди, не уступают Голицыным, а как она сама их всех по совету Кукленка, жеребчика — золотое копытце, перепластала: кого на колесо, кого на плаху. А главного смутьяна оставила доживать в бесчестье. Глядишь, долго не протянет, верные порошочки раздобыл умница Педрилло-шут. И вот опять Голицын — от рождения ссыльный, отставной майоришко, пустельга, нищий — показал родовой характер: святой вере изменил, жену-еретичку взял да еще дурачка Апраксина сбил с истинной веры. За это голову снять мало. То-то и оно, что мало. Этим она не разочтется с Голицыными за весь стыд и страх, за позор молодых лет, за унижение, которому, виданное ли дело, подвергли ее, уже императрицу; за Кукленка, вывалявшегося в конском навозе, пока над ней изгилялись, за все... Так рассчитается, что он плаху за милость сочтет, когда будет каждый день умирать от стыда, плевков, затрещин, публичного осмеяния, когда станет ниже самого последнего из ее подданных, ниже бессловесной твари. И наслаждением сочилось сердце угрюмой Анны, едва она представляла себе медленную казнь Голицына.

По пути к кабинету императрицы Михаилу Алексеевичу то и дело попадались какие-то странные люди: карлики, арапы и арапча (с Петровых времен, с черного Ганнибала пошла мода на африканцев и при дворе и в домах знати, а кому не по карману африканцы, красили жженой пробкой своих марфушек и тишек); козлородый горбун в полосатых обтяжных штанцах, плаще до половины ягодиц и с пером в бархатной шапочке при виде Голицына заблеял и ткнул его головой в живот так ловко, что не смял красного пера, и вприпрыжку побежал прочь. Затем из двери выглянул кто-то, длинный, худощивый, с морщинистым серьезным лицом, в шляпе горшком, украшенной цветами и куриным

пухом; он подмигнул Голицыну карим зорким глазом, странно подмигнул — насмешливо и невесело — и скрылся. Чуть не наскочил на князя погруженный в невеселую думу роскошно одетый вельможа преклонных лет. Голицын остановился, чтобы пропустить почтенного придворного, но тот вдруг очнулся, скруглил испугом глаза и юркнул в какой-то закуток. Голицына удивили его поперечнополосатые шерстяные чулки, так не подходящие к изысканной одежде. Последним повстречался князю стройный смуглый молодец, одетый как итальянский синьор, но в странной, усыпанной бисером шапчонке и со скрипкой в руке; он провел смычком по струнам, родившим долгую, томительную, скулящую ноту, и высоким резким тенором, почти фальцетом, пропел, ломаясь: «О, кара миа, донна Лючия!..»

Князь вспомнил популярную неаполитанскую песенку, его тревожно резануло имя — Лючия.

Через несколько минут князь Михаил Голицын узнал, что у него нет жены, нет дочери, нет имения, но взамен всех потерь он получил должность придворного шута...

Поразительно было пристрастие угрюмой Анны Иоанновны к шутам, придуркам, карликам, арапчатам, забавникам всякого рода. У нее на службе было шесть шутов мужского пола, двое достались по наследству от Петра: знаменитый Балакирев и козлобородый португалец Лакоста, в прошлом маклер и мелкий аферист. Петр подарил Лакосте необитаемый островок на Балтийском море и пожаловал титул царя Самоедского. Лакоста был хитер, неглуп и удивительно начитан в Священном писании. Петр любил дискутировать с ним на религиозные темы. Лакоста и Педрилло-итальянец пользовались особой любовью Анны Иоанновны, создавшей специально для них орден Сан-Бенедетто — уменьшенную копию второго по значению русского ордена святого Александра Невского. Легко представить, как это «льстило» кавалерам высокого ордена — сановникам и генералам, но императрица любила унижать людей без всякой нужды. Скрипач Педрилло — его настоящее имя Пьетро Мира — приехал в Россию с итальянским театром, но предпочел музыке более прибыльную должность придворного шута. Он был в большом фаворе у Анны и Бирона. Они использовали его посредничество при найме итальянских певцов и танцоров, поручали ему покупку бриллиантов и прочих драгоценностей у обедневшей итальянской знати. Сохранилось поразительное по нагло-издевательскому тону письмо Педрилло к одному разорившемуся и «глупому до изумления» герцогу. Педрилло был силен, ловок, великолепно владел шпагой и еще лучше — кинжалом, его опасались задевать. Бирон, не разделявший пристрастия императрицы к шутам — он сам любил только деньги и лошадей, — делал исключение для Педрилло и даже заводил его для разных смешных проделок. Об одной из

таких изрядных шуток рассказал Петр Долгоруков в своих записках о нравах при дворе Анны Иоанновны.

«Как-то Бирон сказал Педрилло: «Правда ли, что ты женат на козе?» — «Ваша светлость, не только женат, но моя жена беременна, и я надеюсь, мне дадут достаточно денег, чтобы прилично воспитать моих детей». Через несколько дней он сообщил Бирону, что жена его, коза, родила, и он просит, по старому русскому обычаю, прийти ее навестить и принести в подарок, кто сколько может, один-два червонца. На придворной сцене поставили кровать, положили в нее Педрилло с козой, и все, начиная с императрицы, — за ней двор, офицеры гвардии, — приходили кланяться козе и дарили ее. Это дикое шутовство принесло Педрилло 10 тысяч рублей».

Самым несчастным среди шутов был князь Никита Федорович Волконский. Он стал жертвой императрицыной мести его жене, в прошлом знаменитой красавице, презиравшей жирных и неопрятных дочерей царя Ивана Алексеевича. Едва укрепившись на троне, Анна своей монаршей волей постригла Волконскую в монастырь, а на ее мужа напаялила шутовской колпак. Его зятьями были преуспевающие государственные мужи, братья Бестужевы, но даже эти родственные узы не помогли бедному старику. А самих Бестужевых, людей гордых и надменных с низшими, ничуть не смущала принадлежность родича к шутовской кувыр-коллегии.

Впрочем, и могучий клан Апраксиных пальцем о палец не ударил в защиту графика Алексея, тоже зачисленного в шуты за отступничество от правой веры. Анна Иоанновна сочла, что усугубит унижение Голицына, если тот будет кочевряжиться рядом с зятем.

В отличие от Волконского и Голицына, молодой Апраксин несколько не тяготился жалкой ролью. Можно подумать, что он наконец-то обрел свое истинное лицо. Его шатания по рынкам, площадям и тесным улицам Китай-города в поисках грубых увеселений, пристрастие к балаганам, уличному театру, кривлянию бродячих актеров были безотчетным поиском собственной тайной сути. Теперь он нашел себя. Шут по призванию, Апраксин с веселой охотой выламывался на глазах Анны и ее двора: падал, кувыркался, раздавал затрещины и сам получал их, подставлял подножку своему неповоротливому тестю и рассеянному князю Волконскому, скакал верхом на палочке, задирали Балакирева и царя Самоедского, плясал под скрипочку Педрилло, вызывал громкий смех и был вполне счастлив. В роли шута он оказался злым человеком: затевал драки, обижал бедных арапчат и не пропускал случая причинить неприятность безответному Голицыну.

Самым жалким, униженным, заплеванным шутом был Михаил Голицын. Когда Анна обрушилась на него с площадной бранью и он понял, что жизнь рухнула, у него разом выпали волосы. Он не знал этого, пока не снял парик, — весь клееный марлевый испод был забит его выпавшей русой шевелюрой. Несколько минут им-

ператрицыного грома и молний превратили цветущего мужчину в старика с голой, как бильярдный шар, головой. Любимым развлечением Апраксина было сдернуть парик с лысой головы тестя, это неизменно вызывало благосклонный смешок государыни и брезгливую усмешку Бирона.

Вместе с волосами Голицын утратил и то, что называется чувством собственного достоинства, точнее, ощущение себя как личности.

За дружбу с кавалером Монсом, соблазнившим жену Петра, прошедший застенок, пытки, битье кнутом, ссылку, солдатчину дворянский сын Балакирев и то, бывало, огрызался на императрицу и даже на самого Бирона, отказывал им в повиновении, за что был нещадно сечен, но повадки своей независимой не бросал. Педрилло и Лакосту боялись трогать; князя Волконского щадили; Апраксин так охотно шел навстречу оскорблениям, пинкам и тычкам, что с ним неинтересно было заводитьсь. Отыгрывались все кому не лень на Михаиле Голицыне. Тон задавала императрица.

Как-то Голицыну велено было подавать гостям освежающее питье — разные квасы: хлебный с изюмом и хренком, клюквенный, яблочный, грушевый, вишневый. Начинать обнос надлежало с государыни. То ли квасок и впрямь не удался — да ведь не Голицын его готовил, — то ли во рту горчило, но императрица, сделав глоток-другой, сморщилась, плюнула и с силой выплеснула из кружки остаток в лицо Голицыну. Державный жест сочли нужным повторить все придворные, кроме князя Куракина. За свою испытанную преданность он один получил право напиваться на дворцовых приемах, хотя Анна извела древний обычай изобильного винопития; князь на дух не переносил квасу, а горячительные напитки слишком уважал, чтобы ими плескаться.

Да, шутка получилась отменная. Разве не смешно, когда человеку обливают рожу пенистым квасом, но поведение Голицына усугубляло комизм. Уже зная, что остаток кваса непременно угодит ему в глаза, он не пытался ни увернуться, ни прикрыться рукой, ни хотя бы прорваться досадой, гневом, жалобой. Нет, он всякий раз наивно удивлялся коричневой или другой окраски жиже, стекающей с подбородка на камзол. Он тер лицо ладонями, разглядывал их удивленно, обтирал о панталоны и шел за новой кружкой кваса, что-то бормоча и задумчиво покусывая губы. Голицын словно решал какую-то непосильную задачу и тратил на это все душевные силы, не оставляя ничего для обиды, гнева, возмущения или молчаливого призыва к состраданию. Нет, он всегда оставался серьезен, задумчив и покорен. Какой-то стержень сломался в Голицыне, в нем не осталось воли ни к сопротивлению, ни к самозащите. Он безропотно принимал все, что над ним творили, и только хотел постигнуть омраченным рассудком, что же такое случилось, почему все так переменилось в его жизни, куда девались те, с кем ему было хорошо, и откуда пришло столько вражды и зла. Ответ ускользал, и он сердился на себя за недогадливость.

Вместе с квасом, выплеснутым в лицо, государыня подарила Голицыну и новое имя, хотя вовсе о том не помышляла. Это имя попало во все дворцовые ведомости, официальные бумаги, вытеснив наследственное, «крестным отцом» оказался шут Балакирев.

— Квасник! — давясь от смеха, сказал Балакирев, хотя темные глаза его оставались сумрачными, и ткнул Голицына пальцем в живот.

Придворные разразились хохотом, даже Бирон позволил себе улыбнуться и швырнул Балакиреву золотой, который тот ловко поймал. Видя такую щедрость по-немецки экономного Кукленка, Анна Иоанновна, расточительная до болезненности, сорвала с пальца бриллиантовый перстень и кинула Балакиреву. Он так же ловко поймал и этот дар, глянул на пляшущего под свою скрипочку Педрилло, усмехнулся, подметив его алчный, завистливый взгляд, и не спеша, чтобы позлить итальянца, насунул перстень на мизинец. Питанный, битый, познавший бешеный гнев Петра, шут Балакирев не боялся шута Педрилло со всем его итальянским коварством.

Кличка присохла. Теперь у Голицына было отнято последнее — имя. Он смирился и с этим, как и со всем другим. Кончать с собой надо было сразу, но человек со смятой душой был лишен дара последнего жеста. И он отозвался на Квасника. Прибавилось лишь умственной заботы, надо было что-то понять в связи с новым именем: почему так, разве дозволено, коли не крестили... и как понять — имя ему дали или фамилию?.. — но даже вопроса перед собой толково поставить не мог. Неглупый, образованный, живой человек неудержимо катился в черную яму.

Помимо шутов «мужеска пола», у Анны Иоанновны имелся еще штат шутих, или, как она сама говорила, дур и полудурок. К последним относились болтушки, обычно из девиц благородного происхождения, их разыскивали по всей стране. Как только доходил слух, что где-то в российских пространствах объявилась выдающаяся трещотка, туда немедленно посылался циркуляр, составленный в той же строгой манере бюрократического велеречия, что и другие официальные бумаги, касающиеся дипломатических, хозяйственных или военных дел, и циркуляр этот предписывал немедленно доставить ко двору в целости и сохранности горюливое чудо. Болтушки заменяли Анне Иоанновне газету: «С.-Петербургские ведомости» были сухи, казенны и ничего интересного, кроме сообщений об охотничьих трофеях императрицы, не помещали. А ей требовались городские сплетни: кто женился, кто проворовался, кто с кем согрешил, у кого ребенок родился, кто жену или тещу поколотил, кто да чем занедужил. Лишь о смертях Анна Иоанновна не любила слушать, и если какая трещотка пробалтывалась, она кричала: «Кукла, поди вон!.. Ступай, ступай вон!» — и швыряла в провинившуюся чем попало. Болтушкам запрещалось садиться в присутствии императрицы — у них деревенели ноги, кружилась голова. Одна из трещоток сильно недужила

и как-то после нескольких часов непрерывной работы языком вдруг грохнулась в обмороке. Анна Иоанновна приказала принести столик и ширму. Болтушку привели в чувство, сунули за ширму и разрешили опереться локтями о столик, после чего она вновь открыла словесный кран. Анна Иоанновна боялась оставаться наедине со своими мыслями, ибо сразу начинала думать о том, что трон, который она легко получила, так же легко может быть отобран.

Лучше других отвлекала Анну Иоанновну от тягостных мыслей любимейшая шутиха, камчадалка Буженинова. Конечно, то была не настоящая фамилия, которой она и сама уже не помнила, — Бужениновой прозвала ее государыня, предпочитавшая всем изысканным блюдам простое и вкусное кушанье из свинины. Рядом с крошечной, хоть и не карлицей, всегда грязненькой и неумно веселой дурочкой, в миру Евдокией Ивановной, государыня особенно счастливо ощущала превосходство всех своих женских статей: фигуры, дородства, роста. Буженинова любила яркие шали и побрякушки, государыня обряжала свою любимицу, как рождественскую елку, а та платила ей заразительной улыбкой, открывавшей тридцать два белейших неровных, спереди чуть выпирающих зуба. Улыбка эта веселила, успокаивала.

Больше Бужениновой Анна Иоанновна любила только Бирона, но то была страсть. Ради него тяжелая, сырая, часто недужившая императрица заделалась лихой, бесстрашной наездницей, привязалась к лошадям и даже устроила кабинет при конюшнях, ради него стала меткой ружейной охотницей, лучницей и бильярдисткой, ради него вела большую карточную игру в «фараон», «банк» и «квинтич», хотя не выносила карт; она всегда держала банк, чтобы проиграть, а если это не удавалось, не обменивала выигранные марки на деньги. Чрезмерная тороватость императрицы дорого обходилась ее придворным: мотовство предписывалось всем желающим появляться при дворе, требовались умопомрачительные, всегда новые туалеты и обилие драгоценностей, необходимо было умение сорить деньгами, на чем немало выгадывали шуты, кроме Волконского и Голицына; первый старался не принимать подачек, второй никогда их не заслуживал, хотя в шутовской возне ему отводилась наиболее докучная и тягостная роль. Если играли в чехарду, он подставлял широкую спину для прыгунов, если дрались, то самые крепкие затрецины доставались ему; всем шутам, кроме Педрилло, на утреннем выходе императрицы полагалось сидеть в лукошке и приветствовать ее петушиным кукареканьем. Только Голицыну велено было квохтать наседкой и хлопать крыльями.

И тут, на свою беду, ему удалось додумать одну мысль: наседка квохчет и хлопает крыльями, когда сносит яйцо, а он ничего не сносит. Это мудрое соображение он осмелился высказать императрице своим новым просевшим скрипучим голосом.

— Квасник, дурак, что ты городишь? — запричитала Анна Иоанновна. — Квасник, поди вон!

— Собака лает, лягушка кричит, — высунулась, сверкая сахарными зубами на грязном лице, Буженинова, — ямщиком свищет, кошкой мяучит, стрикодоном стрикодонит, а пузырем лопнет!

То была поговорка-скороговорка Анны Иоанновны, где она ее подхватила, бог ведает, императрица почему-то любила слышать этот бессмысленный набор слов от других, но придворные всегда сбивались, и это ее сердило. Одна дура Буженинова выпаливала, не споткнувшись, затейливую чушь, и всякий раз государыня обнаруживала тут какой-то неожиданный смысл. Вот и сейчас поговорка оказалась весьма кстати — навела государыню на счастливую мысль. Хватит стрикодону зазря стрикодонить: коль сидишь в лукошке и квоччешь, так уж высиживай цыплят. Отныне Голицыну всякий раз стали подкладывать в лукошко еще теплые, изпод наседки, яйца. Он не смел покидать лукошко, пока не выведет цыплят. Случалось, что, по неловкости или задремав, он давил яйца. Тогда ему вымазывали физиономию клейкой массой и запрещали утираться. Допоздна ходил он в мерзопакостном виде. Умывали его квасом.

К штату шутов и шутих императрицы принадлежало несколько арапов и арапчат с несмываемой чернотой плосконосых лиц и десятка два разноцветных попугаев, которые гадили всюду, кроме своих позолоченных клеток. Анна Иоанновна очень ими утешалась.

— Попугаюшко!.. Попугаюшко!.. Марфутка дура?

— Дур-ра! — со вкусом подтверждал палево-розовый хохлатый попугай.

— Попугайчики, Квасник дурак? — спрашивала императрица.

— Дур-рак! Дур-рак! Дур-рак! — ликуя, орали слепяще золотые, кроваво-красные с синими крыльями, дымчато-черные с малиновыми коронами, зеленые, как гороховые стручки, изумрудные и снежно-белые красавцы. Этим криком пернатых обучил Лакоста.

Михаил Алексеевич наклонял большую лобастую голову, с которой тотчас падал парик, обнажая глянец голого черепного свода, и задумывался над очередным мучительным вопросом, который никак не мог поставить перед собой, хотя не было на свете ничего важнее. Шуты принимались толкать его, тормошить, а четырнадцатилетний Биронов сын, допускаемый на взрослые собрания — хлестать по икрам злым кнутиком из сыромятной кожи. Шуты одевались не хуже вельмож, отличали их поперечнополосатые шерстяные чулки, предписанные отечественным дуракам. Педрилло и царь Самоедский щеголяли в обтяжных штанах с продольными широкими полосами. Они все числились на дворцовой службе, получали жалованье и довольствие: мукой, топленным маслом, сальными свечами и дровами, как и первые российские академики, один из которых неизменно присутствовал на дворцовых приемах, занимая промежуточное положение между шутами

и попугаями. То был знаменитый пиит Василий Третьяковский, пробудивший в высшем обществе тягу к стихам. Всякое значительное событие: взятие вражеской крепости, тезоименитство государыни, заключение мирного договора, благополучное разрешение от бремени любимой кобылы Бирона, любой праздник или тризна непременно требовали поэтического воспевания. Порой возникала настоятельная нужда в поэзии, способной возбудить государыню. Она чувствовала легкое остужение Бирона и винила в том самое себя, постоянные недуги притупляли ее чувственность. И на это был великий мастер Василий Кириллович. Стоя на коленях перед императрицей, он читал любверазжигающие вирши и неизменно получал «всемиловитейшую из собственных Ее Императорского Величества рук оплеушину» и детишкам на молочишко.

Этот замечательный деятель русской культуры, прививший России классицизм, а русской поэзии — силлабо-тоническое стихосложение, прожил жизнь немногим лучше голицынского горевания поры его придворной службы. Его и бивали, и раз едва не забил насмерть кабинет-министр Артемий Вольтерский. Волею providения этот омерзительный даже для грубых и страшных нравов той поры поступок напрямую связан с злосчастной судьбой Голицына, о чем речь пойдет в свое время. А избивание несчастного поэта было опрометчивым ходом в смертельной игре, в которой решались не только личные судьбы главных людей эпохи, но и всего общерусского дела. Так уж получилось, что маленькой жизнью Михаила Алексеевича Голицына управляли события исторической грозности.

Прошло время, Михаил Алексеевич так и не обрел привычки к выпавшей ему доле, не приспособился, не облегчил хоть сколько-нибудь жалкой своей участи. Он оставался изгоем даже среди шутов, и странно, что мстительная злоба Анны Иоанновны не только не утишилась, не смягчилась хотя бы скукой от покорного унижения человека, не сделавшего ей ничего плохого, а как-то дурно затвердела. Она подозревала, что таинственным, непостижимым образом Квасник ослабил действие кары, вывернулся из той скорби, которая читалась в мученическом взоре князя Волконского. Тот продолжал томиться болью по жене, а этот грузный, мерзко сановитый дурак ушел в какую-то щель, где его не достать ни пинками, ни квасом. Однажды Анна Иоанновна заставила Буженинову спросить шута при ней: скучает ли он о жене? Квасник сделал такое глубокомысленное лицо, что стало ясно: он не понял, о чем идет речь.

Голицын не притворялся, он и правда не помнил своей прошлой жизни, но смутный образ чего-то бывшего брезжил неясным томлением, и хотелось угадать черты того, что он в предельном и мучительном напряжении определял: раньше было не так. А как?.. Этого он не знал. Анна была по-своему права. Муку Голицына скрало помрачение рассудка, которого хватило лишь на

прямое действие сиюминутной жизни. Голицын сохранил от забытого прошлого некоторые мелкие привычки, скажем, дважды в день потчевать нос понюшками табака, сохранил всегда отличавшую его опрятность, осанку, так смешившую придворных, а государыню остро раздражавшую, но почти отвык говорить, хотя все слова помнил. А с кем и о чем было ему говорить? Он никогда не улыбался, но и не плакал. Получал удовольствие от бани, особенно на полке, но не испытывал боли от побоев. Голицын не обижался на окружающих, ибо не понимал их поведения; наверное, эти человекоподобные иначе не могут, а он не может поступать по-ихнему.

Меж тем он приближался к пику своей страшной жизни, к тому, что сделало его известным не только в России. Вернее сказать, его несло к этому пику в бурном потоке, каким давно обернулась тогда историческая жизнь России, сам он был щепкой, размокшим бумажным корабликом.

Анна Иоанновна, по определению тогдашней медицины, страдала тяжелой «каменной болезнью». Граф Петр Панин в своих записках утверждал, что внутри государыни находился камень величиной с мельничный жернов, «который обнимал всю внутренность утробы и совершенно обезобразил устройство оной». Окружающие чувствовали, что дни ее сочтены, но сама Анна упорно гнала мысль о смерти и через силу старалась поддерживать прежний образ жизни: с лошадьми, охотой, стрельбой по птичьим стаям из окон дворца, карточной игрой, бужениной и Бироном. Но принимала теперь лишь самых близких, оставаясь нередко в постели, под пышным атласным одеялом, в ногах у нее скомоорошничала Буженинова, а в головах — грудастая Биринова жена Бенингна подавала государыне лекарства и предписанное врачами освежающее питье. Квас был уже не про ее честь.

Постоянное недомогание, дурное настроение требовало выхода, и Анна отыгрывалась на шутах, болтушках, арапках, Тредиаковском и даже на попугаях, которых берегли, — птица заморская, ценная, нежная, — но однажды государыня в порыве неудовольствия всемилостивейше вырвала хвост у златоперого, с пунцовой короной красавца собственными ее императорского величества ручками. Без этого украшения он почему-то не мог летать, смешно кувыркался в воздухе, падал и пронзительно орал. Вначале это развлекало, потом стало раздражать, попугая ощипали, зажарили и жесткое — не прожевать — мясо скормили двум наиболее жалким шутам: Голицыну и Волконскому. Апраксин тоже просил кусочек, но ему не дали.

Всех волновал вопрос о наследнике. Петр I принял законное решение о том, что наследника назначает царствующий государь, но сам преемника не назначил, чем и вызвал большую смуту. Всесильный князь Меншиков подарил России последовательно двух монархов, прежде чем успокоиться в березовской ссылке; удачно «распорядился» престолом князь Дмитрий Голицын «со товарищи», за что

и был награжден заточением, а товарищи — плахой. Забегая вперед, скажем: по смерти Анны Иоанновны престолом распорядилась гвардия. Как бы предчувствуя грядущие неурядицы, Анна решила навсегда закрепить трон за коленом Иоанновым: она вызвала к себе племянницу Анну Леопольдовну Мекленбургскую и объявила наследником первенца мужского рода незамужней еще принцессы. К исходу тридцатых годов, когда императрица серьезно занедужила, принцессу выдали замуж за герцога Брауншвейгского и с нетерпением стали ждать наследника, который и появился в должный срок и был наречен Иваном. Но кому быть регентом в пору малолетства Ивана VI? Конечно, матери — племяннице и наперснице императрицы. Это казалось естественным всем, в том числе самой Анне Иоанновне, но не Бирону, герцогу Курляндскому, ведь регент — неограниченный правитель России. Прозрачный расчет временщика «соединить Россию и Курляндию под своим скипетром» вовсе не устраивал другого честолюбца, кабинет-министра Артемия Петровича Волинского.

Либеральные русские историки, равно и доверчивые исторические романисты, хотели видеть в Артемии Волинском то, чего в нем не было: бунтаря, защитника шляхетских вольностей, непримиримого борца с бироновщиной. А был он несостоявшийся временщик. Ему не удалось сыграть той роли, какую играли Меншиков, Иван Долгоруков, Бирон, он появился на авансцене русской истории слишком поздно, когда все главные места у кормила власти были расхvatаны. И хотя Петр успел его заметить и выделить, он остался самым непреуспевающим птенцом гнезда Петрова. Волинский слишком торопился сравняться со старшими баловнями фортуны и великими казнокрадами: своим шефом Петром Шафировым и кумиром Меншиковым. Едва войдя в милость к Петру, он вскоре ее лишился по необузданному мздоимству, своеволию и служебным злоупотреблениям. Большой карьеры Волинский так и не сделал, но успел разорить молодую Астраханскую губернию и возмутить инородцев своими притеснениями и грабительством, равно и обобрать Казанские земли, где он сперва воеводил, потом губернаторствовал. Он вошел в доверие к Анне Иоанновне; выступив против верховников, а затем участвуя в неправедном суде над ними в самой видной роли. Колоссальными взятками он расположил к себе и Бирона.

Ленивой умом Анне он понравился своими четкими, ясными докладами (писать, по собственному признанию Волинского, он «всегда был горазд»), исполнительностью, беззаветной, как ей казалось, преданностью и был назначен кабинет-министром. Так он оказался на высоте, с которой возможен любой, самый далекий прыжок. В пылком воображении Волинского мелькали смелые планы: заместить при Анне Бирона, осилив того радательным государственным умом, для чего он пытался наставлять ее макиавеллистически тонкими посланиями («горазд был писать»), но вскоре похоронил эти расчеты — Анна была слишком предана

Бирону, к тому же недолговечна. Тогда он обратил взор к Анне Леопольдовне: что, если войти к ней в доверие и подчинить себе легкомысленную сластолюбивую дуру, как подчинил кумир Данилыч государыню Екатерину Алексеевну? Но он решительно не нравился Анне Леопольдовне, признававшей лишь обходительных, лощеных кавалеров. Тогда он вспомнил о дочери Петровой Елизавете, законной, черт побери, наследнице царя-преобразователя: вот бы кого возвести на престол, а там и сесть рядом в качестве законного мужа — он далеко не стар, крепок и по неумному духу сродни шалой принцессе.

Сближение с умными людьми: Татищевым, Еропкиным, Хрущовым — дало новое направление его мыслям. Он скинет Бирона, но не путем интриг, сомнительных амуров, а опираясь на смелое, вольнолюбивое шляхетство, которое сделало Анну самодержицей, защитив ее от верховников, а в благодарность получило бионовщину. Пора посчитаться за все надругательства, пора огрადить свои права от наглости курляндского временщика. Это свободолобные загадочно и гармонично соседствовало в Волынском с планами личного возвышения. Однажды он публично пролил слезу, представив себе, как будет гордиться его сын величием отца.

Способный искренне вдохновляться всем, что может принести ему выгоду, Волынский всерьез рассуждал с друзьями-единомышленниками о необходимости государственного переустройства и законодательного утверждения прав дворянства, набрасывал разные прожекты, которые потом все оказались в руках Тайной канцелярии. В одном Волынский был до конца искренен, когда на допросе, на дыбе отказывался признать себя ниспровергателем. Он просто хотел куролесить над Русью, как Бирон. Чем он хуже?..

Благоприятеля русского шляхетства что ни день собирались у Волынского, болтали языками, но ничего не делали для осуществления своих честолюбивых замыслов, даже не пытались приобрести сообщников среди дворян в армии или чиновничьей среде. Добились они лишь одного: по городу потек слух о заговоре. Поражает легкомыслие, доверчивость и безалаберность главных действующих лиц тех кровавых спектаклей, которые разыгрывались перед вечностью. Заговорщики то собираются в доме, полном слуг, и даже забывают притворить двери, то разглагольствуют в кабаках на радость осведомителям, то, пренебрегая перлюстрацией писем, открывают душу друзьям, знакомым, подругам в горячих посланиях, губя не только себя, но и своих адресатов; из-за жалких промашек проваливаются дерзкие планы, но порой столь же безответственные люди производят государственный переворот с ротой гвардейцев — легкомыслие противников превосходило их собственное.

Как ни беспечен и ни самоуверен был Волынский, но вскоре он почувствовал если не охлаждение, то настороженность импе-

ратрицы. А потом Бирон откровенно дал понять, что против Волынского интригуют. Бирону нужны были клеветы среди влиятельных русских, нельзя же опираться только на немецкую партию, но он напрасно полагал, будто Волынский годится на эту роль. Ублаготворенное, пусть и не насытившееся до конца честолюбие столкнулось со гжуче неудовлетворенным и потому неприемлемым честолюбием. Волынский не внял предупреждению, а вскоре чем-то задел Бирона. Тот надулся, Волынский пренебрег обидой фаворита. Бирон увидел, что на Волынского рассчитывать нечего, тот ведет какую-то свою игру. Он принял это к сведению и холодно возненавидел кабинет-министра.

Друзья дали понять Волынскому, что он зарвался. Выход был один — вновь завоевать расположение Анны. Это было непросто: государственной заботой ее не проймешь, плевать она хотела на российские дела, когда ее собственные так плохи. Желтая, мрачная, с жерновом в чреслах, возлежала она на высоких подушках, изводя капризами заботливую Бенингну, то и дело гневалась на болтушек, которые от усердия языки себе обтрепали, усаживала их за пяльцы. Вместо «сорок» приказывала доставить гвардейских солдат с женами, они должны были плясать и водить хороводы. Но и это быстро надоедало, гвардейцам давали по бокалу венгерского вина и отсылали прочь. Шутов Анна Иоанновна видеть не могла, от них у нее начиналось разлитие желчи. Одного Педрилло изредка звали, чтобы поиграл на скрипке. Она еще отзывалась на неумную и ласковую веселость Бужениновой, и то ненадолго: «Куколка!.. Кукла!.. Пошла вон, надоела!..»

Волынский понял: надо измыслить какое-то небывалое увеселение, чтобы императрица встряхнулась, забыв о боли, взыграла духом и плотью, избрести что-нибудь грандиозное — в Неро-новом духе. Спалить Петербург?.. На это могут не пойти, к тому же нет холма, с вершины которого хорошо наблюдать игру пламени, вся окрестность — площадь. Да и зима на дворе, значит, увеселение требуется в российском студеном роде, а не в римском — жарком.

Волынский прикинул туда-сюда и поделился своими мыслями с друзьями.

— Давно бы так! — отозвались «реформаторы». — Наконец-то очнулся. Только чем ее удивишь?

— Представляется мне санное шествие великое, — чуть неуверенно начал Волынский, но затем голос его налился, — всех народов, населяющих нашу землю, даже самых диких: самоедов, иргизов. И чтобы каждая народность в своем одеянии была, со своей музыкой. А сани будут запряжены и лошадьми, и верблюдами, и оленями, и собаками, и быками...

— Свиньями тоже, — подсказал молчаливый умный Хрущов.

— А кто на них ездит?

— Кто хошь. Нешто Анна, тем паче Бирон знают русские обычаи? А занятно!

— На свиньях Остерман с Левенвольде поедут, — предложил зодчий Еропкин.

— Не шуткуй, — одернул его лобастый серьезный Татищев. — На свиньях поедет тот, кто государыне не потрафил: да ни не уплатил или бунташным делом баловался.

— Слона надо, — снова сказал Хрущов.

С этим все сразу согласились, хотя и не очень понимали, при чем тут слон и кто на нем поедет. Но слон — это величественно.

— Пусть восчувствует государыня, сколь необъятна ее держава, — вдохновенно продолжал Волынский, — сколько разных народов под ней ходит. Обольется ее сердце законной гордостью, и хворь отступит. Да и потешат ее нарядами, песнями, плясками все эти уроды.

— А все ж ки этого мало, — пригасил его радость упрямый Татищев, всегда желавший добраться до последней сути. — Шествие — хорошо, да ведь оно должно куда-то прибыть. Не во дворец же их поведут.

— Эк куда хватил! — с досадой сказал Волынский. — Разведем костры на площади, выкатим бочки вина, цельных быков и кабанов на вертела насадим. А как нажрут, прогоним домой.

— Не о сволочи всякой, о государыне речь, — веско сказал Татищев. — Ты ее, что ль, на площади потчевать будешь?

— Ладно, не тяни, — поморщился Волынский, догадавшийся, что головастый грамотей чего-то удумал.

— Ледяной дом нужен! — изрек Татищев.

— Дом?.. А зачем?

— Дом — это так говорится... Дворец изо льда — и снаружи, и изнутри. И в этом ледяном дворце, за ледяными столами пир закатить, какого еще в целом свете не бывало.

— Смеешься, что ли? — неуверенно сказал Волынский. — Нешто можно такой дворец построить, и кто за это возьмется?

— Можно, — тихо и спокойно произнес зодчий Еропкин. — В нашем климате — и говорить нечего. Даже итальянцы ледяные капризы строят, а в такой морозище!.. Изо льда, Артемий Петрович, строить сподручней, чем из дерева, камня или глины. Он и режется легко, и никакого крепежу не требуется, окромя воды. Хочешь, я все в полном виде и плепорции изображу?

Но когда через несколько дней Еропкин представил рисунок, изображающий весь дворец целиком, и чертежи его отдельных частей, Волынского снова взяло сомнение: неужто такое осуществимо? Еропкин заверил, что можно смело показывать проект государыне, и коли она утвердит, то все будет исполнено до тонкости и даже сверх того прелестнее. «Пойми, Артемий Петрович, — убеждал его Еропкин, — коли мы обманем государыню, ты выкрутишься, а ведь мне карачун». Последний довод убедил Волынского, который в своих жизненных расчетах полагался лишь на низменные свойства человеческой природы: страх, корысть, зависть, мстительность — и никогда на благородные. Друг Еропкин ска-

зал правду: коли с ледяным домом что будет не так, ему конец, если и не от Анны Иоанновны, то от самого Волынского. Ноздри рвут за меньшие провинности — за подстреленного рябчика или куропатку, ибо вся дичь принадлежит государыне — Диане-охотнице. Но за обман доверия помазанницы божьей ноздрями не откупишься.

Рисунки и чертежи Еропкина произвели на Анну Иоанновну большее впечатление, нежели Волынский мог надеяться. Ее серое обрюзгшее лицо порозовело и высветилось. А услышав о шествии народов, она чуть с кровати не соскочила. Она не выразила ни малейшего сомнения в осуществлении всего этого грандиозного и невиданного праздника и сразу назначила Волынского главой машкерадной комиссии. При всей своей проницательности Волынский не проглянул причины столь сильного воодушевления Анны Иоанновны. То была месть Кукленку, который в последнее время, ссылаясь на важные заботы, почти не приходил к ней. Зато Волынский не обманулся в благожелательном отношении Бирона к его планам: по немецкой сухости и отсутствию воображения тот не поверил в затею с ледяным домом и от души желал пошатнувшемуся кабинет-министру скорейшего падения.

Но теперь уже Волынский знал, что все будет: и ледяной дворец, и шествие народное, и даже слон, за которым послали к персидскому шаху. Немало соболей, куниц, песцов и горностаев потребовалось в уплату. Еропкин решил по зрелому размышлению поставить возле дворца второго слона — ледяного, и этот слон будет выбрасывать из хобота нефтяной огонь. Волынского опять взяло сомнение: в своем ли тот уме? Но глаза зодчего смотрели светло и ясно, и Волынский успокоился.

И все-таки апофеоз празднества, едва ли не превзошедшего все чудеса, придуманные Волынским и его штабом, родился в проснувшемся уме императрицы: шутовская свадьба. Куколка Буженинова уже не раз говаривала со смехом, что ей осточертело в дёвках ходить, не хочет она помирать, не изведав сладости любви. Государыня надсаживалась от хохота, слыша эти признания от грязной, засаленной, зубастой полукарлицы. Но когда Буженинова вновь завела свою погудку, Анну вдруг осенило: «За чем же дело стало? Кругом вон сколько кавалеров: и беленьких, и черненьких». — «Я девица приличная, — возмутилась Буженинова, — теремного воспитания. Я в грехе не хочу. Чтобы все по божескому закону». — «О том и речь, выбирай себе жениха, враз окрутим, а свадьбу сыграем в ледяном доме». Буженинова вдруг как-то странно засмеялась, стала кувыркаться, дурачиться, притворяться сконфуженной. «Ладно, — решила Анна, — выдадим тебя за короля Самоедского, будешь мне как сестра». — «Да какой он король! — взвизгнула Буженинова. — Бродяга, протерь вроде меня. Нет уж, матушка, в сестры я тебе не прошусь, а вот княгиней быть очень даже желаю. Пойду только за Голицына, он твоей заботой один у нас холостяк». Бедный Михаил Алексеевич

стоял так низко, по мнению Анны, что она даже не сообразила, что речь идет о нем, и стала припоминать, какие Голицыны остались на виду. Один есть, но далеко за ним лезть. «Да ты, Куколка, с остатнего ума съехала. Нешто возьмет тебя президент юстиц-коллегий?» — «А ты дурее меня, матушка, — нахально отозвалась Буженинова. — Больно нужен мне твой президент, сама с ним целуйся. Я о нашем говорю, о Мишеньке, очень он мне по душе». — «О Кваснике? — наконец-то сообразила Анна, и злое сердце ее возликовало: вот оно, последнее, ни с чем не сравнимое надругательство, которого так недоставало, — окрутить Гедиминовича с грязной полудуркой-камчадалкой. — Целуй руку, Куколка, быть тебе княгиней». Но какая-то жалость к этой дурехе шевельнулась в императрице. «Неужто тебе не противно?» — спросила Анна почти сочувственно. «А чего?.. Он мужчина видный... С положением, — закатывая глазки, ломалась Буженинова. — Да и ты, матушка, чай, не поскупишься — подбросишь на свадьбу деревеньку». И это понравилось Анне: Буженинова, конечно, хотела угодить ей, идя под венец с заплеванным слабоумным шутком, хотя Анна могла бы выдать ее за писаря, за поповича и даже за офицера: дай ему повышение, крестик в петличку и «душек» — любой согласится. Но хорошо, что шутиха сама назначила себе награду, не любила Анна быть кому обязанной, даже шутихе; все должны быть в долгу перед ней. «Быть посему!» — государственным голосом изрекла императрица Анна.

Узнав о жениховстве Квасника, Апраксин, Балакирев и король Самоедский увенчали его венком из капустных листьев, петрушки, укропа и разных сухих трав. Голицын покорно принял дар и ходил в срамном венке, пока тот не рассыпался.

Распоряжение императрицы о свадьбе шутов удивило единомышленников Волынского нежданной пронзительностью ленивого ума императрицы. «Гуманная» выдумка вызвала восхищение у доморощенных кромвелей, решивших положить предел своевластию русских монархов.

— Недаром у ней с Петром один корень! — умилился Еропкин.

— Какие они кровные, коли Петра Салтыков настрогал? — раздумчиво произнес Татищев. Впрочем, от кого Анна, тоже неведомо.

— По такому поводу вирши надобны, — заявил Хруцов.

— Какие еще вирши? — Волынский никогда не мог уследить за извилистыми ходами его сокровенной мысли.

— Молодую чету славящие. В одически-высмеивательном роде. Зело непристойные. Императрица похабство любит, а гневается только для вида. Пииту ТрEDIAKовскому сколько табакерочек да перстеньков перепало!

— Сия поэзия в Европе анакреонтической прозывается, — изрек Татищев.

— Чологче! — предупредил Волынский, не любивший, чтобы

перед ним заносились. — В Европе народ изнеженный, а нашему уху позабористой надобно. Ничего. Васька ТрEDIAковский справится.

Когда славно задумано, все идет к рукам. Затеял Анну развлечь и свое положение укрепить, а заодно вышло Голицыных чванный род в грязь втоптать да еще с паршивцем ТрEDIAковским посчитаться. Волинский, гордившийся своим происхождением от героя Куликовской битвы воеводы Волинского-Боброка, все равно выходил ниже Гедиминовичей и не мог им этого простить. С ТрEDIAковским был иной счет. Еще со студенческих парижских дней поэт пользовался покровительством Куракиных, заклятых врагов Волинского. Кабинет-министр подозревал, что по наущению Куракина ТрEDIAковский написал на него гадостные вирши, имевшие хождение в Петербурге. Раболепствуя перед государыней и Бироном, ТрEDIAковский был весьма сварлив в академии, да и перед вельможами не всегда гнул спину. Раб уживался в нем с другим человеком, знающим себе цену. Сейчас Волинский покажет, какая ему цена. Одно дело — развлекать императрицу виршами в анакреон... тьфу... роде, другое — публично прочесть похабную оду, славящую свадьбу пошлых шутов: сам себя в грязь втопчет, раздувшееся ничтожество!

И все же ни одно задуманное дело, даже если им правят такие сильные руки, как у Волинского, не проходит совсем гладко. Затруднения, самые порой неожиданные, возникали во все дни подготовки к празднеству. То сдох на полпути отправленный из Персии слон: сожрал с сеном каску и колет ратника, отряженно-го к нему в охрану. Как оказались в сене эти предметы? Конечно, можно было обойтись одним ледяным слоном, но Волинский любил каждое дело доводить до конца, тем паче что сметливый Еропкин нарисовал дивную золотую клетку, в которой повезут шутов на слоне из храма в ледяной дом. Ратника забили и назначили другого, шаху выслали новые щедрые подарки — мех черно-бурых лисиц, и второй слон благополучно прибыл в Петербург, вызвав легкое волнение в городе, быстро, впрочем, подавленное.

Немалые хлопоты доставило собиранье по всей стране инородцев, входящих в Русскую империю. При первом беглом подсчете их оказалось такое множество, что голова пошла кругом. Решили, что обсчитались: одних и тех же узкоглазых зачислили по разным «ведомствам». Обратились в академию, но оттуда прислали список чуть не вдвое больший. В академии, если исключить Василия ТрEDIAковского, сидели одни немцы: что они в русских обстоятельствах понимают, им лишь бы свою ученость показать, а заодно создать помеху русскому делу. Этот список кинули в печь, а ранее составленный своим умом привели в надлежащий вид: так, всех насельников земель за Оренбургом и к югу зачислили в иргизы, всех, кто к Кавказским горам жмется, — в абхазцы, жителей далеких восточных пределов — в якуты, сделав исключение для камчадалов в честь невесты Бужениновой, обитателей же мо-

ховых тундровых пространств — в самоеды. И все равно народов оказалось чуть ли не больше, чем во всей Европе: хохлы, чухонцы, мордва, черемисы, башкиры, калмыки, чувашаи, вятичи, молдаване, татары — всех не перечесть.

Слон — существо нежное, избалованное, неудивительно, что первый посланец из Персии сдох в пути, хотя, казалось бы, что такое его необъятному желудку колет и каска! Жители же Российской империи — народ закаленный, в дороге не портящийся, но и здесь случались накладки. Кто опился, кто какую-то дрянь сожрал и от живота изошел; у самоедов олени передохли — к нашей траве не приучены; иные до того запаршивели и обтрепались в дороге, что пришлось их в гошпиталь класть на поправку и откорм, а платье новое по ихним образцам шить.

Но ни разу не пал духом Волынский, ни разу не мелькнуло у него, что не справится, — слишком велика была ставка. Если б такую энергию на дело пустить, то можно было бы осчастливить всех иргизов, абхазцев, якутов, самоедов, и для внутренних народов еще бы осталось. Великую транжирку Анну Иоанновну не только не смущали, но радовали чудовищные расходы, она, не думая, подмахивала любой счет. Бирон, конечно, злился, что деньги текут мимо его кармана и в немалом количестве прилипают к ладоням великого казнокрада Волинского. Но тут герцог Курляндский заблуждался: Волынский впервые, имея дело с казенными суммами, не только ими не корыстовался, но и свои добавлял. Утешала Бирона лишь мысль о неминуемом позорном провале кабинет-министра.

Зима в тот год выдалась крепкая и без капризов. Неву как схватило льдом, так уж не отпускало. Снегу выпало в пропорции — достаточно для надежности зимников, но без завалов и непролазных сугробов. В Петербурге не было ни вьюга, ни метелей, ничто не мешало возведению ледяного дворца. Вопреки опасениям Волинского, именно это, казалось бы, сложнейшее и ненадежное дело продвигалось без сучка и задоринки волей и умением Еропкина и безответной покорностью исполнителей. Рубили лед на Неве, тут же нарезали ровными плитами и на санях отвозили на площадь меж Адмиралтейством и Зимним дворцом, где надлежало стоять ледяному дому.

Еропкин говорил, что нету большего удовольствия, чем строить из льда: не нужно ни кирпича, ни камня, ни дерева, ни крепящего раствора, ни гвоздей, ни мрамора или гранита для отделки, ни кровельного железа, ни жести для водостоков — только синеватый чистый лед из Невы и невская вода.

В положенный срок поднялось ледяное сверкающее чудо. Его столько раз описывали в прозе и поэзии, изображали на картинах и в рисунках, что нет запала с видом первооткрывателя шагать в чужой, глубоко втоптаный след. Лучше привести два старых текста, из которых первый замечателен своим старинным красноречием, а второй — сухой проточной точностью.

Вот что писал член Санкт-Петербургской академии наук, физик, профессор Георг Вольфганг Крафт, коллега Тредиаковского, предваривший свои упоминания о том, что лед — малоупотребительный материал, до сих пор из него делали лишь в Италии оконницы, стаканы и зажигательные стекла; последним занимался прославленный французский физик Мариотт.

«Здесь, в Санкт-Петербурге, искусство гораздо знатнейшее дело изо льда произвело. Ибо мы видали из чистого льда построенный дом, который по правилам новейшей архитектуры расположен и, для изрядного своего вида и редкости, достоин был, чтоб, по крайней мере, таково ж долго стоять, как наши обыкновенные дома. На сем месте (между двумя весьма достопамятными строениями, а именно — между созданною, от блаженныя и вечнодостойныя памяти императора Петра Первого, адмиралтейскою крепостью и построенным, от блаженныя ж и вечнодостойныя памяти государыни Анны, новым зимним домом, который для своего великолепия достоин всякого удивления) началось строение, самый чистый лед, наподобие больших квадратных плит, разрубали, архитектурными украшениями убирали, циркулем и линейкою измерявали, рычагами одну ледовую плиту на другую клали и каждый раз водою поливали, которая тотчас замерзала и вместо крепкого цемента служила. Таким образом, через краткое время построен был дом, который был длиною 8 сажень, или 56 лондонских футов, шириною в 2 сажени с половиной, а вышиною, вместе с кровлею, в 3 сажени; и гораздо великолепнее казался, нежели когда бы он из самого лучшего мрамора был построен, для того, что казался сделан быть будто бы из одного куска, а для ледяной прозрачности и синего его оттенка на гораздо дражайший камень, нежели на мрамор, походил».

А вот другой отрывок, представляющий из себя пересказ профессором Шубинским какого-то старого текста:

«Архитектура дома была довольна изящна. Кругом всей крыши тянулась сквозная галерея, украшенная столбами и статуями, крыльцо с резным фронтисписом вело в сени, разделяющие здание на две большие комнаты, сени освещались четырьмя, а каждая комната пятью окнами со стеклами из тончайшего льда. Оконные и дверные косяки и простеночные пилястры были окрашены зеленою краскою под мрамор. За ледяными стеклами стояли писанные на полотне «смешные картины», освещавшиеся по ночам изнутри множеством свеч. Перед домом были расставлены шесть ледяных трехфунтовых пушек и две двухпудовые мортиры, из которых не раз стреляли. У ворот, сделанных также из льда, красовались два ледяных дельфина, выбрасывающие из челюстей с помощью насосов огонь из зажженной нефти. На воротах сидели ледяные птицы. По сторонам дома, на пьедесталах с фронтисписами, возвышались остроконечные, четырехугольные пирамиды. В каждом боку их было устроено по круглому окну, около которых снаружи находились размалеванные часовые до-

ски. Внутри пирамид висели большие бумажные восьмиугольные фонари, разрисованные «всякими смешными фигурами». Ночью в пирамиды влезали люди, вставляли свечи в фонари и поворачивали их перед окнами, к великой потехе постоянно толпившихся здесь зрителей. Последние с любопытством теснились также около стоявшего по правую сторону дома ледяного слона в натуральную величину. На слоне сидел ледяной персиянин, двое других таких же персиян стояли по сторонам. «Сей слон, — рассказывает очевидец, — внутри был пуст и хитро сделан, что днем воду на двадцать четыре фута пускал, ночью, с великим удивлением всех зрителей, горящую нефть выбрасывал. Сверх же того, мог он, как живой, кричать, который голос потаенный в нем человек трубою производил».

Внутреннее убранство дома вполне соответствовало его оригинальной наружности. В одной комнате стояли: два зеркала, несколько шандалов, большая двуспальная кровать, табурет и камин с ледяными дровами. В другой комнате были стол резной работы, два дивана, два кресла и резной поставец, в котором находились точеная чайная посуда, стаканы, рюмки и блюда. В углах этой комнаты красовались две статуи, изображавшие купидонов, а на столе стояли большие часы и лежали карты с марками. Все эти вещи, без исключения, были весьма искусно сделаны из льда и выкрашены «приличными натуральными красками». Ледяные дрова и свечи намазывались нефтью и горели.

Кроме этого, при Ледяном доме по русскому обычаю была выстроена ледяная баня...

Народ петербургский сам себе не верил: неужто и впрямь стоит посреди города это диво дивное? Едва продрав глаза, до дел, до присутственной тяготы и потной работы, до ссор и дрызг, до уныния и слез, до всего, чем томителен день маленького человека, бежали к Адмиралтейству. Вот он! В морозной синеве, под негреющим ярким солнцем сверкает гигантский золотой слиток. И едва ли не еще краше был он ночью, под месяцем, исходя серебристо-зеленоватым свечением. И, отмораживая себе носы и ноги, петербуржцы вздыхали, что, увы, не вечна эта красота, истечет мутноватой влагой с веем апрельских ветров.

А придворные что ни день парились в ледяной бане, и даже матушка-государыня раз пожаловала со всем причтом болтушек, фрейлин, шутов и арапчат. Сама Анна Иоанновна дальше предбанника, где шуты сразу затеяли обычную возню, не пошла, а болтушек париться заставила. Пару поддала кваском Голицын-Квасник, которого и за мужчину не держали, хотя именно ему предстояло скоро бракосочетание, а нахлестывала белые задницы сердитым можжевелевым венником Буженинова. А вот ее саму заставить попариться оказалось делом невозможным. «Ну, Куколка, попарься, хоть перед свадьбой смой коросту», — тщетно нудила Анна Иоанновна. «А я ему и так хороша!» — в сознании своей неотразимости отмахивалась грязнуля Буженинова. Анна Иоан-

новна покатывалась со смеха. Она и сама не злоупотребляла омолениями, ибо возлюбленный ее предпочитал крепкие запахи, но все же перед свиданием с ним протирала лицо и шею французской ароматной водой, румянила щеки, сурьмила брови. А Буженинова вечно ходила чумичкой, лицо от пота и жира нефтью отливало, руки были как у арапки. Но брезгливости к ней государыня не испытывала.

Словом, все шло к триумфу Волынского. В последний момент чуть не подгадил придворный стихоплет, дутое ничтожество Васка ТрEDIAKовский. В канун праздников стихов не представил, а, вызванный для объяснения, нагло заявил, что он-де Академии наук секретарь, первый российский поэт и негоже ему воспевать шутовскую свадьбу. Он поет императрицу и великия ее деяния, славу русского оружия и виктории, венчающие все войны россиян. Ну, Волинский показал ему славу русского оружия и виктории россиян — так отделал палкой, что тот еле ноги унес. Но не домой, чтобы за вирши сесть, а к Бирону — жаловаться. Волинский случайно наткнулся на него в прихожей герцога Курляндского. Тут уж он всерьез принялся за наглеца, бил его в рыло и в душу, топтал ногами, и не помогло российскому Анакреону, что на вопли его вышел Бирон. «Прекратите!.. Здесь вам не конюшня!» — «Конюшня и есты!» — дерзко ответил Волинский, терявший в ярости всякую осмотрительность, и выдал академии секретарю еще и за Бирона. После чего отвез его в караулку, где поэта добавочно наказали по строгому воинскому уставу, хотя тот в военной службе сроду не состоял. «Чтоб были вирши!» — приказал Волинский, когда страдальца укладывали на шинельку, чтобы отнести домой.

И, конечно, на другое утро вирши были представлены, и хотя Волинский не считал себя большим знатоком поэзии, он понял, что ТрEDIAKовский постарался на славу. «Ведь можешь, когда захочешь, — сказал он милостиво. — Истинная поэзия рождается под палками». И велел подать поэту большую рюмку водки, соленый огурец и машкеру, ибо на распухшем лице ТрEDIAKовского отчетливо проступали сквозь густой слой пудры лиловые, синие и багровые следы избиения, срамно в таком злом виде на ассамблею являться.

Волинский отделал поэта столь беспощадно не за малое неповиновение — тут и десятка пинков хватило бы, — а за проглянувшее в жалком бунтаре пренебрежение к нему, еще не списанному со счетов сановнику. Наслушался вздорных разговоров у покровителя своего Куракина, вот и обнаглел. Ладно, еще посмотрим, чья возьмет.

И пришел день великого торжества Волынского, апофеоза самодержавной власти, не ведающей предела в надругательстве над человеческой сущью.

Поначалу все шло благопристойно: шутов венчали обычным порядком, и не было в них ничего смешного или недостойного: ни в невесте, которую заставили вымыть лицо и руки, нарядили в белое подвенечное платье и всю увешали драгоценностями — не поскупилась императрица в такой значительный и веселый день на щедрейшие подарки Куколке, — ни в представителем, даже сановитом Кваснике, одетом по последней парижской моде. Правда, те, кто оказывался к нему поближе, слышали, как он бормотал в пустоту: «Гм, похоже на свадьбу, но где жених!» — «Ты жених и есть», — говорили ему. Он наклонял голову в хорошо расчесанном и крепко державшемся парике, задумывался, шлепая губами, потом сипел: «Я, государи мои, в некотором роде женат... Я не могу обманывать даму».

Придворные были в восторге — Квасник превзошел самого себя, и жаль, не было в церкви квасу, чтобы плеснуть в задумчиво-серьезную гладко выбритую рожу. Но государыня не велела задевать его в этот день, все должно идти по разработанному Волынским плану.

Уже перед аналоем Голицын обернулся к Бужениновой: «Сударыня, не имею чести вас знать, тут какое-то недоразумение...» — «Ничего, батюшко, успокойся, — перебила шепотом Буженинова. — Не труди голову, все по-божески. Ты человек свободный, а сейчас нас господь соединит». — «Вы так полагаете, сударыня?» — произнес Голицын, и рот его некрасиво приоткрылся, как у судака, выброшенного на берег, и уже не закрывался во все время службы, хотя Буженинова толкала его в бок: «Закрой хлебало, батюшко, ведь перед богом стоишь». Он даже на вопрос священника ответить не мог, и нетерпеливое «да» бросил за него посаженный отец Бирон. Голицын снова провалился в ту бездну, где роились, не обретая отчетливого образа, тени не событий даже, а воспоминаний о какой-то жизни, то ли прожитой им, то ли пригрезившейся, то ли рассказанной ему в незапамятные времена. Он никак не мог разобраться в этом мельтешении красок и линий, в уколах необъяснимой боли, в тоске, сжимавшей сердце, и в чем-то ином, противоположном, чему он не помнил названия, просившем улыбки, но рот будто затвердел в уголках губ, когда ему впервые плеснули квасом в лицо, и не умел растягиваться.

Кольцо невесте Голицын тоже не смог надеть, ибо принадлежащее внешнему миру не пронизывало сгустившийся в нем хаос. Его выручила Буженинова, она так ловко просунула палец в кольцо, которое он бессмысленно держал в руке, что никто не уловил замешательства.

По выходе из церкви молодых посадили в большую позолоченную клетку, дюжие молодцы водрузили клетку на спину слону, и под крики, свист, улюлюканье толпы они двинулись во главе растянувшейся чуть не на версту процессии мимо Зимнего дворца, куда уже успела вернуться государыня со свитой, к манежу гер-

цога Курляндского. Как ни затейливо и ни фантастично было зрелище медленно и широко шагающего по заснеженным петербургским улицам слона и качавшейся на его спине золотой клетки, где, судорожно вцепившись в прутья, таращились перепуганные молодые, шестие народов было еще ошеломительнее. Разноплеменные поезжане в национальных праздничных костюмах ехали парами, кто на оленях, кто на маленьких, с длинными гривами лошадаках, кто на статных рысаках, кто на верблюдах, кто на ослах, кто на собаках, кто на козах, кто на свиньях, каждый со своей музыкой, игрушками и символами, ехали в санях, сделанных в виде зверей, птиц, рыб и ярко раскрашенных.

Волинский, убедившись, что Татищев и один может наблюдать порядок шествия, поспешил во дворец, откуда с балкона тепло укутанная Анна любовалась процессией. Его поразило лицо государыни: обычно серо-желтое, оно пылало, словно раскаленное гневом, и кабинет-министр испугался, что чем-то не угодил ей. Анна не обернулась, когда он вошел, и, только заметив Волинского возле себя, схватила за рукав.

— Петрович, говори... Слышь, говори, кто такие... про всех в подробности!

Анна Иоанновна была потрясена. Впервые ее сонную, отзывающуюся лишь одному человеку да пустому баловству душу прожгло сознание, какой великой, необъятной страны поставлена она повелительницей. Что знала она в России: Москву, Петербург да тракт между двумя столицами, поразивший ее своей протяженностью и пустотой вокруг; знала она, что есть в этой стране очень далекие земли, из называли Сибирью и туда ссылали неугодных и прощтрафившихся, но где они, эти земли, не представляла и не любила о том думать. Где-то там, где холодно, пусто и скучно. А она жила в тепле, свете, окруженная людьми, предупреждающими каждое ее желание. Анна знала, конечно, что есть и другие края, не только холодные, ночные, но и солнечные, теплые, Малороссия хотя бы, есть великие реки, а на них города, есть много всяких губерний, где сидят губернаторы и воруют, за что их ссылают в Сибирь, но другие, поставленные вместо них, воруют ничуть не меньше. Это было для нее Россией, но это не было Россией, как она сейчас поняла. Святой боже, сколь же необъятно пространство российской державы, можно ли объехать его хоть за целую жизнь, и как же различны всем видом и обиходом племена, эту необозримость населяющие! Цвет волос, разрез глаз, крепь скул, не говоря уж об одежде, — все было у них разное.

Цепко усвоивший все наставления Татищева, Волинский почтительно и уверенно, как подобает государственному деятелю, все знающему о народной жизни, сообщал Анне Иоанновне краткие, но исчерпывающие сведения о всех «разноязычных и разночинных» поезжанах, следующих мимо Зимнего дворца. Анна Иоанновна только охала.

— Надо же, и такие водятся!

— Гляди-ка, совсем как живые!

— Как только ты их всех в голове держишь!

— Ах, батюшки мои, какие халаты! А шапки! Живут же люди!

— Неужто все мои подданные? Ох, утешил и распотешил!

И когда скрылись последние сани, она сказала другим, глубоким голосом:

— Спасибо тебе, Артемий Петрович, за мою Россию! — и протянула ему руку для поцелуя.

Волянский грохнулся на колени, а Бирон с досады перекусил черенок трубки.

Пока поезд народов многих объезжал все главные петербургские улицы, царица успела переодеться. Сверкая бриллиантами, пенясь брюссельскими кружевами, в роскошном платье, выписанном из Парижа, рослая и величественная, Анна прибыла в манеж со своей свитой, когда поезжан уже разместили за длинными дубовыми столами. Царице и чете Биронов был накрыт отдельный стол, сюда же в знак особой милости поставили прибор для Волянского — отличие сугубо платоническое, ибо церемониймейстер праздника лишь раз приблизился к столу, чтобы выпить кубок за здоровье ее императорского величества.

Виновники торжества были усажены неподалеку за отдельным столиком. О них едва не забыли в суматохе и выпустили из клетки, когда они почти одеревенели от холода.

Столы поезжан были установлены так, что государыня могла беспрепятственно наблюдать за ними. Они сидели парами и ели свои национальные блюда: от сырой мороженой рыбы — любимого лакомства самоедов, до теплого жирного иргизского пилава, который берут руками из казана, медного таза с крышкой, и раскаленного, с углей, абхазского шашлыка на острых пиках. Еду каждая народность запивала своим напитком: водкой, горилкой с перцем, вином, пивом, кумысом, зеленым чаем и другим чаем, который готовится с мясом и жиром, — административный гений Волянского учел все вкусы и запросы.

Буженинова отдышалась первой. Она поглядела на мужа, пребывавшего в нетях: погасла от тряски, страха и холода последняя искра, порой озарявшая его омраченный рассудок. «А хорош!» — восхитилась Буженинова. Лицо просторное, лоб высокий, нос как выточенный. Вот что значит порода. Чего с ним ни творили, а кровь-то сменить не могли, древнюю голубую кровь в Голицыных. Вон Кукленок, пыжится изо всех сил, играет во владетельного князя, а все равно прет из него паршивый курляндский выскочка. Господи, достался же такой аристократ безродной камчадалке, которая и родителей своих не знает, как не знает, почему их занесло на Камчатку! Ее ведь только считают камчадалкой, а она русская, это же сразу видно. Помнила Буженинова себя уже побирешкой, ютившейся по чужим углам, помнила здоровенного бородатого мужика в медвежьей шубе и волчьем малахае, который пожалел сироту, забрал с собой в большую Россию, пристроил в

услужение к «добрым» людям, морившим ее голодом. А потом чистой случайностью попала она в дурки Анне Иоанновне. Но Буженинова не любила думать о прошлом, о настоящем думать незачем, в нем надо жить с толком, а вот о будущем мечтать стала, когда увидела князя Голицына. Мечтать никому не возбраняется, и камчатская нищенка, задечный сверчок, возмечтала о князе. Она давно уже решила попросить у Анны его в мужья, знала, что та не откажет по лютой злобе своей на Голицына. Конечно, она и вообразить себе не могла и в самых крылатых мечтах, что ради ее замужества возведут ледяной дворец, навезут народ со всей русской земли, закатят невиданный пир и вся знать, сама государыня будут гулять на ее свадьбе.

Пусть все это для потехи задумано, да поженили-то их не в смех, а по закону, в святой церкви, сам преосвященный венчал. И смеется хорошо тот, кто смеется последним. Волынский вон как распетушился, а все равно Кукленок ему голову скусит. И Кукленка в свой черед скovyрнут или кончат, как только государыня загнется. А от нее уже гнилью несет. Так они все друг друга перепластают. И чего им охота на верхушку лезть, нешто кто на ней удержался? Сами они шуты гороховые, хуже тех, что в лукошках сидят. А эти — в халатах, тубетейх, малахаях, портах широченных, — нешто они не в смех сюда созваны? Значит, тоже шуты. Хоть их за столы усадили в одном лошадином дворце с государыней, которая и сама-то лошадь — отгарцевавшая, запаленная, разбитая на все четыре ноги. Сейчас поезжане жрут, пьют, орут, хохочут, после отпоют, отпляшут, а вот доберутся ли домой — неведомо. Волынский-нехристь их не повезет. Конечно, которые с севера, на оленьих и собачьих упряжках, глядишь, доползут, они ведь на ком едут, тех и жрут помаленьку в дороге, а которые на верблюдах, или на волах, или на свиньях, с теми хуже: или жрать, или ехать. Об остальных и говорить нечего: морозы все круче заворачивают, добреди-ка до Сибири, до Камчатки. Так и останутся их косточки в белых просторах.

Громкие крики «виват!» прервали мысли Бужениновой, это Волынский провозгласил тост во здравие императрицы. Буженинова подтолкнула супруга и вскочила на свои короткие ножки. Когда улеглись восторги, Волынский по знаку Анны предложил выпить за здоровье молодых. И все гости захохотали, закричали: «Горько!» Голицын не двинулся, словно все это его нисколько не касалось, но Буженинова быстро подскочила к нему и как клюнула в вялые губы.

Голицын словно очнулся, провел пальцем по губам.

— Я, кажется, забылся, — просипел он. — Пожалуйста, не сердчайте.

И тут возникла грузная фигура в красном домино и черной маске с огромным приставным носом. Волынский хлопнул в ладоши, призывая к вниманию. Домино откашлялось и начало каким-то напряженным и словно придушенным голосом:

Здравствуйте, женившись, дурак и дурка,
Еще... тот и фигурка!
Теперь-то прямое время нам повеселиться,
Теперь-то всячески поезжанам должно беситься.

— Кто это? — спросил Голицын. — Похоже на Тредиаковского. Его голос. Почему он в маске?

— А ему наемни Артемий Петрович всю морду искрошил.

— Бедняга... — прошептал Голицын.

Квасник-дурак и Буженинова
Сошлись любовью, но любовь их гадка.
Ну, мордва, ну, чуваша, ну, самоеды,
Начните веселье, молодые деды!

Было тихо. Вирши, выбитые кулаками и дубинкой из Тредиаковского, никого не веселили. «Молодые деды» просто их не понимали, а придворным, знавшим, почему секретарь академии напялил уродливую маску и красное домино, было не до смеха. Очень легко было представить себя на месте этого российского академика, если Волынский войдет в силу. Невольно вспоминался князь Мещерский, которого Волынский в пору своего астраханского губернаторства подверг невиданному кровавому истязанию.

Кабинет-министр покусывал губы, утешая себя мыслью, что прикончит Тредиаковского, если тот не вызовет хотя бы улыбки на почерневшем от усталости лице императрицы.

Балалайки, дудки, рожки и волынки!
Соберите и вы, бурлацкие рынки.
Ах, вижу, как вы теперь рады!
Гремите, гудите, бряните, скачите,
Шалите, кричите, пляшите!
Свищи, весна, свищи, красна!
Не возможно нам иметь лучшее время:
Спрягся ханский сын, взял ханское племя,
Ханский сын Квасник, Буженинова ханка.
Кому того не видно, кажет их осанка.
О пара! о не стара!
Не жить они станут, но зоблить сахар,
А коли устанет, то будет другой пахарь.

И тут государыня громко прыснула, представив себе, как обогатит красавица Буженинова сиятельного шута — своего мужа.

Смех государыни подхватили придворные, стараясь перещеголять друг друга в усердии, даже сумрачный Бирон пофыркивал, прикрывая рот кончиками пальцев. Видя веселость государыни, возликовали поезжане. Шум стоял такой, что Тредиаковский вынужден был прервать чтение. Он и сам чувствовал, что тут муза улыбнулась ему, хорошо было возвращено, но все-таки он не ожидал такого триумфа. Он готов был простить все — и побои, и унижения — Волынскому за то, что тот дал ему подняться на вершину мастерства и успеха. Закончил он звучным голосом:

И так надлежит новобрачных приветствовать ныне,
Дабы они во все свое время жили в благостыне:

Спалось бы им да вралось, пилося бы да елось.
Здравствуйте ж, женившись, дурак и дурка,
Еще... тот и фигурка!

— Мало его в бурсе секли, — уловила Буженинова сквозь восторженный рев пирующих.

Голицын низко нагнулся над столом, из карего большого, полного глаза медленно выкатилась слеза и, прочертив дорожку по щеке, сорвалась в тарелку. А ведь он понял, что это о нас, захолонуло в Бужениновой. Значит, понимает, что мы повенчаны. И острая жалость к этому беспомощному человеку пробила ее. Она налила в бокал водки и подала Голицыну.

— Выпей-ка, батюшко, авось полегчает.

Он послушно взял бокал и неторопливо, словно воду, осушил его маленькими глотками. Затем протянул руку, уверенно наполнил бокал, выпил, еще раз наполнил и снова выпил. Буженинова с некоторым испугом следила за его действиями: хорошо, если маленько очумеет, не надо, чтобы сегодня чересчур многое открылось ему, время для этого еще придет. А ну как, привычный от вина, он свалится, как бы чего дурного над ним не учинили.

Но выпитое подействовало на Голицына благотворно: приоткрывшееся в грязных виршах Третьяковского задернулось непроницаемым пологом вместе со всем, что являло собой его нынешнее положение, а взамен явилось, хотя и оборванное, смутное представление о чем-то хорошем, что некогда с ним было, он не трудил тяжелую голову попытками принудительных уточнений, довольствуясь тенью радости.

— Простите, сударыня, что не представился. Князь Голицын. Не сообразовали ли назвать ваше имя?

— Княгиня Голицына, Авдотья Ивановна.

— Какое совпадение! — обрадовался князь. — Вы из каких Голицыных?

— Из самых лучших. — Бужениновой стало не по себе, хотя она знала, что опять в нем что-то повернется и он забудет об этом разговоре, как уже забыл о поганных виршах Третьяковского. А забыл ли?.. Это водочный туман застит ему память. Он не безумный, как думают многие, но, трезвый или пьяный, он скрывается в своей темноте, чтобы не помнить, не знать, что происходит с ним. — Я по мужу Голицына, — добавила Авдотья Ивановна.

— Голицыны роднились со многими знатными родами России, — любезно заметил князь. Маленькая, красиво одетая, вся в бриллиантах дама с высокой грудью и живым чернобровым лицом ему нравилась, даже чуть выпирающие верхние резцы не портили впечатления, напротив, придавали ей некий возбуждающий интерес. Он давно так приятно не беседовал. — Вы случайно не урожденная Салтыкова?

— Нет.

— Шаховская?

— Нет.

— Оболенская?

— Нет.

— А кто же вы?

— Урожденная Буженинова, — глядя ему прямо в глаза, сказала Авдотья Ивановна.

Он долго молчал, что-то опять перестраивалось в нем, пытаюсь завязать новые связи, но эта работа оказалась ему не по силам.

— Это не дворянский род, — сказал он угрюмо. — Я знаю одну Буженинову. Другие небось не лучше.

— А чем она тебе плоха, батюшка? — улыбнулась Авдотья Ивановна.

— Черна, грязна... — Он передернул плечами и потянулся за бутылкой.

Буженинова перехватила его руку и отодвинула бутылку. Голицын настаивать на своем и прежде не больно умел, а потом, при дворе, и вовсе разучился.

— Не говори, батюшка, чего не знаешь, у ней все чисто, — защитила шутиху княгиня Голицына.

На этом разговор молодых оборвался. Анне надоело застолье, она возжаждала новых впечатлений. Начались пляски. Многоязычные пары поочередно исполняли свои национальные танцы. У северян пляски были похожи на борьбу и охоту; иргизы под однообразные завораживающие звуки большого бубна то поврозь плыли над землей, то, сходясь, вились друг вокруг дружки, будто косу сплетали; черные, усатые, с тонкими ногами абхазцы семенили на подогнутых носках мягких козловых сапог, размахивали широкими рукавами, хватались за кинжалы — нагнали страху; малороссы грохотали гопаком, русские рассыпали бисер дробцов. Императрица, отяжелевшая после обеда, снова развеселилась, еще раз допустила Волынского к руке, приголубила омраченных Биронов, а ТрEDIAKовского пожаловала золотой табакеркой.

Затем молодоженов схватили под микитки, втолкнули в позолоченную клетку и водрузили, едва не грохнув оземь, на спину слона. Поезжане опять распределились по своим саням, а императрица и придворные расселись по каретам, и все отправились к ледяному дому.

Пучки огня вылетали из разверстых пастей дельфинов и загнутаго кверху хобота слона, и переливчатые отсветы проскальзывали по голубизне ледяных стен. Высвеченные «смешные» картины в пирамидах вертелись, не надоедая громадной заиндевелой толпе. Появление новобрачных и сопровождающего их кортежа исторгло надсадный вопль из тысяч застуженных глоток.

Молодых со всякими дурацкими церемониями уложили на ледяную кровать. К наружным дверям приставили караул, чтобы счастливая чета не надумала раньше времени покинуть свое уютное гнездышко. В отношении новобрачного то была излишняя предосторожность: непривычный к вину, Голицын был пьян до

бесчувствия, его внесли в опочивальню. Все понимали, что ночь в такой студии молодоженам не пережить, но это никого не волновало, и даже государыня не шевельнула пальцем для спасения своей любимой Куколки. Зато она сделала другой жест, который сильно огорчил придворных. В сени дворца втащили вместительный короб, и Анна Иоанновна швырнула туда жемчужное кольцо. С вымученными улыбками дамы стали кидать в короб серьги, брошки, браслеты, кольца, мужчины — драгоценные табакерки, бриллиантовые булавки, золотые монеты. Всех, конечно, интересовало, кто воспользуется этими дарами, поскольку было мало вероятия, что новобрачные встанут ото сна. Но никто не заметил, как исчез короб. Предусмотрительная Буженинова, зная, что будет одаривание, доверила сокровища попечению шута Педрильо. Пьетро Мира мог ограбить самого папу, но у своего полушкой не пользуется.

Анна Иоанновна, одарив «обреченных смерти», поспешно отбыла, гонимая начавшимися коликами; придворные, перестав источать вымученные улыбки, вздыхая, отправились восвояси; поезжан прогнали спать, народ столичный тоже разошелся по домам, дождавшись, когда слон и дельфины в последний раз полыхнут горячей вонючей нефтью; часовые, хватившие для угрева по кружке, замерли возле дверей и сами обернулись ледяными статуями; все погрузилось в тишину и мрак, лишь, отражая свет ущербного месяца и вознесшихся звезд, поблескивала громадная и страшная игрушка, которой по молчаливому сговору сильных и согласию всех остальных предстояло быть саркофагом двух несчастных людей.

Но одно существо не присоединилось к губительному согласию — совсем крошечное существо, почти карлица, с детскими ручками и ножками и с большим и сильным сердцем любящей русской женщины — Авдотья Ивановна Голицына.

До этого места история бедного Михаила Голицына — Квасника и шутихи Бужениновой общеизвестна и уж, во всяком случае, общедоступна, а вот что было дальше, знают совсем немногие. Полагаю, что это должны знать историки, занимающиеся эпохой Анны Иоанновны, и те беспокойные чудаки, которые, заинтересовавшись чем-либо, доходят «до упора», до самой сути.

Итак, Авдотья Ивановна не собиралась умирать в ночь, когда восходила ее звезда, впрочем, за себя она вообще не боялась, ее маленькое тело было наполнено горячей и быстрой кровью, которой не страшна никакая стужа, но надо было оборонить любимого.

У молодых была постель: тощие тюфячки, простыни, подушки и большое пуховое одеяло. В натопленной горнице и жарко бы показалось, особенно вдвоем, но здесь и тюфячок, и одеяло — не защита. Авдотья Ивановна попробовала растолкать мужа, но тщетно. Был он тяжеленек и в ответ на все ее усилия лишь

всхрипывал да шевелил губами. Она вышла в сени, приоткрыла незапертые двери и выглянула наружу. Часовые застыли с ружьями на плече. «Словно государственных преступников стерегут, — усмехнулась про себя Авдотья Ивановна. — Неужто им палить велено?» Приглядевшись, она поняла, что воины спят вполглаза. Она столько лет обреталась при дворе, что изучила привычки и повадки всех к нему причастных и знала это умение бывалых солдат спать на часах с полуприкрытыми глазами и просыпаться от малейшего шума, от мышьяго шороха. Их командиры тоже знали эту особенность и не раз пытались накрыть караульных, подкрадываясь к ним на цыпочках, но никогда не имели успеха. В последнее мгновение часовой возвращался в явь, и вся его фигура обретала напряжение чуткой готовности. Конечно, в каждом деле не без прорухи: дворцовые легенды сохранили память о выроненных ружьях и даже о грохнувшихся на пол ратниках. Выпавшее из рук оружие предсказывало военную конфузю — татарский набег или объявление войны, падение стражника — смерть в царствующем доме.

Спящие у ледяных дверей воины крепко держались на ногах, а их ружья словно примерзли к плечам. Поступь крошечной Авдотьи Ивановны была легче мышью. Она проскользнула между караульными и побежала к будке. Растолкав подвыпившего унтера, за колечко с камешком получила на ночь овчинный тулуп. С этим тулупом она опять прошмыгнула между стражниками и вернулась к своему мужу.

Авдотья Ивановна раздела его и укрыла тулупом. Сама разделась тоже и подсунулась под него. Тулуп натянула так, что они скрылись в нем, как в пещере. Тело ее было горячим, и особенно горячи маленькие руки, которыми она терла мужу спину, бока, шею. Он быстро согрелся, а когда Авдотья Ивановна задремала, удивленная, что чужое тяжелое, неповоротливое тело так легко ей, то продолжала безотчетно растирать его...

Михаил Алексеевич проснулся в душной, давящей темноте, рванулся из нее и скинул тулуп. В окошки процеживался рассеянный, не рождавший четких очертаний свет. Такой размытый свет льется в комнату в морозный день из окон, покрытых наледью. Он ощутил холод и тут понял, что вокруг все ледяное: и стены, и пол, и потолок, и окошки. Это открытие не осталось в Голицыне, оно вытеснилось другим: с ним произошло необыкновенное, когда-то испытанное, но потом исчезнувшее не только из жизни, но даже из памяти и воображения. Он не мог понять, что это было, но тело знало об испытанной радости и сообщило свое знание рассудку. Теперь он видел, что не один в ледяной комнате: в постели лежало маленькое существо, нагое, белое, женское. Он задрожал, опустелый мозг пронзило множеством стрел, причиняя острую, колющую боль, и каждая стрела тянула за собой нить; эти нити сплетались, перепутывались, но и создавали связи.

— Вы кто? — спросил тихо.

— Жена твоя, родимец, княгиня Голицына.

Перепутанные нити вдруг разобрались, натянулись, и он смог прочесть их узор.

— Но вы... Ты была другая... смуглая.

— А теперь белая. А о смуглой лучше забудь. Ты о многом забыл, едва ли не обо всем. Так вот, об этом лучше не вспоминай. И вообще не вспоминай, живи, чем есть, потом все само соберется.

Голицын слушал, и что-то находило в нем смутный отзвук. А женщина, жена, была перед ним в своей доверчивой наготе, и его плоть оказалась умнее смятенного духа, он склонился к ней. Закрытыми глазами Авдотья Ивановна увидела, как в ледяное окно, не взломав его, влетел белый ангел.

А когда оба опамятавались, Голицын с тупым упорством сказал:

— Та черная.

— Кто такая? — не поняла Авдотья Ивановна.

— Бу... бу... — Он не мог выговорить ее клички.

— Э, родимец, черного кобеля не отмоешь добела, а белого проще нету запачкать. Такая служба. Ты ведь тоже не такой, как есть, потому — служба.

Разбудив плоть князя, Авдотья Ивановна принялась создавать ему новую душу, потому что от старой немного осталось. Но делать это надо осторожно, чтобы не скрылся опять в раковину безумия.

— Служба? — бессмысленно повторил Голицын.

— Конечно, служба. Дворцовая. Выгодная, только ты пользоваться не умеешь. Ты да Волконский. Многие такой службе позавидуют. Но она не для тебя и не для меня... теперь. Потерпи, у нас вся жизнь впереди.

— Жизнь? — ужаснулся он. — Разве это жизнь?

— Я не об этой жизни говорю. О другой, новой. Теперь уж недолго ждать. А потом у нас с тобой все будет не хуже, чем у людей.

Они едва успели одеться, как явился унтер за тулупом.

— Ты того... помалкивай, — предупредил он Авдотью Ивановну. — Не то мне башку сымут.

— Не бойся, — сказала Авдотья Ивановна.

— Не бойсь, не бойсь, — проворчал унтер, который, видать, не успел опохмелиться и был в дурном настроении. — А может, требовалось, чтобы из вас ледяной статуи вышел.

— Очень даже может, — согласилась Авдотья Ивановна.

— Ладно, выметайтесь, вздохнул унтер. — Никаких распоряжений о вас не дадено.

— А куда мы пойдем? — спросил Голицын.

— Ко мне, — сказала жена. — У меня свой покойчик есть. И даже с банькой.

— Хотите в ледяной попариться? — предложил унтер.

— Сам парься крапивным веником. — Авдотья Ивановна взя-

ла мужа за руку и повела в свою жизнь, которая отныне стала их общей.

Самое трудное было примириться с «дворцовой службой», как Авдотья Ивановна называла шутейное дело. Возвращение памяти имело свою оборотную сторону. Одно дело, когда режут по замороженному телу, другое — по живому. С первыми квасными опивками, удивившими в лицо, что-то омертвело в Михаиле Алексеевиче, а потом он и вовсе утратил чувствительность. А как снести надругательство сейчас, когда он начинает дрожать от одной мысли об унижении на глазах жены?

— Да плюнь ты на них, — убеждала Авдотья Ивановна. — Подумаешь, беда! Если тебя на улице карета грязью окатит, ты сильно переживаешь? Досадуешь, конечно, но обтерся и дальше пошел. И нешто об этом помнишь? Ну, плеснул дурак квасом, так это он свиньей вышел, а не ты.

Голицын молчал, тяжело сопя и наливаясь кровью. «Как бы удар не хватил!» — тревожилась Авдотья Ивановна. И опять принималась за свое:

— Считай, что тебе такая служба выпала. Ты в пехоте был. Мало грязи месил и в грязи валялся?

— То другая грязь.

— Почему другая? Ты же ее не выбирал. Ты чистюля. А тебя в эту грязь дураки-командиры совали. Ты хотел сухонькой тропки и чистого ночлега. А пуль неприятельских, походной грязи, вшей, дурости начальства ты вовсе не хотел. И тоже небось орали, ругали, оскорбляли. Скажи, не так?.. Всюду одно и то же. Как к чему относиться. Тебе плеснули квасом в рожу, а ты: «С вашей милости колечко». Дали пинок: «Пожалуйте золотой», — Авдотья Ивановна осеклась.

Лицо Голицына стало лиловым, шея вытянулась, а кадык набух: ни дать ни взять разгневанный индюк. «Эдак сразу вдовой станешь!» — мелькнуло испуганно.

— Я у них под ногами... Спасу мне нет. Но торговать честью не стану.

«Честь! — подумала Авдотья Ивановна. — О какой чести бормочет этот битый, оплеванный, измороженный бедолага?.. А может, он прав? Его честь — терпеть и не брать подачек. Мы-то все, как собачонки на задних лапках. Даже старик Волконский, когда суют, боится не взять. А моему Бирон раз колечко кинул, так тот и не нагнулся. Король Самоедский подобрал. Мы думали, не заметил, а вот оно что!..»

— Не сердчай, родимый. По глупости сболтнула. Всяк ведь на свой аршин... А ты не такой. Но почему ты зятю своему сдачи не дашь? Он тебя то толкнет, то ущипнет, то ножку подставит, а ты знай глаза лупишь.

— Я перед ним виноват, — опустил голову Голицын. — Сблалзил чужой верой.

— Кто в вере крепок, того не собьешь. А в шутах ему

самое место. Что он, что король Самоедский, что господин Балакирев — ничем другим быть не могут да и не хотят. Вон Балакирев — куда его ни кидало, а все назад под дурацкий колпак спешил. Это как в итальянской комедии: все друг друга лупят хуже, чем при дворе, а нешто актеры обижаются? Такой у них талант.

— У меня нет такого таланта, — пробормотал Голицын.

И все же что-то из рассуждений Авдотьи Ивановны запало ему в душу. Он старался контролировать свое поведение и предупреждать враждебные выходки, насколько это было возможно. Когда просили квасу, он осведомлялся любезно: «Какого прикажете: хлебного, клюквенного, вишневого или грушевого?» Ему отвечали. Видимо, даже такого крошечного разговора достаточно, чтобы протянулась какая-то человеческая ниточка, и уже рука не подымалась для хамского жеста. А может, останавливало и присутствие Бужениновой, что котенком вилась в ногах императрицы. Анна, к своему удивлению, обрадовалась, что Куколка уцелела в ледяной ночи. Она сама не ожидала, что так к ней привязана. Ласковость государыни все видели и боялись обозлить любимицу. Но были и такие, не до конца изгнанные, что совестились унижать мужа на глазах жены.

А зятя своего Михаил Алексеевич, памятуя наставления Авдотьи Ивановны, проучил. Однажды, когда тот по своему обыкновению ударил его исподтишка, Михаил Алексеевич отвесил ему такую затрещину, что Апраксин волчком пролетел всю приемную императрицы и расквасил нос о «монашку» карельской березы. Присутствующие расхохотались, захлопали в ладоши, но Апраксин впервые не испытал ни малейшей радости от того, что вызвал смех.

Другой раз, заметив, что Балакирев нацелился прыгнуть через него, Голицын услужливо пригнул широкую спину, крепко уперся руками в колени и позволил ловкому, но подутратившему былую гибкость суставов старому шуту совершить великолепный прыжок, вызвавший одобрение придворных. После чего спокойно отошел в сторону, не дав вовлечь себя в шутовскую чехарду.

Но ведь недаром говорят: в огне брода нет. Как ни оберегайся, беда тебя сама найдет. И случилось это вскоре после того счастливого дня, когда Авдотья Ивановна объявила ему, что ждет ребенка. Голицын уже трижды становился отцом, но такого чувства, как сейчас, не испытывал. Подумаешь, какой фокус — сотворить ребенка, когда ты в расцвете лет, когда и жена у тебя молодая, и спокойствие на душе, и упругое сердце мерно и сильно гонит кровь по жилам. Но создать дитя, когда ты весь изломан, раздавлен, смят, когда ты пробыл в разлуке с самим собой и всем светом долгие годы, когда тебя шатало от голода не потому, что не было еды, а потому, что кусок не шел в горло, когда ты, казалось, навсегда выбыл из круга живых, — это великое чудо, знак божьего благоволения, знамение, которое еще надо разга-

дать. Значит, он для чего-то нужен богу, коли тот хочет привязать его к жизни такими прочными нитями.

В этом умиленном, философически-религиозном настроении Голицын и отправился на службу. Он с непривычной легкостью предавался обычным глупостям, казавшимся столь ничтожными рядом с постигшей его благодатью. Как мог он придавать этой чепухе значение? Эти вельможи, сановники, фавориты — просто дети, больные, злые, капризные, глупые дети, не отвечающие за свои поступки. Он тешит взрослых детей. Вот он закудаhtал — смеются, вот козу состроил — смеются, вот упал — смеются, вот Биронов сын по ногам его кнутиком хлестнул — смеются, аж закатываются, чтоб перед папашей милого сорванца выставиться. Смейтесь, бог с вами, а у меня сын будет, и ему уже не придется корячиться перед вами. Тут он приметил, как граф Левенвольде с досадой швырнул карты на стол и что-то резкое сказал своей белокурой партнерше красавице Лопухиной. Небось опять пробросился, а на нее валит. Играть он до страсти любил, а выдержки и умения большого нету. На проигрыш обычно не особо злится, он и вообще не злой. Деньги любит и делает их предостаточно в компании с другом своим Бироном. Положении Левенвольде при дворе почти такое же прочное, как у самого герцога Курляндского (это он, Левенвольде, предупредил Анну о посланных ей кондициях верховников), но амбиций неизмеримо меньше. Он не рвался к власти и к государственным постам, довольствуясь званием обер-гофмаршала, мог выполнить тонкое дипломатическое поручение, но к деятельности не стремился. Левенвольде хотел играть в карты, иметь много денег и любить женщин. В дальнейшем он еще больше сузил круг своих желаний: денег для картежной игры требовалось по-прежнему много, а женщины свелись к одной-единственной — очаровательной и своенравной Наталье Лопухиной. Левенвольде принадлежал к числу немногих, которые никогда не обижали Голицына, точнее, просто не замечал его, как и остальных шутов. И Голицын был благодарен ему за это. Приметив, что граф оглянулся на столик с напитками, желая, видимо, промочить спекшееся от азарта и горечи проигрыша горло, он быстро наполнил кружку и поднес Левенвольде.

Тот сделал несколько быстрых, жадных глотков. Но вместо того, чтобы успокоиться, насвеже, как бы без помех обозрел свою дурную игру и разозлился на себя. Да ведь себя не накажешь, а Лопухина была не из тех дам, чтобы дважды спустить колкость. Перед Левенвольде маячило широкое красное лицо — и резким движением он было поднял кружку. И тут увидел в странном, неестественном приближении два коричневых глаза с глубокой темью круглых зрачков, но то были не зрачки, а маленькие колодцы, и на дне их проглядывала такая мука, такая пронзающая молчаливая мольба, что Левенвольде передернуло от небывалого проникновения в чужую боль, на мгновение ставшую его собственной. Он сумел оборвать движение руки.

— Хороший квас... Благодарствую, — пробормотал он и отдал кружку.

Маленькую сценку между обер-гофмаршалом и шутом длиной в несколько ударов сердца заметили придворные и сделали естественный вывод: коли уж сам Левенвольде не решился окатить Квасника, значит, нынче такой расклад.

Пронесло на этот раз, но от судьбы, видно, не уйдешь. И потерпел Михаил Алексеевич от невольного творца своего счастья Артемия Волынского. После Ледяного дома и шествия народов звезда Волынского поднялась, как никогда, высоко, слишком высоко, чтобы удержаться в такой головокружительной выси. Он не был настоящим политиком, умеющим различать в сегодняшнем успехе зерна завтрашнего поражения и ловким ходом обезоруживать врагов. В успехе он был невыносимо заносчив, в неудаче — малодушен и низок. Его энергия, нахрап, дерзость не превращались в решительность, как, скажем, у Меншикова или Миниха. Завоевав вновь расположение Анны и осадив немецкую партию, Волынский вернулся к бесцельным свободолюбивым разговорам в своем кружке, не слишком заботясь о конспирации. С другой стороны, он не пропускал случая показать Анне, что годится не только для устройства шутовских праздников, в его речах, обращенных к императрице, вновь зазвучала наставническая нота, раздражавшая Анну и бесившая Бирона. Тот в грош не ставил Волынского-реформатора, но боялся Волынского-интригана. Парламента России кабинет-министр, понятно, не даст, а ему, Бирону, нагадит. Вопрос о престолонаследнике, младенце Иоанне Антоновиче, был решен и закреплен соответствующим актом, регентша вроде бы тоже известна — его мать Анна Леопольдовна, но подписание этого указа государыня все откладывала, видя в нем как бы согласие на собственную смерть. Бирон надеялся, что Анна Иоанновна передумает и назначит регентом его, но добиться этого было ох как непросто! Препятствий множество: и сама потерявшая уверенность, раскисшая от болезни императрица, и пустая, сластолюбивая, но охочая до власти Анна Леопольдовна, и ее упрямый дурак муж герцог Брауншвейгский, и честолюбивый Миних, даже на друга Левенвольде нельзя положиться. Но все это люди без корней, а Волынский был русским, старинного рода, но связан и со служилым дворянством. Его необходимо убрать. И Бирон сказал Анне Иоанновне без всяких околичностей: или он, или я. Это и решило участь Волынского. Без Бирона императрица не мыслила утекающей из нее жизни.

Как ни был Волынский зашорен верой в свое мнимое торжество, но и он почувствовал угрозу. Его ясные, точные доклады вдруг оказались императрице не нужны, во дворец его перестали приглашать. И тогда Волынский явился незванный, чтобы тайное сделать явным, чтобы дать врагам своим открытый бой. То был смелый до отчаянности шаг, но продиктован он был не отвагой, а полным отсутствием выдержки.

В покоях императрицы все было по-прежнему. Анна лежала на высоком ложе под ярко-голубым стеганым одеялом в чепце с лентами и розовом пеньюаре, подчеркивающим нездоровую желтизну лица и тени в подглазьях; Бирон у изголовья сосредоточенно орудовал ногтечисткой; Бенингна приготавлила какое-то лекарство, в ногах за ломберным столом — Левенвольде, Лопухина и князь Куракин вели нескончаемый карточный спор, в дальнем углу рослый Миних — голова отрублена тенью от портьеры — о чем-то шептался с белокурой томной Анной Леопольдовной, начальник Тайной канцелярии Ушаков медленно потягивал квас, ошаривая присутствующих тяжелыми оловянными глазами, а придворный Квасник стоял наготове, чтобы принять пустую кружку, шуты кочевряжились на ковре. Буженинова-Голицына, ластясь к опущенной руке Анны Иоанновны, скалила белые зубы. Педрилло пританцовывал, пиликал на скрипочке, меж клеток с гортанно покрикивающими попугаями томился Тредиаковский со свернутой в трубочку рукописью, тщетно ожидая, что на него обратят внимание и он угостит присутствующих очередными виршами. Но поэта не замечали, как не замечали Волынского. Кабинет-министр отшвырнул подкатившегося с кривляниями Апраксина, вышел под взгляд государыни и низко поклонился. Анна посмотрела сквозь него, словно он был прозрачный, потом равнодушно отвернулась. Остальные продолжали заниматься своим делом. Бирон даже на мгновение не перестал полировать ногти.

Надо было что-то сказать, но горло схватило сущую, Волинский откашлялся и сипло бросил в никуда: «Квасу!»

Михаил Алексеевич поспешил исполнить приказание кабинет-министра и в избытке усердия налил ему вишневого квасу, хотя прекрасно знал, что тот признает только хлебный с хренком, об остальных отзывался презрительно: немцы в России все изгадили, даже квас.

Волинский жадно глотнул раз-другой, ощутил противную сладость, бешено глянул на застывшего в любезно-достойной позе Квасника и с силой плеснул ему в лицо темно-красной жидкостью. Будто кровью умылось широкое, сразу изгнавшее улыбку лицо. Но ярость Волынского не утихла.

— Ты чего мне суешь, дурак?

— Не гневайся, батюшко! Успокойся, родимец! — послышался тонкий голос.

Никто не заметил, как успела Буженинова сорваться с места, налить хлебного квасу и поднести Волинскому. Тот отвернулся от Квасника, увидел белую шапку пены, кружку в маленькой нечистой руке, непроизвольно потянулся за ней, но не успел взять. Кружка отодвинулась и вдруг стремительно приблизилась к его лицу — в глаза, в ноздри, в приоткрытый рот ударило коричневой жидкостью. Это было так дико, что лишь по громовому хохоту окружающих кабинет-министр понял, что случилось. Карлица отомстила за своего мужа и обдала его квасом. Схватить, разорвать

ее, как кошку, а там пропади все пропадом! Он рванулся вперед — и будто о стену ударился. Между ним и карлицей вдвинулась большая нелепая фигура, с рожи стекали рубиновые капли. Ах, этот!.. Волынский двинул плечом, фигура не шелохнулась, Волынский шагнул в сторону, но фигура вновь загородила ему путь. Ярость уже не ослепляла взора. Волынский видел массивное тело Квасника, который был одних с ним лет и в той же силе, но куда тяжелее. Такого не сдвинешь. А драться с шутом — смешно и унижительно. И еще он увидел, что к нему за спину заходит верста в генеральском мундире — Миних, а сбоку надвигается мертвоглазый и крепкий, как кленовый свиль, палач Ушаков. Кабинет-министр почти обрадовался голосу императрицы:

— Выйди, Артемий Петрович. Не срамись понапрасну.

Лучше удалиться по приказу государыни, чем ждать, чтобы тебя вышвырнули вон. Он повернулся и, задев локтем Миниха, быстро прошел к дверям. «Это конец!» — подумал Волынский.

И он не ошибся. Поэтому и сошла с рук Авдотье Ивановне ее выходка, а Голицыну — непозволительное заступничество. Волынский был обречен на мучительную смерть.

Уже на следующий день он стоял перед Ушаковым в застенке Тайной канцелярии. Кабинет-министра взяли, не потрудившись предъявить сколь-нибудь важной вины. Даже бывалый Ушаков был озадачен, что должен допрашивать такого серьезного человека из-за сущих пустяков: насчет избияния академии секретаря Тредиаковского и посылки государыне книги зело бесстыдного политика Никколо Макиавелли с «тайными намерениями». Разве из этого состряпаешь дело? По счастью, спохватился камердинер Волынского и донес, что его хозяин с товарищами готовил заговор, злоумышлял против императрицы и, что всего хуже, оскорблял ее поносными словами. Сделали обыск, нашли записки Волынского, наброски проекта об улучшении государственного устройства — перепевы мыслей «верховника» Дмитрия Голицына, взяли Еропкина и Хрущова (Татишев уже сидел по делу о казнокрадстве) — и работа закипела.

До этого у Волынского оставалась надежда выкрутиться: неужели с него всерьез спросится за оплеушины бездарному виршеплету или посылку сочинения знаменитого флорентийца? Но когда Ушаков, как-то сыто позевывая, сказал: «Хрен с ним, с Тредиаковским, хрен с ним, с Макиавеллем, ты мне о заговоре своем расскажи», — кабинет-министр понял, что его песенка спета. И сразу потерял достоинство.

Он обретет его лишь на эшафоте.

В России всегда путали слово и дело. Люди говорили ничего не значащие слова, за которыми не стояло никаких злокозненных намерений, а их наказывали беспощадно, зверски. Мягких наказаний не ведали. Самыми легкими были сечение кнутом, вырывание ноздрей, ссылка в Сибирь. Так расправлялись с ворами, грабителями, браконьерами.

С болтунами обходились круче. Любое слово, сказанное против монаршей особы, тут же объявлялось заговором, за это сажали на кол, колесовали, четвертовали — с предварительным урезанием грешного языка. Более гуманных приговоров не ведали, лишь монаршья воля могла смягчить участь осужденного: кол заменить колесованием, колесование — четвертованием, а последнее — простым отсечением головы. Слова, которыми обменивался Волинский со своими друзьями, слова, которые не перешли даже в подобие дела, были расценены как свершившееся злодеяние. Доброе сердце императрицы облегчило участь несчастных «словесников»: Еропкина и Хруцова просто обезглавили, Волинскому по урезанию языка отрубили вывихнутую на дыбе руку, после чего палач отсек ему голову. Трупы казненных свезли в Самсоньевскую церковь и по отпевании бросили в общую могилу.

Так судьба Михаила Голицына еще раз перехлестнулась с историей. Но мученический исход Волинского нисколько не облегчил его собственных мук.

Анна Иоанновна умирала, но и это не внушало радужных надежд. Как-то еще распорядится шутами Анна Леопольдовна или, вернее, Бирон? Задумываясь над своей жизнью, Голицын не раз спрашивал себя, что легче: нести крест в идиотическом беспамятстве или в нынешнем все сознающем страхе? Теперь ему казалось, что раньше унижали не его, а кого-то, кто имел лишь внешнее сходство с ним, душа не чувствовала боли, затихла. Но душа его оттаяла в Ледяном доме, стала живой и мучающейся. И хоть теперь оскорблял реже и не так зло, но было это во сто крат больнее, потому что он переживает не только за себя, но и за жену, а главное, за того, кто должен появиться на свет. Голицын не мог избавиться от чувства, что тычки и пинки отражаются на зреющем в утробе Авдотьи Ивановны младенце. Его воображению рисовалось, что крошечное новое существо явится в мир обезображенным, в кровоподтеках, синяках и даже не со смятой, как у него самого, а с переломанной душой. Авдотья Ивановна своим поступком с Волинским спасла не только его сердце, но и будущее дитя. Спасла раз — и он сумел ей помочь, но в других случаях она может оказаться бессильной. А что ждет их при жестоким и ненавидящем все русское Бироне? Голицын тосковал, но все-таки никогда бы не поменял нынешнюю тревогу на прежнее животное спокойствие. Ведь случались вечера, а то и целые дни вдвоем с Авдотьей Ивановной — императрица теперь редко кого допускала к себе, кроме врачей и Бирона, — эти часы и дни были такими счастливыми, что стоило вытерпеть даже адовы муки.

Они уже не боялись прикасаться к былому: у Авдотьи Ивановны прошлого, в сущности, не было, так — маета нужды и зависимости. Но Голицыну было что вспомнить и о чем порассказать. Странно, но даже прекрасное воспоминание прежних лет: Италия, смуглая горячая Лючия — не вызывало в нем страдания. Беспокойства за нее и за почти стершуюся в памяти дочь он тоже не

испытывал: виноградарь-корчмарь не даст им погибнуть. А любви былой так и вовсе не помнил, Авдотья Ивановна стала его Италией, стала всем, что он когда-то любил. И еще одно властно привязывало Голицына к крошке жене: с тех первых дней она никогда не говорила о будущем, не строила воздушных замков, держала его и себя в сегодняшнем, но ему казалось, что она провидит для них что-то хорошее впереди. И это помогало справляться со всеми страхами и сохранять уравновешенность в той дьяволиаде, которую он теперь все чаще называл службой. В этом тоже была заслуга Авдотьи Ивановны. Слово — не обозначение предмета и явления, а сама суть. Назови «службой» пытку души, и ты все выдержишь.

Авдотья Ивановна благополучно разрешилась от бремени младенцем мужеска пола через месяц после блаженных Ее Императорского Величества кончины и через неделю после трагикомического падения регента Бирона. На этом событии мы остановимся, поскольку здесь в последний раз судьбу Михаила Алексеевича решали исторические потрясения.

Бирон все-таки вырвал из рук умирающей Анны указ о назначении его регентом. Освободив народ от четырехмесячного подушного обложения, Бирон считал, что достаточно укрепил свою популярность в подлом сословии, и занялся серьезным делом: уничтожением недовольных. Усилили караулы и разъезды, столицу наводнили наушниками и доносчиками. В крамольники мог угодить каждый из-за неосторожно сказанного слова, по лживому навету, по излишнему усердию шишов, по смутному подозрению испугавшегося собственного возвышения временщика. Бирону следовало бы пересажать всю Россию, кроме членов своей фамилии, поскольку недовольны были все. Даже немецкая партия, даже друг любезный Левенвольде. Никто не верил в способность курляндского выскочки, корыстолюбца и лошадника управлять великим государством, и никому не хотелось делить участи обреченного на падение диктатора.

Серьезные заботы не помещали герцогу Курляндскому распорядиться шутею командой. По окончании траура шутам надлежало вернуться к исполнению обычных обязанностей. Все должно было оставаться таким же, как при жизни великой императрицы, этим регент лишней раз доказывал свою беспредельную преданность усопшей благодетельнице. Значит, опять чехарда, тычки, драки, сидение в лукошках, квохтанье, поднесение кваса, дрожь в коленках...

И тут сказал слово другой честолюбец, долгие годы находившийся на вторых ролях и терпеливо выжидавший своего часа.

Настало время для военного инженера, генерал-аншефа, победителя турок и шведов графа Миниха. Он не был человеком идеи, вроде верховника Голицына, не был таким неуемным честолюбцем, как Волынский, грезившим о ступенях трона; не похож был Миних на Бирона, для которого власть означала прежде всего богатство.

Он был человеком действия. Непрерывное делание было необходимо его редкостно энергичной, сильной и неутомимой натуре. Придворные интриги, глупость и алчность временщиков, безразличие наследников Петра к целям великого государя не давали ему развернуться. Миниху все это надоело, он хотел большого дела и славы.

Он не был мастером интриги и заговоров и совершил свой переворот с обезоруживающей простотой. Получив испуганное согласие Анны Леопольдовны принять регентство, подполковник лейбгвардии Преображенского полка Миних взял роту гвардейцев, арестовал Бирона, выдернув его из супружеской постели, и провозгласил регентшей мать малолетнего царя Ивана Антоновича. Арест Бирона сопровождался гадко-смешными подробностями. Герцог забился под кровать, а извлеченный оттуда, стал кусаться, царапаться и лягаться. Его связали, закатали в ковер, рот заткнули платком и в таком виде сволокли в карету. Бенингна тоже сопротивлялась, тонкий пеньюар разорвался в ключья под грубыми руками гвардейцев, обнажив избыточные розовые телеса. Так позорно завершился один из худших периодов многострадальной русской истории.

Переворот Миниха имел следствием роспуск шутейной команды. Анна Леопольдовна, сама достаточно натерпевшаяся от вздорного нрава тетки — ее ругали и хлестали по щекам как нерадивую фрейлину, — не находила удовольствия в унижении других людей. Она разогнала болтушек и уволила с придворной службы всех шутов, щедро их наградив. Голицыну была возмещена стоимость конфискованного имения.

— Ну я и тебя отпускаю, батюшко, — сказала Авдотья Ивановна, когда благодетельствованный регентшей муж вернулся домой.

— Куда? — не понял Голицын.

— В твою новую настоящую жизнь.

— А разве у нас не настоящая жизнь? — с улыбкой спросил Голицын.

— Нет, вся наша жизнь — в шутку. Сам знаешь. С шутки началось, шутя продолжалось. А что не отверг меня, за это тебе благодарность. Я тебе не ровня и всегда это знала. Сейчас ты вольный человек, в своем достоинстве и при средствах. Наш брак вовсе не считается, раз ты другой веры.

— Чего ты?.. О чем ты?.. — бормотал растерявшийся Голицын.

— Пора тебе начать жить, как по родовитости твоей положено, а чужой злобой отнято. Ты же Голицын! И как тебя ни мятарили, как ни гнули, а сломать не смогли. Человек ты свежий, крепкий, в полном здравии. Будет у тебя и дом, и жена-ровня, и детишки. А за меня не переживай, нашего богатства и на двоих хватит.

Последних слов ее Голицын уже не слышал. Он наконец-то

понял, что все это всерьез, что Авдотья Ивановна приняла решение, а он хорошо знал, как тверда она и неуступчива, если что задумала. Голицын не умел спорить, бороться, убеждать, он никогда ни в чем не мог поставить на своем, все распорядились им, как хотели: цари, министры, фавориты, военачальники, даже итальянский виноторговец и его дочка, да что там — огрызки человеческие из шутевойной команды, а он умел только покоряться, молча потуплять голову. Голицын зарыдал, затопал ногами в бесильном отчаянии, стал колотить себя кулаками в грудь.

Авдотья Ивановна испугалась, что он опять выпадет из ума. Она видела его в беде, в нечеловеческом унижении, видела битым и растоптанным, видела раз за свадебным столом слезу на его щеке, но никогда не видела и даже не представляла плачущим. Этого от него никто не мог добиться.

Она должна была дать Голицыну свободу выбора. Он мог остаться с ней из благодарности или по слабости, а Авдотья Ивановна этого не хотела. Ведь она любила. Но слишком велико их нынешнее неравенство. Какая она жена князю — Буженинова, божья нелепица, камчатская оборванка рядом с Гедиминовичем, статным, пожилым красавцем, от которого за версту веет родовитостью!

— Милый, да что ты?.. Что с тобой?.. Ну, не хочешь, никуда я не уйду. Только перестань, родимый. Никуда не денется твоя Авдошка. Вот я, всегда с тобой, пока не прогонишь... Да шучу я... Твоя я, твоя, понял?.. Давай утрем слезки.

— Ты правду говоришь?

— Конечно, правду. — Она протянула ему фуляр, и князь трубно высморкался.

Через месяц к черному ходу дворцового флигеля была подана вместительная карета; в нее сели высокий представительный барин в шубе с бобрами и маленькая барынька в соболях. Туда же забралась дородная молодница с грудным ребенком в атласном конверте. Карета тронулась, за ней потянулись три возка с поклажей. Князь и княгиня Голицыны отправились в свое имение в подмосковном селе Братовщине, приобретенном через доверенного челока.

По тем еще скромным временам имение Голицына могло считаться образцовым: усадьба в отменном состоянии, за мужиками недоимок не числится, а сам господской дом — табакерка. В елисаветинский век богатые и знатные фамилии начнут возводить в своих сельских вотчинах каменные дворцы с колоннами, приглашая для строительства лучших петербургских и московских зодчих, разбивать французские и английские сады, украшая их мраморными статуями, городить искусственные гроты, балюстраду, фонтаны. Но в ту патриархальную пору даже знаменитому Архангельскому, имению верховника Голицына, было бесконечно

далеко до того роскошного вида, который ему впоследствии придадут новые владельцы, баснословно богатые Юсуповы. Дома состоятельных помещиков тогда мало чем отличались от деревенских изб, разве что были попросторнее и окошки стеклянные, а не слюдяные, да крыльцо позатейливей, Крыша — та же дранка, обстановка — грубо сколоченные столы, лавки вдоль стен, дватри городских стульца, сундуки, пол застлан рядном.

А у Голицыных дом хоть и деревянный, да оштукатуренный, двухэтажный, и под железом, крыльцо с белыми колоннами; в первом этаже имелось зальце с изразцовыми печами, несколькими старыми потемневшими картинами на стенах и огромным паникадиллом. На втором этаже находился кабинет с дубовым письменным столом, прямоспинным креслом, диваном и книжным шкафом, рядом — спальня и детская. К дому примыкали флигели, там были комнаты для гостей, поварня, кладовые, контора, чуланы для дворни, баня. За домом расстился громадный сад, его прорезали липовые аллеи, был и чистый пруд с карасями и клумбы против парадного входа.

Голицыну дом полюбился, но Авдотья Ивановна не разделяла его восторга. «Нынче и это сгодится, — говорила она, — а там, конечно, ты по-другому отстроишься». Эти слова пугали Голицына каким-то темным намеком, но, утомившись страдать, он сразу прекращал разговор.

Поместью принадлежало большое село и пяток не слишком захудалых деревень. Михаил Алексеевич, поддерживаемый во всех своих начинаниях женой, в короткое время крепко и выгодно устроил хозяйственную жизнь в своих владениях. Кого оставил на барщине, кого перевел на оброк, а кого отпустил в город, на заработки. Он прогнал старого управителя, бессмысленно придирчивого немца, которого крестьяне ненавидели и всячески старались обмануть. На его место Голицын поставил приказчика из местных, сметливого молодца, взяв с него клятву, что воровать тот будет не много, не мало, а средственно, чтобы барину не захотелось сдать его в солдаты. И еще ему было велено не прижимать крестьян без нужды, не то пойдет к ним на правож. Новому управляющему равно не хотелось ни под ружье, ни под розги земляков, его стараниями имение обеспечивало Голицыных и прибыль давало, крестьяне тоже не жаловались.

Вскоре Авдотья Ивановна подарила Голицыну второго сына. На радостях Михаил Алексеевич закатил пир, пригласив всех окрестных помещиков. Это был народ мелкотный, хотя и не вовсе бедный. Но жили бирюками, иные сидни даже в Москве не бывали, не то что в Петербурге. Помещики были ошеломлены великолепием дома Голицыных и оказанным им приемом. Непривычный к роли хозяина и боящийся уронить себя чрезмерной обходительностью, которую могли счесть заискиванием, Михаил Алексеевич надувался, как индюк, был важен до высокомерия и тем необычайно понравился гостям. Таким они и представляли себе настоя-

щего вельможу, приближенного суровой Анны Иоанновны, о царствовании которой ходило столько темных слухов. А вот радушная, веселая Авдотья Ивановна разочаровала помещиков своей простотой и неавантажностью; разве такая жена положена князю Голицыну!

В свою очередь, Авдотья Ивановна невысоко оценила гостей, вспомнив о них много времени спустя, и, как поначалу показало Михаилу Алексеевичу, вроде бы ни с того ни с сего:

— До чего же соседи наши дремучи, только что шерстью не поросли!

Они сидели на лавочке возле клумбы и отмахивались от комаря.

— Люди как люди, — равнодушно отозвался Голицын.

— Нет, не такая тебе компания требуется.

— Что ты все меня возвышаешь? Да кто я такой? — рассердился Михаил Алексеевич, которому не понравилось словечко «тебе», будто разъединяющее их. Уже не в первый раз Авдотья Ивановна как бы проводила черту между ним и собой.

— Надо, чтобы к тебе из Москвы, из подмосковных вотчин господ приезжали, — мимо его слов продолжала Авдотья Ивановна. — И они поедут, когда прослышат про твои хоромы.

— Какие еще хоромы? О чем ты, Дунюшка? Нешто я Шереметев или Куракин? Да и зачем они нам?

— Молчи! — приказала Авдотья Ивановна. — Чем ты хуже их?

— Не привык я к пышности. А главное, денег нет на такое мотовство.

— Есть, Миша, — очень серьезно сказала Авдотья Ивановна. — Я же говорила тебе, что мы богаты.

Голицыну вспомнилось, что как-то в первые дни их супружества она обмолвилась о каком-то богатстве, но не до того ему тогда было, а после и вовсе выпало из головы. Ну что она, сердешная, в богатстве смыслит? Думает небось, что незаможная деревенька, пожалованная на свадьбу Анной Иоанновной, и разные ее подачки: перстеньки, брошки, браслетки — невесть какое состояние. Откуда ей знать, что такое настоящее богатство?

— Да ты не веришь?

Авдотья Ивановна прошла в дом и вернулась с увесистой шкатулкой, которую несла с трудом на плече. Она открыла шкатулку, и у Голицына заслезились глаза — такой оттуда ударил блеск и сверк.

— Господи, откуда?

— А это приданое. Ты пьяненький был, не заметил, поди, как нас одаривали. Матушка императрица пример подала. Остальным куда деваться?

Авдотья Ивановна заметила его брезгливое, отстраняющее движение.

— Эти дары не в короб, а в ледяную могилу кидали. — И добавила с тихой угрозой: — Не смей ими гребовать...

— О чем ты? — испугался Голицын. — Нешто я что говорю?
— То-то!.. Вот он, твой дворец, Михаил Алексеевич!
— Почему «твой»? — вскинулся Голицын, в такие минуты робость его оставляла. — Нет ничего моего и не будет — только наше!

Она помотала головой.

— Это для твоей новой жизни. Меня уж в ней не станет.

— Куда же ты денешься? — вымученно улыбнулся Голицын.

— Куда все деваются, туда и я. Выкормлю поскребыша своего и уберусь... Я все свое от жизни получила... Нешто могла я мечтать о таком?.. А ты должен еще одну жизнь прожить, самую лучшую. Был Господь наш Иисус на кресте, а стал в славе. И ты должен восстать в славе. Так я решила, и не спорь со мной. Не раздражай больного человека.

— Чем же ты больна, Дунюшка? Мы врачей вызовем, хочешь, в Италию поедем?

— Вот моя Италия. — Она обмахнула пространство рукой. — А врач меня осматривал. Помнишь, я на грудь жаловалась, говорила, что придется кормилицу брать?.. Ничего у меня с грудью не было, а сидела во мне моя болезнь. И врач это подтвердил. От нее не лечатся и не выздоравливают... Прекрати!.. Я еще поживу здесь... А мой наказ ты выполнишь. Поклянись, что выполнишь!.. Смотри, а то я тебе являться стану...

— Являйся, Дунюшка! — попросил Голицын. — Все легче...

Авдотья Ивановна верила: слово муж сдержит, чего бы ему ни стоило. Этого она и добивалась. Пришлось сказать о своей неизлечимой болезни, чтобы связать его обязательством, а то, не ровен час, руки на себя наложит. Она знала, как Голицын ее любит, и ничего не боялась. Его любовь сбережет ее в каком-то высшем тайном смысле, назвать который она не умела.

А Михаил Алексеевич после этого разговора вроде бы успокоился. Он не плакал больше и, когда спал, все прижимал к себе ее маленькое тело, так что ей становилось трудно дышать, но Авдотья Ивановна и не пыталась освободиться из его рук. На посторонний взгляд с ним было все в порядке, правда, приказчика удивляло, что вникавший прежде во все хозяйственные подробности Михаил Алексеевич вдруг перестал интересоваться хозяйством, хотя подступала уборочная страда. Ушлый молодец не попался на удочку внезапного доверия и еще умерил воровство. Конечно, приказчику и в голову не могло прийти, что барину все сделалось безразлично: хоть вовсе не убирайте, не молотите, не сейте. Он хотел каждую минуту быть с Авдотьей Ивановной и не тратиться ни на что другое. Он следовал за нею, как тень, а стоило ей, все слабеющей, прилечь, как он тут же подваливался к ее боку. Голицын почти не страдал, она это знала. С ним сделалось что-то похожее на прежнее выпадение из памяти. Только тогда Михаил Алексеевич полностью освободился от себя, а сейчас сумел отогнать страшное. Он так сосредоточился на ней живой, что

не осталось места для образа утраты. Да ведь нельзя просто забыть о том, что ежеминутно напоминает о себе, это вне человеческой воли; свое благое беспамятство Михаил Алексеевич оплатил частичной утратой личности. В нем не было сейчас ни любви к детям, ни радости от дома, от прогулок, ни беспокойства о хозяйстве, ни интереса к чему-либо творящемуся на свете, он дышал и не мог надышаться одной Авдотьей Ивановной. «И не надышишься, милый, — нежно и жалеюще думала Авдотья Ивановна. — А все-таки большое облегчение — уметь так прятаться от страшного». Сама она жила как раньше, не изменяла своим привычкам, спокойно и твердо ждала близкого конца, но думать старалась только о хорошем, что выпало ей в жизни. Утешалась она и мыслями о будущем величии Михаила Алексеевича.

Хорошая собака никогда не умирает на глазах хозяина, находит такое укромье, где ее невозможно отыскать. Она не хочет удручать зрелищем своего конца того, кого любила всем беззаветно преданным сердцем. Видимо, этот древний животный инстинкт заговорил в Авдотье Ивановне, по корням близкой природе и почве.

В один из ничем не примечательных мягких пушистых зимних дней она исчезла. И как могло это случиться? Михаил Алексеевич ни на шаг не отпускал жену от себя — да ведь случилось! Усыпила она его, что ли, или заколдовала, но вдруг он как-то странно вздрогнул, будто со сна, и очнулся в пустоте. Голицын заметался, забегал по дому, стал обшаривать каморы, двигать мебель, хлопать дверцами шкафов, потом спохватился и кликнул людей. Длинной цепью двинулись они через сад к лесу. Голицын все приглядывался к следам, их было множество — маленькие опущенные следы животных и птиц. Но ведь и следки Авдотьи Ивановны были не больше.

Они обыскали сад и примыкающую к нему березовую рощу, окликав Авдотью Ивановну и аукаясь — тщетно! — и углубились в еловый бор; здесь снег был столь глубок, что люди проваливались по пояс — нешто тут пройти такой крошке? — но Михаил Алексеевич заворуженно ломил вперед, и дворне ничего не оставалось, как следовать за ним.

Нашел ее сам Михаил Алексеевич, хотя не признал в первое мгновение, приняв меховое пушистое существо в развилке соснового сука, пригнувшегося под снежным гнетом, за зверьку вроде кунички. А это была Авдотья Ивановна в шубке и меховой шапочке, уже замерзшая, одеревеневшая. Голицын взял ее на руки — она ничего не весила. Только сейчас увидел он, как мало ее осталось, как сморщилось, усохло в детский кулачок желтое лицо с провалами забитых снегом глазниц. Михаил Алексеевич видел ее, такую важную и значительную для него, преувеличивающим оком, а сейчас зрение его опустело, и Авдотья Ивановна

словно съежилась, уже мертвая предстала перед ним в настоящем своем облике.

Он понес ее на вытянутых руках и весь путь до дома по-волчьи выл, так что у дворовых волосы под шапками становились дыбом.

Нашлись добрые души, взявшие на себя похороны и все сопряженные с ними хлопоты: Михаил Алексеевич ни на что не годился...

Потом началось долгое, тяжелое опаматование.

Постепенно Голицын выполнил все наказания Авдотьи Ивановны. Детям нанял воспитателей. Построил каменный дом — бело-синий, с колоннами и лепниной. Обставил его английской мебелью. Женился. Жену взял из семьи почтенной, но не родовитой. Ее страстью было наряжаться, но долгое время всем великолепием парижских нарядов любовались лишь дремучие очи окрестных помещиков. А потом, как предсказывала Авдотья Ивановна, слухи о роскоши и хлебосольстве голицынского дома достигли Москвы, и среди его гостей появилось немало чуть замшелой, но весьма родовитой знати. У новой княгини Голицыной был один несомненный дар: она умела принять любого гостя и любое число гостей, сохраняя вид величественного благоволения, неизвестно почему осенившего внучку петровского барабанщика, выслужившего офицерский чин и потомственное дворянство. Ей очень повезло, поскольку ничего другого, кроме представительности, от нее не требовалось.

Когда князь и княгиня Голицыны выходили на прогулку, оба большие, статные, нарядные и торжественные, он, опираясь на трость, она — на его твердую руку, дворовые бросали дела, чтобы полюбоваться этим величественным и никогда не надоедавшим зрелищем.

Соседские помещики князя боготворили. Он устраивал великолепные охоты с борзыми и гончаками, хотя сам никогда не брал ружья в руки, поил и кормил до отвалу и даже перепившему, наскандалившему гостю не делал никакой укоризны, а заботливо отправлял домой на своих лошадях. У него был великолепный погреб, и, наверное, во всей России не нашлось бы таких квасов, как у Голицына. Из чего только их не готовили! Помимо всех известных квасов, у него подавались шипучие хмельные квасы из заморских фруктов, выращиваемых в оранжереях, с примесью каких-то трав. И была традиция: каждому новому гостю князь с задумчивой по улыбкой собственноручно подносил кружку кваса, чуть наклонив крупную голову под великолепно расчесанным париком, и говорил душевно: «Извольте, сударь, откусать». С поклоном принимал опорожненную кружку и протягивал платок, чтобы гость отер пену с усов. Говорили, что императрица Анна пила квас только из его рук, и на эту привилегию никто не смел посягать. Что правда, то правда.

А вообще правды о нем не знали, да и не стремились узнать. Каждое историческое событие становится сперва легендой (еще при жизни современного ему поколения), потом предметом научного изучения, и окончательный образ обретает себя вновь в легенде. Конечно, случались люди, утверждавшие, что блистательный вельможа был шутом при дворе Анны Иоанновны, но это не производило на гостей Голицына обидного для князя впечатления. Бироновщина была овеяна какой-то мистической жутью, пережить то время, да еще вблизи самого Курляндского сатаны, было уже подвигом. А как ты назывался, кем числился, какие муки терпел в страшное огнепальное время, стоит ли разбираться? Лучше почтительно молчать перед страстями, которые по божьей милости не выпали тебе на долю.

Сам Голицын никогда не говорил о прошлом и умел безмолвно прекращать эти разговоры в своем присутствии, что еще увеличивало общее к нему уважение. Не хотел этот человек ни лавров, ни сострадания, ни восхищения, ни содрогания; он имел мужество существовать в нынешнем своем образе, не озираясь на прошедшее.

Никто не задавался вопросом: счастлив ли хозяин гостеприимных пенатов — это казалось само собой разумеющимся. Если он и претерпел гонения в прошлом, то настоящее все ему возместило.

Сам Михаил Алексеевич был иного мнения на этот счет. Он видел свое счастье в минувшем, когда, закончив шутовскую службу, возвращался к Авдотье Ивановне, срывал парик с потной головы, скидывал пыльный кафтан, и они вдвоем шли париться в ее домовую баньку, и он поддавал пару хлебным квасом.

С годами его меланхолия, не переходившая во что-то болезненное, тягостное для окружающих, стала усиливаться. Однажды Голицын задумался об этом и сделал выводы. Он завел шутов. Кормил и содержал их отменно, но был строговат.

ОГНЕННЫЙ ПРОТОПОП

РАССКАЗ

— Собирайся, распоп! — сказал стрелецкий десятник с наискось разрубленным лицом; по краям широкого сборчатого шрамаросло дикое мясо.

— Аз есмь протопоп, а не распоп, — огрызнулся Аввакум, подымаясь со своего ветошного ложа.

Лицо десятника налилось темной кровью, а шрам и дикое мясо остались в своем цвете, ибо лишены были кровавого орошения, — мертвая бледная борозда усугубляла жестокость звероватых черт, но воин смолчал на дерзость узника.

— И ты, Епифашка, шевелись! — обратился он к соузнику протопопа.

— Поимей уважение к иноческому сану! — одернул его протопоп.

В изуродованной глазнице десятника косо сидел темный сухой глаз. Сейчас этот глаз почти выкатился на щеку.

— Он такой же расстрига, как и ты, — медленно проговорил стрелец.

Послышались странные звуки, будто вдалеке зашлепали вальки по мокрой тканине, и аж под сердце полоснуло протопопа забытым ладом вольной жизни. Полоснуло и осталось болью — это Епифаний замотал огрызком дважды урезанного языка, зачавкал висдыми губами, сисясь что-то произнеть.

Первый раз усекли язык Епифанию, и равно и попу Лазарю, и дьякону Федору, томящимся в соседнем срубе, еще в Москве, во дни церковного собора, но тогда языки отросли у них. Епифаний же из воздуха поймал пучок языков, выбрал наилепший и в рот себе вложил. Мига единого не оставались в безмолвии миленькие! Эти новые языки им урезали под корень уже в Пустозерске. Гладко у них во рту стало, протопоп сам пальцами шарил, да милостив господь, снова отросли языки, маленько тупей прежнего, а для речи годные. И вот отнялся язык у Епифания. В наиважнейший, роковой час лишился, бедненький, дара звучащего слова. Господь ли его забыл или Епифанию не по плечу пришлась ноша и отвернулся он от господа бога в душе своей?.. Сему последнему отказывалось верить сердце. Надо так полагать, еще одна мука ниспослана страдальцу Епифанию, дабы испытать стойкость его

веры. Но царь небесный с Епифанием сам разберется, а перед людьми за онемевшего инока заступником он, Аввакум.

— Сей старец тебе не то что в отцы, в деды годится, воин! — сказал Аввакум. — Обращайся с ним по достоинству его лет, мудрости и благочестия.

— Заткнись! — коротко приказал воин.

— Меня и государь великий Алексей Михайлович, царствие ему небесное, молчать не научил, тем паче не замкнет мне уст ничтожный тюремщик.

Он угодил в самое больное место стражу. Стрелецкий десятник любил поле и сечу и ненавидел свою нынешнюю службу. Он был уже не молод, но крепок, как дуб, и мог бы за милую душу поигрывать саблей и бердышом на беспокойных границах русской земли. Ужасной своей ране был он обязан тому, что перевели его из-под Белгорода в царев стрелянный полк. Велика, конечно, честь, да царя с души своротило, когда увидел он изуродованную харю десятника. И загнали стрельца на край света для скучной и унизительной ратнику тюремной службы.

— Больно ты бьешь, Аввакум, — сказал он сумрачно, но без злобы, ибо уважал всякое мужество. — И по заслугам получаешь.

Протопоп не ответил. Он задумался о том, почему его обошли карой, совершенной над его сподвижниками. Ведь им не только языки урезали, но и десницы отсекли. У Лазаря всю кисть, у Федора поперек ладони, у Епифания персты. Правда, и здесь господь не поскупился на чудо: Епифанию персты удлинил, а отрезанные члены Лазаря и Федора сохранил в нетленности. Федор — дурак, сам виноват, что съежилась и загнила его отрезанная рука, которую он прятал в узилище, ибо стал блевать на святую троицу. У Федора-окаянного не троица есть бог, а единица слиянная, как будто могут быть три в одном! Вот до какой мерзости договорился его духовный сын. Пришлось Аввакуму не только в послании чадам церковным его заклеить, но и тюремщикам донести, дабы отняли у Федора зловредную писанину и огню передали. Выходит, и враг может на что доброе сгодиться. Но с того времени испортилась, изнемогла Федорова отсеченная длань, и он сам со стыда велел ее в землю бросить.

Иное дело с Аввакумом. И язык многоглаголевыи не покидал звучной пещеры его рта, при нем же остались и длинные сильные персты, равно цепкие, хватистые и к гусиному перу, и к рыбацкой сети, и к веслу, и к мелкому телу крестимого младенца, и к тугой, доброй груди протопопицы Марковны, сладкой подруги всей его жизни.

Бесхитростный и ясновидящий старец Епифаний уверял, что покойный государь Алексей Михайлович, расположенный к устному и письменному слову, виршевым согласиям и комедийному строению — пуще души спасения любил позорища, миленький! — не хотел лишать себя Аввакумовых словес. Огненноустый,

как его называли, протопоп был равно силен и в звучащем, и в начертанном пером слове. Крепкие памятью людишки записывали для царя речения Аввакума, а краснописцы переписывали те послания, кои не для царских очей предназначены были. Впрочем, и сам царь-батюшка не был обойден посланиями и челобитными неленивого Аввакума.

Всю кисть оттяпали у Лазаря, дабы не брался за перо твердый верой, но тусклый нетворящим разумом поп; усекли руку у писучего, но не богатого дарованием дьякона Федора, а надо бы по плечо отхватить, во еже не страмил святую троицу. А не чуждому нежных словес плетению Епифанию лишь подкоротили персты, дабы не мог лба перекрестить по старому канону. Но не позволил тронуть царь-словолюбец словотворца-протопопа.

Думая обо всем этом, постиг Аввакум и светлую мысль старца Епифания, понудившего его написать свое житие — сказ о бурях житейских, о виденном и претерпленном, а не поучение, не проповедь, не наставительное, утешительное, челобитное или обличительное послание.

Поначалу смущало протопопа — а кому нужно такое вот, вроде бы не устремленное к цели писание? Да и не святой он, не пророк, не схимник, чтобы его житие людям надобно было. Но поверил бесхитростному и ясновидящему сердцу инока, покорно и бесстрашно прошагавшего с клюкой и котомкой от Соловецкой обители до Москвы на суд скорый, жестокий и несправедливый. Епифаний направлял его руку. Своим затупленным, дважды резанным языком требовал он от Аввакума полной обстоятельности: где да и когда на свет появился, от каких родителей, как встретился с кузнецовой дочкой, четырнадцатилетней Настасьей, и сочетался с ней совокуплением брачным, обретя на всю жизнь друга ко спасению. И о жестоком соблазне плотском — никому прежде не признавался в том протопоп, даже Марковне, от которой не имел тайн, — а искусила его неволью юная блудница на исповеди, столь воодушевленно живописавшая свой грех, что он, недостойный врачеватель, сам разгорелся блудным огнем. По счастью, осенило его — огонь пожирающий огнем же и изгнать. На пламени церковной свечи жег он правую длань, покуда не наполнилась исповедальня обвонью горелого мяса и не утихло нутряное разжжение. На весь свет, понуждаемый Епифанием, раззвонил Аввакум об этом сраме. Да нешто позорит человека, даже иерея, преодоленный соблазн?

И о первых мучительствах — а сколько их ему выпало! — рассказал Аввакум в подробностях. О буйных жителях села Лопатищи, чуть не до смерти убивших его в отместку за скоморохов, которых он изгнал, изломав их ухари и бубны и отняв медведей; о Василии Петровиче Шереметеве, повелевшем сбросить его в Волгу за то, что отказал он в благословении его сыну Матвею, срамному бритобрадцу; и о печальном начале своего протоиерейского служения в Юрьевце-Повольском, где прихожане, под-

зуженные начальниками-блудодеями, люто избили его батожем и рычагами.

Начнешь вспоминать и не кончишь!.. Только перевел он дух в Москве, куда бежал из Юрьевца-Повольского под крыло друга, протопопа Неронова, как вошел в силу Никон, призванный царем на патриарший престол. Властолюбивый, хитрый, мозговитый толстогуб принял насаждать в церкви греко-романскую блудню. Сие угодно царю Алексею было для его политики против турецкого султана. Прямым наследником и заступником византийского упадка выходил теперь царь Великия, Малыя и Белыя России. Да негодно ему было, что Никон сам над царской властью подняться возжелал. Но это уже много после оказалось, а в те ранние поры новый патриарх, во всем от царя доверенный, повел православную церковь под греко-римское ярмо, безжалостно расправляясь с супротивниками: кого в тюрьму, кого в ссылку, кого на тот свет.

Тут и лучшие зашатались!.. Сам Неронов, настрадавшись по дальним монастырям, осунувшись плотью до лепестковой тонины, утратив надежду на торжество правды, принял три перста да с тем и отошел. Ему, миленькому, хоть тонкий лучик надежды, как в щели от лампадного огня, потребен был, дабы соблюсти душу, А ты выстои без надежды, без тонкого лучика света, в непроглядной темени земляной могилы, где и хлеб едят, и ветхия испражняют; выстои, когда жена твоя и чада тоже брошены в мерзлую тундряную землю; да и не просто выстои, а укрепляй через тысячу верст преданных истинной вере и сокрушай вероотступников; выстои в грязи, смраде и духоте, когда достаточно тебе сложить трехперстную дулю — и сам царь тебя в объятия примет и с целованием к груди прижмет. Конечно, не нынешний скудный духом младой Федор, а могутный отец его Алексей, прозванный Тишайшим, хотя крови больше самого Грозного пролил. Любил он в тайности чувств своих Аввакума, хотел мира с ним, в чем и царице открылся. Ближнего боярина и самого верного человека Артамона Матвеева сколько раз к нему посылал и сам возле его темницы в Николо-Угрешском монастыре со вздохами и стенаниями бродил в надежде размягнуть душу протопопа. И Аввакум жалел его, сердцем жалел заблудшего государя, да ведь не бывает двух правд, правда одна, и коль сведома она тебе, то и держись ее до смертного часа. Но не ему Неронова судить. Может, потому и не снес искуса, бедненький, что не сподобил его господь дара письменного слововыражения. Не было выхода его душе.

Аввакум узнал, какая великая милость дарована ему господом богом: глаголом души опалить, когда направил иересиарху всея Руси свое первое послание, сочиненное купно с Даниилом, костромским протопопом. Оценил царь с патриархом по достоинству сие творение: Даниила в Астрахани терновым венцом венчали и в земляной тюрьме умили, а Аввакума Борис Нелединский со

стрельцами прямо от всенощной, которую он на сушине у Неронова служил, взяли и в Андроньевом монастыре на чепь посадили. И вот тогда впервой заступился за него царь: не дал расстричь, обошлось дело сибирской ссылкой.

Обошлось!..

Уехал он туда священником, пусть и потерпевшим от скорого на расправу Никона — да таких уже немало было в русской церкви, — а вернулся мучеником за веру и народным ироем. Возвели его в этот высокий и страшный сан страсти, претерпленные от воеводы Пашкова, покорителя Даурии, лютейшего из лютых самоуправцев, собственное непокорство, мятежный дух — казаков на бунт подбивал — и огнеустые послания царю, никонианам, наставления чадам духовным.

Как ни лют, ни беспощаден был собиратель земель сибирских, ратный муж Пашков, не мог бы он так зверовать над священнослужителем в протоиерейском сане, если б не тайное повеление от самого Никона. Он и бил нещадно Аввакума, и в яму бросал, и топил в сибирских холодных реках и в глубоких озерах, и морозил в снегах, и голодом морил — что волк или медведь оставит, тем питалось Аввакумово семейство, сосновую кашу за лакомство почитали, — под конец и вовсе огнем и железом пытать хотел, мстя за сына, пропавшего в Монголии со своей дружиной. Пашков-сын у волхвов об удаче похода просил, а не у святой православной церкви, за что и был проклят протопопом. Уже похороненный и оплаканный близкими, сын вернулся в тот самый миг, когда огонь уже опалил бороду протопопу. И поник сивой головой гордый воевода, надломился его могучий дух. Он давно уже об одном только мечтал — услышать хоть слово смирения от протопопы, — но не дождался. И какая-то робость поселилась в косматом сердце завоевателя, привыкшего ломать и гнуть всех без разбору. Бросив Аввакума с семейством без продовольствия и снаряжения посреди враждебных инородцев, воевода ушел в Москву, как бежал. И спрашивал себя протопоп: кто же кого больше мучил, Пашков его или он Пашкова? Похоже, что осилил вооруженного до зубов воина иерей в затасканной рясе.

Два года добирался Аввакум до Москвы. Он шел, громко проповедуя слово божье, обличая никонианскую ересь: как труба иерихонская, раздавался его голос по сибирским городам и весям. Великая сила наливала его обхудавшее, сухое тело, и, одолевая трудные версты, слава до хрипоты святую троицу, он по ночам на привалах, под кедрочами или на теплых полатах, в лодке, выволоченной на берег, или в шалаше из елового лапника крепко обнимал, любил и брюхатил сладкую, горячую свою протопопицу.

И, как положено мужу и жене, все пополам делили: и великие муки, и малые радости, и раз выпало каждому из них рухнуть ослабевшей душой и быть спасену силой другого. Они шли по замерзшему Иргень-озеру, то и дело оскальзываясь и убиваясь о лед и едва поспевая за двумя полудохлыми клячками, тащив-

шими сани с рухлишком и детенками, когда на упавшую протопопицу мужик-сопутник повалился и намертво ко льду прижал. Оба кричат, плачут и не могут встать от истощения. И тогда много-терпеливая протопопица, отвалив из последних сил омороченного мужика, возопила с гневом и отчаянием: «Долго ли мука сия, протопоп, будет?» И ответил протопоп единственными, быть может, словами, способными поднять ее на ноги: «Марковна, до самой до смерти!» И она, вздохнув, молвила: «Добро, Петрович, ино еще побредем».

И побрели, и до Москвы добрели. Отдохнувший в долгом пути от издевательств и побоев, отведший душу неустанной проповедью, согретый жадным вниманием, даже восторгом тьмы людей простого звания, узнавших в нем заступника перед богом от царского и патриаршего гнева, и при всем том принятый царем с великим почетом, растекся Аввакум, как дерьмо в оттепель. Покою ему захотелось, умиротворения. Ах, как вспомнишь об этой слабости, так сами вскипают со дна души слова отвращения: «Кал и гной есмь, окаянной — прямое говно! Отовсюду воняю — душой и телом!» И тогда, заметив его сумление, сведомилась протопопица, что, мол, притемнился, отец? И он, свинья злосмрадная, да что там свинья, та от естества воняет, а он от греховной хитрости своей, все на семью, на детушек скинул — вяжут-де ему руки, уста замыкают — и, хоть зима еретическая на дворе, не может он уста для обличения распечатать. И протопопица, святая душенька, ведь сама только чуть отогрелась душой и телом, салопчик-другой завела, шубейку теплую справила, детишек отмыла да подкормила — первой кус медового пряничка узнали, миленькие! — так ему рекла: «Аз тя с детьми благословляю: дерзай проповедовать слово божие, а о нас не тужи; догде-же бог позволит, живем вместе, а егда разлучит, тогда о нас в молитвах своих не забывай. Поди, поди в церковь, Петрович, обличай блудню еретическую!»

И он склонился перед женой своей, и восстал из грязи, и пошел обличать с прежней силой никонианскую ересь, а вскоре и царю-батюшке зело крепкую грамоту отправил.

Тут и пошло. Его и просили, и совестили — совести в помине не имеющие! — и казнями всякими стращали: участь Павла Коломенского, за правду удавленного, у всех перед глазами стояла, но больше на уговор брали, на обещание великих милостей, должностей высоких, но протопоп Аввакум уже был тем неумолимым правдолюбом, каким остался и по сей день. Не хотел он никаких сделок с властями, даром что семейство его возросло и забот, и силы-защиты, и средств для пропитания куда больше требовало, но, коль жена на подвиг его благословила, не спихнуть Аввакума с пути правды ни царю, ни боярам, ни церковным начетчикам хитроумным.

Не хотелось царю отдавать на правез своего писателя. Раз встретились они лицом к лицу, поглядели друг на друга и молча,

печально разошлись. Подивился он глубине взгляда широко расставленных царевых глаз и прочел в них свой приговор. Вскоре пришло повеление сослать его с семьей в Мезень. Что ж, так и на этой земле положено: царю царствовать многие лета, а проповеднику мучиться многие лета. А как отойдут они в вечные дома, так уж господь по-иному распорядится.

Далека Мезень, а и там люди живут. Промышлял он рыбкой, от соседей гостинчик перепадал, и по-прежнему наставлял людей доброй вере, обличал и язвил супротивников.

Далека Мезень, затеряна за лесами дремучими, за болотами непролазными, посреди мхов, снегов да дерев-кривулин, путь к ней — где водой, где волоком, где чуть не вскок по кочкам — ах как долго! Но крылаты человечьи слова. Уму непостижимо, с какой быстротой достигали и речи, и писания протопопа не только до Москвы-столицы, но и отдаленных окраин государства Русского: Сибири, Даурии, где лютый воевода хотел его извести.

Иные дурачки шепотно, в оглядку пророком его называть стали. Пустые и богопротивные то речи. Но, видать, жгло его слово людские души, как в древности глаголы библейских пророков. А в такие огнепальные времена, полные искусного витийства, разносящегося не только с амвонов, но и с царского печатного двора, не так-то просто быть услышанным, да еще из тундряной дали!

И опять затребовали его в Москву. А там все то же: отрекись да отрекись! Уговаривали, умоляли, на спор пытались взять, грозили. И дабы скорее открылся ему свет истины, в Пафнутьевом монастыре на цепи держали. А потом на Угрещу, к Николе свезли, кружным путем — болотами да грязью, чтоб не сведали чернососные да не отбили своего печальника. И там ему бороду под корень отхватили. И сказал он в боли и унижении: «Выпросил у бога светлую Россию сатана, да и очервленил кровию мученической. Добро ты, дьявол, вздумал, и нам то любо — Христа ради, нашего света, пострадать!»

Семнадцать недель продержали его у Николы в студеной палатке, и не замерз он только потому, что являлся ему его ангел-хранитель и тепло в сердце вдувал. И случалось, царь подходил к темнице, вздыхал жалобно да и прочь отходил. Казалось бы, что общего между задумчивым, в науках сведущим, к чтению приверженным, богомольным царем Алексеем и звероватым язычником, воеводой Пашковым? А ведь и тому, и другому равно нужно было, чтобы взмолился Аввакум: «Помилуйте». И Пашков разом отложил бы кнут и батожье, и царь отворил бы темницу, только запроси он пощады. По душе это им нужно или от чего другого? Просто и не ответишь... Пашков не своему делу служил — государеву. Не больно Тишайшего заботило, что казаки Пашкова от голода кобыльи кишки немые с калом пожирали, что мертвым зверям и птичьим мясам причастны стали, что кнutoбойничал над ними Пашков без всякого удержу. Нет, Тишайшему земли за

Байкалом надобны были, а как добывает их Пашков, ему и горюшка мало. И Пашков знал это и гнул напропалую. И еще Тишайшему надо было, чтобы на всем пространстве Великия, Малыя и Белья России мертвая стояла бы тишина и покой, чтобы не разгибал спины пахарь, не озирали очами творящееся вокруг и не ждал помощи от неба. Где ожидание, там надежда, где надежда, там и стремление. А стремление бунтом чревато. И разве не берется за колья, косы и вилы то там, то здесь замордованный крестьянский и посадский люд? Разве не потрясли крепкий трон государев монахи Соловецкой обители, уподобившиеся воинству небесному?

Нет, не нрав свой потешить хотели великий царь и пес его лютый Пашков, когда ждали — Большой со вздохами и стенаниями, Малый с кровавой бешеной слезой — его, Аввакума, мольбы о пощаде. Был он им что рыба кость в горле — стала поперек, колет и глотать мешает. Не давал он им Русь поглотить. И веры в себя лишал. У них и войско, и оружие: пушки, ядра, осадные машины, мушкеты и пистолы, мечи, сабли, бердыши, а у него только слово. А что такое слово — звук, дуновение, а вот поди ж ты!.. Он раз упрекнул Артамона Матвеева: «К чему зверуете? С теми, что меч поднимают, мечом и деритесь, а тех, кто лишь слово имеет, словом же и побивайте. А коли сами в слово не верите, нет у вас правды. Нешто Христос огнем и мечом истине путь пролагал? Нет, устами. Слабым уст шевелением богочеловек, свет наш, уловлял людские души и вел ко спасению».

А все же уважлив к слову был царь Алексей Михайлович. Куда менее Аввакума перед ним виновных отдавал церковникам на суд, расправу, кнутный бой, удов отсечение и сожжение в срубях, а писателя не уступил. Не плоть Аввакума, а дух сломить он хотел. Иначе не будет прямо его сидение на высоком золотом троне, не покойны в деснице скипетр, а в шуйце держава, не прочна на главе высокая, расшитая алмазами и земчугом шапка Мономаха и душна, как удавка, золотая цепь нагрудного креста. Вот какой затеялся спор между сыном спившегося деревенского попа и самодержавцем государства Российского, вторым царем из рода Романовых.

И, отстояв, отохав под стенами Аввакумовой темницы, царь совсем было решил отдать его в руки палачей, да царица отмолила его от смерти. Снова свезли его на худой телеге к Пафнутию и забыли о нем на время. Сильна была при царе царица, да не настолько, чтоб в государевы заботы соваться. Нарочно придумано сие было, чтобы знал протопоп — достиг он предела царева терпения.

Выдерживали его в Пафнутьевом монастыре без малого год, и вовсе неспроста. Ожидала его баталия великая на церковном соборе с вселенскими патриархами и многомудрыми богословами. Ожидалось, что светочи греко-православной церкви, зело в науках преуспевшие и даром витийного слова украшенные, сокрушат и

повергнут в прах мужицкого попа. Славно готовили его к этому спору! Келарь Никодим завалил окошки и дверь, а топили келью по-черному, дыму идти некуда, к тому же смрад ужаснейший от сцанья и сранья. Думал Аввакум, конец ему пришел. Да господь милостив. Даже ангела-хранителя не стал посылать, обошлось обычным добрым человеком. Дворянин Иван Камынин был щедрым вкладчиком в обитель, его побаивались. Так он сам все разломал и дал узнику отдух. Когда же в отверстие окошко смрад из кельи наружу рванул, то шибануло спертой струей пролетавшего мимо воробышка, и он мертвым на землю пал, а куст пунцового чертополоха разом обвял. Протопопа же ответной чистой струей без чувств на пол повергло.

И вот поставили его в Кремле перед вселенскими патриархами: Макарием Антиохийским, Паисием Александрийским, Иосафом Вторым Московским, а при них еще сановитых голов сорок. После Артамон Матвеев, редкого ума и странной грусти человек, будто провидел сквозь весь почет, пышность и удачу горестную судьбу свою, сказывал, как двоилось сердце царя Алексея в дни яростных сражений Аввакума с князьями церкви и светилами богословия. Ждал, сердешный, ох как ждал, что сломают они хребет Аввакумовой вере, а вечером в терему говорил царице, поглаживая густую темную округлую бороду длинными и сильными перстами: а наш-то мужичок нижегородский носом в лужу вселенских воткнул! Две души было в царе. Да нет, так не бывает. Одна душа — с лица государственная, как ад, страшная, с рубашки — домашняя, мягкая да теплая. Будь он не царем, а простым человеком, ему б цены не знали. Но он самодержавие, ему бы только усиливаться, вдаль и вишь ползти — на кой спрашивается, ляд? — и сок кровавый из людишек тягловых жать для силы власти своей и тех, кто возле трона. А зачем сила и власть и государства просторы безмерные, если нет добра и правды, если сир, наг, измучен, истощен народ? Нешто Россия — земля, Россия — человеки, неужто царю непонятно? Он же башковитый. А коли понятно, да все равно на свой угол гнет, значит, преступник перед богом и людьми.

О чем бы речь ни заходила, об азах ли, как креститься — дулей или пятью перстами, как аллилуйю возглашать или о поучениях святых апостолов, срамил и на позор выставлял протопоп всю их римскую блудню одной лишь верой, одной надеждой на свет Христа. И выходило: вера сильнее науки! Вроде бы и аза не умел протолковать мятежный протопоп и даже имя собственное забыл, но выходил на ристалище, воспламенялось в нем сердце, и косил он от плеча несаянный плевел среди пшеницы. И все начетки — с копытец долой! И со злобы, что скovyрнул он их идолов, кинулись скопом бить его церковники. Но он их апостолом Павлом окоротил: «Убивше человека, как литоргисать станете?» Вот вам и по науке — враз откатились.

Спорили, бранились, руками размахивали, так что пот вструй

за пазуху тек, а у протопопа на челе и дланях телесная роса кровью окрашивалась, и трепетали вселенские, но ничуть не укротились злобой. Чайли они через свою победу всю Русь под себя подобрать. Царь же супротив думал — через них еще шире силой своей распространиться. А тут распоп с выдранной бороденкой, нещадно битый, пытанный, осрамленный, поперек всех этих великих расчетов втиснулся.

В редком почете он тогда жил. Его со сподвижниками: старцем Епифанием и попом Лазарем стрельцы в отхожее место с бердышами провожали. Такой чести самому царю не оказывали. Может, опасались, что вознесутся они со своих куч? Царь с царицей чуть не каждый вечер ближних людей за благословением к нему посылали. Артамон Матвеев, твердая душа, именем царя заклинал: «Соединись с вселенскими хоть какой малостью!» Ишь хитрые какие — царь с советниками! В малу дырку и море утечет! И от отвечал царю через Артамона Матвеева: «Аще умерети мне бог изволит, с отступниками не соединюсь. Ты мой царь, а им до тебя какое дело? Своего царя потеряли, да и тебя проглотить сюда приволоклись! Я не сведу рук с высоты небесной, дожде же бог тебя отдаст мне!»

И царь сказал: где бы ты ни был, не забывай нас в своих молитвах. И понял Аввакум, что царь прощается с ним. Так оно и оказалось. Вкупе с Епифанием, Лазарем и дяконом Федором сослали его в Пустозерск, место болотистое, пустое, тундряное. Его с Москвы в целости отпустили, а им языки урезали. Кинули их сперва в избы, после в срубы деревянные, в землю вкопанные, в каждом срубе скважина-оконце, в него и пищу подают, и лайно извергают, на полу вода не просыхает. Округ срубов тех ограда крепкая, за оградой стража зоркая. Почет или осторожность? Коли почет, так не заслужили, коли осторожность — так зряшная, бежать отсюда невмочно, да и некуда. А слову стены и стража — не препятство. И Аввакумовы, и Федоровы послания свободно слуха русского достигали. А если и осеклось напоследок у Федора-дурня, то по его, Аввакумову, доносу. А с царем расстриженный протопоп твердым словом попрощался: «Видишь ли, самодержавие! Ты владеешь на свободе одною русской землей, и мне сын божий покорил за темничное сидение и небо, и землю. Ты возьмешь гроб и саван, аз же, присуждением вашим, не сподобюсь савана и гроба, но наги мои кости псами и птицами небесными растерзаны будут и по земле влачимы: так добро и любезно мне на земле лежати и святом одиянну и небом прикрытым быти; небо мое, земля моя, свет мой и вся тварь — бог мне дал, а его ж выше того рекох».

И с правым, и с виноватым разделяется беспощадное время. Нету уже царя Алексея. По словам близких царскому семейству людей, чуть не до последнего дня читывал он вслух царице Аввакумово житие. А в иных местах отводил глаза от строк и наизусть, будто свое или из Священного писания, негромким, но звучным и

глубоким голосом произносил. Особенно любил он описание роскошеств земли сибирской: «Лук у них растет и чеснок, — больше романовского луковицы и сладок зело. Там же растут и конопли благорасленные, а во дворах — травы красныя и цветы и благовонны гораздо. Птиц зело много, гусей и лебедей, — по морю, яко снег, плавают. Рыба в нем — осетры и таймени, стерляди, и омули, и сиги, и прочих родов много. Вода пресная, а нерпы и зайцы великия в нем: во окяне — море большим, живучи на Мезени, таких не видал. А рыбы зело густо на нем; осетры и таймени жирны гораздо, нельзя жарить на сковородке, жир все будет. А все то у Христа того наделано для человек, чтоб, упокояся, хвалу богу воздавали. А человек... скачет, яко козел; раздувается, яко пузырь; гневается, яко рысь; съесть хочет, яко змия; ржет зря на чужую красоту, яко жеребья; лукавит, яко бес; насыщаяся довольно; без правила спит; бога не молит; отлагает покаяние на старость и потом исчезает и не вем, камо отходит: или во свет, или во тьму, — день судный коегождо явит...»

А пуще того любил государь историйку про курицу-пеструшку, подаренную протопопу еще цыпушкой за то, что отмолил он и уврачевал от слепоты куров боярыни Евдокии Кирилловны, сердобольной невестки лютого воеводы Пашкова. Аввакум в сем деле на бога надеялся, да и сам не оплошал. Куров он и святой водицей прыскал, и ладаном обкуривал, аж руку с кадиллом заломило, после сколотил из лесин новое корытце для пищи — и перестали слепнуть несущки, а тороватая боярыня отблагодарила целителя цыпушкой. «А та птичка одушевлена, божие творение, нас кормила, и сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала, или рыбки прилучится, и рыбку клевала, а нам против того по два яичка в день давала». Страшен для древлего благочестия был тишайший царь, и для крестьянства, и для посадского люда страшен, хуже царя Ивана, хоть тот грозен, а этот тих. Но не по нраву он жестоковал — по уставу власти своей. Читая же о доброй курочке, слезами прозрачными плакал.

И, думая сейчас обо всем этом, протопоп вспоминал казавшиеся ему прежде темными и даже глуповатыми рассуждения Епифания, что этой вот курочкой, да утицами, да сверчками, вниманием ко всякой твари, всякой малости, населяющей божий мир, отличен он, Аввакум, от всех причастных гусиному перу грамотеев России. По совести, Аввакуму чуть ли не укоризной почудились тогда сии слова, а сейчас, у последнего предела, открылась ему глубокая истина честной похвалы инока.

Данилово велеречие, коему и он, Аввакум, порой поддавался, не впадая, впрочем, в невпроворот, тьму и заушь древних акафистов, воспаряется в такие выси, что неразличимы оттуда мелкие подробности простой жизни. Потому ни цветка, ни пичужки, ни веточки не сыщешь у митрополита Даниила и других отечественных словослагателей. А что за жизнь без цветка, пичужки, веточки? Вот ведь и узники пустозерские в смрадном своем заключе-

нии радовались, как малые дети, и клочку синего неба в оконце, и дикой утице, или гусю, или иной какой птице, мелькнувшей в отдали, и месяцу двурогому, и звездочке, и мошке или травинке, взметенной выпрь ветром. А земля из узилища не проглядывалась — больно глубоки были оконницы.

Тринадцать долгих лет! Сколько народу за сей срок отошло! Нету двух месяцев, двух ластовиц сладкоглаголивых, сестер Феодосьи Морозовой и Евдокии Урусовой, замученных в боровской тюрьме, нету Федора-юродивого, принявшего мученическую смерть, нету Неронова, бедного отступника — да не судим он будет, — нету тьмы приверженцев старой веры — редко кто ушел своей смертью, — и вот уже старость подступила, и куда истратилось время? Ведомо куда — на противоборство.

Во все концы Руси летели его грамотки: и в Соловецкую обитель, дабы поддержать ратный дух у скромных иноков, опоясавшихся мечом и потрясших гордую державу царя Алексея, и в скиты, монастыри, в царские остроги, в патриаршие подземелья, к князьям и воеводам, боярам и дворянам, к черносошным крестьянам и посадским людишкам, к игуменам и чернецам, к духовным дочерям милым, ко всем ищущим живота вечного, и к семье многострадальной, и к царевне Ирине Михайловне, любимой царевой сестре, и к скромнейшей Маремьяне Федоровне, жене священника домово́й церкви княгини Анны Милославской. Одних надлежало поддержать, иных наставить на путь истинный, иных укрепить в гонимой вере, а кого и отругать без всякого снисхожденья. Как доставалось от него Феодосье Морозовой, любимейшей духовной дщери, когда занеслась боярской спесью перед Федором-юродивым, но и утешить ее в гибели любимого сына он один сумел. А сколько сил и гнева забрала борьба с Федором-соузником, блюющим на святую троицу. И с царями всевластными не прекращался у него крутой разговор. Нет, протопоп, не вышло у тебя разговора с Федором Алексеви́чем.

А почему-то надеялся он, что младой Федор склонит слух к приверженцам истинной веры, от молодых всегда чего-то доброго ждешь. Но, зная, сколь слаб духом и незрел умом этот отпрыск царя Алексея от первого брака и сколь властолюбивы, самоуправны родичи его по матери, Милославские, указал он ему и воеводу твердого да умного, чтобы помог перепластать всех никониан. Был ли рад и утешен князь Юрий Алексеевич Долгорукий, что узрел в нем пустозерский узник верного помощника для расправы с церковной блудней, сие осталось неведомо, царь протопопу не откликнулся, не в пример покойному отцу.

А ведь не в захожего молодца, в родного отца уродился Федор. Любо ему словес плетение, сам инова псалмы сочиняет. Ни к брашну, ни к вину, ни к девкам, ни к соколиной охоте не влечет младого царя. Но и к Аввакумовой правде не преклонил он слуха, чуждо, отвратно прямое мужицкое слово выученику блудного байника Симеона Полоцкого.

Так и не достучавшись до государева сердца, зело рассвирепел протопоп. На берестяных хартиях изобразил он царския персоны и высокие духовныя предводители с хульными надписаниями и направил в царствующий град Москву приверженцам старой веры. В день светлого богоявления, когда царь Федор с духовенством и свитой шествовал на Иордань, с колокольни Ивана Великого взметнулись голубями в морозное небо подметные свитки. Зело уязвленный лютого яда прелестью сих рисунков, вспомнил наконец-то царь Федор об Аввакуме.

Нет, не благовестом прозвучал пустозерским узникам хриплый, износившийся голос стрелецкого десятника, приказавшего им собираться и выходить.

А какие тут сборы-то? Сидели они в такой грязи и прелой духоте, что и одежда им была без надобности. Один крест на гайтане, от пота черном и почти истлевшем, — вот и весь их наряд. «Срамотники», — ругался десятник и велел кинуть какое-то тряпье. Аввакум так и не понял — ряса не ряса, халат не халат, вроде бы мешок с дырками для головы и рук. А и такая одежда хороша, небось не в палаты царские и не в крестовую к патриарху зовут.

Ну, старец Епифаний, терпеливый сосмрадик мой, тронулись в дорогу! Невелик, недолог путь, и пройти его надо без сраму.

Срам не в нагом грязном теле, как мнится стрелецкому десятнику — нешто узники виноваты, что их так худо соблюдали? — а в слабодушии. Никто не ждет, что выйдут они в шелковых мантиях или парчовых ризах, благоухая амброй, но вся Русь сведает о том, силу или слабость, красоту или гнусь духовную явили страстоносцы, и по ним о всех приверженцах старой веры судить будет.

И шестидесятидвухлетний Аввакум, полтора десятка лет просидевший в смрадном гноище, напрягся каждой мышцей, раздвинулся в каждом суставе, разъялся в позвонках и, весь заюнев, гоголем шагнул мимо посторонившегося стрельца к ветхому порожку.

Он вышел в малый простор тюремного двора, его шатнуло, чуть не опрокинув на мерзлую землю. Будто чем-то мягким, но увесистым шибануло под вздох и в голову. Он едва удержался на худых своих большестопых ногах, расхоженных тысячеверстыми сибирскими дорогами, — так вдарило после спертой и смрадной темницы свежим предвесенным духом. Эта ядреная, морозная, пронзительная струя ворвалась в черный спекшийся рот протопопа и омыла все его застоявшееся нутро. И когда прошло головокружение, угомонились круги и стрелы в очах, стал протопоп чистым, свежим, прохладным — не с лица, конечно, с исподу, — как часть пробуждающегося, мглистого, еще во власти ночи и зимы, но уже ощутившего вей апрельских ветров северного мира. «Вот, тринадцать лет невылазно населяли утопленные в земле срубы, и хоть бы что — молодцы молодцами!» — распространяя на друзей прилив доброй силушки, радостно подумал Аввакум.

Он оглянулся на «молодцов», и опять его шатнуло, затрясло, и мрак хлынул в зрачки. Господи, что же с ними поделалось? А, господи?.. Не верил себе протопоп. Может, извечный враг человеческий порошком каким в глаза сыпанул и скривил, изуродовал ему зрение? Да разве это люди выползли на свет божий? Сухие, темные стручки, пустая оболочка без следа теплой жизни. Как дряхл, как безнадежно ветх инок Епифаний! Пепельная мертвая кожа, всос щек и рта, голые немигающие глаза — неужто он еще и ослеп? С твердого, как кость, пятнистого черепа свисают длинные тонкие нити серых волос, лезут в глаза, в ноздри, в запавший рот, а Епифаний не замечает, не пытается ни отмахнуть, ни хоть отдуть докучный волос. А замечает ли он хоть что-нибудь округ себя? Или только истомным биением сердца еще принадлежит жизни?..

— Богоугодный старец!.. Отче Епифаний!.. Миленкий!..

Ничто не тронулось в бескровном лице, и слабой искоркой не прыбло зрачков. А ведь казалось, что до последнего дня общались они со старцем. Аввакум делился с ним всем самым сокровенным, совета испрашивал, научения и вроде ответ получал. Одобрял и укреплял его старец. Неужто все это только в воображении Аввакума сотворялось? Выходит, он жил за двоих: за себя и за старца. Ведь старец, бедненький, и словечка вымолвить не может. С чего взял Аввакум, будто вернулась Епифанию речь? С чего наградил его новой рукой, когда из дыры в мешке свешивается плетью беспалая культяпка?

А ведь сколько раз писал и вещал протопоп о явленном господом чуде — отрастании усеченных языков у всей троицы и обреченных перстов Епифания! Да нет же, было чудо, было, разум сроду не отказывал протопопу, даже в самые горькие минуты. Значит, господу для чего-то надобно отнять у страдальцев дареное, вернуть им первоначальный образ жертв. Может, для того, чтобы на том свете спросили они у собаки Никона, а где наша откромсанная плоть? Бог все с толком и значением делает, и, коли сама вера не сподабливает тебя к открытию истины, лучше не пытаться решать высокие загадки творца слабым своим умишком.

Но что же ухайдакало так Федора? Осанистый, крупный, чреватый дьякон стал ровно уголек — махонький, черный, лишь с маковки пеплом обдутый. Неужто это я тебя сокрушил, науськав стрельцов забрать ересь твою окаянную и в огонь кинуть?..

Тяжко заломило душу Аввакуму. Как ни был он крепок в правоте своей, а знал, что не токмо с Федором, но и многими, многими единоверцами расходится в рассуждении святой троицы. И Епифаний-старец, опора его и посох, сердитую хулу за Федора гнул. И за донос, и за самое толкование божественного предмета. Ох, нет, протопоп, жалеть жалея страдальцев миленких, но сбить себя с прямого пути не давай. И ради святой троицы не щади ни ближних своих, ни себя самого.

А Лазарь — поп, будто впрямь евангельский Лазарь, только

не воскресенный господом нашим Иисусом Христом, — изжелта-зеленый, трупный и вроде не в понятии. Федор-то-уголек еще теплится, поблескивает живым взглядом из-под черно-седых бровей, а у попа взгляд погас, отрешился, он еще дальше от земной юдоли, нежели инок Епифаний. Что ж, так-то и легче им — до небес полшага осталось.

И все-таки они еще принадлежат жизни, раз дышат, раз в груди стучит, а живые среди живых должны свой чин соблюдать. А ему — предстоять страдальцам. Ну что ж, сполняй последнюю службу, протопоп!

А ничего не хочется, только бы дышать этим апрельским воздухом, только бы чувствовать в гортани, в груди морозную его свежесть, только быть под этим мгlistым небом, процеживающим сквозь хмарную пелену свет восходящего на бесконечный блистающий полярный день солнца.

Земное зыграло в протопопе.

— Эх, щец бы хоть спроворили или гостинчик какой! — неожиданно для самого себя сказал он добрым голосом стрелецкому десятнику.

— Ишь чего захотел! — дернул тот шрамом. — В страстную-то пятницу!

— Так хушь без убоинки, с пустой капусткой.

— Разлакомился!.. Тебе, распоп, о божественном думать положено, а не о чреве.

— Что ты понимаешь, воин! — Аввакум усмехнулся тщете всех своих земных желаний, даже таких скромных, как горшочек горячих щец. — Иисус сладчайший тоже не воздухом питался и не акридами, он молочко из титочки сосал, а после хлебец ел, и мед, и мясо, и рыбку, и вино пивал за спасение наше. Не читал ты, воин, посланий Аввакума, темен ты и хладен, яко погреб.

— Эх, протопоп, дай мне меч, да поле, да ворога не трусливого, увидел бы, сколь я хладен!

— Значит, и тебе не сладко, стрелец? — усмехнулся Аввакум. — Сочувствую тебе, человек. А все ж с нами ты не поменяешься?

— Не поменяюсь, протопоп.

— Лучше измогнуть заживо, стрелец, чем гореть огнем? — громко засмеялся Аввакум.

— Тебе о том судить, — холодно сказал десятник. — Ты и гнил, ты и...

— Нет, — живо перебил Аввакум. — Не гнил я, даже в смрадной яме сидючи, как ты на вольном воздухе, землей, морем и снегами пахнущем. Я всегда с человеком играл, а слово мое за тыщи верст залетало.

— А гостинчика захотел? — медленно проговорил десятник.

— Ты не глуп, стрелец! — опять засмеялся словно бы чем удивленный Аввакум. После испытанной им нестерпимой жалости к своим соузникам душой его овладела легкость, даже веселость,

потому что и смертную жалость эту сложил к небесному престолу, не усумнился в милости господней, не дрогнула в нем вера. — Оттого и захотел гостинчика, что люблю я людей и все от них приемлю.

— Зачем же злоязычествуешь столь усердно?

— Все от той же любви, стрелец. Спасти людей мне хочется.

— А сам-то вот не спасаю!

— С чего ты взял? — прищурился Аввакум, и голос его пожестал. — Я-то как раз спасаю. — И отвернулся от стрельца. — Выше голову, братья! — воззвал он к живым теньям, призрачно реющим в то наплывающем, то сплывающем тумане. — Небось не покинет нас господь бог. А мужу смерть — покой есть! — Он обернулся к десятнику. — Отведи своих людей, воин, и сам отыдь маленько, дай нам свершить последнее молебствие.

Десятник что-то хмуро бормотнул стрельцам, и они отсунулись к тыну. Сам он остался на месте, и не потому, что ждал худого от узников, но уж больно важным стало для него свершающееся на глазах. Под толстой черепной крышкой тяжело вылезло: я должен все видеть и слышать, люди спросят меня, коли чего запамятую. Именно люди, а не начальство — пустозерский воевода или царский посланец Лешуков. Но если б стали допытываться, какие такие люди, он затруднился бы ответом. Ну, люди-человеки — и местные, и захожие, и те, каких еще доведется увидеть, здесь ли, там ли, и те, каких, может, еще и на свете нету. Десятник не постигал, откуда у него эти мысли и что они значат, и тосковал в угрюмом сердце своем.

— Отыдь, воин! — загредел Аввакум. — Не то брязну ты по зубам, как Николай-угодник Ария-собаку.

Десятник мрачно глянул на крикуна и отступил на шаг. Не драться же с ним?.. Как он сказал: смерть мужу — покой есть? И самый бесстрашный воин не скажет лучше, чем этот похожий на воронье пугало старик.

— ...кости сожженных держат в честном месте, кажение и целование им приносят от страждавших за Христа — избавителя наших душ!.. Праведна и честна наша смерть в нынешнее огненное время!..

Вот как утешает!.. Да только кости ваши кинут собакам, грызущим от голода постромки нарт, и не будет вам ни кажения, ни целования... А вот и молитвы почали. И, будь я неладен, шевелятся губы у живых мертвецов, шепчут слова молитвы след за бесноватым распопом. А этот рыкает — аж до Мезени слышно. Он и не усиливается громким быть, так уж устроен — пастью, глоткой, грудью, чтобы греметь на весь свет. Такой голосина любую битву покроет. И хотя тощей тощего распоп, а нетрудно увидеть его в доспехе бранном, с мечом в хватистой руке. Небось Пересвет и Ослябя были в том же пошибе. Неужто он впрямь не страшится того, что его ждет? Быть не может. Раз щец захотел, о гостинчике вспомнил, значит, все человечье при нем: и страх, и

тоска, и ужас. Так отчего не выдаст он себя хоть самой малостью? Нет такой силы в человеке и быть не должно. Значит, тут другое. Он приемлет... Огнепальное время... В глухой ночи лишь пожары да костры далече видны... Облобызались. Поп Лазарь чуть не упал, когда Аввакум выпустил его из объятий. Десятник сделал знак стрельцам. Те кинулись к осужденным и с обычной в таких случаях усердной грубостью — сейчас вовсе не нужной — принялись ломать им руки за спину.

— Прочь, собаки окаянные! — громыхнул Аввакум. — Сами дойдем...

Не положено осужденным самим идти — соблазн в таком смирении или такой гордости. Волочить их положено, локти выворачивать, ноги подрубить, взашей толкать, осыпая отборной бранью, и знал десятник, что царские шиши, наблюдающие тайком из-за тына, каждое слово ловят, каждое движение примечают, но, вздохнув крутой грудью, велел стрельцам отпустить пописек.

И повлеклись бедолаги своей мочью к летнику. Шли, будто по воздуху плыли, шажков-то и не заметишь, но, колыхаясь былинками по ветру, как-то скрадывали расстояние между собой и темным срубом. И странный шорох, шепоток с тоненьким призвоном коснулся заросших грубым волосом ушей десятника. Так гуси, улетаая, вызванивают, вспомнилось ему вдруг.

Это пели осужденные, без слов, недоступных их мертвым ртам, тянули, брусили что-то невыносимо скорбное, какое-то задушенное стенание, и непонятно, с чего так ликовали черные громадные глазищи яростного вожа их. Опять небось чудо ему грезилося — мол, райскими голосами возносят обреченные немцы хвалу господу богу, а хор ангелов вторит им с горней выси. Глупец, жалкий глупец!..

Слабосильная команда пересыпалась к срубам, и замыкающий хилкое шествие Аввакум, раздвинув руки, загнал их в сруб, как хозяйка по вечеру домашнюю птицу в курятник. И до того это было похоже, что десятник слышно гоготнул. И с этим сумрачным смешком представилось ему, что Аввакум тоже перешагнет сейчас порог сруба и он, десятник, больше никогда не увидит и не услышит этого непонятного, одержимого и притягательного человека. И, не думая ни о стрельцах, ни о государевых шишах, повинаясь чему-то важному в себе, важному, как меч, как сеча, десятник пал на колени.

— Благослови, отче!..

И если б Аввакум отказал ему в просимом, он задушил бы, разорвал его собственными руками.

Но спокойно, истово, будто иначе и быть не могло, протопоп благословил звероватого стрелецкого десятника.

И, враз избавленный от внезапно настигшего его смятения и страха, сроду не испытанного ни перед битвой, ни в смертной схватке, ни в луже крови, натекшей из многих ран, повеселевший

сверх всякой меры, десятник сказал, выкатив желтое яблоко увечного глаза:

— Ну, пойдём жариться, старик!

— Пойду я, а ты останешься, — почти сострадательно отозвался Аввакум. — Не про твою честь такая кончина. Ты не сгоришь — истлеешь.

— Я еще поиграю сабелькой, старик! — в том же странном возбуждении, избавлявшем от сострадания к обреченным, хохотнул десятник.

— И не мечтай! — отрезал Аввакум. — Отсюда тебе нету хода. Кто в палачах и в тюремщиках побывал, тому в чистом поле не гулять.

— Тяжело бьешь, старик... — будто рухнув с высоты, прохрипел десятник.

— Не я. Господь бог. — И Аввакум, пригнувшись под притолокой, ступил в сруб.

За ним сыпанули стрельцы, дабы привязать осужденных к столбам. Десятник слышал, как они там топчутся по смолью и бересте. Когда они вышли, вслед им шибануло дымной вонью. Дверь завалили, но была узкая прорубка в стене, сквозь которую десятник мог следить за работой огня.

Сухо, весело, споро горели Лазарь, Епифаний и Федор. Хоть и сруб был костерок — какое топливо на севере? — да помогли мешки-рубахи, пропитанные огнепальной смолкой. Не оставалось в скупых телах ни жира для вытопа, ни влаги, кою выпарить надобно, ни мясца на костях, а сухая пергаментная кожа, обтягивающая скелет, была огню что соломенная кровля. Обуглились, родимые, раньше, чем размычаться успели.

Иное дело Аввакум. Был он моложе соузников и несравнимо с ними крепок составом. Те почти не принимали пищи, так, поклевывали, а протопоп — хоть и худо — питал свою плоть. Он и Епифаниеву миску опустошал, и гостинчиком, случалось, пользовался. Слали ему от семьи, и от соловецких братьев, и от иных явных и тайных последователей старой веры когда пирожка, когда сальца, когда копчений, солений разных. Худой и тощий — чтобы обростить такой костяк, горы брашна надобны! — протопоп все же оставался мясным и кровяным, с ним огню нелегко было совладать. Да и рубище на нем не пропитано ускорительным составом. Так приказали...

Протопоп горел с ног, на низком, вялом пламени. Он стонал, ревел, закидывал косматую пегую голову с желто обгорелыми от искр кончиками длинных волос. И стрелецкий десятник, как некогда воевода Пашков, царь Алексей и патриархи вселенские — о чем, разумеется, ведать не мог, — томительно ждал, чтоб страдалец запросил пощады. Почему неправая власть так нуждается даже в мнимом изъявлении покорности, мнимом раскаянии тех, кого считает виновными в тяжких против нее, власти, преступлениях? Может, потому, что власти нужна не преданность, не союз-

ничество, основанное на единоверии, а только слепое послушание, пусть даже неискреннее, обманное, но полное и безоговорочное, проще — рабье. Тогда власть сознает себя силой. Для десятника покаянный вопль Аввакума означал бы возвращение бранного поля, сабли и бердыша. И когда терявший себя от боли протопоп заходилась волчьим воем, десятнику мерещились седой ковыль, серые гладкие валуны на южном пределе Руси и золотисто вскипающая даль под копытами вражеской конницы. И он приподымался на крепком седле, вбирал в грудь пьянящего, мятой и полынью пахнувшего воздуха, принимал в правую руку тяжесть сабли и посылал коня вперед. Из косо завалившегося глаза на шрам, заросший диким мясом, выкатывалась маленькая холодная слеза и солила уголок запекшегося рта. Но тут в лицо ударило черным смрадным дымом, и был этот дым будто выдох Аввакумова рта.

— Ну же, сдавайся, поп! — не то про себя, не то вслух требовал десятник.

Но Аввакум не сдавался. Али боль его отпустила, али сам поборол муку, али пришло откуда-то остужение, но с дикой силой рванулось из дыма:

— Ужо будете в моих руках, выдавлю сок-то!..

Поник стрелецкий десятник, и перестало ему пахнуть мятой и полынью. И понял он, что отныне лишь этой сладковатой вонью будут смрадить его дни, остатние пустые дни жизни, в которой он все растерял, неведомо где и как: жену, семью, дом, коня, поле и самого себя, да и этого вот корчащегося на костре старика, который один мог дать ему что-то взамен утерянного. Но кругом были шиши государевы, шиши патриарховы и самые кровожадные — шиши добровольные — навадники, были стрельцы, а среди них тот, кто только и ждал случая, чтобы занять место своего начальника. Как бы низко ты ни стоял, всегда найдется нижестоящий, алчущий заместить тебя, а рубленный в боях воин — он знал это теперь прозревшим и навек съезжившимся сердцем — не обладал мужеством. Он не мог раскидать костер и спасти мученика.

Протопоп Аввакум и думать забыл об этом воине, ничтожном знаке недоброй житейской суеты. Земные образы, пронизавшие его муку и грозную осиянность, когда боль становилась нестерпимой и он будто переносился в иные пределы, эти исполненные света, чистоты и сладостной прохлады образы принадлежали тем, кого он любил после бога сильнее всего: Настасье Марковне, детушкам, боярыне Морозовой и сестре ее Урусовой, Федору-юродивому, Неронову, дочери духовной Маремьяне, старцу Епифанию. Он силился им что-то сказать, хоть повторить некогда говоренное, он не помнил, кто жив из них, кто помер, да это и ничего не значило...

— Ластовица, помощница ко спасению!.. — взывал из черного дыма протопоп. — О вы, скрижали света, жезл Ааронов прозябший... две херувимы одушевленные. Не обижайте Федора... бла-

женны нищие духом!.. Дочь духовная, не уйдешь от меня ни на небо, ни в бездну!.. Грядет господь грешников мучити, праведников спасати!..

Много еще выкрикивал задыхающийся протопоп, вроде бы бессвязно, но все имело прочную связь в нем самом. И все-таки, многожды думая об уготованном ему конце, рисуя в сильном своем воображении ждущие его муки, Аввакум не ждал, что ему будет так больно. А говорили, что смерть на костре не страшнее любой другой казни, даже легче. Человек вроде бы еще жив, и корчится, и даже глас подает, а уж сердце стало угольком и не живет, не болит. Да кто это мог знать?.. Когда же наконец обуглится его сердце? Нет сил терпеть... Господи, неужто ты оставил меня?.. Нет!.. Нет!.. Я все вынесу, только будь со мной!.. Господи, боля твоя!..

Он хотел сказать «воля», но оговорился «боля». Господь принял смиренную его оговорку и послал ему остужение. Опахнуло протопопу, рассеяло дым на мгновение, и в тонком золотом лучике, пронизавшем тьму грядущего, узрел он тех, кто через века подхватит его слово и его подвиг. И сразу радостно затосковал о них Аввакум. С теми, кого он любил при жизни, он встретится скоро, с иными — лишь только кончится эта телесная мука и господь примет его освободившуюся душу в свежесть рук своих, с другими — малость позже, когда придет их недалекий черед, но те, что подымут, оберегут и понесут дальше его слово, еще томятся во тьме предбытия, они родятся на свет божий еще ох как не скоро! И пройдут века-века, прежде чем он встретится с ними в раю.

Шиши царевы, шиши патриарховы, доносчики всех мастей, стрельцы, праведники, тайно пробравшиеся к Аввакумову костру, пустозерские жители и ставший сплешным ухом стрелецкий десятник, невесть кем обзанный сохранить всю память об исходе Аввакума, тщетно напрягали слух, трудили мозг, но так и не постигли последних слов, донесшихся из пламени. Мудрейшие царевы советники, думные дьяки, богословы и начетчики, толкователи снов, пророчеств, видений, даже чернокнижники, бывшие запанибрата с преисподней, не смогли перетолмачить последних зовов, заклятий Аввакума, прежде чем крохотная искра, пронизавшая его от пят до груди, обратила в уголек его вещее сердце.

С этого пустозерского пламени возжегся костер великой русской прозы.

СОН О ТЮТЧЕВЕ

РАССКАЗ

Тютчев вышел на прогулку под вечер. Он и вообще любил переходные часы суток: когда занимается утро или гаснет день, в таинственных стыках сна и бодрствования природа и все миро-

здание приоткрывают наблюдающему человеку дверь — не в царственные покои свои, нет, но хотя бы в прихожую. Человек остается по-прежнему далек от постижения целей, намерений и символов творца, но может полюбоваться его то веселой, то грозной и никогда не повторяющейся игрой. Тютчева радовала вечная молодость старого бога, позволяющего себе самозабвенные беличьи игры на восходе, на закате, равно и в той обнаженности мировой бездны, что людям в странном заблуждении представляются ночной тьмой.

Но в последнее время у него сильно болели ноги, особенно голени, и ему стало не до прогулок в святые утренние часы. Аврора могла как угодно румянить небо, выгонять серебро росы из трав, укладывая по тяжеленькой, дымчатой и чуть расплющенной собственным весом капельке в каждую седоватую манжетку, пробуждать голоса птиц, раскрывать чашечки цветов, — Тютчев мучился ногами в выстуженных к утру простынях: старое тело не согревалось, впустую забирая тепло из постели и окружающего сухого, разогретого кафельными печами воздуха, — подтапливать начали с последних чисел июля. И весь в своем недуге, в жалкой, недостойной человека слабости перед болью, он старался забыть, что без него расцветает день.

Ноги мѳзило до полудня, потом боль начинала постепенно отпускать, и к вечеру он уже мог выйти на прогулку, недалекую и небыструю, так непохожую на прежние его странствия, и сам ощущал, как странен его медлительный, шаркающий шаг, приличествующий какому-нибудь подагрическому сановнику или генералу-ревматика, а не худому, даризелевой невесомости и незаземленности поэту. После смерти Денисьевой скупая плоть Тютчева вконец истаяла. Его бестелесность пугала. И жутко прекрасной стала крупная голова с белыми легкими волосами, разметанными словно внутренним вихрем.

Но Тютчев, человек предельно искренний и чуждый позы, не способен был эстетически воспринимать перемену в своем физическом и духовном облике, какую нанесло страдание, не мог постигнуть красоту этой муки, столь полной, открытой и в безысходности совершенной, что перед нею склонилась даже смертельная оскорбленная Эрнестина Федоровна, его законная жена.

Он испробовал все: стихи, слезы, бегство в Ниццу, много значившую в его жизни, политику, все виды самообмана, горячечные, ночь напролет, разговоры с умным, добрым Георгиевским, зятем Денисьевой, понимавшим и чтившим их горький союз. Ничего не помогало. Елена Александровна не отпускала его, выматывала душу не «тоской желаний», как некогда было с ним после другой страшной потери, а безнадежностью запоздалого раскаяния. Чувство вины было не внове Тютчеву. И узнал он его впервые в ту давнюю пору, когда первая жена Нелли пыталась заколоться маскарадным кинжалом. Но с той виной он сумел не то чтобы справиться, а сжиться, просто потому, что был молод. А шестидесяти-

летнему человеку не уйти от содеянного, не обмануть себя надеждой на искупление.

Двадцать три года прожила Елена Александровна Денисьева, не ведая, как грозен и беспощаден окружающий ее добрый мир. Ее кружение и блистание в свете под снисходительным — поверх карт — взглядом тетки, суровой инспектрисы Смольного института, терявшей близ племянницы свою жесткую пронизательность и власть, было безвинным и мотыльково-кратким. Веселость, отвага, бесшабашность, живость, переходившая порой в милую дерзость, — все было сложено в единый миг к сухим, как у оленя, ногам стареющего баловня гостиных, как только она ощутила в нем истинное чувство. Да, чувство было истинным и возникло почти с первого взгляда, когда он пришел в Смольный проведать дочек Дашу и Катю, и вдруг ударом по глазам и сердцу — промельк чудесного, смуглого, с огромными яркими глазами существа, и захлебывающиеся, вперебой голоса маленьких сплетниц, мгновенно угадавших волнение отца: «Это Леля Денисьева, инспектриса племянница... Отец у нее майор, отличился под Фридландом... А Леля тут на особом положении, не как все воспитанницы! — И с восторженно-замирающей интонацией: — Ее уже в свет вывозят!..»

Какой бездонной глубиной, какой страстью и самозабвенной преданностью обернулась безмятежная легкость большеглазой смольнянки! Она сразу превзошла его в мощи, цельности и одержимости чувства. Он устремился за ней, поднялся выше своих обычных сил, опалил крылья, рухнул, но, поддержанный ее мужеством и отчаянием, повис между небом и землей, то безоглядно отдаваясь любви, то испрашивая милости и терпения у Эрнести-Федоровны.

И удивительный, роковой смысл приобрели в отношениях с Денисьевой его стихи. Сама воплощенная поэзия, она не любила стихов, даже его. Но, навеянные ею, были необходимы ей как воздух. Словно в них одних находила она искупление своей грешной, в нарушение всех божеских и человеческих законов, жизни. Существовала ли на свете женщина, настолько созданная для прочных радостей замужества и материнства, как Елена Александровна? Теплая, искренняя вера отличала ее, и лишь крушение внутренних устоев опалило эту веру мрачным фанатизмом. Она жаждала порядка во всем, чтла общественное мнение, а по злему року жила в удручающем беспорядке, попирая изо дня в день общественное мнение, устав своей среды. И общество выбросило ее вон. Пришлось уйти в отставку и гордой инспектрисе Смольного. Словно две мешаночки, сняли они квартиру в одном из окраинных переулков столицы.

...Самым трудным для него стали первые шаги: сойти с крутого крыльца, пересечь мощный плитняком дворик и выйти за калитку. А там дорога словно подхватывала тебя, помогая тихому, шаткому шагу...

Он шел и думал. Наша любовь дала жизнь трем детям, я совершил жалкий жест порядочности и «протер над ними отцовскую длань», попросту усыновил их. Но что значит эта формальность в глазах света? И дети, которых она безмерно любила, углубляли ее муки. Она страдала, когда я наклонялся над колыбелью нашего первенца и когда забывал это сделать. Страдала, когда я был с ней и когда уходил, страдала, когда мы ездили за границу — в любом пейзаже и любом окружении. Страдала, когда я целовал, обнимал, желал ее, и еще невыносимее страдала, когда заботы, усталость или скорбь отвлекали меня от нежности. Она хотела, чтоб я любил ее непрерывно и вместе чтоб не прикасался к ней. У нее был культ ложа, но каждое объятие наше окрашивалось горечью унижения, незаконности, неосвященности божьим благословением. Иногда казалось, что она готова убить меня. Раз так едва не случилось: пущенное мне в голову тяжелое пресс-напье ожгло кожу на виске и обломило угол изразцовой печи. И это из-за стихов. Она хотела, чтобы я переиздал свои стихи и всю книгу посвятил ей.

Боже, я не понимал даже отдаленно безмерности ее боли, отчаяния, святости ее гнева. Как нежно и умоляюще, как гневно и яростно просила она меня, а потом требовала, чтобы книжка была отдана ей. Она верила, что мои бедные стихи заменят аналой, дадут ей право глядеть в глаза всему свету — и своим прежним подругам, и своим бывшим наставницам, и своему глупому отцу, порвавшему отношения с «дочерью-блудницей», и своим детям, когда они подрастут, и даже моей семье, и самому господу богу. И как же мал и беден был я перед этой духовностью и святой верой, что браки заключаются на небесах поэзии, коли тупо и упорно отказывал в ее справедливом желании.

Какая нищая смесь из жиденькой авторской скромности, презрения и вместе уважения к свету, копеечной деликатности к жене, проявившей в свой час спокойное, до жестокости, небрежение к Нелли, помешала ему выполнить великую просьбу Елены Александровны? Правда, было еще одно, от чего так просто не отмахнуться: верность умершим, тем, кого нет и кто беззащитен перед нашей памятью. Нежная, преданная, вечно озабоченная, несчастная и прелестная Нелли, ценою собственной жизни спасшая их детей, — мог ли он отнять у нее «Еще томлюсь тоской желаний» — эту почти единственную плату за всю ее любовь и самоотверженность? Он мог отнять «Геную» у Эрнестины Федоровны или выплакать у нее в подарок, но мертвую не мог обокрасть. Вот что на самом деле помешало ему выполнить заветное желание Лели. Но не осталось у него чувства правоты, значит, была какая-то внутренняя ложь в его поступке. Да, легко изменять живым, — трудно, почти невозможно изменять мертвым. Ну, так Леля и требовала от него подвига во имя их любви. Она же совершила подвиг, горестно и покорно подставив плечи и лоб под клейма. Ее высота оказалась ему недоступной. И как странно, он

был податлив и мягок и вовсе не владел своими страстями — под рафинированной оболочкой дипломата творилось древнее азиатское буйство в крови, но какое самообладание, хладнокровие, какую железную стойкость противопоставил он страстному напору своей любимой! А ведь он умел чувствовать страдание близкого человека, как свое собственное. Не ко времени пробудилось в нем дьявольское упорство, позволившее некогда его дальнему родичу майору Степану Тютчеву вопреки приказу командующего и ярости прусской лавины выстоять со своей батареей под Гросс-Егерсдорфом. Безумная и прекрасная Елена Александровна разбилась о него своей искромсанной душой, своим изглоданным чахоткой телом.

И, признав свое поражение, она сказала почти жалеючи: ты еще поплатишься за это!.. Боже мой, в последней предсмертной ясности она видела, как непомерна окажется эта плата...

...Но дорога в жестких морщинах колеи, копытных следах, иссохших колдобинах — давно уже не было дождя, — пустынная серая дорога, медленно уходившая из-под ног, влекла его прочь от самоистязающих мыслей в озноб еще не родившегося, еще безъязыкого стихотворения. Чаще всего стихи слагались у него во время одиноких прогулок, а потом ему оставалось лишь записать их или продиктовать кому-то из близких. И как непохожи были эти стихи на те, что сочинялись. Он отнюдь не пренебрегал сочинением стихов — на торжественные, юбилейные даты, на крупные события политической или государственной жизни, на смерти и рождения. Приятно было вгонять неподатливые, упрямые слова в ритмические строки, заставлять их перекликаться друг с дружкой, обретать тот или иной музыкальный тон. Каждое стихотворение — маленькая победа над хаосом. Он не придворный поэт, но и близкие к одическим стихи нужны ему, равно как и эпиграммы, ибо в нем самом заложена жажда отклика на суматоху внешней жизни. Но бывало и другое, обычно в дороге, когда стихи начинались смутным шумом, словно далекий морской прибой, затем в мерном шуме этом прозванивали отдельные слова и вдруг чудно сочетались в строку. Он становился как бы вместилищем некоей чужой работы. Ему нужно было лишь узнавать лучшие, самые необходимые слова, не только наиболее точно выражающие смысл, но содержащие что-то сверх прямого смысла, слова, отбрасывающие тень и сияние. Конечно, стихи эти не с неба падали, их порождали высшая сосредоточенность, настроенность и бесстрашие. Пустынная дорога, идущая травяными полями или нивами, купы деревьев, лес на горизонте, небо и облака в нем помогали этой настроенности и тому бесстрашию перед богом, что давало ему заключать в слова сотрясающий душу ужас.

И вот оно — сказалось сразу двустороннем:

Были очи острее точимой косы
По зигзице в зенице и по капле росы...

Ах, бог мой, как хорошо! Но не надо. Рано. Ведь даже «сумеречный свет звезд», «мглистый полдень» или «громокипящий кубок» его юношеского стихотворения вызвали бешенство пишущей братии, доморощенных знатоков отечественной поэзии. Что будет с очами «острее точимой косы»? Нет, не пришло еще время для этих стихов, оно придет через век, быть может, чуть раньше. Он еще раз, словно прощаясь, повторил вслух эти строки и дал им уйти в горло другого, грядущего поэта.

Он, как птицу, выпустил стихи из ладоней, но к острому сожалению примешивалась взволнованная убежденность, что стихи сегодня непременно будут. Да и как им не быть, если завтра годовщина смерти Елены Александровны, если она, что ни ночь, является ему с невысказанным и мучительным укором, словно все еще чего-то ждет от него. Она приходила не во сне, а в предсонный час то тихой и скорбной, то яростно гневной, какой он куда чаще видел ее в последние годы жизни, садилась на постель, чуть сминая стеганное шелком одеяло, и ничего не говорила, даже не смотрела в его сторону, только вздыхала протяжно-прерывисто, с каким-то всхлипом в конце каждого вздоха, и острые скулы ее рдели. Ему хотелось коснуться ее, но худая старческая рука в странном бессилии не дотягивалась до нее, не могла выиграть у пространства какой-нибудь вершок. Иногда она так же тихо удалялась, а иногда глаза ее начинали метать молнии, и у него холодел висок, некогда задетый пресс-папье, расколовшим кафель печи. О, как счастлив был бы он, если б она овеществилась в удар, в рану, в увечье, он бы молился на кровавый знак ее снисхождения к нему.

В июле минула пятнадцатая годовщина их союза, и он посвятил этой дате стихи, казавшиеся ему самому хорошими, искренними, но имевшие следствием то, что глаза Елены Александровны источали теперь лишь молнии. Он вызвал гнев ее тени, как вызвал гнев ее сущего образа, и вновь повинны были стихи. Неужели холодными показались ей строки: «15 июля 1865 года»? Мертвая, она умела терзать еще искуснее, нежели живая, и чаша его страданий наполнилась до краев.

...Был тот час суток, который французы называют «между собакой и волком». Солнце еще только погрузилось в сизо-синию тучу, заставшую на западе горизонт, и небо было располосовано багровыми тьяжами, а уже в березняке, с не захваченного закатом края церковной свечечкой затеплилась луна, бледно вызолотив прозоры меж стволов. Под небесной распрей затихла земля, ни звука в просторе, только слабые шаги Федора Ивановича по иссушенной земле звучат сверчковым тиканьем.

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя. —

сладко сказалось в сердце.

Нет, и для этих стихов еще не настало время. Их скажут по-

том, лет через пятьдесят. Надо что-то оставить будущим поэтам, чтоб новыми голосами понесли в мир его слово.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной молю ответа..

— Стоп! — пусть, пусть все это скажет в свой час другой во утление собственной боли.

От жесткого, в корявых заусенцах большака опять заломило ноги. Он перебрался через заросшую лопухами обочину и пошел по обгорелой желтой траве, задевая не сдающийся засухе колючий чертополох с пунцовыми цветками, источающими сильный пертый дух.

Он не успел порадоваться облегчению, будто стальными обжимами охватило голени. Он остановился, трудно дыша. И вдруг — от боли, одиночества, от непоправимого своего сиротства в мире — заплакал. Дрожащей рукой вытащил из кармана носовой платок и прижал к глазам. Когда же отнял от лица совсем мокрый платок, вокруг было так темно, будто он все глаза выплакал. Нет, просто померкло ликующее небо, солнце скрылось, а луна, вставшая над рощей, давала свет тихий, приглашенный. Мокрые от слез губы прошептали:

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня,
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?..

Ветер скользнул по лицу, остудив глаза, щеки, губы. Ему стало знобко, домой бы повернуть, но зазвучавшие в нем стихи вытеснили все другие соображения. В них не было ничего, кроме утверждения простых очевидностей: он брел именно вдоль дороги, а не по дороге, и угасал день, ему было тяжело, болели, замирали ноги. В поэтический чин эту строфу возносила последняя строчка, тоже простая, безыскусственная, но тем и прекрасная. Он продолжал, оглянув мглеющий простор:

Все темней, темнее над землею,
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

И всхлипнул. Он говорил с Еленой Александровной, с Лелей. Обращение не было приемом. Тут вообще не было никакой поэтической риторики. Душа стала словом и выражала себя напрямую.

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

— Вижу, — тихо и отчетливо произнес глубокий голос Елены Александровны. — Вижу, бедный друг мой, и слышу.

— Сим отпущаеши! — проговорил другой голос почти шепотом.

том, но словно бы под хрустальным куполом — так отгулчив и отзвончив, широк и внятен был резонанс.

И все — тишина, сумрак, одинокий старик у дороги...

...Дома беспокоились. Но Федор Иванович запретил выходить навстречу ему, даже встречать за воротами. И дочь, Анна Федоровна, и приехавший под вечер жених ее Иван Сергеевич Аксаков то и дело, будто между прочим, раздвигали шторы на окнах и пытались проглянуть окутавшую усадьбу темень, — сморщившаяся луна давно ушла в полупрозрачную дымность бегущих туч.

Фрейлина Анна Федоровна, старшая дочь от первого брака, унаследовала от отца блестящее остроумие, полную душевную свободу, опасно обострив ее женской безответственностью и вызывающей прямоотой, что укоренило за ней при дворе кличку Еж. Она связала тягостное состояние отца последних дней и непонятно долгое его отсутствие с завтрашней датой, это немного успокаивало и злило одновременно. Она уважала чувство отца, даже чуть завидовала его способности к сильным и глубоким страстям, ей понятным, но несвойственным (с того, видать, и заневестились она только в тридцать шесть лет), и все же не могла подавить в себе раздраженно-недоброго чувства к покойной Денисьевой. Анна Федоровна была в какой-то мере поверенной этой любви — отец ездил с ней и Денисьевой на Валаам, — хотя, при всей своей хваленой проницательности (даже вещи сны видела), так и не догадалась тогда о близости старшей подруги-смольнянки с отцом. Она была их ширмой, если называть вещи своими именами. Очевидно, это и настроило ее против Денисьевой. Но когда та умерла, мачеха показала, как надо относиться к истинному горю, а ей не хотелось уступать в великодушии Эрнестине Федоровне. И сейчас ее огорчала собственная злость, но она ничего не могла поделать с собой. Если уж не стало этой красивой, несчастной, полубезумной женщины, так пусть мертвый не кусает живого.

К беспокойству же Ивана Аксакова примешивался некий литературный зуд. Он задумал новое издание стихов Федора Ивановича, куда более полное, нежели тургеневское. Десять лет назад Тургенев с присущим ему доброжелательством и обязательностью взял на себя труд издания разбросанных по журналам и альманахам стихов поэта. Труд был бы и вовсе не тягостен для такого пламенного почитателя тютчевской поэзии, как Иван Сергеевич Тургенев, если б Тютчев хоть в чем-то пошел навстречу. Но Тютчев палец о палец не ударил ради такого важного для каждого автора дела. Пушкин был поэтом куда более прославленным, но он с глубочайшей серьезностью и уважением относился к своим издательским делам. Если б господь бог послал ему, Аксакову, хоть тень тютчевского дара, уж он не зарыл был клад в землю! Аксаков понимал, что его задача окажется никак не легче тургеневской, но хотя бы добиться согласия поэта на это издание.

И тут оба услышали, как хлопнула в сенях дверь. Анна Федоровна мгновенно успокоилась, поняв по каким-то ей самой необъ-

ясным знаком, что с отцом все в порядке. Лишенный ее вещего дара, Аксаков опрометью кинулся в прихожую. Слабые звуки, доносившиеся оттуда, позволили Анне Федоровне догадаться, что Аксаков помогает отцу снять длинное, узкое пальто, в рукавах которого всегда по-детски застревают отцовы кисти, вешает это пальто в платяной шкаф, что отец приглаживает свои легкие, лоящие неощутимое дуновение волосы, поправляет черный галстук и идет в комнату. Затем она услышала, как Аксаков хорошим, добрым, сейчас чуть жалобным голосом говорит отцу о задуманном издании:

— От вас требуется так немного, хотя бы уточнить некоторые даты...

«Зачем Аксакову это надо? — думал Федор Иванович. — А может, он просто придрался к моему сборнику, чтобы приехать и провести время с Анной? — Тютчев вдруг молодо и озорно усмехнулся. — Нет, боюсь, что все наоборот. Он и женится-то ради моего сборника. После Гоголя, которого Аксаковы, особенно неистовый Константин, чуть не «на смерть залюбили», по выражению самого творца «Мертвых душ», их пламень перекинулся на меня. Надо держать ухо востро с этим молодцом. Пусть женится на Анне, бедная моя фрейлина настоящий перестарок, но убереги меня господь от аксаковского огня. Кстати, я только что понял, чем Иван вводит в заблуждение. Он безбород в отличие от отца и старшего брата. Видишь его скошенный слабый подбородок, но приделай ему бороду — будет вылитый Константин. Это опасно...»

Федор Иванович вошел в гостиную в своем старом узком сером костюме, подчеркивающим его худобу. Анна Федоровна подошла и поцеловала отца в высокий, намятый шляпой, чуть влажный лоб. Он рассеянно скользнул невесомой рукой по ее затылку и плечу, словно березовый осенний листик задел ее в своем падении.

— Какое издание, зачем?.. — сказал он, обернувшись к будущему зятю и морщась, словно от лимона. — Кому это надо?.. — И прошел в кабинет.

Аксаков в досаде и восхищении сцепил длинные пальцы и громко хрустнул — жест, запрещенный в присутствии невесты. Но он был так взволнован, что не заметил гневно подскочивших бровей.

— Ну, что вы на это скажете? — произнес он зазвеневшим голосом — родовым голосом аксаковского умиления, и слезы налились ему уголки глаз. — Что за чудо морское, зверь лесной ваш невозможный отец? Человеку дан такой редкий, удивительный дар! А он в грош не ставит свои стихи! Бывает ослепление гордыней, но ослепление скромностью, ей-богу, так же губительно!..

«...Как убедить Аксакова, чтоб он оставил меня в покое с этой книжицей?.. Ведь все и так состоялось. Мне отозвался дух умершей, мне был явлен глас неба. Неужели важно, чтоб стихи

мои прочел какой-нибудь коллежский асессор или учитель словесности?.. Все это пена, я обрел спокойствие, больше мне ничего не надо...»

Да, он обрел спокойствие, Денисьева больше не являлась. Но уже осенью, когда тонким сахаристым ледком затрещали замерзшие лужи, он швырнул небу назад его милость. Он всегда был вежлив с богом, и впервые мольба его прозвучала как вызов:

О господи, дай жгучего страданья
И мертвенность души моей развей —
Ты взял ее, но муку вспоминанья,
Живую муку мне оставь по ней!..

ДЕНЬ КРУТОГО ЧЕЛОВЕКА

РАССКАЗ

Утром приходил иконописец и поставщик божественных досок Никита Севастьянович Рачейсков с Васильевского острова. И, как всегда, хоть знакомству их уже четверть века, терпеливо дождался на кухне приглашения в хозяйские покои, прижимая к груди завернутые в холстину иконы.

Чем-то сразу и больно поразил изограф Лескова. А вроде бы Никита Севастьянович давно застыл в своем суровом, строго духовном образе: высок, сух, тонок, удлинненным лицом постен, седые волосы разобраны прямым пробором на два крыла, маленькие темные, будто исплаканные глаза прячутся под кустистыми бровями. Лескову показалось, что под длинным, до щиколоток, черным суконным аязмом все нет плоти, а голова художного мужа от глубоких западин за ушами и под нижней челюстью лошадиному выдвинулась вперед. Былая прочная сосредоточенность в себе сменилась отрешенностью, словно уже начал переселяться на небо, столь привычное своей лазурью, кипенью облаков и золотом светил, его тонкий, о три волоска кисти, старый, потерявший счет годам, богомаз. Только громадные — лопатами — руки его, ставшие вовсе непомерными в оскудении остального телесного состава, принадлежали жизни, набухшие венами, жилами, с темными волосами на тыле ладоней и послушных строгой воле мастера длинных перстах.

Чинно, уважливо поздоровавшись с иконописцем, Лесков повел его в кабинет, увешанный картинками, гравюрами, иконами, заставленный сомнительными апраксинскими раритетами, а также напольными и настольными часами.

Никита Севастьянович высвободил доски из холстины, после чего сел на стул с прямой спинкой, положил на худые колени свои лапищи и застыл недвижно. Весьма в меру словоохотливый и в бодрые годы, он ныне будто вовсе разучился говорить. Но,

златоуст и жаднослушатель, Лесков тоже не был настроен на болтливый лад.

Рачейсков принес ранее привлекший Лескова образ устюжской божьей матери и неведомого Спаса какого-то наглого по светской выразительности письма. Обе иконы были искусно расчищены. Лесков гордился тем, что сам умел осветлять черные доски, хотя делал это весьма аляповато, злоупотреблял к тому же политурой, но внезапная угрюмая озабоченность, овладевшая им, объяснялась не досадой на старого изографа, самовольно лишившего его сладостного труда, а чем-то совсем иным, сложно повязанным с мучительными заботами его нынешней жизни.

Странен и непривычен был этот Спас — ни византийского тайномыслия, ни печали, ни грозности, ни проникновенности, ни сострадания, ни один из многих смыслов, вкладываемых иконописцами в образа Христа, не прочитывался на тяжелом мужицком лице, именно лице, чтоб не сказать еще грубее, но уж никак не лике Бога-сына.

Лесков пытался расспросить Никиту Севастьяновича о создателе образа, но из односложных, будто через силу ответов следовало, что происхождение иконы тому неведомо. И это было вопреки правилам Никиты Севастьяновича. Он всегда знал, что предлагает покупателю.

Лесков решил оставить за собой обе иконы. Никита Севастьянович назвал цену, как всегда умеренную, да и не полагалось торговаться с ним, получил деньги, спрятал их вместе с холстиной в бездонный карман азяма, низко поклонился и двинулся к черному ходу. Лесков пошел проводить его.

— Хотел я тебя, Севастьяныч, вот о чем попросить... — вспомнил Лесков уже в кухне, но осекся под строгим взглядом мастера.

— Я боле не приду к вам, — тихо сказал Никита Севастьянович.

— Что так?

— В иные пределы ухожу.

Лесков помолчал, потом сказал истово, чуть приметно дрогнув голосом:

— Коли так... легкой тебе кончины, Севастьяныч.

Что-то похожее на улыбку тронуло бескровные губы старца, и темные исплаканные глаза мягко глянули из-под кустистых бровей.

— Спасибо, что не слукавил. — И, согнувшись под притолокой, вышел в пыльный свет черной лестницы.

Умиленный простотой и честностью прощания, Лесков смахнул невольную слезу и вернулся в кабинет. Прислоненный к стене Спас встретил его прямым и жестким взглядом. «Это не Христос, — думал Лесков, вглядываясь в грубые, мужицкие, чем-то притягательные черты. — У него лицо мастерового, каменщика, землепашца, только не искупителя чужих грехов. Таким скорее

мог быть бог-отец по завершении чудовищного труда мироустройства. У него и чело, влажное от пота. А какая непреклонность в очах! А ведь Христос был слаб, исполнен великого смятения, страха и неверия в свои силы. Нет, это не Христос, вернее Христос, в которого художник по странной причуде или наитию, откровению свыше вложил черты его божественного отца! А Христос не тянул, нет, не тянул! Куда ему до отца! Слаб был, суетен, непрочен и к тому же гугнив. Люди не понимали его поучений, словно он явился из чужой страны или глубокого прошлого. Он не делал чести отцу-Вседержителю. Но старик — какой молодец! Не пожалел, не пощадил родную суть, подверг такому испытанию, что и худшему врагу не пожелаешь. Экую ношу водрузил на слабые плечи сына плотничихи Марии, жены бессильного старостью Иосифа! Как хотелось Иисусу бежать страшного подвига, как претило ему искупить муками и позорной смертью на кресте под сжигающим солнцем Иерусалима грехи человечества. Он ли не просил, не молил отца небесного и своего собственного: «Помилуй мя, отец! Пронеси чашу мимо!» Не приклонил слуха, не жалился отец. Мерзко, нестерпимо было богу, что сын его так слаб и безволен, так привержен земной суете. Нет уж, коли ты сын божий, так и докажи себя деянием, достойным отца! Бог дал сыну испить чашу страданий до последней капли. Великий замысел творца включал и кару за потуги уйти от предрешенной высшей волей судьбы. Вот это характер!» — восхищался Лесков, остро и ревниво выглядывая небольшими яркими темно-карими глазами черты отца в грубовато-суровом обличе сына.

— Так с ними и надо! — с удивлением услышал он свой голос в пустоте кабинета. Слова вырвались из беззвучия души и прозвучали как приговор.

Бесхарактерность, леность, небрежение долгом, попытки уклониться от начертанного отцом пути, даже просто опуститься на придорожный камень, предоставив дорогу идущим, суетность, уже не говоря о гадостном стремлении тешить беса ногодрыганием под срамную музыку, уверенность в своем праве на хлеб, не политый слезами и потом, — суть смертные грехи и должны караться с такой беспощадностью, чтобы задрожало сердце самого карателя, как дрогнуло господне сердце, когда он послал сына на Голгофу. «Ну, Дрон, Дронушка-Дрон, держись, шаркун, танцальных паркетов натуральщик, в науках не преуспевший сын, не кровь моя, а сукровица, не плоть моя, а перхотный очес, крепко же засел ты у меня в печенях, крепко же и поплатишься!»

Он почувствовал, как горит лицо и тяжело пухнут глаза от прилившей к голове крови. Этого еще не хватало! Теперь пойдет на весь день крутить и корчить. Надо было отвлечение какое придумать. Новые иконы, что ли, повесить? Но этим всегда занимался Дрон, ловко у него получалось, хорошие руки! А сам Николай Семенович попробует гвоздь вбить, непременно по пальцам стукнет, а уж если и повесит чего на стенку, так вкривь и вкось. Луч-

ше дожждаться зятя Крохина, обещал заглянуть перед обедом. А сейчас можно на прогулку сходить. В Гостиный двор наведаться, к букинистам.

Лесков сменил шлафрок на короткий летний пиджак из серой шерстяной материи, надел легкое светлое пальто, обшитое тесьмой, на голову — соломенное канотье с черной репсовой лентой, в руку взял камышовую трость с серебряным набалдашником и, хорошо, ладно ощущая все свое снаряжение, грузноватой, но упругой поступью направился к двери.

— Дядя, ты уходишь? — послышался за его спиной детский голос.

Лесков вздрогнул, очнулся от дум. Как странно, что он все время забывает о существовании этого ребенка, «сиротки», богоданной насельницы его усталого сердца (и маленького чулана возле кухни), отрады натруженных очей. Года два назад привела Вареньку «дремучая» чухонка и сдала с рук на руки горничной Кетти. Светловолосая Кетти, дочь перновского домовладельца, выгнанная родителями за какие-то провинности, находилась в услужении у генерала Шпицберга, начальника крепостной артиллерии в Ковно. Она понесла от его денщика, лишилась места, уехала в Петербург, в положенный срок родила и пристроила младенца в финской деревушке Кейдала под столицей. К Лескову Кетти попала по объявлению. Теперь Вареньке был один путь — в приют, но тут Лесков совершил всех удививший, а многих озадачивший шаг — оставил Вареньку в доме. То было наитие — поступить по догме любезного сердцу Льва Николаевича Толстого черносошного моралиста Сютяева. «Своего и корова оближет, — говорил Лесков. — А принять чужое дитя как родное — угодное богу дело». Его мало заботило, что это противоречит его прежним утверждениям: мол, по древнему закону, выражающему девственные свойства человеческой души, любить можно только кровью родных детей, иная любовь к детям — натяжка и фальшь.

Малютка вошла в дом в пору, когда Дрон, примерный ученик и послушный сын, еще ничем не огорчал отца, что, впрочем, не избавляло его, как и всех близких Лескова, от бурь и потрясений. В новых же обстоятельствах значение сиротки необычайно возросло.

— Дядя, ты уходишь? — повторила Варя и потупилась.

— Гулять иду, — сказал Лесков и тоже увел глаза.

Этому ребенку и этому взрослому равно нечего было сказать друг другу. Варя, как существо примитивное, насупилась и стала крутить ленточку от коробки шоколадных конфет, Лесков — как более искушенное — нашел иной выход из затруднения. Ему нечего было сказать этой девочке, но он мог много и веско сказать за нее, ответить злопыхателям, хулителям его милосердия, погрязшим в тленодушии. Не раздеваясь, он вернулся в кабинет, достал лист бумаги, придвинул чернильницу.

— Возьми у матери конверт и принеси сюда, — сказал он,

зная, что девочка последовала за ним и стоит в дверях, крутя свою ленточку.

Он услышал топот детских ног по коридору, и в душу ему пахнул горячий ветер гнева. И сама собой вырвалась из-под пера облитая кровью и желчью фраза, адресованная «добрейшей» — еще так недавно — Александре Николаевне Толиверовой, испытанному и преданному другу:

«А вам в приют ее, мою Вареньку, — на приютский крупяной кулеш да картофель?!» «Крупяной кулеш» пронял самого автора, была в нем какая-то нищенская убедительность — полная слеза обожгла щеку.

Девочка положила конверт на стол.

— Подай перочинный ножичек... Не там, на тумбочке.

Потом ему понадобился сургуч, стакан воды, чтобы запить успокоительное лекарство, салфетка, чтобы промокнуть каплю на лацкане пиджака. Девочка вихрем носилась по квартире, толково и спорно исполняя поручения. Чувство неловкости прошло. Варя вплотилась в казачка, что ее вполне устраивало и освобождало от внутренней фальши, которую она не постигала детским своим умишком, но чувствовала так же отчетливо, как отсиженную ногу.

Отомщевательное письмо было написано с солью, перцем, собачьим сердцем, с той чрезмерной аффектацией, которая не может заменить простого, искреннего чувства и лишь укрепляет оппонента в противоположном мнении.

Удовлетворенно пробежав послание, Лесков запечатал конверт и решительным шагом покинул кабинет.

— До свидания, дядя, — сказала сиротка захлопнувшейся двери.

Миновав тихую Фурштадтскую и приметив с легкой грустью первую прожелть в густой и притемненной, как и положено к исходу лета, зелени садов, Лесков направился окольным путем к центру. Он хотел насладиться покоем здешних пустынных, росных, дремлющих улиц, овеваемых прохладой с Невы, а дальше, в приближении людного и вонючего центра, нанять извозчика. Но благим намерениям не суждено было осуществиться, во всяком случае в начальной части.

Он и сам не знал, что чему предшествовало: тревожный ли запах гари — колоколам и рожку пожарного обоза или пожарный насос, влекомый тройкой массивных гривастых битюгов, дал почувать в чистом воздухе горячую работу огня? За насосом, на четырех линейках, в сверкающих касках промчалась пожарная команда, золотыми вспышками отражаясь в окошках низеньких домов.

Будто по ребрам Лескова прогрехотали подковы пожарных тягеловозов. Неправда, будто время лечит все раны. Уязвленную плоть оно лечит, а раны души не затягиваются. Двадцать три года назад, в Духов день, когда купцы выводят своих дочек на смотрины в Летний сад, так же вот, только куда гуще, понесло

горелым над столичным центром. Горели Апраксин и Шукин рынки. И чуть не первым из петербургских газетчиков оказался там Николай Лесков. Он жадно впитывал в себя все пересуды, толки, слухи и слушки, угрюмый ропот, визгливые причитания баб. Толпа дружно и злобно обвиняла в поджогах поляков — как полагается, студентов да и вообще учащуюся молодежь, смутьянов из господ и всякую протерь. И в «Северной пчеле» появилась осмотровальная, как мнилось наивному автору, но прозвучавшая взрывом в ушах всех опятных людей, бедоносная статья о петербургских пожарах.

Как накнулись, как навалились!.. Боже мой, какой только напраслины на него не возводили!.. Конечно, удары шли слева, но время было такое, что правые только «хакали» на каждый удар. И даже газета, почти провокационно поручившая столь тонкое и сложное дело совсем зеленому сотруднику, и пальцем не шевельнула в его защиту, напротив, последующим неловким, двусмысленным бормотанием совсем утопила. Дошло до того, что иные знакомые раскланиваться перестали. С тех пор крепко засело в печенях...

Не такой он был человек, чтобы смириться, в тиши пережить свою неудачу, сделать должные выводы. Нет, сызмальства его девизом было: «Отмщение!» Пошли «отомщевательные» романы: «Некуда», «Обойденные», наконец, грубо, судорожно слепленные «На ножах». Покойный Писарев отказал ему в звании русского литератора и утверждал, что ни один порядочный писатель не захочет видеть свое имя рядом с именем господина Стебницкого, под таким, довольно нелепым, псевдонимом он начинал. Травили, улюлюкали и не хотели заметить, что были в «Некуда» Рейнер, списанный с кристального Артура Бени, погибшего в войсках Гарибальди, Лиза Бахарева, Бертольди, студент Помада — кто еще так любовно изображал нигилистов? А сокрушал он лишь тех, кто принизил, испохабил, в грязь втоптал чистый тип Базарова. Да что говорить!.. Лучшие годы жизни были смяты, осрамлены, просто украдены, ибо не жил он, а томился и страдал духом. И не было не только прощения, но и забвения содеянному в молодости. Один за другим выходили «Житие одной бабы», «Запечатленный ангел», «Соборяне», «Тупейный художник», «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе», «Очарованный странник», а критики как воды в рот набрали. И не было таких причудливых и богатых духом русских характеров ни у кого из пишущей братии, даже у самых великих. Во всяком случае, его праведники не чета сопливному Макару Девушкину! Но хоть бы кто словом добрым печатно обмолвился! А ведь читали и перечитывали, но молчали, поджав губки, во дворце читки вслух устраивали, сам венценосец восхищался. Достоевский раз даже страшным словом «гениально» в адрес его проговорился, а печатно — уязвлял. Нет, как ни крути, остался он незаконным сыном русской словесности.

Ныне известность его на всю Россию и за границу шагнула, а

стало ли ему легче печататься, свободнее, увереннее жить? Нет, все так же свирепствует над его сочинениями цензорский карандаш, а теперь и духовная цензура навалилась. И нет семьи, да еще неудачный сын-пустопляс. Вот какой горечью пахнуло на Лескова от занявшегося где-то неподалеку пожара. Весь душевный мусор взвело тем дуновением. И сразу стало трудно дышать. Впору домой вернуться. Но тут он увидел одинокого «ваньку», клевавшего носом на козлах.

Тяжко просели старые рессоры под грузным телом.

— К Гостиному двору! — приказал Лесков.

«Ванька» проснулся, подобрал рваные вожжи, дернул, чмокнул губами и стал разворачивать свою каурую клячку.

— Куда, дурак? — Лесков ткнул камышовой тростью в худые лопатки извозчика. — Не видишь — пожар. Давай прямо.

— Далече, барин. — «Ванька» обернул к Лескову старое личико с редкой, как у корейца, бородашкой. — Четвертачок придется нанять.

— Хватит и двугривенного, — сказал Лесков. — Пошел!..

И пролетка, скосбочившись в перевес грузного седока, покадилась по булыжной мостовой...

В полуденный час последнего дня лета на Невском проспекте былолюдно, шумно, пыльно и вонько. За лето город всегда портился, протухал. Хоть и строго спрашивали с дворников, да ведь за каждой мелочью не уследишь — в пазах торцов между плитами тротуаров что-то застревало, разлагалось на жаре, изгнивало. Да и всякий продукт смердит летом вдесятеро против других времен года, когда пахнет либо морем, либо дождевой сыростью, либо чистым снегом, а в краткую пору петербургской весны — травой, листьями, сиренью. Лесков злился на город, а еще больше на самого себя. Он знал, что настоящим петербуржцам здесь никогда дурно не пахнет. Говорят, у Достоевского плотоядно шевелились ноздри, когда он шел через Сенную, будто вдыхал не настой дегтя, конского навоза и мочи, деревенского рассола и гнилой соломой, а нежнейшие ароматы. Не смущал Петербург и чуткого носа Пушкина. Беда в том, что Петербург так и не раскрылся Лескову, несмотря на все его славословия — печатные и устные, — как не раскрылся до конца никому из русских писателей, кроме Пушкина и Достоевского. Такие бытописатели и знатоки Петербурга, как Всеволод Крестовский, разумеется, не в счет.

Пушкину Петербург был высок и дивен, как могут быть дивными лишь в исторической памяти человечества Афины Перикла или цезарийский Рим. Афиняне золотого века и древние римляне, конечно, не так очарованно воспринимали обстав своего каждодневного бытия. Надо быть Пушкиным, чтоб, отметя трущобы, пустыри, грубую, бьющую в нос невоплощенность стройных замыслов градостроителей, слякоть и грязь, морось и промозглый ветер с Невы, видеть волшебный город, будто родившийся из прозрачного сумрака белых ночей, город, который ничто не может унизить.

А Достоевский нашел тут и более сложную поэзию — белые ночи и тишина пустынных набережных, вспугнутая торопливым постуком женских каблучков, чудно и чудно уживаются у него с жутью темных переулков, мрачных дворов, гнилостных лестничных клеток, располагающих к убийству, а таинственный страшно-ватый город манит, пленяет душу.

Лескову же воняло...

Расстроенный, он вошел под сумеречный, чуть отдающий склепом свод галереи Гостиного двора. По обе стороны шли лавки и лавчонки, откуда сперто и заманчиво дышало стариной: пыльными коврами, гобеленами, тленом полусгнивших рукописных книг, расчищенной нашатырем бронзой, лаком. Тяжелые крылья носа Лескова раздувались, вбирая знакомые и всегда возбуждающие запахи. Но что-то мешало ему сегодня самозабвенно зарыться в благодный мусор минувшего.

Прошлой зимой он ездил сюда с Дроном, приходившим из училища на воскресную побывку. Они брали извозчика от Таврической до угла Садовой и Вознесенского — добрых четыре версты по свежему колючему зимнему воздуху. А затем обходили не спеша Ново-Александровский рынок, Апраксин двор и гостинодворскую галерею, и ему нравилось показывать сыну, как ловко умеет он находить жемчужное зерно в навозных кучах старьевщиков, угадывать ценность какой-нибудь закопченной доски, едва различимой уголком в завале всякой дряни; как цепко и необходимо для продавца торгуется, сбивая цену чуть не вдвое, как может с каждой протерью поговорить на особом языке: с «князем» — татарское словцо вернуть, с букинистом — уместный славянизм кинуть или двоегласным созвучием на вирш блеснуть; петербургскую жулябю трющобным, крепчайшим заворотом осадить. Но, конечно, куда полезнее была для юноши та россыпь культурных сведений, которой щедро делился отец.

Сколько узнал Дрон и о стилях разных эпох, и о художественных манерах русских иконописцев и французских графиков, какое эстетическое богатство приобрел, вышагивая за отцом по холодным плитам галереи. «Но почему у него всегда было такое нищенское, неодоухотворенное лицо и капелька под носом? — раздраженно вспомнил Лесков. — Все ежился, непоседа, да шаркал ногами, будто ему невтерпех в танцевальный зал? А может, ему просто холодно было? — вдруг грустно спросил он себя. — Зяб до костей в шинелишке, подбитой ветром, казенных ботинках без калош — не положены кадету, — да белых нитяных перчатках? Где уж тут наслаждаться образами строгановского пошиба, копиями с Лиотара, старинным изданием «Юности честного зерцала», булями да жакобами!.. А, чепуха! Молодой человек, кровь с молоком, не может коченеть, как кисейная барышня, в мягкой петербургской зиме. Я в его годы...» Но настроение было испорчено. И, купив всего лишь бюстик Сократа на мраморной розетке и не обманывая себя насчет его художественной ценности — ры-

ночный товар, но сгодится в пару к бюстику Гете, купленному ранее в некой иллюзии насчет промашки невежественного торговца, — Лесков покинул галерею и вновь оказался на Невском.

Он пошел в сторону Аничкова моста, тяжелее обычного опираясь о камышовую трость и прижимая к селезенке завернутого в розовую бумагу Сократа, и вскоре увидел на углу Невского и набережной Фонтанки крупную, осанистую фигуру Терпигорева-Атавы.

Могутен, избыточен слегка обрюзгшим телом был певец дворянского оскудения. А нарочито широкая, не мешающая размашистым движениям одежда еще более увеличивала место, занимаемое им в пространстве. Большое лицо с сильными, грубыми чертами, отнюдь не дворянскими, хоть и происходил из тамбовского потомственного, а кучерскими, вполне гармонировало со статью.

Лесков любил Терпигорева, хотя и считал его сильно сродни Ноздреву. «Пустобрех всяя Руси» был столь же привержен Бахусу, как гоголевский герой, так же охоч до картишек и женского пола, так же безоглядно лез в спор и так же готов был загулять с кем попало. Но у Терпигорева в отличие от пустейшего Ноздрева был талант, и недюжинный. Его судьбу решила одна фраза Некрасова, оброненная мимоходом в ответ на элегический взрыд Терпигорева, что упустил он себя, а сейчас поздно!.. «Почему же? — спросил Некрасов. — И по отаве трава растет». Он подарил Терпигореву внезапную надежду, веру в свои силы и несколько вычурный псевдоним. Очень скоро безвестный Терпигорев прогремел на всю Россию под именем Атавы своими превосходными очерками.

«До чего же велика и неохватна русская литература, — внезапно умилился Лесков, — если такой талант, как Терпигорев, не принимается в расчет вершителями литературных судеб! Да и сам он отнюдь не по-ноздревски, с трогательным смирением считает себя журналистом, а не художником слова. А ведь в первоклассных западных литературах автор под стать Терпигореву был бы ох как на виду! В Германии он наверняка памятника бы удостоился, во Франции стал бы одним из бессмертных, а в Англии — каким-нибудь баронетом. Хорошо звучит: баронет Терпигорев или баронет Атава! И стоит этот несбывшийся баронет на углу Невского и, ничуть не сокрушаясь несоответствием своего дара с признанием, довольный собой, заведшимися свободными деньжонками и еще не отказавшим пищеварением, прикидывает, где бы и с кем бы почесать языки за графинчиком холодной водки и острой закуской. Ах, русские, русские люди, неведомо для самих себя и не гордо несете вы в смутном существе своем громаду российских просторов, неохватную ширь вскормившей вас земли. Потому все так крупно в вас: достоинство и пороки, талант и небрежение им, буйство ума и умственная лень, размах и щедрость...»

Терпигорев, озиравший Невский, прохожих и экипажи, тоже

приметил Лескова и не шагнул, а колыхнулся ему навстречу, ронзив ветер. Друзья сердечно поздоровались.

— Совершил обход гостинодворской сокровищницы? — сказал Терпигорев, увидев сверток в розовой бумаге. — Никак, зуб Бориса и Глеба отыскал? — захохотал он звучным, аппетитным хохотом.

Но Лесков даже не улыбнулся. Он не любил шуток над своими коллекциями и приобретениями, к тому же пребывал отнюдь не в смешном настроении. Он насупил брови и опустил сверток в карман пальто, сразу некрасиво отвисший. Не дождавшись ответа, Атава расценил положение как угрожающее и прибег к безошибочному приему — сделал предметом насмешки самого себя.

— А я вот приобрел кое-что для своей библиотеки, — сказал он нарочито серьезным тоном. — Шато-Латур издания 1871 года. Не желаешь ли почитать?

Лесков ухмыльнулся. На полках «библиотеки» Атавы вместо книг стояли бутылки коллекционных вин.

— Как-нибудь в другой раз, — сказал Лесков. — Не в духах я нынче, Сергей Николаевич. Уязвлен многими бедами и несчастьями.

«А когда ты не уязвлен? — подумал Атава. — Сколько я тебя знаю, любезный друг, вечно ты уязвлен, отягощен, раздавлен и чуть ли не насмерть убит бесчисленными «вредами». Газетчики и критики, литературные друзья и недруги, домашние и близкие, киевская родня и родня кагарлыцкая, братья и старушка-матушка, Лампадоносцев и Георгиевский, редакторы и цензоры, церковники и нигилисты, домовладельцы и прислуга, колыванские бароны и эзельские члены-советники купального комитета, женщины и дети — все сговорилось довести твою больную печень до угрожающего раздутия, как у огорченного розгами налима в трактирном садке. Но ты все же справляешься, друг, и с настоящими, и с мнимыми напастями. Объяснил бы мне лучше, как это, находясь в непрестанном борении с окружающими и видя сквозь увеличительное стекло все изъяны человеческих душ, создаешь ты своих праведников, подвижников, святых чудачков, чистых сердцем Голованов, Ахилок, Туберозовых, плодомасовских карликов? И богатырей земли русской, вроде очарованного странника Флягина или рваненького гениального Левши? И я, давно узнавший всему цену и за версту чующий малейшую фальшь, расчет, обман, подтасовку, разоруженный и растерянный, реву как белуга над твоими вымыслами?»

Терпигорев знал, что Лесков ждет расспросов о своей кручине, и предусмотрительно помалкивал. Слушать о чужих горестях приятно, когда они не вымышлены. В противном случае ты понимаешь, что человек с жиру бесится, и тогда сочувствие — деланное — дается с мучительным трудом. А Терпигореву не хотелось утруждать себя в такой погожий, ласковый и, увы, прощальный летний денек.

Мимо прохромал чиновник в заношенном вицмундире и порыхлых стоптанных сапогах.

— Ишь, ленивая скотина! — вскользь бросил Лесков, провожая взглядом хромца. — В левом сапоге гвоздь вылез, так будет мучиться, стервец, а гвоздя не забьет.

— Господь с тобой, Николай Семенович! — даже несколько возмутился Терпигорев. — Впервые видишь человека и сразу осуждаешь. Может, он от роду калечный или на войне раненный.

— Ты это серьезно говоришь? — сверкнул глазами Лесков.

— Конечно серьезно.

— И ты не видишь, как он ногу ставит? Прямо и ровно, а под укол схиливает. У калеки вся походка сбита, но на свой лад привычная, устоявшаяся, а этот обормот только еще прилаживается к гвоздю.

Почему-то Терпигорев сразу поверил, что так оно и есть, и впервые не то чтобы с досадой или завистью, а с каким-то грустным удивлением подумал о том, насколько разны видят о с Лесковым окружающее. Вот он заметил хромца и бегло пожалел, а Лесков проглянул до гвоздя в сапоге и с тем открыл совсем иной душевный пейзаж прохожего. И сколько бы подобных различий обнаружилось у них, делись они наблюдениями над промельками уличной жизни! Но Терпигореву такие вот посылы из окружающего были вовсе без пользы, вся его литература строилась на осведомленности, на доскональном, точном, обширном и глубоком знании предмета. Творчества у него кошки на лизок. Лескову же достаточно малой вспышки, чтобы начать творить — не подобие действительности, а собственный мир, овеянный необъяснимой красотой. Он тоже знает жизнь, но главная его сила — мгновенно добираться до гвоздя в сапоге...

— Что-то лазурными гусарами запахло, — сказал Лесков.

Терпигорев диковато глянул на него. Каким бы пронзительным зрением ни обладал автор «Соборян», он все же не мог видеть спиной. А именно со спины Лескова подошел Коростенко, о котором поговаривали, что он служит в полиции. «Лазурными гусарами» с легкой руки Лескова называли в Петербурге жандармов — по небесно-голубому цвету мундиров. Неужели нюх Лескова был так же остер, как и зрение? Сам Терпигорев, сколько ни силился, не мог уловить никакой новой струи с появлением Коростенко. Все так же пахло рекой, нагретым камнем, конским навозом. Но Лесков утверждал, что после посещения Третьего отделения, куда его вызвали пять лет назад в связи с изобретенным им способом запечатывать письма, он чуть не целую неделю «вонял жандармом». Лескову показалось — не без оснований, — что его письма перлюстрируются. Тогда он заказал одному умельцу с Васильевского острова печатку с надписью: «Подлец не уважает чужих тайн» и стал ею — по сургучу — запечатывать свои письма. Чины «черного кабинета» оскорбились, и в результате Лескову пришлось наведаться на Гороховую. «Сил нет, — дол-

го спустя жаловался писатель, — и в бане парился, и ванну хвойную что ни день принимаю, а все жандармом несет».

Терпигорев относил это за счет обычных лесковских преувеличений, того грандиозного вздора, до которого был люто охоч писатель. Да неужто сейчас на Лескова впрямь пахнуло полицейским участком? Быть того не может! Если уж принюхаться к Коростенко, то почувешь раздушенного и напомаженного петербургского хлыща, а никак не полицейского. И все же Лесков угадал!

Коростенко поздоровался с развязно-искательным видом человека, знающего, что его присутствие нежелательно. Лесков что-то буркнул в ответ, но не поклонился. Его сильное лицо напряглось и потемнело, и Терпигорев открыл в своем друге неожиданное сходство с Иваном Грозным. «Если бы ему похудеть, подсушиться, был бы вылитый Иван Васильевич!» — со вкусом решил Терпигорев.

Лесков был причастен к появлению Коростенко на околотитуратурном горизонте Петербурга. Мать этого человека находилась в свойстве с популярным доктором Алферьевым, дядей Лескова, у которого будущий писатель нашел приют в счастливую киевскую пору своей жизни. Студентом Коростенко печатал стишки в обличительном духе, за что был выгнан из университета. Попытавшись жить от журналистики, он скоро понял, что фортуны надо ловить в столице, и прибыл в Петербург с рекомендательным письмом Алферьева к уже набравшему литературного веса племяннику. Лесков, и вообще-то охотно помогавший молодым, действовал тут с особой горячностью. Сохранив благодарное и недоброе воспоминание о гостеприимстве дядюшки, поселившего его во флигельке своего поместительного дома, но забывшего приглашать к обеду, Лесков хотел сполна рассчитаться за приют да и собственную гордыню потешить. Поэзии Коростенко он сочувствовать не мог, тем не менее открыл ему дорогу во многие газеты и журналы. Коростенко оказался человеком цепким, вскоре его уже знали и в Петербурге и в Москве. Особой популярностью он пользовался у студентов. Но ведь от стихов, к тому же обличительных, не построишь палат каменных, между тем с некоторых пор Коростенко стал жить более чем достаточно: квартиру изрядную у Пяти углов снял, обзавелся модным платьем, столовался в дорогих трактирах. И в обществе дружно заговорили, что он служит в полиции.

Будучи от природы человеком незлобивым, но из беспокойной породы остромыслов, Терпигорев не без удовольствия ждал и кисленького и солененького от встречи Лескова со своим протеже.

Коростенко был очень высок и худ, с маленькой головой. Его фигура утончалась, уходила ввысь, как в перспективу. На лице не хватало кожи, и, улыбаясь, он обнажал весь оскал — нижние и верхние десны и два ряда частых, мелких, очень белых зубов. То и дело оскаливаясь, Коростенко поведал, что в подражание «высокочтитому иересиарху» Николаю Семеновичу он создает сейчас нечто в «божественном духе».

— Евангелие от Иуды, — мрачно уронил Лесков.

Терпигорев ухмыльнулся, довольный, что его ожидания начинают сбываться. Над бархатным воротником уходящего вверх узкого английского пальто Коростенко возник оскаленный череп и задержался в несмыкающейся судорожной усмешке.

Коростенко, видимо, ждал развития боевых действий, но почему-то очередного удара не последовало. Лесков насупилсья, притемнился, и Терпигореву почудилась в нем тайная лютая печаль. Он хотел было сам приняться за Коростенку, зная прекрасно, что человека, совершившего такую метаморфозу, все равно ничем не проймешь и даже не обидишь, разве что слегка всполошишь чисто практической заботой: не помешает ли рассекреченность столь удачно начатой службе, — но Коростенко опередил его.

— Достославный муж Гатцук, — сказал он, ломаясь, — затеял серию литературных акафистов и привлек к сему мя, грешного. В великом сумлении пребываю, с кого начать, кто более других достославных возвысил на святой Руси наше дело.

— Ваше? — переспросил Лесков. — Фаддей Венедиктович Булгарин. С него и начинайте.

Терпигорев хрюкнул от удовольствия. Коростенко же поступил простейшим способом. Он изо всех сил замахал пронесившейся мимо карете, будто увидев знакомых, и, буркнув: «Честь имею!» — кинулся вдогон журавлиным шагом.

— Интересный сюжетец, — сказал Терпигорев, — от обличительного стихотворца до полицейского агента.

— Сюжетец весьма пошлый, — сказал Лесков, и опять на собеседника пахнуло грустью и подавленностью. — Таких соавторов завалялось, и не только среди поэтов. Не задалась судьба, не пошло дело, где хочешь, в литературе, науке, журналистике, практической деятельности, капиталов нету, а жить хочется и бесщеславия одолевает, чего же проще и удобнее — доносительство. Платят хорошо да и на всякие там грешки в либеральном роде сквозь пальцы смотрят. Кстати, вот тебе сюжет куда оригинальнее — из агентов в литературу.

— Нежизненно. А сколько, по-твоему, получает Коростенко?

— Булгарин и Греч подняли цену на литературный донос. Получает достаточно., Бог с ним... Пойду я, Сергей Николаич, — сказал Лесков с тяжелым вздохом и тем же выражением подавленности, что уже дважды было подмечено Терпигоревым. — До лучших дней.

Терпигорев задержал его руку.

— Здоров ли, Николай Семеныч? — спросил он участливо. — Какая хвороба тебя снедает?

— Телом я здоров, — угрюмо проговорил Лесков, — а духом сломлен. Сын у меня не удался. И нет ничего горше и язвительнее для родительского сердца видеть, что твой единственный, в муках рожденный сын — дрянь и ничтожество.

Поразительное признание не сразу дошло до Терпигорева

своей главной сутью в силу глубочайшего наслаждения — комического и психологического, — доставленного ему выражением «в муках рожденный». Это было так отменно по-лесковски, что у Терпигорева аж дух перешибло, словно на руки пришли одни козыри. Расставшись с матерью Дронушки, Лесков, видимо, лишил ее доли участия в создании сына. Это он сам, единолично, в муках рожал Дрона. Это его корчило на смятых простынях под жесткими и ловкими руками повитух. И Терпигорев мог бы поклониться, что, произнося слова о муках, оплативших появление на свет Дронушки, Лесков испытывал терзающие женские боли в крестце и чреве.

Пережив в себе чуть стыдную в данных обстоятельствах чисто художественную радость, Терпигорев вспомнил и о прекрасном сыне Лескова, семнадцатилетнем Дроне, умном, ласковом, терпеливом, не по годам серьезном. Ему вроде и восьми не было, когда родители расстались. Едва шагнув в пору отрочества, Дронушка взвалил на свои слабые плечи заботу о доме, об удобствах — и внешних и внутренних — отца-писателя. Поиск квартиры — у Лескова была страсть к перемене мест, — переговоры со швейцарами, дворниками, истопниками, непрошенными визитерами, улаживание неловкостей между отцом и матерью, а также дочерью Лескова от первого — скорбного — брака Верой, и от многих иных докук освободил Дронушка капризного, нетерпячего, безудержного и в гневе и в самоистязаниях отца.

Он прекрасно учился, был примерного поведения, но стоило ему чуть оступиться — с кем не бывает? — как отец мгновенно отбрасывал устав мужского равенства и без малейшего угрызения совести посылал кухарку в дворницкую за розгами. Но у мальчишка было прекрасное сердце, и, хотя что-то там твердело, ссыхалось в незабвении горькой и несправедливой обиды, он не переставал любить и даже жалеть отца. Поразительно было, с какой нарочитой жестокостью наносил Лесков удары по хрупкой психике молодого, доверчивого, не обросшего защитной коркой существа. Для своих самодурных опытов он выбирал непременно либо день ангела сына, либо какой-нибудь умилительный праздник, либо мгновения полной разоруженности юной души, безошибочно им угадываемой. А ведь он по-своему любил сына. Он, порвавший последние слабые связи с киевским кланом Лесковых, с дряхлой матерью, сестрами, вычеркнувший из души жалкую дочь Веру, обвинивший бывшую жену, мать Дронушки, в гибели своего семейного счастья, хотя не было сомнений, что погасил домашнюю лампу сам Николай Семенович, не терпящий никаких уз, обязательств, кроме велений творческого духа. Но и с единственной привязанностью к сыну что-то сталось, и здесь закрутило, закорчило крутого человека. Неужели и деликатный Дронушка неведомо для себя встрял между Лесковым и письменным столом с побитым молью, закапанным свечным воском и ламповым керосином старым зеленым сукном? И понадобилось избавиться от него,

вытолкнуть вон из внутренних пределов, чтобы там беспомешно гуляли умственные и духовные вихри.

«Черт бы побрал эти больные таланты!» — бесился про себя Терпигорев. Буревое, темное, непреклонное лицо Лескова делало безнадежным всякие попытки разубеждения.

— Опять в печенях припекает? — сказал без улыбки. — А я был бы счастлив, будь Дронушка моим сыном.

— Что ты знаешь о нем? — с невыразимой горечью сказал Лесков. — Ты видел сейчас этого бывшего молодого человека? Видел, какой дрянью вырастают забалованные сынки?

— Николай Семенович, опомнись, при чем тут Дрон? И чего ты равняешь своего парня со всякой мразью?

— Себя я должен казнить!.. Себя!.. — Лесков прижал крепкий кулак к полиловешей рогатой вене на виске.

Почему такие люди, как Лесков, вечно готовы казнить себя, но казнят других, и обычно самых близких? Помолись, Дронушка, тебя ждут серьезные испытания. Так вот отчего туманился наш крутохват, когда тут терся Коростенко! Он Дронушку к нему примерял. Надо же!.. Неужто могут сочетаться в одном человеке такая прозорливость, что гвоздь в чужом сапоге видит, с такой слепотой к самому родному?..

Расстались писатели не то чтобы холодно, а как-то недоуменно, словно не понимая, почему вообще так долго пробыли вместе. Лесков, кинув трость вперед и опершись на нее, как на посох — Терпигореву сразу вспомнился посох, каким Иван Грозный поразиł висок сына-царевича, — перешел Невский, а Терпигорев взял путь через Аничков мост к знаменитому трактиру Палкина.

От тажкого неюта и черных ветров, нагнанных крутым человеком, ему захотелось в тепло и приятельство, захотелось чего-то хорошего для себя. Удобно устроившись на мягком плюшевом диванчике в славно протопленном малом зале трактира, он заказал графинчик водки, зернистой икры, балыка, уху с расстегаями и бараний бок с гречневой кашей. Музыкальный ящик тихо наигрывал «Не пробуждай воспоминаний», весело потрескивали сухие березовые дрова в камине, и калориферное тепло казалось родившимся от живого, яркого огня. Многие посетители кланялись Терпигореву, другие отзывались на присутствие известного, но лично незнакомого писателя лестным округлением глаз. Хорошо все-таки, что он поверил Некрасову и вновь взялся за перо, выпавшее было из потерявшей уверенность руки. Зазеленела молодая трава по выкошенному полю. И тут из голубоватого табачного воздуха будто выплыл тревожный и грозный всевидением, всеслышанием, произволом чувств, страшный и неподсудный образ злого колдуна-медоуста, и меланхолически вздохнула душа: да, растет трава по отаве, только какая это трава!..

Лесков вернулся домой, и первое огорчение постигло его прямо на пороге. Прихожая тонула в клубах кухонного дыма. Эта вообще-то удобная, славная квартирка отличалась одним недо-

статком — даже при открытых в кухне окнах смрад и чад проникали в прихожую, а оттуда разносились по комнатам. Прихожая словно вытягивала, высасывала из кухни все миазмы. Приходилось отпахивать на ширину медной цепочки входную дверь, чтобы гастрономический дурман утекал в лестничную клетку.

Огорчение Лескова было вызвано не привычным чадом, а тем, что он крепко отдавал жареными куропатками. Ничто так не любил знающий толк в яствах писатель, как жареных серых куропаток. Он предпочитал их не только грубоватым тетеркам или изысканным с пригоречью рябчикам, но и нежнейшим, тающим во рту кроншнепам и гаршнепам. Кухарка знала его слабость и частенько с отменным искусством готовила куропаток в сметане, с мелко наструганным, жареным в масле картофелем. Особенно часто заманчивое блюдо стало подаваться на стол в последнее время, когда он громогласно заявил, что грешно и гадко есть убоину. Не из угождения кумиру своему Толстому решил он отказаться от рыбы и мяса, просто не мог дробить зубами плоть и кости созданий божьих. Ну если оставаться до конца честным, отвращение его к мясной пище было пока еще скорее духовного, нежели физического толка. И кухарка, будто нарочно, подвергала его решимость, не поднышающую до фанатизма, чудовищным испытаниям. Он устоял вчера перед аппетитными свиными голяшками с гороховым пюре и хреном, перетертым со свеклой, хотя желудок плотоядно бурлил соками, и, давясь, поел творога с овощами, а сегодня чертова баба пострашнее придумала пытку. Сквозь густой, пьянящий аромат дичи он пронюхал и другой запах, ранее навестивший прихожую, — жареной телятины. Стало быть, на закуску подадут холодную телятину в коричневом дрожащем желе. Ах, канальство! Человек суеверный мог бы подумать, что кухарка подослана вражьей силой, дабы помешать спасению прозревшей истину души.

— Дядя, а к тебе гость пришел, — прослышался голос сиротки.

Лесков вздрогнул. Слово «гость» в невинных устах малютки могло означать кого угодно — от нищего до ближайшего родственника, только не того единственного визитера, которого ждал Лесков со всем нетерпением гнева. О Дроне сиротка, как-то недобро выделяя его среди всех, говорила Лескову «твой».

Гость и сам объявился в прихожей, то был Николай Петрович Крохин, просто Петрович, муж младшей сестры, умственная и душевная скудость которой искупалась — частично — обезоруживающей детскостью и наивностью. К сестре Лесков был снисходительно прохладен, а вот мужа ее, скромного акцизного чиновника, привечал из всей родни.

А между тем не было на свете столь противоположных натур, как страстный, гневливый, причудливый фантазер Лесков и тихий, застегнутый снаружи на все пуговицы, а внутри добрейший сборщик неокладных налогов. Впрочем, чему тут удивляться? Антипо-

ды всегда легче сходятся и уживаются, нежели скроенные по одной мерке, — угол не ударяется об угол, а находит спасительный паз.

Несмотря на испытанное разочарование, уж больно не терпелось сорвать сердце. Лесков почти обрадовался зятю. Будет и отдушина для гнева, и сотрапезник, ежели грешный сын не явится в пустой и глупой надежде избежать заслуженной кары. Да и не жалко скормить милому Петровичу всю запретную благодать — телятину в желе и жареных птичек.

— Хорошо, что заглянул, Петрович, — ласково сказал Лесков. — Неважнецкие у нас дела, брат.

— А Дронушка где? — сразу попал в цель Крохин.

Лесков не ответил, только махнул рукой...

Меж тем виновник терзаний крутого человека, не ведая беды, счастливый и радостный, мчался к отцу, чтобы поделиться своей великой удачей. Но не будем заниматься пересказом того, что навечно врезалось в мозг и сердце Андрея Николаевича Лескова и через полстолетия было вверено бумаге с исчерпывающей полнотой и точностью ничего не забывшей и едва ли протившей памяти.

«В 1885 году на выпускных экзаменах я потерпел неудачу. Чтобы сберечь год и успеть попасть затем в какое-нибудь высшее учебное заведение, я решил держать их снова осенью...

31 августа, в первом часу дня, «на крыльях радости», точнее, на хорошем извозчике, поощренном обещанием лишнего двугривенного, я примчался на Сергиевскую и, пулей влетев в отцовский кабинет, не поздоровавшись толком с оказавшимся почему-то здесь же Крохиным, торжествуяще положил перед отцом только что выданный мне желанный аттестат от 29 августа за № 1583. Им удостоверялась моя среднеобразовательная зрелость и подготовленность к постижению дальнейшей учености.

С первого взгляда я понял, что отец встал сегодня «под низким барометрическим давлением»... Пробежав свидетельство с подробным перечнем баллов, полученных мною по всем предметам, он пренебрежительно бросил его в сторону и, вонзив в меня гневом зажегшийся взгляд, жестко произнес:

— Ну и куда же ты теперь с этим сунешься?

Как ушатом ледяной воды, смыло с меня всю радость, нашел столбняк.

— Я спрашиваю тебя, — продолжал отец, — что с этим делать дальше? На что оно годится? Куда сейчас с ним идти?

— Как куда? — едва приходя в себя, заговорил я. — Этот аттестат открывает мне все двери. Он дает мне право на поступление в высшие гражданские институты, в Лесной, Петровско-Разумовское в Москве, в высшие военные училища, позволяет быть допущенным к конкурсным испытаниям в специальные технические институты исключительно по одним математическим предметам.

— Я этого не вижу!

— Николай Петрович, — умоляюще повернулся я к Крохину, — прочтите, пожалуйста, то, чего не видит здесь мой отец.

— Я вижу то, что мне надо видеть, и с меня этого довольно! Куда тебя примут с этим сию минуту?

Я начал перечислять институты.

— Там экзамены уже в разгаре, и тебя там ждать не собираются.

— Тогда буду держать в будущем году.

— Это значит еще целый год болтаться без дела?

— Но ведь туда же иногда держат по нескольку раз!

— Я этого не допущу. Найди себе немедленный выход.

— В таком случае в Константиновское, в Николаевское кавалерийское...

— Это еще что за пошлость! Чтобы твоя драгунская лошадь... мои горбом заработанные деньги? — на лету подхватил он последнее, пропуская мимо ушей все остальное. — Ты упустил время. Сейчас везде все вакансии уже заняты, и ты везде останешься за бортом!

— Вы глубоко ошибаетесь. Довольно вам проехать в Главное управление военно-учебных заведений, и по вашему прошению я буду принят немедленно, так как занятия еще не начались, а некоторое количество вакансий всегда имеется в распоряжении этого управления.

— Куда это еще и зачем я должен ехать! Перед кем это унижаться? Кого просить? В твои годы я сам пробивал себе путь лбом, а не отцовскими хлопотами. Довольно! Я вижу положение всех вернее: тебе осталась одна дорога, единственная, которая подбирает всякую дрянь, — в солдаты! Но этого я видеть не могу и не желаю. Ты поедешь в Киев, к дяде Алексею Семеновичу, и пусть он там тебя обряжает в достойный тебя убор. Но, повторяю, мне это видеть мерзко и не полезно моему здоровью и духу. Собирайся и отправляйся!..»

Повесив голову, Дрон вышел.

— Что скажешь? — Лесков повернул к зятю красное, с раздувшимися на висках и высоком лбу венами, бодрое, почти веселое лицо.

«Неужели он актерствовал? — с тоской подумал Крохин. — Да нет! Это у него искреннее... боевой подъем духа».

— Князь тьмы Талейран говорил: бойтесь своих первых движений — они самые благородные.

— Экий человекознавец! — восхитился Лесков. — В самую точку!.. — Но уже в следующее мгновение он диковато покосился на Крохина, словно усомнился, что тот действительно произнес эту фразу, ведь Петрович ничего не читал, кроме «Нивы», а там

едва ли встретишь высказывания Талейрана. Да и привел его Крохин вроде бы ни к селу ни к городу.

Но Крохин решил удивить его еще больше:

— Тебе иного опасаться надо, Николай Семенович, у тебя первое движение — самое ужасное.

И снова удивление пересилило в душе Лескова всякие другие, более естественные для него чувства. Вместо того чтобы осадить зарвавшегося родственника, он сказал с усталым вздохом:

— Что ж... Всяк своему нраву работает...

Но быстро справился с внезапной слабостью.

— А с чего ты взял, что это первое мое движение? — сказал он опасным голосом.

— А-а!.. — вроде не очень удивился Крохин. — Стало быть, все заранее решено было. И Дронушка зря тут распинался... Грустно это, Николай Семенович, ох как грустно!

— Ну, не твоей дряблой доброте меня судить! — воскликнул Лесков.

Николай Семенович видел в Крохине лишь расслабленную, а потому и малоценную доброту, опирающуюся на крайнюю ограниченность. Доброты — врожденной и неколебимой — было и в самом деле хоть отбавляй. Но этим не исчерпывалась сущность Николая Петровича Крохина. Был еще ум — неигристый, с лентой, но прочный и ясный русский ум, сообщавший поведению сборщика налогов никому не ведомое величие, ибо он все знал про окружающих. Он знал куриную глупость и беспомощность своей жены Ольги Семеновны, но, жалеючи, списывал ей все промашки, неловкости, бестактности, обиды, и непритязательная семейная жизнь их была счастливой. Он приехал в Петербург, исполненный безмерного преклонения перед своим знаменитым зятем, и, познакомившись с ним, ничего не утратил в своем высоком отношении, хотя и сделал одно удивительное открытие: кое в чем, например в оценке близких людей и многих бытовых обстоятельств, тот недалеко ушел от своей малоумной сестры. Крохин, как и большинство нелитературных людей, наивно полагал, что писатели — величайшие человекознаты. Читая Лескова, он восхищался не только красотой, картинностью описаний, но и тем, что тот все про всех понимает. А познакомившись ближе, обнаружил, что волшебник слова даже про своих домашних понимает все вкривь и вкось. Страстное, «печеночное» отношение к людям закрывало истину. Случались, разумеется, ошеломляющие прозрения, открытия, непостижимые угадки, но то были лишь яркие вспышки в густом тумане, заволакивающем дневное зрение души. Оказывается, писатели знают придуманных ими людей и все понимают про них, тонко выводят каждый внутренний ход, определяющий тот или иной поступок, а в окружающих — живых, дышащих, томящихся, смеющихся, горящих, радующихся, рассеянных, добрых, страдающих мигренью и несварением желудка людей — могут ничегошеньки не понимать. Слепота Лескова

объяснялась, конечно, не глупостью, но, коли тебя вечно «ведет и корчит», откуда взяться спокойной и трезвой оценке?..

И Крохин стал жалеть гениального зятя почти так же, как и недалекую жену. В мягком климате его доброты и Ольга Семеновна казалась не глупее людей, и зять иной раз отбрасывал свое зломнительство, заставлявшее его в великой скорби восклицать по Иисусу: «Враги человеку — домашние его!» Но было в Крохине то умное смирение, что предохраняло его от губительных попыток силой своей доброты и ясновидения изменить ущербную суть одной и мучительную суть другого. Он знал, что, кроме беды и крушения, с трудом созданного равновесия, ничего из этого не выйдет. Оставалось жалеть, умиляться, поддакивать, иногда молчать.

Но сегодня он впервые не мог ни поддакивать, ни просто молчать. Жалость к юноше пересилила жалость к слепому отцу. Все разрушил этот человек вокруг себя — прочное семейное здание заменил карточным домиком с придуманной сироткой, но оставил ему господь в неисчерпаемой доброте своей среди всех мнимостей одну истинную ценность — благородного, умного, доброго сына. И с ним он разделался беспощадно. А за какие, спрашивается, грехи? На экзаменах провалился — с кем не бывало? Да и выдержал он нынче эти проклятые экзамены, аттестат получил. Танцевать любит? Тоже преступление! Сам нешто не отплясывал с девками на венской площади? Да что там танцы! А кто в Киеве, на Андреевском спуске, с саперными юнкерами в кровь дрался? Не из сплетен знал об этом Николай Петрович. Сам Лесков в некий добрый час, подкрепившись за ужином густым и пряным самосским вином, умиленно вспоминал о горячих днях своей юности, а потом добавил с улыбкой: «Иной раз обожрешься журнальной руганью и думаешь: чем на бумаге сквернословить, дал бы я Буренину и иже с ним по ремню с медной пряжкой, сам бы оплел десницу сыромятной кожей. А ну, выходи, кто кого? Покажи, чего стоишь! Руби в песи, круши в хузары! Ух, хорошо!» И, схватив камышовую трость, принялся со свистом рассекать воздух, и лицо у него стало молодое и отчаянное, как в далекие киевские дни.

Впервые осмелился Николай Петрович выразить неодобрение поступку Лескова. Он думал, что скорый на расправу шурин попросту выставит его за дверь, но у того, видать, были иные намерения. Вообще-то не слишком нуждающийся в одобрении окружающих, он почему-то на этот раз хотел склонить зятя к моральному соучастию в учиненной расправе над сыном. Так во всяком случае расценил его околичности Крохин. И когда возникла пауза, он сказал с тихим упорством:

— Уволь, Николай Семеныч, чужому человеку нечего меж отцом и сыном встревать.

— «Встревать»? — гневно повторил Лесков. — Кто тебя просит встревать?.. Ты рядом стой, со мной рядом.

— Уволь... — пробормотал Крохин.

Окажись в Лескове раскаяние, боль, он бы немедленно пожалел его своим большим и тихим сердцем, но тот, похоже, не только не раскаивался, а торжествовал, будто подвиг какой совершил. Мелькнувшая было в нем грусть истаяла без следа. Не оправдания, не одобрения ждал старый печенег, а восхищения и своей лютостью.

— Да что ты заладил «уволь», «уволь»!.. Не уволю! — Зять попробовал бунтовать, а всякий бунт следует подавлять в зародыше. — Вот что, завтра ты сам отправишь его в Киев.

— Господь с тобой!.. — через силу прошептал Крохин. — Подумал бы...

Глаза Лескова метнули черное пламя.

— Из Ура Халдейского в Месопотамию посылаю я негодного сына к дяде его Левану, ибо забаловался он и обманывал меня, облекаясь шкурой козьей, — произнес он со вкусом.

«Все кончено, — подумал Крохин. — Для дикого и несообразного поступка уже найдена библейская формула. Слабому зрением, но твердому нравом Исааку уподобил себя безжалостный отец. Бедный, бедный Дронушка!»

— Ну, я пошел, — сказал он, подымаясь.

— Оставайся, пообедаем. Предложу тебе тельца упитанного, хотя сам от него вкушать не стану, ибо не приемлю в пищу трупов.

— Не могу. Жена ждет.

— Ах ты, фетюк! — рассвирепел Лесков, не знавший для мужчины более зазорного слова.

Но с Крохина обидное прозвище стекло как с гуся вода.

— Одинок тебе будет, Николай Семеныч, — сказал он, подвигаясь к двери. — Ах как одиноко!

— Доколе у моего тепла сиротка обогревается, и на меня теплом вея... — начал в тоне проповеди Лесков и вдруг спохватился, что принижает собственный подвиг: — Думал ли ты, Петрович, что испытывал он, — короткий кивок на аляповатую икону, где на троне небесном в курчавых барашках облаков восседал бог-отец, — когда обрекал сына на смертную муку? Но ведь он знал, что, пройдя искусы, испив до дна чашу, сын вознесется и обретет место одесную него. Я же и такого утешения не жду, да и не желаю... Один?.. Да, один. Даже без согревающей памяти! — И Лесков снова метнул горделивый взор на Саваофа.

«Вот оно что! Да он с господом богом соперничает! — осенило Крохина, и мурашки забегали у него по спине. — Уноси ноги, Петрович, не для тебя такие игры!» И с невольным восхищением и ужасом оглянул он тучную, но крепкую, литую, с крутой соколиной грудью, борцовую фигуру Лескова. Да, окажись он на месте сына Исаакова, схватившегося в темноте то ли с ангелом господним, то ли с самим господом богом — в библейской мути пойдй разберись! — неизвестно еще, кто бы кому вывернул бедро.

И Крохин без оглядки кинулся прочь...

Обедал Лесков в одиночестве. Дрон не вышел к столу, а распорядиться о приборе для сиротки — девочка частенько разделяла трапезу «дяди», а подавала на стол ее мать — за всеми бурными событиями он как-то забыл. Николай Семенович успешно противоборствовал князю тьмы — не Талейрану, возведенному в этот сан семинарским остроумием Крохина, а извечному врагу человеческому, — за роскошным блюдом холодной телятины и кусочка не попробовал, удовлетворился легким, тающим во рту желе, начисто освободив память о его мясном происхождении, а вот с куропатками казус вышел. Нечистый, несомненно, имел в союзниках кухарку, которая так расстаралась, негодница, что превзошла самое себя. А вот кто взял в союзники самого князя тьмы?.. Лесков метнул быстрый взгляд в сторону аляповатой иконы. Смуглое лицо бога-отца было, по обыкновению, непроницаемо и невыразительно, и все же... Лесков усмехнулся.

Аромат жареных золотистых куропаток дурманил сознание. От него некуда было деться. Им пропиталась вся атмосфера столовой, и сама душа Лескова запахла жареными куропатками. «Ты не сокрушил моего духа и хочешь осилить плоть?» — яростно думал Лесков, изнемогая в жестокой борьбе. Силы были неравны, по одну сторону Лесков и граф Лев Николаевич Толстой, по другую бог, сатана и кухарка. Численное превосходство обычно решает исход сражения...

Если уж падать, так в пропасть, а не в сточную канаву — он очистил все блюдо, шесть птичек умял прямо с косточками, хрустко прожаренными, оставив на тарелке лишь треугольнички грудных килей. И залил птичек бутылкой подогретого, дабы букет сильнее чувствовался, старого бордо. А потом на десерт налег и на любимое самосское вино.

Конечно, расплата не заставила себя ждать. Послеобеденный сон был тяжел, густ, приторен, как старое самосское, и срамен, сон, достойный молодого монашка, а не мужа, отягощенного годами и мудростью.

Послышался тихий шорох.

— Этэ ты, маленькая? — ласково сказал Лесков и, наугад выбросив руку, поймал тонкое пястье не сиротки богоданной, а ее матери, горничной Кетти. «Какая нежная и породистая рука у дочери перновского домовладельца!» — в который раз удивился Лесков.

Ох, грехи наши тяжкие!

«До чего распустилась! — сердито думал Лесков, когда дверь кабинета бесшумно притворилась за Кетти. — Лезет сюда без спроса, словно я кум-пожарный или бравый денщик генерала Шпицберга. Надо будет подыскать другую прислугу. Жалко, что Дрон уезжает, он бы этим занялся. А сиротку я оставляю, взяв у матери расписку, что не будет вмешиваться в ее воспитание. Ну, увидеться раз в месяц — куда ни шло, все-таки мать... Но частое общение с такой особой не может быть полезным для дитяти...»

Потом он долго плескался в ванной комнате, окатываясь ледяной водой, растирался одеколоном и махровым полотенцем и вышел посвежевшим, бодрым, внутренне упругим. Пока он мылся, над городом прошла короткая гроза, и стало легко дышать. Лиловатый сумрак, выплывающий из Таврических куш, окутывал город. В стороне залива дотлевал огнистый закат. На улице было тихо, так же тихо было и в доме. Приближался заветный час. Лесков задернул шторы в кабинете, оставив открытым одно окно. Оттуда тянуло прохладой реки и дождя.

Он зажег два пятисвечника на письменном столе, очинил гусиное перо.

— Господи! — сказал он всей душою, глянув в темный угол на незримый, лишь угадываемый лик, и осенил себя широким крестом, словно богомаз Севастьяныч, приступающий к новой доске. — Не оставь!..

Потрескивали и оплавлялись свечи в медных подсвечниках. Расщепившийся с первым же нажимом кончик пера побрызгивал чернилами, но другого не было, а металлические, скребучие, мертвые перышки Лесков не признавал. Внешняя неопрятность не мешала словам ложиться ровно в борозду. Душа напряглась и выражала себя без околичностей, объяв собой всех одиноких, непонятых, загнанных, беспомощных, заплутавшихся между земной юдолью и царствием небесным.

В соседней комнате семнадцатилетний Дрон, сданный отцом в солдаты, глотал слезы, укоряя себя: ты же мужчина, ты воин, ты не смеешь плакать! Но слезы вскипали вновь и вновь — не от предстоящей солдатчины, а от жгучей несправедливости, учиненной над ним отцом.

Несомненно, Лесков был бы крайне удивлен, если б ему сказали сейчас, что по его вине может страдать человеческое существо. Исполненный великой, заливающей сердце любви ко всем малым и сирым, он самозабвенно творил святое дело русского писателя.

Что же, значит, мимо скользнул и канул прожитый день? Нет! Все, чем он был наполнен: Дронушкина участь, умирающий изограф, беспокойные глаза сиротки, цезарийская обрюзглость Терпигорева, гадкое видение Коростенко, бунт Крохина, грозные куропатки, легкость Кеттиной руки, стыд, недовольство собой и злая вера в себя, терзания и муки, все, все входило в делание за письменным столом, но преображенное, вознесенное в ранг высшей жизни, справедливости, сострадания, доброты. Тяжки, корявы, неотесаны, грязны камни, взятые для постройки, высоко, воздушно и кружевно сложенное из них здание.

И еще долго, до самой зари, горели свечи в окошке на Сергиевской улице, что не на самом краю, но и не в центре Петербурга, и там, у этого неяркого света, в который раз и все равно наперво могучая творческая сила создавала мир, ничуть не уступающую богу.

Считается, что в тот далекий день Лесков дал русской армии отличного штабного офицера, выросшего в крупного военного специалиста, но лишил русскую литературу первоклассного писателя. Единственная, посмертно изданная книга Андрея Николаевича Лескова — об отце — убеждает, что врожденным даром затейливого, сладко-горького русского сказа был он под стать самому «мудрому мастеру хитростного искусства слова».

Но может ли свободный человек пройти мимо своей сути и судьбы, не стать тем, кем он должен бы стать по очевидным дарованиям? Думается, нет. Скорей всего Андрей Николаевич не дал волю своей подспубной литературности, справедливо посчитав ее «даром напрасным и случайным». И снимем с души Лескова грех, тревожно ощущавшийся им самим, когда он на склоне лет настойчиво и жалко пытался вложить перо в твердую офицерскую руку вполне созревшего и сделавшего окончательный выбор сына.

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

РАССКАЗ

Учитель словесности Елецкой мужской гимназии Варсанофьев ждал гостя: И хотя гость был не столь уж важный — второклассник, подросток лет двенадцати, — учитель не на шутку волновался. Дело было не только в том, что ему, сыну сельского запойного дьячка, трудно давалось общение с «белой костью», заносчивыми барчуками, детьми промотавшихся подстепных помещиков, гордящихся былым величием захудалых родов, но и потому, что он хотел представить на суд этого гимназиста свое новое литературное произведение — рассказ «с направлением» из крестьянской жизни. Учитель словесности писал давно и упоенно, посылал повести, рассказы, очерки в разные журналы, газеты и альманахи, в том числе столичные, и уже несколько раз сподобился видеть свое имя в печати. Два его рассказа появились в «Русском богатстве» и три-четыре на страницах провинциальных изданий. Это давало известное удовлетворение, а главное — надежду, что он «выпишется» в настоящего писателя и навсегда порвет с рутинной провинциальной гимназии, где впустую расходует силы на равнодушных, тупо-насмешливых недорослей. Уж если начистоту, то надежда преобладала над удовлетворением, которым одарили его немногочисленные публикации. Пуды бумаги и ведра чернил извел трудолюбивый, усидчивый сын дьячка, без счета затупил перьев, а результат оставался мизерным. Зато сколько пустого, томительного ожидания, сколько косых улыбок на почте, когда он задавал свой неизменный вопрос: «А мне ничего нет?» Ответы приходили редко, чаще они появлялись на специ-

альной страничке газеты или тонкого журнала — в издательско-грубой форме, словно человек не рассказ или очерк прислал, а тягчайшее перед нравственностью совершил преступление. Наверное, этот лошадиный юмор доставлял удовольствие тем подписчикам, которые не пробовали сил в литературе. Из солидных, толстых журналов приходили ответы, порой весьма обстоятельные, случалось, и рукописи назад возвращали. И трудно сказать, что большее било по сердцу: публичное плоское отношение (он печатался под псевдонимом, но от своих, елецких, не скроешься), умелый, дотошный (всегда несправедливый) разнос в письме, возвращение рукописи с убийственной припиской: «Не подходит» — или просто исчезновение ее в редакционных недрах. Последнее дарило сладким и страшным мучительством: он верил, долго и страстно верил, что рукопись понравилась и вот-вот появится, покупал номер за номером ту газету, тот журнал, куда послал свою вещь, и, вдыхая керосиновый запах свежей типографской краски, жадно искал свое имя, не находил, дергал носом, сморкался в большой клетчатый фуляр и начинал снова ждать и надеяться. Кончалось же все небольшим — дня на три-четыре — запоем. Но бывали же, бывали случаи, когда свинцовую безнадежность прорезал яркий луч солнца и вместо насмешек, сухого отказа, молчания он получал свое напечатанное произведение. И тогда отпускало в груди, будто разжимался какой-то внутренний сцеп вроде судороги, и прояснившимся взглядом видел он, что его проза достойно соседствует с прозой других авторов, порой весьма известных и чтимых на Руси, и что он, учительшка из захолустного Ельца, ничуть не уступает настоящим литераторам. Все дело в том, что они там, рядом, а он далеко, у них связи, знакомства, репутация, а его бедные творения беззащитны, за ними нет равным счетом ничего, кроме отпущенного ему природой дарования, подкрепленного редким прилежанием, да верно избранного направления. Будь он поближе к тем местам, где делается литература, он, конечно, давно бы составил себе имя, но для этого надо, чтобы тобой заинтересовались столичные критики, иначе протянешь ноги и в богатом Петербурге, и в хлебосольной Москве.

Но замечен и назван в перечне молодых литераторов «с направлением» он был лишь однажды критиком солидного журнала «Наблюдатель». Варсанюфьев высоко ставил эту похвалу, относящуюся к тому, что он почитал главнейшим в литературе, и, наоборот, не понимал, когда в письмах-отказах его обвиняли в недостатке художественности. А что такое художественность? Это когда красиво переживают и красиво разговаривают люди, не ведавшие нужды, и очень много описаний природы. Писарев, властитель дум, самого Пушкина за такую литературу вон как оттрепал, все лучшие читатели, и в первую очередь молодежь, враз от бывшего кумира отвернулись. Участь Пушкина предостерегала.

Нет, он на верной дороге. Рано или поздно столбовая эта до-

рога приведет его на Парнас российской словесности, да уж больно долог, неторен и одинок путь! Не с кем поделиться, посоветоваться. Был он тут в городе всем чужой, снимал комнату у богатой, глупой и пугливой мещанки, вдовы акцизного, друзей, даже просто знакомых не завел. Его коллеги-учителя ничем, кроме водки и карт, не интересовались, ничего не читали да и относились к дьячкову сыну, мучающему себя литературой, глумливо-пренебрежительно. Им, замшелым, тупым обывателям, наплевать было на страдания народа, на вопросы. Он и не пытался их разговорить, растормошить, вовлечь в круг своих интересов, ничего, кроме доноса по начальству, из подобных попыток выйти не могло. А в собутыльниках он не нуждался, привыкнув выпивать в одиночку, карты же в руки не брал.

Не лучше были и ученики. Одни строили из себя аристократов, даже какой-то дворянский клуб учредили, другие им остро завидовали, третьи пребывали в нетревожном младенческом идиотизме, противоречащем крепкой стати и всей рано вызревшей мужественности: темному пушку на верхней губе и по челюсти, ломающемуся голосу, грубым мослам; были и просто тихие, пришибленные мальчишки, так и не пережившие разлуки с теплым родительским гнездом; грязно-ярким пятном выделялись драгуны из местных, литой купеческой стати; остальные, вовсе лишенные образа, сплывались в бесформенную, тусклую массу. И все эти, такие разные гимназисты, подобно своим наставникам, ничего не читали. Даже удивительно было, что молодое поколение страны, создавшей едва ли не величайшую литературу века, так равнодушно к книгам. Конечно, иные из них абонировались в школьной библиотеке, но привлекало их лишь развлекательное чтение. Классиков не спрашивали, из русских авторов предпочитали графа Салиаса, из иностранных — Габорио. Исключение являл один второклассник, бравший в библиотеке хорошие книги, преимущественно поэтические сборники. Варсанюфьев давно заметил этого ученика, отличавшегося изумительной памятью на стихи — он запоминал стихотворение с первочтения — и несомненным интересом к его предмету. Мальчик слушал внимательно, всегда готов был к ответу, но почему-то никогда не задавал вопросов. Впрочем, это можно отнести на счет его чрезвычайной сдержанности, проявлявшейся и в отношениях с товарищами. В рекреации он всегда держался особняком, не ходил в обнимку с приятелями, не участвовал в драках и тайных конфузливых перешептываниях, его не ловили в уборной в компании курильщиков. Ничем вроде бы не утвердив себя среди сверстников, он выгадал у них право на обособленность: его не замешивали в молодецкую возню, не задевали, не пытались разыгрывать или высмеять. Все это разглядел цепким писательским глазом Варсанюфьев, как только угадал в ученике родственную кровь.

Помог этой угадке случай. Однажды во время урока математики, когда учитель, бойко стуча мелом, писал на доске условие за-

дачи, заглянувший в класс директор обнаружил, что гимназист на последней парте упоенно читает толстую книгу, к математике явно не относящуюся. Директор ворвался в класс: «Пошел в угол до конца урока!» — «Вы не смеете на меня кричать, — побледнев природно смуглым лицом, произнес ученик. — И потрудитесь говорить мне «вы», я не мальчик». Взбешенный директор схватил с парты книгу (то была «Одиссея»), и оттуда выпал листок с начатыми стихами. Юного поэта едва не исключили из гимназии. Отец примчался с далекого подстепного хутора уламывать разгневанного директора...

Варсановьеву понравился поступок ученика, потому что и себя он считал человеком гордым и независимым. Ему было чем гордиться: как-никак сбежал из бursы, порвал с домом, с церковной средой, без всякой помощи, собственными силенками пробился к университетской учености, стал педагогом и литератором. Но сознание себя незаурядной, творческой личностью уживалось в нем с внешней приниженностью, вернее сказать, с робостью, застенчивостью, отчетливым желанием, чтобы его оставили в покое. Он горбился и, казалось, постоянно что-то выскивал на полу близоруко щурящимися глазами, вздрагивал, когда к нему обращались. Такой повадкой не завоеешь авторитета. И желчный директор, и добродушный инспектор держались с ним небрежно, хотя и ценили как знающего педагога. Но этот тихоня и скромник умел держать класс лучше, нежели иные гимназические тираны. Он ничего и никому не спускал, единицы и двойки так и сыпались с кончика его пера, и тут он действовал столь неуклонно и беспощадно, что оторопь брала разболтанных, дерзких, но в общем-то добродушных оболтусов. Почти все знали предмет плохо, но послушные ученики выезжали на спасительной троечке, а нарушителей порядка Варсановьев резал. И если каждый готов был за дурное поведение на уроке протомиться в углу, отклоняться в коридоре, остаться без обеда, то никому не хотелось за пущенного к потолку чертика, игру в перышки, подсказку или другую мелкую провинность расплачиваться матрикулом. Ведь за этим следовала домашняя казнь, пострашнее всего того, что могут придумать учителя. Варсановьева раз и навсегда вычеркнули из числа учителей, с которыми можно «позволить». Конечно, его не любили, но про себя. Варсановьев, в свою очередь, не любил гимназистов. Он и вообще не испытывал любви к реальным, из плоти и крови людям. Он любил тех людей, которых создавал на бумаге, но не за них самих, а потому, что они представляли несметную рать страдальцев.

Разумеется, Варсановьев, зрелый муж и литератор, не мог видеть коллеги в мальчишке, балующемся стишками, но все же оба кадили одному божеству, и это помогло учителю, изнемогавшему без живого, слышащего уха — коли нету в забытом богом Ельце чуткого слышащего сердца, — превозмочь самолюбивую робость, неистребимую бурсацкую неуклюжесть и довольно ловко, в пра-

вильном сочетании любезности и взрослой снисходительности, с не лишенным юмора намеком на их общее служение музам, пригласить мальчишку к себе на литературное чтение. И стройный, худенький гимназист, от тонкой южной красоты которого тянуло не жаром, а ледком, так гордо и замкнуто было его смугловатое лицо, так отстраняющ твердый взгляд синих глаз, казавшихся черными от зрачков и тени ресниц, согласился неожиданно просто, и если без особого восторга, то, несомненно, с пониманием оказанного доверия. Не полагалось гимназистам ходить в гости к учителям, да и зачем, спрашивается, — водку пить, в картишки резаться?..

И сейчас Варсановьев нетерпеливо поджидал гостя, которого уже не мог воспринимать как недоросля, школяра, ибо собственным доверием возвел его в ранг то ли наперсника, то ли судьи. В давние бурсацкие годы поверял он по ночам одному другу первые, незрелые стихотворные опыты в жалобном духе поэта-прасола Кольцова, но с тех пор утекло много воды, и он окончательно забросил поэзию, в которой ему было тесно, как в одежде, из которой вырос. Свои прозаические произведения он читал вслух самому себе не наслаждения ради, а для критической оценки — на слух лучше ощущалось, что вышло и что не вышло, что нашло выражение в слове и что словом застится. Он читал и правил, и постепенно у него выработался навык неспешного, внятного, в меру выразительного, с ненавязчивой интонацией чтения.

И все-таки он волновался. В его жизнь вступало нечто новое, призванное им самим, но последнее не обеспечивало безопасности: чем еще обернется эта попытка нарушить тишину добровольного да и вынужденного одиночества? И как обходиться с этим баричем, хотя и не вступившим по младости лет в дворянский гимназический клуб, но тящим в темных глазах, замкнутом лице и горделивом поставе небольшой красивой головы сословную спесь, хоть и без вульгарности иных его однокашников? В стенах гимназии они твердо поставлены друг в отношении друга: учитель и ученик. Здесь это не годится. Хозяин и гость? Но куда девать разницу лет? Не может же он обихаживать мальчишку, как человека, равного ему годами и образованием. Отнестись как к ребенку? Но от ребенка не ждут суда. Видеть в нем младшего собрата по литературному делу? Больно много чести юному бумагомарателю. Благо бы, еще в прозе себя пробовал, это что-то говорит о глубине натуры, а стихи, если они не в обличительном роде, под стать детскому греху — знак возрастной неопрятности, минующей с наступлением зрелости.

Может, вообще он все это зря затеял? Только слухи неблагоприятные пойдут. Что, если сказать больным и отпустить гимназиста подбру-поздорову? Он поглядел на аккуратно застеленную постель и едва подавил желание юркнуть под серое байковое одеяло. Вздохнув, он продолжал вытирать кухонным полотенцем блюдца и чашки — хотел угостить гимназиста чаем с бубликами,

для чего хозяйской прислуге, старой Федосьевне, был заказан самовар. Он прибрал и проветрил комнату, сменил скатерть, почистил висячую керосиновую лампу, вынес пустые бутылки и упаковочную бумагу и сам поразился, до чего же уютным и пригожим стало его холостяцкое логово: чистота, порядок, удобная мягкая мебель, герани на подоконниках, нестыдные литографии на стенах. Вот уже сказалась польза от его опрометчивого поступка.

Он только покончил с хозяйственными хлопотами, вознаградил себя за усердие рюмочкой очищенной, когда минута в минуту явился гимназист.

Пока он раздевался в прихожей, освобождаясь от длиннополой холодной шинели, картузика с серебряным значком на околыше, башлыка и калош, Варсанюфьев приплясывал вокруг него, раздираемый противоположными стремлениями. Хотелось помочь замерзшему мальчонке — февраль после нескольких синих оттепельных дней повернул на жгучий мороз, — но боялся уронить свое достоинство и потому предоставил одеревеневшим пальцам гостя самим справляться с пуговицами и крючочками. Варсанюфьев делал много лишних, незавершенных движений и смущенно бормотал:

— Вот так!.. Молодцом!.. Сюда, пожалуйста!.. Давайте вместе... Сами справитесь?.. Ну, и отлично, Ванечка. Вы разрешите, я вас буду Ванечкой называть, в домашней, разумеется, обстановке?

И отчужденно с замерзших, плохо размыкающихся губ слетело:

— Сделайте одолжение.

Узкое лицо пылало сквозь смуглоту, ресницы были влажными от стайвающего инея. Он весь как-то сжался, съежился от мороза и в своей тесной гимназической курточке, с темными примятыми фуражкой волосами, торчащими ушами казался совсем мальчишкой, и учителя поразило, как мог он придавать столько значения его приходу и его мнению.

— Проходите, Ванечка, — сказал он покровительственно. — Здесь тепло, вы скоро согреетесь.

Гимназист прошел в комнату и опустился на указанный ему стул. Он зажал ладони в коленях, а взгляд его, как всегда с мороза, с белизны, чуть подослепший, смеркший, с цепким любопытством забегал по комнате, не пропуская ничего. Варсанюфьев обнаружил с удовольствием, что этот пристальный и не совсем приличный осмотр мало его трогает, и не потому даже, что такого уж высокого мнения о своем бытие, а потому, что правильно определил себя в отношении мальчика. Наверное, следовало бы прямо сейчас напоить гостя горячим чаем, но Варсанюфьев спокойно рассудил: от горячего да сытного его сразу развезет, в сон потянет, и какой тогда из него слушатель. Пусть лучше так переживается, всему свой черед.

Учитель положил на стол рукопись, и вернулось избыточное вроде бы волнение. Пришлось заглянуть за ситцевую занавеску, где в крошечном чуланчике хранились различные припасы и стояла по-

чатая бутылка портвейна, настоящего порто, и бокальчик. Он осторожно, чтобы гость не услышал, наполнил бокальчик и маленькими, неслышными глотками осушил. Утерев губы и усы, он с озабоченным видом вернулся к столу.

— Не знаю, насколько вы в курсе текущей литературы, попадают ли вам петербургские и московские журналы, посему не ведаю, доводилось ли вам читать и мои скромные произведения. — Внушительно произнеся эту ловко составленную фразу, учитель окончательно успокоился — долгожданное чувство превосходства хорошо расширило грудь.

Гость сказал, что столичные журналы попадают ему крайне редко, и он не может считать себя в курсе современной литературы, но что-то Глеба Успенского и Златовратского читал — скучно, особенно у второго. Варсанофьеву такое заявление — обухом по темени.

— Господь с вами, Ванечка!.. Это же властители дум!

— Не моих, — обронил тот.

— Да ведь они о главном пишут. О самой сути. Все остальное — развлечение, мишура, висюльки на люстре — звенят, сверкают, играют, но горят-то свечи, не стекляшки. Ладно, спорить до ночи можно. Давайте лучше читать. — Он прочистил горло и начал: — «Климка Хударев и урядник»... «Сия непридуманная история случилась прошлой весной в деревеньке Сухотиновке Н-ского уезда, Орловской области. Стоя на богатейших землях черноземной полосы, обильных почвенным туком, деревенька бедствовала...»

Читая, Варсанофьев слышал себя будто со стороны и радостно удивлялся, как крепко и ясно ложатся у него слова, потребные для выражения той или иной мысли. Не было ничего лишнего, пустого, служащего для украшения прозаической речи: если пейзаж, так в меру (сельские грамотеи не читают Тургенева, потому что тот слишком много о природе пишет, а Варсанофьеву хотелось, чтоб его произведения дошли до этого нового читателя, недавно появившегося на Руси); если прямая речь, то истинно крестьянская, но без тех идиотизмов и вывертов, или вовсе никому не понятных, или понятных лишь уроженцам данной местности, чем так злоупотребляют писатели из народа. И главное — верность жизненной правде, направление. Да и трогало, прямо за душу хватало, а когда урядник швырнул облыжно оговоренного Клима в холодную, Варсанофьев, чтобы скрыть слезы, кинулся за ситцевую занавеску и принял дозу успокоительного.

Вернувшись, он удивился странному, отрешенно-сосредоточенному выражению лица гостя. Тот будто в нетях пребывал, недоступный звукам земных голосов.

— Вы не слушали, Ванечка? — В тоне учителя не было укоризны, одно лишь огорчение. — Вам скучно?

— Я все слышал, Орест Михайлович, — отозвался тот, не меняя выражения лица. — Последняя фраза: «Он упал на холодный пол и забылся в неизбывной тоске».

— Это многие гимназисты умеют из тех, что спят на уроках, — повторить последнюю фразу учителя.

Отсутствующее выражение сбежало с лица мальчика, взгляд собрался.

— Орест Михайлович, проза не стихи, ее дословно не запомнишь, но спросите меня с любого места, я продолжу очень близко к вашему тексту.

И учитель почему-то сразу поверил, что так оно и есть.

— Простите, Ванечка, вид у вас какой-то...

— А-а!.. Крысы...

— Что-о? — не понял учитель.

— Под полом. Вон там в углу, где кровать.

Учитель прислушался и ничего не услышал.

— Зря вы им в замазку стекло подмешиваете, — сказал Ванечка. — Крысиный желудок сильный, толченое стекло запросто переварит.

— Откуда такие познания? — высокомерно спросил Варсановфьев, которому представилось, что заскучавший барчук хочет его уязвить.

— А у нас на хуторе полно крыс, — просто ответил тот.

— Я не замазывал крысиных дыр, — сказал учитель. — И даже не знал, что есть такая замазка со стеклом.

— А чего же так хрустит? — удивился Ванечка.

Варсановфьев вдруг вскочил и выбежал из комнаты. Вернувшись, заглянул в «утешительную» и сел к столу.

— Хозяйкина прислуга замазывала, — буркнул он.

— Ей бы алмаз растолочь, тогда поможет! — с мальчишеской улыбкой сказал Ванечка, — и чувствовалось, что подтверждение его правоты не доставило ему ни торжества, ни радости.

— Может, вернемся к чтению? — предложил Варсановфьев, на которого препирательство из-за крыс произвело какое-то сложное и неприятное впечатление.

— О, конечно! — сказал Ванечка, сразу становясь серьезным.

Варсановфьев начал читать, и вскоре несколько сбитый голос его вновь обрел глубину и сдержанную выразительность. Как все-таки полезно читать вслух свое произведение другому человеку, пусть и глуховатому к твоей боли, твоим думам. Нет лучше проверки, каждое неверное слово, как поддельная монета на звон, сразу себя обнаруживает. И Варсановфьев с крепнущим чувством гордости убеждался, что нет у него таких фальшивых и ложных слов. Повествование о горестной и типической судьбе несчастного Клима естественно, как поток, стремилось к его самоистреблению. Повесился в остроге горемыка. И вот уже его худое тело закачалось на сопревшей мочальной веревке.

— Нет! — вдруг громко сказал слушатель. — На мочальной веревке, да еще сопрелой, не повесишься.

— В литературе почти всегда вешаются на мочальной веревке, — возразил учитель.

— В литературе, а не в жизни. Я понимаю, так жалостнее. Но веревка или порвется, или развяжется.

— А вы откуда, собственно, это знаете? — ядовито спросил Варсанюфьев. — Неужто пробовали?

— Не доводилось, — последовал ледяной ответ. — И вам не советую, если хотите наверняка. А вот девушка у нас одна пробовала. Только горло ободрала.

— Довели? — спросил вконец обозлившийся Варсанюфьев.

— Понесла от кучера. А он женатый.

— Бог с ней... В конце концов, Клим мог повеситься и на пеньковой веревке.

— Откуда в остроге веревка? По ней из окна спуститься можно. Бежать.

— Разве это так важно? Рассказ ведь не о том. Замучили человека — он и руки на себя наложил. А все эти мелочи, кому они нужны?

— Ну как же?... — чуть растерянно сказал Ванечка. — Нужны, однако... Иначе ничему веры не будет.

— Так на чем же ему вешаться, черт бы его взял! — вскричал раздосадованный Варсанюфьев.

— Говорят, и на рукаве повеситься можно...

— Ладно! — Варсанюфьев вскочил и кинулся за занавеску: нужно было успокоить расхолодившиеся нервы.

— Орест Михайлович, — послышался неожиданно мягкий голос Ванечки. — Пили бы здесь. Там вам, поди, невкусно. Да и облиться можно.

И как в воду глянул — дрогнула рука Варсанюфьева, держащая бокальчик, и посадила рубиновую каплю на белую рубашку. Подглядывает? Издевается?.. Варсанюфьев задохнулся от гнева. Он выглянул наружу и увидел темный затылок со стрелочкой заходящего с виска косога пробора, очень прямую, худенькую спину, хрупкие плечи. Ванечка и не думал оборачиваться, следить за учителем.

— Мой хозяин Бякин, у которого я на хлебах, — говорил мальчик, — раньше тоже кулеминское «Порто» пил, а потом перестал. В него, говорит, жженую пробку подмешивают для вкуса и цвета. И оттого изжога, отрыжка. Он теперь у Разуваева в лавке «Крымское» берет. На пятиалтынный дорожке, но без последствий.

Ванечка по-прежнему не оборачивался и смотрел прямо перед собой. «Что он там еще увидел? — с тоской подумал учитель. — Паука на нитке, клопа на стене или блоху на подушке? Что он еще высмотрел, вынюхал, выслушал в моем бедном доме?»

Варсанюфьев вернулся к столу.

— Вы, разумеется, понимаете, что я не могу предложить вам вина, поэтому и предпочел делать это келейно.

«И с чего вдруг сунулось на язык семинарское слово «келейно»?» — с раздражением подумал Варсанюфьев и нервными движениями стал скручивать папироску.

— Орест Михайлович, закурите Жукова табак. Какой прекрасный запах! Отец всегда Жуков табак курит. И совсем как у вас приготовленный — с перетертыми корешками сон-травы, с мятой и медком. Вам его, наверное, из деревни присылают? В городе такого табаку не найти.

— Да уж... — самодовольно начал Варсановфьев, польщенный тем, что курит один табак с Ванечкиным отцом, известным своими старобарскими замашками. — Пойдите, — спохватился он вдруг, — а вы откуда знаете про Жуков табак? Я в гимназии никогда не курю.

— Так ведь пахнет, — пояснил Ванечка.

«Ан врешь! — обрадовался чему-то Варсановфьев. — Вот и попался, который кусался! Я последний табачок на той неделе скурил и даже упаковку выбросил. А после Федосьевна клопов керосином морила. Не может тебе Жуковым табаком пахнуть да еще с приправами. Ловок больно! Велика хитрость: вызнать все про человека, а после мага-чародея из себя строить!»

— Нет, Ванечка, не пахнет у меня Жуковым табаком. Давно весь искурил.

— Да что вы, Орест Михайлович! — Ванечка чуть конфузливо улыбался: он не понимал игры взрослого человека, вздумавшего невесть зачем запереться в таком пустом деле. — Он же под кроватью...

Не спуская с Ванечки пытливого взгляда, Варсановфьев прошел к кровати, нагнулся, сунул туда руку, пошарил и вытащил картуз, на четверть полный Жуковым табаком.

— Как же я забыл о нем?.. — подавленно проговорил учитель и с некоторым испугом глянул на странного гостя.

— Можно, я вам скручу? — попросил Ванечка.

— Мне, право, неловко...

— Приятное ощущение, когда крутишь, — сказал Ванечка, исключив тем самым любовь из своего предложения, и посучил пальцами.

— Не балуетесь? — поинтересовался Варсановфьев.

— Пока нет.

Этот мальчик удивительно быстро, без задержки менял доверительный мальчишеский тон на холодно-отстраняющий. Он придирчиво следил за тем, чтобы собеседник не переступил какой-то черты. А собственное поведение он так же внимательно наблюдает? Его замечания по поводу крыс, портвейна и даже табака можно ли считать вполне уместными? Конечно, в них не было желания задеть, подковырнуть, этот барчук не избалован и совсем просто относится ко всему житейскому. Видать, не больно роскошествовал в своей Неурожайке или как так их вотчину. И все-таки чуть приметные одергивания Варсановфьев ощущал то и дело: в смене тона, взмахе ресниц, румянце, каких-то легких тенях, проскальзывающих по смуглому лицу. Это раздражало, хотя придаться было не к чему.

— Спасибо, — сказал он, принимая ловко скрученную папироску. — Давайте дочитаем. Осталось совсем немного.

А сам мучительно соображал: нет ли на облитых желчью последних страницах какой-нибудь еще «мочальной веревки», которую только и заметит вьедливый и хладнодушный слушатель. Вроде там все в порядке, а впрочем, кто знает. Теперь он ни в чем не уверен. Но ведь если каждую малость в микроскоп рассматривать, не останется времени и сил для главного. И чуть-чуть торопливо, дабы не сосредоточивалось внимание на второстепенных подробностях, Варсановьев дочитал рассказ и, хоть настроение было сломано, почувствовал его горестную силу. Но, страшась молчания, сразу вскочил и кинулся в кухню распорядиться насчет самовара.

Маленькая пробежка и легкая перебранка с Федосьевой помогли ему собраться. Вернувшись назад, он спросил почти весело: — Ну, как? — и разорвал мочальную веревку, на которую были нанизаны золотистые бублики.

— Хорошо... Не хуже, чем у Златовратского, — улыбнулся Ванечка.

Его улыбка ничуть не задела Варсановьева, а слова обрадовали. Пусть этот недоросль не понимает и не любит Златовратского, тот все равно остается одним из светочей современной русской литературы. А коли у него, Варсановьева, не хуже, по мнению этого маленького эстета, то чего же еще желать? Он не мог сделать ему большего комплимента, и несколько минут Варсановьев не испытывал ничего, кроме тихого блаженства. Мягкие, теплые волны ходили внутри его, плавно и нежно перекатываясь через сердце.

Отчего писатели так устроены, что им непременно хочется нравиться всем и каждому? Нет того, чтоб удовлетвориться признанием своих единоверцев и единомыслов, хочется любви, ну, вот столечко, и от тех, кто их любить не может. Более того, именно от чужих и чуждых, даже враждебных, томительно хочется хоть крошечного признания, хоть оговорки ласковой. Варсановьев давно заподозрил, а сейчас подозрение перешло в твердую уверенность, что Ванечка, верно и сам того не сознавая, принадлежит к недружественному лагерю. К тому, где любят чистое искусство, — в рот им дышло! — кадят Фету и Полонскому и в грош не ставят «направление». Он уже получил подарок, но не желал им ограничиваться. Надо было подвести мальчишку к новым похвалам. И самый лучший способ — это поговорить о частных недостатках, пусть еще за какую-нибудь мочальную веревку подергает, а затем отдаст должное глубине и значительности целого.

— Ну, что я еще наврал? — спросил он с подкупающим добродушием.

Мальчик вскинул на него совсем черные в наступивших сумерках глаза. Он словно колебался: стоит ли говорить или лучше отделаться общими словами. Варсановьев не прерывал затянувшегося молчания. Вздыхнув, мальчик сказал:

— Там у вас весенний ландыш описан... и сказано: горький

запах. Какой же он горький? Это вкус у ландыша горький, если его бубенчик разжевать. У раннего ландыша запах кисловатый, влажный, водянистый, свежий-свежий!..

— Пойдите, Ванечка! — засмеялся Варсанюфьев. — Как это запах может быть влажным и еще водянистым?

— Не знаю... — Что-то растерянное появилось в лице мальчика. — Может... — И тихо, но твердо он сказал: — Да, кисловатый, влажный, водянистый, свежий.

— Да ведь это тавтология: влажный и водянистый, — посмеивался Варсанюфьев.

— Какая тавтология?

— Вы еще не проходили. Повторение. Точнее, определение, повторяющее в иной форме ранее сказанное.

— Так вот же — в иной форме! — обрадовался мальчик.

— Разошлись, Ванечка, разошлись!.. Ну, что еще?

— Еще?.. Помните, мужики-порубики дерево валят? Урядник видит, как ствол зашатался.

— И что?

— А ствол не шатается. Дерево верхом падает. Вы смотрите на него, а оно вдруг как двинется вперед верхушкой. Грозно, страшно! — Он передернул плечами.

Варсанюфьев вскинул брови и ничего не сказал, похоже, до него просто не дошло. Мальчик опять вздохнул.

— У вас Клима только умер, а глаза у него запавшие и веки белые.

— Все так.

— Нет, вначале глаза у покойников выпуклые, веки лилово-смуглые, темнее остального лица.

— Ну, это братец... — учитель вовремя поправился, — братец вы мой Ванечка, фантазии! Покойник покойнику рознь. У одного так, у другого иначе.

— Да нет же! — упрямо сказал мальчик. — Глаза не сразу западают, и веки темные. Еще там сказано, что головка у ласточки черная. А она сине-черная. И расквашенный дождями чернозем синий, а не угольно-черный.

— Это, Ванечка, вам все синит! На то и чернозем, чтоб черным быть, иначе бы синеземом назывался.

— Орест Михайлович, вы правда не видите, что черноземная грязь иссиня-черная? — И словно бы жалостливое удивление пробилось в его голосе.

— Нельзя видеть то, чего нет, — сухо сказал учитель. — Придумки, Ванечка, игра ума.

Федосьевна внесла ключом кипящий самовар. Поставила на поднос, да неловко, — из-под неплотной крышки плеснуло крутым кипятком и чуть не обварило руку учителю, хотевшему помочь старушке.

— Экая неловкость! — сказал он в сердцах. — Вот уж верно: до старости дожила, а ума не нажила.

Ворча, Федосьевна удалилась.

— Зря вы ее так, Орест Михайлович, — морщась, сказал Ванечка. — Она же почти слепая.

— Слепая?!

— У нее левый зрачок будто белком испачкан, а правый вовсе заплыл.

Варсановьеву вспомнились многочисленные и почти необъяснимые неловкости и промашки старой Федосьевны, за что ее ругательски ругала хозяйка, грозя уволить, и понял с покорной грустью, что маленький страшноватый наблюдатель опять прав. И сразу перекинулся мосток: небось и у ласточки голова черно-синяя, и синее жирная черноземная грязь, и подрубленное дерево макушкой валится. И если с такой вот позиции пересмотреть его рассказ, то что от него останется?.. В комнате совсем посмеркло. Учитель зажег лампу, и прозрачная лиловость за окнами сразу сменилась тьмой. Он налил Ванечке чая, подвинул сахар, тарелку с бубликами.

— Угощайтесь.

Тот погрел ладони о горячий стакан, насыпал сахару, размешал, попробовал, разломил бублик, понюхал свежее тесто, и все это с таким вкусом и вкусом, что зависть брала. Материальный мир был ему желанен во всех проявлениях, воздействующих на пять человеческих чувств, и, несомненно, он получал о нем больше сведений, чем другой человек, но ведь это не главное, это неизменное, и беден тот, кто лишь чувственно воспринимает действительность. Варсановьев в таком духе и высказался, но мальчишка никак на это рассуждение не отозвался. Теперь пришел его черед не понимать собеседника. И, уже злясь, учитель спросил:

— А вам от товарищей не попадало?

— За что?

— Больно вы приметливы, Ванечка. Товарищи не считают, что вы задаетесь?

— Не знаю. Меня это не интересует.

— Побить могут, — с надеждой сказал учитель.

— Пусть только попробуют! — Темные глаза по-волчьи сверкнули. — Столбового дворянина тронуть? Не советую.

Полезла, полезла сословная спесь! Как это у Щербины? «И предки ваши тем знатнее, чем больше съели батогов». Что-то в этом роде. Но оставим цитату при себе. Он и так волчком глядит. Подумаешь, столбовые!.. Дворяне от столба. Но все эти сарказмы Варсановьев сохранил в душе, а вслух сказал:

— Я ведь просто так... Вы же понимаете, что такое побои для бывшего бурсака? Барабанной шкуре столько палочных ударов за всю службу не достается, сколько бурсаку за один удачный месяц.

Ванечка рассмеялся — сравнение понравилось, и вернулась доверчивая интонация.

— Отец раз хотел мне уши надрать. Мы с ним стояли весной

на крыльце, вдруг слышу — сурки свистят. Отец посмотрел иско-са: ты что же, сурка за версту слышишь? Конечно. Врешь, него-дья! Не можешь ты слышать. И суркам рано еще свистеть. Нет, говорю, свистят. Он крикнул, чтоб подали коня. Вскочил в седло. Если наврал, уши оборву. И ускакал. Вернулся тихий, смущен-ный. Прости, сын, вышли сурки из нор, играют, свистят.

— Занятно, — сказал Варсановфьев. — А все-таки одно такое чувственное восприятие жизни писателя не сделает, нет, не сде-лает.

— А я не собираюсь в писатели, — удивленно сказал Ванеч-ка.

«И слава богу! — подумал Варсановфьев. — Не то, поди, все литературное дело зашатается».

— Но вы же пишете стихи. Может, почитаете?

Мальчик несколько раз отрицательно мотнул головой и низко наклонился к стакану.

— Не настаиваю. Наверное, это правильно, что вы не помыш-ляете о литературной карьере. Писать ради того, чтобы пи-сать, — пустое занятие. Важно, для чего ты пишешь. Вы сказали о моем рассказе: хорошо. Но ведь вы не полюбили моего Клима, его судьба вам безразлична?

Ванечка не ответил. Он макал бублик в чай и с наслаждением откусывал размоченный кончик.

— Ведь не полюбили? — настаивал Варсановфьев. — Скажите прямо, я не обижусь.

Мальчик молча кивнул.

— А почему? — обиженно спросил автор.

— Какой-то он... общий...

— В том-то и штука! — вскричал Варсановфьев. — Это обоб-щенный Клима. Тип современной жизни. Литература должна со-здавать типы и через них решать задачи, выдвинутые временем.

— Но я не понимаю этого! — сказал мальчик с досадой. — У нас есть на хуторе Клима, его я люблю. Он сутулый, волосатый, добрый, от него вкусно пахнет: хлебом, луком, квасом. И руки у него большие, теплые, шершавые. Он меня на лошадь сажал, на меринка Копчика. А про этого вашего Клима я ничего не знаю. Мне его вовсе не жалко, хоть он такой несчастливый. Мало ли несчастных на свете! И чего урядник так над ним зверствует? У нас тоже есть урядник, у него жена чахоткой больна и дочь стар-рая дева.

— Не то, не то, Ванечка! Какое дело литературе до вашего урядника с его чахоточной женой? Нужен обобщенный образ...

И Варсановфьев пустился в пространные рассуждения, излагая свой символ литературной и жизненной веры, но все, что он не раз упоенно проговаривал в себе, как-то странно обесценивалось присутствием этого мальчика, и учителю самому стало скучно. «А у ландыша запах кисловатый, влажный, водянистый, свежий», — вспомнил он, и в груди сжалось.

— Хотите, я вам одну умную книжицу дам, там все изложено. Только, Ванечка, никому ни-ни!..

Мальчик кивнул и вытер рот ладошкой.

«Я, кажется, забыл салфетки, — спохватился Варсанюфьев. — Ну, и черт с ними!» Он достал с полки зачитанный пухлый том в подклеенном переплете и положил на стол.

Ванечка почти сразу стал прощаться. Варсанюфьев его не удерживал. Он уже понимал, что задуманное не получилось. Хуже — получилось что-то совсем другое, вовсе ему не нужное и даже вредное. Рассказ вроде бы и не разруган, а сомнение в своих силах навеялось. И не поймешь почему. Плюнуть и забыть! Чепуха все это, или, как говорил благочинный из сельской попovки: «епуха» — это распоследняя чепуха, чепуховее и быть не может. «Епуха! — повторил он про себя, скидывая чары. — Я на верном пути. Усердие, труд, вера в свою правоту — и я буду в Петербурге, меня признает критика и вся читающая Русь. А эта бога нелепица с нюхом собаки, слухом соловья и зрением ястреба заглохнет в елецкой глуши, проедая и пропивая остатки промотанного отцом и пописывая стишки в альбомы провинциальным барышням. Врет он, что не думает о литературном поприще. Думает небось. Только пустое это, коли нет направления. Отыграла, отзвенела, отсверкала дворянская Русь, другие времена, другие люди, другие песни. А ну, расступись, дай дорогу, дьячков сын Варсанюфьев грядет!.. — Вот так всегда действовало на него кулеминское «Порто», принятое на очищенную: к воинственному воспарению подымало дух. — Надо взять себя в руки, а то впрямь невесть чего нагородишь».

Полутьма прихожей не помешала гостю сразу найти свою шинель, картузик, башлык и калоши. Он быстро и ловко оделся, вежливо поблагодарил хозяина за духовные и телесные удовольствия и откланялся. Варсанюфьев выскочил следом за ним на крыльцо и оказался в огромной звездной, звенящей морозом ночи.

— Эк же играют серебром ночные светила! — воскликнул он, подивившись красоте ночного неба.

Прямо перед ним над черными крышами зареченских лачуг лучилась переливчато яркая ограненная звезда.

— Смотрите, Ванечка, какая звезда! Прямо-таки чудо виффлемское!.. Давайте высчитаем, что это за диво дивное...

— А чего высчитывать? — несколько удивленный этим витийском, сказал мальчик. — Сириус... Любимая звезда моей матери.

Он ушел, а Варсанюфьев кисло подумал, что в каком-то смысле этот барчук, белоручка, не больно преуспевающий в науках гимназистик, знает о мире больше, нежели он, педагог и литератор. «И на здоровье!» — решил Варсанюфьев и, просквоженный стынью, поспешил вернуться в комнаты. На столе лежала забытая Ванечкой умная книга...

На другой день Варсанюфьев чувствовал себя прескверно. Он

плохо спал, его мучила изжога, и даже не от кулеминского «Порто», в которое, по любезному сообщению всезнающего Ванечки, подмешивается для вкуса и цвета жженая пробка, а от всего неудавшегося вечера. То была не желудочная, а сердечная, душевная изжога, которую ничем не погасишь.

В узком, лоснящемся на локтях и спине фраке он вошел в класс, пряча глаза и горбясь, неловко кивнул в ответ на шумное и нестройное приветствие учеников и поднялся на возвышение. Боясь, что класс догадается о его состоянии, он произнес перекличку, не подымая головы от журнала и сцепив домиком над бровями бледные, чуть дрожащие пальцы. А закончив перекличку, не переменял позы, показав тем самым, что будет спрашивать. Этим он сразу пробудил в классе страх и уменьшил ту коллективную наблюдательность, какой отличаются разболтанные, рассеянные подростки, когда они вместе и зрение их словно суммируется. Но едва ли уменьшил проклятую наблюдательность одного, видевшего, слышащего, чующего неизмеримо больше, чем три десятка наивных и простодушных оболтусов.

Дурное, мстительное чувство, слившись с нутряным жжением, завладело учителем. Литература, несомненно, искадила личность Варсанюфьева, человека по природе бесхитростного и доброго. Сквозь решетку пальцев он углядел своего мучителя на обычном месте, у стены. Ленивый и неусердный, Ванечка все же не числился в худших учениках и утвердился на «камчатке» добровольно, дабы читать без помех постороннюю литературу: Фета небось и Полонского!.. А ведь уверен, наглец, что его не вызовут отвечать урок, который он, конечно, не приготовил. Да и когда ему готовиться было? Домой вернулся поздно и уж, верно, не стал корпеть над уроками любящий поспать барчук — усадебная привычка, обломовщина! — только поплескал себе на лицо и шею холодной водой из рукомойника с медным носиком, утерся пахнущим цветочным мылом полотенцем и — в постель, в бездонную сладкую глубину отроческого сна. «Что это со мной? — встревожился Варсанюфьев. — Почему я стал так подробно думать? Уж не мальчишка ли наслал на меня заразу бесцельной возни с малостями жизни? Чур меня, чур!..»

Варсанюфьев еще раз украдкой взглянул на Ванечку и увидел, как дрогнуло и напряглось тонкое, большеглазое лицо. Румянец густо налил ореховую смуглоту щек и лба и зардел на острых скулах. «Ага, не выучил стихотворения Никитина! — злорадно подумал Варсанюфьев и тут же спохватился: — Постой, постой! А почему он знает, что я его вызову? Не должно такое ребенку в голову впасть. Это же низко — вызвать после вчерашнего. Выходит, он меня в неблагородном поступке подозревает? С какой, спрашивается, стати, разве дал я ему хоть малейший повод?.. Положим, и промелькнула у меня такая мыслишка, как мог он догадаться? Я не смотрел в его сторону, всего раз, может, глянул из-под руки. Да ведь ему и того достаточно. Небось и легкую испа-

рину на лбу углядел, мне, правда, лоб слегка увлажнило, когда я понял, что он урока не приготовил. А может, своим собачьим нюхом ножной запах учуял — подмокают у меня от волнения пальцы ног. Или я чем другим себя выдал: откашлянул, дыхание перевел, желудком екнул, от него разве что укроется? Ему бы в следователи пойти — цены б не было! Фу-ты, черт, будто голый стоишь! Неужто можно так читать окружающее?.. Тогда это больше, чем внешнее восприятие, — сказал он себе с грустью, — это постижение».

А Ванечка уже начал помаленьку высвобождаться из-за парты: ногу левую подтянул и согнул в колене, а правую в проход поставил для упора, чтобы сразу встать, как только его вызовут. Пальцами по пуговицам забегал, плечами поводит, разминается...

«Вот возьму и не вызову, наблюдательный господинчик! Тем более хоть вы и не готовились, а стихотворение Никитина отбарабаните за мое поживаешь! А мы и не попросим вас стихов читать, мы вас о направлении никитинской поэзии попытаем, мы вас насчет обобщенного Клима прощекочем». И, опережая последнее движение гимназиста, почти вылезшего из-за парты, Варсанофьев торопливо, каким-то враз просевшим голосом вызвал:

— Бунин Иван!..

БОЛДИНСКИЙ СВЕТ

РАССКАЗ

1

Мне хотелось добраться до Болдина путем Пушкина: через Владимир, Муром, Арзамас, Ардатов, Лукоянов. Пушкин ехал на тройке, я — на машине, на моей стороне было преимущество скорости, на его — проходимости: никакой вездеход не сравнится с русской лошадкой. Поэт предсказывал, что хорошие дороги будут в России лет через пятьсот, минуло всего лишь полтора ста с дней зловещего пророчества, но это не остановило ни меня, ни моих отважных спутников: инженера-журналиста Маликова и водителя Геннадия. Безумству храбрых!..

До Мурома, где заночевали, мы катились как по маслу. Утром, на выезде из города, застряли часа на два у переправы через Оку — понтонный мост был разведен, чтобы пропустить грузовые пароходы, нефтевозы, самоходные и влекомые задышливым буксирчиком баржи. Время прошло незаметно: приятно было смотреть, как громадные суда проскальзывают в казавшуюся с берега очень узкой щель, и прекрасен был наш муромский крутой зеленый берег. Среди плакучих берез, ветел, уже замраморевших кле-

нов белели старые церкви с почерневшими куполами, над которыми висели птичьи стаи.

А потом мы переехали на ту сторону Оки, борзо промчались десяток-другой километров, и в смущенной памяти ожили вещи слова поэта. Шоссе, да еще асфальтовое, знай себе тянулось полями, болотами, погорельями губительных торфяных и лесных пожаров начала семидесятых: среди черных, будто обгрызенных стволов пенилась кустарниковая поросль — не вырастали деревья на пожарище, лишь кусты и высокая, слабая трава, — но ехать по этому шоссе было невозможно — сплошные ямы, колдобины и черные глубокие лужи. Откуда они взялись, когда все пересохло, почти как и в том страшном огнепальном году? Болотистые земли нехорошо курились, воздух горчил, и раз-другой вдалеке, в перелесках, мелькнуло пламя, но настоящего пожара мы так и не увидели. Дорогу же, гордо нанесенную на карту, пришлось оставить и пробираться обочь, то большаком, то наезженными по целине, довольно прочными колеями, то по песчаной пыли, не хранящей следов, что было немного обидно, поскольку мы прокладывали путь идущим за нами. Лишь бы до Арзамаса добраться, там начнется превосходное шоссе на Саранск через Лукоянов, откуда до Болдина рукой подать.

Нервическое состояние, пользуясь старинным слогом, в которое повергла нас боязнь завязнуть и бог весть сколько дожидаться подмоги, слегка скрашивало однообразие и одуряющую незаполненность пути. Расстилающаяся вокруг равнина с уже убранными полями, с купаи деревьев по горизонту не давала зацепки глазу. Даже птиц не видно. Редко-редко подпрыгивает хвостиком трясогузка у выпота, угрюмо глянет ворона с телеграфного столба, медленно перелетит дорогу длиннохвостая сорока.

А как чувствовал себя Пушкин в своем подпрыгивающем на ухабах, переваливающемся с боку на бок возке? Мы-то и по бездорожью меньше тридцати — сорока не держим, а с какой скоростью тащили его заморенные лошаденки? Верст десять в час, не больше. Да ведь эдак с ума сойдешь! А Пушкин любил ездить, и если жаловался в стихах на скуку и удручающее однообразие дорожных видов: «...глушь да снег... Навстречу мне только версты полосаты попадаются одне», то это была чисто поэтическая жалоба, литературная скорбь, не имеющая отношения к тому живому удовольствию, с каким он пускался в путь. Он наездил за свою короткую жизнь тридцать пять тысяч верст. Пушкин был на редкость легок на подъем, причем любил ездить один — ямщик не в счет. Легкий, общительный, он радостно вверял себя долговому дорожному одиночеству. Ему не приедался даже известный каждым поворотом, каждым ухабом, каждой будкой, шлагбаумом, верстовым столбом Московский тракт. Но будь я Пушкиным, мне бы тоже не было скучно. Разве гению может быть скучно наедине с собой? Теснятся мысли, образы, неиссякающая внутренняя наполненность преобразует окружающее, делает его участником

твоей напряженной душевной работы. Хорошо быть гением!.. И как странно, что на самом деле Пушкин не мог ни упиваться собственными стихами (просто не мог читать Пушкина), ни ощущать свою исключительность как непрерывное наслаждение. Он любил дорогу — хорошо думалось в карете, но и ему бывало скучно, томительно, отчаянно, и он вовсе не помнил о том, что гениален.

А вообще люди прошлого, воспитанные на других скоростях и ритмах жизни, обладали иным ощущением времени. Они жили на дни, как мы — на часы. Собираясь в гости к Льву Толстому в близлежащую Ясную Поляну, мудрый помещик Фет был заранее готов к тому, что путешествие его продлится не один день. Правда, никто не ездил так страшно, как осмотрительный Афанасий Афанасиевич. Его возок то опрокидывался, то проваливался под неокрепший или растаявший лед, то рушился мост, то на всем разгоне слетала чека, то загадочно вспугнутые лошади пускались вскачь под гору. И пока чинили разбитый экипаж или сани, порванную сбрую, треснувшую дугу коренника, сломанные оглобли, меняли лошадей, а застудившегося, ушибленного Фета отпаивали чаем с малиной, настоями трав, бальзамом, горячим вином с пряностями, смазывали целебными специями, растирали и примачивали, — утекали часы, случалось, целые сутки, но поэт не роптал на задержку и бодро пускался в дальнейший путь или обратный, коль последствия дорожной беды оказывались слишком тяжелы. Но и в последнем случае, окрепнув и произведя необходимый ремонт, Фет снова отправлялся к своему великому другу, чтобы услышать от него резкие упреки, выговоры, а то и разносы за неправильную, суетливую жизнь, но, бывало, — и похвалы новому стихотворению.

Хорошо, что мне подвернулся под руку Фет, — миновали шесть ужасных километров. Больше никаких мыслей не было. Оставалось — томление скуки. Читать невозможно из-за тряски, разговаривать нам с Маликовым было не о чем — мы знакомы пятьдесят лет и за это время уже все обговорили, выяснили и пришли к согласию по всем пунктам. Нужно какое-то событие, толчок извне (толчки на ухабах не в счет), чтобы у нас появилась тема хоть для короткого разговора. Иначе стоит одному открыть рот, как другой уже знает все, что тот может сказать. Водителя нельзя отвлекать — дорога слишком опасна. С некоторым раздражением вспомнилось о Пушкине, пославшем нас в путь. Ведь результатом вояжа должен быть альбом о Болдине: нынешние виды — в фотографиях и рисунках, и литературная реставрация тех ошеломляющих дней болдинской осени 1830 года, после коих невзрачное, никому не ведомое село Нижегородской губернии, Сергачевского уезда стало синонимом вдохновения. Да не просто вдохновения, а не виданного в истории вулканического извержения творческой силы.

И тут я стал припоминать, зачем и в каком состоянии ехал

Пушкин в Болдино. Он ехал улаживать материальную, как сказали бы сейчас, сторону предстоящей женитьбы. Никак не мог он сладиться с матерью Натали, в которой разнуздалось все самое скверное, что от века является сутью сварливой, злобной и глупой тещи. Она ставила неизменным условием, чтобы от жениха было приданое, а где взять? Холодно-слезливый и скупой Сергей Львович расщедрился и отдал сыну «часть недвижимого имущества, состоящего в сельце Кистеневе» — двести «мужеска» душ, заодно обязав его разобраться в гибельно запущенных делах родовой вотчины — Болдина. Довел зажиточное село до разора приказчик Калашников, крепостной человек Пушкиных. Предстояло столкнуться — впервые — со страшным чернильным племенем — крючкотворами-чиновниками, способными запутать и простейшее, самоочевиднейшее дело, а дела беспечного Сергея Львовича пребывали в удручающем беспорядке. Словом, впереди не светило. А позади светила несказанная прелесть юной невесты, но на любимые нежные черты, словно нанесенные тончайшей китайской кисточкой на розово-золотую гладь, наплывали досадно схожие, огрубелые, искаженные алчностью и недобротством черты Гончаровой-матери, и мерк последний, нагоняющий издали свет. Нет, не в благодати, не окрыленный надеждой ехал Пушкин к родовому гнезду в разболтанной карете, то подпрыгивающей, то кренящейся на ухабах, то грозящей опрокинуться, а мимо окошек неспешно влеклась великая пустота российских полей, и откуда-то из глубин этой пустынности уже надвигалась холера, которая запрет его в Болдине, и он будет метаться, как зверь в клетке, рычать и плакать от беспомощности, пытаться бежать и расшибаться лбом о карантинные заставы. Из скрута болей, тревог, надежд, промахов и каких-то еще не разгаданных тайн мы, паразиты, получим дивную лирику, последние главы «Евгений Онегина», маленькие трагедии, «Повести Белкина»...

Я все-таки задремал. А когда очнулся, мы уже не тащились обочь дороги, а мчались по иссиня-лиловому, недавней заливки шоссе навстречу чуду. Как назвать то, что явилось нам меж земель и небом на вершине холма, будто преграждающего дальнейший путь?.. Впрочем, есть палочка-выручалочка у русских писателей, когда им нужно передать потрясенность от внезапного явления прекрасного города — сказочный Китеж... Это действует безотказно. Не потому, что у каждого сложился с детства чарующий образ волшебного града, встающего из лона вод — не в подмогу и громоздкая опера Римского-Корсакова — ее почти не ставят, все дело как раз в неопределенности, смутности образа. Представляется что-то белое, сияющее, струистое, зыбкое, величественное, манящее и завораживающее. Так вот, не буду зря томить читателей: на взлете дороги, врезаюсь возглавиями в небесную синь, вознесся Китеж-град. Посредине высился громадный, модно окупленный собор, перед ним, чуть ниже по склону, раскинулся то ли монастырь, то ли обширное церковное подворье, еще один

собор выглядывал золотыми крестами из-за спины главного, в курчавой зелени, обрамлявшей эту картину, белели портики старинных зданий, синее безоблачное небо поблескивало ослепительными кристалликами.

— Господи, да что же это такое? — воскликнул я.

— Арзамас, — хладнокровно ответил мой друг Маликов. — Город на холмах.

Этот город проезжал Пушкин, здесь позже отплясывал на балу.

Когда Пушкин въезжал в Арзамас, он видел великолепный Воскресенский собор, заложенный в память войны 1812 года, еще в лесах, а достроен собор был уже после его смерти. В первый раз Пушкин не задержался, только сменил лошадей и помчался дальше, торопясь разделаться с докучными делами. Потом он не раз бывал здесь, но неизвестно, свел ли знакомство с замечательными местными людьми: зодчим Коринфским, строителем Воскресенского собора — «приволжским Воронихиным», и еще более удивительной личностью — художником Ступиным, «боярским сыном», байстроюком, учившимся из милости в Санкт-Петербургской академии художеств и создавшим первую в России провинциальную художественную школу, в которой учился и академик Коринфский...

Но уж верно слышал Пушкин, что в пору расправы над разинцами виселицы и шесты с насаженными на них головами стояли от Ардатова до Арзамаса; через Арзамас провезли в клетке Пугачева, и когда местная купеческая женка накинулась на него с проклятиями, узник так зыркнул черными цыганскими очами, что та грохнулась без памяти.

На обратном пути мы задержимся в Арзамасе и проведем здесь целый день; старожилы, хранители и накопители духовных и вещественных ценностей отчего края приблизят нас к душе необыкновенного русского города, заслуживающего особой песни.

А сейчас вперед, чтобы засветло добраться до Болдина. Мы держим путь на Ардатов, оттуда на Лукоянов. Здесь мы с душевным огорчением узнали, что прямая дорога в Болдино, всего тридцать — сорок километров, непроезд. Вот досада — так долго следовать за Пушкиным, можно сказать, колесо в колесо, и потерять его почти на финише. Выходит, что три живых лошадиных силы мощней, чем шестьдесят, сжатых в автомобильном двигателе. Нам надо ехать в сторону Саранска, а перед железнодорожным переездом свернуть налево. Дорога хорошая, лишку в шестьдесят километров — и не заметим.

Сгоряча мы промахнули поворот и спохватились, когда пейзаж резко изменился: вместо лощины — округлые всхолмья, покрытые черными квадратами хорошо возделанных полей. Мы поняли, что, проморгав пограничный знак, вторглись на территорию Мордовии, поставлявшей в пушкинские времена смелых и выносливых кулачных бойцов на деревенские ристалища.

Развернувшись, мы покатали назад и на этот раз не пропусти-

ли погранзнака с эмблемой Мордовской республики, точно вписались в поворот и вышли на прямое и гладкое шоссе. Дорога, по которой приехал в Болдино Пушкин, находится под прямым углом к этому шоссе и ведет прямо к усадьбе.

По календарю мы прибыли в Болдино почти в одно время с поэтом, но если учесть разницу между новым и старым стилем, то дней на десять раньше. Осень тронула желтизной березы, пустила мраморные прожилки по пятерням кленов, подсмуглила листья осин, но до золота и багреца, столь любимых Пушкину, еще далеко, в просторе царит зеленый цвет под чистой синью. И все это хорошо освещается теплым розовым солнцем, начавшим снижение над Лукояновым, откуда полтора столетия назад примчался Пушкин, чтобы осуществить предназначение рока: добыть денег для женитьбы, сочетаться браком с первой красавицей России и подставить грудь под пулю...

2

Я не собираюсь описывать мемориальную усадьбу и все музейные достопримечательности. Существует немало весьма квалифицированных брошюр, где обо всем этом сказано обстоятельно, любовно и лукаво, ибо нигде прямо не говорится, что предлагаемое взгляду экскурсанта всего лишь возможный вариант пушкинского гнезда.

Усадьба Пушкиных не стоит наособь, как в Михайловском, а прямо посреди села, ставшего ныне крупным районным поселком, с кварталами высоких типовых домов, административным, весьма представительным центром, с великолепным кинотеатром «Пушкин», где идет «Петровка-38», с рестораном, магазинами, в том числе очень неплохим книжным, там продавались: «Повести Белкина», публицистика Евтушенко с богатым иконографическим материалом и множество книжек и брошюр, посвященных Пушкину. Мы жадно и бегло осмотрели райцентр, но в его новостроечную часть, где жила сотрудница музея Лада, с которой мы связывали надежды на устройство, проехать не удалось по причине чудовищной иссиня-черной грязи, натасканной на бетонные плиты уличного покрытия колесами тракторов. Этот край входит в черноземную полосу, но многие авторы утверждают, что крестьяне самого Болдина мучались на скудном суглинке, впрочем, черноземные кистеневцы бедовали ничуть не меньше. Мы кинули жребий, кому идти за Ладой, без нее нам крышка: в гостинице готовились к приему научной делегации, прибывающей в Болдино в честь столетия со дня завершения «Евгения Онегина», и поэтому отключили воду — для срочного ремонта водопровода. В должный час вода будет — до сессии еще два дня, но мы слишком закошлатились в дороге, чтобы столько ждать. Жребий пал, как водится, на меня, но черноземные хляби были мне по

пояс, и в путь отправился, натянув болотные сапоги, длинноногий Маликов.

Пока Маликов ходил, жирная, будто живая грязь — она зримо дышала, то подымалась, как опара, то чуть оседала, чтобы вспучиться еще выше, — помаленьку засасывала нашу машину. Опытный водитель Геннадий вовремя заметил опасность и предотвратил беду, въехав на черный бугор, выросший, как потом оказалось, над потонувшим в грязи прицепом.

И тут появилась в сопровождении Маликова румяная Лада в высоких сапожках, она ловко, как козочка, проскакала к машине по каким-то лишь ей приметным бугоркам и кочкам, почти не запачкавшись, и провезла нас на постой в другую часть поселка.

Мы попали в сельское Болдино, лежащее на взлобке. Длинная улица, затененная старыми липами и вязами, была тщательно заасфальтирована и чиста. Оказывается, в конце улицы поселился главный инженер крупнейшего болдинского предприятия, человек серьезный, умеющий требовать и с самого себя, и с других; он поставил условием, чтобы подъездной путь к его гаражу был приведен в порядок, а тракторы и прочая сельхозтехника обезжели стороной магистраль, связывающую его с производством. Требование специалиста было уважено, и Болдино четко разделилось на тонущую в грязи новостроечную часть и чистую, пахнущую травой и древесной листвой — сельскую. Соединяются обе части поселка через образцовый центр, где запрещено всякое движение, кроме пешеходного; там, разумеется, есть доска Почета, куда, на мой взгляд, должно навсегда поместить портрет Пушкина как выполнившего и перевыполнившего план на вечность вперед.

Симпатичная и застенчивая Лада, не забывавшая краснеть хотя бы раз в минуту, привезла нас к дому тети Веры, о которой мы были слышаны еще в Москве как об искусной рукодельнице, певунье знаменитого болдинского хора, гостеприимной хозяйке и вообще замечательном человеке. У нее всегда останавливается талантливый график, иллюстратор «Евгения Онегина» и мой соавтор по альбому Энгель Насибулин, создавший удивительные циклы маленьких гравюр, посвященных Пушкину; один из этих циклов представляет собой как бы раскадровку болдинского дня Пушкина от раннего пробуждения до отхода ко сну: Пушкин встает с постели, ежится, окатывает крепкое тело ледяной водой, одевается, кушает чай, пишет, досадуя на ускользающее слово, скачет на лошади, отдыхает под стогом сена, заглядывается на смазливую посяланку, обедает, читает... Ты с умилением наблюдаешь живого, теплого Пушкина, а не беженца с гранитного или бронзового пьедестала и не литературного генерала, прочитавшего посмертно все статьи о себе в энциклопедических словарях. Блестящий график, потомок тех, кто веками пробовал Русь на прочность — от Калки до поля Куликова, не речист, свое отношение к тете Вере он выразил на городской летней улице гортанным возгласом: «О!» — и так щелкнул мускулистым языком, что

скромная ломовая лошадь в соломенной шляпке взвилась на дыбы, залиvisto заржала и помчалась туда, где степь и запах сухих трав, под которыми почва пропитана кровью былых сражений.

А мне тетя Вера поначалу «не показалась». Я был настроен на встречу с уютной, певучеголосой бабушкой, а предстала рослая, жесткая, горластая старуха на длинных, крепких ногах, с худым носатым лицом, тонкогубая, с глубокими глазницами, то выпускающими, то хоронящими острый, быстрый, пронизательный взгляд. Я вспомнил, что тетя Вера вместе с соседкой тетей Пашей по отъезду в Болдине церкви и попа отпевает покойников и вроде бы совершает какие-то требы — в последнее не верилось, поскольку в православии не рукоположенным это строжайше запрещено. Но, может, они сектанты?..

— Разуитесь! — испуганно шепнула Лада. — В избу нельзя в ботинках, наследите.

— Курить там не положено? — осведомился Геннадий.

— Боже упаси!

Пока мы раздевались и переобувались в сенях (Геннадий — высунув голову наружу, чтобы докурить сигарету), из горницы несло:

— Дверь плотней прикройте! Всю избу выстудите!.. Ты, Ладушка, чего шляешься взад-вперед, даром, что ль, я избу топил?.. Коль входишь — входи! — последнее относилось к Маликову, управившемуся раньше других. — Неча на пороге торчать!..

У тети Веры был очень низкий, почти мужской голос, ее узкое подвижническое лицо толкало мысль к старообрядцам, но эта чепуха отвеялась при первом же сближении с ней. Была она человеком современным, на редкость живым и заинтересованным и, как писал грузинский поэт, «познавшим мудрость, сведущим в искусствах». С этого и началось наше настоящее знакомство, когда тетя Вера вдалась нашумелась по поводу грязи и беспорядка, неизбежно сопутствующих постояльцам, равно — скудости и тесноты своего жилища, неспособного угодить балованным московским людям. Тем самым она познакомила нас с правилами проживания в доме, а заодно и умалила свой быт, чем по контрасту привлекла внимание к его нарядности. Полы были застланы чудесными домоткаными дорожками, полосатыми, бахромчатыми по краям. В расцветке и подборе полос обнаружился такой тонкий и точный вкус, что это натолкнуло наблюдательного Маликова на еще одно открытие: он углядел в ромбовидном окошечке одеяльного чехла жарптичью красу.

— Это лоскутное одеяло? — вскричал он.

— Она самая, — подтвердила тетя Вера. — Ишь, глазастый какой!

— Вашей работы? Можно посмотреть?

— Во дает! — черноглазая тетя Вера обвела нас усмешливым взором. — Не успел в дом ступить, а уже все высмотрел. Как звать-то?

— Анатолием.

— Ага, Натоль, значит. А тебя? — это относилось к водителю.

— Геннадий. Гена.

— Плохо! Тут полсела — Гены. У тети Нади покойный муж — Гена, сын Гена и племянш Гена. У другой соседки — внучек и теленок — Гены. Одного крикнешь — с десятком отзывается. Ты рулишь?.. Будешь Автогена — для отличия. — Она обратилась ко мне: — Ты, по волосам, старшой, представляйся полностью.

— Юрий Маркович.

— Маркыч, значит. А я: тетя Вера — тебе и Натолу. Автогена может бабушкой звать. Нет, я ему в бабушки не сгожусь. Тебе к сорока, поди? А мне и семидесяти нет, я еще молоденька. А теперь глядите мою работу. Нешто вам Андель про нее говорил?

Едва ли тетя Вера знала, что точно перевела с немецкого слово Энгель, служившее именем сыну кочевого племени.

— Мне говорил, — честно признался Маликов. — Я, как вошел, все приноживаюсь. И половики вашей работы я у Ангеля видел. Да он о вас всему свету раструбил.

— Это ж надо! — засмеялась тетя Вера. — Вот не думала, что мое художество так знаменито!

Неожидан и удивителен был ее легкий смех при аскетически-скорбном лице. Смеясь, она разительно преображалась: древнее, иконописное исчезало без следа, щеки разрумьянивались, из темных глаз искры сыпались, уголки тонких губ приподнимались, и что-то бесовское появлялось в ней. Небось лиха была тетя Вера в юные годы! Потом мы узнали, что, в отличие от большинства своих соседок-вдов, она прожила полную женскую жизнь, вот только детьми не больно ее бог побаловал, одной всего дочкой наградил, а той и вовсе детей не дал. Осталась без внуков тетя Вера. Но тоской о них не проговаривается, то ли считает, что нечего судьбу гневить, то ли умеет свое при себе держать. Каждый год с наступлением дождливой осени она уезжает в Иваново, где живет ее замужняя дочь. Поэтому не держит никакой живности, ведь пребывание ее в селе — сезонное. У дочери тете Вере нравится, там магазин прямо напротив дома, с утра пошел и враз отоварился. Тетя Вера в городе не бездельничает: шьет одеялки из лоскутьев. А половики тетя Вера здесь ткет, у нее в сарае — станочек.

— А как вы подбираете лоскутья? — спросил Маликов.

— Прыткий у тебя умок, — одобрила тетя Вера. — В самый корень смотришь. А как подбираю — секрет производства, — она радостно рассмеялась, — секрет от меня самой. Берешь лоскут, к нему другой, нет, чегой-то не сходится. А чего — убей бог, не знаю. Меня раз Андель пытал насчет этого, так мы оба чуть не до слез дошли. Дикие у тебя, говорит, сочетания цветов, тетя Вера, все не по правилам, а красиво. Откуда ты знаешь, что так

можно? А я и не знаю, только вижу, что это хорошо, а это плохо. Подумал Андель: нет, говорит, всежки, я не ухватываю. Ну, а если ты сюда не синий, а желтый лоскут кинешь?.. Нельзя. Я о пунцовом бордюре мечтаю, а ему с желтым не спеться. Андель даже пригорюнился. Неужто, тетя Вера, ты всю эту одеялку распеструщую заранее видишь? Нет, отвечаю по всей правде, ничего не вижу, это душа моя видит. И я ее слушаюсь. Он задумался и говорит: может, ты гений? Чего?.. Обратило лоб наморщил. Пушкин — гений, поняла? Поняла, говорю, значит, я — лоскутный Пушкин. Сроду так не смеялась, как с этим Анделем.

— Энгель хвастался, что у него три ваших одеяла на квартире, — сказал Маликов. — Я там не бывал, только в мастерской.

— А как же! — горделиво подтвердила тетя Вера. — Андель три одеялки увез. Совсем меня разорил.

— Да ведь приятно, поди, что ваше искусство по свету расходится?

— Как тебе сказать? — притуманилась тетя Вера. — И приятно, и больше — жалко. Сейчас ваты подходящей нету. Белая не годится, она в комья и жгуты сваливается, ее никак не простегаешь, а серой не достать. Я вот за зиму только пять одеялок пошила. Две ушли, одной, самой скромной, я сама накрываюсь, две для гостей: сильно веселенькая и задумчивая. Пусть в доме останутся.

— А ты хитрая, тетя Вер, — заметил Автогена. — Умеешь цену набивать.

Почему-то тете Vere необычайно польстило обвинение в прижимистости и деловой сметке. Она так смеялась, что вынуждена была присесть на кровать, крытую «сильно веселенькой» одеялкой, которую я твердо решил приобрести.

Между нами произошел тяжелый торг, едва не приведший к разрыву так ладно начавшихся отношений. Тетя Вера положила за одеяло пятнадцать рублей и на этой цене стояла насмерть. Я давал двадцать пять и тоже не намерен был уступать. Нас развел Натоль, быстро забравший за положенную цену «задумчивое» одеяло и к этому присовокупивший половик за семь рублей. Половик он попросил разрезать пополам и подшить бахрому к каждому куску. После этого тетя Вера дала уговорить себя на мою цену.

— Опять я без одеялок! — ужаснулась она, хлопнув себя по коленям большими кистями. — Ловко же вы меня окрутили!..

Кажется, тут я почувствовал впервые, что в Болдине легкий воздух..

Каким-то образом коммерческие трения не помешали тете Vere позаботиться о самоваре, и, когда предметы народного творчества обрели новых владельцев, она предложила попить чайку. Конечно, мы с радостью согласились и стали вываливать на стол свои припасы. Жена Маликова, образцовая хозяйка, наиболее основательно обеспечила мужа — и вареным, и жареным, и пече-

ным; я оказался богат консервами, сыром «Виола» и колбасой; Геннадий украсил стол овощами, фруктами, крутыми яйцами и бутылкой коньяка — у него сегодня день рождения, о чем он со свойственной ему скромностью помалкивал. Кстати, лишь праздничные обстоятельства помогли нам усадить за стол тетю Веру, уже отобедавшую. Она не могла отказаться выпить рюмочку за здоровье Автогены.

Тетя Вера принципиальная противница чревоугодия; она не ест мяса и наотрез отказалась не только от Натолиевой «убоины», но и от колбасы, сардинок, баночной ветчины и даже от вовсе безобидного сыра.

— Зубов, что ль, нету? — спросил прямолинейный Автогена.

— Зубов полно: и своих, и чужих. Внутренность не принимает. Я как приучена: утром бокальчика три чайку попить с хлебушком, вечером — то ж, а днем картошечки вареной пожую — мой порцион. Больше не требуется.

Чаек тетя Вера сластила только кусковым сахаром, пиленный слишком быстро тает. Тщетно пытались мы соблазнить ее нашими разносолами.

— Я своим хлебушком сытая, — отнекивалась тетя Вера. — Видали, какой у нас хлебушко, небось такой выпечки и в Москве нету.

Хлеб в самом деле отменный — и мякиш, и корочка, он ручной выпечки, и пекут его по старинному рецепту. Болдинцы так любят свой хлеб, что в пять утра бегут к магазину записываться в очередь, отмечая порядковый номер чернильным карандашом на ладони, в десять отмечают, а в одиннадцать уже все отоварились. За минувшее лето тетя Вера лишь раз осталась без хлеба, и то по своей вине: разломиле ее что-то, поленилась отметить да и приползла в магазин, принцесса такая, чуть не в первом часу. А так, все с хлебом нормально, нечего бога гневить...

По ходу застолья рассеялись наши подозрения религиозного толка. Конечно, никаких служб тетя Вера с подругой своей тётёй Пашей не служат, только отпевают покойников, поскольку наделены голосами и много лет пели в знаменитом местном хоре, гастролировавшем по стране. Сейчас от хора лишь прозвание осталось: главная запевала, тетя Алена, померла, отошел и один из певцов-мужчин, другой — обезножел, а звонкоголосую тетю Пашу замучил кашель. «Только и осталось, что покойников отпевать, — усмехается тетя Вера. — А раньше мы и в Ленинград ездили, и в Москву, и в Горький, и в Саранск, и в другие хорошие города. Нас в Питер-двор возили, и в Серги-Троицкую лавру, по телевизору показывали и на фотографии сымали. Но вам мы обязательно споем, не сумлевайтесь, а сейчас давайте лучше за Автогену выпьем, за его здоровье».

— Закусить надо, — сказал виновник торжества.

— Ты меня не неволь. Я чарочку выпью и хлебушком закушу. Лучше налей мне еще бокальчик чайку.

И все-таки один продукт мы тете Вере навязали: Автогена прямо в рот ей вложил крошечный бутерброд с мягким сыром «Виола», тетя Вера ненароком жевнула и одобрила закуску: «Масло — не масло, а мягкая, маленько присолено, и с привкусом. Это вы мне, ребята, угодили. Пожалуй, я этой замазки еще пожую».

Застолье пошло веселей, «Виола» способствовала сближению. Мы надеялись, что разговор сам собой свернет к тому, ради кого мы приехали, но тетя Вера держала себя так, будто Пушкина тут сроду не видали. Слишком явным нажимом легко было ее вспугнуть, я пытался исподволь направить беседу в нужное русло. Эта тактика быстро наскучила Маликову, у которого несомненно есть мичуринская жилка: он не любит ждать милостей от природы.

— Да-а! — протянул он ни к селу ни к городу. — Как ни хорош болдинский хор, а раздавались отсюда песни позвончее!

— Это чем же тебе наш хор не угодил? — озадачилась тетя Вера.

— Не единым хором красна болдинская земля!..

— Это точно! У нас гончары исключительные. В Казаринове, тут недалеча. Цельное производство. Работают цветочные вазы прямо на Горький. Но главный их талант — посуда из черной глины. Такой нигде больше нет.

— Мне Энгель говорил! — вспомнил Маликов. — Она на металлическую похожа и даже звенит!..

— Чего тебе еще Андель нагородил?.. В этой посуде продукты не портятся, и запаха она не держит. Вот в чем ее секрет.

— А где бы такую достать? — загорелся Маликов.

— Заказывать надо. У гончаров. Вы на сколько приехали?

— Дней на пять. Геннадью на работу выходить.

— Не успеете. Глину ищут, готовят... У людей надо поспросить. Намедни я гдей-то такую кринку видела.

— Вспомните, тетя Вера! — взмолился Маликов. — Мне необходимо... жене на годовщину свадьбы подарок.

— Очень у тебя, Натоль, живой ум, — одобрила тетя Вера. — Вот сразу и годовщина подошла. Коли вспомню, сведу.

— Вы бы нам чего о Пушкине рассказали, — бесхитростно брякнул Геннадий.

— А что?.. Мы к Лексан Сергеичу претензий не имеем. Под него нам и промтовары закидывают и продуктики кой-какие... — тетя Вера откашлялась. — Страна о нас не забывает... как мы, значит, земляки.

Надо было не дать ей укрепиться в этой интонации.

— Может, легенды какие есть? — перебил я.

— Чего?

— Легенды. О Пушкине.

— Да этого — сколь хошь! Вон брошюрки на окне — сплошные легенды. Лыгенды, как Андель говорит.

— Вранье, что ли?

— Да это он в шутку! Нешто дедушка Михай Сивохин чего врал? Все правда. Только с комариный нос. Почему рошу Лучинником прозвали и чего Пушкин сказал, когда кистеневские у него лошадь увели. Нету настоящей памяти. Это ведь теперь: Пушкин, Пушкин, великий гений! В школах проходят. А тогда как? Ну, приехал барский сын. Народ об одним надеялся, что хоть сволоча старосту Михайлу Калашникова сменют. Он же и господ своих, как хотел, общицал. А когда до краю дошло, перевел его из Болдина в Кистенево. Тутешние мужики маленько вздохнули, а тамошние захрипели. Но главное вы усечь должны, что народ дюже неграмотный был. На все Кистенево, к примеру, только один мужик буквы рисовал. Никто стихов Лексан Сергеича не знал, да и кому они нужны были? И что он где-то исключительный гений — это все мимо. И что он в Болдине насочинял вагон с тележкой — тоже мимо. Был у него брат Лева, очень, говорят, с ним сродственный, ему потом и Кистенево отошло, то ли вся, то ли часть, и Болдино, но он сам только раз здесь появился, а вот сын его и внук всегда жили. Этих народ лучше помнит: Натоль Львовича и Льва Натолича, особо первого — большой был талант. Ни одной девке спуску не давал. А время прошло, и молва все Лексан Сергеичу приписала. Те были да сплыли, а этого весь мир чтит. Ну, и подарили ему чужие грехи и баловство. В одном народ не ошибся, что оценил Лексан Сергеич болдинскую красу... За твое здоровье, Автогена, чтоб тебе баранку еще сто лет крутить, а посла у Ильи Пророка колесницей править. Там небесам раздолье — дорожных показателей нету, катая по всем небесам хоть по левой стороне. Мазни-ко, рулевой, мне малость этой «Венолы», оно хорошо пищевод смазывает. И бокальчик чайку последний я тебе набуровлю. Поехали! — как Андель говорит.

Мы выпили еще раз за здоровье хорошего человека Геннадия, и тетя Вера, уже непонуждаемая, сама вернулась к пушкинской теме.

— Ученые люди, конечно, глубоко копают, только в стороне, народные пушкинисты, это которые малограмотные, вроде деда Михея, свою ямку роют, и мне очень любознательно, что тут между Лексан Сергеичем и девой Февроньей было.

— А было чего?

— Надо полагать — любовь. Мы, конечно, по-научному не знаем, как там положено, это вам Ладушка скажет, а по-нашему, он засватать ее за себя хотел. И Михай Сивохин тех же мыслей. А он налично знал Лексан Сергеича. Натоль, протяни руку, за тобой книжка про болдинскую старину... Она самая!.. Сверху — улыбается — это Иван Васильич Киреев, который за дедушкой Михеем записывал, а внизу — наш хор. Вон и я свой длинный нос высунула. Натоль, ты грамотный? Прочти третий рассказ Сивохина.

Маликов откашлялся и с выражением прочел:

— «Во время пребывания в Болдине Александр Сергеевич хо-

дил на прогулку к леваде. На этой леваде находился пчельник зажиточного крестьянина Вилянова Ивана Степановича. Здесь стояли пчелиная сторожка и колодец. И подле колодца росла липа, которая и сейчас осталась в заповедном парке. Здесь и увидел Александр Сергеевич дочь Вилянова Февронью Ивановну, которая приходила днем на пасеку. По слухам, Александр Сергеевич ходил в эту сторону на свидания к Февронье, привез ей в подарок шелковое платье и будто хотел засватать за себя».

— Ну вот, — сказала тетя Вера, — коротко и неясно. Когда он ей платье дарил? Ежели в первый раз, откуда платье взялось? Что он за ним, в Лукояново или в Арзамас ездил и сам покупал? Глупости какие! А ежели во второй или в третий — так он уже оженился и поздно ему было Февронью сватать. Мёбли, — тетя Вера с французским прононсом выговорила это странное слово, — он ей, верно, подарил, из дома, а платье... Ладно, не в нем счастье. Отец мог Февронье сто платьев купить, дюже богатый мужик был. Он Лексан Сергеичу десять тысяч рублей занял, а тот, не отдавши, помер. Пришлось папаше его землей расплачиваться. Мы так полагаем, что Февронья знала о приезде молодого барина и нарочно ему у пчельника стрелулась. Ей уже под тридцать было, а все в девках — перестарок. А за кого ей выходить — кругом голь перекатная или пьянь, вроде мужа Ольги Калашниковой. А тут молодой барин из столицы, да еще стихи красивые про любовь сочиняет, Февронья-то грамоте знала. Едва ли она под венец метила, но хоть сердце согреть... — Тетя Вера вдруг звонко рассмеялась. — Ой, не могу, как подумаю об их первой стрече!.. Февронья-то небось красавца гусара намечтала, а Лексан Сергеич на обезьянку помахивал. Я видела Анделя рисунки — маленький, верткий, курчавый. А Февронья мало что красавица, и высокая, и величава, что твой белый храм на заре. Поди, и Лексан Сергеича обомлел, откуда это чудное видение? Иван Степаныч Вилянов ни в чем дочери не отказывал, наряды ей с самого Нижнего привозил, украшения всякие, пудру — Панпадур. Она всему была обучена и под гитару пела — про черную шаль. Это, конечно, посла узналось. А тогда глядели молча друг на дружку два человека и очаровывались.

— Как же они все-таки сладились? — спросил Геннадий. — Вы говорили, что любовь между ними была.

— Была. Да еще какая любовь! Он ей мёбли из своего замка подарил и десять тысяч денег у ее отца занял. Февронья так замуж и не вышла, хотя в Арзамасе — они с отцом туда переехали — считалась по купечеству первой невестой. Да, видно, нелегко после Лексан Сергеича другого к себе пустить. Прожила она сто три года, а ни одному человеку про Пушкина слова не сказала.

— Чем же Пушкин ее взял? — недоумевал Геннадий.

— А он — Пушкин, нешто мало? — спокойно сказала тетя Вера и, видя, что Автогена не усекает, снизошла до объясне-

ний: — Нам... хору нашему, как на первую гастроль ехать, лекцию читали, чтоб не осрамились в случае, если насчет Пушкина пытать начнут. Был он хоть невеличка, а грозной силы: палку о пять пуд и таскал, и кидал, как соломинку. На коне лучше цыгана-угонщика скакал, а разговором мог кому хошь мозги завить. Чего еще надо? Телом крепок, а сам нежный, дыхание чистое, белозуб и стихи читает. Пушкин даже с царицей роман крутил, за что царь ненавидел его люто и сам все его сочинения проверял. Разве устоять было простой деревенской девушке?..

— Жалко Февронью! — от души сказал Геннадий.

— А чего ее жалеть? — с достоинством произнесла тетя Вера. — Лучше день с Пушкиным, чем всю жизнь с дураком...

3

На другой день мы поехали по окрестностям. Начали с Апраксина, где жило дружественное Пушкину семейство, заглянули в Кистенево. Нас сопровождал сотрудник музея, прежде работавший в райисполкоме, — умный и обаятельный человек Алексей Петрович. По дороге во Львовку, перешедшую от Льва Сергеевича к старшему сыну поэта, Александру Александровичу, мы испили из того заветного родничка, где любил освежаться Пушкин во время своих пеших и верховых прогулок, и навестили рошу «Лучинник» (см. путеводитель по Болдинскому заповеднику).

Деревня числится за совхозом, когда-то здесь находились телятники, но сейчас их нет. Экономически Львовка равна нулю, что упрощает, по словам Алексея Петровича, превращение ее в мемориал. Тут дотлевают несколько старух и девяностотрехлетний старик, а сезонно обитают в бывшей школе каменщики и плотники, восстанавливающие барский дом. Сельпо давно закрыто, но дважды в неделю сюда привозят хлеб, спички и соль.

Деревня красива: огромные старые вязы, липы — не обхватишь, клены, одичавшие яблони, груши, ягодники; заброшенная каменная церковь, повитая вьюнком, снаружи кажется целой, но внутри все разможено, что затруднит ее превращение в мемориальную «точку». Тут сохранились избенки более чем полуторавковой давности, иные — даже обитаемые. Когда мы проходили мимо крошечной, вросшей в землю, крытой корьем лачужки, у дверей гомозились две старухи: одна лет восьмидесяти, другая — разменявшая век. Приметив нас, столетняя костлявая богатырша уперлась лбом в притолоку, вся растопырилась в дверном проеме, мешая дочери или сестре впихнуть себя в избу, и обратила к нам большое меловое застылое лицо, вдруг очнувшееся интересом к окружающему. Не забыть мне этого слабого света, мелькнувшего по белой маске и сделавшего ее лицом.

Девяностотрехлетний Матвей Иванович Коноплев, проживающий под присмотром двух дочерей, живая летопись здешних

мест, еще недавно крепкий, как кленовый свиль, резко сдал после смерти жены, с которой отпраздновал бриллиантовую свадьбу. Доказали же его потуги дочерей сводить его в баньку. Повели, вернее сказать, поволокли обезножевшего старика дочери-старухи и уронили посреди двора. А он тяжеленек, даром что на самой скупой пище живет: утром кашки с молоком похлебают, в остальной день только чаем пробавляется, не поднять его дочерям. Кинулись на стройку: помогите, люди добрые, старичка уронили! Пришли каменщики, подняли Матвея Ивановича и отнесли в избу. «Все, — сказал он и утер слезу, — отмылся!» Ныне он встает только по нужде, но дочери содержат его чисто: протирают теплой водой. Сейчас старшая домой отлучилась, глянуть на хозяйство, а младшая всю жизнь при родителях прожила.

Мы думали, что неудобно тревожить спящего старика.

— Да он все время спит, — сказала Даша (по паспорту Варвара Матвеевна, но так прозвали ее в детстве, и на другое имя она не откликается). — Раньше до чего поговорить любил, а сейчас коли раскроет рот, так только об одном: доченьки, не продавайте корову, христом-богом прошу! Есть коровенка — выживем, нет — сойдем под вечны своды.

— Кормить нечем? — спросил Геннадий.

— Ясное дело. Нешто по нынешнему году могли мы сена насушить? Старики какой заботы требовали, а силенок у нас с сестрой — вдвоем комара убиваем. Купить — грошей нема, все на мамашины похороны ушли. Хошь не хошь, а придется сдать нашу Пеструшку.

— Варвара Матвеевна... Даша, — проникновенно сказал Алексей Петрович, — вы не сомневайтесь и ни о чем не думайте, мы все возьмем на себя: и машину дадим, и людей, и... — он изобразил руками тот продолговатый ящик, в котором наше бесчувственное тело отправляется в место вечного покоения.

— Спасибо, Алексей Петрович, завсегда вы нам были как отцы. На мамин похороны триста рублей ушло, и это когда водку мы загодя купили!

— Не беспокойтесь ни о чем. Матвей Иванович заслужил. Он лично знал Александра Александровича, сына поэта, боевого генерала, героя Плевны.

— Папаня с ним на охоту ходил, — подхватила Даша, — тогда еще дича в наших местах водилась, и лошадку ему подавал. Как папаня интересно про все это рассказывал — заслушаешься!.. Алексей Петрович, а нельзя сюда зубного врача прислать, очень папаша зубами мучается?

— Неужто у него до сих пор сохранились зубы?

— Ага, зубы мудрости. Только шатаются и мешают ему.

— Давайте подумаем вместе, — предложил Алексей Петрович. — Врача прислать можно, но что он без кресла и всего оборудования сделает?.. А в район Матвея Ивановича везти — растрясет, можно и не довести.

— Это точно, — вздохнула Даша. — Можно и не довезть.

— Я посоветуюсь в поликлинике. Но как бы ни решили с этим вопросом, насчет главного — не сомневайтесь! — еще раз заверил Алексей Петрович.

— Не знаю, как и благодарить... А теперича пошли в избу, папаню слушать.

И мы последовали за Дашей.

Матвей Иванович лежал на кровати под одеялом одетый — виднелись носки толстой домашней вязки и заправленные в них брюки. Подойдя ближе, мы обнаружили косою ворот синей ситцевой рубахи и седую спутанную бороду. Лица не видно — спасаясь от мух, старик глубоко зарылся головой в подушку. Он не двигался и вроде не дышал. Все остальное воспринималось, как воскрешение Лазаря. Дочь стала раскачивать его за плечо, приговаривая не слишком громко:

— Папаня, проснись!.. Гости приехали!.. Папаня, гуленьки!.. Открой глазки, родной!.. Ну же! Покажи глазки!.. Ты же сопрел совсем и мух наглотался!.. Аньки!..

Послышался слабый вздох, хрип, бормотанье. И вдруг целое облако летучей нечести поднялось над стариком: откуда взялись все эти комары, мушки, мошки, слепни, жучки? Вспугнутые очнувшимся телом старика, они с сердитым гудом закружились над кроватью. Даша схватила тряпку и принялась стегать воздух. А на кровати творилась работа опаматования в жизнь. Хрипы усилились и перешли в слабый сухой кашель, тело заворочалось, и худая крупная кисть сдвинула прочь подушку. Появилось красное распаренное лицо, большелобое, просторное, белобровое и белосусое. Открылись глаза — два мутно-голубых озерка, похоже не принявших брызнувшего в них света. Даша наклонилась и протерла подолом глаза отцу. Ему это было неприятно, он пытался отпихнуть дочь. А потом долго моргал, слезился, утирался кулаками, крихтел, охал и вдруг отчетливо сказал: «Посади!»

Отвергнув помощь Геннадия, Даша привычно и сноровисто привалилась к отцу, обняла, потянула на себя, переведя в сидячее положение: за спину ему сунула подушку, а ноги спустила с кровати.

— Никого не знаю! — радостно сообщил старик, оглядев нас голубым чистым взором. — И тебя не знаю! — это относилось персонально к Алексею Петровичу.

— Не придурайся, папаша, это же Алексей Петрович. Ты его сто лет знаешь, он заместителем Советской власти был.

— Чегой-то он другой стал? — сказал Матвей Иванович. — Постарел, али приболел, али во грустях?..

— Все тут, Матвей Иваныч, — вздохнул Алексей Петрович. — И годы бегут, и болезни прилипли. Давление, будь оно неладно. И до срока на пенсию отправили.

— А у меня зубы прорезываются, — пожаловался Матвей Иванович. — На кой они мне? Молочну кашку жевать?.. Я тебя,

Петрович, вспомнил, ты человек у власти. Не вели Дашке корову продавать. Нешто можно без коровы?..

— Ладно, Иваныч, вопрос поставлен. Не волнуйтесь. Тут к вам гости из Москвы приехали.

— Не знаю их... Кто такие?

— Вот и познакомьтесь, — и Алексей Петрович поочередно представил нас старику. Тот каждому сунул холодную слабую руку.

Он совсем очнулся, взыграл, в нем пробудилась присущая здешним людям словоохотливость, издавна подогреваемая любопытством бесчисленных паломников в эту святую землю. К сожалению, его подъем пошел в ущерб отчетливости речи да и мысли, и я с моим тетеревиным слухом улавливал лишь отдельные, окрашенные сильным чувством выкрики:

— Воин наш отважный... Лексан Лексаныч, царствие ему небесное, всех турков побил... Он да Скобелев, белый генерал, — опора трону, щит Отечеству!.. Вот бы Лексан Сергеич порадовался, кабы дожил... А шебуршной был... и насчет этого самого... — старик, хитро глянув на дочь, поманил нас пальцем, — первый ходок... Сейчас кликнет: байню истопить!.. Я уж понимаю и по военной присяге: рад стараться!.. Как, ваше превосходительство, прикажете: пару — кваском али пивом?.. Натоль Львович пиво признавали, а Лев Натолитч — шампаньское... Гроб на руках несли до церкви... В глубокой скорби... Он к пиву всегда раков заказывал.. Черненьких, однако, больше уважал, особо мордовочек... Курносенькие, спинки окатистые... Крепкий народ мордва, наших пластали... Лексан Лексаныч исключительно переживал: русский солдат знает одну команду: вперед!.. Сытый солдат крепше воует... Уполовник в щад должен стоять, а валится — гони вон... путь и андели с личика.

Я чувствовал, что у меня ум за разум заходит. Но глухота здесь ни при чем. Тетя Вера предупреждала, что в сознании прежних поколений — стало быть, и нынешних Мафусаилов — перепутались все Пушкины: поэт, его сын, брат и потомство брата. Но пусть с годами Матвей Иванович как народный пушкинист несколько сдал — ярок на нем болдинский свет. Его воодушевление, преданность пушкинскому роду и горящий в дряхлом сердце патриотизм вызывают искреннее восхищение.

И когда, распрощавшись с приустановшим стариком, мы вновь оказались на улице, то сказали Даше-Варваре самые добрые и уважительные слова об ее отце.

— Он хороший старик, — она коротко всхлипнула, — но, конечно, памятью ослабемши. Праправнучка Пушкина из Архангельска приезжает, случая не было, чтобы папаню не навестила. Она и надясь приходила, а он ее не узнал. И никак не мог понять, кем она Пушкину приходится, раз у нее другая фамилия. Решил, что Пушкина переименовали, и теперича он Тибшман.

— А вы так всю жизнь здесь и прожили? — спросил Маликов.

— Ага. Я же не девка, не баба. Только перед войной замуж выскочила, как мово забрали. Так и осталась я при родителях. Разве после войны второй раз замуж выйдешь? Тут такие красотишки на всю жизнь запаровали. Что уж мне говорить? Я не жалею, — и улыбнулась.

Чему могла она так мило, нежно, так молодо улыбнуться? Лишь своему внутреннему свету...

В этот день мы побывали и в других хороших местах. Прежде всего в Казаринове, где посмотрели гончарное производство, пожали руку главному мастеру и приобрели — за бесценок — кучу милых вещиц из обычной красной глины. Что касается кринок и кувшинов из черной глины, то тетя Вера оказалась права: их надо заказывать загодя. По форме они просты и незамысловаты, красоту им придает цвет, исчерна-стальной, и фактура — это не грубая накладная гладкость обливных изделий, а естественная, будто изначально присущая материалу, ласкающая прохладная шелковистость. Мы спросили гончара, почему в изделиях из черной глины не портятся продукты. Видать, это принадлежит к секретам ремесла, он ответил резко: «А почему я знаю, я не Пушкин!» Маликов попросил уточнить, какого Пушкина он имеет в виду. «Ясно какого, — серьезно ответил гончар. — Льва Анатольича, что Болдино в казну продал. Он тут все, поди, разнюхал».

Поплутали мы и по разбросанному, взъерошенному какому-то Кистеневу. Дома стоят по солнцу — то боком, то задом к улице. Здесь некогда жил озорной народ, о чем говорят названия улиц: Бунтовка, Самодуровка, Стрелецкая; лишь одну улицу, приютившую тихое, небойцовое население, так и оставили без названия — Улица. Правда, управляющий Калашников в свое царение так «изнурил» кистеневцев, что поубавилось у них воинского духа. И все же мы испытали легкий трепет, когда на Бунтовке, а может, Самодуровке нас огарнули возбужденные бабы. Нет, то были не разбойные амазонки, а мирные труженицы, принявшие нас за скупщиков телят. Нетерпеливо ожидали кистеневцы богатых гостей из-под Казани, чтобы сбыть им нетелей и бычков, добравших последнюю вялую, пожухлую траву с выгоревших летом пастбищ. Сена заготовили с воробьиный нос. Но торговые люди почему-то запаздывали. Обнаружив свою ошибку, кистеневские жительницы отнеслись к ней с той легкостью, что кажется разлитой в болдинском воздухе, и вступили с нами в радостное и открытое общение.

Отсюда мы поехали к роще Дубровского, лежащей на холмах, омываемых чистыми, незамутненными водами речки Пьяны. Поднялись на холм... Не стану врать, что меня волнует зрелище мест, связанных с великими литературными произведениями, будь это Ауэрбах-келлер в Лейпциге, двор в районе Сенной площади или роща на взлобке холма. Надо бы замирать от восторга: здесь творил свои чудеса Мефистофель, здесь мыкался Раскольников, сюда

горюющие разбойники унесли атамана, раненного пулей князя Верейского. Меня все это не умиляет, скорее, злит. Ведь, читая «Фауста», «Преступление и наказание», «Дубровского», я создавал — по авторским подсказкам — свой мир, свою обстановку действия, естественно не совпадающую с настоящим ауэрбаховским погребом, где я не раз пил пиво, с нынешней Сенной и, наконец, с тем лесом, который тихо шелестел листьями перед нами. Зримая однозначность прообраза разочаровывает. В воображении все это зыбче, размытее и... богаче. Готовая, окончательная тяжеловесность материи не может тягаться с видениями, разбуженными поэтом в сопереживающей душе.

И я повернулся спиной к легендарной роще и стал смотреть на клонящийся под ветром ковыль, на излучины Пьяны, на всю окрестность, которая с этого нерослого всхолмья открывалась поразительно широко, совсем как у Гоголя в «Страшной мести», когда «вдруг стало видимо далеко во все концы света». Ничто не потрясает меня в самой страшной, ужасной и самой поэтической повести Гоголя так, как эта необъяснимая, таинственная фраза. Из какого опыта родилась она? Даль не дает себя так проглянуть, даже если не загромождена ни лесами, ни горами, ни тучами, она ограничена линией горизонта, а это не столь далеко, как у Гоголя. На некоторых полотнах Петрова-Водкина очень далеко видно, даже ощущается кривизна земной поверхности. Но ведь Петров-Водкин был художником нашего времени, когда зрение человека бесконечно расширено авиацией, техникой и знанием о мире. Но и нам, во всеоружии нашей дальнзоркости, даль туманится, а у Гоголя — и самое отдаленное так отчетливо, как и самое близкое, и это невероятно, дивно и страшно, аж дух захватывает. С холма, поросшего ковылем, тоже очень далеко видно, с полной отчетливостью, лишь в последнем отдалении легкий кур создает преграду зрению. И все время, что мы провели здесь, тянул ровный, мягкий, теплый ветерок.

— Странное дело, — сказал Алексей Петрович, — здесь всегда, в любое время, веет такой вот легкий ветер. Только в крещенские и сретенские морозы замирает.

Может, этим таинственным веем и насыщается на Болдино тот легкий воздух, от которого люди взмывают над бытом, начинают петь, рукодельничать, лепить загадочные сосуды, фантазировать, сочинять — устно и письменно?..

4

Тетя Вера не забыла о своем обещании устроить вечер хорошего пения и пригласила к ужину двух главных певиц: соседку тетю Пашу, запевалу, и тетю Настю с неутомимым горлом. В елейных брошюрках о Болдине тетя Паша изображается степен-

ной, многомудрой старухой, что никак не соответствует ее живому образу. Ума и жизненного опыта ей не занимать стать, но степенности — никакой, — маленькая, круглая, как мячик, быстрая и улыбчивая, тетя Паша — озорница и насмешница. Мы уже не раз виделись, но тетя Паша всегда куда-то торопилась и не позволяла затащить себя к столу. Сейчас она явилась принарядившаяся, немного торжественная, только в крошечных зеленых глазках бегали чертенята, и с достоинством заняла почетное место во главе стола.

— Кашлять не будешь? — озабоченно спросила тетя Вера.

— Не, сперва чайку попою, спою песню-другую, а там уж покашляю, — заверила тетя Паша.

У тети Паши «нет терпения на докторов», а главное, она не может упомнить, как надо принимать пилюли. Она спохватывается вечером и берет их за один присест — жменей. «Ну, а помогает?» — улыбнулся Маликов. «Не скажу, зато мутит всю ночь! — жизнерадостно отозвалась тетя Паша. — Вы за кашель не переживайте. У меня сейчас в груди сухо и просторно».

Наша тетя Вера тоже не ударила в грязь лицом: надела красивую черную юбку, новый платок повязала, а на плечи кинула шаль с крупными цветами по лиловому фону. Подруг подобрали по старому, проверенному способу контраста, безошибочно рассчитанному на добрую улыбку: Дон-Кихот и Санчо Пансы. Тиль Уленшпигель и Ламме Гудзак, Пат и Паташон. И как перечисленные герои, они разнились не только обликом, но и внутренней сутью: длинная, худая тетя Вера — сплошная духовность; сдобная пышка тетя Паша — воспаряет лишь в пении. Вне этого она вся принадлежит земле, охотно отдавая дань ее плодам, впрочем, тут ею движет, скорее, любопытство, нежели чревоугодие. Хочется всего попробовать, — она набрала гору снеди в тарелку и почти все оставила. Подошедшая чуть позже — внуков укладывала — тетя Настя, монументальная и довольно угрюмая с виду старуха, оказавшаяся на редкость заводной, иронично-затейливой, объявила, что, в отличие от своих подруг, всегда была заядлой грибницей, но убеждена, что самый лучший гриб не белый, не рыжик и не чернуха, а колбаса. Этот гриб в болдинских местах отчего-то вывелся.

Хлебнув хорошо заваренного Геннадием чая, тетя Паша со смаком определила:

— Индейский!.. — И вдруг запела на немислимых верхах:

Не глядите вы на нас,
Глазки поломаете.

И подруги подхватили:

Мы ведь пушкинские были,
Разве вы не знаете?..

— О, частушка! — обрадовался Маликов. — Я столько слышал о болдинских частушках!

— Засохни! — прикрикнула тетя Вера. — Слушай песни, Натоль, и помалкивай.

Светит солнышко, да не по-летнему... —

высоко-высоко взвинула песню тетя Паша.

Эх, любит меня милый, да не по-прежнему.

И сплелись, как тугая девичья коса, три голоса:

Эх, любит меня милый, да не по-прежнему-у-у!..

Сомкнулись сухие старушечьи губы, а долгая высокая нота все текла, замирая, но не замерла, а унеслась в открытое окошко и стала частицей жизни пространства.

Это трио стоило целого хора, никого больше не нужно, было все: и звень и стон — птицы, ветра, вьюги, и «грома грохотанье». «Октава» тети Веры создавала тревожный, трагический фон, словно то не женская, а вселенская боль тшится себя размыкать. Что за чудо такое — тетя Вера! Пушкин, что ли, дохнул на нее из своего далека? Или старая крестьянка и давно ушедший великий поэт овеваны одним легким ветерком, тем самым, что серебрит ковыль на холмах, омываемых Пьяной? Ветерок веет на простых людей и приобщает их души к чему-то высшему, он опахнул гения — и взметнулось пламя.

Никогда еще я не чувствовал так сильно и сердечно все очарование старинного, медлительного, околдованного и завораживающего напева.

Не ругай-ка, милый, да не брани меня,

Эх, я и так горька-несчастлива, что... что люблю тебя!..

У них был благородный обычай: не домогаться долгих упрасиваний перед очередной песней — не успеет замереть последняя нота, а тетя Паша уже заводит новую. И какая энергия была в ее прибалывающей груди, когда она, ничего в себе не жалея и не щадя, сразу подняла в поднебесье слезную жалобу:

Ивушка-ивушка, ракиновый кусток.

Травушка-травушка, лазоревый цветок.

Что же ты, ивушка, невесело стоишь?

Как же мне, ивушке, веселюю быть?..

А ивушке и впрямь нечего радоваться: сверху ее красным солнышком печет, сбоку дождем сечет, а корни ей ключ размывает. Но это лишь присказка к беде, а настоящая беда пришла с боярами из иного города, что срубили ивушку в четыре топора. Из деревца бояре сделали лодочку и два весла и поехали гулять, захватив с собой красну девушку. И, как нередко бывает в старин-

ных песнях, происходит вселение печальной ивы в девушку, томящуюся горем-кручиной. Живущие неправдой батюшка с матушкой «младшую сестру прежде замуж отдают».

Младшая сестра чем же лучше меня?
Ни прясть, ни ткать, ни початки мотать.
Только по воду ходить, решетом воду ловить.

Ох, с каким сарказмом прозвучало убийственное для сельской девушки обвинение в ничемушности и бестолковости! Но дороже родительскому сердцу эта пустельга, и, пропади все пропадом, обиженная и обойденная девушка, видать, разделит судьбу ивушка, срубленной в четыре топора. Об этом поется уже не песней, а изломом бровей, меркнувшим взглядом певуний...

Они поют много и долго. Прихлебнут из рюмочки, кинут в рот хлебного мякушка, освежатся глотком «индейского» чая и опять — к песне. И все-таки тетя Паша перетрудила грудь — закашлялась. Тетя Настя стала колотить ее увесистым кулаком между лопаток, тетя Вера развела в кипятке меду и дала выпить.

— Очистило, — улыбнулась тетя Паша. — А всежки я отпелась.

— Все мы, милка, отпелись, — отозвалась тетя Настя. — Но покаместь земель не засыпят, будем горло драть.

Упрямый Натоль снова вспомнил о частушках, посвященных Пушкину.

— Экой ты настырный! — укорила его тетя Вера.

— Да ну тебя — воспятательница с детского сада! — отмахнулась тетя Паша и каким-то расхристанным голосом прокричала:

А ты, Пушкин, милый барин,
Мою Ниночку не трожь.
Не кидайся, как татарин,
Не тащи в густую рожь.

— Тьфу на вас! Бесстыжие! — разъярилась тетя Вера. — Прогоню, ей-богу, прогоню. Разошлись, как с бормотухи!

— Мы ничаво, — без тени смущения сказала тетя Настя, возвращаясь на свое место. — А если ученый человек просит, почему не уважить. Ему небось для науки надобно.

— Какой он ученый? Обыкновенный инженер, как все.

— Будто сама их сроду не пела, — подколола тетя Паша.

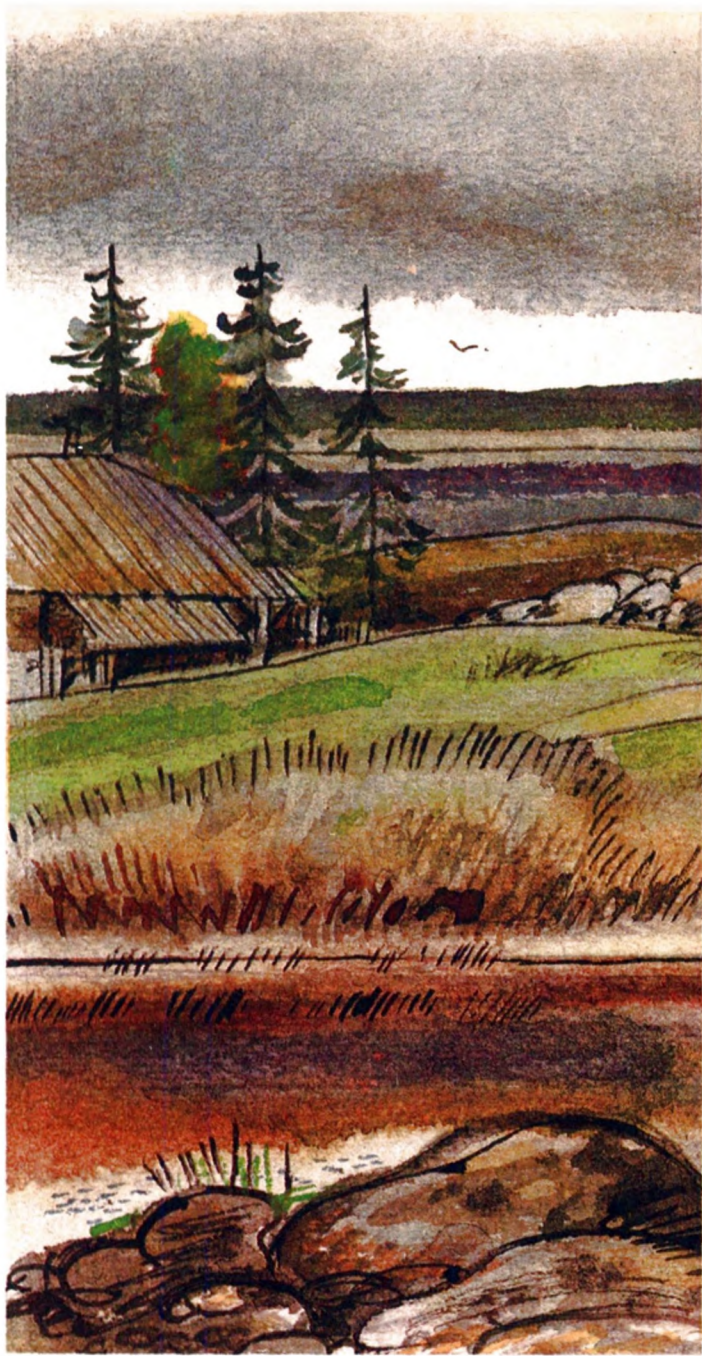
— Пела, когда глупая была. А сейчас не люблю...

Тетя Вера выждала, пока я перестану брэнчать посудой, и поболдински, без разгона ахнула с диким напором:

Полюбил всей душой я девицу
И готов за нее все отдать.
Жемчугом разукрашу светлицу,
Золотую поставлю кровать...

Я-то считал это старым городским романсом, а тут — библейское: влюбленный грозит отомстить за измену так, что «содрогнется и сам сатана»! Тетя Вера пела с какой-то черной страстью, но едва приметная усмешка порой трогала уголки сухих губ — старая умная женщина понимала, что слова этой сильной, губительной песни далеко не пушкинские. Но был на ней самой пушкинский свет, как был болдинский свет на Пушкине...

Маленькие женщины



ЭХО РАССКАЗ

Синегория, берег, пустынный в послеполуденный час, девчонка, возникшая из моря... Этому без малого тридцать лет!

Я искал камешки на диком пляже. Накануне штормило, волны, шипя, переползали пляж до белых стен приморского санатория. Сейчас море стихло, ушло в свои пределы, обнажив широкую, шоколадную, с синим отливом, полосу песка, отделенную от берега валиком гальки. Этот песок, влажный и такой твердый, что на нем не отпечатывался след, был усеян сахарными гольшами, зелено-голубыми камнями, гладкими, округлыми стекляшками, похожими на обсосанные леденцы, мертвыми крабами, гнилыми водорослями, издававшими едкий йодистый запах. Я знал, что большая волна выносит на берег ценные камешки, и терпеливо, шаг за шагом, обследовал песчаную отмель и свежий намыв гальки.

— Эй, чего на моих трусиках расселся? — раздался тоненький голос.

Я поднял глаза. Надо мной стояла голая девчонка, худая, ребрастая, с тонкими руками и ногами. Длинные мокрые волосы облепили лицо, вода сверкала на ее бледном, почти не тронутом загаром теле, с пупырчатой проголубью от холода.

Девчонка нагнулась, вытащила из-под меня полосатые, желтые с синим, трусики, встряхнула и кинула на камни, а сама шлепнулась плашмя на косячок золотого песка и стала подгребать его к бокам.

— Оделась бы хоть... — проворчал я.

— Зачем? Так загорать лучше, — ответила девчонка.

— А тебе не стыдно?

— Мама говорит, у маленьких это не считается. Она не велит мне в трусиках купаться, от этого простужаются. А ей некогда со мной возиться...

Среди темных шершавых камней вдруг что-то нежно блеснуло: крошечная чистая слезка. Я вынул из-за пазухи папиросную коробку и присоединил слезку к своей коллекции.

— Ну-ка, покажи!..

Девчонка убрала за уши мокрые волосы, открыв тоненькое, в темных крапинках лицо, зеленые кошачьи глаза, вздернутый нос и огромный, до ушей рот, и стала рассматривать камешки.

На тонком слое ваты лежали: маленький овальный прозрачно-розовый сердолик; и другой сердолик — покрупнее, но не обработанный морем и потому бесформенный, глухой к свету; несколько фернампиксов в фарфоровой узорчатой рубашке; две занятных окаменелости — одна в форме морской звезды, другая — с отпечатком крабика; небольшой «куриный бог» — каменное колечко; и гордость моей коллекции — дымчатый топаз, клочок тумана, растворенный в темном стекле.

— За сегодня собрал?

— Да ты что?.. За все время!..

— Не богато.

— Попробуй сама!..

— Очень надо! — Она дернула худым шелушащимся плечом. — Целый день ползать по жаре из-за паршивых камешков!..

— Дура ты! — сказал я. — Голая дура!

— Сам ты дурачок!.. Марки небось тоже собираешь?

— Ну собираю! — ответил я с вызовом.

— И папиросные коробки?

— Сбирал, когда маленьким был. Потом у меня коллекция бабочек была...

Я думал, ей это понравится, и мне почему-то хотелось, чтобы ей понравилось.

— Фу, гадость! — Она вздернула верхнюю губу, показав два белых острых клычка. — Ты раздавливал им головки и накалывал булавками?

— Вовсе нет, я усыплял их эфиром.

— Все равно гадость... Терпеть не могу, когда убивают.

— А знаешь, что я еще собирал? — сказал я, подумав. — Велосипеды разных марок!

— Ну да?

— Честное слово! Я бегал по улицам и спрашивал у всех велосипедистов: «Дядя, у вас какая фирма?» Он говорил: «Дукс», или, там, «Латвелла», или «Оппель». Так я собирал все марки, вот только «Эндфильда модели Ройяль» у меня не было... — Я говорил быстро, боясь, что девчонка прервет меня какой-нибудь насмешкой, но она смотрела серьезно, заинтересованно и даже перестала сеять песок из кулака. — Я каждый день бегал на Лубянской площади, раз чуть под трамвай не угодил, а все-таки нашел «Эндфильд Ройяль»! Знаешь, у него марка лиловая с большим латинским «Р»...

— А ты ничего... — сказала девчонка и засмеялась своим большим ртом. — Я тебе скажу по секрету, я тоже собираю...

— Что?

— Эхо... У меня уже много собрано. Есть эхо звонкое, как стекло, есть как медная труба, есть трехголосое, а есть горохом сыплется, еще есть...

— Ладно врать-то! — сердито перебил я.

Зеленые кошачьи глаза так и впились в меня.

— Хочешь, покажу?
— Ну, хочу...
— Только тебе, больше никому. А тебя пустят? Придется на Большое седло лезть.

— Пустят!
— Так завтра с утра и пойдем. Ты где живешь?
— На Приморской, у болгар.
— А мы у Тараканихи.
— Значит, я твою маму видел! Такая высокая, с черными волосами?

— Ага. Только я свою маму совсем не вижу.
— Почему?
— Мама танцевать любит... — Девчонка тряхнула уже просохшими, какими-то сивыми волосами. — Давай купнемся напоследок!

Она вскочила, вся облепленная песком, и побежала к морю, сверкая розовыми узкими пятками.

Утро было солнечное, безветренное, но не жаркое. Море после шторма все еще дышало холодом и не давало солнцу накалить воздух. Когда же на солнце наплывало папиросным дымком тощее облачко, снимая с гравия дорожек, белых стен и черепичных крыш слепящий южный блеск, простор угрюмел, как перед долгой непогодью, а холодный ток с моря разом усиливался...

Тропинка, ведущая на Большое седло, вначале петляла среди невысоких холмов, затем прямо и сильно тянула вверх, сквозь густой пахучий ореховый лес. Ее прорезал неглубокий, усеянный камнями желоб, русло одного из тех бурных ручьев, что низвергаются с гор после дождя, рокоча и звеня на всю округу, но иссякают быстрее, чем высохнут дождевые капли на листьях орешника.

Мы отмахали уже немалую часть пути, когда я решил узнать имя моей приятельницы.

— Эй! — крикнул я желто-синим трусикам, бабочкой мелькавшим в орешнике. — А как тебя зовут?

Девчонка остановилась, я поравнялся с ней. Ореховая заросль тут редела, расступалась, открыла вид на бухту и наш поселок — жалкую горсточку домишек. Огромное, серьезное море простиралось до горизонта водой, а за ним — туманными мутно-синими полосами, наложенными в небе одна над другой. А в бухте оно притворялось кротким и маленьким, играя, протягивало вдоль кромки берега белую нитку, скусывало ее и вновь протягивало...

— Не знаю даже, как тебе сказать, — задумчиво проговорила девчонка. — Имя у меня дурацкое — Викторина, а все зовут Витькой.

— Можно Викой звать.

— Тыфу, гадосты! — Она знакомо обнажила острые клычки.

— Почему? Вика — это дикий горошек.

— Его еще мышинным зовут. Терпеть не могу мышей!

— Ну, Витька так Витька, а меня — Сережа. Нам еще далеко?
— Выдохся? Вот лесника пройдем, а там уже и Большое седло видно...

Но мы еще долго петляли терпко-медвяно-душным орешником. Наконец тропинка раздалась в каменистую дорогу, бело сверкающую тонким, как сахарная пудра, песком, и вывела нас на широкий пологий уступ. Тут, в гуще абрикосовых деревьев, ютилась сложная из ракушечника сторожка лесника.

Едва мы подступили к уютному домику, как тишина взорвалась бешеным лаем. Гремя цепями, навешенными на длинную проволоку, на нас вынеслись два огромных лохматых, грязно-белых пса, взвились на воздух, но, удушенные ошейниками, выкатили розовые языки, захрипели и шмякнулись на землю.

— Не бойся, они не достанут! — спокойно сказала Витька.

Зубы псов клацали в полушаге от нас, я видел репы в их загривках, клещей, раздувшихся с боб, на храпе, только глаза их тонули в шерсти. Странно, из сторожки никто не вышел, чтобы унять псов. Но как ни кидались псы, как ни натягивали проволоку, они не могли нас достать. И когда я уверился в этом, мне стало щемяще-радостно. Наш поход вел нас к скалам и пещерам, населенным таинственными голосами, не хватало лишь грозных стражей, драконов, преграждающих смельчакам доступ к тайне. И вот они, драконы — эти заросшие, безглазые, с красномясым зевом псы!

И опять мы петляем орешником по сузившейся тропе. Тут орешник не такой густой, как внизу: многие кусты посохли, на других листва изъедена в паутину мелким блестящим черным жучком.

Я устал и злился на Витьку, она знай себе вышагивала своими тонкими, прямыми, как палки, ногами с чуть скошенными внутрь коленками. Но впереди вдруг просветлело, я увидел склон, поросший низкой бурой травой, вдалеке тянулась кверху серая скала.

— Чертов палец! — на ходу бросила Витька.

По мере того как мы подходили, серый скалистый торчок вздымался выше и выше, — казалось, он вырастал несоразмерно нашему приближению. Когда же мы ступили в его темную прохладную тень, он стал чудовищно громаден. Это был уже не Чертов палец, а Чертова башня, мрачная, загадочная, неприступная. Словно отвечая на мои мысли, Витька сказала:

— Знаешь, сколько людей хотели на него забраться, ни у кого не вышло. Одни насмерть разбились, другие руки-ноги поломали. А один француз все-таки залез.

— Как же он сумел?

— Вот сумел... А назад спуститься не мог, и сошел там с ума, и после от голода умер... А все-таки молодец! — добавила она задумчиво.

Мы подошли к Чертову пальцу вплотную, и Витька, понизив голос, сказала:

— Вот тут... — Она сделала несколько шагов назад и негромко крикнула: — Сережа!..

— Сережа... — повторил мне в самое ухо насмешливо-вкрадчивый голос, будто родившийся в недрах Чертова пальца.

— Я вздрогнул и невольно шагнул прочь от скалы; и тут навстречу мне, от моря, звонко плеснуло:

— Сережа!..

Я замер, где-то вверху томительно-горько простонало:

— Сережа!..

— Вот черт!.. — сдавленным голосом произнес я.

— Вот черт!.. — прошелестело на ухом.

— Черт!.. — дохнуло с моря.

— Черт!.. — отозвалось в выси.

В каждом из этих незримых пересмешников чувствовался стойкий и жутковатый характер: шептун был злобно-вкрадчивым тихоней; морской голос принадлежал холодному весельчаку; в выси скрывался безутешный и лицемерный плакальщик.

— Ну чего ты?.. Крикни что-нибудь!.. — сказала Витька.

А в уши, перебивая ее голос, лезло шепотом: «Ну чего ты?..» — звонко, с усмешкой: «Крикни», — и, как сквозь слезы: «Что-нибудь».

С трудом пересилив себя, я крикнул:

— Синегория!..

И услышал трехголосый отклик...

Я кричал, говорил, шептал еще много всяких слов. У эха был острейший слух. Некоторые слова я произносил так тихо, что сам едва слышал их, но они неизменно находили отклик. Я уже не испытывал ужаса, но всякий раз, когда невидимый шептал мне на ухо, у меня холодел позвоночник, а от рыдающего голоса сжималось сердце.

— До свидания! — сказала Витька и пошла прочь от Чертова пальца.

Я устремился за ней, но шепот настиг меня, прошелестев ядовито-вкрадчиво слова прощания, и хохотнула морская даль, и голос вверху застонал:

— До свидания!..

Мы шли в сторону моря и вскоре оказались на каменистом выступе, нависшем над пропастью. Справа и слева вздымались отроги гор, а под нами зияла бездна, в которой тонул взгляд. Если бы Чертов палец провалился сквозь землю, он оставил бы за собой такую вот огромную, страшную дыру. В глубине провала торчали острые ослизлые скалы, похожие на клыки великана, в них тараном било темное, с чернильным оттенком, море. Какая-то птица, распластав недвижные, будто омертвелые, крылья, медленно, кругами, падала в бездну.

Казалось, что-то еще не кончено здесь, не пришли в равновесие грозные силы, вырвавшие из недр земли гигантский каменный палец, расколовшие горную твердь чудовищным колодцем, изо-

стрившие его дно шипами скал и заставившие море раздирать о них свой нежный язык. Весь каменный громозд вокруг и внизу был непрочным, зыбким, в скрытом внутреннем напряжении, стремящемся к переделу... Конечно, я не умел тогда назвать то мучительно-тревожное ощущение, какое охватило меня на обрыве Большого седла...

Витька легла на живот у самого края обрыва и поманила меня. Я рассластался возле нее на твердой и теплой каменистой глади, и сосущая, леденящая притягательность бездны исчезла, стало совсем легко смотреть вниз. Витька наклонилась над обрывом и крикнула:

— Ого-го!..

Миг тишины, а затем густой рокочущий голос трубно прогремычал:

— О-го-го-у!..

В голосе этом не было ничего страшного, несмотря на силу его и густоту. Видимо, в пропасти обитал добрый великан, не желавший нам зла.

Витька спросила:

— Кто была первая дева?

И великан, немного подумав, отозвался со смехом:

— Ева!..

— А знаешь, — сказала Витька, глядя вниз, — никому не удавалось спуститься с Большого седла к морю. Один дядька добрался до середины и там застрял...

— И умер с голода? — спросил я насмешливо.

— Нет, ему кинули веревку и вытащили... А по-моему, спуститься можно.

— Давай попробуем?

— Давай! — живо и просто откликнулась Витька, и я понял, что это всерьез.

— В другой раз, — неловко отшутился я.

— Тогда пошли... Будь здоров! — крикнула Витька в пропасть и вскочила на ноги.

— Здоров!.. — гоготнул великан.

Мне еще хотелось поговорить с ним, но Витька потащила меня дальше.

Новое эхо — по словам Витьки, «звонкое, как стекло», — гнездилося в узком, будто надрез ножа, ущелье. У эха был тонкий, пронзительный голос, даже басом сказанное слово оно истончало до визга. И что еще противно: провизжав ответ, эхо не замолкало, а еще долго попискивало мышью в каких-то своих щелях.

Мы не стали задерживаться у расщелины и пошли дальше. Теперь нам пришлось карабкаться вверх по крутому склону, то покрытому бурой жесткой травой и колючками, то голому, полированно-скользкому. Наконец мы оказались на уступе, заваленном огромными каменными глыбами. Каждая глыба что-нибудь

напоминала: корабль, танк, быка, голову, которую победил Руслан, поверженного воина в доспехах, береговое орудие с отбитым стволом, верблюда, пасть ревущего льва, а то и части тела искромсанного гиганта: нос с горбинкой, ушную раковину, челюсть с бородой, могучий, так и не разжавшийся кулак, босую ступню, лоб с завитками кудрей...

Все эти закаменевшие существа, части существ, предметы, одетые камнем, перебрасывались, будто мячом, прозвучавшим среди них словом, с мгновенной быстротой и резкой краткостью отражая гранями звук. Тут-то и обитало «гороховое» эхо...

Но самым удивительным было эхо, о котором Витька ничего не сказала мне. Мы не шли к нему, а ползли по круче, цепляясь за выступы, за лишайник, сухие кусточки. Из-под наших ног и рук осыпались камешки, увлекали за собой более крупные камни, позади нас творился непрерывный грохот. Когда я оглянулся, то подивился малости той высоты, которая кружила нам голову на обрыве. Море уже не казалось отсюда гладью: беспредельное, неохватное, оно сливалось с небом, образуя с ним единую сферу — купол, царящий над всем зримым простором. И Чертов палец, подчеркивая нашу высоту, вновь умалился до торчка.

Витька остановилась у полукруглого темного провала, ведущего в глубь горы. Я заглянул туда и, когда глаза несколько привыкли к темноте, увидел сводчатую пещеру с длинными бородами каменных сосуллек. Стены источали зеленое, красное, синее мерцание, из пещеры тянуло затхлостью склепа, и я невольно отшатнулся.

— Здравствуй! — крикнула Витька, сунув голову в дыру.

И будто заухали, стелкаясь, пустые бочки, под сводом тяжело отдавалось: «бом!», дребезжало по углам и низким охам накопец вырвалось наружу, словно сама гора испустила дух.

С почтительным изумлением глядел я на Витьку. Худая, крапчатая, с трепаными сивыми волосами, острыми клычками в углах губ, с зелеными блестящими глазами — она сама казалась мне сейчас такой же сказочной, как и сокровенный мир, в который она ввела меня.

— А ну, крикни! — приказала Витька.

Я наклонился и «ахнул» в маленький черный рот горы. И опять там заухало, заверещало, а затем дохнуло мне в лицо нездешним гнилостным холодом. Ужасное одиночество охватило меня вдруж, одиночество и беззащитность посреди этого каменистого, отвесного, из круч и падей, мира, населенного загадочными дикими голосами.

— Пойдем, — сказал я Витьке, выдавая свое смятение. — Пойдем отсюда!..

Дальнейший наш путь я воспринимал как бесконечное падение вниз. На этом пути мимо нас снова промелькнули и каменное кладбище, и Чертов палец, и больной, источенный орешник, и взлетающие на цепях, хрипящие в удушье лесниковы псы, и дру-

гой — полный силы — орешник. Наше падение оборвалось в сухой балке, огибавшей поселок со стороны гор.

— Ну что, интересно было? — спросила Витька, когда мы ступили на нашу улицу.

Я вновь чувствовал себя в безмятежной привычности, и Витька уже не казалась мне сказочной хозяйкой горных духов. Просто карзубая, костлявая, некрасивая девчонка. И перед этой-то девчонкой я праздновал труса!

— Интересно... — сказал я лениво. — Только какая же это коллекция?

— А тебе лишь бы в коробку да за пазуху?..

— Нет, отчего же... А только эхо каждому откликается, не тебе одной.

Витька как-то странно, долго посмотрела на меня.

— Ну и что же, мне не жалко! — сказала она, тряхнув волосами, и пошла к своему дому...

Мы подружились с Витькой. Вместе облазили Темрюк-каю и гору Свадебную, и на Свадебной, в гротике, нашли квакающее эхо. А вот Темрюк-кая, с ее отрогами, мощными склонами и остро вонзающейся в небо вершиной, оказалась совсем бесплодной...

Мы почти не расставались. Я привык к тому, что Витька купается голая, она была добрым малым, товарищем, и я совсем не видел в ней девчонки. Смутно я понимал природу ее нестыдливости, Витька считала себя безнадежно уродливой. Я никогда не встречал человека, который бы так просто, открыто, с таким ясным достоинством признавался в своей некрасивости. Рассказывая мне как-то раз об одной школьной подруге, Витька бросила вскользь: «Она почти такая же уродина, как я...»

Однажды мы купались неподалеку от рыбацкой пристани, когда с высокого берега посыпала ватага мальчишек. Я немного знал их, но мои робкие попытки сблизиться с ними ни к чему не приводили. Эти ребята не первый год отдыхали в Синегории, считали себя старожилками и не допускали чужаков в свою ватагу. Коноводом у них был высокий, сильный мальчик Игорь.

Я уже вышел из моря и, стоя на берегу, вытирался полотенцем, а Витька продолжала резвиться в воде. Подкараулив волну, она высоко подпрыгивала и перекатывалась на животе через грёбень. Ее маленькие ягодицы сверкали.

Ребята небрежно ответили на мое приветствие и хотели уже пройти мимо, как вдруг один из них, в красных плавках, заметил Витьку.

— Ребята, глядите, голая девчонка!..

Тут пошла потеха: крики, свист, улюлюканье. Надо отдать должное Витьке, она не обращала внимания на выходки мальчишек, но это лишь подливало масла в огонь. Мальчик в красных плавках предложил «загнуть девчонке салазки». Предложение бы-

ло встречено с восторгом, и мальчик в красных плавках вразвелочку направился к воде. Но тут Витька с звериной быстротой нагнулась, нашарила что-то в воде, и, когда выпрямилась, в руке у нее был увесистый камень.

— Только сунься! — сказала она, ощерив свои острые клычки. — Всю морду разобью!

Мальчик в красных плавках остановился и попробовал ногой воду.

— Холодная... — сказал он, и уши его стали краснее плавок. — Неохота лезть...

Подошел Игорь и уселся на песок у самой кромки берега. Мальчик в красных плавках без слов понял своего жоака и опустился рядом, остальные ребята последовали их примеру. Они цепочкой отрезали Витьку от берега, одежды и полотенца.

Витька долго испытывала их терпение. Она то уплывала далеко в море, то возвращалась назад, ныряла, барахталась в воде, затем сидела на подводном камне, накатывая на себя руками волны. Но холод наконец взял свое.

— Сережа! — крикнула Витька. — Дай мне трусики!

Все это время я, сам того не замечая, вытирался полотенцем. Надраенная кожа горела, словно от ожога, я все тер и тер посуху, будто хотел протереть себя до дыр. В жалкой и унижительной растерянности, владевшей мной, билось лишь одно отчетливое желание: только бы остаться непричастным к Витькиному позору.

— Сережа, подай своей даме трусики! — шутовским голосом пропищал мальчишка в красных плавках.

Повернувшись на локте, Игорь сказал мне с угрозой:

— Попробуй только!..

Напрасное предупреждение: я и так бы не двинулся с места. Витька поняла, что ей нечего ждать от меня помощи. Жалко скорчившись, всем телом запав в худенький свой живот и закрыв его руками, лиловая и пупырчатая от холода, с покривившимся лицом, вылезла она из воды и бочком побежала к своим трусикам под хохот и свист мальчишек. То, чему она в чистоте своей души не придавала значения, предстало перед ней гадким, унижительным, стыдным.

Прыгая на одной ноге и все не попадая другой в кольцо трусиков, она кое-как оделась, подхватила с земли полотенце и побежала прочь. Вдруг она обернулась и крикнула мне:

— Труси!.. Труси!.. Жалкий труси!..

Из всех слов Витька выбрала самое злое, обидное и несправедливое. Должна же она была понять, что не кулаков Игоря я испугался. Но ей, видимо, хотелось вконец опозорить меня перед ребятами.

Не знаю, был ли то каприз жоака, не желающего идти на поводу у стаи, или что-то заинтересовало Игоря в Витьке, но только он вдруг спросил меня дружелюбно и доверительно:

— Слушай, она что — чумовая?

— Конечно, чумовая! — подался я весь навстречу этой доброте.

— А чего ты с ней водишься?

Вовсе не для того, чтобы обелить Витьку, лишь желая выгородить себя, я сказал:

— С ней интересно, она эхо собирает.

— Чего? — удивился Игорь.

В низком порыве благодарной откровенности я тут же выложил все Витькины секреты.

— Вот это да! — восхищенно сказал Игорь. — Третье лето тут живу, а ничего подобного не слышал!

— А ты не загибаешь? — спросил меня мальчишка в красных плавках.

— Хотите, покажу?

— Все! — властно сказал Игорь, вновь становясь вожаком. — Завтра поведешь нас туда!..

С утра моросило, горы затянуло сизо-белыми, как бы мыльными облаками, к угрюмому шуму побуревшего, цвета горной травы моря примешивался рокот набухших ручьев и речек.

Но ватага Игоря решила не отступать. И вот снова вьется под ногой теперь уже знакомая тропа, а посреди нее, перекатывая гальку, бежит мутный желтый ручеек. Орешник пахнет уже не медово-сладким, с легкой пригорчью, духом, а гнилью палой листвы, кислотью размытой земли, в которой перетлевают что-то, источая уксусно-винный запах. Идти трудно, ноги разъезжаются на мокрой земле, оскальзываются на камнях...

Возлке лесникова дома встретили нас обычным истошным лаем сторожевые псы, но в волглом воздухе лай их звучит мягче, глуше, да и сами они уже не кажутся такими грозными в своей мокрой, свалывшейся шерсти. Видны их черные глаза, похожие на маслины.

А вот и больной, пораженный жучком орешник, ветер и дождь пообрывали его слабую, источенную листву, он стоит оголенный, печальный, и сквозь него виднеется угрюмая протемь моря.

Чертов палец, затянутый облаками, долго не показывался, затем в недосыгаемой выси прочернела его вершина, скрылась, на миг обнажился во весь рост его ствол и вмиг истаял в клубящемся воздухе. Странно, ветер рвал к морю, а легкие, как пар изо рта, облака тянули с моря. Они скользили по самой земле, накрывали нас влажной дымкой и вдруг исчезали, оседая росой на склонах.

Наконец из облачной мути вновь выдвинулся Чертов палец и преградил нам дорогу.

— Ну, подавай свои чудеса в решете, — без улыбки сказал Игорь.

— Слушайте! — произнес я торжественно, чувствуя, как знакомо холодеет спина, сложил ладони рупором и закричал:

— Ого-го!..

В ответ — тишина, ни зловеще-вкрадчивого шепота, ни хохочущего всплеска с моря, ни жалобы в выси.

— Ого-го! — крикнул я еще раз, подступив ближе к Чертову пальцу, и все ребята вразной подхватили мой возглас.

Чертов палец молчал. Мы кричали еще и еще — и хоть бы малейший отзвук! Тогда я кинулся к пропасти — ребята за мной — и что было мочи заорал в клубящуюся глубину. Но и великан не отозвался.

В растерянности я заметался от пропасти к Чертову пальцу, от Чертова пальца к расщелине, и снова к пропасти, и снова к Чертову пальцу. Но горы безмолствовали...

Я жалко стал уговаривать ребят подняться наверх, к пещере, уж там-то мы наверняка услышим эхо. Ребята стояли передо мной, молчаливые и суровые, как горы; потом Игорь разжал губы, чтобы сказать одно только слово:

— Трепач!

И, круто повернувшись, он пошел прочь, увлекая за собой всю ватагу.

Я плелся позади, тщетно пытаюсь понять, что же произошло. Меня не заботило сейчас презрение ребят, я хотел лишь постигнуть тайну своей неудачи. Неужто горы отзываются только на Витькин голос? Но когда мы были с ней вместе, горы послушно откликались и мне. Может, она и впрямь владеет ключом, позволяющим ей запирасть в каменных пещерах голоса?..

Наступили печальные дни. Витьку я потерял, и даже мама осудила меня. Когда я рассказал ей загадочную историю с эхом, мама смерила меня долгим, чуждым, изучающим взглядом и сказала невесело:

— Все очень просто: горы отзываются только чистым и честным...

Ее слова открыли мне многое, но не загадку горного эха.

Дожди не прекращались, море как бы поделилось на две части: в бухте оно было мутно-желтым от песка, наносимого реками и ручьями, в отдалении — блистало чистым телом. Непрестанно дул ветер. Днем он размахивал серой простыней дождя, ночью — всегда ясной, в мелких белых звездах — он был сухим и черным, потому что обнаруживал себя в черном, в мятущихся сучьях, ветвях, стволах, в угольных тенях, пробегающих по освещенной земле.

Несколько раз я мельком видел Витьку. Она ходила на море в любую погоду и сумела набрать от скудного, редкого солнца густой шоколадный загар. От тоски и одиночества я каждый день сопровождал теперь маму на базар, где шла торговля местными продуктами: овощами, абрикосами, козьим молоком, варенцом. Раз я повстречал на базаре Витьку. Она была одна, на руке у нее висела плетеная сумка. Я смотрел, как она ходит среди лотков и бидонов в своих желто-синих трусиках, решительно отбирает помидоры, сама шлепает на весы шматок мяса, — и с болью чувствовал, что потерял хорошего друга.

Утром, в первый солнечный день, я бродил по саду, подбирая палье, с мягкой гнильцой абрикосы, когда кто-то окликнул меня. У калитки стояла девочка в белой кофточке с синим матросским воротником и синей юбке. Это была Витька, но я не сразу ее узнал. Ее сивые волосы были гладко причесаны и назад повязаны ленточкой, на загорелой шее — ниточка коралловых бус, на ногах туфли из лосиной кожи. Я бросился к ней.

— Слушай, мы уезжаем, — сказала Витька.

— Почему?..

— Маме тут надоело... Вот что, я хочу оставить тебе свою коллекцию. Мне она все равно ни к чему, а ты покажешь ребятам и помирись с ними.

— Никому я не покажу! — горячо воскликнул я.

— Как хочешь, но пусть она останется у тебя. Ты догадался, почему у вас ничего не вышло?

— А ты откуда знаешь, что не вышло?

— Слышала... Так догадался?

— Нет...

— Понимаешь, самое главное, это с какого места кричать. — Витька доверительно понизила голос. — У Чертова пальца — только со стороны моря. А ты, наверное, кричал с другой стороны, там никакого эха нету. В пропасти надо свеситься вниз и кричать прямо в стенку. Помнишь, я тогда тебе голову нагнула?.. В расщелине ори в самую глубину, чтобы голос дальше ушел. А вот в пещере всегда отзовется, только вы туда не дошли. И у камней тоже...

— Витька!.. — начал я покаянно.

Ее тонкое лицо скривилось.

— Я побегу, а то автобус уйдет...

— Мы увидимся в Москве?

Витька мотнула головой.

— Мы же из Харькова...

— А сюда вы еще приедете?

— Не знаю... Ну, пока!.. — Витька смущенно склонила голову к плечу и сразу побежала прочь.

У калитки стояла моя мама и долгим, пристальным взглядом глядела вслед Витьке.

— Кто это? — как-то радостно спросила мама.

— Да Витька, она у Тараканихи живет.

Мне захотелось, чтобы скорее пришел день нашего отъезда. Тогда я тоже брошу монетку, и мы снова встретимся с Витькой.

Но этому не суждено было сбыться. Когда через месяц мы уезжали из Синегории, я забыл бросить монетку.

— Какое прелестное существо! — глубоким голосом сказала мама.

— Да нет, это Витька!..

— Я не глухая... — Мама опять посмотрела в сторону, куда убежала Витька. — Ах, какая чудесная девчонка! Этот вздерну-

тый нос, пепельные волосы, удивительные глаза, точеная фигурка, узкие ступни, ладони...

— Ну что ты, мама! — вскричал я, огорченный странным ее ослеплением, оно казалось мне чем-то обидным для Витьки. — Ты бы видела ее рот!..

— Прекрасный большой рот!.. Ты ровным счетом ничего не понимаешь!

Мама пошла к дому, я несколько секунд смотрел ей в спину, потом сорвался и кинулся к автобусной станции.

Автобус еще не ушел, последние пассажиры, нагруженные сумками и чемоданами, штурмовали двери. Я сразу увидел Витьку с той стороны, где не открывались окна. Рядом с ней сидела полная черноволосая женщина в красном платье, ее мать.

Витька тоже увидела меня и ухватилась за поручни рамы, чтобы открыть окно. Мать что-то сказала ей и тронула за плечо, верно желая усадить Витьку на место. Резким движением Витька смахнула ее руку.

Автобус взревел мотором и медленно пополз по немощеной дороге, растянув за собой золотистый хвост пыли. Я пошел рядом. Закусив губу, Витька рванула поручни, и рама со стуком упала вниз. Мне легче было считать Витьку красивой заглазно — острые клычки и темные крапинки, раскиданные по всему лицу, портили тот пересозданный мамой образ, в который я уверовал.

— Слушай, Витька; — быстро заговорил я, — мама сказала, что ты красивая! У тебя красивые волосы, глаза, рот, нос... — Автобус прибавил скорость, я побежал. — Руки, ноги! Правда же, Витька!..

Витька только улыбнулась своим большим ртом, радостно, доверчиво, преданно, открыв в этой большой улыбке всю свою хорошую душу, и тут я своими глазами увидел, что Витька, и верно, самая красивая девчонка на свете.

Тяжело оседая, автобус въехал на деревянный мосток через ручей, границу Синегории. Я остановился. Мост грохотал, ходил ходуном. В окошке снова появилась Витькина голова с трепещущими на ветру пепельными волосами и острый загорелый локоть. Витька сделала мне знак и с силой швырнула через ручей серебряную монетку. Сияющий следок в воздухе сгас в пыли у моих ног. Есть такая примета: если кинешь тут монетку, когда-нибудь непременно вернешься назад...

ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ

РАССКАЗ

Первой проснулась сегодня Наташа. Это было не по правилам: первой всегда просыпалась мать. Но сейчас мать еще спала, широко раскинувшись большим телом на кровати, а под мышкой у

нее, как в гнезде, скорчившись, спал Витька. Лицо матери, обращенное вверх, было красновато-смуглым и блестящим, будто крытым глазурью, рот с пунцово-красными твердыми губами широко открыт. «Какая красивая у нас мать!» — радостно подумала Наташа.

Торфяники, приехавшие накануне в новеньком ярко-голубом «Москвиче», тоже еще спали на двух тесно сдвинутых раскладушках. Из-под одеял торчали две макушки: седая — Ореста Петровича и черная — того новенького, который приехал с ним.

А на одной с ней кровати, сжав кулаки и громко дыша в подушку, спал одиннадцатилетний брат Колька. Наташа провела пальцем по косточкам Колькиного хребта. Брат вздрогнул, но не проснулся.

Наташа засмеялась. Она поняла сейчас, что проснулась так рано от счастья. Это счастье пришло к ней во сне. Отчего же она так счастлива? Оттого ли, что завтра Первое мая и уже сегодня не надо идти в школу? Оттого ли, что начался клев чернухи и в тихий поселок нахлынула тьма-тьмушая рыболовов? Оттого ли, что отец обещал покатать их на новом моторе, который он наконец-то приобрел для своей узкой, длинной, похожей на индейскую пирогу лодки? Или оттого, что она вчера обыграла Кольку во все игры — и в классы, и в чижика, и в городки, и в прятки? Или же от всего этого вместе и еще от чего-то неясного, легкого и щемящего, что ей трудно было, да и не хотелось назвать?..

Наташа спрыгнула с кровати и сразу попала ногами в разношенные спортивные тапочки. Натянув узенькое платьице, сшитое матерью больше года назад, она ненароком коснулась своей уже округлившейся, твердой и теплой груди, вспыхнула и стремглав кинулась в кухню.

На печи за ситцевой занавеской спал отец, поздно вернувшийся с ночного дежурства. Стараясь не шуметь, Наташа быстро ополоснулась под жестяным рукомойником и выскользнула на улицу.

Как много здесь стало зеленого! Вчера еще только смородина, рассаженная вдоль завалинки, зеленела маленькими тугими листиками да трогался в зелень лозняк у реки, а сейчас зазеленели ветлы и даже старые березы на другом, высоком берегу раскрыли свои листочки. Раньше такого никогда не бывало: березы намного отставали от ивняка, тот уже пологом завешивал реку, а голые березы лишь лиловели набухшими почками. Может быть, это сделали вчерашние грозы? Они бушевали весь день, до самого вечера. Бурные, теплые, они заходили с Большого озера, с московской и ярославской сторон и разражались над самым поселком. Когда ливень утихал крупными гулками каплями, небо окрашивалось в тускло-желтый цвет, будто за хмарной наволочью накалялись новые грозы. Земля курилась душно, парко, и чуть не на глазах ползла из нее трава, а потом небо проблескивало стальным огнем, волнами набегал глухой гром и, прежде чем он затихал, вспыхивал волосок молнии, небо раскалялось вдребезги, и

сразу вхлест ударял ливень. Но даже в самом разгуле грозы где-то в небе оставалась чистая просинь, маленькое окошечко, куда заглядывало солнце, и оттого грозы не пугали; все казалось, что за ними придет что-то радостное...

Несмотря на ранний час, земля пахнет остро и сильно, будто ее уже успело припечь солнце. А солнце даже не поднялось над частоколом дальнего ельника, и крестовины еловых верхушек угольно чернеют на золотом фоне.

Наташа обогнула дом и вышла на огород, уклоном сбегаящий к реке. Скворцы бродят по земле, собирая всякую всячину для своих гнезд. Они делают это хозяйственно и жадно. Вот один подцепил куриное перо, но не полетел к своему домику, а забрал еще витую стружку; ему и этого показалось мало; исхитрившись, он ухватил клювиком обрывок красной тряпки, после чего хлопнул крыльями, подскочил и полетел низко над землей на соседний двор.

А за мостом уже чернеют в воздухе тонкие удилища рыболовов, выютя дымки костров. Наташа поднялась на бугор и всплеснула руками: от моста и вверх по реке, сколько хватал глаз, оба берега были усеяны рыболовами, а по ту сторону, где в зеленый берег широким клином вдавалась песчаная сушь, грудилось до полусотни легковых и грузовых машин, автобусов, мотоциклов. Наташа побежала к реке...

Марья Васильевна дроснулась чуть позже дочери. Оттого, что она лежала навзничь, она захлебнулась дыханием, ей померещилось, что она тонет. С громким влажным вздохом она привскочила и села на кровати. Кругом все было привычное, обжитое, милое и безопасное. «Дура старая!» — любовно обозвала она себя. Она уважала странное в себе: диковинный сон, внезапный приступ задумчивости или неудержимого смеха. Она чувствовала в этом скрытый запас нетронутой внутренней жизни. Ей казалось, что с другими такого не бывает. И пока она ласково корила себя за «чуждину», ее дневной, практический разум уже включился в окружающее.

Наташи нет, умчалась, не попив чаю... Колька спит на левом боку — значит, не скоро проснется. Он пробуждался так же, как мать: сперва переваливался с левого бока на правый, поток на спину и тут почти сразу терял сон... А Витька чего-то шебуршит во сне, сочит ручонками по простыне. «Это он машину вытирает!» — сообразила Марья Васильевна. Влюбившись в новенький, сверкающий «Москвич», он вчера весь вечер до полной усталости вытирал его нахлестанные бока. Силенок у Витьки мало, он больше размазывал грязь, но хозяин машины, пожилой инженер Орест Петрович, не велел ему мешать: пусть трудится... Что-то сдал с прошлого года Орест Петрович, осунулся, под глазами синева. А каким молодцом приехал сюда в первый раз, лет восемь назад! Подбористый, крепкий и хоть седой, да с черной бровью и черноглазый. И когда глядел на Марью Васильевну своими черными

глазами, на нее всегда находила «чужина»: то в смех ее бросало, то чуть не в слезы, и все горшки срывались с рогача. Конечно, ничего такого между ними не было, она против своего Степана сроду ничего не сделает, а все же вспомнить приятно. С тех пор он всегда у них останавливался. В прошлом году открылся дом для приезжих на десять коек, а Орест Петрович все равно попросился к ним. Привык. Пусть живет, для хорошего человека места не жалко.

Марья Васильевна оттолкнулась кулаками и стала на пол. Надев через голову юбку и с трудом застегнув на огромной груди вечно лопающуюся в проймах кофточку, она сунула ноги в сапоги с надрезанными голенищами. Потом, сама удивляясь обилию и весу своего тела, долго, сильно потянулась, так что сладко хрустнули суставы. И с чего ее так разнесло! Хоть и широкая в кости, она всегда была худой, а в юности даже ледащей. Правда, всю войну она поголаживала, а то и просто голодала. Их деревню под Тихвином сожгли немцы, отца убили в самом начале войны, мать погибла от бомбы, а сама она с престарелой бабушкой два года скиталась по деревням, пока, уже со смертью старухи, не устроилась укладчицей шпал на железную дорогу. Там она и познакомилась со Степаном. Он недавно вышел из госпиталя и тоже работал на укладке шпал. Два одиноких человека связали свои судьбы. Она до сих пор считала, что Степан взял ее из жалости: не мог же он полюбить тощую, как рыба кость, девушку. Полюбил он ее много позже, когда она вошла в тело. Вскоре у них родилась Наташа, а жить им было негде. Степан вспомнил, что у него есть двоюродная бабушка в поселке, и написал ей, не примет ли она их в дом. Ответ пришел скоро. Бабушка писала, что совсем плоха, год как обезножела, и чем ей чужого человека пускать, пусть уж лучше свои живут. Кончалось это спокойное и грустное письмо странно: «С боевым приветом, твоя бабушка Фекла Тимофеевна». Потом оказалось, что за бабушку писал демобилизованный старшина.

Несмотря на тяжелые хворости, бабушка так зажилась, что и сама себе стала в тягость. Она каждый день молила бога, чтобы прибрал ее, но бог, верно, не слышал. У них уже появился Колька, и тяжело было растить ребят вблизи долго и трудно умиравшего человека. Когда бабушка наконец отмучилась, они с неделю выветривали из избы томный дух. Думали, теперь заживут по-человечески, а тут, как снег на голову, объявились законные бабкины наследники: старая ее дочь с мужем — железнодорожные слепцы. У Марьи Васильевны и сейчас холодело сердце при воспоминании о том, как темной, дождливой ночью вошли в дом, стуча палками по полу, порогам, стенам два седых человека в темных очках. Слепцы долго не задержались. Они на ощупь осмотрели бабкино имущество, обнаружили, что прогорела самоварная труба, и поехали в Пензу, где у них почему-то хранилась новая труба. Марья Васильевна поверить не могла, чтобы два старых слепых человека пустились в такое путешествие ради само-

варной трубы, но потом поняла: поездная жизнь им не в убыток, а в прибыль. Слепцы уехали и будто в омут канули. Долго не верила Марья Васильевна такому счастью, вздрагивала при каждом стуке оконной рамы на ветру, скрипе разошедшейся двери. А потом поверила и на радостях родила Витьку. Степан к тому времени обучился сперва на кочегара, затем на помощника машиниста, а главное, вся жизнь изменилась к лучшему, стала разумнее, щедрее...

Расчесав перед зеркалом свои густые жесткие волосы, Марья Васильевна занялась хозяйством. Она слила вчерашнюю воду из самовара, налила свежую, обтерла медные бока тряпкой и принялась щепать тесаком полено. Движения у нее были не по-женски сильные, размашистые, неловкие. Ей редко удавалось взять только нужный предмет, всегда она прихватывала лишнее. Так и сейчас, потянувшись за тесаком, она стащила заодно с печки какую-то ветошь, а доставая полено, развалила всю поленицу. Избыток силы позволял ей ворочать шпалы; тогда она казалась куда сноровистее, чем в домашнем мире, населенном всякими мелкими вещами. Она знала за собой эту «чуждину» и ласково прощала ее себе. Впрочем, сейчас шум, который она произвела, послужил добрую службу: разбудил не в меру разоспавшихся рыбацких. Из комнаты донеслось покашливание, хриплое ворчание, затем через кухню быстро прошел во двор молодой спутник Ореста Петровича...

...Наташа уже перебралась на тот берег, потолкалась среди машин, поглядела, как варят уху в ведре приехавшие на автобусе рыбацкие, и чуть было не познакомилась с мальчиком в ковбойке и бархатных штанах. Мальчик был московский — он крутился воле «Победы» с московским номером, — верно, одних лет с Наташей, бледненький, нарядный и ломучий. Правда, ломучим он стал, когда заметил, что Наташа его разглядывает. Он принялся без нужды хлопать дверцами машины, что-то петь и вертеть плечами. Потом он посмотрел на Наташу и отчетливо в никуда произнес:

— Жил на свете рыбацких...

— Рыбацких!.. — негромко, но так, чтобы мальчик мог ее услышать, поправила Наташа.

— Он имел большой улав!..

— Улов!.. — Наташа притопнула босой ногой и ушибла пятку.

— Но попался на крючок!.. — В глазах мальчика светилось торжество.

Наташа уже не поправляла: она почувствовала какой-то подвох и насторожилась.

— Не карась, а... — Мальчик остановился.

Наташа лихорадочно подыскивала рифму, но нужное слово не шло на ум. Мальчик догадывался о ее мучениях и нарочно медлил. А когда понял, что она сдалась, взвизгнул:

— ...а башмачак!

Сама не зная почему, Наташа ощутила такую обиду, что у нее навернулись слезы.

— Дурак! — крикнула она и побежала прочь.

На пешеходном мосту не протолкаться, столько тут рыболовов. Они закидывали против течения, но вода стремительно уносила поплавок под мост. Рыболовы тащили вслепую, почти всякий раз на крючке оказывалась плотица. Так всегда тут бывало, когда шла чернуха.

Лучшее место находилось немного выше по реке, на мостках возле старой баньки. Там собралось до полусотни рыболовов. Они закидывали удочки из-за плеча и через голову друг друга, лески то и дело путались, слышалась веселая ругань: когда рыбы много, трудно по-настоящему злиться.

Под самой банькой ловили рыбу два крошечных незнакомых мальчугана, на которых с любопытством глазели местные ребята, Наташины друзья и подруги. «Подумаешь, невидаль — городские мальчишки!» — сказала себе Наташа, но все-таки побежала к баньке. Уже на бегу она решила, что дело нечисто и не зря установились ребята на городских мальчишек. Задохнувшись от быстрого бега и волнения, Наташа подлетела к баньке и замерла.

Под банькой с удочками в руках стояли вовсе не мальчишки, а взрослые мужчины карликового роста. Один из них был даже старый; длинные, как у попа, седые волосы спадали из-под шляпы на воротник пальто. На сморщенном его личике не было ни волоска, он походил на старушку. Зато второй был молод, лет девятнадцати — двадцати. И тот и другой были одеты не только справно, но и красиво, в крошечные, аккуратные, удивительно хорошо пригнанные вещи: пальто с кушаком, полосатые брючки, заправленные в игрушечные резиновые сапожки, на ручонках кожаные перчатки, на груди пестрые шарфики. Старший был в шляпе, а младший — в клетчатой кепочке, очень идущей к его юному румяному личику. Наташа глядела, и ее восхищенное удивление сменялось щемящей нежностью, восторгом и поклонением.

Молодой лилипут казался ей сказочным принцем. Ей нравились его коротенькие движения и то, что он не сразу мог поймать крючок на длинной, отдуваемой ветром леске своего удилица, чтобы подсвежить мотыля, и то, что он с трудом закидывал удочку и неловко бросал на берег пойманную рыбу. Сама неловкость его казалась ей милой и трогательной...

За Наташиной спиной шушукались ребята. Какое право имеют они стоять тут, пялить глаза на «принца» и нести всякую чепуху? Наташа резко обернулась.

— А ну, брысь отсюда! — произнесла она негромко, и глаза ее загорелись. Ребята попятились, они знали: когда у Наташи горят глаза, с ней лучше не связываться. Только соседка Сонька, ее подруга по играм, плаксиво сказала:

— Твои они, что ли?..

— Мои!.. — звонко крикнула Наташа, толкнув Соньку и ее

меньшого братишку, Сеньку, а рослого Афоню стукнула по затылку. Сенька упал, разревелся и на четвереньках пополз прочь. Остальные в беспорядке отступили.

Наташа подошла ближе к маленьким рыболовам. Те не обратили на нее никакого внимания. Старшему не везло, он все время менял место, зато «принц» попал на ямку и таскал одну плотичку за другой.

Рыбы, которых он выбрасывал на берег, подпрыгивали, вываливались в пыли, из серебристых становились грязно-черными. Наташа подобрала несколько рыбок, сполоснула их в реке и опустила в стоящее на берегу ведро. Она боялась, что «принц» обругает ее за самовольничание, но он только покосил на нее глазом и ничего не сказал. Осмелев, Наташа перемыла всех рыбок. «Принц» равнодушно, как и подобает принцу, принимал ее услуги, но девочка была благодарна ему уже за то, что он не гонит ее прочь. Только раз он крикнул тонким, резким голосом, прозвучавшим для Наташи колокольчиком:

— Подлей воды!..

Она была замечена, «принц» обратился к ней! Недаром с утра томило ее ожидание чуда...

...Колька проснулся оттого, что ему сильно нахолодило правый бок. Так и есть: Наташа опередила его. Теперь наверняка окажется, что все самое интересное произошло, пока он спал. Наташа без конца будет хвататься, что видела и то и это, и хоть знаешь, что она привирает, ловить ее не хочется: интереснее верить, будто все ее рассказы — правда. Хоть и завидуешь, а переживаешь с ней заодно...

А Впрочем, у него есть и свой собственный обширный мир, куда нет доступа сестре: поиски снежного человека. Снежный человек обитал в заброшенном карьере на другом берегу, за сосновым перелеском. Он сильно отличался от того, гималайского, о котором писала «Пионерская правда». Тот покрыт густой шерстью, не знает ни орудий, ни домашней утвари, ни огня, он ближе к зверю, нежели к человеку. Поселковый снежный человек стоит на довольно высокой ступени развития: об этом говорят не только обожженные черепки горшков со следами каких-то рисунков, но и неровные плоские кругляши-монеты, и почти цельная глиняная чашка, по краям которой, если приглядеться, можно приметить следы зубов. Эти реликвии вместе с косточками и позвонками неведомых животных, металлическими наконечниками стрел и плоским камнем, напоминающим жернов, Колька заботливо хранит в большой коробке из-под печенья, подаренной ему Орестом Петровичем...

Позже, когда игра в снежного человека наскучит Кольке, он покажет свои находки учителю, и тот сразу поймет, что Колька невзначай натолкнулся на след древнего городища. В карьер явятся ученые-археологи, начнутся раскопки, и таинственное, кропотливое дело накрепко, быть может, на всю жизнь, привяжет к себе Кольку...

Быстро одевшись, Колька вышел на кухню, когда мать ставила на стол кипящий самовар.

— Мам, погоди, ты ветошку прихватила, — сказал Колька и вытащил из пальцев матери невесть как попавший ей под руку обрывок половичка.

На лавке у окна сидел помощник Ореста Петровича, Шилков, и ел копченого язя, старательно выбирая косточки. Самого Ореста Петровича уже не было, верно, ушел на участок. Мать в который уж раз рассказывала, как ветнадзор забрал у них заболевшую бруцеллезом корову, как она убивалась, когда фельдшер сводил Пеструху со двора.

— Полторы тыщи всего дали! — с каким-то странным торжеством говорила мать. — А новая цельных три стоит!..

— Ну!.. — удивился Шилков, сплевывая на тарелку косточку. — А вы подешевле купите, старую, некрасивую, только бы из нее молоко текло.

Мать громко расхохоталась, прижав руки к бедрам.

— Нешто корову по красоте берут?.. А деньги мы почти что собрали...

Колька тоже прыснул, облившись чаем.

— Я тебе!.. — замахнулась на него мать. Пусть этот городской человек сморозил чисто городскую глупость — не следует детям смеяться над взрослыми. — Витька проснулся? — спросила она.

— Вроде нет... — трудно, в кружку, ответил Колька.

Но Витька проснулся. Он не подавал голоса потому, что вернувшийся день поставил его перед мучительно трудной загадкой. Еще вчера он знал, для чего живет на свете — для того, чтобы протирать машину. Он протирал ее с самого приезда рыболовов, пока мать не погнала его в постель. Удивительное это дело, когда под тряпкой возникает яркая, блестящая синева! Но, проснувшись сейчас, он вдруг подумал: а что будет, когда он протрет всю машину? Что останется ему в жизни? Опять гонять кур, дразнить петуха, мешать играм Кольки с Наташей? Он уже не мог смириться с таким серым существованием. Но недаром мать считала Витьку самым толковым в семье. За его нахмуренным лбом шла напряженная работа мысли. А что, если зачерпнуть из лужи грязной воды и размазать ее по дверце? Тогда это место можно потерять еще раз. Потом он вымажет другую дверцу и багажник. Так работы хватит до самого отъезда машины. А это произойдет не скоро, Витька еще не раз будет находить ее поутру на том же месте...

Порешив на этом, Витька катнулся к краю высокой кровати и вместе с одеялом сполз на пол.

Степан, громко застонав, дернулся, раскинул руки, стукнулся головой о печную трубу и тоже проснулся.

— Опять, что ль, с фрицами воюешь? — донесся до него голос жены.

— Опять, будь они неладны! — кротко проворчал Степан.

Его дневное сознание уже работало, он слышал жену, радо-

вался ее живому голосу, отвечал, видел печь и косяк двери, но одновременно в нем еще длилось испугавшее его сновидение: словно за частой темной сеткой мерещился ему развороченный фугасом блиндаж, придавившая грудь балка, пустое, бесцветное, далекое небо. Без малого пятнадцать лет то режет, то чаще снится ему все тот же сон: последняя его минута на войне.

Это случилось с ним на Хортице при форсировании Днепра. Помнится, он сказал себе тогда: «Ну, вот и кончилась жизнь, Степан!» А потом была бесконечная ночь, когда врачи пытались раздуть искру, чуть теплившуюся в его смятом, раздробленном, истерзанном теле, и другая, еще более страшная ночь, когда он уже смог сознавать, что лишился зрения и слуха. Слух вскоре восстановился, но слепым он оставался более двух лет. Он перенес десяток операций, его возили по разным городам, и он искренне не мог понять, чего с ним так возятся. Наконец, пришел день, когда, прозревший, снова владеющий своим телом, но очень слабый, шаткий, он неуверенным шагом вышел из ворот госпиталя. Война кончилась с полгода, и те, что уцелели, жили дальше, и Степан понял, что и он должен жить дальше подаренной ему второй жизнью. Человек от природы тихий, скромный, он не заносился высоко: день прожит, и ладно. Он никогда не ждал, что судьба окажется к нему столь щедрой, что он станет и мужем и отцом семейства, что около него будут кормиться и расти трое замечательных ребят. Степан безмерно любил и почитал жену, а из всех чувств, какие он испытывал к своим детям, самым сильным было уважение. Он считал, что дети лучше, красивее, умнее и образованнее его: даже четырехлетний Витька порой ухватывал такое, до чего он, Степан, не добирался. Он был убежден, что всем этим сын обязан матери. Хотя жизнь не дала ей раскрыться, но все загнанное, потаенное в ней раскрывалось в детях, у которых будет совсем иная, прекрасная судьба. Степан гордился тем, что кормит их и одевает; сам ведь он гораздо больше обязан детям, чем они ему. То тихое, радостное удивление перед своим существованием, в каком он неизменно пребывал, шло от детей. Детям он был обязан и тем, что из укладчика шпал стал сперва кочегаром, затем помощником машиниста, а быть может, — это решится сегодня, — и машинистом. Пусть это не так уж много для других — машинист на торфяной «кукушке», — для него, Степана, это было много. Когда он работал на укладке шпал и мимо проносились скорые поезда, а спаренные локомотивы тащили длинные, в километр, товарные эшелоны, разве мог он думать, что поведет когда-нибудь поезд! Пусть не такой — всего только пять-шесть маленьких платформ с торфом да один пассажирский вагончик, пусть не в такие дали — всего на тридцать километров, — все же и ему сигналият светофоры: путь свободен, — и ему бьет ветер в лицо. Вырастет Колька и поведет настоящие длинные поезда — какие они тогда будут: электрические, а то и ракетные? — поведет через всю страну к самому Тихому океану, на огромных, неслыханных скоростях...

Когда Наташа прибежала домой, отец смазывал подвесной мотор, Витька вытирал машину, а мать, красная и взволнованная, куда-то собиралась. Наташа, ожидавшая, что ей влетит за то, что убежала, не позавтракав, скромно присела к столу и налила себе остывшего чаю. Мать повязывала голову новой шелковой косынкой и не обратила на нее никакого внимания. Наташа заметила, что мать сменила сапоги на высокие резиновые боты. Уж не в гости ли собрались они с отцом?

— М-ам, ты куда?.. — спросила Наташа.

— Да грех меня возьми! — громко, сквозь смех отозвалась мать, стягивая косынку на шее узлом вместе с выбившимися из пучка волосами. — На маленьких мужиков поглядеть. Сказывают, прибыли тут какие-то...

У Наташи перехватило дыхание, глаза ее сухо заблестели.

— Не ходи! — крикнула она и ударила ложкой по блюду.

— Ты что, сказалась? — захохотала Марья Васильевна, направляя кофту в юбку. — Матери запрещать!

— Не ходи!.. Не хочу!.. Не ходи!.. — Выскочив из-за стола, Наташа стала теревить и дергать мать.

Она и сама толком не знала, почему ей не хочется, чтобы мать шла посмотреть на «маленьких мужиков». Это был ее, Наташин мир, и она не могла позволить, чтобы мать вторглась туда. Оберегая этот свой мир, Наташа с каким-то надрывным жалобным смехом не пускала мать. Не понимая упрямой причуды дочери, Марья Васильевна вначале с хохотом отбивалась, а когда ей надоело это, с силой забрала обе руки дочери в свою большую пятерню и захихнула Наташу за стол.

— А ну, брысь! Разошлась больно! Не маленькая!.. — Быстро, покачивая литым станом, она пошла к двери.

Наташа долго сидела совсем тихо, будто прислушивалась к себе. Затем подумала: надо, чтобы отец прокатил их на новом моторе. Они промчатся мимо «принца», и Наташа будет стоять на носу, вся в брызгах и ветре, и он, конечно, посмотрит на нее, а она помашет ему рукой. Наташа кинулась к отцу и в сенях столкнулась с Колькой. Он нес что-то, завернутое в газету, верно, опять грязные черепки.

— Покажи! — сказала она властно.

Колька бережно развернул газету.

— Фу, какая дрянь! — брезгливо сказала Наташа.

Колька снисходительно усмехнулся. Это задело Наташу.

— Отдай! — неожиданно для самой себя сказала она, протянув руку к свертку.

— Вот еще! — отстранился Колька.

— Ну, Коленька, отдай! — вкрадчиво заговорила она.

Ей вовсе не нужны были эти черепки, но ее злило, что Колька так с ними носит. Ей хотелось настоять на своем, почувствовать свою власть, пусть даже брату станет больно.

На Колькино счастье, в сени вошел отец с мотором в руках, и

Наташа вмиг забыла о черепках. Конечно, отец сразу согласился. Он, правда, думал, что они поедут завтра, когда на реке начнется общее гулянье, но если Наташе так хочется...

— Ужасно хочется! Ты всех уж катал: и Кольку и Витьку, — одну меня...

— Ладно, — сказал он. — Коля, ты с нами?..

Наташа хотела поехать вдвоем с отцом, но она знала, что тут ничего не поделаешь. Все же, когда отец пригласил и Витьку, она не выдержала:

— Нечего ему ехать!..

— Что-о? — сурово произнес отец.

— Его же укачает...

— Смотри, чтоб тебя не укачало, — проворчал отец. — Ну как, Виктор, едешь?

Надо бы поехать, хоть назло Наташе, да жалко бросать машину, и Витька отрицательно мотнул головой.

— Смотри, может, надумаешь, тогда беги...

Они спустились к реке. Большая лодка отца была насвежо просмолена и покрашена в голубой цвет, а по борту шла красная полоса. Отец ловко и бережно навесил мотор, молочно-белый, гладкий, с красивой надписью «Чайка».

— Пап, а «Чайка» правда самый лучший мотор? — спросила Наташа.

— Да, — подтвердил отец. — Он и стоит хорошо: тысяча триста рублей.

— Ох! — изумилась Наташа, хотя отлично знала, сколько стоит мотор.

— Как в Москву ехал, думал «Скиф» купить, — продолжал отец. — А тут выбрасывают «Чайку». Что было делать? Восемь лошадиных сил машина!..

Дети слушают, затаив дыхание. Они наизусть знают эту нехитрую историю, но одно дело, когда отец рассказывал дома, другое дело — здесь, на реке, перед самым запуском замечательного мотора.

— Ну, думаю, где наша не пропадала! — На добром лице отца появляется испуганное выражение. — И бухнул в кассу все деньги: тысячу триста рублей.

Наташа хлопает в ладоши.

— Я ведь из зарплаты ни копейки не брал, — поясняет отец, хотя детям известно и это. — Два года копил мелкой работенкой... А как увели нашу пеструху, хотел я продать его, да мать не позволила. «Выкрутимся, — говорит, — а о моторе ты всю жизнь мечтал!»

— Молодец наша мать! — восхищенно говорит Колька.

— А ты, брат, думал! — с нежным светом в голубых глазах поддакивает отец.

— Что же мы не едем? — нетерпеливо спрашивает Наташа.

— Может, Виктор подойдет, — отвечает отец.

Он протирает тряпочкой мотор, прилаживает шнур, что-то подвинчивает.

— Ну, едем же! — просит Наташа.

— Неудобно будет, — повторяет отец, — вдруг Виктор подойдет...

— Да не пойдет он никуда от своей машины!..

— Коля, слышь, покличь-ка брата! — говорит отец.

— Витька-а! — кричит Коля, приложив ладонь трубкой ко рту. — Витька-а!..

— Видать, крепко занят, — решает отец и отталкивается веслом от берега.

Быстрое течение подхватило лодку и повлекло за собою. Но вот отец с силой дернул шнур, мотор взревел и тут же, опущенный в воду, умерил рев до натужливого урчания и погнал крутую пенную волну. На миг лодка стала недвижно, а затем, задрвав нос, понеслась вперед против течения.

Наташа и не заметила, как остались позади тихие, пустынные берега и перед ними возник мост, усеянный рыболовами. Наташе казалось, что все с восхищением смотрят на них: отец так лихо и уверенно вел лодку, особенно на излучинах, где волна веером распаивалась от берега до берега. Но рыболовы провожали их недобрый взглядом: моторка распугивала рыбу. Стремительно приблизился мост, выбрал их под темный свод меж ослизлых деревянных быков, обдал холодом, запахом плесени и сразу выбросил на свет, солнце, тепло.

Стоя на высоком носу лодки, Наташа тонко и смешно повизгивала от восторга. Она едва не забыла о «принце» и вспомнила о нем, когда покусившаяся, старая банька уже осталась позади. Наташа обернулась, но «принца» там не было. Странно, она так мечтала его увидеть, она и самое катание затеяла ради него, а сейчас, когда его не оказалось, нисколько не была огорчена. «Принц» обрел существование в ее сердце, и совсем ни к чему было ей снова видеть крошечного человечка в игрушечном пальто, кепке и сапожках. Ведь придуманный ею «принц» все равно видел ее стремительно скользящей по реке на быстрой лодке, ее оттянутые назад ветром волосы, сверкающее от мелких брызг лицо, видел, как она летит к нему над водой...

Когда вернулись назад, мать уже была дома. Она сменила нарядные ботики на сапоги, но все еще оставалась в новой шелковой косынке, которая придавала ей праздничный вид.

— Нагляделась? — спросил Степан.

— Ей-богу, видела! — Мать зашлась смехом и обессиленно опустила на лавку. — Чтоб мне с места не сойти, видела! А думала, брешут люди! — Она содрала с головы косынку и стала обмахиваться ею. — Да откуда же, Степа, они только берутся?

— Оттуда же, откуда все... — осторожно улыбнулся Степан.

Марья Васильевна сконфузилась, засмеялась и раскраснелась еще больше.

— Будет тебе!.. — замахала она на мужа руками.

Вдруг глаза ее потускнели, потом закрылись, нижняя губа отвисла, и мать, как была, сидя задремала. С ней и прежде бывало такое. Стоило случиться чему-то необыкновенному, что заставляло ее восторгаться, переживать, волноваться, как возбуждение разрешалось таким вот мгновенным, коротким сном. Этот сон мог застигнуть ее и на лавке, и у печи, и у корыта, и в огороде. Спала Марья Васильевна не более двух-трех минут. Чихнув, она открыла глаза и принялась готовить обед...

Щемящая, непонятная тоска овладела Наташей. В своем доме, среди своих она ощутила себя вдруг совсем одинокой. Как потерянная вышла она из дому и побрела через дорогу к прозрачно-редкому ольховому леску.

Звонко спотыкаясь на стыках рельсов, прошел из города торфяной порожняк. Продолговатые, белые, как кипень, облачка дыма поплыли над землей, оставляя на проводах и деревьях ватные хлопья. Едко, тепло и сладко запахло паровозом.

В ольшанике было прохладно и сыро. Вся земля давно просохла после вчерашних ливней, только этот маленький лесок не поддался солнцу. Под ногами хлюпало, мокрые высокие травинки щекотно липли к коленям, с деревьев стекали за ворот холодные струйки. Наташа шла напролом, с силой отмахивая мокрые ветки, и вслед ей будто рождался дождь: гулко барабанили по тугим лопухам сбитые капли.

Миновав лесок, Наташа очутилась на обширной вырубке. Ее до нитки промокшее ситцевое платье стало прозрачным, волосы жалкими прядками лепились на лбу, щеках и шее. Впереди, сколько хватал глаз, торчали скучные черные, рыжие и серые пни, — все деревья давно стали шпалами узкоколейных дорог.

А что там дальше, за этой вырубкой? Наташа не знает. Конечно можно спросить отца, он скажет: торфяное болото, лес, река. Ну, а за торфяным болотом, лесом, рекой? И отец не знает. А что вообще лежит за тем, что мы видим и знаем? И можно ли что узнать до конца? Почему ей тоскливо и пусто сейчас, когда утром было так радостно? Она не знает. А ведь, казалось бы, о себе она все должна знать. Дальнее, самое важное и сокровенное, от нее скрыто. Неужели и взрослые люди не знают себя и так же вот томятся незнанием?..

Наташа заплакала... Этого с ней еще никогда не бывало: она могла плакать от боли, от злости, от зависти, от унижения, но никогда не плакала просто так. Слезы эти рождались в той самой потаенной глубине ее существа, куда она еще не могла заглянуть. Пройдет много лет, ей вспомнятся и эта печальная вырубка, и холодная влага деревьев, и горячие слезы, и она поймет, что тогда впервые собственная душа стала для нее ношей.

Наташа плакала, сидя на пеньке, и вытирала мокрое лицо мокрым подолом.

В седьмом часу вечера, сразу после обеда, отец стал собираться на работу.

— Чего это ты? — удивилась Марья Васильевна. — Тебе же к восьми!

Степан вообще отличался медлительностью и для каждого дела оставлял себе запас времени, но на этот раз он перехватил.

— Надо... — ответил он уклончиво и стал на лавку, чтобы достать с печи ботинки.

— Постой, я тебе шерстяные носки принесу.

Марья Васильевна притащила ворох чистых портянок, носки домашней вязки и кинула на лавку.

— Обуйся теплее, вечерами сыро...

Степан взял носки, с сомнением оглядел их.

— А парных нету?

— Да нешто не парные? — Марья Васильевна видела, что сделала промашку, но не желала признаться. — Зато цельные. Небось не на гулянку идешь, были бы ноги в тепле...

Степан стал обуваться. Плотно натянув носки, он огладил ладонью пятку и пальцы, проверяя по военной привычке, нет ли где складочки или морщинки, затем вытащил из вороха сухих, жестких портянок кусок сурового полотна и с шелком расправил в руках. Полотно оказалось вышито цветными нитками: огромный гусь, угрожающе растопырив крылья, пытается ущипнуть красным клювом желтенького цыпленка.

— Ты зачем мою картину взял? — закричала Наташа и выхватила гуся с цыпленком из рук отца. Это была ее премия за общественную работу в школе.

— А пропади она пропадом! — изумилась Марья Васильевна. — Сама под руку сунулась!

Наташа бережно свернула вышивку, унесла ее в свой угол, затем быстро вернулась назад.

И Наташа и Колька любят смотреть, как отец собирается на работу. Есть особая торжественность в его медленных, округло-четких движениях. Чувствуется, что он делает все с удовольствием и вкусом, что предстоящая работа ему приятна, что жизнь вообще дело простое и радостное. А сегодня к тому же у него необычное дежурство: он идет «гасить паровоз».

За этими словами Наташе чудится: языки пламени лижут лицо и руки отца, зловеще отблескивают в его лучезарной каске, но он смело врывается в самое пекло и усмиряет бушующий огонь. Правда, со слов Кольки она знает, что паровоз гасят совсем просто: выгребают жар из топки, и делу конец. Но это объяснение ничуть не мешает Наташе видеть совсем иное.

— Пап, а ты погасишь сегодня паровоз? — спрашивает она таинственным голосом.

— Ясно, погашу, ведь праздники, — спокойно отвечает отец.

Степан зашнуровывает ботинок, ловко продевая намусоленный кончик шнура в круглые дырки; покончив с этим, туго подтягива-

ет шнурки и обвязывает их вокруг ноги. Столь же старательно обувает он и другую ногу, затем несколько раз пристукивает ногами об пол. Натягивает фуфайку, заправляет ее в брюки, надевает пиджак, а поверх ватник. Вся эта одежда скупно и ладно облекает его, он становится упругим и плотным, и Наташе думается, что теперь отцу не страшны никакие испытания и опасности, поджидające его там, среди беснующейся огненной стихии...

Тем временем Марья Васильевна заливает чай в термос и бросает туда несколько кусков сахара: на работе Степан никогда не ест, но пьет много.

— Где Виктор? — спрашивает отец, старательно пристраивая на голове кепку со сломанным козырьком.

— Умаялся, на копенке спит, — отзывается Марья Васильевна.

— Не простынет?

— Я попонку ему подстелила.

— В таком разе до свидания, — говорит отец. — Я сегодня рано вернусь.

Наташа глядит отцу вслед, зажмурившись, будто ослепленная сиянием невидимой каски, затем вдруг подскакивает к Кольке, нагибает его голову, больно проводит большим пальцем против волос и с высоким, испуганным криком бросается вон из дому.

Колька, счастливо засмеявшись, бежит следом за ней.

Как бы ни разлучали сестру и брата их дневные дела, к вечеру они обязательно сходились, чтобы поиграть вместе. К играм своим они привлекали обычно соседскую Соньку, черненькую девочку, похожую на скворца: она сглаживала остроту соперничества между сестрой и братом. Сонька доверчива, бесхитростна и неловка. Она проигрывает во все игры. В прятках она всегда водит, в жмурках никого не может поймать, в пристеночке остается без единой конфетной обертки. При этом она никогда не признается, что играет хуже других, и потому ее особенно приятно обыгрывать...

— Аты-баты, шли солдаты!.. — громко считает Наташа, удаляясь по груди Соньку, брата и себя.

Сейчас решится, кому первому водить в прятки. В глазах Соньки ожидание, надежда, вера: быть может, наконец-то окажется, что водить не ей.

— ...и купили са-мо-вар! — произносит Наташа по складам, и последний слог решает Сонькину судьбу. Она с покорным видом прижимается головой к стене избы и крепко, до желтых кругов, зажмуривает глаза...

За игрой детей с интересом следит Орест Петрович. Он только что вернулся с новой, самой дальней торфяной залежи и сейчас с удовольствием покуривает, сидя на ступеньках крыльца. Оресту Петровичу нравится наблюдать, как четко обнаруживаются в игре детские характеры. Колька — труженик: когда ему надо спрятаться, он сломя голову мчится к дальнему стогу и зарывается в

сено глубоко и основательно, будто намерен отсиживаться там год. Наташа — вся риск и дерзость: она не прячется даже, а просто становится за спиной водящей Соньки или садится на корточки у ее ног и «выручается» сразу, как только Сонька объявляет: «Вожу!» А в Соньке замечательно то кроткое упорство, с которым она переносит все неудачи...

Дети не замечают Ореста Петровича, порой они проносятся мимо самого его лица, порой прячутся за ним, как за старым пнем; он слышит тогда нежный запах детского пота, загорелой теплой кожи и сена, приставшего к их одежде.

Под их быстрыми ногами пыль встает столбом над утоптанной площадкой двора, золотисто-розовая от уходящего солнца. Да и все сейчас на земле: деревья, стены и крыши изб, плетни, дорога, — покрыто горячим, розоватым золотом. Только маленькие облака в легком голубом небе сохраняют дневную чистую белизну. И вдруг все разом меняется. Солнце прямо на глазах падает за обнесенный лесом край земли, и земля накрывается спокойной ясной тенью, а золотое и розовое уходит высь, к облакам.

Улыбка тихой радости трогает обветренные губы Ореста Петровича. Сегодня у него счастливый день. Теперь уже нет сомнения, что разведка не подвела: новая залежь и впрямь самая богатая в районе. А впереди у него два свободных дня, их можно целиком посвятить рыбалке. Как удачно, что его командировка пришлось на самый конец апреля! Чернуха идет всего пять-шесть дней, в самый стык апреля и мая. Некрупная ровная плотва — гладкая, тяжелая икрюнка и шершавые молочники — берет без передышки от зари до зари. Что ни проводка, то поклевка, только вовремя подсекай! И как ни осторожно снимаешь ее с крючка, она непременно обдаст тебя розовой липучей икрой или молоками. А время от времени крепко и сильно — удилище дугой — берет язь. Тут уж все соседи-рыбаки оставляют свои удочки и с замиранием сердца следят, как ты ведешь его под водой к лодке или к берегу, чтобы подцепить сачком. Ловишь так, что к исходу дня рука отваливается, поясница деревенеет, в глазах пестрит золотая и синяя рябь, а когда, мертвенно и блаженно усталый, валишься на постель, перед тобой все струится и блещет околдованная солнцем вода, серебристо посверкивают маленькие тела рыб...

Осторожные вечерние звуки, словно тихая музыка, наполняют простор. Вдалеке, ритмично дышат насосы, осушающие четвертое торфяное поле, обмениваются высокими гудками на разъезде встречные торфяные составы; бормочут моторы на реке, и оттуда же то звонче, то глуше доносится шум человеческого разноглосья. А вот послышался тонкий, серебристый треньк коровьего колокольчика, сухой, вспарывающий шелк пастушьего бича и тяжелый, мягкий топот возвращающегося с первого выпаса стада. На шоссе, по ту сторону реки, коротко сигналият поворотам машины, а из клуба в другом конце поселка прилетела и настоящая музыка, старый-старый вальс...

Мысли Ореста Петровича были прерваны появлением Витьки. Крепко выславшись на копенке, Витька, тяжелый и вялый от сна, спотыкаясь, побрел к машине, ухватил брошенную давеча жестянку, черпнул воды из лужи и плеснул на дверцу. Затем он подобрал тряпку и принялся было за привычную работу, когда услышал грозный крик:

— Ты чего хулиганишь?

На крыльце показался техник Шилков.

— Оставьте его! — резко сказал Орест Петрович. — Он дело делает, может, более важное, чем мы с вами!

Шилков оторопело взглянул на своего шефа: похоже, тот не шутил. Конечно, следовало обидеться и сказать: «Я вам не шофер, чтобы на меня кричать!» — но Шилков только пожал плечами и направился к реке. Как-никак конец фразы содержал для него лестное «...мы с вами».

Орест Петрович уже жалел о своей резкости. Но вызвавшее ее чувство дало новый поворот его мыслям. Он впервые понял и смог назвать про себя то непростое и глубокое, что привязывало его к этим милым чужим детям.

Пожалуй, в детях более всего ощущается волнующее движение времени. Человек бездетный, Орест Петрович живо чувствовал и обаяние нервной, тонкой прелести Наташи, и добрую, задумчивую широту Кольки, и смешную, трогательную увлеченность Витьки. Он думал о том, что они, дети этого маленького, окруженного лесами поселка, станут хозяевами удивительного нового века, которого ему уже не увидеть.

Но сейчас, несколько не заботясь о своем будущем высоком предназначении, дети играли в древнюю, как мир, игру — в «классы».

Вот подошла Колькина очередь. Прыгая на одной ноге, он носком ботинка перегоняет биток из квадрата в квадрат. Биток благополучно добирается до предпоследнего квадрата, тут Колька чуть медлит, затем ловко посылает биток вперед и прыгает вслед за ним. В ту же секунду Наташа, следившая за братом с ревнивым нетерпением, громко восклицает:

— Чира!

— Чего врешь? — отзывается Колька. — Какая чира?

— Нет, ты задел! — И Наташа обеими руками толкает брата в грудь.

Колька с трудом удерживает равновесие, танцуя на одной ноге, и вдруг с силой выбивает биту из игры.

— Выиграл!

— На обмане!.. Ты все обманываешь!.. — жалобно кричит Наташа. — И чего он все обманывает?.. — взывает она, обращаясь невесть к кому.

Она кидается к брату, хватает его за шею и пытается повалить. Колька широко расставляет ноги, но затем, то ли действительно не устояв, то ли нарочно поддавшись сестре, падает на землю.

— Так тебе и надо!.. — злорадствует Наташа и вслед за тем с каким-то раненым криком уносится прочь.

Колька поднимается, отряхивает рубашку.

— Иди круг чертит! — миролюбиво зовет он сестру.

— А ты больше не будешь?

— Да нет! — Колька уже чертит щепкой на земле широкий неровный круг.

— Небось обманешь! — опять с какой-то болезненной жалобой произносит Наташа.

«Как странно она сегодня играет! — думает Орест Петрович. — И что за непонятная, недетская, безотчетная жалоба звучит в ее голосе? Переходный возраст? Что-то, связанное с ростом, созреванием, чего она не сознает и сознать не может?..»

Орест Петрович испытывает сложное чувство: тут и тревога, и грусть, и радость от неизменного, трудного хода жизни. Он встает и медленно бредет к реке.

Теплый, мягкий вечер опустился на землю. От плетня, копы сена, от кустов веет скопленным за день теплом, а с реки уже поддает ночной прохладой. Орест Петрович идет на эту прохладную свежесть, а в ушах его еще долго звучит далекий жалобный голос Наташи, отчаянно-нежный крик раненой птицы...

Наташа сильно и до болезненности остро чувствовала сейчас жизнь. Это не было похоже на давешнюю беспричинную тоску. Ей хотелось носиться, колобродить, одерживать верх, но какая-то неловкость внутри ее тела мешала ей. Так бывает во сне: чувствуешь, что можешь взлететь, стать волшебным легким и быстрым, но что-то мешает тебе, гнетет, лишает даже привычной подвижности. А потом у нее закружилась голова, и острая, горячая боль опалила живот. Она согнулась, выпрямилась и потерянно побрела к дому. Колька пошел было за ней.

— Отстань! — резко крикнула Наташа.

Она вошла в дом, молча прошла мимо матери в комнату и повалилась на кровать. Секунду-другую она словно чего-то ждала, и, когда это пришло, Наташа решила: это смерть. Вот отчего было ей так тоскливо днем, вот почему томилась и страдала она вечером. Она умирает, жизнь стремительно вытекает из ее тела.

— Мама! — крикнула она отчаянно, хрипло, звонко. И когда мать, сразу почуявшая опасность, вбежала в комнату, сказала: — Я умираю. — И заплакала.

Марья Васильевна поначалу как-то оторопела, а потом засмеялась.

— Ну что ты, доченька, что ты, глупая! — говорила она. — Разве ж это смерть, это у всех девушек бывает...

— А разве я девушка? — спросила Наташа.

— Девушка, — сказала мать, и ей стало грустно.

Как-то вдруг все случилось. Она привыкла не делать различия между детьми, все они малые, все несмышлениши. А теперь нелзя, теперь Наташа совсем другая. Давно ли она кормила ее

грудью, и вот уже девушка, не заметишь, как и заневестится, оставит дом...

Она отвела дочь на свою кровать, бережно укрыла ее, погладила по голове и пошла за Витькой.

«Девушка», — шептала Наташа, засыпая, и хотя ей было трудно и неприятно, она поняла, почему утром проснулась с ощущением счастья... Витька, сонный и усталый, еще топтался у машины, но работать уже не мог. Мать взяла его на руки, нарочно, чтобы доказать себе, что он еще маленький, отнесла в горницу, раздела и уложила на прежнее Наташино место.

«Не увидишь, как Колька вырастет и Витька в возраст войдет, — думала Марья Васильевна. — Да разве это жизнь, когда ты еще не старая, а в доме уже не станет детей?..»

Она почувствовала тоску по Степану, в нем была ее молодость, ее власть над временем. И она вздрогнула, когда в сенях послышался шум, и ей мелькнуло, что вернулся Степан. Но это были Орест Петрович, Шилков и Колька. Орест Петрович что-то объяснял Кольке, часто повторяя слово «ракета», и тот слушал его, широко открыв голубые Степановы глаза. Они всей гурьбой прошли в горницу. А вскоре явился и Степан. Марья Васильевна поджидала его на кухне.

— Послушай, Степ, а у нас сегодня перемены...

И она рассказала ему о Наташе.

— А-а!.. — медленно проговорил Степан и как-то странно поглядел на жену.

— Стареем, — сказала Марья Васильевна.

— Да ладно! — И Степан тронул ее за локоть.

Жалость, нежность и любовь ощутила она в этом прикосновении.

— Я сегодня тоже, пожалуй, на печке лягу, — тихо, шепотом сказала Марья Васильевна. — А то Наташе тесно будет.

— Ага, — тоже шепотом отозвался Степан. — А знаешь, какое дело, — добавил он, потупившись, — мы теперь богатые... — Он смущенно засмеялся.

— Что так?

— На машиниста я сдал, — не глядя на жену, ответил Степан. — Сегодня приказом провели... Вроде подарка к Первому мая...

— Постой! — Красновато-смуглое лицо Марьи Васильевны даже чуть побледнело. — Дай я тебя поцелую!..

Пока на кухне шел этот разговор, Колька тоже не спал. Он мучительно думал над тем, почему Наташа перешла спать к матери. С ним ей было куда удобнее: мать спала широко, при ней и Витька едва умещался, а он, Колька, спал скупно, у самой стенки, калачиком. Если он засыпал раньше Наташи, она щекотала его травинкой, а то забирала на себя все одеяло и приглушенно смеялась, глядя, как он сучит голыми ногами... Затем они часто рассказывали друг другу страшные небылицы. Что же заставило ее

уйти? Одно за другим перебирал Колька события сегодняшнего дня и наконец решил: Наташа не простила ему того, что он отказался подарить ей свои находки в песчаном карьере...

Колька тяжело вздохнул: он столько надежд связывал с этими черепками, наконечниками, монетами! Но ничего не поделаешь: дружба сестры дороже. Он перелез через Витьку, тихо опустился на пол и оттащил коробку из-под печенья в Наташин угол. Сестра утром проснется, увидит, и все пойдет у них по-прежнему. На душе у Кольки стало легко, он поправил на брате одеяло и, сложившись калачиком, отвернулся к стене. Он еще слышал, как щелкнул выключатель в кухне, как шумит, укладываясь, мать, потом он уже ничего не слышал.

Время близится к полночи. Семья спит.

КАК СКАЖЕШЬ, АУРЕЛИО!..

РАССКАЗ

Расположено Конюшково не бог весть в какой глухомани — в тридцати километрах от райцентра, в восьмидесяти от областного города, — но из-за своего островного положения живет наособь, отставая на полшага от соседей. Районные киномеханики сроду не заглядывали в Конюшково: ведь сюда пришлось бы тащить не только проекционную аппаратуру, но и движок, а переправлять всю эту технику на лодке — дело сложное и рискованное. Вот почему многим ребятам школьного возраста и древним старухам предстояло сегодня приобщиться к кинотайнству впервые в жизни. В иных домах, готовясь к знаменательному событию, топили баню по-черному, стирали, гладили.

Опасались дождя. В Конюшкове не было ни клуба, ни другого общественного помещения, способного вместить всех зрителей, но к вечеру небо вывездило из края в край, это обещало прочную, сухую погоду. Не подвели и мужики, выехавшие на катере за механиком: доставили все в целости и сохранности.

Зрители заняли места задолго до начала сеанса. Стариков и старух в знак уважения усадили на передние места, почти под самый экран, молодежь теснилась сзади, поближе к аппарату.

Среди тех, кому предстояло впервые увидеть кинофильм, была шестнадцатилетняя Люда, дочка Данилихи. Отец Люды умер от тяжелых ран вскоре после окончания войны, и матери все недосуг было свозить Люду в город: она работала в колхозе, обстирывала охотников и еще заведовала сельпо. Когда Люда отправлялась с ребятами по грибы и ягоды на «большую землю», в ней всегда подымалось терпкое, горестно-счастливое чувство подавляющей огромности неведомого ей мира, предчувствие каких-то тайн и откровений за голубой дымкой дали. И сегодня — она

угадывала это томно обмирающим сердцем — должна приоткрыться одна из тех тайн, которыми так беден их островок и так богата «большая земля», что простирается за клюквенным болотом, зеленым окоемом озера.

— Дядя Сень, а про что будет кино? — приставали к бригадире Тиунову большие девочки.

— Кино будет научное, про Мексику.

— Вона! — подключились старухи. — А где она хоть находится, эта Мексика?

— Вот те раз! Тут тебе Куба, а тут, значит, и Мексика.

— А-а!.. Стало быть, недалеко, — успокоились старухи.

— Дядя Сень, а зачем научную привезли? — опять завели девочки. — Лучше бы про любовь.

Тиунов обиделся.

— Любитесь, любитесь, а все вам любви мало!.. Ладно, в другой раз будет про любовь...

Картина называлась «Мексиканская девушка» и только сначала оказалась научной, когда показывали виды Мексики: пески, пальмы, домишки из песчаника, пыльные дороги, глиняные сосуды, — дальше, что там ни говори Тиунов, она была все-таки про любовь.

Но что рассказывалось про любовь, Люда толком не понимала. И не потому даже, что порой было черно на экране, а потому, что так прекрасны были рождающиеся во мраке и нежно сближающиеся лица двоих, так безмерно сладостны слова девушки, обращенные к любимому: «Как скажешь, Аурелио!..»

В этом была такая покорность, такое умаление себя перед любимым и такая странная, непонятная гордость, что у Люды Мурашки заходили по телу. Она привыкла быть с окружающими в непрестанной борьбе. Она подчинила себе мать, подруг, всех младших деревенских ребят, она яростно враждовала со сверстниками-парнями. В этой жестокой неукротимости виделось ей что-то гордое и достойное. А вот из темноты выплывало светлое, как полный месяц, прекрасное женское лицо, и потуплялись в нежной покорности огромные глаза, и губы медленно роняли: «Как скажешь, Аурелио!..» — и вся прожитая жизнь начинала казаться Люде сплошной ошибкой..

Не просто все складывалось у молодой четы на экране. Недруги покушались на их скромное благополучие, на их близость, на самую жизнь. И как было защититься от могущественных врагов, ведь Аурелио — простой крестьянин, бедняк. Правда, он больше танцевал, играл на гитаре и пел, чем землепашествовал. Чететка и кастаньеты — бедная оборона. Но женщина говорила своим низким, тихим голосом из глубины преданного сердца: «Как скажешь, Аурелио!..» — и это сообщало молодому мексиканцу необычайное мужество, отвагу и силу. И были скачущие вперегон кони, и выстрелы, и стоны раненых, и женские глаза, нестерпимо блестящие от боли и ожидания, и победа, и возвращение к любви.

мой, под сень ее нежности и покорности, и серебро слов: «Как скажешь, Аурелио!..»

Едва кончился фильм и экран забелел ярким пустым квадратом, Люда вскочила и кинулась бежать. Ей нужно было побыть одной, без людей, без глупых подружек, недорослей-приятелей, наедине с тем странным открытием, что родилось в луче света, брошенном на белую простыню.

Деревня сползала по косогору к узкой заводи, но Люда взяла путь в другой конец острова, смотревший на плес. Люда любила озеро, быть может, не особо большое, если судить о нем по географической карте, но для простого глаза такое же неохватное и полное, как море. Она бежала по тропинке, чуть светлеющей под лопухами и подорожниками, мимо заросшего погоста с края березовой рощицы, мимо густого орешника, мимо трепещущих последними листьями осин. Даже сейчас было тепло тем странным прочным теплом, что установилось в конце сентября после холодов, сменивших бабье лето.

И вот оно, озеро, черное, с острым долгим проблеском от новорожденного месяца. Люда подбежала ближе. Оказывается, вода приютила куда больше света, чем казалось издали. Маленькие волны, нагоняемые ветром на низкий берег, отсвечивали пенной оторочкой, звезды покрупнее кинули свой следок на воду. Люда чувствовала озеро, как собственную кожу. Для конюшковцев озеро было обиталищем промысловой рыбы и ценного водяного зверя. Но и другие сокровища хранило в себе Могучее. Сюда ударили майскими грозами слепящие молнии, июльские полные радуги опускали семицветье своих опор, без счета осыпались звезды августовскими ночами. А разве солнце в ежевечернем погружении не оставляло озеру немного розового света, разве исчезало бесследно все изливающееся в него лунное и звездное сияние? Озеро приняло в себя столько радужного, звездного, лунного и солнечного вещества, что вода его обрела целебную силу. Стоило Люде погрузиться в озеро, как ее охватывали успокоение и нега, в теле что-то отпускало, оно становилось свободным, легким, почти невесомым.

Ухватив крест-накрест узкое платье, Люда сняла его через голову, резким движением спустила трусики, перешагнула через них, скинула разношенные тапочки и почувствовала под горячими ступнями приятную прохладу и влажность песка. Прижимая ладонями маленькие острые груди, причинявшие ей всегда какое-то беспокойство, Люда медленно, радуясь всем телом, вошла в воду по пояс. Она поглядела в темный лик озера, как глядела мексиканская девушка в лицо своего избранника, и сказала покорно, будто услышав его повеление:

— Как скажешь, Аурелио!..

Люда поплыла по светлому зигзагу далеко-далеко от берега, потом легла на спину и лежала очень долго, то закрывая глаза, то подставляя их месяцу и звездам. Потом она вернулась на бе-

рег, непривычно усталая и умиротворенная. Люда с радостью поняла, что равнодушна к Аурелио, его усатое, широкоскулое, черноглазое лицо под шапкой жгуче-черных волос ей совсем не нравилось, — она не ощущала себя соперницей мексиканской девушки. Нет, не Аурелио волновал ее, а обращенные к нему слова, ставшие ее словами. Она освободилась от фильма, от суматошного мелькания черно-белых картинок, теперь собственностью ее души стал выдох счастливой плоти: «Как скажешь, Аурелио!..» Но она не знала своего повелителя.

Люда оделась, сунула ноги в тапочки и побрела прочь. Живая вода впервые не дала ей легкости, но укрепила, наставила на новом, нежном смирении. Она брела по тропинке, и ее, слабую от нежности, шатало, сбивало с шага. Люду не пугала эта слабость, она смутно чувствовала, что организм ее меняется, взрослеет и она должна покорно терпеть его причуды, хоть это всегда отзывается смертной печалью в сердце.

Она поравнялась с кладбищем, бедным, заросшим, где среди могил древних стариков и старух — конюшковцы умирали только от старости — находилась могила ее отца, единственного молодого на этом погосте. Люда не испытывала страха перед живыми и того менее — перед мертвыми. Она свернула с тропинки и, намокнув в росной влажности орешника и таволги, пробралась на кладбище. В темноте, слабо просквоженной месяцем, были почти невидимы маленькие, расползшиеся, заглушенные травой могильные холмики. Конюшковцы не были бережны к своим усопшим. Быть может, оттого, что умирали они, изжив свой век да и чужой прихватив, смерть не ощущалась тут трагически, а как естественная и в общем-то желанная неизбежность... Пожилые дети хоронили своих дряхлых родителей просто, деловито и возвращались к заботам о текущей жизни.

Но Людин отец умер, не изжив себя; он оставил молодую вдову и дочь-малолетку, и могила его была другой: ухоженной, хранимой, как память о нем. Люда легко отыскала ее в темноте, перекраивающей на свой лад знакомый мир, населяющей его всякой неожиданностью. Отродья тьмы любят подставить прищельцу ножку, ухватиться за одежду, сунуть в глаза сухие, как сучья, пальцы, вцепиться в волосы. Уплатив ночи положенную дань в виде царапин, ссадин, клочка подола, Люда добралась до низенькой деревянной ограды вокруг могилы отца. Холмик был обложен дерном, сверху набросано несколько полусохших астр. В изголовье высился деревянный крест, проточенный в трещинах бархатистым мохом. Конечно, могила отца содержалась опрятнее других, но все же какой бедной, жалкой была она! Там спал ее отец, а дочь не помнила его даже той ложной памятью, какую порождают рассказы людей. Он был совсем молодым, когда умер, — ему едва исполнилось двадцать пять, он был Аурелио ее молодой матери!.. Люде стало горячо, нежно и стыдно...

Оставшийся путь к дому она проделала словно в полусне: кло-

нилась на грудь отяжелевшая голова, свинцом натекли ноги, она то и дело зевала, слезы заволакивали ей глаза, все вокруг расплывалось, качалось, теряло очертания, будто отраженное в ночной непокойной воде. На площади, где недавно показывали кино, горела праздничная гирлянда, звучал баян и двигались танцующие пары. Но Люда туда не пошла. Проковыляв к своему дому, она поднялась на крыльцо, ушиблась в сенях о корыто, задела рукомойник в кухне, споткнулась о порог горницы, не раздеваясь, бросилась на кровать и тут же заснула без памяти и сновидений.

Разбудили ее рано: у нее из головы вон, что на сегодня намечался поход за клюквой. Прибежавшая за ней Сонька, ее подруга и верная раба, испуганно тараторила:

— Идем скорее!.. Все уже в лодке! Ну идем же!

В суматохе, охватившей Люду, пока она одевалась потеплее, искала корзинку, заворачивала в газету кусок пирога с творогом, крутые яйца и жаренного на постном масле леща, она и не вспомнила о том новом существе, что родилось в ней вчера. Но вот они вышли из дому в раннее, уже теплое утро, и в ней вспыхнуло давешнее ощущение нежности, сердце сжалось, замерло и раскрылось какой-то неведомой радости, и зазвучала в нем музыка гордой, жертвенной покорности: «Как скажешь, Аурелио!..»

Ребята набились в большую плоскодонку с очень старым, в медалях, мотором, прилаженным не на корме, а посредине лодки. Этой древней тихоходкой никто из взрослых не пользовался, и она перешла в собственность ребячьей вольницы.

Собралась тут мелкота, но было и несколько Людиных сверстниц. А над мотором колдовал пятнадцатилетний Колька Фролов. Уже спустившись к лодке, Люда заметила лежащего на опрокинутом кверху дном челноке Большого Славку. Он назывался так и отличие от своего пятилетнего брата Славки, сидевшего в лодке. Братья не были тезками, старшего звали Ростислав, а меньшого — Славамир. Люда обрадовалась Большому Славке. Обычно они враждовали: Люда верховодила у девочек, Славка — у мальчишек, и каждому хотелось показать, что другой — дутая величина. Они преследовали друг друга и в школе и дома, и, хотя Большой Славка был сильнее, ловкость, отчаянность и безудержность Люды куда чаще приносили победу ей.

А сейчас Люда глядела на безмятежно разлегшегося, беззащитного Славку, и ей вовсе не хотелось делать ему гадости. Она видела его спутавшиеся кудрявые волосы, чуть вздернутый нос, чистое, тонкое, лицо, и в ней подымалось что-то новое, мягкое к нему. «Надо позвать Славку, пусть едет с нами, скажу, что больше не сделаю ему ничего плохого, буду во всем его слушаться...»

В Люда тихо направилась к Славке. Он заметил ее, когда она была в нескольких шагах от него. Ужас отразился на миловидном, чуть капризном Славником лице. Он хотел вскочить, но штаны прилипли к смоле.

— Не подходи, слышь! — заорал Славка, извиваясь, как муха на клейкой бумаге. — Не подходи, хуже будет!..

— Что ты, Слава, — кротко сказала Люда, — зачем ты так кричишь, хорошо ли это?..

От этой непривычной Людиной тихости Славка совсем пал духом. Ему предстало, что сейчас его заживо освежают или будут поджаривать на медленном огне.

— Убью!.. — завизжал он, рванулся и, оставив на днище челнока кусок штанины, кинулся прочь, сверкая оголившимся задом.

Люда огорчилась почти до слез. Ее добрый порыв пропал впустую. А ведь Славка мог стать ее Аурелио. Правда, она сама виновата, что Славка не поверил ее доброму движению, — он столько горя натерпелся от нее!.. Вздохнув, Люда повернулась и побрела к лодке.

Закусив до крови губы, Колька Фролов дергал шнур мотора. Шнур не был закреплен, он просто наматывался на диск и после очередного рывка оставался у Кольки в руке. Приходилось снова цеплять его за что-то и наматывать виток за витком. «Едрит твою!» — приговаривал Колька после очередного неудачного рывка и смачно плевал за борт. В Аурелио он не годился. Люда поняла это сразу. И тут взгляд ее остановился на толстом, белобрысом существе, выедавшем мякиш из хлебной стеночки. Это был Славамир. Слава Маленький, брат Большого Славки. В какой-то странной прозорливости Люда решила, что этот жалкий человек может быть ее Аурелио. Она вошла в лодку и, растолкав подруг, села возле Славамира. Он даже не заметил ее, так глубоко погрузился в горбушку. У него уже выпадали молочные зубы, с коркой он не справлялся и старался до последней крошки справиться с мякишем. Люда взяла его за плечи и притянула к себе. Почувствовав тепло, уют, защищенность, мальчишка доверчиво прижался к Люде.

Взревел мотор.

— Завелся, едрит твою! — вскричал Колька, и лодка стремительным рывком, так что все попадали навзничь, подалась вперед, будто взнуздав самое себя, пошла медленно, задыхливо, едва тревожа воду слабым своим винтом.

Лодка прошла под мостом, вышла на плес, потом забрала влево, на широкую протоку, соединяющую Могучее с озером Светлым. Протока лежала в плоских берегах, поросших кустарником и дикими плодовыми деревьями. В незапамятные времена тут были сады, но потом заглохли, сошли на нет, остались лишь яблони-кривулины да не приносящие плодов вишни. За садами началась мшара, поросшая молодым сосновым жидняком, дальше без конца и края расстилались другие моховины, большей частью безлесные.

Сейчас в природе царила растерянность. Летняя жара после холодов, близких к заморозкам, сбила с толку все растущее из земли. На бесплодных вишнях распустились белые, с чуть при-

метной розоватостью цветочки, заневестились и дикие яблони слабым белым цветом, а на луговине левого берега вновь расцвели пунцовые маки.

Так странен был этот перепутанный мир! Вот плывет серебряная паутина, застрявшая между небом и землей с бабьего лета, набухают почки на вербах, желтеет березовый лист, осина сбрасывает багрец, но цветут фруктовые деревья, раскрываются чашечки белых водяных лилий; тянут на юг утки и гуси, а тетерева, похоже, собрались не откладывать на весну брачных турниров и свадеб: вместо робкого, сонного осеннего токования они разоряются на неистовый весенний лад, а за ними тянется и глухарь, — ишь как костяно пощелкивает несуществующими зубами!..

И такая же весенняя путаница творится в Люде. Не верится ей, что сейчас осень и впереди длинный учебный год, что только воскресному дню обязаны они своим бездельем. Ей кажется, что школа и все школьные заботы остались позади вместе с детством; оборвавшимся вчера под музыку дивных слов: «Как скажешь, Аурелио!..» И никто теперь не властен над ней, кроме любимого, прикорнувшего у ее бока. Ему должна она служить, подчиняться, чтобы он становился сильным от ее покорности и веры, ведь мужчины, предоставленные самим себе, так слабы, пугливы, беспомощны перед жизнью...

Неподалеку от места высадки мотор заглох, и все поутги Кольки ни к чему не вели. Пришлось достать со дна лодки весла и подвесить на пеньковых петлях к деревянным уключинам. У одного весла сел Колька, второе предназначалось Люде. Но, вопреки обыкновению, Люда отказалась от своего права.

— Видите, я не могу подняться, — кивнула она на спящего Славку.

К веслу сели сразу две девочки: Сонька и красивая Маша, в одиночку им было не справиться.

Вскоре лодка мягко уткнулась в песок. Разувшись и засучив брюки, Колька прыгнул в воду и подтащил лодку к берегу. Началась веселая кутерьма выгрузки. Держа узелок в зубах, а туесок подвесив на локтевой сгиб, Люда подняла Славку и с глубоко сосредоточенным видом понесла драгоценную кладь к носу лодки. Подруги наперебой предлагали ей свою помощь, но Люда только резко мотала головой. Она проходила школу смирения, и чем неудобнее, труднее ей было, тем лучше. Ко всему еще Славка проснулся и стал трепыхаться, пытаясь сойти с рук, но Люда ласково-твердо пресекла его попытки. Она спрыгнула на песок, подвернула ногу и, прихрамывая, следом за другими поднялась на высокую травянистую часть берега и лишь тут бережно опустила Славку на землю.

Перед походом решено было позавтракать. Ребята развязали свои узелки, у каждого оказалось что-нибудь вкусное: пироги, пышки, жамки, ватрушки, копченая и вяленая рыба, молоко в бу-

тылках, яблоки, маленькие вязкие груши. Лишь у Славки ничего не было: с краюшкой хлеба, луковицей и горсткой сахарного песка он разделался еще по дороге. Но Славка не оказался внакладе. Люда отдала ему весь свой запас, а затем, подстергая плотоядный взгляд Славки, отбирала у подруг приглянувшиеся ему лакомства.

Насытившись, ребята увязали оставшуюся еду в узелки и, прихватив туесочки, отправились в поход. Неожиданно Люда заявила, что не пойдет: Славка снова клевал носом, и она должна сторожить его сон.

— Да плюнь ты на него, пусть дрыхнет, — уговаривал ее Колька. — Кому он нужен, едрит его!..

Но Люда оставалась непреклонной. Когда друзья ушли и замолкли их слабые голоса, она растолкала Славку и принялась соблазнять его купанием.

— Не хочу!.. — сердито мотал головой Славка.

Люда вошла в воду и, ощутив под ногой скользкую остроречную речную устрицу, закричала:

— Ой, тут полно раковин! Они в пищу годятся!..

Славка сел на корточки, потом встал и сделал несколько валких шагов к воде.

— Это устрицы! — ликовала Люда. — Отваришь — пальчики оближешь!

— Хочу купаться! — плаксиво сказал Славка.

Выклянчивая у матери еду, он привык нарываться на отказ, поэтому все свои желания заранее выговаривал на слезе.

— Как скажешь, Аурелио! — наконец-то произнесла Люда давно томившие ее заветные слова.

Она стащила с него материнскую рваную кофту, трусики и помогла спуститься к воде. Лишь раз изменила она себе, проговорив с ужасом и восхищением:

— Ну и пузо ты отрастил!..

Но Славка был доволен своим пузом, а Люда, отдав последнюю дань обыденщине, стала женщиной Аурелио. Как женщина Аурелио, она неторопливо сняла платье; как женщина Аурелио, медленно, закинув руки за голову, скромно-бесстыдно сошла с берега и погрузилась в прохладные струи; как женщина Аурелио, сплела себе веночек из желтых кувшинок.

Устриц Славка не нашел, зато нахлебался воды, продрог и раскуксился:

— Не хочу купаться!..

— Как скажешь, Аурелио!..

Она вытащила Славку из воды и поставила на берег. Он сумрачно заковылял к своей одежде, напялил кофту, затем, промахиваясь ногой, стал надевать трусики.

Люда сплавала на тот берег, вернулась и снова женщиной Аурелио под взглядом любимого вышла из протоки, натянула платье, долго возилась с пуговицей на груди, затем, отшвырнув пожухший, запахший речным илом веночек, пальцами разобрала во-

лосы и откинула их за уши. Чувствуя свое открытое и прекрасное лицо, она поднялась к станью.

Славка не подозревал о дарованной ему власти, но он намерзся, проголодался и, заранее настраиваясь на отказ, завел жалким слезным голосом:

— Жрать хочу!..

— Как скажешь, Аурелио! — прозвучал готовый ответ.

Что-то дрогнуло в Славке. Мир играл с ним одну из тех обманных игр, что потом надолго обезоруживают человека избытком доверия к окружающему. И все же Славка с осторожностью вступил в сказку.

— Мякушка бы пожевать... — промямлил он неуверенно.

Люда в избытке рвения отхватила большой кусок ржаного хлеба, густо посолила и подала Славке на ладони, как жеребенку.

Умяв хлеб, Славка сказал все еще на слезе:

— Пирожка хочу... с черникой!..

Он получил кусок пирога с черникой и всласть вымазался в темном соке. Потом ему захотелось ватрушки, и это его желание было удовлетворено.

— Колбасы! — сказал Славка, и в детском голосе его зазвучал металл.

— Как скажешь, Аурелио!..

— Сахарного песку!..

Люда по-хозяйски рылась в узелках подруг. Аурелио голоден, и она обязана утолить его голод, все прочее не имеет значения.

У нее опасно сузились и заблестели глаза: пусть только попробуют что-нибудь вякнуть!..

Держа в руке газетный фунтик, Славка насыпал в горсть сахарного песку и отправлял в рот. Ее Аурелио насыщался после трудового крестьянского дня, наполненного музыкой и танцами. По-мужски жадно, по-мужски сильно, по-мужски аппетитно поглощал он приготовленные ею простые пряные яства.

Разомлев от сытной и сладкой пищи, Славка потянулся к Люде и положил ей на колени белобрывую голову.

— Почеши...

— Как скажешь, Аурелио!..

Тонкие Людины пальцы быстро забегали среди коротких, светлых волосишек, запорошенных пылью. Славка задремал, в коротком сне переварил обильное угощение и проснулся вновь голодный и требовательный.

— Хочу!.. — завел он, еще не зная, чего попросить.

Люда вскочила на ноги, готовая выполнить каждую причуду любимого.

— Селедки хочу!.. — неуверенно проговорил Славка.

Он тут же получил селедочную голову и хвостик. С хвостиком Славка разделался быстро и отшвырнул голый хрящик, а вот голова потребовала времени и усердия. Выбрать всю соленую вкусну из-под жаберных крышек — дело не быстрое.

Пока Славка трудился над селедочной головой, Люда оведала его большим лопухом, тихонько напевая:

Улетай на крыльях ветра
Ты в край родной,
Простая песня наша!..

Ведь она тоже была полонянкой, подобно русским девушкам в стане Кончака, но плен ее был счастливым, ибо ярмо, которое она несла, — это легкие и сильные руки любимого. И песня ее лишена грусти, тоски, она летит вестником ее счастья в объятиях Аурелио.

Славка разделался с селедочной головой, отбросил пустые перламутровые створки, утер рукавом испачканный рот, оттолкнул колышущийся возле лица лопух, и глаза его вновь загорелись алчным блеском:

— Хочу пирожка... с повидлой!..

Но уже не было пирогов ни с повидлом, ни с черникой, ни с творогом. Оставался маленький кусочек пирога с пасленом, но Славка и слышать не хотел о паслене.

— С повидлой!.. Хочу с повидлой!

На миг у Люды будто упали с глаз сказочные очки, превращавшие карзубого, пузатого увальня в стройного, длинноногого, смуглого бога.

— Пови-и-идлой! — клянчил Славка.

— Как скажешь, Аурелио! — машинально отозвалась Люда.

Раз сопляк Славка заменял бога Аурелио, то конский щавель вполне сойдет за пирог с повидлом. Люда щедро, обеими руками нарвала жесткого крупнолистого щавеля и вкрадчиво сказала Славке:

— Закрой глазки и открой ротик.

Славка что есть силы зажмурился и доверчиво открыл маленькую розовую пасть. Люда напихала туда конского щавеля и легонько поддала Славке под челюсть. Он доверчиво сделал несколько жевательных движений, раскрыл потемневшие от ужаса глаза, и зеленая жижа потекла у него изо рта. Он начал хныкать, вначале неуверенно, робко, затем все напористей и сердитее.

— Сейчас же перестань! — раздраженно сказала Люда.

Славка ответил отчаянным ревом.

— Как знаешь, Аурелио, — сказала Люда и тут услышала, что возвращаются ребята.

Она вскочила, сжав кулаки. У ребят было полно в туесах и пусто в желудке. Они кинулись к узелкам. При каждом удивленном и разочарованном возгласе ноздри Люды гневно раздувались; когда же ребята подступили к ней с сердитыми расспросами, куда девались все их запасы, Люда глянула на них дерзко, темно и опасно:

— Чего пристали?.. Куда!.. Куда!.. За кудыкиной горой ищите!

...День уже переломился на вечер, когда тронулись в обратный

путь. Славка дремал на корме, положив кулак под голову; девочки перебирали клюкву, очищая от листиков и всякого сора; Колька бранил мотор, хоть и работавший, но с перебоями, глухо. Люда, опустив руку в воду, глубоко задумалась.

По выходе из протоки ребята увидели сидящих на Могучем лебедей, пару черных и пару белых. Лебеди, случалось, проходили над Конюшковским островом в своих весенних и осенних перелетах, но на большой высоте они почти не отличались от журавлей. Впервые на Людиных глазах прекрасные птицы сделали привал. Стройно и строго держась на воде, они медленно плыли вдоль тростниковой заводи, такие большие, величественные, нездешние, что дух захватывало. Вдруг они замахали крыльями, широко, торжественно вознеслись над водой, сперва черные, затем белые, и эти были, как ангелы в светлых своих одеждах... Солнце кинуло в них нежным золотом, но, едва коснувшись чистой белизны, золото растворилось в ней и стало ярким серебристым сиянием. Но черных лебедей это сияние словно бы поглотило. Им пристало резче выделяться на бледной голубизне, а сейчас, на меркнувшем небосводе, они казались лишь тенями белых лебедей. Ввысь, ввысь уходят лебеди, а затем ложатся на курс полета, и звенят их прощальные флейты.

— А вот недавно был случай, — заговорил вдруг Колька чистым и мягким голосом. — Лебедь на пролете повредил об антенну крыло и опустился посеред города прямо на пруд. А который в паре с ним был, спустился и стал его облетывать, будто крылами прикрывать. Кругом народ, шум, трамваи звенят, — кавово это дикому лебедю? А он не улетел, остался с подранкой... Вот какая у них преданность!..

— Ты правильно рассказал, — тихо молвила Люда, — только раненый был лебедь, а осталась с ним лебедушка.

— Не знаю, — задумчиво произнес Колька, и сквозь его привычный облик проступили нежные черты Аурелио, — вроде бы слышал я, у самцов самая верность... Едрит твою! — это относилось к мотору, который, громко вычихнув остаток горючего, совсем смолк.

На этот раз Люда не уступила весла товаркам, она гребла с такой яростью, что Колька едва поспевал за ней. Случалось, от мощных Людиных гребков лодка заворачивала в его сторону, и Колька, злясь и ликуя, что есть силы напрягал свое худое крепкое тело. К причалу подлетели с лихостью быстроходного катера и далеко вымахнули на берег.

Славка и тут не проснулся.

— Отнесешь его домой? — спросила Люду Сонька.

Люда поглядела на нее далеким, непонимающим взглядом и выпрыгнула из лодки...

Подходя к дому, Люда сдержала шаг. Она и сама не заметила, как походка ее стала упругой и вкрадчивой. Перегнувшись через перила крыльца, мать разговаривала с проезжим егерем. Чуть

оставив ногу, он похлестывал плетью по голенищу сапога. Хоть мать и склонилась к егерю, разговор ее был резкий, отстраняющий.

— Очень надо!.. Тоже скажете!..

Значит, опять раздор. Лицо матери горело, оно было сейчас необыкновенно красивым: большое, смугло-алое, с косым, сильным срезом скул и светлой кожей под яркими глазами. Тем обиднее казалось Люде сейчас вздорное недружелюбие матери к егерю.

— Пойди белье сполосни! — крикнула мать, едва завидев Люду. — Завтра охотники приезжают.

«Сама иди, небось тебе деньги платят!» — чуть не сказала Люда, но все же удержала на губах дерзкие слова. И, давая матери наглядный урок женской кротости, ответила:

— Хорошо, мама, я все сделаю...

...В лодке проснулся Славка. Он спал неудобно, намял щеку, свернул шею, и пробуждение не доставило ему радости. Не без труда выбрался он из лодки и тут увидел Люду. Прижимая к боку таз с бельем, она шла по сходящим на берег. Славка засмеялся и кинулся к ней со всех своих шатких, кривоватых ног, растопырив руки. Но она глянула на него с отвращением и коротко бросила:

— Пошел вон!..

Когда Люда принесла белье домой, мать стала развешивать на дворе стиранные простыни. Она закидывала их на веревку и, становясь на носки, закрепляла прищепки. Егерь стоял у плетня, все так же охлестывая плеткой сапог, и мать бросала ему время от времени что-то сердитое и тупо-однообразное:

— Еще чего!.. Ишь ты!.. Тоже скажете!..

«Как скажешь, Аурелио!..» — безмолвно выговарила Люда, поставила таз на крыльцо и вышла за ворота. Был тот послезакатный час, когда день теплится невесть каким светом. Ноги будто сами повлекли Люду прочь из деревни, в одиночество. Близ околицы из охотничьей избы выскочил с пустой бутылкой в руке сторож Матвеич.

— Ты куда, стрекоза? — радостно спросил он.

— Да уж не за водкой! — резко прозвучало в ответ.

Старик смутился, и тут Люда вспомнила, что Матвеич принадлежит к слабому и прекрасному мужскому полу.

— Не сердись, Матвеич, — сказала она и коснулась темной, усеянной гречкой руки старика. — Я и сама не знаю, чего говорю...

— Смотри ж ты, — раздумчиво и чуть печально проговорил старик, — как время бежит... Давно ли... а уж заневестилась!.. — И, покачивая головой, Матвеич направился своей дорогой.

Люда глядела вслед старику, не зная, радоваться ей или огорчаться, и тут рванувшийся из ее груди полный, счастливый смех сам сделал выбор. Это новорожденная женственность приветствовала самое себя.

Люда бегом кинулась по тропинке. Ей захотелось обежать весь остров, снова побывать на кладбище, и на косе, и на другой стороне острова, возле геодезической вышки, и у трех сросшихся вязов, и спуститься в овраг за деревней, заросший злой крапивой, и пробраться в кустарник за оврагом, где обитают одичавшие кролики, и на тот обрыв, откуда, по преданию, кинулась в озеро обманутая девушка...

Когда Люда, полумертвая от усталости, мокрая, как из-под ливня, сонная и легкая, уже не чувствуя тела, вернулась домой, мать добивала в сенах егеря последними безжалостными словами. Люда слепо прошла мимо них и рухнула на постель.

Мещерские были



ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА

Когда Дедок подплыл на старом своем челноке к «пристани», — так подсвятыинские охотники называют клочок берега на Великом, удобный для причала, — там было уже полно народу. Охота разрешалась лишь с завтрашнего утра, но, видно, никому не сиделось дома.

— Дедок, ты живой? — сказал Анатолий Иванович. — А мы-то думали на поминках погулять.

— Ишь, чего захотели! — засмеялся Дедок.

Анатолий Иванович поглядел на серое, будто пеплом обдутое, лицо Дедка с белыми губами под щетинкой редких, взъерошенных усов, с впалыми, всосанными, мягко обросшими сединой щеками.

— Как же это старуха тебя пустила? — проговорил он с легкой укоризной.

— Еще б не пустила! — избегая цепкого взгляда охотника, говорил Дедок, в то время как его узловатые, изуродованные подагрой руки привычно зачаливали челнок. — У меня со старухой разговор короткий!

— Ну, живи, Дедок, — разрешил Анатолий Иванович, как бы допуская его этими словами в охотничье товарищество.

Слова охотника напомнили Дедку о его сборах на охоту, о том жалком и унижительном, что ему пришлось пережить, прежде чем он отправился в путь.

Когда прошлой весной запретили охоту, Дедок как-то разом расклеился. Вся скопленная за долгие годы усталость, все недосыпы, все залеченные и незалеченные хвори, вся стужа, которой он вдосталь набрался на сырых весенних и морозных осенних зорях, накиннулись на его усохшее с возрастом тело, скрутив истомой, знобкой ломотой. Дедок переселился на печь, откуда сползал лишь по нужде да когда старуха заставляла его поесть горячей похлебки. Днем он дремал, слыша сквозь забытие, как гремят в руках старухи ухваты и рогачи, хлопает и визжит в сенцах на ржавых петлях дверь, ворочается в закутке и вдруг гулко ударяется о деревянную стенку боровок; ночью же томился бессонницей. В неотвязной, страшноватой ясности перед взором Дедка, открытым в угольную темноту надпечья, возникали лица живых и

умерших людей, близких и далеких; лицо пожилой дочери и уже старого сына, давно существовавших отдельно от Дедка, и другого сына, погибшего в Отечественную войну, и двух дочек-близнецов, умерших в младенчестве от кори, и особенно часто — лицо его старухи, которое представляло то нынешним, источенным морщинами, то молодым, гладким, будто облитым глазурью.

Дедка томила и тревожила их назойливая ненужность. К чему они, коли не могут ответить на единственное важное теперь для Дедка: зачем было все то, что было, если сейчас эта печь, эта смертная слабость и равнодушие ко всему на свете? Сколько ни вопрошал их Дедок, ночные посетители молчали; казалось, они заняты чем-то своим и не хотят помочь Дедку. Тогда он как-то дневным делом пытался спросить об этом старуху, но то ли не нашел нужных слов, то ли старуха не захотела его понять. Она принялась браниться, понесла пустой и злой бабий вздор, и Дедок скрылся от нее на печку.

Отзвенела капелью весна, дверь в сенцах уж не хлопала с подвизгом, теперь она была всегда настезь, пуская в избу летнее тепло и запахи, которые Дедок почти не слышал, лишь угадывал. Отгремел грозами июль, и лето вдруг сразу перемахнуло на осень, август настал под стать октябрю, с утренниками и серым, мелким дождиком, с редкими ясными, солнечными днями. Однажды, вернувшись домой с фермы, старуха застала Дедка сидящим на лавке. Это было так отвычно, что она обмерла.

— Ты куда, старый? — спросила она с усилием.

— В путь пора собираться, — отозвался Дедок, глядя в сторону.

У старухи подкосились ноги.

— Уже?.. — только и произнесла она.

— На численник погляди. До охоты два дня, а ничего не собрано, ружье не чищено, патроны не набиты.

Тут старуха увидела лежащие на лавке стволы в чехле из рваного ее чулка, а на подоконнике почерневшее, обмотанное проволокой ложе и кожаный, будто навощенный с изнанки, обтершийся о тело Дедка пояс-патронташ.

Тогда старуха поняла, что Дедок отложил помирать и собрался на охоту. Она не стала спорить и ругаться, просто забрала и спрятала стволы. После тщетной попытки завладеть стволами Дедок, поняв свою слабость перед старухой, сел на лавку и заплакал. Слезы растеклись струйками по излучинам его морщин, он не пытался унять их, вытереть, и старуха, никогда не видевшая Дедка плачущим, испуганная и устыженная, заторопилась вернуть ему стволы. Получив стволы, пахнущие былыми выстрелами, Дедок по-детски сразу успокоился и стал смотреть на свет их изъеденные, давно потерявшие блеск цилиндры.

Теперь старуха деятельно помогала Дедку в сборах: зашивала ушанку с вытертой лисьей опушкой и порванное в проймах ватное пальтецо, штопала носки, клеила резиновые заплатки на голе-

нища болотных сапог. Дедок набивал патроны, отмеряя медной, позеленевшей чашечкой дробь и порох.

Наконец пришло время выходить. Дедок натянул на себя фуфайку, ватные штаны, сунул ноги в толстых шерстяных носках с надвязанными пятками в резиновые сапоги. И эти старые сапоги, без малого год пролежавшие в сенах, охватили его ноги таким мозжащим, до сердца проникающим холодом, что Дедок весь как-то сжался, скорчился, и землистая тень проступила на скулах.

— Что с тобой, горемычный! — спросила старуха.

— Ничего, — проговорил Дедок, боясь, что она приметит заходившую по его телу дрожь. — Дай-кась сенца подложить.

Старуха принесла сена, и он набил его в сапоги и натужливо обулся. Холод не исчез, ледяными обручами сжал он худые икры Дедка, проник к костям голеней.

— Теперь хорошо, — сказал Дедок, обманывая и старуху и самого себя.

Старуха помогла ему натянуть ватное пальтецо, одернула полы, обмяла заскорузлый ворот. Он чувствовал на себе ее жесткие руки, слышал теплое, чуть горьковатое, учащенное дыхание, и в нем подымалась давно забытая нежность к старой спутнице его жизни.

— Пошли, что ль, — сказала старуха, — я ружье в лодку отнесу.

Когда они были молодыми, жена частенько провожала его на охоту, гордо неся на круглом, мягком плече тяжелое ружье. Дедок до сих пор помнил милую вдавлинку, оставляемую ремнем ружья на ее плече. Но тогда это была забава, крепкий, прочно сбитый, хоть и нерослый Дедок мог играючи нести не только весь свой охотничий снаряд, но и жену в придачу.

— Вот еще глупость какая! — сказал Дедок. — Нешто я без провожатых не обойдусь!

С ружьем за спиной, с плетеной корзинкой, в которой покрывала и ерзала подсадная, на плече, с веслом в одной руке и мешочком с провизией в другой, перепоисанный патронташем по крестцу, Дедок вышел за порог своего дома.

— Готовься завтра утей жарить, — не оборачиваясь, сказал он старухе и тут же забыл о ней. Голубой, зеленый, опаленный ранней желтизной осени мир раскрывался перед ним, тянул, звал, и Дедок зашагал в его напоенную крепким, влажным, болотистым духом свежесть, на темно-синий, с серебристой искрой, ветряной блеск реки.

Он без труда добрался до челнока по пружинистым кочкам берега; чуть задохнувшись, столкнул челнок в воду, но управлять им стоя не мог — рябило в глазах и нехорошо кружило голову. Смирясь перед этой новой, незнакомой слабостью, он уселся на корме и, храня силу, тихонько повел челнок вдоль берега.

В Дуняшкиной заводи Дедок поднял большую стаю крякв. Обнаглевшие за долгую беззубую пору утки подпустили его со-

всем близко, они тяжело и шумно взлетали из тростниковой заросли и, уплотняясь в стаю, забирали вбок, на чистое. Уток было множество. Порой Дедок не успевал их углядеть, но слышал сверлящую трель их пролета в выси, жесткую, стрекочущую работу крыльев на взлете или похожий на удар веником по воде дробно-слитный шлеп севшей на чистом стаи. Его радовало, что уток много, но огорчало, что он не охватывает простора глазом, как прежде, а принимает творящееся вокруг больше на слух.

Несильный, низкий, ровный ветер помогал Дедку, он не заметил, как миновал Дуняшкину заводь и, обогнув Шибаев корь, выплыл на озеро Великое. Здесь ветер начал работать против Дедка. Как ни трудился Дедок веслом, два старых вяза с обнажившимися на береговом отвале корнями упорно маячили вровень с челноком, не отпуская Дедка от себя. Дедок старался не глядеть на них, только на воду, обтекавшую плавными струями борта челнока, отчего казалось, будто челнок живо несется вперед. Но когда Дедок снова бросал взгляд на берег, вязы по-прежнему стояли у его плеча, и голые корневые волоски шевелились, словно живые. А затем то ли утих, то ли переменился ветер, то ли взяло верх человеческое упорство, но вместо вязов на берегу возник стог, а еще через какое-то время кусты ежевики, затем березняк вперемешку с орешником.

Дедок приглядел себе место для шалаша. Метрах в тридцати от берега зеленый островок гибкой, как хлыст, ситы, среди которой рушились метелки тростника, был полукольцом охвачен бурными ушками — излюбленным утиным кормом. Среди коричневато-серых листочков, чуть высунувших над водой свои загнутые верху закраины, белели надерганные и объединенные утками стебли: значит, сюда они прилетали на вечерний жор. Дедок пристал к берегу озера и наломал березовых веток. Сложив ветки на носу, он оттолкнулся, и ветер, словно только того и ждавший, ударил в густоту веток, погнав Дедка назад к Дуняшкиной заводи. Став на колени, Дедок пополз к веткам и стянул их на дно, но они и теперь возвышались над бортами, и в каждый листок, как в маленький парус, бил ветер, отгоняя лодку все дальше от островка. Перегнувшись через борт и заводя весло под днище, Дедок заворачивал нос челнока, чтобы обратить себе на пользу яростный нажим ветра. Мелкая волна захлестывала челнок, грозя затопить его, но как-то косо, боком, челнок подвигался к облюбованному месту, и, наконец, Дедок схватился руками за тонкие, округлые, смугло-зеленые хлыстики ситы. Правда, хрупкая сита тут же обломилась, обнаружив нежную, белую, похожую на соты, клетчатку, тогда Дедок уцепился за лещугу. Обоюдоострые мечи лещуги резали ему кожу ладоней, но все же Дедку удалось втянуть челнок в густоту ситы, и здесь ветер будто отсекло.

Дедок подержал руки в воде и, когда утихла саднящая боль, соорудил шалашик, довольно редкий, сквозной, а после долго сидел без движения, ожидая, пока вновь соберется в нем сила для дальнейшего пути.

Выйдя из дому рано утром, лишь к вечеру добрался Дедок до «пристани», служившей местом сбора всех подсвятыньских охотников...

Непонятное чувство, вызванное словами Анатолия Ивановича, прошло, едва Дедок ступил на твердую, гладко и скользко омытую водой кромку берега. При виде знакомых лиц, при виде шеста с привязанным к нему дохлым ястребом, при виде стога болотного сена, обреченного на то, чтобы быть обобраным сегодня для охотничьих нужд, Дедком овладели растроганность и легкомыслие. Он опять среди своих. Анатолий Иванович от лица всех принял его в старое товарищество, никто не лезет с соболезнованиями, никто не считает, что Дедок выдохся и не годен на серьезное дело.

Меж тем на берегу становилось все болеелюдно. Один за другим, в одиночку, и по двое, по трое, предшествуемые шорохом ветвей, из лесу на заболоченный берег выходили охотники в резиновых, подвернутых ниже колен сапогах, толстых ватниках, меховых шапках и воинских фуражках с оторванными козырьками, чтобы не было помехи при стрельбе; у каждого за спиной рюкзак с чучелами, на боку плетушка с подсадной; одни несли ружье за плечом, другие на груди, словно автомат. Пришли многосемейный Петрак в рваном-прерваном ватнике, похожий на огромную всклокоченную птицу, и его шурин Иван, смуглолицый, с черной цыганской бровью, в новенькой телогрейке и кожаных штанах; явился маленький, юркий Костенька, чему-то по обыкновению смеющийся и уже с кем-то поспоривший. «Я тебе докажу!.. Я тебя выведу!..» — тонко кричал Костенька, заливаясь смехом. Пришел огромный, грузный, в двух дождевиках, молчаливый Жамов из райцентра, мещерский старожил; пришли два молодых охотника: колхозный счетовод Колечка и Валька Косой, выгнанный из школы «по причине охоты». Вместе с высоким, тощим, унылым Бакуном, уважаемым за редкую неудачливость и удивительную стойкость, с какой он сносил падавшие ему на голову беды, пришел красивый брат Анатолия Ивановича, Василий. Еще издали было слышно, как он выспрашивал Бакуна о последнем его подвиге: в дождливый день Бакун вздумал переселять рой, и злые в ненастье пчелы покусали самого Бакуна, его тещу, насмерть «зажиляли» петуха и двух кур. Василий громко хохотал, обнажая белые влажные зубы, а Бакун лишь кротко улыбался.

Охотники скидывали свои мешки, кошелки и ружья и усаживались на тугую осочную траву, под которой ощущалась влажная и теплая торфяная земля. Все пришли слишком рано, и всем было немного стыдно своего нетерпения, но те, что пришли раньше, уже пережили свой стыд и подтрунивали над вновь прибывшими. Закуривались папиросы, завязывались беседы. Дедок бродил от группы к группе, с умилением прислушиваясь к разговорам охотников. Он никогда не думал, что эти люди так нужны и дороги ему. Ему казалось прежде, что иных он недолюбливает, иных

осуждает. Но все они были частицей того, едва не утраченного Дедком мира, в котором так сладко и радостно жить. И без любого из них жизнь была бы чем-то беднее.

В группе, расположившейся вокруг Анатолия Ивановича, сидевшего по обыкновению так прямо, будто сквозь него продернули шомпол, разговор имел научный оттенок.

— А вот отчего, к примеру, журавля называют журавлем? — спрашивал круглолицый, в пушке еще не бритой бороды колхозный счетовод Колечка.

— Ну, это просто, — пренебрежительно отозвался Анатолий Иванович. — Нешто ты колодезь-журавель не видел? Коромысло на длинной ноге, — будто птица журавль стоит.

— А я так полагаю, что журавль прежде колодца был, — задумчиво заметил Петрак. — Птица раньше объявилась...

— Факт — раньше! — воскликнул пораженный этой мыслью Колечка.

Анатолий Иванович слегка переместил в его сторону плоскости серых, холодных глаз.

— Конечно, раньше, какой разговор! — сказал он строго. — Только была она без названия.

— Неужто без названия? — изумленно воскликнул Колечка и покрутил круглой, крепкой головой.

Дедку захотелось вмешаться и тоже сказать что-нибудь такое же острое и веское, как сказал Анатолий Иванович, и чтобы егерь скосил на него серые, холодные глаза, а Колечка закрутил бы своей крепкой, круглой головой, но он никак не мог собрать куда-то ускользающие мысли и вдруг проговорил совсем не то, что хотел:

— А в Рязани говорят не чирок, а цирок!

Анатолий Иванович, не поворачивая головы, взял Дедка на прицел.

— Нешто ты бывал в Рязани?

— Как не бывал? — задохнулся Дедок. — С покойным твоим отцом ездил. Я всюду бывал: и в Рязани, и в Клепиках, и в Шилове...

— Верно, говорят, — подтвердил Анатолий Иванович. — Там вообще цокают.

— Во-во! — обрадовался Дедок. — И всякая утка у них цирок: и чирок — цирок, и матерая — цирок, и гоголь — цирок.

— Не ври, старый, — перебил Анатолий Иванович. — Матерая у них кряква, а гоголь так гоголем и зовется.

«Верно, — словно проснулся Дедок, — и с чего это я...»

— А вот отчего название такое «чирок»? — спросил Колечка.

Дедок побрел дальше.

Смуглый, похожий на цыгана Иван и брат Анатолия Ивановича Василий упрекали Бакуна в том, что он не справляется со своей женой, молодой, толстой скотницей Настей. Здесь же крутился и любитель соленых разговоров Костенька.

— Сказывают, она в Заречье повадилась, — говорил Иван. — Не иначе, там у тебя заместитель работает.

Бакун не обижался.

— Может, и так, ребята, — говорил он, кротко улыбаясь щербатым ртом. — Ее винить нельзя. Женщина молодая, в теле, а я что, полуфабрикат.

Охотники засмеялись, и снова Дедку захотелось высказаться, поразить охотников каким-нибудь лихим и острым словом.

— Эх, вы... молодежь! — сказал он. — Я вон седьмой десяток доколачиваю, а разок в неделю свою старуху навещаю.

— Силен дед! — выломив темную бровь, воскликнул Иван и прибавил нехорошее слово. Костенька захихикал, а Василий брезгливо и жалостливо усмехнулся.

Дедку стало мучительно стыдно, он отвернулся и, опустив плечи, побрел прочь.

Умолк легкий ветерок, предвестник зари вечерней, улеглась слабая рябь, будто тугая пелена растянулась по воде — так недвижна стала озерная гладь. Между тонкой, сизой полосой, лежащей на горизонте, и тяжелой, слоистой сине-меловой тучей возникло кроваво-красное зубчатое пламя, будто занялась пожаром верхушка сторожевой башни. Затем что-то сместилось в насыщенный влагой воздухе, и зубцы слились воедино, образовав плоско обрезанное сверху тучей полукружье огромного заходящего солнца. Слово подоженный, ярко вспыхнул пунцовым с зелеными и синими прожилками стог сена. Затем солнце стало зримо погружаться в сизую полоску на горизонте, в последний раз ослепительно просияла золотая его макушка и скрылась. В тишину догорающего дня гулко, сухо, коротко упал звук выстрела; после мига беззвучия покатился над озером, на разные лады отдаваясь в заводях, и горохом рассыпался в леске Салтного мыса. Все сидящие и лежащие на берегу насторожились, кто приподнялся, кто сел на корточки, кто с блуждающей улыбкой взглянул на соседа.

— В Дуняшкиной заводи бьют, — с тоской сказал чей-то голос.

Глухо, не отзвучав в просторе, хлопнуло два далеких выстрела.

— На Дубовом дают, — вздохнул кто-то.

Но вот откликнулась Прудковская заводь, заговорил Березовый корь. Большая стая крякв поднялась оттуда, пролетела берегом над головами охотников и, завернув к Хахалю, вдруг сразу растворилась в воздухе.

— Распугают утку, — заметил Петрак.

— Мочи нет! — детским голосом сказал Костенька.

Иван поднялся со злым лицом и, прихватив кошелку с подсадной, направился к челноку.

— Ты куда, Ванечка? — окликнул его Петрак.

— Мы тут чикаемся, а приезжие знай себе долбают! — грубо ответил Иван. — Хватит!..

— А ведь верно! — подхватил Костенька. — Мы срок держали и держим, а какой толк!..

Сквозь перемежающуюся пальбу донесся частый стрекот моторки.

— Охрана, с Клепиков, — сказал Василий.

— Далеко... В Налмусе, — прислушался Костенька. — Нет, зря мы теряем золотой час.

— А ты бы попробовал, — подначивал Василий.

— Боязно. Ну-ка свидетельство отберут!

— Да и ружье в придачу, — веско заметил Анатолий Иванович.

Пальба усилилась. Стреляли на далеком Озерке и на Озерке ближнем, в Дуняшкиной заводи, без передышки палили на Дубовом, постукивали с берега в Прудковской. Утки носились над озером, но, еще не напуганные всерьез, садились на воду близ охотничьих шалашей.

Петрак вслед за шофером, шурином, с рассеянным и задумчивым видом пошел к своему челноку. Он отомкнул замок и достал из-под сиденья весло. Посмотрев на весло с таким видом, точно сам не понимает, как попало оно к нему в руки, пожал плечами и с тем же рассеянным видом оттолкнулся от берега.

— И я поеду, вот те крест, поеду! — неожиданно для самого себя сказал Дедок. Он совсем не собирался этого делать, но желание доказать, что он прежний, отважный и ловкий охотник, подсунуло ему на язык эти слова.

— Сиди уж! — прикрикнул на него Анатолий Иванович.

Уже посмерклось, задавленный тучами закат давал озеру лишь немного красноватого света, и Дедок знал, что ему не углядеть дичь, да и не любитель он был нарушать охотничьи правила, но в словах, а главное, в выражении Анатолия Ивановича было что-то от старухино: «Горемычный!» — И это решило дело.

Весь недолгий путь до шалаша Дедок корил себя за опрометчивость. От воды тянуло холодом, и привычно заныли кости. Дедок не стал спускать подсадную и только рассадил чучела. Затем въехал в холодную, влажную ситку под зыбкий кров своего шалашика, зарядил ружье и приготовился к долгому ли, короткому ли ожиданию. Последние красные пятна погасли на воде, ставшей молочно-белесой, в цвет неба. Вскоре небо посмуглеет, на нем чуть приметно затеплятся серебряные точки звезд, затем звезды позолотеют, а проемы между ними нальются мерцающей синью и, наконец, чернотой, и так же дегтярно почернеет вода, и это будет ночь. Скорей бы она пришла, тогда не стыдно будет вернуться на берег.

Вода курилась. С гладкой, тихой поверхности бежали вверх тоненькие струйки легчайшего белесого дымка, точно в самом деле подводные обитатели устроили дружный перекур. И казалось, что каждая струйка без следа растворяется в воздухе, но это было не так: на высоте тростниковых метелок то здесь, то там они

стекались в хлопья; хлопья чуть оседали, улавливали новые струйки, образуя туманные облачка, и уже метелки, отделенные ими от стеблей, свободно покачивались в воздухе, словно плыли над озером, оставаясь на месте. И вдруг, жестко и грозно чернея в неплотном еще тумане, прямо на шалаш Дедка выплыл челнок. На корме грузно высилась кряжистая фигура Петра Ивановича, клепиковского егеря. Дедок почувствовал противную слабость в коленях, но уже в следующий момент он с веселым видом выплыл из укрытия навстречу егерю и, чувствуя свою лихость, сказал с наигранным смирением:

— И ловок же ты, Иваныч! Ничего не поделаешь, бери на цу-гундер!

Но егерь глядел мимо Дедка на шалашик, словно ждал, что оттуда появится кто-то другой.

— Ружье отымешь? — деловито спросил Дедок.

Он представил себе, как вернется на берег под конвоем Петра Иваныча, как более осторожные охотники встретят его сочувственными и почтительными шутками: вон, мол, какую штуку удрал отчаянный старик! Как будет он ругать старухе свирепость нынешнего начальства, и старуха скажет: когда только ты угомонишься, дед! Но егерь поднял весло, уперся в илистое дно и стал заворачивать нос челнока.

— Куда же ты, Иваныч? — испуганно сказал Дедок. — Я ж понимаю, закон для всех одинаков. Нешто я против...

Но Иваныч с тем же хмурым и равнодушным видом разворачивал челнок против волны. Дедок замельтешился, он попытался поймать ускользающий нос челнока егеря, протягивал Иванычу свою старую «нижевку».

— Да как же так, Иваныч? — говорил он умоляюще. — Ведь ты на службе, твое дело закон блюсти. Нешто можно браконьерам потакать?

— Да уж сиди себе... — проговорил егерь и с насмешкой добавил: — Браконьер!..

Сильно оттолкнувшись веслом, он сразу проложил между собой и Дедком широкую полосу потемневшей, сизо курящейся воды.

Дедок медленно собрал скользкие чучела, покидал их на дно лодки и медленно тронулся в обратный путь. Когда он подплыл к пристани, совсем стемнело, охотники были заняты приготовлением к ночлегу, и его появление осталось незамеченным.

Следом за другими Дедок направился к темному, грузному и высокому, как гора, стогу сена, шагах в тридцати от берега. Оступившись в мягкую, влажную яму, невидимую за осокой, споткнувшись о торфяной бугор, совсем было увязнув в топкой жижице за бугром, Дедок добрался до стога, обцпанного понизу охотниками и, широко разведя руки, обхватил колкую, душно и остро запахшую от прикосновения бочковину стога. Теперь свести поближе руки, с силой откинуться назад, и в руках у тебя будет охапка величиной с малую копенку. Дедок посилился, просунул

руки сперва по локти, затем по плечи, так что в нос и в бороду полезли полные, колючие ости, и рванулся назад. Сено отозвалось на его движения слабым, таинственным шорохом и вдруг дернуло Дедка на себя, лицом в колючую сушь. Он снова попытался оторваться от стога, и снова стог оказался сильнее и притянул его к себе. Дедок высвободил руки, отдышался и стал помаленьку нащипывать сенца. «Ну, вот и хватит», — сказал себе Дедок, хорошо зная, что сена этого достанет едва под зад подложить и спать ему будет жестко и холодно.

На берегу было очень темно, с безлунного неба в мутной наволочи кружащих, реющих, легких, как дым, туч едва проникал подслеповатый свет чуть приметных звезд, но когда Дедок шагнул в челнок, ему показалось, будто он из дня вошел в ночь — такая тут, под уступом берега, царила темень. Действуя на ощупь, он сдвинул в голову мешок с чучелами, устлал дно челнока тонким слоем сена и неловко, мешая самому себе негибким, окостеневшим телом, улегся навзничь в узком пространстве.

Охотники не спали, слышался негромкий разговор, ругань, смех. Словно небывалые красные светляки, горели огоньки папирос. Дедок лежал, чувствуя, что и здесь ему не уснуть, как не спалось на печи.

— Дедок, а Дедок!.. — услышал он голос Колечки. — Какая завтра будет погода? Ты, говорят, живой барометр.

Обрадованный, что в нем оказалась надобность, Дедок прислушался к ногам, гудевшим, как телеграфные столбы, когда приложишь к ним ухо, ощупал скользко-гладкий, будто обмыленный, борт челнока и поглядел на высокое, мутное небо с почти погасшими звездами.

— Пасмурно, с ветерком, после развидняется.

— Ну, это и я так могу! — засмеялся Колечка, смех его замер в темноте.

Затем очень громко Анатолий Иванович спросил:

— Дедок, разбудишь утром?

— Разбужу, милый, разбужу...

Ночь прошла ни быстро, ни медленно, как проходили все его бессонные ночи. Пожалуй, она показалась Дедку даже короче, чем ночь на печке. Менялось небо, то задергиваясь глухой чернотой, то выбрасывая пучки звезд, что-то булькало и плескалось в воде, не то щука, не то ондатра, то вдруг начало накрапывать, но поднялся ветер и смел в сторону так и не разошедшийся дождик. Разная жизнь шла в темноте, и Дедок чувствовал свою скудеющую жизнь, свое дыхание рядом с дыханием мира, и его удивило, почему в предутреннюю, самую темную пору, когда ночь словно расходует до конца весь запас тьмы, перед тем как начать отступление, на борт челнока, такой же черный, как ночь, и все же видимый слабым мерцающим контуром, присел его погибший сын. Дедок долго смотрел на него, затем спросил одними губами.

— Зачем ты тут?..

Сын не отвечал, молча и упрямо маячил он перед глазами отца, словно хотел напомнить о чем-то, но Дедок не хотел его понимать, сейчас он был живой с живыми и отвергал то, что нес с собой этот пришелец. Сын исчез, когда в темноте обрисовались деревья, стог сена и верхушка шеста.

Ветра не было, но казалось, весь воздух мелко дрожит в студенном ознобе; по закраинам берега молочно засветилась тонюсенькая корочка льда, недвижная вода у бортов челнока была подернута игольчатой пленкой.

— Подъем, братцы!.. — слабым голосом крикнул Дедок.

Как ни тих был его дрожащий голос, он вспугнул чуткий сон охотников. Над бортом ближайшего челнока возникла всклокоченная голова Василия, за ним поднялся и тут же стал скручивать папироску Анатолий Иванович, вскочил, ошалело поводя косями глазами, Валька.

Дедок опустил весло в воду, разверзлась узкая черная щель, челнок отошел от берега.

Утро наступило без зари, тучи заволакивали небо. Свет не лился с востока, а равномерно и тускло творился всем простором. Работа веслом не разогрела Дедка, и когда он вынул из кошелки подсадную, она забилась в его окоченевших руках. Дедок испугался, как бы не скинула она ногавку и не улетела бы к своим диким родичам. Жесткие крылья подсадной били Дедка по лицу, по глазам, а он оглаживал ей спинку, гибкую шейку и тихо посмеивался, чтобы не признаться в своей слабости перед этим жалким бунтом. Наконец ему удалось укрепить манжетку на ее лапке, он с облегчением разжал руки. Подсадная упала на воду, рванулась вперед и ввысь, но грузило, стремительно и бесшумно уйдя на дно, пригвоздило ее к месту. Она закричала высоким и резким голосом раз-другой и, усकोпившись, зарыла клюв в грудные перья.

И снова Дедок в шалаше. Покачивались чучела, медленно поворачиваясь вокруг своей оси; шелестели метелки камышей, тонко и сухо погуживали хлыстики ситы; влагой подернулся невидящий взгляд Дедка — он спал с открытыми глазами, сморенный усталостью, убаюканный однообразной песней озера. Он не слышал пальбы охотников, шума крыльев налетающих и пролетающих стай, короткого плеска подсаживающихся к его подсадной и к чучелам крякв, шилохвостей, чирков. Когда же проснулся, солнце высоко стояло на небе, очистившемся от туч, и вода рябисто сверкала, словно чьи-то незримые пальцы без устали пересыпали пригоршни золотых монет.

«Похоже, я маленько вздремнул», — сказал себе Дедок, отгоняя страшную мысль, что он проспал лучший охотничий час. «Ну, да ничего, без добычи не останусь...»

Смотреть на воду, в сверкающем, утомительном блёске которой однообразно и мерно покачивались чучела, вскоре не стало сил. Дедок отвел натуженные глаза и увидел неподалеку от себя в сите словно бы намыв грязи, а на нем холмик, или колпачок,

из всякого озерного мусора. Это был домик ондатры, загодя утепляемый ею к зиме. Дедок перевидел их сотни на своем веку, но сейчас он с новым интересом пригляделся к нехитрому строению.

На глазах Дедка столько раз обновлялась умершая жизнь природы, что он никогда не думал о смерти, как о конце. Чувство: я исчезну без следа, меня не будет — было чуждо его душе. Он не то чтобы верил, а допускал, что умерший человек возрождается в каком-либо животном, а тот, в свою очередь, в более мелкой твари, и так до тех пор, пока дело не сведется к незримо мелкому существу, которое уже останется навсегда. Он и сам не мог бы сказать, откуда взялась у него такая странная мысль, но она нравилась ему, казалась убедительной, и он не хотел с ней расставаться. Но это вовсе не примирило его с тем, что называется смертью. Человеческое обличье — самая лучшая, самая достойная пора этой бессмертной жизни. Дальше все будет хуже, мельче, ничтожней, хотя, наверное, каждый вид существования не лишен своих радостей. Но сейчас, чувствуя, как износил он свой человеческий образ, Дедок ничего не имел против того, чтобы заново зажить в шкуре молодой, крепкой ондатры. Дедок больше всего в жизни ценил жилье, дом, кров. Он родился в избе, похожей на старый лапоть, с созревшей, скошенной на один бок соломенной крышей и земляным полом. В этой избе он рос и вырос, а когда отец выделил его после женитьбы, Дедок построил себе домишко получше, с деревянным полом и большим окном, хотя опять же под соломой. Дальше, работая бригадиром колхозных плотников, он еще трижды ставил себе новый дом, пока не поставил нынешний, добротный, под железом.

И ондатра была строителем, она не довольствовалась какой-нибудь норой или берлогкой. Из жалкого строительного материала, доставляемого озером, из щепочек, сухих камышинок, ситы, веточек и листьев она строила себе настоящий домик, с куполом крыши. Дедок вспомнил, что у Салтного, где постоянно останавливаются приезжие из города охотники, можно найти не только щепки, но и старые консервные банки и всякий другой прочный материал. «Не забыть бы...» — наказал он себе, путаясь в мыслях и думая о том времени, когда станет ондатрой.

Но пока еще он человек, охотник, в руках у него ружье, и он должен убить из этого ружья, убить во что бы то ни стало, потому что, если он не убьет, значит, ему уже нет никакой цены среди людей. Дедок стал вновь смотреть на воду, превозмогая резь в глазах. Между ним и чучелом была сита. Гибкие травинки подрагивали, колебались и своим вибрирующим движением двоили чучело. Приходилось все время одергивать себя, чтобы не принять двойник чучела за живую утку. Но в какой-то миг толчок крови в сердце подсказал Дедку, что теперь это не обман, к чучелу действительно подсел чирок. Он поднял ружье и старательно прицелился. Не рискуя бить в голову, он взял чирка под низ, словно посадил его на ствол ружья. Чирок терпеливо ждал, когда старший, то и дело заливаю-

щийся слезой глаз поймает его в сердцевину зрочка. Жесткий толчок выстрела больно ударил Дедка в ключицу, едва не сбросив в воду. Сладкая, дымная вонь пороха вошла в ноздри. И прежде чем Дедок вновь разглядел чирка, он уже знал, что не промазал. Но что это? Вместо того чтобы лечь на воду темной полоской, чирок перевернулся кверху светлым брюшком. Дедок срезал чучело, приняв его за живого чирка. Со стыда и огорчения Дедок сразу ослаб, он отложил ружье, даже не вынув стреляющую гильзу, и долго сидел без движения, охватив голову руками.

Когда же он перезарядил ружье и выброшенный в воду патрон, стоя солдатиком, поплыл к носу челнока, в стороне от чучела, совсем отдельно, маленький и важный, сел чирок. Дедок вскинул ружье и, почти не целясь, выстрелил. Послушно, чуть оттопырив крыло, чирок лег на воду. Дедок глубоко, всем нутром, вздохнул и взялся за весло.

Легкая волна приподняла чирка и поднесла его к корме, почти в самую руку старика. На своем долгом веку Дедок бил их без счета. Безжалостный и добрый, как всякий настоящий охотник, он никогда не уничтожал живое зря, не льстился на утиных недоростков. Но убивал он столько, сколько мог убить. А сейчас, когда он взял из воды плотненькое, тяжелое тельце чирка, сразу ставшее сухим, потому что капли сбежали с вошаного пера, он испытал в нему непривычное, сложное чувство. Чирок лежал на его ладони, свесив голову и полузакрыв голубоватой пленкой мертвые, не отражающие света глаза; его светлая грудка выгибалась крутым горбиком, а плоская спинка отдавала в ладонь Дедка уходящее тепло жизни. И Дедок почувствовал острую, до слез, нежность и щемящую благодарность к маленькому, быстрому, как молния, летуну, отдавшему свою жизнь, чтоб продлилась затихающая жизнь старого охотника.

Пусть перед другими Дедок будет хвастать, как ловко он срезал чирка, про себя он знал, что чирок сам прилетел на дробь. Он был сильнее, быстрее, ловчее и разумнее Дедка и добровольно принес себя в жертву. Дедок наклонился и поцеловал чирка в остренькую головку, затем кинул его на дно челнока...

Охотники, не сговариваясь, почти в одно время съехались к пристани. Распуганная утка подалась на чистое, подсадки стали редки, к тому же у большинства иссякли патроны. Анатолий Иванович, Петрак, Иван и Василий вернулись с богатой добычей, но у остальных дело обстояло немногим лучше, чем у Дедка, а Валька Косой и вовсе остался без добычи. Заводя под лоб косые глаза, Валька божился, что его подранки достались Жамову, сидевшему в соседнем шалаше. Откуда-то стало известно, что приехавшие из города милиционеры перестреляли домашних уток Бакуна, приняв их за диких. «На воде домашнего не бывает», — заявили они жене Бакуна, тщетно пытавшейся спасти свою живность. Дедок слушал разговоры охотников, и странное равнодушие овладело им, все стало вдруг чужим, далеким, безразличным...

Привязав челноки и попрятав в траву весла, охотники гуськом двинулись к лесу. Дедок побрел следом за другими. Пропетляв среди кочек и болотных озерков, тропинка вбежала в лесную сушь и стала широкой лесной дорогой. Охотники прибавили шаг, а Дедок поотстал. Затем он увидел, что охотники сдержали шаг, видимо поджидая его. Он махнул им рукой и свернул с дороги, будто по нужде. Он стоял, привалившись к стволу березы, пока голоса охотников не замерли вдали, а вокруг остался лишь шорох листьев да нежный постук молодого дятелка. Дедок вышел на дорогу и медленно побрел вперед. В траве ярко краснела крупная, с клюкву, брусника, голубели, будто инеем подернутые, ягоды гонобобеля. Дедку захотелось почувствовать во рту горьковато-сладкий, прохладный вкус раздавленной языком ягоды, он наклонился, но в ушах зашумело, и красноватый туман прихлынул к глазам. Он выпрямился и поспешно заковылял вперед.

Слабость была в шее Дедка, которой хотелось уронить голову, слабость была в плечах, желавших скинуть с себя собственную тяжесть, слабость была в руках — висеть бы им плетями и ничего не держать, не поддерживать, слабость была в ногах — подгибались, дрожали колени, подворачивались ступни, ноги не могли больше нести на себе тело Дедка. Он держал всего себя в крестце, в его единственно надежной, окостеневшей прочности.

Дорогу неспешно и неробко перешел тощий, костлявый, в грязно-желтой шубе заяц. Посмотрел на старого человека и ушел в чащу, в сухотье опавших листьев и зелень живых трав. Дедок позавидовал зайцу: хорошо тому на четырех подпорках; любая дрянь — заяц, еж, мышь опирает себя оземь четырьмя конечностями, а человеку дано лишь два слабых столбика. Дедку захотелось опуститься на четвереньки. «Нельзя, — приказал он себе, — неси до конца свою человеческую муку». От слабости, от соблазна лечь и не двигаться у него помutilось в голове. Он и помнил и не помнил: где он и куда бредет, то видел, то не видел обступивший его со всех сторон лес и дроздов, перелетавших с дерева на дерево, будто кто-то швырял пригоршни дрови.

Вдруг словно разорвалась мутно-зеленая ткань, лес распахнулся опушкой, и впереди возникло что-то огненно-рыжее, как шерсть лисицы. Вначале это огненно-рыжее было совсем близко, затем отдалилось, освободив место другим многочисленным, более тихим краскам. Краски оконтурились, стали пахотой, картофельным полем, плетнем, крышами изб, тополями, полоской реки, а рыжее — кустом рябины с рано опаленными осенью гроздьями, что росла в его, Дедка, огороде. Впереди была деревня, был его дом, но, увидев эту, уже близкую цель, Дедок понял, что ему не дойти. Он не чувствовал ни боли, ни страдания, даже валившая с ног слабость перестала быть чем-то чужим, враждебным, мешающим, стала им самим. И совсем просто и легко стало не быть, достаточно опуститься на землю. «Нельзя, — сказал себе Дедок, — нельзя помирать раньше смерти». То, что мучило его все долгие дни и ночи, проведен-

ные на печке, нашло, наконец, свой ответ: все, что было, было лишь для того, чтобы он прошел этот последний путь.

Земля то подымалась перед ним вверх со всеми деревьями, избами, с ярко-рыжим кустом рябины, с синей полоской реки, то стремительно ухала вниз, кружа, дурманя голову, земля укачивала его, как в детстве укачивала зыбка, а Дедок все шел и шел к своей недостижимой цели.

КОГДА УТКИ В ПОРЕ

В начале апреля я получил письмо от Анатолия Ивановича: зовет на охоту.

«...Весна у нас ранняя и дружная, тетерева орут — сил нет, третьего дня под самое окно глухарь прилетел, прямо как боров хороший, а Буренкова прогнали, и уток ожидают на Великом много, так что обязательно приезжай, это самая красивая охота, когда утка в поре».

Перед таким приглашением устоять невозможно. Смущало меня одно: как добраться туда в весеннее бездорожье? Но мой приятель, рыжебородый, румяный весельчак, уже бывавший на Великом, уверил меня, что его старый «капитан», приобретенный, похоже, на свалке металлолома, обладает качествами амфибии и чувствует себя на воде еще лучше, чем на суше.

Так или иначе, но мы без единой задержки домчались до развилки на Коробковском шоссе и взяли прямой путь на Мещеру. Приятель то и дело заводил речь о номерах дробы, пригодных для весенней дичи, о своем старом бельгийском карабине, бьющем без промаха на восемьдесят метров, предлагал держать пари, что обстреляет меня. Я отмалчивался, считая, что этими разговорами он только раздражает бога дорог и бездорожья. Приятель догадался, что я отмалчиваюсь из суеверия, и это так его рассмешило, что мы едва не опрокинулись в кювет.

Асфальт кончился за деревушкой Фролом, но почти до самого Дубасова мы ехали по песчаной, усыпанной щебнем насыпи: будущему шоссе. Камни с такой силой барабанили о дно машины, что мы опасались за наш бензобак. И все же мы благословляли эту насыпь: по сторонам от нее, в сосновом жидняке, грозно темнели глубокие, топкие лужи, их глинистые закраины были изжеваны колесами буксовавших там грузовиков. Возле Дубасова нам преградил путь чугунный каток, пришлось сползти вниз. Деревня, как и положено, оказалась непроезжей: ее во всю ширь пересекало весеннее озерцо, в котором вольготно плавали гуси. Мы рванули задами, прямо по целине. Уж не ведаю как, но мы проехали, оставив за собой на зеленом ворсе молодой травки широкие черные колеи, тотчас налившиеся водой. Дальше пошла грунтовая дорога, вся в рыжих лужах, но дно у луж было твердым, и мы с ходу форсировали их, вздымая фонтаны брызг...

Вот, наконец, показалась деревня Тюревище, стоявшая на берегу Пры, и во мне впервые затеплилась надежда, что мы и впрямь доберемся до охотхозяйства и будет встреча с Анатолием Ивановичем, и влажный холодок крутых бортов челнока, и озеро Великое, и утки в поре, и сладкая, слаще всех ароматов селитряная вонь пороха после убитого селезня.

Всего лишь однажды, лет шесть тому, пытался я проникнуть сюда в весеннюю пору. Шоссе обрывалось где-то у Егорьевска, и нечего было рассчитывать проехать сюда на машине. Я добирался поездом до станции Бармино, попутным грузовиком до Фрола, а оттуда вплавь, и не всегда на челноке. Прибыв к месту назначения с температурой сорок, я залег на печи под двумя тулупами и так и скоротал недолгий срок весенней охоты. После того я бывал тут лишь летом да ранней осенью, а вёсны проводил на тяге в подмосковных поселках. Понятно, как волновала меня предстоящая охота, ведь мне впервые придется увидеть селезней в свадебном уборе, или, как говорят мещерцы, своем пере, увидеть брачное таинство птиц, являвшихся мне, летнему охотнику, как бы лишь в облике самок.

Мы благополучно проскочили Тюревище, по гнилому деревянному мосту переехали широко и незнакомо разлившуюся Пру и уже в близости соснового леса, за которым раскинулась охотничья база, намертво завязли в обширной, но не опасной с виду луже. Едва успел я выскочить из машины, как вода стала вровень с дверцами, и мой спутник оказался накрепко закупоренным, словно в консервной банке. Опустив боковое стекло, он стал истошно кричать, чтобы я быстрее топал на базу за тягачом.

Я подходил к сосняку, когда со стороны редкого леска, слева от меня, донеслись выстрелы. Стреляли, видимо, по рябчикам, а охота на боровую дичь уже была запрещена. Между деревьями мелькнула фигура в прорезиненном плаще. Человек заметил меня, что-то крикнул в глубь леска и неторопливо, будто боясь оступиться, направился в мою сторону. На мне были высокие резиновые сапоги, ватный костюм и финская суконная фуражка, и он, верно, принял меня за егеря.

— Вот, ружьишко пробую, — сказал он с фальшивой улыбкой на полном мучнистом лице.

Из леска вышел мальчик лет десяти и остановился в нескольких шагах от нас.

— Вам известно, что это браконьерство? — сказал я.

— Ружьишко пробовал, — повторил человек. — Вот и сынок может подтвердить. Так, сынок?

Вместо ответа мальчик сунул палец в нос. Он походил на отца: такой же круглый, сытый, сырой.

— Видите, — сказал человек, словно на общепринятом языке жестов ковыряние в носу означало: да, так.

Мне захотелось припугнуть этого лжеца и нарушителя.

— Где работаете? — спросил я строго.

— А в совхозе, — сказал человек тем же вкрадчиво-успокаивающим, противным голосом. — В совхозе имени товарища Буденного, где же еще?

— Вам придется пойти со мной.

Он задумчиво поглядел на меня.

— Знаете, я лучше туда пойду. — Он ткнул большим пальцем через плечо. — Я, правда, лучше пойду. А вы ступайте себе потихоньку, куда вам надоть.

Когда он произнес это нарочитое «надоть», взгляд его как-то дурно заволокся. Я вспомнил, что за браконьерство полагается немалый штраф — тридцать рублей новыми деньгами, — и мне стало не по себе. В руках у этого благообразного человека в сильно пахнущем резиной плаще было ружье, а дорога пустынная, — не следовало заблуждаться насчет ценности своей жизни в чужих глазах...

Тут поблизости послышался шум мотора. Я оглянулся: ныряя тупым рылом в колдобины, к нам приближался вездеход охотничьей базы. На радости я хотел было отпустить браконьера подобру-поздорову, но он уже не нуждался в моем снисхождении. Поддерживая рукой толстое брюхо, двустволка на плече, он мчался крупной рысью через дорогу к оврагу, высоко вскидывая колени. За ним, очень похоже, с недетской тяжелью, трусил его мальчонка. Солидный, толстый, знающий себе цену человек позорно удирал на глазах собственного сына от опасности, отнюдь не смертельной. Мне стало жаль мальчонку, хотя, верно, он увидит в поведении отца не трусливую низость, а находчивость и ловкость...

Оказалось, сегодня второй день пасхи, и шофер спешил в Тюревище за «горючим». Однако он твердо обещал мне, что сперва вытащит из лужи моего приятеля, а уж затем займется добыванием самогона.

Слово свое он сдержал: когда я приближался к охотничьему домику, мимо меня промчалась наша забрызганная грязью машина...

Как свежеет и хорошеет все вокруг, когда прогоняют главного руководящего дурака! Самый воздух становится иным. Не знай я из письма Анатолия Ивановича, что Буренкова выгнали, я и так понял бы это мгновенно. И не потому, что у причала вместо сонно-хмельных образин буренковских оборотов, набранных из беглых колхозников, мне виделись славные, серьезные лица подсвятыньских егерей, не потому, что исчезли орудовские знаки, осквернявшие лес, и батарея уборных на береговой круче, осквернявшая озеро, — а по спокойствию и умной тишине, разлитым над базой. Буренков был громогласен, настырен, суетлив, хотя и любил иной раз покрасоваться в истуканьей позе, с рукой, сунутой за борт ватника, с взглядом победителя, устремленным в сторону Дуняшкиной заводи. Он держал людей в вечном напряжении, все служащие, от кухонной судомойки до охотоведа, сбивались с ног, выполняя его противоречивые указания, но вся эта суматоха не рождала пользы: лодок, чучел и подсадных постоян-

но не хватало, егерей не доискаться было, приезжие охотники толпой маялись на сходнях, даром теряя драгоценный зоревой час.

Анатолий Иванович познакомил нас с новым заведующим базой. Это был пожилой человек, с умным, усталым лицом. Его сухая, продубленная солнцем и ветром кожа имела тот прочно-красноватый оттенок, что бывает у людей, постоянно живущих в природе. Прежде он заведовал большим охотхозяйством под Астраханью, но вдруг на шестом десятке забарахлили легкие, и его перевели сюда, в сухую сосновую благодать.

Привыкнув у буренковской повадке, мы схватились за карманы, чтобы предъявить заведующему охотничьи билеты, карты отстрела, квитанции на койки и паспорта. Угадав наше намерение, он мягко остановил нас.

— Когда отохотитесь, — сказал он, — то отдадите свои карты егерям, чтобы они проставили количество убитой дичи.

При виде такого доверия мы едва сдержали слезу. Значит, можно так жить! Можно верить, что приезжающие из Москвы за двести километров в распутицу люди, к тому же знакомые местным служащим, не жулики и не безумцы, отваживающиеся браконьерить в охотхозяйстве.

Конечно, мы сразу подружились с Николаем Петровичем Болотовым. Через пять минут он уже звал меня и моего приятеля по отчеству. Я думал, мне следует договориться с ним насчет Анатолия Ивановича, — в охотхозяйстве обычно не склонны считаться с «капризами» гостей. Но, милый человек, он уже дал распоряжение Анатолию Ивановичу готовиться в путь. Вот почему Анатолий Иванович исчез: едва успели мы обменяться рукопожатиями, он пошел за чучелами и подсадной.

Болотов предложил нам поглядеть на редкого зверя, случайно угодившего в рыбацкую сеть. На скамейке лежало странное существо — округлый мохнатый комок с кротинным хоботком, утиными перепончатыми лапами, длинным, довольно широким хвостом в темных роговых чешуйках, как у ящерицы. Сочетание в одном существе примет зверя, пресмыкающегося и птицы было отталкивающим, от этого веяло мраком и чужестью доисторических времен, когда твари земные еще не распределились по стихиям.

Я взял на руки загадочного уродца.

— Холодный...

— Да его уже дохлым вытащили, — сказал Болотов. — Он в сети задохся. Это выхухоль, в здешних местах их не знают.

— Выхухоль! — потрясенно вскричал мой рыжебородый приятель. — А я всю жизнь думал, что выхухоль — птица!..

Послышался слабенький вскрик, — что-то тренькнуло, и тяжело плеснула вода.

Глаша, судомойка с кухни, споткнулась босой ногой о корень и уронила Яолное ведро. Маленькая, тонкая, как тростиночка, она с отчаянием глядела на опрокинутое ведро, поджав ушибленную ногу. Мой рыжебородый приятель вспыхнул, схватил ведро и по-

мчался к колодцу. Глаша, прихрамывая, поплелась за ним следом.

Я успел натянуть прорезиненный комбинезон, собрать ружье, набить патронташ, а рыжебородого все не было. Я подождал, подождал, да и пошел к сходимям...

Анатолий Иванович оттолкнулся веслом от причала, и челнок, взмучив илистое дно, вырвался на глубину. Опустившись на скамеечку и будто не замечая меня, егерь старательно скрутил папиросу, затем, пряча огонек в ладонях, закурил, снова взялся за весло, чтобы развернуть челнок по курсу, и лишь тогда, освободив себя от всех забот, улыбнулся застенчиво и радостно.

— Ну, как она?.. — Он разумел «жизнь». — Как Курилыч?

Я успокоил его насчет Курилыча: процветает.

— А Курахтаныч?.. Чего не приехал?

Ответить на этот вопрос было сложнее: наш друг Курахтаныч уж никогда не приедет на Великое, не спросит своим протяжным вежливым голосом: «Анатолий Иванович, дорогой, какой номер дробин мне брать?» Осколок, пролежавший у него под сердцем с финской войны, в единый миг оборвал его жизнь.

— Ну, он хоть живой?

— Скорей нет... — растерянно-глупо ответил я, желая смягчить удар.

Анатолий Иванович долго молчал, тихонько ворочая веслом. Под его руководством Курахтаныч сделал свой первый выстрел, сбил первую утку, из ленивого, скептического любителя превратился в страстно утино охотника.

— Хороший был мужик Илья Иоганныч, уважительный, — донеслось будто издалека.

Анатолий Иванович впервые выговорил трудное отчество нашего друга.

Странно для меня выглядело озеро, оно было как бы голым, сквозным. Сита, в летнее время крывающая его зелеными островками, еще не отросла, лишь редкие сухие белесые камыши покачивались над синей ветряной рябью. Кое-где желтели расцветшие кувшинки, но их листья, как и бурые поля ушков, были накрыты большой весенней водой. Озеро просматривалось во все концы, и я впервые воочию убедился, насколько справедливо названо оно Великим.

Необычно выглядел и шалаш, в который поместил меня егерь. Он был сложен в тростнике из еловых лап, короткий, узкий, с плотной крышей из того же ельника. Оказывается, крыша служит добрую службу: она препятствует стрельбе влет, когда легко спутать селезня с самкой. То ли из обычного словесного озорства, заставлявшего Анатолия Ивановича применять к утиным породам диковинные местные названия, то ли из желания подчеркнуть особенность этого шалаша, егерь назвал его непривычным для меня словом: скрадень.

Изменились и чучела под стать окружающему. Вместо старых бурых знакомцев перед шалашом закачались ярко изукрашенные красавцы. Я узнал крякового селезня, чирка-трескунка, красного-

лового нырка, самый же яркоцветный оказался весенним подобием невзрачного чирка-свистунка. Лишь подсадная осталась прежней, хотя повадка ее, в чем я скоро убедился, тоже стала иной.

Я думал, что Анатолий Иванович, раскидав чучела, по обыкновению заведет челнок в шалаш. Но оказалось, что скрадень мал для челнока, а сухой камыш не служит маскировкой.

— Я позже наведуясь! — крикнул Анатолий Иванович, отплывая от шалаша.

Честно говоря, я сразу потерял надежду на удачу. Мне был виден лишь малый пятючок воды перед шалашом, где покачивались чучела да прихорашивалась подсадная, а я привык к широкому обзору, когда можно оглянуть простор и небо. Я хотел встать, но плотная крыша сразу вернула меня в сидячее положение. Странен мне был и дневной, зрелый час, я привык к охоте в таинстве вечерних сумерек или утренних зорь. Самые чучела не вызывали доверия, яркая, ярмарочная расцветка подчеркивала их невсамделишность. Я еще предавался этим пустым мыслям, когда подсадная, лишь изредка издававшая ленивое, ржавое «кря-кря», вдруг зашлась в безостановочном нутряном крике.

Рядом с чучелом красноголового нырка сидел другой обладатель ярко-алой головы и такой же шеи, черного зоба, серых, впроголубь, крыльев. Лишь на миг показались они мне схожими, затем меня прямо-таки ошеломило различие между одушевленной плотью, живым, изящным, с гордой повадкой существом, и неуклюжей подделкой. Как могут утки поддаваться на такой грубый обман! Красноголовый красавец медленно плыл в сторону подсадной. Я выстрелил, толком не прицелившись. Красная головка опустилась в воду, крылья забились, фонтаня брызгами. Еще выстрел. Нырок стих и закачался на волне. Не успел я перезарядить ружье, как нырок, косо завалив головку на спину, стал уплывать к тростниковой заросли. Неужто весенний экстаз наделяет их такой живучестью? Чепуха, весенняя дичь не крепла к ружью, просто мне изменили рука и глаз. Теперь я целился долго и старательно, однако мне удалось добить его лишь четвертым выстрелом. И тогда я дал себе зарок: если опять не убью селезня с первого выстрела, с охотой покончено. Нельзя мазать в пятнадцати — двадцати метрах по сидячей дичи, обращать охоту в мучительство. Одно дело разом порвать тончайшую нить, на которой держится жизнь, иное — скоблить ее тупым ножом...

Все же я сохранил для себя охоту. Вдали уже показался челнок Анатолия Ивановича, когда снова таинственно закрикала подсадная, приветствуя севшего в десятке метров от нее чирка-трескунка. Я взял его как надо, с одного выстрела. Он почти не отличался от своего летнего образа, лишь на головке белела полоска, окаймленная черным. Видно, трескунячьи дамы не любят франтовства.

— Я думал, вы вдвое больше набили, — холодно заметил Анатолий Иванович.

— Отыграюсь на вечерней зорьке, — самоуверенно сказал я.

Но с вечерней зорьки я вернулся пустым: не было ни одной подсадки. На базе царило легкое оживление: не зря вездеход прокатился в Тюревище. Мы уже не застали пирушки. Несколько служащих базы вместе с охотниками распивали в столовой чай из огромного голубого чайника, Анатолий Иванович подсел к ним.

Когда я, умывшись и переодевшись, вернулся в столовую, Анатолий Иванович спорил о чем-то с дородным, багроволицым, седовласым охотником в замшевой курточке на молниях.

— Как хотите, — говорил он сытым голосом, — а не верится мне, что ваша жена так мало заработала!

— Почему — мало? Она еще выговор заработала, чтоб не ленилась.

Я догадался, что речь шла о делах колхозных.

— Как же вы прожили зиму?..

— Так вот и прожили! — отрезал Анатолий Иванович.

— Небось рыбкой пробавлялись? — высказал предположение Болотов.

— Не особо, — сказал Анатолий Иванович. — На Озерке вовсе ловля была запрещена.

— Наконец-то взялись за охрану рыбных богатств! — обрадовался седовласый.

— Взялись, да не с того конца, — спокойно сказал Анатолий Иванович. — Невозможно сколько рыбы подо льдом задохлось.

— Это почему же?

— Мы, когда ловим, шурфы во льду пробиваем, ну, рыба и дышит. А еще: часть выловим, тогда остальной кислороду хватает. — Точно! — подтвердил Болотов.

— Но надо же бороться с браконьерством!

— Обязательно, — наклонил голову Анатолий Иванович. — Того, который запретил рыбалить на Озерке, надо поймать и за решетку...

— Чего ловить-то! — вмешался старый егерь Беликов. — Небось в кабинете в кожаном кресле сидит.

— Тогда его не поймаешь, — заключил Анатолий Иванович.

— Ну, знаете, вы слишком мрачно смотрите на вещи! — Охотник в замшевой куртке начинал злиться.

— Я не смотрю на вещи, — невозмутимо отозвался Анатолий Иванович. — Кой толк?

— Не робей, воробей! — засмеялся Егор Беликов и вдруг шикнул незаконченным средним образованием: — Мы еще увидим небо в алмазах!

— Небо что, — отозвался Анатолий Иванович. — Там полный порядок.

— Ничего, наладится ваша жизнь, — наставительно сказал дородный охотник. — Не все сразу...

— А я на свою жизнь не жалуясь, — вызывающе перебил

Анатолий Иванович. — И ни на какую другую не променяю. Я, может, лучше вашего жизнь прожил. Я всегда был с водой и деревьями, со всякой птицей, с рыбкой, зверьем и со своей душой, коли она есть...

Понял ли охотник в замшевой куртке, что в этом споре ему не победить, но только он поднялся, наигранно сладко потянулся, до христа позвонков.

— Хорошо с вами, да перед зорькой не мешает всхрапнуть. — И он вразвалку вышел из столовой.

— Подстрелил он чего? — спросил Анатолий Иванович Беликова.

— Вроде бы матерого, только не нашли его...

— И не ищите, он матерого в уме подстрелил.

— Чего ты с ним сцепился? — спросил Болотов.

— А что он из меня придурка делает? Я морс из соплей сроду не потреблял. Терпеть не люблю этих городских, что мужичку сочувствуют...

— Утешающий господин, в рот ему дышло! — в тон Анатолию Ивановичу сказал Егор Беликов, нахмутив толстые черные брови.

Я спросил Болотова, не видел ли он моего рыжебородого приятеля.

— Как же!.. — усмехнулся Болотов.

— Он что — охотился?

— Да, на кухне.

Ночью на базу прибыли два автобуса с охотниками, и на утренней зорьке мы с трудом отыскивали свободный шалаш. Еще в темноте озеро озарилось вспышками выстрелов, но Анатолий Иванович скептически отнесся к этой жаркой пальбе.

— Балуются, порох тратят, не слышать уток-то...

А он слышал даже пролет одинокого чирка в вышине.

Рассвет пришел навалом. Разом, без всякой постепенности, все вокруг загорелось, заблестало, вызолотилось, будто не с востока, а с четырех сторон света взошло по солнцу. Нестерпимо засверкала вода перед шалашом, и огнисто вспыхнула неподалеку от подсадной красно-коричневая голова селезня-белобрюшки. Похоже, что он прилетел еще затемно. Я долго целил в его жаркую, фазаньи цветастую красоту. Мушка ружья перебежала с белого надглазного пятнышка на кирпичную шейку, на серую, рябистую полосу, отделяющую шейку от зоба, на светло-багряный зоб. Дробь легла точно по цели.

Больше подсадок не было. Лишь крупный матерый селезень вмиг налетел на подсадную, уже наизготове, потоптал и ушел под ее прикрытием низким, косым полетом...

Оставалось еще две зари, вечерняя и утренняя, — и конец охотничьему сезону! Анатолий Иванович предложил перебраться к нему в Подсвятье, поохотиться на Озерке. Оно тоже принадлежало охотхозяйству, но туда никто не ездит, уж больно далеко от

базы. Я с радостью согласился: не люблю, когда охота превращается в массовку, да и хотелось взглянуть на Подсвятье.

Нужно было договориться с рыжебородым. Теперь-то я знал, где его найти.

На крыльце кухни, перекинув через плечо суровое полотенце, мой друг старательно вытирал обеденные тарелки. Я сказал ему о предложении Анатолия Ивановича. Он промолчал, тарелка чуть повизгивала под нажимом его пальцев.

— Так поедешь?

Он предупреждающе округлил глаза. Из кухни вышла Глаша с горкой мокрых тарелок. Она глянула на меня исподлобья, поставила горку на колченогий столик, а сухие тарелки забрала с собой.

— Не поеду я, — решительно сказал приятель. — У меня тут дела...

— Я думал, у нас одно дело — охота. Ну, да как знаешь... Ты хоть подкинешь меня до Ялмонти?

— Можно...

— И приедешь за мной послезавтра утром?

— Ну, приеду, — неохотно отозвался приятель.

Анатолий Иванович на челноке попал в Ялмонт раньше нас. Мы опять битый час проторчали в той же луже у моста. Неглубокая, неширокая, с довольно твердым дном, она срабатывала как капкан, хватая в последний момент задние колеса и стремительно всасывая машину в себя. Вытащил нас шальной грузовик, случайно оказавшийся на трассе в праздничный день.

При расставании мой друг смотрел угрюмо. Я думал, он жалеет, что отказался ехать с нами. Но нет, его заботило другое.

— Вдруг я опять застряну в луже? — сказал он. — Глаша заругается...

Мы с Анатолием Ивановичем быстро перебрались через узкий рукав Пры к хутору Беликову, как именуют подсвятинцы правый край деревни.

Непривычно выглядела знакомая мне часть Подсвятья. Прежде деревню отделяла от реки Пры мокрая луговина в полкилометра шириной, а сейчас займище реки налилось полой водой, и деревня стояла как бы на берегу озера. Верно говорил Анатолий Иванович, что по весне тут можно охотиться, не выходя из дома.

На скамеечке, под окнами нас поджидали Юрка и Танька. За минувший год ребята сильно вытянулись и повзрослели. В четырнадцатилетнем Юрке появилась отцовская неторопливая основательность и некоторая хмурость, словно жизнь обременила его немалой заботой. Впрочем, так оно и было: мать уехала на праздники к родственникам, оставив все хозяйство на Юрку.

Десятилетняя Танька стала прямо красавицей: смуглая, вся усеянная веснушками, с зелеными блестящими глазами. Она стеснялась своего облика, своих прелестных веснушек, и потому, чуть завидев нас, стала прятать лицо в ладонях, оставляя открытым лишь один любопытный кошачий глаз.

До Озерка по прямой было рукой подать, но добраться туда на челноке — путь немалый. Нужно пройти водопольем до Пры, затем по самой реке перетащить челнок через отмель и плыть километра два протокой и по залитому водой болоту. Небо хмурилось тучами, накрапывал дождь, решено было на вечернюю зорьку не ходить.

Остаток дня прошел невесело. Анатолий Иванович томился. Он то включал, то выключал радиоприемник, цыкал на ребят, забирался на печь и тут же скатывался вниз, вздыхал, тер лицо руками и курил одну за другой, брезгливо морщась, словно папиросный дым ему горек. Я никогда не видел его таким беспокоящим и развинченным. Ни разговоры, ни чай из самовара, ни подкидной дурак не могли отвлечь его от этой странной тревоги. Лишь Таньке на какое-то время удалось заинтересовать его. Она напяливала на себя незамысловатые материнские наряды, будто ненароком заглядывала в горницу и с визгом, закрыв лицо руками, пускалась наутек. Анатолий Иванович начал было улыбаться, но вдруг нахмурился и сердито гаркнул:

— Хватит дурочку строить!

В кухне, гремя рогачами, возился Юрка.

— Юрка, слышь!.. — окликнул его отец.

— Чего тебе? — хмуро отозвался Юрка.

— Загуляла наша мать... Видно, вовсе не хочет домой вернуться.

— Скажешь, загуляла!.. Дня еще не прошло...

— Нешто она сегодня ушла?

— А то не знаешь!

За годы нашего знакомства я не слышал, чтобы Анатолий Иванович говорил с женой о чем-либо, кроме хозяйственных дел, не приметил ни одного его ласкового взгляда или жеста, обращенного к ней. Но как же сильно ощущал он ее существование рядом с собой, если даже короткая разлука была ему непереносима!

Юрка собрал поужинать: холодная рыба, моченые яблоки, утиный суп, пшенная каша с маслом. Анатолий Иванович вяло поковырял вилкой рыбу, съел несколько ложек супу, а от каши отказался.

— Заелся! — обиженно сказал Юрка. — Ишь балованный какой!

— Неохота мне подгорелую кашу есть, — проворчал Анатолий Иванович.

Каша нисколько не подгорела. Отменная, чудесно упарившаяся в печи каша, даже Шура не сготовила бы вкуснее. Анатолий Иванович становился несносен со своей тоской, и я вышел на улицу покурить. Все небо было обложено толстыми иссиня-черными тучами, закат пробивался в разрыве туч темно, густо-красный, как сок переспелой вишни. Похоже, собиралась гроза. В окружающем мире шло какое-то брожение: орали гуси, блеяли овцы, домашние утки носились над водопольем с резвостью диких своих собратьев. Пестрая курица, клевавшая селедочную головку,

вдруг закричала по-петушьи, подскочила вверх и с громким шумом полетала за плетень.

Из дома Петрака, двоюродного брата Анатолия Ивановича, выбежало дивное существо: смуглое, как гогеновские таитянки, долгоногое, долгорукое, в куцей белой тряпочке, не достигавшей колен и едва прикрывавшей молодую грудь. Девушка выбежала из покосившейся избы на тихую пустынную улицу, как выбегают на праздничную площадь, где во все четыре стороны, кружа голову, кипит веселье. И вдруг остановилась, замерла, словно поняв, что бежать-то некуда.

Теперь я узнал ее, это была старшая Петракова дочь, Люда. За год, что я ее не видел, она перешагнула грань, отделявшую неуклюжего, голенастого, почти уродливого подростка от совершенной юношеской формы. Она ничего не сохранила от прежнего, кроме жалкого детского платьица и разношенных, с замятыми задниками тапочек, спадавших с ее длинных, узких ног.

Люда постояла, склонив голову к тонкому, смуглому плечу, и медленно побрела к качелям, свисающим с толстого сука плакучей березы. Она стала на узкую дощечку, толкнулась ногой, обронив тапочку, и принялась раскачиваться.

Повизгивали проволочные петли, поскрипывал сук, роняя мшистую шелуху, развевался белый подол, все выше и выше взлетали качели, напрягались смуглые икры, напрягались тонкие руки, качался синий, печально-жестокый взгляд.

За моей спиной хлопнула дверь. Пахнув тройным одеколоном, мимо прошел Юрка в новых брюках, плисовой курточке и белой рубашке с отложным воротничком. Много заманчивых дорог лежало перед этим франтом, но он выбрал кратчайшую, ту, что вела к качелям. Видимо, это оказалась совсем не простая дорога, она шла зигзагами, петляла, поворачивала вспять, воздвигала перед путником бесчисленные незримые препятствия. Весь в поту, добрался Юрка до качелей и стал там, лопухий, трогательно костлявый и ужасно незрелый рядом с проносившейся мимо него девушкой. И все же качели замедлили свой маятниковый бег, а вскоре и вовсе замерли. Юрка ухватился за ржавую проволоку, поставил ногу на дощечку, Люда подвинулась, давая ему место, и взгляд ее уж не был ни жесток, ни печален, а ликующе, радостно враждебен...

На охоту мы вышли затемно. На ощупь отыскивали челнок, погрузили снаряжение и отплыли. Гроза прошла стороной, было пасмурно, рассвет занялся неприметно, но сразу по всему простору. Я как-то заметил, что вижу не только челнок и лицо Анатолия Ивановича, но и дома на берегу, и высокие сосны на косе, откуда начиналась протока, и колокольню Ялмонтского храма.

В протоке нас снова охватила тьма. Мы долго плыли по узкому водному коридору, ивы купали в чернильной воде свои светлые сквозь сумрак, еще не облиственные ветви. Вкусно пахло свежей сыростью молодой травы, почками, весенними телами деревь-

ев. Тем временем распогодилось, и небо над головой посветлело, зарумянилось. Солнечные лучи проникли сквозь заросли лозняка, протока словно раздалась в берегах, и по стержню легла золотая нитка.

Вода курилась, мы пронзали жемчужные клубы водяного дыма, порой теряя друг друга из виду, и мне, сидящему на носу, казалось, будто Анатолий Иванович нагоняет меня на другом челноке и вот-вот врежется в мою корму. Туман рассеялся вмиг, унеся в своих клубах водный коридор с его сумраком, нависшими лозинами, сырой склепной духотой. Вверху было бескрайне голубое небо, вокруг, сколько хватал глаз, голубовато-зеленая вода. Я думал, это и есть Озерко, — нет, болото, залитое вешней водой. Из воды торчали голые кусты и березы-кривулины, вода затопила и смешанный лесок по правую руку от нас. Весна пела тут во весь голос. Токовали тетерева, щелкали соловьи, посвистывали синицы, надрывались перепела. Они были самыми неистовыми в этом любовном хоре. Как чист и громок был перепелиный голос, если, долетая сюда издалека, с прошлогоднего жнивья, он звучал будто над самым ухом. Перепела вавачили по всем правилам, а бой их был странно укорочен: они выкликали не по-принятому «пить-полоты!», а просто «пить!». Я спросил об этом Анатолия Ивановича.

— Видать, они, как иные наши колхозники, — отозвался егерь, — пить здоровы, а полоть не горазды.

Тут снова светло и мощно затрубили журавли, и под их серебряные валторны, разломив какие-то тощие заросли, мы прорвались в Озерко.

Озерко отличалось от болота лишь тем, что в нем ничего не росло, цвет воды был тот же голубовато-зеленый. Озерко не имело сейчас четких границ, оно затопило берега, поросшие березняком. У потонувших в воде подножий деревьев что-то золотилось, а когда мы выплыли на середину Озерка, я увидел, что оно обвешено золотом по всему окружью. Это было непонятно, красиво и диковато. Рассудку вопреки у меня мелькнула мысль о палой листве, неведомо как пронесшей сквозь зиму свою яркую осеннюю окраску. Я не спросил Анатолия Ивановича о происхождении этого золотого обруча, верно, из смутной боязни, что его ответ разрушит красоту удивительного явления.

Мы подплывали все ближе к затопленному березняку, и золотого становилось больше и больше, оно простиралось в глубь леса, громоздясь кучами у стволов. Тяжкой, нестерпимой вонью потянуло от березняка. И вот будто овальное золотое блюдо закачалось у самого борта челнока. Анатолий Иванович подбагрил его веслом: крупный дохлый окунь, сохранившийся до последней чешуйки, с хвостом и плавниками, с характерно приоткрытым глупым ртом, с красноватым прогнильцем на месте глаз, отчего казалось, что он сберег живой зрак. Только теперь увидел я, что лес сплошь завален изгнившей в золото рыбой. Так вот о чем говорил Анатолий Иванович на базе! Полая вода вынесла всю массу задохнувшейся подо льдом рыбы на берег и, чуть спав, украси-

ла Озерко этим зловещим и смрадным обручем. Природа мстит самоуничтожением за всякое бездумно-грубое вторжение в ее бытие, такое, казалось бы, простое и вместе сложное, таинственное, приоткрывающее себя лишь бережному, терпеливому, пристальному и смиренному взгляду.

Никогда не забыть мне этого рыбьего кладбища!

Мы забрались в большой шалаш, сложенный Анатолием Ивановичем ранней весной для собственной охоты и почти целиком принявший в себя наш челнок. Справа и слева от нас сухо звенели желтые камыши, чирки-свистунки подлетали близко и опускались в камыш, сразу исчезая из виду; иногда они садились на чистом, но за пределами выстрела. Анатолий Иванович, тяжело багровея лицом, свистел в кулак, в надежде подманить их ближе. Обычно доверчивые и отзывчивые, чирки почему-то не поддавались на хитрость егеря.

— Может, чучелов наших опасаются, — предположил Анатолий Иванович, — не надо было гоголей сажать, больно они велики и пестры.

Все же нашелся один то ли посмелее других, то ли доверчивей, которого не смутили аляповатые чучела. Он сел между деревянным гоголем и резиновым трескунком, ярко светлея грудкой. Чучела повернулись под ветром, и он, словно подражая им, повернулся боком, подставив под мушку изумрудную полоску в своем крыле. Дробь легла кучно по цели, чирок перевернулся кверху брюшком.

Пошел дождь. Шалаш не защищал от дождя, напротив — скапливал влагу, а затем ронял ее нам за шиворот, на лицо, руки и колени холодными водопадиками. Особенно досадно было, что в каких-нибудь десяти метрах от нас, справа, дождя не было, там вовсю светило солнце, ярко зеленела хвоя и драгоценно сверкала дохлая рыба. Даже в дождь мне удалось подстрелить свиязь.

— Давайте станем правей, — предложил Анатолий Иванович. — Там хоть и нет шалаша, зато сухо.

— А как же мы замаскируемся?

— Да никак. Заедем в лозняк, и все. Повезет — хорошо... Время-то уже позднее.

Я взглянул на часы: половина десятого, через тридцать минут кончается весенний охотничий сезон.

Мы собрали чучела, добычу, с трудом поймали вдруг заметавшуюся на привязи подсадную и во весь дух помчались прочь от дождя. На дне челнока плескалась дождевая вода. Мы вышли из дождя, как из леса: вокруг чистый простор, свет и тепло. Анатолий Иванович прочно стал на свою единственную ногу и, умело, сильно орудуя веслом, узкой его лопастью, в несколько секунд выбросил всю воду из челнока.

Чучел рассаживать мы не стали, ограничившись подсадной. Конечно, лозняк не служил укрытием, нас было видно со всех сторон, но хотелось досидеть оставшиеся четверть часа, встретить на огневом рубеже конец весенней охоты. Еще пятнадцать минут,

и уж ни один выстрел не прогремит на Озерке до середины августа, замолкнут Великое и Дубовое, большая тишина воцарится над озерным краем, над всей Мещерой, и уж никто не помешает птицам допраздновать их любовный праздник. Впрочем, утиные свадьбы уже на исходе, пришла пора высидывать яйца, и самки скрываются от неистовых в своей любовной ярости селезней. Ведь селезни разоряют гнезда, расклеывают яйца, душат маленьких птенцов, им ненавистно все, что отвлекает от них самку. И охотники, стреляя селезней в эту пору, способствуют воспроизведению утиноного рода.

— Вон матерый сел, — громко сказал Анатолий Иванович.

Я проследил за его взглядом. Метрах в восьмидесяти на чистой воде сидел кряквовый селезень. Сейчас против солнца он казался темным и плоским, словно вырезанный из черной бумаги. Он был такой большой, красивый и недосыгаемый, что я решил выстрелить, просто чтоб прогнать его. Я вскинул ружье.

Подсадная заворчала, это не было ни призывом, ни сигналом, она даже не приоткрыла клюва: что-то вроде чревоуветания, таинственные звуки, рождавшиеся внутри нее и невеста как поступавшие в простор. Я нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало: забыл спустить предохранитель. И в ту же секунду селезень взмахнул крыльями и полетел прямо на нас.

Он сделал круг над подсадной, накрыл ее, как плащом, тенью своих крыл и опустил на воду с легким всплеском. Сложив крылья, он замер с гордо вскинутой шеей. До чего же он был хорош! Почти черная бархатистая голова с изумрудным отливом, вокруг шеи белая лента, грудь темно-багряная, на темных крыльях синяя с прозолотью полоса. Я решил дать ему последний шанс и, прежде чем выстрелить, взглянул на часы: без трех минут десять. Я имел право на выстрел, а селезень не использовал своего последнего шанса к спасению. Как же ослепительно прекрасна была ему серенькая уточка, если при всей своей зоркости он так и не увидел нас, больших, плохо замаскированных, да еще освещенных солнцем, заставлявшим взблескивать ствол моего ружья, головки патронов в патронташе, пряжку ремня на куртке и каждую пуговицу на гимнастерке Анатолия Ивановича.

Я выстрелил. Селезень распластался в воде, утопив свою черно-изумрудную голову. Он даже не дернулся, сразу приняв на себя смерть. Я вынул уже ненужный патрон из второго ствола, и Анатолий Иванович напролом, сквозь кусты, толкнул челнок. Селезень весил не меньше двух килограммов, он был горячим на ощупь, так вскипятилась в нем кровь последним желанием.

Я не мог не выстрелить по нему, иначе мне пришлось бы раз и навсегда бросить охоту. Если человек сомневается в своем праве охотника, он уже не смеет убивать ни в конце, ни в начале, ни в разгар охоты, потому что он тогда не охотник, а убийца. Я должен был убить этого селезня ради всех селезней, убитых по весне, ради всех, которых я убил и еще убью в своей жизни, и

ради самого себя, чтобы не лишиться прекраснейшего, что есть на свете: права вверяться древнейшему человеческому инстинкту охоты.

Снова пошел дождь, теперь уже обложной. Анатолий Иванович решил добраться по болоту до Петракова бугра, что в полукилометре от Подсвятъя. Челнок он оставит там и придет за ним, когда развиднеется.

В сером, сочащемся небе мелькали быстрые чирки, прямо на челнок налетела пара чернетей и с громким треском крыльев метнулась прочь. Бедняги не знали, что могут сесть даже нам на плечи, — это уже ничем им не грозит. Впрочем, через несколько дней они поймут это и перестанут бояться.

Разгребая веслом дохлых окуней, лещей, сазанов, Анатолий Иванович провел челнок через березняк, затем мы пересекли болото и вскоре пристали к песчаному берегу Петракова бугра, разделявшего поймы Озерка и Великого. Здесь Анатолий Иванович выпустил из плетушки подсадную, предоставив ей добираться своим ходом. Утка было запрямылась, затопталась на месте, изображая всем видом кокетливую беспомощность, но легкий направляющий пинок заставил ее быстро заковылять к воде по ту сторону бугра.

— А не пропадет она?

— Еще чего! Да ее где ни выпусти, все равно домой придет, почище собаки.

Когда мы входили в деревню, я увидел подсадную: старательно работая лапками, она плыла к дому. А потом она полетела, и не то чтобы низом, а в полроста тополей, растущих по кряжу, и, миновав водополье, опустилась возле избы Анатолия Ивановича.

— И чего Шурка домой не едет, дьявол ее возьми! — со злобой и тоской сказал Анатолий Иванович.

Мы подошли к дому. В распахнутой двери, лениво прислонясь к косяку, стояла женщина в темной жакетке, светлой шелковой юбке и высоких резиновых ботиках, голова повязана лиловой шелковой косынкой. Она то и дело опускала левую руку в карман жакетки, затем подносила ее ко рту, с полных, ярких губ летела за порог шелуха подсолнухов. Я никогда еще не видел Шуру такой нарядной и царственно праздной и не сразу узнал ее. Лицо и шея Анатолия Ивановича медленно залились тяжелым, густым румянцем.

Я остро позавидовал егерю. Почему и меня не ждет на пороге женщина, необходимая мне до смятения, до потерянности?..

Два зеленых кошачьих глаза глянули из оконной протемы и, поймав мой взгляд, погасли, захлопнутые ладошкой, зажглись снова, радостно, доверчиво, восторженно, и открылся в огромной улыбке нежный, розовый, карзубый рот. Танька ждала меня. Танька смеялась мне навстречу. Черт возьми, и я не обойден на весеннем хмельном пиру! Иди сюда, Танька, я научу тебя шевелить ушами и держать камышинку на носу, я знаю шесть скороговорок, совсем новую считалку и старую, но вечно живую сказку про белого бычка.

ПОГОНЯ

— Больше не принимаем, — сказал начальник охотхозяйства.

Он стоял на ступеньках недостроенного смолистого крыльца, его бледно-голубой взгляд поверх головы собеседника уходил куда-то вдаль. «Будто полководец!» — подумал Анатолий Иванович, снизу вверх рассматривая небольшую коренастую фигуру начальника в темном ватном костюме, туго перехваченную широким офицерским ремнем.

— Тогда берите задаром, — сказал Анатолий Иванович и тверже уперся руками в перекладины костылей.

Утки завозились в плетушке, висящей у него через плечо, он похлопал по крышке ладонью, и утки успокоились. Бледно-голубой взгляд медленно перекинулся на охотника.

— Задаром? — повторил начальник. — В егеря метишь?

Анатолий Иванович покраснел. Он не сомневался, что его, лучшего подсвятынского охотника и бывшего общественного егеря, пригласят работать во вновь созданном охотхозяйстве, и утки тут были ни при чем. Когда озеро Великое объявили заповедником, он очень обрадовался. Несмотря на все усилия подсвятынцев, браконьерство не удалось изжить до конца: и по весне, и ранней осенью до открытия охоты погромывали на Великом незаконные выстрелы заезжих охотников. Да и прудковские мужики озоровали. Конечно, это не было похоже на разбой послевоенных лет, и все же озеро год от года скудело водоплавающей дичью. И вот наконец Москва вспомнила о Великом и приняла его под свою высокую руку.

На крутом берегу Дуняшкиной заводи стали валить сосны, расчищая место для стройки охотничьего домика, контор и служб охотхозяйства, по деревням объявили, что принимаются по высокой цене дворовые утки и гуси. Этих птиц должны были выпустить на озеро. Они происходят от диких отцов, сухи и подбористы, им легко скинуть лишний жирок и овладеть полетом. Уверенный, что его позовут работать егерем в охотхозяйство, Анатолий Иванович торопился закончить домашние дела — перестлать тесовую крышу избы, сколотить закуток для боровка, — и, как сейчас выяснилось, опоздал со своими утками. Он, конечно, хотел получить за них деньги, но раз нет, так нет, не тащить же их обратно. Но Буренков иначе истолковал его намерения. И все же не столько подозрение в корыстном расчете смутило Анатолия Ивановича, сколько то, что Буренков, похоже, вовсе не собирался приглашать его на работу. Оттого он и покраснел всем бледноватым, веснушчатым лицом, шеей, треугольником груди в распахнутом вороте гимнастерки.

А начальник охотхозяйства лишний раз убедился в своей прощительности. Человек бесталанный, бесстрастный, но жадно преданный вещественным благам жизни, он всегда подозревал в людях корысть и видел в этом свою силу. Все прочие челове-

ские побуждения он считал маскировкой, обманом, лицемерием. К тому же охотник, стоящий сейчас перед ним, был ему безотчетно неприятен. Если бы он сделал над собой усилие и перевел в слова смутный образ своей неприязни, то получилось бы примерно следующее: я слышал о тебе как о самом умелом охотнике и лучшем здешнем егере, мне уже это не нравится, не люблю лучших. Ты потерял на войне ногу, это большое несчастье, оно резко ограничивает возможности человека, но ты с этим не посчитался и даже переплюнул тех, у кого две ноги, значит, ты из этих... беспокойных, которым всегда надо выше головы прыгнуть. Не люблю... А может, молва тебя из жалости так разукрасила? К убогим и калечным людям всегда снисходительны. Эта последняя, защитная мысль навсегда стала рабочей предпосылкой Буренкова в отношении Анатолия Ивановича.

— По плотницкому можешь? — спросил он.

— Все подсвятыинцы плотники, — отозвался Анатолий Иванович.

— Я тебя спрашиваю, — сказал Буренков, глядя на сильные руки охотника, сжимающие перекладины костылей.

— Ну, могу! — Анатолий Иванович убрал руки с перекладин и теперь опирался на костыли подмышками.

— А ты не нукай! Ты в армии командиру тоже нукал?

— Могу, товарищ начальник! — по-дурацки гаркнул Анатолий Иванович, его верхняя губа коротко, насмешливо дернулась.

Буренков слышал слова, а не интонацию.

— Ступай к Васильеву, пусть зачислит в строительную бригаду. Скажи, я велел.

— А как же с утками?

Буренков не ответил, он повернулся и, заложив руку за борт ватника, пошел по ступенькам крыльца в пустой сруб дома, в никуда...

Этот разговор произошел в апреле, а в середине августа, к началу летне-осенней охоты, все основные работы были закончены. На крутом берегу, над Дуняшкиной заводью стал целый охотничий поселок: дом для приезжих с двумя застекленными террасами и кухней, контора, общежитие для егеров и служащих базы, инвентарный сарай, нарядная дачка Буренкова и целый куст уборных, похожих на скворечники. Деревянная лестница сбегала по круче к лодочной пристани, где грудились десятка полтора моторных и весельных лодок. На озере, в островках ситы, были сооружены шалашики из березовых ветвей, уложены круглые настилы со скамеечкой; все озеро размечено вешками, тонкими стволами берез: они указывали лодкам свободные от водорослей проходы; вешки отмечали границы запретной для охоты зоны — заказника.

Буренков нагнул совсем немного. Он отказался от местных долбленых челноков и выписал килевые однопарные лодки. Эти лодки были нарядны и вместительны, но неудобны по местным условиям: они цепляли илистое дно, а весла путались в рясе. И в

егеря он набрал, за редким исключением, всякий сброд: бездельников, погнавшихся за легким хлебом. Охота не была для них душевным делом, их привлекали чаевые и возможность деньденской стучать шарами в бильярде, установленном на террасе.

Анатолий Иванович проработал весну и лето в строительной бригаде, помогал ставить шалашики и вешки на озере, набивал чучела для гостинной охотничьего домика. Чучела были красивые: селезни в своем весеннем пере, глухари и тетерева в токующем образе, выпь, цапля, разные куликовые. Но в егеря Буренков Анатолия Ивановича так и не взял. Своему заместителю, бывшему клепиковскому егерю, который пытался замолвить слово за Анатолия Ивановича, он сказал коротко:

— Не справится.

— А вы попробуйте его.

— И пробовать нечего. Одноногий егеря — курам на смех. Москва засмеет!..

Похоже, он сейчас сам этому верил, от прежнего сложного переживания неприязненных чувств к Анатолию Ивановичу он сохранил лишь соображение о его негодности.

В середине августа открылась охота. Теперь каждую субботу из Москвы прибывал автобус, грузовики, легковые машины. Приезжие быстро переодевались в ватные костюмы, водонепроницаемые плащи, комбинезоны, рассаживались по моторным лодкам и уезжали с егерями на Великое. Там их рассаживали по номерам, после чего егеря возвращались за новыми партиями. Часть охотников оставалась в Дуняшкиной заводи, тут тоже была неплохая охота, особенно на пролет.

Командовал распределением сам Буренков. Это был его час. Стоя на ступеньках лестницы, он сверху вниз кричал повелительным голосом: «В Прудковскую!», «На Салтный!», «К. Березовому!» — и, видимо, воображал себя полководцем во время боя. Его распоряжения казались Анатолию Ивановичу бессмысленными. Буренков не знал озера, не знал утиных обычаев, не разбирался в охотниках: кому что подходит. Новичка он загонял в Дуняшкину заводь, где почти не бывало подсадок, а матерому стрелку отводил место у Березового коря, где подсадок много, а на пролет птицу не возьмешь: деревья и кусты мешают обзору. Охотникам-пижонам, которым лишь бы потратить порох, давал лучшие места, а настоящим мастерам — худшие...

Однажды Анатолий Иванович попытался вмешаться.

— А ты чего тут делаешь? — спросил Буренков, веки его были сонно опущены, он даже не смотрел на егеря. — Деньги под расчет получил?

— Получил.

— Ну и катись помалу к жинке на печь.

Но Анатолий Иванович, человек гордый, знающий себе цену, и после этого не ушел. С озером, с охотой была связана вся его жизнь. С девятилетнего возраста не расставался он с ружьем,

лишь в пору войны сменил его на винтовку. Тяжело раненный в первом же бою, он после госпиталя вернулся в Подсвятые и, еще мучительно чувствуя ампутированную ногу, как живую и болящую, первым долгом почистил старое ружье и на полмесяца закатился на Великое. Без охоты ему не было жизни. Ему и спалось хорошо только в челноке. Все важные и серьезные мысли приходили ему на озере, здесь он даже стихи сочинял. Как у всякого настоящего охотника, у него не было жадности к дичи, он всегда убивал разумно, брал дичь только на крыле, никогда не позволял охотничьему азарту взять верх над внутренним законом. Его охота была словно частью того естественного круговорота жизни природы, согласно которому известное количество животных, птиц и рыб ежегодно подвергается уничтожению ради равновесия природных сил.

С годами егерское дело увлекало его сильнее собственной охоты, его радовало, когда зеленый новичок одерживал первые успехи; когда самоуверенные владельцы «зауэров» и штучных «тулок» поначалу обнаруживали свою неумелость, а затем, став покорными его учениками, приобретали прочный навык; когда настоящие, редкие мастера, попав на выбранное им место, полно набивали ягдташи и молчаливой, доброй улыбкой отмечали его заслугу в своей удаче. Он любил всех этих людей и с увлечением на них работал. Многие из них стали постоянными его клиентами, и не было случая, чтобы кто-нибудь променял одноногого Анатолия Ивановича на любого другого егеря. И вот явился человек, полновластный хозяин Великого, и, не пожелав даже сделать проверки, забраковал Анатолия Ивановича в том, что было единственной страстью его души.

Плотницкой работы на базе почти не стало, но Анатолий Иванович являлся сюда каждую пятницу, как на службу, и оставался до вторника, когда разъезжались последние охотники. Он все надеялся, что какая-нибудь случайность заставит Буренкова прибегнуть к его услугам, и приезжал на базу в полном сборе: с двумя подсадными в плетушке, с мешком, набитым чучелами, с термосом, до пробки полным крепкого, сладкого чая, с набитым патронташем и электрическим фонариком.

Буренков зычно выкликал имена егерей и названия маршрутов. Анатолий Иванович стоял у пристани, легко опираясь на костыли, прямо, с чуть прогнутой спиной, в полном снаряжении, и ждал чуда. Просить он не умел, да и чего добьешься просьбами? Пристань пустела, замолкал вдали шум лодочных моторов, и Буренков мимо Анатолия Ивановича шел наверх, к базе, пить чай из самовара...

Однажды наехало особенно много охотников, егеря не успевали развозить их по шалашам. Близился рассвет, и на пристани поднялся ропот: люди боялись пропустить золотой охотничий час. Две-три весельные лодки покачивались у причала, но некого было сажать на весла. Анатолий Иванович взмахнул костылями и легко перенес свое тело к Буренкову.

— Я поеду.

Скажи он это просительно, вкрадчиво, и Буренков сдался бы. Но твердо-спокойный, утверждающий голос егеря разозлил начальника охотхозяйства.

— Да куда ты годен? С тобой только неприятностей наживешь!

— Сколько ездил, сроду никто не обижался.

— А если браконьер? — Буренков вступил в спор с егерем, чтобы не слышать, как его поносят на пристани.

— Цевье отберу.

— Как же, так его и догнал!

— Отчего же не догнать?

— На воде — одно, а на берегу? На костылях за ним потрюхаешь?

— Да откуда браконьеру-то взяться? Научен народ...

— Ладно болтать...

И все же в это утро долгожданное счастье улыбнулось Анатолию Ивановичу.

Буренков улизнул от охотников и уже уселся за самовар в гостиной, украшенной чучелами, когда не вездеходе прикатили два генерала. Уже одетые для охоты, в высоких резиновых сапогах и плащах с капюшонами, натянутыми поверх генеральских фуражек, они и слушать не хотели отговорок Буренкова.

— Мы за твою бесхозяйственность расплачиваться не желаем. Чтоб был егерь сию же минуту!

Меж двух тонких сосен у лестницы маячила одинокая фигура Анатолия Ивановича с мешком за плечами и плетушкой на боку.

— Егерь имеется, — неуверенно сказал Буренков. — Только он того...

— Пьян в лежку?

— Да нет, инвалид войны. Без ноги...

— Не важно, была бы голова на плечах.

Буренков с несвойственной ему поспешностью сбежал с крыльца и окликнул Анатолия Ивановича.

— Повезешь генералов, — сказал он значительно и мрачно. — Только смотри у меня, чтоб все было в ажуре!

— А чего смотреть-то? Нечто генералы не люди?.. — пожал плечами Анатолий Иванович, скрывая свою радость.

Подошли генералы, поздоровались.

— Места хорошие знаешь?

— Найдем. Вы как больше любите — по сидячей или влет?

— Он — влет, — сказал генерал постарше и пониже ростом, — а у меня зрение слабовато.

— Вези товарищей к Березовому корю, — умным, сведущим голосом подсказал Буренков.

— Чего им там делать-то, на Березовом?.. Лучше на Малые Пожаньки, — не глядя на Буренкова, отозвался Анатолий Иванович. — Пошли!..

Они гуськом двинулись по лестнице к причалу. Анатолий Ива-

нович прошел мимо красивых веселых лодок к своему невзрачному челноку и отомкнул цепь.

— На тех бы лодочках вроде веселее? — заметил генерал помоложе.

— По нашим местам челнок проходимей, — сказал Анатолий Иванович.

Слегка подпрыгивая на одной ноге, он уложил в челнок плетушку, мешок, ружье и костыли.

— Тебя как звать? — спросил генерал постарше.

— Анатолий Иванович. А тебя?

— Сергей Петрович, а его Николай Макарыч.

Анатолий Иванович уперся руками о борта, скакнул в челнок и пробрался на корму. Генералы, шурша плащами, устроились на узких дощечках, положенных поперек челнока. Упираясь веслом в твердое дно, Анатолий Иванович повел челнок по мелководью вдоль берега.

— Ногу на войне потерял? — спросил генерал Сергей Петрович.

— Ага.

— Награды есть?

— Солдатская Слава третьей степени.

— Понятно, — сказал генерал успокоенным голосом, видимо считая орден солдатской Славы достаточным возмещением за потерянную ногу.

— Что это за название такое, «корь»? — спросил генерал Николай Макарыч.

Анатолий Иванович улыбнулся, он любил, когда его расспрашивали о мещерских особенностях.

— Законное слово. Березовый корь, Липовый корь, Исаев корь. Корь, еще корье говорят, — низкорослый, кривой лесок. Почвы тут на островках такие, что настоящий лес не растет, одни кривулины.

— А «пожанька»?..

— Островок луговой, где в любой год косят. А вот «кулички» — это островки, где можно косить лишь в сухой год, в мокрый — непролазная топь.

— И там кулики водятся?

— Коли будет время, мы за Березовый съездим, там как раз «куличок», полно чернышей, чибисов, бекасов, на выстреле. Только доставать их оттуда трудно, не пройти, не проехать.

— В каждом месте свои речения!

— Это верно! — воодушевился Анатолий Иванович. — У нас все на свой лад. Лесок на речной косе — «косица», гонобобель — «дурнава», ежевика — «чумбарика», чирок — «чиликан», а красноголовый нырок — вовсе «шушпан»!

— Это же одежда такая? — неуверенно сказал генерал Сергей Петрович.

— У всех — одежда, а у нас — нырок!

— Ишь хитрые! — засмеялся молодой генерал.

Он достал из кармана серебряный портсигар, щелкнул крышкой и, просунувшись вперед, протянул Анатолию Ивановичу. Тот осторожно взял папиросу своими обветренными пальцами, с толстым наростом на первом суставе среднего пальца.

— Это что у вас? — спросил генерал Николай Макарыч, видать, человек приветливый и любознательный.

— От скобы, при отдаче набило.

Защищая ладонью огонек, генерал дал ему прикурить от плохой, блестящей зажигалки. Анатолий Иванович с наслаждением затянулся. Наконец-то он был в своей стихии: озеро, челнок, пересекающий тихую, темную воду, хороший разговор, уважительная повадка больших, незнакомых людей, вверивших ему свою удачу. До сегодняшнего дня они слыхом не слыхали ни о каком Анатолии Ивановиче, а теперь, может, и в Москве о нем вспомнят, а коли еще приедут сюда, так непременно попросят, чтобы он вез их на охоту.

Твердое дно кончилось, весло глубоко погружалось в мягкий, податливый ил. Анатолий Иванович сполоснул лопасть весла и стал действовать сильными, короткими гребками. Он видел, что молодой генерал внимательно наблюдает за странным поведением весла в воде. Сделав прямой гребок, весло заворачивало под днище и словно бы притормаживало. Видимо, генерал понял секрет управления кормовкой, где весло служит одновременно и рулем, с каждым гребком выравнивая нос челнока. Он удовлетворенно кивнул головой и ни о чем не спросил.

Анатолий Иванович вел челнок из Дуняшкиной заводи на простор Великого. Он сидел лицом к восходу и видел, как большое малиновое без лучей солнце пыталось вырваться из синеватой наволочи, плотно накрывшей небо. Когда оно оказалось за краем пелены, все под ним разом заблестало: потная седая хвоя, зеркало заводи, капельки росы на камышах и сите. И каждый цвет там налился, загорелся: зеленым-зелена трава, желтым-желты свежие смолистые бревна охотничьего домика, красным-красна рябина, петушью яркость набрали лилово-оранжевые стволы сосен. Но дальше, по береговой окружности, краски еще не пробудились. Старый вяз в полукилометре от базы был по-вечернему темен, за ним березы и лозняк растворялись в синем сумраке, в чем-то текучем, зыбком. А еще дальше рослые дубы похожи на застывший дым, и небо над ними было сизым, сумеречным, а по сизому стлались белесые полосы. Надо было успеть на место, прежде чем солнце озарит весь берег и озеро. Анатолий Иванович еще старательней заработал веслом.

Он слышал посвист крыльев тянувших в высоте уток и соображал, где лучше устроить генералов. У него было несколько заветных мест, неизвестных другим егерям. Он и шалашики там оборудовал и сейчас хвалил себя за предусмотрительность.

Анатолий Иванович повел челнок к островку ситы, ничем не

отличному от других, бархатно чернеющих на посветлевшей воде. Но для Анатолия Ивановича этот островок был особым: он не сомневался, что тут будут частые подсадки. Это тихое место находилось на перепутье между Дуняшкиной и Прудковской заводями, усталым уткам полный резон сделать тут передышку.

С привычной, неспешной ловкостью, сам сознавая эту ловкость и радуясь ей, он раскидал полукружьем чучела и опустил на воду подсадную. Утка сразу же попыталась взлететь, взвилась в воздух, но подкова, привязанная к лапке на длинной бечеве, достигла дна, и утка тяжело шлепнулась на воду. Анатолий Иванович подвел челнок к шалашу, помог выгрузиться пожилому генералу, проверил, достаточно ли широк у него обзор в березовых ветках, образующих переднюю стенку шалашика.

— Стреляйте пятым номером, — посоветовал он, — а ежели близко, то и шестой сгодится.

Молодого генерала он устроил метрах в трехстах от затишка, ближе к чистой воде, где, по его расчету, должны пролетать утки, тянущие на Дубовое, ближайшее к Великому, излюбленное утками озерцо, а также и те, что будут козырять с берега на берег, когда начнется пальба. Он вручил генералу клочок бумажки с грубо нарисованным планом местности.

— Помечайте крестиком, где утка упадет, я их потом подберу.

— Толково, похвалил молодой генерал, обрыскивая глазами озерный простор.

— Гусей не трожьте, — предупредил Анатолий Иванович. — Оштрафуют.

— Что так?

— Они дворные, на развод пущены. Я скоро наведаюсь, — и Анатолий Иванович отплыл от шалаша.

— Особо не торопись! — крикнул генерал. — Чего даром уток распугивать!..

Тихо шевеля веслом, Анатолий Иванович поплыл в сторону заказника. Другие егеря, рассадив охотников, возвращались на базу пить чай и щелкать шарами на бильярде. Но Анатолий Иванович в бильярд не играл, а чаю предпочитал припахивающую илом, холодную озерную воду. Да и очень соскучился он по Великому, по особому, ни с чем не сравнимому здешнему воздуху, по той внутренней сосредоточенной тишине, какую он испытывал только здесь. Сейчас, снова оказавшись в милом, привычном окружье, понял он по-настоящему, как плохо и несчастно жил все последнее время. Он и к домашним утратил свое обычное доброе внимание. Танька первый год пошла в школу, их учили писать палочки и нолики. «Папаня! — восторженно кричала Танька. — Гляди, какого я кругалю нарисовала!» А он смотрел на кривой кружочек и не находил в себе ласки, которую она ждала от него. До чего же сильна в человеке привязанность к своему делу, если без того немудрящего дела все гаснет в душе!..

Анатолий Иванович поспешно скользил по озеру, оно все

сильнее насыщалось светом. В стороне восхода вода огнисто пылала, на остальном просторе была голубовато-молочной, с розовым отливом на гребешках малых волн. Посветлели, вышли из сна и сумрака дальние берега, дубы уже не казались дымом, стали большими красивыми деревьями. И очень яркой была первая желтизна берез, первый багрец осин. Глухо, деревянно прозвучали выстрелы в Прудковской заводи, а затем ударил близкий выстрел, и с куста, росшего посреди ситы, с сыпучим шумом взметнулась ввысь стая скворцов, ночевавших на озере. Анатолий Иванович обернулся: над шалашом пожилого генерала подымалось белое облачко. «Промазал!» — с досадой подумал он, и тут ударил второй выстрел, генерал добил подранка. «А еще говорит — близорукий!» — улыбнулся егерь.

Выстрелы пробудили озеро от спячки. Заметались, почти касаясь воды, ласточки, принялись выписывать плавные полукружья толстенькие чайки, очень медленно, над самой головой Анатолия Ивановича, пролетел болотный лунь с маленькой, точеной головой. Зелененькая птичка раскачивалась на камышинке, колебля хрустальную каплю росы, и в глаза егерю летели слепящие зайчики.

Стая, шедшая над Березовым, свернула к заказнику, Анатолий Иванович услышал слева от себя ладный, сильный шелест крыльев. Пять уток шли верхом, одна значительно ниже, в ее полете была какая-то натужная суетливость. «Верно, дворная, вон и телом побочковитей. А все-таки быстро они к дикой жизни привыкают...»

Стрельба все усиливалась, но Анатолий Иванович различал в канонаде выстрелы своих генералов. Значит, места выбраны правильно, и его первые в сезоне клиенты не будут в обиде.

Вот и Салтный мыс, далеко вдающийся в озеро своим острым носом, поросшим корявыми березами, слева от него пошли вешки, отмечающие границы заказника. По странной акустической особенности вся стрельба на Великом как-то ватно утишилась и куда громче стали редкие выстрелы на дальнем Дубовом озере. Эти короткие, нераскатистые выстрелы лишь подчеркивали царящую здесь тишину. Вдоль берега у старого подсвятынского причала и справа от него в Кобуцкой заводи кочками чернели на воде утки. Было их тут видимо-невидимо; непуганые, они спокойно сидели на чистой воде, пренебрегая густой прибрежной травой. Волнующе странен был вид этих уток в самом бойком по прежнему времени месте на озере, — отсюда отплывали и сюда возвращались подсвятыинские охотники, здесь они ночевали в стогах, жгли костры, варили уху, здесь баловались стрельбой по дохлому ястребу, привязанному к шесту. Анатолий Иванович никогда так остро не ощущал перемены, происшедшей на Великом, как сейчас при виде этого утино курорта. Его радовало, что и в разгар охоты есть на озере тихий, безопасный уголок, где может сохранить себя от истребления кроткое утиное племя.

Утки, конечно, заметили челнок Анатолия Ивановича, и, хотя в эту пору они становятся особенно сторожкими, ни одна не сня-

лась с места, будто ведая об охраняющем их здесь законѣ. Анатолий Иванович уже начал разворачивать челнок вспять, когда в самом углу Кобуцкой заводи до ужаса звонко в этой тишине грохнул выстрел. Это было дико, неправдоподобно, но, словно желая доказать свою невымысленность, свою злодейскую несомненность, выстрел раскатился широченным, долго не замолкающим эхом. И тут же по всему пространству заповедника защелкали крылья, утки тучами ввысь ввысь и устремлялись прочь от обманувшего их покоя навстречу гибельной опасности. И снова выстрел прогремел в Кобуцкой: то ли браконьер добивал подранка, то ли метил в стаю. Этот второй выстрел как бы отрезал для Анатолия Ивановича возможность выбора. Он быстро развернул челнок и сквозь тростник заскользил к углу заводи. Челнок с шурушанием рассекал заросль, сухие камышинки хрустко ломались, по счастью, ветер дул с берега. У борта закачалось твердое, раздутое, будто резиновое тело дохлой кряквы. Видно, она заплывала сюда подранком, и Анатолий Иванович подумал об утках, застреленных браконьером: сколько их там, еще теплых, в свежей красной крови? Челнок вырвался из тростника на чистое, и Анатолий Иванович увидел браконьера. Засучив штаны, тот осторожно входил в воду, опробуя дно длинной орясиной. «Видать, приезжий, — думал Анатолий Иванович. — Ни один местный нарушитель не сунется в заповедник. Кому охота лишаться охотничьих прав и тридцать рублей штрафа платить!» Человек поднял орясину и ударил ею по воде, чтобы подогнать к себе подстреленную утку. Ударил еще и еще и тут увидел приближающийся челнок. Он метнулся на берег, схватил лежащие там сапоги, ружье и заплечный мешок и побежал через болото к лесу.

«А если тебе попадется браконьер?» — вспомнил Анатолий Иванович снова Буренкова и свой ответ: «Цевье отберу...» Ну, вот попробуй отобрать цевье у этого незнакомого человека, что удирает босиком к лесу. Что же, выходит, прав Буренков, и он в самом деле не годился для озерной службы?..

Челнок подплыл к берегу. Анатолий Иванович увидел среди кувшинок светлое брюшко убитого чирка с утопленной головкой, потом распластавшую крылья, еще дергающуюся крякву. Он подобрал крякву и размозжил ей голову о борт челнока. В лещуге белел пух разорванного выстрелом хлопунца, его гузка и две лапы повисли на ветке куста. Ничего не скажешь, меткий выстрел! Солдатиками торчали из воды картонные гильзы покупных патронов.

Нос челнока мягко ткнулся в песчаную отмель. «Никому не известно, что я находился возле Кобуцкой и видел браконьера», — думал Анатолий Иванович, выбираясь из челнока. Он продолжал тешить себя этой спасительно мыслью, в то время как руки его втягивали челнок на отмель, доставали костыли, надевали на них плоские дощечки для ходьбы по болоту, хоронили в траву весло и термос, закидывали за спину ружье и туже подтягивали ремень. Не в Буренкове тут было дело, а в нем самом. Бу-

ренкова он мог обмануть, но не мог обмануть самого себя. Между ним и его службой Великому стоял уже не Буренков, а этот уходящий к лесу человек. И, кинув вперед костыли, Анатолий Иванович сделал первый шаг...

Рослая осока скрывала браконьера, но на черной торфянистой почве Анатолий Иванович отчетливо различал следы босых ног с оттопыренными большими пальцами. Следы зримо заполнялись лиловой, как чернила, водой. Какой расчет у браконьера? Достичь леса и схорониться в чаще? Там он отыщет его без труда. Лес был загадочным и коварным, покрытая иглами сушь неожиданно сменялась изумрудно яркими полянками, ступишь — пропадешь: под яркой и нежной зеленью скрывалась гибельная трясина. Лес пересекали глубокие балки, по их дну бежали ручьи; то и дело сквозь бурелом проглядывали недобрый, темный, блестящим глазом лесные озера в топких, предательских берегах, а порой, и это было самым страшным, озеро было невидимым, оно таилось под землей, под мягкой болотной растительностью, страшная западня, замаскированная под прогалинку. Подсвятьинские бабы никогда не ходили в этот лес по грибы и ягоды, редкие охотники отваживались выслеживать тут дичь. Конечно, Анатолий Иванович не даст погибнуть браконьеру, он вытащит его и доставит по назначению.

Достигнув опушки, он увидел под ракитой свежепрямую траву и шедшую от нее по просеке в глубь леса цепочку следов. Это были следы сапог, совсем новых, судя по четким отпечаткам каблучков с кружочками от резиновых набоек. То, что браконьер обулся, было выгодно Анатолию Ивановичу: тот потерял время, да и след его стал приметнее.

Анатолий Иванович двинулся по просеке, далеко впереди себя видел он на рыжеватой земле, на прелой, плотно сбитой листве отпечатки каблучков с кружочками. Браконьер и не думал скрываться в чаще. То ли он знал о коварстве этого леса, то ли успел приметить, что преследующий его человек — инвалид на костылях, и рассчитывал просто уйти от него, то ли был у него какой-то иной расчет... Сколько будет длиться погоня? Час, два, три, четыре, полдня? Дорога идет лесом, затем пустынными торфяными полями, потом береговым редняком и выходит на недостроенную булыжную шоссе. В одну сторону шоссе никуда не ведет, в другую, сразу за маленькой деревушкой Комково, ветвится на два большака, которые в разных местах оба подводят к бетонке Рязань — Касимов. Он должен нагнать браконьера до того, как тот достигнет развилки...

Анатолий Иванович вздохнул. До развилки было километров двадцать. Даже если все кончится хорошо и он доставит браконьера на базу, не миновать скандала с генералами. Время шло к семи часам, а в десять принято кончать утреннюю охоту. Кто же заберет генералов? Шалаши находились в стороне от обычных егерских маршрутов. Поволнуются, бедные, пока на базе заметят их отсутствие и вышлют на розыски лодку. Как же все нехорошо

получается! А может, обойдется, может, он быстро настигнет браконьера и еще поспеет за генералами! И, думая так, Анатолий Иванович все сильнее кидал вперед свою одинокую ногу, свое легкое, сухое тело, висящее меж двух подпор. Раз, когда просека спрямилась, он увидел далеко впереди темный мешок на спине браконьера, ватные штаны и блестящие сапоги. Мешок, зная, был тяжелый, если человек нес его, так сильно согнувшись, что не было видно его головы. «Догоню!» — сказал себе Анатолий Иванович.

Тяжело дышалось в этом лесу, напоенном болотными испарениями, кисло-винным, едким запахом перегнивающих в торфяной земле растений. Анатолий Иванович уже чувствовал свое сердце, хотя прошел не более трех километров. Но ведь тому, другому, идущему впереди, тоже трудно дышится, он тоже чувствует свое сердце, в котором, кроме усталости, еще и страх. Этот страх подгоняет его, но и обессиливает. Догоню!..

Дорогу пересекали толстые узловатые корни. Анатолий Иванович, глядевший все время вперед, споткнулся о корень и грохнулся на землю. Люди на двух ногах никогда не падают так тяжело и плохо. Они успевают выбросить вперед руки, встретить землю коленями, локтями, изогнуться, чтобы смягчить удар. Анатолий Иванович ничего этого не мог, руки его были заняты костылями, к тому же костыли не выдернешь враз из вязкой почвы. Он упал на грудь и лицо, затем с усилием сел, утер лицо рукавом, облизал рассеченную в кровь губу, попробовал очистить ватник и рубашку от черной грязи, но только размазал ее. Он подобрал костыли, поднялся и зашагал вперед.

Теперь он шел, опустив глаза книзу и внимательно перенося себя через корни, ногу держал чуть согнутой в колене, чтобы лучше пружинила. Он следил за неровностями земли и не сразу обнаружил, что следы сапог исчезли. Прошел еще немного вперед, — следов не было, тогда он повернул обратно. След кончался у осины, росшей по другую сторону длинной канавы, полной жваво-зеленоватой воды. Осина перекинула через канаву толстый кривой сук, с его помощью браконьер и перебрался на ту сторону, в лес. Очень густой, забитый валежником и палыми гнилыми соснами, лес стоял тут на твердом. Не было ни губительных трясин, ни подземных озер. Ясно, браконьер знал лес и все его тайны, как это доступно только старожилу. Но почему же его облик, пусть мельком увиденный, не вязался у Анатолия Ивановича ни с одним из окрестных жителей? Сколько раз в утреннем густом тумане или ночной порой по самому смутному очертанию в далеком челноке он мгновенно распознавал и своих подсвятыинцев, и прудковских, и кузьминских, и замостьинских мужиков. Это было больше чем острое зрение, это было что-то безотчетное, зверьевое в нем, но сейчас это зверьевое молчало.

Анатолий Иванович стал примеряться к переправе через канаву, хотя знал, как трудно будет ему на костылях в густом, непролазном лесу, и вдруг раздумал. Он плотнее обхватил перекладки

костылей и устремился вперед по просеке. Теперь, когда он уверился, что браконьер знает местность, он мог точно рассчитать его шаги. Браконьер должен был вернуться к просеке, потому что от нее начиналась гаченая дорога, а вправо и влево от дороги, вдоль всей опушки леса, раскинулось зыбкое торфяное болото. Путь браконьера к спасению тонок, как ниточка.

Короткая передышка у осины не принесла облегчения, напротив, только сейчас Анатолий Иванович почувствовал, как сильно устал. Болело наломанное тело, гудела нога и будто клещами давило икру, на ладонях вспухли белые пузыри мозолей, противно стянуло коркой подсохшей крови рассеченную губу. Рубашка просолилась потом, пить хотелось до смерти. Он зачерпнул вонючей воды из лужи, ополоснул лицо, шею и грудь, намочил кепку и тут явственно услышал шорох ветвей: браконьер пробирался сквозь лес вдоль просеки, не упуская ее из виду...

Анатолий Иванович спотыкался и падал, вскакивал и снова мчался. Он не предполагал раньше, что может с такой быстротой передвигаться на костылях. Он зачерпывал ногой тяжелые, мокрые комья торфа и волок эту пудовую тяжесть, пока она не отваливалась прочь, он стремился достигнуть конца просеки раньше браконьера. И все же он опоздал. Он увидел, как в конце просеки, где она светло расширялась в поляну, возникла из чащи фигура с мешком за спиной и бегом устремилась к гаченой дороге.

Анатолий Иванович достиг опушки и вытер залитые потом глаза. Кругом расстиралось болото, ярко-зеленое, с черными обнажениями торфа. Солнце стояло высоко в облачном небе, был, верно, одиннадцатый час. Если бы не человек на дороге, он бы собирал сейчас добычу молодого генерала, доставал бы из лешуги, из камыша и ситы широко раскиданных волной тяжеленьких, еще не остывших чирков, шилохвостней, матерок, слушал бы радостные и благодарные слова хорошо поработавшего охотника и сам бы радовался его удаче. А сейчас, верно, совсем иные слова произносятся в его адрес в двух покинутых на произвол судьбы шалашах.

Не будь этого человека впереди, он бы через час вернулся на базу, доказав Буренкову, что годится в егеря, договорился бы с генералами о вечерней зорьке и тем временем наведался бы домой, чтобы поделиться с Шуркой своим успехом. Как хорошо войти в свой дом, разуться в сенях и по мягкой телячьей шкуре, белой, с рыжими подпалинами, расстеленной у порога, неслышно прокрасться к чистой горнице, увидеть склоненное над «кругалями» веснушчатое лицо Татьяны и белобрысую макушку вечно что-то мастерящего Юрки, услышать за спиной удивленный возглас Шурки, вернувшейся с огорода. Как полно и мило существует человек в своей семье! Жаль, что это постигается, лишь когда ты оторван от семьи какой-то злой силой. Все напасти и невзгоды постигают человека за пределами семейного круга, но что поделать, родные лица не могут заменить весь мир, и, как ни тепло дома, надо выходить на холодный ветер простора...

Теперь Анатолий Иванович все время видел перед собой спину браконьера, видел не только мешок, ватные штаны и новые сапоги, но даже ствол ружья, торчащий над плечом, и пеструю кепочку. Но это нисколько не облегчало его задачи, между ними оставался все тот же неубывающий отрезок дороги. И браконьер его видел, он часто, снизу вверх, оглядывался и сразу прибавлял ходу. Анатолий Иванович тоже наддавал, но вскоре усталость заставляла обоих возвращаться к обычному шагу, а затем все повторялось снова. Было что-то знакомое, мучительно знакомое в косой, снизу вверх, оглядке браконьера, в его походке, то упрямо ровной, то семенящей, но стремящейся к одному: уйти, во что бы то ни стало уйти! Порой Анатолию Ивановичу казалось, будто он уже преследовал некогда этого человека, будто что-то подобное уже было между ними. То ли он и впрямь встречался с ним, то ли у всех браконьеров в опасности одна повадка, какая-то подлая схожесть...

Анатолий Иванович смутно чувствовал, что идущий впереди человек не был обычным браконьером. Будь за ним только грех двух выстрелов в заповеднике, он повел бы себя иначе, попытался бы откупиться от егеря: у таких всегда есть в запасе пол-литра или денежная мзда. Наконец, они настолько удалились от озера, что человек мог просто отрицать всякую свою вину: не был на озере, и все тут! Пойди докажи, что не так, свидетелей нету. Из стволов пахнет? Да он мог, сколько душе угодно, палить тут по воронам и сойкам, на это запрета нет. Словом, что ни совет — все хорошо, убежать нет ему никакого резона. А вот бежит же, да еще в мучительном страхе! И от кого — от инвалида, у которого неостанет силы дотащить до базы здорового, крепкого мужика! Не проще было бы ему решить дело хорошим ударом кулака? Ну, пусть в драку не всякий полезет, даже с инвалидом, это понятно. Так чего бы ему не сказать Анатолию Ивановичу: брось, друг, тратить силы, я от всего отопрусь, и ничего-то ты не докажешь... Но браконьер почему-то не отваживается играть в открытую. Почему? Видно, есть в этом человеке какой-то ущерб, раз он боится людей, боится света. Похоже, Анатолий Иванович погнался на этот раз за мудреным зверем, и просто дело не обойдется...

В выси зарокотал самолет. Анатолий Иванович поднял голову это был старый кукурузник, По-2. Отчетливо виден был летчик в кожаном шлеме с очками. И летчик, верно, видел их сверху: две крошечные фигурки на темной ленте гаченой дороги, два путника, которые почему-то не захотели делить унылый, однообразный путь. Ему и невдомек, как тесно связаны эти путники и какой между ними завязался спор. А кабы знал, то снизился бы, как это делают во время охоты на волков, и помог Анатолию Ивановичу захватить этого двуногого хищника. Но летчик ничего этого не знал и увел самолет в облака, оставив за собой стрекочущий звук, будто впечатавшийся в воздух след.

Дорога чуть взгорбилась, и Анатолий Иванович увидел вдалеке

трактор, корчующий пни, — это от него, а не от самолета шло стрекотание. Трактор рвал из земли пни, словно гнилые зубы. Анатолию Ивановичу подумалось, что тракторист и его подручный, накидывающий на них железную петлю, тоже пришли бы ему на помощь, если бы он мог их окликнуть. Да, пришли бы, потому что за ним правда в этом споре, и справедливость, и закон, потому что он служит сейчас порядку жизни, ее добру. А тот, шагающий впереди, несет в себе уничтожение, зло...

Но все ли люди возьмут его сторону? Нет, даже среди честных окажутся такие, что охотнее помогут преследуемому, чем преследователю. Из короткой жалости, из неуверенности в том, что кара будет равна провинности, а не перехлестнет ее во много раз. В общем, в этом деле надо рассчитывать только на себя...

Сердце колотилось у самого горла, стертые в кровь ладони приклеились к дереву, он боялся расслабить хватку рук на перекладинах костылей. Ногу он уже не чувствовал, ступая на нее, как на мертвую подпорку. А гаченая дорога меж тем шла к концу: впереди возникла сквозная березовая рошица. Они приблизились к деревне у недостроенного шоссе...

Но вот браконьер достиг орешника, опоясавшего рошу, оглянулся и, согнувшись еще сильнее, выбрал голову в плечи, будто желая умалиться до незримости, юркнул в кусты. Анатолия Ивановича хлестнуло по глазам знакомостью, бывшестью этого вороватого, трусливого, гаденького движения. И сразу вспомнилось...

...Они вдвоем шли по кровавому следу на снегу, черному в свете месяца. Было дьявольски холодно, трещали стволы деревьев, но они не бросали поисков потому, что так свеж был этот дымящийся след, потому что верили: сегодня они его накроют. И когда вышли на полянку, голубую, сверкающую, нарядную, будто из детской книжки, они сразу увидели его и светлый нож в его руке над горлом только что павшего лося. Они подошли неосторожно, оставив месяц за спиной, он увидел их длинные черные тени у своих ног. Молча, беззвучно вскочив, он по-нынешнему, снизу вверх, оглянулся и, вот так же вобрав голову в плечи, как-то бочком скользнул в заросль. Клепиковский егерь закричал: «Стой!» — и кинулся за ним следом. Анатолий Иванович, утопая в глубоком, рыхлом снегу, не смог угнаться за егерем. Он поспел к нему, лишь когда грохнул выстрел и егерь с развороченным плечом ткнулся головой в сугроб. Анатолий Иванович тащил его на себе до Подсвятья, и это было едва ли легче сегодняшнего путешествия.

А Сашку, прозванного Хуторским, — он жил на отшибе, — лишь через неделю поймали милиционеры где-то под Касимовом. После он целый день водил их по окружающим Подсвятье лесам, показывая тайники, где хранил лосятину. Сашке дали пятнадцать лет, а клепиковский егерь на всю жизнь остался искалеченным, правая рука его повисла плетью...

Сколько же отсидел Сашка? Лет восемь, не больше. А может, он бежал из колонии? Не похоже. Одет он чисто, добротно, но-

вые сапоги, полный мешок, ружье. Скорее, отпущен досрочно за хорошее поведение и прилежный труд. Выходит, рановато его отпустили, если, не дойдя до родного дома, он тут же принялся за старое! Или уж так стосковался по охоте, что и часу лишнего не мог стерпеть?.. Но Сашка не был настоящим охотником: ему бы только набить сколько влезет зверей и птиц. Он нигде не работал: ни в колхозе, ни в плотницких бригадах. Чтобы существовать, он грабил природу: бил самок весной, бил запрещенную дичь, губил непуганых лосей. Бескорыстной была в нем лишь страсть к убийству. Анатолию Ивановичу навсегда запомнился один случай. Они вместе возвращались домой с удачной, добычливой охоты, только пролезли под околицей, как на ближний вяз открыто и доверчиво опустился козодой, птица добрая, полезная. Зная свою полезность, козодой людей не боится. Сашка деловито и холодно скинул ружье с плеча, и с вяза посыпались перья, пух и кусочки окровавленного мяса.

— Зачем ты его?.. — спросил Анатолий Иванович.

— А чего он!.. — равнодушно и тупо отозвался Сашка.

При этом был старый охотник Дедок.

— Нешто не видишь его глаза? — сказал Дедок. — Такой кого хошь застрелит, хошь котенка, хошь собаку, а хошь... — Дедок не решился добавить: человека.

И верно: Сашка гвоздил по чайкам, цаплям, журавлям, дятлам, по бездомным собакам, кошкам, случайно забежавшим к нему на двор, пока не дошел черед до человека. Годы, проведенные в колонии, видно, не вытравили в Сашке страсть к уничтожению.

Теперь, узнав, с кем имеет дело, Анатолий Иванович понял поведение Сашки. Для такого нет никаких уверток, для него есть одно: прочь, прочь.. Знал он также, что Сашка не осмелится решить дело силой, потому что не раз испробовал на себе железную хватку его рук. Но за плечами у него ружье. Подыметесь ли у него снова рука на человека? Легче или труднее второй раз пролить человечесью кровь? Лучше об этом не думать, надо скорее добраться до развилки, чтобы не упустить беглеца.

И вот уже мелькают мимо него пестрые стволы берез, и тверда под костылями земля в желтой хрусткой березовой листве. Тропинка здесь петляет, Сашки уже не видать впереди, но едва ли он ушел далеко. Анатолий Иванович заметил, что след Сашкиных каблуков с кружочками уже не был так отчетлив, словно бы он сносил их, зато резче обозначился рисунок носка: Сашка не шел, а бежал по просеке, быть может, из последних сил, но бежал.

Анатолий Иванович вышел из березняка, перед ним лежало заросшее лопухом и бурьяном булыжное шоссе. Левый конец упирался в речку, правый подводил к околице маленькой, с десяток дворов, деревушки и там обрывался. Шоссе начали строить в незапамятные времена, но почему-то вдруг прекратили. Сашки не было видно. Значит, уже успел миновать деревню и сейчас шагает по одному из проселков, ведущих к бетонке. На шоссе, близ око-

лицы, маячила одинокая женская фигура. Женщина таскала из груды булыжники, укладывала их в щербины шоссе и забивала кувалдой. Похоже, она намеревалась в одиночку достроить шоссе.

Когда Анатолий Иванович подошел к ней, женщина бросила кувалду, выпрямилась, рукой в брезентовой рукавице откинула с лица волосы и ожидающе уставилась на него. Была она высокая, плечистая, с широкими бедрами и крепкими ногами, в коротких резиновых сапогах. При такой крупной стати маленькой казалась ее круглая красивая голова на высокой, стройной шее. Большой алый рот женщины улыбался, но недобрый был слишком пристальный взгляд темно-карих глаз. Если бы не сапоги и рукавицы, женщина была одета нарядно для своей грязной, тяжелой работы: шелковая, в цветочках, кофта, сатиновая черная юбка, на смуглой шее ниточка коралловых бус.

— Здравствуйте, — сказал Анатолий Иванович.

Она кивнула, уперев руки в бедра, и продолжала молча и недобро разглядывать его.

— Не проходил тут охотник... невысокий, с мешком?..

Женщина молчала, и он добавил твердо, краснея своим и без того распаренным, потным лицом:

— Дружок мой... в лесу разминулись.

— Крепко, видать, дружка своего любите, — усмехнулась женщина. — Ишь как запарились!

— Проходил иль нет? — резко сказал Анатолий Иванович.

— Не видала, — лениво отозвалась женщина. — Может, и проходил, мне не докладывался.

Анатолий Иванович видел, что она врет, ей почему-то хотелось помочь Сашке. Конечно, он не мог знать, что виной тому эта проклятая, никуда не ведущая дорога. Пока тут еще шли строительные работы, ближайший комковский колхоз обязался поддерживать дорогу в порядке. Но стройка давно была брошена, а повинность осталась. И вот сегодняшним утром женщину послали сюда, ей предстояло в одиночестве ковыряться на этой ненужной дороге. Она нарочно, со злости, надела праздничную кофту и юбку: пусть пропадает зазря ее красота и нарядность, раз уж так плохо, пусть будет еще горше! Когда из леса вышел измученный, с бледно-перекошенным лицом человек, она верным чутьем угадала в нем несчастливца. Человек попросил напиток, она дала ему крынку остуженного в роднике молока. Человек наказал ей молчать, сунул в руку деньги и быстро зашагал к развилке...

Но этот, второй, хоть и на костылях, нравился ей куда больше: сухая, крепкая фигура, хорошее мужское лицо с твердыми серыми глазами, когда врет — краснеет. Но угнетенная бессмысленной, тяжелой работой, она чувствовала себя ближе к преследуемому, чем к преследователю.

— Так и не скажешь, куда он пошел? — Анатолий Иванович отнял от костыля руку и утер лицо.

Женщина вздрогнула: ладонь была в крови, сочившейся из

лопнувших мозолей. Сейчас она будто по-новому увидела человека: его измазанную торфяной грязью рубашку, рассеченную, запекшуюся губу, порванную на колене брючину. Он так спокойно держался, что поначалу она не обратила внимания на эти следы тяжелой борьбы с дорогой.

— Поцелуй, может, и скажу!

Анатолий Иванович молчал, а женщина смотрела на него; пусть и запаренный, одноногий, он нравился ей все больше, от него веяло здоровым, чистым духом, каким веет после работы от свежего, ладного мужика. И она уже без улыбки, странно прищурившись, настойчиво повторила:

— Поцелуй, тогда скажу!

Анатолий Иванович вздохнул.

— Не могу, — сказал он. — У меня жена Шурка и двое ребят.

— Вот ты какой! — проговорила она с добрым удивлением. — А он тебе очень нужен?

— Я с самого Великого за ним гонюсь, это ж гад!

— Он тебе что плохое сделал?

— Не мне одному. Он хуже волка...

Женщина верила ему. Бледное, лопатообразное лицо беглеца с рыскающими глазками не внушало ни доверия, ни симпатии. Да и почему она должна становиться между ними? Пусть сами решат свое дело. Пусть хоть кровь прольют, в этом есть жизнь, не то что ковыряться на дороге, не имеющей ни начала, ни конца...

— Он направо свернул, к Талице, — сказала женщина.

Анатолий Иванович опустил ладони на перекладыны костылей.

— Постой, — женщина протянула скомканную в комок десятку. — Верни ему.

Анатолий Иванович сунул деньги в карман и зашагал прочь. Женщина долго смотрела ему вслед, пока он не стал крошечной точкой на дороге. Потом она подняла кувалду. Если бы ее работа была хоть на что-нибудь нужна!..

Анатолий Иванович не сомневался, что женщина сказала ему правду. Но Сашкина спина так долго не показывалась, что он забеспокоился: уж не свернул ли Сашка в лес? Справа от леса с громким шорохом светлой стенкой подступал дождь. Вот он провел ровную черту по серому, в трещинах, окоему дороги и обрушился на Анатолия Ивановича всей своей прохладной свежестью. И сразу стало легко дышать, какая-то новая бодрость прилила к телу. И слева, в разъеме синих с сединой туч, ярко и горячо светило солнце, уже миновавшее зенит.

Анатолий Иванович приметил на дороге колесные колеи и зубчатку автомобильных шин. Значит, тут, хоть и редко, проходят машины и подводы, и если ему повезет, то его нагонит какой-нибудь грузовик. Внезапный прилив бодрости заставил его верить в удачу, и действительно, в скором времени впереди показалась знакомая фигура с мешком за спиной. Сашка его тоже заметил, но не прибавил шагу, а сел у дороги и стал обуваться: от рощи

Сашка шел босиком. Обувшись, он вскочил и зашагал дальше, их разделяло теперь не больше полукилометра. «Давай!.. Давай!..» — говорил себе Анатолий Иванович все в той же счастливой уверенности, что погоня близится к концу.

Из леса, спотыкаясь на ухабах, наперерез Сашке выехала полуторка. Сашка подпрыгнул, уцепился за задний борт, и сидящие в кузове люди дружно помогли ему перевалиться в кузов. Анатолий Иванович понял, что случилось, лишь когда полуторка, расхлестывая лужи, умчалась прочь.

Он продолжал идти вперед, сам не зная зачем. Дождь, все так же стенкой, отступил от дороги, земля сильно запахла. Иногда в нем лениво шевелилась мысль, что у полуторки может лопнуть шина, что она завязнет в грязи, что рухнул мост через Талицу в пяти километрах отсюда, что грузовик этот из ближайшего по дороге колхоза и Сашке скоро придется сойти. Он не хотел признать свое поражение, еще не сжился с ним.

— Оглох, что ли? — услышал он за своей спиной. — Сигналю, сигналю, а ему хоть бы что!

Завалив на бок мотоцикл, за ним стоял парень в кожаной куртке и защитных очках.

— Задумался, — сказал Анатолий Иванович. — Не подвезешь?

— Куда тебе?

— К бетонке.

Мотоциклист выровнял машину. Анатолий Иванович неловко взобрался на скользкое после дождя сиденье, нашел железную скобу под передним седлом и ухватился за нее. Мотоцикл закашлял, зачихал, стрельнул и сперва валко, медленно, потом все быстрее и быстрее покатило по неровной, тряской дороге. Было чертовски неудобно, культия не позволяла Анатолию Ивановичу ровно распределить тяжесть тела, его все время кренило в перевес левой половины, железная скоба вырывалась из пальцев. Мешали и костыли, которые он положил перед собой, приходилось то и дело снимать со скобы руку и придерживать их, чтобы не свалились. А мотоциклист, не ведая о мучениях своего седока, гнал на предельной скорости, и вскоре они увидели подпрыгивающий зад полуторки. Мотоциклист неистово засигналил, он, видимо, любил, чтобы ему загодя очищали дорогу. Полуторка вильнула к обочине, чуть притормозила, из кузова спрыгнул в кювет какой-то человек, упал, поднялся и, прихрамывая, заковылял к лесу. Когда мотоцикл поравнялся с местом, где спрыгнул человек, Анатолий Иванович крикнул парню в самое ухо:

— Стой!

Мотоциклист круто затормозил:

— Тебе ж на бетонку надо!..

— Мне тут сподручней, спасибо. — Анатолий Иванович слез с сиденья и, не оглядываясь, стал перебираться через кювет.

Лужайка, ведущая к лесу, была заболочена. Анатолий Ивано-

вич снова приладил к костылям плоские дощечки. Сашка уходил медленно, верно, сильно зашиб ногу, к тому же не пускала вязкая почва. Анатолий Иванович слышал, как хлопает вода под его сапогами, потом до него донеслось хриплое, надсадное дыхание.

Перед лесом на болоте рос какой-то чахлый кустарник, и Сашка стремился достичь его, словно мог там схорониться. На миг он повернул к Анатолию Ивановичу свое бледное лопатообразное лицо, их глаза встретились, и Анатолия Ивановича удивило выражение ужаса на Сашкином лице.

— Стой! — крикнул Анатолий Иванович, и странен показался ему собственный голос. — Стой, говорю!..

Сашка съезжился, словно его ожгло, и рванулся к кустам, Анатолий Иванович понял это его движение, у него самого было чувство, будто он голосом прикоснулся к Сашке. Тот хотел широким прыжком достичь сухого бугра под кустами, но оступился и выше колен провалился в болотную топь. Но и Анатолий Иванович увяз в торфяном месиве. С невероятным усилием, касаясь грудью осоковой травы, он с хлопом вытянул ногу, тяжело облипшую торфом, и послал вперед костыли. Он почти полз. А Сашка топтался в трясине, пытаясь ухватиться за ветку кустарника.

— Стой! — повторил Анатолий Иванович и еще ближе подтянулся к Сашке.

Тот, неловко ворочаясь всем телом, повернулся, содрал с плеча ружье и навел на егеря.

— Не подходи! — завизжал он. — Убью!..

— Но, но, полегче!..

Анатолию Ивановичу казалось, будто огромный, жадный рот всосал его ногу, он стал ворочать ногой в земле, потом медленно потянул ее вперед, и тут в лицо ему ударил выстрел. Он почувствовал на макушке охлест воздуха, едко завоняло порохом, пыж щелкнул его по щеке. «Мимо целит», — подумал он спокойно и, вырвав наконец ногу, перекинул себя почти вплотную к Сашке. Черный кружочек дула уставился ему прямо в лоб. «А вот теперь в меня!» — успел подумать Анатолий Иванович, и простор качнулся перед ним всей своей зеленью и голубизной, словно земля и небо поменялись местами. И странно, в этом дурманно-плывущем состоянии он четко услышал пустой щелк курка. Недаром же был он настоящим охотником, человеком мгновенных решений: он вскинул костыль и ударил Сашку по рукам. Тот выпустил ружье и повалился на спину.

Анатолий Иванович продрался вперед, поднял ружье, снял цевье и сунул в карман, затем кинул ружье Сашке. Он выбрался на сухое место, стряхнул с сапога и брючины жирные ошметья торфа и, вспомнив, что весь день не курил, достал плоскую железную коробочку с махоркой и дольками газетной бумаги, свернул сигарку и жадно затянулся.

Сашка, не подымаясь с земли, распахнул на груди ватник и, мешая брань со слезами, весь как-то противно выламываясь и выпя-

чивая ключицы над вырезом майки-безрукавки, стал требовать, чтобы Анатолий Иванович пресек его молодую жизнь, поминая при этом старушку-мать, хотя лишился матери в раннем детстве. Анатолий Иванович слушал его с любопытством: было во всем этом что-то наигранное, но вместе и серьезное, словно некий ритуал. Наверное, так принято было в тех местах, откуда Сашка явился. Но потом ему надоело это, да и пора было в обратный путь.

— Ладно, вставай, — сказал он, дронув Сашку костылем.

Сашка замолк, неуклюже поднялся, подобрал ружье.

— Утрись, — сказал Анатолий Иванович. — Неудобно.

Сашка послушно вытер лицо тылом ладони, потом изнанкой полы ватника. Анатолий Иванович отметил про себя эту новую Сашкину покорность, похоже, ему привычно и удобно, чтобы им распоряжались.

— Тут тебе передать велели, — Анатолий Иванович протянул Сашке смятую десятку.

Сашка ухмыльнулся.

— Честная... стерва!..

— Заткнись! Двигай!..

И медленно, поминутно проваливаясь, они потащились через болото к дороге. Сашка молчал, только раз повернулся к Анатолию Ивановичу и, кивнув на его ружье, предложил:

— Давай понесу.

— Не надо.

— Боишься? — Сашка показал неровные белые зубы.

— Нет, ружье незаряженное.

— А у меня вон — полный пояс патронов!

— Не подойдут, у меня двенадцатый калибр, — спокойно сказал Анатолий Иванович.

Сашка замолчал, но вскоре им вновь овладела болтливость. Он стал выспрашивать Анатолия Ивановича, что ему будет, просил утаить, что пытался оказать сопротивление.

— Ничего себе — пытался! — сумрачно проговорил Анатолий Иванович. — Кабы не осечка, быть мне на том свете.

— Понимаешь, помрачение нашло! — горячо заговорил Сашка. — Я уж и не помнил, из-за чего началась эта бодяга. Веришь, Толечка, мне казалось, будто всей моей свободе конец!..

Анатолий Иванович чувствовал, что Сашка говорит сейчас правду.

— Не застрелил — и ладно. А потом — ты всегда отпереться можешь.

— Все равно поверят тебе, а не мне. У меня положение поганое. Что другому с рук сойдет, мне ни в жизнь. Вкатят новый срок, и точка!

— Все равно тебе недолго гулять. Раз ты в первый же день нарушил...

— Не думал я нарушать! Почем я знал, что у вас тут все шиворот-навыворот пошло?

— Ладно брехаты! Когда это ты видел, чтоб утки стаями у причала плавали? Ясно, их там не бьют.

Сашка сбоку посмотрел на Анатолия Ивановича.

— Хочешь верь, хочешь не верь, а все восемь лет каждую ночь мерещилось мне, что я прихожу на Великое и там видимо-невидимо уток. Тучей воду кроют. И вот нынче так и оказалось, я испугался даже. Потом, конечно, понял, что заповедник, да разве удержишься? Думал, вдарю разок, отведу душу и навсегда завяжу с этим. Невезучая я сволочь! — вдруг горько сказал Сашка.

Анатолию Ивановичу стало не по себе. Право, этот нынешний Сашка чем-то отличался от прежнего. Он стал болтлив, легкомыслен, видно, оттого, что долго не жил своей жизнью, своим решением. Но появилось в нем и что-то хорошее, человеческое, какая-то доверчивость, искренность. Этот новый Сашка уже не вызывал у него былой ненависти, скорее жалость. Если бы он не заставил его проделать такое путешествие, Анатолий Иванович просто отобрал бы у него цевье, а самого отпустил подобру-поздорову. Но сейчас он должен доставить Сашку на базу, в нем — единственное оправдание его долгого отсутствия.

— Может, лучше не говорить, что ты из колонии отпущенный? — спросил он.

— Все равно узнается...

— Тогда держись, что про заповедник не знал, новые, мол, порядки. У нас начальник ни хрена в охоте не смыслит.

— А ежели ему кто накапает насчет прошлого?

— Я скажу ребятам. Там из наших только Беликовы да клеиковский Егор Иваныч, помнишь?

— А он не скажет?

— Мужик добрый...

Конечно, большого вреда Сашке не будет, но, если он еще на чем срежется, то ему и это припомнят. Лучше бы отпустить. Себе-то уже Анатолий Иванович доказал, что имеет полное право служить на озере егерем...

Словно угадав его мысли, Сашка сказал:

— Я и не думал тут задерживаться. У меня теперь профессия есть — каменщик.

— В Заречье утятник строят, можешь туда толкнуться.

— К уткам поближе? — засмеялся Сашка. — Тогда уж ты лучше не возвращай мне цевье!..

...От егера большего и не требуется: отобрать цевье. Вот оно — у него в кармане. Но нет, цевьем от Буренкова не отделяться. У него небось вышла неприятность с генералами, и, чтобы Буренков успокоился, ему нужно что-нибудь существеннее маленькой детали охотничьего ружья.

Впереди возникло Комково, и Анатолий Иванович свернул на целину, чтобы выйти к роще, минуя шоссе, где работала женщина. Почему-то ему не хотелось сейчас ее видеть.

Осталась позади гаченая дорога, они шли лесом. Солнце кло-

нилось к закату, его лучи уже не падали отвесно в лесной коридор, а вязли в кустах и деревьях. В просеке было сумеречно, прохладно и еще сильнее пахло кислым вином. Снова ложились под шаг толстые корни, похожие на змей, но теперь Анатолию Ивановичу некуда было спешить, и он осторожно переступал через них. Несколько часов назад он вышагивал эту просеку в обратном направлении, он спотыкался, падал, соленый пот разъедал губы, болели ушибленные места, и все же он чувствовал себя куда лучше и тверже, чем сейчас в предвкушении встречи с Буренковым. Но когда они вышли к озеру, к тому месту, откуда начался их путь, в груди Анатолия Ивановича шевельнулось горделивое чувство: «А все-таки я это сделал...»

На лещуге по-прежнему трепыхался пух убитых Сашкой уток и висели на кусточке лапы с огузьем разорванного выстрелом хлопунца. Анатолий Иванович с помощью Сашки столкнул в воду обсохший челнок, сложил туда ружье, термос, мешок из-под чуел и плетушку, затем отмыл сапог, почистил одежду и умылся сам. Сашка последовал его примеру. Они залезли в челнок. Анатолий Иванович уперся веслом в берег и резко послал челнок вперед. Из камыша с громким шумом поднялось несколько крикв. У Сашки опасно заблестели глаза.

— Лучше тебе тут не болтаться, — посоветовал Анатолий Иванович.

— А в Заречье охота есть?

— На Пре вроде разрешают.

— А утки там водятся?

— Не так чтоб особо...

— С меня хватит.

Над озером простерлась тишина, в ожидании вечерней зорьки угомонилась даже Прудковская заводь. На большой высоте, стаями и в одиночку, летали утки. Рябь отливала темным золотом, зеленые, спокойные, стояли над озером леса.

— Повидал я таки свет, — сказал Сашка, — а красивше наших мест нигде нету.

— Больно ты раньше эту красоту замечал!

— Молодой был, вот и озоровал.

Но с приближением к базе Сашка забеспокоился. То ли на него произвели впечатление большие дома, гордо стоящие на круче, флотилия моторных лодок на причале, грузовики, автобусы и легковые машины, поблескивающие меж сосен лаком и металлом, все эти приметы большой, серьезной жизни, которая шутить не любит, но лицо его по-давешнему омелилось и тревожно забегали глаза.

Анатолий Иванович подвел челнок к берегу, накиннул цепь на железный надолб и подобрал свои костыли. У пристани, покуривая, сидел на бревнах сторож базы Пинчуков.

— Ты што, живой, не утоп? — спросил он Анатолия Ивановича с насмешливым удивлением.

— Слушай, Пинчуков, генералы мои еще тут?

— Хватился! Факт, уехали. Разобиделись вдрызг! Такой крик стоял! Мы думали, Буренкова кондрашка хватит.

Анатолий Иванович помрачнел: в глубине души он рассчитывал на генералов. Почему-то он был уверен, что, разобравшись в случившемся, генералы примут его сторону.

— Тебе лучше не показываться, — посоветовал Пинчуков. — Начальство в худшем гневе.

— Бог не выдаст, свинья не съест...

Анатолий Иванович стал подыматься по лестнице, Сашка с опущенной головой поплелся за ним. Наверху мимо них с погатым ведром в руке пробежала девчонка Глаша с кухни, остановилась и, по-бабьи жалостливо склонив голову к плечу, уставилась на Анатолия Ивановича.

«Заживо хоронят!» — усмехнулся он про себя.

Буренков стоял у крыльца охотничьего домика, перекатывая во рту пустой мундштук. Он, конечно, заметил Анатолия Ивановича, но ничто не шевельнулось на его лице. Когда же Анатолий Иванович приблизился и открыл рот, чтобы отчитаться перед начальством, Буренкова словно взорвало. Странен был этот мгновенный переход от видимого спокойствия к яростному, насадному крику. Анатолий Иванович пытался ухватить суть разыгравшихся здесь событий. Он понял, что генералов хватились поздно, когда забеспокоился привезший их шофер, что отыскиали их не сразу и что Буренков не захотел как-нибудь оправдать его отсутствие. Естественно, это привело генералов в бешенство. Буренков не сказал Анатолию Ивановичу, что генералы, вернувшись на базу, хоть и ворчали, но больше были озабочены исчезновением егеря, чем своей незадачей. Они были благодарны егерю за редкостно удачную охоту и требовали, чтобы Буренков послал людей на поиски. «Чего искать-то, — сказал Буренков, — он с бабой своей на печи клопов давит». Тут действительно поднялся крик, и Буренков поздно понял, что сморозил глупость и не надо было ему продавать егеря. Но успокоил себя тем, что виновник как-никак назван и он, Буренков, несет лишь косвенную ответственность. Разозленные генералы не остались на вечернюю зорьку и укатили на своем вездеходе.

— Пошумел, и хватит, — спокойно сказал Анатолий Иванович, когда Буренков замолк, исчерпав запас ругани. — Я вот браконьера привел. — Он достал из кармана цевье и протянул Буренкову.

Буренков машинально взял цевье и пустыми глазами воззрился на Сашку.

— В заказнике стрелял, — заключил Анатолий Иванович. — До самой Талицы за ним гнался.

— Как до Талицы?.. — пробормотал Буренков. — Чего ты врешь?

Тут только он разглядел порванную одежду егеря, осунувшееся лицо, синие тени под глазами, ранку на губе и ржавые пятна крови на костылях.

— Вот его спросите, — кивнул Анатолий Иванович на Сашку.

Но Буренков не нуждался в подтверждении: он уже знал, что это правда. Если б генералы не уехали, как красиво обернулась бы вся история! Инвалид на костылях, его служащий, преследует восемнадцать километров злостного нарушителя по лесам и болотам, где и здоровому человеку трудно пройти. Да это, можно сказать, подвиг! Но генералы уехали. И в рапорте, который ему придется подать в ответ на жалобу генералов, такой поступок покажется просто неправдоподобным. Вон, скажут, какую липу загнул, чтобы оправдаться! К тому же это выгораживало егеря, а на нем, Буренкове, все равно остается пятно: «Не обеспечил». С работы его и так не выгонят: он же предупредил генералов о ненадежности егеря. Они сами настаивали, он пожалел инвалида Отечественной войны, дал ему отличиться, а тот подвел его. Такая ошибка даже почетна.

Но было еще нечто, в чем Буренков не признавался сам себе. Теперь, когда одноногий егерь совершил такой необычный поступок, он верил всему хорошему, что о нем рассказывали. Это и впрямь человек незаурядный, с такими шутить не приходится. Оставался еще этот не к месту явившийся браконьер. Тоже герой, сопля на заборе, не мог с инвалидом управиться! Постукивая цевьем по ладони, Буренков перевел суровый и пронизательный взор на стоящего чуть поодаль небольшого, бледного человека. Тот ответил ему острым, коротким взглядом и вдруг, задернув мутной пленкой остроту своих маленьких глаз, закричал дурным, треснутым голосом:

— Гражданин начальник, не погубите! Восемь лет в неволе страдал, искупил вину перед обществом! По глупости, по неведению нарушил! Кабы знал про заповедник, за сто бы верст его обошел!..

Анатолий Иванович молча, с отвращением следил за представлением, какое давал Сашка Буренкову.

— Не знал, говоришь? — спросил Буренков.

— Вот вам крест, гражданин начальник! Как честный советский человек!..

— На! — Буренков протянул ему цевье. — Но смотри у меня, если еще раз попадешься!..

— Не бойсь, не попадусь, — спокойно, с холодком, отозвался Сашка и, забрав цевье, отошел.

— А ты, — Буренков перевел взгляд на Анатолия Ивановича, — чтоб больше тут портками не тряс. Имущество казенное, если что пропадет, я тебя притяну. Понятно? — И он не спеша направился к дому.

— Вот какой: оборот, Толечка! — сказал Сашка без всякого торжества, скорее даже сочувственно, и вдруг захохотал. — Силен гусь!..

Никак не отозвавшись, Анатолий Иванович пошел к своему челноку...

Доброе и вежливое



ЧУЖАЯ

РАССКАЗ

Кунгурцев был из тех кряжистых сибиряков, которые любому шуму, суматохе и безобразию внешней жизни умеют противопоставить собственный прочный порядок. И наружность его находилась в полной гармонии с внутренней сутью: крупная, вросшая в плечи голова, литое, негнущееся тело с выпирающей мощной грудью. И все же этот кряж едва не пал духом, хотя дело было сугубо частное, неспособное отбросить даже малой тени на мироздание. Впервые Путятин приехал к нему погостить с новой женой. Алеша Путятин был лучшим и любимейшим другом Кунгурцева. Да нет, так не бывает, вернее, бывает только в романах несколько друзей, спаянных не на жизнь, а на смерть. В действительности у человека может быть лишь один Друг, тот, за которого в огонь и на плаху, с которым сросся кровью, все другие друзья, если они есть, в лучшем случае — добрые товарищи, но часто святое слово «друг» расходится на случайных приятелей и просто собутыльников. А Путя был настоящий друг, хотя их отношения не проходили испытаний ни войной, ни взаимовыручкой в чем-то большем, чем одолжить деньги на машину или достать редкое лекарство. Но то и дорого! «Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним» — тут корень трагедии Отелло. Любить можно лишь ни за что, а если за что-то, это уже другое чувство, тоже по-своему ценное и достойное, но нет в нем обреченности, безоглядности и бескорыстия истинной любви. Сказанное относится и к дружбе. Ты вынес меня из огня, я уступил тебе любимую женщину — мы друзья навек. Чепуха! Не надо путать дружбу ни с благодарностью, ни с чувством долга. Дружба — это когда с человеком хорошо просто так, когда исключено всякое насилие (требовательная дружба — фальшивый вымысел назидательной литературы), дружба — это счастье.

В Алеше Путятине Кунгурцеву нравилось все: саженный рост, здоровая худоба, блеск темно-карих глаз, низковатый переливчатый голос, мгновенность отклика на любое впечатление. Хорошо заряженный на жизнь, сильный и свежий человек, прекрасный охотник и рыболов, знает тайгу, как родной дом, а то, что он еще и видный специалист, главный инженер крупнейшего алюминиевого завода, было его личным делом. Кунгурцева больше радовало,

как он режет мясо, пьет водку, смеется, рубит сучья, складывает шалаш или костер, горланит песни, а порой уходит в себя, в свою серьезность и тишину, и глаза становятся далекими-далекими.

Замечательно, когда у тебя есть друг, но совсем здорово, если друг и его жена приняты как родные в твоей семье. Такое бывает далеко не всегда. Понятно, что для трех юных Кунгурцевых дядя Леша был первым человеком: у него лучшая охотничья собака в мире (шестилетний курцхар, золотой медалист), собственная «Волга» (отец и «жигуленка» не удосужился приобрести), бельгийский карабин (у отца старая отечественная «ижевка»), он знает приемы самбо и гимнастику йогов. Но вот Марье Петровне при ее резком, колючем характере вовсе не обязательно было принять в душу Путятиных. А ведь приняла, да еще как приняла! С появлением Путятиных она разом убирала свои иголки, бархатной становилась. Правда, Липочку (так звали жену Путятинина все, даже мальчишки) трудно было не полюбить. Добрая-предобрая великанша, чрезмерная во всем (ростом с верзилу мужа, но куда шире в обхвате, с зычным голосом, перекрывавшим любое шумное застолье), всегда веселая и неутомимая, она больше всего любила быть нужной, полезной людям. При Липочке окружающие мгновенно освобождались «для звуков сладких и молитв», а все «житейское волнение» она брала на себя.

Когда она появлялась в доме Кунгурцевых, кухня, холодильник, погреб и все закрома немедля и молчаливо передавались в ее ведение. Она обожала кухарить, украшать стол, обихаживать гостей, это была ее стихия, область ее таланта.

Марья Петровна, кроме своей медицины, знать ничего не хотела. Она была заведующей и ведущим хирургом большой поселковой больницы, самые сложные полостные операции брала на себя и справедливо гордилась, что к ней привозили больных даже из областного города. Она была хирургом божьей милостью и волевым организатором, но так выматывалась на работе, что для дома у нее просто не хватало сил. Да и не было у нее к этому влечения. Хозяйничала ее хлопотливая, услужливая и бестолковая от старости мать. С приездом Липочки довольно нескладный быт Кунгурцевых расцветал. Лепились пельмени, которых Кунгурцев мог умять без счета, но все же не больше худого и ненасытного Пути — как только умещалось столько теста и мяса в его плоском животе? — пеклись пироги с грибами, рыбой, капустой, яблоками, черникой, смородиной, настаивалась водка на разных травах и ягодах, варилась бражка и прохладительное питье из черемухи, извлекалась на свет красивая посуда и столовое серебро — приданое Марьи Петровны, — и всегда приглашались гости, грешно было одним наслаждаться такой красотей.

Была еще одна причина, делавшая для Кунгурцева субботние приезды Путятиных столь желанными, а приезжали они чуть не каждую неделю, ибо жили в каких-нибудь полутора-двух километрах. Ублажительная вкусной и сытной едой — в будние дни хо-

дила голодная, не успевая за всеми делами не то что пообедать в столовой, а чашки пустого чая выпить, — взбодренная рюмкой-другой настойки, а главное, отдохнувшая в полной раскрепощенности от всех хлопот, Марья Петровна вспоминала о своей женской сути и не отталкивала настырного, но покорного мужа, как это случалось в остальные дни недели. Два дня полного счастья, дарованного Липочкиными заботами, как бы приближали ее к тем тайнам, куда нет доступа посторонним. И эта большая, по-своему привлекательная женщина — ее немного старили серые от просола седины, коротко стриженные волосы — как-то странно и нежно сливалась для Кунгурцева с Марьей Петровной.

И вдруг как обухом по голове известие: Путя расстался с Липочкой и женился на другой. Когда он успел, где откопал эту новенькую, как мог решиться на разрыв с Липочкой, прожив с ней столько лет в любви, счастье и согласии, почему не посоветовался с друзьями и как сумел ничем себя не выдать? — мучительное недоумение ломило крепкую голову Кунгурцева.

Марья Петровна отнеслась к событию проще: «Нашел молоденькую. Все вы кобели хорошие!» Последнее замечание было вовсе ни к чему, но ей хотелось выплюнуть горечь, и Кунгурцев промолчал.

Картина еще более замутилась, когда Путятин привез молодую жену знакомиться. Вернее сказать, он заглянул к Кунгурцевым на минуту по пути в Ангарск, где они должны были забрать дочь Веры Дмитриевны. Кунгурцев решил, что Путя нарочно соединил два дела в одно, чтобы не затягивать визит и снять налет торжественности. Он считал себя обязанным представить жену старым друзьям, но то ли не чаял особых радостей от этого знакомства, то ли не знал, как себя держать, боялся расспросов о Липочке и заторопился в отъезд, едва они переступили порог дома и обменялись первыми приветствиями.

Все чувствовали себя скованно, напряженно и неудобно, но никто и пальцем не пошевелил, чтобы разрядить атмосферу. Ребят же услали под каким-то наспех придуманным предлогом, а бабушку закупили на кухне, равно опасаясь невинной прямоюты юности и промахов старости. Естественнее других держалась Вера Дмитриевна, новая жена Пути, она, собственно, никак не держалась, будто происходящее ничуть ее не затрагивало. В ней не было ни смущения, ни вызова, ни заинтересованности, ни подчеркнутого равнодушия, и главное — не было желания расположить к себе. И она вовсе не была так уж молода: лет тридцати семи-восьми. Усталые глаза, и на висках гусиные лапки, большой рот с опущенными уголками молодец и расцветал лишь в улыбке, но улыбалась она не часто. Лицо в покое скорее грустное, на юную соблазнительницу никак не похожа. И на сибирячку тоже: темные волосы, карие глаза под устало приспущенными веками казались вовсе черными и светлели лишь в отпахе ресниц, смуглая матовая кожа, статью хрупкая, но на крепких, мускулистых но-

гах. «Вы откуда родом?» — спросил Кунгурцев женщину. «Волжанка». — «А в наших местах давно?» — «В ваших местах, — она улыбнулась, — пожалуй, всю жизнь. Родители — сибиряки. Отец военным был, служил в Саратове. А после войны вернулся со всей семьей в Иркутск». Выходит, она все-таки сибирячка, но Кунгурцеву не хотелось этого признавать. Ни мастью, ни статью, ни повадкой не совпала она с любезным его сердцу образом. Да и росточком не вышла. Она была среднего женского роста, но рядом с мужем и четой Кунгурцевых казалась маленькой. Не то что Липочка — правофланговая этой великаньей рати. «Вот и распалась наша богатырская четверка», — с грустью думал Кунгурцев, будто о главной потере.

Путя был так беспокоен, странен и тяжел, что Кунгурцев впервые обрадовался его отъезду. «Да, да, — говорил он, — поезжайте, иначе засветло не обернетесь». Похоже, Веру Дмитриевну обрадовало, что их не стали удерживать. «Волнуюсь, старик, — доверительно шепнул Путя Кунгурцеву, — сроду отцом не был», чем дал новое направление мыслям друга. Сильное чрево Липочки почему-то так и не дало жизни новому существу, хотя кто знает, чья это вина. И может, в дочери, а не в матери оказалась для Пути главная притягательная сила? Несостоявшееся отцовство в нем заныло. Доверие Пути помогло Кунгурцеву осуществить намерение, от которого он чуть было не отказался по слабости духа. Под каким-то предлогом он втолкнул его в кабинет: «Что с Липочкой? Где она? Не нужно ли ей чего?» Путя ответил со злостью, но то была хорошая злость: «Плохо ей, сам, что ли, не понимаешь? Уехала к сестре в Томск. Пойдет работать. Сказала, так ей легче. Она сама все решила, и свой уход тоже». — «Еще бы! Накопывал, а она... она...» — Кунгурцев задохнулся. Путя глянул спокойно и холодно: «Чего не было, того не было» — и вышел из кабинета.

Когда Путятини уехали, Кунгурцев поделился с женой своими наблюдениями. «Не знаю, ничего не знаю, да и знать не хочу! — отмахнулась она. — Я люблю Липочку, а эту не привечу никогда!» — «Мне она тоже не показалась, — сказал Кунгурцев. — Какая-то холодная, отчужденная, я таким не верю. Пропал Путя, ох провал!» — «Да нет, — сказала Марья Петровна, — она не злодейка». Простое это замечание произвело громадное впечатление на Кунгурцева. Он ждал, что Марья Петровна разделяет Путятину жену под орех. Его ничуть не удивило бы, услышь он о молчаливой женщине с уставлыми глазами и грустным ртом: «Проходимка! Чтобы ноги ее здесь не было!» Но Марья Петровна при всей своей неприязни удостоверила ее доброкачественность. А это означало, что отношения семей могут продолжаться. Конечно, их дружба с Путей выдержит любое испытание, но встречаться им стало бы ох как трудно! Так могло случиться, и он не подумал бы разубеждать жену, безоговорочно подчиняясь ее оценкам. Он разбирался в деловых качествах человека, нравственная же суть нередко ускользала от него.

Но теперь он решил возобновить обычай ежесубботних встреч, тем более что на него свалилась неожиданная напасть и Путя мог оказаться полезен. Позвонил секретарь обкома и попросил принять группу кинематографистов, снимающих большой фильм о Восточной Сибири. Секретарь назвал имя главного киношника, добавив тоном, исключаящим возражения: «Слышал, конечно?» Кунгурцев, не разобравший имени, пробормотал: «Что я, дикарь какой?» — «Значит, чувствуешь, кого к тебе посылают?» — возликовал секретарь. После этого уже не имело смысла спрашивать, почему именно он, Кунгурцев, должен принять великого киношника в свой выходной день, пожертвовать ему еще и воскресенье, поить, кормить, ублажать, лелеять и, главное, дать почувствовать, что такое Сибирь и сибиряки!..

Кунгурцев был директором завода абразивов, самого большого в Сибири. Этот завод, возникший еще до революции у залежей корунда и выросший с пятилетками до предприятия союзного значения, собрал вокруг себя поселок, уже претендующий на статус города. Избяной центр с горластыми петухами, кривыми огородами и коричневыми старухами на завалинках обрастал кварталами многоэтажных домов, где разместились магазины, парикмахерские, пошивочные, кинотеатры, учебные заведения, детские сады и ясли.

Завод царил над местностью. Из-за него на железной дороге, протянувшейся через всю страну, возникла станция и асфальтированное шоссе соединило станцию с поселком, и другие дороги — бетонные и грунтовые — побежали во все стороны света от заводских ворот; из-за него ощерились крыши телевизионными антеннами, афиши оповещали о приезде столичных гастролеров, строились стадион и плавательный бассейн. Перестань завод существовать — и всякая жизнь тут захирела бы, а затем и вовсе покинула скудные, не родящие хлеб земли.

Понятно, что директор завода был царем и богом пространств, над которыми растекались дымы заводских труб. В его владения входила прозрачная, быстрая, холоднющая речка со старицей, делившей город надвое, островки, заросшие дикой смородиной, пойменные луга, голубеющие незабудками, тайга, полная по опушкам грибов, а в крепях — рябчиков, забитые черемухой овраги и балки. Кому же, как не ему, принять и потешить суровыми сибирскими радостями знатного гостя!

И тут у Кунгурцева возник хитроумный замысел. Киношник придет из Иркутска электричкой, встречать его надо машиной. И для пикника с ночевкой у костра необходима машина. Выходит, шоферу его персональной машины придется работать в субботу и воскресенье. Он, конечно, даст ему отгул или оплатит сверхурочные, как тому будет угодно, но никогда еще не пользовался директор машиной для личных нужд. Правда, ему вроде бы партийное поручение дано, но все равно неловко. А Путя рад каждой возможности лишней раз покрутить баранку. Сколько лет водит,

три машины сменил, а жадность к рулю, как у начинающего. Коли живет в человеке извозчик, то, какой бы пост он ни занимал, настоящая радость — погонять своих залетистых. Зовя Путию на помощь, а не просто в гости, он чувствовал себя словно бы менее виноватым перед Липочкой. К тому же Путия нужен не только как водитель, но и как хороший сотрапезник, сам Кунгурцев молчуньей породы, да и в кино ни черта не смыслит.

Все эти соображения он изложил Марье Петровне. «Что ты крутишь, — усмехнулась она. — Хочешь увидеть Путию, ну и зови на здоровье». Но все-таки, позвонив Пути, который обрадовался до смерти и понес восторженную чушь, Кунгурцев заменил приглашение просьбой выручить. Путия сразу сник, решив, что зовут его одного на предмет обслуживания московских гостей. «Не беспокойся, старик, все будет сделано», — сказал он погасшим голосом. Тут Кунгурцев понял, что перемудрил в своей преданности Липочке, но, упорно придерживаясь окольных путей, сказал: «Учти, они приезжают в десять утра, их трое, — значит тебе придется сперва заскочить к нам, а потом налегке на станцию». — «Будет сделано! — счастливо вскричал Путия. — Закину своих дам — и к поезду. Жди нас в девять ноль-ноль. Обнимаю».

Нет, все-таки он неплохо придумал: избежал прямого приглашения Путиной жены, устранил неприятные акценты, не погрешил против Липочки и сразу включил Путию в свои заботы, что должно было поднять того морально: Кунгурцев был убежден, что Путия изнемогает под веригами больной совести.

Прибыл Путия, как всегда, вовремя, с женой, падчерицей и собакой, великолепным своим Ромкой. Кунгурцев и Ромка, давно не видевшиеся, обрадовались друг другу до слез. На Ромкиной сизо-голубой короткой шерсти с коричневыми пятнами лежал отсвет былых безмятежных времен. Липочка в нем души не чаяла, но Ромка, настоящий охотник, а не домашняя забалованная тварь, признавал одного хозяина. Он и пищу принимал только из его рук, и, чем бы ни был занят, всегда помнил о нем, подбегал и заглядывал в глаза, будто желая убедиться, так ли он себя ведет и нет ли каких распоряжений. Калечась на охоте, он лечился у Пути, лишь ему позволял осматривать ранки, выстригать лишнюю шерсть между подушечками лап, расчесывать шерсть, промывать глаза. Но при долгом отсутствии Пути он допускал заботы Липочки, только пищу не принимал от дикой тоски по хозяину, но воду пил, давал себя выгуливать и чистить щеткой, словно знал, что должен сохранять форму. И была у него милая привычка: нет-нет да и лизнуть Липочке руку как бы в знак признания ее права находиться при них с хозяином. Каждый такой нежный, горячий лизок заставлял колыхаться от счастья крупное Липочкино тело. Сама умевшая безоглядно любить, она была благодарна за каждый добрый жест в ее сторону, независимо от кого этот жест исходил, взрослого человека, ребенка или бессловесной твари.

Кунгурцев сразу понял, что у новой хозяйки и ее дочери кон-

такта с Ромкой не получилось. Вера Дмитриевна просто не замечала его, а девочка только нервировала собаку бесцельными демонстративными окриками. Олечка казалась много старше своих четырнадцати лет: высокая, смуглая, совсем сформировавшаяся и обещающая стать красавицей, она мало походила на мать, забрав, видимо, все лучшее у отца. В ее поведении неуверенность сплеталась с гонором. Когда кунгурцевские огольцы с воем любовной тоски накиннулись на Ромку, и внимания не обратив на прекрасную незнакомку, она пренебрежительно дернула плечом, вскинула голову, красиво натянув профиль, и громко, утверждая свою власть хозяйки, крикнула: «Ромка, на место!» — и пес с несвойственным ему рабым припаданием заполз под стол. Это окрик обратил братьев к гостю. И до чего же скоро старший и средний поняли, что главное чудо дня не их старый, брыластый, слюнявый золотоглазый шерстяной друг, а загадочная смуглая чужеземка, вдруг оказавшаяся дочерью дяди Леши. Только меньшой сохранил верность Ромке, но и тот в исходе дня на реке, когда лесной костер простреливал искрами тьму, предложил Олечке бежать на БАМ.

Парни Кунгурцева являли собой три ипостаси человеческой сути: в старшем, огромном, могучем и вроде бы чуточку ошалелом от избытка силищи вырвудубе, торжествовала плоть; средний — при всех потугах подражать старшему брату, что запутывало его в тщету физического соперничества, — становился самим собой, когда замирал над какой-нибудь машиной, чертежом или загадкой органической жизни, он принадлежал царству мысли; в одиннадцатилетнем Вениамине этой семьи цвела душа. Он редко позволял братьям заманивать себя в их бесовские игрища, всегда был сам по себе, паря в надзвездных пределах и внимая музыке сфер; его отношения с людьми, вещами и явлениями были исполнены недоступной другим тонкости и тайны, он мог быть пронзительно жалок своей невмещаемостью в привычные земные мерки, а мог и раздражать, мелочь пузатая, высокомерной отчужденностью и, как повелось с библейских времен, был любим отцом с мучительной нежностью и страхом. Но и эта пребывающая в нетях душа предала Липочку, бессильная противостоять колдовству женских чар.

Вера Дмитриевна была к псу не просто неприметлива. Порой он подбегал и, слыша на ней запах хозяина, с коротким фырком поддевал носом ее руку, но она никак не отзывалась. Кунгурцев решил, что пес хочет пить.

— Мы забыли миску, — рассеянно сказала Вера Дмитриевна.

— Да есть у него тут миска! — вскричал Кунгурцев, подчеркнув, что Ромка свой человек в доме.

Но Вера Дмитриевна не пошевелилась. Кунгурцев принес ему воды, тот понюхал миску издали, но пить не стал.

— Не любите собак? — спросил Кунгурцев Веру Дмитриевну с какой-то неприятной улыбкой.

— По правде говоря, не очень, — отозвалась она спокойно.

— И ваша дочь тоже?

— Я бы не сказала. Но ее испугала в раннем детстве большая собака. Она даже заикаться начала, и я водила ее к логопеду.

— Как можно не любить собак? Ведь собака — это лучшее из всего созданного человеком.

— Алеша тоже так считает. Мне это не кажется убедительным. Взяли прекрасного, естественного во всех повадках хищного зверя и превратили в подхалима, лъстеца и раба. Чему тут умиляться? Но человек так самовлюблен...

— Подхалима, лъстеца? — перебил Кунгурцев. — Посмотрели бы вы на сторожевых овчарок, какие это лъстецы!

— О чем вы говорите? — сказала женщина укоризненно и безразлично. — Это собаки концлагерей.

— Черт с ними! — покраснел Кунгурцев. — А охотничьи псы? Какой ум, какая преданность!..

— Преданность — опять же к выгоде человека. А ум? Просто чутье и натаскивание, так, какжется, это называется?

— А Ромка? — не слушал ее Кунгурцев. — Разве можно не любить Ромку, Ромулю, красавца, умницу?

Она пожала плечами:

— Прекрасный пес... У меня никогда не было собаки, ни в детстве, ни... потом. Наверное, надо привыкнуть их любить. — Это прозвучало примирительно.

«Ты не крутись, не крутись! — рычал про себя Кунгурцев. — Не по-сибирски это. Сказала, что не любишь собак, так уж стой на своем, не оправдывайся, не изворачивайся, не хитри!..»

— Может, вы вообще не любите животных?

Она опять пожала плечами, углы рта опустились.

— Жалко их...

— Я не о жалости говорю, — наседал Кунгурцев, чувствуя, что становится неприличен в своей настырности, но не в силах взять себя в руки.

— Да что ты пристал как банный лист? — разозлилась Марья Петровна. — Ну не любит! Успокоился? — И добавила со сложным выражением: — Она людей любит.

— Я не очень понимаю, что это значит, — тихо сказала Вера Дмитриевна. — Слишком уж отвлеченно.

— Поработали бы в больнице с мое, поняли бы!

— Возможно. Но я работала в канцелярии, и такого, как бы сказать... широкого чувства у меня не возникло. Люди разные, есть хорошие, есть плохие. Хотя что такое хороший человек? Для одних он хороший, а для других никуда не годится.

— Ну, так можно любое дело запутать, — сказал Кунгурцев.

Она явно имела в виду себя: вот, мол, для Путятина хороша, а для вас не очень-то. Разговор приобретал опасный оттенок.

— Ну, а если вместо «люди» мы скажем «народ» — тогда все станет ясно? — сказал он, довольный своей находчивостью.

— Несомненно! — Она чуть улыбнулась. — Но, кажется, это обязательно лишь для вождей и героев, а среднему человеку можно обойтись узким кругом. Я очень люблю тех, кого люблю, и могу только пожалеть, что их мало. Ведь любить так приятно.

«А Липочка всех любила!» — подумал Кунгурцев, не заметив почти открытой насмешки последних ее слов. Зато от Марьи Петровны это не укрылось, и она властно положила конец спору:

— Ладно! Каждому свое. Любим мы людей или не любим, а на стол накрывать надо.

— Я тебе помогу, — сказал Кунгурцев. — Да и Вера Дмитриевна не откажется.

— Пожалуйста, — отозвалась та вежливо, но без горячности.

— Хозяйничать не по вашей части? — осведомился Кунгурцев.

— По правде говоря, нет. — И сочла нужным пояснить: — У нас был тяжелый и безалаберный дом. Не знаю, говорил ли вам Алеша.

— Он нам ничего не говорил.

— Безбытно мы жили. Но это никому не интересно. Лучше скажите, что я должна делать.

«Должна»!.. Разве спрашивала об этом Липочка! Она засучивала рукава, повязывала фартук и начинала шуровать, аж дом трясся! Да ведь эта женщина впервые у них. Все равно, настоящая хозяйка пойдет на кухню, заглянет под каждую крышку, сунет нос в духовку, обследует холодильник и сразу поймет, что делать. Но Марья Петровна на кухню гостью не пустила, а поручила ей накрывать на стол:

— Скатерти, посуда и приборы в буфете.

Сами Кунгурцевы окунулись в непроглядь кухонного чада, где задыхалась тучная Анна Ивановна с вылезшими из орбит васильковыми глазами.

— Отдохните, мама, — попросил Кунгурцев.

— Не знаю, угодила ли, — жалобно сказала старуха. — У меня Липочкиного таланта нету.

— Тс-с! — прошипели зять и дочь.

Конечно, у нее не было Липочкиного таланта: одно перегорело, другое недожарилось, третье перепрело, но и у них его тоже не было. Они толкались, мешая друг другу, одновременно хватались за солонку или уксусницу, забыли нарезать хлеб, заправить салат майонезом, сунуть стручок красного перца в бутылку с разведенным медицинским спиртом. Всем скопом не могли управиться с тем, что легко, весело и незаметно делала одна Липочка.

Собачий лай и шум в прихожей возвестили о приезде гостей. Кунгурцев выступил им навстречу, но приезжие, дети и обезумевший вконец Ромка сплелись в какой-то невероятный клубок. Затем всю эту кутерьму загородила рослая фигура Пути.

— Боевое задание выполнено! — доложил он и, приметив за плечом Кунгурцева жену, хозяйничающую у стола, весело крикнул: — Уже запрягли тебя?

— Ничего ей не сделается, — проворчала Марья Петровна, продвигаясь в фарватере мужа.

— Так и надо! — ликовал Путя, счастливый, что жена вошла в быт Кунгурцевых.

Он рванулся к ней, очистив путь. И как-то сразу распался клубок у вешалки; ребята отпрянули к стенам, старший схватил Ромку за ошейник, притиснул к себе, а навстречу Кунгурцеву с высоко поднятой рукой и растопыренной для пожатия пятерней устремился великий киношник в сером клетчатом костюме, очень маленький, очень худой и очень старый. Он, конечно, и ведать не ведал о существовании Кунгурцева, пока бродяжья судьба не закинула его в этот забытый богом угол, но порыв его казался таким искренним, любовно-неудержимым, словно он чаял найти здесь свет истины и духовное исцеление. Пожатие его закиданной старческой гречкой костлявой лапки оказалось неожиданно сильным. «Оператор! — сообразил Кунгурцев. — Привык камеру таскать». И по-сибирски ответил на рукопожатие. Они сыграли вничью и остались довольные друг другом. Главный киношник был передан Марье Петровне, а Кунгурцев познакомился с толстым лысым администратором группы Бурыгой и миловидной ассистенткой Леночкой. Тонюсенькая, с великоватой головой, с виду совсем дитя, Леночка поспешила сообщить, что окончила киноинститут и могла бы претендовать на должность второго режиссера, но пошла ассистенткой, лишь бы поработать с таким мастером. «Так он режиссер!» — смекнул Кунгурцев.

Воспользовавшись тем легким замешательством, какое обычно предшествует началу пира, Кунгурцев отвел ассистентку Леночку в сторону и сказал заговорщицким полупешепотом:

— Вроде бы неудобно спрашивать... — И чуть замялся. — Но что поделаешь, наш уважаемый гость, он, извините...

— Не знаю, — быстро сказала Леночка и покраснела. — В таких вопросах я не ассистирую.

Она решила, что Кунгурцев хочет узнать, не нужно ли тому в отхожее место.

— Я не о том, — заверил еще более смущенный Кунгурцев. — Видите ли, я редко хожу в кино, телевизор вообще не смотрю и ужасно отстал. Какой последний фильм нам подарил...

— Господь с вами! — перебила Леночка почти возмущенно. — Ну конечно, африканская эпопея!

Кунгурцев покаянно хлопнул себя по лбу. На самом деле документальную кинематографию он вообще не знал, если исключить киножурналы, которые показывают перед сеансами. Но, конечно, старый зубр не занимается такими мелочами.

— А как вы к нему обращаетесь? — поинтересовался он.

— Шеф. Еще со времен института, я кончала у него. Но и вся студия так его зовет. Он же основоположник...

И тут позвали к столу.

Во главе стола посадили знатного гостя, по правую руку от

него Марью Петровну, а по левую Путю. Кунгурцев сел рядом с женой, чтобы свободно лицезреть Путю, возле него села Леночка, дальше — вся ребятня, а напротив — Бурьга, Вера Дмитриевна и теща. И вот когда наконец все разместились и Путя, перегибаясь через стол, простираясь в самые дальние концы, словно стрела подъемного крана, разлил по рюмкам и бокалам водку, вино, ягодный напиток, ощутил Кунгурцев набухшим сердцем, как не хватало ему Пути все последнее время, как соскучился он по его милой худобе, чуть сжатой в висках голове, теплым карим глазам, ухватистым, ловким рукам и мягкозвучному голосу.

Но день этот был не Путе посвящен, и первый тост подняли за приезжих. Умно усугубив сибирскую немногословность, уведя в глубокий подтекст те дары, коими обогатили отечественное киноискусство чувствуемые, тонко и загадочно выделив шефа, не назвав его священного имени, словно на нем лежало табу, Кунгурцев сообщил своему тосту какой-то таинственный блеск. Но и режиссер не ударил лицом в грязь, соединив в ответном тосте сибирские пространства с необъятностью сибирского гостеприимства, восславив Дом, Семью, Хозяина, чье имя он, несомненно, успел забыть. На этом с официальной частью было покончено.

Все навалились на еду, а Кунгурцев предался умиленному разглядыванию Пути. Как у него все ловко получалось: он не забывал о режиссере, шутил с Марьей Петровной, подкладывал соседу Бурьге, который рубал так, будто его только что вывезли из голодающей Эфиопии, успевал и сам выпивать и закусывать, заводил молодежь и не давал погаснуть общему разговору. Путя много знал и не пускал словесных пузырей. Он мог говорить о ловле хариуса и омуля, об охоте на сайгака и изюбра, о сибирских цветах и травах, зверях и птицах, об автомобилях и самолетах, о водных богатствах и недрах края, об изыскательских работах и стройках, о проблемах БАМа и новейших технических достижениях, о мировой науке и о декабристах в Сибири, что было его любимой темой. О том же, чего он не знал или знал плохо, Путя помалкивал. И охотно слушал, что говорят другие. Но главное — это был тот Путя, чей бок столько раз прижимался к боку Кунгурцева на студеных ночевках во время медвежьих или сайгачьих охот, с кем встречали зори и рассветы, с кем бедовали и тонули в походах и с кем не страшно будет встретить старость.

Но наслаждаться лицезрением друга Кунгурцеву никак не удавалось. Великий киношник требовал слишком много внимания, прежде всего тем, что ничего не требовал, от всего отказывался и умолял не замечать его. Прижимая худые руки к груди, он заклинал не наливать ему — не пьет, давление, ишемия, не подкладывать на тарелку — воробьиный желудок не вмещает пищи. Приходилось упрашивать, улещивать, чуть не в ногах валяться: «Попробуйте хоть омулька, особого копчения, с душиком!» Долго ломается, вопит: «Куда столько? Вы злодей?» — потом со вкусом съедает, неумеренно хвалит и взывает к администратору Бурьге,

который с набитым ртом кивает и пучит воловьи глаза. А ты принимаешься сызнова: «Грибочки собственного засола, вы обязаны попробовать!» Опять долгое сопротивление, затем энергичная работа худых челюстей: «Божественно!»... «А теперь пирожка с капустой, этот кусочек прямо на вас смотрит!» — ну как с маленьким. И главное — он все ел, да и пил, как вскоре выяснилось, не хуже людей. С ужасом отказавшись от домашней перцовки — в разведенный медицинский спирт брошен стручок крепкого болгарского перца, — он с видом пай-мальчика подливал себе вишневки безобидного красного цвета, но в том же серьезном градусе.

У Кунгурцева мелькнула недобрая мысль, что настойка уложит режиссера на лопатки и они поедут на реку своей компанией. Но этот худенький, или, как сказала бы теща, бескишечный, человек обладал завидной выносливостью. Он не пьянел, но все добрел, лучился и как-то странно увеличивался в объеме, поглощая все, что не было им. Маленький, хрупкий, со слабым сиповатым голосом, он подчинил себе застолье. Кажется, у Чехова встречается мысль, что на сцене короля играют окружающие, воздавая ему королевские почести. Администратор Бурьга, открываясь от насыщения, и Леночка, клевавшая, как птичка, тоже «играла» короля, причем у Леночки это шло вовсе не от ассистентского подобоострастия — от преклонения перед мастером, который к тому же был ее учителем. В свои игры они замешали сперва детей, а потом и взрослых участников застолья. И теперь уже короля «играла» все, и он, сам того не желая, возвысился и распространился. Кунгурцева как хозяина радовало, что гостю оказан почет, но ему стало не хватать Пути. Тот был неважным придворным и предпочел уйти в тень.

Устав от челюстной работы, администратор Бурьга шумно вздохнул и во всеуслышание объявил, что Байкал гибнет.

— Почему? — всплеснул худыми руками режиссер.

— Разрешили возить нефть баржами, а при заливке определенный процент неизбежно попадает в воду. А Байкал замкнутый водоем.

— Сколько я себя помню, — заметил Кунгурцев, — Байкал всегда погибал. Да ведь не погиб.

— Его спасли в кино, — со смехом сказал Путя. — Помните, чем кончается фильм «У озера»? Стаканчиком чистой, как слеза ребенка, байкальской воды.

— На целлюлозном комбинате и сейчас угощают такой водичкой, — заметила Леночка.

— Только приезжих, — сказала молчавшая до сих пор Вера Дмитриевна, — местных на туфту не возьмешь.

— Сколько я себя помню, — повторил Кунгурцев, которому не нравился этот разговор, — Байкал всегда погибал, а вон — даже омуль восстановился.

— Тоже мне омуль! — сказал Путя. — Настоящий омуль жиром плавится.

— Байкалу ничего не будет, — неожиданно отчетливым, ясным голосом произнес режиссер, словно читал по книге. — Всю нефть унесет Ангара. Заливка барж будет производиться ниже ее истока.

— А как же со сливом нефти, или там не происходит утечки? — вмешалась Марья Петровна.

Ей-то чего было встречать? Вопрос повис в воздухе. Режиссер прикрыл глаза, после каждого усилия жизни ему требовалось некоторое время на восстановление. Сам Кунгурцев не был в курсе проблемы, а всезнайка Путя сидел с пустым, отсутствующим лицом. И тут Кунгурцев понял, как трудно жил его друг последнее время. В мучительной раздвоенности, душевном смятении, в постоянной лжи, а ее не избежать, как бы чисто ни вести дело, ведь умолчание та же ложь, он терял себя, свой широкий, жадный интерес к жизни; видно, и не читал ничего и, разумеется, отстал, он-то, привыкший быть всегда на острие событий. Бедный, бедный Путя! Тяжело поворачивать дышло судьбы на старости лет. И Кунгурцеву захотелось сделать для Пути что-то хорошее, доброе, немедленно сделать. Он приподнялся и громко:

— Вера Дмитриевна, за ваше здоровье!

Она удивленно вскинула брови, слегка поклонилась ему и отпила немного вина. Кунгурцев хватил свою рюмку единым духом и со стуком поставил на стол.

Ловя маринованный масленок вилкой, Кунгурцев увидел Путино лицо, выражавшее не простую дружескую благодарность за внимание, оказанное его жене, а что-то весьма дрянное: какую-то рабью преданность. «Хочешь — залаю? Хочешь — к ногам подползу? Велишь — убью!» — такую вот низкую готовность прочел он на искаженном уродливой гримасой благодарности лице Пути. И было это — как смертный приговор Липочке. Лучше бы не вылезать ему со своим тостом. Тем более что Вера Дмитриевна не приняла его подачку. Безразлично ей, что ли, отношение Кунгурцевых или это какая-то душевная тупость, черствость или, что еще хуже, презрительная самоуверенность? Но Алешка!.. Продался со всеми потрохами за один любезный жест в сторону его жены. Не бывало такого между ними. Они все принимали друг от друга как должное, без благодарности, да и без обиды. Докатились, нечего сказать!..

Кунгурцев помрачнел, отключился от происходящего, забыл о своих обязанностях хозяина. Когда же вновь вплыл в действительность, то услышал, как захмелевшая Леночка втолковывала что-то через стол трезвой и невозмутимой Вере Дмитриевне:

— Он так много видел!.. Где только не бывал!.. Все величайшие события истории прошли перед ним. Он снимал первую мировую войну, Временное правительство, штурм Перекопа, приезд Дулгаса Фербенкса и Мэри Пикфорд в Москву. Он снимал убийство Распутина...

— А Голгофу он не снимал? — спросила Вера Дмитриевна.

«А она злая!» — подумал Кунгурцев.

— Нет. Это событие потом преувеличили. А он в это время снимал Тиберия на Капри, — без запинки ответила Леночка.

«Молодец, девочка! Хорошо отбрила!» — одобрил Кунгурцев.

— Он видел столько великого, что стал ценить лишь простую жизнь, — продолжала Леночка. — Он говорит, что настоящий втрой план есть только у повседневности.

«Ай да старик!» — восхитился Кунгурцев.

После изобильной закуски и грибных щей с пирогами от котлет все дружно отказались. Попили смородинового киселя с медовыми коржиками, и Путя пустил в потолок пробку от шампанского.

— Теперь я понял, что такое сибирское гостеприимство, — сказал режиссер, чокаясь с Кунгурцевым.

«Э, милый, побывал бы у нас раньше — ты бы действительно понял, что такое сибирское гостеприимство, узнал бы, каким сладким может быть каждый кусок, когда его напутствуют ласковым уместным словом! Натрескаться, как Буряга, можно в любой столовке, а настоящее застолье — тонкое искусство, которым мало кто владеет. Была у нас одна, что владела и заставляла всех плясать под свою веселую дудочку. Люди брюхо набивали, а за плечами у них крылышки отрастали, каждый вставал из-за стола обласканный, уважаемый, одобренный и даже тяжести от наших сытных блюд не чувствовал. И все были — как с одного корабля. А здесь всяк своему нраву служит. Один вон рыгает, прикрываясь для вида толстой рукой, другая тень на плетень наводит, третья вовсе отсутствует, главный гость дремлет, а хозяйка радуется, что котлеты остались и не надо на ужин горячего готовить, сам же хозяин растекся, как дерьмо в оттепель. Да, есть еще Друг дома, продавшийся со всеми потрохами за лживый тост. Ну да ладно, могло и еще хуже быть...»

Заметив, что он погрустнел, Марья Петровна улучила минуту и шепнула ему на ухо:

— Наш гость от тебя в восторге. Наконец, говорит, увидел настоящего сибиряка!

«Слабак я, а не сибиряк», — подумал Кунгурцев.

Сборы в лес были по преимуществу мужским делом, и тут особенно блистал Путя. Сказывался навык заядлого путешественника, охотника и рыбака. Но сегодня он превзошел самого себя. Все так и горело у него в руках. Женщины еще возились на кухне с судками, мисками и кастрюльками, а он уже упаковал и погрузил в машину одеяла, подушки, посуду, термосы с кофе, складные металлические стульца, полиэтиленовый мешок с костями для Ромки и «тысячу мелочей», необходимых для ночного лагеря в тайге.

Наконец все было собрано, и первая партия в составе водителя (он почему-то стал называть себя «драйвером» — от избытка восторга, что ли?), Веры Дмитриевны, московских гостей и Кун-

гурцева отправилась в путь. Им надлежало заехать сперва на пристань и взять из лодочного сарая палатку и надувную резиновую лодку. В последний миг из подъезда выметнулся с воем Ромка и зацарапал передними лапами в боковое стекло, умоляя взять его с собой. Сидевший впереди Кунгурцев открыл дверцу и взял его к себе на колени, трогательно худого и легкого. Пес дрожал и поскуливал, потрясенный невиданным предательством хозяина.

«Драйвер» Путя повез их почему-то дальним путем, мимо больницы, где работала Марья Петровна, нового кинотеатра и строящегося бассейна. Кунгурцев хотел было указать другу на его ошибку, но сообразил, что Путя нарочно избрал окольный маршрут, дабы показать москвичам кунгурцевские владения с самой выгодной стороны. Путя так ловко маневрировал, что несколько раз им открылись в очень выгодных ракурсах и здания заводских цехов, и заводууправление, и новая проходная.

Кунгурцева и умиляли и чуть раздражали наивные потуги друга поразить видавшего виды кинозубра зрелищем завода средней руки. И тут режиссер обнаружил, что и впрямь обладает незаурядной наблюдательностью и профессиональным опытом. Своими старыми, захмелевшими, слезящимися глазками он уловил в глубине заводского пейзажа почерневшее одноэтажное здание бывшей заводской конторы, где до революции производился расчет с рабочими. Это зданье было сознательно оставлено на территории завода при всех перестройках как своего рода памятник. У Пути было любимое словечко «усечь», каким он обозначал высшую степень сметливости, сообразительности. Старый режиссер сразу все «усек» про контору:

— Молодцы, что сохранили эту развалюху, пусть люди видят, с чего началось. — И стал засыпать Кунгурцева короткими, четкими вопросами, и все о нужном, важном.

Директор отвечал с охотой, хотя и в обычной своей неторопливой манере. Внезапно режиссер замолк.

— Больше вопросов нет? — с улыбкой спросил Кунгурцев.

Старый человек не ответил, он спал, мгновенно скошенный усталостью и выпитым за обедом.

Он проснулся на пристани — так пышно именовали дощатый причал владельца местного флота: моторного, весельного, парусного. Открыл глаза, охватившие в мути и расплыве незавершенного пробуждения нутро машины, а снаружи лодочные сараи, широкую быструю речку, тайгу на другом берегу и небо всюду, где не земля, и обрадовался своему возвращению в этот прекрасный мир.

— Кажется, я вздремнул?.. Ваш учитель, Леночка, явно стареет.

Из сарая появились Кунгурцев и Путятин, волоча по здоровенному оранжевому мешку. В одном находилась палатка, в другом лодка. Казалось, никакая кладь не влезет в перегруженную машину, но уверенный и бодрый Путятин, сочетая богатырскую

размашистость движений с точным глазомером, что-то переложил, что-то сдавил, умял, машина вроде бы раздалась, а пассажиры на заднем сиденье слепились в плотный ком, и два громадных мешка нашли свое место.

Путятин дал задний ход, чуть не въехав в реку, развернулся, на первой скорости одолел крутой подъем и по грохочущему деревянному мосту перемахнул на другую сторону. Он погнал машину извилистой лесной дорогой, по узловатым корням сосен и елей, стреляя шишками из-под колес, затем круто забрал к реке и ухнул в зеленую глубокую траву пойменной луговины. Машина прошла будто зеленым тоннелем и стала у самой воды.

Быстро разгрузив машину, Кунгурцев и Путятин надули резиновую лодку, после чего «драйвер» умчался за оставшимися — Марьей Петровной и ребятей.

Режиссера усадили на складной металлический стул, а Кунгурцев сволок резиновую лодку в воду и стал грузить в нее тюки и корзины. Режиссер подумал о том, что скромный пикник на берегу таежной реки по своей фундаментальности и громоздкости стоит хорошей киноэкспедиции. Но киношникам, чтобы разбить лагерь, понадобилось бы неизмеримо больше людей и времени. Здесь же Кунгурцев принял помощь лишь толстого Бурыги, а Леночку отослал собирать незабудки. Вера Дмитриевна ушла в глубь берега, где колыхались розовые копыя рослого кипрея. Ромка как оглашенный носился по берегу, забежал по брюхо в воду, вспугивая с лозин желтеньких камышевок. Режиссер прикрыл глаза в тихом умиротворении, но, как нередко бывало, память подсунула то, что никак не вязалось с окружающим. Залитая кровью арена, истыканные бандерильями лопатки и спина огромного быка, подушки, о которые спотыкался потный и бледный матадор с кровавой раной в паху. Это было в Толедо, когда проколотый рогом Домингин никак не мог поразить своего последнего быка. Режиссер открыл глаза. Он видел слишком много крови в своей жизни, и не только на войне. Кровь проливалась всюду, где люди стремились сделать что-то из ряда вод выходящее, будь то строительство гидростанций, бой быков, штурм Эвереста или финиш марафонской дистанции на Олимпийских играх, когда победитель рухнул с горловым кровотечением. Из режиссера тоже выпустили при разных обстоятельствах немало крови. Он возненавидел ее цвет, запах и солоноватый вкус. Резиновая лодка, в которую уселись Кунгурцев и Бурыга, была изнутри тоже цвета крови. Режиссер отвернулся. Приятен был вид густо-зеленой осокватой травы, мелькающего в ней пестрого тела Ромки, розового кипрея, окаймлявшего луговину, и белой женской кофточки. Но прошло немного времени, и ему пришлось опуститься на дно ярко-красной изнутри лодки, будто в лужу крови. Это было омерзительно до содрогания, но он ничем не выдал себя.

Сильное течение подхватило лодку и понесло. Кунгурцев налег на слабенькие алюминиевые весельца и направил лодку к проти-

вположному берегу. Рубашка его расстегнулась, обнажив волосатую загорелую грудь в полосках пота от шеи к седой поросли. Крепкий брюшной пресс ходуном ходил. Маленький режиссер, скорчившийся на дне лодки, следил за гребцом с удовольствием, отдающим легкой печалью. Что может быть лучше молодости и здоровья? Пятидесятилетний Кунгурцев казался ему мальчиком. «А сколько мне лет?» — подумал режиссер и не мог вспомнить. Давно уже это ему не удавалось. А что, если он был всегда? И всегда будет? Как редчайшее исключение природа дарует своим любимцам жизнь вечную. Он знал несколько знаменитых людей, твердо решивших никогда не умирать. Почему бы и ему не стать одним из них? Для этого требуется, коли ты избранник, немного — избегать очевидных глупостей. Вот Тициан уже ступил в бессмертие, да не уберется от чумы — сам виноват. А он видел одного пастуха в Мингрелии, который живет несколько столетий и давно перестал вести счет годам. Но ему самому вроде бы рано забывать свой возраст. «Какой склероз!» — восхитился режиссер. У него не было страха перед склерозом, ибо знал: на съемочной площадке и в монтажной он будет делать свое дело так, будто у него сосуды двадцатилетнего. Склероз минует профессиональные навыки человека, а бытовая чудаковатость даже украшает стариков. Но соглашаться надо только на бессмертие, долгожительство — чепуха. Вот считается, что далеко дней его начало, а он помнит, как мать намыливала его в детской цинковой ванне и он хлопал себя по скользкому тугому животику, словно это было вчера. Все конечное быстротечно, как вспышка молнии, одно лишь бессмертие протяженно.

Что-то ткнулось в руку режиссера, которой он держался за округлый борт лодки. Это был Ромка, плывший за ними с высоко вскинутой над водой шоколадной мордой. Но, достигнув стрежня, пес сообразил, что хозяин остался на том берегу, и повернул назад.

Уже вблизи другого берега им пересекла путь длинная лодка, выплывшая из-за поросшего черемухой островка. В лодке сидели старик со старухой. Они плыли по течению, и старик лишь чуть шевелил кормовым веслом. Дно лодки было заставлено плетеными корзинами, доверху полными дикой смородины — красной и черной. Поравнявшись с резиновым пузырем надувной лодки, старик приподнял картуз над белой лысиной, а старушка приветливо улыбнулась.

— Вечер добрый, — сказал Кунгурцев. — С удачей вас. По островам собирали?

— По островам, — подтвердил старик, и лодка скользнула мимо.

Кунгурцев помог режиссеру вскарабкаться по круче высокого берега. Здесь за старыми соснами, утопившими в реке струистые отражения своих крон, оказалась круглая полянка, местами ярко-зеленая, местами побуревшая в утомлении долгого жаркого лета.

На буром горели киноварью слившиеся в большие лепешки лиственничные маслята. А стоило чуть напрячь зрение — и между корнями сосен по краю леса виднелись проклюнувшие землю и хвойный настил головки других маслят, опалово-бледных и склизких. Кунгурцев предложил Леночке и Бурьге набрать грибов, а режиссеру снова устроил трон в тени, отбрасываемой соновой лапой.

Режиссер послушно сел на складной стул, как бы провалившись в самого себя. Ему нравилось беспрекословно подчиняться чужой и разумной воле. Кажется, никогда в жизни не чувствовал он себя так хорошо, спокойно и защищенно, как в этот день, когда незнакомые люди взялись его опекать. Напротив на обгорелый пенёк опустилась пестрая кедровка и принялась доверчиво и заинтересованно разглядывать пестрого человека своими круглыми охрыными глазками. И режиссер стал рассматривать кедровку своими выцветшими, но не утратившими зоркости глазами. Они приглянулись друг другу — птица и человек. И жаль было, что кедровку испугнул невидимый враг.

Кунгурцев распаковал тюки, разостлал по земле надувной пол палатки и убедился, что ножной насос, давно уже барахливший, совсем отказал. Придется надувать ртом. Но это можно сделать только вдвоем, дую с двух концов, — одному сроду не справиться. Грибник Бурьга исчез в зарослях, старик режиссер — без пользы, даже если испустит дух в этот матрас: придется ждать Путию. И, вспомнив о Путе, Кунгурцев с ужасом обнаружил, что забыл на том берегу его жену.

Господи, да как же это могло случиться? Когда он перевозил режиссера и Леночку, Вера Дмитриевна обрывала кисти рослого иван-чая. Он зацепил рассеянным, словно невидящим взглядом ее светлую кофточку, но то ли как-то не связал, то ли... Значит, верно, что человек должен отвечать за все, что щедро приписывают случаю: внезапную забывчивость, двусмысленность обмолвки, неловкие жесты, причиняющие кому-то боль, — это все знаки творщейся внутри нас подспудной жизни, более искренней и подлинной, чем наше внешнее сознательное поведение. Он смекнул произнести фальшивую здравицу в честь Путиной жены, но он же забыл взять ее в лодку. Он не оставил на берегу ни безликого Бурьгу, никакой малости из поклажи, но забыл жену своего друга, притворившись перед самим собой, что не узнает ее светлой кофточки среди розовых цветков!..

Хорош!.. Что он скажет Путе? Но этого придумать он не успел, потому что Путя сам предстал перед ним в плавках и резиновых сапогах, совсем сухой, только головки сапог блестят от воды.

— Ты что, как святой Иорген прошел по воде? — спросил Кунгурцев, балдея от собственного нахальства.

— Рыбаки перевезли. А ты вроде забыл о нас? — сказал Путя напряженным голосом.

— Кто знал, что вы такие быстрые! — Кунгурцев поймал ариаднину нить и уверенно двинулся вперед. — Цветочницу свою нашел?

— Какую цветочницу? — Голос все еще был напряженным.

— Жену, кого же еще? Так кипреем увлеклась, что забыла обо всем на свете.

— А-а!.. — сказал Путя с облегчением, как человек, готовый принять любую ложь, если в ней будет хоть видимость правдоподобия. — Собрала огромный букет, да он сразу обвял. Ладно, сейчас я их всех перевезу.

— А потом купаться? — радостно сказал Кунгурцев.

— Как положено!..

...Кедровка, так внезапно покинувшая обгорелый пень, успела зачаровать старого человека. Несомненно, ее охряные блестящие круглые глазки излучали колдовскую силу, раз после ее исчезновения начались странности. Сперва появился голый человек в сапогах, толкнув мысль режиссера к резервации сиуксов, жалких остатков некогда могучего, гордого племени, ныне безропотно вымирающего, он снимал их когда-то и курил трубку со старым, больным, полупьяным вождем; затем сиукс исчез, но возникли современного обличья мужчина и женщина и стали сыпать на землю возле него грибы. Вскоре выросла целая гора, и он испугался, что гора эта непременно рухнет и погребет его под собой. Вот и пришла та глупая случайность, которая перечеркивает избранничество. Тициана сгубила чума, Коненкова — сквозняк, а его — грибная гора. И тут она действительно рухнула, не причинив ему даже малого вреда. И сразу он увидел множество людей, среди них были совсем юные, исполнявшие какой-то дикий, видимо ритуальный, танец вокруг девочки с длинными смуглыми ногами. Потом вернувшийся сиукс вместе с тучным гринго легли на живот и стали с двух концов надувать огромную плоскую шкуру. Шкура вспучивалась, дышала, росла, набухала опасностью, но режиссер вдруг перестал бояться. Нечто подобное уже не раз бывало с ним: лесная чаща и зверь, изготовившийся к прыжку, и чей-то глаз, берущий на мушку его висок, и целящийся из лука, и чья-то рука, занесшая топор. Но настоящее так быстро превращалось в прошлое, что стоит перетерпеть всего лишь мгновение — и ты спасен, ибо пуля, стрела, взблеснувший топор и отверстая пасть уже оказываются в прошлом.

Поэтому он не двинулся, не изменил позы, лишь смежил утомленные веки, а когда вновь открыл их, вместо раздувающегося зверя стоял ладный оранжевый домик, а в руку ему тыкалось что-то теплое и аппетитно пахнущее.

Отхлынула муть экзотических видений, продолжалась неспешная, безопасная, основательная сибирская жизнь. Он взял в руку котлету, а в другую — синюю, с золотым ободком рюмку. Сиукс, обратившийся в симпатягу Путя, стал наливать из бутылки, в которой плавал красный стручок перца.

— Путя, — укоризненно сказал гринго Кунгурцев, — ведь есть же вишневая.

— Нет-нет, я хочу как вы! — воскликнул режиссер, с неожиданным проворством сбросил себя со стула и, собравшись в коротком полете, предстал стройным, элегантным сухощавым джентльменом. — За тайгу! — сказал режиссер и опрокинул рюмку в рот.

Кунгурцев последовал его примеру и позорно поперхнулся. Он думал, что пьет ту же перцовку, что и за обедом, но Путя то ли по ошибке, то ли из ненужного удалства сунул стручок перца в неразбавленный девяностоградусный спирт.

— Прелесть! — сказал режиссер. — Прямо дух захватывает. И крепко и вкусно. Я не откажусь еще от рюмочки.

Они повторили, и режиссер с довольным видом опустил на стул и стал жевать котлету.

— С ума сошел? — зашипел Кунгурцев на Путя, отведя его в сторону. — Он же загнуться может.

— Ты ни черта не понимаешь. Это железный старик. Он нас всех переживет. А спиртику я на послекупанье приготовил. Купнемся?

— А как же! — счастливым голосом сказал Кунгурцев.

Для него не было большего удовольствия, чем искупаться в ледяной воде горной речки. Но, кроме Пути, никто не соглашался составить ему компанию.

Путя побежал за полотенцами, а Кунгурцев, весь как-то помолодев, хотел пригласить на реку случившегося неподалеку Бурыгу, но осекся, увидев его остекленевший взгляд и могучую работу челюстей, уничтожавших засунутую в батон котлету. Другую котлету и полбатона Бурыга держал в руке.

— У старых киношников, — раздался нежный голос Леночки, — есть негласное правило: ничего не оставлять врагу. Это означает уничтожить даровые харчи без остатка.

Кунгурцев усмехнулся чуть натянуто. Его коробило от такого рода остроумия. Зеленые глаза Леночки блестели. Стоило ей чуть выпить — и вместо восторженной прозелитки десятой музы пробуждался другой человек: наблюдательный, насмешливый, со злинкой. И очень легко было представить, какой она станет, когда осыплется с ее острых черт пыльца юности и придет тяжелая зрелость со всеми неизбежными разочарованиями. «Дай бог тебе хорошего мужа, дочка», — от души пожелал ей Кунгурцев, но, разумеется, не вслух...

...— Если ваш муж был так плох, что же вы раньше не ушли от него? — спросила Марья Петровна.

— А вы много видели женщин, которые уходили бы от мужей ни к кому и никуда? — ответила Вера Дмитриевна. — К тому же с ребенком и с такой жалкой профессией, как у меня, — секретарь-машинистка.

— Знаете, милая, это все-таки странно...

— Ничего странного, уверяю вас.

...Вода в этой быстрой речке не прогрелась за день, и войти в нее легче на ранне, когда воздух пронзительно свеж, а траву вяжет утренником, нежели в теплый, обласканный солнцем подвечер. Студь мозжит пальцы ног, подкатывает к сердцу, сжимая его, и вот-вот задушит. Кунгурцев и Путятин, оба голые, стоят на мелководье, обхватив себя накрест руками, и трясутся, диковато и ненавистно поглядывая друг на друга, ибо соглядатай — это помяха к отступлению, к бегству, и вдруг, не сговариваясь, но всегда одновременно, ныряют с головой.

Обожженные холодом, они почти теряют сознание и выныривают закоченевшие, но счастливые, визжащие, хохочущие. Сердце уже боролось за себя, мощно разгоняя кровь по жилам, с каждой секундой прибавлялась бодрость, переходя в жеребчий восторг. Два немолодых и солидных человека ведут себя, как деревенские мальчишки! «Ухожу под воду!» — торжественно объявляет один и, сверкнув белым задом, ныряет на дно. И знает, что другой уже повторил его подвиг, не потеряв и мгновения. Вода чиста и прозрачна, не надо закрывать глаза. Они видят желтый песок, и галечник, и пузырьки бьющих со дна ключиков, косые стайки мальков, изредка зеркально взблеснет крупная рыба; в нежно-зеленоватой притеми они различают то бронзовые, то синеватые — по освещению — тела друг друга и вступают в мучительную борьбу, кто дольше продержится под водой. Обмирает сердце, сейчас лопнут остекленевшие сосуды, но, проклиная упорство друг друга, они держатся, пока вода сама не выталкивает их на поверхность. И выныривают неизменно в один и тот же миг. Кажется, этого опыта достаточно, чтобы отбить охоту к подобным состязаниям, но, чуть отдышавшись, они начинают нырять на дальность. И занимаются этим до спазмов, до судорог. Но вдруг один будто отключился и с сосредоточенным видом что-то ищет под берегом. Тотчас же другой принимается исследовать изножье тальника на островке-кочке. Результат этих напряженных поисков — какая-нибудь осклизлая коряга или полусгнившая деревянная уключина. Найденный предмет швыряется на середину реки, и за ним с паническими воплями устремляется Ромка. С самого начала речной феерии томится он на берегу, тихонько поскуливая, ему строжайше запрещено лезть в воду, пока боги наслаждаются купанием. Теперь наступает его звездный час. И любимый хозяин и любимый друг хозяина поочередно швыряют ему палки, коряги, сучья, корни, силясь забросить как можно дальше и вместе с тем приметно для Ромки. Верному псу невдомек, что они снова соперничают, и он служит каждому с равным усердием.

Впервые за годы совместных поездок на реку Кунгурцеву показалось, что Путя получил какой-то перевес над ним. Здоровьем они не уступали друг другу, Кунгурцев был чуть подюжее, Путя чуть половчее, и, в общем, у них все получалось так на так. Но сегодня Путя и проныривал дальше, и палок ему больше под ру-

ку попадалось, и кидал он их удачнее. Подъемная сила приставных крыл помогала Путе, жаль только, что крылышки эти оплавятся раньше, чем он достигнет солнца. И когда, не вытираясь, в мокрых трусиках — это тоже входило в ритуал, — лишь глотнув обжигающего спирта, они двинулись к стойбищу, Кунгурцев сказал то, что накипело на сердце:

— Что же все-таки будет с Липочкой, Алеша?

— Не надо, — сказал Пути и весь сморщился, как обезьяний детеныш. — Не надо... Липочка — это моя боль.

И Кунгурцев замолчал, обезоруженный жалкими словами...

На реке было светло, лишь огнистый язык из-за леса облизывал с исподу белые облака, медленно плывущие по голубому легкому небу. Но наверху, на поляне, тени по-вечернему сгустились, засмуглела трава, потемнела хвоя. Далеко-далеко, в глубине тайги, багровел грозный августовский закат, не даря ни отсверка сумеречной чаще.

Женщины чистили грибы, снимая ногтями, как чулок, склизкую кожу со шляпок сосновых маслят, а сухую кожуцу листовенничных маслят соскребывая ножом. Очищенные грибы они кидали в десятилитровую кастрюлю. А рыжики и обабки откладывали в сторону, имея на них какие-то особые виды.

— Дайте мне, милая, вон то ведро, — попросила Марья Петровна.

— Вы все время называете меня «милая». Я вам действительно так мила? — спросила Вера Дмитриевна...

...С Кунгурцевым творилось что-то неладное. Холодная, свежая вода, яростные мужские игры, возня с Ромкой, голое молодечество обернулись вместо ожидаемой радости тихой, щемящей тоской. Что было тому виной — несостоявшийся ли разговор с Путеем на реке или какие-то более тонкие потери, которые он и сам еще не постиг, сказать трудно, но если во время купания ему почудилось, что все еще может наладиться, что главное сохранилось, то сейчас верх брало другое: ничего не налаживается, ничего не сохранилось.

Его тоску усугубляло бездарное поведение Пути. Тот наверняка чувствовал, что другу не по себе, но, вместо того чтобы как-то приладиться к нему душой, принялся грубо богатырствовать, теперь уже вокруг костра. Он то и дело нырял в чашу и возвращался с чудовищными охапками хвороста. Ветви царапали его голую кожу, но он ничего не замечал, весь во власти своего тупого ликования. Он притаскивал громадные сучья и обрубал ветви небольшим острым топориком, аж звон по тайге шел. Здорово у него получалось, и если он хотел привлечь внимание жены своими подвигами, то вполне преуспел в этом. Она отложила нож, сняла фартук из газет и подошла к Путе. И Кунгурцев понял, что вся его тоска, весь душевный неуют идут от этой небольшой тихой женщины с усталыми глазами и грустным ртом, которая держится так неприметно, но мешает всему.

Кунгурцев отвернулся и стал складывать костер.

Подошла Марья Петровна:

— С ума не сходи; оденься.

— А Путя? — Это прозвучало совсем по-детски.

— Ну, Путя в таком разогреве... Он сейчас может без штанов хоть на Северный полюс.

— Это верно, — упавшим голосом сказал Кунгурцев.

— Ты что смутный такой? — Марья Петровна внимательно посмотрела на мужа. — Завидуешь ему, что ли?

— Чему завидовать-то?

— А как же? Молодожен. А ты при старом барахле остался.

— Я с ним не меняюсь.

— Еще чего не хватало! А все-таки завидно. Ладно, работай, запозднились мы с костром. А вещи твои я сейчас принесу.

Подобная заботливость была не в привычках Марьи Петровны, это и тронуло и насторожило Кунгурцева. Видать, жалок он ей показался. И что это за шуточки насчет его зависти к Путе? Неужели она не понимает, не чувствует, насколько чужда ему эта женщина?

Перед тем как окончательно исчезнуть, догорающее в глубине тайги солнце залило пространство таинственным, странным светом. Деревья цвета старой нечищенной бронзы упирали вершины в позлащенную бронзу неба. В бронзовом воздухе бронзовели лица людей и складки одежд. А затем будто щелкнул выключатель. Кромешная тьма длилась какие-то мгновения — низкая, едва ставшая над землей луна пустила сквозь тайгу свой бледный свет, он простерся по туману, до этого незримо, и поляна окуталась серебристым дымом. В этой драгоценной реющей мороси то и дело возникало долгое струящееся тело девочки в белом платье и сразу растворялось, истаивало. И темные пятна, числом три, проступали в тумане и, не обретя отчетливости, исчезали.

Дочь и мать придерживались разной тактики. Взрослая женщина работала на отчуждение, маленькая женщина расколола вражеский стан, обратив в рабство трех олухов царя небесного. Неуклюжие, нерасторопные и одержимые, пытались они поймать беспомощно растопыренными руками белый призрак, лунный блеск на тумане. Кунгурцев от души пожалел своих губошлепов, в которых, несмотря на разницу в возрасте, одновременно проснулось сердце.

А костер между тем не желал разгораться. Он чадил, смердил, постреливал, но пламя не подымалось столбом, а изнемогало в сыром топливе.

— Я думал, таежный костер — это что-то величественное, — влажным, насморочным голосом сказал режиссер, подвигаясь к вялому огнищу, — готический собор из пламени.

— За костром надо ухаживать, — немного смущенно отозвался Кунгурцев.

— Как за женщиной?

— Как за самой строптивой женщиной.

Мягкий укор режиссера заставил Кунгурцева встряхнуться. Он перебрал костер: что посуше — вниз, что посырее — вверх, самые толстые и влажные поленья отбросил в сторону, они пойдут в дело, когда костер разгорится и затрубит. Странное дело: дождей почти не было, лето и вообще выдалось засушливое, а хворост сыроват от обильных рос. Он напихал в костер сухого мха, старых газет и, став на четвереньки, уподобился кузнечному горну. Нехотя, лениво, грозя вот-вот погаснуть, костер все же начал разгораться, наконец занялся весь и взметнул к небу столб пламени, откуда вырвались искры березовых шелушинок и полетели выше деревьев, тщась стать звездами. Кунгурцев подложил дровишек.

— Хороший костер, — нежно сказал режиссер, — как на Кубе. О, Куба!..

Но Кунгурцев не был доволен. Горели хорошо тонкие сухие ветки, но он видел, как немощно облизывает пламя толстые поленья. Дерево дымит, чернеет, обугливается, наконец костру удалется посадить на ребро полена багровую бабочку. Она ползет к комлю, трепыхая крылышками, переползает на кору, закручивая на ней пепельные барашки, и как-то незаметно исчезает. И опять долго-долго трудится костер, чтобы посадить новую огнистую бабочку на полешко, и опять столь же короток ее век. Чтобы костер жил, нужно хорошее сухое топливо. Хватит Путье богатырствовать по-пустому, волоча сюда перегнивший в земле бурелом и сырые лежины из оврагов.

Путья с великой охотой взялся за настоящее дело. Вера Дмитриевна вызвалась ему помогать. Кунгурцев забрал ведра и отправился на реку за водой. Надо было чаю вскипятить и отварить грибы, чтобы не зачервивели к завтрашнему утру. Когда он вернулся, костер гудел, а на краю широкого багряного круга высилась гора суховершника, и Путья, все еще голый, багровый от пламени и влажный от пота, поигрывая топориком, сказал, озабоченно кривя рот:

— Как хочешь, Павел Леонтьевич, а придется одну березку свалить. Костру это сухотье — как семечки, на ночь никаких запасов не хватит.

— Да кто же позволит живое дерево валить? — испуганно отозвался Кунгурцев.

— Ты, Паша, царь и бог этих благословенных мест.

— Не льсти. Пустое.

— А ты не ханжи. Посмотри, сколько свежих пней. Лучше взгрей лесника как следует, он за водку всю тайгу сведет.

Кунгурцев чувствовал, что Путье ужасно хочется повалить большое дерево, и не только ради костра. В другое время он ни за что не позволил бы, хотя заводские бесчинствовали в лесу как хотели, но сейчас ему показалось мелким отказать Путье.

— Черт с тобой. Только выбери стойное.

— Еще чего! — сразу обнаглел Путья и вышагнул из света костра.

Вера Дмитриевна последовала за ним.

Вскоре послышался стук топора, потом шорох и треск падающего дерева. Шум грозно нарастал, приближался; казалось, дерево рухнет прямо сюда, на костер и сидящих вокруг людей. Но нет, оно упало где-то там, в глубине тьмы, и только ветер, рожденный его падением, пригнул пламя. И в эти мгновения еще плотнее стала тьма, обьявшая поляну и лес. И непонятно было, как могли дети носиться среди кустов и деревьев и не переломать себе рук и ног, не выколоть глаз. Можно подумать, что они, как летучие мыши, снабжены особыми локаторами. И все-таки жуть брала, когда, мелькнув в красном свете костра, они вламывались во тьму чащи. И каким-то образом в этой сумасшедшей беготне младший Кунгурцев успел предложить Олечке побег на БАМ, а та наслетничать матери.

В свою очередь Вера Дмитриевна рассказала об этом Кунгурцеву, когда вместе с Путей приволокла срубленную березку. Конечно, Путя взял не сухоподстой, а свежее, хоть и старое дерево. Он принялся обрубать сучья с тем залихватским размахом, которым отличались все его действия в этот день. Вера Дмитриевна увела Путя в *свое* время, которое не было временем Кунгурцева, временем Липочки и самого прежнего Пути. Теперь он стал моложе их всех на целое поколение, и в этом был еще один грех Веры Дмитриевны.

За весь день Вера Дмитриевна впервые сама обратилась к Кунгурцеву, и это можно было принять за попытку сближения. Но он оказался душевно неподготовленным и вяло полюбопытствовал, что же ответила Олечка «его дураку». В «дураке» проглянуло раздражение, то ли не уловленное Верой Дмитриевной, то ли оставленное без внимания. Олечка сказала, что уже дала слово его старшему брату. И опять Кунгурцева не хватило на какое-либо изящное движение, легкую фразу.

— Опасная у вас семейка... — начал он, но, спохватившись, переметнулся к теме «нового поколения», сам устыдился нудного, неуместного морализирования и замолчал.

...Попили чаю из громадного алюминиевого чайника, и Марья Петровна, напрягшись, как перед трудной операцией, всем своим сильным характером, загнала разбушевавшихся ребят в палатку. Туда же отправилась Леночка, а еще раньше — клевавший носом Бурьга. Режиссер, узнав, что Кунгурцев ночует у костра, решил составить ему компанию, и переубедить его не было никакой возможности.

— Здесь теплее, чем в палатке, — говорил он, — а под утро мы раскидаем жар по земле, застелим плащ-палаткой и отлично поспим часок-другой. Мне этого, во всяком случае, хватит. Старый человек не должен много спать.

— А вам приходилось спать на кострище? — удивился Кунгурцев.

— Да... Много раз. А впервые в Рын-песках, там были очень холодные ночи.

Кунгурцев надеялся, что Вера Дмитриевна тоже ляжет в палатке, а Путя присоединится к ним, но этого не случилось. Натаскав целую гору хвороста и сложив поленницу дров, чтобы хватило на всю ночь, Путя наконец-то оделся и вместе с женой отбыл на другой берег спать в машине. За ними увязался Ромка.

Огромное одиночество объяло Кунгурцева. Он пытался думать о том, что настанет завтрашний день, и будет восход солнца, и жемчужная, дымчатая роса, и утреннее купание с Путей, и чарка обжигающего спирта, будут жаренные с луком маслята и отварные рыжики с уксусом, будут долгие сладостные часы безделья и безумные игры детей, и столько перевидавший в жизни, старый, непохожий на других человек, которого он уже начал любить, но почему-то все эти мысли не приносили утешения, а тем паче радости. Чувство утраты не притуплялось, оно прочно втеснилось в сердце.

Странное безголовое существо с выщербленной спиной и крупом выскочило из лесу и, попав в свет костра, обрело телесную цельность, став мокрым, тихо скулящим и подвывающим Ромкой, — его серебристая шерсть на боках, брюхе и лапах будто фосфоресцировала, а шоколадные пятна сливались с темнотой ночи.

— Ромка! — тихо позвал Кунгурцев.

Пес припал к земле и униженно, что совсем не отвечало его всегдашнему достоинству, подполз к Кунгурцеву и стал лизать ему руку теплым языком.

— Прогнали тебя? — догадался Кунгурцев. — Ах ты бедная моя собака...

Разве могло такое случиться раньше? Путя нередко спал в машине с Липочкой, но с ними всегда делил ложе Ромка. Они рассказывали со смехом, как наваливался на них тяжелеющий в сне пес. Путя называл такие ночевки «Морфей в аду». Но, конечно, новой мадам Путятиной вовсе не хочется, чтобы с ними в машине находился мокрый, пахнущий псиной Ромка. «И потом, они же молодожены», — невесело ухмыльнулся Кунгурцев.

Ромка трясся от холода и обиды. Он не замечал, что шкура его, обращенная к огню, дымится и потрескивает от искр. Кунгурцев накрыл его полой плаща, прижал к себе костлявое дрожащее тело.

— Ничего, Рома, ничего, мальчик, мы и без них обойдемся Спи, милый, и пусть тебе приснится заяц.

— Этот драйвер... ваш друг... — донесся словно из бесконечной дали слабый голос режиссера. — Отчего он такой счастливый... и такой несчастный?

Кунгурцев помолчал, не зная, должен ли отвечать на этот вопрос. Но сибирское уважение к старости взяло верх.

— Наверное, оттого, что нельзя строить свое счастье на несчастье других.

— Ну что вы! — Голос звучал так же далеко и очень спокой

но. — Мы все только этим и занимаемся. Такого счастья, которое творилось бы не в ущерб другому, просто не существует. Когда вы обнимаете одну женщину, другая, иногда неведомая вам, плачет в подушку. Это же так очевидно... — сказал он почти извиняющимся тоном.

Кунгурцев молчал, и режиссеру вдруг расхотелось в чем-то убеждать его. Почему-то опять вспомнился Домингин и закиданная подушками, испачканная кровью арена.

— Слушайте, — сказал он, — вы не задумывались над тем, почему страшные раны матадоров, а рог попадает чаще всего в пах, никогда не приводят к потере мужской силы?

— По правде говоря, нет, — отозвался Кунгурцев.

«Ну и ладно, — подумал режиссер, — с матадорами вообще все в порядке». И с ним самим вроде бы все в порядке. Он будет жить вечно. Снимет и этот фильм о Сибири, и еще десятки, сотни фильмов, снимет и фильм о золотом веке человечества. Получит множество высших наград, премий и кубков. Вот только никогда не увидит маленьких сухих рук своей матери, так похожих на его руки, но свои руки он не любил. И он сказал, не зная кому, но твердо веря, что его услышат:

— Если есть хоть один шанс на миллион, что я увижу маму, забирайте ваше вонючее бессмертие. Немедленно!

...Путятин завел мотор, плотно закрыл жалюзи и включил печку. Минут через пятнадцать — двадцать настывает нутро машины прогреется и можно будет раздеться. Он достал из багажника постель, разложил сиденье.

Туман заволакивал луг. Он шевелился, ворочался, сплетал и расплетал белесые космы, в нем вспыхивали холодные бледные искорки, он уже поглотил и реку, и причерный кустарник, накрыл другой, высокий берег, лишь верхушки сосен отчетливо рисовались в мутном темном небе, в прожелти размытых звезд. Туман расстелился по лугу, сейчас он окутает машину, заполнит все пространство своей зыбкой, реющей субстанцией.

Путятин закурил, сделал несколько глубоких затяжек, провел рукой по запотелому стеклу и увидел, что жена легла, не дожидаясь, когда машина прогреется. Он погасил сигарету, разделся, швырнул одежду в багажник и забрался в машину.

— Ох, какой ты мокрый и холодный! — сказала Вера Дмитриевна, но не отодвинулась, а прижалась к нему своим слабым телом.

Он обнял ее, стал жадно целовать, только сейчас поняв, как истосковался по ней в этот долгий, упрямо разъединявший их день. И то сложное, смутное, порой мучительное, что наплывало на него, как ни стойко он держался, разом отпало, словно струя с давно зажившей раны, и осталась лишь правда любви, близости и счастья.

В машине стало жарко. Он выключил мотор, приспустил боковое стекло и закурил. Выдыхаемый дым ввинчивался синей спи-

ралью в молоко тумана. Потом снова вытянулся рядом с женой. И в который раз подивился ее тихости. Пока он крутился, искал сигареты, спички, курил, закрывал окошко, снова укладывался, она не пошевелилась. Она вообще обходилась минимумом движений, жестов, люди вокруг нее казались судорожно-суматошными, как в старых немых фильмах. Но что за этим — дисциплина, чрезмерная сдержанность или скованность, навязанная трудной жизнью и всегдашним самоконтролем, он не знал, ибо до сих пор едва прикоснулся к ее внутреннему миру.

— Хорошая, видно, женщина твоя бывшая жена, — сказала она.

Путятин не понял, вопрос это или утверждение.

— Конечно, хорошая! — В тоне его почему-то прозвучала запальчивость. Он поторопился искупить ее малодушием. — И очень удобная для окружающих.

— Понимаю, — сказала она. — Я далеко не такая удобная. Твоим друзьям будет трудно привыкнуть ко мне.

Тут не было ни обиды, ни желания вбить клин между ним и Кунгурцевыми, и уж подавно — ревности к оставленной женщине. Она хотела осмыслить день, прожитый бок о бок с его друзьями, и даже выражала косвенную уверенность, что им придется смириться с ней. Она не хотела лишать мужа этой дружбы, но и не строила себе никаких иллюзий, глядела в будущее серьезно и трезво.

— Ты не думай... — сказал Путятин. — Они хорошие люди. Очень хорошие и надежные.

— Я знаю. Хотя тоже не такие удобные, как твоя бывшая жена. Удобных людей вообще мало. Но еще меньше настоящих друзей, и терять их нельзя. У меня, например, вообще не было друзей. Разве только в детстве.

— А дочь? Разве она не друг тебе?

— Нет, — сказала Вера Дмитриевна с той жуткой простотой, что манила его и вместе отпугивала. — Она по-своему любит меня, но другом ее был отец.

— Она что же, не видела?..

— Все видела... Ну, не все, конечно, но многое, и это работало на него. На несчастного, грешного, непонятного и погубленного всеобщей черствостью отца. И потом, знаешь, он очень красивый, ему на пользу его пороки. У него блестящие, какие-то драгоценные глаза, нервные, порывистые и при этом изящные движения. Он всегда возбужден, приподнят и производит впечатление предельно искреннего человека. Он все время врал, с первого дня нашей жизни. Мне кажется, можно простить все, кроме вранья. Он был тверд и постоянен только в обмане, в одурачивающем, сводящем с ума вранье. Фанатик вранья, он скорее взмоет бы на костер, чем признался в своей лжи. Это какая-то порядочность наизнанку?

— А разве Олечка не сама решила, с кем ей быть?

— Сама... По-моему, тут сработал инстинкт самосохранения. И еще — твоя машина.

— Ну ладно!..

— Серьезно. Она же девчонка. Тщеславная, глупая, легкомысленная девчонка. Она выглядит старше своих лет, но крайне инфантильна. Ты не представляешь, как ей все льстит: машина, собака, твои прекрасные ружья...

— Ты наговариваешь на нее.

— Зачем?.. И потом, это в порядке вещей. У нее никогда не было хороших игрушек. Важно другое. Я не очень верю в разные воспитательные меры, но верю в очарование человека, назовем это так. И надеюсь, она разглядит владельца столь прельстивших ее вещей.

— Я не умею с детьми...

— Ничего и не надо уметь. Ты вовсе не обязан ею заниматься, упаси боже! Просто будь самим собой...

«Как много в отношениях людей предвзятости, как мало желания проникнуть в существо другого, — думал Путятин. — Ведь Кунгурцевы, самые близкие мне люди, все решили про Веру заранее. И что бы она ни делала, это не растопит льда. К чести ее, она и не пыталась выгадать у них что-либо, оставалась самой собой, без малейшего, впрочем, вызова. Если кто и заискивал перед Кунгурцевыми, так это я. Но, может быть, моя ошибка в другом — не следовало вообще навязывать им Веру? Ведь Липочка была таким же их другом, и кто дал мне право решать за всех? Не лицемерь, друг! Уезжая в Томск, Липочка меньше всего думала о Кунгурцевых. С Пашей другое дело. Он преданно любит свою Марию Петровну, но нужна ему жена не деятельница, а домашняя хозяйка. Он выше всего ценит в женщине чисто домохозяйские добродетели. Терпеть не может ходить в гости и обожает принимать у себя — хлебосольно, изобильно, щедро, размашисто, словом, на том уровне, которого умела достигать только Липочка. Ему кажется, что он скучает по Липочке, он скучает по ее пирогам...»

— Слушай, ты совсем не умеешь готовить? — спросил он, запоздало спохватившись, что жена не могла следить за ходом его мыслей и вопрос покажется ей по меньшей мере неуместным.

— Смотря что называть готовкой. Суп я, конечно, сварю, котлеты сделаю, но всякие разносолы — где мне было научиться? Ты, видимо, все-таки не представляешь, как выглядел наш быт.

В который раз он убеждался, что Веру Дмитриевну невозможно заставить врасплох. Она всегда была готова к ответу, ничуть не удивляясь и не противясь причудам чужой мысли. Он не мог найти этому объяснения, но относил за счет все того же внутреннего сцепа, не дающего ей расслабиться, уйти в спасительный туман. Ей приходилось за многое отвечать, и она всегда была собрана, как солдат перед боем. «Милый мой, бедный солдатик!» — зажимая комок в горле, думал Путятин.

— Я умею готовить омлет-офензерв, — сказала она непри-
вычно низким голосом.

— Что-о?

— Омлет-офензерв.

— Что это такое?

— Омлет с овощами, сыром, грибами и шпиком.

— Откуда такие познания?

— Меня научила сослуживица. Она ездила по студенческому
обмену во Францию. Жила там целый год и каждый день готови-
ла омлет-офензерв. Дешево и питательно.

«Пашу на офензерв не купишь», — с грустью решил Путятин,
а вслух сказал:

— Будешь нам его готовить?

— Конечно!

Она осторожно, будто все вокруг было из стекла, повернулась
к мужу и медленно, нежно, сильно поцеловала в губы.

Никогда еще так пронзительно не чувствовал Путятин женщи-
ну. Это было не наслаждение, а что-то иное, сладчайшая мука,
которую равно невозможно ни длить, ни прекратить, а потом об-
вал, томительное падение и опаматование в щемящей опустошен-
ности.

Было жарко, влажно, душно. Он отстранился от Веры, скольз-
нул к самому краю, к стенке машины. От запотелых окошек тя-
нуло холодом. Ему почудилось, что Вера хочет обнять его, и ост-
ывающее тело передернуло судорогой протеста. Ему невыносимо
было сейчас прикосновение к естеству женщины. Но она не тро-
нула его, лишь натянула на себя простыню и, похоже, сразу ус-
нула.

Туман заклеил окошки машины серебряной фольгой. За этим
туманом, за огромной ночью, простершейся на тысячи километ-
ров, спит, а скорее томится без сна, изгнанная им Липочка. Та-
кая большая, сильная, полная тепла и заботы, готовности жерт-
вовать собой всем, кто вступал к необъятный круг ее доброты, и
ставшая вдруг совсем одинокой, никому не нужной. Да нет, на-
верное, она нужна своей недавно овдовевшей сестре, но разве это
может насытить Липочкину душу? Ни в чем, ни в чем не виноват-
ая ни перед богом, ни перед людьми и разом лишенная всего,
что составляло смысл ее жизни: беззаветно любимого человека,
дома, друзей. А легко ли начинать новую жизнь, когда тебе за
пятьдесят? Путятин всхлипнул и замер испуганно. Но Вера спа-
ла, дыхание ее было глубоким, долгим и мерным. Он перестал
сдерживать слезы. Он тихо плакал, и просил прощения у Липоч-
ки, и благодарил Кунгурцевых за то, что они не приняли Веру.
Ему бы не осуждать их с грошовым цинизмом, а поклониться им
в ноженьки за верность Липочке и верность ему прежнему.

Ах, если бы вернулось прошлое! Он знал, что это невозможно,
и тосковал, и плакал, и так, с мокрым лицом, заснул тем слабым,
непрочным, прозрачным сном, когда окружающее не утрачивает

ся, не исчезает, а пронизывает тонкую кисею видений и ты даже не знаешь, что спишь. Ты сохраняешь память о себе, сознаешь положение своего тела, ощущение ложа, все запахи и шумы, и только закрытые глаза обращены не к внешнему миру, а внутрь — к реющим образам сновидений. Он знал, что лежит в тесной машине, чувствовал под боком жесткую горбину стыка спинки переднего кресла с задним сиденьем, слышал бурлящую у валауна реку, слышал дыхание спящей возле него женщины и обнял ее наугад за плечи. И в самое первое мгновение не удивился, что под ладонью оказались полные плечи Липочки, по которой он только что беззвучно плакал. Потом усомнился, не поверил, но ладонь не обманывала, слишком привычное было под нею. Вот и две крупные оспинки, каждая величиной с трехкопеечную монету, которые он не спутает ни с какими другими. И он слышит запах ее сухой теплой кожи. Это невероятно, непостижимо, но она явилась, выселила случайную зашелицу и заняла свое место возле него. Навсегда. И тогда в отчаянии и ужасе он закричал, хотел вскочить, но сильно ударился головой и рухнул назад.

— Что с тобой?.. Успокойся! — послышался встревоженный голос.

Он не понимал, кому принадлежит этот голос, и, неловко вскинувшись, упираясь ногами в щиток, а головой в спинку заднего сиденья, нелепо провиснув, тарачился в темноту и жалобно стонал.

— Успокойся, милый!.. Это же я... я, Вера...

— Правда ты?.. Фу, господи! — выдохнул он остатки ужаса.

— Тебе приснилось что-то страшное?

— Уж куда страшнее... — пробормотал он.

1976

ЭХ, ДОРОГИ...

РАССКАЗ

Началось все... А с чего началось — не скажешь. В эту пору года жизнь деревни связана с сеном. Но прямого отношения к сену наш рассказ не имеет. И можно было бы начать, что в один из долгих июньских дней Демин Михаил Иванович, 1933 года рождения, холостой, член КПСС, образование среднее, затосковал по женской ласке. Но когда именно почувствовал он эту тоску, сказать без обвиняков затруднительно. Скорее всего, она зрела исподволь, а в какой-то момент стала неодолимой, а может, вспыхнула внезапно, хотя, разумеется, не беспричинно. Попробуем не спеша разобраться.

Время для личной жизни было самое неподходящее. До сеноуборочной оставалась еще неделя, но у колхозного инженера Де-

мина эта кампания началась уже давно, а с завтрашнего дня приобретала авральный характер, ибо во всех областях хозяйственной деятельности — дубасовские механизаторы не являли исключения — за ум берутся в последний миг: В текущие же дни колхозники беспокоились о сене в индивидуальном порядке, для своей скотины. У Демина покосы находились в двух местах: в Дубасове, где он жил и работал, и в Пёрхове, где остался родительский дом. Старуху мать Демин не без труда заставил перебраться к себе лет пять или шесть назад, а отец его не вернулся с войны.

На подмогу съехалась родня. Сестра Верушка с мужем-шабашником: когда трезвый, лучше работника и человека не сыскать, во хмелю же неуютен — задиристый, взрывчатый, — они приехали из Глотова, райцентра, где сестра работала бригадиром на фабрике детской игрушки; а из Саратова, подгадав отпуск, прикатил двоюродный брат Сенечка, токарь шестого разряда, не уступавший рабочей хваткой зятю-шабашнику, к тому же культурного нрава. К ним присоединились местные: младший брат Жорка, бригадир механизаторов, живший напротив, и его сын Валера, тракторист призывного возраста. Сам Жорка особо за сено не переживал, его коровенка была на пищу скромная, не то что Говоруха старшего брата, на эту животину не напасешься, даром что невелика, вымя мелкое, тугосисее, но дойна до оторопи. Чистая рекордсменка — вся заготовительная команда по затычку наливалась жирнейшим Говорухиным молоком, и на молокозавод каждый день бидон отправляли. Говоруха досталась Демину по случаю. У прежней коровы пропало молоко, пришлось отвести ее на базу заготскота. Возвращаясь автобусом домой, Демин разговорился с попутчиком, мужичонкой из зареченской Ольховки, ладившим перебраться в город. Мужичонка ликвидировал все сельское имущество — и недвижимое и движимое. К последнему принадлежала корова, о которой ольховский мужичонка не говорил, а пел. Смешно сказать, но Демина пленила ее наружность: белая, как кипень, а чулочки и морда красные, и белая звездочка во лбу. Кота в мешке не покупают, а Демин заглазно корову приобрел, прямо в автобусе отвалил за нее аванс. Конечно, красное оказалось рыжиной, звездочка во лбу не проглядывалась, а вот насчет молока не наврал автобусный трепач.

Хотел Демин Жорке Говоруху уступить, все-таки в его семье на едока больше, но тот наотрез отказался. Валерику осенью в армию идти, а им хватит скупой на молоко Пеструшки. Зато и с кормами особых забот нету. А главное, жена доить не любит — забалованная, руки бережет. Нарядится с утра и сидит в окне, как в раме, и на улицу глядит. Не глядит, а себя показывает, свою выдающуюся красоту. А любоваться ею некому, родня и соседи уже привыкли, а посторонние редко на их конце случаются.

Жорка светлый человек, другой бы на его месте ожесточился на жизнь. Как с армии вернулся, так и посыпалось... Нет, зачем

зря говорить, не сразу это случилось, вначале все путем шло. Взял жену по сердцу, она его сыном обрадовала, устроился механизатором, хоть в технике не больно кумекал, но до того быстро все превзошел, что стал бригадиром. А потом началось! Жена — не хозяйка, белоручка, домом и огородом не занимается, мальчонке сопли лишний раз не утрет. Взял Жорка и сына и дом на себя. До того доходило, что сам помыл и пеленки стирал. Но никогда не жаловался. «Все нормально!» — одна погудка. Потом сын подрос, а Жорка, на свою беду, дорогами «заболел». Понял раньше других, что без дорог в их глинистой, мокрой местности никакая техника не спасет. И сама не спасется. Черный гроб машинам — непролазная, лишь в пожарную засуху спекающаяся местная грязь. Она оборвала все грейдерные дороги, понастроенные после войны; на автодорожных картах они до сих пор нанесены, иные даже желтой полоской, и без числа водителей на том попадаетея. Едет себе, сердешный, доверившись карте, и забирается в такую непролазь, что трактором не выдернешь. Нужны настоящие дороги: асфальтовые либо бетонки, только они выручат край. Жорка это давно понял и, отчаявшись выжать из предколхоза и послушного ему правления деньги на строительство короткой и самой необходимой дороги от Дубасова до шоссе, сам с механизаторами в неурочное время погнал эту дорогу. Убедил мужиков: когда, мол, дорога будет, правление, хочешь не хочешь, разочтется с нами. Может, и не особо ему поверили, но решили рискнуть, потому как видели и водители, и комбайнеры, и даже не зависящие от дорог трактористы и рабочие ремонтных мастерских, что без дорог — зарез. Колхозное правление спохватилось быстро: работы остановили, с людьми расплатились, а Жорку оштрафовали на эту сумму. Ничего он не сказал, только зубами заскрипел и после недели две все за головешку хватался. Началась у него болезнь — гипертония. Тем только и спасается, что японский браслет носит — Демин в Москве достал две штуки, брату и, за компанию, себе. И в области, и в районе все начальство такие браслеты нацепило — для престижа. Но голова головой, а видел Жорка, что некоторые материалы остались, и предложил брату заасфальтировать семейными силенками машинный двор, чтобы стояли машины на твердом и не засасывало их выше колес в дождевую грязь. Работу они сладили и получили по выговору за самоволку. Старший Демин на том успокоился, а Жорка со своей упрямой большой головой через год попытался достроить начатую дорогу. На этот раз «руководитель», как едко называл предколхоза Жорка, застукал его в самом начале и сдал в милицию, где ему вкатили пятнадцать суток за злостное хулиганство. Конечно, старший брат нашел ходы, Жорку освободили, но что-то важное в душе его обломилось. «Все! — объявил он, выйдя из узилища. — Теперь я дорогам — лютый враг!»

Тяжело это было Демину. Он жалостно любил брата с того далекого, неправдоподобного времени, когда осознал его хрупкое

бытие рядом со своим. Самого появления Жорки он как-то не углядел, будучи всего тремя годами старше, а когда обнаружил новое, орущее, мокрое, беззащитное существо, то обмер и зажалел его на всю жизнь.

Слишком пристально подумав о брате, Демин схватился рукой за кадык и коротко взрыднул. Странный этот взрыд — его отметина. Если Жорку к внутреннему срыву привели дорожные напасти, то у старшего брата это случилось куда раньше, на заре жизни, можно сказать, когда он вернулся с действительной и узнал, что Таля его не дождалась и вышла замуж. На письма же отвечала и в письмах врала, что ждет, по слезной просьбе его матери, страшившейся, что сын в расстройстве и гневе совершит что-то не дозволенное строгой военной службой и сломает свою судьбу. Служил Демин в танковых частях, и служил удачно. Уже в первый год обнаружил он редкое чутье к технике и был определен в мастерские, где прошел серьезную и любую ему науку. А вернувшись домой и узнав об измене Тали, он, отличавшийся молчаливой скупостью на всякое проявление чувства, издал горлом жалкий, захлебный звук и схватился рукой за кадык, будто тот стал ему поперек дыхания. И, услышав этот задавленный взвой своего квадратно-глыбного — танком не сокрушишь — сына, мать зарыдала и навсегда испугалась за него, как он боялся за младшего брата, а сама она сроду ничего не боялась. Так и стали они жить, связанные цепочкой страха, не делавшего их слабыми. Широкогрудые, плечистые, громадной мышечной силы — в восьмидесятилетней матери проглядывали былая стать и мощь, — на чуть подкривленных, но прочнейше упирающихся в землю ногах, Демины были столь же крепки верностью, преданностью земле, делу, людям, памятью добротой, снисходительной к чужой малости, слабости, даже порокам. В нежной сердцевине каменных с виду богатырей рождались и слезы матери, и боль, сжимавшая обручем голову Жорки, и влажный взрыд Михаила.

Узнав об измене Тали и родив в горле горестный звук, выбивший слезы у матери — вон когда научилась плачу солдатка, без слезинки проводившая мужа на войну и без слезинки принявшая от почтальона похоронку, — Демин не смирился с поражением, не поставил крест на своем чувстве. Он пытался вернуть Талю, которую простил сразу и навсегда. Но и та оказалась на свой лад богатырской породы. Выполнив просьбу старухи Деминной, не пошла ни на какие объяснения с бывшим женихом. «Не надо. Что сделано, то сделано», — были единственные ее слова при встречах, большей частью случайных — жили они теперь в разных деревнях. Лишь раз расщедрилась Таля на подробную речь: «Нечего прошлое ворошить, возврата туда нету. У меня дитя народилось, я ему отца менять не стану». — «А ты счастлива?..» — Демин вздохом заменил ненавистное имя Веньки Тюрина, сельского интеллигента средних лет, «коровьего фелшара», как его величали

старухи. Венька учился в Москве, совсем было пропал там и вдруг вернулся и отбил у него Талю. Правда, в «отбил» Демин не больно верил — хлипкок душой и телом Венька, настолько хлипкок, что на него рука не подымалась. Демин не любил драк и, будучи человеком трезвой жизни, почти никогда в них не участвовал, но все же не исключал кулачную расправу из мужского обихода. Честная драка, когда все другие аргументы исчерпаны, — законное дело. Но с хлипким сельским интеллигентом Венькой не могло быть честной драки. Демин с самого начала знал, что все решила сама Таля и подвинула на подвиг размазную Веньку. Тонкая, упругая, как хлыст, и с такой же душой — ее не подчинишь, не сломаешь, а и согнешь, так распрямятся и тебя же в кровь охлестнет. И в их дружбе, начавшейся со школьных дней, она, хоть и младшая годами, была ведущей. Незадолго до расставания позволила обнимать себя и целовать, но дальше Демин пойти не решился, боясь ее оскорбить. А надо было решиться — бережь бережи рознь. Тогда бы дождалась. Даже если б не понесла. Стыдно было б ей, не сохранив чести, с другим округиваться. А сейчас Таля в грош не ставила их прежние отношения, детские ласки и признания. Трудный у нее характер, жесткий, тесный, и губы тонкие, всегда сжатые, даже в поцелуе. А может, Венька сумел их разомкнуть? Никогда он ничего от нее не узнает. Заперта на все замки. Что это — гордость или злая узость в ней?.. Она резко отвергала не только попытки объяснений, но и простые знаки внимания: связку вяленой рыбы или грибов, какой-нибудь московский гостинец для пацана, детскую игрушку — ничего не принимала — с каким-то даже ожесточением, будто он перед ней виноват. А может, она и впрямь его винила, что, уходя в армию, не сделал своею?.. У баб ум набекрень, на свой манер вывернут. Он бы оставил ее в покое, если б верил, что она счастлива. Но такой веры почему-то не было. Про себя же он с годами узнал, что ни с одной женщиной — даже в полноте любви — не будет ему так горячо и нежно, как в сухой возне с Талей. Запах ее бледноватой, не смугляющей на солнце, а розово обгорающей кожи, запах ее светлых длинных слабых волос навеки проникли ему в нутро, и все другие женщины невкусно пахли, даже спрыснувшись «Красной Москвой». И мягкая влажность тонкогубого рта, когда он со всей силой впивался в него своим жестким ртом, убила сладость всех других румяных, полных, нежных, жадных женских уст. Отравила она ему кровь, и ничего тут не поделать...

Демин сжился со своей странной бедой, как сживается человек с горбом, культей или кривым глазом. Живет, трудится, гуляет в праздники, разные испытывает желанья, вроде и не помнит о своем увечье. Ан помнит, последней глубиной никогда о том не забывает, иной же раз так вспомнит, что зубами заскрежешет и слезу сгонит. Демин вкалывал за троих, нечеловечьей мукой вместе с братом вытягивал сельхозтехнику, которую безжалостно

гробило местное бездорожье (вазовские моторы вместо положенных тридцати тысяч восьми не набегали, задние мосты «уазиков» на колдобинах напрочь срывало), и по дому успевал: то мебель купит, то обоями все стены оклеит, то терраску или каморку пристроит, то туалет на городской лад оборудует, только без слива, а на естественный провал. И не скрежетал он зубами, не ронял слез, разве что не удерживал иной раз короткого взвоя. Правда, обнаруживалась в нем некоторая чужина, не идущая такому положительному и серьезному человеку. Он тяготел к оптовым покупкам, чего бы ни брал, старался взять побольше, хотя и к вещам и к еде был равнодушен. Много было женской одежды, которую он покупал вроде бы для матери, хотя иные вещи заведомо не годились ей по возрасту и размерам, а другими она пренебрегала, донашивая старые добротные платья и кофты. Были у него и замечательные игрушки из «Детского мира» — их он покупал для Талиного парня, но получал неизменно назад и не выбрасывал, жалея красивые изделия. Случалось, он дарил что-нибудь детям дачников; у родных и соседей не было маленьких детей, а внуки появлялись уже в городе. Странно выглядели все эти рычащие при наклоне медведи, куклы с закатывающимися бессмысленными глазами, автомобильчики, парходики, самолетики и трехколесные велосипеды в холостяцком доме, не слышавшем голоса ребенка. Была и другая, более подходящая Демину подвижность: в длинном гараже из ребристого железа стояли «Волга», мотоцикл с коляской и мотороллер, там же висел на стене лодочный мотор «Москвич», хотя местная река Лягва была несудоходна, в засушливое лето ее курица вброд переходила. «Волга» тихо ржавела снизу, не накатав и десяти тысяч, в редкие выезды он тянул машину трактором «Беларусь» на листе железа до грейдерной (по прозвищу) дороги, ведущей в райцентр. Мотоциклом с коляской по причине бездорожья вообще не пользовался, и тот стоял на приколе, сверкая первозданной голубизной, не замутненной прахом верст (Демин что ни день драил его замшевой тряпкой), а вот на мотороллере в иное погожее время доезжал и до магазина и даже в соседние деревни наведывался, хотя порой приходилось тащить его за рога: были такие места в дубасовском пространстве, к примеру, перед клубным крыльцом, которые сроду не просыхали, будто выкачивались туда воды из подземного озера.

Думается, не только в деревне или райцентре, но и в самой столице едва ли встретишь столь оснащенного и обеспеченного всем, чего душа пожелает, человека, как Михаил Демин. А ведь для себя ему ничего не нужно: телевизор он не смотрит, времени не хватает, редко, да и то через черную тарелку, висящую на кухне, слушает радио — тарелка не выключалась, по ней передавали колхозные новости и распоряжения; ездить ему некуда, да и не проедешь; случается, напяливает на себя какой-нибудь клетчатый пиджак или кожаную куртку, но вида все равно нету, потому что джинсы или вельветовые брюки приходится заправлять в под-

вернутые под коленями, а то и натянутые по самую задницу резиновые болотные сапоги. И обычно Демин обходится бумажными штанами, ковбойкой и ватником.

Похоже, что какой-то неделовой, схороненной от разбитых машин, запоротых моторов, потонувших в грязи комбайнов, охромевших тракторов, пьяных слесарей, кузнецов-халтурщиков, скрытой от всех и от себя самого частью души он жил в воображаемом мире, в котором неведомо как осмыслились его бессознательные поступки. Если попробовать расшифровать эту тайную жизнь Демина, то оборачивается он в ней главою большой требовательной семьи, на которую не напасешься, а капризнице жене подавай все новые наряды (да и сам держи фасон), и чтоб бензиновые кони ждали у ворот, бия от нетерпения шинами, и быстроходный катер содрогался в готовности вспенить воды Лягвы, и напрягался весь животный мир для пущей семейной сытости: чтоб вышибала донце из ведра тугой молочной струей Говоруха, куры несли яйца больше гусиного и ускоренно нагуливал розовое прозрачное сало дюжий боровок в закутке, стремясь к пику формы, когда ему всадят тонкую сталь под переднюю левую ногу.

Это тайнодумие, или тайночувствие, оставалось скрытым даже от его спящей души, когда многое, гонимое дневным сознанием, выходит наружу, пусть порой и в зашифрованном виде, но все же позволяющем догадаться о сути. Он был настолько во власти безответности, что даже не помнил о своих покупках. Бывало, задев в ночной темноте плюшевого мишку и услышав его недовольную ворчбу, он замирал, думая, что потревожил живое существо, и недоумевал, как завелось оно в доме.

От матери не укрылся больной, ну, если не больной, то ущербный смысл избыточных, ненужных приобретений сына. Она долго крепилась, но раз, встречая вернувшегося из города и, как всегда, нагруженного свертками Михаила, не удержала слезу. Преисполненный ответной жалости к матери и смутным чувством какой-то своей вины, Демин растерянно бормотал: «Ну, ладно, маманя!.. Чего там!..» — «Ох, сынок, зачем нам все это?.. И кому достанется?.. Во сне ты, что ли живешь?» Демин молчал. «Уйду я от тебя, — вдруг сказала мать. — Есть у меня свой угол». — «Да что ты, маманя? — испугался Демин. — Нешто нам плохо вдвоем?» — «Плохо, сыночек, плохо. Не могу я на тебя глядеть. Сколько же можно так маяться? Неужто ты порченный какой и за тебя ни одна девка не пойдет?» — «Да где их взять, девокто? — не глядя матери в глаза, оправдывался Демин. — Как в цвет входят, так из деревни — деру. Не приживаются девки на нашем грунте». — «Да ведь гуляешь ты с женщинами, Михаил, я же знаю. Что ж, они только для баловства хороши, и ни одна жениной работы не справит?» — «Не придутся они тебе, маманя», — врал Демин. «Не обо мне речь. Мне теперича любая придется, лишь бы ребятеночка выносила. Я уж не запрашиваю. Мне бы внучка перед смертью покачать». — «Ну, а мне-то как с не-

любой жить?» — «Стерпится — слюбится... Нельзя целый век о Тальке вздыхать. Да на кой ляд она сдалась, пустокормок, кабы и сама попросилась? С тремя детьми, старший уж армию отслужил. Сухара, одно слово!» — «Ладно, мамань, — морщился Демин. — Напрасно это. Она к нам не просится». — «Молчу, молчу, уж и слова о ней не скажи. Надо же! — удивлялась мать. — Какое счастье девке светило!..» — и призрак чужого счастья зажигал ее потухшие глаза.

В тот день, о котором идет наш рассказ, с утра принялся дождь, хотя ночь была чистая, звездная, и появилась надежда, что погода наконец-то установится. Бюро погоды тоже обещало «без осадков», правда, что-то сбормотнув о циклоне над Тянь-Шанем, а дубасовцы знали: циклон в любой точке планеты оборачивается для них дождем, такая уж чувствительная местность. Пришлось срочно закопнить разбросанное накануне для просушки сено. В связи с этим терпеливый саратовский кузен Сенечка вдруг вспомнил, что отпуск у него кончается, а сено все еще не убрано. Демин намек понял и поставил к позднему завтраку бутылку армянского коньяка «пять звездочек». Сенечка так засмутился, что жидкость пошла ему не в то горло. Чуть не задохся, насилию отходили. А зять-шабашник, хвативший где-то накануне, красноглазый, подпухший и злой — жена не давала опохмелиться, — заявил, что даром тут время теряет, его зовет печник класть печи в новых домах для доярок. «Нешто мы на чужих ломаемся?» — на высоких нотах завела Верушка. «Кабы на чужих — так бы меня и видели! — веско произнес шабашник. — По-родственному терплю из последних сил». И, уверенной рукой взяв бутылку, налил себе полный граненый стакан. Жена глянула возмущенно и... промолчала. Момент был тонкий и опасный, муж мог и впрямь подорвать. Шабашник выпил, сморщился, некрасиво вывернув мокро-пунцовый подборой нижней губы, обронил брезгливо: «Не люблю!.. И чего в нем интеллигенция находит?» Приняв на свой счет слово «интеллигенция», Сенечка счел нужным вступить за честь напитка. «Ты букета не чувствуешь, Адольф. Его нельзя рывчуню брать, смаковать надо. А весь смак — в букете. Знаешь, откуда букет? От выдержки. Пять звездочек — значит, его пять лет в бочке держали, не трогали. Чуешь, какая выдержка? Выше этого армянского только марочные сорта и небо». — «Не убедил...» — капризно сказал шабашник Адольф (он уверял, что спивается из-за своего позорного имени) и потянулся к бутылке. «Хватит, окаянный!» — Верушка пришла в себя и вновь овладела положением. Адольф молча убрал руку, он умело использовал свой шанс, на большее рассчитывать нечего. Выбив из пачки сигарету прямо в щербину между зубами, Адольф вылез из-за стола. «Пошел корячиться, а вы как хотите!» — «Ох ты! — вскинулась маленькая, осмугленная без солнца дочерна Верушка. — Тоже мне герой-передовик!» — и чуть сдвинула с выгоревших бровей низко и туго повязанную косынку.

Демин с щемящей нежностью смотрел на сестру. Золотой, безотказный человек! Надсаживается в бригадиршах, понуждая к честной работе самовольных и языкастых городских баб, и весь дом на себе тянет — от шабашника какая польза? Заколачивает он порядочно, а пропивает еще больше. Верушка, можно сказать, в одиночку подняла семью, детям образование дала: дочь учительница, замужем, сын — лейтенант милиции в Вильнюсе, и не то чтобы палкой на перекрестке махать или с алкашами возиться, он по ученой части — лекции об уличном движении читает; жена у него инженер, парни-близнецы будут десятилетку кончать. Но две молодые и вроде бы самостоятельные семьи не могут прожить без Верушкиной помощи: она им и деньги на разные покупки шлет, и всякое варенье-соленье, и внуков на лето забирает да еще находит время остальной родне подсобить. Всегда бодрая, невесть чем довольная, знай улыбается сухими, истрескавшимися губами, а глазом шарит: где бы чего прибрать, починить, зала-тять. Она и в девчонках такой была: худенькая, быстрая, локотки острые так и колют воздух, и все ей работы не хватало, ужасно боялась не истратиться до конца. И кому достался такой клад!.. Ей бы женой директора быть, офицера танковых войск или начальника пожарной охраны... А ведь она любит своего охлома-на! — осенило вдруг Демина. Значит, есть в нем что-то, чего другие не видят, а и увидели бы — мимо прошли, но для Верушки важное, нужное. Ведь он, Демин, совсем не знает, что такое жизнь с близким человеком, жизнь вплотную, может, тут появляется такое сильное и проникающее чувство друг друга, что грубая, поверхностная очевидность гроша ломаного не стоит. А стоит лишь то, что дается тайновидением. При мысли, что он никогда не узнает такой слиянности с женщиной, Демин на мгновение утратил контроль над собой, и короткий взвой вырвался из его просторной груди.

Мать подняла на него усталый взгляд, сестра потупилась, Сенечка нервно плеснул в стакан армянского, а стоявший у печки с сигаретой в зубах долговязый, тяжелорукий племянник Валерка опрометью кинулся в сени. Он не мог привыкнуть к этим жутким сигналам тоски, задавленной боли, мерещилось что-то темное, невыносимое, убивающее желание стать взрослым.

Сам же Демин обычно не замечал своего стога, не заметил его и сейчас, но смутно почувствовал какое-то напряжение, замешательство. В таких случаях хорошо принять решение, толкающее жизнь дальше.

— Поеду-ка за пёрховским сеном, — сказал он веско.

Он знал, что фраза его ничего не разрешила, что-то повисло в воздухе, повисло в нем самом, но и так слишком долго его мысли бесплодно блуждали, не порождая никакого действия. Он не любил ковыряться в себе. Если все время задаваться вопросами: с чего да почему, кончится всякая внешняя жизнь, единственно обладающая смыслом, ты завязнешь в томительных вопросах, за-

буксуешь мозгами, как в дубасовской грязи на стертых покрышках.

Сейчас его мысль собралась и повернула к конкретным вопросам: на какой машине ехать, взять ли с собой кого на подмогу. И то и другое он решил сразу, как обычно решал всякие хозяйственные дела: поедет на «МАЗе» — сильная, проходимая машина, к тому же мотор недавно сменили и на задние колеса цепи поставили, а возьмет Жорку, тот давно не видел их старого дома, где они родились и выросли. На отшибе стоит заброшенное Пёрхово, не участвующее в экономической жизни колхоза, сейчас там едва ли пяток обитаемых домов наберется. Взгляд в окно подтвердил ему, что Жорка дома, да и где ему быть: они переиграли выходной день с воскресенья на субботу, чтобы с завтрашнего дня вкалывать без передыха.

Демин совсем было собрался идти за грузовиком, но тут вспомнил о постояльцах, которых ему навязал приехавший из Москвы с семьей на отдых мастер холодильных установок Толкушин. Был он уроженцем Канавина, лежащего километрах в четырех по течению Лягвы. Демин знал его с детства, но впервые обнаружил, что они родственники, когда Толкушин, приехавший на своем «жигуленке», попросил у него трактор и железный лист, чтобы добраться до родного порога. «Выручи, Мишутка, всежки мы одна кровь». Демин и так бы ему помог по старому знакомству, но просьба родича — свята. Поэтому он и слова против не сказал, когда Пека Толкушин попросил принять на постой двух московский людей: журналиста и еще кого-то — Демин не понял. У них был свой интерес в здешних местах: то ли церкви осматривать, то ли раков лучить — замороченный сенном, Демин не стал вникать. Да и какая ему разница, кто они, важно, что родственник просит. Хотя хуже время трудно было выбрать — в доме полно народу, дел невпроворот, и, как ни крутись, не окажешь гостям должного внимания. Москвичи прибыли пешим строем, машину бросили на шоссе возле почты, и Демин отвел им боковушку, дал постельное белье, одеяла, подушки, домашние туфли. Журналист был тучным, одышливым стариком, с мешками под коричневыми усталыми глазами и белым пухом волос, он знал, что отыгрался, но по инерции продолжал суету жизни. Таких Демин видел немало. А вот другой его заинтересовал. Был он без возраста: то ли под сорок, то ли крепко за шестьдесят, поджарый, с обнажившимся костяным лбом, но без седого волоса, гибкий, ловкий, с проворными руками. Он мгновенно разобрался, что к чему и что где лежит, как будто домой вернулся, и через полчаса по приезде уже варил на кухне соблазнительно пахнущую солянку. К удивлению Демина, все острые приправы гость нашел в его доме. Назвался он Пал Палычем. И странно, услышав нехитрое имя-отчество, Демин испытал легкий внутренний толчок, готовый обернуться воспоминанием, но так и не ставший им. Он готов был поклясться, что уже видел этого складного и чем-то

соблазнительного человека, но где, когда?.. Хотелось поговорить с приезжими, особенно с Пал Палычем, может, тот подскажет, где могли они видаться, да не выбрать минуты свободной. А сейчас он ощутил необходимость что-то сделать для гостей. Надо украсить их быт. Забрав в гостиной три «полотна», копии которых, как он понял, находились в Третьяковской галерее: «Аленушка», «Неизвестная» и «Богатыри», а также вазу с бумажными цветами, он вдруг задумался, с какой стороны приходится ему родственником Пека Толкушин. Демины и Толкушины из разных мест и разного корня. Может, по женской линии? Пекина двоюродная сестра замужем за ихним председателем, но Демины с ним не родня. Старуха Толкушина в свойстве с тещей кузнеца, но кузнец Деминым вовсе чужой. Жена Пеки вроде калужанка, тут искать нечего... Внезапно он почувствовал усталость, стоит ли ломать над этим голову, при случае он спросит Пеку, а сейчас надо создать людям культурный отдых.

Он вошел в комнату, пропитанную табачным дымом. Постояльцы в спортивных костюмах и носках лежали на кроватях и читали. Пал Палыч нещадно дымил. Журналист с набрякшими подглазьями отложил книгу и улыбнулся Демину:

— Хозяин?.. Милости просим.

— Извините, конечно, — сказал Демин. — Я тут кое-что принес... Чтобы вам красиво отдыхалось.

— Что, что?.. — вскинулся Пал Палыч и ловко сел на кровати, по-турецки скрестив ноги. — Да бросьте! — сказал брезгливо. — Кому это надо?..

— А что? — смутился Демин. — Хорошие картины. — Он прищурился и прочел: — В. Васнецов, И. Крамской, обратно В. Васнецов.

— К тому же подлинники! — хохотнул Пал Палыч.

— Заткнитесь, — тихо сказал журналист. — Человек от чистой души... Спасибо большое, — повернулся он к Демину. — Вы не беспокойтесь, мы сами повесим. Мой друг — специалист по живописи.

— Нешто мне трудно гвоздь прибить? — обрадовался его интонации Демин.

Он поставил вазу с цветами на холодильник, вынул из кармана гвозди, достал из тумбочки молоток и стал приноравливаться, как бы половчее повесить картины.

— Дивный букет, — заметил Пал Палыч. — Воду надо часто менять?

— Они же бумажные, — удивился его наивности Демин.

— Заткнитесь! — опять сказал журналист, пристально глядя на Пал Палыча.

За долгие годы знакомства, хотя виделись они не часто, будучи людьми разъезжей жизни, он так и не постиг до конца характера Пал Палыча. Тот был крайне сентиментален, причем с возрастом эта черта все усиливалась; его песочные ресницы частень-

ко темнели от слез, исторгнуть которые могли — стихотворная строка, страдания, болезнь и смерть литературного героя, несчастливый конец фильма, вид старой почерневшей иконки, нежный изгиб севрской статуэтки. Вся эта чувствительность проявлялась лишь в столкновении с искусственным миром; жизнь в ее естественном образе не действовала на слезные мешки Пал Палыча. Как замечательно разделились в нем поэзия и правда. Беззащитность — перед первым, ледяной холод — второму. Его ничуть не трогал доверчивый жест доброты этого постороннего человека, бескорыстно пустившего в дом незнакомцев, давшего им постель и стол и еще заботившегося о «культурном» оформлении их быта.

— Чем картинки вешать, — слышался высокий, резкий голос Пал Палыча, — лучше бы вонь ликвидировали!

— Какую вонь? — не понял Демин.

— У двери. Какходишь — шибает, аж с ног валит. Что у вас там, покойники захоронены.

Демин повесил на стену «Богатырей», глянул — ровно ли, и пошел к двери. Нюхнув раз-другой, он ничего не почувствовал. А несло там нестерпимо, каким-то спертым, душным, ядовитым, опасным для жизни смрадом. Густой, как патока, он не распространялся по комнате, а стоял стенкой возле двери; таким образом, пронизав невеликую толщу, ты оказывался в обычном запахе избяной боковухи: дерева, законной дождевой сырости и устоявшейся легкой прели. Словом, незачем было заводиться. Но Пал Палыча бес обуюл.

Журналист сказал мягко:

— Там, правда, пованивает. Ничего страшного нет. Может, крыса сохла.

— Нету у нас крыс, — еще более озадачился Демин и позвал мать.

Старуха быстро приковыляла — любила быть полезной. Понюхав, где указали, она тоже не расчуяла вони. Крестьянские носы, привыкшие к крепким запахам хлева, свиного закута, наседа, навоза, не обладали городской чувствительностью.

— Да нюхните хорошенько! — закричал Пал Палыч, вскочив с кровати.

Он подбежал к ним и со свистом втянул воздух своим хрящеватым носом.

— О, ужас!.. О, смерть!..

— Правда, Миш, вроде несет маленько, — неуверенно сказала мать.

— Маленько! — передразнил Пал Палыч. — Ничего себе маленько!.. Конец света!.. Гибель Помпеи!..

И странно: Демину казалось, что все это уже было когда-то: и возмущение Пал Палыча, и тяжелая растерянность окружающих — экое наваждение, прости господи!.. Он открыл холодильник, заглянул в него, выдвинул нижний ящик, накануне взяли телячью голову и голяшки для холодца. Сегодня этот холодец в тарелках, блюдах, тазах стоял по всему дому.

— Надо так думать, — глубокомысленно изрек Демин, — что головка протухла.

Журналист почувствовал позыв к рвоте, за завтраком он на пару с Пал Палычем опустошил глубокую тарелку холодца.

— Чепуха! — авторитетно сказал Пал Палыч. — Зачем на теленка грешить? Студень свежий.

— Свежий? — обрадовался Демин, любивший холодец. — Я еще не пробовал.

— Свежайший! — Пал Палыч нагнулся и стал хлопать дверцами старого фанерного буфета. Мелькали пачки с печеньем, шоколадные наборы, банки с вареньем и джемом, упаковки сыра «Виола», банки маринованных огурцов.

— Богато живете! — вскользь одобрил Пал Палыч. Он открыл очередную дверцу, и оттуда вырвался ликующе Великий джинн смрада, некая правонь, от которой пошло в мире всякое смерденное и тухлота.

Пал Палыч держал на мочальной веревке связку вяленой рыбы, то ли плотниц, то ли красноперок.

— Вот она, душечка!

Демин взял связку, понюхал, небрезгливо помял рыбешку.

— Она же вяленая... — проговорил неуверенно.

— Плохо проявил, брат! — ликовал Пал Палыч. — Стухла твоя плотва.

— Это не моя, Сенечка наловил, — поправил Демин.

— Выброси ее в сортир, — распорядился Пал Палыч.

— Нельзя, — сказал Демин, наконец-то учуяв воньцу, — туда куры подлазят.

— Закопай в саду!

— Собачонка может открыть.

— Скорми кошке, — посоветовал журналист.

— Нешто она ее возьмет? Балованная!..

— Да выбросьте вы ее к черту! — взревел Пал Палыч. — К чему столько болтовни?

— Как же так? — скривился Демин. — Значит, пропали Сенечкины труды?

Журналист с любопытством посмотрел на Демина: сильное до грубости, обветренное лицо, сталь зубов в улыбке, плечи гиревика, ручки лопатами. И надо же, какая деликатность, какая тонкая бережность к чужой душе!

— Я их на терраске новой повешу, — сообразил Демин.

— Там Адольф трудится, — напомнила мать.

— А ему водкой и табаком все обоняние отшибло. Он наведни чуть ацетону не хватил.

— Ну и неси туда! — распорядился Пал Палыч. — Хватит тут вонять.

Пристроив связку рыбок так, чтобы Сенечка мог увидеть и сам распорядиться ее дальнейшей участью, Демин отправился за грузовиком.

До реки он дошел легко по обкошенной луговине. Завяз лишь возле ключа, там и в сушь было топное место, на которое каждую весну прилетала пара чибисов. Провалился глубоко, — хорошо сообразил натянуть до отказа болотные сапоги, а вот выдернуть кол из тына забыл, за что и поплатился — насилу вылез, извалявшись в грязи. К реке по скосу он съехал на подошвах, растопырив для равновесия руки. Здесь помылся и проверил вершу, затопленную на излучке под старыми ветлами. Верша оказалась пустой — отчего-то сорвало клеенчатую завязку на горловине. Он пристроил завязку на место и утопил вершу. Потом отломил сухой толстый сук березы и по скользким мосткам, помогая себе суком-шестом, перебрался на другую сторону. Мимо молокозавода, кисло воняющего выплеснутыми в грязь пробами, он поднялся к деревенской площади, где располагались клуб и магазин.

Оба здания были отрезаны от большой земли огромными лужами в грязевых топких берегах. Но к магазину был сделан подход из кирпичей и досок, нечто вроде лавы, клуб же напрасно соблазнял дубасовцев объявлениями о новом художественном фильме и вечере танцев под фонограмму «Голубых гитар» — к нему можно было пробраться разве что на ходулях. Демин двинулся по окружности площади, прижимаясь к плетням, под ними земля была прочной. При этом он не упускал из вида магазин, куда то и дело заходили люди, но назад почему-то не выходили, словно поселялись там. В витринах за рекламными пирамидами «Завтрака туриста» и новой рыбки «минтай» творилось шевеление цветных пятен, но игра красок не обернулась чертами продавщицы Лизы, с которой Демин дружил. А хотелось хоть в промельке увидеть ее горячие крепкие скулы.

Самая грязная грязь начиналась за околицей, и, хотя до машинного двора было рукой подать, Демин потратил немало времени на одоление последних метров. Это ж надо, чтобы главная опора сегодняшней деревни — трактор стал ее злейшим врагом. Лошадь так не умучивали в старое время, как сейчас трактор. На нем не только пашут, боронуют, убирают, возят грузы, навоз, силос, сенаж, доставляют людей в поле и с поля, но ездят на рыбалку, в гости к знакомым, на любовное свидание, на прогулку. Трактором изжеваны все деревенские дороги, улицы и площади. Исчезла прелесть тихой зеленой сельской улицы с телком или козленком на привязи, разморенными жарой добродушными псами, с курами, гусями и пушистыми их выводками — от плетня до плетня во всю ширину — непросыхающая, непролазная грязь, чудовищные колдобины, рытвины с водой, одно слово — мерзость. Попробуй пройтись с гармошкой на вечерке, попробуй найти сухую, твердую площадку для пляски, даже на лавочке у плетня посидеть да на людей поглядеть, лузгая семечки, — несбыточное дело, куда ноги девать?

«Но трактор не виноват, машина не бывает виноватой, — думал Демин. — Люди придумывают технику, а справиться с ней

не могут. Отжили век проселки, большаки и немощные сельские улицы. Или — асфальт под колеса, или вертайся к лошади. Иначе жизни не будет...»

Смятенный вид родной земли... И как же хорошо на гиблом фоне гляделась асфальтовая площадка машинного двора, на которой прочно стояли комбайны, сеялки, жатки, косилки, бульдозеры, траншеекопатели... Эти готовые к бою машины казались вознесенными над всем остальным, собранным для ремонта, восстановления и разбора железом, которое медленно погружалось в предвечную хлябь, поскольку не хватило асфальта для всего нужного технике пространства.

Пробираясь к гаражу, Демин услышал, что в кузне ухает молот. Вот те раз! — выходной день, а кузнец трудится. Неужто этого поддавалу и склочника прошибла тревога за сеноуборочную? Горячий цех был в долгу перед ремонтниками, вот Федосеич и решил пожертвовать отдыхом для общего дела. Отъявленный хабарщик, Федосеич был на хорошем счету у «руководителя», потому что всегда брал самые высокие обязательства, не затрудняя себя мыслью об их выполнении. Но проняла и его общая забота. Демин довольно улыбнулся и потер щетинистый подбородок: а, черт, опять забыл побриться. Он без обычного раздражения глядел на водочные и винные бутылки, заполнявшие все емкости перед кузней. То была странная привычка Федосеича: ему в голову не приходило унести пустые бутылки с собой и сдать их на пункт приема вторичного сырья или просто выбросить.

Демин толкнул дверцу и вошел в жаркое нутро кузни. Польшал горн, Федосеич и его подручный с раскаленными от огня и опохмелки лицами трудились с тем стараньем, красивой ловкостью и серьезностью, что достаются лишь левой работе. В грохоте двух молотов не слышен был взыв душевной боли и разочарования вошедшего человека. Демин ничего не мог сделать Федосеичу, о чем они знали оба, — попробуй найти другого кузнеца. Но и Федосеич нуждался в кузне, поэтому, ничуть не боясь инженера колхоза, все же старался не доводить его до остервенения, когда человек перестает думать о последствиях своих поступков. Демин понимал всю тщетность слов, если они обращены к такому дремучему сердцу, как у дубасовского кузнеца, к тому же с завтрашнего дня начинался аврал, и опасно раздражать нравного, нетрезвого старика. Но что-то сказать было необходимо для собственного спасения, а то, не ровен час, сосуд лопнет, и так вечно молчишь перед глупостью, наглостью и чтущим лишь собственную выгоду напором.

— Неужто для бутылок другого места нету? — произнес он шатким от изворота голосом.

Кузнец оглянулся, будто знать не знал о его присутствии. Медвежьи глазки как лезвием чиркнули.

— У меня нет. Не нравится — возьми да убери.

— Я тебе не уборщица. Свое свинство сам затирай. Или ка- тись отсюда к чертовой матери!..

Вот бы такие слова да по главному поводу: мол, кузня не частная лавочка, халтурщик ты и ханыга! А это выстрел хоть и в упор, да холостой — кузнеца пустыми бутылками не уешь! Так оно и было: Федосеич презрительно усмехнулся и гаркнул помощнику: «Ровнее держи, безрукий черт!»

«МАЗ» был старый, битый, из капиталки, но крепко, надежно залатанный, с форсированным двигателем — над чем потрудился, по обыкновению с успехом, изобретательский гений Демина. Машина — на редкость мощная, и если не бояться выжимать из нее эту мощь под угрозой сломать шею, то она способна одолеть любое бездорожье, благо обута в железные сапоги. Демин уже взобрался на сиденье, когда подбежала Васена, колхозная делопроизводительница, и протянула телефонограмму из райцентра. Отправил ее предколхоза, с утра уехавший в Глотов на совещание: в близости сеноуборочной дергалось районное начальство само и дергало руководителей хозяйств, мешая им заниматься прямым делом. Предколхоза извещал, что ему удалось вырвать новый мотор для «уазика», который необходимо срочно забрать, сам он без машины. Это было слишком серьезно, чтобы кому-то передоверить, — пёрховское сено подождет.

И Демин погнал грузовик в сторону, прямо противоположную той, куда собирался. Тактика езды на «гончем» «МАЗе» была проста, но требовала крепких нервов. Надо ломить на третьей скорости, выбирая, по возможности, места более проходимые, пренебрегая тем, что машина кренится набок, вот-вот перевернется, что ее заносит и норовит сбросить с дороги, что нос клюет в полные воды рытвины и лобовое стекло ослеплено ржыми заплесками, что глаза залиты потом, а весь ты через полчаса такой воды — как отсиженная нога. Но если хватит выдержки не притрагиваться к сцеплению и тормозам и знать лишь одно — вперед, то ты доедешь, наверняка доедешь.

И Демин ехал. Оглушенный, ослепший от пота, разбив в первые же минуты колено о щиток, он гнал и гнал машину по лужам и вязкой грязи к грейдеру, изжеванному, разбитому, в рытвинах и ухабах, но все же более надежному, чем этот большак. У перекрестка к машине сунулась старуха с рюкзаком на длинных лямках. В поднятой руке она сжимала рублевку. Обычно Демин подбирал на дорогах всей «голосующих» и сроду не брал ни с кого денег, но остановившись он сейчас, на том бы и кончился его поездка. Здесь было самое гиблое место, которое надо проскочить с разгона. Он резко вывернул руль, чтобы объехать старуху, успел заметить, что она долговязая, худая, с темным, недобрим лицом; пробуксовывая, вполз на грейдер, рухнул в рыжее озерцо, вслепую, не давая затащить себя в кювет, проехал с полкилометра и, наконец, почувствовал под колесами упор. Демин снял с баранки левую руку, утер пот, смахнул грязные капли со лба и надбровий, поерзав, сменил положение затекшего тела, определился в пространстве и вдруг издал тоскливый, волчий вой.

Он не понимал, откуда приступ звериной тоски, ведь худшее осталось позади, теперь он знал, что доедет, встретится с председателем и получит необходимый мотор. Долговязая фигура на перекрестке?.. Старуха, которую он не подобрал... Да что ему эта старуха? Сколько их мается по обочинам жизни, на всех души не хватит. Но эту старуху надо было взять. Почему?.. Он даже не успел задуматься, ответ возник липким потом, выступившим под рубашкой. Старуха эта была Таля...

Старуха... Они не виделись каких-нибудь три-четыре месяца. Нельзя состариться за такой короткий срок. Нельзя. Конечно, перемена совершалась исподволь, но он ничего не замечал, замороженный ее прежним образом. И когда они встречались, он успевал наделить сегодняшнюю, уже другую Талю ее минувшей, юной прелестью. А сейчас просто не успел, слишком неожиданной оказалась встреча, он был занят борьбой с дорогой и пропустил тот миг, когда свершалось вселение Тали в прежнюю оболочку, он увидел ее такой, какая она есть на самом деле. Господи боже мой, да в ней не осталось ничего, ровнешенько ничего от той далекой Тали, которую он любил в молодости и не переставал любить. А может он любить эту долговязую, худую, темнолицую старуху, что махала рукой с зажатой в крючковатых пальцах рублевкой? Ответа не было, в душе пустота...

А Таля узнала его?.. Скорее всего, узнала, хотя он проскочил быстро и боковые стекла залеплены грязью. Что она подумала о его поступке? Какая теперь разница, — усталость сказала в нем...

...Председатель встретил Демина как родного. Поехал с ним на склад и даже помог перетащить двигатель в кузов грузовика. С некоторым удивлением Демин обнаружил, что «руководитель» рассчитывает на угощение, будто старался не для своего колхоза, а для чужого дяди. Да нешто жалко, коли человек хороший?.. Но после истории с Жоркой Демин сильно сомневался, можно ли считать председателя хорошим человеком. Все-таки он повел его в ресторан «Лебедь», который в дневные часы превращался в простую столовку, поэтому водку здесь не подавали, ее приносили с собой и держали под столиками. Но коньяк имелся, и Демин взял бутылку, а в глубокую тарелку набрал некорыстной закуски: сало, колбасу, помидоры, пирожки с мясом. Он налил председателю полный граненый стакан, а себе плеснул на донышко, чтобы чокнуться, за рулем не пил, хотя гаишного надзора в райцентре не было. Председатель знал его правило и не настаивал на равенстве. «Будь здоров, не кашляй!» — пробормотал он, цокнул донышком своего стакана по деминскому и жадно, духом, выпил.

Демин чувствовал, что председатель чем-то озабочен, но спрашивать не стал: захочет, сам скажет.

— Хорош моторчик я тебе выцарапал? — спросил председатель.

— Хорош! Недельки на две хватит.

— Болтай! Обязан тридцать две накатать.

— А восемь не хочешь?.. Нет, Афанасьич, пока дорог не будет, на технику не надейся.

— Опять за свое? Еще не надоело?

— Надоело. Потому и говорю.

— Ты же сам знаешь, дороги нам не приказаны. Мы должны дома дояркам строить.

— Зачем?

— Чтобы привязать их к этому благородному труду, — скучным голосом сказал председатель и наполнил стакан.

— Придуряешься, Афанасьич. Неужели наши старухи перестанут за дойки дергать, если ты их в хоромы не переселишь?

— Не о них речь. Прицел на молодежь. Буды..

— Молодые в доярки не пойдут, хотя ты дворцы построй. Им маникюр жалко.

— Что правда, то правда, молодых доить не заставишь, — закусывая салом, согласился председатель.

— А Жорку ты зря обидел.

— Не зря. Пора уже понять, что дороги не наша забота... — И со вздохом добавил: — От них я не чешусь.

— От чего же ты чешешься?

Председатель внимательно посмотрел на Демина, навалился грудью на столешницу и заговорил торопливо, хриплым шепотом, глотая слова:

— Нюрка... бухгалтерша, грозитя уйти. Неохота ей под суд... И очень даже свободно, если ревизия... Никто не защитит. Я — не я, и хата не моя — закон игры...

Демин не понимал его возбуждения и тревоги. Напился он, что ли? Не такой мужик Афанасьич, чтобы окосеть с двух стаканов. Но не могла же его взволновать угроза Нюрки оставить свой пост. А председатель, дергая головой, словно вокруг вилась оса, сообщил, что Боголепов с автобазы, известный «доставала», собрался в Сочи лечить грязью радикулит.

Не понимая, почему председатель съехал на болезнь Боголепова, Демин счел нужным выразить одобрение услышанному.

— Пусть подлечится. Мужик хороший.

— Очень замечательный... Двигатель вот устроил. И задний мост для «ЗИЛа» обещал. Но как ты четыреста рублёв спишешь, если Нюрка уйдет?.. Не знаешь, и я не знаю.

— Какие четыреста рублёв?

— На культурный отдых. На юг с пустым карманом не ездят.

— Вон-на!.. — дошло наконец до тугодумного Демина. — Понятно... А ты погляди, Афанасьич, с другой стороны. У него же хозяйства нету. У нас-то и коровка, и овцы, и боровок на откорме, и огород. У тебя вовсе вишневый сад, как у Чехова.

— А чего я с него имею? На рынок не вожу.

— Твоя Марья варенье тазами варит. Настойки сколько четвертей закладывает? А он, сердешный, никаким баловством не пользуется.

— Слушай, пойдешь в бухгалтера? — ошарашил вопросом Афанасьич. — Или в председатели?.. Завтра же соберу перевыборное. Мне ничего не сделают — ветеран войны и печень большая. Лечиться поеду. На свои.

— Не дури. — Демину впервые пришло в голову, что не так-то просто будет найти охотника на место, занимаемое этим недалеким, бесполодным человеком, которого все заглазно костят, и вроде бы справедливо. — Давай скинемся. Не обедняем.

Председатель глянул насмешливо:

— Колхозный карман трещит. А наш вовсе лопнет.

— Вон-на!.. Эта, значит, завсегда?..

— А ты думал!.. За красивые глаза? Нам же вечно больше других надо, — со злостью, метящей в Демина, сипел председатель. — Моторы, кузова, задние мосты, хедеры, захеры...

— Да ведь план!..

— Вот где у меня этот план!.. По мне, лучше лечь на дно. С отстающих какой спрос?.. — Афанасьич налил коньяка, выпил, кинул в рот кружок колбасы, сжевал и малость успокоился. — За коровий десант слышал?

— Какой еще десант?

— Конечно, об этом в газетах не пишут. И в телевизоре не показывают. Совхоз «Заря», знаешь, вечно в хвосте плетется, так их чуть не из соски поят. Коров французских выдали как отстающим по животноводству. Породы «шароле». А у них силос подобрали, сенажа — ноль целых хрен десятых, комбикорма в помине нету. А трава и кормовая рожь полегли от дождей — машиной не возьмешь, косарей — днем с огнем...

— Выгнать на пастбище?..

— Ага. Там такие же умные. Попробовали выгнать. У двух коров передние ножки сразу — чик, напополам, пришлось стрéлить. Вес-то огромный, а ноги тоненькие, не по нашим почвам. И вот кто-то за десант сообразил. Нагнали технику военную: платформы, на которых пушки возят, погрузили коров и — в поле, в зеленую рожь. Все начальство туда съехалось, газетчики — большой аттракцион.

— И чего дальше? — заинтересованно спросил Демин.

— Дальше?.. Скотина ревет, корма чует, а взять не может. Там все, кто был, прямо с мозгов долой. Рвали рожь и в пасть коровам пихали.

— Не пойму... Чего же они не паслись?

Председатель не спеша налил, выпил, закусил пирожком.

— Французенки. Не умеют. К стойловому содержанию приучены. Понимаешь, которое уже поколение из кормушек жрет.

— Мать честная! — ахнул Демин. — Это как же они скотину испортили!

— Чего с них взять! Они лягушек едят.

— Не лепи горбатого, Афанасьич!

— Честное партийное слово, — серьезно и грустно сказал

председатель. — Я сам не верил. А намедни в райкоме своими ушами слышал: вывозим мы во Францию лягушек, зеленых, прудовых. А еще улиток и муравейники. Очень оживленная торговля.

— Постой, не часті. Зачем же они лягушек едят?

— А чего им еще есть? Все подчистую подобрали. Они червей едят, улиток, рачков всяких. И лягушек. Это у них первый деликатес, как у нас вареная колбаса.

— А муравейники?.. Неужто их тоже жрут?

— За муравейники точно не скажу. Может, кислота нужна. Может, ревматизм лечат. Или леса поддерживают. Я лично не интересовался. Не знал, что ты спросишь.

— Как они только живут! — задумчиво, презрительно-жалеючи произнес Демин. — Ни лягушек, ни муравейников. Почему в России всегда все есть, а кругом пусто?

Председатель не ответил. Коньяк был допит, и председатель потерял интерес к разговору.

Прежде чем покинуть райцентр, друзья заглянули в универсам, куда как раз завезли подарочные наборы, включающие духи, пудру, шоколад, баночку икры, копченую сосиску в целлофане, гаванскую сигару в латунном футляре. Взяли по набору.

Обратная дорога, не ставшая легче, оттого что в кузове ворочался автомобильный двигатель, целиком подчинила себе сознание Демина, но, когда вернулись, сгрузили мотор и расстались с председателем, он почувствовал сосущую тоску. В этой тоске был и рев голодных французских коров посреди полеглої ржи, и унылый бубнеж робкого, не справляющегося с делом человека. Но Демин знал дальней, дальней угадкой, что вся эта муть прикрывает главную печаль — встречу на перекрестке с долговязой темной старухой.

Демин не поехал сразу за сеном, а подрулил к магазину, как раз закрывающемуся на обеденный перерыв. Завмаг Люба впустила Демина и заперла за ним дверь. С удивлением и не без приятства Демин обнаружил здесь своих постояльцев: журналиста и Пал Палыча, они сидели в креслах гарнитура, каждый с коробкой «пьяной» вишни в руках. Вкуснейшие эти конфеты впервые достигли Дубасова, но не пользовались почему-то спросом, местные жители предпочитали карамельку. При его появлении крутые свежие скулы продавщицы Лизы жарко вспыхнули, и Демина чуть отпустило. Хорошо, что он застал тут своих гостей, которым, видимо, наскучил постельный режим, можно будет немного развлечь приезжих, ведь им так не повезло с погодой.

Подмигнув Любе, он взял две бутылки коньяку, пачку печенья, коробку с «пьяной» вишней и пригласил постояльцев в чуланчик на задах магазина, считавшийся кабинетом завмага. Москвичи охотно приняли приглашение. Люба внесла пай о лица работников прилавка: съездившийся, но еще годный лимон, сахарный песок, несколько болгарских помидоров и свежую сайку. Компанию пополнила уборщица тетя Дуся, громадная, не старая, но рано

поплывшая женщина. Пал Палыч окрестил ее Валькирией, и Демина, не зная, что это значит, стал так называть Дусю, а та — откликаться из робости перед Пал Палычем, которая сродни той, что испытываешь при виде незнакомого. Пал Палыч с его лезвистым лицом, верткостью, вездесущими руками и небрежно-самоуверенной речью тревожно завораживал местных бесхитростных людей. И как-то сразу он стал хозяином за столом: командовал, кому куда сесть, разливал коньяк, распределял кружочки лимона и нехитрую снедь.

Женщины сняли халаты и оказались в одинаковых нарядных кофточках, заслуживших одобрение Пал Палыча. Он властно усадил рядом с собой Лизу, приткнул Любу к журналисту, а Демину предоставил ютиться у огнедышащего бока Валькирии — Дуси.

Журналист — человек усталый и пассивный, но сохранивший вкус к недоброму наблюдению жизни, уже понял, что сегодня будет чем поживиться. Пал Палыч явно клюнул на красивую Лизу с жарко вспыхивающими крутыми скулами и, будучи в любви сторонником кавалерийского наскока, дал шпоры коню, бросил поводья и с занесенной саблей ринулся вперед. В самом порыве Пал Палыча не было ничего оригинального и тем паче привлекательного, но Лиза — женщина гранитного Демина, о чем немедленно догадался тяжелый, сонный рохля и что осталось скрытым от приметливых глаз его шустрого приятеля, и это обстоятельство дарило надежду...

— Стоило забираться в проклятую глушь, чтобы встретить такую женщину! — витийствовал Пал Палыч. — Предлагаю тост за Лизу. Нет, за ее скулы. Они горят, как светофоры. Только что значит красный цвет: нельзя или можно?

Лиза пламенела, Демина осторожно вздыхал, Люба пофыркивала: экий насмешник! Валькирия — Дуся усиленно жевала, приглушая в себе слух челюстной работой, всем было стыдно.

— Сегодня мы устроим бал! — объявил Пал Палыч, разливая коньяк по рюмкам. — Бал, переходящий в свадьбу. Покончено с холостяцкой жизнью. Вручаю ключ от своей свободы лучшей женщине Нечерноземья. Хозяин! — повернулся он к Демину. — Приготовишь молодоженам боковушку, только подальше от тухлой рыбы!.. — и захохотал.

Демина не знал, что подобное бывает среди людей. Этот приезжий впервые видит женщину, отнюдь не девчонку, не вертихвостку — вдову и мать, в той прекрасной, грустной поре, которую называют бабьим летом, — и что он себе позволяет! А ведь Лиза ни взглядом, ни жестом не поощрила его к такому поведению. Застенчивая, тихая... Гостеприимство и великодушие боролись в Демине с оскорбленным чувством. И опять ему казалось, что все это он уже видел: разнузданное ухажерство Пал Палыча, замешательство присутствующих; кажется, дальше происходило что-то совсем гадкое, но что — он не мог вспомнить, как не мог прикрепить к месту и времени смутное воспоминание.

Журналист ждал. На его глазах Пал Палыч не раз попадал впросак, но из всех житейских передраг вышел, не отступив ни на волос от своей гнило-обаятельной сути, сочетававшей хваткость и наглость со стрекозиным легкомыслием. Его выживаемость впечатляла, но журналист долистывал книгу своей жизни и хотел, чтобы на последних страницах порок был наказан, а добродетель возгоржестовала. Пока что Пал Палыч проигрывал лишь бои местного значения. Чистоплюйство, порядочность бессильны перед цинизмом. Хотелось верить, что Демин — воинствующий гуманист. Если Демин его стукнет, думал журналист, то прихлопнет как муху. Он внимательно поглядел на Демина и понял: добрый богатырь. Такой и пальцем не тронет разыгравшегося мышиноного жеребчика, слова не скажет; он поглядывает украдкой на Лизу и будто просит: потерпи, милая, черт с ним, с дураком... А хорошая пара — их хозяин и эта продавщица. Почему Демин на ней не женится?.. И тут у журналиста внезапно пропала охота в недобром самоустранении. Не ради Пал Палыча, разумеется, а ради Лизы и Демина надо вмешаться. В любом застолье случаются мгновения дружного отвлечения от общей темы. Журналист дождался такого мгновения и шепнул Пал Палычу:

— Угомонитесь!.. Это подруга Демина.

— Как?! Почему не предупредили?.. Хорошенькая история!..

Пал Палыч скосил бледно-голубой глаз на Демина. Тот сидел над нетронутой рюмкой; загорело-каленное лицо с капельками пота на лбу, клетчатая рубашка расстегнута на широченной, тоже загорелой, поросшей седеющим волосом груди, пудовые кулаки отдыхают на столешнице. Воображение Пал Палыча разыгралось...

— Разгонную! — крикнул он, вскочив. — Пошутили, почесали языки, посмеялись — пора и за работу. Обеденный перерыв кончился. Мы-то бездельничаем, а Любушке и Лизаньке пора обслуживать покупателей, Дусеньке — наводить чистоту. Предлагаю тост: за культурную торговлю. И чтобы покупатель был взаимно вежлив с продавцом. Внешняя торговля — оплот мира, она соединяет народы и государства. Но миротворчеству, сближению людей служит всякая торговля, в том числе сельская...

Снаружи донесся сильный стук: нетерпеливые покупатели рвались в магазин.

Завмаг Люба двинула стулом, готовая к сближению с покупателями.

— Успокойтесь, — шепнул Пал Палычу журналист, — он не будет вас бить.

— За советскую торговлю! — провозгласил Пал Палыч, опрокинул рюмку в рот и выметнулся из-за стола.

Через несколько минут журналист нашел его за штабелем дров.

— Ну, что? Угомонился наш ревнивец? — с улыбкой, но несколько нервно спросил Пал Палыч.

— А разве он буйствовал? Терпеливо сносил ваше хамство.

— Откуда мне было знать?.. Вам кто сказал?..

— Никто. Это и слепому видно. Но вы настолько эгоцентричны...

— Я увлекающаяся натура! — перебил Пал Палыч. — Ладно. По-моему, я здорово запудрил им мозги. Кстати, вы не обратили внимания: напротив нашей избы целый день в окне — очаровательная мордашка. Спелая рожь, молоко, васильки. Если б не чисто русский тип, ей-богу, Ренуар...

— Успокойтесь. Это жена младшего Демина.

— С ума сойти! — взвился Пал Палыч. — Братья-разбойники! Расхватили всех лучших баб. А мне что — на Дусю кидаться? К черту!.. Вы домой?.. Я хочу заглянуть в божий храм...

— ...Слушай, — сказал Демин Лизе, — я приду сегодня.

— Боюсь, сын придет.

— Да что он — маленький, не знает?

— Знает, конечно, — вздохнула женщина. — Все знают... Может, другой раз?

— Смотри... — сказал Демин, отводя глаза, налитые тоской.

— Ты что? — спросила она озабоченно. — Неужели из-за этого таракана?.. — Она прыснула. — Господи, да по мне!..

— Нет, — сказал Демин. — При чем тут этот?..

Он не знал слов, чтобы сказать о том, что его томило. А слова были простые, как трава, но не шли на ум.

— Так чего же ты?.. — допытывалась Лиза.

— Не знаю... Давай поженимся.

— Еще чего?.. — Ее яркие скулы побледнели. — Мой поезд ушел. Найди молодую. Тебе дитя нужно. Слушай... ладно, может, Колька и не придет...

...Лишь во второй половине дня, прихватив гостинцев для изнемогающих в заброшенном Пёрхове старух и забрав Жорку, Демин отправился за дальним сеном. Немного распогодилось, в небе появились синие промоины, и в них, будто истосковавшись по земле, лупило солнце. Шевельнулась надежда, что, вопреки мрачным прогнозам метеослужбы и бушующему над Тянь-Шанем антициклону, погода установится. Уж больно хотелось этому верить, ведь что ни год, то потоп, то засуха, и вообще не стало ровного, справедливого на дождь и ведро лета. Можно впрямь поверить старухам, что продырявило кровлю над землей, отчего не стало защиты от всякой вражды.

По дороге Демин поведал брату о своей встрече и разговорах с председателем. Из всего услышанного Жорка заинтересовался лишь тем, что касалось дорог, и сразу стал тереть свою черепушку. Демин уже жалел, что коснулся запретной темы, вредно это для Жорки.

— Значит, он так ни черта и не понял? — морщась, спросил Жорка.

— А чего понимать-то?.. Он человек зависимый, что прикажут, то и делает.

— А вот Миликян из «Богатыря» взял да и построил дорогу. И никого не спрашивал. А «Богатырь» сейчас — лучший колхоз в области. И молодежи в нем полно.

— У Миликяна высшее агрономическое образование, его где хошь с руками оторвут. Да и в Армении полно родни. Чего ему бояться? А нашему Афанасьичу коли дадут по шее, уже не встанет.

— А ты думал, братуша, — сказал Жорка с каким-то странным светом в дымчато-голубых, как у младенца, глазах, — что на войне люди погибали не только за Москву или Ленинград или за взятие рейхстага, а за безымянную высоту, за речушку, вроде нашей Лягвы, даже за болотную кочку?

— Ну и что?

— А то... Почему мы сейчас так за себя боимся? Ну, снимут с работы, ну, еще чего... Подумаешь!.. Ради стоящего-то дела, а?.. То, вишь, и речушка, как кот насыкал, и болотная кочка столь для родины важны, что жизни не жалко. А сейчас, выходит, нету вообще ничего такого, за что пострадать не страшно?

Демин жалел, что затеял этот разговор. Он не знал, может ли доказательно возразить или всякие возражения хитры и ничтожны, а настоящая правота у Жорки, но знал, что разговор этот брату вреден, и попытался все свести к шутке:

— Постой, ты же завязал с дорогами?

— Да ну, глупость какая! Сказал со злости... Не будет дорог, не будет улиц — и ни хрена не будет. Сам же понимаешь.

Огромная лужа, обдавшая лобовое стекло мутной волной, избавила Демина от ответа...

...К удивлению братьев, в покинутом Пёрхове занялась какая-то новая, странная жизнь, посторонняя тем древним местным сельчанам, которые еще теплили свою свечу. Пёрхово давно уже отключили от электросети, сняли со снабжения продуктами и хлебом. Но деревня не померла. Тут обосновались, пусть временно, сезонно, пришлые из города люди. Они населили покинутые избы, затопили печи, чего-то посадили в огородах, очистили их от сорняков, развешали белье на веревках. Не очень понятно было, как они добирались сюда, но добирались и за это пользовались здешним чистым воздухом и здешней тишиной, добрым лесом, прозрачным мелководьем Лягвы, купались, ловили рыбу и раков; наверное, об них грелись и местные старухи, чего-то им перепало от пришельцев, и, видать, не так уж бедно, коли дары Демина были приняты хотя и благодарно, но без надрыва.

Эти перемены особенно удивляли старшего Демина: недели полторы назад, когда он косил тут, то не приметил какого-либо

оживления, деревня покорно сползала в смерть. То ли городские еще не съехались, то ли в погожий день все были на речке, в лесу, то ли ему застило зрение. А Жорка взыграл и, склонный к радению о народной пользе, уже трудил свою большую голову, как надо было бы использовать Пёрхово. Объяснить его дачной зоной и сдавать дома от колхоза, создать базу для грибников и ягодников и, обратно, взимать за аренду, оборудовать привал для рыбаков и охотников, тоже, разумеется, не бесплатный, а все выроченные средства пустить на дорожное строительство. В одержимости Жорки было что-то пугающее...

Рассуждения брата и оживленный вид Пёрхова нарушили привычные грустные связи Демина с тем местом, где прошли его детство и юность, где он навсегда угадал Талю в стае веснушчатых, белобрысых, голенастых девчонок и где навсегда же ее потерял. Но это длилось недолго, слабые приметы новой жизни и оживляющие пейзаж фигуры новоселов смазались, истаяли и Жоркины речи, он опять видел заросшую бурьяном, лопухами тихую сельскую улицу — в ее запустении была опрятность, палисадники, лавочки, яблони, свешивающиеся через плетни, — свой старый, нежный мир. Но возвращение прежнего Пёрхова вместо привычной сладкой тоски принесло острую неудобную боль. Наверное, это связывалось с явлением Тали на дороге: как безнадежно изжился образ, который он нес сквозь всю свою жизнь! И ведь так же — со стороны — износился и он сам, без толку истратив себя на ожидание, на дурную упрямую игру в надежду, не желая понять, что назад дороги нет, что нельзя дважды вступить в одну и ту же реку. Даже Пёрхово, заторопившееся к исходу в последние годы, обнаружило животворные силы с появлением новых людей. Как же мог он так закоснеть, залениться омороченной душой, покорно выпуская из вялых пальцев время, которое не вернуть?..

Ему захотелось скорее к Лизе. Гонимый потоком, не дающим взглядеться в лик ускользящего бытия, лишь уцепившись за нее, как за прибрежный тальник, за ветвь плакучей ивы, сможет он остановиться, очнуться, а там и выбраться на прочный берег. Но между ним и Лизой было еще много непрожитого делового времени, необранного сена, недоезженных километров. И он покорно и мощно принялся сваливать влажное сено в кузов грузовика...

А солнце, похоже, всерьез укрепилось в небе. Светило вовсю, лишь изредка задергиваясь скользящим облачком, и пока они работали, и пока отвозили сено, и пока Демин медленно, задом, подавал машину в узкий двор, и пока скидывали сено, и пока он отводил грузовик на машинный двор, а на пути назад, раздевшись до сатиновых трусов, отмывался с мылом и мочалкой в холодной Лягве, — и тут поверилось, что это навсегда. Солнечное тепло хорошо растекалось по остывшему телу, неохота было одеваться. Какое же благо — великое и живительное — доброе летнее солнышко! Демину захотелось прочесть какие-нибудь стихи о солн-

це, в школе он их много учил. «Солнце зеленеет...», да нет, какого хрена ему зеленеть? «Травка зеленеет, солнышко блестит...» А дальше забыл. Как и все забыл, чему в детстве учился. Не помнит он стихов ни про солнце, ни про Евгения Онегина, ни про Анну Каренину. Надо достать «Родную речь» и все насквозь перечитать, а стихи выучить наизусть.

И чего он так взбодрился? Оттого что светит солнце? Или, смыс с тела грязь, пот и пыль, он заодно и с души смысл что-то дурное, липкое, что таскал не день и не год?

— Инженер! — слышалось с того берега. — Егорий мне наряд закрыл. Не возражаешь?

Там стоял знаменитый шабашник-печник Звягин, которого звали складывать печи в домах для доярок. Звягин был знатный мастер, его печи сроду не дымили, не гнали угара, а тянули так, что чуть ли не утягивали поленья в дымоход.

— Закрыл, и ладно, — отозвался Демин, не понимая, зачем Звягин сообщает ему об этом.

— Забираю я Адольфа. Ты не возражаешь?

Вон что! Значит, стакнулся с ним зятек, вопреки всем заверениям, эх же допекло его полусухим законом!

— Дай хоть с сеном кончить, — попросил Демин.

— Зашиваюсь я с печами, — хмуро сказал Звягин. — Кирпич весь битый, намаисси, пока цельный найдешь, а меня в Воропаевке ждут.

— Ладно. Незаменим Петрович. Зять не в крепости у меня. Уйдет так уйдет.

Звягин потащился навздым, оскальзываясь в грязи, а Демин сказал про себя ему вслед: хрен ты его получишь. Буду ему тайком персональную бутылку ставить. А засыпемся — Верушка простит. Ей же лучше, чтоб Адольф под приглядом чумел. Экую власть забрал над человеком яд, заключенный в бутылке! Мысли Демина соскользнули на соседнее, не менее важное: рядом с главной открытой действительностью уверенно существует вторая, теневая, которую молчаливо условились не замечать, хотя она проникла во все поры. Жорка пятнадцать суток огреб за то, что пытался дорогу построить, а хабарщики цветут и пахнут. Не может государство за всем поспевать, помнить о каждой пуговице для порток, сортирном крючке, деревенской стежке-дорожке или избухой печи. Значит, надо чего-то придумать, а не отдавать свою заботу на откуп кому не след... Заключив свои невеселые мысли привычным нутряным звуком, Демин пошел домой.

Он надел чистое белье, рубашку, вельветовые брюки, кожаную куртку, натянул короткие резиновые сапожки, а на голову — большую «грузинскую» кепку, сделанную в Москве на заказ. В полиэтиленовый мешочек сунул парфюмерно-пищевой набор — Лиза не терпела дорогих подарков и принимала лишь знаки внимания, не имеющие большой денежной цены.

Семья собиралась вечерять, но Демин не стал терять времени,

до Лизы было восемь километров грязи. Хорошо еще, что маленько подсохло, а то и к ночи не доползешь. Он, не присев, съел кусок студня, запив его кружкой парного молока, достал из закладки под кроватью бутылку «Кубанской» и вручил ее скрытым образом зятю.

— Пока не кончим с сеном, не вяжись с Васькой Звягиным. Осталось ровно ничего. А нервы я тебе поддержу.

Зять кивал, не глядя в глаза, но бутылку взял без колебаний, твердой и решительной рукой.

— Только не шуми, — попросил Демин. — Перед Верушкой стыдно. Можешь ты хоть раз тихо надраться?

— Ладно. Не гуди! — еще не выпив, но уже запальчиво отвел указания зятя.

Сильный шорох, будто горох за стенкой просыпали, отвлек Демину. Он прислушался, боясь поверить догадке, нехотя глянул за окно: опять пошел дождь. Не сильный, тонкий, надо выбрать угол зрения, чтобы разглядеть его нити, но такой может на сутки зарядить. Его не переждешь. Демин вздохнул и потянулся за дождевиком. Но тяжелый брезентовый, обметанный понизу засохшей грязью плащ грубо противоречил нарядному виду, и Демин повесил его на место.

— Хватит с тебя и болоньи, — сказал Демин дождю.

...Как быстро намокает окружающий мир. Будто не бывало долгой солнечной передышки, за несколько минут замесилась вновь рыжая грязь, вспухли, пошли пузырями лужи, нагрузили влагой растения и драгоценно, глянцево зазеленела давленная кожа громадных лопухов.

Скользко. Остановился. Выхватил кол из тына. Пошел дальше. Небо какое-то рваное, клочьями вниз свисает, по верхушкам деревьев метет. И видно, как стряхиваются с исчерна-серых косм капли. А затем происходит дождь в дожде. С белесой глади — солнышко маленько подсвечивает с исподу — высевается дождевая пыль, а сквозь нее вдруг прорывается крупный косой дождь из сумрачных, низко свисающих туч. Обдало все, что есть на земле, отбарабанило по кожаным лопухам и сгнуло. С минуту-другую кажется, что дождь вовсе перестал, а нет, к мокрому лицу будто паутинка липнет — по-прежнему сочится бледная высь. Новый охлест, на этот раз сзади, в спину, бросает вперед по скользоте.

И раз Демин не удержался на ногах, но сумел упасть не в грязь, а на травяную обочину. Раздалась лопухо-репейно-подорожниковая поросль, мягко приняв беспомощное тело. Подымаясь, схватился за волчек, раскровянил о колючки ладонь, по спине холодные струйки ползут — налило за ворот. Демин рассмеялся над своей дурацкой неудачей: Адольф так не кувыркается, когда вдугаря пьяный домой ползет. Надо внимательней быть, больно ты горяч, брат Демин!..

Мать честная, во что превратились его фартовые брючки — до колен захлестаны, а на заднице глиняный блин. Демин соскреб нашлапку, а штанины трогать не стал — все равно без пользы. Хорошо, что догадался забросить к Лизе пару джинсов, будет во что переодеться. И рубашка там у него есть — Лиза сама ему в магазине взяла. Надо бы забросить туда и другую амуницию: трусики, майки, носки, ботинки. Сейчас придется ему джинсы на голое тело надеть, чуваки мягкие тоже найдутся, а майку он Лизину натянет. Лиза не толстая; но крупная, ширококостная, на него ее майка влезет, только на груди будут торчать две шишечки — от ее сосков.

Он вспомнил теплоту ее груди, всего большого доброго тела, ласковых, легких рук, вспомнил упор крепких скул и сладкую влагу рта, и от всех этих волнующих воспоминаний заторопился, сердяга, и запахал брюхом в грязь. Он и не заметил, как его скосило. Может, он убыстрил шаг, но ставил ноги твердо, не скользил, может, из земли торчало и за штанину зацепилось, может, травяная плеть сапог захлестнула.

А болонья от сильной мокрети не защищает, пустая вещь — для городских игрушечных условий. Он промок насквозь. Надо было дождевик натянуть. Дофорсился, Демин, придешь свинья свиньей. Конечно, Лизаню этим не смутить, она его в любом виде примет — на редкость преданный человек. А может, любящий?.. Демин усмехнулся. Ишь чего захотел, старый пес. Рассластился. Тебя и молодого не полюбили, когда волос был густой и темный, и зубы все на месте, и кожа гладкая, и глаз веселый, а кому ты сейчас нужен, сушеная вобла? От одиночества, пустоты не гонит тебя вон вдовая женщина. Мужики-то нынешние — или женатики, или пьянь, а ты свободный и трезвый, не за бутылкой тащишься.

И тут ему захотелось выпить. Не просто дернуть стакан, а культурному, с Лизой, в теплой избе, под селедочку и рассыпчатую вареную картошку. А после — чая с медом надуться, грея руки о фарфоровую чашку и глядя, как плавно и повертливо движется Лиза по избе, чего-то готовя на ночь, а потом слышать спиной, как она взбивает подушки в спальне, оправляет постель. И дожить до ночи с нею, и освободиться от всего налипшего на душу за сегодняшней больной день, и чтобы навсегда сгинула темнолицая старуха на росстани с поднятой, будто проклинаящей рукой, и живое страдание стало боу грустной памятью. И все это без слов, без тщетных потуг высказаться, он не говорун, не умеет сорить словами, да это и не нужно с Лизой, при ней тишина становится умной.

И опять мысль о Лизе обернулась нетерпением, а нетерпение — новым нырком в грязь. Демин не спешил подняться, он уже промок насквозь. Руки, выше часов — на левой, выше японской браслетки от сосудистого давления — на правой, провалились в грязь, и Демин спокойно опирался на них, чтобы сохра-

нить полусидячее положение и рассчитать дальнейший путь. Нельзя ему сейчас думать о Лизе, а то он сроду не дойдет. Надо думать о чем-то успокаивающем, придающем шагу степенность. О ком же ему думать? О матери — стара, плоха, никакой тут не будет успокоенности, о брате Жорке — как загредел на пятнадцать суток за горячую свою честность? О племяннике — справный малый, да в армию идет, все равно жалко, о Жоркиной жене, о картинке писаной, обратно за брата переживаешь; о Верушке и ее благоверном думать — душу рвать, вот о двоюродном брате, о саратовском Сенечке можно думать — у него все красиво — и в работе и в быту. Решено: он будет думать о Сенечке, сколько хватит, а там, может, еще какая легкая мысль зацепится.

Демин обтер руки мокрой травой и поднялся с земли. Дождь проредился, впереди за бугром открылась луковками и крестами церковь. Мать честная, огорчился Демин, шел-шел, а и двух километров не прошел, это когда же доберется он до Лизаветы? По левую руку зеленая луговина полого уходила к густому ивняку, скрывавшему узкую Лягву. Там паслась по конскому щавелю лошадь темной масти. Такой у них в колхозе не значилось. И тут Демин сообразил, что это Соловый, прозванный так за расцветку старый мерин. А потемнел — от дождя. Шальная мысль пришла ему в голову: прискакать к Лизе на коне. Конечно, по такой дороге не поскачешь, особенно без поводьев и седла, но и шагком доехать все лучше, чем вот так — окарачь.

Демин пошел через луг, ставший топким болотом, вода заливала в короткие сапожки, но это уже не имело значения. Пощипывая траву, равнодушный к секущему его дождю, Соловый медленно удалялся к реке. Демин позвал его, но тот и ухом не повел. Кажется бы, в сиротливой своей неприютности он должен был откликнуться человеческому голосу, но старому мерину надоели люди. Он знал, что от них не может быть ничего, кроме докуки. Когда Демин положил ему ладонь на шею, Соловый не отозвался даже вздрогом кожи, не повел глазом, залепленным мокрой челкой. Приговаривая что-то ласковое, Демин соображал, как бы на него взобраться. В детстве Демин был лихим наездником, не боялся даже злых, закидистых кобыл, но с той далекой поры и близко не подходил к лошади. Чтобы сесть на неоседланную лошадь, надо упасть на нее животом и, держась за холку, перекинуть через круп ногу. Он так и хотел сделать, да, видимо, недопрыгнул и сполз назад. Изловчившись, он подпрыгнул, как мог, высоко, упал брюхом на скользкую спину Солового, но перекинуть ногу не сумел. Забылся молодой навыв, ногам его ловко с педалями машины, не с телом животного. Соловый отказывался ему помочь. Он вскинул голову, всхрапнул, затрусил боком, прогнулся, рванул вперед, и Демин оказался на земле. Соловый сразу стал и, не оглянувшись на поверженного человека, принялся пощипывать траву.

Было не больно, а обидно. Что стоит этой кормленной скотине оказать снисхождение путнику? Какие особые труды несет мерин

в колхозе? Ну, воду возит, обед в поле, только и делов. Экая не-любезная скотина!.. Переупрямить Солового не удалось, — когда Демин в очередной раз направился к нему, мерин не спеша повернулся и кинул в него задними ногами.

— Ну и черт с тобой! — обиделся Демин и побрел через луг к дороге...

...Дальше все было не по правде. Ведь когда зарядит такой вот обложной дождь, он может быть сильнее или слабее, может тихо сеяться и хлестом бить, может обратиться в мельчайшую водяную пыль или кропить землю тяжелыми гулкими каплями, но чтобы сквозь него прорвался грозовой ливень, такого сроду не бывало. А вот случилось. Тугой ветер натянул пространство, уперся в грудь Демину, оборвав его шаг, дождь понесся над землей, будто лег на ветер, и вдруг исчез. Ветер ушел ввысь, разорвал и разметал серую наволочь, обнажилась грифельно-белесая рыхлость, в которой ворочались не обретавшие форму громозды, оттуда вырвался разящий блеск, задержавшись точками слепоты в зрачках, гром и ливень рухнули одновременно.

Ослепленный, оглушенный, сбитый с толку, Демин пришел в себя меж мраморных надгробий, гранитных плит и металлических оград старого церковного кладбища. Над кладбищем смыкались кроны высоченных вязов, задерживая ливень. Демин вытер лицо носовым платком, проморгался. Перед ним был старый гранитный голбец с золоченой, почти осыпавшейся надписью: «Драгоценному супругу — безутешная вдова». Вон как — драгоценному!.. От безутешной!.. Надпись была с буквой «ять». Давно истлели в земле гробы и заключенная в них плоть, а память о далекой супружеской любви жива и поныне. Ах, как хорошо оставить по себе безутешную вдову! Демин представил себе черный вдовий, плотно повязанный платок, из траурной рамы с тихой скорбью глядят теплые карие глаза, и одинокая слеза вычерчивает дорожку по крутой скуле. До чего легко и удобно вместились Лиза в примечанный образ!..

Демин заметил свет, пробивающийся из церковных дверей. Шла служба, очевидно, поздняя обедня. Демин не больно разбирался в обрядах, в церковь он ни ногой. Не только потому, что был членом партии. Разве не бывает таких — с партийным билетом в кармане, что и детей крестят, и покойников отпевают, и куличи святят, а схваченные за руку, трусливо брусят, что в бога на иконах не верят, но допускают что-то такое — высшее. Демин не успел поверить в бога в раннем детстве, а вся последующая жизнь с войной, голодом, разрухой, трудом и усталостью, личными неудачами не могла убедить его в противном. Демин был знаком с батюшкой, недавно заменившим совсем одряхлевшего благочинного. Он наивно спрашивал у Демина разрешения на заказ Федосеичу какой-нибудь вьюшки или дверного засова. Опираясь внутренне на свое знакомство с попом, Демин счел удобным зайти в церковь погреться.

Шла служба. Демин следил за уверенными и хоть не торопливыми, но слишком деловыми движениями батюшки, человека лет сорока, с худым скуластым лицом, слушал его теноровый, жестковатый голос и удивлялся: нормальный мужик, небось в армии отслужил, почему же выбрал окольную тропку, идущую мимо всего, чем дышит страна, а ведь мог бы и в сельском хозяйстве работать, и в школе преподавать. У него семья есть, дочка с сыном — школьники, еще не успел их с прежнего места перевезти, поди, ребятишкам не больно ловко, что их отец — долгогривый.

Подсобляли священнику две черные легконогие старухи из церковной десятки. Еще шесть-семь старух истово молились и клали поклоны. Не густо. Да кто потащится по такой погоде в церковь? Мать, впрочем, говорила, что в любое время тут пусто. Как только держится приход при такой слабой посещаемости храма?.. Набрав в грудь медово-восковистого духа, Демин двинулся в глубь храма, где было теплее, но тут окончилась служба.

Разоблачившийся в ризнице, стройный и тонкий в черном стихаре, священник подошел к Демину поздороваться. Не желая быть заподозренным в религиозном усердии, Демин поспешил сообщить, что пробирается в Усково, а в храме укрылся от ливня.

Чуть приметная улыбка тронула бледные губы.

— Лишь важная цель может погнать человека за порог в такую непогоду.

— Куда уж важнее!.. — пробормотал Демин, которому показалось, что поп видит его насквозь.

— Вы не обижены за вашего постояльца? — Голос звучал вкрадчиво.

Демин не понял.

— Явился некий муж, видом странен и непригляден, взором непокоен и быстр. — Деланно-шутливый тон прикрывал тревогу. — Сообщил о гостеприимстве, оказанном ему вами, и поинтересовался иконами.

— Вон-на!.. — только и сказал Демин.

— По его мнению, в домах у местных жителей завалились черные доски, и он просил меня стать его э м и с с а р о м по спасению еще не расхищенных художественных ценностей.

Надо же, никак не угомонятся, разбойники! Все лезут, лезут, и грязь, и бездорожье им ничем... Сколько же скопила русская деревня, если до сих пор к ней тянутся жадные, заgreбущие лапы?..

— Он полагал, — все неуверенней продолжал поп, — что в церковных запасниках есть лишние, по его выражению, предметы.

— Вы хорошо турнули его, батюшка? — с надеждой спросил Демин.

Улыбка облегчения тронула тонкие бледные губы.

— Памятуя, что Христос изгнал мытарей из храма, я вежливо, но решительно указал ему на дверь.

— Вот и славно! — Демин понял наконец, что беспокоило священника. — Обогрелся. Спасибо. Мне пора.

— Возьмите фонарик, — и, предупреждая отказ, — у меня этого добра, как в магазине.

Демин сунул фонарик в карман и протянул руку.

— Семью привезешь — транспорт завсегда. Только скажи загодя. — Доверчивым «ты» Демин как бы скрепил временный союз светской и церковной власти против шустрого браконьера...

Фонарик был с динамкой, давно уже такие не попадались Демину; он нажал на рычажок и выдавил бледное пятно света. В церковном дворе было темно от деревьев и высокой каменной ограды, а небо еще не налилось ночью — дымно-палевое от закатившегося, но еще творящего свет солнца.

Ливень кончился. Изредка по лопухам гулкали полно-слитые капли, то ли стяхивались с деревьев, то ли опроставшиеся тучи, уходя, отжимали остатную влагу. От земли тянуло легким куrom. Надробья призрачно выступали из замешанного туманом сумрака. Фонарик света не прибавлял, ему нужна чистая ночная темнота. Демин шел осторожно, опробовать землю впереди себя было нечем — кол где-то потерялся. Тепло, которым он не успел как следует пропитаться, покидало его знобкой дрожью. Выйдя за ограду, он не столько увидел с бугра, сколько почувствовал большое неприятное пространство, отделявшее его от Лизы. Он как будто сначала начинал свой путь.

...Время приближалось к полуночи, когда задремавшая в кухне Лиза слышала скрип нарочно не запертой входной двери и шаркающие шаги в темных сенях. Спросенок она не сразу сообразила, кто это может быть. Потом к ней вернулась память: она ждала Демина, обещавшего прийти, но дождалась сына — пэтэушника, учившегося в райцентре. Он предупреждал, что может явиться в субботу, если у них отменят вечер самодеятельности. Она сказала Демину, но тот не поверил, настоял на своем. Жизнь, как всегда, распорядилась по-дурному. Если б Демин не собирался к ней, сын приехал бы в воскресенье, если б вообще приехал, — путь из райцентра в плохую погоду не больно заманчив. Но все же куда лучше, чем из Дубасова, особенно с того края деревни, где живет Демин. Каково ему тащиться сюда по грязи и дождю и получить от ворот поворот! Мужик замотан хуже некуда, как еще хватает сил думать о любви. Всю жизнь один, вот и не успел истратиться... Но Демина все не было. Они поужинали, сын куда-то выходил и скоро вернулся, молчаливый, злой, выпил бутылку воды «Байкал», лег спать. Она осталась в кухне. Лиза знала обязательный характер Демина и не сомневалась, что он придет. Она вздрагивала при каждом хлесте дождя в оконное стекло, представляя, каково сейчас путнику на дороге. Потом разразилась гроза с обложным ливнем и молниями, взблескивающими одна в другую, и Лиза взмолилась, чтобы Демин не шел к ней, чтобы он

загодя раздумал идти. Она почти убедила себя в том, что он оказался человеком предусмотрительным и не высунулся из дома. Но все-таки осталась в кухне и задремала, положив руки на кухонный стол, а голову — на руки. Она не заметила, что уснула, и не знала, что спит, потому что ей ничего не снилось. А потом — скрип двери, тяжелые шаги, и вот он стоит перед ней, слышно дыша, мокрый, грязный, заляпанный с ног до головы глиной, с рассеченной губой и подбитым глазом.

— Миня!.. Да что же это с тобой?..

— С мостков свалился, — хрипло ответил Демин. Он прочистил горло и, отвернувшись, сплюнул за порог. Затем вынул что-то из-под болоньи. — Держи.

Она не любила подарков, но сейчас взяла не споря и положила на подоконник.

— Жалкий ты мой, — сказал женщина. — Нельзя ко мне. Сын приехал.

— Давно? — бессмысленно спросил Демин.

Странно, но в глубине души он знал, что так и не достигнет Лизы. Он все время ждал той последней помехи, которая оборвет ему путь. Выбор был большой: неудачное падение, удар копытом в лоб, молния, гнилые мостки. Последние едва не сработали, бросив его лицом на комель вставшего торчком бревна, но судьба рассудила иначе — разминуться с Лизой у самого ее сердца. Быстро перекатился через память весь проделанный путь, он поймал готовый сорваться взвой и словно проглотил его. Больно оцарапало гортань.

— Какая теперь разница? — услышал он и догадался, что спрашивал о чем-то сто лет назад. — Завтра к вечеру уедет.

Понятно, речь шла о сыне. Демин не хотел, чтобы Лиза переживала. Никакой вины на ней нет. Это жизнь всех виноватит без смысла и разбора.

— Путем. Тогда и забегу, — сказал он, зная, что завтрашний день не оставит ему ни времени, ни сил.

Она тоже это знала и не хотела, чтобы Демин выглядел обманщиком:

— Чего загадывать? Там видно будет.

— Ну, я пошел, — сказал Демин.

— Погоди.

Лиза намочила полотенце под рукомойником и протерла ему лицо.

— Йодом прижечь?

— Не люблю — щиплет. На мне как на собаке заживет. Бывай.

— Постой! — Она сунулась к буфету, достала коробку, завернутую в целлофан, протянула Демину. — Сегодня завезли.

Он взял коробку и рукой мгновенно угадал подарочный набор: духи, пудра, шоколад, баночка икры, копченая сосиска и гаванская сигара. Все правильно, за этим он и шел. Он хотел коснуть-

ся Лизы — благодарно, прощально, печально, но побоялся испачкать ее. Ладно, обойдемся.

Зажужжал в руке фонарик с динамкой. Он шел, ступая в бледное пятно света. Все сущее вмещалось в этот маленький круг: он сам, клочок грязной земли и влажная яркая мурава, больше не было ничего: тьма. Пойдет ли он еще в Лизе? Не в том дело, что сын приехал. Сегодня сын, завтра племянница, послезавтра бывшая свекровь, а там постирушка затеется или еще чего. Он не вмещается в Лизино время, он — посторонний. И она не хочет, чтобы он стал ей другим. Нет у нее для него душевного места, оно занято сыном, родней, памятью о прежней жизни, разными заботами, и ничего менять она не хочет. А места в ее постели, когда она удосужится пустить, теперь ему почему-то мало. Демин еще не знал, больно ли это открытие — не беден на них оказался сегодняшней день! — хочет ли быть всегда с Лизой?.. Ответа он не знал. Знал только, что нельзя больше одному...

РЕКА ГЕРАКЛИТА

РАССКАЗ

В нынешнем году я нарушил давний обычай никуда не ездить в летние месяцы. Путешествую я только весной и осенью. Летом мне слишком жадно работается и хорошо думается, чтобы бросать привычную подмосковную жизнь с твердо налаженным бытом, книгами и мчаться куда-то. Но с некоторых пор начались перебои в безотказно работавшем механизме, мне словно чего-то недостает, и это мешает жить и работать. С удивлением я открыл для себя, какую важную роль играли в летние месяцы те два-три часа, которые я проводил в лесу. Здесь, а не за письменным столом, происходила главная работа сочинительства. И вовсе не потому, что исхоженный вдоль и поперек лес помогал внутренней сосредоточенности, а потому, что он меня все время будоражил, загадывал разные загадки и тем поощрял душевную работу. Но в последнее время мне перестало хватать того малого пространства в излучинах Десны-подмосковной, где проходит моя жизнь.

Четверть века каждая прогулка приносила какие-то открытия, теперь я тяну пустые сети. Прежние погружения в неведомое превратились в гигиенические моционы, по отсутствию впечатления это почти бег на месте. Моя душа молчит, не отзываясь более тому, что уже было, было, без счета было...

И вот недавно друзья напомнили мне, что я живу близ границы чудесной страны, именуемой Калужская область, страны, причастной боли и славе России; там прекрасная Калуга смотрится с высоты в полные воды Оки, принимающей в себя Угру и Сухо-

древ, там леса, богатые ягодой и грибами, исторические города, старинные монастыри и памятные места великих битв. И там у них в деревне Мятлево над Угрой есть приобретенная в полную собственность «без гарантий» изба, готовая приютить меня. Я перенесусь в другую действительность, как бы не уезжая, не порывая с привычем, держащим меня в рабочем режиме. Это то, что мне нужно: путешествие души, а не физическое наматывание верст. Нежданный приезд из Таллинна старого приятеля Грациуса избавил меня от последних колебаний. Белесый со стальным отливом, с острым профилем хорсой и неславянской холодной голубизной глаз, с тощим и ловким телом, Грациус считает себя потомком скандинавских морских бродяг. Он на редкость многогранен: ученый-библиофил, собиратель антиквариата, знаток иконописи и старой русской живописи, полиглот, кладезь всевозможных сведений. Предкам Грациуса не сиделось на месте, мой приятель унаследовал их географическое беспокойство. Он вечно в разъездах, часто без повода и цели. Узнав, что друзья пригласили меня в Мятлево, он тут же воспыал любовью к калужской земле, с которой связаны величайшие русские судьбы. Грациус так и сыпал именами: протопоп Аввакум, боярыни Морозова и Урусова, Баженов и Чебышев, Пушкин, Лев Толстой, маршал Жуков, Марина Цветаева... Мне сообщился его энтузиазм. Никогда еще не покидал я дом так беспечно...

...Он будто ждал моего приезда — сосед наших мятлевских хозяев, невысокий, узкий в плечах, жилистый человек в розовой выгоревшей майке, заношенных брючонках, едва державшихся на тазовых костях, и кепке-восьмигранке. Лицо, открытые до плеч руки были черными от загара, а под ляпочками майки и на лбу под сломанным козырьком кожа оставалась молочно-белой, как шляпка гриба поплавка. Левая нога не сгибалась в колене, и, опираясь на нее, он странно вздымался ввысь. Желтые глаза глядели заинтересованно и вроде бы ласково, но доверия не внушали. Как точны и сильны веления подсознательного в человеке! Через некоторое время я вспомнил давнишний рассказ моих друзей об их мятлевском начале. Этот желтоглазый симпатяга хватался за топор, когда они пытались вскопать огородную гряду во утоление извечной тоски горожан по своему лучку и редиске. «Нечего городским землю трогать! — надрывал он горло. — Нешто земля — чтоб на ней сеять?!» И отказались мои друзья от своего кощунственного намерения. Надо полагать, с тех пор соседские отношения как-то наладились, люди притерлись друг к другу, стало быть, и от меня требуется дружелюбие.

Перехватил он меня на пути из деревянного домика, скромно упрятавшегося в ракутнике.

— Приехали, значит? — с улыбкой сказал он и всадил хорошо наточенный топор в колоду.

Возле, прислоненные к плетню, стояли новенькие грабли — штук пять-шесть.

— Погостить, — сразу уточнил я, чтобы он не заподозрил в нас с Грациусом скрытых землевладельцев. — На несколько деньков. А вы, гляжу, грабли делаете?

— А для совхоза! — отвечал он с охоткой и некоторой иронией, как о занятии пустячным. — Расценка — два рубля. Я не переустаю: пару в день, и хватит. Можно до полдюжины нагнуть, а зачем? Я инвалид войны, при пенсии и своем хозяйстве. Дети давно отделились, только меньшей при мне. Так он механизатор. Закурим? — предложил он, вынув пачку сигарет «Мальборо».

— Откурился. — Я показал на сердце. — Откуда такие?

— Из нашего сельпо. Лежат навалом. Их мало берут: дорогие и слабые. Дыма не боитесь?

— На воздухе?.. А что еще там есть?

— Ром ямайский. Наш портвечок, конечно. Седло хорошее, со стременами. Детские коляски. А так пока больше ничего.

Он закурил, пустил ароматный дымок, и мы присели на скамейку возле его дома.

— Здесь у нас трудоспособных всего трое, — сообщил он доверительно. — Венька-задумчивый, Нюрка-блоха и мой Василий. Остальные на пенсии. Мы с дедом Пекой и Вакушкой — инвалиды войны, а женский мир — по годам.

Если мне не доставало информации, то Алексей Тимофеевич (имя соседа) томился невозможностью делиться ею. Мы должны сойтись.

— Где ранило? — спросил я.

— На Курской дуге.

— А немец тут был?

— Обязательно! Полдеревни спалил. Это же огромная деревня была, в три улицы. А уж отстраивалась — в одну, вон в какую длинную.

Когда мы въехали в Мятлево, как раз напротив сельпо, значит, примерно посередине, улица не просматривалась до конца ни вправо, ни влево. Дома крепкие, под тесом или под железом, опрятные палисадники, справные дворы. При всем том деревня казалась заброшенной: трубы не дымились, редко возле какой избы увидишь кур или уток, еще реже — телка на привязи или поросенка в луже. И духом жилим не тянуло. Загадку эту разгадать просто: местных жителей — раз-два, и обчелся, а остальные — приезжие из города. Иные являются на конец недели, иные — на ягодный или грибной сезон. Я спросил Алексея Тимофеевича, сколько тут коренного населения.

— Дворов пятнадцать наберется, — подумав, ответил он. — Остальные с Калуги, Медыни, Москвы.

— Не скучно?

— Кому?

— Вам.

— Нам? А когда скучать-то? Днем работаешь. Телевизор цветной. Река рядом. Которые рыбу удят.

— Хорошо клюет?

— Кто?

— Рыба, кто же еще?

— Рыба тут вовсе не клюет. А рыбачок, бывает, так наклюется, что домой не доползет. А вы что — рыбалить приехали?

— Хотим поподробнее.

— Здесь — пустое... У моста надо ловить. Вы проезжали.

— Это через Угру?

— Да. Стало быть, видели рыбачков...

Из дома вышла и, по-утиному раскачиваясь, прошла мимо нас с поганим ведром низенькая, коренастая, широкая в крестце старуха. В растянутых мочках качались круглые серебряные серьги. Я поклонился. Она угрюмо, не глянув, ответила.

— Моя... молодая, — усмехнувшись, сказал Алексей Тимофеевич.

— Недовольна, что я вас от работы отрываю?

— А куда она денется, эта работа? — сказал он пренебрежительно. — Думает, что мы насчет бутылки соображаем.

— Не любит?

— А кто из женщин любит, чтобы мужик пил?.. Разве которая сама зашибает. Но в деревнях такие — редкость.. Моя насчет этого сильно строга. Мы с ней недавно, еще, можно сказать, приглядываемся... Жена, с которой я жизнь прожил, летошний год преставилась. Мы с ней четырех сыновей настрогали и дочку. Эту я для хозяйства пустил. Чи жало, знаете, двум мужикам без бабы, особенно когда корова.

— Значит, действительно молодая. Я думал, вы шутите.

— Молодая, как есть!.. И с идромом. Пришла сюда в охотку. Трех овец пригнала, свинью с поросенком и стадо гусей — восемь носов. Мужик у ней сильно раненный с войны пришел, лет пять помаялся и помер. Есть дочь замужняя, за Полотняным Заводом живет, но матерю к себе не просит. Муж сильно зашибает и в чумовом состоянии за топор хватается. А ведь известно, как зятя тещ уважают... Обрадовалась моя Татьяна замуж. И скучно одной, и любит хозяйствовать, а для себя одной — без интересу. Опять же, у меня корова. Пришла она, и все у ей закипело. К телевизору не присядет, до того занята. Зачем она так ломается — другой вопрос. Павлинов жареных мы не едали и сейчас не едим. А щи с кашей и раньше кушали. Да раз охота весь день суетиться — на здоровье. Только дай и другим свой интерес иметь. А она против этого интереса восстала.

Я не стал спрашивать, в чем состоит «интерес», вызвавший недовольство «молодой», и Алексей Тимофеевич почел за лишнее объяснять — и так все понятно.

— Она, надо сказать, не из ругательных старух. Только повор-

чит себе под нос и дальше вкалывает. Но внутри соображает. У ней в черепушке все время работа идет, я сроду таких не встречал. Жена-покойница голову иные дни вовсе не включала, меньшей, разве когда на курсах механизаторов учился, будкой пользовался, а так мог бы на погребе держать, сам я, правда, из мыслящих. Переживаний много было, обратно же — война. Мы как с Венькой-задумчивым сходимся — страшное дело, не продохнуть от мыслей. Но тоже — увлечешься граблями или еще чем, после спохватывшись, батюшки, когда же я в последний раз думал?! Вот вы человек, конечно, городской, от мозга головного кормитесь, а много вы о серьезном думаете?

— Нет, — честно признался я, — самую малость. Знаете, был такой француз Паскаль, знаменитый философ, ну, ученый, который...

— А я знаю, что такое философ, — спокойно прервал Алексей Тимофеевич. — Это который, поддав, за мировое устройство переживает. Раньше за такое по головке не гладили.

— А еще раньше на кострах сжигали. Но Паскаля не сожгли. Хитрый был, пил втихаря, за языком следил. Однако считался умнейшим человеком своего времени. А перед смертью признался, что о серьезном думал в редчайших случаях.

— Но, видать, дельно, раз о нем помнят... Молодая не как энтот... она всю дорогу в размышлениях, серьезных — сроду не улыбнется. Но вслух не высказывается, про себя копит. А потом действует. Так и у нас вышло. Мы с сыном в воскресенье еще рассольничком не поправились, а по деревне облако запылило: погнала молодая свое стадо к дочери. И списываться не стала, сама все решила. Даже зятя не забоялась. Из дома иголки не взяла, но своего не забыла. Мы от удивления обратно наглохталась.

«Молодая» прошла мимо нас уже с пустым ведром и бросила тот же угрюмый, недружелюбный взгляд.

— Это соседей наших гость, — счел нужным определить меня Алексей Тимофеевич. — Он не по мою душу. Напрасно супишься.

«Молодая» не отозвалась, зашла в дом и сразу вернулась с решетом ранних падалиц и свернула за другой угол дома.

— Вот бабье! — усмехнулся Алексей Тимофеевич. — Только выпивка в башке, будто у людей другого разговора нету. Надо ж, дурь какая!..

— Ну, и чем же все кончилось? — спросил я.

— Чего кончилось?

— Да с женой...

— С этой?.. А у нас ничего не кончилось. Я же говорил: ушла она к дочери и всю живность угнала. Окромя, конечно, коровы. Ну, а мужик нешто с коровой управится? Я ее к сыну старшему свел. Пусть молоком семейство попользуется. Он ее сразу продал. И телевизор цветной купил, а мне фонарик карманный, только к

нему батареек нету. Останные деньги, конечно, прогулял. И тут наша графиня надумала вернуться. Не показалось ей у дочери. Скушно. И зять балует. Вообще-то он смиренный, а выпимши — сразу за топор. Больше для куража, но лавки, столы рубит.

— И часто он запивает?

— Запивают — которые запойные. Он каждый день пьет. Не сказать, что помногу, а бутылку бормотухи принимает. От нее, правда, чумеешь сильно. Ну, что такое ноль-пять красного для мужика? Но коли вскипятить, все масла, все примеси, вся вообще отравя исключительно арктивизуется. Вроде это и хорошо: рупь двадцать — и ты в лоскутья, и вроде плохо: ни поговорить, ни песню спеть, ни уважения к себе почувствовать. Отключился, и все. В общем, не ужилась у дочери наша маркиза. Коровы и той нету, молоко в магазине берут, когда бывает. Гусю одному ейному зять голову срубил, а из овец обещался... как его?.. бапшык сделать. Она велела мне сказать, что назад хочет. А я в сомнениях. Вроде бы чего-то не хватает. Так хоть она по избе шастает, ругнешь когда или просто окликнешь, а тут говорить разучишься. Да и готовить я терпеть не люблю. Сын в столовке горячего похлебает, а я на сухомятке. Но вот с коровой... Больно она Пеструшку уважала. Фонарик — вещь знатная, но корову не заменит. Пошел я с Веней-задумчивым посоветоваться. Тот словами не сорит, но башка — прожектор. Веня выслушал и говорит: ставь бутылку. Сходил я в магазин, принес красного. Он говорит: моей голове бормотуха вредна. Вот те раз! Белого ближе, чем на Полотняном Заводе, не достать... А знаете, что за место такое — Полотняный Завод? Там Пушкин супругу себе взял — Наталию Николаевну Гончарову. Он тогда в картишки все как есть спустил и на богатой решил жениться. А Полотняный Завод паруса для флота ставил. Ну, это дело прошлое... Добрался я туда на попутной, а в магазине — обратно красное. Хорошо, люди научили: в «Голубом Дунае» на станции имеется «Экстра» по пять двадцать! Но что делать — взял бутылку и поездом до Льва Толстого добрался. Оттуда молоковозом — до фермы, а дальше пехтурой... Слышали, почему станцию Львом Толстым прозвали? Он там помер, когда с дому сбежал. У стрелочника в будке. Стрелочник посла с круга спился. Понять его можно. Живешь себе потихоньку, стрелку передвигаешь, выгоревшими флажками помахииваешь, и вдруг тебе как крыша на башку — невиданный гений русской земли. Заходит, ложится на лавку и помирает. Понятное дело, стрелочник не выдержал, люди с меньшего в распыл идут... Ну, сели мы с Веней, выпили, он свою белую, я красную, но кипятить не стал, чтоб из сознания не выпасть. Он долго думал, видать, то туда, то сюда ложилось, а он мужик тщательный. Наконец, говорит: до Полотняного далеко, придется в сельповском красного взять. Пушай голова поболит, зато решится крепко, как на суде. Побег я в магазин, а продавщица уже замок вешает. Не успел я крикнуть: погоди, мол, — гляжу, облако над дорогой

клубится, розовое такое от вечерней зари, а под облаком, маленько впереди, моя принцесса гонит стало: овец, свинью с поросенком и гусей, каких зять помиловал. Надоело ей ждать, а может, решила, что молчание — знак согласия, и притащилась назад. А я ей, оказывается, рад, зря, мать честная, на дурака соседа столько денег извел. Портвейчок я все ж таки успел схватить, и мы его с молодой вдвоем распили. А за корову она особо не ругалась, она по ней слезами изошла. Понять ее можно: Пеструшка хоть и тугосия, но исключительно дойная коровенка. Я обещался на грабли подналечь и другой обзавестись.

Мы еще немного поговорили, а потом зашумел трактор, подкатил к дому и стал. В кабине пусто, видимо, трактор, как самодвижущийся танк «Галлеат», управлялся на расстоянии.

— Мать! — крикнул Алексей Тимофеевич. — Василий приехал. Подсоби!..

Он пошел к трактору, и тут я увидел на земле молодого белобрысого парня, пребывающего в глубоком сне; он вывалился от толчка, когда машинально, уже в бессознательном состоянии, остановил трактор у родного порога. Невозмутимость Алексея Тимофеевича подсказывала, что ничего неожиданного в подобном возвращении с работы меньшого не было. «Молодая» не заставила себя ждать, вдвоем они подняли обмякшее тело и понесли в дом...

Внезапно я увидел, как много кругом детей. Почти как у Брейгеля на страшной картине «Играющие дети» или у Кафки в «Процессе», где они чуть было не заиграли насмерть несчастного героя. Но я плохо помню роман, к тому же читал его по-немецки, а при моем причудливом полужнании языка я частенько угадываю, вернее, придумываю не только отдельные слова, но и целые фразы, — возможно, у Кафки кочевряжащиеся дети ничем не угрожают герою. Но мне так интереснее и страшнее. Наверное, потому и пристрастился я к немецкому и английскому чтению, что, с одной стороны, это сотворчество, с другой — остается некая таинственная углубляющая недосказанность. Как-то раз я перечел по-русски один из таких досочиненных мною «готических» английских романов и был поражен его скудостью, хотя затрудняюсь сказать точно, какие бездны мне отверзались в подлиннике.

Эти дети не играли, не ломались, не безобразничали, они наблюдали и обменивались впечатлениями. И предметом их опасного любопытства был чужак, зашелец, незнакомец, короче говоря — я. Чувствуя холодок в лопатках, я напустил на себя беспечный вид и в свою очередь принялся рассматривать детей. К соседскому плетню прислонились трое: худенькая девочка с прической «конский хвост» все время поправляла что-то в своей одежде: то лялочку майки, сползшую с худенького плеча, то выкрутившийся пяткой вперед носок, то выпавшую из-под юбочки штанину; другая девочка с широким неподвижным лицом тоже не

знала покоя, ей непрерывно требовалось — выковырнуть соринку из глаза, извлечь жучка из уха, что-то выплюнуть, почесать укус на руке, прихлопнуть овода на шею, отмахнуться от слепня, потереться спиной о плетень — ни минуты покоя, как же должна она устать за день! — и странно противоречила кинетическая буря тишине неприсутствующего лица. Спокойствием, умиротворенностью веяло от третьего члена компании — толстого, крупного мальчика, одетого крайне причудливо: фуражка-капитанка, бушлатик, серые шерстяные подштанники и калоши. Капитан был ориентирован фасадом в мою сторону, но не буравил меня глазами, скорее уж со скромным достоинством предлагал для обозрения собственную персону.

От нашего дома на меня поглядывали украдкой два больших мальчика, похоже, я их уже видел, причем одного, стройного, с тонким лицом цвета слоновой кости, знал и до приезда сюда. Сталкиваясь со мной глазами, он стыдливо-зло потуплялся, уже тронутый догадкой о ценности своего внешнего воплощения. Другой мальчик был проще, он еще не ведал своей индивидуальности, оставался частью природы.

И была еще девочка лет семи, которая кралась вдоль забора, зыряка чудными блестящими глазами, я не различал их цвета, похоже, они, как стеклянные шары на клумбах, отражали цвет заглядывающего в них мира: неба, травы, цветов, птиц. На той стороне — тоже дети разного возраста, и все они смотрят на меня. Я обложен со всех сторон, бежать некуда. Как неловко и глупо стою я на ничьей земле, меж двух изб, где меня настигло грозное видение детей. Солнце бьет в глаза, кусают комары, я сроду не встречал таких едучих тварей. Но каждый жест подконтролен, и это скрывает, я робко поеживаюсь, меня не хватает на энергичный отмах.

Спасение приходит в образе моей хозяйки Веры Нестеровны, олицетворения надежности, безопасности, охраняющей силы. Она большая, у нее стиснутые, как у женщин Луки Кранаха, груди и широкий таз, тяжелые, медленные ноги; голубоглазое кукольное лицо обманывает детским простодушием, она — человек глубокий и острый.

— Самоцветов Федор, Княжевич! — накинулась она на больших мальчиков. — Вы чего за водой не идете? Сколько надо талдычить?..

И тут я вспомнил, что Княжевич — сын Веры Нестеровны, которого я знаю с младенчества, хотя видел мало. Остро ощущая чужое существование, он в присутствии посторонних начинал либо кукситься, либо ломаться, и его уводили из комнаты. К тому же с последней и давней нашей встречи он сменил облик, как змея — шкуру. С Федором Самоцветовым, его двоюродным братом, я познакомился совсем недавно, когда прибыл в Мятлево.

Бытовые интонации Веры Нестеровны сняли покров опасной тайны, расколдовали детский мир. Никто ничего не злоумышлял,

и смотрели дети не только на меня — новенького, но и друг на дружку, на кур, собак, бабочек, стрекоз, на все, населяющее пейзаж, и, конечно, на крадущуюся девочку, последнюю загадку в рассекреченном пространстве.

— Ты опять здесь? — накинулась на нее Вера Нестеровна, заземляя эльфическое создание. — А мать знает?..

Девочка изогнула спину, как гимнастка на бревне перед обратным сальто; изящным круговым движением выпрямилась, наклонилась вперед, вновь распрямилась, сплела пальцы, уронила каштановую головку к правому плечу и на мгновение застыла в позе безнадежного изнеможения. Вера Нестеровна терпеливо и сердито наблюдала этот танец умирающего лебедя. Глаза девочки жили отдельной от тела жизнью: тело лгало, притворялось, отвлекало, усыпляло враждебную силу чужой пронизательности, а глаза служили истинной сути, устремленные мимо Веры Нестеровны к средоточию всепоглощающего интереса — к романтическому Княжевичу.

— Ты бы мать пожалела! Она с ума сходит. Небось уже на реку с багром бегала. Какая же ты, Машка, непослушная! Я не велела тебе приходить.

Желтые глаза девочки — сейчас они отражали подсолнухи на сарафане Веры Нестеровны — упорным взглядом вкось и мимо заставили ту наконец обернуться.

— Мишка, паршивец, ты еще здесь? Катись за водой сейчас же! Вон Федька с ведром томится.

Мишины щеки опалово высветились, так выглядит румянец на бледно-смуглом, с чуть заметной прижелтью — цвет слоновой кости — лице. Он надменно вскинул голову, темные плотные волосы колечками завивались на стройной шее, и медленно пошел прочь. И в тот же миг Машка сгнула.

— Что за черт? — обалдело произнесла Вера Нестеровна. — «А царевна вдруг пропала, будто вовсе не бывала».

Мы одновременно обнаружили ее в репейнике на задах избы. Она пробиралась сквозь колючую поросль к колодцу. Вера Нестеровна посмотрела на меня, усмехнулась и... превратилась в соляной столб. С ней это случалось нередко — в избытке забот и жизненных интересов она не знала, за что взяться. Так и сейчас — возможностей было не счесть: готовить обед, идти на реку, зашгуковать мужу походные брюки (он собирался провести отпуск на Алтае), читать воспоминания декабриста Цебрикова, играть на лютне (у нее была лютня) или, отбросив внешнюю и внутреннюю суету, просто выкурить сигарету. Она остановилась на последнем.

Дети тоже разбрелись кто куда. Остался лишь морской капитан в серых подштанниках. Он следил за маневрами огнистого петуха, преследовавшего рябенюкую курицу. Она упорно не поддавалась домогательствам красавца. Наконец он все же потоптал ее и, сразу утратив интерес, направился к другим женам, высоко за-

дирая жилистые ошпоренные ноги. Курица отряхнулась, обронив серое перышко, и принялась расклеивать какие-то кишки. Капитан удовлетворенно покачал лобастой головой, одобряя мудрость естественной жизни, и пошел за сарай по своему морскому делу. А мне почему-то захотелось написать о князе Одоевском. Я ничего не знал о нем, кроме того, что он сочинял, ставил какие-то опыты, музицировал и слыл чудачком. Когда-то я прочел его рассказ о композиторе Бахе, о котором он в свой черед ничего не знал, но Пушкин восхищался этим рассказом и даже воскликнул, предвосхитя стилистику более поздних времен: у нас не было исторического рассказа, у нас он есть теперь. Пушкин считал себя ответственным за русскую литературу. Потому и был так снисходителен к скромным творениям своих современников, он хотел их поощрить. Но дело не в этом. Хочется написать о князе Одоевском. Что — понятия не имею. Но хочу. Должен написать. Как связаны с этим велением моя хозяйка и шестилетний капитан в серых шерстяных подштанниках, огнистый петух и рябая курочка, равно и другие местные впечатления — понятия не имею...

И был лес...

И была река...

И был вечер...

А в лесу, густом, душном, жарком, пахучем, замечательном, — комары, слепни и оводы. Мы отмахивались ветками. Вера Нестерова и Грациус курили сигарету за сигаретой, пуская дым изо рта, ноздрей, ушей, но, в отличие от воспитанного таежного гнуса, местная летучая гнусь не боится дыма. Слепни и оводы — первые, больно жая, вторые, щекочуще внедряясь в кожу, чтобы отложить там яйца, — без счета гибли от наших шлепков, но это не устрашало остальную несметь. О комарах и говорить не приходится, они чумели от нашего жизненного сока, как мятлевцы от горячей бормотухи, и расставались с жизнью в эйфорическом состоянии. Мы вышли из леса окровавленные, как из боя...

Угра — одна из лучших малых рек средней России: широкая, полноводная, упругая, с довольно сильным течением и потому чистая, с песчаным дном, не заросшая у берегов, то крутых, то плоских и всегда чистых, крепких. Чудесно было войти в прохладную воду, смыть кровь и комариные трупы, лечь на спину, закрыть глаза, и отдаться течению.

Мы долго сидели на берегу под вязами. Комары пропали. Легкий ветерок, потянувший низом, наклонивший травы, но не двигнувший и листка на деревьях, заставил попрыгаться маленьких демонов.

В лесу ветра не было, и на обратном пути нас ждала новая сеча...

Вечер не спешил, давая отбуйствовать закату. Багровое пламя на западе превратило серебристую Угру в реку крови, и все комары унеслись туда, чтоб погрузить хоботы в красный поток и налиться в разрыв субстратом жизни. Они вскоре поняли, что

ошиблись, и, распаленные злобой, вернулись назад. Мы перестали сопротивляться. Вокруг каждого из нас, а сидели мы на пристроенной к избе терраске, реяло плотное облачко. Казалось, то парят зернышки граната — раздувшиеся брюшки просвечивали рубиновым.

Послышался тяжелый топот — вернулось с пастбища небольшое деревенское стадо, слышались озвонченные тишиной ласковые, зазывные голоса хозяек. Голос «молодой» не звучал среди них, но в ее дворе появились без всякого зова четыре овцы, сплпшихся, как дешевые конфеты, — три взрослых, одна подросткового возраста. Потом померещилось, что это одна четырехголовая овца, настолько синхронны все движения и неразделимы тела. Эту единую овцу разрушил не поспевавший за стремительными маневрами подросток. Он отставал и панически кидался вослед остальным, чтобы снова присохнуть к боку матери. И возник другой образ. Манерно изогнутые шеи, тупая кротость во взоре, вон уж и венчик нимба зрится над каждой плоской головой — четыре кротких библейских овна парят над землей, чуть касаясь ее маленькими копытцами. Они враз начинают ощипывать траву, враз прекращают и выписывают новый немислимый и ничем внешним не спровоцированный зигзаг. Их до подлости смиренное, отвергающее даже намек на индивидуальность и покорное невесть чему поведение раздражало, и мысль хищно обратилась к жертвоприношениям, закланиям, шашлыку. Появилась «молодая» с ведром в руке, налила воды в колоду и что-то крикнула овцам. Те на всем бегу красиво вскинулись на дыбки, повернулись на задних ногах и, колесом изогнув шеи, помчались к колоде, только малыш не справился с разгоном, подскочил вперед и перепуганно, во все лопатки кинулся вдогон.

Спал я на террасе. Набитое звездами громадное — всюду — небо вытянуло меня наружу и поместило в пространство. Оно было таким же, как в детстве, когда я спал в сухотинском яблоневом саду или под стогом в ночном, во всю сферу, не приглашенное никаким светом с земли, оно переливалось, мерцало, ворошилось, мигало, пульсировало, жило, и лишь Млечный Путь оставался недвижим.

И была великая тишина. А я — постоянный житель Подмосковья — забыл о беззвучном мире. Ах, эти пионерские горны и бодрящие команды физзарядки, разносящиеся далеко окрест, и шесть пластинок, которые вот уже два десятка лет сопровождают юную, а заодно и нашу жизнь с раннего утра до позднего вечера; автомобили, бульдозеры, тракторы, мотоциклы ведут свои партии; трижды в день электродойка на молочной ферме шлет в простор пасхальный звон — я люблю рассматривать репродукции волжских видов Кустодиева с чудесными церковками и колокольнями на фоне синих небес под благовест доильных аппаратов; но главная звуковая мощь изливается сверху, там сосредоточены геликоны, тромбоны, барабаны, медные тарелки: над нами набирают вы-

соту реактивные лайнеры с Внуковского аэродрома, над нами пролегал вертолетная трасса, соединяющая Внуково с Домодедовом, гигантские стрекозы почти задевают маковки сосен; и старые заслуженные самолеты, которым давно уже поставлены памятники, задыхливо тянут над нами, патрулируя Калужское шоссе, а стрекочущие сельскохозяйственные самолетчики трудолюбиво кропят белесой слезью наши скромные садочки; порой в блистающем, без облачка небе гремят тяжкие громы — то одолевают звуковой барьер новые ястребки. Ночью — я сплю у открытого окна — изрыгающие красное пламя драконы проходят так низко, что я вжимаюсь в подушку. Нет тишины, нет неба, нельзя же считать небом ту истерическую высь, загаженную и провонявшую не меньше земли, где моторный рев давно погасил музыку сфер.

А сейчас надо мной простиралось небо. Тихое небо над притихшей землей. Полное беззвучие. Даже склеротический щелчок крови в ушах — весенний лес, который всегда со мной, — замолк, пристыженный великим покоем мироздания. И не могло не родиться что-то из сплава внутренней и внешней тишины. Милые, забытые и полузабытые тени обступили меня. Они явились из дней моего младенчества, которые я не помнил, но, оказывается, все же помнил, из акуловского и рязанского детства, из громадной московской квартиры и кипящих котлов двух глубоких московских дворов, из дней моей первой любви в сердоликовом, горячем, ветреном, райском довоенном Коктебеле, из войны и поздней жизни, с кладбищ, оставив свои ведомые и неведомые мне могилы; были среди них фотографии-пушкарники с Чистых прудов, лодочники с разных пристаней — от Клязьмы до Ангары, милиционеры, зеленщики, продавцы ирисок и мороженого, охотничьи мясники, школьные учителя, хранительница моего детства Вероня и вся ее бесчисленная родня. Мать в расцвете бесшабашной молодости, уводившей ее от меня, и старый, со всосанными щеками врач, лечивший бесплатно всех детей нашего дома (за доброту ему платили травлей, потому что был он рассеян, незащищен, горд и обидчив), — и, кажется, тут я начал плакать и плакал не переставая, до пробуждения, если только я действительно плакал, а не омывал сновидений воображаемыми слезами.

И сколько тут было людей, но не было ни одного лишнего, они все нужны мне, и я бы не поступился ни одним фотографом, обещавшим птичку, которая так и не вылетела, ни одним зеленщиком и — уж давно — ни одним мороженщиком, ни одним таксистом и ни одной легкомысленной девицей. Но даже по самому снисходительному счету, разве мне не попадались дурные и злые люди? Да, но им здесь не было места. Воображение вызывало лишь тех, кто хоть чем-то помог моей жизни: морковкой с лотка, леденцовым петухом, пятикопеечной порцией мороженого в вафлях, добрым словом или взглядом или осуждающим молчанием. Как много надо людей, чтобы прожить и не сломаться, не рухнуть, а тут были и те, кто откупил меня ценой собственной

жизни от смерти, мои товарищи, не вернувшиеся с войны. И мне представилось, что и я участвую в чужих хороводах, ведь и у других людей случаются минуты тишины, когда они могут оглянуться на тех, кто им сопутствовал или просто мелькнул блестинкой добра в их жизни. Как велика людская взаимосвязь, о которой мы забываем в повседневной суете. «Мы одной крови — ты и я» — почему пароль джунглей, подслушанный Киплингом, не стал правилом человеческого общежития? А ведь мы так слабы, немощны в одиночестве, мы ничего не можем, если другие нам не помогают. Азбучная истина. Но ничего так легко не забывается, как азбучные истины. Спасибо доброй, тихой ночи на Угре, что напомнила о ней.

Разбудил меня петух. Казалось, он заорал в самое ухо. Я вскочил с сильно бьющимся сердцем. Не от испуга, от счастья и печали. Оказывается, с той уже далекой поры, когда я бросил охоту и рыбалку, не звучал мне голос «глашатая новой жизни». У меня дома есть старые английские напольные часы с боем — тоже хорошая штука, особенно зимой, когда темно, за окнами еще ночь, а семь мерных звонких ударов напоминают, что пора начинать жизнь, и гарантируют — без всяких оснований — покой и уют. Но это совсем другое — надтреснутый, хриплый, раскатывающийся по всей вселенной голос матерого, испытанного в боях и любви, бесстрашного петуха. Это призыв к битве, к подвигу, к молодости...

А потом был забытый гром пастушьего кнута и тяжелый топот коров, собирающихся в стадо; я приподнялся на койке и ухватил промельк четырехголового призрака, выметнувшегося с соседнего двора.

И тут сразу две курицы ликующе-паническим коконьем оповестили мир о счастливом разрешении от бремени. Вон они в ямках у плетня наших других соседей. Из дома вышел заспанный капитан в фуражке, бушлате, но без подштанников, голые незагорелые ноги засунуты в валенки. Он проковылял к раскричавшимся курицам, выгнал их из ямок и вынул по большому белому яйцу. Приложил к щекам, чтобы ощутить теплоту. Строго поглядел на огнистого петуха, и тот понял его взгляд как призыв к действию. Хлопнул крыльями, низко опустил голову, словно для боя, и молниеносно подмял рябенюкую курочку. Для обладателя такого гарема он отличался редким постоянством. Капитан потрохал назад, споткнулся на ступеньках крыльца, шлепнулся, но яиц не выронил. Он поднялся, поправил сползшую на нос фуражку и, немного поразмыслив, вдруг взял поразительную по силе, высоте и длительности ноту и с ревом вошел в дом.

Квохтали квочи по всей деревне, крикали утки, гоготали гуси, вскрикивали и бормотали голуби, скрипел колодезный ворот, заржала лошадь — чисты и вечны эти древние голоса. Да какой там вечны! Все это уже на исходе, а что придет на смену бытию, породившему русскую культуру?..

То затопляемые водами многими, то просто оставляемые на могильное гниение или на утеху сезонным людям, исчезают деревни. Говорят о необратимости исторического процесса, о выгодах, которые проистекают от этого в народной жизни. Самое легкое — предсказывать далекое будущее, поди проверь. А кто знает — может, все дозволено стронуть, сдвинуть, вывернуть наизнанку, а избу не трожь? Пахарем жила Россия, а пахарь жил в избе...

...Когда я мылся во дворе под рукомойником, появился озабоченный Федя Самоцветов с офицерским планшетом через плечо. Он достал из планшета тетрадочный, в клетку, лист и толстый канцелярский карандаш. Задумчиво постукивая карандашом по зубам, он стал обозревать ближайшую местность. Вера Нестерова говорила накануне, что Федя странный мальчик: он не купается, не плавает на дырявой надувной лодке, не ходит в лес, не дразнит девчонок, не играет ни в какие игры, живет в своем особом, тщательно оберегаемом мире, включающем книги, раздумья, страсть к топографии (он каждый день наново составляет план местности), уклонение от домашних обязанностей и постоянные ссоры с кузеном Княжевичем, причины которых невозможно уловить, поскольку интересы мальчиков не пересекаются. На мой взгляд, тут не было никаких тайн. Противоположности не всегда сходятся. Прямую, активную натуру Миши должна нестерпимо раздражать лунатическая повадка Самоцветова. Душевная самоизоляция Феде не обеспечивает ему защищенности, для этого он слишком нежен и раним. Любая резкость, грубость, малая несправедливость заставляют его страдать.

В романтическом, гордо-застенчивом Мише естественно и закономерно развивается мужское героическое начало. Самоцветов сложнее. Зачем он, едва проснувшись, составляет план местности, словно не может без этого ступить в знакомый мир, ограниченный для него, заядлого домоседа, несколькими избами, огородами, плетнями, палисадниками, сараями, домиками уборных, поленищами дров, купами деревьев да зарослями репейника? Но Федя с маниакальным упорством каждое утро погружается в свой однообразный кропотливый труд. Дурости взрослых людей свойственно провидеть будущее детей в их увлечениях. Значит, Феде предстоит стать топографом, или картографом, или штабным офицером, имеющим дело не с живым миром, а с его схематическим изображением, нейтральным к чувствам жалости и сострадания. Но мне почему-то казалось, что в этом «схематике» скрывается художник, которому слишком мучительно соприкосновение с внешним бытием, и он пытается хоть как-то упростить его, упорядочить, укротить, сделать не таким сложным и страшным. Другое дело — Миша, он художествен своей сущью, не источник творческих сил, а объект для их приложения. Пловец, ныряльщик, отчаянная голова, он обращен вовне, а такие люди становятся или жиддителями, или деятелями.

Пока я мылся, предаваясь одновременно приятному праздномыслию, Федя завершил свой чертеж. Он успел расписаться и поставить дату, когда появилась Вера Нестеровна с эмалированным бидоном.

- Давай-ка быстро — за молоком. Поъем парного.
- Почему я, а не Мишка? — проскрипело в ответ.
- Он на реке. Не побегу же я за ним!
- Я могу сбежать.
- Вот и сбегай, только не за Мишкой, а за молоком.

В ответ — долгое молчание. Федя тихо сочился, как скала, именно сочился, а не плакал, ибо плач — проявление внутренней активности и одновременно расход сил, от плача люди устают, от бурных рыданий на ногах не держатся. Федя самопроизвольно сочился — из серых глаз, немного из носа, не сопровождая истечение никакими звуками и вряд ли даже замечая, что с ним происходит, как не замечает скала выбивающейся из нее влаги. Самозащита Федя осуществлялась с минимальным расходом сил, и эта бессознательная бережь к себе была несомненным, хотя и побочным признаком художественной натуры.

— Как тебе не стыдно? — наседала Вера Нестеровна. — Неужели ты не можешь принести бидон молока?

Мир был опять назойлив, резок, несправедлив, и Самоцветов перешел к активной обороне.

— Я маленький, — произнес он сипло и жалобно. — Мне тяжело.

— Зачем ты врешь? Ты же таскаешь воду из колодца, да еще как!

— Вместе с Мишкой... А потом, вода — другое дело! — Сочь заметно усилилась.

— А какая разница?

— Очень даже большая!.. Молоко жирное, а вода пустая, у нее удельный вес меньше.

— Чего?.. Чего?..

— А ничего!.. У бабы Дуни — ярославка, жирность молока четыре и три сотых процента. Поноси такое!..

— Ну, знаешь! — озадачилась Вера Нестеровна. — Ты меня совсем задурил. Без сигареты не обойтись. Ладно, сама схожу.

И мгновенно иссяк родник, скала перестала сочиться. Федя тихонько побрел прочь, ориентируясь по новому, уточненному плану, вскоре он оказался возле уборной, где и скрылся.

Он пробыл там ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы Миша Княжевич вернулся с реки. Федя правильно рассчитал, что Вере Нестеровне будет лень идти самой, а бодрящий дымок сигареты, глядишь, и подскажет ей какие-то контрдроводы. Не ожидавший худого, Миша получил в руки бидон и указание: одна нога здесь, другая — там.

— А Федька что? — хмуро спросил он.

— Какой тебе еще Федька? Сказано — ступай!..

Миша взял бидон и пошел тропинкой, ведущей мимо уборной. Здесь он с силой рванул ручку двери, которая была на запоре.

— Ну погоди, гад!..

Он скрылся за плетнем, а я увидел в репейнике знакомую фигурку, с верткостью ласки устремившуюся за ним следом сквозь колючие заросли...

Наш скромный завтрак сильно затянулся по вине Княжевича и Самоцветова: первый читал Сартра, второй погрузился в «Занимательную астрологию», оба тыкали вилками мимо пищи и обливались молоком под вопли Веры Нестеровны, и я чуть было не пропустил поучительное зрелище.

Все малолетнее население нашего микрорайона собралось возле соседней избы, где бравый капитан в полном параде — фуражка, бушлат, шерстяные подштанники, сейчас опущенные на калоши, — задумчиво и мощно мочился на лопухи, бузину, плетень, сарай, подсвинка, кур, на еще зеленые головы подсолнухов, котенка, неосторожно ступившего в зону орошения.

— Он ведерный самовар выпивает, — шепнул за моей спиной Федя. В голосе его звучало глубокое уважение.

— А ты на крышу можешь? — спросил Миша.

Богатырь даже не оглянулся, спокойно направил брандспойт вверх, и золотая струя заколотила по тесовой крыше.

— А в трубу?

Струя взмыла и рассыпалась брызгами в изножии кирпичной прокопченной трубы.

— Раньше надо было говорить, — недовольно проворчал «моряк». — Напора уже нету.

Он отдал последнее ближайшим окрестностям и натянул подштанники. Дети исчезли разом, как воробы. У крыльца Вера Нестерова утешала вновь обернувшегося слезоточивой скалой Федю:

— Ну, что ты нюни распустил?.. Не по-мужски это. Дал бы ему сдачи, он бы — тебе, а я — ему... Так бы врзала! — добавила она кровожадно.

Откуда-то сверху послышался крик, мы дружно вскинули головы и увидели летящего с неба Княжевича. Он действительно летел, вернее, шел на посадку, раскорячившись, с вытаращенными от ужаса глазами. Лишь когда он благополучно приземлился на крыше своего дома, слегка ее проломив, мы догадались, что произошло. Рассчитавшись с Федей, он счел за лучшее на время исчезнуть, не удаляясь значительно от родного порога. Лучшее всего этой цели служила высоченная плакучая береза, простершая свои ветви над избой. Он мог спокойно отсидеться в густой листве, но его заинтересовали клеветы коварного плаксы Самоцветова и какой кары надо ждать. Миша стал тихонько продвигаться по суку, но толстый, крепкий с виду сук оказался гнилым и обломился.

Сейчас Миша, гордо подбоченившись, стоял на крыше, а мы, потрясенные и растерянные, смотрели на него снизу вверх, и оча-

рованная девочка Маша, забыв об осторожности, прыгала и восторженно хлопала в ладоши, сияя драгоценными синими сейчас глазами.

— Ты здесь? — накинулась на нее Вера Нестервна. — Опять без спроса?

Девочка понурилась, зеленая тоска налила ей глаза, отражавшие траву.

— Она тут с утра ошивается, — совершил донос Самоцветов и почему-то сразу перестал сочиться.

— А ты не ябедничай! — огрызнулась Вера Нестервна.

Маша медленно, потерянно побрела прочь, чтобы спрятаться где-то поблизости.

— Мишка, мерзавец, спускайся сюда, — голос Веры Нестервны звучал чуть устало, — надо надрать тебе уши.

Миша не откликнулся на соблазнительное предложение, он стоял, брезгливо выпятив нижнюю губу и презируя нас, как только может презирать сын неба жалких земных ползунов.

— Миша, спустись, мальчик, мама даст тебе в глаз, — попросила Вера Нестервна.

Миша не внял, сохраняя свою высоту — в прямом и переносном смысле слова.

— Ты упадешь, дурачок, и сломаешь ручки-ножки. Сойди, сыночек, тебе ничего не будет... Ну, и черт с тобой! — Вера Нестервна потянулась за сигаретами. — Нужен ты мне больно, такое барахло. Живи на крыше, бандит, мы с отцом другого сделаем.

Это Мишу не устраивало, он хотел остаться единственным. Юркнув в чердачное окно, он через мгновение оказался внизу. Но мать уже забыла о нем. Ее интересовало сейчас, почему верлибр не привился русской поэзии. Я этого не знал, но случившийся рядом Грациус — он упорно играл в рыболова, пропадавая весь день на реке, — стал доказывать, что верлибром пользовались и пользуются поныне многие отечественные поэты...

Остаток дня прошел спокойно, если не считать появления за ужином человека, о котором мы с Грациусом как-то забыли. Он сидел, уткнувшись в толстый фолиант, и не поднял головы, чтобы поздороваться с нами, лишь буркнул что-то неотчетливо приветливое. Я высчитал, что это муж Веры Нестервны. Запомнить его было трудно, поскольку он то сбивал, то вновь отращивал козлиную бородку. Был он светилом эндокринологии, в силу чего (закон контрастов) почти все время тратил на перевод Тита Ливия с латинского. И еще он часто болел радикулитом, поэтому мы не видели его до сих пор — очередной приступ. Естественно, что при таком недуге отпуск он проводил только в горах. Самое же удивительное, что истинным главой дома был этот молчун-невидимка, а не громогласная богатырша Вера Нестервна. Он вроде ни во что не вмещивался, но катилась семейная телега его волей и разумением. А еще более невероятно, что Вера Нестервна была счастлива с ним.

Я заметил, что Грациус, который и сам не был вполне реален, смущен, даже напуган появлением этого полупризрака. Вспомнилось уайльдовское: кентервильский дух боялся привидений...

И снова была прекрасная ночь и петушиное утро...

Грациус соблазнил меня рыбалкой. Он ходил и на вечерние и на утренние зорьки, но без успеха. Это меня удивляло: за что бы ни брался Грациус, у него неизменно все получалось, и если в чистой, полноводной Угре был хоть один ершик, он должен был достаться Грациусу. «Раз в положенное время нет клева, значит, берет в бесклевье», — мудро решил Грациус, и мы отправились на машине знакомой дорогой, через комарино-слепнево-оводовый лес к тому месту, где однажды купались. В лесном коридоре крылатая нечисть так облепила лобовое стекло, что дорога пропала. И сколь ни сноровисто вел машину Грациус, нас так трянуло, что я едва не прошиб головой крышу. Водитель не пострадал. «А говорят, что у «Волги» тонкая жель! — заметил Грациус. — Это же броня. Но и черепашка у вас тоже крепкая», — добавил он одобрительно, и мы вырвались из лесного сумрака в свет поляны.

Было настоящим удовольствием смотреть, как Грациус налаживает удильную снасть и надувает лодку, меня, «безрукого», он ни к чему не подпускал. У Грациуса необыкновенно умелые руки. Своими бледными, веснушчатými тонкими пальцами он творит поистине чудеса: может отремонтировать любую технику, склеить расколовшуюся на сто осколков фарфоровую чашку, так что не увидишь «швов», мастерски реставрирует иконы, картины, старинную мебель, неподражаем в карточных фокусах, требующих ловкости рук, — предметы исчезают, стоит ему проделать молниеносные пассы, равно и возникают из воздуха. Дико думать такое о кристально честном Грациусе, но мне кажется, что в нем погиб гениальный карточный шулер.

Никакая ловкость не поможет, если нет рыбы. Мы пробовали ловить под берегом, в редкой тресте, на стрежне, на глубине, отыскав омут, внахлест — верхопоплавок, — хоть бы раз клюнуло. Ловили на дождевого червя, на мух, на стрекоз, на пшеничную кашу и хлеб, запасенные предусмотрительным Грациусом, на мормышку — тщетно. И все же один ершик оказался в Угре, его поймал Грациус.

— Господи! — воскликнул Грациус, возвращая ерша родной стихии. — Моби Дик!.. Белый кит!..

Я проследил за его взглядом. Между нависшими над водой ветвями плакучих ив, в спящей ряби, то вздымаясь над водой, то погружаясь в нее, двигалось в нашу сторону огромное и прекрасное существо — белый кашалот — осуществленная в речном среднерусском варианте фантазия Мелвилла. Отфыркиваясь, вздымая фонтаны брызг, колыша воды от берега до берега, белое чудо при-

близилось, выметнулось из-за деревьев и обернулось нашей милой хозяйкой Верой Нестеровной, плывущей баттерфляем. А за ней, отставая, захлебываясь, поспешал против течения из последних сил самолюбивый китенок по кличке Миша. Это было в духе Веры Нестеровны: она не терпела бессмысленного молодечества, но допускала любое испытание характера, жестокую проверку воли. Он захотел плыть с ней — пусть плывет, пусть мучается, потонуть не потонет — она рядом, а если слабак, хвостун, трус, пусть вылезает на берег и томится своей неполноценностью. Но Миша был гордый мальчик, он плыл почти в забыты, барахтался, закрывал глаза, ложился на спину и снова плыл; и доплыл на остатках дыхания и следом за матерью вышел из воды, дрожащий, синюшный, но не сдавшийся. Все же он не сразу подошел к нам, а вначале отдышался и повытряс дрожь из тела под бережком.

— Так будем есть уху? — спросила Вера Нестерошна — рачительная природа отвалила этой славной женщине столько свежей плоти, что хватило бы на всех наяд окского бассейна.

— Из нотатеньи, — сказал Грациус, складывая удочки.

— Из бельдюги и проститомы, — подхватила Вера Нестерошна. — Почему нынешние рыбы — словно из публичного дома?

— Добродетельные все перевелись, — объяснил Грациус. — Вот и взялись за распутных тварей.

С независимым видом, весь пупырчатый, подошел Миша. Он редко смеялся и даже улыбался, этот мальчик, казалось, у него не хватает для улыбки кожи на лице, а сейчас, чуть приоткрыв рот, он издавал курлыкающие звуки и сгибался в поясе, словно живот болел, — он хохотал.

— Ты перекупался, мальчик? — встревожилась Вера Нестерошна. — Тебе плохо?

— Бур-ла-ки! — через силу проговорил Миша.

Проследив за его взглядом, мы обнаружили странное шествие. К реке спускались гуськом связанные веревкой дети. Впереди шла Маша, а за ней еще четверо — мал мала меньше. Цепочку замыкало совсем жалкое существо в короткой распашонке: голые непрочные ноги то и дело заплетались, существо падало, волочилось по земле, кое-как вставало на четвереньки, потом и на две опоры, чтобы тут же снова упасть. При этом оно не плакало и не жаловалось.

— Бедный пацаненок! — пожалела Вера Нестерошна.

— Это не пацан, — поправил Миша. — Это баба.

Непреклонный вож слабосильной ватаги свернул в нашу сторону, все покорно повиновались, только замыкающая баба опять шлепнулась и проехала на заду по откосу берега. В двух шагах от нас шествие стало, слегка качнувшись назад, — малышка уцепилась руками за можжевелевый куст и сработала, как слишком резкий тормоз.

— Бурлаки должны петь, — сказал Миша. — Почему вы не поете?

Маша преданно и смущенно поглядела на жестокого красавца, она не знала, что такое бурлаки, и не поняла его слов.

— Так!.. — опасным голосом произнесла Вера Нестервна. — Что все это значит?

— Мама уехала на Полотняный Завод, — сказала Маша. — А нас связала веревочкой, чтобы не потерялись.

— А вы взяли и ушли!

— Ну и что? Мы все тут, никто не потерялся.

— Ох и вольт тебе маты!

Маша покрутила головой, она разговаривала с Верой Нестервной, но глаза ее, ставшие цветом в слоновую кость, были прикованы к Мише.

— Ничего не вольт.

— Вот те раз! Опять ты в бегах, да еще малышку потащила.

— А что делать, раз мы связанные?

— Дома сидеть... Мать зачем на Полотняный поехала? — Культуролобивую душу Веры Нестервны обеспокоила внезапная вылазка художницы в гнездо Гончаровых, вдруг там открылся музей или хотя бы экспозиция, связанная с полотнянозаводскими днями Пушкина.

— За консервами и вином, — сказала девочка. — У нас сегодня поминки.

— Какие еще поминки?

— По нашему папе. Его уже три года нету. Вас тоже позовут. Мама сама зайдет или меня пришлет с любезной запиской... Почему у тебя наколки нет? — спросила она Мишу.

— А на фига? — процедил тот сквозь зубы.

— Красиво! У моряков всегда наколки.

— Какой я моряк, дура?

— Ты разве не хочешь стать моряком?

Я думал, она дурачится, нет, она грезила.

— А на фига? — спросил Миша.

— Хотелось бы больше лексического разнообразия, — заметила мать. — Ты что — говорить разучился?

— А чего она лезет? — с ненавистью сказал Миша.

— Хватит! Надоел. Давайте я вас развяжу.

— Не развяжете, — сказала Маша, и глаза ее стали как незабудки от голубого купальника Веры Нестервны. — Это морской узел. Мама от папы научилась.

— Я, конечно, могу развязать, — тихо сказал Грациус. — Но стоит ли? Так они хоть не потеряются.

— Ну, ладно, артель, топайте домой, — решила Вера Нестервна. — Мы поплыли за вещами. Выдержишь? — спросила сына. Не удостоив ее ответом, Миша пошел к реке.

Мать с сыном быстро скрылись из виду — сейчас им было по течению. Бурлацкая ватага развернулась и побрела, солнцем палящая, в обратный путь...

Напротив нас жила краснощекая старуха на больных, отечных

ногах. Утром она с трудом выползала из дома, хватаясь за дверной косяк, плетень вокруг палисадника, ветки сирени, добиралась до скамеечки и усаживалась на весь день. В дом она возвращалась к вечеру, когда приходила с работы ее низенькая, живая, необычайно быстрая в движениях дочь, по делу прозванная Нюрка-блоха. Наверное, старуха тоже была когда-то быстрой, непоседливой, как ее дочь, это угадывалось по живой улыбке, какой она отзывалась на каждое впечатление мимо текущей жизни. Удивительно богата оттенками была ее молодая, легкая улыбка. То веселая, то озабоченная, то любопытствующая, то озадаченная, то грустно-недоумевающая. Ей нравилось любое проявление активности в окружающих, что они могут пойти в лес, на реку, в поле, на ферму, в магазин, друг к другу в гости или на развилку дорог, чтобы с попутной машиной умчаться в бесконечные дали: на Полотняный Завод, в Медынь, хоть в Калугу. Она сопутствовала им душой, не завидуя, не сетуя на судьбу, приковавшую ее к месту.

Однажды в богатом наборе ее улыбок мелькнуло нечто, заставившее меня подойти. Мы поздоровались, и я уселся на лавку.

— Нравится вам у нас? — спросила старуха.

— Нравится. Только комаров много.

— У нас места возвышенные, сухие, — отозвалась она. — Комаров сроду не водилось. Потом объявились. Но мало, с недельку поедят, и нету. А последние годы — ужас что такое! Откуда они берутся? Может, из космоса?

Я пожал плечами. Старуха обрадовалась, засияла улыбками.

— Я сама надумала, а вот вы не спорите. Сейчас вообще много кое-чего случается, чего раньше не было. У нас за огородом, как гроза зайдет, по земле искры голубые бегают, будто зверьки играют.

— Может, там залежи железной руды?

— Мы думали — золота. Нюрка копала — ничего не нашла. Земля, навоз и черви. Летошний год ученый с Москвы приезжал опять собирать. У нас боковушку снимал. Так он говорит, что земля вроде в скорлупе помещается, и скорлупу эту всю ракетами продырявили. Теперь к нам всякая гадость сыплется, всякие заразы. У дочки на работе лекцию читали, про этот... алкоголь. Подсчитано, что у нас каждому жителю, младенцу или дряхлому старику, по сто граммов белого на день положено. А почему не выдают? Потому что и так, которые взрослые, залились до ноздрей.

Я сказал, что не вижу связи.

— Все от лучеиспускания зависит, — объяснила старуха. — Очень оно усилилось. Это не я говорю, а тот ученый, который опять увлеклся.

Кто его знает, может, так оно и есть. Мы сами ни за что не отвечаем. Активизировалось лучеиспускание — мы спиваемся, настанет лучеизнурение — протрезвимся.

— А с Алексей Тимофеичем вы не пейте. «Молодая» этого страсть не любит.

Почему после единственного и вполне невинного разговора нас дружно заподозрили в винном заговоре? Я заверил старуху, что о вине и речи не было, я вообще человек непьющий.

— Все непьющие, — вздохнула она с понимающей улыбкой. — Откуда только пьяницы берутся? «Молодая» говорит: хватит в доме одного чумового, на второго не согласная. Видали, в каком нимве Васька с работы вертается? Он знает, что дома не дадут, и по затычку заправляется. «Молодая» у Алексей Тимофеича все до копейки отбирает, а бутылку разве что на большие праздники ставит. Поэтому он человек ищущий.

Я повторил, что не собираюсь сбивать его с пути праведного.

— А то смотрите! — таинственно улыбнулась старуха. — «Молодая» у нас волшебница.

Удивительно подходило сказочно-балетное слово к угрюмому, коренастому гному!

— Колдунья, — понизила голос старуха. — Ведьма.

— И кого она заколдовала?

— А меня, — ответила она просто. — Походку отняла.

— За что же она вас?..

— Алексей Тимофеич, овдовевши, косил сюда глазом. Что было, то было. Я его, конечно, уважаю, но чтоб... да ну его к лешему! «Молодой», видать, доложили. Она женщина усмотрительная, вот и приковала меня. Вообще у нее сглаз один: лишать человека спорости.

— Это как понять?

— А вот так. Соседка Симка нашла брошенную колоду. В другом краю деревни. Замечательную колоду — овец кормить. «Молодая» шла раз мимо, увидела, она ужас до чего к хозяйству жадная. «Ах и хороша колода! Сколько отдала?» Той бы дуре соврать, да не сообразила, призналась, что нашла. «Молодая» поглядела на нее, ласково вроде, а в глазах злость зеленая: «Везет же людям!» И легонько так колоду огладила. Что же думаете? Ни овцы, ни свиньи из той колоды больше не жрут, не пьют. Другой раз зашла «молодая» на огород к Надеге Трушиной. Таких овощей, как у Надеги, ни у кого не родилось. Люта она гряды копать. «Молодая» оглядела овощную красоту, насупилась, присела и стала землю сквозь пальцы просевать. «Ах, хороша земляца! До чего ж хороша!» Она похваливает, а у Надеги в грудях щемит. И как отвадило ее от огорода. Ноги туда не идут. Силком себя понуждала — все из рук валится. И смирилась Надега. Сейчас грядки бурьяном заросли. Нет, «молодую» лучше не раздражать.

— А почему она не может пасынка от пьянства заговорить?

— Видать, это не по ее части. У ней тверезый закувыркается, а кувыркалу выровнять — силы нет. Она и себе самой подсобить не может, вкальвает весь божий день. Одна у ней специальность — спорости лишать.

Она поглядела на меня лукаво и залилась смехом — веселым и манчивым, каким смеялась, верно, в молодости, когда земля горела под ее легкими ногами...

Дома я застал такую картину: Вера Нестеровна сидела на корточках перед Федей Самоцветовым, трясла его и уговаривала:

— Ну, скажи, что ты врешь. Признайся, тебе ничего не будет.

— Это я написал! — обреченно, но твердо сказал Федя.

Увидев меня, Вера Нестеровна выпрямилась и сунула мне знаковый тетрадочный лист: вместо полагающегося плана местности там оказались стихи.

— Этот наглец утверждает, что сам сочинил.

Я прочел:

И в сердце растрava,
И дождик с утра.
Откуда бы, право,
Такая хандра?

Откуда кручина
И сердца вдовство?
Хандра без причины
И ни от чего.

Хандра ниоткуда,
Но та и хандра,
Когда не от худа
И не от добра.

— Прекрасные стихи. Это Верлен.

— Я так и знала! Ты, жабеныш, написал стихи Варлена?

Я ждал, что сейчас начнется истечение соленой влаги, но скала оставалась суха и твердокаменна.

— А что такого? — с вызовом сказал Самоцветов. — А хоть бы и Верлена. Если обезьяна будет складывать буквы пятьсот миллиардов раз, она «Сагу о Форсайтах» сложит. Что я — хуже обезьяны? Я в пятьсот раз умнее, да и сложил-то всего один стишок. Сравните его с «Войной и миром» — во сколько раз он меньше? Помножьте одно на другое и разделите на это число пятьсот миллиардов. Чепуха останется.

— Опять он меня задуривает, — беспомощно сказала Вера Нестеровна. — Что ты мелешь, какая еще обезьяна сложила «Сагу о Форсайтах»?

— Резус, — нахально ответил Самоцветов.

— А почему ты пропустил четверостишие? — спросил я.

— Я маленький! — послушалась знакомая противная интонация. — Мне и так трудно.

— А трудно — не берись! — вновь подхватила воспитательские вожжи Вера Нестеровна. — Придется тебе всыпать, плагиатор несчастный!

— Нельзя, — возразил плагиатор. — Я не ваш.

— Кормить тебя, поить, спать укладывать — ты мой. А уши надрать — не мой?

— Можете не кормить, не поить и не укладывать... — И скала засочилась.

— Ох, перестань!.. Скажи, что ты больше не будешь, и катись.

Вера Нестеровна хотела капитулировать на почетных условиях. Самоцветов не проявил великодушия.

— Я еще «Крокодила Гену» сложу, — пообещал кровожадно.

— Ну, это любая обезьяна сложит. Ладно, гуляй! — И, посмотрев ему в спину, Вера Нестеровна сказала задумчиво: — Надо бы всыпать, да уж больно хорошие стихи слямзил...

Художница прислала нам «любезное» приглашение. На этот раз Маша не пробиралась сквозь репейник, не таилась в кустах, а явилась открыто, с достоинством и торжественностью герольда, уверенного в своей неприкосновенности. Была она ослепительно хороша: синяя наглаженная юбка, белая кофточка, в волосах бант. Ее приняли с должными почестями, ввели в дом, угостили водой «Байкал» и шоколадной конфетой. Пока Вера Нестеровна писала благодарственный ответ, Маша со стаканом в руке ходила по избе и спрашивала о книжках, тетрадках и разной мальчишеской дряни, вроде рогаток, лука, лодочек из сосновой коры, каких-то железяк: «Это Мишино?» В случае подтверждения предмет подвергался тщательному осмотру, а все находящееся во владениях Самоцветова с презрением отвергалось.

Забегал Миша с мокрой после купания головой, удивился присутствию прекрасной незнакомки, узнал Машу и зло смутился. А потом мы увидели в окошко знакомую картину, но как бы в перевернутом виде: Маша гордо удалялась по тропинке, а недавний гордец обдирал шкуру о репейник...

Душным вечером, когда, задавленный темной тучей, тревожно, пожарно горел закат, а на востоке вблескивали одна в другую зарницы и далекие громы доносились глухим, сонным бормотаньем, мы отправились к художнице в другой конец деревни.

Вера Нестеровна сообщила нам, что художницу надо звать Катя или Катька, она молода и любит простоту. Ее муж погиб от несчастного случая, оставив ее беременную с тремя детьми на руках. Спустя какое-то время появился пятый. Это нужно было, чтобы выжить, замуж она не собирается. Она прикладница очень широкого профиля: керамика, батик, дизайн и даже шитье из раскрашенных ею же тканей. Катины платья весьма ценятся у московских модниц. У нее никого нет, кроме детей. Родители умерли, а свекровь порвала с ней, сказав: ты не сохранила моего сына. Избу она купила после смерти мужа, своими руками пристроила мастерскую, работает как оглашенная, кормит и обстирывает всю ораву и еще находит время читать, ходить на выставки и в театр.

— Значит, не надо строить постную рожу, «вздыхать и думать про себя...» — Грациус оборвал цитату, сообразив, что собирается ляпнуть выдающуюся бестактность. Это не соответствовало его изящной сути, но боязнь, что придется сострадать, ну если и не сострадать, то утомительно помнить о чужом неблагополучии, сбила его с толку, и он утратил обычный самоконтроль.

— Да будет вам, — поморщилась Вера Нестерова. — Хозяйка дома — сильный и умный человек. Имейте в виду — ни лампадного масла, ни елея.

Мы бодро шагали долгой, широкой улицей мимо справных заколоченных домов, мимо домов, взбодренных искусственной и временной дачной жизнью, мимо еще дышащих крестьянских изб, от которых тянуло запахом скота, дыма, чего-то печеного, тянуло теплом и родностью, как от материнского тела. Неужели впрямь обречены на исчезновение эти запахи, дыхание коров в стойлах и сонный переступ копыт, мудрая приспособленность бревенчатого жилья к четырем сезонам, добрый жар русской печи?

В доме художницы царил переполох: кто-то из детей по оплошности или младенческому неведению выпустил кроликов из клетки. Пока что эти кролики были просто общими любимцами, но в будущем с ними связывался подъем материального благосостояния семьи.

— А куда они ускакали? — спросил Грациус.

— Большая самка — неизвестно, а самец с другой самочкой спрятались где-то во дворе.

Круглое, по-здоровому бледное и чистое лицо художницы под коронкой заложенных на голове русых кос выражало неподдельное, чуть наивное огорчение. Широкий расписной балахон скрывал кустодиевскую налитость фигуры, у нее был яркий свежий рот и неровные зубы.

— Большую самку не ищите, — сказал Грациус. — Ею пообедал вон тот злодей.

Здоровенная дворняга умильно поглядывала в нашу сторону, плотноядно и чуть нервно облизываясь. Судя по щипцу, брьям и желтым пятнам на белой шерсти, в ее предках числился пойнтер.

— Точно, — упавшим голосом сказала Катя. — То-то он сегодня жрать не просил. Он ничейный, кормится Христа ради... Вот гад, еще облизывается!.. — Она подняла палку и запустила в пса.

Тот поджал зад, но не двинулся с места. Это было странно, дворовые собаки чутко отзываются на всякое намерение причинить им зло. Может быть, его бесстрашие — от благородных предков? Пока я предавался праздномыслию, Грациус сделал выводы:

— Он чует ужин, потому и облизывается. Влюбленная пара где-то поблизости.

Грациус огляделся и пошел к сараю.

— Пустое дело! — вздохнула Катя. — Мы тут все прочесали... Кто он, ваш утонченный друг?

— Знаменитый кроликолов, — ответил я.

Из сарая вышел Грациус, нежно прижимая к груди двух кроликов: белого с черными ушками и палевого.

— Чудо из чудес! — вскричала Катя. — Там перебивало полдеревни!

— Вещи сами идут к моим рукам, — тонко улыбнулся Грациус.

— Это явление мне знакомо, — серьезно сказала Катя. — Но кролик — не вещь.

— Я имею в виду «вещь» не в бытовом, а в философском смысле. Пребывающее в мире. В этом смысле «вещь» — и кролик, и ребенок, и женщина.

— Вы опасны, — сказала художница. — Посадите их в клетку, а я уберу белье — будет дождь.

Мы помогли Кате снять развешанные для просушки маленькие вещи: майки, трусики, носки.

Узкий стол был приткнут торцом к стене. Туда поставили рюмки с вином и кусок домашнего пирога. Мы сидели в кухне, из горницы доносилось дыхание спящих детей. Двери не было, ее заменяла домотканая занавеска, не достигавшая пола. Было слышно, как прошлепали по полу босые легкие ноги.

— Чертова девка! — в сердцах сказала Катя. — Нет от нее покоя.

— Что делать, если приспичило? — заступилась Вера Нестерова.

— Подслушивать ей приспичило.

В щели меж занавеской и полом было видно, как босые ноги осторожно прокрались назад и замерли возле дверного косяка.

— И думает, дуреха, что ее не видно, — усмехнулась Катя.

— Тише!..

— Разве ее спугнешь? Любопытна, как сорока.

Быстрыми, точными движениями Катя распределила закуску по тарелкам.

— Давайте помянем.

Не чокаясь, мы выпили вино.

— Наверное, надо рассказать, как погиб муж. Иначе вы все равно будете думать об этом, а мне не хочется.

Они снимали дачу в Подмосковье. Раз возвращались с купания, босые, почти голые. В погребе перед этим перегорел свет. Муж взял переноску на длинном шнуре и пошел чинить. Он не заметил, что изоляция на шнуре почти сгнила. Катя услышала его крик. Когда она скатилась по ступенькам вниз, ей показалось, что его обвила черная змея. Она сумела разорвать шнур, но было поздно. Каким-то чудом ее не ударило...

— Бог помиловал. Но этого мало. — Несмотря на спокойный голос, чувствовалось, что ей не удалось легко скользнуть над сломом своей жизни. — Надо опять ничего не бояться. Муж научил меня этому. Он жил бесстрашно: плавал, зимовал на льдинах, то-

нул, пропал без вести. И до чего же бездарная смерть ему выпала!..

За занавеской послышался шорох. Толстый «Энциклопедический словарь» лег на пол, по сторонам его возникли две босые ноги.

— Подслушивание со всеми удобствами, — заметила Катя. — Пускай! От детей все равно ничего не скроешь... Я боюсь не за себя, за них. Они убегают, уползают, пропадают, и мне мерещится черная змея. Эта вот паршивка торчит у вас, а я места себе не нахожу.

— Я всегда гоню ее домой, — поспешно сказала Вера Нестеровна.

— При чем тут ты?.. — отмахнулась Катя. — Слишком уж я хочу, чтобы они уцелели. Это естественно, но это и плохо. Если они вырастут трусами, значит, я предала его. — Она бросила взгляд на торец стола. — Хватит ныть! Американцы говорят: избавьте меня от ваших неприятностей, с меня хватит своих.

— Звучит паршиво! — передернула плечами Вера Нестеровна.

— Не уверена. Мы ужасно любим переключать свой груз на чужие плечи. Хотя на время, хоть на минуту. Это неблагородно и, главное, ничего не дает. Никто чужого не принимает. Для этого надо любить человека. А это редкость. Меня любили. Почему вы не скажете, чтобы я заткнулась? Все о себе да о себе... Привилегия хозяйки. Давайте — о чем-нибудь всеобщем. Например, о хохломе. Вы любите хохлому? — обратилась она к Грациусу. — Считаете это живым искусством?

Грациус сказал, что не любит окостеневших форм. Они засперили. В разгар прений Маша, задремав, свалилась на пол.

— Теперь я, по крайней мере, знаю, чем ее усыпить. — Катя прошла в горницу, подняла дочь, отпустила ей крепкий шлепок и уложила в кровать. Затем отнесла кому-то горшок, мы слышали, как тихонько запела струйка.

Она не успела вернуться к столу, а служба подслушивания возобновила свою деятельность.

— Давайте выпьем шампанского, — предложила Катя. — Спасибо, что вы пришли. Сегодняшний день у меня — в гору. Глупости я говорила. Мне с вами легче.

Придерживая пробку, Грациус дал выйти воздуху, чтобы не испугать детей выстрелом, и разлил пенящийся напиток по чашкам.

Мы чокнулись, выпили, поцеловали художницу и вышли в сухую, насыщенную электричеством, озаряемую бесшумными сполохами ночь...

А гроза все-таки разразилась, когда мы уже спали...

Последнее утро нашего пребывания в Мятлево началось, как и обычно, криком соседского петуха. На этот раз его подсевший,

сипатый голос не унесся в простор, чтобы там медленно умереть, а потратился в малом пространстве между нашими избами. От волглого после грозы воздуха и тумана над росой отсырело эхо. Я едва успел пожалеть, что мы расстаемся с деревней в пасмурную погоду, как в прозоры легкой наволочи вдарило солнце широкими блистающими лучами, вскоре слившимися в единый поток.

Прощальный день принес много неожиданностей. Морячок в серых подштанниках наконец-то залил в трубу на крыше, что было признано единодушно мировым рекордом. Мужественный крепыш не почил на лаврах и задался целью обдать струей темный наплыв на березовом стволе под самым скворечником. А Самоцветов Федор создал новое стихотворение, еще лучше прежнего, на этот раз буквы сложились в «Стансы к Августе» Байрона. Вера Нестеровна пришла в восторг, потому разъярилась и потребовала, чтобы Самоцветов раз и навсегда наступил на гордо не собственной песне. Федя ничего не обещал, но бросил вскользь, что в ближайшее время ему не до стихов, — надо снять план местности вплоть до самой Угры.

Когда мы пришли на реку — под крутым откосом, сразу за деревенскими огородами, — там было полно ребяти. Пресыщенный славой морячок выжимал из карзубого рта вялые подробности утреннего подвига. Миша, по обыкновению, штурмовал высоты, карабкаясь на деревья, нависшие над водой. Другие купались, строили крепости из влажного песка, двое сосредоточенно тонули на дырявой надувной лодке. Появился Самоцветов с планшетом. Двигался он как-то неуверенно, видимо, наспех сделанная карта не давала должной ориентации. Затем по заросшему муравой и дикой геранью откосу неторопливо, свободно, не таясь, спустилось милое ясноглазое существо.

— Машка! — потресенно сказала Вера Нестеровна. — Окаянная девчонка!.. Это кто же тебе позволил?

— Моя мама, — вежливо, даже церемонно прозвучал ответ.

— Как мама?..

— Так! Ходи, говорит, где хочешь. Я тебе не сторож.

— Понятно, — прошептала Вера Нестеровна.

Маша зашла за куст орешника и появилась оттуда в трусиках и лифчике из пестренького ситца. Незаполненные чашечки лифчика трогательно смялись. Девочка не замечала этого и едва ли догадывалась, что может быть иначе. И все-таки ее маленьким телом, движениями, походкой, даже взмахом ресниц управляло тайное провидение иного образа, который настанет через много лет. И, отзываясь ее грядущему преображению, стройный мальчик издал томительный вопль и кинулся с дерева в реку; то было не падением, а взлетом, ведь в реке отражалось небо. И в небо рванулся мальчик.

Пройдет время, такое медленное в днях, особенно — в часах, и такое быстрое в годах и мимолетное в десятилетиях, и детские

игры обернутся страстями, бурями любви и ревности, обретений и потерь, но все это случится уже не в моем мире. А хотелось бы мне повторения? Дурацкий вопрос — нельзя дважды ступить в одну и ту же реку. Да и незачем. Прекрасны игры детей, но это не мои игры. А в прожитой жизни мне ничего не хочется ни исправить, ни повторить. Каждое переживание исчерпало себя до конца. Наверное, это и есть счастливая жизнь? Я никогда так не думал о своей достаточно трудной жизни. Может быть, я и ехал сюда, чтобы это узнать?..

Редкое спокойствие было во мне. Я смотрел на упругую, вроде бы недвижимую Угру, на деле пребывающую в беспребывной и довольно быстрой течи, и думал о другой реке с бледными стоячими водами, в которые тем не менее тоже не войдешь дважды. Рано или поздно ты окажешься на берегу этой реки, где тебя будет ждать угрюмый тощий старик, чтобы перевезти на другую сторону, откуда не возвращаются. И если я не расплескаю в остаток дней тишину, постигшую меня над Угрой, то скажу твердо:

— Давай с ветерком, Харон. Получишь на водку.

Всполошный Звон

Из книги о Москве



ГОСУДАРЕВА ДОРОГА

Вначале мне хотелось бы поговорить о том, что дает человеку знание истории своего родного города. Наверное, оскомину набила фраза, что любовь к большой Родине начинается с любви к родине малой: своему городу, улице, переулку, двору, дому. Но это святая правда, которую все знают умом, но далеко не все ощущают жаром и болью сердца. Батюшков говорил: «О, память сердца! Ты сильнее рассудка памяти печальной». Это справедливо и в отношении знания нравственных начал. Знание сердца сильнее знания рассудка.

Наш сегодняшний путь пройдет мимо Армянского переуллка, где семьдесят лет назад я увидел свет. Я рад, что родился в этом некогда тихом переуллке, в прекрасной старинной части Москвы. В незапамятные времена переуллок носил название Столповского, по церкви Николы в Столпах, и еще он назывался Артамоновским, по двору знаменитого дипломата времен царя Алексея Михайловича, боярина Артамона Сергеевича Матвеева.

В Армянском, кроме дивной церкви Николы в Столпах, источавшей далеко окрест себя теплый ладанный дух, стояла на церковном дворе с чудесной решеткой, под сенью вековых вязов, усыпальница бояр Матвеевых. Эта гробница была построена в виде римского саркофага с двумя портиками и колоннами в 1820 году на месте избы с высокой тесовой крышей — старой усыпальницы.

Было великим удовольствием перелезть через высокую решетку со стреловидными наконечниками, взбежать по замшелым, обшарпанным ступенькам и мимо источающих влажную стынь колонн испуганно просунуться к темному пролому в стене склепа, откуда шибало спертым могильным тленом. В кромешной тьме едва угадывались какие-то продолговатые каменюки — разбитые надгробья, но мы были убеждены, что видим кости и даже... обызвествленные боярские сердца. Да, да, я ничего не придумываю!..

А еще была у нас армянская — с высоким куполом — церковь в глубине обширного светлого двора. Эту церковь построила семья Лазаревых, возведенных Екатериной II в дворянское достоинство. Армяне испокон веку жили в нашем переуллке, отсюда и

название его, но предприимчивый род Лазаревых — их шелка и парчи считались лучшими в Европе — покрыл невиданным блеском старое армянское подворье. Особенно преуспел действительный статский советник и командор Лазарев, завещавший своему наследнику построить училище для детей беднейших армян. Из этого училища возник впоследствии знаменитый Лазаревский институт восточных языков. Прекрасное здание его сохранилось в неприкосновенности и по сию пору. Равно и памятный обелиск замечательной семье Лазаревых.

А еще у нас был в переулке, да и сейчас стоит дом, в котором провел детство и юность величайший философский лирик России Федор Иванович Тютчев. Там жили декабристы Завалишин и Шереметев; у последнего на квартире был арестован после разгрома восстания на Сенатской площади Якушкин, тот самый, о котором Александр Сергеевич Пушкин писал: «Меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал».

Считается, что дети существуют вне истории, что жизнь их, пользуясь выражением бывшего жителя Армянского переуллка Тютчева, «вся в настоящем разлита». Это неверно. Дети живут в истории, хотя она входит в их сознание нередко в причудливом мифологическом убранстве. Мы, дети лучших лет Армянского переуллка (впоследствии этот переулок, как и вся Москва, многого лишился, ничего не приобретя взамен), не были равнодушны к тому, что наше жизненное пространство украшает древняя церковь Николы в Столпах, что в церковном дворике тени деревьев накрывают единственную на всю Москву боярскую гробницу, что у нас есть Лазаревский институт и очень, очень старые дома, обиталища знаменитых русских людей. Мы знали, что многочисленные сады вокруг нашего дома (с лучшим из них — Абрикосовским) — останки громадных царских садов, что между нашим переулком и Старосадским находилась некогда Косьмодамиановская решетка, запиравшаяся на ночь, что другой стороной наш дом глядел на Меншикову башню с золотым шпилем. Нам как бы сообщалась некая избранность, и, право же, это очень хорошо, ибо другие ребята округи были отмечены и «вознесены» близостью Юсуповских палат или Покровских казарм. Главное — было бы чем гордиться. И мы гордились прошлым, так плотно обступившим наш старый дом.

И я невольно задумываюсь о тех ребятах, чье детство проходит в новостроечных районах Москвы. Растет парень в своем микрорайоне, где есть и кино, и клуб, и парикмахерская, и пошивочная, и сапожная мастерская, и библиотека, но этому парню нечем гордиться, жизненный обстав юного гражданина нового микрорайона лишен какой-либо характерности, особенности, он такой же, как у всех. Безликое, неотличимое от фона трудно любить. Штамп нельзя любить по-настоящему. Человеческая личность закладывается в детстве, от детских впечатлений, наблюдений, переживаний во многом зависит, каким станет человек. В смазанно-

сти окружающего трудно ощутить и собственную индивидуальность. Парень из Армянского переулка был особый парень, и чистопрудный — особый, и покровский — особый, и старосадский — особый. А этот, из микрорайона, каков он? Общий, как все, — стало быть, никакой.

Надо сказать, что самих строителей тревожит одуряющая безликость невыразительных серых коробок, вырастающих, как грибы после солнечного дождя, на окраинах Москвы, и они пытаются внести некоторое разнообразие, декорируя балконы красными, желтыми, зелеными пластиками. Это было бы красиво, если бы не удручающее качество краски — ныне же грязно-бурые и плесневые полосы лишь уродуют здания, не доставляя ни малейшего эстетического наслаждения. Некоторые озабоченные судьбой окраин люди предлагают призвать на помощь растительный мир. Чтобы наряду с неперменным озеленением — высаживанием в асфальт чахлах лип и тополей — каждый дом сам бы себя декорировал силами добровольцев-жильцов, выбирающих на свой вкус ель, пихту, лиственницу, березу или клен. А во дворах могли бы цвести сирень, жасмин, рябина, жимолость. Не надо забывать и вьющиеся растения... Впрочем, сейчас это не наша тема.

Но как бы ни выглядели новые районы, в них все равно не будет того, чем богата — до сих пор богата, несмотря на все тяжчайшие потери, — старая Москва: связи с прошлым. Вот почему так важно сохранить исторический образ города. В памятниках архитектуры — деяния предков, героическая быль многострадальной русской столицы и нетленная красота. Пусть молодой человек, уроженец микрорайона, не увидит вокруг себя старины в благородной патине, он сядет в поезд метро или троллейбус и отправится в коренную часть Москвы, где на него глянет история задумчивыми лицами старых зданий. Даже о достопримечательностях Москвы, таких, как Василий Блаженный, останки Китайской стены, Юсуповы палаты, дом Пашкова, Новодевичий монастырь, надо что-то знать, чтобы оценить по-настоящему, исполниться их прелести и важности. А что говорить о безымянных старых зданиях, обладающих своей тайной, ведь Москва на редкость скупа на памятные доски. Для того и были задуманы рассказы о московских улицах и площадях.

И начинаем мы с Маросейки и Покровки¹. Конечно, меня тянет к родным местам, но основная причина этого выбора в том, что названные улицы — старейшие в Москве из всех, что вышагнули за Китай-город. Москва, кроме ее центральной части — Кремля, строилась по дорогам, ведущим из нее и к ней: Смоленской, Новгородской, Тверской, Дмитровской... В конце XIV века по этим дорогам возникали целые поселения, в дальнейшем они становились улицами, сохранив, как правило, те же названия. Бы-

¹ Сейчас этим улицам возвращены старые имена, хотя дощечки с названиями еще не поменяли.

стрее, да и добротнее всего, обстраивалась та недлинная дорога, по которой русские государи ездили в свои подмосковные вотчины: Покровское, Измайлово, а позже и Преображенский дворец. Особенно охотно строились тут знатные люди, чтобы достойно принять притомившегося в пути государя. Ездили в те давние годы неспешно и охотно останавливались на отдых и трапезу. При Иване III по обеим сторонам Покровской были разбиты великолепные сады, которые поддерживались и подновлялись в последующие времена. Мое раннее детство пошло в чудесном Абрикосовском саду, где стояли неохватные трехсотлетние дубы и разлапистые клены. Когда в середине тридцатых этот сад уничтожили, чтобы поставить на его месте серое кирпичное здание, то память о садах средневековой Москвы осталась лишь в названии Старосадского переулка.

Для нас, нынешних, центр — это улица Тверская, Пушкинская площадь, Кузнецкий мост, Петровка. Житель XVII века, пользуясь он этим словом, имел бы в виду Покровку.

С XVIII века часть улицы от Ильинских до Покровских ворот стала называться Маросейкой по стоящему в начале ее (на углу нынешнего Большого Комсомольского переулка) Малороссийскому подворью, где останавливались официальные представители Украины. А в XIX веке Маросейку подрезали, она стала доходить лишь до Армянского переулка.

Ныне эта улица кажется настолько узкой, что на ней введено одностороннее движение. А еще в начале нашего века в обе стороны грохотали конки, да не простые, а импералы, что значит двухэтажные. Женщин на верхние места не пускали, это считалось опасным. По той же причине туда не пускали пьяных, которые в силу этого ездили только первым классом. От Ильинских ворот до Земляного вала конка шла около полутора часов. Но при всей своей медлительности часто давила людей. Весь темп жизни был так замедлен, что черепашого хода конки было достаточно, чтобы настигнуть и задавить пешехода, движущегося со скоростью улитки.

Когда-то здесь заливались колокола многочисленных церквей, память о них сохранилась в названиях переулков: Спасоглинцевский — от Спаса в Глинницах, Петроверигский — по церкви вериг Петра. Но сохранилась церковь Косьмы и Дамиана, построенная в исходе XVIII века великим русским зодчим Матвеем Казаковым, главным строителем Москвы. К созданию, за спиной этой маленькой, необычайно соразмерной, изящной, как и все, что выходило из рук Казакова, церковки вознесся гигантский стеклянный куб и подавил творение гениального архитектора.

Историк московских улиц Петр Васильевич Сытин пишет: «В современном владении № 11 по улице Богдана Хмельницкого¹, принадлежавшем в XVII веке боярину Шереметеву, а с 1604 до

¹ Так была переименована Маросейка.

1706 года В. Ф. Нарышкину и его вдове, в 1684—1708 годах помещалась сначала школа, потом гимназия пастора Глюка». Эрнест Глюк был, несомненно, выдающимся деятелем просвещения своего времени. Вот какая программа предлагалась для обучения юных москвичей: кроме древних и новых языков, географии, ифика (этика), политика, объяснение древних историков и поэтов (Курция, Юстина, Вергилия и Горация) и картезианская философия. По своей перегруженности она может поспорить с программой современной средней школы, но было у нее одно преимущество: гуманитарная направленность. Глюк хотел воспитать нравственного человека, а не набить молодую голову кучей точных и большей частью бесполезных сведений. При его преемнике программа еще расширилась, включила геометрию, физику, астрономию, а также логику, риторику, грамматику, музыку и «пристойное обхождение». Вот что следовало бы нам непременно позаимствовать у старинных наставников московского юношества.

К сохранившимся домам XVIII века принадлежит и дом № 2. Его избрал своей резиденцией маршал Мортье, назначенный Наполеоном комендантом Москвы. Не знаю, как досматривал Мортье за старой русской столицей, но улице, на которой жил, он уделил внимание и был потрясен дивным храмом Успения Божьей Матери. Мортье, конечно, не знал, что построил его в стиле нарышкинского барокко не обученный архитектор, а русский самоучка Петрушка Потапов на деньги купца Сверчкова, что, потрясенный его белокаменной резьбой, величайший русский зодчий Баженов ставил этот храм в один ряд с церковью Василия Блаженного. Но что-то француз все-таки понял и воскликнул: «О, русский Нотр-Дам!» После чего приставил к нему солдат для охраны. И во время пожара и всех бесчинств, творившихся в Москве как неприятелями, так и отечественными мародерами, храм несколько не пострадал. «Московским Нотр-Дамом» называл церковь Достоевский. Проезжая мимо нее на извозчике, он всякий раз выходил и благоговейно озирали дивное «дело рук человечешки Петрушки Потапова». Но храм не ушел от рук московских радетелей в середине тридцатых годов нашего скорбного века. Галерея церкви вдавалась в узкую мостовую улицы и мешала извозчикам и немногочисленному автотранспорту. Уничтожили нарышкинское барокко, «московский Нотр-Дам», и на освободившемся месте открыли летнее кафе с зонтиками. Потом кафе отодвинули несколько вглубь. А ведь можно было отодвинуть храм, тогда это уже умели, или снести галерею, или убрать здания с другой стороны улицы. Возможны были любые решения, но выбрали наихудшее. Некоторое представление об уничтоженном чуде дает красная церковь Климента в Климентовском переулке.

До войны 1812 года Маросейка, как и продолжающая ее Покровка, были улицей знати, но после знаменитого пожара и изгнания Наполеона социальный характер Маросейки изменился: знать уступила место купцам. В Петроверигском переулке под

№ 4 стоит дом, приметный в истории русской культуры. Тут провел свое детство декабрист Тургенев, тот самый, о котором Пушкин сказал в уничтоженной десятой главе «Евгения Онегина»:

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Тут бывали Херасков, Карамзин, Жуковский. От аристократов дом перешел к чаоторговцам Боткиным, но не выпал из русской культуры, а остался связан с ней теснейшими узами. Эта семья дала трех высокоодаренных братьев: знаменитого врача-терапевта, именем которого названа одна из лучших московских больниц, основателя крупнейшей школы русских клиницистов Сергея Боткина, писателя Василия Петровича, автора «Писем из Испании», многих статей по литературе, искусству, в том числе нашумевшей статьи о поэзии Фета, и Михаила Петровича — живописца и гравера, автора книги об Александре Иванове. И была у них сестра Мария Петровна, ставшая женой великого русского лирика Афанасия Фета.

То не был брак по взаимной любви, каждый уже «пережил свои мечтанья» и надеялся обрести в другом лишь тихую пристань. Как и все браки, в которых не участвует сердце, он оказался на редкость удачным: долгим и прочным. Особенно повезло Фету, который на капиталы Марии Петровны смог развернуть свой недюжинный хозяйственный талант и стать крупным помещиком, что, как ни странно, совсем не мешало его тончайшей лирике. Мария Петровна, если верить ее брату Василию, земледельческие таланты мужа ценила менее поэтических. Наверное, так и было, если вспомнить сцену, разыгравшуюся в гостиной после пения Татьяны Кузминской (сестры Софьи Андреевны Толстой), когда Фет вспомнил другой давний вечер, когда она тоже пела, и пение это поразило его. Он написал ей стихотворение, которое заканчивалось так:

И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь.
Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

Все присутствующие были в смущении, особенно Софья Андреевна. Но кто не дрогнул, так это Мария Петровна, она оценила стихи, до остального ей не было дела.

Афанасий Афанасьевич Фет бывал в Петроверигском, в чудесной усадьбе с большим нарядным домом и многочисленными флигелями. Ныне там ведутся реставрационные работы.

В доме № 10 проживал в начале века знаменитый физик Ле-

бедев, а по соседству на месте старинных Куракинских палат известный и решительный зодчий Лялевич построил для резиновой мануфактуры «Треугольник» громадный по тем временам дом в стиле классицизма. Этот дом сохранился по сию пору, но уже не служит резиновой промышленности.

А в Спасоглинищевском, круто спадающем в бездну, набитую по ночам звездами, стоит дом, построенный Матвеем Казаковым, где жил знаменитый русский художник Абрам Архипов.

В доме № 5, построенном на деньги известного книгоиздателя Сытина, находился книжный магазин и склады. Чудом полиграфии были подарочные издания Сытина. Мне когда-то подарили на елку «Детство, отрочество и юность» Толстого в сытинском издании. Книга давно пропала, но ее переплет, шрифт, удивительные цветные иллюстрации до сих пор перед глазами, это было одно из самых радостных чудес моего спартанского детства.

Закончить рассказ о Маросейке можно домом на углу с Армянским переулком. Создателем его считается гениальный и несчастный Баженов, чьи самые величественные проекты не были осуществлены, а сделанное уничтожилось либо произволом ненавидевшей его Екатерины II, либо безжалостным временем. И этот дом неоднократно перестраивался, но «вычитать» в нем Баженова все же можно. Дом откупил у полковника Хлебникова фельдмаршал Румянцев-Задунайский, велел расписать внутренние покои фресками, изображавшими его победные баталии. После его смерти дом перешел к старшему сыну — графу Румянцеву, основателю Румянцевской библиотеки и музея. Для размещения своих книжных и художественных сокровищ граф приобрел дом Пашкова — самое красивое здание Москвы, также созданное Баженовым и находящееся ныне в угрожаемом положении.

На этой «оптимистической» ноте мы перейдем к продолжению улицы — Покровке, еще недавно улица Чернышевского.

Снова обратимся к московскому историографу Сытину. «Здесь по левой стороне в XVII веке жили слободой «котельники» — мастера, изготовлявшие котлы для варки пищи; по правой стороне — «колпашники», шившие «колпаки», мужские шапки того времени». Добавлю от себя: память об этих ремесленниках сохранилась в названии Колпачного переулочка... Здесь до сих пор стоит дом гетмана Ивана Мазепы — отрицательного героя, как сказали бы сейчас, пушкинской «Полтавы».

Переведем дух на дивных строках этой поэмы, помните — о казаке, что «при звездах и при луне так поздно едет на коне». Хорош конь под казаком, остер булатный меч, за пазухой мешок с червонцами, но дороже всего ему шапка на буйной голове.

За шапку он оставить рад
Коня, червонцы и булат,
Но выдаст шапку только с бою,
И то лишь с буйной головою.

Зачем он шапкой дорожит?
Затем, что в ней донос зашит,
Донос на гетмана злодея
Царю Петру от Кочубея.

Торопитесь взглянуть на московское обиталище романтического злодея Мазепы, которому два великих поэта — Пушкин и Байрон — посвятили поэмы: дом в плохом состоянии, а ГлавПУ не дремлет...

У Покровских ворот стоит дом, где прежде находился кинотеатр «Аврора», в пору моего детства — «Волшебные грезы». Сюда мы убегали с уроков смотреть захватывающие немые фильмы с «веселым, вечно улыбающимся» Дугласом Фэрбенксом, лучшим за всю историю кино д'Артаньяном, Зорро и Робинот Гудом, таинственные фильмы с большеглазым Конрадом Вейдом и чувствительные ленты с печальной Лилиан Гиш. С тех пор кино уж никогда не навевало на меня волшебные грезы. Сытин считает, что это здание построено по типовому проекту петербургского архитектора Стасова, выполнявшего указ «полубезумного властелина» Павла I поставить у всех ворот снесенного Белого города «одинаковые фасадою» гостиницы. Здесь Сытин ошибся: стасовская гостиница — не этот, а другой, низенький желтый дом, глядящий фасадом на Чистые пруды. Такое же здание завершает и Страстной бульвар.

Все покровские ребята, и я в их числе, называли красивый сине-белый дом с колоннами неподалеку от Покровских ворот «голицынский комод». Оказывается, «дом-комод», прозванный так за многочисленные выступы, принадлежал Трубецким, которых в Москве называли — в отличие от других представителей рода — Трубецкие-комод. После дом перешел к Алексею Разумовскому, морганатическому супругу императрицы Елизаветы Петровны. Придворный певчий Алешка Розум был замечен влюбчивой Елизаветой и, как говорили тогда, «попал в случай». Елизавета Петровна настолько к нему привязалась, что захотела узаконить их отношения. Они повенчались в расположенной поблизости от дома-комода церкви Воскресения в Барашах, уцелевшей до нашего времени в обезглавленном виде. Баловень судьбы увековечен одной строкой стихотворения Пушкина «Моя родословная»:

Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князя не прыгал из хохлов.

Так вот, насчет подпевалы придворных дьячков — это об Алексее Разумовском.

Много лет спустя, после смерти Елизаветы Петровны, знаменитый политик и неутомимый интриган канцлер Бестужев-Рюмин задумал выдать замуж императрицу Екатерину II за ее возлюбленного лейб-гвардейца Григория Орлова, помогшего ей овладеть тронem. Но осторожная и не столь уверенная в своих правах на

престол, как дочь великого Петра, Екатерина колебалась. Бестужев-Рюмин ставил ей в пример Елизавету Петровну, не боявшуюся ни божеского, ни людского суда. Тогда Екатерина решила — в виде пробного камня — узаконить графа Разумовского как мужа ее тетки-императрицы, пожаловав ему титул «императорского высочества». В Москву, где находился стареющий вельможа, был послан граф Воронцов. Вот как описывает это свидание знаток старины В. А. Никольский:

«Воронцов застал старика-графа в его покровском доме сидящим у камина в той самой мраморной комнате, которая служила спальней новобрачных и, в общих чертах, сохранилась до сих пор. Разумовский прочел проект указа, молча встал с кресла, подошел к находившемуся в спальне комоду, отпер стоявший на нем богато отделанный ларец и вынул из потайного ящика сверток бумаг, затянутых в розовый атлас. Старик прочел бумаги, поцеловал их и, перекрестившись, бросил в огонь камина.

Заявив Воронцову, что он был только «рабом» Елизаветы, осыпавшей его «благодейниями превыше заслуг», Разумовский сказал, что у него не оказалось бы «суетности» признать свой брак, даже если бы он и существовал.

— Теперь вы видите, что у меня нет никаких документов, — сказал он в заключение.

Именно этот в известном смысле героический поступок Разумовского и заставил, по-видимому, Екатерину отказаться от мысли «избрать себе супруга», а длинная вереница последовавших затем фаворитов показала, насколько мог быть прочным такой брак».

Современники дружно рисуют Алексея Разумовского как благородного и доброго человека, искренне любившего Елизавету и лишнего каких-либо честолюбивых замыслов. Но мне думается, его поступок был продиктован не только скромностью и бескорыстием, но и хохлацкой сметкой и осмотрительностью: не соблазнило на старости лет играть в молодые честолюбивые игры и наживать врагов-завистников. Он хотел спокойной старости и получил ее.

В упоминавшемся Барашевском переулке есть и другая, стройная бордового цвета церковь Введения во храм, которая ныне неспешно реставрируется.

Сохранился на Покровке старый дом (№ 38), принадлежавший княгине Голицыной — пушкинской Пиковой даме. Помните, какой увидел ее Германн, пробравшийся к ней в спальню, чтобы узнать тайну трех карт, приносящих выигрыш? «Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи ее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Германн был свидетелем отвратительных таинств ее туалета; наконец, графиня осталась в спальней кофте и ночном чепце: в этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна».

Какая поразительная проза — ни одного лишнего слова!..

Вот как писал о Покровке в середине прошлого века один московский старожил: «Первый предмет, поражающий вас на этой улице, есть необыкновенное множество каретных и дрожечных лавок. Наблюдая далее за Покровкой, вы удивляетесь множеству пекарен, хлебных выставок и овощных лавок. Проезжая мимо, вы постоянно слышите, как бородатый мужик, хлопая по калачу, как паяц по тамбурину, кричит вам: «Ситны, ситны, калачи горячи!» Кроме того, перед вами мелькают замысловатые вывески, на которых написан чайный ящик и сахарная голова с надписью: «Овощная торговля иностранных и русских товаров». А потом вы видите вдруг пять или шесть белых кружков на синей вывеске, а сверху надпись бог знает какими буквами: «Колашня».

Портного ли вам нужно? Есть портной, и даже не один. Модистку ли вы хотите иметь? Вот вам несколько вывесок с чем-то очень похожим на шляпку. Нужна ли вам кондитерская? Добро пожаловать! Спрашиваете ли вы типографию? Извольте! Наконец вот вам декатиссер, который выводит всех возможных родов пятен, даже пятна на лице».

И хотя вы не услышите сейчас таких выкриков, да и кондитерских с калашными не найдете, едва ли удивитесь обилию овощных лавок, насчет шляпок тоже не густо, общий рисунок улицы остался старинным. Здесь очень легко представить себе, какой была Москва в начале нашего века. И я уверен: если частная инициатива пробьется сквозь бюрократические препоны, сходство ее усилится, ибо появятся и кондитерские, и калашные, и овощные, и шляпные мастерские, и косметические на каждом углу, чтобы выводить пятна с лица.

На углу с нынешней улицей Чаплыгина (прежде Машков переулок) стоит огромный дом, даже целый куст домов, построенных для политкаторжан. Многие мои товарищи по школе, находившейся в двух шагах отсюда в Лобковском переулке (ныне улица Макаренко), жили в этих домах. Мы часто ходили туда гонять в футбол на асфальтовых пустырях гигантского двора. Постепенно все эти мальчики и девочки, кроме одной, ныне покойной, остались без отцов. Сталин, истреблявший всю «ленинскую гвардию», пересажал, частью сразу уничтожил старых революционеров, узников царских тюрем. Самое невероятное на нынешний взгляд, что это не казалось нам странным — отцов не было почти ни у кого из моих однокашников: кто попал в узилище как инженер-вредитель, кто за причастность к нэпу, кто был объявлен врагом народа по лживому доносу, а военные шли по делу Тухачевского, Уборевича и других героев гражданской войны, оклеветанных и расстрелянных. Понятие «маменькин сыночек» обрело тогда иной смысл: не забалованный капризник, а товарищ и помощник своей матери, тянувшей в одиночку тяжкий семейный воз. Вот и такое лицо было у Покровки моего детства...

Надо сказать об одном замечательном жителе вселенной, име-

нуемой Покровка. У П. Сытина читаем: «В Малом Казенном, ныне Мечникова, переулке, во дворе больницы (дом № 5), стоит памятник известному филантропу начала XIX века — доктору Ф. П. Гаазу. Любимая фраза его, обращенная к людям, была: «Спешите делать добро». Превосходный врач, он имел обширную практику и весьма хорошие средства, но все их отдавал на дела благотворительности, а сам ходил в потертом платье и чиненых сапогах. Став членом попечительного комитета о тюрьмах, он отдавал заботе о заключенных все свое время, энергию и средства. Он наладил медицинское обслуживание узников, добился отмены бритья головы женщинам и ссыльным, снабжал отправляемых в Сибирь теплыми тулупами, по его настоянию было пересмотрено множество дел. И это лишь малая часть его службы совести. Популярность Гааза в Москве была так велика, что, когда начались в Москве холерные волнения, губернатор Закревский просил Гааза успокаивать людей на площадных сходках. Чтобы убедить врачей в безопасности прикосновения к холерным больным, Гааз сел в ванну, из которой только что вынули умиравшего холерного, и просидел в ней полчаса.

Однажды ночью на Гааза напали двое бандитов. Содрав с него шубу и шапку, они узнали доктора, помогли ему одеться и проводили домой. Когда же доктор Гааз умер, за его гробом шла вся Москва.

Я люблю бывать в местах, где прошло мое трудное, бедное и прекрасное детство. Бродя по Маросейке и Покровке и прилегающим переулкам, я переносюсь в прошлое. Стоит закрыть глаза, и я слышу протяжные голоса бродячих ремесленников и торговцев: «Ведро, корыта, кровати починяем!..», «Калоши старые покупаем!..», «Точить ножи, ножницы!..», «Пельсины, лимоны, узю-ум!..». И самые томительно-певучие, как будто с древних степей, высокие голоса старьевщиков, именуемых князьями: «Старье берье-о-ом!», вдруг прерываемые горловым, в упор: «Брука есть?..» Вот прожита жизнь, а стал ли я счастливей, богаче с тех давних пор, когда скуластый князь отказывался от моих старых, заношенных до прозрачности лыжных брюк? Да, в этом я, несомненно, стал богаче: брука есть...

КИТАЙ-ГОРОД

Территориально Красная площадь принадлежала Китай-городу. Когда посад начали вытеснять из Кремля, он обжил сперва пустырь у кремлевских стен, потом двинулся дальше в восточном направлении. Первоначально его составляли торговые люди и обслуживающие их ремесленники, позже к ним присоединились приказные, духовные и знать. Красная площадь рано осознала

свое главное назначение как места для торжеств — религиозных шествий, встречи царя с народом, объявления государевых указов, а в особо важных случаях и как места правежа. Она упорно выживала торгашей со своего овала, до поры мирясь лишь с легкой ручной продажей, преимущественно возле Василия Блаженного и вниз по реке, пока окончательно в исходе прошлого века не покончила с торжищем.

В начале XVIII века у Никольских ворот царь Петр воздвиг деревянную «комедийную храмину», ставшую первым русским народным театром. Вот что писал о нем голштинiec Басевич: «В Москве существовал театр, посещаемый только простым народом и вообще людьми низкого звания. Драму обыкновенно разделяли на 12 действий, которые еще подразделялись на столько же явлений, или сцен, а в антрактах представляли шутовские интермедии, в которых не скупилась на пощечины и палочные удары. Такая пьеса могла длиться в продолжение целой недели, так как в день разыгрывали не более третьей или четвертой ее части. Грима не было, но были приставные бороды, которые делались из конских грив и хвостов».

Не так давно, выступая в одной из московских школьных читален, я с удивлением обнаружил, что те немногие ребята, которые слышали о Китай-городе, думают, будто название идет от китайцев: мол, находилось там китайское поселение. Нет, китайских кварталов в нашем городе никогда не существовало, хотя в двадцатые — тридцатые годы было в Москве несколько китайских прачечных, одна из них — в моем родном Сверчковом переулке, в ампирном доме, сохранившемся до сих пор. Знаток Москвы П. В. Сытин тоже подтвeрждает Китай-город поближе к Китаю, выводя его название из монгольского слова «китай», означающего «средний». По-древнерусски «город» значит «крепость». Таким образом Китай-город — это Средняя крепость. Но ведь название появилось до того, как Федор Конь построил стену Белого города, — следовательно, Китай-город не мог считаться средней крепостью. Справедливо, мне кажется, другое объяснение: кита — русское слово, так называется веревка, которой обвязывают товары. А поскольку Китай-город сосредоточивал в себе почти всю московскую торговлю и потреблял неимоверное количество киты, его так и назвали.

Социальный состав жителей Китай-города довольно скоро разошелся с главным назначением посада как торгового центра Москвы. Кремль все отчетливее становился царевой вотчиной, даже высшей знати не оказалось в нем места. Но отдаляться от царского дома не хотелось, и знать потеснила торговцев и ремесленников. Торговля осталась на прежнем месте, но сами купцы стали обживать тихое сиренево-черемуховое Замоскворечье, заложив там собственное царство, позднее прозванное «темным», и создали тот особый толстомясый, но по-своему живописный быт, который целиком вошел в драматургию Островского. Ремесленники

все-таки зацепились за Китай-город, заселив низинную, затопляемую в половодье часть его, прозванную Зарядьем. А в самом Китай-городе, меж торговых рядов, гостиных дворов, церковей, монастырей, подворий заезжих купцов, расположились хоромы Шереметевых, Трубецких, Черкасских. По статистике 1701 года в Китай-городе 152 двора принадлежало духовенству, 54 — боярству и дворянству, 21 — дьяконам, 6 — дворовым служащим, 29 — торговцам и 1 — крепостному человеку.

Образовался Китай-город как некое территориальное единство, когда итальянец Петрок Малый обнес посад крепостной стеной, останки которой можно увидеть в Китайском проезде, Театральном проезде и на Театральной площади. Со стороны Театрального проезда сохранились красивые ворота, ведущие в Китай-город через короткий Третьяковский проезд. Свое название проезд получил в честь брата создателя Третьяковской галереи. Слева от ворот, на взлобке, стоит памятник первопечатнику Ивану Федорову, вокруг которого закручивается в конце недели книжный рынок. Последнее — дань традиции: когда-то у Китайской стены напротив Политехнического музея существовал упоительно-изобильный книжный развал. Сколько дивных книг приобрел я там буквально за гроши, выручаемые от продажи краденных на винном складе бутылок: «Редгонтлет» Вальтера Скотта, «Мельмот скиталец» Мэтьюрена, «Лицо во мраке» Уоллеса, разрозненные тома «Рокамболя» Понсон дю Террайля, «Приключения бригадира Этьена Жеррара» Конан Дойла, «Похороны викинга» не помню кого — все такое старенькое, рваненькое и бесценное.

Первый деревянный гостиный двор возник при Иване III, сосредоточившем всю московскую торговлю в Китай-городе, а на восточной стороне Красной площади, возле Василия Блаженного, появились торговые ряды. Затем стали еще два гостиных двора, они часто горели, их отстраивали, пока не заменили каменными.

Многочудный и шумный, пыльный и вонький хаос китайгородского торжища обладал известным и даже весьма строгим порядком, который не дозволялось нарушать.

Вот прострафанное описание китайгородского торгового двора, взятое из старой книги. Его стоит привести почти целиком.

«Торговые помещения по своим размерам делились на лавки, полулавки и четверть лавки. Со времен Федора Ивановича размер полной лавки равнялся 2 саж. в ширину и 2¹/₂ саж. в глубину. Таким образом, это были очень небольшие помещения, с крепкими сводами и маленькими окошками, затворяющимися железными ставнями, почему и были мало доступны для огня. Кроме того, лавки имели подвалы, где торговцы прятали свои товары.

Ряды таких небольших лавок тянулись от площади против Кремля к стене Китай-города. Иногда каждый ряд имел свои торговые обычаи. Так, против Никольских ворот шел иконный ряд. Это была большая улица, сравнительно с другими, по которой проезжал царь, куда бы ни отправлялся. Здесь сидели про-

давцы икон и живописцы. Интересно, что москвичи не называли торг иконами куплей и продажей, а «менюю на деньги» и при этом долго не торговались за иконы. Для характеристики разделения на ряды торговли в Китай-городе приведем еще несколько названий рядов. Так, были ряды: седельный, саадашный¹, красный, сапожный; из рядов, торговавших металлическими произведениями, назовем скобяной, замочный, котельный, игольный, железный; в конце XVII века появился еще новый замочный ряд; был также самопальный ряд. Несколько позже упоминается еще серебряный ряд. Обувью торговали в сапожном ряду; материями — в сурожском ряду и суконном; разного рода пищевыми продуктами — в очень различных рядах. Так, были ряды: масляной, ветчинный, хлебный, калачный, овощной, рыбный свежий ряд, сельдяной ряд, орешный ряд, медвяный ряд нижний и новый, даже луковый и чесноковый ряд, харчевой ряд, пирожный ряд, вандышный ряд, построенный в конце XVII века в конце рыбного посольного ряда (вандыш — сняток). Солью торговали в особом соляном ряду, который шел от Варварского крестца. Разного рода посуды торговали в судовом ряду, в горшечном ряду. Кроме того, упоминаются еще ряды: белильный, золяной, москательный, пушной, собольный, впрочем уже не существовавший в конце XVII века, свечной, восковой, мыльный, щепетильный²; в конце XVII века появляется новый мужской шапочный ряд, стоявший в конце кафтанного ряда от Ильинского крестца к серебряному ряду, деготный ряд; ветошный ряд находился у Ильинского крестца и шел до Никольского крестца. Вообще в 80-х годах XVII века насчитывалось в Китай-городе 72 ряда». Был еще теплый ряд, где в лавках стояли печурки.

Сытин говорит, что уже в конце XVII века эта строгая дифференциация стала нарушаться. Так, «в овощном ряду продавались писчая бумага, холсты льняные, атласы турецкие, четки ременные, мыло грецкое и индийское и пр. Здесь же можно было купить дюжину «стульев немецких золотных», «трубки зрительные», «фряжские и немецкие листы» (гравюры) и даже «монастырек» (несесер), а в нем два ножичка, да ноженки, да вилки, да свайка, да зубочистка».

Читал я еще об одной достопримечательности Китай-города. «По дороге от Посольского двора к Кремлю был особый рынок, называвшийся вшивым рынком, или вшивой биржею. Тут была толкучка, где продавались разные старые вещи; тут же сидели брадобреи на низеньких лавочках, крытых древесной корой, и предлагали свои услуги постричь и подбрить голову. При хорошей погоде эта операция производилась под открытым небом, почему площадь вообще приобрела весьма непривлекательный вид, была устлана «волосами, так что по ним ходят как по мягкой обивке»,

¹ Саадак — кожаный чехол для лука.

² Щепетинье — женские мелочи.

рассказывает Олеарий. Вшивый рынок сливался с лоскутным рынком, где нередко торговали, несмотря на его название, очень ценными и хорошими вещами».

Естественно, что береженье торгового составляло немаловажную задачу для городских властей. На ночь запирались улицы решетками, а где решеток не было, ставились надолбы, «чтобы воровским людям проходу и проезду не было». Воины с рогатинами, топорами и бердышами несли сторожевую службу у решеток и надолбов, они должны были задерживать каждого запозднившегося человека, выяснять, кто он есть и куда идет, и провожать домой. Были еще кровельные караульщики, которые дежурили на крышах и оповещали о пожаре. Обезьяньи головы контролировали самих караульщиков.

В конце XVIII века разбогатевший Китай-город уже не устраивали грязные и тесные гостиные двory. Знаменитый Джакомо Кваренги сделал замечательный проект, в котором зодчий хитроумно и изящно использовал уклон местности от Ильинки к Варварке, учредив здание на взгорбке двухэтажным, а в низине трехэтажным и соединив обе части ступенчатым переходом. Но Кваренги был занят в Петербурге, и строительство поручили двум московским умельцам — Селехову и Карину. Они предельно упростили проект, лишив его изюминки, и в конце концов оставили от Кваренги лишь проемы аркад с коринфскими колоннами. И все равно здание было красиво и повысило самоуважение гостинодворцев. Порядком запущенное, оно дожило до наших дней.

Толчком к строительству каменных зданий (в том числе лавок, амбаров, лабазов) послужил опустошительный пожар 1737 года, тот самый знаменитый пожар, когда «Москва сгорела от грошовой свечки». Так оно и было: загорелся чулан в Зарядье от свечки перед иконой; уничтожив Зарядье, он кинулся в верхний Китай-город и оттуда распространился по всей Москве, добравшись аж до Немецкой улицы и Лефортова. Пожары вообще играли большую роль в московском строительстве. Москвичи не любили ни каменных домов, ни каменных церквей и, несмотря на все царские указы, старались строиться из дерева. Но опустошительные пожары все-таки принудили их обратиться к камню. Постепенно весь Китай-город стал каменным.

Конечно, Китай-город принимал все более цивилизованный вид, но что-то от старого, горластого, буйного, суматошного торжища в нем оставалось даже в исходе XIX века, когда купечество привыкало к визитке и фраку, к изысканной еде и тонким винам, приобщалось к искусству и литературе, меценатствовало, коллекционировало, покровительствовало художникам и музыкантам, в нем по-прежнему крепко отдавало азиатчиной. Интересный и невероятно плодовитый писатель Петр Дмитриевич Боборыкин, родившийся еще при Пушкине, а умерший после революции, оставил талантливый и познавательный богатый роман «Китай-город». Тургенев писал о Боборыкине: «Я легко могу себе предста-

вить его на развалинах мира строчащего роман, в котором будут воспроизведены самые последние «веяния» погибающей земли. Такой торопливой плодовитости нет другого примера в истории всех литератур! Посмотрите, он кончит тем, что будет воссоздавать жизненные факты за пять минут до их рождения».

А вот картинка китайгородской жизни из романа Боборыкина:

«В «городе», на площади против биржи, шла будничная дообеденная жизнь. Выдался теплый сентябрьский день с легким ветерком. Солнца было много. Оно падало столбом на середину площади, между громадным домом Троицкого подворья и рядом лавок и контор. Вправо оно светило вдоль Ильинки, захватывало вереницу широких вывесок с золотыми буквами, пестрых навесов, столбов, выкрашенных в зеленую краску, лотков с апельсинами, грушами, мокрой, липкой шепталой и многоцветными леденцами. Улица и площадь смотрели веселой ярмаркой. Во всех направлениях тянулись возы, дроги, целые обозы. Между ними извивались извозчичьи пролетки, изредка проезжала карета, выкидывал ногами серый жирный жеребец в широкой купеческой эгоистке московского фасона. На перекрестках выходили беспрестанные остановки. Кучера, извозчики, ломовые кричали и ходко ругались. Городовой что-то такое жужжал и махал рукой. Растерявшаяся покупательница, не добежав до другого тротуара, роняла картуз с чем-то съестным и громко ахала. По старой разъезженной мостовой грохот и шум немолчно носились густыми волнами и заставляли вздрагивать стекла магазинов. Тучки пыли летели отовсюду. Возы и обозы наполняли воздух всякими испарениями и запахами — то отдаст москательным товаром, то спиртом, то конфетами. Или вдруг откуда-то польется струя, вся переполненная постным маслом, или луком, или соленой рыбой. Снизу из-за биржи, с задов Гостиного двора, поползет целая полоса воздуха, пресыщенного пресным откусом бумажного товара, прессованных штук бумазеи, миткал, ситцу, толстой оберточной бумаги.

Нет конца телегам и дрогам. Везут ящики кантонского чая в зеленоватых рогожках с таинственными клеймами, везут распорванные бурые, безобразно пузатые тюки бухарского хлопка, везут слитки олова и меди. Немилосердно терзает ухо бешеный лязг и треск железных брусьев и шин. Тянутся возы с бочками бакалеи, сахарных голов, кофе. Разом обдадут зловонием телеги с кожами. И все это облито солнцем и укутано пылью. Кому-то нужен этот товар? «Город» хоронит его и распределяет по всей стране. Деньги, векселя, ценные бумаги точно реют промежду товарами в этом рыночном воздухе, где все жаждут наживы, где дня нельзя дышать без того, чтобы не продать, не купить.

...Снизу от Ножовой линии, сбоку из Черкасского переулка, сверху от Ильинских ворот ползет товар, и над этой колышущейся полосой из лошадей, экипажей, возов, людских голов стоит стон: рубль купца, спина мужика поют свою нескончаемую песню...»

Очень резвился Китай-город в Фомин понедельник. Русское купечество избрало день святого апостола Фомы, чтобы на ярмарке-гулянке сбыть московским жителям гнилые товары и вышедшие из моды вещи. И хотя все москвичи знали, что это надувательство, соблазн дешевых цен был велик, и с раннего утра весь город валом валил в ряды. «Московская модная красавица... попадая в своем огромном чепце, чопорная купчиха, скромная портниха и горничная девушка, жена приказного и кухарка, пожилой помещик со своей семьей и молодой фронт без семейства» чуть ли не дерутся из-за вышедшей из употребления материи, гнилых перчаток, жалких brasлетов и кусочков лент.

«Для людей, нечистых на руку, эта давка в Гостином ряду — настоящий сенокос: бывает, что иной, торгуя лоскут канифаса, нещадно тащит кусок материи под шинель и развешивает его там на нарочно пришитых острых крючках; чиновница-аферистка, будто в рассеянии, вместе с носовым платком сует в свой огромный ридикюль огромную деревяшку с мотком лент, а между тем какой-нибудь шалун, пользуясь всеобщим смятением, сшивает на живую нитку ветхий капот старой кухарки с богатым бурнусом московской красавицы... Все это живо, пестро, разнообразно; это веселый муравейник людей, в котором, если б не было страшной суматохи, не было никакого очарования...»

Угомонился Китай-город уже в нашем веке, когда его торговля сосредоточилась в Верхних и Средних торговых рядах. Верхние ряды стали ГУМом, главным универсальным магазином Москвы, куда ежедневно тянутся тысячи и тысячи покупателей. Таким образом, Китай-город не изменил своему торговому прошлому.

Надо сказать, что в историю Москвы, а стало быть, и в историю страны Китай-город вошел не только как великое торжище. Он имеет заслуги перед русской культурой, искусством, просвещением.

Памятник первопечатнику Федорову работы скульптора Волнухина не зря поставили возле Китайской стены. Позади него когда-то находилась первая русская типография — Печатный двор, построенный повелением Грозного-царя в 1563 году. Царя гневало, что переписчики церковных книг по небрежности, темноте, а порой по игре беспокойного ума перевирают священные тексты. Лишь печать могла гарантировать канонический текст.

Во главе Печатного двора поставили бывшего дьякона кремлевской церкви Николы Гостунского Ивана Федорова. Помощником у него был Петр Мстиславец. Иван Федоров был овдовевшим дьяконом, поэтому его отставили от церковной службы. Историк Уланов полагает, что это и заставило его заняться книгопечатанием. Иван Федоров не только досконально изучил печатное дело, он прекрасно владел пером, его послесловия обнаруживают литературный дар, знакомство и с церковной, и с публицистической литературой — сочинениями Максима Грека и его знаменитого ученика князя Курбского. Он умел отливать формы для букв и сами бук-

вы, а также делать пунсоны — резанные из стали буквы для выбивания из меди матриц. Более десяти лет понадобилось Федорову и Мстиславцу, чтобы выпустить первую на Руси книгу «Апостол». Гравировальные доски и шрифт заказывали за границей, одновременно обучали печатному делу русских юношей из подъяческих сыновей. Наш отечественный Гуттенберг был печатником милостью божьей: первая книга отличалась тонким вкусом, строгим изяществом. Но не бывало еще, чтобы новь приходила без сопротивления. Обиженными оказались все переписчики и монастыри, получавшие хороший доход за рукописные книги. Типографию сожгли (есть очень интересный роман Алексея Ремизова об этом трагическом событии, написанный как бы от лица поджигателя — переписчика книг), а против Федорова и его подручных выдвинули обвинение в колдовстве. За это по тем суровым временам полагалась казнь через сожжение в срубе. И даже Грозный-царь не смог защитить своих мастеров. Им пришлось бежать в Литву.

А Иван Васильевич, разобидевшись на церковников и бояр, уехал в Александровскую слободу, куда вывез и типографию. Пройдет немного времени, и Печатный двор вернется на старое место, где, меняя название, просуществует до 1918 года.

Царь Федор Алексеевич, склонный к образованию и литературе, что не помешало ему сжечь первого великого русского прозаика, протопопа Аввакума, поставил здесь Правильную палату, по нашему корректорскую. Здесь же по воле церковных властей стала действовать цензура, сыгравшая столь пагубную роль в русской литературе.

И первая русская газета, основанная Петром, — «Ведомости» — печаталась здесь же.

Во время войны с Наполеоном, когда он шел на Москву, у входа в типографию раздавались военные сообщения. И хотя, как всякие сообщения из отступающей армии, они были выдержаны в туманно-успокоительном духе — мол, дали крепкий отпор противнику, понесшему тяжелые потери, после чего стройно отошли на заранее подготовленные позиции, — народа там всегда толкалась уйма. Отсюда вышла и первая патриотическая афишка московского генерал-губернатора графа Ростопчина в псевдорусском стиле. Стоит привести почти целиком дружеское послание главнокомандующего в Москве к жителям ее. Тут говорится о некоем целовальнике и московском мещанине Корнюшке Чихирине, «который, быв в ратниках и выпив лишний кружок на Тычке, услышал, будто Бонапарт хочет итти в Москву, разсердился, разругал скверными словами всех французов, вышел из питейного дома и заговорил под орлом собравшемуся народу: «Как! К нам? Милости просим, хоть на Масленицу; да и тут жгутами девки так пропонят, что спина вздуется горой. Полно демоном-то наряжаться: молитву сотворим, так до петухов сгниешь! Сидитка лучше дома, да играй в жмурки, либо в гулячки. Полно тебе фиглярить: вить солдаты-та твои карлики да шегольки; ни тулупа, ни рука-

виц, ни малахая, ни онучь не наденут. Ну где им русское житье-бытье вынести? От капусты раздуются, от каши перелопаются, от щей задохнутся, а которые в зиму-та и останутся, так крещенские морозы поморят... право так, все беда: у ворот замерзает, на дворе околевать, в сенях зазябать, в избе задышаться, на печак обжигаться. Да что и говорить! Повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову положить... Посему и прочее разумевай, не наступай, не начинай, а направо кругом домой ступай и знай из роду в род, каков есть русский народ». Потом Чихирин пошел и бодро запел: «Во поле береза стояла», а народ, смотря на него, говорил: Откуда берется? А что говорит дело, то уж дело!»

Самое любопытное, что в конечном счете так и оказалось, как предрекал французам лихой Корнюшка Чихирин, выпивший лишний крючок на Тычке. И пусть в светском обществе издевались над лубочными писаниями графа Ростопчина, народу его афишки нравились, они веселили и поднимали дух, наивная вера их автора в крепость русского характера была умнее придворного скепсиса. Граф Ростопчин надолго задал тон отечественной журналистике. Еще недавно, читая материалы центральных газет, обращенные к зарубежью, я нередко слышал молодецкий голос Корнюшки Чихирина.

После победы над Наполеоном архитекторы А. Н. Бакарев и И. Л. Мироновский построили то здание типографии в ложноготическом стиле, которое и по сей день радует глаз. Ныне здесь находится одно из популярных высших учебных заведений — Московский Государственный гуманитарный университет.

Начало высшего образования в Москве связано с Китай-городом, с той же Никольской улицей, где находился Печатный двор. Свое название улица получила по монастырю Николы Старого. А возникла эта древняя московская улица из большой оживленной дороги, идущей к Ростову Великому, Суздалию и Владимиру. Только называлась она тогда Сретенской. А вот когда поднялась стена Петрока Малого, улица разделилась. Та, что за стеной, сохранила свое старое название, а та, что отошла к Китай-городу, стала Никольской.

С западной стороны Никольского монастыря был построен в 1660 году Спасский монастырь, который народ переименовал в Заиконоспасский, поскольку он стоял за иконным рядом. Просветитель и поэт дней Алексея Михайловича Симеон Полоцкий устроил при монастыре школу, где обучались молодые подьячие, среди них Семен Медведев, принявший стриг под именем Сильвестра, выдающийся ученый и писатель той поры. Учили здесь «по латыням и по грамматическому учению». Через семь лет после смерти Симеона Полоцкого было создано Славяно-греко-латинское училище, позже переименованное в академию, — первое высшее учебное заведение в Москве и второе на Руси; до этого академия была учреждена в Киеве. Оттуда пришли в Москву известные просветители братья Лихуды, греки по происхождению.

Это училище дало русской культуре многих замечательных деятелей, среди них — великий ученый, поэт и художник Ломоносов, поэт Антоих Кантемир, поэт и просветитель Тредиаковский, зодчий Баженов, географ, исследователь Камчатки Каташихин, математик Магницкий. Каждый из них пользовался славой и уважением при жизни в соответствии со своими заслугами, даже несчастный Баженов, испытывавший на себе всю тяжесть ненависти Екатерины II. За исключением Василия Кирилловича Тредиаковского.

Это фигура трагическая, не понятая современниками и до сих пор не получившая должного признания. С юных астраханских дней поповский сын Василий был одержим страстью к учению. Его отметил Петр, побывавший в Астрахани по пути в Персию во время русско-персидской войны. Заломив юноше мягкий чуб, Петр долго вглядывался в его глаза и сказал, будто жалеючи: «Вечный труженик!» Царь как в воду глядел. Такого трудолюбия не видела русская земля, но как мало благодарности получил Тредиаковский за все свои труды! Он привил России классицизм, реформировал русскую поэзию, введя силлабо-тоническое стихосложение взамен силлабического. Он был первым русским академиком в набитой немцами Российской Академии. Но при дворе он был чуть ли не на положении шута. Кабинет-министр Артемий Волынский нещадно истязал его, требуя непристойных стихов на свадьбу шута Квасника с шутихой Бужениновой. Тредиаковский писал стихи куда неумелее не только Ломоносова, но и Сумарокова и все же единственный в свое время проговорился истинной лирикой:

Начну на флейте стихи печальны,
Зря на Россию чрез страны дальны...
.....
Россия мати! свет мой безмерный!..

Или это:

Красное место! Драгой берег Сенски!
Тебя не лучше поля Элисейски:
Всех радостей дом и сладка покоя,
Где ни зимня нет, ни летнего зноя...

Или так вот, весело:

Канат рвется,
Якорь бьется,
Знать, кораблик понесется.

У Тредиаковского начинают появляться поклонники в наши дни. Известный поэт-просветитель Андрей Вознесенский восторгается его двустрочием: «Императрикс Екатерина, о!// Поехала в Царское Село». В междометии «о» он видит маленькое круглое зеркальце, в которое смотрелась перед прогулкой императрица. Это очаровательно! Беда лишь в том, что Тредиаковский никогда не писал этих виршей, являющих собой злую пародию Козьмы Пруткова на бедного стихотворца.

До сих пор каким-то чудом сохранился Спасский собор Заиконоспасского монастыря, построенный Зарудным в 1661 году и через пятьдесят лет перестроенный известным архитектором Мичуриным. Здание очень нарядно со своими широкими окнами и легкими, голландского типа рамами, парапетами и балясинами изящного рисунка, а венчает его колонная беседка, придающая воздушность большому строению. С улицы храм не просматривается, но, когдаходишь во двор, он поражает, как чудо. В том же дворе можно увидеть двухэтажный теремок, часть Правильной палаты, — уникальный памятник старины.

В первой четверти XVIII века Никольскую называли «улицей просвещения». Книготорговец Глазунов перенес сюда со Спасского моста свою книготорговлю, приобретя для этого самый большой дом на улице, принадлежавший прежде князьям Черкасским (в их память названы два переулка: Большой и Малый Черкасские). Огромный магазин Глазунова славился на всю Россию, здесь бывал, приезжая из Петербурга, Пушкин, а библиотекой для чтения, устроенной при магазине, пользовался Белинский. Глазунов был не просто торговцем, а фанатиком книги. Он предвосхитил тот тип русских предпринимателей, ярчайшим воплощением которых стал Савва Мамонтов, покровитель художников русского начала (сам одаренный скульптор), создатель знаменитой оперы, где Рахманинов обрел себя как дирижер и помог музыкальному становлению Шаляпина; рядом можно поставить Савву Морозова — ему многим обязан Московский Художественный театр, коллекционеров Третьяковых, Щукина. Позднее Глазунов купил здание, принадлежавшее Академии наук и ставшее впоследствии знаменитой аптекой Феррейна. За этим домом была россыпь букинистических лавочек. Коллекционер П. И. Щукин писал: «Типичными из букинистов здесь были Платон Львович Байков и Афанасий Афанасьевич Астапов. Лавочка Байкова находилась ближе к Никольской и, будучи темной, освещалась и днем копившей керосиновой лампой, висевшей на потолке... Лавочка Астапова находилась ближе к Проломным воротам, а сам он жил рядом с лавочкой в миниатюрном помещении, которое так было заставлено полками с книгами, что в нем едва можно было повернуться».

К исходу прошлого века Никольская стала одной из самых уважаемых московских улиц и наряду с Ильинкой украшением московского Сити. Здесь находились конторы, как тогда говорили — амбары, крупнейших московских торговых обществ, гостиницы, излюбленные купечеством, в том числе «Славянский базар», чей ресторан по праву гордился своей русской кухней: стерлядкой кольчиком, солеными хрящами, ботвиньей, ухой с расстегаями, поросенком с хреном и прочими сытными русскими блюдами. В этой гостинице останавливались И. Репин, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, чешский композитор Дворжак, А. Чехов. Здесь жил знаменитый полярный исследователь, создатель Фонда

помощи голодающим Фритьоф Хансен. А помните из «Дамы с собачкой»: «Приехав в Москву, она останавливалась в «Славянском базаре» и тотчас посылала к Гурову человека в красной шапке». А вот так начинаются «Мужики»: «Лакей при московской гостинице «Славянский базар», Николай Чикильдеев, заболел. У него онемели ноги и изменилась походка, так что однажды, идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом, на котором была ветчина с горошком...» Умирая в деревне, Николай мечтательно вспоминал: «Об эту пору в «Славянском базаре» обеда...» То была его поэзия. И все-таки не знаменитыми постояльцами, не ветчиной с горошком и стерлядкой кольчиком вошел «Славянский базар» в историю русской культуры: здесь в июне 1897 года состоялась историческая встреча. Два небезызвестных в Москве человека — актер-любитель Константин Сергеевич Станиславский (Алексеев) и драматург Владимир Иванович Немирович-Данченко — были захвачены идеей создания нового театра, какого еще не знала Россия. Так за столиком «Славянского базара» с хрустящей накрахмаленной скатертью возник Московский Художественный.

МХАТ сразу начал с подвига: открыл Чехова-драматурга. До этого пьесы Чехова либо проваливались, как «Чайка» на петербургской сцене, либо тихо сходили на нет, как «Иванов» в Московском театре Корша. И только художественники смогли раскрыть эту неведомую на театре драматургию полутонов, глубокого подтекста, сильных чувств под завесой бытовой интонации. А спектаклем «На дне» МХАТ открыл другого великого драматурга — Максима Горького. Мне посчастливилось увидеть первый акт «На дне» в день горьковского юбилея почти в том же составе, в каком он шел на премьере, даже Константин Сергеевич покинул свое леонтьевское уединение, чтобы сыграть Сатина. Не было лишь Грибунина, зато были Москвин, Качалов, Лужский, Книппер-Чехова, Лилина, Вишневский. И все — в зрительном зале и на сцене — ждали появления Горького, который, увы, не приехал — заболел...

Я не представляю себе детства без чуда «Синей птицы» и ослепительной радости «Трех толстяков»; мне кажется, что в тревогу юности меня втянул щемящий спектакль «У врат царства» с Еланской и Качаловым, и невосполнимой потерей считаю, что по молодости лет не увидел «Братьев Карамазовых», зато мне выпало редкое счастье слышать монолог Дмитрия в исполнении — как холодно звучит это слово! — великого Леонидова.

Я больше говорил о людях, соприкасавшихся с Никольской улицей, нежели о ее обитателях. В какой-то мере это естественно. Никольская, как и весь Китай-город, кроме Зарядья, была коммерческой улицей. Знать и церковники давно поразъезжались отсюда, уступив свои владения купечеству. А купцы жили преимущественно в Замоскворечье и других тихих местах Москвы, сюда же приезжали только для торга. Китай-город, подобно лондонскому Сити, пустел с окончанием рабочего дня.

Первопечатник Федоров и его подручный Мстиславец, равно и книготорговец Глазунов, уже упоминались, можно вспомнить еще об одном замечательном человеке, жившем на Никольской (на месте нынешнего дома № 10), — композиторе, капельмейстере знаменитого шереметевского хора С. А. Дехтереве.

Он был создателем первой русской оратории «Минин и Пожарский», взбодрившей патриотическое чувство соотечественников в канун войны с Наполеоном. Его выдающимся преемником был знаменитый Гавриил Ломакин. Ломакин тоже был крепостным Шереметевых, но у него хватило выдержки дожить до получения вольной, а Дехтерев не выдержал вечного унижения, сломался, запил и погиб.

По-настоящему прекрасна была Никольская улица, когда существовали Владимирские ворота, слева от которых высилась башня с шатровой кровлей, а справа — церковь Владимирской Божьей Матери; я помню общемосковскую боль, когда эту чудесную и никому не мешавшую церковь снесли. Ворота были уничтожены еще раньше. Во время строительства метро первой очереди Никольскую улицу обрубали со стороны площади Дзержинского и разбили чахлый скверик. Зачем это понадобилось — одна из московских градоразрушительных тайн.

Улицы Никольскую и Ильинку связывают Куйбышевский проезд, прежде называвшийся Богоявленским по находившемуся в нем монастырю, Большой Черкасский переулочек и проезд Сапунова. Интересно бродить по этим узким переулочкам, заходя в старые, захламленные дворы, забитые грузовиками, какими-то ящиками, бочками, контейнерами, среди которых снуют озабоченные люди. Вспоминаются деловые диккенсовские трущобы. Не честь контор, иные простостились на площадках лестниц, в коридорах и переходах, другие внедрились в толщу стен или прилепились к ним, как ласточкины гнезда. Для дела использован каждый сантиметр площади. Такого нигде в Москве больше не увидишь: каждый дом — как соты, в каждой ячейке — гущина напряженной деятельности.

Наиболее примечателен Куйбышевский проезд. Здесь высится в лесах, подразумевающих реставрацию, которая никогда не кончится, собор Богоявленского монастыря, построенный в исходе XVII века в пышном стиле московского, или нарышкинского, барокко. Стиль проглядывает сквозь леса, но описать собор я не берусь, поскольку никогда не видел его открытым. Вот что говорят знатоки: «Кубический объем самого храма Богоявленского монастыря поставлен на высокий арочный подклет, почти лишенный архитектурных деталей. К нему примыкает одноэтажная трапезная. Верх храма выполнен в виде огромного светового восьмерика, на котором стояла восьмигранная глава. Особенностью убранства собора следует считать не столько полюбившиеся в эти годы ордерные формы, сколько сильно увеличенные детали прежнего, так называемого штучного набора в виде балясин, кронш-

тейнов и других элементов. Составленные вместе, они образуют узорные тяги, карнизы и т.п. Лишь в наличниках окон и порталах применены колонки, почти теряющиеся среди контрастного светотеневого узорочья, обильно покрывающего стены храма». От души завидую племени молодому, незнакомому, которое, глядишь, и увидит все эти чудеса освобожденными от лесов.

Князья Голицыны считали храм своей усыпальницей. Там некогда стояли две надгробные статуи работы прославленного Гудона; их вроде бы перевезли в Музей архитектуры в Донском монастыре.

К храму примыкает доступное обозрению небольшое гражданское здание, увенчанное острым шпилем, характерным для архитектуры петровского времени.

В проезде есть еще одно любопытное по архитектуре здание, хотя и совсем иного рода и толка. Я имею в виду дом № 1 — административное здание, некогда построенное лидером русского модерна Шехтелем для банка богача Рябушинского. Здесь Шехтель отошел от излюбленных текучих, искривленных линий и создал здание геометрически строгой архитектуры. Недаром его сравнивают с кристаллом. В качестве строительного материала Шехтель использовал стекло и светлый глазурованный кирпич, что было в ту пору смелым новаторством.

Куйбышевский проезд расширяется в площадь имени Куйбышева. Сюда выходит пятиэтажное здание с ротондой, долгое время считавшееся самым высоким в Москве. Построено оно было архитектором Скоморошенко в 1876 году.

С торцовой стороны площадь замыкает здание купеческой Биржи, обязанной нынешним своим видом архитектору Каминскому, имеющему и другие постройки в Китай-городе. Как остроумно сказал один из знатоков московской старины: «Храм Меркурия строился в духе классицизма по аналогии с храмом Аполлона». Лоджия, портик с треугольным фронтоном, рустовка нижнего этажа и скульптурные вставки придают зданию не только нарядность, но и некоторую игривость, мало вяжущуюся с его назначением. И стоит храм купли-продажи на том самом месте, где некогда был храм Дмитрия Салунского.

Вот как выглядела Биржа и площадь перед ней в дни Боборыкина: «У Биржи полегоньку собираются мелкие «зайцы»... Два жандарма, поставленные тут затем, чтобы не было толкотни и недозволенного торга и чтобы именитые купцы могли беспрепятственно подъезжать, похаживают и нет-нет да и ткнут в воздух рукой. Но дела идут своим порядком. И на тротуаре и около легковых извозчиков, на площади и ниже, к старым рядам, стоят кучки; юркие чуйки и пальто перебегают от одной группы к другой. Двое смельчаков присусежились даже к жирандоли около колонн тяжелого фронтона. Потом они отошли к углу дома Троицкого подворья, стали в двух шагах от подъезда и продолжали свои переговоры. Они со всех сторон были освещены. Один, в белой па-

пахе и длинной черкеске желто-бурого цвета, при кинжале и в узких штанах с позументом, глядел на своего собеседника — скоцпа — разбойничьими круглыми и глупыми глазами и все дергал его за борт длинного сюртука. Скопец немного подавался назад, про себя вздыхал и часто вскидывал глазами кверху.

Кругом мальчишки выкрикивали уличный товар. Куски красного арбуза вырезывались издали. А там вон, на лотках, — золотистые кисти винограда вперемежку с темно-красным наливным крымским величиной с добрую сливу и подрумяненной антоновкой. Разносчики газет забегали с тротуара на середину площади и совали прохожим под нос номера листов с яркими заглавными карикатурами. Парфюмерный магазин с нарядным подъездом и щеголеватой вывеской придавал нижнему этажу монументального дома богатых монахов европейский вид. На углу купол башни в новом заграничном стиле прихорашивал всю эту кучу тяжелых, приземистых каменных ящиков, уходил в небо, напоминая каждому, что старые времена прошли, пора пускать и приманку для глаз, давать архитекторам хорошие деньги, чтобы весело было господам-купцам платить за трактиры и лавки».

Современная Ильинка отличается строгостью, серьезностью. Для улицы характерны капитальные дома, которыми утвердил свою зрелость минувший век. Выделяется дом в неоклассических формах (№ 21), принадлежавший до революции Северному страховому обществу. Его построили В. К. Олтаржевский и И. И. Рерберг.

Своим старым названием Ильинка обязана Ильинскому монастырю (1528), а до этого называлась Дмитриевской по церкви Дмитрия Салунского, снесенной в XVIII веке. А церковь пророка Илии сохранилась по наши дни. В старой Москве улицы обычно назывались либо по церквям, либо по фамилии видных домовладельцев.

Насколько силен был торговый дух старой Ильинки, видно на таком примере. Для приезжих в Москву монахов были построены подворья: Троицкое, Новгородское, Иосифовское, Воскресенское, но все они, как и расположенные здесь церкви, оказались вовлеченными в напряженную торговую жизнь. Монахи сдавали помещения купцам под лавки и амбары к немалой для себя выгоде, а все церковные клетки и подклетки были превращены в складские помещения. Да и каждый дом на Ильинке невольно вовлекался в торг. Первые этажи сплошь отдавались под лавки, особенно процветала в них галантерейная торговля. В прошлом веке считалось, что в Москве три главные улицы: Тверская, поскольку на ней находился дом генерал-губернатора; Кузнецкий мост — по модным лавкам; Ильинка — по Бирже и Гостиному двору.

Эта улица, наполненная шелестом денежных купюр, должна была привлечь финансистов — Ильинка стала улицей банков. Все крупнейшие российские банки — Петербургский, Международный, Азово-Донской, Волжско-Камский — имели здесь свои от-

деления, располагавшиеся в домах самой солидной внешности, которые и сейчас создают лицо улицы, но служат другим целям.

Сытин пишет, что «на Ильинке появились одни из первых в Москве клубов. В 1782 г. жене иностранца Р. К. Фавер разрешено было открыть «клуб» со столом, бильярдом и пр., в наемном помещении по контракту с содержанием Шейнского подворья французом Симони, с запрещением продажи фряжских вин (монопольно продававшихся в погребках под рядами). На тех же условиях было разрешено открыть «клуб» московскому купцу Михайлову...».

Варварка... Мрачноватая, кривая, мало известная москвичам улица озарилась светом и обрела историческое лицо тем незабвенным днем 1381 года, когда по ней проехал, возвращаясь с поля Куликова, израненный победитель Мамаевой рати князь Дмитрий Донской. А называлась она Всехсвятской и оставалась такой до XVI века, когда стала Варваркой по имени церкви Великомученицы Варвары. Ее построил знаменитый кремлевский строитель Алевиз Новый, и она так полюбилась москвичам, что они переименовали в ее честь одну из древнейших улиц столицы. В XVIII веке ренессансную церковь перестроил в духе классицизма Родион Казаков — замечательный церковный зодчий. Изысканный портик украшен колоннами коринфского ордера.

Китайская стена перерезала Варварку, доходившую прежде до Солянки. Когда снесли петровские бастионы, образовалась площадь Варварская, но о ней мы поговорим в другом месте, ибо она лежит за стенами, теперь уже воображаемыми.

Старинная Варварка разделяла все торговые заботы Китай-города. Еще при царе Михаиле Федоровиче там был поставлен Гостинный двор, напротив находились деревянные ряды (Нижние), это бойкое место называлось Варварским крестцом, сочно описанным Аполлинарием Васнецовым: «Шумная суетливая жизнь кипела на этом бойком месте старой Москвы. Здесь находились кружала и харчевни, погреба с фряжскими винами, продаваемыми навывнос в глиняных и медных кувшинах и кружках... Пройдет толпа скоморохов с сопелями, гудками и домбрами. Раздастся оглушительный перезвон колоколов на низкой деревянной на столбах колокольне. Разольется захватывающая разгульная песня пропившихся до последней нитки бражников... Гремят цепи выведенных сюда для сбора подаяния колодников. Крик юродивого, песня калик-перехожих...»

Торговая Варварка менялась медленно, но все же менялась. Во второй половине XIX века тут находились амбары старого купечества, ведущего торговлю чуть не с допетровских времен и сохранившего во всем обставе и повадках верность старине, и конторы новых европеизированных купцов, ведущих торговлю с другими странами, знающих, где в Париже самые вкусные устрицы и самые пикантные мамзели. У Боборыкина есть описания и тех и других хозяйств на Варварке. Вот амбар замшелого купца: «Тя-

желый, неуклюжий, покачивувшийся корпус глядит на две улицы. Посредине он сел книзу; к улицам идут подъемы. Из рядов к мостовой опускаются каменные ступени или деревянные мостки с набитыми брусьями, крутые, скользкие, в слякоть грозящие каждому — и трезвому — прохожему. Внизу, в подпольном этаже, разместились подвалы и лавки...» А вот контора новомодного купца: «На двух створах с дубовыми дверями медные доски, старательно очищенные, ярко выставляли рельефные слова: «Мирона Станицына сыновья». Снаружи через стекла дверей просвечивали белые стены, чугунная лестница во второй этаж, широкое окно в глубине, правее — перила и конторки. Никакого товара не было видно ни на полу, ни по стенам... Амбар был из самых поместительных и шел под крышу. В верхнем этаже — также с галереями — находились склады товара, материй и сукон...»

Варварка замечательна своими храмами, уцелевшими воистину чудом. Когда сносили Зарядье, чтобы поставить на этом месте грандиозное здание гостиницы, был большой соблазн махнуть всю ненавистную московским властям рухлядь. Но восторжествовали добрые силы, и на этот раз Москву помилovali. Церкви и прочую старину не только сохранили, но и реставрировали, и как украшена этим прикремлевская Москва! Глядя на их стройный вид, веселые купола, славные колокольни, с грустью думаешь, почему не отстояли в свое время Иверскую, столь любимую москвичами, этот приветливый и нарядный вход на Красную площадь со стороны Тверской.

Почти все храмы расположены на правой стороне, там, где спуск к Зарядью. Но едва ли не самый интересный из них находится на левой стороне, в исходе Варварки, в коротеньком Никитниковом переулке. Да и церковь называют обычно Троицы в Никитниках по имени богатого купца Г. Никитникова, на чьи средства ее построили в середине XVII века. Есть у нее и другое имя: церковь Грузинской Божьей Матери по сохранившейся иконе. Церковь очень красиво расположена — на косогоре, на высоком подклете, и глядит сказочно. Нетрудно заметить сходство с храмом Василия Блаженного, поразившего воображение русских зодчих, — та же своевольная причудливость и пестрота. В иконостасе церкви есть икона, созданная лучшим художником светского направления в религиозной русской живописи Симоном Ушаковым. Он же принимал участие в храмовой росписи. Сейчас тут помещается музей.

Между церковью и зданием ЦК партии¹, в старом доходном доме, увидела свет замечательная поэтесса Белла Ахмадулина.

Рядом с церковью Варвары, о которой мы уже рассказывали, стоит однокупольный храм святого Максима, построенный в память о популярном московском юродивом, похороненном на этом месте. Нигде так не чтут завет — «блаженны нищие духом, ибо

¹ Ныне, по счастью, ликвидированным.

их есть царство небесное», — как в православии. И церковь, и народ, и самодержавная власть равно были почтительны к юродивым. Николка в железной шапке бросал в лицо Годунову обвинение в детоубийстве, и царь молча сносил неслыханную дерзость. И Василий Блаженный, чьим именем прозвали дивный храм на Красной площади, был юродивым. Он круглый год, даже в самые лютые морозы, ходил нагой. Когда московские девки-насмешницы стали дразнить блаженного его непристойным видом, их разбил «паралик». Так заступился Бог за обиженного им. Юродивый Максим был тоже хоть куда, хотя таких чудес за ним не числится.

Церковь святого Максима разделяет две интереснейшие гражданские постройки: Английский двор XVI—XVII веков и палаты бояр Романовых. Вот справка из «Диалога путеводителей» Ю. Александрова: «Великолепные палаты с парадным приемным залом, жилыми и складскими помещениями Иван Грозный передал английским купцам из «Московской компании», образованной после возвращения в Англию капитана Ричарда Ченслера (английский мореплаватель, первым достигший устья Северной Двины). Вскоре подворье стало центром дипломатических и коммерческих связей России со странами Западной Европы, а позже вошло и в историю отечественного просвещения: Петр Первый открыл здесь «цыфирную», то есть математическую школу. Предполагают, что строил Английский двор Алевиз. Северный фасад, обращенный на улицу, сохранил особенности архитектуры XVI века с ее ясностью и лаконизмом. Южный фасад — парадный. Он относится уже к началу XVII столетия».

Английский двор давал приют не только купцам, но и посольствам, когда те являлись на Русь. И тогда его называли Посольским двором. Ныне он открыт для обозрения.

От Романовских палат остался лишь нижний этаж, сложенный из белого мячниковского камня, все остальное неузнаваемо перестроено архитектором Рихтером, пытавшимся подражать «восьмому чуду света» — царскому дворцу в Коломенском. Деревянный этот дворец известен лишь по натурным обмерам. Смутное представление Рихтера о древнем русском зодчестве воплотилось в нечто причудливое и спорное по вкусу. Ныне здесь развернута экспозиция Музея боярского быта.

— Палаты эти находятся на территории бывшего Знаменского монастыря. От него тоже осталось немало: мощный пятикупольный собор, Братский корпус, здание келий. Сложили собор наши мастера: Федор Григорьев и Григорий Анисимов — крепостные крестьяне-костромичи. Насколько суров собор снаружи, настолько легок, изящен внутри. Полагают, что классический интерьер создан Матвеем Казаковым. Превосходная акустика позволяет устраивать здесь концерты старинной русской церковной и светской музыки. Принадлежит здание Всероссийскому обществу охраны памятников истории и культуры. И еще о двух церквях необходи-

мо сказать. Церковь Георгия на Псковской горе была построена поселенными здесь купцами-псковичами в XVII веке, красивая колокольня возникла на полтора века позже. Маленькая церковь Зачатия Анны, что в углу, действительно находилась некогда в углу китайгородской стены, она - старшая сестра всех других уцелевших здесь церквей. Нельзя без горькой улыбки читать следующий пассаж того же Александра: «Церковь Зачатия Анны ныне раскрыта к Москве-реке. Плавные, певучие линии ее объема, контрастные гостиничному зданию с его прямоугольными формами, вносят сильную эмоциональную ноту в застройку Москворецкой набережной». Можно подумать, что тут действовал мудрый и тонкий архитектурный расчет. Ничуть не бывало: чудная, но скромная по размерам старина Варварки раздавлена гигантским массивом гостиницы.

О Зарядье после всего сказанного много не скажешь, тем паче что его более не существует, все пространство «заднего двора Китай-города» заняла гостиница «Россия». Зарядье получило свое название, поскольку находилось за рядами лавок Москворецкой улицы, что шла от Варварки до моста через Москву-реку, а ныне не существует. Мне кажется, что выводить название Зарядье от рядов на Варварке неверно. Зарядье — одно из древнейших поселений Москвы и одно из самых бедных. Несколько окультурилось оно в XVI—XVII веках, когда здесь стали селиться приказные, служившие в Кремле и на разных царских службах, появились тут и казенные учреждения, и Знаменский монастырь не побоялся осесть на зыбкой почве Зарядья. Но с переносом столицы в Петербург все служащие покинули Зарядье, закрылись учреждения, и задний двор Китай-города окончательно деклассировался. Помимо мелких ремесленников и беднейших разносчиков здесь обитала всякая голытьба, городская протерь, которую не отпугивали ни грязь, ни скученность, ни эпидемии, то и дело поражавшие Зарядье.

Некоторое улучшение быта Зарядья произошло после пожара 1812 года, когда выгорели все до единого деревянные строения и мелкие собственники продали свои дворы. Кстати, этот великий пожар начался именно с Зарядья. Отстраивалось Зарядье каменным, и квартиры в новых домах были по карману лишь квалифицированным ремесленникам да более или менее достаточным торговцам. Вот описание Зарядья 70-х годов прошлого века. Принадлежит оно писателю Белоусову, местному уроженцу: «Вся эта местность была заселена мастеровым людом... тут были портные, сапожники, картузники, токари, колодочники, шапочники, скорняки, кошелевщики, пуговичники, печатники, печатавшие сусальным золотом на тульях шапок и картузов фирмы заведений... Некоторые переулки представляли собой еврейские в буквальном смысле базары, ничем не отличавшиеся от базаров каких-нибудь захолустных местечек на юге».

А вот как выглядело Зарядье перед первой мировой войной. Из

романа Л. М. Леонова «Барсуки»: «Жизнь здесь течет крутая и суровая. В безвыходных каменных щелях дома в обрез набилось разного народу, всех видов и ремесел: коеечное бессловесное племя, мелкая муравьиная родня... Городские шумы и трески не заходят сюда, зарядцы уважают чистоту тишины... Только голубей семейственная воркотня, только повизгивающий плач шарманки; только вечерний благовест... Осенью в низине Зарядья стоит и со всех окружающих высот бежит сюда жидкая осенняя грязь...»

Захудалость Зарядья усилилась после революции. Мастеровой люд подался на фабрики и заводы, покинув Зарядье, а в освободившиеся дома ринулись бросовые элементы города. Тут хоронились воровские притоны — хазы, отсюда шли «на дело» молодцы с острыми ножиками. Их шайки действовали по всему городу, особо тяготея к Балчугу, где они раздевали подгулявших посетителей популярного ресторана «Новомосковский». Среди их жертв оказался раз Василий Иванович Качалов, которого освободили от шубы с бобрами. Помню, как много говорили об этом прискорбном случае в городе.

И в пору моей молодости, и после Отечественной войны Зарядье считалось опасным местом, куда лучше не заходить постороннему человеку после наступления темноты.

И Китай-город, и вся Москва вздохнули с облегчением, когда Зарядье снесли. Никто не возражал бы и против гостиницы «Россия», будь она пониже. И то Н. С. Хрущев срезал несколько этажей, в проекте она была еще выше. Странно, что ни проектировщики, ни строители не задумались о лежащем поблизости ансамбле Кремля, который задавила громада гостиничного здания. Что это, элементарное архитектурное невежество? Трудно поверить: автор проекта Чечулин слишком опытный зодчий. Равнодушие к тому, что не свое, желание утвердить себя грандиозным сооружением, алчность к наградам?.. Как бы то ни было, прекрасный силуэт набережной оказался безнадежно испорчен.

К Китай-городу принадлежали Старая и Новая площади, существующие поныне. Правда, в прежнее время Старая называлась Новой и наоборот. По существу, обе площади были довольно широкими улицами, где по одну сторону шли дома, а по другую — стена. Когда-то на этом месте курчавился смешанный лес, о котором напоминает церковь Иоанна Богослова под Вязом, сейчас там разместились Музей истории и реконструкции Москвы.

На теперешней Новой площади находилась толкучка. Сюда после обхода московских дворов, накричавшись: «Старье берье-о-ом!», приходили старьевщики, у которых, как пишет Белоусов, можно было встретить «старомодный пуховый цилиндр, фрак или вицмундир, вышедшую из моды дамскую шляпу с перьями и цветами, изъеденное молью меховое пальто, распаявшийся самовар и другие самые разнообразные вещи». Описывает Белоусов и располагавшуюся посреди торжища «обжорку»: «Бабы-торговки сидели на крышках больших глиняных горшков, «корчаг», закутанных

тряпками, и продавали из них щи и горячие рубцы». И холодных сапожников, «подкидывающих подметки и набивающих каблуки большими гвоздями, которые назывались «генералами»; заказчики стояли босые тут же около сапожников, дожидаясь исполнения заказа.

А вот на нынешний Старой площади торговали «русским» товаром: шубами, разным мехом, поддевками, остатками ситца, браком суконных товаров. В самом конце прошлого века толкучка была выведена из Китай-города в Садовники.

Тогда началось большое строительство. На Старой и отчасти на Новой площадях появилось много высоких красивых домов. После сноса стены площади были перепланированы. Старая площадь, лежащая выше Китайского проезда, соединяется с ним террасами и лестницами, Новая площадь включила в себя часть Китайского проезда, находившегося вне китайгородской стены. Китай-город слился с остальной Москвой, не утратив все же известного своеобразия.

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

«Из бульваров на месте стен бывшего Белого города, составляющих зеленое ожерелье вокруг древнейшей части Москвы, Чистопрудный бульвар является наиболее примечательным: летом он привлекает посетителей густой тенью своих аллей и прогулок на лодках, зимой — катком на его пруду» — так начинается свой рассказ о Чистых прудах известный знаток Москвы П. В. Сытин. Тут все правильно, но...

Чистые труды... Для иных это просто улица, бульвар, пруд, а для меня — средоточие самого прекрасного, чем было исполнено мое детство, самого радостного и самого печального, ибо печаль детства тоже прекрасна.

Было время, я знал там каждую скамейку, каждое дерево, каждый куст крапивы возле старой лодочной станции, каждую световую надпись: «Берегись трамвая!», мигающую красным на переходе. У Телеграфного переулка в слове «Берегись» три последние буквы не загорались, получалось красиво и загадочно: «Берег трамвая». И сколько же свиданий назначалось на этом берегу! Мы, мои сверстники и я, не береглись трамвая, как в дальнейшем не береглись жизни. Мы перебежали рельсы наперерез трамваю перед самой тормозной решеткой, садились и прыгивали на ходу, промахивали все Чистые пруды, повиснув на подножках, обращенных к железной ограде бульвара, стоя и сидя на буферах, а то уцепившись сзади за резиновую кишку и ногами скользя по рельсе, но это можно было только зимой, когда рельсы покрывались наледью. Для нас, городских мальчишек, трамвай

были тем же, чем волки и медведи для ребят таежной груши, дикие кони для детей прерий. Дело шло напрямую: кто кого? И я думаю, что мы не были побежденными в этой борьбе...

Чистые пруды — это чудо первого скольжения на коньках, когда стремящиеся лечь плашмя «снегурочки» становятся вдруг послушными, прямо, стройно режут широким лезвием снег, и ты будто обретаешь крылья. Чистые пруды — это первая горушка, которую ты одолел на лыжах, и я не знаю, есть ли среди высот, что приходится нам брать в жизни, более важная, да и более трудная, чем эта первая высота. Чистые пруды — это первая снежная баба, первый дом из глины, вылепленные твоими руками, и пусть ты не стал ни ваятелем, ни зодчим — ты открыл в себе творца, строителя, узнал, что руки твои могут не только хватать, комкать, рвать, рушить, но и создавать то, чего еще не было...

Чистые пруды — это целый мир чудесных неожиданностей. Милые, скромные чудеса моего детства! С дерева спускается широкий холст, на холсте намалевана белая мраморная балюстрада, строй кипарисов, море, в море корабль с раздутыми парусами, а надо всем этим серебряная колбаса — дирижабль с гондолой. Уставившись на холст то слепым, черно заколпаченным, то живым стеклянным глазом, покоится на растопыренной треноге коричневый деревянный ящик, который за десять минут может подарить тебе твое изображение на фоне моря, среди кипарисов, с дирижаблем над головой. Для этого нужно, чтобы маленький чернявый человек усадил тебя под кипарисы, затем припал к аппарату, накрыл себя черной тряпкой, резко крикнул: «Спокойно, снимаю!», после чего, сняв колпачок с выпуклого глаза аппарата, описал рукой плавный круг и вновь прикрыл глаз. Иногда человек, прежде чем снять колпачок, говорил: «Смотрите сюда, сейчас вылетит птичка». Я свято верил этому, хотя птичка никогда не вылетала и, видимо, навсегда осталась в деревянном ящике...

На Чистых прудах ходили китайки с крошечными ступнями, оставлявшими на песчаных дорожках бульвара детский, лишь более глубокий след. Мы нередко отыскивали их по этому следу: китайки продавали бумажные фонарики, мгновенно сгорающие, едва вставишь в них свечку; голубые, красные, желтые, оранжевые шарики на длинных резинках: набитые опилками, эти шарики чудесно подскакивали на резинке, возвращаясь прямо в ладонь, но удивительно скоро начинали сочиться опилками, съезжались и умирали; трещотки на спичке с сургучной головкой; причудливые изделия из тонкой сухой гофрированной цветной бумаги: с помощью двух палочек им можно было придать различную форму, от шара до улитки, но существование их отличалось, увы, такой же мотыльковой краткостью.

С китайками соперничали продавцы воздушных шаров; когда шар выдыхался или лопался, начиналась его вторая, куда более увлекательная жизнь: мы надували из лоскутьев крошечные пузырьки и звонко давили их о лбы и затылки друг друга; продавцы

вафель и мороженого, постного сахара и красных леденцовых пухов — самого стойкого товара на веселом чистопрудном торжище: такого петуха можно было сосать с утра до ночи, он не уменьшался, только красил пунцовым губы и язык. А раз там появился ослик с длинными лысыми ушами и бесконечно грустным взглядом. Но мы заездили его в неделю, и ослика не стало...

Чистые пруды — столбовая дорога нашего детства. На Чистые пруды водили нас няньки, по Чистым прудам ходили мы в школу и на Главный московский почтамт, он шефствовал над нашей школой. Мы ходили туда в ранние утренние часы, чтобы собирать бумажный утиль в его просторных тихих залах, где нежно шуршали ролики конвейеров, развозящих по этажам письма в конвертах, пакеты с красными сургучными печатями, кипы брошюр и книг. Утиль мы сдавали во дворе весовщику, он шмякал наши мешки на большие весы с гирями и вручал нам квитанции. По вечерам мы ходили сюда, чтобы работать в столярной мастерской: мы сколачивали ящики для рационализаторских предложений рабочих и служащих Почтамта, выпиливали лобзиком из тонкой фанеры портреты прогульщиков, пьяниц, склочников к вящему их позору. По Чистым прудам мы ходили в кино «Маяк», самую плохую и дешевую киношку на свете (экран там заменяла побеленная стена), или в более фешенебельную «Аврору». На Чистых прудах находилась наша читальня, наш тир, наш клуб без стен, где решались наши пионерские дела, и наш райвоенкомат, откуда в сорок первом многие из нас уходили на войну.

Чистые пруды были для нас школой природы. Как волновала желтизна первого одуванчика на зеленом окоеме пруда! Нежности и бережности учили нас их пуховые, непрочные шарики, верности — двухцветное сродство ивана-да-марьи. Мы ловили тут рыбу, и, бывало, на крючке извивалась не просто черная пиявка, а настоящая серебряная плотичка. И это было чудом — поймать рыбу в центре города. А плавание на старой, разошедшейся плоскодонке, а смелые броски со свай в холодную воду, а теплота весенней земли под босой ногой, а потаенная жизнь всяких жуков-плавунцов, стрекоз, рачков, открывавшаяся на воде, — это было несметным богатством для городских мальчишек: многие и летом оставались в Москве.

Чистые пруды были для нас и школой мужества. Мальчишки, жившие на бульваре, отказывали нам, обитателям ближних переулков, в высоком звании «чистопрудных». Они долго не признавали нашего права на пруд, становившийся зимой катком с неровным, бугристым, но все равно самым лучшим и быстрым льдом на свете. Смелчаки, рисковавшие приблизиться к запретным благам, беспощадно карались. Чистопрудные пытались создать вокруг своих владений мертвую зону.

Мы выступили против чистопрудных единым фронтом. Ребята с Телеграфного, Мыльникового и Лобковского наголову разбили их в решительной схватке возле «Колизея».

Это все недавнее прошлое Чистых прудов, молодость моего поколения, а теперь — немного истории.

Бульвар разбили в XIX веке, но местность, отведенная под него, известна с XVI века. Возле Мясницких ворот находился так называемый Животинный двор — рынок, где торговали скотом. Позже там расположился Государев боевой двор — попросту бойня и, как положено, мытный двор: с каждой копейки, заработанной верноподданными, государевой казне полагалась часть, именуемая пошлиной. Еще позже заселившие Мясницкую и давшие ей это название мясники не хотели платить пошлину и забивали скот на собственных дворах, а отбросы сносили в пруд, получивший прозвище Поганого. Сытин считает, что прудов было несколько, но многочисленные свидетельства убеждают, что пруд был в единственном числе. Кстати, и Патриаршие пруды — это тоже один пруд. Впрочем, и одного пруда было достаточно, чтобы омочить местность чудовищным, непродышным смрадом.

Спасение пришло от светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова, ближайшего сподвижника Петра I. Он поставил себе великолепные каменные хоромы на месте нынешнего Почтамта, разбил сады, приструнил мясников, а пруд приказал вычистить и содержать в порядке. Благодарные жители окрестили пруд Чистым и от почтительной радости возвели его в множественный чин.

Светлейший был человеком роскошным, как с обычной меткостью определил его Юрий Тынянов, он все делал с размахом, шиком и перебором. Поставив при своих палатах церковь в честь святого архангела Гавриила, он захотел, чтобы она была выше Ивана Великого. Талантливый, усердный и весьма изобретательный зодчий Зарудный надстроил каменный верх деревянным шатром, и островершек золотого шпиля, увенчанного крестом, оказался на три с лишним метра выше кремлевского колосса. В начале XVIII века Меншикова башня горела, восстановили ее уже без деревянного верха, отчего она художественно выиграла, хотя и умалилась против Ивана Великого, да ведь не пристало сестре быть выше брата. Так нарек московский народ светлое диво. В стройной башне все соразмерно, гармонично, ее создатель Зарудный, одаренный скульптор и художник, одел ее в богатый декоративный наряд. Башня хорошо смотрится в любое время года и в любой час суток, но особенно красива она весной на восходе солнца — нежно-розовая, со сверкающим золотым шпилем. В XVIII веке башня приютила у своего подножия скромную церковь Федора Стратилата, ее построил любимый ученик Матвея Казакова Иван Еготов.

Пруд, как уже говорилось, расчистили, но за прудом имелась другая доюка: ручей Рачка, вытекавший из-за «лесных рядов» — торговли строительным лесом. От этого ручья на Покровке стояла такая грязь, что старая Троицкая церковь стала называться Троица на Грязях. И хотя в 1750 году архитектор князь Ухтомский

разработал проект трубы, в которую можно было заключить вредный ручей и по ней сбрасывать его воды в Язу, прошло еще много-много лет, прежде чем городские власти сладили с Рачкой и Покровка получила каменную мостовую. Словно в насмешку, по обе стороны грязевого потока обитала московская медицина: врачи и аптекари. Среди них — владелец самой большой, двухэтажной, аптеки того времени Соульс, переименованный смекалистыми москвичами в Соуса.

Чистые пруды связаны с Александром Сергеевичем Пушкиным. Поэт увидел свет на Немецкой улице¹, но прожил там всего четыре месяца, после чего его увезли в имение деда по матери О. А. Ганнибала — Михайловское. Вернулись Пушкины в Москву в 1801 году и облюбовали для жительства коренную часть Москвы — окрестности Чистых прудов. Бульвара в ту пору еще не существовало. Пушкины часто меняли квартиру, но оставались долго верны Большому Харитоньевскому переулку, где последовательно жили в доме Волкова — на самом углу с Чистыми прудами, в доме Юсупова и доме генерал-майора Санти. Наиболее интересен сохранившийся до сих пор дом № 21 в бывшем владении князей Юсуповых. Пушкины жили в деревянном желтеньком особняке под боком каменных Юсуповских палат, сохранившихся — о чудо! — по сию пору. Первые московские богачи, Юсуповы сдавали флигельки не по нужде, разумеется, а людям, представляющим для них особую важность. Таким оказался для князя Юсупова, управляющего императорскими театрами, записного театрал и владельца собственной крепостной труппы, отец поэта Сергей Львович, превосходный чтец, актер-любитель и устроитель домашних спектаклей.

Детские впечатления самые сильные, они навсегда остаются в памяти, как бы ни загрузала ее последующая жизнь. Красные палаты, огромный сад напротив, с аллеями, беседкой, гротами, искусственными руинами и статуями, навсегда поразили воображение впечатлительного мальчика. Дивный юсуповский сад весь вошел в его неоконченное стихотворение «В начале жизни школу помню я...».

...И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада.
Под свод искусственный порфирных скал.

Знаменитое послание «К вельможе», возможно, тоже коренится в силе детских впечатлений, простодушной очарованности пышным и немного таинственным юсуповским миром. Ведь были знакомы Пушкину и другие вельможи с большей заслугой перед Россией, нежели дипломат-путешественник, театрал и сибарит Юсупов, с более значительной и увлекательной судьбой, крупнее характером, но Пушкин выбрал его, потому что князь Николай Борисович был родом из его детства.

¹ Сейчас это подвергнуто сомнению.

Существует мнение, что дом Санти, куда Пушкины переехали в 1803 году, попал в «Евгения Онегина». Это сюда притащились из своей глуши Ларины устраивать судьбу печальной Татьяны.

В сей утомительной прогулке
Проходит час-другой, и вот
У Харитонья в переулке
Возок пред домом у ворот
Остановился. К старой тетке,
Четвертый год больной в чахотке,
Они приехали теперь.
Им настезь отворяет дверь,
В очках, в изорванном кафтане,
С чулком в руке, седой калмык.
Встречает их в гостиной крик
Княжны, простертой на диване.

Пушкиным отмечены еще два дома на Чистых прудах: не сохранившийся до наших дней дом № 9, принадлежавший вдове генерала Яковлева (здесь двадцатилетний Пушкин навещал великого польского поэта Адама Мицкевича), а по другую сторону дом № 12 (его тоже нет), где Пушкин бывал у своих друзей Пашковых. Пушкин с Натальей Николаевной участвовал вскоре после свадьбы в санном катании, устроенном Пашковыми. Любопытно, что в одних санях с новобрачными сидела молоденькая Евдокия Сушкова, впоследствии известная поэтесса Ростопчина. Сушкова виделась с Пушкиным, Ростопчина дружила с Лермонтовым. Она посвятила трогательные стихи его бабушке Елизавете Алексеевне Арсеньевой:

Но есть заступница родная,
С заслугою преклонных лет, —
Она ему конец всех бед
У неба вымолит, рыдая!

Но не вымолила Арсеньева спасения своему внуку от последней беды — подлой пули Мартынова!..

Через Сушкову-Ростопчину перекинулся мостик от Пушкина к Лермонтову...

На Чистых прудах мало мемориальных зданий. По правую сторону в середине прошлого века было всего восемь дворов, принадлежавших разным ведомствам, а также двум полковникам и одному купцу. Большие по тем временам двухэтажные дома стояли в глубине обширных дворов, за домом сад на гектар и больше. Естественно, что эта сторона почти вся перестроена. Но есть тут здания, принадлежащие уже нашей советской истории. Прежде всего дом № 6, где было Министерство просвещения. Здесь много лет работала Надежда Константиновна Крупская, революционерка, жена В. И. Ленина. Здесь работал видный соратник Ленина Анатолий Васильевич Луначарский. Когда же мы пошли в школу, наркомом просвещения был герой гражданской войны командарм Бубнов, он разделил участь своих боевых соратников: Тухачевского, Уборевича, Корка, Якира и многих других, пав

жертвой сталинского террора. В ту пору его портрет в военной форме с орденом Красного Знамени печатался на обложках школьных тетрадей. Мы бегали к подъезду Наркомпроса смотреть, как он выходит из машины, черного, с серебряным носом «роллс-ройса», казавшейся нам чудом автомобильной техники, да так оно и было по тем временам. Давно уже старый рыдван служит на «Мосфильме» кинематографическому делу. Он снимался во всех фильмах, связанных с революцией, в том числе в моем «Директоре». Для меня была трогательна встреча со старым знакомцем, но автомобиль меня не узнал.

Дальше, за Телеграфным переулком, в глубине двора высится здание, где размещается издательство «Московский рабочий», а еще недавно тут был целый комбинат, включавший редакции популярных газет: «Вечерняя Москва» и «Московская правда». Высокий дом стоит на плечах старого двухэтажного, построенного в середине прошлого века. После революции в нем долго находилась военная типография.

Другим фасадом дом глядит на некогда знаменитый Абрикосовский сад в Поталовском переулке, сейчас на месте двухсотлетних дубов — серое здание больницы. Этот сад принадлежал московскому богачу, владельцу кондитерских магазинов Абрикосову. На Мясницкой находился один из его роскошных магазинов. А рядом благоухал шоколадом и цедрой магазин Эйнема. Они всегда были рядом, как бензозаправочные соперничающих фирм «Шелл» и «Эссо».

Однажды старый московский чудак, славящийся своей рассеянностью, — почетный академик Каблуков пришел с прогулки без своей любимой трости. Стали выяснять, куда он заходил. В магазины Абрикосова и Эйнема. Он кинулся к Абрикосову, там трости не оказалось. Пошел к Эйнему и получил дорогую пропажу. «Неужели немцы честнее русских?» — с горечью вздохнул патриот Каблуков.

Надо еще упомянуть о панораме Ф. А. Рубо «Бородинская битва», которая первоначально помещалась на Чистых прудах в специально построенном круглом здании. Потом ее перенесли.

Другая сторона бульвара, тоже сильно перестроенная, уведет нас в более ранние времена. В доме № 3 до самой смерти жила великая актриса Малого театра Гликерия Николаевна Федотова, прославившаяся в молодости исполнением шекспировских ролей, в старости — персонажей Островского.

На стене дома № 21 висит столь редко встречающаяся в Москве мемориальная доска: здесь жил известный писатель Николай Дмитриевич Телешов, у которого по средам собирались виднейшие писатели, ученые, музыканты, художники. За свою девяностолетнюю жизнь Телешов немало повидал и оставил интересные мемуары. Там говорится, что наиболее верные участники сред носили прозвища по московским улицам, переулкам, площадям, отражающие их суть. Список стоит привести целиком, настолько он

любопытен: писатель Златовратский сперва именовался «Старые Триумфальные ворота», потом — «Патриаршие пруды», цензор Тимковский — «Зацепа», театральный критик Голоушев (Сергей Глаголь) — «Брехов переулоч», молчальник Гославский — «Большая Молчановка», Горький — «Хитровка» (ночлежка Хитрова рынка описана в пьесе «На дне»), Шалапин — «Разгуляй», Иван Бунин — «Живодерка» (за худобу и злой язык), его брат Юлий — «Старый Газетный переулоч», лысый Серафимович — «Кудрино», залысый Чириков — «Лобное место», несокрушимый в своих взглядах Вересаев — «Каменный мост», Куприн, друг цирковых наездников, — «Конная площадь», а недавно дебютировавший в литературе Леонид Андреев — «Большой Проектированный переулоч», были еще «Каланчевская площадь» — гигант-издатель Миролюбов и «Пречистенка» — кроткий Белоусов.

Вот что писал о телешовском кружке Иван Алексеевич Бунин:

«В Москве существовал тогда литературный кружок «Среда», собиравший каждую неделю в доме писателя Телешова, богато и радушно человека. Там мы читали друг другу свои писания, критиковали их, ужинали. Шалапин был у нас нередким гостем, слушал чтения — хотя терпеть не мог слушать, — иногда садился за рояль и, сам себе аккомпанируя, пел то народные русские песни, то французские шансонетки, то «Блоху», то «Марсельезу», то «Дубинушку» — и все так, что у иных «дух захватывало».

Раз, приехав на «Среду», он тотчас же сказал:

— Братцы, петь хочу!

Вызвал по телефону Рахманинова и ему сказал то же:

— Петь до смерти хочется! Возьми лихача и немедленно приезжай. Будем петь всю ночь.

Было во всем этом, конечно, актерство. И все-таки легко представить себе, что это за вечер был — соединение Шалапина и Рахманинова. Шалапин в тот вечер довольно справедливо сказал:

— Это вам не Большой театр. Меня не там надо слушать, а вот на таких вечерах, рядом с Сережей».

Остается сказать о бывшем кинотеатре «Колизей», где сейчас находится театр «Современник». Там шли всегда самые лучшие фильмы, а в фойе играли лучшие тогдашние джазы, особенно часто джаз под управлением знаменитого Варламова. О нем писал Илья Ильф в своем дневнике: «Хорош был старик Варламов, который пел в трубу из скоросшивателя». Труба заменяла не существовавший тогда микрофон, а «старик» был довольно молод, хотя и с проседью, и пел он замечательно: элегическое танго «Уходит вечер, вдали закат погас...» и лихое — «И в беде, и в бою об одном всегда пою: никогда и нигде не унывай...».

Одно время в «Колизее» по утрам показывали фильмы, а вечером давал спектакли Театр им. ВЦСПС. Там ставил замечательный режиссер Алексей Дикий. Я помню его блестящий спектакль по пьесе Константина Финна «Вздор». Умелая, с хорошо закру-

ченной интригой пьеса в другом, более солидном театре не давала сбора, а у Дикого надо было выстоять ночь, чтобы купить билеты. Действие начиналось в кабаке, в пьяном угаре качались стены, создавая ощущение хмельного дурмана, — одна из многочисленных находок Дикого. Молодой Пестовский играл опустившегося выпивоху, который, спасая обманутую, отчаявшуюся женщину, спасает и самого себя. Никогда потом, играя на большой, солидной сцене, Пестовский не создавал такого пронзительного образа. Дикий сделал еще несколько талантливых постановок, стал вырисовываться своеобразный, ни с кем не схожий театр, но последовал разгром, как нередко случалось в то огнепальное время: труппу расформировали, а Дикий разделил судьбу многих одаренных и неординарных людей. Ему повезло: в отличие от Мейерхоolda, он вернулся домой, сыграл несколько ролей в театре и кино; изобразив, согласно режиссерской трактовке, Сталина русским мужиком без акцента и намека на грузинское происхождение, он польстил «отцу народов» и получил Сталинскую премию первой степени. Но презирал себя за это и вскоре умер, не реализовав свой редкий дар, а может, гениальность?..

В Лобковском переулке (ныне улица Макаренко) на углу с Мыльниковым (ныне улица имени отца русской авиации Жуковского) находилась моя школа, бывшее училище Фидлера, чья судьба связана с первой русской революцией. В октябрьские дни 1905 года здесь заседал стачечный комитет, куда входили представители от московских учреждений и предприятий. Сытин пишет: «5 декабря здесь собралась общегородская конференция большевиков, которая вынесла решение — начать с 7 декабря всеобщую стачку. 9 декабря здание училища, в котором происходило собрание дружинников, было окружено полицией и войсками. После жестокого орудийного обстрела дружинники, израсходовав патроны, были вынуждены сдаться. На этом событии закончилась мирная забастовка. Восставшие перешли к вооруженной борьбе».

Когда в сентябре 1928 года мы пришли впервые в школу, то увидели на стенах глубокие выщербины, обнажения красного кирпича под облицовкой, похожие на кровоточащие раны.

Несравненную нашу 311-ю давно выгнало из родных стен учреждение вполне бесполезное, даже вредное — Академия педагогических наук. Некоторую осмысленность этот «факультет ненужных вещей» обретает раз в десять лет, когда мы приходим сюда отметить наши юбилейные школьные даты. Почему-то тут сохранились наши старые классы с партами и поцарапанными досками, то ли для имитации школьных уроков, то ли призрачному учреждению просто нет до них дела, но как закричала одна наша старая «девочка», обнаружив на крышке парты вырезанную ножом надпись «Коля + Галя = любовь!» Таким наивным способом увековечил свою первую и последнюю любовь прекрасный, рослый, застенчивый друг наш Коля Ф., доброволец Отечественной войны, погибший на Волховском фронте.

Мы часто гоняли какой-нибудь паршивый мячишко или консервную банку по асфальту Лобковского переулка. За нашими лихими маневрами с доброжелательным интересом следил среднего роста человек, тщательно, чуть старомодно одетый, с кривоватыми ногами и длинной, заросшей черными кольцами волос шеей. У него были темно-карие очень внимательные глаза, а в улыбке открывался косой резец, придававший ему сходство с зайцем. Дети хорошие физиономисты — человек этот, не имевший в своей внешности ничего привлекательного для таких удальцов, как мы, нравился нам. Мы разговорились, а там и подружились с ним. Он служил в каком-то нудном учреждении, а кроме того, писал стихи, и это было интересно — мы никогда не видели живого поэта. Он назвал себя: Семен Рубанович. Его имя ничего не говорило нам, и мы решили, что он ненастоящий поэт.

И вдруг недавно я наткнулся в одном старом издании на подборку рецензий Николая Гумилева под рубрикой «Среди стихов» и обнаружил добрый отзыв о поэзии нашего знакомого. Не щедрый на похвалы Гумилев кончает свою рецензию словами: «...он несомненно умеет писать стихи». И Блок упоминает о нем в связи с Мандельштамом, пусть и недобро (Блок той поры не воспринимал поэзии Мандельштама), но само сопоставление имен о многом говорит. Значит, Рубанович был настоящий поэт. Из всего, что он читал нам, мне запомнились восемь строк о проказнице фее, не лишенных изящества:

Ветер, вея, лодку феи
Опрокинул не со зла.
Но ведь правда наша фея
Утонуть легко могла.

Фея только усмехнулась,
И в свой замок до грозы
Она весело вернулась
На спине у стрекозы.

Недавно, работая над этим очерком, я почувствовал тоску по Чистым прудам и поехал туда. Там ничего не изменилось за последние годы, только вместо рыбного ресторана, где никогда не было рыбы, открылся индийский ресторан, где имеются пряные, острые индийские блюда. Мне, конечно, больше по душе была наша старая теплушка, но молодым москвичам нет до нее дела, им нравится сидеть в нарядном и вкусном ресторане, где из окон можно увидеть пруд и лебедей, так что пусть стоит.

Как всегда, на меня надвинулись воспоминания, а с ними возник самый сильный образ моей юности. В воскресный день в садах и парках Москвы шло праздничное гулянье молодежи. Быть может, потому, что отовсюду глядело с портретов неистовое лицо Долорес Ибаррури, что многие юноши носили республиканские зеленые пилотки с красным кантом и кисточкой, что на улицах то и дело вспыхивала «Бандара роха», самая популярная песня тех дней, что в разговорах поминутно звучали красивые и горькие

слова «Гвадалахара», «Овьедо», «Уэска», «Астурия», «Мадрид», что небо было озарено алым отблеском праздничных огней, а порой, в стороне Москвы-реки, ослепительно лопались в выси фейерверки, что вечер этот был душист и жарок и звенела музыка, нам казалось, будто самый воздух насыщен Испанией, ее звуками и ароматами.

Мы собрались, чтобы поехать в Парк культуры и отдыха, но вдруг, уже на пути к метро, раздумали и свернули на Чистые пруды.

Испания была разлита в воздухе, Испания была в нашем сердце.

Мы ощутили странную знаменательность этого вечера, тень судьбы скользнула над нашими головами в бойцовских пилотках. Мы проглянули и приняли грядущее со всем, что оно возложит на наши плечи.

Поэтому и потянуло нас на Чистые пруды, хоть не было здесь ни трубачей, ни многоцветья огней и фейерверков, нас потянуло сюда, как тянет человека к истоку юности, к началу начал. И само собой получилось, что мы шли строем, по трое в ряд. Нам повстречался наш одноклассник, веселый человек, Юрка Павлов. Отдавая шутливую дань нашему воинскому строю, строгому молчанию и пилоткам, он крикнул:

— Привет бойцам-антифашистам!..

Мы ответили в голос, без улыбки:

— Но пасаран!..

— Но пасаран! — повторил он.

Не пройдет и пяти лет, и те же слова, сказанные по-русски, многие из нас оплатят своей кровью. А сейчас они рядом, они полны силы и молодости, полны надежд, любви, замыслов, поэзии слов и поэзии чисел, они идут, неотличимые от тех, кому суждено остаться в живых, равные с равными, по многолюдному бульвару к темному, тихому пруду...

Мы стояли у низенькой ограды пруда и смотрели на воду, когда в воздухе воссиял одинокий фейерверк. Его зажег какой-то малыш, крошечный чистопрудный патриот, не захотевший, чтобы его бульвар отставал от ликующих парков столицы. Голубая звездочка взвилась в небо, вспыхнула ослепительно белым, из белого родилось алое и длинными струями потекло вниз. С багрово озаренной воды навстречу мне медленно всплыли красивые, мужественные лица моих друзей и запомнились так на всю жизнь...

И когда мы, выпускники тысяча девяносто тридцать восьмого года нашей незабвенной чистопрудной школы, собираемся вместе, а это происходит неизменно каждый год, мы выражаем свой символ веры перефразой стихов Пушкина, обращенных к Лицею:

Друзья мои, нам целый мир пустыня,
Отечество нам Чистые пруды.

БАСМАННЫЕ УЛИЦЫ

Так они когда-то назывались: Старая и Новая Басманная. Старая и впрямь была старше, она возникла вместе с «государевой дорогой» в цареву вотчину Покровское, позже — в Преображенский дворец и была по существу продолжением Покровки. Новая Басманная идет от Красных ворот к Старой Басманной. Но возникла улица раньше, чем московские купцы поставили Красные ворота в честь восшествия на престол дочери Петра Великого Елизаветы и освобождения от кошмара бироновщины. Новая Басманная сохранила свое название. Старая — носит имя Карла Маркса. Почему — неизвестно. Ни Маркс не имеет никакого отношения к старинной московской улице, ни улица к нему¹.

Относительно местности, где находятся обе улицы, историк Москвы Забелин писал: «Все знатные фамилии по необходимости селились в соседстве дворца (бывшего в Немецкой слободе при Петре Великом), или в Немецкой слободе, или на пути к Яузе, по улицам Мясницкой, Покровке, Старой и Новой Басманным, на Разгуляе, на Гороховом поле и проч. Оттого, может быть, ни в одном квартале Москвы вы не заметите в постройках такого барского характера, который виден здесь почти на каждом шагу. Огромные каменные дома с широкими дворами, неизмеримыми садами и прудами и т. п., поступившие теперь или под учебные, другие заведения, или в руки купечества, до сих пор еще остаются красноречивым свидетельством прежнего барского широкого житья, прежнего цветущего состояния этой московской местности, ныне безмолвной, подобно другим удаленным местам...»

Приведенное высказывание справедливо для времени Забелина, но никак не соответствует нынешнему состоянию Басманных улиц, да и всех прилегающих. Это оживленный, людный район, живущий кипучей, многообразной жизнью. Здесь всевозможные учреждения, учебные заведения, исследовательские институты, много магазинов, есть и «увеселительные заведения», как говорили в старину: Сад имени Н. Э. Баумана, Театр имени Н. В. Гоголя, кукольный театр. А по церковным праздникам толпы народа стекаются к патриаршему Богоявленскому собору.

Я с детства считал, что своими названиями улицы обязаны печально знаменитым сподвижникам Грозного, прославившимся под Казанью и опозорившимся опричниной, — отцу и сыну Басмановым. Но они никакого отношения к Басманной слободке, давшей имя улицам, не имели. Недавно я перечитывал Карамзина, у него слово «басма» объясняется так: истукан, болван, статуя ханская. Но как же в таком случае мог Иван III «разорвать басму» хана орды Ахмата? Заглянем в Даля. «Басма — это изображение лица ханова». Возили басму из Орды в Москву по Болвановке, нынешней улице Радищева. Русские люди называли басму болваном, по-

¹ Видимо, ей вернут прежнее название.

клонение татарской басме — болвановьем, а место, где, по преданию, происходило болвановье и куда относится раздирание басмы Иоанном, — болвановкой, отчего и храм, поставленный здесь, — Спас на Болвановке. Кстати, и дорога от Коломны к Москве называлась Болванной, а во Владимирской области болванов обзывают басмой.

Все это любопытно, запутанно и не имеет никакого отношения к нашей теме. Оказывается, басманом называли хлеб. Жили в слободе дворцовые пекари и выпекали казенный хлеб — басман. Толковый словарь В. Даля дает уточнение: «басман» идет от татарского «батман» или шведского «безмен»; и то и другое означают вес. До сих пор существуют рыночные весы, которые называются «безмен». Вот мы и установили весьма прозаическое происхождение имени Басманной слободы и Басманных улиц.

Район этих улиц — настоящее царство Матвея Казакова. По всей Москве разбросаны творения Казакова, сочетавшего творческий гений с великим трудолюбием: он строил в Кремле и Петровском парке, на Тверской и Большой Калужской, на Моховой и Страстном бульваре, на Петровке и Мясницкой, в Лефортове и на Гороховом поле — и это далеко не полная география казакских чудес. Но нигде не представлен он так щедро, как в Басманных и прилегающих улицах: Дворец горнозаводчика Никиты Демидова в Гороховском переулке (ныне Институт геодезии, аэрофотосъемки и картографии), великолепный, хотя и сильно испорченный достройкой дом Мусина-Пушкина на Разгуляе, деревянный особняк Муравьева-Апостола, отца трех декабристов, в Бабушкинском переулке (улица Александра Лукьянова), бывшая Басманная больница и, наконец, храм Вознесения на улице Гороховской, ныне носящей имя Матвея Казакова. П. Сытин считает, что имя зодчего присвоено этой улице по замечательному дворцу графа А. К. Разумовского (Институт физкультуры). Возможно, так оно и есть, но это недоразумение: дворец построен Адамом Менеласом, известным своими работами в Царском Селе. Этому дворцу вообще не везет — другие знатоки «дарят» его архитектуру Львову.

Как разительно не схожи судьбы Казакова и его ровесника Баженова (оба родились в 1738 году), так же не похожи и судьбы их творений. М. Казаков прожил очень спокойную, ровную жизнь, наполненную неустанным трудом, но бедную внешними событиями. Он строил — без усталости и перерывов — в Москве, Коломне, Царицыне, строил дворцы и жилые дома, больницы и церкви, городские усадьбы и монастырские ансамбли. Жил в тихом Златоустинском переулке и при доме держал маленькую архитектурную мастерскую. Он руководил составлением генерального плана Москвы, но сам как-то остался неприметен для окружающих: о нем не сохранилось воспоминаний, он невидимка в своей эпохе. Полная противоположность ему Василий Баженов, человек шумный, заметный и несчастный. Начало жизни — бли-

стательное: итальянские триумфы, звание академика старейшей в Европе Болонской академии, заказ Екатерины на строительство нового Кремля, грандиозный проект, ошеломивший современников, да вот беда — дальше закладки дело не пошло. Разочарование, смятение духа, упадок. Затем новый большой заказ — дворец для князя Потемкина в Царицыне, и страшное фиаско — дворец Екатерине не понравился (к фавориту она тоже охладела), приказ: дворец снести, а Казакову построить новый. Трөгательные усилия Казакова сохранить как можно больше баженовского облегчения оскорбленному мастеру не дают. Омраченная душа все охотнее ищет спасения в мистике, масонстве. На этой почве Баженов сблизился с опальным наследником Павлом, что еще усугубило неприязнь к нему Екатерины. Лишь смерть императрицы спасла Баженова от судьбы Новикова, Радищева. Все меняется при Павле — фавор, возвышение; Баженов — вице-президент Академии художеств, ему поручено строительство Михайловского замка. Но почему-то в соавторах оказывается тяжеловесный Бренна, любимый зодчий Павла, он и руководит строительными работами. На закладке замка Баженов получил лопаточку с раствором после него. Извечным русским способом он глушит тоску и умирает, едва шагнув за шестьдесят.

Казаков переживет его намного, а главное — переживут казаковские творения. Что осталось в Москве от Баженова? Деревянный макет кремлевского дворца, хранящийся в Донском монастыре, несколько жилых домов, большей частью перестроенных, колокольня и трапезная церкви Всех Скорбящих Радости на Большой Ордынке (но сама церковь куда удачнее построена Бове), ротонда бывшего ВХУТЕМАСа на Мясницкой и, наконец, дом Пашкова — старое здание Ленинской библиотеки. Но если этот дом действительно создан Баженовым, в чем до сих пор нет абсолютной уверенности, то он вполне заслуживает славу первого московского зодчего.

О Баженове писали и пишут куда больше, нежели о Казакове, есть даже повесть о нем. Литературу всегда привлекают фигуры горестные, неблагополучные, а не удачники, баловни фортуны. Но это ничуть не уменьшает великой заслуги Матвея Казакова перед Москвой и отечественным зодчеством.

Рассмотрим пристальнее то, что построил Казаков на Большой Басманной и возле нее.

Парадным фасадом на улицу смотрит дворец Демидовых. Судьба этого рода воистину сказочная. Родоначальник династии Демид Антуфьев был простым кузнецом на тульском оружейном заводе. Основателем неимоверного демидовского богатства стал его сын Никита Демидов. Известно, что начало его самостоятельной работы в качестве оружейника связано с дипломатом и дельцом петровских дней Шафировым. Тот показал царю образцы ружей, сделанных Демидовым, и они так понравились Петру, что он назначил туляка главным поставщиком оружия в Северную войну.

Дешевые по сравнению с привозными ружья Демидова не уступали им в боевых качествах. Петр, ценивший одаренных и сметливых людей, приказал дать Демидову стрелецкие земли и угольные залежи на соседней засеке. Дальнейшая судьба Демидовых связана с Уралом. Демидовский род дал ряд сильных и колоритных в русской истории личностей. Конечно, самым примечательным был Акинфий Демидов, при котором демидовское рудное дело стало империей в империи. Это был человек большого ума, мертвой хватки и спокойной свирепости. На совести его немало преступлений. Когда явилась царская ревизия, он затопил в штольне рудокопов, чтобы те не могли пожаловаться на зверское обращение.

Старший его сын Прокофий равно известен своими чудачествами и щедрой благотворительностью. Им основан московский Воспитательный дом и Коммерческое училище. Брат его Никита покровительствовал ученым и художникам, издавал журнал «Путешествия в чужие края». Он переписывался с Вольтером и учредил при Академии художеств премию «За успехи в механике». Его сын Никита Никитич построил дворец на Гороховской, но ничем больше себя не прославил. Зато внук Николай Никитич прогремел на весь свет. Во время войны с Наполеоном он поставил от себя полк солдат — Демидовский. Московскому университету подарил коллекцию раритетов, построил в Петербурге четыре чугунных моста, разводил в Крыму тутовые и оливковые деревья, пожертвовал на инвалидов сто тысяч рублей и в пользу потерпевших от петербургского наводнения пятьдесят тысяч. Будучи посланником во Флоренции, оставил городу бесценную коллекцию картин, за что удостоился памятника. Крупнейшими меценатами были и другие представители рода. Всех не назовешь, упомяну лишь Павла Николаевича, курского губернатора, учредившего «Демидовские награды», которые выдавались и много лет спустя после его смерти. Нечто вроде русской Нобелевской премии.

Демидовская тяга к «искусству» помогла Матвею Казакову воплотить свои крылатые и дорогостоящие замыслы. Вот что пишет М. Ильин в книге «Москва»: «За строгой внешней архитектурой дома скрыто необычайное богатство его внутренней отделки. Если нижний вестибюль и круглая в плане столовая верхнего парадного этажа еще сдержанны... то расположенные за столовой вдоль уличного фасада комнаты — гостиные и спальня — поражают изысканностью разнообразных приемов убранства. Каждой комнате свойственны свои особенности, и вместе с тем все они составляют органическое целое. Парадные комнаты демидовского дома носят название «золотых», поскольку они украшены тончайшей золоченой резьбой... Легкие, перистые травы, вазы, наполненные цветами, и резкой багет ...поражают разнообразием своих декоративных форм... С резьбой сочетается роспись и не менее утонченная лепнина. Так, венку, искусно написанному на потолке спальни, вторит легкий растительный лепной орнамент, бегущий по краю потолка вдоль стен. Следует внимательно присмотреться

к любой архитектурной детали убранства каждой комнаты — и к тонким колонкам у потолков, и к обрамлениям дверей, и даже к их ручкам. Здесь все — искусство, здесь продумана каждая мелочь».

Неподалеку, на Гороховской (ул. Казакова), стоит храм Вознесения, построенный в 1790—1793 годах. Тот же Ильин пишет: «Круглая форма самого храма подчеркнутастройной ярусной колокольной». И дальше он очень хвалит храм. Мне трудно согласиться с уважаемым знатоком Москвы. Округлая громада храма плохо соотносится с изысканной — быть может, слишком изысканной колокольной. Что-то не получилось у Казакова с этим храмом. Он был захвачен круглой формой и, похоже, здесь отказался от контроля своего строгого вкуса, дал себе полную волю. Получилось нечто огромное, но не величественное, странное, но не как причуда играющего духа, а как оплошность.

Следующая постройка Казакова связана с Разгуляем, которого нет на московских картах, но который все равно есть для всех истинных москвичей.

Из старого путеводителя: «Разгуляй. Это небольшая треугольная площадка, на которую сходятся улицы Старая и Новая Басманные. Здесь трактир, ресторация, питейный дом и несколько лавочек. Говорят старожилы, что здесь лет за 50 было место, где большей частью буйная юность собиралась погулять и повеселиться».

А вот более раннее свидетельство иноземца: «Перед городом у них общедоступное кружало, славящееся попойками... У них принято отводить место бражничанью не в Москве». По другому источнику, на Разгуляе спускали пары прибывающие в Москву иногородцы, чтобы потом, отославшись, войти в город в трезвом виде. То было в пору, когда границей Москвы служил Земляной город, или Земляной вал, проходивший поблизости.

На Разгуляй смотрит углом дом Мусина-Пушкина, историка и археографа. Его построил Казаков в исходе XVIII века. Пожар, пощадивший Гороховскую, Токмаков переулок, часть Старой Басманной, не пожалел Разгуляя. Сгорел и дом Мусина-Пушкина с уникальной библиотекой, где среди древних рукописей находился единственный список «Слова о полку Игореве», найденный Мусиным-Пушкиным. Граф, правда, успел его опубликовать, что не уменьшает потери.

Страсть к изысканиям с молодых лет владела Алексеем Ивановичем, но вполне удовлетворить он ее мог уже в зрелом возрасте, назначенный обер-прокурором Святейшего Синода. Ему открылись такие нетронутые сокровища, о которых он не грезил в самых смелых своих мечтах, — хранилища монастырей и епархий. Речь идет, разумеется, не о материальных ценностях, а о том, что куда дороже, — старинных бумагах и книгах. Кроме того, он скупил через комиссионеров в разных городах много письменной старины, в том числе бесценные бумаги, связанные с дея-

тельностью Петра I. Свое собрание он сделал доступным для всех членов московского общества историков, им пользовался Н. Карамзин, когда работал над «Историей государства Российского».

Но обесмертил себя А. Мусин-Пушкин открытием древнейшего списка Лаврентьевской летописи, «Поучение Владимира Мономаха», новым списком «Русской правды» и, что важнее всего, единственным списком величайшего памятника древнерусской литературы «Слова о полку Игореве».

Можно спорить (хотя сейчас эти споры насильственно прекращены), когда, кем и для какой цели была написана поэма, но не может быть спора, что это неиссякаемый источник поэзии.

Любопытно, что гений народа нередко возводит в чин эпоса событие отнюдь не эпического размаха. Не блистательные походы Олега, Святослава, не победы Александра Невского, не величайшего значения в судьбе России Куликовскую битву, а провинциальную авантюру князя не из главных, к тому же кончившуюся поражением и пленом. Но ведь и французский эпос воспевает не победы Карла Великого, не чудо, сотворенное пастушкой Жанной, а жалкий арбергартный бой, в котором погиб обозник Роланд. Это говорит о том, что эпос имеет четкую политическую цель и отбирает для себя из истории именно то, что этой цели служит. И оказывается, для активизации народного сознания нужны не величайшие победы, а горькие поражения. Тогда затрагивается народное сердце и становится чутким к зову Отчизны.

Как уже сказано, Мусин-Пушкин успел опубликовать «Слово о полку Игореве» да и многие другие высокоценные рукописи, в том числе «Ироническую песню о походе на половцев удельного князя Новгорода-Северского Игоря Святославича». Это произведение весьма любопытно: плачевный поход Игоря, думавшего вовсе не о защите Руси, — с половцами только что был заключен прочный мир, — а лишь о собственном возвышении — на киевский престол метил! — уже в старину стал предметом насмешки, пародии.

Но многие бесценные рукописные материалы были пожраны огнем, а утрата списка «Слова» — народная беда. Об этом не переставало болеть русское сердце. И как хладнокровно восприняли мы недавний пожар в библиотеке Академии наук, хотя потери здесь не уступают тем, что причинил пожар московский в доме на Разгуляе. И даже трагическая статья-плач академика Д. Лихачева не исторгла ни стоны, ни вздоха у общества, напрягающегося не столько в борьбе за возрождение страны, сколько против этого возрождения. Неужели развернувшаяся перед нами катастрофическая картина нашего бытия: мирный атомный взрыв в Чернобыле, таранящие друг друга пароходы, летящие под откос поезда, готовые рухнуть книгохранилища, музеи, театры, гибнущие от злого безумия и зевотного разгильдяйства великие живописные полотна, уродливая борьба с алкоголизмом, увеличившая пьянство, наркоманию, токсикоманию, тяжело подорвавшая на-

родное здоровье, — настолько укрепила народ в обреченной покорности, что нас уже ничем не пробьешь, ничем не удивишь и не взволнуешь?..

А сейчас обратимся к замечательному зданию, которое тоже принадлежит комплексу Басманных и долгое время приписывалось М. Казакову. Речь пойдет об усадьбе А. К. Разумовского, где еще с далеких дней моего детства разместился Инфизкульт. Я всегда думал, что этот большой фундаментальный дом каменный, — оказывается, деревянный. Он построен из деревянных брусьев, старательно пригнанных друг к другу, покрытых войлоком и оштукатуренных. Особенно эффектен парадный вход, расположенный в нише и оформленный двумя портиками ионического стиля. При усадьбе был громадный парк, где устраивались разные увеселения для знатных визитеров графа, в том числе сенокос. Празднично разодетые крестьяне и крестьянки косили, ворошили и убирали сено. А поснедав и передохнув, водили хороводы и плясали.

Владелец усадьбы заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько слов. Он был сыном последнего гетмана Украины, позже президента Академии наук, генерал-фельдмаршала Кириллы Григорьевича Разумовского. За всеми этими пышными званиями не стояло ни выдающихся деяний, ни сколь-нибудь значительного ума, ни воинских заслуг — этот фельдмаршал не мог бы командовать даже взводом. Но его брат, красавец Алексей, придворный певчий, попал в фавор, стал любовником, а там и морганатическим супругом Елизаветы Петровны, отсюда и пошел «знатный» род Разумовских.

Сама фамилия, которую носили удачливые братья, была не намного старше их дворянства. Отец этих аристократов, вечно хмельной казак Грицко, любил приговаривать в сильном подпитии: «Ще це за ум! Ще це за розум!» И стал для соседей Розумом.

Старший сын Кириллы Григорьевича, Алексей, получил отменное воспитание, преуспел в науках и вполне заслуженно, а не по протекции стал министром образования. При нем было открыто семьдесят две приходские школы, двадцать четыре уездных училища, он учредил кафедру славянского языка в Московском университете, разработал устав Царскосельского лицея. Но затем служебное рвение в нем остыло, он попал под влияние графа де Местра, близкого к иезуитам, и стал работать на уничтожение им же самим сделанного: ввел новые цензурные ограничения, выкинул из программы Лицея греческий, археологию, естественную историю, астрономию, химию. В результате пришлось подать в отставку. Он вернулся в старую столицу и стал вести жизнь частного лица, деля время между великолепной московской усадьбой и еще более великолепным подмосковным имением Горенки с дивным ботаническим садом. А затем он затосковал по своим корням, по земле Розума, уехал на Украину, где и скончался.

На Старую Басманную глядит церковь Никиты Мученика, построенная князем Ухтомским в середине XVIII века. Ажурная колокольня Троице-Сергиевой лавры тоже создание Ухтомского, который в Москве был таким же блистательным мастером барокко, как граф Растрелли в Петербурге. К сожалению, от Ухтомского осталось куда меньше: Москва не берегла своих сокровищ так заботливо, как город на Неве. Впрочем, прежде и вообще не умели ценить московское зодчество. Достаточно сказать, что в таком полном и серьезном издании, как брокгаузовская энциклопедия, мы не найдем имени Матвея Казакова. У князя Ухтомского есть и еще одна заслуга перед отечеством: он создал первую в России «архитектурную команду» — школу, где учились А. Кокоринов (построил вместе с Деламотом Академию художеств в Петербурге), И. Старов (Таврический дворец) и Матвей Казаков.

Ухтомскому не раз доводилось строить на месте более ранних построек. Он не стремился снести их до основания, к чему тяготеет большинство зодчих, а старался сохранить, что можно, от трудов своих предшественников. М. Ильин пишет: «...в процессе постройки части старого здания были приспособлены под трапезную, соединившую порознь задуманные храм и колокольню». Кстати, и колокольня Троице-Сергиева монастыря не на пустыре возводилась — Ухтомский перестроил и надстроил ранее имевшуюся.

Ухтомский применил для церкви и колокольни разные архитектурные решения: барочной нагруженности первой вроде бы не соответствует выостренная легкость второй. Но в отличие от храма Вознесения Казакова тут нет дисгармонии, ибо все имеет связь в четкой художественной концепции.

По Басманным двумя потоками — первый к Покровке, второй к Мясницкой — двигался знаменитый маскарад в честь коронации Екатерины II, имевший место быть в Москве 13 сентября 1762 года. Устройством маскарада занимался прославленный Федор Волков, которого считают отцом русской сцены. Он основал первый отечественный театр в Ярославле. Известный мемуарист и естествоиспытатель Андрей Болотов видел большой нравственный смысл в этом зрелище: «Маскарад сей имел, собственно, целью своею осмеяние всех обыкновеннейших между людьми пороков, а особливо мздоимных судей, игроков, мотов, пьяниц и распутных, и торжество над ними наук и добродетели, почему и назван он был «Торжествующая Минерва».

Описание удивительного зрелища я беру из книги П. Лопатина «Москва»: «В двухстах колесницах едут четыре тысячи участников маскарада. В каждую колесницу впряжены двенадцать разукрашенных волов... Пляшут нимфы и вакханки. Сатиры едут на тележках, запряженных козлами, свиньями, обезьянами. С шумом и гомоном проходит группа «Действие злых сердец»: ястреб терзает голубя, паук спускается на муху, лисица рвет петуха. Тут же играет нестройный хор музыки; музыканты наряжены в костюмы

животных. Чуть дальше новый хор возглавляет группу «Мир навыворот, или Превратный свет». Музыканты пятятся задом, платье надето наизнанку, хористы едут верхом на быках, коровах, верблюдах. Слуги в ливреях везут карету — в карете лежит лошадь. Несколько карлиц с трудом поспевают за великанами. Медленно движется громадная люлька. В люльке пищит спеленутый старик. Старика кормит грудной младенец. Рядом в другой люльке дряхлая старушка играет в куклы и сосет рожок, а за нею присматривает маленькая девочка с розгой. Снова музыканты на ослах, коровах, верблюдах, гирлянды цветов, грандиозные венки, артисты, фокусники, акробаты... В алом бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, в бриллиантовой диадеме императрица объезжает улицы в раззолоченной карете, запряженной восемью неаполитанскими лошадьми, украшенными цветными кокардами».

Это особенно привлекательно, если вспомнить, что на пути к престолу «русская Минерва» скинула с трона своего мужа, законного монарха Петра III, и забила его в Ораниенбауме пудовыми кулаками Алексея Орлова.

А вообще все это празднество убеждает нас, что первый российский актер и режиссер Волков был абсурдистом, перед которым меркнут современные короли абсурда — Беккет, Мрожек, Ионеску.

Ряд интересных сведений о Старой Басманной сообщает П. Сытин. Так, он обнаружил, что здесь в один и тот же день «находились царь и поэт: Николай I — на балу у французского посла маршала Мармона (дом № 21), на котором присутствовало все высшее общество Москвы и Петербурга; Пушкин — в гостях у своего дяди В. Л. Пушкина (дом № 36)». В доме, где изменившийся Наполеону и щедро награжденный Бурбонами маршал Мармон, не так давно входивший в Москву не с посольским бьюваром, а с обнаженной саблей во главе своих полков, чествовал русского императора, позже разместился Константиновский межевой институт. Несколько лет (наиболее тусклых в его жизни) здесь директорствовал классик русской литературы Сергей Тимофеевич Аксаков.

А вот сквер на углу Басманного переуллка (не сквер, а плешина, знак уничтожения старины) изгнал отсюда дом Анны Львовны, сестры Василия Львовича Пушкина, тетки Александра Сергеевича. На ее смерть Пушкин написал шуточную элегию, крайне огорчившую его дядю:

Ох, тетенька! ох, Анна Львовна,
Василья Львовича сестра!
Была ты к маменьке любовна.
Была ты к папеньке добра.
Была ты Лизаветой Львовной
Любима больше серебра;
Матвей Михайлович, как кровный,
Тебя встречал среди двора.

Давно ли с Ольгой Сергеевой,
Со Львом Сергеевичем давно ль,
Как бы на смех судьбине гневной
Ты разделяла хлеб да соль.
Увы! зачем Василий Львович
Твой гроб стихами обмочил,
Или зачем подлец попович
Его Красовский пропустил.

Упомянутый здесь Красовский — цензор-мракобес, которого Пушкин ненавидел. Впечатление такое, будто Пушкин воспользовался смертью тетки — старой курицы, чтобы посмеяться над дядей-питом и ненавистным цензором. А ведь Пушкин любил своего дядю, ценил его скромное, но несомненное поэтическое дарование. Воистину: ради красного словца!.. Но и близкие друзья не уважали Василия Львовича — за трусость, болтливость, легковесность, — хотя с удовольствием читывали «Опасного соседа». В литературном содружестве «Арзамас», где юный Александр был Сверчком, Василий Львович носил пренебрежительную кличку Вот. Пушкина раздражала и ранила стезеизность Василия Львовича, которого он при этом считал своим «дядей и на Парнасе». Пушкин с гордостью говорил о себе — «родов дряхлеющих обломок», но уж больно незначительны были представители дряхлеющего рода. Это оскорбляло, унижало и взорвалось злым стихотворением.

От Разгуляя во всем величии открывается Богоявленский собор. Когда-то тут стояла церковь Богоявления в Елохове, от которой остались трапезная и колокольня. В этой церкви в 1799 году крестили нового московского жителя — Александра Пушкина. По церковной записи точно известно, где он родился. И страшным бредом кажется, что дом, в котором прозвучал младенческий крик того, кто стал солнцем русской поэзии, хладнокровно снесли. Хочется думать, что это случилось при царизме.

Богоявленский собор построен в стиле ампира архитектором Тюриним. Тут идут самые торжественные службы, поет лучший церковный хор, а в прежние времена на Пасху певал Иван Семенович Козловский, чей серебристый голос как будто создан для подкупольной храмовой емкости.

В «Москве заповедной» сказано, что «на улице Карла Маркса напротив Гороховского переулкa — ансамбль городской усадьбы XVI—XVIII вв. с постройками трех столетий». В настоящее время сохранился лишь дом Голицына, выходящий фасадом на улицу. «Парк усадьбы и соседние усадебные сады в 1920 г. объединены и составляют зеленый массив Сада культуры и отдыха имени Н. Э. Баумана». Но поскольку вход в это увеселительное заведение по Новой Басманной, к ней мы и перейдем.

До конца XVII столетия улицей и не пахло — сплошь монастырские огороды. В конце века Петр устроил здесь слободу для офицеров набранных им полков и стал через нее ездить в Преображенское. Слободская дорога превратилась в улицу, но близкий

к нынешнему вид приняла много позже — в конце XVIII — начале XIX века, отстроившись в едином стиле московского классицизма. Сейчас, конечно, эта цельность разрушена новостройками, но все же проглядывают прежние строгие черты.

Улица начинается от площади Лермонтова, где разбит сквер и стоит хороший памятник поэту — местному уроженцу. Считается, что Басманная включена в заповедную зону, возможно, так и есть, но сделали это поздно, когда улица, особенно в этой части, плачевно подпорчена. Один громозд Министерства путей сообщения чего стоит! Странно, что такое большое здание может быть настолько плюгавым!

А вот под № 4 — то, что уцелело от владений князя Александра Борисовича Куракина, русского посла в Париже, прозванного за несметные богатства бриллиантовым. Он некогда оказал гостеприимство молодому Василию Тредиаковскому, когда тот, голодный, оборванный, смертельно усталый, притащился из Голландии в Париж и пал без сил у посольского порога. Тредиаковский явился сюда гонимый страстью к образованию, которое он не мыслил себе без курса лекций в Сорбонне. И в дальнейшем князь Куракины оказывали покровительство несчастному поэту-просветителю, первому русскому академику, игравшему при дворе злой и капризной Анны Иоанновны мало что ни роль шута. Доброхотство князей не спасло Василия Кирилловича от побоев кабинет-министра графа Волынского, требовавшего от него непристойных стихов на бракосочетание шутов Квасника и Бужениновой. Стихи эти Волынский таки получил от измордованного певца.

Дальше улицу пересекает глубокая щель, через которую перекинут старый мост. Внизу проходит ветка, соединяющая Курскую и Николаевскую (Октябрьскую) железные дороги.

За мостом налево мы видим строение, утешающее глаз. Это славная церковь в стиле петровского классицизма, возведенная зодчим Зарудным по чертежам самого царя. Считалось, что колокольню несколько позже поставил Мичурин, работавший в Китай-городе. Но вот недавно я обнаружил свежую мемориальную доску, где автором колокольни назван Бланк. Очевидно, это открытие последнего времени или путаница — такое тоже бывает. На узорной ограде церкви висит другая доска, сообщающая, что ограда перенесена со Спасской улицы и находится под охраной государства. На этой церковке больше памятных досок, чем на всей Новой Басманной.

А тут есть что отметить. Например, дом № 27 — деревянный, но с лепными украшениями, более привычными для каменных строений. Этот дом принадлежал М. М. Соболевской, по мужу Денисьевой, возлюбленной уже знакомого нам графа Алексея Кирилловича Разумовского. Он прижил с Денисьевой пятерых детей, деликатно называемых воспитанниками. Им всем была присвоена государем по ходатайству графа фамилия Перовские. Тут граф отошел от традиции: если фамилия незаконного, но вель-

можного отца была достаточно длинной, бастардам полагалось довольствоваться ее окончанием. Так возникли укороченные фамилии знаменитого сподвижника Екатерины Бецкого — незаконного сына князя Трубецкого, и поэта-публициста Пнина — внебрачного отпрыска князя Репнина. Неплохо звучали бы и Умовские, тем более что тут сохранялся корень славной фамилии, напоминающей о веселом предке, так ценившем ум в человеке. Но граф-отец то ли не догадался, то ли рассудил по-своему.

Три брата Перовских вошли в русскую историю. Граф Лев Алексеевич — генерал от инфантерии, видный государственный деятель, инициатор крупных археологических раскопок, коллекционер. Свое собрание греческих древностей и русских серебряных монет он передал Эрмитажу. Граф Василий Алексеевич был генерал-губернатором Оренбургского края и командующим Отдельным Оренбургским корпусом. Он взял кокандскую крепость Ак-Мечеть, учредил пароходство на Аральском море и обустроил доверенный ему край. Он сдружился с Пушкиным, когда тот собирал материал по истории Пугачевского бунта. Третий брат, Алексей Алексеевич, более известный под своим литературным псевдонимом Погорельский, был очень читаемым писателем романтического склада. Последние годы жизни он посвятил воспитанию своего даровитого племянника, ставшего знаменитым поэтом и драматургом Алексеем Константиновичем Толстым.

Незаконным детям не переходит титул отца, но братья-генералы сами заслужили его, а брат — писатель и воспитатель — остался нетитулованным. Зато сын его, Борис Алексеевич, получил графа. Он воспитывал не поэта, а наследника престола, будущего императора Александра II и великого князя Владимира.

Из этого рода (но до чего же вкось от него!) вышла знаменитая революционерка, член исполнительного комитета «Народной воли» Софья Перовская, участница покушения на Александра II, которого воспитывал ее родственник. Перовская была повешена.

Рядом с домом Соболевской-Денисьевой находилась Басманная полицейская часть, где сживали под арестом В. Короленко и В. Маяковский. Напротив (дом № 26) помещалось Сиротское училище, потом Басманная больница. Эта больница существует и сейчас, только носит иное название, такое длинное и скучное, что я запомнил. Дом этот построен тем же неленивым Казаковым.

Посреди Новой Басманной находится парадный вход в сад имени Баумана. Я зашел туда в будний день и как будто провалился в глубокую провинцию начала тридцатых годов. Деревянная облупившаяся раковина эстрады, деревянные, полукругом, обшарпанные скамейки — поверить нельзя, что ты в центре Москвы. Справа — открытая дискотека: большая унылая площадка, обнесенная решеткой. Неужели здесь и правда танцуют? Рядом кафе, похожее на общественную уборную. И, глядя на бюст Баумана, установленный посреди томящей безрадности, думаешь: неужели за это отдал он свою молодую жизнь?

Сад хмуро косит на расположенное по другую сторону улицы довольно пригосее здание конца прошлого века, где находится крупнейшее в стране издательство «Художественная литература». Среди других заслуг издательства — выпуск двухсоттомной Библиотеки Всемирной литературы. Если к Баумановскому саду, судя по его внешнему виду, давненько не притрагивались заботливые руки человека, то у «Худлита» другая беда — уже и не вспомнить, когда внутри этого здания начался ремонт. Все тут пропало едучей шпаклевкой, мокрой штукатуркой и протухшей краской.

Что еще заслуживает быть отмеченным на Новой Басманной? Мемориальная доска на доме № 5 — крепкой дореволюционной постройке — извещает, что здесь жил после гражданской войны известный писатель Мате Залка, ставший в пору испанской войны легендарным генералом Лукачем, командиром Интернациональной бригады. О последнем, впрочем, доска почему-то умалчивает.

По той же стороне, несколько дальше, стоит в глубине, за красивой оградой, отличных пропорций дом, не упоминаемый ни в одном справочнике и путеводителе. Там находится научно-техническая библиотека.

Во дворе дома № 20, во флигеле, жил когда-то грустный философ, друг Пушкина, П. Я. Чаадаев.

Любопытный исторический анекдот связан с Бабушкиным переулком, ныне переименованным в улицу Александра Лукьянова — героя-летчика, совершившего один из первых таранов в Отечественную войну. Бабушкиным переулком назывался в честь старожилос Басманной, владельцев шелковой и полотняной фабрики Бабушкиных, чей дом находился напротив. Переулос этот просуществовал тринадцать лет, когда домовладелец Гурьев потребовал от Управы благочиния закрыть его, аргументируя следующим (приведу почти целиком этот образчик казенного косноязычия): «...И мостовой не имеетца и бывает великая в осеннее время грязь, от которой проезду и проходу пешим людям не бывает. А в зимнее время ночью вывозят по пустое одного с обывательских дворов всякую нечистоту, отчего бывает тяжолость воздуха и по глухоте оногo в ночные времена часто бывают шумы и драки».

Но другие обыватели оспорили Гурьева, считая, что переулос этот нужен во время пожара. И все просили Управу замостить его, особенно московские купцы Петр и Семен Андреевы, дети Бабушкина, по причине той, что «домы их стоят один в Старой, а другой в Новой Басманной, и противу того самого переулка, а Петра Бабушкина и по оному всему переулку, шедши из Старой Басманной в Новую по правую руку на обе оныя улицы во весь переулос вышел». То же неплохо закручено! Самое удивительное, что чиновники управы разобрались в этой словесной непролази и велели частному приставу замостить переулос. «Ще це за ум, ще це за рбзум!» — как говаривал тату князей Разумовских...

НА КУЛИЖКАХ

Всем известно выражение: у черта на куличках. Это означает: очень далеко, не добраться, а и доберешься, нужного места все равно не отыщешь. Так много вмещает в себя это емкое выражение. Но спроси, что такое «кулички» и почему они во владении нечистого, никто не скажет. Дело в том, что «кулички» — это испорченное «кулишки» или «кулижки», последнее правильной. А «кулижка» — исконно русское слово, объясняемое по-разному: топкое, болотистое место — говорят одни знатоки языка, лес после порубки — считают другие, пожня меж кустами и чапыжником — объясняют третьи. Это требует дополнительного объяснения: пожня — низменный, мочажинный луг, а чапыжник — кустарниковая непролазь. Но во всех объяснениях проглядывает одно общее: место не больно казистое. Так вот, Кулижки — это испокон веку известная местность, где еще в домосковское время, при полулегендарном боярине Кучке, находились поселения, и занимает она территорию нынешней Солянки с прилегающими переулками вплоть до Яузского бульвара и набережной реки Яузы, а также обширные владения бывшего Воспитательного дома, ныне Академия им. Ф.Э. Дзержинского.

И вроде бы не так уж далеки Кулижки от ядра Москвы — Кремля и уж вовсе близки ко второму московскому поясу — Китай-городу, но почему-то стали символом отдаленности, затерянности, почти недосыгаемости. У черта на Кулижках — ишь куда занесло!..

Кулижки — путаное место, даже рельеф тут какой-то не московский: низина и взгорья, пади и подъемы, — не поймешь, что внизу, что наверху. Вот Ивановский (Предтеченский) монастырь, глянешь от Солянки — он на круче, глянешь от Старосадского переулка — он у подножия горы. На деле же он в первом ярусе Алабовой горы, по кручам которой карабкаются Старосадский и Спасоглинищевский переулки.

В Кулижках все чуть-чуть туманно и загадочно. Взять хотя бы Подкопаевский переулок — ужас автомобилистов, ибо здесь долго лепилось на круче ГАИ города, где великие знатоки дорожной казуистики терзали на экзаменах будущих шоферов, где отбирали, а иногда и возвращали водительские права. Существует три версии происхождения названия переулка. Первая — немудреная: он расположен на склоне богатой песком горы, служившей местом выборки песка для построек, отчего и образовался подкоп. Вторая — вовсе скучная: строителем Никольской церкви был Подкопаев, отсюда и церковь и переулок — Подкопаевские. Зато третья дает простор воображению: злоумышленники сделали подкоп, чтобы ограбить богатый храм. А храм, довольно скромный с виду, был богат, ибо в его приход удалился Иван III после опустошительного пожара 1493 года. Любопытно, почему среди всех московских храмов умный и расчетливый государь выбрал неза-

метную обитель? Случайным такое быть не могло, но причина скрыта во мгле веков. Грабитель, пытавшийся снять серебряную ризу с престольного образа Николая-чудотворца, любимейшего русского святого, свалился в дыру подкопа, разбился насмерть и был засыпан землей. Темны дела на Кулижках, темны они окажутся и в более позднее время, когда в Подколокольном переулке (несмотря на кажущуюся ясность названия, оно не имеет объяснения) возникнет Хитров рынок со страшными ночлежными домами — гнойная язва города.

Начну же я свой рассказ с земли, как бы предваряющей Кулижки, если двигаться к ним от центра столицы — Кремля.

Речь пойдет о площади Ногина, названной так в честь советского государственного деятеля, хозяйственника В. П. Ногина. Он работал в Высшем совете народного хозяйства, помещавшемся в огромном сером доме, что одной стороной смотрит в Китайский проезд, другой — на площадь. До революции это здание принадлежало Деловому двору, тут размещались конторы купцов, банки и гостиница с рестораном. Москвичам моего поколения площадь была известна как Варварская, по улице Варварке, вливавшейся в нее. А еще раньше ее именовали Коневой, по имени зодчего Федора Коня, возведшего стену Белого города; начиналось это укрепление в Кулижках, от реки Яузы, и тянулось по нынешнему бульварному кольцу. Лежит площадь в низине, у подножия довольно крутого холма. В XVII веке место славилось кузнечным делом, тридцать пять кузниц без устали ковали все, что только можно выковать, — от ножей и подков, мельничных снастей и замков до оружия и особых поковок для нужд государева Денежного двора, тоже находившегося в Кулижках.

Украшена площадь старой живописной церковью Всех Святых на Кулижках. По преданию, на ее месте была другая церковь, поставленная Дмитрием Донским в память русских воинов, павших на поле Куликовом. Уходил на врага Дмитрий и возвращался с Мамаева побоища дорогой, пролегавшей по Варварке, площади Ногина, Солянке, а дальше по Владимирке. С противоположной стороны площадь ограничена Лубянским сквером; в его конце, у Ильинских ворот, стоит памятник героям Плевны, нашим гренадерам, погибшим в боях за освобождение Болгарии от туретчины. Автор памятника в модном тогда «русском» стиле известный архитектор и скульптор Шервуд.

С площадью Ногина у меня связано одно из самых пронзительных переживаний детства, когда я впервые и люто испугался Москвы, а затем раз и навсегда проникся безграничным доверием к своему городу. История эта кажется мне любопытной и поучительной, и я позволю себе задержаться на ней.

Это случилось в 1929 году. Школьник-второклассником я страстно мечтал о пионерском галстуке. В ту пору не было четких правил приема в пионеротряд. В одних школах принимали с девяти, в других с десяти, а в нашей так и с одиннадцати. А до

того изволь томиться в октябрютах. У нас в классе учился славный очкастый мальчик Яша, он жил на Варварке, а отец его работал в ВСНХ. И вот мы узнали, что при ВСНХ есть детский клуб, где ребят «готовят в пионеры». Здесь учили ручному труду: строгать и пилить, клеить цветные аппликации, писать лозунги мелом на кумаче, а также рисовать, петь песни про костры, картошку и юного барабанщика, ходить в ногу и многим другим полезным в пионерской жизни вещам. Занятия проходили вечером, после уроков.

Жил я довольно далеко отсюда, в Армянском переулке, от его угла до Варварской площади ходил трамвай № 21. Мне давали на дорогу гривенник, туда я должен был идти пешком, а возвращаться, уже в темноте, трамваем. Однажды, перестрогав и перемаршировав до обалдения, я перепутал трамваи и поехал в сторону, противоположную моему дому. Свою ошибку я обнаружил не сразу, лишь когда за окнами возник мост, а под ним река — черная, маслянистая, с тусклым отсветом. Я знал, что никакой реки мне переезжать не надо, и так испугался, что проехал еще две лишние остановки. Мимо бежали низенькие слепые дома с черными подворотнями, редкие тусклые фонари, вывески, на которых ничего нельзя было разобрать. Наконец я очнулся и вышел из трамвая. Вокруг был темный, пустынный и, как мне казалось, бесконечно враждебный мир. Другой монетки у меня не было, пришлось идти пешком. Куда идти, я не знал и просто побежал назад вдоль трамвайной линии.

Так началось одно из самых значительных путешествий моей жизни. Потом я объезжу чуть не весь свет, но ничто так не врежется в память, как недалний путь от Заяузья к Армянскому переулку.

А началось все довольно-таки позорно. Я бежал по улице и плакал. Прямо-таки ревел от страха и тоски по дому. И образ бесстрашного барабанщика не витал передо мной. А потом, миновав мост, я натолкнулся на будто возникшую из-под земли женщину.

— Ты чего тут? — удивленно спросила она.

— Я заблудился. Мне в Армянский надо.

— Это где ж такое?.. Что-то не слыхала.

— Покровка... Маросейка...

— Мать честная!.. Куда ж тебя занесло?

— Я трамваи спутал.

Женщина рассмеялась и пошла со мной рядом. И как ни напуган, ни растерян я был, все же заметил, что лицо ее мокро от слез.

— Вы плакали?

— Еще чего! Луку надышалась. Эх, малый, ничто в мире слезиночки не стоит. Давай петь. «Ах, Коля, грудь больно, любила довольно...» Чего же ты? Подпевай.

— Не могу. Слуха нет.

— Беда! Не люблю, кто не поет. А ты бы хоть сам с собой пел.

— Я пою. С собой я всегда пою.

— Ну и правильно!.. — Она опять запела: — «Сире-ень цветет, не пла-ачь — придет-от!..» — И вдруг оступилась, сломала каблук.

Она пошла дальше, хромая, но тут нам повстречался пожилой человек в прорезиненном плаще, сапогах и суконной фуражке. Под плащом виднелась военная гимнастерка.

— Эй, дядя! — окликнула женщина. — Проводи мальчика. Он заблудился, а я, вишь, охромела.

Бывший военный поворчал, но все же согласился.

— Прощай, — сказала мне женщина. — А смешно, сколько-то лет пройдет, ты вырастешь, станешь большим и никогда больше меня не увидишь. И я тебя не увижу. Понимаешь? Мы никогда, никогда с тобой не увидимся. И ты даже не вспомнишь обо мне...

И что же, почти минула жизнь, и, седой, старый, я хочу сказать той женщине: «Вы ошиблись, я никогда не забывал вас, вы всегда были во мне с вашим смехом, вашими слезами, вашей добротой».

Бывший военный повел меня куда-то вкось от улицы, плетением переулков, проходными дворами, он хорошо ориентировался на местности. Только шел он трудно, то и дело останавливался и прижимал руку к груди. Наверное, у него было плохое сердце. Он спросил меня, кто мне эта женщина.

— Никто, — растерянно ответил я.

— Это что еще такое? — загремел он. — Никто! Каждый есть кто-нибудь! Никто! Ишь, фендрик!

И я запомнил его слова на всю жизнь.

В виду Ивановского монастыря дорога круто пошла в гору, и военный человек остановился.

— Мотор не тянет, — сказал он.

И хотя я еще боялся, все же нашел в себе мужество сказать:

— Дальше не надо. Я сам дойду.

— Молодец! — Голос его потеплел. — Терпеть не люблю трусов.

Я ненадолго оставался один. Теперь меня подхватил... немец. Да, да, настоящий немец, инженер, что-то строивший на Волге и проездом оказавшийся в Москве. Он бродил по Кулижкам, восхищаясь «таинственной Азией». Меня учили немецкому, и мы быстро нашли общий язык. Он тоже бы хорошим человеком и довел меня по Старосадскому переулку до Покровки. А сам повернул назад, в «geheimnisvoll Asien».

Шефство надо мной взял новоиспеченный милиционер в форме с иголки и хрустящих ремнях. Полный сознания своего величия, он свистком остановил воображаемое движение на пустой ночной улице и, взяв меня за руку, перевел на другую сторону.

— Переход у Сверчкова осилите или проводить?

— Осилю, — сказал я.

— Поглядите налево и начинайте движение. Достигнув осевой, поглядите направо и, если нет транспорта, продолжайте путь. — Он счастливо козырнул, и через несколько минут я был дома.

Прежде чем лечь в постель, я немного постоял у окна, глядя в лицо ночи, переставшей быть страшной. Почему я так боялся ее? В тихой темной пустынности бродят странные добрые люди, которые не дадут тебе пропасть. Я мысленно пожелал им спокойной ночи — гордой молодой женщине, бывшему военному, которому не спится в мирной тиши, очарованному Москвой немцу и новоиспеченному стражу столичных улиц.

Я знал, что уж никогда не усомнюсь в своем городе. И научился я этому у черта на Кулижках...

Замечательная характеристика сложной, необычной и крайне привлекательной структуры Кулижек содержится в отличной книге М. Миловой и В. Резвина: «Если говорить о московском своеобразии, когда рельеф как бы сам задает тон, то это район уникальный настолько же, как Швивая горка или Труба у выхода Рождественки. Впрочем, пожалуй, тут структура еще сложнее. С одного и того же перекрестка, буквально через несколько шагов, как, скажем, в верхней точке Малого Ивановского, раскрывается целый веер захватывающих перспектив. Один переулочек сбегает под гору с лихим поворотом, другой не менее круто уходит вверх, третий далеко внизу переходит в живописную улицу, а там глаз уже угадывает далекие очертания Зарядья. Среди небольших, лестницей уходящих вниз домиков вкраплены интересные памятники архитектуры. Неравнозначные по художественной ценности, они в совокупности создают среду, уникальную даже по московским представлениям. Тут встретишь все. В одном из переулочков смотрят друг на друга храм XVII века, невеста как взгромоздившийся на самую крутизну холма, куда ведет каменная лестница, и не то французский замок, не то итальянский монастырь. Оказывается, что эти мощные фланкирующие башни, решительно выдвинутые прямо на тротуар, и вписанный между ними купол на заднем плане, так напоминающий купол знаменитой Санта Мариа дель Фьоре во Флоренции, — не более чем стилистическое увлечение своего времени: новые постройки старого Ивановского монастыря были возведены в 1861—1878 годах по проекту архитектора М. Д. Быковского. Впрочем, в подобных случаях существенна даже не историческая подлинность отдельных зданий, а то, как живописно, романтично слилось все это в некое старомосковское целое. Да, район поистине уникальный, и, любясь им, заранее представляешь, как он выиграет после реставрации. Жаль только, что в преддверии этих работ утрачивается немало интересных деталей, которые потом уж не восстановить, если они не обмерены».

С грустью должен добавить: жалеть приходится не детали, а

целое, ибо реставрационные работы ведутся столь вяло, бессильно, спустя рукава, что в обозримое время мы едва ли увидим преобразованные Кулижки. Территория Ивановского монастыря так захлавлена и весь он в таком плачевном состоянии, что тяжело смотреть.

Нынешний Ивановский монастырь стоит на месте старого, заложенного, согласно преданию, в 1533 году в память о рождении Ивана Грозного. От этого кровоядца легла на монастырь зловещая тень. Здесь содержались две знаменитые узницы, одна в келье, другая в подвале, княжна Тараканова, дочь императрицы Елизаветы Петровны от морганатического брака с графом Алексеем Разумовским (о нем уже была речь), и страшная Салтычиха — помещица-садистка Дарья Николаевна Салтыкова, истязавшая своих крепостных.

Сперва о Таракановой. Все знают картину Флавицкого в Третьяковской галерее «Княжна Тараканова». Сквозь узкое зарешеченное окно хлещет вода. Наводнение. Молодая женщина, стоя на постели, прижалась спиной к каменной стене. На постель лежат обезумевшие от ужаса крысы.

Так вот, здесь изображена другая Тараканова. Авантюристка, выдававшая себя за дочь Елизаветы и предъявлявшая права на русский престол. Нечто вроде Лжедмитрия в юбке. То было во дни Екатерины II. Ее фаворит Алексей Орлов заманил мнимую Тараканову в ловушку, и несчастную претендентку бросили в Алексеевский равелин. Там она умерла от чахотки за два года до большого петербургского наводнения.

Настоящая княжна Тараканова была заточена в Ивановский монастырь. Вся вина бедной девушки состояла в том, что в ней текла царская кровь и, следовательно, прав на русский престол у нее было больше, чем у Екатерины, свергнувшей законного государя — своего мужа Петра III. Тараканова зачала в келье и похоронена в Ново-Спасском монастыре. До недавнего времени в ее усыпальнице дворники хранили свой инвентарь. Газеты много, гневно и тщетно писали об этом кощунстве — кажется, сейчас подыскали другое помещение для метел, скребков и совков.

Салтычиха злодействовала над дворовыми людьми в своем огромном доме по Кузнецкому мосту на пересечении с Большой Лубянской, то есть совсем рядом с местом будущего заключения. Заводилась Салтычиха, как правило, во время мытья полов и стирки белья. Бывали вспышки и по другому поводу, но куда реже. Вот как об этом говорилось в брошюрке о следствии над Салтычихой: «С мучительным однообразием рассказывали бесчисленные свидетели все одну и ту же историю о мытье полов и мытье белья, и впечатление от этих рассказов было таково, как будто это салтычихино белье и полы мылись не водой, а горячей человеческой кровью». Салтычихе не всегда удавалось прикончить свою жертву, хотя в ход шли скалки, поленья, утюги. Окровавленное тело выбрасывали во двор, и остервеневшая барыня кри-

чала гайдукам: «Бейте до смерти! Я одна в ответе!» В чем тут дело, почему стирка и мытье полов так страшно возбуждали ее, превращая в сущего дьявола? Интересная проблема для психиатра, но, к сожалению, такой науки не существовало в салтычихинские дни.

Александр Шамаро сообщает: «По данным судебного следствия в течение шести-семи лет Дарья Салтыкова «умертвила разными муками» 139 человек, главным образом женщин (среди погибших было только трое мужчин), в том числе и девочек десяти-двенадцати лет... На самом же деле число жертв еще больше». Для сравнения напомним: Нерон, вошедший в скорбную историю человечества как самый отъявленный злодей, числил за собой 146 убиенных. Мера ее злодеяний превысила всю снисходительность самодержавной власти к «шалостям» помещиков. Салтычиху отдали под суд. Свои черные дни она кончила в подвале Ивановского монастыря. На нее приходили смотреть, она рычала, редела и кидалась на прутья решетки. Преступницу похоронили с честью на кладбище Донского монастыря в фамильной усыпальнице Салтычиховых.

Неподалеку от моего подмосковного жилья есть старая текстильная Троицкая фабрика. Старожилы уверяют, что она находилась во владении Салтычихи, у которой в соседнем селе Красном была вотчина.

Главная, разумеется неофициально, улица Кулижек Солянка, начинающаяся от площади Нюгина и крючком поворачивающая к Яузе, получила свое название по находившему между Б. Ивановским и Подколокольным переулками казенному Соляному двору, превращенному в XVIII веке в Соляной рыбный двор. Торговля солью была монополией государства, и те, кто добывал соль, должны были сдавать ее государству по существующим расценкам. Она поступала в амбары Соляного двора, а оттуда уже ее получали торговцы и продавали по установленной цене. Отменили монополию на соль в тридцатых годах XVIII века, и продажа этой необходимой приправы к пище стала вестись в розницу.

Первоначально Солянкой назывался Большой Ивановский переулок (ныне улица Забелина, крупнейшего историка Москвы), а знакомая нам Солянка — Яузской улицей.

Самое примечательное место на Солянке и одно из красивейших в Москве — здание бывшего Опекунского совета, ныне — Академия медицинских наук. Его построил знаменитый Жилярди вместе со своим учеником и постоянным помощником А. Григорьевым. Роль Доменико Жилярди в московском строительстве XIX века можно сравнить лишь с ролью Матвея Казакова в XVIII. Тот, правда, больше успел и был крупнее по масштабу дарования, но это не умаляет значения вдохновенного труда Жилярди. Им построены, кроме Опекунского совета, Екатерининский институт (ныне Дом Советской Армии), усадьба Кузьминки, дома-усадьбы Луниных, Усачевых, перестроен дом Найденовых (санаторий

«Высокие горы»), восстановлен университет. Жиллярди смело нарушил традицию, принятую большинством тогдашних зодчих, — сосредоточивать все внимание на уличном фасаде. Красивый купол подчеркивает объем дома.

Справа от Академии медицинских наук находятся ворота, ведущие к бывшему Воспитательному дому, ныне Артиллерийской академии имени Ф.Э.Дзержинского. Ворота украшены двумя скульптурными группами работы знаменитого ваятеля Витали — «Милосердие» и «Воспитание». К нынешнему назначению гигантского здания, возведенного Карлом Бланком в 1764—1770 годах, эти скульптуры, естественно, отношения не имеют, что не уменьшает их художественной и мемориальной ценности. Здание Воспитательного дома обескураживающе просто и по силуэту, и по всем архитектурным деталям, даже странно, что оно произвело на современников столь сильное (и преимущественно отрицательное) впечатление. Но эта работа Бланка, которому помогал в разработке флигелей молодой Матвей Казаков, имела этапное значение в московском зодчестве. На смену изысканным барочным формам пришли простота и уравновешенность архитектурных объемов классицизма, который надолго станет господствующим стилем. Когда Баженов проектировал свой невероятный Кремль, он соотносил его с массивом Воспитательного дома.

Население этой части Москвы было смешанным. Тут были представлены знатнейшие фамилии — Долгоруковы, Черкасские, Шереметевы, Колычевы, Стрешневы, — но числились среди домовладельцев и такие, как нищий Григорий, похороненный близ церкви Всех Святителей, у двери которой он побирался, некая девка Маланьница и вдова Прасковьяца, тоже, видать, не из первых аристократов.

Самое интересное в Кулижках — узкие, извилистые, горбатые переулки. Многочисленные церкви соседствовали с мелкими предприятиями: в Подкопаевском нашли приют миткалевая фабрика Кучумовых и восково-медоточный заводик Усковых; в бывшем Хитровом переулке стояла фабричка мужских помочных пружин Николаева, а в Большом Ивановском — мамыкинская табачная фабрика. Здесь все очень густо, на Кулижках, храм на храме: против громадного и причудливого Ивановского монастыря на бугор вскочила прелестная Владимирская церковь (Владимир в Старых садах); узенький Петропавловский переулок приютил красивую ныне действующую церковь Петра и Павла; к церковным стенам лепились мастерские или торг. 29 августа, в день усекновения главы Иоанна Предтечи, отчего Ивановский монастырь назывался еще и Предтеченским, у его стен происходила обширная шерстяная ярмарка. Сюда свозили со всех концов необделанную и превращенную в нитки шерсть. Первыми покупателями на этой ярмарке были сами монахини Ивановского монастыря, великие искусницы вязать. Монастырь же был освящен во имя святого Иоанна, прозванного Предтечей, возвестившего о приходе в мир

Спасителя — Иисуса Христа. Иоанн был обезглавлен царем Иродом в угоду его жене Иродиаде. Пророк изобличил грехи Иродиады, и его отсеченную голову подали на блюде царице.

А еще был на Кулижках обширный грибной торг, очевидно в Подколокольном переулке, поскольку вытеснила дары леса трамвайная линия, а трамвай мог ходить только там, остальные переулки были слишком круты и зигзагисты.

Тихий и серьезный, какой-то сосредоточенный в себе Подколокольный переулок с солидными зданиями, большой школой, отделением АПН и старой церковью на углу с Солянкой когда-то был связан с самым темным и гиблым местом в Москве. Даже Зарядье в худшие свои времена бледнело рядом с Хитровым рынком и его ночлежками, находившимися в расширении Подколокольного, образующем небольшую площадь. «Хитровка», «хитрованец» — имена нарицательные. Пропащее место, человек дна, городская протерь последнего пошиба.

Между тем свое имя будущему вертепу дало лицо в высшей степени respectable, генерал-майор в отставке, флигель-адъютант Н. З. Хитрово, принадлежащий к старинному и заслуженному дворянскому роду. Этот отставной генерал отличался сильно развитой коммерческой жилкой. У него самого было большое владение — на этом месте сейчас огромный современный дом № 12—1, с аркой, — откупленное им у вдовы крупного чиновника Карпова. Когда-то там раскинулись аж до церкви Петра и Павла палаты княгини Щербатовой. Ныне сквозь высоченную арку виден покрашенный в темно-зеленый цвет особняк с белой колоннадой. Это остаток пышной городской усадьбы.

После 1812 года Москва энергично отстраивалась. Но никто не приценялся к погорелью на углу Подколокольного и Асташовского переулков, где когда-то стояли дома двух небогатых вдов. Хитрово откупил у них землю и получил разрешение у московского генерал-губернатора открыть здесь мясной и зеленой торги. Место было бойкое — вокруг плетение густо населенных переулков, множество монастырей и церквей.

Хитрово принялся строить рынок — каменный двухэтажный корпус с лавками и подвалами. Видя усилия генерала, московские власти замостили площадь лобастым булыжником. Генерал-майор в отставке изъявил желание обсадить будущий рынок тополями — несомненно, москвичей ждало нечто пленительное. Не исполнилось желание Хитрово: он скоропостижно скончался.

Наследники генерала не были столь деятельны и хозяйственны: тополя не зацвели на новой площади и даже порядочного рынка не возникло. Просто раз в год, перед Рождеством, крестьяне подмосковных деревень привозили сюда «мороженую живность» и распродавали в течение нескольких недель прямо с возов. Вместо мясного торга — мясная рождественская ярмарка.

Вот что рассказывает Сытин о дальнейшей судьбе Хитровской площади, как прозвали ее в народе: «С 60-х годов Хитровская

площадь стала своеобразной биржей труда, или, как тогда говорили, «стоянкой» рабочего народа, ожидавшего нанимателей. Здесь ежедневно производился наем поденных, сезонных и постоянных рабочих. Сотни людей предлагали здесь свой труд в качестве каменщиков, землекопов, мостовщиков, плотников, дворников, половых, поломоек, домашней прислуги и даже кормилиц.

Некоторым удавалось через рынок получить постоянное место, чаще устраивались на поденщину, а многие вовсе оставались без всякого заработка. Категория неудачников влачила особенно жалкое существование на Хитровом рынке. В невольном бездействии они бродили или валялись летом на пыльной мостовой, осенью и в зимнюю стужу, не имея теплой одежды, днем дрожали от холода, а ночью укрывались в душных и мрачных ночлежках. Некоторые нищенством по окрестным переулкам добывали себе насущный хлеб и медный пятак на ночлег.

...Применительно к необычному населению злополучной площади здесь вырос целый комплекс особых промыслов. Торговки и съестные лавчонки продавали дешевую пищу из низкосортных продуктов. Явные и тайные кабаки, пивные, игорные притоны и прочие злачные места заманивали в свои сети обнищавших людей и вымогали добытую копейку. Площадь окружали каменные дома с ночлежками.

Ночлежных домов здесь было четыре. Самым отвратительным был дом Кулакова, занимавший угловой участок между нынешними Астаховским и Петропавловским переулками. Он состоял из нескольких каменных корпусов: в нем было 64 ночлежных квартиры на 767 мест, а ночевало ежедневно не менее 3 тысяч человек. Люди спали, где только могли: под нарами, в проходах и т. д. В остальных трех ночлежных домах преобладали мелкие мастеровые, торговцы вразнос и тому подобные люди с постоянным занятием. Но кулаковский дом населяли самые низшие слои Хитрова рынка. Здесь было много таких людей, которые промышляли темными делами. Обычным явлением было пьянство и открытый разврат. Можно сказать, что все занятия ночлежников имели целью добыть деньги на водку. Особенно интересна была профессия у десяти-двенадцати опустившихся интеллигентов. Сидя на нарах или стоя на коленях, они переписывали роли для актеров. «Хитровка» тем и привлекала их, что здесь можно было оставаться и днем, тогда как городские ночлежные дома утром выставляли ночлежников для проветривания помещения. Каждый переписчик зарабатывал в день 40—50 копеек и вечером их пропивал. Никто из них не мог собрать денег на одежду, и потому все они ходили в лохмотьях. Отправляя одного за получением заказа или с переписанными ролями, они наряжали его во все лучшее, что имелось у всех, а сами сидели часто без самой необходимой одежды».

Здесь можно было встретить порой самых неожиданных людей, например академика живописи Саврасова, автора великой

песни весне «Грачи прилетели» и других чудесных, шемяще грустных и пустынных пейзажей вроде «Дороги» или «Болота», которые никак не менее значительны в русской живописи, чем пейзажи Ф. Васильева и И. Левитана. Он подходил к прохожим в черной, похожей на воронье гнездо шляпе, в жалком отребье и тихо говорил: «Подайте опохмелиться академику живописи». Он был из тех несчастных русских талантов, которых погубил первый большой успех и внезапный недостаток.

Сюда, на самое дно, спускались предводительствуемые известным журналистом Гиляровским, которого вся Москва называла «дядей Гиляем», Станиславский, Немирович-Данченко и художник Симов. Они ставили «На дне» М. Горького, и, поскольку МХАТ тех дней стремился к максимальной жизненной правде, они хотели познакомиться с прообразами персонажей, которых им предстояло изобразить. В книге «Моя жизнь в искусстве» Константин Сергеевич рассказывает об этой отважной экскурсии, которая едва не кончилась трагически для любителей сценической правды. Лишь опыт и находчивость дяди Гиляя спасли их от серьезных неприятностей.

Недавно я узнал, что на превосходном андреевском памятнике Гоголю, изгнанном с Гоголевского бульвара во двор, фигура Тараса Бульбы слеплена с Гиляровского.

Спектакль «На дне» потряс москвичей не только мощью драматургии, новизной ярких характеров, блеском актерской игры, но прежде всего открытием неведомого трагического мира, находившегося посреди Москвы, но как-то незамечаемого в суете повседневности.

Подколокольный переулок, несколько узковатый и темноватый в приближении к Солянке, от бывшего Хитрова рынка расширяется и становится одним из самых привлекательных мест на Кулижках. Он не богат историческими памятниками, о самом интересном мы уже говорили — это старинный особняк, зримый в пролете высокой арки.

В моей памяти этот переулок светится особым светом, куда более ярким, чем в тот солнечный морозный день нынешнего декабря, когда я приехал сюда проведать старого знакомца. Мы многое видим по-разному в разные дни своей жизни. Довоенный Подколокольный переулок был для меня самым важным, самым лучшим местом в Москве. Нигде не было такой пронзительной, звенящей и ручьиистой весны, как в Подколокольном, нигде не было такой свежей, крепкой и белоснежной зимы, как в Подколокольном, нигде не было такой золотой и багряной, такой медовогорчащей осени, как в Подколокольном, — переулке, моей первой любви. Летом я там не бывал, летом мы встречались с моей любимой на песчаном коктебельском берегу, усеянном разноцветными камушками. В остальные времена года нам встречаться было негде, и мы находили приют в однокомнатной квартире моего отчима, жившего до старости по-холостяцки. Потом началась

война, на которую меня проводила любимая, ставшая моей женой, а когда я вернулся, то у меня уже не было жены, и Подкольный переулок исчез из моей жизни. Лишь недавно, поехав ради этого очерка к черту на Кулижки, я обнаружил, что переулок спокойно существует, ничуть не озабоченный нашими взаимоотношениями. Похоже, это его ничуть не занимало. В доме, где мы встречались, оказался большой продовольственный магазин, я как-то не замечал его прежде, пошивочная мастерская, и она умела быть незримой, и, наконец, отделение АПН. Вот его-то действительно не существовало в ту далекую пору. Агентство, поглотившее квартиру отчима, добило меня. И, перефразировав слова пушкинского стихотворения, но без пушкинской грусти я сказал старому дому: «Прощай, приют любви, прощай!..»

Последняя пепрадь



А ЛЬВА ЖАЛКО...

РАССКАЗ

Давно это было, лет пятнадцать назад или около того, когда нас с женой пригласили на встречу с Чангом. Пригласили соседи по дачному поселку — Дружниковы. Сам Дружников — известный писатель, кинодраматург, его супруга — хранительница домашнего очага, а Чанг — лев, снимавшийся в фильмах Дружникова, к вящей славе для них обоих, а также хозяев Чанга — семьи Бедуиновых. Чанг, ручной, очеловечившийся лев, никогда не видевший пустыни, был равнодушен к славе, но наверняка радовался за своих хозяев, которых любил не меньше, чем Маугли — вырастившую его волчью стаю, и так же считал, что он с ними одной крови. Поэтому лев, еще молодой, но слабый здоровьем, малоподвижный и легко утомляющийся, покорно трясся в самодельном фургоне на съемки и безропотно отрабатывал бесконечные дубли. Не уверенный ни в себе, ни в операторе, ни в аппаратуре, ни в качестве пленки, режиссер заставлял Чанга страховки ради десять раз совершать один и тот же прыжок. Режиссер был мало сведущ в львиных повадках и считал прыжок наиболее характерной особенностью льва, выражением его сути, как, скажем, у кузнечика, лягушки или антилопы-импалы, и бедному Чангу приходилось без конца прыгать: на стол, на стул, на комод, на шкаф, на крышу автомобиля, в окно, из окна, через ограду, ручей, канаву, овраг. Он приседал, напрягая мышцы задних ног, отчего в крестец впивалось шило, отталкивался и приземлялся на большие, чуть искривленные от рождения передние лапы. Чанг родился рахитиком, дохляком, за что был обречен на уничтожение собственной матерью, стыдившейся и презиравшей этого недоделка, невесть с чего затесавшегося в великолепную шестерку ее первенцев. Новая — человеческая — мать Чанга буквально вырвала его из когтей отторгшей убогого сына львицы. Эта женщина — в медовом мурлыканье маленького Чанга, когда она ласкала его, звучало: «Урча, урча», и постепенно все стали так звать ее — не представляла, какую чудовищную обузу взяла на себя.

От автора: В основу рассказа положены действительные события. Но это не хроника, не документальная проза, а беллетристика, со всей присущей ей свободой вымысла.

Вырастить льва в домашних условиях дело вообще не простое. Особенно, когда домашние условия заключаются почти в полном отсутствии их: одна комната в деревянном домишке барачного типа, а в ней семья из четырех человек, не считая собаки. И жить предстояло на одну зарплату скромного служащего. Урча — будем и мы ее так называть — вынуждена была уйти с работы, чтобы целиком посвятить себя львенку. Тяготы усугублялись тем, что львенок был большим и слабым, он требовал повышенного внимания (впрочем, кто знает, сколько внимания требует здоровый львенок, выращиваемый в коммунальной квартире на условиях, так сказать, семейного подряда?), неусыпной пристальной заботы, лечения, включая массаж и гимнастику для лап. Льва надо было чистить, обрабатывать ему когти, расчесывать гриву (это уже позже, когда подрастет), поить и кормить по четкому распорядку. Но не стоит все это расписывать: уверен, ни один из моих читателей не возьмет льва на воспитание, особенно, если дочитает до конца эту печальную историю, так что не стоит корчить из себя старого львовода.

Трудности усугублялись соседями по дому, сразу возненавидевшими Чанга. Они пытались избавиться от него, подбрасывая ему булочку с бритвенным лезвием в мякише, крысиный яд, и бумажными голубями летели во все инстанции доносы на хозяев Чанга, испортивших им жизнь. Конечно, Чанг никому не мешал и никто его не боялся, просто людей томила тревога, вдруг диковинное предприятие Бедуиновых даст навар.

И все же, худо ли, хорошо ли семья справлялась с трудностями и, подчинив свою жизнь странному песочного цвета таинственному существу, стремительно растущему и как бы вытесняющему их из жизненного пространства, уверенно продвигалась к поставленной невесте кем и когда цели: вырастить посреди советской страны усилиями рядовой, ничем не взысканной семьи самого большого и грозного из всех африканских хищников. Зачем им это было нужно? А разве мы всегда знаем, почему выбираем те или иные пути? Конечно, в иных, не столь уж частых случаях, когда выбор происходит сознательно, продуманно, мы это знаем, но ведь куда чаще выбираем не мы, а дороги выбирают нас, и темны истоки человеческого предначертания к тому, что оказывается судьбой.

Возможно, указание пришло из бесконечной дали лет: какой-нибудь заблудившийся ген добрался до Урчи через поколения от того христианского мученика, которого пощадил лев на арене Колизея (эту легенду использовал Бернард Шоу в пьесе «Андрокл и лев») и превратил ее в опекуншу львов. Тогда наследственностью объясняется, почему четырехлетний Урчонок — сын Урчи, и семилетняя Урчона — ее дочь тоже оказались прирожденными укротителями. Они сразу установили с большим и опасным — сперва когтями, а там и пастью, быстро набравшей острых клыков в мягкую молочную пустоту — желтым котенком отношения

покровительственной, но строговатой дружбы, и царь зверей принял такой порядок вещей, хотя жалки и бессильны были перед ним дети человеческие.

Куда труднее объяснить, почему маленькая грязно-белая курчавая болонка Рип с огромными коричневыми подглезьями и закушенным розовым язычком тоже оказалась специалисткой по львам. Рип воспринял появление в доме огромного — для него крошки — носела как нечто само собой разумеющееся, хотя и обязывающее, и сразу стал на него полаивать и порывивать, но не от злобы, а помогая освоиться в новой среде. Малыш Рип сделал больше всех Урчей, вместе взятых, для адаптации львенка, и тот оплатил эту заботу преданностью и любовью. Впрочем, трудно сказать, кто в этой паре любил сильнее: Чанг, вырастая; становился все сдержаннее в проявлении чувств, даже к Рипу, а Рип, простая душа, любил в открытую, не таясь и не стесняясь. Казалось, любовь Рипа возрастает пропорционально росту Чанга. Малыш становился все требовательнее и нетерпимее к объекту своей любви: то и дело обтягивал его, даже покусывал за ноги, разумеется, для пользы Чанга, которую он один лишь знал, никого к нему не подпускал, особенно, если тот спал или подремывал. И лев ничуть не сердился на эту мелочную, докучную опеку, он охотно подчинялся Рипу, позволяя делать с собой что угодно. Рип расхаживал по нему, зарывался в гриву, спал у него под лапой — одно неосторожное движение и от собачонки осталось бы мокрое место, но такое движение было невозможно. Лишь однажды, в начале дружбы, Чанг проявил неосмотрительность в отношении Рипа. Он принялся вылизывать его своим шершавым, как наждак, языком и слизал всю шерстку на спине. А разнежившийся Рип даже не заметил, что облысел. Пристыженный Урчачи, Чанг понял, что нанес ущерб другу, и с тех пор стал тщательно соизмерять свою мощь с уязвимостью слабого существа. Он помог Рипу восстановить шерсть, нежно слюнявя ему спинку мягким подбоем языка.

Чанг, никогда не видевший пустыню и не слышавший рассказов матери, знал откуда-то, что такое пустыня, и, повзрослев, постоянно грезил о ней. Он видел ее такой, какой она и была на самом деле: желтые, в цвет его шкуры пески, когда недвижные, когда шевелящиеся, пересыпающиеся в себе самих, редкие колючки, бездонное, почти бесцветное небо. Видел он и свою послепоуденную гордую тень на песке. Ему хотелось туда, хотя он не мог взять с собой тех, кого любил, за исключением Рипа. Тот вписывался в пустыню не то крошечным шакаленком, не то крупной ящерицей, мгновенно исчезающей в песке.

Мы забыли еще об одном члене семьи, приютившей Чанга, а ведь это он зарабатывал всем на прокорм — об Урче. Он спокойно, хотя и с симпатией относился к льву. Урч принадлежал к какой-то странной, редкой кавказской народности, почти вымершей, и привечал лишь тех, с кем можно составить застолье, часами

пить сухое грузинское вино. Чанг в рот не брал вина и потому был ему без интереса. Но когда Урч замечал Чанга, в светло-карих шальных глазах его зажигался теплый огонек. Чанг платил Урчу благожелательным равнодушием, но не дал бы его в обиду, поскольку от Урча шел семейный запах.

На зарплату счетовода Бедуинов не смог бы прокормить собственного глиста, не то что семью из шести человек, один из которых лев. Но он чуть не каждый вечер, независимо от того, было ли застолье или нет, играл в нарды по-крупному и всегда выигрывал. Любопытно, что после застолья он играл еще лучше. И опытные игроки предупреждали новичков: сегодня с Бедуиновым не садитесь, он выпил шесть бутылок кахетинского. Но те все равно садились — уж больно велик был соблазн обчистить шатающегося и орущего песни задавалу, и уходили с пустым карманом.

Чанг жил в своем очарованном печальном мире, где всегда недоставало чего-то самого главного; в младенчестве чувство недосягаемости было обращено к матери, из которой он пил молоко, бессильно толкаясь с братьями и сестрами — ему неизменно доставались почти опустошенные сосцы; на новом месте, когда он подрос и вкус мяса вытеснил память о материнском молоке, тоска недосягаемости обрела образ пустыни.

Тоска, когда с нею сживаешься, уже не доставляет страдания, становится окраской жизни, в которой есть место хорошему, радостному. И у Чанга были свои скромные радости: возня с Урчонком, хлопотливые пристаивания Рипа, его беспокойный сон в Чанговой гриве, когда он тяфкал, рычал, сучил лапками, продолжая нести службу охраны, ежедневные прогулки по двору на поводке, который с гордым видом сжимали в кулачке Урчонки и Урчона, а еще была хорошая порция мяса, вскорке замененного фаршем — у него стали шататься и сыпаться зубы.

Были и занятия докучные, раздражающие: чистка шерсти, расчесывание гривы, подтачивание когтей, росших криво и впивающихся в мясо, промывание глаз, осмотр ушей и зубов. Всем этим ведала Урча, но Чанг был настолько великодушен, что прощал ей все вины, не понимая одного: зачем доброму человеку нужно его мучить.

Прошли годы, и нелегкая жизнь семьи озарилась добрым светом. Урча написала книгу о Чанге, прошумевшую на весь мир. В книге живо и трогательно была поведана история Чанга от горестного младенчества, едва не кончившегося смертью под тяжелой лапой матери, до последних дней, когда Чанг стал большим, могучим и безмерно добрым зверем, ручным, как домашняя кошка или собака. Урча рассказала о его привычках, повадках, времяпрепровождении, о дружбе с детьми и Рипом. Переведенную чуть не на все существующие языки книжку заметили наконец и в Москве. Конечно, о ней знали, но не было указания сверху, как относиться к самовольному, не санкционированному никем по-

ступку семьи. Быть может, не стоит ориентировать народ на домашнее воспитание львов? Но сейчас последовал благосклонный кивок сверху, и навалом пошли восторженные статьи о смелом эксперименте выращивания льва в тепличных условиях — тот факт, что эксперимент ставился на шестнадцати квадратных метрах, авторы стыдливо умалчивали, но всячески подчеркивали, что такое могло произойти только в советской стране, исповедующей принципы социалистического гуманизма и интернационализма. В результате стали сбываться дурные предчувствия соседей.

Бедуиновым отдали вторую комнату в их барачной квартире, выселив оттуда какого-то бомжа, не имевшего прописки. Он и прежде редко навещал свое незаконное жилье, а Чанг вовсе отучил запуганного бродягу от гнезда кукушки. В эту комнату переехали со своими кошмами дети, Рип и Чанг и свободно разместились в лишенном мебели пространстве. Кроме того, Чангу выделили для прогулок участок на задах дома, огородив железной сеткой и лишив соседей повода к скандалам, и, наконец, его поставили на пайковое довольствие старых большевиков. Он стал получать, помимо мяса, консервы, докторскую колбасу, печенье пти-фур, сигареты «Прима» и по праздникам бутылку «Столичной».

В дом повадились газетчики, Чанга много фотографировали, чего он не любил из-за пугающей его вспышки, наведальсь и телевидение, а затем наступила очередь кино. Оно появилось без аппаратуры и без всякой помпы в образе эlegantного пожилого мужчины с загорелой лысиной и седыми висками, отрекомендовавшимся писателем и сценаристом. Он ошеломил Урчу потрясающим предложением. Да что там предложением, то был пятилетний план артистической деятельности Чанга, включающий два полнометражных фильма, один трехсерийный телевизионный, хроникальную короткометражку «Чанг в кругу семьи» и рекламный ролик. В хронике и рекламе предлагалось сняться всей семье Бедуиновых, а в телевизионном сериале были неплохие роли для Урчонка и Урчоны и даже Рипа. Два сценария уже готовы, Бедуиновы могут ознакомиться с ними, есть и проекты договоров. Эта деловитость, столь не вяжущаяся с образом свободного художника, и то, что, представляясь, он назвал лишь имя-отчество без фамилии, насторожили Урчу. Она начала плести ахиною: мол, не может ничего решить, не посоветовавшись с мужем (то был день кахетинского и нардов), да и Чанга надо спросить, хочет ли он стать артистом, он ведь домосед, скромник, к тому же слабенький — лапки побаливают, зубочки выпали, жует, как старичок, мяконецкое, промолотое любит, а на съемках, кто его обеспечит? Ей самой был противен этот сюсюкающий тон, но она словно защищалась им от нахрапистого незнакомца.

— Мы обеспечим, — спокойно ответил безымянный автор и выложил на стол пачку договорных бланков. — Здесь будут зафиксированы все условия содержания, кормежки, медицинского

обслуживания, ухода. Разумеется, вы и ваш муж, если он захочет, будете включены в договор как сопровождающие лица. Точнее, как дрессировщики, укротители.

— Об этом тоже надо подумать, товарищ... ой, забыла вашу фамилию.

Писатель улыбнулся, поняв ее игру, он отлично помнил, что фамилии своей не называл. У него вообще была отменная память, не только художественная, но и деловая, а не назвал он себя из деликатности, чтобы не оглушить милую провинциальную женщину. Но сейчас он открылся.

— Как? — переспросила она.

— Вы меня не читали? — улыбка стала натянутой.

— К стыду своему... — начала женщина. — Читала!.. — вскричала она радостно, не заметив обидности разорванной фразы. — «Вова на катке» ваш рассказик? У дочки в хрестоматии видела.

— Ну, это не единственный мой хрестоматийный рассказ, — прозвучало неловко и хвастливо, но он не оправился от потрясения.

Недоразумение возникло оттого, что фамилия у него была самая расхожая, незвучная и лишь в сочетании с именем обретала гулкость бронзы.

На другой день Бедуинова пошла в детскую библиотеку и с ужасом обнаружила, до чего же она темная дура. Писатель был один из основоположников, лауреат Государственных премий, заслуженный деятель искусства, член-корреспондент Академии педагогических наук, председатель отроческого фонда стран Азии и Африки...

И началась у Чанга и всех Урчей новая жизнь. Счастливая? Если говорить об Урче — он ушел с работы и сопутствовал Чангу в качестве укротителя — то наисчастливейшая, ибо теперь застолье было каждый вечер, хотя порой без кахетинского и других грузинских вин. Но Урч оказался ценителем не только коньяка или столичной, а и более грубых напитков вроде кубанской или бормотона. В киноэкспедициях бывали всякие обстоятельства — и светлые и темные, но пили при любой погоде. Урч обучил собутельников играть в нарды, а за науку, как известно, платят, хотя, по совести, он уже не нуждался в приработке. Счастлива была и Урча — и за Чанга, ставшего знаменитым, и за себя, наконец-то полно реализующую свои возможности. Она поднаторела в интервью, в радио- и телевиступлениях, завела множество интересных знакомств, научилась ухищрениям косметики, стала модно одеваться и вдруг обнаружила, что она привлекательная женщина, безотказно действующая на мужчин. Счастливы были и дети — они по месяцам прогуливали школу, к тому же кино — это так захватывающе!.. Счастлив был и Рип, ему прибавилось хлопот по охране Чанга, но в том и состоял смысл его земного существования. Он так налаивался за день, что к вечеру вовсе терял голос, а

в сон проваливался, как в смерть, что пугало Чанга, и он несколько раз проверял ночью, дышит ли его маленький друг.

Чанг был несчастлив. Ему тяжело давались переезды в пикапе с надстроенным фанерным домиком и зарешеченным окошком, было душно, тряско, тесно, его укачивало. Если б не поддержка Рипа, отвлекавшего от грустных мыслей и дурного самочувствия, он бы не выдержал. Плохо действовало и нерегулярное кормление и жажда по утрам и к вечеру, которую он зачастую не мог утолить.

Но еще хуже было на съемках: резкий, обжигающий глаза свет софитов, от которого никуда не деться, разил даже сквозь сомкнутые веки; когда же он наконец погасал, в глаза вплескивалась ночь, а в ней зажигалась спящая точка. Эта точка, то неподвижная, то медленно наискосок пересекающая тьму, то судорожно мечущаяся, прожигала мозг. А еще его доканывали прыжки. Как болел крестец и передние искривленные рахитом лапы! Его удивляло, что Урчи позволяют так издеваться над ним. Большие Урчи почти не подходили к нему на съемках, делая вид, будто они не догадываются о его муках. Маленькие и впрямь не догадывались — им было весело, уповательно интересно, а бедняга Рип видел свою единственную задачу в том, чтобы облаивать всех, кто приближался к Чангу. Иногда Чангу казалось, что Рип подозревает неладное, — поднявшись на задние лапки, он облизывал нос прилгшему Чангу с такой щемящей старательностью, словно от его быстрого нежного язычка зависела жизнь друга. Чангу хотелось ответить Рипу той же лаской, показать, что он понимает и ценит его жалкие усилия, но он не решался, помня о том, как облысел Рип от его дружеского поцелуя.

Чанг не жаловался, а ведь жаловаться можно не только презренным скулежом, но и естественно неловкой поступью, разлаженностью движений, утомленной позой. Но он был лев, и это обязывало всегда сохранять осанку, гордый вид, оставаться царем вопреки всему. И ослепленный, преследуемый сверлящей мозг точкой, наломанный, измученный Чанг важно и прямо держал голову, делая вид, что вглядывается поверх голов окружающих в недоступную им даль. Напрыгавшийся на съемках до онемения позвоночника, он заставлял себя мягким прыжком вскакивать в пикап, хотя мог бы, пошатываясь, подняться по сходням. И когда он опускался на землю, то не укладывался на бок, что было удобнее его наломанному телу, а сохранял красивую напряженную позу сторожевого мраморного льва, с высоко поднятой головой и чуть прихмуренными глазами, зорко обозревавшими окрестность. Он должен был не ронять своего рода, не ронять пустыни, чего бы ни стоило.

А пустыню свою он почти потерял. Для нее нужны не минуты, а долгие часы покоя и сосредоточенности, чтобы ушла внешняя и внутренняя суета, стало свободно и безмолвно, тогда распахнется пространство в застывших волнах песка и чуть различимый горь-

коватый запах других существ, населяющих мир, затревожит ноздри. К ночи он так уставал, что засыпал раньше, чем являлось видение. Жизнь стала плоской и утомительно беспокойной. Чанг все сильнее привязывался к Рипу, утрачивая другую свою великую привязанность — к Урчонку. В мальчишке появились неприятные черты: он любил показать себя хозяином льва — прикрикивал, иногда замахивался и даже шлепал ладонью по спине, чего Чанг почти не ошущал, но сознавал как нечто унижающее. Он не позволял себе огрызаться, даже подыгрывал дурачку, что слушается его, но прежний мальчик, простой и ласковый, был лучше.

Тихих минут Чангу хватало лишь на то, чтобы вспомнить, как он лежал на драной кошме в их старом доме или на траве во дворе и грезил о пустыне. И вообще, та спокойная, размеренная жизнь вспоминалась ему как счастье. Но он не разрешал себе показывать окружающим, как ему плохо. Лишь умилительная котячьность, что так долго сохранялась в большом взрослом звере, оставила его, он стал угрюм и царствен, и это делало его еще фотогеничнее. Киношники прямо-таки помешались на Чанге, планируя все новые и новые фильмы с его участием. Большой, чудом отобранный у смерти лев, выращенный энтузиазмом и любовью странных, не от мира сего людей, становился героем пошлой кинематографической чангианы, привлекавшей интересы многих деловых людей.

...Его привезли на дачу к самому обеду. Можно было въехать на участок, но пикап остановился у калитки, одарив прогуливающихся по аллее редким зрелищем. Отпахнулась задняя дверца фанерного домика, встроенного в кузов пикапа, на землю ловко спустился мальчонка лет семи, к нему на руки прыгнула кудлатая болонка, затем мощным мягким прыжком на землю опустился настоящий лев.

Из калитки высыпала группа людей. Они смеялись и хлопали в ладоши, ничуть не опасаясь льва. Они стали шпалерами от пикапа к калитке, и лев двинулся по образовавшемуся коридору. Над калиткой был прикреплен плакат с броской надписью: «Добро пожаловать, Чанг!»

Лев вскинул голову и внимательно посмотрел на приветствие. Задние ноги его чуть подогнулись, и он принялся мощно, как из брандспойта, мочиться. Желтая влага растекалась по желобам и морщинам земли, потом струи слились в поток, устремившийся к ногам встречающих, обратив их в паническое бегство. Чанг пружинно вытолкнул последние капли, распрямился и величественно прошествовал на участок.

Гости, толкаясь, поспешили за ним. Лев направился к купам берез, выбрал освещенный солнцем пятачок и улегся, раза два зевнул, показав гнилушки испорченных зубов, и смежил веки. Тут же к нему скакнул Рип и устроился в ущелье меж толстых лап; из-под грязноватых кудряшек сверкали охраняющие глаза. А в гриву Чанга зарылся Урчонок, вызвав стремительный прорыв из

толпы гостей увешенной аппаратами фотокорреспондентки. Она собиралась заняться съемкой позже, но ведь нельзя же пропустить такой кадр. Мальчонка, видать, многому научился за свои кинематографические дни. Делая вид, что не замечает упражненный толстой фототетки, он принимал самые картинные позы, то разваливался на спине Чанга, то садился верхом.

Гости млели в первом, каком-то неуверенном восторге, соревнуясь в банальностях. Впечатление было такое, что большинство считало льва фикцией, предлогом для встречи. Знаете, как приглашают: «Приходите, будет Пугачева», «Приходите, нас посмешит Хазанов», «Приходите и не падайте в обморок — мы ждем Паваротти». Попробуй не откликнуться, хотя каждому ясно: в последний момент досадное недоразумение помешает приезду суперзвезды, но все равно останется чувство эфемерного соприкосновения с прекрасным, некий эстетический навар. А сейчас Хазанов-Пугачева-Паваротти явился, он лежал посреди сада, свободный, никем не охраняемый, грозный царь пустыни, символ той могучей силы, имя которой природа, чьи последние бастионы разрушает человек, дабы прекратить жизнь во вселенной.

Мы с женой попали на торжественный обед, посвященный Чангу, как я понимаю, случайно. Мы были в добрых отношениях с хозяевами, но ни визитами, ни праздничными открытками не обменивались. Откуда-то стало известно, что цель встречи вовсе не рекламная — это походка, а гуманная: помочь Чангу. Живущий в нашем поселке крупный номенклатурный работник, в прошлом сталинский волевой министр и сейчас тоже почти министр, но в более либеральном духе, пригласил на встречу одного из столпов режима, всеильного в мире материальных ценностей Ивана Ивановича Бабеньшева — назовем его условным именем, ибо великий человек жив и может схватить нас за руку, если что окажется не так. Странное дело: участвуя бесконечно долго и старательно в разрушении страны, он чувствует себя в полной защищенности, безгрешно и улыбочиво рассыпает интервью и даже консультирует кооперативную фирму, которую не остерег его плачевный опыт в масштабе государства.

Он должен был обеспечить Чанга новой квартирой, спецпайком на уровне республиканской высшей номенклатуры, мини-автобусом «рафиком» и местом на морском пляже — город Чанга находился на одном из исчезающих морей.

Кто-то пронюхал, что великий человек не считает эти требования чрезмерными и даже сказал с присущим ему добрым юмором «Нас много, а Чанг один. Создадим ему условия». Сейчас требовалось одно, чтобы он почувствовал поддержку писательской общественности, творческой интеллигенции. Зачем это было нужно человеку, который распорядился экономикой всей страны, непонятно. Но и на вершине власти идут свои таинственные игры. Он мог свободно оставить без горячего целую республику, лишить угля металлургию Урала, это никого не волновало, но за лишней

килограмм костей Чангу грозил «вызов на ковер». Этот изящный оборот административного словотворчества неизменно вызывает в моем воображении дореволюционный цирк и того, «кто получает пощечины» — коверного клоуна с красной бульбой носа, в рыжем парике, пестрых штанах и громадных ботинках. Его бьют все, кому не лень, он падает бульбой в ковер, в пропахшие зверьевой мочой опилки арены, в вытертый бархат барьера. Мне казалось, что сходным образом поступают с провинившимся чиновником. Бабенышев хотел помочь Чангу, но так, чтобы не расплачиваться за свой гуманизм пощечинами, вот он и решил подкрепить писательским авторитетом. Предположим, вызовут его на ковер:

— Ты что, сволочь такая, кости разбазариваешь? — накинет-ся Генсек.

А он эдак с улыбочкой:

— Писательская общественность потребовала, хе-хе! Куда деваться? — и разведет беспомощно руками.

И Генсек, поласкав ладошкой профиль Ленина на золотой лауреатской медали, вспомнит, что он сам из этих проказников, и промурлыкает хитровато:

— Да-а, с писателями лучше не связываться. Мы такие!..

И отпустит с ковра на пол, к вящей злобе Главного идеолога, которому вечно не хватает крови.

Конечно, нужно было создать достойное окружение Бабенышеву, но с этим оказались сложности. Наших знаменитых поэтов хозяин решил не звать, ибо понимал, что вечер Чанга неизбежно превратится в вечер Антокольского или Кирсанова, или другого витии, умеющего слушать лишь самого себя. Из прозаических первачей двое на дух не переносили хозяина дома и были слишком эгоистичны, чтобы поступиться своей ненавистью ради льва, третий же был так упоен собственным величием, что само предложение участвовать в застолье, где ему отводилось третье место (после Бабенышева и льва), почел бы смертельным оскорблением.

Но оставался главный, сверхведущий, хотя и малость пощипанный в неуважительные времена хрущевской оттепели, но все равно самый близкий и желанный любому начальству — Константин Симонов, и он милостиво согласился прийти. Я знал, что он надует. Симонов никогда не подписывал коллективных заявлений и никогда не участвовал в несанкционированных мероприятиях. Даже присутствие промышленного босса не возносило в чин дозволенного наше экстравагантное сборище. Не было должной серьезности ни в поведении, ни в герое встречи — выпущенном на волю и расконвоированном льве. Если перевести в слова смутные опасения перестраховщика, получится следующее: да, его выпустили из клетки, но не реабилитировали официально, и вообще, все, что с ним творят, сплошная самодеятельность, своеволие, несогласованность, неуказанность, кто знает, как на это посмотрят там. И компания не

проверенная, смешанная — с бора по сосенке, и зачем после добровольной среднеазиатской ссылки, когда дела опять пошли в гору, ставить себя под удар из-за какого-то паршивого льва? Константин Михайлович был физически храбрым человеком: спокойно оставался на НП полка во время боя, летал на военных самолетах, не терял головы под бомбежкой и артобстрелом, первым вбегал на разминированное поле, но в общественном смысле отличался крайней робостью и законопослушанием.

Я сказал хозяину дома: «Симонов не придет». Тот побледнел: «Он обещал, подождем еще». «Напрасно. Борщ остынет». Он поглядел на меня ранеными глазами и побежал на кухню советовать с женой.

И все-таки, в глубине души, он был готов к тому, что Симонов не придет. Я был приглашен на подмену, как и два других писателя из нашего поселка. Один из них пользовался славой на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов, потом вдруг исчез из литературы. Как потом выяснилось, он не хотел приспособливаться и писал в стол. Гласность рассекретила два его талантливых романа, созданных в самоизоляции. Но ведь и гениальный «Чевенгур» не сработал на ту мощност, которая была в него заложена в пору создания. Литература, увы, живет по правилу: дорога ложка к обеду. Другой писатель тоже знал успех — и романский, и драматургический, но было бы преувеличением сказать, что его слава легла «на стекла вечности». За моими плечами истаивал шум, поднятый «Председателем», но фильм давно сошел и, кроме того, никогда не нравился начальству. Все мы были доярками-подменщицами. Можно найти более величественный образ. Когда в бою под Эслингом пал Ланн — едва ли не самый крупный наполеоновский маршал, это высшее воинское звание было присвоено Мармону, Макдональду и Груши. Армейские остряки шутили: это та мелочь, на которую разменяли одного Ланна. Мы были той мелочью, на которую разменяли одного Симонова.

Ничего не попишешь, опера пошла со вторым составом. Застолье скрашивала россыпь писательских вдов, какие-то юные приживалки и представительницы прессы в расцвете лет. Слава богу, лев не вызывал никаких сомнений. Правда, о нем как-то подзабыли в разбеге застолья.

А он и не претендовал на внимание. Стоило откинуться и глянуть за спины пирующих, в окне, между цветочными горшками, можно было углядеть желтое пятно, над которым мелькал желтый жгут с кистью. Чанг отмахивал хвостом слепней. А ведь он, действительно, совершенно свободен, — мелькнуло испуганно, с какой-то темной замирающей надеждой. Ничто не мешает ему прийти сюда и перепластать нас всех своей могучей лапой. И это будет справедливо, хотя мы собрались тут выбить для него паек, машину, добавочные квадратные метры и клочок морского берега. Но стоило бы посчитаться с нами за киносъемки, телевидение, рекламу, за всю кутерьму вокруг печальной львиной тишины.

После того как мы выпили за Бабенышева с супругой, за министра с супругой (у таких людей жен не бывает, только супруги), за Бедуиновых, за хозяина и хозяйку, настал черед выпить за здоровье Чанга. Это послужило переходом к главной части праздника — Урча начала свой рассказ о воспитаннике семьи.

Наверное, она щедро черпала из своей книги, которую никто, кроме хозяина, не читал, возможно, она это уже не раз рассказывала в разных аудиториях, но все равно, артистически номер был выполнен на высшем уровне. В конце концов, все талантливые эстрадники, работающие в разговорном жанре, не являются импровизаторами, говорят чужой текст, что не мешает слушателям переживать, радоваться или печалиться, плакать или смеяться. Когда она говорила о том, каким жалким уродцем уродился Чанг, в глазах ее заблестали слезы, и верю, что она вкладывала в свои слова истинное переживание. Когда она рассказывала, как мать-львица хотела его уничтожить и уже подняла над маленьким тельцем страшную лапу, слезы выкатились на побледневшие щеки. Послышался влажный всхлеб, звякнули сережки жены министра, так резко наклонила она голову. Я посмотрел на жесткое, ограниченное эпохой и зловещей близостью к пику власти лицо ее мужа — глаза воспалены, хрящеватый нос странно дергается — он плачет.

Не оставалось сухих глаз за столом, но никто не плакал так истово, как Бабенышев: навзрыд, всем своим широченным размятым лицом, по-крестьянски громко и открыто.

Мне вспомнилась история, случившаяся с ним недавно в Японии. Это был один из тех вояжей, которые по идее должны принести нам неслыханную промышленную выгоду, но неизменно кончаются пшиком по самым разным и непредсказуемым причинам. То мы вдруг разрываем договор (хладнокровно уплатив чудовищную неустойку), потому что премьер-министру страны-партнера нравится «Доктор Живаго», или он имел неосторожность принять израильского лидера. Станным образом эта политическая чувствительность сочетается с предельной терпимостью в отношениях с наиболее страшными режимами. Массовое истребление коммунистов в Ираке не повлияло на преданную дружбу нашу, мы единственная страна, оставшаяся до конца верной людоеду Иди Амину, которому на ужин готовили членов его кабинета.

Во время протокольного братания с трудолюбивым японским народом (все народы трудолюбивы, все армии непобедимы) какой-то безумец-патриот пронзил грудь Бабенышева картонным мечом, выразив тем самым протест против аннексии Курильских островов. Со времен блоковского «Балаганчика» известно, что пронзенный картонным мечом исходит клюквенным соком. Но даже капельки алой не выступило на белейшей рубашке советского посланца, нанизанного на поддельный самурайский меч. В Японии распространился слух, что он робот и что роботы управляют гигантской страной, раскинувшейся от Атлантического до

Тихого океана. И это, мол, многое объясняет в тайне внешней политики Советского Союза, в тупом и вредоносном нежелании сверхдержавы расстаться с несколькими незаконно присвоенными крупницами чужой земли.

Какая чушь! Разве бывают рыдающие роботы? Добрый, теплый русский человек, исполненный глубокого сострадания к малым мира сего. Да будь его воля, он бы давным-давно отдал япошкам Курилы.

— Ну вот, — прозвучали последние слова Урчи, — все горести остались позади. Чанг выздоровел, вырос, стал большим, красивым, добрым зверем. Нет, не зверем! — оборвала она себя почти гневно. — А членом нашей семьи.

— Членом всей нашей советской семьи, — поправил хозяин дома.

— Всё вы хорошо говорили, — утирая красные глаза, но сурово произнес министр, — а под конец слицемерили. Не остались трудности позади. Неужели ваши жилищные условия достойны льва? А страшная повозка, в которой Чанг задыхается? А то, что он, обитая на море, не может окунуться после трудового дня? А с питанием у него все в порядке? Получает ли он достаточно белков и углеводов? Чанг выращен вами, честь вам и хвала, но он принадлежит державе и обществу.

Чета Бедуиновых повесила головы под градом справедливых упреков. Высокий гость перестал сочиться, а на широком круглом лице его появилось хитроватое выражение. Он понял, что это подступ к просьбам. Да нет, все было заранее обговорено, иначе он просто не поехал бы сюда. А хитроватый прищур — игра: он притворялся смекалистым мужичком, сразу почувывшим, откуда ветер дует. Потом в писательской среде будут долго пережевывать подробности и тонкости его поведения. И Бабенышеву не откажешь в артистизме. Судьбою Чанга распорядились артистичные натуры.

Включилась еще одна артистка — хозяйка дома с миловидным кукольным лицом и лянными волосами. Округлив васильковые глаза и смяв жалобной гримаской рот, она сказала каким-то древним голосом:

— Давайте поклонимся в ножки нашему благодетелю и попросим всем миром за Чанга.

Она отвесила земной поклон Бабенышеву, коснувшись рукой пола.

— Какая женщина! — горячо дыхнул мне в ухо сидящий рядом Бедуинов.

— Советская власть не обеднеет, если поможет льву, — резко сказал министр, последовательно ведя партию суровой, чуть зашоренной принципиальности.

— Надоть, надоть помочь львенку! — нарочито простонародным говором пропел Бабенышев и вдруг сменил тон. — Большое патриотическое дело сделали вы для страны, товарищи Бедуиновы.

Ваш эксперимент обогащает науку. И важно, что он поставлен именно у вас. Вопросы с жилплощадью, питанием, транспортом, оздоровительным моционом подняты своевременно. Я попрошу Омара Стихивича, думаю, что он мне не откажет.

— Вам отказать! Кто может вам отказать? — вскричала хозяйка, словно безотказность республиканских руководителей в отношении Бабенышева коренилась в его личном обаянии, а не в том, что он распоряжается всеми промышленными ресурсами.

Можно было не сомневаться — если даже Омар Стихивич принципиальный противник выращивания одного отдельно взятого льва в условиях одной отдельно взятой семьи, он не откажет такому просителю, как Бабенышев.

Все захлопали, а хозяйка кинулась к Бабенышеву и поцеловала его в лысину.

— Какая женщина! — вскричал Бедуинов и железной рукой, будто клешней, впился мне в колено.

Застолье развалилось. Проблема с Чангом была решена, и у гостей оказалось много частных интересов, не имеющих отношения к главной теме. Бедуинов обцеловывал руки хозяйке, якобы в порыве благодарности. Приживалки шушукались, хихикая. Фоторепортер перезаряжала «лейку» в мешке. Писательские вдовы пытались вовлечь в свой щебет номенклатурных дам. Бабенышев и хозяин пошли проведать Чанга. Я потащился за ними.

По мере того как мы подходили к Чангу, шаги непроизвольно замедлялись. Лежащий посреди сада, на солнечной поляночке, лениво и холодно жмурящийся лев внушал трепет. Вдруг из его гривы с захлебистым лаем выскочил Рип. Лев будто лишь сейчас обнаружил наше присутствие и медленно повернул голову.

— Не разорвет? — спросил Бабенышев.

— Ну, что вы! — чуть фальшиво вскинулся хозяин. — Чанг добрый, Чанг умница! — завел он льстивым голосом.

Бабенышев внимательно поглядел на него.

— Я не о Чанге.

— Ах, Рип!.. Замолчи, негодник!.. Иди к дяде на ручки!..

Рип тяфкнул на него персонально, презрительно отвернулся и лег между лап Чанга. Моторчик внутри него вырабатывал бесконечно «Х-р-р-р!»

Подошла фотокорреспондентка и стала общелкивать нас на фоне Чанга.

Завершился вечер, как полагается, танцами. Бабенышевы убили, министр с женой последовали их примеру, и все раскрепостились. Хозяйка поплыла в русской, а Бедуинов носился вокруг нее с фруктовым ножом в руке и хрипло кричал: «Осса!» Он казался себе джигитом.

Урча углубилась в разговор со смазливим администратором киногруппы, который уговаривал взять его в качестве помощника укротителя. Она смеялась русалочьим смехом. Появилось много непонятного народа. Откуда взялись все эти люди? На кухне их,

что ли, держали до отъезда чистой публики? Тут были второстепенные киношники из съемочной группы, соседи, недопущенные к столу, просто уличные прохожие, посчитавшие явление льва началом эры вседозволенности. Новые гости вели себя очень раскованно, хватали со стола закуску, дохлебывали водку и вино. Хозяева не возражали. Одержанная победа располагала к благодушию.

Поддавшись общей бесшабашности, Урчата носились по саду, орали, пели, кочевряжились, а за ними с сердитым лаем едва поспевал Рип, которого их поведение явно шокировало.

И величаво, безучастный к человеческим радостям, человеческой корысти, игре бурных и тайных страстей, лежал в солнечном пятне Чанг. И вдруг по сердцу полоснуло: до чего же он беззащитен!..

Помните кинохронику: посещение Н. С. Хрущевым и Н. А. Булганиным английской королевы? Незабываемые кадры! Они были во фраках, при пластронах и в цилиндрах. Кошмар всей жизни Булганина — его дворянское происхождение. Статный по природе и воспитанию, он сутулился, гнулся в каких-то любезных до приниженности полупоклонах, ничего не помогало: порода брала свое. Не помогало и то, что по мере его возвышения социальное происхождение угодного Сталину аристократа неуклонно понижалось. Это можно проследить по энциклопедиям и справочникам: сын железнодорожного инженера (на самом деле его отец принадлежал к начальствующему составу) превратился в выходца из рабочей семьи, с намеком, что он увидел свет в депо. Но все равно, он оставался слишком отличным от окружающих его лапотных людей и тосковал. Его благообразное лицо было исполнено вечной грусти. И вот пришлось надеть фрак и цилиндр, и порода, неведомо для него самого, поперла наружу. Как шел цилиндр к его седым волосам и остроконечной бородке, как дивно обтягивал фрак аристократический костяк, как веяло благородством от каждого движения, жеста, поворота. И до чего же неправдоподобно смешон был рядом с ним Никита Сергеевич! Если натянуть цилиндр на голую задницу, она не будет столь комична и нелепа, как блинообразная физиономия с оттопыренными и загнутыми полями цилиндра ушами. Остальной структурой Никита Сергеевич напоминал беременного пингвина. Видимо, ощущая свою неполноценность, Хрущев в беседе с английской королевой был поначалу непривычно суетлив и не уверен в себе. Это видно с экрана. А вот что рассказывали очевидцы высокой встречи. Поддавшись по обыкновению бесу словоблудия, Никита Сергеевич все время искал поддержки у своего элегантно и столь уместного во дворце спутника:

— Ваше Величество, — говорил Никита Сергеевич, прижимая руки к пластрону, — вот Николай Александрович не даст мне сорвать.

— Почему он все время ссылаясь на этого красивого и молча-

ливого человека? — удивлялась после аудиенции королева — Они что там у себя врут на каждом шагу?

Так вот, я воспользуюсь ораторским приемом Никиты Сергеевича: жена не даст мне соврать, что перед уходом из гостеприимного дома я сказал:

— Это добром не кончится.

— Что ты имеешь в виду?

— Не знаю. Но сейчас завязывается что-то ужасное.

— Пить надо меньше, — сказала жена.

Но уже через два дня она вспомнила мои вещие слова. Позвонила хозяйка дома, где мы гуляли, и сказала рыдая:

— Чанга убили.

...Для временного проживания семьи и льва студия сняла часть пустующей в летние каникулы школы на тихой зеленой улице, неподалеку от «Мосфильма». Льву отвели просторный физкультурный зал на первом этаже, семья разместилась в классах над ним. Это случилось во время обеда. Потрясение от триумфального вечера, великодушия Бабенышева и дарованных благ не только не прошло, но вылилось в блаженную эйфорию, когда мир становится прекрасен и сказочен, а ночное небо — в алмазах. На обеде присутствовала вся семья и ближайшие друзья из киногруппы. Ждали хозяйку. Бедуинов то и дело бегал звонить в учительскую. Хозяйка отделялась смутными обещаниями вырваться. Она не любила пьяных застолий, если они не служили великой цели, к тому же догадывалась о кавалерственных намерениях горца и не хотела их поощрять. Слушая хриплый взволнованный голос, она закатывала кукольные глаза и отвечала заманчиво-обещающим, таинственным голосом:

— Стараюсь, Джани, стараюсь...

Вешала трубку и тут же выбрасывала из головы настойчивого кавалера — до нового звонка. Она была неутомима в служении мужу и семье, готова все сделать для Чанга, на чьих упругих ребрах держалось благополучие торгового дома, но не собиралась ради этого принимать ухаживания неистового джигита. Предчувствие беды не проникло в спокойно дышащую грудь. Что бы ей приехаты!..

Бедуинов скрипел зубами, возвращался к столу, опустошал рюк пенного вина, пел горскую песню о соколе, потерявшем подругу, и тут радость вновь охватывала его неиссушенную долгой унылой жизнью душу, он сажал дочь на закорки и скакал по классу, дразнил жену, продолжающую тихие переговоры со смазливый администратором, метящим во вторые укротители, и праздник звенел дальше.

О льве все забыли. Впервые с тех пор как маленькое желтое тело, завернутое в одеяло, оказалось в доме. Он всегда был тем центром, вокруг которого вращалась жизнь семьи. Но герои устали от вечного напряжения и устроили перекур.

Чанг лежал в физкультурном зале, доверяющим старой дев-

инфекцией, ножным потом и летней пылью. Зал был пуст, если не считать сваленных в углу пыльных матов, шведской стенки и коня с ободранной дерматиновой шкурой. Лев скучал, иногда чихал от пыли и не мог взять в толк, почему его все покинули, даже вечный страж Рип. А бедняге Рипу сказочно повезло, впервые в жизни он получил сахарную косточку, и перед таким даром не устояло его преданное сердце. Жалким зубишкам не совладать было с крепким мослом, но даже притворяться, что ты грызешь — что может быть упоительнее? И он мусолил, покусывал кость, скреб ее клычками, волтузил по полу, чуть все зубишки не обломал, и был счастлив древним собачьим счастьем. И все же, Рип вспомнил о Чанге, выбрался, спотыкаясь, с костью в коридор, чтоб не украли, и со всех ног помчался в физкультурный зал. Чанг лежал спокойно и глядел в окно. Рипа он даже не заметил. Тот вернулся к кости, из последних силенок втащил ее в класс — чувство признательности требовало расправляться с ней на глазах щедрых дарителей.

Чанг мог бы и сам навестить пирующих, но он не выносил запаха спиртного. По этой причине он несколько охладел к Урчам, ведь даже Урчатам давали пригубить сладкой хванчкары. К тому же он на дух не терпел киношников, даже если от них не пахло сивухой, что случалось редко. Они были слишком шумны и размашисты для сдержанного, воспитанного льва.

Чанг предпочитал одиночество. Пустыня не возвращалась в эти первые тихие дни после отъезда из дома. Пространство зала источало сильные и недружественные запахи, немногочисленные предметы, находившиеся в нем, были чужды и непонятны.

Лев с усилием поднялся, перетерпел короткую боль в крестце, потянулся и подошел к окну.

То, что он увидел оттуда, заинтересовало его: через решетчатую ограду, окружающую школьный участок, перелезал парень в полосатой рубашке. Полосы были продольные — черные и белые; какой-то генетической памятью Чанг вспомнил зебру, которой никогда не видал, поскольку не посещал ни цирка, ни зоопарка. Полосатый визитер привлек его некой прародностью. Он мотнул головой и ненароком толкнул раму. Окно отворилось.

Парень спрыгнул на землю, присел, огляделся и затрусил по асфальтовой дорожке к диким яблоням, усеянным маленькими твердыми незрелыми яблочками. Чанг вскочил на подоконник и спрыгнул на землю. Никаких враждебных намерений у него не было. Им двигало любопытство. Познакомиться хотелось.

Но сперва познакомимся мы с этим новым антигероем, появившимся в нашем рассказе. Это был студент строительного института. Разумеется, комсомолец. Не москвич. Жил в общежитии. Сейчас находился на каникулах между сенокосом и жатвой. С пустым карманом — выпить не на что. А хорошо бы освежиться холодным пивком в жаркий московский летний день! Но с этим глухо, и он просто шел. Гулял. В голове не ютилось ни одной

мысли, пустая емкость гудела. И вдруг он углядел сквозь решетку дикие яблони. Ему ужасно захотелось отведать яблочка. Он знал, что оно будет каменно-твердым и таким кислым, что сведет скулы. В деревенском детстве привык он отряхивать соседские яблони и портить желудок незрелыми плодами. Случалось и дизентерией расплачивался за свои шалости, но ничто не могло остановить лакомку. Удовольствие от кражи, нарушения закона и уязвления ближнего распространялось на мерзкий продукт.

Он увидел зеленые яблочки, и сразу челюсти затеснило предчувствием кислоты, заурчало в желудке, готовом к отравлению, и пустой тяжелый котел на плечах полегчал — в нем образовались какие-то связи, сцеплялись шестеренки зачаточного мышления.

Как все переменчиво! Шел дореволюционный студент по Москве и нес в себе целый мир. В мире этом рвались бомбы и опрокидывались кареты, залитые кровью сановных супостатов, взвивалось алое знамя над баррикадами, гремели выстрелы, позвякивали кандалы, пуржило над каторжной Владимиркой — дорогой в один конец, звучали Варшавянка, Гаудеамус и «Быстры, как волны, дни нашей жизни», грешное, но милое создание усаживалось за швейную машинку, купленную вскладчину нищими благодетелями в потертых тужурках, Маркс спорил с Гегелем и клал его на лопатки, рвали душу больные строки умирающего Надсона, Шаляпин гремел «Дубинушкой», Рахманинов взвихрялся «Весенними водами», и не перечислить всего, что тревожило, будоражило, терзало, воспаляло и поднимало на подвиг чистую, восторженную, наивную, глубокую и по-молодому глупую, но всегда героическую душу российского студента. А его сверстнику и коллеге эпохи зрелого социализма хотелось лишь наворовать кислых яблочек в школьном саду и вознестись орлом над унитазом с оторванной крышкой в страшной, как ад, уборной студенческого общежития.

Он приближался мелкой рысью к своей высокой цели, как вдруг ощутил по холодку в вороватых лопатках, что его преследуют. Он оглянулся, готовый увидеть дворничиху, сторожа-инвалида, дежурную учительницу, пионера, комсомольца, последнее было хуже, ибо грозило мордобитием, а студент, надорвавшийся в детстве организм бесчисленными расстройками, не отличался ни отвагой, ни бранной силой, итак, он оглянулся и увидел льва.

Он закричал, сперва тихо и тонко, потом душераздирающе и помчался по дорожке, оставляя за собой мокрый след. И Чанг прибавил хода, перешел на мягкие скачки, радуясь неожиданной милой игре.

Тут на арене появляется новый персонаж — носитель рока. Судьбе было угодно, чтобы в эти минуты мимо школьного двора проходил младший лейтенант милицейской службы Глов, о котором в участке, где он служил, существовало единое мнение: глуп до изумления. Как покажет будущее, сослуживцы глубоко заблуждались. За отсутствие ума они принимали обескураживающую неразвитость, глухое невежество. Кроме устава, приказов и

вывесок, Глотов ничего не читал. В детские годы его обошли стононой даже те книги, которых не минует ни один «хомо советикус», вроде «Как закалялась сталь» или житийной литературы о Павлике Морозове. Необразованность, невежество ничуть не мешали его неспешному продвижению по службе, искупаемые с лихвой другими достоинствами: он был смирен, аккуратен, исполнительен и до обожания любил начальство. К тому же отличался в тире, его «макарка» бил без промаха. Он долго и трудно добирался до первого офицерского звания, но, получив его, засиял от счастья, как новый гривенник. Больше ему ничего не нужно было от жизни: только бы носить хорошо пригнанную и отутюженную форму, зеркально сверкающие сапоги, выполнять несложные служебные обязанности, по вечерам сидеть в компании за накрытым столом — в одной руке рюмка, другая под юбкой у соседки, а по выходным всаживать пулю в пулю на стрельбище. Жизнь была столь невообразимо прекрасна, что с простодушного лица его не сходила румяная белозубая улыбка, в которой проглядывало даже что-то ужасное, как в гримасе человека, который смеется.

И вот этот счастливый, исполнительный и меткий милиционер увидел льва, преследующего парнишку в полосатой рубашке. Если б он читал, хотя бы просматривал газеты, то наверняка бы догадался, что перед ним знаменитый Чанг, ручной лев и киноактер. Редкий номер «Вечерки» выходил без материалов о Чанге, который сравнялся в популярности с Юрием Гагариным. Шевелись извилины в его безмятежном мозге, он смекнул бы, что по Москве не бегают дикие львы и тем более не выбирают для проживания закрытые школьные двory. Короче говоря, будь у него зачаточное сознание, Чанг остался бы в живых. Но этот милиционер по уровню развития и осведомленности был равен яблочному студенту и, не задумываясь, выполнил свой долг.

Первая пуля попала Чангу в задний проход и пронизала насквозь мягкие ткани, пробив кишечник, желудок, пищевод, уже на излете вышибла слабые зубы и упала с разорванной губы. То не был мгновенно убивающий выстрел, и Чанг, будто нанизанный на раскаленный шампур, испытал вместе с невыносимой болью изумление, обиду и унижение. Он не знал такого обращения даже в последнее плохое время, за что, за что с ним так?.. Чувствуя, что весь наполняется горячей жидкостью, Чанг обернулся к обидчику, и вторая пуля вошла ему в ухо, разрушив мозг. И тут вернулась пустыня, и чье-то гибкое тело цвета песка метнулось к нему — не опасностью, а спасением. «Мама!» — успел сказать Чанг.

Пирующие услышали выстрелы, но не встревожились, принадлежа инерции праздника. Потом смутное беспокойство толкнуло Урчонка к окну. Он посмотрел вниз, вдаль, налево, словно подчиняясь тайному запрету не смотреть туда, где на асфальтовой дорожке лежал труп Чанга. Но прежде чем отойти от окна, все-таки посмотрел направо.

Они прибежали к убитому льву, не веря в окончательность несчастья, которое невозможно было вместить в душу, еще наполненную радостью и торжеством. Натура человека пластична, но не до такой степени. Налитые коньяком и сухим вином, набитые шашлыками, курятиной в ореховом соусе, луком и фасолью, ошоловелье, все еще во власти надежд и проснувшейся жажды греха, в готовности к неизведанным наслаждениям, они не могли поверить, что вифлеемская звезда погасла, едва загоревшись, и не будет чуда, искупления и новой веры, и они отброшены назад, во тьму и рабство духа. На асфальте была кровь и желтые брызги мозга, но безусловные, грубые приметы смерти не убеждали в ее окончательности. Казалось, все еще поправимо, надо только очень постараться. Лишь Урчонок зашелся в страшном заикающемся плаче-крике.

А Рип, тряся грязными кудрями, обляял Чанга, последними словами обложил, что тот вздумал так отвратительно притворяться, даже хотел укусить за лапу. И тут правда вошла запахом смерти в его кожаный нос. Он заскулил, упал на брюшко, пополз к Чангу, задние ножки его волочились, как перебитые, добрался до морды, лизнул, дернул и умер.

Это была первая, но не последняя смерть, вызванная кончиной Чанга.

Непосредственный виновник происшедшего дурак-студент уголовной ответственности не подлежал. Но боясь, как бы ему не начали клеить дело — лев небось громаднейших денег стоит — он предпочел смыться. Конечно, его быстро отыскали и впяли пятнадцать суток за хулиганство, предварительно набив морду в отделении. А меткий стрелок не думал бежать, поскольку действовал по уставу и рассчитывал, если не на материальную, то на моральную награду. К тому же надо было составить акт. Из этого ничего не вышло. Обезумевшие люди сорвали с него фуражку, оплевали новенький, с иголочки мундир, а мальчишка укусил за ногу, порвав клычком хромовую кожу сапога.

Но эти потери оказались чепухой по сравнению с тем, что его ждало в отделении. Начальник, пожилой, усталый подполковник с седой головой, в отличие от своего подчиненного, газеты читал, знал о радении вокруг одомашненного льва и даже слышал краем уха, что царю зверей цари человеческие оказали высокое покровительство. Он хорошо представлял себе тяжелые последствия метких выстрелов. Затронуты интересы писателей, киношников, телевизионщиков, журналистов, самой кляузной публики. Его старая мудрая бабка говорила: «Не трожь дерьма, оно завоняет». Если же насчет мецената правда, то дело вовсе дрянь. Младшего лейтенанта разжалуют — так ему и надо, его начальнику тоже не сносить головы, но пятно ляжет на всю милицию, на министерство, от этой мысли слабел мочевого пузырь. Подполковник высказал полумертвому от ужаса Глотову все, что он о нем думает:

— Где ты живешь, дубье стоеросовое, кретин-гигант, что ты не слышал об этом льве? Все газеты трезвонят, радио орет. Хорошо, если тебя, гниду, просто разжалуют. Я буду стараться, чтобы впаяли срок. Стрелять любишь, а твоя политическая подготовка где, гад-позорник?.. Сдай оружие и пошел вон. Чтоб до суда я о тебе не слышал.

При всей дисциплинированности Глотов не выдержал:

— Как же так? — сказал он на слезе. — Лев человека преследует — и не стрелять?

— А тебе непременно «стрелять» надо? — Начальник пожевал губами. — Ну и стрелял бы в студента. Лев один, а студентов хоть завались.

На другое утро подполковнику приказано было явиться к министру. «Началось!» — сказал себе старый служака и поник седой головой. Он понимал — оправданий нет. Ты вырастил идиота, опасного для общества, теперь расплачивайся. Чего ждать? Отставки? Понижения в должности? Разжалования? Или просто зашлют куда Макар телят не гонял? А с чего ты взял, что министр будет утруждать себя выбором? Тебя и понизят в должности, и разжалуют в майоры или капитаны, и пошлют к черту на рога. Правда, многое зависит от того, в каком настроении встал Щелоков, хорошо ли опохмелился, не получил ли вздрючку от жены. Предсказать ничего нельзя, но готовиться надо к худшему.

За свою долгую и не слишком счастливую службу в милиции — застрял в районном отделении, двадцать лет подполковник — старый служака приучился к смирению. Но когда его машина сворачивала на улицу Огарева, он не удержал горестного всхлеба. Подумать только: да мыслимый ли случай в нашей стране, чтобы на улице стреляли львов? Это войдет в историю мировых курьезов. И обязательно надо, чтобы новоявленный Тартарен, помоечный Хемингуэй, оказался его подчиненным. Уму непостижимо!..

Он впервые переступал порог министерского кабинета, но трепета не испытывал, потому что поставил на себе крест. Высоченные потолки, высокие полузашторенные окна, гигантский стол для совещаний, внушительный старинный, на львиных лапах (дурная примета!) письменный стол, кресло с резной прямой спинкой, за креслом опять же огромный портрет Ленина кисти Ильи Глазунова. Подполковник узнал автора не потому, что был знатоком живописи, впрочем, и портрет не имел к ней никакого отношения, он присутствовал в клубе МВД на выпускном вечере милицейской Академии, когда Глазунов передал Щелокову свое творение. Художник стоял на сцене рядом с министром, вытянувшись по стойке смирно, задрав подбородок, демонстрируя всем обликом отмотобилизованную бдительность и готовность к подвигам во имя правопорядка.

Между портретом и письменным столом сидел невидный статью, с жеваным лицом и живыми глазами человек в генераль-

ской форме. Его лицо было лишено классовой, сословной и профессиональной принадлежности. Обычно смотришь на человека и видишь: из крестьян, из рабочих, из интеллигентов, технар, художник, врач, военный. По внешности министр был ближе всего к сильно защибающему жэковскому слесарю-калымщику, нечто вполне деклассированное, лишенное всяких корней.

Подполковник представился по форме, даже шелкнул каблуками. Министр не отозвался, не кивнул, не предложил сесть. Его левое ухо было заткнуто черной кнопкой, от которой бежал шнур, исчезая в чуть выдвинутом ящике стола. С минуту длилось молчание, потом Щелоков подвинулся к столу и сказал кому-то незримо:

— Спасибо, Слава. Ты меня духовно поддержал. Как его звать? Сен... Сен-Санс? Понятно. Будь здоров. Не кашляй. Галочке привет.

Щелоков вынул кнопку из уха и кинул ее в стол. Задвинул ящик. На подполковника уставились маленькие едучие глаза в красном обмете.

— Для вас, значит, законов не существует? — сказал он ерническим тоном. — Открытие охоты через три недели.

Так. Моральная пытка началась. Наверное, следовало оценить перл министерского остроумия, но улыбки не получилось. Подполковник вздохнул.

— Что с этим оглоедом?

— Отобрал оружие. А там, как суд решит.

— Значит, судить будем? И вся печать раззвонит, какие в милиции некультурные, глупые и жестокие люди? Ни за что ни про что убили беззащитного ручного львенка! Эх, вы!.. Парень — снайпер, ворошиловский стрелок. Меток глаз, тверда рука. Быстрота и решительность. И гуманизм. Спас человеческую жизнь. Вот на таких должны мы равняться. Подписан приказ о награждении старшего лейтенанта Глотова воинской медалью «За отвагу». Завтра сам буду вручать. Приглашены телевидение и пресса. Понял? А тебе спасибо, что вырастил такой кадр.

— Служу Советскому Союзу! — пробормотал в полусознании воспитатель.

На прощание министр поднес ему стопку марочного коньяка и посоветовал:

— Выпиши этому стрелку «Вечернюю Москву». И сам проверь — читает ли. Это дело мы погасили. Но коли он и дальше будет так палить, хлопот не оберешься. К нам черномазые повадились. Глядишь, он президента или премьера дружественной державы за гориллу примет. Мировой скандал.

Существует анекдот — из черного юмора — про одного молодого солдата, который стоял на часах, когда к нему приехала мать из деревни. Он предупредил ее, чтобы та не подходила, раз он при исполнении служебных. А она слышать не хотела, ей бы сыночка обнять. Он раз предупредил, два, а на третий выполнил

свой боевой долг — уложил старушку. А потом, стоя опять на часах и любовно оглаживая рукавом орден, думал мечтательно: скоро батя придет.

С Готовым все было по-другому. Он, конечно, радовался медали, любовно натирал тальком, драил. Сфотографировался с нею. Приобрел ленточку серую с полосками и прикрепил к будничному кителю. Но не стремился к повторению подвига. Он читал «Вечернюю Москву» от передовицы, где остро ставилась проблема дворников, до сообщения в черной рамке о том, что «смерть вырвала». Он долго, по отсутствию навыка читал «смерть вырвало». Подполковник поначалу, что ни день, гонял его по всем четырем полосам, а потом бросил, поняв, что парень не просто приохотился к чтению, а прямо-таки жить не может без правдивого вечернего слова самого популярного печатного органа столицы.

Для Глотова открылись новые миры, он никогда не предполагал, что жизнь так захватывающе интересна и богата. Сколько в ней событий, происшествий, зрелищ, необыкновенных людей, сколько каждый день новых покойников. Оказывается, живешь изо дня в день: служба, стрельбы, посидухи, горячее потное женское тело под ладонью, а люди в это время умирают от тяжелых продолжительных болезней, от аварий, катастроф, скоропостижно и преждевременно, и скорбит жена, дети, родители, близкие друзья и несколько загадочная группа товарищей. А оставшиеся в живых играют в футбол, городки и другие игры, лазают по горам, переплывают океан на щепке, одерживают победы в конкурсах пианистов, скрипачей и певцов, дуются в шахматы и шашки, берут обязательства, борются за звание лучшего, целыми производственными бригадами, лестничными площадками, прилавками подступают к коммунизму, а Израиль тем временем собирается уничтожить арабский мир и все прогрессивное человечество. Последнее стало не на шутку тревожить Глотова. Он попытался отыскать на карте грозного агрессора и не сумел. Страна оказалась тайной, она спряталась, как сыпно-тифозная вошь в бельевых швах, в складках мироздания.

У него обнаружили качества, о которых никто не подозревал, а менее всех он сам: усидчивость, цепкая механическая память — с двух-трех прочтений запоминал номер газеты от корки до корки, железная воля к постижению. Он стал удивлять, а там и утомлять сослуживцев осведомленностью в самых неожиданных и никому не нужных обстоятельствах жизни: мог сообщить, сколько в Москве цветочных магазинов, где находится в столице Угольная площадь, как долго живет муха цеце, зачем казуару нарост на клюве.

Через полгода прилежному Глову разрешили перейти на «Московскую правду», а еще через полгода допустили к «Известиям», «Молодому коммунисту» и двадцатой полосе «Литературной газеты» — для веселья. А вскоре Глов ошарашил своего

наставника намерением поступить на вечернее отделение Юридического института. Даже при всей прилежности, блестящей памяти, терпении Глотов не осилил бы высшего образования, но истребителю львов пошла навстречу: он получил диплом. Академия МВД далась ему значительно легче, а там — аспирантура и кандидатская. Защита диссертации «Отстрел хищников в условиях мегаполиса» вылилась в триумф, ему присвоили через ступень звание доктора юридических наук. Ныне профессор, заведующий кафедрой, неоспоримый авторитет в вопросах уголовного права, полковник Глотов — желанный гость на страницах крупнейших центральных газет, будущий член-корреспондент и академик.

Вот чем обернулся меткий выстрел, — гибель льва подарила отечественной науке новый светлый ум. Не знаю, что важнее для мироздания — лев или милицейский ученый. Хорошо, конечно, когда есть и то, и другое, но если уж выбирать, я предпочитаю льва, мне кажется, он важнее в биологической структуре бытия.

В данном случае рождение ученого было оплачено не только гибелью льва и преданной ему собачонки, но и другими безвинными жизнями — об этом дальше, а также приметной утратой нравственного чувства в обществе.

У нас нет статистики. То есть она есть, но ее нет. А будь она, мы располагали бы ошеломляющими данными о том, как резко пошла вверх кривая преступлений против животных, после того как убийство Чанга возвели в подвиг, а подвиг разрекламировали средствами массовой дезинформации. Вскоре после этого газеты запестрели сообщениями о фактах детской жестокости: поджигали крыс во дворах, ловили кошек на удочку, используя для наживки кусочек сала, ломали собакам хребты стальными трубами, украли где-то павлина и обципали живьем догола. Особенно страшные случаи открылись мне, когда я познакомился с той негласной статистикой, которую вели друзья домашних животных, позднее объединившиеся в общество по их защите. Приведу лишь один пример. В Подмоскowie тринадцати-четырнадцатилетние шалуны зашили лошади рот. Когда обезумевшее от боли, голода и непонятности случившегося животное наконец поймали, это был скелет с оскаленными зубами, обтянутый лысой шкурой.

Подвиг милиционера потряс юные, не воспитанные в божьей и милосердии души наследников Павлика Морозова. Им захотелось такого же героического, невероятного, кровавого, победного. Но львы редки в Москве да и во всех остальных городах и селениях нашей непостижимой родины. Детишки принялись героизировать — зверствовать над тем, что под рукой — над малыми и беззащитными. Тем более, что крыса, мечущаяся факелом по двору — впечатляющее зрелище, а лошадь с зашитым ртом — подавно, а как уморительны изломы перебитых крыльев двух черных лебедей на глади Чистых прудов!

Зло всегда сеет зло, меткий выстрел будущего ученого породил много зла. Сейчас скажу о самом страшном.

И снова мне придется сослаться на жену, как ссылался в Бэкингемском дворце на своего благородного меланхоличного спутника распоясавшийся перед королевой донецкий говорун. Жена не даст мне соврать — я предвидел судьбу Бедуиновых. Конечно, не в подробностях — так далеко не заходит в жестокости мое воображение, но неизбежностью окончательной беды.

Нам принесли фотографии Чанга: и последние, с нашим участием, и сделанные раньше, без нас. На одной из них голые Урчата бежали вместе с Чангом по полю, деля на троих самозабвенную радость.

— Бедный Чанг, бедные дети, бедные люди! — вздохнула над фотографией моя жена.

— Это еще не конец, — неожиданно для самого себя сказал я.

— Что ты каркаешь?

В голосе прозвучала не свойственная моей жене резкость — я подтолкнул ее мысли к чему-то, о чем ей не хотелось думать.

— Они не уgomонились.

— Кто?

— Силы рока, — сказал я дурашливо, не желая и боясь продолжения разговора, который сам же спровоцировал.

На другой день нам предложили стать пайщиками нового льва, которого хотят приобрести вскладчину для Бедуиновых. Вне зависимости от предчувствий, мне этот жест не понравился. Тут не было ни доброты и наивности доморощенного эксперимента, ни порывистости того первого, почти безумного поступка. Надо было заполнить новым львом обещанную жилплощадь, рафик и кусок берега. Льва требовали и ненасытный киноэкран и ящик Пандоры.

— Можно иначе отнестись к этому, — сказала жена. — Ты представляешь, какая пустота образовалась в жизни всех этих людей — и больших, и маленьких? Кошка старая умирает, и то в доме дыра, а тут ушло такое могучее, странное, прекрасное существо, поглощавшее столько чувств, забот, беспокойств, доброты. Психологически их нельзя не понять.

Наверное, это было справедливо и высоко, но я знал про себя что-то ужасное, безобразное, и слова жены меня не тронули.

И все же мы вступили в обладание частицей льва, еще не обретенного, но уже заложенного в ячейку будущего семьи Бедуиновых, льва, которому жить с людьми, принять их правила, характеры, привычки, вписаться в чужой, противный всей сущности дикого зверя обиход.

У Карела Чапека в «Рассказах из обоих карманов» есть новелла о человеке, случайно узнавшем, что будет совершено преступление, скорей всего, убийство. Но доказательств у него нет, к тому же дело происходит в чужезычной стране, и никто его не понимает. Он бессилён воспрепятствовать злу. Я тоже вдруг заговорил на языке, который никто не понимал, даже самые близкие

люди. На мое «добром не кончится» никто не попытался помочь мне яснее выразить свою тревогу, задуматься вместе со мной и, может быть, предотвратить неминуемое. Любопытная описка: «неминуемое» нельзя предотвратить, но это слово пришло из подсознания, как все описки, оговорки, стало быть, выражает истинную суть. Выходит, я знаю, что ничего нельзя было сделать.

Новый лев был приобретен. Не помню подробностей, да они и не важны. К этому времени скончался Бедуинов, человек далеко не старый. Отчего он умер? Разве это важно? От инфаркта, от рака. Все эти медицинские названия лишь псевдонимы смерти, которая не любит открывать своих тайн. О человеке до сих пор ничего не известно. Все усилия мирового ума, все золото и бриллианты тратятся на то, как быстрее и вернее покончить с затерявшимся во Вселенной островком, где сотворилось чудо сознания. На остальное нет ни времени, ни средств.

Бедуинов умер, потому что не стало Чанга. В слово «Чанг» в данном случае вкладывается меньше всего от самого льва, Бедуинов относился к нему, живому, довольно хладнокровно, хотя, разумеется, чтит. Но с уходом Чанга оборвалось то великое застолье, о котором он грезил всю жизнь, тот пир, где так полно раскрывалась его душа всем лучшим и самым ярким, что в ней заложено: страстностью, влюбчивостью, безудержностью, способностью к воспарению. Оборвалось грубо и беспощадно, вульгарно и подло: его словно выхватили из-за стола, когда он говорил тост, подняв золотой кубок с пенным вином, и швырнули лицом в кровавую грязь. Новый лев его не вдохновлял. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, нельзя дважды усаживаться за один и тот же пир. А другого пира быть не может, поперек всего мироздания лег Чанг, простреленный сквозь зад и ухо. На крови строят храмы, на крови не расстилают скатертей. Все стало ненужным, прошлое обрезано, в настоящем и будущем пустота. Жить не для чего. И он перестал жить.

Его смерть не была трагедией для семьи. Плакали пристойно, погоревали, опрятно похоронили и помянули добрым словом. Тем более, что новый, хотя и не состоявшийся пока укротитель заполнил образовавшуюся щель. Потом навалились заботы: привести в дом льва, устроить, наладить с ним отношения. Вскоре к льву присоединили пантеру.

Последнее кажется невероятным. У меня на даче одно время оказались вместе борзая — сука и карликовая такса — кобель — Дара и Кузик. Нам казалось, что мизерность кавалера перед рослой дамой, к тому же почтенный его возраст гарантируют Дару от матримониальных посягательств. Какой там! Старый малыш чуть не разнес дом, когда сука запустовала, потом его скрючило в вопросительный знак, а Дара выла на всю округу. Пришлось срочно везти Кузика в Москву и держать там, пока опасный период не минует.

На что рассчитывала Урча с ее новым советником? А ни на

что. О нем забудем, он бездействующее лицо. А Урча и ее дети — они тоже участвовали, бедняжки, своей тоской, нервозностью, неприкаянностью, потерянностью в ее решении — слепо выполнили предначертания рока.

Едва ли можно сейчас реставрировать то, что происходило в душах этих обреченных. Ведь так очевидно то, чего нельзя было делать, а делалось на глазах десятков, сотен людей, да что там — на глазах всего города, всей страны. Никто пальцем не шевельнул, чтобы остановить смертельный номер без страшующих средств. Конечно, подобное могло случиться только у нас, ибо нигде в мире нет такой безответственности, наплевательства на собственную и чужую жизнь и, добавлю, такого незнания простейших законов природы. Как бдительны мы к нарушению мелких административных правил, — попробуйте поселить у себя брата или сестру без прописки, старую тетку из провинции, да с вас шкуру спустят, но «уплотнить» льва пантерой — сколько угодно. Достаточно знать, что «наверху» не возражают.

И не могу я винить ту, которая всех виноватей — Урчу, она не могла иначе. Опустевшее после Чанга пространство (не только физическое, но и моральное) было так велико, что его не заполнить другим львом. Требовалось нечто большее. Кроме того, Чанга вырастили в условиях куда худших, зачем же повторять опыт в облегченном варианте? Это не даст навара, никого не поразит, не взволнует. И куда новому льву тягаться с Чангом — всенародным любимцем? Но выйти на сцену с двумя прирученными хищниками — так можно опять «привлечь любовь пространства, услышать будущего зов».

Времени на эксперимент, как оказалось, было отпущено ровно столько, чтобы хищники подросли и пантера запустовала.

Она забралась на шкаф и рычала, обнажая красную пасть, более свирепую, чем у льва, тигра или леопарда. А лев ходил по комнате из угла в угол, задевая стулья, что-то роняя, опрокидывая, на поворотах разевал пасть, с которой текла тягучая слюна. Порой из его утробы вырывался задушенный хрип. Урча и Урчонок пытались его вразумить, говорили успокоительные, ласковые слова, он не поддавался на добро. Они принялись укорять его — Урча не повышая голоса, Урчонок — он же был мужчина — покрякивая.

Лев не обращал на них внимания, возбуждение его все усиливалось. Но мать и сын настолько привыкли к покорности своих четвероногих сожителей, что не испытывали тревоги.

Лев сменил курс, стал ходить не по диагонали, а от двери к шкафу, на котором лежала пантера. Поворачиваясь, он толкал шкаф плечом, пантера рычала, срываясь на визг. Льва пронизывала тугая дрожь.

— Прекрати! — крикнул Урчонок. — На место!

Лев угрюмо посмотрел на него, подошел к шкафу и стал тереться боком. Шкаф закачался. Пантера приподнялась, выгнула

спину и низко-низко, из чрева, зарычала. Казалось, она сейчас прыгнет.

— Пошел вон! — Урчонок кинулся к льву и вцепился в гриву. Лев тряхнул головой, Урчонок упал на пол, громадная лапа опустилась ему на спину и переломила хребет, как сухую тростинку. Урча страшно закричала и бросилась к своему переломленному надвое детенышу. Львиные когти вцепились ей в волосы и рывком сняли скальп. Она рухнула рядом с сыном — окровавленным черепом на его сломанную спинку.

Девочка уцелела (физически), она играла в классы во дворе.

Так закончился этот единственный в своем роде эксперимент, проведенный с чисто русской бесшабашностью и советским алчным азартом. Мог ли быть другой конец? По-моему, нет. Чанг был обречен, в нем перестали видеть льва, а он им оставался — и для себя самого и для окружающих. Стало быть, рано или поздно должен был возникнуть Глотов — человек с пистолетом. А коли так, неизбежно было появление нового льва в зоне повышенной опасности и пониженного инстинкта самосохранения.

И на Западе с дикими животными играют в опасные игры, видимо, того требует неизбежное стремление человека познать бессловесный мир, который куда старше заговорившего мира, заглянуть в тайное тайных природы и тем приблизиться к собственной омероченной сути, только делается это совсем иначе: на основе знаний, расчетов, с привлечением науки, специалистов, что сводит риск к минимуму. К тому же эксперимент проводится в щедрых природных условиях, а не в коммунальной квартире. Зверь обеспечивается всем необходимым: от питания до лекарств и квалифицированного ухода, он не живет за счет старых большевиков и подачек власть имущих.

Мы обречены на кустарщину и убожество во всем, чем бы мы ни занимались. Так что же, нам лучше не соваться? А ведь и на Западе иные люди, которым в отличие от нас есть что терять: прекрасно обеспеченные, кормленые, хорошо промытые, разодетые, веселые от избытка благ, пускаются через океан в ореховой скорлупке, лезут на смертельно опасные десятитысячники, задыхаются в извилистых ходах пещер, летают, чуть ли не на помеле над ущельями, прыгают с высоченных скал в пучину, преодолевают вплавь реки, кишашие крокодилами и пираниями, и все это не корысти и славы ради — об их подвигах зачастую никто не знает, а и знают, это не приносит ни денег, ни наград, ни почестей, ни даже долгой известности. Отважный, самоотверженный мореходец Бомбар после своих невероятных подвигов, всеми забытый и брошенный, пытался покончить самоубийством. Нет, жизнь ставится на карту в неистребимой жажде познания и самопознания, в стремлении утвердить человеческое в человеке. Бескорыстием подвига искупается привилегия быть человеком на земле.

В этом ряду стоит поступок Бедуиновых, взявшихся вырастить льва в таких условиях, в каких, по западным меркам, и самому-

то не просто выжить. И потому слава им, они оплатили собственной кровью деяния мужества и доброты.

К сожалению, есть и другое, коренящееся в нашем бедственном существовании, в слепом желании урвать свой ошметок счастья. И нищие Бедуиновы не устояли перед соблазнами мира сего. Но кто осмелится кинуть в них камень?

Лишь милицейский фрейшютц вышел из этой истории с прибылью. Помните сказку о храбром портняжке, который уложил семерых одним махом? Но то были мухи, а тут люди и звери. Дорогой ценой оплачен научный взлет. Впрочем, сам ученый не виноват, он-то хотел как лучше.

Не нам судить Бедуиновых. Да не избудутся рискующие и гибнущие люди. Без них не выжить человечеству.

А льва жалко.

НЕДОДЕЛАНЫЙ

РАССКАЗ

Мы встретились в парке старого бывшего подмосковного санатория. Почему бывшего? Потому что прежде между Москвою и помещицей усадьбой, где расположился вскоре после революции санаторий, находились три больших деревни. А потом, неуклонно расширяясь, Москва впитала в себя эти деревни, продвинулась еще дальше в глубь пейзажа и превратила огромную территорию княжеского поместья с парком, каскадом прудов, домом-дворцом и многочисленными флигелями, конюшнями, церковью барочно-малороссийского стиля исхода семнадцатого века в часть города, далекую от его нынешних границ.

Здесь отдыхают, пестуют свои недуги заслуженные ученые, среди них бывают такие, что не решаются в морозы выйти на улицу и создают себе иллюзию зимней прогулки: надевают длинную шубу на лисе или хорях, ушанку, теплое кашне, валенки, перчатки на меху и, прочно упакованные, прогуливаются по длинному, устланному красной ковровой дорожкой коридору с окнами в узорчатой наледи.

Меня, семидесятилетнего, считают тут мальчишкой-шалопаем и чужаком. Последнее — справедливо: ученый я никакой. Но я мирюсь с малым моральным дискомфортом ради духа старинного барского дома, пропитывающего чуть тленный воздух, картин французских художников восемнадцатого века, обрамленных золотым багетом, в гостиной, бильярдной с высокими диванами, живописью Кустодиева, Рябушкина, Остроумовой-Лебедевой на стенах и легенды, что в этой бильярдной, бывшей хозяйским кабинетом, умер в одночасье, схватившись за сердце, философ Владимир Соловьев, хотя все знают, что он умер не так эффектно — от уремии.

Когда темнеет, небо на западе, в стороне большой московской магистрали, становится исчерна-красным, и я до сих пор не разгадал этого явления. Может, скрытый лесом закат шлет свой ответ в электрическое небо города? Щемяще-тревожен предночной час старого парка.

В этом парке с угольно-черными в воспаленном небе липами и случилась наша неожиданный встреча. Он жил рядом, сюда ходил гулять. Мы не виделись пятьдесят лет, но я сразу узнал его, едва он обратился ко мне. В том, что он узнал меня, не было ничего удивительного, мое старение он наблюдал по телевизору. Он же изменился за полвека в пределах почти мгновенного узнавания. Сколько нужно, чтобы отпрянуть, округлить глаза и шумно выдохнуть:

— Блешка?!..

Он засмеялся, совсем так, как смеялся полвека назад: взалхб, во весь белый рот, заходясь до беззащитности, ибо отдавался смеху без остатка. Все такой же маленький, — нет, он, конечно, подросток с тех четырнадцати своих лет, но для взрослого мужчины остался маленьким, — ладный, плотно-сбитый, круглолицый, черноглазый; исчерна-коричневые радужки — черные глаза бывают только в романах — сохранили удивительный блеск, которому он и обязан своим прозвищем. Это прозвище дал ему я — нечаянно, ослышавшись. Товарищи называли его без затей «Олежка», что в скороговорке звучало «Лешка». Но блеск его глаз, сверк белых зубов навязали мне это «б». Я думал, что повторяю утвердившееся за ним прозвище, оказывается, стал его крестным отцом.

— Знаешь, я так и остался Блешкой для всех знакомых, — сказал он со смехом. — Твоя коктебельская оговорка разнеслась со сказочной быстротой. Только у нас во дворе клйчка не прижилась. У нас право на прозвище имел лишь один парень, ты его знаешь — Тимка Б-в. Его звали «Цыпа», а мелюзга, не имевшая права на такую фамильярность, величала почтительно: «Цеппелин».

Есть люди, хорошие и содержательные люди, за плечами которых нет ни пейзажа, ни обстава — какая-то экзистенциальная пустота. А Блешка сразу распахнул мне два щемящих душу пространства: довоенный Коктебель с каменным торчком Серрюккая, с тамарисками и сухими колючими акациями, горьковатым черствым воздухом, блеском разноцветных камешков на песчаной дуге бухты после прибоя, с волошинским профилем, утопившим бороду в море, доверчивым бесстыдством коричневых обнаженных тел на диком пляже, с египетской тайной дремотных глаз и эбеновым загаром моей первой любви, с красивыми строгими мальчиками из пионерлагеря, ставшими жатвой близящейся войны, и московский двор знаменитого дома Герцена, что на Тверском бульваре, с приветливым садом, ржым теннисным кортом за металлической сеткой, где неутомимо мелькали женственные веснушчатые

плечи мужественного поэта Уткина и чугунные бицепсы зверобоя Пермитина; здесь, в низеньких флигелях, образующих каре, обитали писатели, в одном нашел недолгий приют Мандельштам, в другом терпел свою немилосердную жизнь Андрей Платонов и завивала горе веревочкой пулеметчица Гражданской войны Дубенская, отпулеметившая на стареньком «Ундервуде» повесть своих пламенных лет; отсюда черный воронок унес в гибель Константин Большаков, Ивана Жигу, Артема Веселого...

Но если Коктебель я знал в его тайне, то этот двор у стен Камерного театра был мне знаком лишь сражениями на корте и двумя не очень близкими приятелями, сделавшими для меня доступным местный теннис. Они не открыли мне глубинной жизни своего двора, не приоткрыли крышки кощеева ларца, который хранился тогда в каждом старом московском доме. Такая редкость — сад во дворе, но мои приятели и вся дворовая вольница были к нему совершенно равнодушны, туда же, где они осуществляли свое земное назначение, мне не дано было заглянуть.

Оказывается, их главная, самая ценная жизнь творилась на чердаках и под землей. Подвал длинного одноэтажного флигеля, расположенного справа от главного корпуса, если смотреть от Тверского бульвара, являл собой громадное подземное озеро, не замерзавшее и в зимнее время. Сколотив плот, ребята выплывали на середину подземного озера, чтобы распить бутылочку сладкой запеканки «Спотыкач» и под хмельной звон в башке грохнуть волжскую ватажную удалую песню. Озерко кишело крупными жирными крысами, водная жизнь превратила их в ондатр с перепончатыми лапами.

С чердака двухэтажного флигеля — во дворе налево — можно было по пожарной лестнице попасть в туалет Камерного театра, расположенный вопреки театральной традиции не в подземелье, а в небесах. А из уборной, обманув сонную бдительность ленивых билетерш, проникнуть в антракте на галерку. Ребята с десятков раз пересмотрели весь дивный таировский репертуар, но без первого действия.

Среди тех, кто плавал по крысиному озеру и пробивался к феерии «Жирофле-Жирофля» сквозь карболовую вонь уборной, у меня были два приятеля: Тимка и Юра. Олешка-Блешка был слишком юн для общения, это сейчас нас подворняла старость. Юра — сын пулеметчицы-романистки и легендарного комполка Гражданской войны — являл внешнему миру отполированную до блеска гладь доброго малого и ничего больше. На самом же деле, добрый малый составлял лишь частицу куда более сложного комплекса глубокой и затаенной личности, приоткрывавшейся лишь изредка — в теннисе. Обычно он играл красиво и чисто, но без воли к победе, без азарта и напряжения. Его привлекала эстетическая сторона игры. Но порой что-то с ним случалось — всегда в игре против более сильного и слишком уверенного в себе теннисиста. Лицо его будто запиралось на замок, глаза суживались в

темные щелки, губы сжимались, скулы рдяно костенели, и он беспощадно ломал противника. Юра благополучно прошел войну и после смерти матери уехал к отцу на Украину, где и канул — для нас.

Моим постоянным теннисным партнером был его друг Тимка, которого в нашей летней компании, а мы отдыхали однажды вместе в Долгой Поляне под Тетюшами, в глубине невероятного барского фруктового сада, прозвали заглазно «Недоделанный».

Это был странный парень: очень молчаливый, хотя с таким видом, будто вот-вот заговорит — он часто и бессмысленно открывал рот, как дети, страдающие аденоидами, но не издавал ни звука. Быть может, он готов был что-то сказать, но как-то пропускал момент. А может, ждал полной тишины, чтобы уронить свое царское слово, но такой тишины никогда не наступало в болтливой, шумной молодежной компании, где все перебивали друг дружку. Перебивать он не умел, как и смеяться, лишь слабое подобие улыбки изредка трогало его узкий рот. Безынициативный, он всегда делал то же, что и другие, но с опозданием на полтемпла, и непонятно, поступает он так по собственному желанию или из равнодушного подражания. Его участие в наших «утехах и днях» не окрашивалось ни радостью, ни азартом. В охотку ему был лишь теннис, он мог играть с утра до вечера без передышки, но опять-таки ждал, когда его пригласят. Хоть бы раз услышать от него горячее: сыграем?!.. Играл же очень хорошо, даже лучше Юры, но еще менее заинтересованно в результате. У Юры, как говорилось, случались моменты игрового ожесточения, желания наказать самонадеянного соперника, Тимка, с кем бы ни играл, как бы ни складывалась игра, оставался вареным судаком. У него была от природы поставленная техника игры, как бывает от природы поставленный голос у певца: никто не учил его пушечной подаче, изящнейшим смешам, мощным и точным драйвам. Но он никогда не тянулся за трудным мячом, не покидал задней линии, хотя в парных играх, где это неизбежно, виртуозно действовал у сетки. Ему нравился звук удара, чувство мяча на ракетке, старенькие белые брюки, всегда тщательно отутюженные, аккуратно заштопанная тенниска, тугость золотых струн, свободная красота игры и исключенность из обыденности. А выиграть — проиграть — какая разница?..

Хорошего роста, длинноногий и узкобедрый, с точными скупыми движениями, он вне игры казался неловким. Слишком прямил позвоночник, слишком тянул длинную шею, слишком широко разводил носки туфель при ходьбе, казалось, у него плоскостопие. Комически надменно горбился его большой слабый нос, неизменно разбиваемый в самом начале драки. Он не был драчлив, но первым кидался на защиту любого обиженного. Получив кровавое увечье в самом начале схватки, он недоуменно, словно такое с ним случилось впервые, покидал поле боя и начинал старательно заниматься своим кровообильным носом, высмаркивая его, ох-

лаждая водой и разными металлическими предметами. Ничего не помогало, нос продолжал сочиться, затем круто пунцовел и распухал в пол-лица.

Однажды в Долгой Поляне мы распили — впервые в жизни — бутылку перцовой водки. Тимка тоже выпил — не больше других, но окосел в дугу. Он шатался, падал, орал, потом облевался. Взрослые тут же решили, что он тайный пьяница, хотя напращивалось прямо противоположное: его организм не принимает алкоголя.

Никогда не высовываясь, он выпадал из компании и тем невольно привлекал недоброжелательный интерес: всякая особенность, даже ущербная, раздражает окружающих. Его душевная жизнь оставалась скрытой. При всей тихости, пассивности, серости он производил впечатление человека, знающего себе цену. Мы же этой цены не знали да и знать не желали. Он был очень беден даже на фоне всеобщего тогдашнего безызытка, ветошно одет, белые резиновые тапочки воняли потом, но он принадлежал к высокой державе герценовского двора, и гордость перла из него... нет, не перла, совсем не перла, лишь угадывалась тончайшим аппаратом нашего подросткового демократизма. Плевать мы хотели на его знаменитый двор и его фанаберию. Строит из себя невесть что, а сам просто недоделанный. И решив так без всякого сговора, мы успокоились в пренебрежительном расположении к нелепому, но в общем-то не вредному, компанейскому парню, которому бог малость недодал.

Это удобное и легковесное представление о Тимке перестало меня удовлетворять, когда я сделался завсегдатаем теннисной площадки и увидел его в родной стихии. Двор лучше знает своих героев, чем случайная летняя компания. И вскоре я почувствовал, что Тимка здесь — фигура.

В чреде долгих лет эти подробности подзабылись, но в уголке памяти теплился образ незадачливого, нелепого, но чем-то симпатичного парня по кличке Недоделанный. Почему-то я числил Тимку среди не вернувшихся из боя. Он казался нежизнеспособным и для мирных дней со своим символически слабым носом, готовым истечь субстанцией жизни от малейшего ушиба, с птичьей поступью, длинной и незащищенной шеей и тупостью точных, но беспобедных отмахов у белой черты корта.

Разговаривая с Олегом, я вспомнил в числе других и о Тимке.

— А что, Недоделанный тоже не пришел с войны?

Он пристально посмотрел на меня.

— Ты о ком?

— О Тимке Б-ве.

— А где его так называли?

— В нашей компании, в Долгой Поляне.

— Любопытно... У нас его так не звали. Вообще-то наш двор обходился без кличек, но у Тимки была — Цыпа.

— Ты так говоришь, будто его звали «Принц» или «Викинг».

— Цыпа — это от Цапы, а Цапа — сокращенное Цапля. Помнишь, как он ходил, вернее, выступал: ноги прямые, носки врозь, шея вытянута, нос торчит. Вылитая цапля — самая гонористая птица.

— По-моему, журавль гонористее.

— Жаль, мы с тобой не посоветовались. Мы, видать, плохо журавлей знали. И прозвали — Цапля. А малыши Цеппелином величали.

— А какая у него судьба?

— Знаешь, у него действительно была судьба. А ведь она не у каждого бывает. У меня была жизнь, а была ли судьба — не уверен.

— А что такое судьба?

— Понятия не имею! — он засмеялся. — Слышал такой перл казенного велеречия: судьбоносный? Его очень любят высопарные и низкопробные чиновники от искусства и литературы. Но это не по делу. Судьба в моем представлении — жизнь с поворотами, смелыми решениями, с неожиданностями, провалами и подъемами, с приходом к чему-то, не заложенному заранее в ячейку твоего времени. У меня был один-единственный поворот в жизни, когда из радиожурналистики меня волей ленинского комсомола перебросили в разведку. Это было в стороне от моих планов и надежд, но отказаться я не мог. И отрубил там, кстати, весьма неромантично, до пенсии. Я вышел в отставку на другой день после своего шестидесятилетия еще перспективным полковником, но генеральские лавры меня не манили. И теперь наслаждаюсь свободой ничегонеделания. Можно ли применить ко мне слово «судьба»? По-моему, нет.

— А у Цыпы?

— У Недоделанного?

Мы обменялись Тимкиными прозвищами. Я понял, что Олега оскорбило слово «недоделанный», которым я оговорился, и он нарочно стал его применять — с ироническим подтекстом в адрес мой и других недоумков, превративших гордого «Цыпу-Цеппелина» в дурачка. Теперь я тщетно пытался исправить свою ошибку.

— У него была жизнь с такими крутыми псворотами, с такими безднами и вершинами, что хватило бы на троих... в подъезде.

— Он что окончил?

— Ничего. Ушел из восьмого класса на завод.

— Почему?

— Он считал, что вуз ему не светит. Ты же знаешь, его дядю посадили в тридцать восьмом и тогда же расстреляли.

— А я был уверен, что писатель Б-ков его отец.

— Нет, брат отца. А родного отца он не помнил. Был отчим, но где-то потерялся к тому времени. Может, тоже посадили. Они все жили у Тимкиного дяди: Тимка, его мать и кровная сестра.

— А дядя был женат?

— Нет. Он считал их своей семьей. А донжуанствовал на сто-

роне. Весьма энергично. Но в доме бабы не появлялись. Тут он был строг.

— Превосходный прозаик! Стихи были куда хуже.

— Ты будешь смеяться, я его не читал.

— Как это может быть?

— У нас в доме жили Платонов и Мандельштам, так я их тоже до войны не читал. Когда же начал читать всерьез, книжек Тимкиного дяди было не достать. Его хоть переиздали в безумии нынешних свобод?

— Кажется, что-то переиздали. Не уверен. У меня есть его старые издания.

— Вспомнил! Тимка пошел на завод, чтобы помогать матери. Она работала врачом в районной поликлинике. Сам понимаешь, какие там заработки.

— И где он работал?

— На «Серпе и молоте». Очень скоро получил первую рабочую квалификацию — формовщика. У него были хорошие руки да и головешка варила, хотя он казался недоделанным. А потом он попал на Финскую войну, прошел ее благополучно, даже не обморозился. Вернулся на завод, ну, а вскоре — Отечественная. Его призвали буквально в первый день, но не на фронт, послали в школу радистов-разведчиков. Видать, не разобрали, что он недоделанный.

— Может, хватит?

Олег сделал постное лицо.

— В этой школе Тимку постигла первая любовь. Будущий разведчик полюбил будущую разведчицу, а она полюбила его. Все время обучения в школе они были неразлучны. У Тимки впервые появились свободные деньги, которые он размашисто прокучивал с Нюсей в «Арагви», «Москве», «Коктейль-холле» — эти кабаки работали на всю железку в прифронтовом городе, каким Москва оставалась почти до самого конца сорок первого. И, похоже, опять стала сейчас. Во всяком случае, она производит куда более разрушенное и гибельное впечатление, чем в пору немецких бомбежек и военных очередей. А потом, как поется в песне: «Дан приказ: ему на запад, ей в другую сторону». Ну, не совсем в другую, тоже на запад, но на другой участок фронта. Их пути во время войны больше не пересеклись. Остались добрые воспоминания, остался вздох. Ни тому, ни другой не вспало на ум, что это вовсе не конец, а начало, вступление к тем отношениям, которые растянутся на всю жизнь.

Ни о чем таком не думали молодые разведчики, а занимались своей боевой работой, требующей большой собранности, сосредоточенности и самоотдачи. Ты помнишь Тимку. Вот уж кто не был Паганелем. Его самоуглубленность, таинственность, у меня почему-то всегда на языке это слово, когда о нем идет речь, не приводили к отрешенности, рассеянности. Делая что-либо, он целиком концентрировался на своем занятии, допуская в поле зрения

лишь нужное для дела. В цехе он видел глину, форму и стержни. Играя в шахматы — доску и соперника, в теннисе — площадку, противника и судью. Когда менялся марками, видел марки, того, с кем шла мена, и окружающих, ибо по ним можно понять: надуют тебя или нет. Когда гоняли голубей, Тимка охватывал небо, мечущиеся стаи, ловушку с откидной дверцей и гулюкающую возле нее голубку-заманщицу. Надо полагать, умение видеть необходимое сослужило ему добрую службу на фронте. Он не давал себя отвлекать ложной тревогой, мнимыми опасностями, сомнительными преимуществами и прочим мусором беспокойного, разбро-санного сознания. Считалось, что он удачлив. Нет, спокоен, остроглаз, расчетливо-нетороплив.

— А ты не можешь рассказать о каком-нибудь боевом эпизоде?

Олег долго метал в меня из темноты, павшей на осенний парк, быстрые взлески глаз.

— Ты это серьезно?

— Да... Что тебя удивляет?

— Ничего. Поздно вечером радист-разведчик Тимофей Б-ков в очередной раз пересек линию фронта. Он устроился в полуразвалившемся сарае на краю спаленной немецко-фашистскими захватчиками деревни К. Когда-то тут находился цветущий колхоз «Имени 17-го партсъезда», а ныне лишь остовы сожженных изб сиротливо чернели под хмурым небом. Отсюда отлично просматривался вражеский передний край. Опытный разведчик быстро разобрался в огневых точках противника, которые надо было подавить нашей артиллерии перед штурмом стратегической высоты. «Ну, погодите, фрицы проклятые, — прошептал молодой лейтенант, отличник боевой и политической подготовки, — ужо спрочитается с вас за наши порушенные села и города»...

— Хватит! Я все понял.

— Тимка говорил, что это нудная и тягомотная служба. Я, впрочем, думаю, что резидентом быть еще тоскливее. Единственно интересное, это переход линии фронта или заброс самолетом в тыл. Тут чувствуешь напряжение, все остальное — рутина. Нравилось ему, когда его отправляли к партизанам, у них всегда было свиное сало. При этом он любил свою работу, она отвечала его характеру: несуматошному, обстоятельному, не любящему быстрой смены впечатлений. Разведка, как и служение музам, не терпит суеты. Помогало и то, что он лишен был воображения при крайней добросовестности и честности. Он никогда не передавал липы или приблизительных сведений, в штабах знали, что этому разведчику можно верить. За два с половиной года он схватил четыре ордена, медаль «За отвагу» и дослужился до капитана.

Неожиданно его отозвали в Москву для подготовки к новой, весьма ответственной работе. Ему пришлось пройти курс обучения, включавший легкое знакомство с «аргентинским» языком, как он потом говорил то ли в шутку, то ли всерьез. Впрочем, так

можно сказать: аргентинский вариант испанского наверняка чем-то отличается от коренного языка, хотя бы произношением. Недаром Оскар Уайльд острил, что у англичан и американцев все общее, кроме языка. Тимкина бабушка по матери была обрусевшей немкой, он из дому знал немецкий, во всяком случае, нахально писал в анкетах, что знает язык. Возможно, это и навело на мысль переквалифицировать армейского разведчика. Юный полиглот обладал сильной механической памятью и без труда запомнил несколько «аргентинских» фраз.

У него была сложная и, на мой взгляд, малоубедительная легенда: бывший советский гражданин с оккупированных территорий после долгих странствий оказался в Аргентине, где ему повезло: вошел в бизнес по экспорту свежемороженого мяса. Прибыл в Бухарест для заключения сделок. Сейчас это звучит бредом, но в то взбаламученное время и не такое сходило. Исчез, видать, засыпался и попал за решетку наш резидент в Бухаресте, а с ним рухнули налаженные еще до войны связи. Тимка должен был все разведать и восстановить агентуру. Задание — будь здоров, особенно для зеленого новичка. Что это — безграничное доверие, которое Тимка сумел внушить к себе, нехватка профессиональных кадров или просто бардак? Или, что более вероятно, сочетание всех трех факторов? Тимка не задавался лишними вопросами, у него было дело поважнее: сшить себе настоящую двубортную офицерскую шинель. Ты, наверное, помнишь: к этому времени весь средний комсостав, кроме немногих уцелевших кадровиков, носил солдатские шинели на крючках, кирзовые сапоги и зеленые ремни из какого-то эрзаца. А Тимке хотелось офицерского шика.

В Москве имелись старые портные, насобачившиеся шить шинели и кители. Тимка не постоял перед расходами и со сказочной быстротой стал обладателем великолепной офицерской формы: приталенная шинель с золотыми пуговицами, китель по фигуре из грубого габардина, к этому фуражка с лакированным козырьком, хромовые сапоги и скрипучие ремни. Коровьим колокольчиком звякали ордена. Было отчего закружиться голове. К сожалению, ему не пришлось покрасоваться в этом армейском великолепии. Его одели во все штатское — с иголки — от узконосых туфель до фетровой шляпы. Тимка уверял, что и костюм, и рубашки, и пальто, и шляпа были с аргентинскими наклейками. После этого новоявленному джентльмену и мясоторговцу-оптовнику предложили жениться.

Тимка было заупрямился, он не чувствовал себя готовым к семейным обязанностям, но, увидев невесту, сразу заткнулся. Ведь известно, что «там в далекой Аргентине все женщины, как на картине». Трудно было поверить, что это изысканное, томное, трепетное существо, рожденное для танго и кофе глясе, наша разведчица, к тому же со стажем. Выглядела она на восемнадцать, хотя была года на три старше Тимки. Бракосочетания не было, оно состоялось раньше, в далекой Аргентине, как явствовало-

ло из паспортов. К большому Тимкиному удовольствию, фиктивность брака не распространялась на супружеские отношения. Они не только не возбранялись, напротив, предписывались, иначе липовую пару в два счета разоблачат. Словом, в шпионской работе оказалось много приятного. Тем более, что для вживания в роль им предстояло провести десять дней в гостинице, в одном номере с общей постелью. Сладкая жизнь обеспечивалась толстой пачкой денег. Пришел Тимкин звездный час.

Завтрак им подавали в постель, обедали и ужинали они в стороне. Там к шашлыку полагалось кинзмараули, а к осетринефри — цинандали. Тимка на всю жизнь приобрел вкус к хорошим винам. Он научился танцевать, особенно преуспел в аргентинском танго.

В общем, молодожены не теряли даром времени, отпущенного им на адаптацию. И так вошли в роль, что Тимка готов был до конца дней притворяться мужем Люды, и та, похоже, не возражала против такого варианта.

В положенный срок их благополучно переправили в Бухарест. Не спрашивай как, я этого не помню, если вообще знал. У Тимки была своеобразная черта: неторопливо обстоятельный в рассказе, он не выносил вопросов, сразу замыкался с надменным видом и становился цаплей в кубе. То ли за вопросами ему мерещилось недоверие, то ли еще что-то обидное для его чести.

Они поселились в гостинице, и Тимка принялся завязывать деловые знакомства по мясному экспорту, на деле же прощупывать оборванные связи. Хотя до хлопковых эшелонов Рашидова было далеко, очковтирательство уже набирало силу, и Тимке стало казаться, что мощная агентурная сеть существовала лишь в пылком воображении исчезнувшего резидента, который, поднакопив московских денег, попросту смылся.

Аргентинский мясопромышленник недолго занимался своим бизнесом. Не прошло и недели, как его взяли, прямо на улице. И сделано это было идилически просто: подошли двое, зажали с боков, втокнули в машину — приземистого «Хорха» — и повезли по оживленным улицам Бухареста, не заметившего, что одним прохожим стало меньше.

Ехали молча, только раз один из сопровождающих — оба были в штатском — обратился к Тимке на каком-то непонятном языке. Поразмыслив, Тимка решил, что это аргентинский, и с обиженным видом преподнес ему по-немецки свою легенду, снабдив для убедительности описанием красот приютившей изгнанника латиноамериканской страны, почерпнутым из знаменитого танго. Тот выслушал небрежно, усмехнулся и одобрил Тимкино произношение. После чего на чистом русском попросил его не строить из себя полиглота, обходиться родным языком.

Тимка замолчал и остальной путь мучительно думал о Люде, утешая себя сомнительной надеждой, что опытная разведчица сумела избежать расставленных сетей.

Наверное, ты мысленно готовишься к описанию допросов, избиений, пыток и нечеловеческого мужества Цыпы, который, проливая потоки крови из своего слабого носа, не проговорился ни единым словом. Читай шпионскую литературу, там ты все это найдешь, здесь же было иначе: никто его пальцем не тронул, вежливо и терпеливо просили рассказать все, как есть, и Цыпа так же терпеливо, тупо, не теряя самообладания — у кого совесть чиста, тому нечего бояться, — лепил горбатого про горькую судьбу беженца, Аргентину и мороженое мясо.

Ведущий допрос офицер — штатский костюм не скрывал военной выправки — тоже отличался завидной выдержкой. Он душевно просил Цыпу не тратить времени на пустое вранье: им отлично известно, кто он и с какой целью прибыл в Бухарест, так что допрос носит чисто формальный характер, а настоящие дела ждут их, когда кончится докучная, но необходимая официальная часть. Если он не настроен на серьезный разговор, то может ограничиться простым «да», подтверждающим сведения, которыми они располагают. А сведения их отличались абсолютной точностью: ФИО, воинское звание, боевые награды, фронты и части, в которых проходил службу, специальные учебные заведения, цель засылки в Бухарест — ни одной ошибки не было в этом формуляре. Тимку покорило, что его семейное положение было определено как фиктивный брак с Крошиной Людмилой Петровной, капитаном, шпионкой, кавалером двух орденов Красной Звезды. Было ясно, что их заложили еще до приезда сюда, хватит ли у Люды сил, если ее возьмут, все отрицать? Думать об этом было страшно...

Я удивительно хорошо представляю себе Цыпу в эти далеко не лучшие минуты его жизни. Задумчиво-недоуменное лицо, открытый рот, шея, ставшая длиннее на три позвонка, обиженный нос — что-что, а придуряться он умел. Впрочем, я не уверен, что это умение, иногда мне кажется, что дурак, особый русский дурак, который поумнее и похитрее иного умника, всегда сидел в Цыпе. Наверное, потому он и казался тебе недоделанным. Но офицера его вид не мог ввести в заблуждение, поскольку он знал всю Тимкину подноготную. И похоже, не без удовольствия наблюдал театр одного актера. Во всяком случае, не раздражался, не орал, не стучал кулаком, ибо знал, что этому лицедею девать-ся некуда.

Цыпа гнул свою линию. Он даже позволил себе горький упрек: «Я думал, что кончились наши страдания, и ехал сюда с открытой душой накормить свежемороженым мясом союзников Германии». «Напрасно вы думали, что ваши страдания кончились, — мягко сказал офицер. — Они только начинаются. Если, конечно, вы не перестанете валять дурака. Я думал, вы разумнее. В конце концов, от вас не требуется ничего фантастического, это неизбежный путь каждого провалившегося шпиона. Вы сохраните свою легенду и будете делать то, что вам поручили в Москве. Ин-

формацией мы вас обеспечим. Это не только сохранит жизнь вам и вашей очаровательной подруге, но поможет вашему устройству в том миропорядке, который мы установим после победы.

— Меня вполне устраивает торговля свежемороженым мясом, — нудно сказал Тимка. — А передавать какую-то информацию я не буду, просто не умею, да и почему большевики должны меня слушать? Кто я такой? Они сразу поймут, что это фальшак.

— Не прибедняйтесь, — сказал офицер, — они знают ваш почерк. И хватит притворяться. Мы все равно вас заставим.

Будут биты! — понял Тимка и настолько превратился в цаплю, что чуть не взлетел.

Но бить его не стали, а угостили сигаретой и куда-то повезли в том же низко сидящем, расслабляющем «Хорхе».

Они подъехали к воротам в кирпичной стене, поверх которой тянулась колючая проволока. Тюрьма. Его долго вели по длинному сводчатому коридору, мимо камер с зарешеченными окошками. Время от времени сопровождающий их надзиратель отпирал одну из камер, и офицер, кивнув на вытянувшегося в струнку узника, бросал небрежно: осведомитель вашего резидента номер такой-то. Тимка вполне равнодушно смотрел на худых, небритых, казавшихся на одно лицо узников, он не знал их да и не был уверен, что они действительно те, за кого их выдает гестаповец.

Наконец они подошли к камере, которую открыли не то чтобы торжественно, но со значением. С койки поднялся тощий седо- и вислоусый старик, похожий на гоголевского сечевика.

— Вот тот, кого вы искали, — Илие Бучану, в миру Тарас Петрович Саенко. Прошу любить и жаловать. — Офицер ослабил, ввернув этот русский оборот. Он явно гордился своим чистым, чуть подмороженным, как мясо аргентинского негодянта, русским языком. Тимка и сечевик глядели друг на друга без особого интереса. Сечевик скорей всего не понял, кто перед ним, Тимка же вел свою роль.

— Налюбовались? — спросил офицер. — Саенко оказался куда сговорчивей вас. Мы думали, что вы можете поработать в паре.

— Мне не нужен компаньон, — пробормотал Тимка. Теперь он понял, что влип безнадежно.

Кто его заложил? Неужели они взяли Люду, и она раскололась? Не похоже на опытную разведчицу. Но почему они ее взяли? Легенда дурацкая, ему с самого начала казалось, что шефы перемудрили. Русский беженец из Аргентины, торговец мясом его лет — отдает бредцем. Но ведь жизнь полна бреда, неестественных ситуаций, чудовищных закрутов, диких совпадений; подозрительно по-настоящему, когда слишком гладко и правдоподобно, когда все швы сходятся. Так не бывает в нынешнем взбаламученном мире. Могло, могло занести русского парня в Аргентину, и мог он пристроиться к торговому делу. А зачем он себе-то морочит голову? — спохватился Тимка. — Растерялся, пустил сок?

Это уж последнее дело. Пустить сок можно, когда тебе выбьют зубы, но лучше до этого не доводить, а выкручиваться. Почему же Люда не выкрутилась? Неизвестно, что с ней делали, есть мера человеческому терпению. Она все-таки женщина... А почему он так уверен, что Люду взяли?..

В общем, Тимка заметался, хотя на челе его высоко не отразилось ничего. Неожиданно быстро офицер прервал лишнюю теплу встречу двух провалившихся шпионов.

Они долго шли по внутренним переходам, поднимались на лифте, спускались на лестничный пролет, опять подымались, шли дальше, и Тимка понял, что они покинули тюрьму и теперь двигались другим помещением, похожим на обычный офис. Вдоль коридора были расстелены синтетические ковровые дорожки, глушившие шаги, по правую руку широкие незашторенные окна позволяли видеть небо и городские крыши, по левую руку мелькали безликие двери кабинетов. Им попадались военные в черной форме и фуражках с низким козырьком и штатские, все, как один, в темных роговых очках. Что это — сигуранца или гестапо?.. Тимка любил звучные, щекочущие небо слова: сигуранца, коза-ностра, абитуриент, гверильясы, аркебуза, Трокадеро...

Офицер толкнул дверь и сделал знак, чтобы он входил. В кабинете было три одинаковых письменных столика, три одинаковых шкафа с папками, на столах — зачехленные пишущие машинки «Рейнметалл». За дальним столиком работала, низко склонившись над бумагами и уронив волну светлых чуть завитых волос молодая женщина в черном кителе. Тимку пронзило какой-то большой нежностью — у Люды была такая же пепельно-золотистая копна. Женщина подняла голову, резким движением откинула волосы.

— Ну, вот, явился не запылится. Чего рот-то открыл?..

... — Тут откроешь! — сказал я. — Она была раньше завербована?

— Ну да! Засыпалась еще в начале войны. И работала на немцев.

— А он что?

— Ничего. Хоронил мысленно женщину, которую успел полюбить и которой верил, как самому себе. Зато она проявила большую активность. Предлагала сохранить все, как есть, только поменять службу. Уверяла, что очень привязалась к нему, не хотела бы его терять. Понимаешь, эту страничку своей биографии Тимка всегда пробегал скороговоркой. По-моему, тут у него так и не зарубцевалось. В общем, разговора у них не получилось. Тимку снова куда-то повезли. Едва отъехали, началась бомбежка. Машину опрокинуло, хрястнуло, Тимку выбросило наружу. Он был весь в крови, но ран глубоких не оказалось, посеколо лицо, шею осколками стекла. Его спутники не подавали признаков жизни. Тимку перебинтовали прямо на улице, от госпиталя он отказался и, как библейский пророк, побрел, неведомо куда. Уже на окраине он

потерял сознание, а очнулся в постели, в доме каких-то пожилых людей. Он упал возле их крыльца, они подобрали его.

Хозяин, фельдшер на покое, заверил Тимку, что с ним все в порядке, просто он потерял много крови. Говорили хозяева на ломаном русском, и Тимку удивило, как догадались они о его национальности. Ты же помнишь, в нем не было ничего характерно русского: продолговатый череп, длинное узкое лицо, большой горбатый нос, бурые увядшие волосы, глаза цвета расплавленного олова. Он счел нужным сообщить этим милосердным людям, что он прямиком из Аргентины, торгует свежемороженым мясом. Старики попросили его не волноваться: если бежавшему из плена русскому хочется считаться аргентинским торговцем, пусть так и будет.

Поступок этих старых людей остался для Тимки какой-то щемящей тайной. Они выхаживали, как родного, солдата вражеской армии, зная, что рискуют жизнью. А ведь они скрывали не солдата — шпиона, и эта мысль была так невыносима, что, едва окрепнув, Тимка поспешил оставить гостеприимный дом. Он ушел ночью, когда хозяева спали, и поплелся к фронту, избегая больших дорог и обходя населенные пункты. Все эти предосторожности не помогли, он нарвался на немецкий патруль. Его приняли опять же за беглого пленного, в чем он «честно» признался, избили и отправили в лагерь.

Через три недели он бежал, добрался до прифронтовой полосы и был снова схвачен. Немцы погнали колонну беглецов в тыл. За спиной слышался гул нашей артиллерии, и Тимкой овладела такая тоска, так захотелось к своим, что он принял невероятное по смелости и беспощадности к себе решение. Надо действительно быть недоделанным, чтобы додуматься до такого. Он заметил, что конвойные пристреливают упавших, если те подают хоть слабые признаки жизни, в противном случае лишь пристукивают — для верности — прикладом по голове. Берегут пули, видать, с боеприпасами у них неважно.

На марше Тимка хватил кулаком по своему больному, хрящеватому, слабому носу, размазал кровь по лицу, шее и груди и грохнулся навзничь на дорогу, закатив глаза. Через несколько минут на злобье обрушился страшный удар, и черепушка разлетелась на куски.

Очнулся он в темноте. Чтобы открыть глаза, ему пришлось выгрести липкую массу застывшей крови из глазниц. Голова трещала и гудела, но кости были целы. Он отполз с дороги, смыл кровь вонючей водой из лужи и попытался встать. Это ему не удалось. Он заполз в кустарник, свернулся калачиком и заснул. Когда проснулся, то оказалось, что он лежит в десятке метров от шоссе в засохшем, насквозь просматриваемом шиповнике. Почему его не обнаружили — непонятно. Пешеходы на шоссе были редки, но воинские грузовики и легковушки проезжали то и дело. Ему так долго не везло, что должно же было наконец повезти.

Вскоре он убедился, что действительно попал в полосу удач. Пока он пробирался к фронту, его с десятков раз могли схватить. Раз он устроился на сеновале заброшенного сарая, куда завернул на ночлег немецкий отряд. Солдаты варили на костре кулеш, жрали, пили, горланили песни, играли в скат, потом спали впокат с храпом и свистом, под утро ушли. Остатки кулеша они вывалили на пол. Тимка выбрал куски баранины и съел их. Уходя из фельдшерского дома, он взял лишь две кукурузные лепешки да грудочку мамалыги, у них самих было не густо. Его мучил голод, но зайти в деревню и попросить еды он не решался.

Другой раз он чуть не напоролся... Слушай, ты помнишь у Шкловского, кажется, в «Zoo»: небо было такое же, как в рассказе А. П. Чехова «Степь». Я неточно цитирую, возможно, он привел другой рассказ, но ты понимаешь, что я имею в виду. Тимка выходил из плена, как бесчестное число героев нашей художественной литературы об Отечественной войне. Поэтому не будем тратить на это время, которого у нас с тобой осталось так мало.

Стоит сказать вот о чем: вблизи фронта в полумертвом от потери крови, усталости и голода бедолаге проснулся разведчик. Он стал фиксировать мнемоническим способом все, что могло представить интерес для нашего командования: долговременные огневые точки противника, заправочные, склады, скопления техники. Тимка шел к фронту, а фронт накатывался на него. Встреча состоялась без цветов и поцелуев: на последнем рывке его обстреляли и чужие и свои.

Цветов не было и потом. Он, видимо, исчерпал куций лимит удачи. Первое, что он услышал, оказавшись среди своих и слегка отдышавшись, был радостный возглас молоденького бойца:

— Шпиена поймали, товарищ старший лейтенант!

— Отправьте меня в особый отдел, — попросил Тимка.

— А ты думал, тебя куда отправят? — с непонятной злобой отозвался старший лейтенант. — На концерт самодеятельности?

Особист выслушал Тимкино донесение, велел изложить все в письменной форме, после чего подверг его придирчивому допросу. Тимка сказал твердо, что остальное он доложит в Москве. Больше всего Тимку удивило, что ему даже кружки чаю не предложили. Это оказалось не самым большим его разочарованием. Вскоре он убедился, что «свои» перестали считать его «своим». Подобные превращения удивляли людей куда менее прямолинейных и бесхитростных, нежели Тимка. Представляешь, каково было ему с его простотой и недоделанностью убедиться, что объективной реальности не существует?

Тимку отправили в Москву, а оттуда после нескольких вялых допросов в проверочный лагерь. Тех людей, которые засылали его в Бухарест, он не увидел, хотя просил свести его с ними. Что тут произошло — сказать трудно. Операция провалилась, проглядели девку, завербованную немцами. Естественно, Тимка тут ни при чем — он не выбирал себе напарницу. Может, его наказали за

связь с врагом народа? Я, конечно, шучу, но случались шалости и похлеще. Если же всерьез: кому-то было выгодно избавиться от Тимки и поставить крест на провалившейся операции. Не исключено и другое, в том числе обычный бардак. Леня было разбираться в сложной, неординарной ситуации, куда проще стряхнуть неудачника в проверочный лагерь и забыть о его ненужном существовании.

Тимка никак не мог взять в толк, что ему не верят. Неужели он не заслужил доверия за все годы своей безупречной службы? Но я думаю, еще страшнее было бы для него узнать, что никто его ни в чем не подозревал и уж давно не считал врагом. А будь на нем хоть малая вина, его давно бы расстреляли. Именно потому, что у него все чисто, он пользовался преимуществами проверочного лагеря, включая легкую, непыльную работу: клеивать пакетики с презервативами.

Он клеил их чуть больше года, а в лето победы был отпущен на волю. Звание с него сняли, отобрали все награды, но Москвы не лишили. «Вернулся он домой без славы и без золота», в засаленном ватнике и тяжелых котлах. Конечно, не так рисовалось ему возвращение воина-победителя, но ведь могло быть еще хуже.

Первое, что он сделал: забодал на Тишинском рынке свою роскошную шинель с золотыми пуговицами, китель и ремни. Сапоги оставил, самому пригодятся. Я ходил с ним на рынок и злился, что он, не торгуясь, отдал превосходные вещи в первые попавшиеся руки. Деньги же сразу потратил, купив матери шерстяную кофту, теплый вязаный платок, а сестре платье и босоножки: «Солдат не может приходить с войны без трофеев», — сказал он, дернув губой, и тем подвел итог своей войны.

Жизнь продолжалась, надо было помогать матери тянуть дом. Сестра кончала школу, хотелось дать ей высшее образование. Тимка прикинул разные возможности и получилось: самое выгодное — работать истопником в котельной по месту жительства. Должность была вакантной, и, несмотря на множество претендентов, у Тимки имелись преимущественные шансы, поскольку за него был Степаныч, наш легендарный дворник саженого роста, с раздвоенной, как у Александра III, бородой. Истопник — это мизерное жалование и большой навар. Все очень нахолодались за войну, и, чтоб держался добрый жар, разве постоит кто за поощрением — денежным, продуктовым, водочным — хозяина домового тепла? Кроме того, в те давние времена, в старых домах, истопник был и сантехником, и слесарем.

У Тимки было одно замечательное свойство, возможно коренящееся в его недоделанности, которую ты тонко подметил: он сразу и полностью обретал ту форму, которую предлагали ему жизненные обстоятельства. В детстве он был олицетворением нашей дворовой вольницы, в юности стал образцовым пролетарием: пропил с бригадой первую получку, стал что-то выносить с завода

и обмазывать солью край пивной кружки; в армии заделался военной косточкой, офицером не советского даже, а старого образца, как в фильмах о гражданской войне: оттягивал мизинец, беря стопку, и — локоть, поднося ее ко рту; представляясь дамам, щелкал каблуками, держал выправку, словом, форсил офицерщиной; здесь он быстро стал классическим истопником: грязным, нетрезвым, ленивым и необязательным. Он без стеснения брал трешки, пятерки и десятки, опрокидывал стопку на кухне, заеда корочкой в будни, блином на масленицу, куличом на пасху, не брезговал старым пиджаком или штанами, весь двор звал его душевно Никоничем.

Тимка имел столько от своих невдохновенных трудов, что его часто прихварывающая мать могла бы спокойно отказаться от грошевой зарплаты участкового врача, но она была из породы вечных тружениц. Семья жила в достатке, Тимкина сестра поступила в университет; и старая и молодая женщины были очень прилично одеты, ходили в театры и на концерты, но, конечно, мать Тимки, человек старых правил и воспитания, не была счастлива, видя, как опускается ее сын. Все эти рюмочки и кружечки, подношения от жильцов, грязная и тупая работа, отчуждение прежних товарищей — с ним стало скучно — не могли не расшатать нравственный ствол его личности. Он был гордым по природе своей человеком, но сейчас отрухлявилась сердцевина.

Всякая профессия заслуживает уважения, только не в нашей стране. Где-нибудь в Германии истопник — это фигура. В спецовке, рукавицах, в кожаной фуражке, он опрятен, энергично деятелен, свято соблюдает часы завтрака и обеда, окружающие испытывают к нему почтение и считают за честь распить с ним бутылочку рейнского в соседнем кабаке после рабочего дня. А у нас истопник, водопроводчик, домашний слесарь — персонажи полукомические при всей их роковой важности в нашей непрочной жизни. Недаром их так любят эстрадные юмористы.

Тимка имел дело с каменным углем, поэтому был черен, как вельзевул, его ватник, с которым он не расставался ни зимой, ни летом, пропитался угольной пылью и какими-то смрадными техническими маслами, этот аромат хорошо сочетался с сивушно-селедочно-луковым выхлопом уст, «пьяных, как дикий хмель». Он никогда не отличался красноречием, но был прекрасным собеседником, потому что умел слушать: он жил общими интересами, волновался за друзей, а сейчас ему все стало до лампочки. Я давно переехал из этого дома, но часто навещался сюда, сохранив дружбу с ребятами. Хоть бы раз Тимка спросил, как я живу, что делаю, а на мои расспросы отвечал односложно: «Все нормально». Иногда мне казалось, что это и не Тимка вовсе, а какой-то самозванец, забравшийся в его шкуру. Как-то раз я видел, как он обслуживал пивом Шолохова.

Михаил Александрович время от времени появлялся в нашем дворе, он навещал умирающего от туберкулеза Андрея Платонова,

которого нежно любил. Когда-то он помог Тошке¹, актированному по болезни, остаться в Москве, то был поступок не только милосердный, но и отважный по тем временам. Шолохов приезжал на сессии Верховного Совета или по другим государственным делам, но вместо заседаний шел к Платонову. Они выпивали, пока Платонов еще мог пить, в дальнейшем Шолохов или выпивал заранее, или под видом перекура — во дворе, чтобы не раздражать больного друга. Иногда он давил малыша, но чаще пробавлялся пивом, за которым посылал Тимку, а сам беседовал с дворником Степанычем, отъявленным вралем, производившим впечатление правдивого, как сама земля, народного человека. Шолохов — это неожиданная черта в нем — обожал сплетни. Впрочем, не исключено, что он любил сплетни только о писателях и писательских женах, а все другие на дух не выносил. Степаныч по роду своих занятий был кладезем всевозможных слухов, которые сам же придумывал. Попыхивая сигаретой, Шолохов жадно спрашивал:

— Ну, а она что?.. Дальше-то что было?..

— Что дальше?.. — лениво тянул Степаныч, старательно заплывывая искусренный до фильтра чинарик, — он уже забыл, о чем врал. — Она ведь об этом не думала. Нешто могла она знать, что такой оборот выйдет?.. — Надсадный кашель сотряс богатырскую грудь. — Плесни-ка пивка, что-то в горле першит.

Но пиво кончилось. Шолохов достал из кармана мятую десятку и протянул маячившей рядом долговязой фигуре.

— Давай, родной, одна нога здесь, другая там.

Степаныч меж тем собрался с мыслями и, пока Тимка бегал за пивом, благополучно довел историю до конца.

Тимка невероятно ловко срывал зубами пивные закрывалки. стакан имелся только для сказителя, Шолохов и Тимка тянули из горла.

— Ну, а Орест как? Неужто затих? — интересовался Шолохов, промакая рукавом усы.

Орест М. — половой гигант дома. Каждую неделю в его однокомнатной квартире происходили бурные сцены с криками, визгами, мордобитием, серной кислотой. За этим следовали доносы в партком СП. Редкое партийное собрание происходило без обсуждения половой жизни Ореста М.

— Орик-то?.. — соображал Степаныч. — Нешто такой затихнет? Намедни с четырьмя взаимодействовал.

— Брось, Степаныч, как можно с четырьмя? — ужасался и восхищался Шолохов.

— Варфоломеевская ночь!.. Да что такому кобелю четыре сюжета? У него эта штука с городошную битую.

— Не лепи горбатого, Степаныч, так не бывает.

— Цыпа не даст соврать. Цыпа, будет у Орика с городошную битую?

¹ Сын Андрея Платонова, арестованный в 1938 г.

«Никоныч» для всего двора в глазах Степаныча, холившего его детство, оставался «Цыпой».

— Ага, — подтвердил Тимка, думая о чем-то своем.

Вот что странно. Шолохов великолепно изображал человеческие характеры, значит, присматривался к людям. А ведь Тимка не был рядовым истопником: слишком утонченная внешность, да и молод он был для своей должности, достающейся бойцовым людям, умудренным годами и борьбой за существование. Это сейчас в привычку, когда на месте лифтерши сидит бледнолицый бородатый философ с томиком Бердяева в нервной руке, а уборную чинит кандидат или доктор наук, нацелившийся покинуть свою неисторическую родину. В ту пору прочен был социальный тип: истопник, как и дворник — это судьба, а не просто род занятий. Тимка так вызывающе не подходил к своему месту, что должен был бы заинтересовать ловца человек. Но Шолохов не сосредоточил на нем внимательного взгляда да и вспоминал о его существовании, лишь когда кончалось пиво.

Мне долгое время казалось, что Тимка настолько привык к своей работе, образу жизни, вернее сказать, опущенности, что ничуть не страдает в образе котельного вельзевула, мол, все путем. Но однажды я крепко усомнился в этом.

Я уже говорил, что мы с матерью перебрались на новые квартиры. Прелесть новизны и несколько лучших жилищных условий вскоре минула, я свирепо затосковал по своему старому двору и ринулся туда со всех ног. Сентиментальное путешествие оказалось мало удачным. Из сверстников я не застал никого: «одних уж нет, а те далеке», во дворе копошилась незнакома мелюзга. Я облезил чердаки, даже в уборную бывшего Камерного театра проник, потолковал с дворником Степанычем, охотно рассказавшем мне о всем, чего не было в пору моего отсутствия, затем пошел глянуть на подземное озерко.

Я забыл старые ходы и с большим трудом проник в подвал. Озерко было на месте, освещенное, как и прежде, таинственным, невесть откуда проникающим светом; посреди застыл наш разошедшийся плот, на нем сидел Тимка, погруженный в думу, он даже не заметил моего появления, а с края плота примостилась большая крыса, спокойно, мудро и благожелательно глядевшая на него. Было в этом что-то такое грустное и безысходное, что я не окликнул Тимку и тихо ушел. Да и что я мог сказать ему? Что-нибудь из «Мойдодыра»: «Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а немытым трубочистам стыд и срам, стыд и срам». Если не можешь помочь делом, лучше помолчать.

Но нашелся человек, умевший делать, а не трепать языком, — Нюся — бывшая радистка-разведчица, первая Тимкина любовь. Она прекрасно отслужила войну, получила много боевых наград, в том числе высший польский орден, демобилизовалась, кончила театральный техникум и сейчас заведовала гардеробом в одном из главных московских театров. Она случайно услышала о Тимке,

и в ней взыграло былое чувство. Так, во всяком случае, я думал, плохо зная Нюсю. Когда же узнал лучше, то мотивы ее поведения несколько усложнились, но об этом в своем месте.

Нюся — незаурядная женщина. Увидев вместо молодого, справного лейтенантика старого спившегося истопника (Тимка выглядел лет на десять старше своих лет), Нюся не только не отступила, а прямо-таки возгорелась спасительным пламенем. Может, у них ничего бы и не вышло, но в Тимкиной душе зазвучали давно умолкшие струны, и он, не колеблясь, пошел за своей избавительницей.

У Нюси не было жилплощади, не заслужила смелая разведчица и кавалер многих орденов хотя бы щели в общей квартире. Она то скиталась по общежитиям, то ютилась у подруг, то «гноила» угол у старушек. Сейчас одна ее приятельница уехала в длительную командировку, и «молодожены» поселились у нее. Прежде всего Нюся отмыла Тимку, постригла, одела во все чистое, затем свела в ЗАГС и наконец забрала из котельной, устроив его на весьма выгодную работу в бюробин. Помогли театральные знакомства и Тимкины остатки немецкого языка. Кажется, он вписал в анкету знание испанского и румынского. За полиглота ухватились.

С этого времени Тимка перестал пить водку. Только сухие вина, иногда настоящее порто — бокал после обеда.

Он подошел ко второму, главному пику своей жизни. Первый подъемный момент, очень кратковременный, был отмечен пошивом офицерской шинели, которую он даже не успел надеть, второй растянулся на много-много лет. Он вобрал в себя и тот долгожданный час, когда ему было возвращено воинское звание и все награды с добавлением двух медалей: «За победу над Германией» и «За взятие Бухареста», хотя не Тимка брал Бухарест, а его там взяли. И тут Тимка вторично справил себе шинель — уже из генеральского сукна, китель и брюки из серого габардина, купил на толкучке офицерскую фуражку, ремни и кобуру от «ТТ». Не только в день Победы, но и по обычным воскресеньям он надевал форму и в таком блистательном виде прогуливался по улицам. То была полная компенсация за все муки. Я часто виделся с Тимкой и всегда испытывал радость при виде по-настоящему счастливого человека. До чего хорош он был, когда, угостив меня прекрасным обедом, приглашал к маленькому круглому столику попить кофе по-турецки из крошечных фарфоровых чашечек. Мне полагались коньяки и ликер, Тимка обходился стаканом порто.

Для него не было большего удовольствия, чем хорошо угостить друга. И опять он с удивительной пластичностью применился к новым обстоятельствам. Теперь это был отставной офицер какого-то привилегированного полка и крупный хозяйственник в тонком деле обслуживания иностранцев. Изящные, отточенные гвардейские движения, благоуханные кольца «Кента», нанизывае-

мые на стержень — я так и не освоил этого искусства, — многозначительное молчание с узкой неразвернутой улыбкой доброты и убагатворенности. И удивительный взгляд любви, благодарности и доверия, который он время от времени обращал к Нюсе. Неужели это тот самый человек, который сидел с потухшим взором на плоту посреди подземного озера в компании мокрой крысы?

Желая воздать Тимке сполна за неза заслуженные беды и несправедливости, жизнь подносила ему все новые подарки: у него родился великолепный сын, и возросшая семья переехала в двухкомнатную квартиру на Сретенском бульваре.

Он едва не вступил в партию. Но на собрании, когда его принимали, он взял обязательство воровать вдвое меньше и призвал к тому же всех коммунистов бюробина. Сам понимаешь!.. Он едва не вылетел с работы с волчьим билетом. Что с него взять — недоделанный...

— Стоп! Я уже покался. Это мы недоделанные по сравнению с Тимкой:

— Только не надо его преувеличивать. Он был вполне бытовым человеком без каких-либо высших запросов. При своей физической храбрости, хладнокровии, исполнительности он мог сделать военную карьеру. Скажем, дослужиться до полковника. Дальше его не пустили бы. Для преуспевания в мирной жизни его боевые качества были ни к чему. Другими он не располагал. Но и не стремился выделиться. Лишенный честолюбия и каких-либо творческих тревог, он хотел лишь одного, чтобы его близкие жили спокойно и достойно. На это его способностей хватало. К тому же он опять начал играть в теннис и стал желанным партнером для клиентов бюробина. Он ведь играл не только хорошо, но строго по-джентльменски, без оголтелого желания непременно выиграть. И это еще более укрепило его положение на службе. Но видно, в горних сферах решили, что он еще не испил своей чаши до дна, да и вообще умиротворенное блаженство смертных раздражает богов.

Удар пришел с той стороны, где он считал себя наиболее защищенным. Нюся бросила его, ушла к другому. Этот другой был старинный Тимкин приятель да и мой тоже, бывший сосед по Тверскому бульвару, огненно-рыжий парень Гошка, любитель современной музыки и сам немного музыкант — играл на тромбоне в каких-то второсортных джазах. Они с Нюсей были знакомы лет сто и вдруг обнаружили, что жить друг без друга не могут.

— Мне бы хотелось знать об этом подробнее. И ради бога, не отсылай меня к «Мадам Бовари»...

— Я как раз хотел это сделать. Ну, скажи на милость, что я могу знать о таком интимном деле? Что нам вообще известно друг о друге, кроме грубых очевидностей? Я обалдел, когда услышал об этом. А Тимка обалдел подавно. У него надолго стал такой вид, будто его поместили под Царь-колокол, а потом дали по гулкой меди из Царь-пушки. От чар любви никто не застрахован. Но Ню-

ся любила Тимку, как только можно любить творение своих рук. Она же в самом деле собрала его нацельно из мелких осколков. А он ее не просто любил — молился на нее, на редкость благодарная душа. У них был чудесный сын, дом полная чаша, прочный, но не отяжеленный быт, о чем еще мечтать? И ведь она столько лет знала Рыжего и разве что терпимо относилась к его веснушчатой роже, плоской веселости, постоянной озвученности легкой музыкой и неопрятной безбытности. Но, может, как раз этим он ее и достал. Нюся — жертвенная натура. Ей надо кого-нибудь спасать, иначе нет напряжения жизни, и любить надо только несчастенького. Таким был Тимка в пору, когда она вытащила его из котельной дома Герцена, но таким он давно перестал быть: довольный жизнью обыватель с запасливыми бурундучными щечками от пересытости. Конечно, она была привязана к нему, спокойным сердцем любила сына и дом, но все это не давало утоления жаждущей подвига самоотверженной душе. Другое дело — Рыжий, заброшенный, одинокий, неухоженный, некормленный, печальный тромбон. Надо сказать, что он всегда так жил, с тех пор как умерли вскоре после войны его родители, и ничуть не тяготился своим холостяцким разором. Вечно народ, вечно пьянка, музыка, треп, менялись девчонки, но не менялись простыни и наволочки, со стола сроду не убиралось, полы не мылись, а солнечный свет едва проникал сквозь заросшие пыльной шубой стекла. Все это его вполне устраивало; пока играла молодость, но на пятом десятке он захандрил: испарились надежды на славу и деньги, побаливала печень, в глазах появилась собачья грусть. Словом, он вполне созрел для спасения. Нюся приняла свой порыв к обездоленному за любовь и сожгла мосты. Она была искренна и всерьез верила, что силой своего чувства вернет любимому веру в свой талант и будущее.

Прошло немало времени, пока она поняла, что спасать-то некого. Ее страстный порыв был порывом в пустоту. У Рыжего, действительно, была увеличена печень, как у всех пьяниц, у него легко портилось настроение — обычная черта неудачников, считающих себя гениями, но в целом он был доволен своим безалаберным, пустым, не обремененным никакой заботой существованием. Все участники этой семейной драмы готовили на сливочном масле, кроме Рыжего, он жарил на маргарине, к тому же испорченном. Роман с Нюсей был нужен ему для самоутверждения, да и приятно сделать гадость заевшемуся приятелю. Тревожный рыжий пламень его волос над собачьей грустью нездоровых глаз долго морочил Нюсе голову, но в конце концов ей открылась правда и полное банкротство спасательной миссии.

Тимке было очень трудно без Нюси. Помог ему уцелеть сын, которому он себя целиком посвятил. Когда спасаешь другого человека, то и сам спасаешься им.

Посвятив себя целиком сыну, Тимка подорвал свое служебное положение. Слишком велика там конкуренция, слишком много желающих попасть на твое место, чтобы работать с прохладцей.

Надо не только выкладываться до конца, но и быть осмотрительным, как слеза на реснице. Иначе скатишься. А Тимка и теннис забросил, чем нанес непоправимый ущерб своей репутации в дипломатических кругах.

Все свободное время он проводил с сыном. Помимо всего прочего, ему не хотелось, чтобы образ матери померк в его глазах, что вполне могло случиться, если б Тимка не стоял на страже. Повадившаяся в дом бабушка Бориса была тяжело оскорблена поступком Нюси и при всей своей сдержанности и тонком дореволюционном воспитании слишком красноречиво поджимала губы, когда речь заходила о грешной экс-невестке. Тимка бдительно следил, чтобы ее негодование не переступало этой черты.

Если ты когда-нибудь познакомишься с Борисом, то поймешь, что ничто еще не пропало, раз есть на свете такие молодые люди. Доброта, благородство, бескорыстие, сознательное нежелание признавать, что жизнь — не подарок, при ясном, спокойном уме, видящем низкую правду, но отвергающем ее ради правды высшей, — как это создалось и как сохранилось в нашей крошечной действительности? Воспитал его Тимка. А самого великого воспитателя вырастил двор и подвал с крысами, — ни у дяди, ни у матери не было на него времени. Откуда бы взяться воспитательской мудрости? А она была. Но может, это не мудрость вовсе, а естественная жизнь хорошей души, невольно, без искусственных усилий помогающей росту другой — юной и здоровой души? Словом, экзамен на отца он выдержал на пятерку.

На ту же отметку он сдаст экзамен на сына, когда тяжело, смертельно заболит его мать. Побоку пойдет вся остальная жизнь, он станет сиделкой, нянькой до самого последнего ее вдоха, отстранив сестру от всяких хлопот. Но это случится много позже, а пока ему пришлось решать другую задачу.

Он узнал, что Нюся с Рыжим расстались. Финал оказался куда более жестоким, чем заслуживала слабая драматургия — из-за ничтожности одного из главных действующих лиц — этой житейской истории: Нюся попала в больницу с опасным заболеванием, требовавшим срочной и тяжелой операции. Когда я его спросил, что с Нюсей, он ответил коротко: «Нижний этаж».

Нюся на операцию не решалась. Фиаско с Рыжим лишило ее обычной воли и уверенности в себе. Она лежала в палате, никто ее не навещал, и ей казалось, что она слышит, как вытекает из нее жизнь. И, презирая себя за слабость, непрерывно сочилась из узких глаз, как скала. Однажды сквозь слезный дым она обнаружила возле изголовья полу короткого белого халата, выше — китель с орденскими планками и ленточкой «за ранение», а еще выше — знакомый профиль с гордым носом и редко моргающие глаза цвета расплавленного олова.

Ты знаешь, Тимка был не речист, он не знал, как уговорить Нюсю на операцию, и надел военную форму и знаки регалий, чтобы напомнить бывшей разведчице о ее боевой молодости и

бесстрашии. И эта наивная выдумка сработала. Нюся взяла себя в руки, согласилась на операцию, которая прошла успешно. Через три недели Тимка привез ее домой. Здесь ее ждало много цветов и возмужавший сын. Никаких объяснений по поводу случившегося не было, ни полслова, ни намек. Жизнь продолжалась, как в разбуженном поцелуем принца царстве спящей красавицы — с того движения, на котором когда-то оборвалась.

Старые связи помогли Тимке устроиться проводником на поезде, ходившие заграничными маршрутами. Это позволило ему продолжать изящную жизнь в промежутках между рейсами. И хорошие вина, и виски, и заграничные сигареты были по-прежнему к услугам его друзей. В домашних условиях ему не пришлось отказываться от тех аристократических замашек, которым научил его бюробин. Конечно, в рейсах, подметая веником вагонный коридор, прибирая в санузлах и разнося пассажирам чай в тяжелых подстаканниках, он вел более демократический образ жизни. Вновь неплохо наладившийся быт едва не рухнул, когда заболела мать и Тимка уехала к ее изголовью.

Но, видимо, он успел завоевать авторитет на железной дороге, его не только приняли назад, но стали усиленно продвигать, совсем как Ивана Полозкова, с той разницей, что Тимкино возвышение никому не принесло вреда. Года через три он уже стал начальником поезда. Тимка не задрал нос, остался столь же доступен для старых друзей. Я, конечно, шутю, как говорил толстовский Ерошка, а вот нешуточное: на заре туманной старости у Тимки появилась любовница, проводница международного вагона — по-неученому, спального вагона прямого назначения — по железнодорожной науке. Комсомолочка, тогда еще был комсомол, на тридцать лет моложе Тимки.

Эта связь тянулась много лет и в конце концов стала известна Нюсе. Случайно, потому что ничего в поведении Тимки не давало повода для догадки. Супружеских отношений между ними не было, но вел он себя как безукоризненный муж: никогда не опаздывал, никуда не исчезал, отпуск проводил дома, не являлся под шафе со следами помады и запахом чужих духов. Она спросила, действительно ли у него есть женщина. Тимка это спокойно подтвердил. «А как же я?» — спросила Нюся. «Ты сама сделала наш брак свободным». — «Мне что — уйти?» — «Тебе решать». — «Кому я нужна?» — «Сыну... семье». — «Ждать, когда ты меня бросишь?» — «Я тебя не брошу». — «А ту женщину это устраивает?» Он пожал плечами. Ту женщину это устраивало до самой Тимкиной смерти...

Как это ни дико, но только сейчас дошло до меня, что я слушаю историю человека, которого уже нет.

— Так Тимка умер?

— Полтора года назад. Его похоронили на Введенском кладбище. Две женщины носят цветы на его могилу.

— Вот не думал, что ты рассказываешь мне историю покойника.

— Я рассказываю тебе историю не покойника, а живого человека, по-своему полно прожившего жизнь. А не сказал я, что Тимка умер, потому что до сих пор думаю о нем, как о живом.

— Признаться, финал твоей истории меня озадачил. Пропала цельность образа. Запоздалое галантное похождение что-то разрушило.

— Галантное похождение не может длиться пятнадцать лет. Связь пожилого человека, потом просто старика с женщиной из другого пласта времени заслуживает уважения. Тимка не простил Нюсе ее измену, душой не простил. Тут он был максималистом: за свою верность требовал такой же верности. Не заболей она, он никогда бы не вернулся к ней. Но сострадание, а главное, благодарность осилили нравственную догму, которая, конечно же, была и сильным, живым чувством. Он был человеком правил, но не моральным истуканом. Я уже говорил о его готовности подчиняться велениям жизни. Когда его бросили в грязь, он слился с этой грязью, любящая женщина привела его в чистый мир, он стал достоин ее усилий, она растоптала его скромное мужское достоинство, и он, расплатившись с ней за добро, счел себя внутренне свободным. Но он был нужен ей и сыну и не стал рушить семью. Пластичный человек, но не безвольный, не тряпка. А сыну своему он вскоре очень понадобился, жизнь еще раз решила проверить Тимку на прочность.

Боря окончил педагогический институт и пошел работать в интернат для брошенных детей. Вскоре он обнаружил среди них четырнадцатилетнюю девочку с таким милым и беззащитным личиком, что при виде ее у него обрывалось сердце. Она не была несчастнее других — такой же брошенный ребенок, не знавший ни матери, ни отца, с первым проблемным сознанием обнаруживший свое полное одиночество в мире. Одиночество среди людей — ни единой родной, близкой души, одиночество среди вещей — ни об одной нельзя сказать «моя». Вообще-то она заслуживала сострадания не больше, а скорее меньше многих своих подруг: некрасивых, угрюмых, неуклюжих, обобранных той привлекательностью, которая дарила ей симпатии окружающих. Эта девочка с узким личиком, огромными глазами и улыбкой чистой благожелательности к людям растапливала даже замороженные сердца низкооплачиваемого задубевшего персонала.

Нехорошо было выделять большеглазую девочку среди других, Боря мужественно носил маску полной беспристрастности, а наедине с собой мечтал: если б она была его дочерью!

Вскоре он обнаружил среди воспитательниц родственную душу — молодую женщину примерно его лет. Они часто разговаривали на профессиональные темы и однажды речь зашла об избирательной симпатии, на которую воспитатель не имеет права. Надя, так звали воспитательницу, призналась, что к одной из девочек старшей группы испытывает материнское чувство. И невозможность реализовать это чувство причиняет ей настоящую муку.

И тут их осенила смелая мысль: соединить судьбы и удочерить девочек, которых они любили. Процедура удочерения чрезвычайно громоздка и длительна, словно кому-то нарочно хотелось усложнить это благое дело, куда проще взять на воспитание. Так и решили сделать: пожениться, взять к себе девочек и подать на удочерение.

Никаких препятствий задуманному не оказалось: девочки дали согласие. Боря с Надей расписались, путем сложных обменов превратили Надину однокомнатную квартиру в двухкомнатную, девочек полностью экипировали, к чему была привлечена легкая промышленность Бельгии — мобильный дед совершал в это время рейсы Москва — Брюссель и обратно.

Конечно, были разные опасения: сдружатся ли девочки, которые в интернате принадлежали к разным возрастным группам и не общались друг с дружкой, получится ли семья или будут четыре человека, искусственно сведенные под одну крышу. Но девочки удивительно легко нашли общий язык, Борька привязался к Надиной дочке, а Надя — к Борькиной, и если что-то смущало, так это настороженное отношение девочек к родителям. Жизнь не могла научить их чрезмерной доверчивости, и Борька с Надей понимали, что им предстоит завоевать их души.

Нюся с самого начала была против этой смелой затеи и полностью устранилась от забот новой семьи. Она считала, что нельзя ставить телегу перед лошастью: сперва создать семью, потом вработываться в любовь друг к другу. Зато Тимка оказался на высоте в качестве двойного деда. Его умение соответствовать обстоятельствам помогло и сейчас. К тому же его трогало слово «дедушка», срывавшееся с двух детских уст. Он сразу стал обслуживать внуков и, возвращаясь из очередного рейса с подарками, сразу спешил к ним. Они любили подношения, особенно старшая — модница и сластена. Младшая была как-то отвлеченной. Она всегда полуотсутствовала, погруженная в свои грезы. В ней шел непрерывный внутренний диалог: она улыбалась застенчиво-жеманно, изгибая длинную шейку, надувала губы, словно сердилась, вдруг становилась хмуро-обиженной, и непонятно было, как это сложная эмоциональная жизнь связана с окружающим. Она перестала быть тихой и печальной мышкой. Борька считал, что в ней пробуждается личность, устанавливается контакт с собственным прежде задавленным «я», это важный и благой знак созревания человеческого существа.

Однажды дедушка явился к ним прямо из Брюсселя, нагруженный дарами, как Санта-Клаус (если б дары были отечественные, я сказал бы, как дед Мороз). Входная дверь оказалась незапертой. Смущенный этим обстоятельством, Санта-Клаус раскрыл нож с фиксатором и осторожно проник в квартиру. Из комнаты девочек слышались голоса, какая-то возня... Ты как-то говорил, что знаешь наизусть куски прозы Марселя Пруста. Помнишь сцену, где рассказчик подглядывает в окна мадемуазель Вентейль?

— Помню, — сказал я, — только не наизусть... Боже мой!..

...Когда мы расстались с Олежкой, я пошел в библиотеку и взял первый том прустовской эпопеи: «В сторону Свана». Вот эта сцена:

«М-ль Вентейль вдруг почувствовала в вырезе своей красивой новой блузки укол поцелуя подруги; она слегка вскрикнула, вырвалась, и обе девушки стали гоняться друг за дружкой, вскакивая на стулья, размахивая широкими рукавами, как крыльями, кудахча и издавая крики, словно влюбленные птицы. Беготня эта кончилась тем, что м-ль Вентейль в изнеможении упала на диван, где ее заслонила подруга»...

— Тимка тоже вспомнил боженку и опрометью кинулся из квартиры под издевательский хохот девчонок. Они слышали, как он вошел. Более того, они нарочно не закрыли дверь, чтобы их застали. Позже Тимка говорил, что удар автоматом по черепушке был детской шалостью по сравнению с этим потрясением. Ко всему еще он не знал, как поступить. Но ему не пришлось делать выбор. Через несколько дней сын вернулся домой. Оказывается, и он, и Надя уже давно все знали, но рассчитывали на свой великий воспитательский опыт. А девчонки, смекнув, что их не выгонят, разнуждальсь окончательно. Возникла мысль расстаться со старшей, хоть маленькую спасти, но именно она оказалась закоперщицей. Ее в десятилетнем возрасте растлила методистка детдома. Пришлось девчонок отправить назад, и тут обнаружилось, что Борю с Надей ничего не связывает, кроме общего семейного эксперимента.

Борис ушел с работы. Месяца два он просидел дома в тяжелой депрессии. Тимка тоже бросил работу и, как в давние времена, стал сторожем сыну своему — звучит по-библейски, ты не находишь? Было пущено в ход все его красноречивое молчание, шахматы и пожухшие альбомы с марками. Он затащил Борьку назад в детство и как бы сказал: начнем сначала. И Борька начал: очнулся и опять пошел работать воспитателем, только в другой детский дом. Тимка потерял свое выдающееся место, но особо не тужил, устроившись бригадиром поездных электротехников на тех же рейсах.

Он исчерпал лимит горестей и закончил жизнь почти по Некрасову: «Безмятежной аркадской идилии/закатятся преклонные дни/ Под пленительным небом Сицилии/ в благовонной древесной тиши», конечно, на советский лад. Сицилии не было, благовоный тоже, но покоя и радости он достиг. Борька женился на красивой, доброй девушке, родил отменного парня — Тимка стал дедушкой без дураков; сын не делал карьеры, скромно и деятельно служил своему единственному призванию, и милая умница жена не грызла его, что он не Кобзон. Тимка вышел на пенсию и наслаждался ролью патриарха, в которой был трогательно серьезен. Потом его разбил левосторонний паралич без потери зрения и речи. Сыну он сказал: «Не беда, битая посуда два века живет». Жене сказал: «Это конец. Никого ко мне не пускай. Не хочу, чтобы

меня видели перекошенным». И замолчал. И через месяц его не стало, ушел во сне.

Но вот что выяснилось: не случайно он казался близко его знавшим человеком таинственным. У него была тайна. Помнишь, после изгнания Врангеля в Крыму было расстреляно три тысячи белых офицеров?

— Как я могу это помнить? Я под стол пешком ходил.

— Я оговорился. Знаешь ли ты об этом? Нет? Так знай. Среди расстрелянных был Тимкин отец. Эту тайну он хранил даже тогда, когда все стали орать о своих белогвардейских предках. Из странной гордости. Это была его память, его боль, его любовь к придуманному им прекрасному человеку: воину, храбrecу, аристократу, герою, сложившему голову за Русь святую. Он вжился в образ отца и как бы продолжал его судьбу. Отсюда его значительность, молчаливость, тяга к светскости, хорошему вину, изящному застолью, отсюда его бесстрашие, твердость, мужество. Он даже опустил в свой час по-офицерски — гордо ушел на дно, чтобы потом воскреснуть. Он — из этой замечательной и дуррацкой песни: «Поручик Голицын, набейте патроны, корнет Оболенский, налейте вина», где в одной части смешались корнеты и поручики, кавалеристы и пехотинцы и где офицер набивает патроны, как нижний чин, — такой разор, такой предгибельный перепут, такое великолепное и хладнокровное отчаяние и готовность погибнуть за Веру, Царя и Отечество...

РАССКАЗ СИНЕГО ЛЯГУШОНКА

ЛЯГУШОНОК — это дитя, но люди привыкли называть так каждую маленькую лягушку, не заботясь ее возрастом. А я хоть и взрослый, но очень маленький, значит — лягушонок. И я не синий, а бурый, как палый перепревший осиновый лист, когда совсем потухает на нем багрец и сходит желтизна с прожилок. Меня не обнаружишь на такой листве даже пронзительным вороньим глазом, но весной я, как и все мои сородичи, обретаю яркосинюю окраску, бьющую на солнце в кобальт. Эта чрезмерная яркость не смущает и не пугает нас, хотя мы не любим привлекать к себе внимание, но внешней порой забываешь о страхе, даже об естественной осторожности: подруги должны узнавать нас издали своими близорукими глазами и слетаться на синюю красоту, как мотыльки на огонек.

Я не выделяю себя из сородичей, но у меня особые обстоятельства. Я продолжал любить Алису и был равнодушен к порывам болотных красавиц, хотя природа брала свое и без вождения, со стыдом и отвращением к самому себе, я уступал велению закона, требующего, чтобы всплыла под листья кувшинок и кубышек оплодотворенная прозрачно-бесцветная икра.

Лягушки беззащитны, самые беззащитные существа на свете, как будто созданные для повального истребления. Единственная наша оборона — воля к размножению. Оглушительные весенние концерты, цветковые превращения, бесстрашие, с каким мы рвемся к любимым сквозь все препятствия и смертельные опасности, неутомимость партнерш, способных день-деньской скакать под грузом зачарованного всадника, — все служит одной цели: не дать исчезнуть нашему кроткому роду. Но у меня, как уже сказано, особое положение: еще недавно я был человеком и все время помнил об этом. Только не надо думать о колдовских чарах, злом волшебстве — случившееся со мной вполне закономерно и естественно, как и те непознанные события в потоке сущего, которые мы условно называем рождением и смертью — прекраснейшие символы из всех придуманных людьми для обозначения недоступного разуму. Так вот, в моем превращении нет ничего от глуповатых сказок о принцессе-лягушке или обращенном в зверя лесном царевиче и тому подобной галиматии, которой морочат холодное и трезвое сознание ребенка.

Так что же случилось со мной? Да то же, что рано или поздно случается с каждым гостем земли, — я умер по изжитию довольно долгого и трудного, как у всех моих соотечественников, но не ужасного и трагичного, что тоже не редкость, существования, узнав много радостей и не меньше горестей, частично осуществив свое земное назначение, если я его правильно понимал, больной и сильно изношенный, но не истратившийся до конца, ибо мог сильно, все время помня об этом, любить. Я любил свою жену, с которой прожил последние тридцать лет жизни — самых важных и лучших. К поре нашей встречи во мне угасли низкие страсти затянувшейся молодости (справедливо, что не дает плодов то дерево, которое не цвело весной, но плохо, когда весна слишком затягивается и цветенье становится ложным — пустоцвет), и, уже не отягощенный ими, каждый божий день, каждый божий час жил своей любовью, что не мешало работе, радости от книг, музыки, живописи, новых мест, социальной заинтересованности и все обостряющемуся чувству природы. Это была жизнь без ущерба, моя старость не стала немощью, хворобы не застили солнца, мы были полно счастливы в кратере вулканической помойки, способной в любое мгновение излиться лавой крови и дерьма.

Но долгое мое умирание было омрачено обидой и болью — не надыхался я дорогим человеком, не наговорился с ним всласть, я еще был способен на объятие, на восторг, на жесткую ссору — спектр наших отношений не потерял ни одной краски, напротив, все сильнее и сильнее я чувствовал ее жизнь рядом с собой. Нам даже путешествовать расхотелось, а мы так любили слоняться по миру. Куда увлекательнее оказалось непрекращающееся путешествие друг к другу. Нет, рано нас растащили, рано отправили меня в иное странствие.

А смерть так и начинается. Это все правда, то, что казалось

пустой болтовней досужих и беспокойных умом людей: залитый слезами — покойники плачут внутренним никому не видимым лицом, — ты, уже испутивший последний вздох и отключенный от мира живых, но все сознающий, просквоженный страданием, вовлекаешься в долгий узкий тоннель со светлой точкой в конце. Ты летишь по нему, слезы обсыхают на щеках, и затухает музыка, о которой ты прежде не догадывался, тихая музыка мироздания, включающая и твою собственную ноту.

Она замолкла до того, как я достиг конца тоннеля. Дальше — провал. Не знаю, со всеми ли так бывает, возможно, исход каждого творится на свой особый лад, но я потерял себя раньше, чем вырвался в манящий свет.

Очнулся я и обрел новое место в мире, уже просуществовав в нем бессознательно то время, какое надо, чтобы из икринки вылупился головастик, вырос, оформился в хвостатое дитя, выбрался на берег, сбросил хвост, подрос и уже взрослой особью вдруг осознал свой новый образ. Я тщетно пытаюсь вспомнить хоть какой-то проблеск сознания на этом длинном пути развития. Но ведь и в человеческой моей жизни я ничего не знал о себе до четырехлетнего возраста. Близкие долго мучили меня в детстве, заставляя вспомнить, как бабушка играла на рояле «Турецкий марш», чтобы я ел манную кашу. Оказывается, уже в три года я обладал четкими вкусами: обожал моцартовский марш и ненавидел полезнейшую размазню. Не знаю, почему им так хотелось, чтобы я вспомнил то, чего для меня не было. И бабушка, и рояль, и манная каша ушли до пробуждения во мне памяти. А «Турецким маршем» озвучились мои школьные годы. Скорее всего, моему беспомыслию не верили, принимая его за тупое и злостное детское упрямство. А упрямство надо сломать для моего же блага. Они так мне надоели, что я вспомнил музыкальную кормежку, но перестарался, включив в нее фокстерьера Трильби, который обтягивал мое детство в еще более раннюю пору. Окружающие с грустью убедились, что я не только упрямец, но еще и врун, поскольку Трильби я действительно не мог помнить. Сейчас мне и самому странно, что я так поздно родился для себя. Ведь какой сложной физиологической и психической жизнью я уже жил, общался с близкими, даже сочинил, как мне потом говорили, какие-то идиотские стишки — и при этом словно не существовал.

Так и здесь. Кто-то, вполне вероятно, видел меня юрким головастиком, шустрым лягушонком — для меня там пустота. Все началось с того мгновения, когда надо мной закачался зеленый лес.

Этим лесом была трава, но прошло какое-то время, прежде чем я смог назвать густую поросль травой, а не лесом. В первые часы и дни после опаматования самое трудное было привыкнуть к невероятным размерам насельников мироздания — так пышно именую я опушку леса, поляну, шоссе и весеннее озерко, составившие отныне все мое жизненное пространство. Каким все стало огромным: травинки, цветы, крылатые чудовища, в которых так

трудно признать знакомых воробьев, ласточек, трясогузок, малиновок, чибисов, ворон. Невероятно увеличились бабочки, стрекозы, жуки, даже божьи коровки, и все лишь потому, что я стал таким маленьким. Даже некоторые мои сородичи оказались куда крупнее меня, а дальние родственницы, серые пупырчатые жабы, обернулись бегемотами. Правда, я открыл для себя неведомый мир дробных существ, которых прежде не замечал в своем человеческом величии. Трава кишела прыгающими, ползающими, скачущими, летающими малышами, иные были очень красивы и утонченны.

Вначале я тяжело переживал свое умаление. Мне не удавалось доглянуть верхушки деревьев-небоскребов, каждая лужица стала прудом, налитые талыми водами колеи — реками, весенний болотный натек — озером. Особенно угнетала ширь асфальтового шоссе, отделявшего лес от озера, оно казалось бескрайним, и перейти эту ширь, это поле было труднее, чем прожить жизнь. По нему мчались раскаленные грузовики, смрадные мотоциклы, гоняли на велосипедах беспощадные ко всему живому мальчишки.

И все же моя мизерность угнетала меня не так сильно, как может показаться, а главное, не так долго: до усвоения новых соотношений тел и предметов. Начав играть по изменившимся правилам, я перестал мучиться, ибо — помимо всего прочего — осталось, а частично возникло множество существ куда меньших, чем я сам. И наличие этой крошечной разнообразной и энергичной жизни бодрило, успокаивало.

В ином была непреходящая моя мука и мука тех, кто в новой жизни утратил человеческое обличье. Об этом никогда не говорят на тайном языке бессловесных, но я угадывал среди прыгающих, плавающих, летающих, бегающих на четырех ногах таких, кто, подобно мне, был в прежнем существовании человеком, угадывал по страданию, какого не знают живущие впервые или возникшие из растения или зверя. Но я понятия не имею, с помощью какого внутреннего устройства возникало это постижение.

Меня всегда потрясали строчки поэта: «Над бездной мук сияют наши воды, над бездной горя высятся леса». Но тут говорится о прямом взаимоистреблении живых существ, населяющих природу, ради выживания, а я — о другой, куда худшей муке. Не знаю, что чувствуют растения, когда-то бывшие людьми: деревья, кусты, травы, цветы, хотя о чем-то догадываюсь. Вы слышали когда-нибудь ночные голоса леса? Не крики совы, сыча, не уханье филина, не предсмертный визг, взвой, хрип прокушенного более сильным врагом зверя, не начинающийся во тьме щелк соловья, а скрип деревьев, вздохи трав? Я не раз наблюдал, став лягушкой, как по-разному ведут себя деревья с наступлением ночного часа. Соседствуют две березы-однолетки с крепкой корой без раковых наплывов и здоровой сердцевиной ствола, с густо облиственной кроной, но приходит ночь, и одно дерево спокойно,

тихо спит, а другое начинает скрипеть — в полное безветрие. И скрип этот — как стон, как бессильная жалоба, как сухой, бесслезный плач.

У природы нет общего языка, как нет его у людей. И все-таки я знаю, о чем они скрипят и стонут — это тоска по оставшимся в прежней жизни. Пока ты человек, кажется, что мир стоит на ненависти, что им движут властолюбие, честолюбие и корысть — это правда, но не вся правда. Зло заметнее, ярче в силу своей активности. Для тех, кто живет по злу, жизнь — предприятие, но для большинства людей она — состояние. И в нем главное — любовь. Эту любовь уносят с собой во все последующие превращения, безысходно тоскуя об утраченных. О них скрипят и стонут деревья, о них вздыхают, шепчут травы, называя далекие имена. Я все это знаю по себе: едва соприкоснувшись в новом своем облике с предназначенной мне средой обитания, я смертельно затосковал об Алисе.

Мой нынешний — ничтожный для человека, но вполне пристойный для земноводного — вид никак не отражался на силе и глубине переживания. При этом нельзя сказать, что дух остался нейтрален к изменившемуся естеству, нет, в чем-то я соответствовал новой сути. Очнувшись в весне, я не остался глух к ее чарам и, словно не отягощенный тоской, борзо заскакал к озерцу, откуда неслись гортанные призывные голоса.

Отдав весьма энергично дань природе, я потом долго торчал в зеленоватой воде, наполненной страстным шевелением охваченных любовной жадой синих существ. Пошел быстрый и светлый весенний дождик, в его нитях солнечный свет преломлялся и дробился многоцветно. Меня рассмешило, как поспешно скрылись под водой болотные Ромео и Джульетты. Они, видимо, боялись намокнуть. Я остался с чувством превосходства, но через минуту-другую тоже нырнул и устроился под листом кубышки — оказывается, капли дождя весьма чувствительны сквозь тонкую, хотя и крепкую кожу.

Дождь кончился довольно скоро, мы все опять высунули наружу мордки и заурчали, вздувая горловой пузырь. Ко мне, сильно рассекая воду, устремилась большая зеленая лягушка — ее сладострастие заряжало воду электричеством впереди нее. Я услышал сигнал, нырнул под корягу и спасся от ненужных ласк.

Разворачиваясь, она взмутила илстую воду задней лапой. Стало трудно дышать. Я поплыл к берегу и устроился в чистом мелководье на коряге, обтянутой мягким донным мохом. В плоской воде у берега я отчетливо видел свое отражение: огромный рот, выпученные глаза, бледное брюхо, начинающееся прямо подо ртом, — сколько мерзости в таком ничтожном комочке плоти! Но странно, это меня почти не тронуло. Опять навалившаяся тоска делала безразличным все на свете.

Будучи человеком, я заигрывал с идеей переселения душ, гарантирующей жизнь вечную. Казалось заманчивым примерить на

себе другие личины. Разве знал я, что в это бессмертие втянется лютая тоска? Господи, спаси меня и помилуй от такой вечности, насколько желанней была полная и окончательная смерть. А если попробовать? Коли я не умру всерьез, то стану кем-то иным. Все равно кем: львом или пауком, пальмой или крысой. Тоска подчинит себе любой образ, даже самый прекрасный. А вдруг воплотиться в такую ничтожную зачаточную форму жизни — в амебу, моллюска, медузу, что в ней заглохнет сознание, а заодно и тоска?..

Я выполз на шоссе, прыгать не было энергии, и сгорбился на асфальтовом помягчевшем от жары закрайке. Несколько грузовиков пронеслось мимо, обдав чудовищным грохотом, вонью и дымом. Я всякий раз терял сознание, а когда приходил в себя, не мог отплеваться от гари. Раз-другой меня накрывала тень большой птицы, и я невольно съеживался, ожидая удара стального носа цапли или аиста. Но тень сплывала, то были сороки или галки.

Какая-то опустошенность овладела мною. Так же неуклюже и медленно, по-жабьему отключивая задние ноги, я пересек шоссе, пропустил над собой еще одну машину, побывал в коротком обмороке и, спустившись с насыпи по другую сторону, направился к лесу. Зачем я это делал, убей бог, не знаю, да и положено мне, пока длится брачная песня, находиться при воде. Лишь когда погаснет синяя расцветка, можно идти на все четыре стороны.

На опушке я обнаружил у подножия березы ямку, в которой копошились черные жуки. Я потрогал их языком, понял, что они съедобны, и поел немного. Потом нашел какой-то мягкий сладкий корешок и помусолил беззубым ртом. Зарылся в палую листву и заснул.

Проснулся я среди ночи и не сразу узнал звезды. Ночные светила расплывались в моих новых глазах, небо было в туманных круглых пятнах, завихрениях и кольцах. Наверное, это было красиво, но чувство сиротства усилилось, не под такими звездами текла наша жизнь с Алисой.

Тишину безветрия нарушали деревья, скрипевшие из своего нутра, — такие же сироты, как я. И я тихонько заурчал, будто полоща горло, присоединился к их жалобе.

Скрип деревьев, бормот кустов, шепот трав перебили и заглушили другие звуки — ухали, охали, скулили, взрыдывали животные, бывшие когда-то людьми. Те же, что не пили жизни из человеческой чаши, спали безмятежно, глухие к памяти своих бывлых превращений; среди этих тихонь находились и первенцы бытия. А ведь и они могут когда-нибудь очнуться в человечесью муку.

Так прошел год. Нет, не совсем так. Было пять блаженных месяцев зимней смерти, когда кровь застыла в жилах, остановилось сердце и, примороженный к земле у корня старого дуба, я стал холоден и бесчувствен, как льдышка. И до чего же ненужным показалось апрельское опамятование!

Я понял, что вернулся в эту ненужную, невыносимую жизнь, по боли оттаивания. Казалось, меня раздирают на части крючьями — это распрямлялось и расширялось согретое солнцем тело. Когда боль подутихла, я хотел почиститься, но за долгую спячку сор искрошившихся листьев, сухих травинок, мертвых насекомых так вьелся в кожу, что отдирался с кровью. Пришлось отложить туалет до того дня, когда можно будет отмыться в озерке. Этот день наступил неожиданно скоро. Вдруг зашумели ручьи; снег прямо на глазах оседал, лопался, разваливался, тек, серые ноздреватые блины оставались лишь у подножий деревьев. Земля просыхала удивительно быстро. Появились белые чистенькие горностаи и заиграли вокруг берез.

А на меня опять навалилась тоска. Даже пищу отыскивать не хотелось. Я обхудал так, что косточки на задних ногах едва не прорывали кожу. И на озерко я потащился лишь потому, что все шли. Меня перегоняли даже старые жабы, которые и прыгать-то не могли, только позли, волоча брюхо по земле.

Наши шли из леса, как партизаны. Валом валили. Внушительное зрелище. Кто прыжком, кто ползком, жестко сосредоточенные и необщительные. Дружба — весьма горячая — начнется там, в воде, а сейчас была одна цель — добраться до обетованного места. Уж очень всех изнурила зима, силенок почти не осталось. Но до чего мы, оказывается, разные: есть такие крошки, что издали примешь за кузнечика, а есть — чуть не с морскую черепаху, даже оторопь берет. Лучше и наряднее выглядели мы — синие лягушки. Я очнулся после спячки бурым, как прелый лист, и не заметил, когда засинился.

Еще издали мы услышали слитный гортанный хор. Обитатели окружающих озеро зарослей уже перебрались на весенние квартиры. На берегу стояли люди. По счастью, среди них не было детей, не то хилая наша рать могла бы сильно поредеть. Детей тянет к уничтожению беззащитных жителей земли: лягушек, ящериц, жуков, стрекоз, птиц, бродячих домашних животных. Но еще при моей жизни детвора все чаще стала обращать губительный и холодный взор на себе подобных. Ребенок куда страшнее взрослого, его задерживающие центры работают лишь на страхе и никогда — на этике.

Конечно, люди на берегу пришли не ради картового хора, а чтобы полюбоваться на нас — синеньких. Я и сам так делал, когда был человеком. Нельзя оторваться от синих таинственных огоньков, горящих в воде. На остальных и глядеть неохота: тусклые, пупырчатые, громоздко-неуклюжие. Я поймал себя на том, что испытываю гордость за свою породу. Этого еще не хватало! Неужели я становлюсь настоящей лягушкой? А ведь я не завидую этим людям, и нет чувства приниженности перед ними. Наверное, так и должно быть, иначе не состоится определенное законом превращение. И хорошо бы оно поскорее стало полным, окончательным, убив память, которая после долгого беспробудно-

го сна потускнела, но могла вернуться в прежней силе, чего я больше всего боялся.

Я гордо проскакал мимо голых загорелых ног какой-то барышни, показавшихся мне колоннами Большого театра, покрашенными в золотисто-шоколадный цвет, слегка потрескавшимися и облупившимися — такой представилась гладкая молодая кожа телескопическому лупоглазью, — и не без форса нырнул в воду. Прыжок получился не слишком изящным, я перекувырнулся в воздухе, блеснув своим белым брюшком, которое мне самому было противно — чем-то вульгарно-пресмыкающимся веяло от него, а ведь мы не ползающие и не стелющиеся по земле, мы прыгуны-летуны, мы ближе к птицам, чем к гадам ползучим. Только не хватайте меня за лапку — жабы не из нашей команды, к тому же умеют прыгать, но ленятся.

— Лягушонок-акробат! — сказала обладательница облупившихся колонн. — Видали, какое он скрутил сальто-мортале?

— Какой я тебе лягушонок, дура? — заорал я в бешенстве. — Я взрослый мужик. Попадись ты мне только!.. — но для нее эта громкая тирада была пересыпанием гороха в стеклянной банке.

И я подумал, что лучше бы мне забыть человеческую речь. Раз общение невозможно, зачем мне знать, о чем говорят те, одним из которых и я недавно был. Куда важнее понять язык моих новых сородичей. Природа не знает бессмысленностей и бесцельностей, это удел людей, и коли картавая французская речь так неутомимо обслуживает мокрую весну, значит, она служит чему-то важному. Надо ей научиться.

А затем был долгий, еще не занятый спариванием день, безмятежное блаженство меж прохладой воды и теплом солнца. Удивительно приятно, когда сверху припекает, а снизу поддает остудью, особенно если ты нашел место с пузырьками, всплывающими со дна и лопающимися у тебя под брюхом. Лежишь, слегка раскорячившись, и пялишься на божий мир — вот проклюнулся цветок мать-и-мачехи, вот треснула коробочка одуванчика и полыхнуло желтым огоньком, взблеснул погнавшийся за мухой пескаррик, стрекоза опустилась на бутон кубышки, и зашипало глаза от слюдяного сверка ее крылышек. Пролетела еще неуверенными зигзагами милая бабочка, ондатра нырнула с кочки в воду, пустив тугую волну, и закачало дурманно... Смотришь на весь заигравший мир и ни о чем не думаешь, это почти сон, но не зимний, глухой, бесчувственный, а легкий, вполглаза, животворящий. Мир ощущался как единый организм, в нем циркулировали соки, роднящие все живое на свете и создающие некое вселенское братство, которое, увы, не может быть столь истинным и полным, как на заре бытия, до первой пролитой крови. С ударом Каина в мире поселилась опасность, исчезло доверие, и лишь в весеннем коротком вее промелькивает та любовность, которая некогда объединяла все сущее.

Когда я очнулся от своих грез, водоем опустел, наши попрятались, вода стала розовой, а водоросли бархатно потемнели. Пространство оцепенело — ни дуновения, ни шелоха, ни звука. Не знаю, зачем я выбрался на пустынный берег. Чувство внезапного одиночества обернулось лютой тоской, а тоска сразу нашла образ: взмах ресниц над темно-карими глазами. Кончики ресниц были так близко, что я мог дотянуться до них и уколоться. Если б мог!.. Вот я и получил ответ на вопрос, заданный себе утром: кто я? Со мной случилось самое худшее из всего, что могло принести новое существование: я был лягушкой с человеческой памятью и тоской.

...Я видел дачную террасу в дождливый день исхода августа. Очередной дождь только что прошел, в густом саду измокшие листья тихо шевелились от стекающих капель, показывая то темную рубашку, то светлый испод. Текло по стеклам террасы, капало с крыши, стружкой бежало с водостока. Заросший, в туманной влаге сад походил на морское дно. А застекленную террасу легко было представить себе подводной лабораторией Жака Ива Кусто — казалось, вот-вот сквозь боярышник, рябину и яблони поплывут большие рыбы с жалобными ртами.

Алиса лежала на тахте, к ней приставал щенок-эрдель, требуя, чтобы его почесали. У них была такая игра: Алиса чесала его длинными ногтями по крестцу от шеи к обрубку хвоста, он изгибался, задира морду и часто-часто колотил левой лапой по полу. А потом она говорила, словно про себя: «Надо Проше бородку расчесать», и он тут же, жалко ссутулившись и поджимая свой обрубок, убежал и с грохотом забивался под стол, чтобы минуты через две-три появиться опять с великой опаской, тогда все начиналось сначала. Это был ежедневный, слегка надоевший мне своим однообразием ритуал, но почему-то в тот день, когда мы погрузились в морскую пучину, я сказал себе на слезном спазме: «Это и есть счастье. Когда-нибудь ты вспомнишь о нем».

Мог ли я думать, что воспоминание придет к синему лягушонку, скорчившемуся у весенней воды?

В нашей долгой жизни с Алисой — мы и серебряную справили — было столько Берендеевых лесов, столько Средиземноморья, островов, лагун, столько храмов и старинных городов, дивной музыки и нетленной живописи, а образом счастья оказался мокрый сад, терраса и длинные пальцы, погруженные в жесткие завитки эрдельей шерсти.

Так я томился на берегу, маленький, жалкий комок плоти, выплевков, куда запихали слишком большую душу, а вокруг творилось вечное волшебство божьего мира — ночь высеребрилась из края в край и наполнилась тайными голосами...

Проснулся я с тем странным вздрогом, опаданием сердца, когда чувствуешь, как отлетает от тебя жизнь. Однажды я так же вздрогнул во сне, вскрикнул, хотел вскочить, ухватиться за ускользящее, но не успел. И был тоннель... Очевидно, я и в новой

жизни остался сердечником. Это меня не взволновало, как не волновало и в той, первой жизни. Там я не хотел страхом смерти отравлять свои дни, здесь я не хотел их длить. Коли уж я приговорен к вечности, пусть скорее наступит другое, пусть быстрее сменяются эти личины, мне все равно с ними не сжиться.

Существо человека ничуть не выше существа лягушки, крысы или вороны. Их структуры куда совершеннее. Человек слишком рано оторвал передние лапы от земли и, выпрямившись, перегрузил позвоночник. К старости у всех мучительно болит спина, поясница, ноги и портится характер. Добавьте к больным ногам, лишаящим высшего счастья бродить по земле, еще непрерывно действующее сознание, и станет ясным: какая жалкая тварь человек. А лягушка, крыса, ворона достигают старости в отличной форме, к тому же не разъедены «рефлексией», как в школьных учебниках называют способность к размышлению. Странно, лишь став лягушкой, я принялся рефлексировать. Лягушка-резонер. Шутки в сторону: из всех ужасных игр Творца самая страшная — вечная жизнь души. Для души, увы, есть всего лишь одно местелище — несовершенное, плохо приспособленное и незащищенное человеческое тело, во всех иных превращениях с душой нечего делать. Она мешает. И коли есть смерть тела, так должна быть и смерть души. И будь она благословенна!..

...Это случилось в разгаре весны. Я выбрался на берег и увидел небольшого безрогого оленя. Что-то подсказало мне — оленюху. Она стояла на берегу и раздумывала: напиться ли из водоема, кишашего лягушками, или поискать не столь замутненный источник. Она не могла брезговать нами, самыми чистыми существами на свете. Недаром хозяйки кладут нас в молоко для охлаждения. Ведь мы обладаем замечательным свойством: чем теплее среда — вода или воздух, тем ниже у нас температура. От теплого парного молока мы холодеем и остужаем молоко. Но гоняясь друг за дружкой, ныряя и безумствуя, поднимаем со дна ил.

Косуля — я вспомнил, как называется незнакомка — нашла чистое место, вытянула шею и принялась пить. Мне понравилось, как ловко и деликатно лакает она воду узким длинным нежно-розовым языком. Попив, она облизалась, змейкой пустив язык вправо-влево, затем по темному пятаку носа. У нее были удлиненные темно-карие глаза и длинные ресницы. Она мигала редко и старательно, словно пытаюсь прихлопнуть слепящий солнечный луч. Но он выскальзывал. Меня развеселила эта милая игра для самого себя. Удивительно приятно было смотреть на нее, хотя какое мне дело до таких больших и гордых животных, с которыми невозможен никакой контакт? А вот же, оторваться не мог. Пялился во все пучеглазье на ее изящную головку, которую она то и дело щегольски вскидывала, на крепкие ноги с красивыми острыми копытцами, на гибкую, с острым хребетиком спину. Тугая кожа оформляла в доброжелательную улыбку каждый ее отзыв на внешнее впечатление — от стрекозы, шмеля, камышовки.

И так хотелось прикоснуться к гладкой черно-бурой шерстке! До чего же она мне нравилась — в разрыв души, и, бессильный выразить свое восхищение, я стал кувыркаться, ужасно неловко, неуклюже, мы вообще неловки во всех движениях, кроме прыжка, да и то, бывает, заваливаемся на спину. Но какое это имело значение? Она и внимания на меня не обращала. А я совсем зашелся и стал бить себя передними лапками в грудь, хотя они не приспособлены для таких движений, и тонкие косточки затрещали. Это было больно, но мне нужна стала такая боль, чтобы не пускать другую, куда худшую — от надвигающейся угадки.

Косуля заметила гимнастику маленького синего гада, и в продолговатых глазах ее зажглось благожелательное удивление. Наверное, она приняла это за какие-то ритуальные движения весеннего обряда и, разумеется, не отнесла к себе. Я же становился все более неприличен: катался по земле, не стесняясь своего бледного глянцевого брюха, пытался встать на голову, но шлепнулся, сделал обратное сальто, чуть не выколов глаз о сухую былинку, а потом пополз к ней, волоча задние ноги, как параличный, припал широкоим беззубым ртом к копытцу и стал мусолить его, что самому мне казалось поцелуем. Она отдернула ногу — не то брезгливо, не то испуганно. Но я опять подполз, уткнулся в копытце, похожее на детский бумажный кораблик, и вдруг утратил окружающее. Я уже давно знал, что это Алиса, но только сейчас понял, что она тоже умерла, и от жалости к ней лишился чувств.

Я очнулся от прикосновения чего-то нежного и влажного. Она осторожно лизала меня своим узким язычком. Боже мой, неужели она поняла, что за смехотворными моими кривляниями — признание в любви? А что, если она поняла больше?.. Узнала меня?.. Узнал же я ее... Да что тут общего? Нам выпали разные превращения. Она осталась Алисой — те же милота и грация, узкое лицо, удлинненные глаза, долгая улыбка, даже щегольской вскид головы — все было от прежней Алисы — прекрасная женщина стала прекрасным зверем. Косулю-Алису можно было высмотреть в Алисе-человеке, но даже мой злейший враг не углядел бы во мне прежнем болотного скакуна.

И чего я, как слабонервная девица, все время грохаюсь в обморок? Надо петь, сходить с ума от невероятного, невысказанного счастья, что тоннель из смерти в другую жизнь вынес Алису на берег лягушиного озерца и дал мне уткнуться глупой башкой в ее копытце.

Почему она меня лижет? Могла она проглянуть какую-то загадку, тайну в иступленных ужимках синего лягушонка? Ведь она была из тех же несчастных, что сохранили память, и боль, и тоску о минувшем.

Не без усилия принял я сидячее положение. Ее лицо было совсем близко от меня, и я увидел, как из уголка глаза выкатилась и побежала, оставляя глянцевую полоску на темно-бурой шерсти, крупная, как виноградина, слеза. В ней, словно в выпуклом зер-

кальце, отразился раздувшийся в шар уродец — еще более отвратительный, чем на самом деле. Господи, можно ли поверить, что это я — я — я?!

Почему же она плачет? Неужели ее вещая душа, вопреки разуму и очевидности, сказала ей правду?..

Ее большая, но не пугающая голова еще приблизилась, теперь пузатое чудило переместилось в рисинки зрачков, открылся розовый зев и бережно вобрал меня в себя. Я поместился в мягкой влажной ямке у нижней челюсти. Алиса оттопырила губу, чтобы поступал воздух и я мог дышать, и в таком блаженном экипаже отправился я в новое свадебное путешествие.

У нее в лесу был тайник, недалеко от опушки, но все же неприметный: ложбинка в густом кустарнике, сквозь который не пробраться, коли не знать лаза. Я-то проскользну в любую щель, но крупное существо, если сунется наугад, оставит всю свою шерсть на колючих сучьях.

Алиса выпустила меня на волю и легла, уютно свернувшись в кольцо. Я облюбывал для ночлега ее ухо, более прохладное, чем остальное тело. Видимо, ей было щекотно, она некоторое время дергала ухом, потом смирилась. Мы уснули...

И началась наша совместная жизнь. Неожиданно мы оба оказались полуночниками. Я отправлялся на кормежку ночью, потому что моя пища — летучая, быстрая, верткая, доступна длинному языку лишь в сонном состоянии. Конечно, на озерке я мог иной раз слизнуть зазевавшуюся букашку и даже ловкую изумрудную муху, но этим сыт не будешь. Я ходил на промысел, когда все летуны и ползуны спали. Странно, что я, такой крошка, был мясоед, а Алиса, такая большая, вегетарианка — щипала траву, объедала листву и молодые побеги. Свою еду она могла брать и днем, но дня она боялась и очень редко отправлялась на прогулку при солнечном свете. Особенно после того, как в просеках зазвучали выстрелы. Она забивалась в свою ямку и непрерывно дрожала. Это браконьеры стреляли вальдшнепов на тяге. Вообще-то тут была запретная для охоты зона, поэтому в небольших здешних лесах сохранились и лоси, и лисы, и зайцы, и горностаи, я их всех видел не раз, а вот другой косули не встречал.

Мне было мучительно жалко Алису, и, чтобы ее подбодрить, я демонстрировал великолепное бесстрашие — беспечно скакал, дурачился, к сожалению, это мое удачество пропадало втуне.

Насытившись, мы обычно играли. Алиса любила прятаться, я должен был ее искать. Это сохранилось в ней от наших человеческих дней: она вдруг пропадала, не уходя с дачи. Обычно я знал, где она находится, но вдруг возникало странное ощущение пустоты. Я звал ее, она не откликалась. И хотя это повторялось раз за разом, я пугался и начинал поиски. Мотался, как последний дурак, вверх и вниз по даче, заглядывал на кухню, в ванную, на нижнюю террасу, на солярий, а она стояла под винтовой деревянной лестницей, зажав себе рот, чтобы не выдать себя смехом. А

могла просто лежать на диване в гостиной, так ловко накинув сверху какую-нибудь тряпку, что мне и в голову не приходило посмотреть там. Могла спуститься в погреб на кухне, делая вид, будто не слышала моего зова. Самое удивительное — я никогда не находил ее. В игре была своя, только нам доступная глубина. Мы жили вдвоем, практически никогда не разлучались, даже на короткое время, наверное, нам надо было чем-то освежать восприятие друг друга. Недаром мы оба так радовались, когда она вдруг объявлялась с громким смехом — такая несмешливая в обычное время. Хоть это и жутковато звучит, но суть безобидной игры состояла в умирании и воскресении. Мы бессознательно наигрывали то, что нас ждало в будущем.

А сейчас мы играли в прятки из любви к нашему прошлому. Мы так мало могли взять из него в настоящее: совместную трапезу и сон да вот эти игрища. Впрочем, так ли уж это мало?

Мы жили очень уединенно. Порой нас навещали соседи, чаще заяц, которого Алиса любила и жалела за кротость, деликатность и всегдашнюю готовность к несчастью. Иногда он приходил вдвоем — с женой или подругой — не знаю, меня их отношения не касались. Заяц при всей своей симпатичности относился ко мне не сказать свысока, а как-то небрежно. Мне кажется, он не догадывался, какое место я занимаю в доме. Однажды появилась лиса с умильным видом, но была решительно прогнана Алисой. Вот не думал, что кроткие косули могут быть такими яростными. Оголодавшие лисы поедают лягушек. Алиса чуть не пришибла ее задними ногами. Больше мы рыжую не видели. Захаживали лосята-годовики — горбоносые, голенастые и удивительно застенчивые. Алиса была приветлива с ними, но держала дистанцию. Молодые люди, потоптавшиеся у нашего логовища и ободрав кору с осинки, отправлялись свосояси, шумя сквозь чащу, как ураган..

Все это были простодушные существа, то ли перворожденные, то ли уже посетившие мир в виде животных или растений, ни один не скрывал в себе грустной тайны человека. Быть может, поэтому и не завязывалось отношений. Да нам никто не был нужен.

Нет большего счастья, чем быть с тем, кого любишь. Ощущение друг друга, когда оно такое сильное, как у нас, до краев заполняет время. К тому же мы теперь были погружены в природу; ее музыка, ее живопись, ее книга, которую не дочитать до конца, куда увлекательнее копий, создаваемых людьми. Чтобы по-настоящему оценить природу, надо непрерывно находиться в ней, тогда ты не просто гость и наблюдатель, ты от нее зависишь. Ты обязан угадывать, что в ней зреет, иначе она застанет тебя врасплох. Тепло и холод, дождь и ведро, ветер и снег, град и утренник — даже для городских жителей это немало значит, а что же говорить о нас, не защищенных стенами и крышей, прикрытых лишь тем, что нам дала природа, а дала она кому теплый мех, кому тонкую кожу, но в утешение — дар спасительной зимней

смерти; впрочем, медведь в своей дохе тоже должен на зиму умирать, иначе станет шатуном и сойдет с ума от голода.

Это как бы деловая жизнь в природе, служащая самосохранению, а куда как огромно пространство бескорыстной радости от соучастия в суе естественного мира. Каждое живое существо — часть природы, лишь человек противопоставил себя ей, и в этом его проклятие. Мне трудно судить о качестве ощущения природы теми, у кого зачаточное сознание, во мне оставалось слишком много человеческого. Да все во мне было человеческое, кроме физической структуры, что, впрочем, немало. И это человеческое, с одной стороны, обостряло чувство естественной жизни, с другой — мешало слиться с ней. Наш — мой и Алисин — взгляд на окружающее был все-таки взглядом со стороны. Но с некоторых пор мне стало казаться, что мы дружно и благостно глупеем, и это делало нас более свойскими в мире, поющем песню без слов.

У нас были свои любимые цветы, травы и молодые деревца, за ростом и развитием которых мы следили, свои заветные места в лесу, где собиралось много мелкой жизни и на пространстве с медный пяточок творились шекспировские страсти. Нет ничего интереснее любовных утех насекомых. Тут все чудо. Ухаживание — галантный восемнадцатый век не создавал таких шедевров изящества, грациозности, жеманства и утонченности, какой является пара флиртующих кузнечиков; а как изысканно-нервно соблазняет стрекозный кавалер свою разборчивую даму! Но еще удивительнее — апофеоз любви. Японские эротические альбомы — вершина назидательной порнографии — ничему не могли бы научить этих специалистов. Признаюсь, меня порой шокировало, когда две одушевленные прочищалки для примуса или бельевые прищепки начинали предаваться своим чудовищным ласкам на глазах Алисы. По счастью, она только вдале хорошо видела. Если брать природу за нравственный образец, кодекс приличий должен стать куда снисходительней. А ведь это мудро: естественный мир закономерно стремится извлечь максимум удовольствия из той премии, которая положена за продолжение рода.

Знаменитый натуралист Фабр сказал, что если у человека есть два акра пустыря, то счастья наблюдений ему хватит на всю жизнь. А у нас были не жалких два акра, а лесное государство, в полное владение которым мы вступили с уходом браконьеров.

Отсинели июльские ночи, отремели августовские грозы, проплыла паутинка бабьего лета, и закружились в воздухе желтые листья. Минул сентябрьский березовый листопад, затем октябрьский — осиново-ольховый, жестким гребешком ветер дочесал рощи до полной голизны, а в нашем лесу сохранил лишь усталую зелень хвойных. Слишком сквозным, открытым и беззащитным стало наше государство, в нем опять поселился страх. Большие звери попрятались и выходить стали только ночью.

Опять дрожала Алиса, свернувшись в своей ямке, и опять я

пыжился вселить в нее бодрость своим ухарским видом. Но вскоре пал и этот жалчайший бастион — ударили морозы, кровь застыла во мне, и я погрузился в зимнюю спячку. Перед этим я успел заметить, что пошел снег и Алиса нагребает на меня копытцем палую листву.

И начался тот невероятный сон, когда я понял таинственные строки Лермонтова:

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

При своем тупо реалистическом мышлении я никак не мог представить себе такого вот вечного сна. Мне казалось, о чем бы ни пел мне сладкий голос, у меня будет лишь одно желание — скорее проснуться. Наверное, во мне говорила клаустрофобия. Такой вот сознающий себя, но безвыходный сон страшнее любого замкнутого пространства, даже застрявшего лифта. И никакая песня любви, никакой вечнозеленый дуб, как бы он ни склонялся и ни шумел, не примирят меня с безвыходной околдованностью сознающего себя сна. А теперь я понял, что Лермонтов и тут угадал. Этому поэту было открыто то, чего не было да и быть не могло не только в его собственном опыте, но и в коллективном опыте его времени. В том же стихотворении он говорит:

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...

Откуда он мог знать, что земля отбрасывает голубой отблеск на мировое пространство? Он же не летал в космос. Но разве не космическим видением рождены эти строки:

На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил...

И он, оказывается, знал, изнутри знал анабиоз. Причем не простую остановку жизни в переохлажденном организме, а мой редкий случай — анабиоз под охраной любимого существа. Не проделал ли Михаил Юрьевич обратный путь от лягушки к человеку?

Пусть не пел мне сладкий голос — косуля лишена песенного дара, она может фыркать, ворчать, урчать, может закричать призывно и смертно, но Алиса безмолвствовала. Она просто была при мне, иногда обнюхивала мерзлый камушек и угадывала — живой. Она лежала рядом, но не слишком близко, ибо ее тепло могло меня разморозить, а наружный холод — убить. Откуда она

все это знала? Но я слышал, слышал ее дыхание, стук ее сердца, я чувствовал ее любовь и видел, видел зазеленевшие побеги весны моего пробуждения.

Ни разу не шевельнулось во мне желание скинуть путы не-движности, вырваться из пространства, равного моему оцепене-нию, в которое я был замурован, и не нужно было ни видеть лю-бимую, ни прикасаться к ней, такая полнота счастья и покоя вла-дела мною, такая надбытийная завершенность.

Я знал, когда она уходила, потому что замолкала неустанно звенящая нота, и тогда мой сон становился провальным, избавляя от тоски и страха, она возвращалась и опять звучала та высокая нота, а сон-смерть оборачивался дремой жизненных сил.

Так прошла зима. А весной я очнулся, подполз, скрипя негну-щимися суставами, к спящей Алисе, приткнулся к ней и стал отогреваться.

То была на редкость дружная, некапризная весна. Быстро рас-топила она снег даже в самых укромных местах, прогнала бурли-вые ручьи и принялась сушить землю и тащить из нее траву и цветы. Нас навестил полублестящий заяц, торопливая, неопрятная линька придавала ему, всегда такому аккуратному, вид бомжа. Забежала белочка, вся серая, а хвост и ушки огненно-рыжие. Лес налился птичьими голосами, и меня вдруг неудержимо потянуло на озерко.

А я-то думал, что покончил с этими глупостями. Алиса прово-дила меня до опушки. Дальше идти она побоялась, в просеках уже постреливали браконьеры, что-то рано началась тяга в этом году. Мне казалось, она чуть лукаво улыбалась, словно догадыва-ясь о моих кавалерственных намерениях. Но может, я и приду-мываю.

Я благополучно перебрался через шоссе, где перламутрово сверкали под солнцем трупы наших, как всегда, брюшком вверх. Торопясь к обетованным водам, они пали под колесами грузови-ков.

Меня встретил мощный хор, брачные торжества были в самом разгаре. До чего же приятно было погрузиться в холодную воду, сразу разогревшую кровь!

Ну и наповесничал я там! И хоть бы совесть заговорила. Нет, не совесть, а усталость погнала меня с озера.

Совсем уже без сил, где скоком, где ползком тащился я до-мой. С бугра за шоссе я просто скатился, повредив тонкую кожу, кое-как дотрюхал до опушки, здесь сделал долгую остановку, по-сле чего двинулся дальше. Было неприятно, что Алиса увидит ме-ня в таком непрезентабельном виде, и я уже подумывал, не по-спать ли часок-другой в теньке под лопухом, но сквозь усталость пробилась непонятная тревога. Что-то такое чувствовалось в воз-духе. Гарь? Лесной пожар? Его дым пахнет лесом, а это был чу-жеродный запах. Забыв об усталости, я припустил к дому.

На краю ложбины я почти успокоился, поняв тем чувством,

которое было во мне от зверя, что Алиса там, но успокоиться совсем помешало другое, смутное чувство, идущее от человека, что она там, но ее нет.

Я прыгнул вниз и уткнулся в нее, в ее мертвое, залитое кровью тело. Не пожарная гарь, а селитряная вонь пороха истаивала в воздухе на опушке.

Зачем она вышла из укрытия, когда в просеках стреляли? Возможно, ее встревожило мое долгое отсутствие. Только этого не хватало — думать, что из-за меня... Вся израненная, с простреленной головой, она дотащилась сюда, до нашего обиталища. А я бесчинствовал на озерке, как японский бизнесмен в Хаммерцентре. Я засмеялся. И смеялся до изнеможения над ни с чем не сравнимой по нарочитости, вульгарности, бездарности и антихудожественности драматургией жизни. А потом я спросил себя: кому нужна жестокость без очищения? Чему это научит мировую душу? О чем думал Господь, помешивая поварешкой свой кипящий суп? Если ты не хочешь, не можешь повторить чуда Иова, Господи, то убери свои руки от мира, зверствовать здесь и без тебя умеют.

Я не задержался в логове. Мертвая косуля, холодная и твердая, с оскаленной пастью и пыльными глазами, уже не была Алисой. Я торопился на шоссе. И пока я туда добирался, меня не оставляло чувство, что я о чем-то забыл, о чем-то очень важном, не спасающем — какое там! — но необходимом...

Первый грузовик прогрохотал, не причинив мне никакого вреда, только оглушив и одурманив на время, хотя я выбрал место на самой колее, на черном подплаве разогретого солнцем и помятого шинами асфальта. И две легковые машины побрезговали моим ничтожеством. А затем надвинулся такой невероятный чудовищный грохот и жар, что я рванулся к нему, едва не умерев до смерти, но вся эта обвальная мощь обернулась раздавленной задней лапкой. Как могла такая махина ухватить эту малость?..

И тут послышались детские голоса, и чья-то рука подняла меня с земли. Я расслышал радостный возглас: «Ну, все! Хватит! Порядок!» И обрадовался. Не то чтобы я раздумал умирать, но мне так нужно было сочувственное слово, хоть чуточку участия.

Мальчик куда-то понес меня. Вскоре мы оказались на лужайке под старым засохшим дубом. Еще издали меня опажнуло неприятным жаром. Организм тут же ответил резким понижением температуры, но жар был слишком силен, и защита перестала действовать.

Горел костер. А возле него лежали нанизанные на деревянные вертела мои собратья. Мальчишки собирались жарить шашлык. Это увлечение занес к нам американский детский приключенческий фильм «Дик и Пэгги в лесах», убедительно доказывающий, что смысленные и умелые нигде не пропадут. В целом это было назидательное и благолепное, как воскресная школа, зрелище, но наша детвора вынесла из него лишь пристрастие к лягушинуму

шашлыку. Заостренный прутик вонзился мне в зад и, порвав что-то внутри, вышел через рот. Я не был ни смышленным, ни умелым, мне надлежало пропасть.

По сторонам костра были вбиты рогатки, на эти рогатки уложили отягощенные мясом шампуры. Мы все еще были живы и начали корчиться, когда пламя лизнуло кожу. О это совсем не легкая смерть и не быстрая, даже для таких хрупких и незащищенных созданий, как мы. Корчась и задыхаясь, я сумел вспомнить о том, что толкалось мне в мозг и душу, когда я шел от мертвой Алисы: это не конец, будет еще тоннель... А раз так... То когда-нибудь, где-нибудь... Пусть через тысячи лет, через все превращения и муки... Господи, прости мне хулу на тебя... Господи, боля твоя!..

ЛЮБИМЫЙ УЧЕНИК

РАССКАЗ

Как полагается, в преданиях все это обрело притчевый лад, стало наглядным уроком смирения. Иначе и быть не могло. Каждый его жест, каждое слово были перетолкованы в поучение, что не лишено основания. Он не мог растрачиваться на свободную игру чувств; слишком мало времени было ему отпущено, — пойдя вырасти урожай новой веры на каменистой, сухой, неплодной почве дремучих душ. Но сейчас было другое, ему хотелось прикоснуться к человеческой плоти, в близости страшного исхода ему висло, как мало телесного было в его жизни.

Сильно и нежно помнились ему ласковые крепкие руки и круглые колени матери. Смутно, то ли истинным детским воспоминанием, то ли мнимой, навязанной ему окружающими памятью виделся единственный товарищ его ранних лет, брат в каком-то колене Иоанн, серьезный, красивый и печальный, немного старше его. Неужели он провидел свою судьбу, что голова его с закатившимися глазами будет подана на золотом блюде блудной Иродиаде? Наверное, так подробно он этого не знал, но знал, что будет страшное, и потому никогда не улыбался, тихий, сосредоточенный в себе, приветливый мальчик. Но ведь и ты никогда не улыбался, потому что тоже знал, что в конце будет страшное. Блаженны неведующие... Как скромны и тихи были их редкие игры. Они не возились, не боролись, не барахтались, как все мальчишки, Иоанн что-то искал в траве, потом приносил цветочек, и вы молча внимательно его рассматривали. И ты в свой черед находил камушек или мертвую бабочку и нес находку другу. И снова шло безмолвное, задумчивое лицезрение. Вы не знали названия этих цветов, травинок, насекомых, но почему-то не спрашивали своих матерей — Марию и Елизавету — об именах малых

мира сего. Лишь раз попался цветок, напоминающий формой крест, ты видел такой в руках у матери, когда еще не умел ни ходить, ни говорить и жил у нее на коленях. Слово «крест» вошло в название, но ты не вспомнил.

Мать поздно спустила его с рук на землю, словно боялась, что он уйдет и потеряется. Он и ушел в свой час, без сожаления и печали, как уходил от всех ради ждущих впереди. Лишь тем двенадцати, которым он сегодня вымоет ноги, позволено было следовать за ним. Одних он сам позвал, другие напросились в спутники, третьи были ему вверены.

А с Иоанном они встретились через много лет, когда тот стал рослым, стройным мужчиной с прекрасной лохматой головой; его крупное тело было закутано в плащ из грубой верблюжьей шерсти, дыхание отдавало диким медом и травами, он проповедовал людям о скором приходе Мессии и крестил их в Иордани. Иисус пришел к нему из Галилеи принять святое крещение. Что-то отстраняюще щепетильное было в смирении, склоненности Иоанна перед ним, и это пресекло возможность доверительного тона старой дружбы. Пришлось удовольствоваться негреющим жаром встречи Мессии и его пророка.

Мысль соскользнула с Иоанна, Иисус вспомнил сестер Марфу и Марию, в чьем доме он находил приют. Они омывали его усталые ноги, мазали миром голову. Особенно приятны были прикосновения легких, внимательных, никуда не спешащих рук Марии. А Марфа, всегда не успевавшая по домашности, вечная хлопотунья, омывала ноги, будто миску споласкивала после еды.

Другая женщина, тоже именем Мария, омыла ему ноги слезами и вытерла своими пышными мягкими рыжими волосами. Она была блудницей среди людей, но что ему это этого? Раз на дороге она припала к его ногам, он наклонился и тронул ее за плечо и в этот миг забыл себя и свое предназначение. Хотелось зарыться в ее рыжие, с бронзовым отливом волосы и остаться там навсегда.

Сам он редко касался человеческой плоти, разве что исцеляя прокаженных, изъязвленных, параличных, бесноватых или оживляя трупы, но физической радости эти прикосновения не доставляли.

Телесность жизни — вот чем он был обойден. Одинокие странствия по каменистой пустыне и пыльным дорогам, удаления от мира, мучительные искусы, проповеди и поучения, бездомность — лисицы имуть норы, птицы небесные — гнезда, а Сыну человеческому негде преклонить голову, — все это уводило от густого человеческого тепла в стылую пустоту бестелесности. Он трогал жизнь не перстами, а словом. И как прекрасно было, когда вдруг, устав от бессилия взываний, он схватил плеть и отхлестал торгашей, раскинувшихся в храме со своими товарами, выгнав их вон. Хорошо погуляла треххвостка по жирным спинам и плечам.

И чудесно вспомнить, как на белой ослице он спускался с Иерихонской кручи после сорокадневного искуса, легкий, словно

бы хмельной от голода, ободравшего его плоть до тонины осеннего листа, и чувствовал худыми лядвиями крепкие шелковистые бока ослицы, а седалищем — твердый круп. Он сидел, сильно откинувшись назад, иначе ослица повалилась бы с отвесной пади, по которой извивалась узенькая тропка. Она так наклонилась, что он видел лишь холку и кончики ушей, но не видел головы; порой казалось, что он пребывает в свободном падении — парении, и это оборачивалось предчувствием вращающейся невесомости, а ему хотелось совсем иного — тяжести плоти. И он обрадовался, когда в изножии склон стал менее крут, а там и вовсе — пологим, тропка расширилась и в правую ногу ему заколотился лопаткой сынок ослицы, трусивший на круче сзади. Иногда он тыкался в него мягким носом, и радостно было слияние с плотью жизни.

Он уже знал, что в небесном чертоге Отца ему будет скучно без грубой, плотной, пахучей, пестрой земной круговерти с кучей ненужных забот и дел, порочной, низкой, отвращающей персть земную от милостиво простертых божьих рук — да ведь после сладкого родникового воды хочется иной раз ожечь гортань глотком пряного хмельного вина. И сейчас он жалел, что так мало пил из этой чаши.

До чего же, наверное, страшно, душно и захватывающе постоянно пребывать в обхвате этой жизни, сквозь которую он проходил, как солнечный луч сквозь воздух.

Я ведь так мало знаю о той обычной жизни, которой живут простые люди, а не пророки, думал Иисус. Я не знаю названий многих деревьев, цветов, трав, камней, мелких животных, снующих в траве и песке, я даже не знаю, как называются иные предметы, служащие для домашней пользы, ремесла, забав. Я затрудняюсь порой на обычных словах, и обо мне пустили слух, что я косноязычен. Я слишком рано задумался над тем, что непричастно дневной заботе, и тут у меня достаточно слов, а если вдруг не хватало, я создавал нужные слова сам, и люди, слушавшие меня, понимали их, будто всегда знали, лишь не желавшие слышать делали вид, что не понимают. И я слишком рано прозрел участь, мне уготованную, и ужаснулся. Нет, я сам уготовил её себе, пожалев людей и дав этой жалости превзойти любовь к себе единственному, на чем стоит мир людей. Господь, создав меня своим хотением, предоставил мне право выбора. Я мог остаться одним из пророков, еще одним предтечей, но я принял на себя ношу и стал сыном Предвечного. Я не был обречен на свой путь, Вифлеемская звезда сияла не мне, я даже не видел ее из вертепа своими мутными опрокинутыми глазами. Она была звездой надежды. Все делается произволением Божьим, но мне дана была свобода. Я выбрал крест, не обманув Небесного отца. Но пока еще я Сын человеческий и чувства во мне человеческие, иначе я не мог бы исполнить того, к чему призван. И страдания мне предстоят человеческие, и они страшат меня, и опамятование в славе и бестелесности не довлеет моей душе.

...Иисус взял в руки стопу Иоанна, «которого Он любил» — с трогательной и наивной настойчивостью будет повторять Евангелист, вспоминая свои дни с Христом. А потомки перетолкуют в «любимейшего». Верно ли это? Он, правда, очень любил Иоанна и дал ему место возле себя, как и брату его Иакову Заведееву. О том просила Иисуса их мать, доверяя ему своих сыновей. Он отчитал тщеславную женщину мгновенно родившейся притчей, но по какой-то слабости выполнил ее просьбу. А ведь одесную от него надлежало бы сидеть Петру — камню, на котором он оснует свою церковь, Петру — будущему первосвященнику, хранителю райских врат.

Иоанн был одним из самых любимых, он старался всех любить одинаково, но даже ему это не удавалось. Иоанн был ласков, как женщина. Он все стремился склонить голову на плечо, на грудь Учителя, приятно щекотали шею его волнистые мягкие волосы той же бронзовой рыжины, что у Марии Магдалины. Остальные ученики не решались прикасаться к Учителю, даже горячий, порывистый, не умеющий сдерживать своих движений Петр. Ласковость, любовь, нежность были сущностью Иоанновой души, и невероятно, что этой женственной натуре суждено исторгнуть из себя самые ужасные, неистовые, опаляющие ум слова, какие только слетали когда-либо с человеческого языка, слова его Откровения. Величайшим словослагателем и бесстрашным провидцем окажется этот кроткий человек с легким пушком на округлых девических ланитах. Ему выпадет самая счастливая и долгая жизнь из всех апостолов, если может быть счастлив человек, увидевший внутренним взором коня бледного и семь Ангелов с семью язвами, в коих изойдет ярость Божия. Он узнает бичевание, но его минует мученическая смерть. Его преклонные дни закатятся среди свято почитающих его единоверцев, которым он, совсем уже дряхлый, будет настойчиво повторять: дети, любите друг друга. Они спросят его, зачем он постоянно твердит одно и то же. И он ответит: это заповедь Господа, и если соблюдете ее, то и довольно.

Нога Иоанна была под стать всему его телесному составу: стройная, с узкой стопой и длинными пальцами, какая-то незахоженная, будто не прошел он следом за Учителем столько каменистых дорог. Иисус с удовольствием обмыл ему ноги и вытер полотенцем из сурового полотна. «Спасибо, равви», — с красным от смущения лицом проговорил Иоанн и отошел, так бережно ставя ноги, будто опасался за свои отныне драгоценные конечности.

Он вымыл ноги Иакову. Тот слышал проповеди Иоанна Крестителя и без колебаний пошел за Иисусом, когда тот его позвал. Это было в характере Иакова: он пойдет как угодно далеко, если его подтолкнуть, и остановится, лишь когда его удержат. Приверженность таких людей особенно ценна, она словно гарантия истинности твоего дела. Иаков — глубоко чувствующий человек, но не чувствительный, как его брат. Его чувства проверяются разу-

мом. Он был бы достойным наследником своего отца — зажиточного рыбака, владельца самых больших коптилен в поселке, но слова Предтечи разбудили в нем другое сердце. И все же он не стал искать того, о ком тот вещал, он ловил рыбу — на редкость удачливо. Он был из тех счастливых рыбаков, что имеют легкую руку на рыбу. А в должный час мать взяла его за руку и вместе с младшим сыном вручила Иисусу. Общее семейное сердце Заведеевых уже открылось той новой вере, которую предрекал Креститель.

Иисус омыл ему ноги, хорошие, надежные, ухоженные ноги человека, знающего себе цену и внимательного к своему телу. Не вяжется с основательным, прочным, осмотрительным Иаковом ожидающая его насильственная смерть от руки Ирода Агриппы.

С тазом воды подошел Андрей, славный, милый Андрей. Он принял крещение от Иоанна и раньше брата своего Петра пошел за Иисусом, потому что прозвище ему будет Первозванный. Он понесет слово Божье в самые темные и страшные пределы земли: к скифам и севернее, к угрюмым племенам, обитающим в дремучих лесах, на берегах широких холодных рек. Редко раскиданные по лесной и полевой бескрайней пустынности и оттого подозрительные, пугливые и жестокие, они не убьют Андрея, как предсказывали свирепые, но все же более человеческие скифы. Терпеливо и недоверчиво будут слушать наставления апостола, иные с кривой усмешкой примут от него святое крещение и отпустят с миром. А мученическую смерть на косом кресте примет Андрей на греческом острове Патросе по воле проконсула Энея. Хуже северных варваров окажутся просвещенные римляне для несущего слово Божье. Что стоит просвещение, если сердце глухо к Главному Слову?

Андрей станет покровителем той страны, что возникнет на месте обитания навещенных им диких племен. И флаг, и высшая награда страны станут андреевскими — ни один из тех, кто пошел за Сыном человеческим, не удостоился подобной мирской почести. Но не уберег кривой андреевский крест этот народ, оставшийся в глубине своей таким же темным, диким, кроважидным, как во дни прихода Первозванного. И построят они на своих просторах царство тьмы, второй ад, не скрытый в земном провале, а раскинувшийся бесстыдно, как блудница на ложе, меж двух океанов. Появятся там поддельные пророки, чудотворцы волею Сатаны. Христос накормил двумя рыбами и пятью хлебами пять тысяч человек, эти будут кормить тем же количеством пищи, не преумножающейся тайно, трехсотмиллионный народ, порождая глад и мор. А один лжечудотворец превратит все вино в воду, иссушит, изломает, изведет лозу, кою воспитывали бессчетные поколения виноградарей, дабы обратила она вложенный в нее заботливый нежный труд в благодатный сок. И подведет он смятенный народ, утративший свое исконное веселие, возносившее его дух горе, под власть Змея-Полоза, подручного Сатаны, по чье-

му хотению соблазнил он прародительницу Еву и лишил человека рая...

Иисус долго поливал водой молодые ноги Варфоломея; под тонкой кожей расходились голубые жилки, и так страшно было представить себе, что эту кожу сдерет с живого человека разъяренная чернь у стен Иерусалима. Первой жертвой христианства будет этот оставшийся неизвестным миру юноша; благодарное, но несведущее потомство подарит ему великие духовные подвиги в Индии, а неблагодарное — откажет в существовании, заменив его Нафанаилом, о котором Иисус обмолвился раз добрым словом.

Иисус не знал прежде, что человеческие ноги столь же разнообразны и выразительны, как лицо и руки, что в них тоже отражается характер. Когда босые ноги купаются в дорожной пыли, кажется, что все они одинаковы, а они разные, совсем разные, — как щедр Господь в зиждательстве своем, никогда не повторяющемся уже бывшее, в его мире нет копий, все сотворено наново.

Сейчас он вытирал ноги Иакову Алфееву, подобные врытым в землю столбам, — так же прочен, прям, неуклонен был суровый характер апостола, двоюродного его брата, ставшего первым епископом Иерусалимским. А у младшего Алфеева — Фаддея, скромного, стремящегося затениться, ноги были тонки и сухи, как у оленя. А вот «разношенные», неухоженные ноги Матфея, бывшего мытаря, немало намытарившегося по земле; небольшие беспокойные ступни Фомы — любопытного, недоверчивого — вот и сейчас посмотрел, чисто ли моет. «Ты и в раны мои персты вложишь, Фома-неверующий», — укорил Иисус. Трудно проверить, что этот пронырливый человек, которому надо все своими руками потрогать, станет одним из самых твердых и бесстрашных проводников его Слова, которое он понесет в огнедышащие аравийские пустыни.

Дошла очередь и до култышек — иначе не скажешь — Петра: коротких, гнутых, без щиколоток. Можно подумать, что Петр ходил другими дорогами, нежели его товарищи. У тех ноги странников, у него — страстотерпца: сбитые, порезанные, в мозолях и синяках. Всегда в горении — нетерпелив, страстен, как собака, преданный и, как собака, поджимающий хвост в миг опасности, равно способный к мгновенному героизму и позорному испугу, настолько богатый чувствами, что хватило бы на всех апостолов и еще осталось — вот уж воистину: ничто человеческое не чуждо. Потому и решил основать на нем свою церковь Иисус. Она будет, как он, самоотверженна, как он, не стойка, как он, цельна, как он, сумбурна, как он, способна на мученичество: распятый головой вниз, он явит то великое мужество, какого ему не хватало в менее грозных скрутах судьбы, слезливая и неуклонная, как он, любящая и яростная и способная к радости. Если б камню и впрямь быть плотью церкви, то ставить ее надобно на Иакове Алфееве — это кремень. Но он ставил человеческую церковь, и этот горячий, кипящий, наивный делатель годился больше всех, чтобы

церковь была для человека, слабого, грешного, исполненного стольких противоречивых задатков, но тянущегося ввысь — к раскаянию и правде.

И вот перед ним смуглые, опрятные, будто не пристаёт к ним дорожная пыль, ноги Иуды. Он чем-то взволнован, Иисус уже научился угадывать чувства учеников по ногам, не заглядывая в лица. Небось опять взял деньги из общей казны, хранителем которой поставили бывшего мытаря. Взял, чтобы отдать какому-нибудь попрошайке. Апостольский казначей знал счет денежке, но был жалостлив и доверчив: не мог отказать в подавании, особенно тем ловкачам, что так хорошо прикидываются несчастнейшими из несчастных. Они выглядят куда убедительнее истинно неимущих, потому что лишены стыдливой гордости бедняков. С какой охотой обнажают они искусно наведенные язвы! А много ли надо такому доброму, мягче воска человеку, как Иуда, у которого не глаза, а сердце на мокром месте. Собственных денег у Иуды почти не водилось, и он запускал руку в общую скудную казну. Всё это знали, но молчали, уважая его безоружную доброту.

Но сильнее стыда, тревоги, страха разоблачения была изливающаяся на Иисуса любовь. Иуда любил его сильнее, чем Петр, Андрей, Иаков, даже сильнее, чем Иоанн. Иисус ладонями чуял то замирающее наслаждение, какое доставляли Иуде прикосновения Учителя, его забота и ласка. Он даже перестал мучиться из-за похищенных грошей, не для своей же сласти он их взял. Как-нибудь заработает и вернет в кассу или у заможных друзей попросит. Но Учитель моет ему ноги, и делает это так старательно и серьезно, что внутри него заходили волны умиления, душа стала влажной, Иуда боялся расплакаться. Иисус услышал взволнованное сердце Иуды через жилку на подъеме ступни, и, похоже, в этот миг уже созревшее решение стало окончательным. Он сможет, — сказало в нем. И еще он подумал: вот судьба тех, кто слишком сильно любит.

Как всегда, последним подошел к нему Симон Кананит, был он почтенных лет, но еще скромнее Фаддея, хотя никому не уступал спокойным умом, глубокой, преданной душой; его неподдельное смирение благотворно действовало на климат маленькой общины, умеряя любую заносчивость.

Опорожнив таз и вымыв руки, Иисус дал знак, чтобы готовили пасху, а сам отозвал Иуду в покойчик близ трапезной. Они собрались для вечера в поместительном доме юного прозелита Марка. Сам хозяин не принадлежал к избранным ученикам и потому отсутствовал. За высоким окошком дотлевала вечерняя апрельская заря. Они встали в ее печальный изнемогающий свет. Иисус сказал:

— Завтра свершится предсказанное пророком: один из вас предаст меня.

Иуда вскинул кудлатую голову, похожую на голову большого доброго пса. Иисус понял то, что перелилось в его зрачках: каз-

начей ждал разговора о взятых в кассе деньгах, а Учитель позвал совсем для другого, чего он не мог сразу ухватить.

Христос повторил сказанное. Он не раз заговаривал с учениками о ждущем его конце, правда, темными для простого разума словами пророков.

— Начальники жизни убьют меня. Я умру на кресте, искупив грехи человеческие. Да сбудется воля Божья.

— Но... так скоро?.. — донеслось из-за края света.

Он понял.

— В назначенный срок я воскресну и вознесусь к престолу Всевышнего. Так будет. Готов ты стать орудием воли Божьей?

— Я люблю тебя, — снова дуновением.

— Поэтому ты избран.

— Но сам ты любишь Иоанна.

Он ревнует, подумал Иисус.

— Я люблю вас всех. Иоанн ласков и нежен, брат его Иаков скуп в чувстве, но я люблю его не меньше. Петр резок, порывист, порой груб, но дорог мне и за его слабости, и за его достоинства. А могу ли не любить я брата моего Иакова-меньшого, или Первозванного, или доброго ворчуна Матфея, или тишайшего Симона? И так я могу сказать о каждом. Но ты станешь наособь, ближе всех ко мне, ибо возлюбишь меня сильнее жизни, чести и души спасения.

— Значит, и душа моя погибнет!

Иисус наклонил голову. Он мог бы дать ему утешение: до Страшного суда. Когда все грешники, равно ханжи и лицемеры, что пакостили лишь в помыслах, боясь живого греха, будут низринуты в огненную печь, я возьму тебя за руки и отведу к Престолу Отца моего. Но сейчас я не дам тебе даже такой надежды. Коли откроются смертным помыслы Божьи, вера станет сделкой. Должно всему свершиться по воле Отца моего, но свободным хотением, ибо свободным зрит он человека, движимого верой, а не расчетом на милость и страхом перед карой. Обреки себя на свой страшный подвиг, Иуда, обреки без надежды, и ты станешь выше меня, ибо я знаю, что, пройдя сквозь муки, позор и смерть, восстану в славе и силе, знаю — и трепещу. Меня ждет место одесную Отца моего, а я маюсь, дрожу, мокну холодным потом, мой рассудок мутится от страха, — каково же будет тебе, обреченному на муки вечные и вечный позор в памяти людей? Но ты решишься, и я пойму, почему Господь не отказывается от человека при всей его мерзости и для чего моя смерть на кресте.

— Я сделаю, как ты говоришь, Господи.

Он не сказал «Учитель», он сказал «Господи» — ему открылось, он сделает.

Иисус почувствовал, что ему стыдно смотреть в глаза Иуде. Но он пересилил себя и взглянул. Никогда, никогда не видел он такого бледного, такого бедного лица. Он едва не дрогнул: успокойся, брат, я хотел испытать тебя. Ты выдержал испытание.

Спокойно ложись к пасхальному столу. Все будет, как предсказано пророками. Без тебя. И знай, Иуда, ты всегда в моем сердце.

Но он ничего не сказал. Его кроткий и беспощадный взгляд спокойно отторг последнюю — молчаливую — мольбу Иуды.

— Боже, — дрожащим голосом проговорил Иуда, — подари мне одно: дай целованием уст предать тебя врагам.

— Будь по сему, — сказал Иисус. — Но это последняя твоя просьба.

И совершил он пасху с учениками своими. Пили сладкое пасхальное вино, ели легкую пасхальную пищу. И он сказал ученикам, что один из них предаст его. Они опечалились и, не переставая жевать, стали наперебой спрашивать:

— Не я ли, равви?

Он сказал:

— Опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы ему не родиться.

Он опустил руку в блюдо с вареным, крупно нарезанным карпом и стал нашаривать кусок. Иуда не протянул своей руки. Иисус уставил взор на его полуопущенные веки. Палец его укололся об острую кость. Иуда долго крепился, не подымая век, но не выдержал и полыхнул на Учителя смятенно-синим взглядом.

— Не я ли, равви? — запинаясь, спросил Иуда.

— Ты сказал, — ответил Иисус и поднес ко рту кусок разваренной рыбы, розовый от крови из его пальца.

Он так и не понял, почему ученики никак не отозвались на сказанное. Когда он только произнес слово о предательстве, Петр схватился за нож. Иисус следил, чтобы перехватить его руку, если он обратит оружие против предателя. Но Петр спокойно переложил нож в руке и отрезал себе козьего сыра. Они и раньше не всегда его понимали, поскольку он говорил притчами, обиняками — лишь такие речи осиливают время и остаются в памяти потомков, но для их простых умов даже прямое слово не всегда было доходчиво. Нередко они принимали за околичность напрямую выраженную суть. Возможно, и сейчас они полагали какой-то второй смысл за его словами, который был недоступен их усталому и затуманенному вином рассудку. Придет для них пора, когда все туманности и замутненности опрозрачат и сольются в единую завершенную картину. Иисус не стал им ничего пояснять. Так лучше, пусть Иуда на равных проведет со всеми эту последнюю вечерю.

Он взял опреснок, благословив, переломил и роздал ученикам. Никто не удивился, что Иуда получил свой кусок.

— Ядите, — сказал Иисус, — сие тело мое.

Они послушно принялись жевать хлеб.

Он взял чашу с вином и протянул ученикам.

— Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.

Они отпивали поочередно, Иуда тоже сделал глоток, следующий в череду не побрезговал чашей после него.

— Сказываю вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца моего.

И снова ему показалось, что лишь один Иуда понял истинный смысл его слов и почернел лицом, ибо знал, что не пить ему новое вино в Царстве Предвечного. Остальные, похоже, думали, что Иисус собирается выпить с ними в доме покойного плотника Иосифа, мужа его матери Марии. Никогда еще не видел так ясно Иисус, что пошли за ним люди прекрасные, но бессмысленные и медлительные сердцем. Что с того, их час еще не пробил, но он уже близок. Потрясенные его исходом, они очнутся другими людьми, с обновленным разумом и душой: огненноустые проповедники, бесстрашные подвижники, провидцы, мученики за веру, а одного осенит дивный поэтический дар...

После вечера они поднялись на гору Елеонскую, и он напомнил спутникам слова пророка Захарии: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада».

— Сие сказано о вашем Учителе. Ибо вы соблазнитесь обо мне в эту ночь.

И они, то ли снова не поняв, то ли догадываясь о своей слабости, промолчали. Лишь горячка Петр вскричал порывисто:

— Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь!

И сказал ему Иисус:

— В эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня.

Всполох поднялся, как в курятнике, куда забралась лисица. Вопили, бедные, что никогда не соблазнятся, скорее дадут себя на куски изрезать, и только Иуда молчал.

Потом пошли в Гефсиманский сад, а Иуда отстал.

Иисус взял с собой на ночлег только троих: Иоанна, Иакова и Петра — и с ними удалился под сень старых олив. Он просил спутников не спать, бодрствовать с ним в его последнюю ночь, но, отяжелевшие от пасхального стола и неспособные управлять собой, они сразу начали клевать носом, а там и задышали мерным, с присвистом дыханием сна. Он отошел от них и присел на камень.

Ночь была лунная и звездная, он видел кровли Иерусалима и задумался о людях, мирно спящих в своих домах, храпящих, чешущихся, вертящихся с боку на бок, ласкающих женское тело и не ведающих, какой грядет день. День, когда люди убьют Бога. А если б ведали? Все равно спали бы, и храпели, и чесались, и вертелись, и творили любовь, — ведь спят же его ученики, сведомые о расправе над Учителем. Неужели люди так толстокожи и лишены воображения? Или в них еще не проснулась настоящая душа — отзывчивая, жалостливая, влажная? Может, для того и будет завтрашний день: обратить полужверьевую душу, какой до сих

пор обходились, в человеческую? Люди станут другими, когда он повиснет на кресте с разъехавшимися позвонками, не все, не сразу, но станут. Возраст нового человечества пойдет от Голгофы.

И вдруг что-то сломалось в нем, будто хрястнул хребет души, он увидел завтрашний день без осеняющего смысла, без света искупительной жертвы, а житейски: потная толпа, источающая чесночный смрад, сухая, горячая пыль, забивающаяся в волосы, в складки одежды, хрустящая на зубах, грубый шум любопытства, нетерпения, злая ругань из-за лучшего места — и себя, нагого, западающего от стыда в собственный живот перед этим тысячеглазьем. Какой срам! Ему, никогда не обнажавшемуся не только перед женщиной, но даже при мужчинах, висеть голым на виду огромной толпы! И там будет Мария Магдалина, и жены-мироносицы, и его Мать, и незнакомые девы и женщины Иерусалима. С содроганием думая о казни, он как-то забывал об этой казни стыдом. И, не совладав с собой, он закричал в высеребренное небо:

— Отче мой! Если можешь, да минует меня чаша сия!
Небо не отозвалось.

Он упал на лицо, раздираемый протестующим ужасом и бессилием перед Богом.

Он лежал долго, пока низкое бессилие не обернулось достоинством смирения.

— Будет, как Ты хочешь, а не так, как я хочу, — прошептал Иисус.

Он встал, подошел к ученикам и стал их расталкивать. Они мычали, вертели головами, протирали красные, слезящиеся глаза. Какие жалкие люди! И в них он думал найти поддержку.

— Я же просил вас не спать, — устало сказал Иисус. — Неужели вы не могли один час бодрствовать со мной?

— Прости, равви, — покаянно сказал Петр и зевнул так, что чуть не свихнул себе челюсть. — Мы старались не спать. Как будто кто песку в глаза насыпал.

Иисусу расхотелось укорять их, — видно, еще не властны они ни над духом, ни над плотью своей. Он оставил неспавшихся, зевающих, кашляющих, постанывающих людей и вернулся к своему камню. Иуда не заснул бы, в нем уже пробудилась та грядущая душа, которая постигнет и этих сонь, и тех, кого он не взял с собой. А каково сейчас Иуде? Ему некому пожаловаться, как жаловал он Отцу своему, он даже имени Господа не смеет произнести. Иуде во сто крат страшнее, безысходнее. Его тело не вознесется со смертного одра в небесный чертог, а будет расклевано хищными птицами, душа уйдет в преисподнюю, а память навеки проклята. Вот чья последняя ночь воистину ужасна. Мысли о Иуде устыдили, он сказал:

— Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, да будет воля Твоя.

Он помолился светлой молитвой и оглянул ночь с тихими де-

ревьями, тенями и бликами, с высоко поднявшимся небом. Исчезло серебряное струение, ограненные кристаллы звезд обособленно раскинулись по темной глухой глади. Удаляющееся небо дышало холодом. С телесным ознобом вернулась леденящая душу тоска.

Иисус пошел к ученикам и вновь застал их спящими. Они не проснулись на громкую, надтреснутую укоризну. Иисус оставил их в покое, хотя так нуждался сейчас в сочувственном слове. Но что поделать: люди спят, небо молчит и дышит холодом. Иуда, лишь мы с тобой обречены бодрствовать в этот страшный канун, Иуда, брат мой и жертва, прости меня!..

Уже под утро, вновь истомленный тоской, он в третий раз толкнулся к тем, от кого ждал помощи в свою последнюю ночь, но они беспросыпно спали, открыв глупые рты.

— Вы все еще спите-почиваете? А ведь приблизился час, и Сын Человеческий предастся в руки грешников!

Он сказал это звучным, глубоким, проникновенным голосом, способным разбудить и мертвого, но рыбаки-проповедники не проснулись.

— Встаньте! — тщетно зывал к ним Иисус. — Приближается предающий меня!

Но они проснулись лишь от топота ног, стука, звяка, бряка вооруженных мечами, копьями, кольями людей, которых привел Иуда. Проснулись, хлопая глазами и словно не понимая, где они находятся и что происходит вокруг. Так, не поняв, а может, все поняв, пустились наутек и не слышали слов Иуды, обращенных к вожакам своры, которую он привел:

— Кого я поцелую, тот и есть Царь Иудейский. Берите его.

Он повернулся к Иисусу и сделал широкий шаг навстречу ему.

— Радуйся, равви! — И потянулся к устам Иисуса.

Тот взял в руки его кудлатую голову, их губы сомкнулись. Иисус почувствовал благостный запах скошенных трав, когда к ним попадает мята и душица. Воистину, уста праведников благоухают, а уста грешников источают смрад. Странные слова Иуды были понятны Иисусу: он тверд и сделает все до конца. Нежно и горестно смотрел Спаситель в лицо предавшего его. Как истаяла его плоть, а глаза провалились в череп — вот чем он оплатил эту ночь.

Отсюда, а не с дома Понтия Пилата, начинается крестный путь Христа, ибо здесь испытал он первую жестокую потерю.

Дальше будет много всякого — и пустого, и трогательного, и глупо жестокого, и безобразного, и страдальческого: искаженное лицо Матери, так и не понявшей, что произошло от Благовещения до креста на холме Голгофы; прелестное и в дыме слез, ненужное лицо Марии Магдалины, и последняя доброта человека: воин протянул ему на кончике пики губку, смоченную в питье римского legionera на марше: смесь вина, уксуса и воды, так освежающего спаленную жаждой гортань; отчаянный зыв в Отцу: «Почто меня покинул?» — и душераздирающий, вполне человеческий

вопл, когда разъехался позвоночный столб. Затем тьма, дальше началось Богово...

С Иудой все было куда проще. Вечером того же дня он выбрал в окрестностях Иерусалима молодую крепкую оливу. Крепкая была и веревка, захваченная из дома. Он взобрался по стволу до толстого, надежного сука, привязал к нему веревку, накинул петлю на шею, затянул до отказа и, прошептав возлюбленное имя, кинулся вниз.

Христос не ошибся в нем. Возмездие должно было следовать прямо за преступлением, иначе не сбылось бы начертанное: Христос будет предан, но горе тому, кто его предаст. В этом коренится многое: и духовные, и даже правовые начала. Первый кнут доносчику — отсюда. В предательство должна быть заложена расплата. Предать Христа мог любой из апостолов, но лишь один Иуда мог после этого повеситься. Пример Петра лучшее тому доказательство: троекратное отречение он оплатил слезами, а не петлей.

БЕЗЛЮБЫЙ

РАССКАЗ

Поражало его спокойствие. Ненаигранное, без сцепленных челюстей, скрученных напряжением мускулов, сбивающегося дыхания и опрокидывающихся глаз. Он был естественно, раскованно спокоен, с легким налетом усталости и скромной удовлетворенности, как студент, сдавший трудный экзамен строгому и капризному профессору. Но и ни малейшего гонора, высокомерия, сознания своего превосходства не было в нем. Без тени позы он подчинялся заведенному несложному порядку. Деловито съедал невкусную еду, которую ему приносили трижды в день, позволяя врачу осматривать поверхностную, но болезненную рану в предплечье, а санитару — перевязывать. Тот делал это неумело и грубовато, наверное, не по злобе, просто плохие руки.

Понаблюдав его в течение двух недель, врач сказал коменданту крепости: «Неужели возможно такое самообладание? Или это моральная тупость? Непроницаемость ни для физической, ни для душевной боли?» — «А может, преданность идее?» — задумчиво сказал комендант. Врач с сомнением пожал плечами. Узник был приговорен к смертной казни через повешение. Неужели преданность идее избавляет от страха перед такой смертью?

Казнь уже давно следовало привести в исполнение. Узник наотрез отказался от подачи прошения на высочайшее имя. Он сделал это твердо, жестко, но без вызова. «Я не вижу никаких оснований для подобной просьбы, — сказал он спокойным, чуть насмешливым голосом. — Я не юнец, не ведающий, что творит

(ему было двадцать шесть лет). И не чувствую раскаяния. Если бы пришлось, я бы все повторил сначала».

Корягин — так звали осужденного — не понимал, почему они канителият с приведением приговора в исполнение. Неужели они ждут, что он изменит решение и пошлет слезницу на имя государя? А для чего? Даже сделай он это против своей совести, ему все равно откажут. Он срубил едва ли не самое мощное дерево в романовском саду. Никто не был так авторитетен в августейшем доме, так крепок и непреклонен, как великий князь Кирилл. Так чего же они ждут? Может, их бесит его хладнокровие и презрение к царской милости? Хотят помучить ожиданием, спровоцировать на жалкий поступок, подразнить надеждой, а потом убить вторично? С ними станется. Все Романовы ублюдки, но самым ублюдочным ублюдком был уничтоженный им великий князь. Реакционер из реакционеров, душитель свободы, на войне — чума для солдат, нестигаемый стержень режима, долговязый высокомерный истукан и к тому же мужеложец, растлитель молоденьких курсантов.

У Корягина не могло быть прямой обиды на великого князя, их пути не пересекались, но ненавидел он его с остротой и едкостью личного чувства.

Корягин происходил из мещан уездного нижегородского Ардатава и в Москву перебрался за полтора года до своего покушения, когда в нем вызрела и до конца определилась единственная цель жизни. К этому времени скончалась его долго болевшая, полупарализованная мать, развязав ему руки. Особой любви к ней Корягин не испытывал, но был во всем человеком порядка. Плохо ли, хорошо ли, мать его кормила, поила, одевала, дала кончить не только приходское, но и три класса уездного училища. Отца своего, маленького канцеляриста уездной управы, Корягин не помнил. А мать всегда служила приходящей прислугой в довольно зажиточном доме третьегильдийского купца, имевшего в городе несколько лавок и маслобойку. Купец за все годы не прибавил ей ни полушки, не сделал ни одного подарка, кроме обязательных грошовых праздничных гостинцев. Однажды в этом богатом доме вспомнили о сыне прислуги и позвали на рождественскую елку. Он полюбился красивым, украшенным серебряной канителью и стеклянными шариками деревом со звездой на островеишке и белобородым дедом Морозом у комеля, нарядными горластыми детьми, не обратившими на него внимания, получил картонную коробку со сладями и был возвращен в руки поджидавшей под дверью матери. Волшебная сказка, так быстро кончившаяся, осталась в нем легкой печалью, но, повзрослев и прихотившись к чтению с помощью одного ссыльнопоселенца, он обнаружил, что был участником классического и тошнотворного сюжета рождественской литературы: кухаркин сын на елке в богатом доме. И тогда он люто возненавидел и хозяев матери, и всех богатых на свете. То было рождением социального чувства, возможно, и рождением будущего бомбиста.

В Ардатове со времен польского восстания 63 года жили ссыльные поляки, а также их обрусевшие потомки. Один из них, Сосновский, дал четкое направление той ненависти, которую пробудила в Корягине рождественская елка в купеческом доме. Сосновский объяснил, что ненавидеть в первую очередь надо царя, потом его близких и приближенных, а также министров, сановников, генералов и жандармов всех рангов.

Единственным способом борьбы этот тихий, болезненный, мухи не обидевший человек считал террор. Он потряс юный разум Корягина очень простым подсчетом: если каждый террорист уничтожит всего одного врага, то на всю царскую фамилию и на тех, кто поддерживает трон, понадобится не более тысячи человек. Неужели в России не окажется тысячи смелых и самоотверженных молодых людей, готовых положить жизнь за народ? И не нужно никаких тайных организаций, каждый должен действовать в одиночку, на свой страх и риск. Организация — самый верный способ проваливать любое дело. Обязательно окажется или засланный охранкой шпион, или предатель по слабости духа. Или чего-нибудь не поделят: власть, приоритет, бабу. Неудача Каракозова не должна обескураживать. Надо быть предусмотрительнее, тщательнее готовить покушение, а в себе воспитать самообладание. И главное, не торопиться, надо хорошенько изучить клиента, его манеры, привычки, жестикуляцию, даже нервные тики, почувствовать его изнутри, более того, стать им, тогда не будет нечаянной ошибки. Столь же основательно должно быть подготовлено оружие, к пистолету надо пристреляться, а бомбу — пустую, разумеется, но равную по весу заряженной, — научиться безошибочно метать в цель. Очень важно правильно выбрать место покушения, желательное безлюдное. Прохожие опасны: патристический и бдительный мещанин отнял у Каракозова подвиг, а там и жизнь. Гальени стрелял во французского президента почти в упор возле слоновьего вольера и промахнулся лишь потому, что слон взмахнул хвостом и президент отшатнулся. Зверинец, цирк — плохие места для покушения, в театре лучше использовать антракт. Другое дело, когда высокопоставленное лицо отправляется к месту службы — это выверенный ритуал, — оно будет с математической точностью повторять привычные движения, что сводит к минимуму возможность промаха. Хуже нет пытаться использовать якобы благоприятный момент, связанный с экстраординарными событиями в дневном распорядке клиента, тут возможны любые случайности. Привычность, обыденность порождают автоматизм движений, что уже служит гарантией успеха. Бомба обладает несравнимо большей поражающей силой, чем пистолетная пуля, но не надо на это слишком полагаться. Первая бомба, брошенная в Александра II, разметала все вокруг, а царю не причинила даже малого ущерба.

И надо твердо знать: тебя схватят, осудят и повесят. Идти с надеждой на спасение, значит, обречь себя на провал. Как бы ни

был ты смел и решителен, невольно станешь прикидывать вариант спасения, а это отвлечет от прямого дела.

Чувствовалось, что Сосновский рассуждает о террористическом акте не умозрительно, а на основе собственного практического опыта. Спрашивать о таком не полагалось. Он находился под надзором полиции, но если бы за ним числилась хотя бы неудачная попытка покушения, то давно бы гнил на каторге. Значит, полиции неизвестно о причастности Сосновского к терроризму. Он сам рассказал свою историю Корягину незадолго до смерти от чахотки.

Не только полиция не знала о несостоявшемся покушении на харьковского полицмейстера, но и сам полковник Хлудов не догадался, что был на волосок от смерти, когда его рассеянный взгляд скользнул по лицу прохожего человека, вдруг опустившего руку в карман долгополой шубы на волке.

Хлудов был далеко не худшим из жандармских офицеров, от природы незлобивый, к тому же остуженный годами, неудачами, усталостью и старыми ноющими ранами (бывший боевой офицер), он нес свою службу лишь внешне исполнительно, надеясь выйти в отставку генералом. Вдовец с двумя великовозрастными дочерьми-вековухами, он куда больше был озабочен устройством их судьбы, нежели своей докучной службой. При нем Харьков стал Меккой для террористов, здесь они могли расслабиться, передохнуть, спокойно обдумать будущие отважные мероприятия. Харьковская тюрьма славилась мягким обращением, хорошей пищей и богатой библиотекой.

Сосновский, потомок одного из сподвижников знаменитого Домбровского, учительствовал в уездной школе под Харьковом и, не будучи связан ни с какой террористической и вообще революционной организацией, разрабатывал свое покушение в одиночку. Он, конечно, знал о репутации Хлудова как мягкого человека, но это его мало трогало. Хлудов был частицей преступной системы полицейского государства и, следовательно, подлежал уничтожению. А его служебная лень и расхлябанность, принимаемые за прекраснодушие, Сосновского не трогали.

Он хорошо подготовил свое покушение, неосторожность Хлудова облегчала задачу. В намеченный день и час он чуть не вплотную сблизился с Хлудовым возле церкви Нечаянных радостей, куда полицмейстер ходил к ранней обедне. Было одрожливо промозглое утро с жестяным инеем и пронзительным ветром, дующим от земли вверх. Замерзший Хлудов притопывал и по-извозчичь охлопывал себя руками крест-накрест. Скользнув по Сосновскому рассеянно-жалобным взглядом, он проговорил отвердевшими губами: «Ну, и холодняшка!» Сосновский в добротной волчьей шубе и гамашах физически ощутил, как зябко этому пожилому человеку в шинели тонкого сукна и узких сапогах. В беглом взгляде Хлудова не было ничего от полицейского, но так много — от бедного брата в человечестве: замороженного жизнью

неудачника, — и он оставил руку в кармане на ребристой рукоятке пистолета.

Сосновский не разочаровался в терроризме, по-прежнему считал это единственной формой борьбы, он разочаровался в себе, поняв свою дряблую непригодность к настоящему делу. В молодом, сдержанном, молчаливом, со слабо развитой душевной жизнью Корягине он видел осуществление несбывшихся чаяний. Он понимал, что, признавшись в своем фиаско, заслужил от Корягина лишь презрение, без тени хотя бы брезгливого сочувствия. Это хорошо. Пусть зарубит себе на носу: не заглядывать в глаза жертве. Впрочем, Корягину это едва ли грозило. И однажды Сосновский сказал сквозь мучительный кровавый кашель: «У тебя получится. Ты безлюбый».

Задолго до признания Сосновского в своей несостоятельности Корягин догадывался о его сути слабака и не испытывался к нему ни симпатии, ни уважения. Но тот многое знал, и Корягин изо всех сил старался высосать из него максимум сведений. Он запоминал и обдумывал каждое его замечание. Не пропустил он и вскользь брошенной фразы о «безлюбости». Он в самом деле никого не любил. Лишь к матери испытывал слабое чувство признательности. Но мать вскоре умерла. Он был сильно смущен и озадачен, когда в спокойную, целенаправленную и прохладную его юность вторглось влечение к женщине. Он вдруг стал замечать женщин, думать о них, видеть во сне.

Надо отдать ему справедливость, он быстро справился с недугом. На маслобойке работало несколько молодых женщин. Он легко сговорился с одной из них, безошибочно угадав ее большую доступность. Без всяких осложнений, хлопот и волнений она сделала из него мужчину. Он был настолько неопытен и наивен, что поверил в свое полное освобождение от докучной телесной заботы. Не тут-то было. Оказалось, в этой области человеческих отношений правит афоризм житейской мудрости: аппетит приходит во время еды. Встречи участились, хотя жалко было расходовать время и силы на собачьи радости. Вскоре случилось непредвиденное, хотя совершенно естественное, но почему-то никогда не учитываемое молодыми олухами, — партнерша, рыдая, сообщила, что «попалась». Впервые он растерялся и пал духом. В его расчеты никак не входило творить новую жизнь, цель была прямо противоположная. По счастью, пронесло, она ошиблась, просчиталась в днях, а может, все придумала, чтобы проверить его намерения.

Проверка не обнадежила, из него явно не сделать мужа и отца. Молодая женщина стала избегать Корягина, что причиняло ему сперва беспокойство, потом боль. Последнее никуда не годилось: страдать из-за юбки было непозволительно, так можно пустить под откос дело жизни. Он поступил простейшим образом: завел другую, куда более опытную и менее требовательную подругу. Но физическое облегчение не избавило его от тоски по той, оставленной. И тогда он понял, что всей мерихлюндии должен

быть положен конец. В этой сфере перестают действовать разум и расчет; короткое, острое, чисто телесное удовольствие, дающее недолгий покой, обрекает на иную, длительную обремененность. Это не для него. Ум, сознание, преданность единой цели бессильны перед возней разгоряченной крови. С некоторым отвращением обратился он к простейшему способу избавления от плотских атак. Как только возникала тоскующая тяга, он тут же отыскивал укромное место и освобождался от мутной субстанции, обладавшей такой подлой властью. По ощущению это почти не отличалось от близости с женщиной, но обладало рядом преимуществ: никакой подготовительной возни и последующей потери времени, просто, быстро, опрятно, а главное, ты ни от кого не зависишь. В любое мгновение можешь собственноручно изгнать беса.

Корягин успокоился, перестал обращать внимание на существо иного пола, да и необходимость в освобождающей разгрузке стал испытывать все реже и реже. Словом, он вернул себе былое равновесие, не позволив грубой физиологии распорядиться собой.

Вновь полностью сосредоточившись на своей главной, точнее, единственной идее, Корягин полубессознательным усилием поставил Сосновского дать ему мишень. Не хотелось повторять сомнительных подвигов тех бомбистов и стрелков, которые убрали безвредного, даже в чем-то полезного конспираторам, добродушного генерала Мезенцева, или растяпу-полковника Гнеушева, или много предателя студента-химика Дробязко, снабжавшего боевиков взрывчаткой. Ему хотелось серьезного и полезного поступка. Конечно, ему не повторить подвига народовольцев; чтобы убить царя, нужна мощная организация, какой располагали Желябов и Перовская, но ликвидировать нового Плеве или губернатора-вешателя было ему по плечу. И Сосновский назвал имя: великий князь Кирилл, двоюродный дядя ныне царствующего монарха, вдохновитель всех реакционных акций правительства.

Служившие под его началом в русско-турецкую войну солдаты и офицеры помнили его как непреклонного, надменно храброго и беспощадного к подчиненным генерала. Вся его стратегия сводилась к забиванию вражеских стволов солдатским мясом. Он топил противника в русской крови, не щадя собственной голубой струи. Ни один военачальник не получал столько ранений, сколько великий князь Кирилл, весь изрубленный, прошитый пулями и осколками. Видимо, это освобождало его от всякой жалости к чужой плоти.

Он был из породы длинных Романовых, к числу которых принадлежали Петр Великий, братья Александр и Николай, московский губернатор в.к. Сергей, застреленный Каляевым. Кирилл был вылитый Сергей, но, пожалуй, еще выше, худее, суше, еще жестче и беспощадней, еще откровенней и гротескней в нем совмещался религиозный ханжа, образцовый семьянин и неутомимый педераст. Он так возбуждался от присутствия молоденьких румяных офицериков, что при всей своей хваленой выдержке,

проверенной в кровавых боях под Плевной и штурме Шипки, не стеснялся публично щипать их за ляжки, похлопывать по круглым попкам на разводах, маневрах и всяких экзерцициях, до которых так охочи были все Романовы, за исключением поэта-переводчика, президента Академии и полного неги гомосексуалиста К. Р.

Романовых можно было ненавидеть уже за одно то, что династия эта по уши в крови, но названная тройца вызывала особую ненависть сочетанием мерзких личностных свойств. Среди них Кирилл выделялся по всем статьям. Прежде всего ростом за два метра и породистостью, выпиравшей острыми углами из его худого, как у борзой, крепкого, мускулистого тела. Он был фанатиком английской гимнастики, ледяных душей и всех известных физических упражнений: бегал, прыгал, плавал, скакал на лошадях, гонял на велосипеде, правил автомобилем и парусом, играл в теннис, метко стрелял из ружья, пистолета и лука, отменно дрался на саблях и эспадронах, был мастером штыкового боя, ходил с рогастиной на медведя и при всей тошине отлично работал с гириями. Его фотографии в спортивном трико, купальном костюме, белых теннисных брюках, скаковых бриджах, охотничьей куртке и сапогах постоянно появлялись на страницах иллюстрированных журналов.

Его самоуверенность, чувство превосходства над окружающими, почти не скрываемая порочность, никак не влиявшая на репутацию в высшем обществе, поза сверхчеловека, недоступного мирскому суду, аристократическое хамство окрашивали социальную неприемлемость в теплые тона личной ненависти. Это победительное существование было оскорблением, плевок в лицо каждому порядочному наблюдателю несчастной страны.

Корягин знал о великом князе достаточно для нанесения удара: это враг — жестокий, беспощадный, деятельный, не знающий отступления, большой монархист, чем сам государь, моральная опора полусгнившего рода, надежда династии. Убить его — значило нанести сокрушительный удар всему дому Романовых.

Не обременяя себя психологическими изысканиями, Корягин хорошо изучил распорядок дня великого князя, его привычки, манеры, жесты, все мелкие подробности бытового поведения, потому что неудачу может принести нечаянное движение, даже нервный тик. Так случилось с Приходько, стрелявшим почти в упор в воронежского генерал-губернатора. Покушавшийся забыл о военной контузии генерала, в момент выстрела тот мотнул головой, как укушенный слепнем конь, и пуля лишь оцарапала щеку.

Когда начинаешь цепко приглядываться к человеку, то обнаруживаешь много неожиданностей, разрушающих уже сложившийся образ. Поначалу великий князь представлялся Корягину деревянным истуканом — прямой, негнувшийся, минимум движений, голова будто вваяна в жесткий воротник; ходит, как кабан, только вперед и, как кабан, только вперед смотрит. Очень удобная ми-

шень. Так, да не совсем так. Куда бы ни направлялся Кирилл: к подъезду, экипажу, человеку, воинскому строю — он шел прямо и быстро журавлиным шагом своих длинных ног и вдруг замирал, будто зацепившись за что-то незримое. Через несколько мгновений он энергично завершал движение. Корягину казалось, что великий князь сам не замечает этих внезапных остановок. Изредка на его застывшем лице дергался какой-то мускул. Гримаса варьировалась, иногда ею управляла щека, иногда кончик хрящеватого носа. Его свинцовые глаза казались то слепыми, то всевидящими — и вдаль, и вкось, и назад, и насквозь. И это было страшно. То ли самозащиты ради, то ли в бессознательном влечении к мужской плоти князь всегда был облеплен адъютантами, служителями, военными и штатскими чиновниками, гвардейскими офицерами. Вероятно, окружающие знали, что ему приятна сутолока, вокруг него не стихал людской водоворотик. Никакой ценности эта искательная шушера не представляла, но зачем лишняя кровь? Другое дело, подловить его в паре с каким-нибудь выдающимся мерзавцем и разделаться с обоими, но, потратив уйму времени на добавочное трудное и крайне опасное наблюдение, Корягин от этого намерения отказался.

Обнаружилась еще одна неожиданность: казавшийся аккуратным до педантизма, великий князь был склонен вносить известную пестроту в заведенный порядок. Вдруг в самое неподходящее время являлись его сыновья: два длинных мальчика в узких мундирчиках, белокурые, с пятнистым румянцем. Они обещали вытянуться в такую же версту, как их отец, но в остальном не были на него похожи: миловидные мелкие черты лица, синие голубоватые глаза. Убивать их тоже не хотелось. Они чинно прогуливались рядом с папенькой, почти не открывая рта, а люди, явившиеся по делу, и лошади, поданные для дела же, терпеливо ждали, пока великий князь не потрафит своему отцовскому чувству — поддельному, как думал злившийся на это разбазаривание государственного времени Корягин.

Скупой на жесты, если исключить пощипывание и похлопывание крутозадых адъютантов, с сыновьями великий князь становился размахист. Этого требовало мужское воспитание. Он щупал их мускулы, демонстрировал собственные бицепсы, каждую фразу, касающуюся обычно охоты и спортивных упражнений, выразительно иллюстрировал: вскидывал ружье, целился из пистолета, наносил противнику косой сабельный удар, посылал губительный смэш, бросал коня в галоп. Нечего было и думать стрелять в него, когда он был с сыновьями. Дергается, как балаганный Петрушка, не возьмешь на мушку ни лба, ни сердца.

Впрочем, стрелять в великого князя Корягин никогда всерьез не собирался. Но с присущей ему тщательностью рассмотрел и эту возможность. Он с самого начала выбрал бомбу, хотя это лишь профанам кажется, что бомбу метнуть легче легкого. Черта с два, если хочешь сделать это наверняка, без ненужной крови.

Положительных примеров почти нет, зато есть яркие отрицательные примеры: два покушения на Александра II. Самое примечательное — последнее, оно могло бы войти в учебник терроризма как образец бездарной и грязной работы. Двое наиболее опытных засветились и были взяты полицией до акции, а всю операцию проводила нервная до истеризма молодая женщина, омороченная влюбленностью и страхом за любимого, загремевшего в тюрьму, внезапно свалившейся на нее ответственностью, ненадежностью оставшейся команды, жаждой мести и величием собственной роли. Все шло наперекосяк: один метальщик просто ушел с поста, другой бросил бомбу так неудачно, что нанес ущерб всем окружающим: казакам, городовому, кучеру, лошадям, только не царю, третий все-таки довел дело до конца ценой собственной жизни и то лишь потому, что царь в необъяснимой утрате осторожности сам пошел на него, вместо того чтобы сразу смыться. И акция приобрела характер самоубийства, а не возмездия.

Корягин все сделал, как надо. Он точно рассчитал те мгновения, когда великий князь в своей ежедневной прогулке останется совсем один и можно будет максимально приблизиться к нему, имея для самозащиты толстый фонарный столб. Он уже проверил, что столб надежно прикрывает метателя. Он не думал о бегстве, но и не хотел погибнуть вместе с великим князем. Вариант Гриневицкого его не устраивал. Надо было осознать и пережить в душе случившееся. Такую награду он себе установил.

И сработал почти безукоризненно. Секунда в секунду, как было рассчитано, они сошлись у старого, на толстой ноге фонаря; великий князь только что отпустил адъютанта, шлепнул его по заду, и адъютант со всех ног кинулся к дворцовому подъезду, а навстречу ему выбежал другой адъютант. Но поздно, стекольник со своим хрупким товаром в узком деревянном ящичке уже освободился от ноши, извлек бомбу и спокойно уложил ее прямо под ноги князя.

Корягин не думал, что взрыв будет таким мощным и оглушительным. Великого князя разорвало на куски. Какой-то ошметок шлепнулся рядом с ним. Он глянул и захохотал, мгновенно вспомнив строчку из пушкинской «Гаврилиады», которую любил за безоглядное кощунство: «...надменный член, которым бес грешил».

Он хохотал, не замечая, что ранен. Кровь из левого предплечья невесть как настигнутого осколком, заливала ему грудь и бок. Он еще весь был в своем поступке. Совершенное им оставалось в плече, хранящем силу размаха, в кисти правой руки, помнящей тяжесть бомбы и последующее облегчение во всем нутре, больно и сладко екнувшем в ответ на взрыв. И наступившая глухота свидетельствовала об удаче. Сейчас все происходило, как в синематографе, только без дребезжащего пианино, хотя глухота обладала какой-то своей озвученностью: что-то надувалось и лопалось в ушах, будто пробки вылетали. От этого голова была, как чужая, и он не вмещал в себя всего окружающего.

Наиболее отчетливо он видел куски тела, ну и разбросало же этого долговязого, а сколько в нем кровищи! Худой, как скелет, будто вовсе бескровный, а все залито кровью, словно откормленного борова резали. Красные ручейки бежали по швам брусчатки, и вообще, в разобранном виде великий князь неимоверно увеличился. Повсюду куски мяса, кости, внутренности, груди окровавленного сукна, там плечо с жирным эполетом, там мосол локтя с обрывком рукава, там кисть с ухоженными ногтями, там нога в щеголеватом сапоге, рука в перчатке, еще нога — почему-то голая, — впечатление такое, что взрыв прикончил огромное членистоногое, и до чего же много всяких предметов: курительная трубка, записная книжка, цепочка с брелоками, бумажник, обручальное кольцо, дамский браслет, стелька, бандаж, перочинный ножик, останки карманной луковицы. Корягин не успел перебрать взглядом все мелочи, окружающие останки князя, когда на него накинулись и с ненужной грубостью стали скручивать, вязать, потом куда-то поволокли. И тут только он почувствовал боль в раненом предплечье и удивился, как мог настичь его кусочек металла за фонарным столбом. И еще он увидел блескучее крошево, в которое обратились стекла.

Много времени спустя он все время возвращался к этому ничего не значащему обстоятельству: искрошенному стеклу. Деревянная стекольная рама лежала на мостовой за фонарем, осколки прошли над ней. Он сам раздавил стекло, да и не просто раздавил, а топтался на нем. Он этого не помнил, как не помнил и своего ранения. Значит, был у него крохотный провал сознания? Странно, ему казалось, что он все время контролирует происходящее и точен в каждом движении. В момент взрыва надлежало стоять недвижно, вжавшись в столб, а он высунулся, схватил раму, отпрянул и раздавил стекло.

А ведь как скрупулезно было все рассчитано! Ему хотелось доказать Сосновскому — ну, хотя бы самому себе, что он может быть сильнее любых обстоятельств. Необъяснимая помарка унизила его в собственных глазах, она наталкивала на мысль, что он ничем не лучше тех истериков с бомбой или пистолетом, которых он так презирал. Раз он не смог исключить с л у ч а й, так чего же он стоит?

А почему он все же высунулся? Неужели просто нервы? А может, дело в князе? Не там встал, не так повернулся. Он обязан был учесть все возможные отклонения, даже в технике существует понятие «допуск». Его план был рассчитан на двух автоматов. Но князь не был автоматом, им владели с мощью всепоглощающей страсти монархическая идея и мужеложство. О каком автоматизме тут может идти речь? И он, Корягин, не был автоматом, ибо вкладывал в свой поступок слишком много личного, а тут нужна полная отрешенность от себя. Два живых человека разрушили красивую схему. Князя тут нельзя винить, а вот он сплеховал и не создал того шедевра, на который вправе был рассчитывать.

Человек всегда как-то договаривается с собой, и Корягин су-

мел в конце концов запрятать испытанное разочарование в тот дальний уголок души, где оно почти не мешало. А вообще ему хотелось, чтобы скорее все кончилось. Надоела боль в руке, злая грубость санитаря, бессмысленное сидение в камере: приговор был вынесен, просить о помиловании он наотрез отказался, так какого дьявола они канители?.. А потом появилась эта женщина.

Она возникла из сна. Ему редко снились сны, особенно новые, так что не составляло труда запомнить их все с дней детства. Тогда ему раз за разом снилось, что он летает. Мать говорила: растешь. Летал он с ветки на ветвь рослых деревьев, каких он не знал, но чувствовал прикосновение трепещущей листвы к щекам. Деревья эти росли скорей всего на городских улицах или в скверах, потому что полеты происходили прилюдно. И окружающие были странно равнодушны к его птичьему таланту. Эта безучастность ранила, можно было подумать, что всем дано летать. А люди из снов летать не умели, так почему же ни один не удивился, не восхитился, не похвалил летуна? И обида на непризнание была так горька, что отравляла пьянящее чувство радости. В первые секунды после пробуждения он чувствовал в лопатках тающий след этой радости, но обида на тупость окружающих проникала в явь и становилась злостью.

В юности все редкие сны были стыдными. И очень схожими между собой. Он был с какой-то девушкой, иногда он угадывал во сне ее черты. Обычно то оказывались полужнакомые, а то и вовсе незнакомые соседские лохмушки, которые в яви не вызывали в нем и тени желания. Но сон наделял каждую из них томительной притягательностью и трогающей готовностью пойти навстречу его желанию. Неведомо, почему это происходило тоже посреди толпы, на восточном базаре, которого он сроду не видал. Он был совершенно голый, чего при своей дневной стыдливости вовсе не стеснялся, как не стеснялась и его деловито обнажавшаяся подруга. И почему-то им никак не удавалось устроиться, все время что-то мешало: то простыня, то какая-то тесемка, то откуда-то взявшаяся пола халата или пояс с кистью, или подушка. Наконец, когда исчезали помехи и должно было начаться блаженство, он просыпался на вздрог, успевая поймать лишь последнюю судорогу наслаждения, провалившегося в щель беспмятства меж сном и пробуждением. Потом долго лежал опустошенный, разочарованный, с тоской по девушке, которую мог был без особого труда отыскать вживе, но это было ни к чему — очарованием ее наделял только сон.

Став взрослым, он совсем разучился видеть сны, пока не обрел цель. Тогда, обычно под утро, перед ним возникало что-то смутное из бормотания, криков, воплей и чего-то медленно рушащегося. Иногда это казалось подобием гигантской человеческой фигуры, иногда монастырской стеной, иногда небывало громадным деревом — оно падало кроной вперед, прямо на него, и он с захлабным воплем вскакивал с кровати.

За все дни его заключения ему ничего не снилось. Сон его был на редкость спокоен и глубок, как бывает, когда всласть наработаешься, выложишься до конца — и нет в тебе никаких желаний, беспокойств — великая умиротворенность и тишина.

И вдруг появилась эта женщина. Она сидела у его изголовья и вязала, у нее было немолодое, приятное, терпеливое лицо. Обычно ему нравились такие люди, ну, это, пожалуй, слишком, люди ему вообще не нравились, от них не было никакого толка, лишь помехи, дерганье и раздражение. Но поскольку без них все равно не обойтись, то он предпочитал тихих, скромных, незаметных, от которых нечего ждать.

Спицы ловко двигались в руках женщины. Это были маленькие руки с тонкими, длинными пальцами и миндалевидными ногтями. Аристократические руки, которым не шло вязальное крохотворство. Такой руке пристало подносить ко рту кофейную чашечку из прозрачного фарфора, листать страницы французского романа, предельное усилие — поставить букетик фиалок в китайскую вазочку. Корягин усмехнулся: при его знании светской жизни он легко найдет достойное применение рукам аристократической вязальщицы.

Но он занимался этой чепухой неспроста, ему надо было собраться с мыслями и решить довольно странную задачу: дело в том, что он чувствовал эти руки на себе, знал их осторожное прикосновение, ласкающую прохладу пальцев. Это могло присниться, значит, женщина возникла из его сна, материализовалась, так сказать... Что за чушь собачья!..

Отгадку подсказало раненое предплечье. Оно не болело, туго схваченное свежим, умело повязанным бинтом. Его раной кто-то занимался, пока он спал, но так бережно и нежно, что он не проснулся и не только не испытал боли, но едва не увидел юношеский сон с восточным базаром, мешающими тканями и покорным существом, прорывающимся к нему сквозь все преграды.

Не надо мистики. Эта женщина перебинтовала его, пока он спал, с отличным профессиональным умением, а потом присела к изголовью и стала вязать чулок. Наверное, она из этих... дам-благотворительниц, патронесс или как там их называют? Но откуда у нее такая уметость? Да ведь у них в моде со времен наполеоновского нашествия играть в сестер милосердия, толкаться в госпиталях, щипать корпию. Это так же обязательно для аристократки, как революционный кружок для курсистки, и так же не соответствует сути.

Противно, что ему отвели роль в этом шутовстве. Впрочем, перевязала она его на славу. Что хуже: мучиться болью или терпеть ее присутствие? Так она и будет рукодельничать над его головой, заслуживая себе спасение души? Не избежать тошнотворной проповеди покаяния и примирения с Господом Богом. Глядишь, начнет канючить, чтобы он прошение о помиловании на высочайшее

имя подал. Черт их знает, чего они там напридумывали. Власть уже знает, что простейшие способы подавления не самые верные в нынешнее время. Он действовал один, без сообщников, они в этом убедились, так что хватать кого ни попало и бросать в тюрьмы — бессмысленно. Ничего, кроме озлобления, это не вызовет. От публичных казней они отказались, после того как Михайлов дважды сорвался с виселицы. Рылеев — пророк: бедная Россия так и не научилась опрятно вешать. А разделаться с ним втихую — никакого навару. Диктатура сердца Лорис-Меликова была ловко продумана, но что-то у них не заладилось. Похоже, великий князь сыграл главную роль в падении Меликова, ему претила даже видимость послаблений. Его меры: решетка, петля, пуля. Он даже каторгу находил слишком либеральной для «бунтовщиков» — мыслил категориями пугачевщины. Великого князя, при всем пиетете, недолюбливали многие в доме Романовых. Его безжалостность, негибкость, тупая неуступчивость и открытая безнравственность претили царской чете, исполненной семейных добродетелей. Было у него немало и других влиятельных врагов. Освобожденные от чувства личной скорби, они могут использовать его гибель для жеста милосердия, открывающего двери к примирению с уставшим терпеть народом. Если это так, а чем иным можно объяснить задержку с казнью, то явление этой вязальщицы вполне объяснимо. Надо поскорее развеять ребяческие иллюзии пославших ее и турнуть старуху.

Из-под опущенных век он присмотрелся к милосердной даме. Она вовсе не старуха, ей не более сорока пяти. Ее старили бледность, круги под глазами, скорбно поджатый рот и проседь в темных волосах. Маленькие ловкие руки были моложе лица. Привыкший наблюдать и делать выводы Корягин уловил, что наружность дамы как-то сбита, смещена, можно с уверенностью сказать, что совсем недавно она выглядела иначе, куда лучше, и скорей всего, вернет со временем прежнюю наружность. Прочная лепка лица и головы не соответствовала увядшим краскам щек и губ, а вот глаза, светло-карие, с чуть голубоватыми белками, не выцветли, были сочными и блестящими. Она то ли перенесла недавно тяжелую болезнь, то ли какое-то душевное потрясение. Голова ее на стройной шее вдруг начинала мелко трястись. Она тут же спохватывалась, распрямлялась в спине и плечах и останавливала трясучку, но через некоторое время опять допускала жалкую старческую слабость.

Корягину надоело безмолвное созерцание. Он потянулся к койки, взял стоявшую на полу кружку с водой и стал пить. Женщина так ушла в работу или в собственные мысли, что проглядела его движение и откликнулась лишь на звучные глотки.

— Вы проснулись? — сказала она и улыбнулась.

— Как видите, — отозвался Корягин.

Утерев тыльной стороной кисти рот, он вернул кружку на место. Он ждал, что она объяснит свое присутствие, но женщина

молчала, ласково глядя на него, и спицы продолжали мелькать в ее пальцах.

— А другого места вы не нашли? — грубость была сознательной.

— Это вас раздражает? — Она тут же перестала вязать и убрала работу в сумочку. — Говорят, что вязанье успокаивает...

— ...тех, кто вяжет, — как бы закончил ее фразу Корягин. И тут же вспомнил слышанное от Сосновского. — Парижские вязальщицы.

— Простите, вы о чем? — не поняла она.

— Французская революция... — голос звучал лениво. — Гильотина... Старухи-вязальщицы. Не пропускали ни одной казни. Все время вязали и не упустили петли, когда падал нож.

— Господь с вами! — Дама быстро перекрестилась. — Государь милостив.

— Я не просил о помиловании, — сухо сказал Корягин и слегка озлился на себя, потому что во фразе таился гонор.

— Я знаю, — сказала дама. — Я подала сама. Государь мне не откажет. Не может отказать.

— Я не знаю, кто вы, — тягуче начал Корягин, понимая тайным разумом, что он знает, но не хочет знать, кто эта женщина. — Но я никого не уполномочивал вмешиваться в мои дела. Слышите? И уходите. Слышите? Я вас не знаю и знать не хочу! — это прозвучало плохо, истерично.

— Да нет же, — с кротким упорством сказала женщина. — Вы меня знаете. Я Варвара Алексеевна, вдова Кирилла Михайловича.

В ее голосе был добрый упрек, как можно не узнавать старых знакомых, с которыми так много связано!

Он молчал, и она добавила с улыбкой:

— Какой беспамятный!.. Вы же прекрасно знали моего мужа.

О, еще бы! Он мало кого знал так хорошо. Знал не только снаружи, но и внутри. Потроха его знал, ребуху, кости, даже длинный бледный член с пучком рыжеватых волос на лобке имел честь знать. Ни самые близкие люди, ни мальчишки-адъютанты не знали князя так досконально. Прозектор или как называется медик, который сшивал останки для похорон, и тот не может с ним сравниться в знании князя. Он тело знал, а Корягин то, что глазом нехватишь да и на ошупь не попробуешь... А она, что? — вдруг спохватился он, — издевается над ним, над покойником, над собственным горем? Или у нее помутился разум?

— Извините, — сказал Корягин, — я не имел чести знать вашего супруга. Не был даже представлен ему.

— За что же вы его тогда?.. — как-то очень по-домашнему удивилась Варвара Алексеевна.

Он едва не расхохотался.

— Можно не объяснять?

— Как хотите, — сказала она. — Но Кирилл Михайлович

был очень хороший человек. Если б вы знали его ближе, вы бы его полюбили.

Не может она быть такой дурой! Обе столицы, вся страна издевались над сиятельным мужеложцем. Старо как мир, что жена последней узнает об измене мужа, равно и муж об измене жены, но ведь тут не измена, а образ жизни. В каждом жесте, взгляде, движении, интонации высывался перевертень. А почему я все время возвращаюсь к этой мерзости? — одернул он себя. — Какое мне дело до его грязных амуров? Можно подумать, что я казнил его по приговору общества «В защиту нравственности». Да нет, напротив, что таким извращенцам достаются хорошие, порядочные женщины и любят их вопреки всему.

И подумав о Варваре Алексеевне добро, Корягин вдруг испытал острое желание задеть ее, обидеть. Наверное, его разозлила ее тупая, нерассуждающая преданность мужу, слепота к его пороку, впрочем, не меньше раздражали и смирение перед потерей, и неумение держать зло.

А правда ли, она не держит зла? Как-то не верится в подобное всепрощение. Люди, стоящие над толпой, исполнены безмерного себялюбия, чувства собственного превосходства и презрения ко всем, кто ниже их. Именно в силу этого они любят играть в чужие игры: смирение, всепрощение, милосердие, теша собственного беса. Чтобы все изумлялись: какая доброта, какая высота души, какое смирение. Ах, Аннет, — при чем тут? — она же Варвара, ну, ладно: ах, Бабетта воистину святая, она все простила этому извергу, облегчила его страдания, христианка, самаритянка, ее возьмут живьем на небо!..

— Знаете, — сказал Корягин, — вам бы лучше уйти.

— Я вам мешаю?.. Ах, простите, вам, наверное, надо по нужде. Вы не стесняйтесь, я работала в лазарете. Где ваша утка?.. Сейчас подам.

Она опустила на колени и заглянула под койку.

— Не трудитесь, — сказал Корягин, злясь и веселясь. — Это не лазарет, здесь уток не положено. Да мне и не надо.

— Но вы же ранены! — сказала она с возмущением. — Я добьюсь, чтобы вас перевели в лазарет.

Ее назойливость перестала развлекать.

— Я никуда не пойду. Какой еще лазарет? Меня не сегодня-завтра повесят.

— Нет, нет! — вскричала Варвара Алексеевна. — Вас помилуют. Кирилл не вернуть, зачем же отнимать еще одну жизнь. Такую молодую! — По щекам ее катились слезы. — Ваше раскаяние умилюет тех, кто может карать и миловать.

— Кто вам сказал, что я раскаиваюсь? Да я бы, не думая, повторил все сначала. Мне не нужно помилование, я не приму его. Каждому свое.

— За что вы так не любите бедного Кириллa? — удивилась она. — Он же милый...

— Возможно, для вас. И то сомневаюсь. Спросите повешенных, спросите гниющих в тюрьмах, спросите замордованных солдат...

— Солдаты его любили! — не выдержала Варвара Алексеевна.

— Охотно на водку давал?.. Отец-командир!.. Гнал на верную смерть, для него человеческая жизнь — тьфу! Жестокий, хладнокровный, безжалостный тиран!.. — Он чуть не плюнул, разозленный словом «тиран», невесть с чего сунувшимся на язык.

Варвара Алексеевна смотрела на него с доброй, сочувственной улыбкой.

— Как все это не похоже на Кирилла! Вы бы посмотрели на него в семейном кругу, среди друзей, на дружеских попойках с однополчанами...

— А вы бы посмотрели, как он подмахивает смертные приговоры.

— Вы что-то путаете, — сказала она тихо. — Приговоры — дело суда, при чем тут мой покойный муж? А на войне я его видела, была с ним под Плевной. Он подымал роты в атаку и шел первым на турецкий огонь. А ведь он был командующий. Самый бесстрашный человек в армии. Может, он и не берег солдат, как другие, — она улыбнулась, — застенчивые командиры, но и себя не берег. У него было восемь ран на теле, больше, наверное, чем у всех остальных генералов его ранга, вместе взятых. Я не хочу оправдывать Кирилла, да он в этом и не нуждается. Он все искупил своей смертью. Он был администратор старой школы — прямолинейный, жесткий, не отступающий от цели, от того, что считал правильным. Но он был честен и справедлив. Он ничего не выгадывал для себя: ни славы, ни почестей, ни богатства, ему все было дано от рождения. Он служил России... так, как понимал.

— Плохо понимал! — крикнул Корягин. — Такие, как он, замордовали страну, превратили в рабов прекрасный, умный, талантливый народ. Всех надо истребить, до одного!..

— Ну, ну! — сказала Варвара Алексеевна таким тоном, будто призвала к порядку расшалившегося мальчугана. — Успокойтесь. Возможно, я чего-то не понимаю, не знаю. Я же не политик, не государственный деятель и, к сожалению, не народ. Мне нельзя об этом судить. Но я женщина, мать, жена... была, любила отца моих детей. Он был такой добрый и терпеливый со мной. Я не хватаю звезд с небес, часто говорю глупости, он никогда не сердился, ни разу не повысил голос, не позволил нетерпеливого жеста...

— Был виноват перед вами, вот и не рыпался.

Корягин тут же пожалел о своих словах. Он не понимал, как это вырвалось. Он ударил наотмашь, в грудь — за что?.. Плебей, — сказал он себе, — мстительный плебей... Конечно, она полезла не в свое дело, ему не нужны ни ее заботы, ни заступничество, ни ханжеское нытье. А если начистоту, то это подлость, вельможное хамство — врываться без спроса к смертнику. Она

думает, что им позволено лезть с ногами в чужую душу. И небось еще ждет благодарности. Накось, выкуси!

Он едва не показал ей кукиш.

— Кирилл Михайлович ни в чем не виноват передо мной, — сказала она, чуть поджав губы, и впервые в ее кротком го́лосе прозвучали строгие нотки.

Надо было остановиться, что это за дешевая игра у гробового входа? Но, видать, человек живет до последнего выдоха всем, что в нем есть: крупным и малым, хорошим и дурным, высоким и низким, добрым и злым. Во всяком случае, Корягин не мог замолчать, как себе не приказывал.

— Меня это не касается, — сказал грубо. — Но репутация у вашего мужа была аховая.

Она молча смотрела на него, хлопая глазами, и не могла взять в толк сказанного.

— Как же так? — проговорила наконец недоуменно. — В том кругу, где мы вращались, его считали рыцарем без страха и упрека.

— Я не говорю, что он крал столовые ложки или передергивал в картах. — Корягин раздражался все сильнее. — Но как военачальник он признавал лишь один маневр — с тыла.

Она, в самом деле, не отличалась сообразительностью и вновь погрузилась в размышления. Корягину показалось даже, что она уснула. Неужели, правда, она не знает? Да быть того не может, это же притча во языцех...

За узким лобиком совершался непосильный труд мысли. Она то вскидывала на него доверчивые глаза, то потупляла и вдруг рассмеялась — легко и молодо.

— Ах, какая чушь!.. Я даже не поняла сразу. Как люди недобры. Это глупая сплетня. Кирилл Михайлович был эстет, он любил все красивое: женщин, лошадей, молодость во всех проявлениях, китайские вазы, севрский фарфор, английский пейзаж. Он был, как бы поточнее выразиться, человеком очень сильной жизни. Каждый кубок осушал до дна. Так он воевал, так любил, так играл в теннис, охотился, скакал на лошадях. Он, кстати, был лучшим всадником среди Романовых, а уж что-то, а это они умеют. Он перепивал всех молодых офицеров, но никто не видел его пьяным. Он стал чувствовать возраст в последнее время и потянулся к молодым. Ему нравилось прикосновение к свежей юной жизни. Боже мой, и Лев Николаевич Толстой восхищался глупой гусарской юностью и завидовал ей. Впрочем, молва не пощадила даже великого писателя... Вы простите, что я так долго говорю, но кто же защитит честное имя Кирилла Михайловича, если не я? И вы должны знать, что убили безукоризненного человека. На вашем подвиге — вы ведь считаете это подвигом? — нет никакого пятна.

Корягин был ошарашен. Она не дура, не курица, она куда страшнее. Потеря мужа вышибла ее из разума. Он не хотел тако-

го дуплета, но поразил двоих. Нет, нет, нет! — тут же перебил он себя, — она, конечно, лукавит. Даже самая влюбленная женщина не может быть настолько слепа. Она все знала, но прощала. Наверное, когда люди так притерлись друг к другу, прожили вместе целую жизнь, вырастили детей, любой грех списывается. Но как искусно она играет! Этот искренний взгляд, эта доверчивая улыбка, этот пытающийся наморщиться вспоминающим усилием лобик! Великая актриса. Только для чего ей это нужно? И чего она хочет от меня?

Корягин почувствовал усталость. Скорее бы она ушла. Как хорошо быть одному. Но он догадывался, что прежнего одиночества уже не будет. Она пробралась к нему внутрь.

Когда он вновь услышал ее теплый, вкрадчивый голос, прошла вечность. Варвара Алексеевна лопотала что-то о пристрастии ее старшего сына к духовной музыке. От афедрона до геликона немалый путь, надолго же покинул он свою собеседницу. И какое ему дело до ее сыновей? Она хочет познакомить его со всей семьей, как бы приручить к дому или эта тема как-то связывалась с предыдущей и служила к вящему обелению погибшего? Он попытался вникнуть в ее лепет, но ничего не получилось, он так и не хватил связи.

— Вы устали? — спросила Варвара Алексеевна с виноватой улыбкой. — Отдыхайте. Я скажу, чтобы вам принесли питье.

Она подхватила свою довольно поношенную сумку, поправила на нем одеяло.

— Не падайте духом, все будет хорошо. Я скоро вас навещу.

Он взял себя в руки и не послал ее куда подальше. В конце концов, не стоит хамить женщине, мужа которой ты убил.

После ее ухода он долго спал, потом ел какую-то бурду и пил вкусный фруктовый сок, который ему, очевидно, подали по его распоряжению. Хоть какой-то толк был от этого визита...

Она, конечно, нарушила ту сумрачную тишину, в которую было погружено его усталое сознание. Видимо, в нем происходила некая внутренняя работа приручения себя к скорой смерти. Он ни о чем не думал, кроме покушения, без усталости прокручивал в уме все его подробности. Он сравнивал свое покушение с другими: лишь один Каляев сработал так же чисто, как он. Случайное ранение он уже не ставил себе в укор, это мелочь. И он, и Каляев нанесли равно безошибочный удар, а затем холодно отказались от подачи на помилование. Остальные боевики хоть в чем-то сплеховали. Теперь ему оставалось по-каляевски презрительно-спокойно уйти¹.

Готовясь к покушению, пропуская в уме все варианты и последствия, он оставлял возможность нечаянного спасения, чтобы оно не застало его врасплох, но не играл с надеждой уцелеть ни в какие игры, это только сбило бы с прицела. Если б и сверши-

¹ Корягин не располагал теми сведениями о последних днях Каляева, которые стали известны позже.

лось непрощенное чудо, что за жизнь ждала бы его? Вечно в бегах, в поисках логова, укрытия, ямы. Притворятся до конца дней каким-нибудь пасечником, лесорубом, сплавщиком — какие еще существуют угрюмые промыслы, где человек не привлекает внимания? Будь он членом кружка, тайного общества — дело другое, ему нашлось бы новое место в общей борьбе, но он одиночка, за ним никого, пустота.

Все-таки намусорила чертова старуха в его душе. Помилование!.. А кому оно нужно? Остаток жизни таскаться с тачкой на каторге или греметь кандалами на руднике? Нет уж! Надо уйти спокойно и чисто, а не размазывать слизь уже состоявшейся, исчерпавшей себя судьбы.

Корягину стоило немалых усилий вернуться к прежнему ясному и умиротворенному состоянию.

После бездарной, позорной казни народовольцев публичное повешение отменили, виселицы ставят на пустом крепостном плацу, присутствуют лишь конвой, исполнители, два офицера, врач и долгогривый. И никаких сомнений в том, что веревка будет прочна, помост крепок, палач спор и сноровист. Хорошо и живо представлялось: бодрящий ознобец раннего утра, бледное небо, свежий ветерок, дробь барабана (кажется, барабанов нет, а жаль!), небрежный жест, каким он отстраняет священника, упругий, легкий набег на помост, отказ от мешка на голову, насмешливый взгляд сверху вниз на ничтожных подручных смерти и тот таинственный миг, когда он перестанет быть.

Скорее бы уж наступило утро его ухода. Надоела камера, надоела боль в руке. Неровен час гангрена начнется, тогда в лазарет положат, станут лечить. По их гнусно-лицемерным правилам вешать можно только вполне здорового человека. Гуманисты, мать их!.. А тут еще вдова убиенного высунулась со своим доброхотством. Вот уж воистину — пустые хлопоты!..

Варвара Алексеевна явилась на третий день, когда он дремал, и сразу принялась перебинтовывать ему руку.

Она принесла папиросы. Табак припахивал медом. Он стал разминать папиросу в пальцах, чтобы лучше курилась, и посыпался табачинки, набивка оказалась слабая, ручная.

— Самонабивные? — спросил он.

— Да. Муж всегда сам набивал. Он очень много курил. Я ничего в этом не понимаю, но табак должен быть хороший.

Корягину хотелось курить, но было противно брать в рот папиросу, хранящую прикосновение длинных бледных пальцев убитого.

— Это из экономии? — с усмешкой спросил он.

— Да! — простодушно вскинулась Варвара Алексеевна. — У мужа был принцип: не бояться экстраординарных трат и экономить на повседневном. Он мог выбросить уйму денег на арабского скакуна или английское ружье, но у нас был очень простой стол, скромный гардероб, мальчики сами себя обслуживают. Мы держали одну прислугу за все, я перешиваю платья, вяжу теплые вещи, штопаю, латаю.

— Но у вас же имена, — удивленно сказал Корягин. — Романовы самые богатые помещики России.

— Не самые богатые, — улыбнулась она. — И не все. Мы жили на жалование мужа. Теперь на пенсию. Он отдал почти все состояние младшим сестрам, у них не сложилась жизнь, а на остаток содержал вдовью дома. Там живут солдатские вдовы и сироты. Вы не думайте, — сказала она с поспешной деликатностью, — в их судьбе ничего не изменится. Муж сделал необходимые распоряжения на случай своей смерти. А я на мои средства поддерживаю приют для брошенных детей и небольшой женский монастырь. Конечно, мы не бедняки, но и далеко не такие богатые, как может показаться.

— Вам ли жаловаться! — сказал Корягин, забыв, что обращается к вдове убитого им человека.

Он тут же вспомнил об этом и затек со лба на скулы тяжелой темной кровью.

Варвара Алексеевна вроде бы не заметила ни его неловкости, ни смущения.

— Я не жалуясь. Просто объясняю наши обстоятельства. Люди очень плохо знают жизнь друг друга и не стараются узнать. Милее самому придумать.

Это было справедливо, но не интересно Корягину, как и прочая житейщина, которой он уже не принадлежал. У него не было точек соприкосновения с Варварой Алексеевной, кроме одной: ее убитый муж.

Похоже, она расположилась тут надолго. Достала вязанье, удивительно ловко устроилась на шатком табурете, приткнув его к стене, и всем видом показывала готовность к хорошей, проникновенной беседе, что никак не отвечало желаниям Корягина. Он поступил простейшим способом: заснул. Вернее, очень неискусно сделал вид, что спит. Заботясь о правдоподобии, он несколько поспешно захрапел да еще с присвистом. Но доверчивость Варвары Алексеевны была непробиваема.

— Бедный мальчик! — вздохнула она, поцеловала его в лоб и на цыпочках вышла.

А на другой день пришла снова...

...Для чего приходит сюда эта несчастная женщина, у которой я отнял смысл жизни? У нее остались сыновья, дом, какие-то внешние заботы, но стержень ее жизни сломан. Она же любила этого урода... А черт его знает, может, он и не такой урод, каким он мне казался? Она верно сказала, что мы ничего не знаем о жизни других людей да и не стараемся узнать. Много безответственной болтовни, льются и льются словесные помои, особенно на тех, кто выше, у кого власть, деньги, положение. Я готов допустить, что среди своих, в своей среде, он был не из худших — хороши же остальные! — внимательный муж, добрый отец, компанейский малый, может, и солдат по-своему любил, хотя и не жалел их крови. Вон, дома вдовья построил...

Но все эти рассуждения не прибавили Корягину симпатии к великому князю. Он так привык ненавидеть его долговязую фигуру, всос бородатых щек, выпученные глаза, противные, какие-то собственнические жесты, журавлиную походку и нервный вскид головы, что уже не мог увидеть другими глазами. К тому же его раздражала зашоренная преданность Варвары Алексеевны настырной тени, и мерзко было думать, что между ними существовала близость. Его удивляло, злило и обескураживало то простодушие, с каким она то и дело заговаривала о покойном. Она никогда не говорила столько о своих сыновьях и всей прочей, довольно многообразной жизни. Ей было приятно вспоминать о всяких мелочах, с ним связанных, о ничтожных подробностях его поведения, словечках, шутках, охотничьих подвигах, чудачествах: он играл на английском рожке и разводил турманов. Однажды, когда она вновь принялась восхвалять достоинства своего мужа, Корягин оборвал захлебное словоистечение:

— Зачем вы все это говорите? Хотите внушить мне, что ваш муж замечательный человек? Чтобы я пустил покаянную слезу? Вы этого не дождетесь.

Последовала долгая пауза, как и всегда, когда ее что-то озадачивало.

— Наверное, я хочу, чтобы вы его простили.

Он с трудом сдержал смех.

— Мне его прощать? Скорее наоборот.

— Но он там... Он, конечно, простил. Ну, и вы его простите. Зачем жить с ненавистью в душе? Это же плохо.

— Жить! — повторил он. — Вы серьезно думаете, что я буду жить?

— Да! Мне не могут отказать. Не посмеют. Мы оба просим за вас. Наш суд высший.

— Не расписывайтесь за других, — криво усмехнулся Корягин...

Вскоре он понял, что спорить с ней бесполезно. Очень внимательная к его настроению и поведению, она тщательно следила за тем, чтобы не утомить его, не наскучить своей предупредительностью; могла быть разговорчивой, когда он снисходительно терпел ее болтовню, и тихой, как мышка, когда он проваливался в собственные мысли, но в чем-то была непоколебима. Да не «в чем-то», а во всех своих убеждениях это мягкое, женственное существо являло крепость скалы. Даже в болтовне о разных житейских мелочах она не теряла четкую моральную позицию, которая зиждилась на вере в добро. Тут ее не сбить ни доказательствами, ни сарказмом, ни насмешками, ни эмоциональной бурей. В ее цельном мироощущении не было прорех, швов и пустот.

Но чего-то он все-таки не понимал. Однажды в своей кроткой манере она обмолвилась чудовищной фразой: «...вы же последний видели моего мужа». И не поперхнулась, не спохватилась, как будто так и надо.

Звучит дико, но он так прочно связался в ее сознании с му-

жем, что она перестала делать различие между ними. Оба были замешаны в трагедию, срыв ее жизни, что наделяло их равной значительностью, почти родностью. При ее понимании греха и прощения так и в самом деле могло быть.

Корягина не удовлетворяло это искусственное, хотя и не лишенное крупницы смысла объяснение, другого он не находил и потому не мог избавиться от чувства настороженности. Что так притягивало ее к нему? Не могла же она из отвлеченного милосердия и прочих натужных христианских благоглупостей чуть не каждый день приезжать в крепость, сидеть часами у его изголовья, возиться с неаппетитной раной, закармливать шоколадом — любил сладкое — и выслушивать грубости. Первый визит можно объяснить мучительным любопытством к человеку, сыгравшему роль рока. Не каждая вдова способна на такое, все же это объяснение допустимо. Но потрафив своему больному чувству, надо было опростеть бежать отсюда, а Варвара Алексеевна стала его сиделкой. И она, действительно, подала на помилование, иначе бы его давно вздернули. И как изменилось отношение к нему хамов-тюремщиков!

Корягин не заблуждался на свой счет, он знал, что неприятен окружающим: резкий, колючий, никогда ни к кому не подлаживающийся. А с Варварой Алексеевной он вел себя вовсе непотребно, особенно поначалу. Но это ее не отпугнуло. Она даже привязалась к нему, он кожей чувствовал исходящее от нее тепло. Материнская жалость тут ни при чем, у нее были собственные осиротевшие дети, да и слишком молода она для такого взрослого сына. Это было бессознательное расположение — не по-хорошему мил, а по-милому хорош, — на которое накладывались ее доброта и сердечность.

Ей хотелось больше знать о нем, но его жизнь была так бедна поначалу, так пуста и плоска, а потом так выострена к одной цели, что ему нечего было ей сказать. Впрочем, разговора как обмена соображениями и сведениями между ними почти не бывало. Обычно говорила она, а он слушал или не слушал, но как-то отзывался нутром на тихое журчание голоса, который был к нему бескорыстно ласков. Иногда она гладила его по волосам своей легкой, нежной, проникающей рукой. Она уходила, а он продолжал чувствовать корнями волос ее прикосновения. Однажды ему показалось, что он понял ее цель в отношении него. К ней приезжала мать-настоятельница той малой женской обители, которую она поддерживала. Девяностолетняя старуха, а сколько в ней доброго ума, понимания людей, до чего же ясный, незамутненный дух!.. Как только повеяло ладаном, он отключал слух, но в глухоту проникали умиленные речи о тишине затерянной в глухом еловом бору обители, о мечте по завершении мирских дел окончить там свои дни, остаться наедине с собственной душой, а через нее — с Богом, и прочей душеспасительной белиберде. Потом он услышал ее выжидательное молчание и спросил с усмешкой:

— Вы что, хотите примирить меня с Богом?

Он ждал постного взгляда, поджатых губок, обиды за ханжеской кротостью, но она ответила милой шуткой: а разве вы ссорились?

— Но я же преступник... в ваших глазах. А преступник не может быть в хороших отношениях с Богом.

— Кто это знает?.. Кто, кроме Бога, знает тайное в человеке? Может, в глубине души вы ближе к Богу, чем я. Я хожу в церковь, совершаю все обряды, молюсь, забочусь о бедных. Я, как говорится, тепло верующая. Но Христу были дороже заблуждающиеся, сбившиеся с пути, отвергающие его... Какое у вас кислое лицо! Вам скучно?

— Скучно. Скажите честно, неужели вы верите во второе пришествие, страшный суд, во весь этот омерзительно живодерский бред?

— Геенну огненную я уже получила, — тихо сказала она. — Как же мне не верить? Но хотите честно, так честно, как никогда и никому? Для меня все христианство в Нагорной проповеди. Я как-то не могу представить себе Христа в гневе, Христа карающего, Христа, возвращающего мертвых, чтобы вновь ввергнуть их в преисподнюю. В Священном писании есть места, которые мне непонятны. Н е м н о г и е войдут со Спасителем в Царствие небесное и сядут за пиршественный стол Небесного отца. А как же с искуплением грехов? Ради чего взошел Христос на крест? Ведь он же искупил грехи человеческие. Он подарил нам свободу праведности. Тогда при чем тут «в страхе Божиим»? Вы знаете, мне иногда кажется, что Христа допридумывали. Ведь после Нагорной проповеди ничего больше не надо. Держать людей под угрозой расплаты — это плохо даже для земных судей, а для Небесного вовсе никуда не годится. Видите, я богохульствую. Но Нагорная проповедь — это такая прелесть, такое благоухание духа!.. Можно я вам немного почитаю?

«Я так и знал, что этим кончится! — с досадой подумал Корягин. — О чем бы такие не болтали, все кончается проповедью и боженькой. Уходя, она оставит мне молитвенник, и перед смертью я сдам экзамен по закону божьему».

Из-под края юбки торчал острый мысок ее ботинка, подъем ноги был крут, натянувшаяся юбка сохраняла контур ее красивой, какой-то щеголеватой ноги.

— Валяйте, — разрешил Корягин.

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство небесное... Блаженны плачущие, ибо они утешатся... Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю... Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся...»

А он прослеживал ее ногу от ботинка до изгиба бедра, а потом вниз от бедра до ботинка. Это была увлекательная игра.

Странно, она казалась ему худощавой, но как обманчиво это впечатление: она плотная, упругая, крепко сбита, только руки

маленькие, но сильные и ловкие. Она находилась в самом женском расцвете и еще родить могла бы. Он как-то ложно увидел ее поначалу, а потом с непонятным упорством держал в себе образ пожилой женщины. Она не могла испытывать к нему материнского чувства. А какое? Христианское, то, которое изливалось на него сейчас словами Нагорной проповеди?.. Нет, она была слишком живым и горячим человеком, а небеса холодны. Конечно, их связывает что-то вполне человеческое. Хотелось бы понять, что?..

Он не заметил, как вработался в постоянные мысли о ней. Мысли — это не совсем точно, вернее, совсем не точно. Ее присутствие в нем не было связано с думанием. Он мог думать о чем-то другом, вполне житейском, сегодняшнем, или вовсе отвлеченном от насущных забот, мог уйти в воспоминания, последнее случалось нечасто, она все равно присутствовала в нем, лишь перемещаясь с переднего на задний план. Она была то субъектом, то фоном, четким или размытым, всех движений его внутренней жизни. Вот он проснулся и думает: что лучше — выкурить папиросу или встать, умыться, потом выкурить, а она уже в нем, он насыщен ее теплом и светом.

Он не знал, что такое бывает: ты один, а все вдвоем. Она не оставляла его и ночью во сне. Он всегда думал о ней засыпая, думал подробно: о ее лице, глазах, губах, волосах, шее, груди, руках, бедрах, ногах, думал сильно, с каким-то даже ожесточением, впиваясь зубами и ногтями в подушку, вжимая тело в твердый матрас, улавливая запах ее духов на себе, она ведь перебинтовывала его, гладила по волосам, а уходя, пожимала руку и целовала в лоб. Он вынюхивал ее из себя, проникался ею до кишок, так что создавалась иллюзия присутствия. И засыпая, он не расставался с ней, ибо она подчинила себе его сны.

Это были непонятные сны, ни к чему не имеющие отношения и как-то бессмысленно-волнующе завязанные на ней. Раз она явилась в грубом фартуке сапожника, и они вдвоем приколачивали набойки к старым, сношенным сапогам с короткими голенищами. И почему-то это доставляло острую радость. В другой раз она настойчиво обещала накормить его супом, приводя его в странное возбуждение, но так и не начала готовить. Сон придавал значительность и тайный смысл несусветной чепухе. Было и такое: они куда-то собирались, долго, озабоченно, бестолково, теряя то один предмет одежды, то другой, не застегивались пуговицы, обрывались застежки, сон иссяк в тот момент, когда она разорвала юбку, а он потерял запонку. Он потом долго ломал голову, куда она намеревалась пойти. Общее в этих снах, кроме их физической отчетливости, резкой, ничуть не сдвинутой, не замутненной, насыщенной мелочами жизненности, была неосуществленность намерения: набойки, несмотря на все ликование, так и не были прибиты, суп не сварен, сборы не закончены, но ощущение важности пустых хлопот и возникающей из совместных усилий близости оборачивалось пронзительным и долгим блаженством.

Проснувшись впервые в мокрых простынях, он поразился, что блаженство вовсе не было умозрительным. А затем подумал о том, что влажный след любви, высохнув, останется постыдным плесневым пятном, иззубренным, как очертания европейского материка. А какой может быть стыд у приговоренного к смерти? Плевать он на все хотел. Его уже ничем не прошибешь...

Он мог проверить это в утро своей казни, вернее, в те минуты, когда его вели через тюремный двор к виселице, и он понял, что не увидит Варвару Алексеевну и не простится с ней хотя бы кивком.

Известие об отказе о помиловании он выслушал спокойно, ибо ни на минуту не заблуждался в тщетности попыток Варвары Алексеевны. Только при ее наивности и вере в добро можно было рассчитывать на милосердие власти. Крайние утверждения всегда ложны. Конечно, раз-другой мелькнула у него слабодушная мыслишка: а вдруг?.. Но подготовленность к смерти была настолько прочна, что эти осколки в чужую надежду не могли поколебать ее. Он не дрогнул, и о ни это видели.

Если же стиснулось сердце, то не из жалости к себе, а к ней, она-то всерьез верила... Он отказался от исповеди, но ждал последнего свидания. Он не собирался говорить о своем раскаянии, которого так и не испытал, и слюнявиться благодарностью не думал, он чувствовал совсем иное, о чем нельзя было сказать, да и не нужно. Он просто хотел увидеть ее лицо, глаза, рот, волосы, всю ее увидеть и унести с собой.

Разве это так много: дать умирающему увидеть в последний раз человека, который был добр к нему? Единственного человека. У него никого больше не было на свете. Много, очень много для того, кого убивают, и ровным счетом ничего для тех, кто убивает. Или им мало зрелища содрogaющегося в петле тела?

Ее должны были пустить даже не ради него, а ради нее самой. Она больше нуждается в ободряющем жесте. В кивке, улыбке, взмахе руки, ей стало бы легче. Это важно, очень важно для всей ее последующей жизни.

Но ее не пустили. Даже для овдовевшей женщины не нашлось у них капли жалости.

И все же он верил, что она появится. Не может не появиться. Уже в тени помоста, все еще верил, что увидит ее. Но когда его подтолкнули к ступеньке, он понял, что надежды нет, и душа в нем сорвалась с колов. Он закричал, пытался бежать, но, схваченный конвойными, забился в их руках и окончательно потерял себя. Он дрался, царапался, кусался, его опрокинули на землю и, воющего, окровавленного, с мокрыми штанами, поволокли к виселице. Всякое видали на этом плацу, но такого срама — никогда.

Когда Корягина втащили на помост и палач накинул петлю, сидящая в карете за караулкой дама в черном поднесла к глазам медальон с чертами дорогого лица и сказала голосом невыразимой нежности:

— Ты доволен, любовь моя?.....

85859/2

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕНИ МИНУВШЕГО

Шуты императрицы. <i>Повесть</i>	7
1. Беглец	7
2. Остров Любви	60
3. Квасник и Буженинова	94
Огненный протопоп. <i>Рассказ</i>	158
Сон о Тютчеве. <i>Рассказ</i>	177
День крутого человека. <i>Рассказ</i>	186
Учитель словесности. <i>Рассказ</i>	209
Болдинский свет. <i>Рассказ</i>	225

МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Эхо. <i>Рассказ</i>	251
Перед праздником. <i>Рассказ</i>	263
Как скажешь, Аурелио!.. <i>Рассказ</i>	282

МЕЩЕРСКИЕ БЫЛИ

Последняя охота	297
Когда утки в поре	311
Погоня	326

ПРОСТОЕ И ВЕЧНОЕ

Чужая. <i>Рассказ</i>	353
Эх, дороги... <i>Рассказ</i>	383
Река Гераклита. <i>Рассказ</i>	416

ВСПОЛОШНЫЙ ЗВОН

(Из книги о Москве)

Государева дорога	447
Китай-город	457
Чистые пруды	477
Басманные улицы	488
На Кулижках	501

ПОСЛЕДНЯЯ ТЕТРАДЬ

А льва жалко. <i>Рассказ</i>	515
Недоделанный. <i>Рассказ</i>	543
Рассказ синего лягушонка. <i>Рассказ</i>	570
Любимый ученик. <i>Рассказ</i>	587
Безлюбый. <i>Рассказ</i>	599

Юрий Нагибин
ИЗБРАННОЕ

Редактор *И. Шурыгина*

Художественный редактор *И. Сайко*

Технический редактор *Н. Привезенцева*

Корректор *Г. Горбачева*

ЛР № 030129 от 02.10.91. Подписано к печати 05.04.94. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 39,0. Уч.-изд. л. 44,9. Тираж 20 000 экз. Заказ 657.

Издательский центр «ТЕРРА».

109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

OCR Давид Титиевский, август 2019 г., Хайфа

АООТ «Ярославский полиграфкомбинат»

150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97.



Пятьдесят три года Юрий Маркович Нагибин профессионально работает в литературе. С тех пор он написал очень много рассказов, повестей, очерков, статей, сценариев, литературных портретов, издал в Италии две искусствоведческие монографии. «Только романов не писал — не люблю долгописи», — говорит Нагибин.

В произведениях автора нашло отражение то, чем он жил сам: детство, Отечественная война, рыбалка и охота, вернее сказать, — поведение человека в природе, любовь, дружба, поиск жизненного пути. Особое место в творчестве Ю. Нагибина занимает цикл современных сказок. Фантазия писателя обратилась к минувшему, так возникла большая книга «Остров любви» о великих творцах прошлого: писателях, поэтах, музыкантах.

Что же вошло в этот сборник? Рассказы тут многогранные, есть и очерки о Москве. Принцип отбора прост: взять то, что написано о самом любимом и самых любимых. Поэтому тут оказались рядом огненный протопоп Авакум и крутохват Лесков, девочка, собирающая эхо, и одноногий ётерь из Мещеры, чудный парень с кличкой Неделанным, и прекрасная женщина, ставшая после смерти ланью, и многострадальная Москва.

«ТЕРРА» — «TERRA»

ИЗБРАННОЕ

Юрий
НАГИБИН

НАГ